Серия третья ✲ ✲ ✲

Литература XX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Вээкман В. Э
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Сомов В. С.
Тихонов Н. С
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Чхиквишвили И. И.
Шамота Н. З.

ГЕНРИ ЛОУСОН

РАССКАЗЫ

КАТАРИНА СУСАННА ПРИЧАРД

ДЕВЯНОСТЫЕ ГОДЫ

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА • 1976

Составление, вступительная статья и примечания
А. Петриковской

И(Австрал)
Л 81

Иллюстрации
А. Кокорина

Л $\frac{70304\text{-}236}{028(01)\text{-}76}$ подписное

© Издательство «Художественная литература», 1976 г.

ДВА МАСТЕРА

У австралийцев есть обычай — посылать друзьям, живущим вдали от родины, листья эвкалипта. В одном из рассказов этой книги вы прочтете о том, как волнующе, и сладко, и горько, они пахнут, брошенные в огонь, и дымок костра становится дымом отечества. Литература Австралии тоже напоена соками ее земли, как серебристый эвкалиптовый лист. И трудно найти двух других писателей, которые бы дали лучшее представление о путях ее развития, чем Генри Лоусон и Катарина Сусанна Причард.

Первый рассказ Лоусона был опубликован в 1888 году — календарь тогда успел отсчитать сто лет с тех жарких январских дней, когда в залив, над которым сегодня высятся небоскребы Сиднея, самого большого города страны, вошли одиннадцать английских кораблей с каторжниками и конвоирами. Новые колонии Великобритании выросли из каторжных поселений. Среди ссыльных было немало жертв промышленного переворота, доведенных до отчаяния нищетой, и политических преступников. Лихой бунтарь, о котором сложены баллады, в сознании народа заслоняет ревностного строителя империи.

Однажды ночью темной,
Когда весь город спит,
Я отомщу тиранам —
Никто не убежит.

Я жару дам законникам,
Наплачутся — ей-ей!
Им лучше бы не отправлять
Меня в Ботани-Бэй!

Для чернокожих аборигенов, живших в условиях первобытнообщинного строя, колонизация означала разрушение племенного уклада, потерю охотничьих угодий, кормивших их спокон веку, физическое истребление.

Девятнадцатый век — колониальный период в истории Австралии, что подразумевает и юридический статус форпоста Британии, и самый дух культурной зависимости. Поселенцы строили дома из красного кирпича в георгианском стиле, как в Англии XVIII века. Готика Сиднейского университета, открытого в 1852 году, свидетельствовала свое почтение Оксфорду и Кембрид-

жу. Художники писали в духе английской школы романтического пейзажа. Афиша «королевского» театра сообщала о премьере пьесы по роману Вальтера Скотта или исторической драмы Булвер-Литтона. Ранняя проза следовала просветительскому роману-жизнеописанию, с его робинзонадой, авантюрным сюжетом, морализаторством. В стихах слышались отзвуки Попа и Томсона, Байрона и Вордсворта, Теннисона и Суинберна. Когда в сиднейской гавани бросал якорь корабль, несколько месяцев бороздивший волны трех океанов, его встречала толпа жаждущих узнать новости «из дому». Англия еще долго оставалась для поселенцев домом. В очерке Лоусона «Песни, которые пели они» есть живая сцена: старатели, взявшись за руки, поют о «счастье прежних дней», о море, разлучившем друзей, и «поленья в очаге словно застилает пеленой воды...».

Английский иммигрант превращался в австралийца по мере того, как он отдавал освоению страны все больше сил и лет, связывал с ней надежды на будущее потомков, осознавал, что у него есть интересы, отличные от интересов британской короны. Уже в записках «Поселенцы и каторжники, или Воспоминания эмигранта-мастерового о шестнадцати годах труда в австралийской глуши» (1847) Александр Харрис констатирует, что и подрастающее, и зрелое поколение австралийцев «среднего и низшего класса» смотрит на английское владычество «как на узурпаторство, и притом весьма себялюбивого характера».

На Всемирную выставку в Париже австралийские колонии прислали кипу шерсти, слиток золота и мешок пшеницы. Успешное разведение овец сделало Австралию «местом производства шерсти», одной из «плантаций сырого материала для метрополии», поглощавшей «избыточных» английских рабочих [1]. «Золотая лихорадка» 1851 года вызвала мощный приток населения и ускорила развитие капитализма. Если в умах государственных мужей — основателей колоний витал образ новой Британии, которая, возможно, займет когда-нибудь место одряхлевшего льва, то подлинных создателей Австралии — стригалей, гуртовщиков, старателей, фермеров, городских рабочих — манило видение образцовой демократии, избавленной от пороков и Старого и Нового Света. Австралийскую мечту питали демократические движения — за ликвидацию каторги, самоуправление и расширение избирательного права, аграрную реформу, которая бы умерила аппетиты крупных землевладельцев-скваттеров и открыла доступ к земле мелким фермерам. Важнейшим истоком революционных традиций стало Эврикское восстание золотоискателей (1854 г.). Росли профсоюзы, первыми в мире завоевавшие восьмичасовой рабочий день (1856 г.). В литературе колониального периода австралийская мечта воплотилась в гражданственной поэзии Чарльза Харпура (1813—1868): он хотел бы «молнией негодования» выжечь «тысячи зол необыкновенно дисгармоничного мира», все, что мешает вырастить «дерево Свободы».

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, с. 462.

Просторы неисследованных земель, нехватка рабочих рук и ослабление сословных перегородок порождали также иллюзии, способствующие созданию буржуазного мифа о «счастливой Австралии», исторической исключительности земли обетованной, где каждый, если он усерден и честен, может разбогатеть и возвыситься. В бурные, «ревущие» 90-е годы XIX века достигает своего апогея борьба за осуществление мечты и наносится жестокий удар иллюзиям. Крепнет движение за объединение колоний и государственную самостоятельность. Экономический кризис и «великие забастовки» 1890—1894 годов подрывают наивную веру в то, что источники зла находятся вне Австралии, обнажая глубокие классовые противоречия в самом австралийском обществе. Широкое распространение получают идеи утопического социализма и всевозможные рецепты социальных панацей. Под влиянием американского экономиста Генри Джорджа, предложившего в своей книге «Прогресс и бедность» (1897) облагать налогом лишь земельную собственность, по всей стране возникли «лиги единого налога». «Клубы Беллами» явились результатом огромной популярности социально-утопического романа американского писателя Эдуарда Беллами «Взгляд в прошлое: 2000—1887» (1888). Глава австралийских социалистов-утопистов Уильям Лейн полагал, что в романе Беллами изображено «идеальное общество», и свои воззрения также изложил в форме романа «Рай рабочего» (1892), преследовавшего и чисто практическую цель — собрать деньги для арестованных забастовщиков Квинсленда. В обстановке социального брожения, протеста, надежд на близкие перемены закладывались основы национальной литературы.

«Дух — демократический, направление — наступательно-австралийское». Слова, сказанные Джозефом Ферфи о собственном романе «Такова жизнь» (1903), могли бы стать девизом нового литературного направления, колыбелью которого был сиднейский еженедельник «Буллетин». На почве радикально-демократической идеологии, республиканизма и утопического социализма родился австралийский критический реализм. У него есть своя особенность в сравнении с классическим реализмом в европейских литературах: простой труженик показан крупным планом, в фокусе, а не на периферии повествования. В Австралии критический реализм рождается на более позднем историческом этапе, когда в мировой литературе идет процесс демократизации героя. Его катализаторами служат рабочее движение, влиятельное, выдвигающее общенациональные задачи, распространение социалистического учения, социальная активность широких масс в 90-е годы, а также рост грамотности — следствие обязательного начального образования. Маркс подчеркивал, что в Австралии, в отличие от США, «сопротивление монополистам, связанным с колониальной бюрократией, начато рабочими» [1]. Показательно, что многие писатели «Буллетина» вышли из низов — Г. Лоусон, Дж. Ферфи, Ст. Радд, Э. Дайсон. Лоусон явился глашатаем не только

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 11, с. 111.

крепнущего национального, но и классового самосознания австралийского пролетариата.

Два жанра преобладали в литературе 90-х годов — баллада и рассказ из жизни австралийской глубинки, «буша», «зарослей». Среди балладистов с Лоусоном мог соперничать только «Банджо» Патерсон (1864—1941), среди новеллистов — никто.

Генри Лоусон родился 17 июня 1867 года на Гренфеллских золотых приисках. Его отец, норвежский моряк Петер Ларсен, оставил свой корабль, поддавшись искусу «золотой лихорадки». Мать, Луиза Элбери, была внучкой кентского крестьянина, обнищавшего и доставленного в Австралию за государственный счет — в порядке «систематической колонизации». Детство Лоусона (фамилия отца переиначена на английский лад) прошло в сельских поселках. В школе он проучился менее четырех лет. Пас коров и корчевал пни на ферме, не приносившей дохода, плотничал вместе с отцом. В 1884 году поселился в Сиднее, зарабатывая пропитание малярной кистью.

Застенчивого, впечатлительного юношу, скованного сознанием своей необразованности, неуклюжести, глухотой, тянуло к перу и бумаге, чтобы выразить боль обездоленных. В буше он видел, как фермеры падали в поле замертво, надорвавшись после десяти — двадцати лет каторжного труда на пыльном клочке земли, а рядом простирались невозделанные плодородные равнины — владения богатого овцевода. В городе он на себе узнал, что такое безработица. «Я работал маляром для субподрядчиков на вагоностроительной фабрике; бродил по городам в поисках работы; видел, как изнуренные люди стояли кучкой у редакции «Геральда» в четыре утра и зажигали спички, чтобы пробежать глазами колонки «Требуются»... видел трущобы и бедняков, и мне хотелось уметь писать или рисовать». По воскресным дням сиднейский мастеровой спешил на лекции вольнодумцев и в мечтах «ходил в зеленом», как борцы за свободу Ирландии, «сражался за прекрасную Польшу и умирал на баррикадах за Молодую Австралийскую Республику». Ранние его стихи — «Песня республики», с трепетом принесенная в редакцию «Буллетина», «Лица на улице», «Гимн социалистов» — полны революционного пафоса, радостного предвидения грядущей Красной Революции, в них господствует величественный, обобщенный образ разбуженного народа. В 1891 году, работая в социалистической газете «Бумеранг», выходившей в Брисбене, столице штата Квинсленд, Лоусон написал «Свободу в скитаниях», стихотворение, которое цитировалось в Законодательном совете Квинсленда как образчик подстрекательства бастующих стригальщиков к мятежу: «И пусть тираны на себя пеняют, если акации обагрит кровь...»

В зарубежной критике пролетарскую поэзию Лоусона нередко противопоставляют как «пропагандистскую» его «аполитичной» прозе, где нарисованы картины народной жизни и народные характеры — и только. Это в корне неверно. Действительно, в ту пору стихотворение было более привычной, чем рассказ, устоявшейся в австралийской литературе формой полити-

ческого протеста, полемики, сиюминутного отклика. Сказывалось и влияние мощной английской социалистической поэзии 80-х годов. В 1888 году Френсис Адамс, проживший пять лет в Австралии, издал в Сиднее сборник стихов «Песни Армии ночи»; знаменитая революционная песня «Красный флаг» была написана Джимом Коннелом в 1889 году, в связи с забастовкой лондонских докеров, поддержанной и австралийскими рабочими. Но разве картины, нарисованные Лоусоном в прозе, нейтральны, безмятежны? Ничуть. Они состоят в близком родстве с поэзией, и не только потому, что отдельные сюжеты разрабатывались писателем и в стихах, и в рассказах,— все его творчество имеет общую идейную основу и героя — рядового великой «армии тыла», не обученной военному делу, но ежедневно воевавшей с голодом и нуждой.

Была их одежда в заплатах —
Сплошные заплаты и дыры;
Была у них форма единой
Во всех гарнизонах мира,
И я не снимал годами
Такого же точно мундира [1].

Лоусоном написано свыше двухсот рассказов. Лучшие из них вошли в сборники «Пока кипит котелок» (1896), «По дорогам» и «За изгородями» (1900), «Джо Вильсон и его товарищи» (1901), «Дети буша» (1902). Примерно в эти же годы достигают своего зенита и другие новеллисты — Стил Радд, автор размашистых юморесок из жизни фермерского семейства, Эдвард Дайсон, хорошо знавший приисковую среду, Прайс Уорунг, погруженный в мрачную летопись австралийской каторги. Видимо, книги Брет-Гарта натолкнули Лоусона на мысль, что австралийский буш заслуживает не меньшего внимания, чем американский фронтир. Следы увлечения Брет-Гартом можно обнаружить в рассказе «Товарищ отца», но сама тема национально-конкретна — крах надежд иммигранта-бедняка, которого повлекли к дальним берегам радужные обещания австралийского Эльдорадо. Том Мэсон оканчивает дни в одиночестве, добывая крохи золота на заброшенном прииске.

Чрезвычайно близка была Лоусону многозвучная диккенсовская гармония — контрасты нищеты и богатства, сплав юмора и патетики, гротескный штрих сатирика, иронический перифраз, разрешающая сила заключительного аккорда, в котором — торжество добра. Но Лоусон быстро обрел свой, неподражаемый голос — австралийского рассказчика. С детства в его память впечатались десятки былей и небылиц, услышанных от старателей, погонщиков волов, бродяг, с типичными интонациями, ритмом, эмфатическими построениями, повторами, красноречивыми паузами и запинками. Австралийская новеллистика XIX века, как и американская, впитала культуру фоль-

[1] Г. Лоусон. Армия, о моя армия. Перевод М. Кудинова.— В сб. Г. Лоусон. Избранные стихи. М., 1959, с. 27.

клорного рассказа, «ярна». Первичное значение этого слова — «пряжа»: нити житейской истории могли виться так же бесконечно и сплетаться так же прихотливо. Лирическая форма рассказа от лица очевидца или участника событий органична — она отвечает внутреннему единству писателя и героев.

Основным материалом ему послужили впечатления детства и юности, поездка в 1892 году по заданию «Буллетина» в буш — в районы, охваченные забастовками, жизнь в Новой Зеландии, где австралийцы искали спасения от безработицы (в 1894 г. Лоусон работал на лесоповале, прокладывал телеграфную линию, в 1897—1898-м — преподавал вместе с женой в школе для маори в приморской деревушке). В прозе Лоусона открывается панорама сельской Австралии — городки, где цивилизация представлена почтой и трактиром, затерянные фермы, стригальни. Коллизии рассказов о фабричном мальчишке Арви Эспинолле и его матери, многострадальной поденщице («Будильник Арви Эспинолла», «Билл и Арви с завода братьев Грайндер», «Джонсов тупик»), подсказаны большим капиталистическим городом. Тщедушный мальчик, вынужденный быть кормильцем семьи, мучительно боится опоздать на фабрику и, даже умирая, тревожится, как бы не пропустить звонок будильника,— ведь Грайндеры «не станут ждать». Горькая ирония заключается в том, что будильник — дар дочери фабриканта, и, построив рассказ вокруг этой детали, Лоусон одновременно обличает и никчемность буржуазной филантропии, и жестокосердие капиталистического Молоха, которому в жертву приносятся даже дети. В рассказе «Джонсов тупик» домовладелец присылает счет за ремонт обвалившегося потолка... жилице, миссис Эспиолл, и суд, скорый и неправый (относительно его классовости нет сомнений), силой закона освящает несправедливость, чинимую в отношении бедняков.

Судьбы, поведанные Лоусоном, часто далеки от благополучных завершений и опровергают казенное славословие «Australia Felix»[1]. «Прелести фермерской жизни», цепь злоключений Тома Хопкинса, угодившего под конец в сумасшедший дом,— по сути, антитезис, изнанка рекламного проспекта о том, как хорошо быть самостоятельным земледельцем.

Однако труженик, совершающий неприметный жизненный подвиг, в глазах Лоусона — истинный герой, даже если он терпит поражение. Акцентируются мужество и стойкость в борьбе с невзгодами и тем самым великие возможности человека и народа. В Мельбурне есть уютный сад, разбитый в честь женщин — подруг пионеров. Но лучший памятник им воздвиг Лоусон в рассказе «Жена гуртовщика». Охота на змею, заползшую в бревенчатый домик,— всего лишь эпизод, один из множества случаев, когда женщине приходилось лицом к лицу встречать смертельную опасность. Пожар, наводнение, роды без медицинской помощи... Здесь драматичное обыденно, а обыденное драматично: надолго оставаясь в одиночестве, в безлюдных зарослях, жена гуртовщика каждое воскресенье наряжает детей и гуляет с ними по лесной дороге, точно по городской улице.

---

[1] «Счастливой Австралии» *(лат.)*.

Демократы 90-х годов считали «настоящим» австралийцем свэгмена — сезонника, который бродяжил по стране со скаткой за плечами («свэгом»), нанимаясь на овцеводческие станции. Стригали составляли боевой отряд австралийского пролетариата. Лоусон гордился, что прошел десятки миль со свэгом, работая в стригальнях. Из циклов, или серий, которые можно выделить в его новеллистике по признаку сквозного героя, перечень рассказов о сезоннике Митчелле — самый длинный. Рисунок образа менялся: хитрец («Митчелл: Очерк характера»), наивный мечтатель («Еще один план Митчелла на будущее»), умудренный добродушный циник и любитель пофилософствовать («Отель Пропащих Душ»). Лоусон словно укрупнял ту или иную черту. Но элемент импровизационности не затрагивает доминанту образа — и в ранней зарисовке «На сцене появляется Митчелл», и в позднем рассказе «Мечта стригальщика» Митчелл горд своей принадлежностью к кочевому рабочему племени, он верен его неписаным законам.

В системе нравственных и социальных ценностей писателя на первом месте — товарищество. Условия жизни — переходы через пустыню, артельная разработка золотоносного участка, борьба со стихиями — заставляли австралийца особо ценить поддержку, преданность, бескорыстно протянутую руку помощи. Для Лоусона это — неисчерпаемая тема, которая красной нитью проходит сквозь все его творчество. Скарб бедной вдовы должен быть описан за долги, но на выручку приходит товарищ сына. Свэгмен срывается с больничной койки, узнав, что его пса, верного спутника в скитаниях, гонят прочь. Случайные попутчики деликатно заботятся о только что овдовевшем старателе... Кодекс товарищества подразумевал и классовую солидарность, профсоюзное единство, давал образец взаимоотношений, которые станут всеобщими в будущем. «Социализм — это значит быть товарищами...» — провозглашал У. Лейн. В рассказе «Похороны за счет профсоюза» молодого рабочего, утонувшего в реке, хоронят чужие люди. Разница в религии — он был католиком, они протестанты — не существенна: в свэге утопленника нашли профсоюзный билет. Лоусон отнюдь не сентиментален, а, наоборот, сардоничен, демонстрируя прозаизм церемонии, но это не мешает увидеть и то, что связывает между собой ее участников. В рассказе «Старый товарищ отца» он делает сокровеннейшим воспоминанием закадычных друзей Эврикское восстание.

К сожалению, в своей проповеди товарищества Лейн и его единомышленники допускали расистские оговорки, разделяя шовинистическую доктрину «белой Австралии». Буржуазия использовала в своих целях недовольство и опасения, которые вызывала на рынке труда дешевая привозная рабочая сила — «цветные» иммигранты из Азии, островитяне-океанийцы. Отдал дань этой доктрине, построенной на закреплении расовых и национальных антагонизмов, и Лоусон. Но в лучших его произведениях побеждал гуманист, отвергавший формулы розни. «Черный Джо», рассказ о маленьком аборигене, который, по мнению белого тезки, был «умнее и сообразительнее всех белых мальчиков на свете»,— один из ростков антирасистской традиции

в австралийской литературе. Не считается с национальными различиями и долговязый стригаль Боб Браверс по прозвищу «Жираф», чья отзывчивость не знает предела,— он и на небе «обойдет со своей чертовой шапкой всех ангелов — устроит сбор в пользу этого проклятого мира» («Шапка по кругу»). Этот чудак обаятелен и достоверен, ибо его «чудачество» и есть норма поведения, попранная буржуазным эгоизмом, но живущая в народном сознании.

В юморе Лоусона также отразилось мировосприятие видавшего виды австралийского бушмена — хладнокровная, с горьковатой усмешкой, реакция на превратности бытия, отсутствие почтения к официальным авторитетам (ничто не берется на веру). Но юмор австралийской «границы» — это и буйная фантазия присяжных вралей, и розыгрыши, разряжающие монотонность существования, проделки хитрецов («Жена содержателя почтовой станции») и профессиональных авантюристов Стилмена и его подручного Смита — персонажей «Геологического жулика». В ряде рассказов — «Эвкалиптовая щепка», «Золотое кладбище», хрестоматийная «Заряженная собака» — затеи Дэйва Ригана приводят к непредвиденным результатам, приключение бушмена предстает в комическом варианте. Комизм ситуации увязан с особенностями характеров, манер, речи. Вслед за Диккенсом Лоусон придает эксцентричность облику персонажей. Юмор (часто — юмористический комментарий) сдерживает наплыв сентиментальности, перо приобретает сатирическую остроту там, где заходит речь о косных нравах захолустья и религиозном ханжестве.

В «Буллетине» начинающего автора предупреждали, что не дадут трех с половиной столбцов самому Шекспиру. Жесткие требования к журнально-газетному рассказу,— а Лоусон писал в расчете на периодическую печать, издание австралийской книги было событием,— культивировали лаконизм, минимальность (или отсутствие) экспозиции, действенность концовок. Рассказ Лоусона подкупает естественностью развития, прелестью безыскусности. Безыскусность эта, однако,— плод мастерства, и при внимательном анализе рассказа продуманность его элементов очевидна. Концовки лоусоновских рассказов часто производят впечатление своеобразного постскриптума: все как будто уже сказано, и действие пришло к финалу, но писатель добавляет два-три штриха, которые заставляют сильнее ощутить настроение произведения, его смысл, присоединяют единичный случай к многообразному человеческому опыту. С одной стороны — вольная стихия просторечия, которая царит в открытой исповеди, в «чужом» рассказе. С другой — скупое, точное описание, насыщенный психологическим подтекстом диалог. Критики — австралиец Дуглас Стюарт и, несколько раньше, Евгений Ланн, подготовивший первое советское издание Лоусона,— отмечали его стилистическую близость современной манере письма, сжатого, намекающего на скрытое, лишенного словесной декоративности. Любопытно, что Хемингуэй, судя по эпизоду романа «Острова в океане», отмечал рассказы австралийского классика.

И все же мастер малой формы, умевший на крошечном холсте дать яркий очерк характера, уместить целую судьбу, раздвинув временные границы, используя прием воспоминаний, в глубине души мечтал о большем просторе. Он приблизился к роману в цикле из четырех небольших повестей о Джо Вильсоне. Фермер Джо Вильсон рассказывает свою жизнь, сожалея об ошибках молодости и утраченной чистоте чувств. Каждая из повестей сосредоточена на значительных психологически, даже критических моментах и периодах. В «Сватовстве Джо Вильсона» — юношеская любовь, перипетии ухаживания и предложение руки. В «Свояченице Брайтена» — муки отца, когда вдали от жилья, в пути, тяжело заболевает трехлетний сын. В повестях «Полейте герани!» и «Новая коляска на Лехи Крик» Джо и Мэри показаны в браке: красота и поэзия разрушаются под бременем неудач, материальных забот, трудного быта. Повесть «Полейте герани!» начинается первым днем Джо и Мэри на купленной ими ферме и заканчивается днем смерти соседки. Миссис Спайсер, измученная, впавшая в безразличие отчаяния,— наглядное предостережение молодым супругам: такой может стать и Мэри. Лоусон находит великолепную деталь — кустики герани перед домом, о которых миссис Спайсер печется даже в смертный час. Чахлый, но выносливый цветок, способный выдержать засуху, символизирует и ее саму, и тягу к прекрасному, но недостижимому, таившуюся в огрубевшей женщине буша.

Покупка коляски для семейного выезда — казалось бы, прозаический сюжет. Но в том-то и сила Лоусона-новеллиста, что он поднимается над бытописательством, измеряя событие масштабом всей жизни человека, его надежд и разочарований. Джо наконец стал на ноги и мог бы осилить покупку столь необходимого экипажа — ведь в буше нет иного транспорта. Но чем дальше от бедности, тем больше Джо страшится возврата к ней, тем сильнее его скупость. И нужен укол извне (мимо проносится в нарядной коляске скваттер с женой, некогда влюбленный в Мэри), чтобы над страхами и расчетами возобладало желание обрадовать близкого человека.

В 1900—1901 годах Лоусон жил в Лондоне. Лондон притягивал (и притягивает) австралийских писателей — крупнейший центр мировой культуры, и школа, и пристанище, победа на котором давала ореол окончательного признания. Лоусон встретил горячее одобрение у такого известного критика, как Эдвард Гарнет, крупные издательства выпустили несколько сборников его произведений. Но ему недоставало энергии и воли вести изматывающую борьбу за существование на чужбине. Нужда здесь давила вдвойне, назревал семейный разрыв, и в мрачной квартирке, в холоде и слякоти улиц росла тоска по ослепительному южному солнцу и лазурному блеску Тихого океана. Острой ностальгией окрашены эссе «Тени минувших святок» и «Гимн свэгу». Патриотизм Лоусона — чувство пионера, закаленное трудом, ревнивое и критичное. В рассказе «Нет милее родной страны» (1893) австралиец честит эту огромную, изнывающую от жажды и голода пустыню, населенную в основном овцами и отданную во власть иностранным спекулянтам, но пусть

попробует сидящий рядом пассажир дилижанса, англичанин, снисходительно заговорить о колониях... Из английского далека родина видится Лоусону в несколько идеализированном свете, и в «Гимне свэгу» он просит оградить ее от «тлетворного влияния Старого Света с его лицемерием, черствостью и торгашеством». Впрочем, следующие за этим австралийские зарисовки не свидетельствуют о молочных реках и кисельных берегах. Главное, Австралия для Лоусона — страна, где люди, труженики и скитальцы, следуют трем заповедям: «Верь в свои силы!», «Никогда не сдавайся!» и «Не оставляй товарища!». В 1902 году Лоусон возвратился в Сидней. Последние два десятилетия его жизни были печальным закатом.

Битвы, в которых он шел в рядах атакующих, отгремели. Движение за независимость завершилось компромиссом: колонии, объединившиеся в федерацию, получили статус доминиона (1901 г.). Великие забастовки были разгромлены — предприниматели в союзе с властями, при соглашательстве профсоюзных лидеров, одержали верх. На смену раннему тред-юнионизму с пылкой проповедью рабочего братства и мечтами о быстром воцарении свободы пришел парламентский реформизм лейбористов. Лоусон, «социалист чувства», не обладал научным пониманием классовой борьбы и диалектики общественного развития. В его творчестве можно найти немало примеров непоследовательности в социальных оценках, за которые охотно цепляются истолкователи из числа правых и ультралевых. Отход от рабочего движения и утрата революционной перспективы сузили его горизонты, как это произошло и с Джеком Лондоном. Лоусон переживал тяжелую личную драму — распавшаяся семья, хронический алкоголизм. Разочарование и чувство поражения ввергли его в затяжной душевный и творческий кризис. Правда, и в этот период появляются произведения, достойные его имени,— стихотворения и рассказы в защиту жертв буржуазного правосудия, юморески буша в сборнике «Суд выносит приговор» (1908), рассказы о городской бедноте из цикла «Переулок старика» (1913—1915). Незыблемой оставалась вера в то, что мир держится на Лиззи и Джимах, тех, о ком и для кого он писал. Лоусон умер в бедности 2 сентября 1922 года. Похоронили его с национальными почестями. В сиднейском парке Домейн стоит скульптурная группа работы Джорджа Ламберта: писатель, его герой — свэгмен, верный пес.

Вместе с Лоусоном Австралия вошла в мировую литературу. «Лоусон проложил путь литературе, основанной на реализме, социальном прогрессе и любви к Австралии»,— так определила его значение Катарина Сусанна Причард, продолжившая в XX веке демократическую традицию 90-х годов.

* * *

Девочку, родившуюся бурной ночью 4 декабря 1883 года в Левуке, на островах Фиджи, фиджийцы назвали «дитя урагана». Причард вернулась к этому имени, выбирая заглавие для автобиографической книги, написанной на склоне лет,— оно также подтверждает ее родство с революционными бу-

рями века. Автор двенадцати романов, рассказов, стихов и пьес, Катарина Сусанна Причард была членом партии австралийских коммунистов с момента ее основания, личностью исключительно цельной, мужественным и целеустремленным борцом.

В семье профессионального журналиста Т.-Г. Причарда звучал рояль и голоса певцов, читали стихи. У отца было перо литератора. Мать рисовала. В повести «Дикий овес Хэн» (1908) описаны детские годы в Тасмании, в старом доме с большим садом, среди холмов и лесов. Повесть о любознательной и своевольной девочке непохожа на слащаво-дидактические прописи для детей. Ханжеским условностям викторианства противопоставлена гармония естественности. Едва ли не главная фигура в мире Хэн — Сэм, рабочий человек, образ, родственный героям демократической литературы 90-х годов. Своими рассказами — о деревьях, животных и птицах, о жестокостях тасманийской каторги и стертых с лица земли племенах — он будит мысль и воображение детворы. «Дикий овес», безумства юных лет, не страшен. Куда страшнее остаться «прирученным», нести себя, как треснутую чашку, не изведать сполна радости и печали, отказавшись от схватки с жизнью.

Хэн расстается с детством, когда из дома вывозят мебель, проданную с аукциона,— отец потерял работу. И Хэн хочется поскорее вырасти, чтобы вмешаться в ход событий, «помочь».

Причард окончила Южно-Мельбурнский колледж, но в университет не поступила из-за недостатка средств. Правда, она посещала вечерние лекции по литературе и философии, но больше училась сама, поглощая массу книг — английских, немецких, французских и русских классиков. Работала гувернанткой в сельской глуши. Преподавала в школе и давала уроки. Прошла школу журналистики — от колонок светской хроники до интервью с Сарой Бернар и оригинальных очерков, в качестве штатного сотрудника и «вольного стрелка», в Австралии и на знаменитой лондонской Флит-стрит, не знающей снисхождения (в Лондоне Причард жила в 1908 и 1912—1915 годах). В 1915 году роман «Пионеры» получил премию на всебританском конкурсе, объявленном издательством «Ходдер и Стоутон».

Причард было двадцать лет, когда увидела свет своеобразная книга Ферфи «Такова жизнь», которая вынесла суровый приговор беллетристике вымышленных приключений на экзотическом колониальном фоне и легла в фундамент австралийского реалистического романа. В 1908 году молодая журналистка слушала на собрании Мельбурнского литературного общества Бернарда О'Дауда, последнего из корифеев 90-х, поэта, восхищавшего ее бунтарством мысли, облеченной в торжественные ораторские формы. Почитатель и корреспондент Уитмена, он выступил с манифестом «воинствующей поэзии», направленным против «искусства для искусства». Демократы 90-х открыли свою страну для творчества. Теперь предстояло нарисовать более развернутую картину общества, глубже проследить взаимоотношения между людьми и социальными группами, добившись графической выразительности, овладеть многоцветной палитрой живописца, преодолеть

некоторую узость критериев — издержки самоутверждения. Наступал черед романа.

Они были полны дерзновенных замыслов, Причард и ее друзья: Вэнс Палмер, в будущем выдающийся романист и мастер психологической новеллы, драматург Луис Эссон — энтузиаст национального театра, поэт-социалист Фрэнк Уилмот, композитор Генри Тейт, воспроизводивший в своей музыке шум ветра и голоса птиц в австралийском лесу. Поборники национального искусства, они жадно внимали новому, тому, что доносилось из Европы и Америки. В Австралии находили отклик парадоксы драматургии Шоу и блистательная портретная галерея Форсайтов, сатирический гротеск Франса, ирландский «Театр Аббатства», движимый идеями национального возрождения. Палмер возвращался в 1907 году из Англии домой через Россию, надеясь повидать Толстого. На мельбурнской сцене в 1910—1918 годах ставили Чехова.

По приезде в Англию Причард поспешила навестить восьмидесятилетнего Джорджа Мередита,— в поэзии и прозе ветерана английского реализма ее пленяли «буйное жизнелюбие, блеск ума, тонкая ироничность». Но роль Мередита не была исключительной. В целом становление австралийского романа, наиболее ярко выраженное в творчестве Причард и Палмера, проходило под знаком интенсивного обогащения национальной традиции достижениями развитых литератур.

Первый опыт был в романтическом ключе. Южная окраина континента, где искали убежища узники тасманийской каторги, в лодке одолевшие Бассов пролив, угон скота, семейные тайны, честный фермер и злодей-трактирщик, убийства в ночном лесу,— «Пионеры» как будто используют арсенал колониального романа, образцом которого был «Вооруженный грабеж» (1881) Ролфа Болдервуда (кстати, оба произведения неоднократно экранизировались). Но само понятие «пионер» расширяется, включая социально-преобразующую деятельность, изменение мира, «чтобы каждый мог жить лучше и счастливее».

Работа в газете приводила Причард в трущобы Лондона и Мельбурна, зловонные ночлежки и бесплатные столовые Армии спасения, на митинги Лиги борцов против потогонной системы труда. Сотни безработных шли голодным походом через всю Англию к зданию парламента. На набережной Темзы спали бездомные. И окончательным доказательством порочности существующего мироустройства явилась первая мировая война: не сразу, освобождаясь от заблуждений, Причард поняла, что неуемная растрата человеческих жизней имеет одну цель — обеспечить монополиям сверхприбыли и возможность расправиться со смутьянами.

Как человек аналитического склада ума, она искала объяснение и спасительный выход из лабиринта социальных противоречий в трудах мыслителей и реформаторов — от Платона до Кропоткина, в религиозных учениях. Октябрь 1917 года, революция в России, потрясшая мир, вплоть до далекой Австралии, открыла ей марксизм — единственную из всех теорий,

которая «дает разумную основу для преобразования нашей социальной системы» [1].

Новое направление мысли сказалось в романе «Черный опал» (закончен в 1918 г., опубликован в 1921 г.), где ставится вопрос о главных ценностях жизни и условиях человеческого существования. Опаловый прииск «Кряж упавшей звезды» в Новом Южном Уэльсе — изолированная природой старательская община. Здесь живут «по справедливости», подчиняясь лишь законам товарищества, каждый — «сам себе хозяин», и американскому скупщику не удается превратить прииск в промышленное предприятие. Но есть ли в действительности у мелких производителей, никак организационно не связанных, шансы выдержать натиск капитала и самостоятельно распоряжаться своим трудом? Позиция вожака старателей Брэди — «искать наслаждение не в поверхностной роскоши, которую можно приобрести за деньги, а в красоте природы», в любви, в возможности открытия, предпочитая бедность потере свободы, отказываясь от технического прогресса, не менее утопична, чем придуманный лоусоновским свэгменом райский «Отель Пропащих Душ» или попытка австралийских социалистов создать в парагвайских дебрях, в 1893 году, коммуну «Новая Австралия».

В словах Брэди о том, что старатели, продав себя в наемное рабство, уподобятся упряжке волов, содержался зародыш романа «Рабочие волы» (1926, в русских переводах назван «Охотник за брэмби», «Погонщик волов») — провозвестника социалистического реализма в австралийской литературе. Современники сравнивали его с дождем, пролившимся после засухи, прорывом. Причард работала над ним, уже будучи членом КПА, образованной в 1920 году, организатором рабочих кружков. Пролетарий, пусть еще прикованный к колеснице капиталистической эксплуатации, был для нее строителем прекрасного будущего. И в жизни лесорубов Шестой мили и рабочих лесопилки в Эвкалиптовом ручье она находила признаки грядущих перемен. Забастовка окончилась ничем. Но она всколыхнула души людей, по-иному осознавших свое положение. Придет час, и они сбросят ярмо воловьей покорности. Рабочий Марк Смит, книжник и агитатор, «бесстрашный в мыслях и речах»,— первый у Причард образ профессионального революционера. Роман заставил также говорить об эмоциональной свежести и живописных качествах ее письма. В поисках синтеза «человек — природа — труд — общество» у нее были свои находки и потери. Если писателя XIX века австралийская природа завораживала и даже пугала своей необычностью, если у поколения 90-х она представала грозным противником поселенца, то на страницах Причард цветут, источая аромат, десятки цветов, десятки птиц поют на разные голоса, и австралиец нарисован в единстве с природным окружением, что не исключает единоборства. Показывая, как все — люди, животные, растения — подвластно законам эволюции, она подчас натуралистична, в чем усматривают влияние английского писателя Д.-Г. Лоу-

[1] К.-С. Причард. Дитя урагана. М., 1966, с. 279.

ренса. Творчество этого весьма противоречивого художника знаменовало поворот английского романа XX века к замкнутому психологизму, он выработал блестящую, эмоционально яркую манеру письма, чувствительного к психологическим нюансам. В своем неприятии «механической цивилизации» он искал опоры в «здоровом» животном начале, гиперболизируя инстинкт размножения, наделяя эротические импульсы неодолимой, определяющей, верховной силой. Однако «Рабочие волы» написаны во имя высвобождения человеческого, а не животного в человеке. Признавая «раскрепощающее влияние» Лоуренса на многих писателей своего времени, Причард подчеркивала, насколько чужда ей его философия и выдвинутый в статье «Мораль и роман» тезис «трепетно-неустойчивого равновесия», которое романист не смеет нарушать, нажимая пальцем на чашу весов, то есть будучи тенденциозным. Каждый роман, возражала Причард, хранит «отпечаток пальца гончара».

«Кунарду, или Колодец в тени» (1929) — также произведение новаторское. Голоса в защиту аборигенов раздавались и прежде, но никогда еще их судьба и зло расовой дискриминации не были изображены как трагедия реальных людей. В какой-то мере эскизом к роману явилась пьеса «Брэмби Инз» (1927). Она шокировала тогдашние литературные вкусы откровенностью, с которой говорилось о произволе скваттера, принуждающего аборигенок к сожительству, и увидела свет рампы лишь в 1972 году, поставленная мельбурнским экспериментальным театром и труппой аборигенов. Но в центре пьесы — столкновение грубого самодура Брэмби и беспомощной городской девушки. Роман же — история любви аборигенки и фермера другого типа, честного и доброго и все-таки погубившего любимую женщину да и себя, повинуясь расовым предрассудкам. Кунарду нужна Хью Уотту, как источник в пустыне, но он боится признаться в этом самому себе («Возможно ли, чтобы мужчина в здравом уме испытывал такие чувства к чернокожей?»). Причард бережно воспроизводит уклад аборигенов, их речь, фольклор. Равноправие рас утверждается всей логикой повествования, которое выявляет и обоюдность воздействия, взаимозависимость. При этом аборигены — сторона страдающая, и поэтическое произведение о несчастной любви имеет силу обвинения. В «Кунарду» мастерство Причард достигает зрелости. Композиционное обрамление — излюбленный прием — возвращает читателя к первоначальной сцене, несущей теперь отпечаток пережитого.

Двадцатые годы завершаются романом «Цирк Хэксби» (1930) и сборником рассказов «Поцелуй в уста» (1932). При всей остроте конфликтов их переполняет ощущение радости жизни, готовности принять ее вызов.

Следующее десятилетие оставило по себе недобрую память — жестокий кризис, голод и безработица, резкое обострение классовой борьбы, тень надвигающейся войны и фашизма. В Австралии шла мобилизация прогрессивных литературных сил. В. Палмер, Дж. Девэнни, Б. Пентон, К. Теннант, З. Герберт, Д. Стайвенс срывают маски, развенчивают легенды, вскрывают бедственное положение трудящихся. Причард пишет агитационные пьесы

(«Солидарность», «Женщины Испании»), поставленные в Перте Гильдией пролетарского искусства, статьи, брошюру «Кому нужна война». К ней обращаются Барбюс и Роллан с просьбой помочь в организации антифашистского движения. Конгресс против войны и фашизма состоялся в Мельбурне в 1934 году. Она выступает в защиту его делегата Э.-Э. Киша, которому правительство запретило въезд в Австралию. Работает в Комитете помощи испанским республиканцам, в Лиге австралийских писателей, основанной по ее инициативе.

Побывав в 1933 году в СССР, Причард выпустила книгу очерков «Подлинная Россия». В 1941 году она объездила всю страну, призывая к установлению дипломатических отношений с Советским Союзом, выступая по четыре раза в день с лекциями о социалистическом государстве, первом в мире. Она проявляла огромный интерес к советской литературе, которую хорошо знала, любила, пропагандировала. Ее художественное кредо становится более четким и осознанным как эстетика социалистического реализма. «Социалистический реализм утверждает бытие как деяние, как творчество, цель которого — непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле, которую он сообразно непрерывному росту его потребностей хочет обработать всю как прекрасное жилище человечества, объединенного в одну семью». Слова, произнесенные Горьким на Первом съезде советских писателей в 1934 году, так часто цитируются в книгах, статьях и учебниках, что мы порой забываем, каким эстетическим откровением они прозвучали для современников, устанавливая родство литературного творчества с творчеством самой жизни. «Это была новая и революционная идея для писателей капиталистических стран»,— писала Причард в статье «Дань Максиму Горькому». Она целиком разделяла горьковскую концепцию целенаправленности искусства, которое неизбежно несет в себе «за» или «против», и считала себя вправе добиваться социальной определенности образа, выпуклости положительного и отрицательного (но не черно-белых противоположений!). В 1945 году в Сиднее вышел сборник статей Горького «Творческий труд и культура» с предисловием Причард. «Я верю, что волна социальных преобразований влечет нас от капитализма к социализму, и цель, во имя которой австралийский народ не раз вступал в борьбу, стала яснее»,— эти строки легли на бумагу, когда писательница работала над первой книгой трилогии «Девяностые годы» (1946), «Золотые мили» (1948), «Крылатые семена» (1950).

Замысел монументального произведения, в котором частная жизнь будет сопряжена с общественной, поиски личного счастья поставлены в связь с освободительной борьбой человечества, великая перспектива откроется как закономерный вывод из реальной жизни современников, созревал постепенно. Он был плодом многолетних творческих исканий и участия в политических боях, концентрацией всего жизненного опыта. Как правило, Причард писала, опираясь на лично познанное. Случалось ей жить в лесных районах

Юго-Запада и на скотоводческой станции Северо-Запада, среди фермеров пшеничного пояса, путешествовать с бродячим цирком, наблюдать гуртование скота. Она умела ухаживать за лошадьми, выкармливать телят и доить коров. Знаком ей был и вкус старательства. Приступая к трилогии о золотых приисках, она поселилась на месте действия, в городе Калгурли, в семье шахтера. Беседовала с десятками очевидцев «бурных деньков», уточняя детали, отдавая на суд написанное. Перелистала сотни старых газет, углублялась в архивы.

Мы находим в трилогии то, что вообще свойственно художественному миру Причард: женщину неисчерпаемой энергии и душевной силы, колоритный быт небольшой общины в глухомани, превосходные описания трудовых занятий, точные и в профессиональных деталях, и в передаче психологии людей, жизнь которых целиком зависит от их труда. Эти черты качественно меняются с изменением масштаба изображения, его протяженности в пространстве и времени и, что особенно важно, в историческом времени. Трилогия — обширное густонаселенное полотно, охватывающее шесть десятилетий: от 90-х годов прошлого века до окончания второй мировой войны, от юности дедов до юности внуков. Трилогия создавалась, когда в мировой литературе усилилась тяга к многоплановому эпическому повествованию, рожденная потребностью осмыслить сложный драматический опыт XX века с его катаклизмами и быстрыми сдвигами. Были у романа-эпопеи и свои, австралийские истоки. В 30-е годы широко распространился жанр «саги», семейно-исторической хроники (в большей степени семейной, чем исторической),— австралийцы подытоживали пройденное, приближаясь к стопятидесятилетнему рубежу колонизации. Самое ее начало скрупулезно описывала Элинор Дарк в трилогии «Земля вне времени» (1941), «Натиск времени» (1948), «Нет преград» (1953). Романы Причард обладают наибольшей широтой эпического дыхания, ибо и в малых клетках их ткани проходит ток истории, и национальное введено в мировой контекст.

В 90-е годы XIX века Австралия вторично пережила «золотую лихорадку» — сказочные залежи были открыты на Западе, куда устремились искатели счастья, прежде всего из восточных колоний, разоренных засухой и кризисом, крахом банков и земельными спекуляциями. Население Западной Австралии, превышающей по территории Францию в четыре раза, удвоилось (но и в 1894 году составило лишь восемьдесят тысяч человек), а в Лондоне было создано свыше трехсот компаний для эксплуатации местных рудников.

Симптомы болезни одинаковы и в морозном Клондайке 90-х годов — сцене «Северных рассказов» Джека Лондона, и в сожженных солнцем пустынях австралийского Запада — готовность в мгновение ока сняться с места и очертя голову, обгоняя других, ринуться навстречу неизвестности, опасности, а может быть, и удаче. Историческая достоверность западноавстралийской «лихорадки» в изображении Причард общепризнана: первые походы, фантастические находки и ложные тревоги, нехватка воды и продовольст-

вия, эпидемии, спекулятивный бум, обогащающий дельцов и оставляющий ни с чем разведчиков-первопроходцев. В неторопливом течении романа палаточный лагерь в лесной чаще сменяется городским поселком, на участках, скупленных синдикатами, вырастают копры шахт, и бывшие старатели, став рудокопами, гибнут оттого, что крепежный лес дороже их жизни. Старательской вольнице приходит конец (в отличие от утопического завершения «Черного опала»). С развитием промышленности, то есть капиталистических форм труда и эксплуатации, стихийная демократия приисков исчезает и обозначаются классовые перегородки. На торжественный обед в честь прибытия первого поезда в Калгурли получают приглашение владельцы шахт, чиновники, управляющие банками, но не пионеры, открывшие прииск.

Исторических лиц в трилогии немного, и они эпизодичны. На авансцене — рядовые участники. В повествовании участвуют ветераны приисков, вспоминая, подтверждая, комментируя. Событие извлекается из прошлого с хвостом живых подробностей, толков, бывальщин, сдобренных грубоватым юмором,— заметим, что старательский фольклор лег также в основу рассказов сборника «Осколки опалов» (1944).

Прииски — котел, в котором варятся люди самого различного происхождения, положения и характеров. Кого же выбирает Причард? Потомственного австралийского старателя Динни Квина, отпрыска английского аристократического семейства Морриса Гауга — ему пришлось покинуть родину после скандального проступка, Олфа Брайрли — не доучившись в университете из-за банкротства отца, он взялся за кирку, чтобы раздобыть деньги для брака с возлюбленной Лорой, беглого юнгу Пэдди Кевана — будущего миллионера сэра Патрика, лихого ирландца Фриско с револьвером у пояса, побывавшего и в Калифорнии... Каждый из них живет своей жизнью, посвоему значительной, и пестрота приискового калейдоскопа, по мере подведения итогов, все больше уступает место четкому социальному узору. Композиционный стержень трилогии — судьба семьи Гаугов, и ее внутренняя динамика наиболее последовательно и убедительно выявлена в образах Салли и Морриса, их детей и внуков, друзей и недругов.

Моррис — тип «бывшего джентльмена», демократизировавшегося в Австралии. В колониальной литературе XIX века «паршивая овца», отправленная к антиподам в наказание за грехи, была окутана дымкой таинственности. «Романтический британский отщепенец пользовался большим спросом в этой стране, и много благородных слез было пролито над его одинокой могилой»,— писал Лоусон, отделяя «горемыку поэтического и популярного» от настоящего. Однако и сам он набрасывал романтический силуэт «бывшего джентльмена». Причард прослеживает трансформацию непрактичного и заносчивого светского молодого человека, который теряет состояние и, опускаясь все ниже по ступенькам социальной лестницы, отказывается от честолюбивых упований, смиряясь с профессией гробовщика. Необходимость зарабатывать на хлеб изменила к лучшему барственного и эгоистичного Мор-

риса — отучила от кастового чванства, поколебала «заплесневелый консерватизм».

Салли, главную героиню романа и трилогии, Причард наделила всем, что восхищало ее в людях,— мужеством, трудолюбием, прямодушием, отзывчивостью. Молоденькая неопытная женщина, поняв, что человек, с которым она обвенчана, совсем не таков, каким она себе представляла его, взваливает на свои плечи бремя ответственности за семью, не чураясь черной работы. С годами круг этой ответственности расширяется, включая не только неудачника Морриса, детей, друзей, но весь трудовой люд приисков, судьбы народа и всего человечества. В гражданском возмужании Салли отразился исторический опыт австралийского народа. И в старости она останется жизнерадостной, привлекательной, восприимчивой к новому. В этот образ Причард вложила свою веру в раскрепощение женщины и «предсказание будущего».

Герои Причард ведут борьбу за существование, решают личные проблемы, выполняют повседневные свои обязанности, любят, дружат, растят детей, становятся жертвой обмана и мести — словом, река жизни уносит их, и краски, которыми пользуется писательница, запечатлевая ее извивы, светятся теплотой и участием. В романе «Девяностые годы» трудно было бы выделить кульминационный пункт — есть зона наибольшего напряжения, и создается она конфликтом, в который вовлечены все. Борьба старателей с горнодобывающими компаниями за право добывать близко залегающее россыпное золото — «золото бедняков», разделила людей, еще недавно сливавшихся в толпе охотников за фортуной. Динни Квин попадает в тюрьму за сопротивление властям,— они поддерживали владельцев рудников, прибегая к законодательным ухищрениям. Динни воплощает качества, которые так ценятся в рабочей среде,— преданность товарищам, независимость, решимость отстаивать общие интересы. Настоящий пионер, получающий наслаждение от самого поиска,— тропы, проложенной среди безмолвного кустарника и голых скал, ночей у костра под звездным небом,— он не может допустить, чтобы старатели, разведавшие этот край, заселившие его и считавшие себя его хозяевами, были вышвырнуты, как балласт.

Олф, управляющий рудника, боясь лишиться работы и поставить под удар благополучие семьи, предает тех, с кем делил тяготы первых старательских походов. Друзья отворачиваются от него, а владельцам рудников он не нужен, несмотря на его технический талант и рвение,— куда удобнее послушные исполнители грязных махинаций. Олф кончает самоубийством.

Салли не задумывается над выбором. Она своя среди старателей, работает наравне с ними и их женами, их борьба равно касается и ее: она идет на митинги и демонстрации, кормит голодных, собирает деньги для семей арестованных. И вспыхнувшему чувству к Фриско, влюбленному в нее, самоуверенному, преуспевающему, способному на широкий жест, она сопротивляется не только из-за брачных уз: ловкач-авантюрист, наживающийся на спекулятивных сделках, и ограбленные старатели — на разных берегах.

На протяжении всей трилогии скрещиваются дороги Салли и аборигенки Калгурлы. Трагедия аборигенов, к которой Причард возвращалась снова и снова,— об этом можно судить по рассказам всех ее сборников, вплоть до последнего, «Нгула» (1959),— вошла в «историю западноавстралийской золотопромышленности»: вторжение старателей в их исконные земли, уничтожение скудных запасов воды и пищевых ресурсов, осквернение святилищ, резня, изгнание жалких остатков племен из городов. Прелюдия к роману «Девяностые годы» — столкновение старателей с местным племенем. Чтобы выведать, где находится водоем, белые связывают Калгурлу, только что родившую ребенка, и, накормив солониной, не дают ей пить. В Калгурле живет неистребимая ненависть к захватчикам, но она помогает Салли, которая была добра к ее дочери, Маритане. Салли обязана Калгурле жизнью,— аборигены выходили ее, больную тифом и оставленную Моррисом в буше. Взаимоотношения двух женщин далеки от модели «добрый хозяин и преданный туземный слуга». Из безликой массы «чернокожих», которых следует опасаться, аборигены становятся в глазах Салли людьми, достойными уважения и дружбы. В ее сочувствии — осуждение бесчеловечной политики колонизаторов.

Золотоискатели, изнывавшие от жажды, ненавидели миражи, манившие гладью вод и зеленью деревьев. Между тем вся их жизнь была погоней за ускользающим призраком. Примечательно, что одним из вариантов названия романа было — «Мираж». «Вот уже сколько лет мы все здесь, на приисках, и никому из нас нет удачи»,— удивляется Моррис. Он не вернулся в Англию с солидным счетом в банке. И Робийяры не купили ферму. И Вайолет О'Брайен, которой прочили оперную сцену, стоит за трактирной стойкой. Вознеслись из грязи да в князи такие, как Пэдди Кеван,— подличая, воруя, жульничая, ничем не брезгуя, таясь до поры до времени, когда можно будет сбросить личину простого парня. Мираж исчез.

Мы расстаемся с героями романа «Девяностые годы» на пороге нового века. Причард облечет в живую плоть и кровь в последующих частях трилогии борьбу австралийского народа против введения обязательной воинской повинности в 1916—1917 годах, забастовку 1919 года на приисках, антифашистское движение и участие австралийцев во второй мировой войне. Салли вырастит и потеряет всех своих сыновей. Кавалериста Лала скосит турецкая пуля под Газой. Любимец Дик, единственный, кому удалось дать хорошее образование, разобьется в шахте. Том умрет от шахтерской болезни — силикоза. Преждевременно уйдет и Дэн, закладывавший и перезакладывавший свою ферму. Салли обретет выстраданную мудрость горьковской матери, чувство причастности к борьбе против угнетения и несправедливости, где бы она ни велась.

В основе трилогии лежит идея преемственности освободительной борьбы человечества, проявляясь и в отдельных черточках, и в эволюции образов, и во внутреннем итоге повествования. Отец Динни строил Эврикскую баррикаду в Балларате в 1854 году. Отец Мари Робийяр погиб на баррикадах

Парижской коммуны. Надя Оуэн, которую полюбил Том Гауг,— дочь русского революционера, бежавшая за границу, спасаясь от преследований царизма. Дело Тома, самоотверженно отдавшего себя борьбе рабочего класса, продолжил внук Салли, коммунист Билл, сложивший голову в войне с фашизмом. Многое кануло в Лету вместе с бурными девяностыми и нахлынувшими вслед за ними не менее бурными волнами других десятилетий. Но Салли Гауг и преданный ее друг Динни Квин твердо знают, что сражения против всесильных магнатов золота и всей системы присвоения чужого труда, не были напрасны. Уже старики, увидев, как опускаются на спекшуюся землю семена дикой груши — калгурлы, они думают о семенах новой жизни, которые «взрастут и дадут плоды, даже если упадут на сухую, каменистую почву». Так, символическим образом завершается трилогия.

Возросший историзм, характерный для литературы социалистического реализма, прочтение современности как живой истории в ее движении к окончательному краху старого мира и торжеству социализма, многоликость и рельефность образов дают основание причислить австралийскую эпопею к лучшим панорамным полотнам прогрессивной литературы 40—50-х годов, созданным Л. Арагоном, М. Пуймановой, Ж. Амаду, Д. Димовым и другими. Трилогия возникла в период нового подъема национального самосознания и успехов демократических сил, окрыленных победой над фашизмом. Но заканчивала ее Причард, когда вовсю дул ветер «холодной войны», и публикация такого произведения была актом гражданской смелости. Причард говорила о крылатых семенах коммунизма, когда правительство Мензиса всеми правдами и неправдами пыталось протащить законопроект о запрещении австралийской компартии. Она подтвердила и сформулировала свои взгляды в брошюре «Почему я коммунистка» (1956). В преклонном возрасте, с пошатнувшимся здоровьем, она не прекращала ни литературной, ни общественной деятельности. Отдавая много сил движению в защиту мира, она в семьдесят лет собирала на улицах подписи под антивоенным воззванием, и последний ее роман, «Негасимое пламя» (1967),— о журналисте, которого гибель сына в бесславной авантюре в Корее побуждает отказаться от места «наверху» и начать личный поход за мир.

Катарина Сусанна Причард умерла в октябре 1969 года. Согласно ее пожеланию, прах был развеян с вершины холма Гринмаунт, где она прожила полвека: «Приятно думать, что станешь частицей этой земли и, быть может, дашь жизнь какому-нибудь дикому цветку».

Творчество К.-С. Причард, словно мост, соединило два важнейших этапа австралийской литературы — реализм лоусоновской эпохи и первой половины XX века. Она была признанным главой демократического направления, богатого именами. Вэнс Палмер, Алан Маршалл, Джон Моррисон, Гэвин Кейси, Джуда Уотен, Димфна Кьюзек выразили добро и зло в социальных величинах, веря в способность человека изменить к лучшему мир, в котором он живет, и самого себя.

А. ПЕТРИКОВСКАЯ

ГЕНРИ ЛОУСОН

РАССКАЗЫ

«ТОВАРИЩ ОТЦА»

Это место все еще называлось Золотым оврагом, но золотым оно было только по имени, разве что желтые кучи оставшейся после промывки земли и цветущая акация на склоне холма давали ему право на такое наименование. Но золото ушло из долины, ушли и золотоискатели, по примеру друзей Тимона, когда тот лишился своего богатства. Золотой овраг был мрачным местом, мрачным даже для покинутого прииска. Казалось, бедная, истерзанная земля, обнажая свои раны, обращается к обступившим ее зарослям с призывом подойти и укрыть ее, и, словно в ответ на призыв, кусты и молодые деревца все ближе подступали к ней от подножия горного кряжа. Заросли требовали назад свою собственность.

Два темных, хмурых холма по обеим сторонам оврага были сверху донизу одеты темным кустарником и корявыми самшитовыми деревьями, но над самыми верхними шахтами тянулась полоса акаций в цвету.

Вершина западного холма напоминала седло, и на том месте, которое соответствовало луке седла, три высоких сосны поднимались над эвкалиптовым кустарником. Желтые лучи заходящего солнца падали на эти, видимые за много миль, одинокие деревья задолго до той поры, когда белый человек перевалил через горную цепь.

Основным мотивом пейзажа была мучительная настороженность, словно все здесь прислушивалось к звукам былой жизни, к звукам, ушедшим и оставившим за собой пустоту, которую подчеркивали следы этой жизни. Основная армия старателей хлынула к новым приискам, бросив позади отставших и дезертиров. Это были люди слишком бедные, чтобы перетаскивать свои семьи,

люди старые и слабые и люди, потерявшие веру в удачу. Никем не замеченные, они отстали от остальных и поселились среди покинутых заявок, ухитряясь кое-как наскрести себе на жизнь. Маленькое население Золотого оврага состояло из старателей-неудачников, живших на расчищенной равнине, которая по одну сторону оврага называлась Спенсер Флэт, а по другую — Паундинг Флэт, но их призрачное существование никак не оживляло местности. Постороннему человеку эти места могли показаться совершенно безлюдными, пока он не наткнулся бы на куртку и котелок в тени деревцев среди ям и не услышал бы стука кирки в неглубоком шурфе, где какой-то горемыка выбирал жалкие остатки золотоносной породы.

Однажды, незадолго до рождества, над старым, довольно глубоким шурфом на дне оврага был водружен ворот. На другое утро на поверхности около шурфа лежала бадья, привязанная веревкой к вороту, а рядом с ней на чисто выметенном местечке возвышался холмик холодной, мокрой золотоносной породы.

Росшие поблизости деревца бросали тень на этот холмик, и здесь в тени сидел на старой куртке мальчуган лет двенадцати и что-то писал на грифельной доске.

У него были светлые волосы, голубые глаза и худенькое старообразное лицо — лицо, которое останется почти таким же, когда он будет взрослым. Костюм его состоял из молескиновых штанов, полотняной рубахи и подтяжек с одной лямкой. Доску он держал крепко, вдавливая ее углом себе в живот; голова его так низко свесилась набок, что растрепанные волосы почти касались доски. Он старательно переписывал верхнюю строку, скосив на нее глаза и каждый раз меняя орфографию. По-видимому, немалую помощь в этой трудной работе оказывал ему язык, высунувшийся из уголка рта и время от времени производивший кругообразные движения, после которых на лице оставался чистенький кружок. Покрытые глиной пальцы на ногах также принимали участие в его усилиях и энергично шевелились, немало способствуя этим успеху дела. Иногда он прерывал работу, чтобы вытереть губы тыльной стороной маленькой смуглой руки.

«Островок» Мэсон, или «Товарищ отца», как его прозвали, был любимцем старателей еще с той поры, когда имел обыкновение удирать по утрам из дому и бегать по холодку в одной рубашонке. Долговязый Боб Саукинс частенько рассказывал о том, как Островок отправился однажды утром бегать по высокой росистой траве и вернулся домой в чем мать родила, объявив, что потерял рубашку.

Впоследствии, когда все золотоискатели ушли с прииска, а мать Островка умерла, мальчика, загорелого, голопогого, часто ви-

дели с киркой, лопатой и тазом для промывки, диаметр которого равнялся двум третям его роста,— он занимался «разведкой» и «раскопками» среди старых холмиков золотоносной породы. Долговязый Боб был закадычным другом Островка и частенько советовал ему, где «поискать золотишко», смущенно оправдывая свои долгие беседы с ребенком тем, что «занятно бывает расшевелить мальчугана».

Из шурфа донесся низкий голос, который оторвал Островка от его занятий.

— Островок!

— Что, отец?

— Спускай бадью.

— Сейчас.

Островок отложил грифельную доску и, подойдя к шурфу, опустил бадью, насколько хватило размотанной веревки; потом стал придерживать вращающийся под ее тяжестью барабан, положив одну руку сверху, а другую снизу, пока бадья не коснулась дна. Вскоре раздалось:

— Наматывай, сынок!

— Мало навалил,— сказал мальчик, посмотрев вниз.— Не бойся, наваливай, отец! Я могу вытащить куда больше.

Снова скребущие звуки, а мальчик покрепче уперся ногами в кучу глины, которую сгреб к вороту, чтобы малый рост не служил ему помехой.

— Тащи, Островок!

Островок крутил ворот медленно, но уверенно, и вскоре бадья показалась на поверхности. Он втащил ее короткими рывками и ссыпал содержимое в кучу породы.

— Островок! — снова крикнул отец.

— Что, отец?

— Ты еще не кончил письменного урока?

— Кончаю.

— В следующий раз спусти доску — я тебе напишу задачи.

— Ладно.

Мальчик вернулся на свое место, вдавил угол доски себе в живот, сгорбился и снова начал писать вкривь и вкось.

Тома Мэсона знали в этих краях как молчаливого человека и неутомимого труженика. Это был человек лет шестидесяти, рослый и темнобородый. Ничего примечательного в его лице не было. Оно лишь казалось ожесточенным, как у человека, чьим уделом были разочарования и невзгоды. Он жил в маленькой хижине на дальнем конце Паундинг Флэт. Лет шесть назад здесь умерла его жена, и хотя с тех пор многие ушли на новые прииски и у него была такая же возможность, он не покинул Золотого оврага.

Мэсон орудовал киркой при свете сальной свечи, воткнутой в боковую стенку. На дне штрека было очень сыро, штаны старателя, стоявшего на коленях, пропитались водой и стали холодными и тяжелыми, но он к этому привык. Однако сегодня его кирка работала вяло, он казался рассеянным и иногда вовсе останавливался, а мысли его витали далеко от тонкой прослойки золотоносной породы.

Перед ним вставали картины прошлой жизни. Нерадостные это были картины, и при тусклом свете свечи лицо его казалось окаменевшим.

Удары падали медленно, неравномерно — мысли старателя ушли в прошлое. Стенки штрека как будто медленно расплывались, отступая далеко за горизонт, скрывающийся в знойном блеске океана. Он стоял на палубе судна, а рядом с ним стоял его брат. Они плыли на юг, в Землю Обетованную, которая вставала вдали в золотом ореоле. Бодрящий ветер надувал паруса, и клипер летел вперед, неся на борту самых безумных мечтателей, когда-либо пускавшихся в дальний путь. Взлетая вверх — на длинные синие океанские кряжи, ныряя вниз — в длинные синие океанские ущелья, вперед — к землям, таким новым и в то же время таким старым, где, затмевая сияние южного неба, сверкают ослепительные слова: «Балларат! Бендиго!» Палуба словно накренилась, и старатель качнулся вперед, ударившись о стенку штрека. От толчка он очнулся и опять взялся за кирку.

Но снова замедляются удары, и перед ним возникает новое видение.

Теперь это Балларат... Он работает в неглубоком шурфе в Эврике, рядом с ним его брат. У брата бледное и больное лицо — он всю ночь танцевал и пил. Позади тянется гряда голубых холмов; впереди знаменитый Бейкери Хилл, а внизу налево покинутый прииск Голден Пойнт. Два конных полицейских въезжают на Спесимен Хилл... Что им нужно?

Они уводят брата в наручниках. Прошлой ночью был убит человек. Убит из ревности в пьяной драке.

Виденье исчезает. Стучит кирка, отсчитывая годы — один, два, три, четыре, до двадцати, и тогда она останавливается и открывается новая картина: ферма на берегу веселой речки в Новом Южном Уэльсе. Маленькая усадьба окружена виноградником и фруктовым садом. Рои пчел трудятся в тени деревьев, а на склоне холма дозревает пшеница.

Мужчина и мальчик расчищают перед усадьбой участок для загона. Это отец и сын; сын, мальчик лет семнадцати,— вылитый портрет отца.

Снова топот копыт! Приближается Немезида в мундире конных полицейских.

Прошлой ночью в пяти милях отсюда произошло нападение на почту, и оказавший сопротивление пассажир был убит. Сын всю ночь «охотился с приятелями на опоссумов».

Полицейские уводят сына в наручниках: «Вооруженный грабеж».

Когда явились полицейские, отец выкорчевывал пень. Его нога еще упирается в заступ, до половины вошедший в землю. Он смотрит, как полицейские ведут мальчика к дому, а потом, глубоко вогнав заступ, выворачивает ком земли. Полицейские подходят к двери дома, но он по-прежнему усердно копает и словно не слышит отчаянного вопля жены. Полицейские обыскивают комнату мальчика и выносят два узла с какой-то одеждой; но отец продолжает копать. Потом полицейские седлают одну из находящихся на ферме лошадей и усаживают на нее мальчика. Отец копает землю. Они едут вдоль гряды холмов, мальчик посредине. Отец не поднимает глаз; яма вокруг пня расширяется. Он копает, пока к нему не подходит его мужественная маленькая жена и не уводит за руку. Он почти очнулся и идет за ней к дому, как послушный пес.

За этим следует суд и позор, а потом другие несчастья: плевропневмония у рогатого скота, засуха и разорение.

Снова раздается стук. Но это не кирка — это падают комья на гроб его жены.

Маленькое кладбище в зарослях, а он стоит и смотрит окаменев, как засыпают ее могилу. Ее сердце было разбито, и умерла она от стыда.

— Я не вынесу позора! Я не вынесу позора! — стонала она все эти шесть томительных лет, ибо бедняки часто бывают горды.

Но он продолжает жить — много нужно для того, чтобы разбилось сердце мужчины. Он высоко держит голову и трудится ради оставшегося ребенка, а этот ребенок — Островок.

И теперь перед старателем возникает видение будущего. Стоит он, старый-старый человек, и рядом с ним — молодой; у молодого лицо Островка. Снова топот копыт! О боже! Снова Немезида в мундире конных полицейских!

Старатель падает на колени в грязь и глину на дне штрека и молит небо призвать его последнего ребенка раньше, чем за ним явится Немезида.

Долговязый Боб Саукинс был известен на приисках как «Боб Дьявол». В профиль его лицо, по крайней мере с одной стороны, и в самом деле напоминало саркастического Мефистофеля, но в другой половине лица, как и в его характере, не было ничего дья-

вольского. Его физиономия была сильно обезображена, и он лишился одного глаза в результате взрыва в каком-то старом балларатском руднике. Пустую глазницу закрывал зеленый пластырь, придававший сардоническое выражение уцелевшим чертам лица.

Это был тупой, добродушный англичанин. Он слегка заикался и имел странную привычку вставлять в свою речь словечко «ну» с единственной целью заполнять паузы, вызванные его заиканьем. Впрочем, это мало помогало ему, потому что он частенько спотыкался и на этом «ну».

Солнце стояло низко над горизонтом, и его желтые лучи освещали верхушки деревьев в Золотом овраге, когда Боб появился на тропинке, спускавшейся от подножия западного холма. На нем был обычный костюм: полотняная рубаха, молескиновые штаны, выцветшая шляпа, жилет и тяжелые башмаки. На плече он нес кирку, пропущенную через отверстие в ручке короткой лопаты, висевшей у него за спиной, а под мышкой держал большой таз. Он остановился против шурфа с воротом и обратился к мальчику со словами, служившими ему обычной формой приветствия:

— Эй ты, послушай, Островок!

— В чем дело, Боб?

— Я видел там, в зарослях, молодую... ну... сороку, что бы тебе ее поймать?

— Не могу отойти от шурфа, там отец.

— Откуда твой отец узнал... ну... что там есть... ну... золотишко?

— Встретил старого Корни в городе в субботу, и тот сказал, что там еще кое-что осталось и стоит потрудиться. Вот и работаем с утра.

Боб подошел, с грохотом бросил на землю свои орудия и, подтянув молескиновые штаны, присел на корточки.

— Что ты делаешь на этой... ну... на доске, Островок? — спросил он, вытащив старую глиняную трубку и раскуривая ее.

— Задачи,— ответил Островок.

Боб некоторое время молчал, попыхивая трубкой.

— А... зачем? — сказал он, усаживаясь на кучу глины.— Образование — вещь нестоящая.

— Вы только послушайте его! — воскликнул мальчик.— Потвоему, выходит, что незачем учиться чтению, письму и арифметике?

— Островок!

— Иду, отец!

Мальчик подошел к вороту и спустил бадью. Боб вызвался ему помочь ее вытаскивать, но Островок, радуясь возможности

Г. Лоусон «Товарищ отца»

похвастать перед другом своей силой, настоял на том, что будет крутить ворот один.

— Из тебя получится... ну... сильный парень, Островок,— сказал Боб, поставив бадью на землю.

— Я мог бы вытащить куда больше, чем насыпает отец. Смотри, я смазал рукоятку. Теперь идет как по маслу.

И в доказательство своих слов он дернул за рукоятку.

— Почему тебя прозвали Островком? — осведомился Боб, когда они вернулись на свое место.— Разве это твое настоящее имя?

— Нет, меня зовут Гарри. Один старатель говорил, что я для отца с матерью все равно что остров в океане, и меня прозвали Островом, а потом Островком.

— У тебя ведь был... ну... брат, верно?

— Да, но меня тогда еще на свете не было. Он умер; правда, мать говорила, что она не знает, умер он или нет, но отец говорит, что для него он все равно что умер.

— И у твоего отца был брат. Ты когда-нибудь... ну... слыхал о нем?

— Да, слышал один раз, как отец говорил о нем с матерью. Кажется, брат отца ввязался в какую-то драку в трактире, и там убили человека.

— А твой... ну... отец... ну... любил его?

— Я слышал, как отец говорил, что любил прежде, но что все это прошло.

Боб молча курил и, казалось, следил за темными облаками, которые плыли на западе, похожие на похоронную процессию. Потом он произнес вполголоса что-то, прозвучавшее как: «Все... ну... все прошло».

— А? — спросил Островок

— Это я... ну, ну... так, ничего,— очнувшись, ответил Боб.

— Что там торчит у отца в кармане куртки, Островок, не газета ли?

— Да,— сказал мальчик, вытаскивая газету.

Боб взял ее и с минуту внимательно в нее всматривался.

— Тут что-то написано о новых золотых приисках,— сказал Боб, тыча пальцем в рекламу портного.— Ты бы... ну... прочитал мне, Островок, а то я ничего не вижу, нынче печатают таким мелким шрифтом.

— Нет, это не то,— сказал мальчик, взяв газету,— это...

— Островок!

— Подожди, Боб, отец зовет.

Мальчик подбежал к шахте, уперся ладонями и лбом в барабан ворота и нагнулся, чтобы расслышать слова отца.

Неожиданно предательский барабан повернулся, маленькое тело раза два ударилось о стенки шахты и упало к ногам Мэсона, где осталось лежать неподвижно.

— Мэсон!

— Что?

— Положи его в бадью и привяжи своим поясом к веревке!

Прошло несколько секунд, потом:

— Тащи, Боб!

Дрожащие руки Боба с трудом сжимали рукоятку, но все-таки он кое-как крутил ворот.

Вот показалось тело мальчика, неподвижное, покрытое жидкой глиной. Мэсон поднимался по ступенькам в стене шурфа.

Боб осторожно отвязал мальчика и положил его на траву под деревцами. Потом он стер глину и кровь со лба ребенка и плеснул на него грязной водой.

Вскоре у Островка вырвался вздох, и он открыл глаза.

— Ты сильно... ну... расшибся, Островок? — спросил Боб.

— Спи... спина сломана, Боб!

— Дело не так плохо, дружище.

— Где отец?

— Поднимается.

Молчание, а потом:

— Отец, отец! Скорей, отец!

Мэсон выбрался на поверхность, подошел и опустился на колени по другую сторону мальчика.

— Я... я... сбегаю... ну... за бренди,— предложил Боб.

— Не стоит, Боб,— сказал Островок.— У меня все переломано.

— Тебе не лучше, сынок?

— Нет... я... сейчас... умру, Боб!

— Не надо так говорить, Островок,— простонал Боб.

Короткое молчание, потом мальчик внезапно скорчился от боли. Но это скоро прошло. Он лежал неподвижно, потом спокойно сказал:

— Прощай, Боб!

Боб тщетно пытался заговорить.

— Островок! — сказал он.

Мальчик повернулся и простер руки к безмолвной фигуре с каменным лицом.

— Отец... отец... я умираю!

Прерывистый стон вырвался у Мэсона. Потом все стихло.

Боб снял шапку, чтобы вытереть лоб, и было какое-то необъяснимое сходство между его обезображенным лицом и окаменевшим лицом Мэсона.

С минуту они смотрели друг на друга, разделенные телом мальчика, потом Боб тихо сказал:

— Он так и не узнал.

— Не все ли равно? — прошептал Мэсон и, подняв мертвого ребенка, пошел к хижине.

На следующий день перед хижиной Мэсона собралась печальная группка людей. Жена Мартина провела здесь утро, приводя дом в порядок, и сделала все, что было в ее силах. Одна из женщин разорвала для савана единственную белую рубашку своего мужа, и благодаря их стараниям мальчик лежал чистенький и даже красивый в жалкой, маленькой хижине.

Один за другим старатели снимали шапки и, согнувшись, входили в низкую дверь. Мэсон молча сидел в ногах койки, подперев голову рукой, и странным рассеянным взглядом следил за входящими.

Боб обшарил весь лагерь в поисках досок для гроба.

— Это последнее, что я еще могу... ну... сделать для него,— сказал он.

Наконец, отчаявшись, он обратился к миссис Мартин. Она повела его в столовую и указала на большой сосновый стол, которым очень гордилась.

— Разломай этот стол на доски,— сказала она.

Убрав лежащие на нем вещи, Боб перевернул его и начал отбивать верхние доски.

Когда он смастерил гроб, жена одного из старателей сказала, что у него слишком убогий вид. Она распорола свою черную юбку и заставила Боба обить гроб материей.

В лагере не было никаких перевозочных средств, кроме старой подводы Мартина, и вот около двух часов дня Пэт Мартин привязал свою старую лошадь Дублина к оглоблям обрывками сбруи и веревками, взял его за повод и потащил к хижине Мэсона.

Вынесли маленький гроб, а рядом с ним поставили на подводу два ящика, предназначенные служить сиденьем для миссис Мартин и миссис Гримшоу, которые и водрузились на них в унылом молчании.

Пэт Мартин полез было за трубкой, но опомнился и поставил ногу на оглоблю. Мэсон повесил замок на дверь хижины.

Несколько ударов по костлявому хребту вывели Дублина из дремоты. Качнувшись сначала вправо, потом влево, он тронулся в путь, и вскоре маленькая погребальная процессия скрылась на дороге, которая спускалась к «городу» и кладбищу.

Примерно через полгода Боб Саукинс ненадолго уехал и вернулся с высоким бородатым молодым человеком. Уже стемнело, и они направились прямо к хижине Мэсона. Там горел свет, но на стук Боба ответа не последовало.

— Входи, не бойся,— сказал он своему спутнику.

Незнакомец толкнул скрипучую дверь и, шагнув через порог, остановился с непокрытой головой.

Над огнем кипел забытый котелок. Мэсон сидел за столом положив голову на руки.

— Отец!

Ответа не было, но в неверном свете очага незнакомцу почудилось, будто Мэсон нетерпеливо дернул плечом.

Секунду незнакомец постоял в нерешительности, потом, подойдя к столу, положил руку на плечо Мэсона и мягко сказал:

— Отец! Тебе нужен другой товарищ?

Но спящему он был не нужен — во всяком случае, в этом мире.

БИЛЛ И АРВИ С ЗАВОДА БРАТЬЕВ ГРАЙНДЕР

На длинном цементном подоконнике у входа на вагоностроительный завод братьев Грайндер сидело в ожидании звонка, возвещавшего начало рабочего дня, человек пять-шесть подручных мальчишек, отпетых сорванцов, один из которых — Билл Андерсон, головорез лет четырнадцати — пятнадцати, был известен под кличкой «Касторка».

— А вот и наш Арви «Тронутый»,— провозгласил Билл, завидев робкого, бледного и тщедушного парнишку, который появился из-за угла и остановился у входа в цех.

— Как поживают твои папа с мамой, Арви?

Мальчик не отвечал, только жался ближе к входу. Прозвенел первый звонок.

— Что у тебя сегодня на завтрак, Тронутый? Хлеб с патокой? — спросил юный сорвиголова и в назидание приятелям вырвал у того сумочку с завтраком и вытряхнул ее содержимое на тротуар.

Двери отворились. Арви подобрал свой завтрак, отбил приход и поспешил в цех.

— Эй, Тронутый,— окликнул его один из кузнецов, когда Арви проходил мимо.— Что ты думаешь о вчерашних лодочных гонках?

— Я думаю,— прорвало наконец Арви,— что лучше бы у нас в Австралии ребята поменьше думали о гонках и драках.

Рабочий уставился на него непонимающим взглядом, затем расхохотался ему в лицо и отвернулся. Кругом все заухмылялись.

— Наш Тронутый скоро совсем спятит,— заржал Билл.

— Эй, Касторка! — крикнул подручный кузнеца.— Сколько масла выпьешь за кусок табака?

— Чайную ложку.

— Две.

— Идет. Только сперва покажи табак.

— Получишь ты свой табак, не беспокойся. Чего ты испугался? Эй, ребята, идите смотреть, как Билл масло глушит.

Билл отмерил две ложки машинного масла и выпил. Он получил свой табак, а остальные получили удовольствие, глядя, как Билл, по их выражению, «глушит масло».

Прозвенел второй звонок, и Билл направился на другой конец цеха, где Арви, уже приступивший к работе, выметал стружки из-под верстака.

Юный головорез уселся на верстак, забарабанил каблуками об его ножку и засвистал. Торопиться ему было некуда, его мастер еще не пришел. Он развлекался тем, что лениво швырял в Арви щепками. Некоторое время Арви сносил это безропотно.

— Лучше бы... у нас в Австралии... — проговорил юный головорез с задумчивым, отсутствующим видом, рассматривая выбеленные балки под крышей и нащупывая у себя за спиной щепку потяжелее.— Лучше бы... у нас в Австралии... поменьше думали... о... гонках... и драках.

— Отстань, слышишь? — сказал Арви.

— Ну? А то что? — воскликнул Билл в притворном изумлении, отводя взор от потолка. Затем продолжал негодующим тоном: — Могу хоть сейчас дать по шее, если хочешь.

Арви продолжал мести. Билл перекидал все щепки, до которых смог дотянуться, и стал насвистывать «Марш мертвецов», поглядывая, как работают кругом. Потом спросил:

— Как тебя зовут, Тронутый?

Ответа не последовало.

— Ты что, не можешь ответить, когда тебя спрашивают по-хорошему? Был бы я твой отец, я бы тебя живо отучил воротить морду.

— Арви меня зовут, сам знаешь.

— Арви, и все?

— Арви Эспинолл.

Билл поднял глаза к потолку, поразмыслил, посвистал, потом вдруг сказал:

— Послушай, Тронутый, а где ты живешь?
— Тупик Джонса.
— Где?
— Тупик Джонса.
Билл коротко присвистнул.
— А какой номер дома?
— Восемь.
— Иди к черту! Врешь!
— Нет, не вру. А что тут такого? Зачем я буду тебе врать?
— А то, что мы там тоже жили. Твои старики живы?
— Мать жива, отец умер.
Билл почесал в затылке, выпятил нижнюю губу и опять задумался.
— Послушай, Арви, а отчего твой отец умер?
— Сердце. На работе упал и умер.
Билл издал протяжный многозначительный свист. Наморщив лоб, он уставился на балки под крышей, как будто думал увидеть там что-то необыкновенное. Помолчав, он сказал с расстановкой:
— И мой тоже.
Это совпадение так его поразило, что понадобилась еще почти целая минута, чтобы оно улеглось у него в голове. Потом он сказал:
— Мать небось ходит стирать?
— Да.
— И подрабатывает уборкой?
— Да.
— И моя тоже. Братья-сестры есть?
— Двое — брат и сестра.
У Билла на лице почему-то появилось облегчение.
— А у меня девять. Твои младше тебя?
— Младше.
— Хозяин дома здорово надоедает?
— Порядочно.
— Выселить грозил?
— Два раза.
Перекинувшись еще несколькими фразами в том же духе, они замолчали. Молчание длилось минуты три, и под конец оба почувствовали себя неловко.
Билл заерзал, потянулся было за щепкой, но вовремя опомнился, опять устремил взор в потолок и стал насвистывать, крутя на пальце длинную стружку, потом разорвал ее пополам, с досадой отшвырнул и вдруг буркнул:
— Знаешь что, Арви, я у тебя вчера тачку опрокинул, так я извиняюсь.

— Спасибо.

Это был нокаут в первом же раунде. Билл повертелся на верстаке, завинтил тиски, побарабанил пальцами, посвистал и, наконец, засунув руки в карманы, спрыгнул на пол.

— Вот что, Арви,— торопливо проговорил он, понизив голос.— Когда будем сегодня выходить, держись около меня. Если кто из ребят тебя тронет или скажет хоть слово, я им всыплю.

Он отошел вразвалку и скрылся за стоявшим поблизости корпусом вагона.

В этот вечер Арви задержался в цеху. Его мастер, бравший подряды на окраску вагонов, всегда старался подыскать своим мальчикам работу на двадцать минут, когда до звонка оставалось минут пять — десять. Он нанимал мальчиков потому, что они обходились дешевле, а у него было много черной работы, и, кроме того, мальчикам ничего не стоило залезать с красками и кистями под пол или под тележку, и им можно было поручать грунтовку, а также окраску платформ. Звали подрядчика Коллинс, а его подручных мальчишек называли «малютками Коллинса». На заводе смеялись, что Коллинс завел у себя в цеху ясли. Разумеется, он не нарушал закона об обязательном образовании — всем его мальчишкам «было больше четырнадцати». Некоторым не было и одиннадцати, и Коллинс им платил от пяти до десяти шиллингов в неделю. Братьям Грайндер до этого не было дела — лишь бы заказы выполнялись вовремя и дивиденды выплачивались регулярно. Каждое воскресенье Коллинс произносил проповеди в парке. Но это уже не имеет отношения к нашему рассказу.

Когда Арви вышел с завода, накрапывал дождь и все уже ушли, кроме Билла, который стоял, прислонившись спиной к столбу веранды, и старательно плевал в разорванный носок своего ботинка, что у него, надо сказать, получалось неплохо. Он поднял глаза, небрежно кивнул Арви, метнулся на дорогу, прицепился к проезжающей фуре и скрылся за поворотом. Возчик спокойно сидел за рулем, посасывая трубку и накинув на плечи мешок, не подозревая о том, что происходит у него за спиной.

Арви пошел домой с щемящим чувством в груди и роем мыслей в голове. Как это ни странно, но теперь, больше чем когда бы то ни было, ему была ненавистна мысль о том, чтобы завтра опять идти на завод. Эта новая дружба, которой он не искал и которая свалилась на него как снег на голову, вызывала в сердце бедного одинокого мальчика лишь одно смятение. Он не хотел ее.

Но ему и не пришлось больше идти на завод. По дороге домой он промок до костей и ночью был уже при смерти. Все последнее время он ходил больной, и на другое утро Коллинс недосчитался одного из своих «малюток».

ЖЕНА ГУРТОВЩИКА

Двухкомнатный домик построен из круглых бревен, горбыля и эвкалиптовой коры, а пол настлан мелким горбылем. Примыкающая к дому просторная кухня из коры больше, чем весь дом вместе с верандой.

Кругом — заросли, заслоняющие горизонт, так как эта местность не имеет возвышенностей. Бесконечная равнина. Заросли состоят из чахлых, уродливых диких яблонь. Нет даже подлеска. Нет ничего, что радовало бы глаз, за исключением темной зелени казуарин, которые грустно поникли над узкой, почти высохшей речушкой. Девятнадцать миль до ближайшего пункта цивилизации — трактира у большой дороги.

Гуртовщик, бывший овцевод, в отъезде. Его жена и дети остались дома одни.

Четверо оборванных, тощих детей играют около дома. Вдруг один из них кричит: «Змея! Мама, змея!»

Высохшая, загорелая до черноты австралийка кидается из кухни, подхватывает малыша с земли и, придерживая его у левого бедра, тянется за палкой.

— Где она?

— Здесь! Заползла в кучу дров!— кричит старший мальчик— пострел лет одиннадцати с сообразительной рожицей.— Стой там, мама! Я с ней разделаюсь. Отойди! Я разделаюсь с негодяйкой!

— Томми, иди сюда! Она тебя укусит. Иди сейчас же, слышишь, что тебе говорят, мерзкий мальчишка!

Мальчик неохотно подходит, таща за собой палку — больше, чем он сам. И вдруг ликующе кричит:

— Вот она! Ползет под дом! — И бросается с поднятой палкой. В то же мгновение большая черная дворняга с желтыми глазами, которая всем своим видом проявляла чрезвычайный интерес к происходящему, срывается с цепи и бросается за змеей. Но на какую-то долю секунды она опаздывает, и ее нос утыкается в каменную щель как раз в тот момент, когда хвост змеи, мелькнув, исчезает. И тут же палка мальчика опускается и обдирает собаке нос. Аллигатор не обращает на это никакого внимания; он принимается рыть землю, чтобы подлезть под дом. Но его наконец утихомиривают и сажают на цепь. Он им еще пригодится.

Жена гуртовщика ставит детей около собачьей будки, а сама караулит змею. Она приносит два блюдечка с молоком и ставит их на землю около стены, как приманку для змеи. Но проходит целый час, а змея все еще не показывается.

Солнце садится, надвигается гроза. Детей нужно отвести в дом. Но в дом она их не пускает, так как знает, что под полом

змея, которая в любую минуту может проползти в комнаты сквозь щель в полу. Поэтому она приносит несколько охапок дров в кухню и затем приводит туда же детей. В кухне нет пола, или, вернее, пол есть, но глинобитный, земляной, как его здесь называют. Посреди кухни стоит большой, грубо сколоченный стол. Она приводит туда детей и велит им забраться на стол. Это два мальчика и две девочки — еще совсем малыши. Она кормит их ужином и затем, прежде чем стемнеет, идет в дом и хватает несколько подушек и одеял, каждую минуту ожидая увидеть змею или наткнуться на нее. Потом стелет постель для детей на кухонном столе и усаживается около него, чтобы сторожить всю ночь.

Она все время поглядывает в угол, и на кухонном шкафчике лежит наготове дубинка, сделанная из молодого деревца. Рядом стоит ее корзинка с шитьем и «Журнал для юных леди». И собаку она привела в комнату.

Томми с трудом удалось загнать в постель, и он заявляет, что все равно не будет спать всю почь и убьет эту чертову змею.

Мать спрашивает, сколько раз ему говорить, что нельзя ругаться.

Он положил дубинку с собой под одеяло, и Джекки жалуется матери:

— Мама! Томми всего меня исцарапал своей дубинкой. Скажи ему, чтобы он ее выбросил.

Томми:

— Заткнись, ты, черт! Или ты хочешь, чтобы тебя укусила змея?

Джекки замолкает.

— Если она тебя укусит,— говорит Томми минуту спустя,— ты распухнешь и от тебя будет вонять, покроешься красными, зелеными и синими пятнами, а потом лопнешь. Правда, мама?

— Ну, ну, не пугай ребенка. Спи,— говорит она.

Двое младших детей уже спят, а Джекки время от времени жалуется, что ему тесно. Ему освобождают больше места. Вдруг Томми говорит:

— Мама! Слышишь этих проклятых опоссумов? Свернуть бы мерзавцам шею.

А Джекки возражает сквозь сон:

— Но они же не вредные, эти мерзавцы!

Мать:

— Вот видишь, я говорила тебе, что Джекки научится у тебя ругаться.

Но слова Джекки вызывают у нее улыбку. Джекки засыпает.

Потом Томми вдруг спрашивает:

— Мама! А как ты думаешь, когда-нибудь вытащат из колодца этого проклятого кенгуру?

— Господи! Откуда я знаю, детка! Спи.

— Ты меня разбудишь, когда змея выползет?

— Разбужу. Спи.

Близится полночь. Дети все спят, а она тихо сидит около них и то читает, то шьет. Время от времени она бросает взгляд на пол и стену, смежную с домом, и как только слышит какой-либо шорох, хватается за палку. Начинается гроза, и ветер, продувая сквозь щели, колеблет пламя свечи, угрожая задуть его. Женщина ставит свечу на столик в защищенном от ветра месте и загораживает ее газетой. При каждой вспышке молнии щели между горбылями отсвечивают серебром. Гремит гром, и дождь льет как из ведра.

Аллигатор во всю длину растянулся на полу, устремив взгляд на стену. И женщина знает, что змея там. Внизу в стене большие дыры, которые ведут под пол жилого помещения.

Она не из трусливых, но напугана недавними событиями: сынишку шурина укусила змея, и он умер. Кроме того, она уже полгода не имеет никаких сведений о муже и беспокоится о нем.

Он был гуртовщик, а когда они поженились, поселился в этой местности и занялся овцеводством. Засуха 18... года разорила его. Ему пришлось продать остатки своего стада и снова заняться перегонкой гуртов. Он собирается по возвращении перевезти семью в ближайший город, а пока что его брат, который содержит трактир на проезжей дороге, навешает их примерно раз в месяц и привозит им провизию. У нее еще есть две коровы, лошадь и несколько овец. Шурин время от времени режет овцу, оставляет ей столько мяса, сколько требуется, остальное забирает в обмен на другие продукты.

Она привыкла оставаться одна. Однажды она жила так восемнадцать месяцев. В свое время она, как все девушки, строила воздушные замки, но все ее девичьи надежды и стремления давно улетучились. Для отдыха и развлечения ей хватает «Журнала для юных леди», в котором она, бедняжка, с удовольствием рассматривает последние моды.

Ее муж австралиец, и она тоже. Он беззаботный человек, но неплохой муж. Если бы у него были средства, он перевез бы ее в город и она жила бы там как принцесса. Они привыкли жить раздельно, по крайней мере, она привыкла. «Что толку волноваться?» — говорит она. Может быть, он иногда даже забывает, что женат, но если ему удастся сколотить деньжат, то, вернувшись домой, он большую часть этих денег отдаст ей. Когда у него бывали деньги, он возил ее несколько раз в город, брал отдельное спаль-

ное купе и останавливался в лучших отелях. Он купил ей также коляску, но им пришлось продать ее, как и многое другое.

Последние два ребенка родились на ферме — один родился, пока ее муж ездил за доктором, которого он нашел пьяным и привез к ней силой, а в это время она оставалась одна и была очень слаба. Незадолго до родов у нее была лихорадка. Она молила господа ниспослать ей помощь. И бог послал ей Черную Мэри — самую порядочную из местных туземок, вернее, бог сначала послал ей короля Джимми, а уж он прислал ей Черную Мэри. Он просунул в дверь свое черное лицо, сразу понял, в чем дело, и подбодрил ее:

— Ничего, миссус,— сказал он,— сейчас пришлю своя старуха, она там у ручья.

Один из детей умер, когда она была здесь одна. Она проехала верхом девятнадцать миль до ближайшего доктора, держа на руках мертвого ребенка.

Уже час или два часа ночи. Огонь почти погас. Аллигатор положил голову на лапы и по-прежнему не спускает глаз со стены. Его нельзя назвать красивым псом, и сейчас, при свете огня, особенно ясно видны многочисленные рубцы и плешины в шерсти. Но зато ему сам черт не брат. Он так же рьяно бросается на бычка, как и на блоху. Он ненавидит всех других собак и явно недолюбливает друзей и родственников этой семьи. К счастью, они редко появляются. Иногда Аллигатор проявляет дружелюбие к посторонним. Он ненавидит змей, и не одна змея погибла от его зубов, но и сам он погибнет от укуса змеи, как большинство собак — охотников за змеями.

Время от времени австралийка откладывает работу, вглядывается в темноту, прислушивается, размышляет. Она вспоминает события из своей собственной жизни; больше ей почти не о чем размышлять.

От дождя будет лучше расти трава, и это напоминает ей, как однажды, когда ее муж был в отъезде, она одна боролась с лесным пожаром. Трава была высокая и очень сухая, и огонь угрожал сжечь их жилье. Она надела брюки своего мужа и хлестала по пламени большой зеленой веткой, и у нее на лбу выступили крупные капли черного от копоти пота. Они стекали по ее закоптившимся рукам, оставляя полосы. Вид матери в брюках очень рассмешил Томми, который героически ей помогал, а напуганный малыш орал благим матом и звал маму. Огонь одолел бы ее, но, к счастью, вовремя подоспели четверо соседей. На этом суматоха не кончилась. Когда она попыталась взять на руки ребенка, он закричал и стал судорожно отбиваться, приняв мать за «чернокожего». Аллигатор, доверяя чутью ребенка больше, чем даже соб-

ственному инстинкту, напал на нее и, так как он стар и глуховат, в возбуждении не узнал сначала голоса хозяйки, крепко вцепился в ее молескиновые штаны и не отпускал их, пока Томми не сдавил ему шею седельным ремешком. Собака была очень сконфужена своей ошибкой и изо всех сил старалась загладить вину, виляя косматым хвостом и будто в виноватой улыбке скаля зубы. Вот было развлечение для мальчиков! Они вспоминали потом этот день в течение многих лет и каждый раз весело смеялись.

Женщина вспоминает о том, как ей пришлось бороться с наводнением — тоже в отсутствие мужа. Она провела несколько часов под ливнем, роя отводную канаву, чтобы спасти плотину на речке. Но ей не удалось ее спасти. Это было не под силу даже жительнице зарослей. На следующее утро поток прорвал плотину, и ее сердце тоже готово было разорваться от горя. Она представляла себе, как огорчится ее муж, когда приедет домой и увидит, что результаты труда многих лет пошли насмарку. В тот день она плакала.

Она лечила немногих оставшихся коров от плевропневмонии — давала им лекарства и пускала кровь. И снова не удержалась от слез, когда две ее лучших коровы пали.

Ей довелось также сражаться с бешеным быком, который целый день осаждал их дом. Она сама отлила пули и стреляла в него из старого охотничьего ружья сквозь щели между горбылей. К утру он околел. Она освежевала его и получила за его шкуру семнадцать шиллингов шесть пенсов.

Приходилось ей воевать также с вороньем и орлами, которые охотятся за ее цыплятами. И она придумала для этого забавный способ. Дети кричат: «Вороны, мама!» Она выскакивает и прицеливается из палки от метлы, как будто бы из ружья, и восклицает: «Пиф-паф!» Вороны поспешно улетают; они хитры, но женщина еще хитрее.

Иногда сюда забредает какой-нибудь сезонник в состоянии запоя или бродяга зловещего вида и пугает ее до смерти. Она спешит сообщить этим подозрительным личностям, которые всегда сначала спрашивают хозяина, что ее муж и двое сыновей работают за плотиной или во дворе.

Только неделю назад какой-то сезонник, с лицом настоящего каторжника, удостоверившись, что в доме нет мужчины, сбросил свой свэг на веранду и потребовал «жратвы». Она дала ему немного поесть, а затем он заявил, что думает остаться у нее на ночь. Это было уже после захода солнца. Она вытащила доску из дивана, спустила с цепи собаку и предстала перед ним с доской в одной руке и держа собаку за ошейник другой. «Поди вон!» —

сказала она. Он взглянул на нее и на собаку и, сказав заискивающим голосом: «Ладно, мать»,— ушел. Видно было, что она не отступит, а желтые глаза Аллигатора свирепо сверкали, да кроме того, пасть этого пса сильно напоминала пасть того пресмыкающегося, имя которого он носил.

Мало было в ее жизни хорошего, о чем она могла бы сейчас вспомнить, сидя у огня и подстерегая змею. Все дни для нее похожи один на другой, но в воскресенье, после обеда, она надевает платье получше, приводит в порядок детей, прихорашивает малыша, сажает его в старую детскую коляску и идет с ними гулять по тропинке в зарослях. Эту одинокую прогулку она совершает каждое воскресенье. Она прилагает столько же усилий, чтобы дети и она сама выглядели как можно наряднее, как если бы она шла с ними гулять по улицам города. Но на этой прогулке некого встретить и нечего смотреть. Можно пройти двадцать миль по этой дороге, и вокруг будет все то же. Только житель зарослей может ориентироваться в этих местах. Это вечное, сводящее с ума однообразие, все те же чахлые деревья, эта монотонность вселяли в человека страстное желание вырваться отсюда и бежать куда глаза глядят — уехать поездом или уплыть на корабле на самый край света — и еще дальше.

Но эта женщина привыкла к одиночеству. Когда она только что вышла замуж, она ненавидела здесь все, а теперь она чувствовала бы себя чужой в любом другом месте.

Она радуется, когда возвращается муж, но не изливает своих чувств и не суетится. Она готовит ему еду повкусней и прихорашивает детей.

Кажется, что она довольна своей жизнью. Она любит детей, но у нее не хватает времени проявлять это чувство. Со стороны кажется, что она сурова с ними. Окружающая ее обстановка не благоприятствует развитию «женственности» или сентиментальности.

Должно быть, уже скоро утро, но она не знает, который час. Свеча почти догорела; она забыла, что у нее вышли все свечи. Нужно принести еще дров, чтобы поддержать огонь. Она закрывает собаку на кухне и спешит к куче дров. Дождь прошел, и небо прояснилось. Она потянула палку, торчавшую из кучи, и «...тр-рах...» вся груда дров развалилась.

Вчера она подрядила какого-то прохожего туземца натаскать ей дров и, пока он работал, отправилась на поиски пропавшей коровы. Она отсутствовала около часа, и туземец «не терял времени даром». Возвратившись и увидев около кухни огромную кучу дров, она была так поражена, что добавила ему пачку табаку и

похвалила за усердие. Он поблагодарил ее и ушел, выпятив грудь и высоко подняв голову. Он был последний представитель своего племени и король, но поленницу он выстроил пустую изнутри.

Ей обидно, и когда она снова усаживается за стол, на глазах у нее слезы. Она вынимает платок, чтобы вытереть их, но вместо платка трет глаза просто пальцами. Платок весь дырявый, и ее большой палец пролез в одну дырку, а указательный в другую. Это развеселило ее, и она громко смеется, к удивлению собаки. У нее сильно развито чувство юмора, и она время от времени забавляет местных жителей какой-нибудь историей.

Так бывало и раньше. Стоило ей подумать о чем-нибудь смешном, и ее огорчение рассеивалось. Однажды она собралась, по ее словам, «всплакнуть как следует», но старая кошка стала тереться около ее юбки и «тоже заплакала», и она не смогла удержаться от смеха.

Скоро, наверно, рассветет. В комнате очень душно и жарко от очага. Аллигатор время от времени поглядывает на стену. Внезапно он настораживается; он подползает на несколько дюймов поближе к стене, и по его телу пробегает дрожь. Шерсть на загривке встает дыбом, и его желтые глаза загораются боевым огнем. Она знает, что это означает, и хватает палку. Внизу между горбылями большущая щель, и в этой щели сверкнула пара маленьких, злобных, похожих на две бусинки блестящих глаз. Черная змея медленно выползает, примерно на фут, поднимая и опуская голову. Собака лежит неподвижно, а женщина сидит как зачарованная. Змея выползает еще на фут. Женщина поднимает палку, и пресмыкающееся, словно вдруг почуяв опасность, быстро просовывает голову в щель по другую сторону горбыля и торопливо тянет туда хвост. Аллигатор прыгает и щелкает челюстями. Он промахнулся, потому что его морда слишком велика, а змея находится в самом углу между полом и стеной. Как только показывается хвост, пес опять щелкает челюстями. Его зубы впились в хвост змеи, и вот он уже вытянул ее на восемнадцать дюймов. Бум, бум! — палка женщины застучала по земле. Аллигатор снова дергает. Бум, бум! Аллигатор делает еще рывок и вытягивает всю змею — черную гадину длиною в пять футов. Голова поднимается, чтобы укусить его, но пес уже впился врагу в затылок. Он большой, сильный пес, но его движения быстры, как у терьера. Он трясет змею, как бы расплачиваясь с ней за проклятие первородного греха. Старший мальчик просыпается, хватает палку и хочет слезть с кровати, но мать, схватив его, как тисками, водворяет обратно. Бум, бум! — спина змеи разбита в нескольких местах. Бум, бум! — голова раздроблена, и нос Аллигатора снова ободран.

Женщина поднимает растерзанное пресмыкающееся на конец палки и бросает его в огонь, затем подбрасывает туда дров и смотрит, как змея горит. Мальчик и пес тоже смотрят. Она кладет руку на голову собаке, и свирепый огонь постепенно угасает в желтых глазах Аллигатора. Младшие дети успокаиваются и вскоре засыпают. Старший мальчик с грязными ногами все еще стоит в своей рубашонке и глядит на огонь. Потом он смотрит на мать, видит слезы в ее глазах, обвивает ее шею руками и восклицает:

— Мама! Я никогда не стану гуртовщиком. Провалиться мне, если стану!

Она прижимает его к истощенной груди и целует. Так они сидят вместе, а над зарослями пробивается бледный рассвет.

СТАРЫЙ ТОВАРИЩ ОТЦА

Помнишь, как мы, бывало, прибегали домой из нашей старой школы и вдруг видели какого-то бородатого человека; он добродушно улыбался нам, а когда мы стаскивали шапки, мать говорила: «Это, Джонни, старый товарищ твоего отца с приисков». А он гладил нас по голове и говорил, что мы хорошие мальчики или девочки — как уж там случалось, что у одного из нас нос отца, а у другого глаза матери или наоборот и что малыш — точная копия матери, а затем, чтобы не обидеть и отца, он добавлял: «Но он и на тебя похож, Том». Нам, ребятам, чудно было слышать, что он обращается к старику по имени,— ведь мать всегда называла его «отец». Она звала старого товарища «мистер такой-то», а отец называл его «Билл» или еще как-нибудь в этом роде.

Случалось, что такой старый товарищ являлся к нам одетый по последней городской моде, а иногда он приходил в новеньком костюме из магазина готового платья, а то вдруг появится в чистых белых молескиновых штанах, грубошерстном пиджаке, светлой рубашке, тяжелых башмаках и мягкой фетровой шляпе, с чистым платком в горошек на шее. Но у него почти всегда было круглое, веселое, коричневое от загара лицо, мозолистые руки и седая борода. Поначалу он иногда казался нам чудным и неотесанным, но отец вроде никогда не удивлялся ничему, что он говорил и делал,— они прекрасно друг друга понимали,— и мы вскоре привязывались к этому обломку прошлого нашего отца. У него всегда были для нас фрукты или леденцы — странно, что он никогда об этом не забывал,— и он потихоньку совал нам в грязные руки монетки и рассказывал истории о старом времени, «когда мы

с твоим отцом были на приисках, а о тебе, паренек, никто еще и не думал».

Иногда старый товарищ оставался на воскресенье, а утром или после обеда они с отцом прохаживались среди заброшенных шурфов в Сэплинг Галли или на Куортц Ридж, критикуя старые заявки и толкуя о прошлых ошибках золотоискателей, о втором слое, о жилах, о залегании пластов и их выходе на поверхность; они с задумчивым видом подбирали обломки кварца и сланца, терли их о рукава и, рассеянно поглядев на них, снова бросали на землю. Иногда они вспоминали какой-нибудь случай из своего прошлого: «Вот тут, с этой стороны от нас, была артель Хогана, с другой стороны был Макинтош; у Мака и Хога было золото, почему же мы-то, черт побери, так на него и не наткнулись?» И товарищ всегда соглашался, что «в этих кряжах и оврагах есть еще золотишко; были бы деньги, мы бы до него добрались». А затем отец показывал ему место, где он собирался когда-нибудь заложить шурф,— старик всегда мечтал заложить шурф. И оба они, эти ветераны «59-го года», слонялись по прииску, сидели на корточках на залитых солнцем отвалах, мяли в руках комья глины, строили планы о том, как они будут закладывать новые шурфы, и покуривали, пока мать не посылала мальчишку «поискать отца и мистера такого-то и позвать их обедать».

Иногда же — в особенности спозаранку — они расхаживали у ограды фермы, разглядывая скотину: пяток запыленных, похожих на скелеты коров, пару телят со впалыми боками и одну страховидную клячу, которую, кстати говоря, старый товарищ отца всегда расхваливал. Но душа «фермера» не лежала ни к сельскому хозяйству, ни к животноводству — душа его была далеко-далеко, в Западной Австралии или Куинсленде, куда совсем недавно снова ринулся поток золотоискателей, или похоронена в иссякших приисках Тамбаруры, Мэрид Мэн Крик или Аралуэпа. Мало-помалу воспоминания о каком-нибудь полузабытом пласте, или жиле, или заявке «Последний Шанс», «Nil Desperandum» или «Коричневая змея» увлекали их мысли в прошлое, далеко от пыльных, едва пробивавшихся ростков, которые именовались «пшеницей», или нескольких унылых, полуувядших черенков, из которых состоял сад. В их разговоре то и дело мелькали Голден Пойнт, Бейкери Хилл, Дип Крик, Мэйтленд Бар, Спесимен Флэт и Чайнемен Галли. Их беседа тянулась, пока мальчишка не прибегал сказать: «Мама говорит, что завтрак стынет»; тогда старый товарищ поднимался, потягивался и говорил: «Ну что ж, Том, хозяйку нельзя заставлять ждать».

После чая, если на дворе было тепло, они садились на бревно, возле кучи дров, или на пороге веранды и болтали о Балларате

или Бендиго — о днях, когда говорили «на Балларате, на Гульгонге, на Лэминг Флэте, на Кресвике»,— упоминали как старых знакомых такие места, как Турон, Лаклан, Гомруль, Канадиен Лид. Вспоминали они и своих старых приятелей: Тома Брука, Джека Хенрайта и беднягу Мартина Рэтклифа, который погиб в шурфе, и многих других, кого они знали не так хорошо и называли «Адольфус с Аделаиды», «Корни Джордж» и другими более или менее подходящими кличками.

Иногда они начинали тихо и таинственно разговаривать об «Обороне Эврики», а если мы, не понимая, о чем они говорят, спрашивали, что это такое — «Оборона Эврики» или «из-за чего это было?» — отец говорил: «Давай, сынок, беги играй и не приставай; мы с мистером таким-то хотим поговорить». У отца была впадинка на ноге, которая, по его словам, осталась у него с детства от нечаянного выстрела, а когда он ходил с нами купаться, мы заметили у него на боку шрам; он рассказывал, что шрам этот — память о несчастном случае в дробилке. Большой шрам был и на лбу у мистера такого-то — когда-то в шурф, где он работал, упала кирка, выскользнувшая из петли в веревке. Но почему-то каждый раз, заговаривая об Эврике, они вдруг переходили на шепот, а глаза их светлели, и смотрели они не друг на друга, а на далекий закат, а затем вставали и отправлялись погулять на вечернем холодке.

Случалось, что они начинали говорить еще тише и таинственнее, а мать, проходя мимо кучи дров, где они сидели, и мельком уловив какое-нибудь слово, спрашивала: «Кто же это она была, Том?» А Том, то есть отец, отвечал: «Да ты ее не знала, Мэри»; она была дочка одних знакомых Билла». Билл в таких случаях напускал на себя очень серьезный вид, а когда мать уходила, они оба потихоньку улыбались, потягивались и говорили: «Вот так-то!» — и заговаривали о другом.

Некоторые из этих старых товарищей отца знали и другие истории, которые они рассказывали нам по вечерам, сидя у камина. Один из них часто рассказывал, как одна девушка — королева прииска — выходила замуж, а обручальное кольцо ей сделали из золота с того же прииска; как старатели взвешивали свое золото, прицепив ее кольцо, на счастье, к крючку весов и прикрепляя к нему свои замшевые мешочки с золотом (а она хвасталась потом, что через ее обручальное кольцо прошло четыреста унций драгоценного металла); как они спустили новобрачную, с завязанными глазами, в большой бадье в шурф, чтобы она указала пальцем на штрек, откуда было добыто золото для ее кольца. Суть этой истории понять уже было трудно,— а может быть, ее забыли,— но сама история была характерна. Если бы девушку спу-

стили в «пустой шурф» и попросили указать дорогу к золоту, а ей удалось бы это сделать, эта история имела бы какой-то смысл.

Говорили они и о Кинге, и о Мэгги Оливер, и о Дж.-В. Бруке, и о других; вспоминали, как старатели однажды отправились за пять миль встречать экипаж, в котором приехала молодая актриса; они выпрягли лошадей, доставили ее с триумфом, преклонялись перед ней и отправили ее обратно с почетом, набросав ей на колени самородков. А она встала на сиденье и, изорвав свою соломенную шляпку в клочки, бросала их в толпу, а старатели дрались за эти кусочки соломы и совали их себе за ворот рубашки. Тут, не выдержав, она заплакала и, в свою очередь, сама готова была преклоняться перед этими людьми и любить их всех до одного. Каждый из них был молод и благороден душой. Среди них были люди с высшим образованием, артисты, поэты, музыканты, журналисты — и все это была богема. Люди из всех стран, люди одного мира. Они понимали искусство — а бедности они уже не боялись.

И вдруг старый товарищ отца говорил лукаво, но с грустной, тихой улыбкой:

— У тебя сохранился еще этот клочок соломы, Том?

У всех этих старых товарищей было по три прошлых — о двух они рассказали друг другу, когда стали друзьями, а третье делили совместно.

А после того как гость уезжал в почтовой карете, мы замечали, что отец много курил, часто задумывался, заглядывался на огонь в печке и, пожалуй, становился немного раздражительным.

Этих старых товарищей отца становится все меньше и меньше; теперь уже они появляются лишь изредка, как бы для того, чтобы старик не забывал о прошлом. Вот и сегодня мы встретили одного из них и поболтали с ним, а затем нам почему-то пришло в голову, что, пожалуй, эти наши старые друзья лучше и мягче относились друг к другу, чем мы, молодое поколение, относимся к своим отцам. Боюсь, что сравнение это не в нашу пользу.

ПРЕЛЕСТИ ФЕРМЕРСКОЙ ЖИЗНИ

Вот кого действительно сейчас тошно в Австралии слушать, так это тех, кто кричит на каждом углу о прелестях фермерской жизни. Хуже нет, если встретится такой тип на улице и начнет крутить вам пуговицу — развивать какой-нибудь свой проектик на этот счет. По большей части эти люди и представления не имеют, о чем говорят.

Есть в Сиднее один человек по имени Том Хопкинс. Он пробовал фермерствовать, и его можно иногда уговорить порассказать об этом. Когда-то он очень неплохо работал в городе, но вот взбрело ему в голову, что на новых местах, в глубине страны, дела его пойдут еще лучше. Тогда он договорился со своей невестой, что она останется верна ему и будет ждать, пока он не обоснуется на Западе. Больше о ней в рассказе не упоминается.

Выбрал он себе участок возле речки Драй Хоул и месяцев шесть ждал казенных землемеров, чтобы они точно определили границы его владений, но землемеры так и не явились, и поскольку оснований рассчитывать на то, что они появятся в ближайшие десять лет, у него не было, он на свой страх и риск расчистил землю, огородил ее и приступил к сельскохозяйственным операциям.

Известно ли читателям, что означают слова «расчистить землю»? Тому известно. Выяснилось, что как раз на его участке растут самые огромные, самые безобразные и самые несносные деревья. Кроме того, там оказалось огромное количество пней каких-то невероятно твердоствольных эвкалиптов. Приступил он к делу почти без всякого опыта, но зато вооруженный массой советов, которые надавали ему люди, понимавшие в этом деле еще меньше, чем он сам. Он выбрал дерево, нашел местечко порыхлее между двумя корнями с одной его стороны, наметил узенькую неровную канавку и принялся копать, пока не докопался до места, где становой корень не превышал четырех футов в диаметре и был чуть помягче кремня. Но тут выяснилось, что вырытая канава так узка, что в ней и топором-то не размахнешься, и ему пришлось выкопать еще тонны две земли, после чего он решил передохнуть. На следующий день он повел подкоп с другой стороны эвкалипта, но когда он покуривал после чая трубку, его осенила блестящая мысль — выжечь дерево, избавившись заодно от бревен и мусора, наваленных вокруг. Сказано — сделано! Он расширил яму, скатил в нее несколько бревен и поджег. Корни, правда, обуглились, но дереву хоть бы что!

Том, однако, был упорный малый. Он запряг свою лошадь в волокушу, притащил все бревна, которые только мог найти на расстоянии полумили вокруг, и свалил все их в кучу с наветренной стороны этого самого эвкалипта. Ночью огонь нащупал-таки податливое местечко, дерево загорелось и надломилось футах в шести над землей. Оно рухнуло прямо на изгородь соседа-скваттера, оставив пребезобразнейший пень,— для того, очевидно, чтобы наш поселенец не остался без дела на ближайшую неделькy. Он дождался, чтобы яма остыла, и затем, вооружившись кайлом, лопатой и топором, приступил к работе. Фотографии машин для

выкорчевывания пней без применения силы, которые публикуются иногда в сельскохозяйственных еженедельниках, до сих пор еще живо его интересуют. Он думал, что сможет получить из этого дерева какое-то количество столбов и перекладин для изгороди, но обнаружил, что расколоть на части чугунную колонну было бы куда проще, причем раскололась бы она, вероятно, ровнее. Том выяснил, что боковые корни доходят до противоположного конца его участка, и изорвал почти все свои постромки, пытаясь вытащить их при помощи тягловой силы: оказалось, что корни эти, в свою очередь, дали ответвления, уходившие глубоко в землю. Спустя какое-то время ему удалось все же расчистить клочок земли, и в течение нескольких лет он переломал на нем больше плугов, чем ему позволяли средства.

Тем временем скваттер не дремал. Палатку Тома несколько раз обкрадывали, а хижина его дважды сгорала дотла. Затем на него самого скваттер подал в суд за то, что он якобы зарезал несколько его овец и бычка с целью «присвоения их и использования для своих нужд», и он выкрутился только благодаря тому, что скваттер и местный мировой судья не сошлись взглядами в вопросах политики и религии.

Том вспахал свой участок и посеял пшеницу, но результаты были плачевны: земля оказалась слишком скудна. Тогда он принялся возить навоз из ближайшего городка, находившегося в шести милях, удобрил землю, снова посеял пшеницу и стал молиться о дожде. И дождь пошел. От него вздулись реки, и наводнение начисто смыло весь посев и вдобавок несколько акров навоза и значительную часть верхнего слоя почвы. Взамен вода принесла песок, в количестве достаточном для устройства хорошего пляжа, и расстелила на поле песчаный покров дюймов в шесть толщиной. Кроме того, разлившийся поток утащил за собой часть изгороди, протяжением с полмили, огораживавшей участок со стороны берега, и выбросил ее там, где река давала излучину, на ферму подставщика, который не замедлил ее конфисковать.

Том не сдавался — энергии у него хватало на десятерых. Он расчистил еще один участок земли на склоне и еще раз посеял пшеницу. На нее напала ржа — или головня,— и он выручил в среднем по три шиллинга за бушель. Тогда он посеял люцерну и овес и купил несколько коров — ему пришла в голову мысль заняться молочным хозяйством. Первым делом у коров сделалось что-то с глазами, и он обратился за помощью к соседу-немцу — мелкому фермеру. Действуя по его совету, он стал вдувать через бумажную трубочку толченые квасцы в воспаленные глаза коров; однако коровы сопротивлялись, и часть порошка попала в глаза ему самому. Коровам глаза он вылечил, но заболел сам острым

конъюнктивитом и с неделю не мог отличить, где у коровы зад, а где перед, и сидел у себя в хижине в темном уголке, стонал и промывал теплой водой слипшиеся веки. Германия в беде его не покинула, выходила и поставила на ноги.

Но тут на дойных коров напала какая-то болезнь вымени, и каждый раз Том доил их с опасностью для жизни. Все же коров ему удалось вылечить, но тут цена на масло упала до четырех пенсов за фунт. Том и вышеупомянутый сосед-фермер совсем было договорились с оптовиком относительно сдачи масла по более высокой цене, но как раз в этот момент коровы подхватили болезнь, известную в тех местах под названием «плерапермония» и именуемую в просторечии «плеровкой».

Снова Тому пришлось обращаться за советами, следуя которым он надрезал коровам уши, наполовину обрубал им хвосты, чтобы пустить кровь, и вливал в них через ноздри пинты «болеутоляющих», но коровы со своей стороны не прилагали никаких усилий к тому, чтобы поправиться. Единственное усилие, на которое они были способны, это приподняться и боднуть фермера, когда он пытался возбудить их аппетит ломтиками недозрелой тыквы. Они спокойно, но упорно продолжали падать, пока наконец в живых осталось только некое злобное, вечно яловое существо с впалыми боками и бесцветными глазами — настоящий псих в образе коровы. Она умела очень ловко перемахивать через изгороди и была известна в округе под кличкой Королевы Елизаветы.

Том пристрелил Королеву Елизавету и снова сосредоточил внимание на земледелии. В это время его рабочие лошади схватили болезнь, которую тевтон называл «Der Shtranguls». Следуя совету Джэкоба, Том провел с ними курс лечения... и они пали.

Но и тут Том не признал себя побежденным — человек этот поистине обладал железной волей. Он взял на время разбитую ломовую лошадь, впряг ее в плуг вместе со своей старой верховой лошаденкой и снова приступил к вспашке. Комбинация оказалась не из удачных. Если у ломовика подкашивались колени и он оступался, то при этом он резко дергал более легковесную лошадь, последняя пятилась назад к плугу и что-нибудь при этом ломала. Тогда Том отводил душу несусветной руганью, потом при помощи проволоки и веревок чинил упряжь, набивал карманы камнями, чтобы было чем швырять в лошадей, и начинал все сначала... В конце концов он нанял мальчишку — сына подставщика, чтобы тот погонял лошадей. Шалопай старался вовсю: тянул упряжку спереди, подгонял ее сзади, швырял камнями, срезал хорошую хворостину и, придя в раж, принимался отчаянно хле-

стать верховую лошадку, как только ломовик проявлял хоть какое-нибудь намерение шевельнуться... Но ему так ни разу и не удалось заставить обеих лошадей двинуться вперед одновременно. Кроме того, малый был порядочный нахал, а фермер к тому времени сильно озлобился — он поносил мальчишку и вместе с мальчишкой проклинал лошадей, плуг, свою ферму, скваттера и Австралию. Да, он проклинал Австралию! Мальчишка не пожелал оставаться в долгу, получил затрещину и немедленно кинулся домой за отцом.

Когда тот явился, собака подставщика набросилась на собаку Тома, и это обстоятельство ускорило ход событий. Подставщику никогда не устоять бы, если бы на помощь не подоспела его супруга со старшим сыном и всем остальным семейством. Все они набросились на Тома. Самым страшным противником оказалась женщина. Собака фермера только-только успела перегрызть горло своему врагу и кинуться на подмогу к хозяину; если бы не это, Тому Хопкинсу никогда бы не дожить до того дня, когда он угодил в сумасшедший дом.

На следующий год пышные травы уродились только на ферме Тома и нигде больше, поэтому он решил, что неплохо будет купить плохоньких овец и подкормить их хорошенько на продажу: овец в то время отдавали по семь шиллингов шесть пенсов дюжина. Том купил себе сотни две, но скваттер поставил человека, который караулил у границы участка, и стоило овцам сунуть морду за изгородь (изгородь Тома не была рассчитана на овец), как тот спускал на них собак. Собаки гнали овец через весь участок Тома к противоположному краю, где их поджидал другой человек с палкой наготове.

Собака Тома делала все, что могла, расправляясь с четвероногими приспешниками капитализма, но, прикончив четвертого, сама заболела и скоро сдохла. Выпуская на овец своего пса, подставщики втерли ему в шерсть яд — это был единственный способ разделаться с собакой Тома.

Том думал, не лучше ли у него пойдет дело с товарищем, но племянника, который приехал к нему из города, арестовали по наущению скваттера, обвинив в том, что он якобы крал овец, и приговорили к двум годам каторжных работ. За это время наш фермер и сам отсидел шесть месяцев за «применение физического насилия» в отношении скваттера «с намерением нанесения ему серьезных телесных повреждений». Собственно говоря, он пошел дальше намерений, если сломанный нос, трещина в челюсти и потеря скваттером изрядного количества зубов что-нибудь да значат. Скваттер к тому времени наладил отношения с другим мировым судьей и даже выдал за него дочь.

Вернулся Том из тюрьмы к пепелищу, но, подрядившись на постройку изгородей, он сколотил несколько фунтов и решил продолжать свои фермерские опыты. В течение следующего года он обзавелся «хозяйкой» и несколькими коровами. «Хозяйка» его обворовала и сбежала с одним из подставщиков, часть коров пала во время засухи, остальных же загнал к себе скваттер, якобы за потраву, когда они ходили на водопой. Тогда Том арендовал фруктовый сад в верховьях ручья, но град побил все фрукты. При этом событии опять была представлена Германия — Джэкоб, возвращаясь домой из города, укрылся в хижине Тома от грозы. Всю грозу Том простоял снаружи, прислонившись к притолоке, не обращая внимания на град. Глаза его горели сухим огнем, и из груди с каждым вздохом вырывались сдавленные рыданья. Джэкоб не трогал его, а сидел в хижине с мечтательным выражением на суровом лице — по всей вероятности, вспоминал детство и фатерланд. Когда все кончилось, он подвел Тома к табуретке, усадил его и сказал:

— Ты будешь ожидать здесь, Том. Я буду домой за чем-то ехать. Ты будешь сидеть здесь спокойно и ожидать двадцать минут.

Затем он сел верхом на свою лошадь и поехал, бормоча под нос:

— Этот шеловек должен слезиться, этот шеловек должен слезиться.

Через двадцать минут он вернулся с бутылкой вина и корнетом под полой. Он разлил вино в две большие кружки, заставил Тома выпить, выпил сам, а затем вынул свой корнет, встал на пороге и заиграл вслед уходящей туче немецкий марш. Град прошел и над его виноградником, он тоже был разорен вчистую. Том «прослезился», и все обошлось. Он, конечно, приуныл, но снова подрядился ставить изгороди и уже подумывал, «не посадить ли несколько виноградных лоз и фруктовых деревьев», как вдруг казенные землемеры — о существовании которых он совершенно позабыл — воскресли из мертвых, и явились, и обмерили, и объявили, что в действительности его участок находится среди бесплодных каменистых холмов по ту сторону речки. Том порадовался, что не успел еще насадить новый фруктовый сад, и стал перетаскивать свой дом и изгородь на новый участок, но тут вмешался скваттер, захватил ферму со всем имуществом и возбудил дело против Тома, обвиняя его в незаконном присвоении земельной собственности, и предъявил ему иск в размере двух с половиной тысяч фунтов стерлингов.

На следующий год Том проследовал в сумасшедший дом в Парраматте, а летом туда же прислали скваттера, разоренного

засухой, кроликами, банками и шерстяными монополиями. Они очень подружились и часто вели оживленные беседы относительно возможности — или невозможности — взрыва небесных шлюзов во время засухи при помощи динамита.

Через несколько лет Тома выпустили. Он обосновался в одном из пригородов. Днем его встретишь редко, а ночью он по большей части с фонарем в руках сопровождает некую подводу. Он говорит, что единственное, о чем сожалеет, так это о том, что его не посадили в сумасшедший дом прежде, чем он занялся фермерством.

В ЗАСУХУ

Нарисуйте изгородь и несколько корявых эвкалиптов, добавьте стадо овец, бросившихся врассыпную от поезда. Вот вам и готова картинка местности, начинающейся от Батхерста и тянущейся вдоль всей западной линии Ново-Южно-Уэльской железной дороги.

Железнодорожные городишки состоят из трактира и универсального магазинчика; тут же неподалеку находятся резервуар для воды в виде куба и школа на сваях. Резервуар примыкает к школе, размером он не многим меньше школьного здания. Вы не ошибетесь, если назовете трактир «Железнодорожной гостиницей», а магазинчик — «Железнодорожными торговыми рядами»,— именно «рядами» во множественном числе! Возле трактира будут, по всей вероятности, стоять две-три давно не чищенные понурые клячи, дожидающиеся, пока хозяева их пропустят стаканчик (и не один и не два).

Не ошибетесь вы, если пририсуете и безработного сезонника на веранде, апатично сидящего на ступеньках и читающего «Бюллетин».

Железнодорожные магазинчики могут, по-видимому, существовать только совместно с трактиром. Одно без другого представить себе невозможно. Кое-где можно увидеть продолговатое дощатое строеньице, некрашеное и обычно накренившееся на один бок, да еще давшее перекос в противоположную сторону; судя по полустертой вывеске, построили его с целью конкурировать с Торговыми рядами, но ставни его наглухо заколочены, и здание пусто.

Я видел только один городок, который значительно отличался от описанных выше,— он представлял собой одну-единственную лачугу из эвкалиптовой коры с глиняной трубой; стоявшая на ее пороге женщина выплескивала из таза мыльную воду.

Если художнику наскучит этот пейзаж, он может сделать акварельный этюд — палатка ремонтников возле полотна железной дороги, у входа костер, над костром котелок, возле палатки трое рабочих набивают трубки.

За Батхерстом в поезде стали появляться мешковатые холщовые костюмы, загорелые докрасна физиономии, старомодные шляпы с прямыми полями, в ободок которых вставлена проволока. То здесь, то там замелькали шляпы с повязкой из крепа на тулье — это могло означать смерть одного из родственников в отдаленном прошлом, но могло и ничего не означать. В некоторых случаях, как мне кажется, траурная лента служит лишь для прикрытия сального пятна на шляпе. Я заметил, что гуртовщик, раз повязав креп, обычно уже не снимает его, пока не истреплется сама шляпа или не умрет еще кто-нибудь из близких. В последнем случае он покупает новую ленту крепа. Из-под этих траурных причиндалов выглядывает обычно жизнерадостная, загорелая рожа. Смерть чуть ли не единственное событие в тех краях, которому можно порадоваться.

Мы пересекли Маккуори. Это узкая илистая канава; три козы с интересом наблюдали, как с одного ее берега на другой плыла собака.

Чуть подальше мы увидели первого сезонника. За спиной он нес внушительных размеров свэг, в одной руке — котелок, в другой — палку. Одет он был в порыжевший от старости фрак, рубашку из набивного ситца, молескиновые штаны с квадратными коленкоровыми заплатами на коленях; коленкором же была обтянута его старая соломенная шляпа. Внезапно он сбросил свэг, кинул котелок и устремился вперед, бесстрашно размахивая палкой. Я решил, что в припадке безумия он хочет напасть на поезд, но оказалось, что нет,— он всего лишь хотел убить змею. Я так и не успел посмотреть, расправился ли он с ней. Может быть, он вспомнил, как змей поступил с Адамом?

Я уже слышал, что по ту сторону Невертайра стоит страшная засуха. Так оно на самом деле и было! Расположиться где-нибудь здесь на отдых я бы не согласился. В засуху наименее ужасное место в зарослях — это там, где зарослей больше нет,— где они расчищены и на их месте робко пробиваются зеленые всходы. Говорят о том, что надо селиться на земле. Лучше уж прямо зарывать людей в нее! Лично я предпочел бы поселиться на воде, во всяком случае, до тех пор, пока не будет введена в действие какая-нибудь грандиозная система орошения западных земель.

Неподалеку от Байрока нам повстречались первые стригальщики. Одеваются они, как безработные, но отличаются от этой категории людей своим весьма независимым видом. Они восседали

на фурах, на тюках с шерстью, на изгородях, глазели на поезд и приветствовали то какого-то Билла, то Джима, то Дика и осведомлялись, как обстоят дела у вышеупомянутых личностей...

Здесь стали попадаться заросшие бородой физиономии и мягкие фетровые шляпы с ремешками вокруг тульи. Встретился и бравый следопыт-туземец в щегольской форме и высоких сапогах.

Мелькнули какие-то личности в крахмальных воротничках с прилизанными волосами — видно было, что они стараются из последнего сохранить приличный вид. Нередко безработный бодро пускается в путь, не имея в кармане ничего, кроме письма от Бюро труда. Он воображает, что до фермы, где его ждет работа, от Берка шутя можно дойти пешком. Может быть, он даже думает, что ему подадут тележку или двуколку... Он едет в поезде ночь, едет день, ни разу не поев, и, приехав, узнает, что до фермы еще миль восемьдесят — сто. Тут ему приходится объяснять ситуацию трактирщику и кучеру дилижанса. Слава тебе господи, что есть у нас трактирщики и кучера дилижансов! Прости нам, господи, наш социальный строй!

Местная промышленность была представлена только в одном местечке на всем протяжении линии железной дороги. Это были три черепицы, колпак дымохода и кусок трубопровода на плоском камне.

Мне посоветовали как-то:

— Вы бы, молодой человек, в глубинку съездили, если уж вам так охота поглядеть страну. Съездили бы подальше от железной дороги!

Нет, спасибо, я уже ездил.

В Австралии можно забраться хоть к черту на рога, и все равно там встретишь какого-нибудь сезонника — ни дать ни взять, ожившую мумию,— который будет бодро твердить, что надо уходить в глубь страны. Нет, уж хватит с меня этих глубинок!

Около Байрока мы встретили местного враля во всем его великолепии. Одет он был, как... ну как обычно одеваются босяки в тех местах. Звали его Джим. Он был недавно на танцульке, и какой-то сукин сын «свистнул» у него пиджак. А в кармане пиджака лежал чек на десять фунтов. Особой горести по этому поводу он не проявлял: «Подумаешь, десять фунтов!» Он бывал буквально всюду, даже у Залива. Его ждут стричь овец на нескольких фермах. Вот здесь в кармане у него лежат телеграммы по меньшей мере от десятка скваттеров и управляющих — предлагают ему любые условия. Может быть, он согласится, а может, и нет — ему на все это с высокой горы наплевать! Он думал, что телеграммы у него здесь при себе, но, оказывается, они лежали в кармане пиджака, того самого... Скотобойное дело он изучил в

один день... Вообще-то он боксер и много чего может порассказать о том, что творится на рингах. На последней ферме, где он стриг, он так отдубасил управляющего, что тот не скоро забудет. Здоровенный детина этот управляющий, шесть футов три дюйма ростом, самому Падди, как там его, нокаут сделал в первом раунде. Раз ему пришлось работать с одним парнем, так тот за девять часов остриг четыреста овец.

Но тут скромный сезонник, тихо сидевший до этого в уголке вагона, зашевелился, открыл рот, и через три минуты враль совершенно скис.

В половине шестого на фоне закатного неба появилась цепочка верблюдов. Есть в верблюдах что-то змеиное. Они напоминают мне черепах и игуан.

И кто-то сказал:

— А вон и Берк!

ПОХОРОНЫ ЗА СЧЕТ ПРОФСОЮЗА

Однажды в воскресенье, катаясь на лодке по притоку реки Дарлинг, мы увидели на берегу молодого парня, гнавшего небольшой табун лошадей. Парень заговорил с нами, сказав, что денек выдался хорош, и спросил, глубокая ли здесь река. Один остряк из нашей компании ответил, что утопиться ему воды хватит,— тот засмеялся и поехал дальше. Мы сразу о нем забыли.

На следующий день около углового трактира собрался народ,— предстояли похороны, и в ожидании дрог с покойником то один, то другой приглашал приятеля к стойке пропустить стаканчик. Часть времени убили, сплясав джигу под пианино в трактире. Потом придумали другие забавы, потом принялись бороться.

Хоронили молодого сезонника лет двадцати пяти, члена профсоюза, который утонул накануне, переправляя лошадей через приток реки Дарлинг.

Знакомых у него в городке почти не было, и хоронил его профсоюз. Полиция нашла в его свэге какие-то профсоюзные документы и обратилась за справкой в бюро профсоюза сезонных рабочих. Так мы узнали о его смерти. У секретаря сведений о нем оказалось очень мало. Умерший был католик, а большинство горожан — протестанты, но профсоюз важнее бога. Однако вино важнее профсоюза; поэтому, когда дроги с покойником наконец прибыли, две трети собравшихся не могли сдвинуться с места.

Процессия насчитывала пятнадцать участников — четырнадцать душ шествовали за погибшей оболочкой пятнадцатой. Воз-

можно, у четырнадцати живых души под оболочкой было не больше, чем у мертвеца,— но какое это имело значение!

Человек пять из следовавших за гробом, постояльцы трактирщика, наняли двуколку, в которой их хозяин возил пассажиров на станцию и обратно. Нам, пешим, они были чужие, а мы — им. И все мы были чужие покойнику.

Сначала в пыльный хвост нашей процессии пристроился какой-то верховой, с виду гуртовщик, только что вернувшийся из дальней дороги, и некоторое время ехал за нами, ведя на поводу вьючную лошадь, но какой-то дружок отчаянно и весьма недвусмысленно посигналил ему с веранды трактира правой рукой, большим пальцем левой указывая через плечо в направлении бара,— и погонщик сменил курс, и больше мы его не видели. Он-то и вовсе был здесь чужой.

Мы шли парами — всего три пары. Было очень жарко и пыльно; палящий зной стекал по накаленным железным крышам и бил от каждой светлой стены, повернутой к солнцу.

Один или два трактира отдали дань покойнику, закрыв парадный ход, пока мы следовали мимо. В течение нескольких минут клиенты входили и выходили через боковую или заднюю дверь. На такие неудобства в Австралии жалуются редко, если тому причиной похороны. Простой народ почитает мертвых.

По дороге на кладбище мы миновали трех стригальщиков, прикорнувших в тенечке под забором. Один был пьян — весьма пьян. Остальные двое из уважения к умершему — кто бы он ни был — стянули шапки на правое ухо, и один из них пнул пьяного и что-то ему буркнул.

Пьяный выпрямился, вытаращил глаза, неверная рука потянулась к шапке, наполовину ее стащила и надвинула обратно. Затем он предпринял отчаянную попытку собраться с силами, увенчавшуюся успехом,— он встал, попрочнее оперся спиной о забор, сбил шапку на землю и в раскаянии наступил на нее ногой — дабы придержать ее там, пока не пройдет похоронная процессия.

Шагавший рядом со мной высокий гуртовщик с усмешкой прочел что-то из Байрона, приличествующее случаю, то есть смерти, и торжественно осведомился, пустят ли покойника «на тот свет» по его билету. Все решили, что по билету нашего профсоюза не могут не пустить.

Потом мой приятель сказал:

— Помнишь, мы вчера с лодки видели на берегу парня с лошадьми?

— Да.

Он кивнул на дроги и сказал:

— Это он.

— Я особенно не обратил на него внимания,— сказал я.— Он вроде что-то сказал, да?

— Да, он сказал, что денек хороший. Небось знал бы ты, что слышишь его последние слова и через час ему умереть,— посмотрел бы на него получше.

— А то как же,— произнес бас сзади,— поболтали бы с ним подольше, если бы знали.

Мы пересекли железнодорожную линию и потащились по горячей пыльной дороге, что вела к кладбищу, обсуждая несчастный случай и сочиняя разные небылицы насчет того, в какие переделки мы сами попадали. Кто-то сказал:

— Вот он, Дьявол.

Подняв глаза, я увидел под деревом у кладбищенских ворот священника. Дроги подкатили к могиле, задок откинули. Четверо мужчин сняли гроб и положили его около ямы, и все сняли шапки. Священник, бледный спокойный молодой человек, встал под деревцом в головах могилы. Он снял шляпу, небрежно бросил ее на землю и занялся делом. Я заметил, что, когда гроб опрыскивали святой водой, двоих или троих язычников слегка передернуло. Капли быстро высохли, а круглые черные пятнышки от них вскоре запорошило пылью; но по разнице в цвете стало заметно, как бедна и жалка была материя, покрывавшая гроб. Прежде она казалась черной — теперь она приняла тускло-серый оттенок.

И вдруг человеческое недомыслие и тщеславие превратило похороны в фарс. Здоровенный трактирщик с бычьей шеей и прыщеватым грубым лицом, на котором было написано глубочайшее невежество, подобрал соломенную шляпу священника и на протяжении всей службы держал ее на расстоянии двух дюймов над головой его преподобия. Следует отметить, что тот стоял в тени. Некоторые из присутствующих то смущенно надевали, то снимали шапки,— отвращение к живому боролось в них с почтением к мертвому. Тулья шляпы священника была конической формы, а поля свисали вокруг зонтиком, и трактирщик ухватил ее за верхушку своей огромной красной лапой. Справедливость требует признать, что, возможно, священник ничего не заметил. На театральной сцене священник или пастор, оказавшийся в подобном положении, наверное, возгласил бы: «Оставьте шляпу, друг мой, разве память о нашем умершем брате не важнее моего удобства?» Неотесанный мирянин употребил бы выражение покрепче, которое пришлось бы не менее к месту. Но наш священник, кажется, не замечал, что творилось кругом. Кроме того, трактирщик был одним из столпов церкви, и не из последних. Этот невежествен-

ный и самодовольный осел не мог пройти мимо столь удобного случая продемонстрировать свою преданность церкви и свой вес.

Яма казалась узкой по сравнению с гробом, и я с облегчением вздохнул, когда тот свободно скользнул вниз. Однажды в Рукуде я был свидетелем тому, как гроб застрял и его с трудом извлекли обратно и поставили на дерн у ног убитых горем родственников, отчаянно рыдавших, пока могильщики расширяли яму. Но на Западе не слишком точны в выполнении контрактов. Наш же могильщик не был лишен человечности, и из уважения к той человеческой черте, которую называют «чувства», наскреб немного легкой пыльной земли и сбросил ее вниз, чтобы приглушить звук от падения комков глины на гроб. Он даже постарался обратной стороной лопаты направить первые комья в конец ямы, но засохшие твердые куски глины все равно стучали, отскакивая от гроба. Впрочем, это не имело значения — да и что имеет значение? Глина, падающая на гроб незнакомого человека, производит такой же звук, как при падении на обыкновенный деревянный ящик,— по крайней мере, для меня в этом звуке не было ничего скорбного или необычного; правда, очень может быть, что на кого-то из нас, наиболее впечатлительного, этот звук навеял грусть, напомнив какие-нибудь давнишние похороны, когда удар каждого комка переворачивал сердце.

Я не упомянул о букетах акации — потому что их там не было. Я также обошел молчанием опечаленного старого друга со склоненной седеющей головой и исчерченными морщинами щеками, по которым стекали крупные перламутровые слезы. Такого там не было,— возможно, он где-то бродяжил. По той же причине я опустил упоминание о подозрительной влаге в глазах у бородатого бандита из зарослей по имени Билл. Билл не явился, а влага на лицах была вызвана только жарой. Я также не упомянул о «грустном австралийском закате», потому что солнце и не думало закатываться. Похороны состоялись в полдень.

Звали умершего как будто Джим, но в свэге у него, кроме нескольких профсоюзных документов, не нашли ничего — ни фотографий, ни локонов, ни любовных писем или чего-нибудь в этом роде, не было даже письма от матери. Большинство из нас не знало его имени, пока мы не увидели табличку на гробе; для нас он был «бедняга, что вчера утонул».

— Так, значит, его звали Джеймс Тайсон,— взглянув на табличку, сказал мой знакомый гуртовщик.

— А ты разве не знал? — спросил я.

— Нет, я знал только, что он член профсоюза.

Потом оказалось, что Джеймс Тайсон — не настоящее его имя, просто он так назвался.

Во всяком случае, похоронили его под этим именем, и большинство крупных газет Австралии в отделе кратких новостей сообщило, что в прошлое воскресенье в одном из притоков реки Дарлинг утонул молодой человек по имени Джеймс Джон Тайсон.

Впоследствии нам довелось узнать его настоящее имя, но мы его тут же забыли, и если оно когда-либо и встретится нам в колонке «Розыски пропавших без вести», мы ничего не сможем сообщить ни бедной Матери, ни Сестре, ни Жене, ни кому бы то ни было, кто захотел бы о нем услышать.

ЭТОТ МОЙ ПЕС

Со стригальщиком Маккуори произошел несчастный случай. По правде сказать, он участвовал в пьяной драке в придорожном кабаке, откуда выбрался с тремя сломанными ребрами, треснувшим черепом и различными менее серьезными повреждениями. Его пес Тэлли был трезвым, но яростным участником пьяной драки и отделался сломанной лапой.

Затем Маккуори взвалил на плечи свой свэг и, спотыкаясь, прошел десять миль по тракту до городской профсоюзной больницы. Одному богу известно, как он ухитрился это сделать. Сам он хорошенько не знал. Тэлли ковылял за ним всю дорогу на трех лапах.

Доктора осмотрели повреждения и подивились выносливости человека. Даже доктора иной раз удивляются, хотя и не всегда это показывают. Конечно, они соглашались его принять, но возражали против Тэлли. Собакам был воспрещен вход на территорию больницы.

— Придется тебе прогнать этого пса,— сказали они стригальщику, присевшему на край койки.

Маккуори ничего не ответил.

— Здесь не разрешается держать собак, любезный,— повысил голос доктор, думая, что парень глуховат.

— Привяжите его во дворе.

— Нельзя. Запрещено держать собак на больничной территории.

Маккуори медленно встал, стиснул зубы, борясь с мучительной болью, кое-как застегнул рубаху на волосатой груди, взял свою куртку и, шатаясь, поплелся в угол, где лежал его узел.

— Что ты делаешь? — спросили его.

— Вы не разрешаете оставить моего пса?

— Нет. Это против правил. На территории больницы держать собак не разрешается.

Он нагнулся, поднял узел, но боль была слишком сильна, и он прислонился спиной к стене.

— Полно, полно! Что с тобой? — нетерпеливо воскликнул доктор.— С ума ты, что ли, сошел? Ты же знаешь, что не в состоянии идти. Служитель поможет тебе раздеться.

— Нет! — сказал Маккуори.— Нет. Если вы не хотите принять моего пса, так вы и меня не принимайте. У него сломана лапа, и он нуждается в починке не меньше... не меньше, чем я. Если я заслуживаю того, чтобы меня приняли, так и он этого заслуживает не меньше... а больше, чем я.

Он помолчал, тяжело дыша, потом продолжал:

— Вот этот... этот мой старый пес служит мне верой и правдой вот уже двенадцать долгих, тяжелых и голодных лет. Пожалуй... пожалуй, он единственное существо, которому есть дело до того... жив ли я или свалился и сгнил на проклятой дороге.

Он сделал передышку, потом снова заговорил.

— Этот... этот мой пес родился на дороге,— сказал он с какой-то печальной улыбкой.— Несколько месяцев я носил его в котелке, а потом таскал на своем свэге, когда он уставал... А старая сука — его мать — бежала рядом, очень довольная... и по временам нюхала котелок, чтобы узнать, все ли в порядке... Она ходила за мной невесть сколько лет. Она следовала за мной, пока не ослепла... да еще год после этого. Она не отставала от меня до тех пор, пока хватало у нее сил ползти по пыли, а потом... потом я ее убил, потому что не мог же я бросить ее живую позади.

Он снова передохнул.

— И вот этот мой старый пес,— продолжал он, коснувшись задранного вверх носа Тэлли своими узловатыми пальцами,— вот этот мой старый пес ходил со мной десять... десять лет... в ливень и в засуху, в хорошие времена... и... и в плохие... большей частью в плохие. И не дал мне свихнуться, когда не было у меня ни товарища, ни денег на глухой дороге. И сторожил меня неделю за неделей, когда у меня был запой... когда я пьянствовал и пил отраву в проклятых кабаках. И не раз спасал мне жизнь, а в благодарность частенько получал пинки и проклятья. И прощал мне все. И... и дрался за меня. Только он один и вступился за меня, когда эти ползучие гады набросились в том кабаке... кое-кто унес с собой его отметины... а также и мои.

Он снова сделал паузу.

Потом он набрал воздуха в легкие, крепко стиснул зубы, взвалил на спину свой узел, шагнул к двери и снова повернулся.

Собака, прихрамывая, вышла из угла и с беспокойством подняла голову.

Г. Лоусон «Жена гуртовщика»

— Вот этот мой пес,— сказал Маккуори, обращаясь ко всему больничному персоналу,— лучше меня, человека... и похоже на то, что он лучше вас... Он был для меня таким товарищем, каким я ни для кого не был... да и для меня никто. Он сторожил меня, не давал меня ограбить, дрался за меня, спасал мне жизнь, а в благодарность получал пьяные пинки и проклятья... и прощал мне. Он был мне верным, надежным, честным и преданным товарищем... и теперь я его не брошу. Я не вышвырну его со сломанной лапой пинком на дорогу, я... Ох, господи! Моя спина!

Он застонал и качнулся вперед, но его подхватили, сняли с него поклажу и положили его на кровать.

Через полчаса стригальщик был уже устроен со всеми удобствами.

— Где мой пес? — спросил он, как только пришел в себя.

— О нем позаботились,— нетерпеливо сказала сиделка.— Не беспокойтесь. Доктор вправляет ему лапу на дворе.

НА СЦЕНЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ МИТЧЕЛЛ

Поезд с запада только что прибыл на Рэдфернский вокзал. Он привез толпу обычных пассажиров и одного бродягу-сезонника со свэгом за плечами.

Человек этот был невысок ростом, коренаст, кривоног и веснушчат; у него были рыжие волосы и поблескивающие серые глаза, и — как это часто бывает в таких случаях — выражение лица прирожденного комика. Одет он был в потрепанную и застиранную ситцевую рубашку, старый черный жилет с коленкоровой спиной и пропыленные молескиновые штаны с заплатами на колепях, поддерживаемые съехавшим на живот плетеным ремешком из сыромятной кожи. На нем были стоптанные, обшарпанные башмаки и мягкая, позеленевшая от старости фетровая шляпа, от полей которой мало что осталось, а от тульи не осталось почти ничего. Он выбросил на платформу свой свэг, вскинул его на плечо, вытащил котелок и прорезиненный мешок для воды и пошел в собачье отделение, находившееся в тормозном вагоне.

Спустя пять минут он появился около стоянки извозчиков. К ногам его испуганно жалась овчарка, которую он вел на цепочке. Он прислонил свой свэг к столбу, повернулся лицом к городу, сдвинул шляпу на лоб и почесал мизинцем широкий затылок. У него был вид человека, не знающего, куда направить свои стопы.

— Вас подвезти, сэр?

Человек неторопливо повернулся и со спокойной ухмылкой посмотрел на извозчика.

— Похож я, что ли, на человека, который поедет на извозчике?

— А почему бы и нет? Да я, собственно, просто так... Думал, может, вас куда подвезти надо.

Приезжий в раздумье почесал голову.

— Знаешь,— сказал он,— за десять лет ты первый, кому пришла в голову такая мысль. Ну зачем, собственно, мне брать извозчика?

— Чтобы доехать до места, зачем же еще?

— Разве у меня такой уж усталый вид?

— Этого я не говорил...

— А я разве говорю, что ты говорил?.. Слушай, вот уже пять лет я хожу пешком. Прошел две тысячи миль с прошлого рождества. Неужели уж последнюю-то милю я не дойду? Или, может, ты думаешь, что моему псу нужен извозчик?

Собака дрожала и подскуливала: ей, очевидно, хотелось поскорее выбраться из толпы.

— Да, но... не собираетесь же вы тащить на себе этот тюк через весь город? — спросил извозчик.

— А почему бы и нет? Кто это, интересно, может мне запретить? Что-то мне сдается, такого закона нет.

— Да, но... понимаете ли... выглядит он как-то не того.

— Ага, я так и знал, что в конце концов мы до этого договоримся.

Путешественник поставил свой свэг ребром, оперев его о колено, любовно похлопал его, затем выпрямился и в упор посмотрел на извозчика.

— Ну-ка скажи,— строго и внушительно спросил он,— чем плох мой верный свэг?

Свэг был туго набитый, раздутый; верхняя покрышка его была из красного одеяла с синими заплатами, с боков виднелась кромка синего одеяла. Конечно, свэг мог бы быть поновее, он мог бы быть почище, он мог бы быть перевязан приличным ремнем вместо бельевых веревок и ремешка из сыромятной кожи... но что касается всего остального, то ничего дурного сказать про него было нельзя. Свэг как свэг.

— Много лет я таскаю этот самый свэг,— продолжал приезжий,— я пронес его на своем горбу несколько тысяч миль — вот собака знает,— и никого никогда не покоробил его вид, и если уж на то пошло, и наш с собакой вид тоже никого не коробил. И ты думаешь, что я стану стесняться своего старого свэга перед извозчиком или вообще перед кем бы то ни было? И ты думаешь, что мне очень важно, нравится он вам или нет? Никто никогда не интересовался, что мне нравится, а что нет. Я вот подумы-

ваю, не привлечь ли тебя к ответственности за оскорбление личности?

Он поднял свэг за скрученное полотенце, служившее заплечным ремнем, закинул его на пролетку, сел сам и втащил туда собаку.

— Отвези-ка меня куда-нибудь, где можно оставить свэг и собаку, а то мне нужно купить себе приличный костюм, в котором можно будет показаться портному,— сказал он,— моя собака, видишь ли, не привыкла разъезжать на извозчиках.

И прибавил задумчиво:

— А ведь я сам когда-то целых пять лет был извозчиком в Сиднее.

МИТЧЕЛЛ: ОЧЕРК ХАРАКТЕРА

Про эту ферму было известно, что тут особенно не разживешься продуктами. Митчелл решил, что ему лучше подкатиться к самому хозяину, а товарищи Митчелла считали, что следует подождать, пока хозяин поедет объезжать стада, и попробовать договориться с поваром. Но напористый и дипломатичный Митчелл решил по-своему.

— Добрый день,— сказал Митчелл.

— Добрый день,— ответил хозяин.

— Жарко,— произнес Митчелл.

— Да, жара.

— Пожалуй, нет смысла,— продолжал Митчелл,— просить у вас работы?

— Никакого смысла.

— Так я и думал,— сказал Митчелл.— А изгородей вам не надо поставить?

— Нет.

— И объездчиков вам не нужно?

— Нет.

— И работника тоже?

— Нет.

— Так я и думал. Дела сейчас у всех идут неважно.

— Да, это так.

— Ясно. Нам приходится несладко, да ведь и скваттерам тоже. Ну а продуктов вы нам, надеюсь, дадите?

— Пожалуй. Что вам нужно?

— Ну, скажем, немного мяса и муки. Вот и все. Чай и сахар у нас пока есть.

— Ну, ладно. Эй, повар, есть у нас мясо?

— Нет.

К Митчеллу:

— Овцу зарезать сумеешь?

— Еще бы!

— Повар, дай-ка ему нож и брезент; пусть идет во двор и зарежет овцу.

К Митчеллу:

— Возьмешь себе переднюю ногу, и повар тебе даст немного муки.

Спустя полчаса Митчелл принес освежеванную овцу, завернутую в брезент.

— Ну, вот ваша овца,— сказал он повару.

— Хорошо. Повесь ее сюда. Взял переднюю ногу?

— Нет.

— Чего ж ты? Хозяин ведь разрешил тебе взять?

— Зачем мне передняя нога? Мне не нравится эта часть. Я взял заднюю.

Повар почесал затылок, не зная, что на это сказать. Попробовал было сообразить, что к чему, да махнул рукой — куда по такой жаре, а главное — он давно отвык от умственных усилий.

— А теперь на-ка вот эти мешочки,— сказал между тем Митчелл, вытаскивая из-за пазухи три мешочка.— Этот вот для чая. Этот — для сахара, а этот — для муки. Можешь не беспокоиться, приятель, если они немного растянутся. Нас ведь трое.

Повар машинально взял мешочки и, не успев сообразить, что делает, наполнил их до краев. Митчелл все это время болтал без умолку.

— Вот и спасибо,— сказал он.— А сухих дрожжей у тебя нет?

— Есть — на вот.

— Спасибо. Скучно здесь у вас, должно быть?

— Да, ужасная скучища. У меня тут остался кусок жареного мяса, немного хлеба и пирог — хочешь?

— Спасибо,— ответил Митчелл, засовывая провизию в старую наволочку, которую он всегда носил за пазухой на всякий случай.— Значит, скучно у вас?

— Да, не весело.

— Поговорить небось не с кем?

— Где уж там!

— Так, пожалуй, и говорить разучишься.

— Да... верно.

— Ну, будь здоров. Спасибо тебе, дружище.

— Будь здоров,— ответил повар и чуть тоже не добавил — «спасибо».

— Всего, до встречи.

— Всего.

Митчелл взвалил свою добычу на плечо и ушел.

Повар почесал в затылке. Потом он рассказал о случившемся хозяину, и они решили, что в голове у парня не хватало винтиков.

Однако у Митчелла в голове все винтики были на месте — почти все; просто он был тертый калач.

НА КРАЮ РАВНИНЫ

— Восемь лет я не был дома,— сказал Митчелл товарищу, когда они положили свои свэги в тени мульги и уселись.— Писем я не писал, все время откладывал, а случилось так, что какой-то болван пришел за день до меня и сказал старикам, будто я помер.

Тут он глотнул из резинового мешка для воды.

— Когда я пришел домой, они все оплакивали меня. Было уже темно; одна из сестер открыла дверь и, увидев меня, завопила и хлопнулась в обморок.

Он раскурил трубку.

— Мать была наверху, сидела на стуле, стонала и причитала, а сестры хныкали за компанию. Старик сидел в задней кухне и плакал в одиночку.

Митчелл положил шляпу наземь, шлепнул сверху по тулье и во вмятину налил воды для своего щенка.

— Девушки бросились вниз. Мать пролила столько слез, что не могла подняться. Сначала они решили, что я привидение, а затем попытались все сразу обнять меня — чуть было не задушили. Погляди-ка на щенка! В засуху надо таскать с собой целую цистерну с водой, если у тебя щенок, который пьет за двоих.

Он налил еще немного воды в тулью шляпы.

— Ну вот... Мать завопила и чуть не упала в обморок при виде меня. Такого представления еще поискать! И так всю ночь. Я было думал, что старик свихнулся. Старуха не выпускала мою руку битых три часа. Достань-ка нож.

Он отрезал от пачки табаку.

— На следующий день дом был набит соседями. Первой пришла моя бывшая возлюбленная. Мне и не снилось, что она все еще меня любит. Мать и сестры заставили меня поклясться, что больше не уйду. И они не спускали с меня глаз и не давали мне выходить из дома, боясь, что я...

— Что ты напьешься?

— Нет... Какой ты остряк!.. Боялись, что я смоюсь. В конце концов я поклялся на Библии, что не покину дом, покуда старики живы, и тогда мать как будто успокоилась.

Он перевернул щенка на спину и осмотрел его лапы.

— Боюсь, что придется тащить его на себе, у него поранены лапы. Сегодня он выбился из сил, а к тому же он меньше пьет, когда его тащат.

— А ты, стало быть, нарушил клятву и ушел из дома,— сказал товарищ.

Митчелл привстал, потянулся и меланхолически перевел взгляд со своего тяжелого узла на широкую раскаленную открытую равнину, поросшую хлопчатником.

— Ну да,— зевнув, сказал он.— Неделю я пробыл дома, а потом они стали ворчать, потому что я ни за какое дело не брался.

Товарищ захохотал, Митчелл ухмыльнулся. Они взвалили на спину свэги,—на свэге Митчелла лежал щенок,— взяли свои котелки и мешки для воды, повернули небритые лица к широкой, затянутой дымкой равнине,— и скоро высокий лес остался позади.

МИТЧЕЛЛ НЕ СТАНЕТ БРАТЬ РАСЧЕТ

— Мне бы только раз еще на место поступить, я уж оттуда не уйду, пока хоть мало-мальская работишка есть, и сколочу деньжат. Нет уж, больше я дураком не буду. Не растеряйся я в позапрошлом году, не пер бы теперь по песку через чертовы эти акации. Вот пристроюсь на ферму куда-нибудь, или у богача в хозяйстве за лошадьми смотреть, или там по садовому делу, и уж годика четыре-пять меня оттуда не вытащишь.

— Ну а если расчет дадут? — спросил его товарищ.

— А я не возьму. Не брал бы я раньше расчета — теперь бы не мыкался. Хозяин мне скажет:

«Ты, Митчелл, мне с той недели не нужен. Работы больше нет. Зайди ко мне в контору».

Ну, я зайду, получу денежки, а в понедельник опять как ни в чем не бывало приду на кухню позавтракать. Хозяин увидит, что это я.

«Митчелл,— скажет он,— ты еще здесь?»

«А я, по-моему, не собирался уходить,— скажу я.— С чего вы это взяли?»

«А я в субботу разве не сказал тебе, что ты больше не нужен? — начнет он сердиться.— Работы больше нет, я объяснял, кажется, ясно. *Ведь я же дал тебе расчет в субботу!*»

«Не выйдет,— скажу я,— я уж эту песню не раз слыхал. Мне, видите ли, надоело расчет брать. Все мытарства мои из-за этого. Нет, хватит, больше я расчета не беру; если бы мне никогда не давали его, я бы теперь был богатый, так что расчет брать мне нету расчета. Вас это не касается, зато меня касается. Нет, я уж так и решил: найду подходящее место и никуда с этого места не уйду. Мне и тут хорошо, чего мне еще надо? Работаю я на совесть, придраться вам не к чему. И не думайте даже давать мне расчет — все равно не возьму. Нет, уж больше меня на это не поймаете,— такого, как я, на мякине не проведешь».

«Да платить-то тебе я не буду,— скажет он, силясь не засмеяться,— ищи другое место».

«Ну что там за счеты,— скажу я,— тарелка супа вас не разорит, а я в доме всегда себе дело найду, пока настоящей работы нет. Мне от вас ничего не надо, а харчи я, хозяин, ей-богу же, оправдаю».

Так и буду ходить да поплевывать и по три раза в день, как обычно, на кухню захаживать. Хозяин посмотрит-посмотрит и скажет себе: «Раз уж я все равно этого парня кормлю, то пускай он хоть дело делает».

И приищет он мне какую-нибудь работенку: заборы чинить или плотничать, красить или еще что-нибудь... и опять буду я приходить за получкой.

МИТЧЕЛЛ О «ПРОБЛЕМЕ ПОЛА» И ДРУГИХ «ВОПРОСАХ»

— Я согласен с тем, что написал Т. на прошлой неделе в «Буллетине» относительно так называемой «проблемы пола»,— сказал Митчелл, кончив созерцать последнюю каплю чая в кружке, которую он наклонял то так, то этак.— Фактически никакой проблемы в этом нет, за исключением проблемы Адама и Евы, а это уже дело не наше; мы ее разрешить не можем, да и ни к чему нам создавать из этого дела проблему, чтобы самим же ломать над ней голову. Проблемы-то мы создаем, а не Творец. Мы их создаем, а они затем начинают опутывать нас; в конце концов они задавят весь мир, если мы не будем глядеть в оба. Все, о чем можно спорить и «за», и «против», и с самых разных точек зрения,— а ведь спорить можно о чем угодно,— и все, о чем спорят уже тысячи лет (а чаще всего так и бывает), ничего не стоит — это пустая трата времени и для нас, и для всего мира в целом, да и к тому же из-за таких вещей порой расходятся старые друзья. Мне сда-

ется, что чем глубже мы копаемся во всяких «измах» — думаем, говорим, читаем и пишем о них,— тем хуже для нас, тем скорее мы можем запутаться и разочароваться во всем мире. А чем больше мы держимся на поверхности простых вещей, тем легче нам плавать — удобнее для нас самих, да и для всех остальных. Ведь нам все равно рано или поздно приходится выплывать на поверхность, чтобы подышать; мы созданы, чтобы жить на поверхности, так уж лучше нам там и оставаться и устраиваться поудобнее, чем нырять вглубь за рыбой, которая существует только у нас в воображении. А то попадется и вовсе дохлая рыба — взять хотя бы ту же «проблему пола». Вот если не удержимся на поверхности земли, тогда нам хватит времени создать проблему из того, что мы плохо держались. Сам я федералист потому, что считаю федерацию самым подходящим делом для Австралии, и еще я считаю, что надо бросить всякие теории, из-за которых образованные люди могут целых пятьдесят лет то спорить и драться, то испытывать их одну за другой, так и не выяснив, какая же из них лучше для страны. Это значит попусту тратить время молодой страны, сбивать ее с пути. Федерация — не проблема, это реальный факт, но у нас проблему создают из каждой доски, которую приходится выламывать из старых, прогнивших пограничных оград.

— Личные интересы,— подсказал Джо.

— Конечно. Все эти проблемы возникают из-за мелких личных интересов. Посмотрите как следует — и увидите, что проблему пола создают люди, спекулирующие на нездоровых личных интересах. Я верю в другие, правильные личные интересы — в здоровый индивидуализм. Если бы все как следует заботились о себе, о своих женах и семьях, у кого они есть,— в мире все шло бы по-хорошему. Уж очень мы много времени тратим попусту, заботясь друг о друге.

— Скажем, мы идем по дороге, и нам надо найти работенку и заработать деньжат, чтобы поскорее послать пару монет домой, хозяйке или старикам, а чтобы напиться воды, надо пройти еще двадцать миль. Если мы сядем и начнем спорить о социальных проблемах до второго пришествия, мы так и не доберемся до воды; мы умрем от жажды, а хозяйка с детьми или старики останутся без гроша, их выбросят на улицу, и им придется отправиться в «дом призрения» или ждать с мешками у благотворительного приюта, чтобы набрать объедков. Я уж навидался таких вещей и не хочу, чтобы это выпало кому-нибудь из моих.

А ведь когда какая-нибудь бедная обманутая девушка приходит в «приют», из нее не делают проблемы, а помогают ей изо всех сил, заступаются за нее. Да и католические священники тоже — уж если в этой проблеме пола или какой другой проблеме и

есть что-нибудь, до чего еще не докопались,— то кому и знать об этом, как не им. Я не католик, но я знаю, если девушка, которую бросили — к какой бы церкви она ни принадлежала,— пойдет к священнику, там нажмут на все кнопки (уж они знают на какие), чтобы заставить парня жениться на ней, а если он или его родные начнут упираться, отец Райан найдет, чем их припугнуть. А вот о нашей церкви я этого не могу сказать.

— Но ведь ты за социализм и демократию? — спросил Джо.

— Еще бы. Но спорить о них нечего — миру это ничего не даст. Люди должны проснуться и пойти вперед, и главное, они должны держаться заодно, а это, думается мне, у них никогда не получится — нет этого в человеческой природе. С социализмом или демократией в нашей стране все было в порядке, пока они не вошли в моду и из них не сделали конька, проблемы. А уж тогда с ними быстро покончили. К коньку или проблеме всегда присасывается куча паразитов, прихлебателей. Как только я увидел этих дураков — «просвещенных идеалистов» — это обычно выходцы из «бедных, но благородных» семейств, которые подхватывают спиритуализм, теософию и тому подобные болезни в самом конце эпидемии, хватаются за хвост теории и думают, что поймали что-то новенькое,— как только я увидел, как они и прочие спекулирующие на проблемах, падкие до славы болтуны обоего пола, начали липнуть к австралийскому профсоюзному движению, я понял, что дни его сочтены. Так оно и вышло. Честные люди сами ушли или их выгнали. Так иные женщины держатся за человека назло — по той же причине, по какой девушка выступает на суде с показаниями, которые пошлют невинного человека на виселицу. Но стоит им заметить, что дело это пропащее, они тут же бросают его, ждут чего-нибудь другого и набрасываются, как динго на теленка, оставляя только кости. Демократичности у них не больше, чем у воронья. И всему виной эта проклятая проблема пола; она отравляет слабые умы — а порой и сильные.

Проблему можно создать из чего угодно — хотя бы из английской соли. Можно, скажем, поспорить о том, зачем людям нужна английская соль, и начать допытываться, откуда она появилась. Я не люблю английскую соль — от нее горько во рту,— но когда нужно, я ее принимаю, а потом мне становится лучше, и с меня этого достаточно. Можно спорить, что белое — это черное, а черное — белое и что и то и другое — ничто, а ничто — это все; что женщина — это мужчина, а мужчина — женщина, и на самом деле ребят рожает мужчина, а нам только кажется, что женщина, потому что ей кажется, что ей больно, а у доктора создается впечатление, что он помогает ей, а не мужчине, да и сам мужчина думает так же, потому что он воображает, что шагает взад и впе-

ред перед домом, забегая время от времени в кабачок на углу перехватить стаканчик, чтобы подбодрить себя, а на самом деле все это проделывает его жена. Можно спорить, что все это — игра фантазии, что фантазия — неизведанная сила, а неизведанное — это ничто. Но когда мы все уже решим по-своему, чего мы этим достигнем? В конечном счете мы придем к выводу, что мы не существуем и никогда не существовали, и на этом наши волнения кончатся, а мир будет жить по-прежнему.

— А как же наука? — спросил Джо.

— Наука — это тебе не проблема пола, это факты... Я вот ничего не имею против спиритуализма и всяких таких вещей; они разгоняют скуку, а вреда от них не так много. Зато проблема пола, в таком виде, как ее сейчас представляют, вредна; это опасная, грязная штука, и пора уже покончить с ней хорошей дубинкой. Наука и просвещение, если им не будут мешать, сами разберутся в вопросах пола.

А так о ней сколько ни спорь — толку не будет.

В библейские времена каждый имел по полдюжины жен, но ведь мы не знаем, как им жилось. Мормоны попробовали такую систему, и у них вроде все шло хорошо, пока мы не вмешались. Сами же мы не уживаемся теперь и с одной женой,— так, во всяком случае, получается по этой проблеме пола. Турок так волновала проблема пола, что они заводили себе по три жены. Многие из нас пытаются решить ее, распутничая направо и налево,— отсюда всякие иски на уплату алиментов, за нарушение обещания жениться и тому подобное. Наши туземцы решают вопрос дубинкой, и до сих пор мне что-то не приходилось слышать от них жалоб.

Возьмем, к примеру, наследственность и окружающую среду. Чтобы правильно понимать человека и судить о нем, надо жить с ним под одной крышей с детства; надо жить под одной крышей или в одном шалаше с его родителями и предками до самого Адама, да и то вам не хватит предков, чтобы узнать, что заставило Авеля — то есть Каина — поступить так, как он поступил. Какой же в этом смысл? Сколько ни спорь, в какие дебри ни забирайся, но от фактов не уйдешь, если хочешь добра себе самому и всем остальным.

Иногда вернуться к реальным фактам не так-то просто — бывает, что и совсем не выходит. Ведь вот когда в «Буллетине» начались все эти дискуссии о кенгуру и тому подобном, мне казалось, что уж я-то в этом разбираюсь. Теперь же, черт побери, я, пожалуй, не отличу кенгуру от вомбата. Причина всей работы и всех невзгод в мире в том, что люди чересчур любопытны. Виновата тут прежде всего Ева или, скорее, Адам — ведь могут сказать, что хозяином должен был быть он. Некоторые мужчины

слишком ленивы, чтобы быть хозяевами в своем собственном доме и смотреть за порядком, другие же слишком беззаботны или много пьют, а у иных пороху не хватает. Если бы Адам и Ева не совали нос куда не надо, то в мире сегодня не было бы ни труда, ни забот, не было бы ни жирных капиталистов, ни рабочего люда с мозолистыми руками, ни политики, ни фритредерства, ни протекционизма — не было бы даже одежды. Соседка не смогла бы злословить по поводу белья, которое твоя жена постирала и повесила сушить. Все мы бегали бы нагишом по огромному райскому саду и ничего бы не делали, а только крутили любовь, веселились, смеялись и разыгрывали друг друга.

Джо ухмыльнулся.

— Вот было бы здорово. Верно, Джо? Тогда б и никакой проблемы пола не было.

«ОТЕЛЬ ПРОПАЩИХ ДУШ»

Дорога на Хангерфорд. Февраль. Сто тридцать миль тяжелого красноватого песка, окаймленного сухими, пышущими жаром зарослями. Густое облако горячей пыли. Четыре повозки с шерстью проезжают сквозь ворота в пересекающей дорогу сетчатой изгороди,— защите от кроликов. Скрип колес, звон цепей, пощелкивание кнутов и взрывы австралийской ругани. Тюки с шерстью и все остальное покрыто пылью. Воняет дегтем и прелым брезентом. Ободья на колесах раскалены, хоть бифштексы на них жарь. Ярма и цепи такие горячие, что удивительно, как они не прожигают волам шкуры. В облупившихся бочонках, подвешенных на задках повозок, плещется теплая вода. Медленно плетутся волы,— только волы умеют так плестись. Колеса глубоко врезаются в песок, и тюки кренятся то в одну, то в другую сторону. Пройдена половина семнадцатимильного «сухого перегона». В зарослях направо от дороги есть большой водоем с хорошей питьевой водой, но это частный водоем, и его охраняет объездчик. Кругом заросли мульги и редкие, колючие кустарники.

Погонщики делают привал на обед; они кипятят над огнем чай в котелках, а волы понуро стоят в упряжках на слепящем солнцепеке, один или два ложатся, а ведущие подтягиваются под мертвое сухое дерево, воображая, что там есть тень. Погонщики похожи на краснокожих индейцев, в масках из красной пыли, склеенной по́том; лишь вокруг глаз, которые они беспрерывно трут из-за слепящей пыли, пота и мух, выделяются белесые круги.

Сухой хворост горит бесцветным пламенем, и над ним поднимается почти невидимый тонкий, голубоватый дым. Раскален-

ный солнцем воздух дрожит и струится вокруг каждого белого придорожного столба, песчаного пригорка и светлого предмета вдали.

Один из погонщиков снимает сапог и носок, вытряхивает из них полпинты песка и закатывает штанину. Нога его по колено залеплена пылью и потом. Он рассеянно скребет ее ножом, потом забавы ради слюнявит указательный палец, проводит по ноге полосу и пробривает ее, как будто хочет убедиться, что он все еще принадлежит к белой расе.

Мимо, в густом облаке пыли, проезжает хангерфордский дилижанс.

Обоз с шерстью снова ползет по дороге, «как раненая змея, что умирает на заходе солнца», если бы раненая змея, умирающая на заходе солнца, могла в достаточной мере оправиться к утру, чтобы снова ползти вперед, до следующего захода солнца.

Днем навстречу обозу попадается несколько бродяг-сезонников. У них безнадежно унылый вид, и один из погонщиков — тот, что скреб ногу,— угощает их табаком; другие добавляют к этому «по горсточке» чая, муки и сахара.

Солнце заходит, и волы окончательно выбиваются из сил. Погонщики распрягают их и гонят к ближайшему водопою — за пять миль,— предварительно послав разведчика убедиться, что им не грозит встреча с объездчиком, или на худой конец задобрить его. Колодец является собственностью местного скваттера. В сгущающихся сумерках погонщики быстро гонят волов на водопой и обратно, а потом под покровом ночной темноты пускают их на поляну среди придорожных зарослей, где, если внимательно приглядеться, можно увидеть кое-какие признаки травы. И все же погонщикам волов легче жить, чем тем, кто имеет дело с лошадьми, потому что если даже трухлявую мякину здесь продают втридорога, то овес и вовсе ценится на вес золота.

У изгороди мы с Митчеллом свернули с дороги и направились к водоему в зарослях мульги. Там мы вскипятили чай и закусили соленой бараниной и пресными лепешками. Нам не удалось наняться стригальщиками по дороге на Хангерфорд, и теперь мы шли обратно в Берк.

Расположившись под густой мульгой, мы прислонились спинами к стволу, вынули трубки и закурили. Обычно, когда мухи очень уж лютовали на дорогах, нам приходилось все время обмахиваться ветками или перьями диких индеек, отгоняя взбесившихся тварей от глаз; на привалах один из нас размахивал перьями, пока другой разжигал трубку — от дыма они летели прочь. Но в густой тени или в темной хижине мухи не так назойливы. Впрочем, трубка Митчелла могла бы выкурить самого сатану. Это была

старинная, обмотанная бечевкой пеньковая трубка, и пара затяжек из нее могла бы свалить с ног любого туземца.

Я раз сделал из нее одну затяжку. Мне было что-то не по себе, и я нарочно хотел вызвать рвоту — надо сказать, результат был вполне удовлетворительный.

Перебирая свой потертый бумажник,— просто так, по привычке,— Митчелл наткнулся на рекламный проспект лотереи Таттерсолла. Он-то и дал толчок его фантазии.

— Как ты думаешь, Гарри, что бы я сделал, если бы выиграл большой приз у Таттерсолла или если получил бы наследство в шестьдесят или сто тысяч фунтов, а еще лучше в миллион? — спросил он.

— Ничего особенного,— ответил я.— Вероятно, уехал бы в Сидней или еще куда-нибудь, где попрохладнее, чем здесь.

— Нет, я бы вот что сделал,— сказал Митчелл, не вынимая трубку изо рта.— Я бы построил Приют Бродяги — вот прямо здесь.

— Приют Бродяги?

— Да. Прямо на этом богом забытом месте и назвал бы его «Отель Пропащих Душ», или «Герб Забулдыги», или «Привал на пути к . . . . . .», или еще каким-нибудь завлекательным именем. Я бы построил его по проекту, гарантирующему наибольшую прохладу в жарком климате: стены из кирпича, широкие веранды с кирпичными полами, балконы, драночные крыши в староавстралийском стиле. У меня нигде не было бы ни листа гофрированного железа. Я бы устроил старинные створчатые окна с решетчатыми переплетами и плющом вокруг них. Они выглядят прохладнее, уютнее и гораздо романтичнее, чем эти цельные стекла, что поднимаются кверху.

Я бы вырыл открытый бассейн или водоем — с целое озеро,— и стал бы бурить артезианский колодец, и уж, будь уверен, добурился бы до хорошей воды, хотя бы пришлось бурить насквозь до самой Англии. Я бы оросил всю территорию, чтобы на ней росли и фрукты, и овощи, и корм для лошадей, даже если бы мне пришлось для этого возить навоз из Берка. И каждый погонщик мог бы бесплатно до отвала кормить своих волов или лошадей, а каждый бродяга-стригальщик — свою клячу; ну а гуртовщики платили бы, потому что гурты-то принадлежат скваттерам и капиталистам. Погонщикам разрешалось бы оставаться в отеле только на одну ночь. И я бы... нет, цветов я бы не развел, они еще, пожалуй, напомнят какому-нибудь незадачливому новичку, какой-нибудь паршивой овце, о доме, в котором он родился, о матери, чье сердце он разбил, об отце, который с горя раньше времени сошел в могилу,— напомнят ему обо всем этом и доконают его окончательно.

— А старинные окна и плющ? — спросил я.

— Да! — сказал Митчелл.— Я и забыл о них. А впрочем, я все же развел бы кое-какие цветы и немного плюща. Новичок-то ведь, может быть, старается выбиться в люди, а тогда розы и плющ скажут ему, что в конце концов не в такую уж богом забытую дыру он попал, и это поможет укрепить в его душе надежду на лучшее, живущую в сердце каждого бродяги до самой смерти.

Медленно и задумчиво Митчелл попыхивает своей трубкой.

— До самой смерти,— повторяет он и, снова оживившись, добавляет: — А может быть, одну комнату я бы оборудовал как уголок шикарного ресторана, с серебром и салфетками на столах и с настоящим официантом. Заглянет туда какой-нибудь неудачник с университетским образованием и хоть на часок-другой почувствует себя человеком, как прежде. Только, пожалуй,— рассуждает Митчелл,— для полноты впечатления надо еще, чтобы с ним за столиком сидела знакомая дама. Я мог бы обеспечить чернокожую барышню, только в нем, наверное, заговорят расовые предрассудки. А впрочем, все это чепуха!

Погонщикам и сезонникам разрешено будет останавливаться в отеле только на одну ночь. У меня будут действовать ванны и души, но я никого не буду насильно заставлять мыться. Все, кто остановится в отеле, смогут поесть за накрытым скатертью столом, выспаться на простынях и почувствовать себя, как в те времена, когда еще были живы их старенькие мамы или когда они еще не сбежали из дому.

— Кто? Мамы? — спросил я.

— Бывало и так,— ответил Митчелл.— А еще я построил бы хороший прохладный домик на берегу моего озера, подальше от главного здания, чтобы погонщики могли сидеть там после чая, покуривать свои трубочки, болтать о всякой всячине и не заботиться о том, какие они при этом употребляют выражения. А на озере я бы завел лодки, на случай если заявится кто-нибудь из бывших оксфордцев или кембриджцев или какой-нибудь старый матрос — такой посидит немного на веслах и сразу прибавит себе несколько лет жизни. Помнишь того старого моряка, что ведал насосом у государственного водоема? Помнишь, как он содержал машину — чистенькая, блестящая, кругом порядок, как на корабле,— и лачуга-то его была устроена словно корабельная каюта. Ему, наверное, частенько казалось, что он ведет корабль по морю, а не качает посреди выжженных зарослей из дыры в земле грязную воду для голодного скота. А может, ему представлялось, что он дрейфует на своей шхуне.

— А рыба у тебя будет в этом озере? — спросил я.

— Обязательно,— сказал Митчелл,— и любой тронувшийся старик пастух или бродяга-сезонник, обезумевший от жары и одиночества, как тот старый хрыч, что мы встретили на днях, сможет усесться на бережку в вечерней прохладе и удить, сколько его душе угодно. Приспособит бечевку с крючком из булавки и будет воображать, что он сбежал из школы и удит в речушке близ своей родной деревни в Англии, как оно бывало лет пятьдесят тому назад. Во всяком случае, это лучше, чем удить в пыли, как делают некоторые рехнувшиеся старики в зарослях.

— Неужели ты стал бы пускать всех без разбора? — спросил я.

— Всех,— ответил Митчелл.— Включая поэтов. Я и их попытался бы излечить хорошей едой и усиленными физическими упражнениями. «Отель Пропащих Душ» был бы приютом и для бывших каторжников, и для бывших джентльменов, и для старых развалин, и для спившихся алкоголиков, и для здоровых, честных стригальщиков. Я стал бы подсаживаться и разговаривать с пьяницей или преступником, словно он не хуже меня, что, впрочем, вполне возможно. Больных я бы держал в отеле до тех пор, пока они либо поправятся, либо помрут. А пьяницу, свалившегося после запоя, я бы оставлял в отеле, пока он снова не встанет на ноги.

— Тебе тогда пришлось бы и доктора завести,— заметил я.

— Да,— согласился Митчелл.— Так бы я и сделал. Я бы не гнался за каким-нибудь известным врачом из города, а раздобыл бы врача-неудачника, перед которым когда-то открывалась блестящая карьера в Англии, но который свихнулся и сбежал в колонии, человека, знающего, что такое белая горячка, самого прошедшего через это.

— А потом тебе понадобился бы управляющий, или клерк, или секретарь,— сказал я.

— Пожалуй, что и понадобился бы,— согласился Митчелл,— сам я в цифрах ничего не смыслю. Пришлось бы дать объявление. Если явился бы человек с блестящими рекомендациями, в том числе еще и от священника, то я сказал бы ему наведаться через неделю; а молодому человеку, который доказал бы, что происходит из хорошей христианской семьи, регулярно ходит в церковь, поет в церковном хоре и преподает в воскресной школе, я бы прямо сказал, что приходить ему больше незачем, что место уже занято,— потому что такому человеку я никогда не смогу доверять. Кто очень уж религиозен, честен и трудолюбив смолоду, обязательно потом свихнется. Я скорее доверюсь какому-нибудь бедняге клерку, который в молодости попал в лапы женщины или букмекеров, и сбился с пути, и отсидел свой срок за растрату. Во всяком случае, я бы его взял — глядишь, и опять встанет на ноги.

— Ну а как же насчет женской руки? — спросил я.

— Что ж, пришлось бы, наверное, завести и женщину, хотя бы для того, чтобы доктор не сбежал. Я бы раздобыл женщину с прошлым, видевшую всякое в жизни, у таких большей частью бывает доброе сердце. Ну, скажем, бывшую актрису или старую оперную певицу, потерявшую голос, но не совсем. Женщину, знающую, почем фунт лиха. А ей в компанию я бы нанял еще девушку-служанку и в помощь им пару чернокожих или метисок. Нашел бы какую-нибудь бедняжку, обманутую и брошенную,— не возражал бы даже против ребятенка или двух — они забавляли бы постояльцев, и с ними в отеле было бы уютнее.

— А что, если экономка влюбится в доктора? — спросил я.

— Ну что ж, разве есть меры против любви? — сказал Митчелл.— Я и сам не раз влюблялся и думаю, что только выиграл бы, если бы подольше задержался в этом состоянии. Эхма! Допустим, что она влюбится в доктора и выйдет за него замуж или что она влюбится в него и не выйдет за него замуж, и допустим, что девушка-служанка влюбится в секретаря! Какой от этого вред? Это только поднимет им настроение и крепче привяжет к дому. Они все будут жить одной счастливой семьей, а в «Отеле Пропащих Душ» станет только веселее и уютнее.

— А что, если они все повлюбляются друг в друга и уйдут от тебя? — сказал я.

— Не вижу, зачем им понадобится уходить от меня,— ответил Митчелл.— Но допустим, что они уйдут. В Австралии найдется не один врач-неудачник, и не одна женщина с прошлым, и не один сбившийся с пути и попавшийся на растрате клерк, который остепенился в тюрьме, и не одна обманутая девушка. Я легко смогу заменить их другими. Таким образом, «Отель Пропащих Душ» помог бы склеить многие разбитые жизни — дал бы, так сказать, людям с прошлым еще один шанс на будущее.

— Ты, наверное, и музыку завел бы, и книги, и картины? — сказал я.

— Конечно,— ответил Митчелл.— Только у меня не было бы никаких желчных книг или книг о проблемах пола. Ничего хорошего в них нет. Испокон века проблемы были проклятием мира. Я считаю, что один благородный, добрый и веселый герой в романе приносит больше пользы, чем все когда-либо придуманные умные негодяи или привлекательные авантюристы. И я считаю, что человеку следует давать волю хандре только наедине с собой или когда он выпьет. Как было бы хорошо, если бы каждый писатель изливал всю свою желчь в одной книге и потом сжигал ее.

Нет. Я бы держал только добрые, веселые книги о самом лучшем и светлом в человеческой природе — Чарльза Диккенса, Марка

Твена, Брет-Гарта, вот таких людей. И я бы развесил только австралийские картины, изображающие самые светлые и лучшие стороны австралийской жизни. И у меня пелись бы только австралийские песни. В «Отеле Пропащих Душ» не пели бы ни «Лебеди на реке», ни «Дом, милый дом», ни «Анни Лори» — ни одну из старых английских песен. Сколько людей из-за них падают духом в зарослях, пьют и кончают жизнь самоубийством. И если какой-нибудь новичок запоет в моем отеле «Перед самым боем, мама» или «Пожалей меня, мама родная», то он тут же убедится, что и в самом деле пел перед боем. Ему придется убираться из отеля и идти спать в заросли, а там его во сне будут, не жалея, жалить москиты и муравьи, так что он живо проснется. Я ненавижу мужчин, которые вечно скулят о маме, потому что, как правило, они никогда ни мать свою, да и никого другого, кроме свой собственной ничтожной персоны, не любили.

У меня будут вестись интеллектуальные, возвышенные разговоры для тех, кто...

— А этим кто же будет заведовать? — быстро спросил я.

— Вообще-то я полагал взять это на себя,— задумчиво ответил Митчелл,— во всяком случае, на время, но, пожалуй, у доктора или у женщины с прошлым будет больше опыта в этом отношении. Я буду заменять их при нужде. Ты, конечно, не можешь судить о моих способностях в этой области, так как мне не с кем было практиковаться с тех пор, как я хожу с тобой. Ну да это не важно. Интеллектуальные разговоры будут вестись ради новичков из опустившихся. А если в отель заявятся какие-нибудь прогоревшие актеры, то они смогут, если захотят, поставить там пьесу,— это внесет некоторое оживление и поможет поднять культурный уровень погонщиков и бродяг-сезонников. У меня и сцена будет устроена, и кое-какие декорации припасены. Я сделаю все, чтобы завлечь стригальщиков в мой отель сразу после сезона стрижки и помешать им кинуться со своими деньгами в ближайший кабак или в Сидней, где их обчистят официантки.

А в последнем акте героя прикончат за подлость, а героиня выйдет замуж за злодея, в конечном счете с ним она скорее найдет свое счастье.

— Ну, а кто будет ведать фермой? — спросил я.— Ты, наверное, залучишь экспертов из сельскохозяйственного колледжа?

— Нет,— ответил Митчелл,— я найду какого-нибудь разорившегося после засухи местного фермера и поставлю его на это дело. Беда тут только в том,— добавил он в раздумье,— что если взять фермера, который всю жизнь работал, как вол, на пыльных, каменистых клочках земли в зарослях, и посадить его на землю, где полно и воды и навоза и где, бросив горсть семян в почву, ос-

тается только закурить трубку и сидеть посматривать, как они растут, то он может затосковать. Такова уж человеческая природа.

— Ну и, конечно, мне придется завести своего «чудака» — что-то вроде местной достопримечательности для оживления обстановки.

Я не возьму человека, который всю свою жизнь прожил счастливо и без забот; я раздобуду какого-нибудь старого бедолагу, которого жена пилила и пилила, пока не умерла, у которого много раз продавали имущество за долги и которого засаживали в каталажку за то, что он топил свои горести в вине, который завел было похоронное бюро, но разорился и в конце концов пристроился на место садовника, или сторожа, или еще чего-нибудь в этом роде в сумасшедшем доме. Вот кого я раздобуду себе. Такой скорей окажется юмористом и философом и поможет развеселить постояльцев «Отеля Пропащих Душ». Думаю, что пропащие души очень к нему привяжутся.

— А спиртные напитки будут подаваться в «Пропащих Душах»? — спросил я.

— Да,— ответил Митчелл.— У меня будут лучшее пиво, виски и вина. После чая каждый сможет выпить ровно столько, сколько ему нужно, чтобы почувствовать себя довольным и счастливым и ничуть не хуже, не глупее, ничуть не менее чистым и честным, чем любой другой,— но не больше. А если забежит к нам какой-нибудь бедняга в белой горячке, спасаясь в паническом ужасе от преследующих его драконов, зеленоглазых гадин и красноносых чудищ,— мы приютим его, дадим ему успокоительные капли, полечим его, будем ухаживать за ним, прочистим его слабительным, будем давать ему маленькими дозами хорошее виски и, самое главное, посочувствуем ему. Мы скажем, что сами много раз бывали в еще худшем виде. Мы не будем долбить, что он слабовольный эгоист, не будем жалеть о его загубленной жизни. Мы постараемся представить его гораздо лучше, чем он есть на самом деле. В большинстве случаев именно раскаяние толкает людей в лапы к черту — особенно в зарослях. Когда человек твердо считает себя безнадежным, то для него и не остается никакой надежды. Но как только он начинает в этом сомневаться, так появляется шанс на спасение. Надо заставить его поверить, что с другими бывает еще хуже. Мы не будем читать ему проповедей о грехе распущенности, нет, но мы попытаемся доказать ему, как глупо пускать на ветер свою жизнь. Видит бог, я-то это знаю.

А главное, мы попытаемся выбить у него из головы проклятое, укоренившееся мнение, что человеку трудно переделаться,— что ему приходится вести беспощадную борьбу с самим собой, чтобы не пить. Жаль, что пьяницы не могут поверить, какое это не-

трудное дело. Мы прямо поставим перед ним вопрос — стоят ли несколько часов удовольствия тех многих дней мучений, которыми он за них расплачивается.

— А как только вы поставите его на ноги,— сказал я,— он, скорее всего, тут же отправится кратчайшим путем в ближайший кабак и опять загуляет вовсю и через неделю вернется в «Пропащие Души» в еще худшем виде, чем прошлый раз. Тогда что вы будете делать?

— Мы опять приютим его и опять подправим немножко. И в третий раз сделаем то же, и в четвертый, если надо. Я считаю, что когда берешься за что-нибудь, то надо доводить дело до конца. А если он не вернется после очередной пьянки, мы сами пойдем искать его в зарослях, принесем в дом, и дадим ему возможность умереть в постели, и, насколько возможно, облегчим ему смерть. Я один раз видел, как человек умирал прямо на земле, а другой раз я нашел мертвого в зарослях. Мы похороним его под эвкалиптом и сделаем надпись «Священна память о Человеке, который умер (У. Г. Душу его)». Я устрою уютненькое маленькое кладбище с эвкалиптами вместо памятников, и, помяни мое слово, там будут достойные внимания надгробные надписи.

— Какую же ты рассчитываешь получить благодарность за свой «Отель Пропащих Душ»? — спросил я.

— Никакой,— не задумываясь, ответил Митчелл.— Это же не Синдикат по Добыче Благодарностей. Люди, может быть, будут говорить, что «Отель Пропащих Душ» — это притон, куда с помощью похищенных женщин и девушек заманивают мужчин и обирают их до нитки. Возможно, мне будут грозить всевозможными карами, возможно, меня будет преследовать закон. Я все равно не сдамся. А может быть, они захотят наградить меня орденом или сделать из меня святого и начнут мне поклоняться — а потом вздернут на виселице. Филантроп или реформатор может считать, что ему повезло, если ему удалось до конца своей деятельности сохранить свою шкуру, не говоря уж о добром имени. Ну да ладно! А вот что касается благодарности, то ведь именно боязнь неблагодарности удерживает тысячи людей от добрых дел. Это такое же мелкое, эгоистичное, трусливое чувство, как любая другая форма страха, который довлеет над миром, например боязнь, чтобы тебя не посчитали за труса, или за чудака, или за зазнайку, или за позера, или за слишком хорошего человека, или за слишком плохого — даже, пожалуй, боязнь неблагодарности наиболее эгоистична. Тот, кто вечно бубнит о человеческой неблагодарности, как правило, никакой благодарности не заслуживает; обычно наоборот, он сам должен быть благодарен людям, что ему разрешают жить на свете. Он до тех пор взвинчивает себя

мыслями о человеческой неблагодарности, пока не становится законченным циником. Он смотрит на мир, как на окно, за которым задернута занавеска; в стеклах отражается мертвый, холодный свет луны, и человек проходит с кислым лицом мимо, а если бы он потрудился заглянуть внутрь, он бы, вероятно, увидел жилище, согретое уютным огнем очага, сочувствием, радостью, добром, любовью и благодарностью. Иногда, когда ему приходится совсем плохо и он вынужден идти к людям и просить хлеба, его поражает, сколько он встречает доброжелательности, причем там, где он меньше всего на нее рассчитывал. Ну, довольно. Я, кажется, становлюсь сентиментальным.

— И совсем забыл об «Отеле Пропащих Душ»,— сказал я.

— Нет, не забыл,— ответил Митчелл.— Я все обязательно устроил бы так, как сказал. А потом передал бы все полномочия надежному человеку, вложил бы в дело весь свой капитал до последнего гроша, подобрал бы порядочных людей в попечители и снова пошел бы бродить по дорогам. Я уже слишком стар, чтобы долго сидеть на одном месте (я из тех пропащих душ, которым всегда лучше где-нибудь в другом месте). Я так привык к дорогам, что если меня запереть в доме, то я по ночам буду ходить взад и вперед по комнате и не дам никому спать; к тому же мне будет очень неуютно и непривычно легко без моего свэга.

— Значит, ты все свои деньги вложишь в это дело?

— Да, кроме разве одного или двух фунтов на дорогу. Ведь, кто знает, когда-нибудь, может, и я, запыленный, усталый, оборванный, нищий и старый, приду к дверям «Отеля Пропащих Душ» и буду рад отдохнуть там ночку. Но я никому не скажу, что я старый Митчелл, миллионер, основатель «Отеля Пропащих Душ». А то они еще начнут суетиться вокруг меня, а я этого не терплю. Однако пора нам двигаться в путь, Гарри.

С заходом солнца поднялся прохладный ветерок; мы с трудом встали на ноги, вскинули на спины свои свэги и сумки с едой и двинулись в путь. Надо было добраться к ночи до следующего водоема. Табак у нас кончился, и мы заняли немного у одного из погонщиков волов.

БАНДЕРОЛЬ

В Австралазии — а может быть, и во многих других краях — существует обычай, о котором, как нам кажется, стоит рассказать. Едва ли редакторы и владельцы газет хорошего о нем мнения, да и акционеры тоже, если они вообще над этим задумываются, но все же, поверьте, это освященный временем добрый

старый обычай. В силу разных причин среди золотоискателей стародавних времен он был больше в почете, чем среди относительно оседлых нынешних жителей зарослей, конечно, речь идет не о безнадежных бродягах — сами они приобщиться к этому обычаю не могут, потому что ни денег у них нет, ни возможностей, а кочуют они, увы, в таких неопределенных направлениях, что приобщить их к нему очень трудно. Мы имеем в виду пересылку бандеролью газет и журналов от одного дружка к другому.

Получает Билл свою газету и при свете свечи или плошки добросовестно читает ее всю от начала до конца, попыхивая трубкой у себя на койке в хижине, или палатке, или, еще того лучше, развалившись на полянке под деревом в солнечный воскресный день, сияя великолепием чистой рубахи, носок и молескиновых штанов. Но вот чтение окончено, и если сразу у него газету не одолжат, Билл сложит страницы по порядку, аккуратно свернет и сунет в такое место, чтобы знать потом, где найти. Одалживают газету обычно так:

— Билл, как кончишь, дай посмотреть, что там пишут в этой твоей газетке, а? — говорит Джек.

Билл говорит:

— Я уже обещал Бобу. Возьми после него.

Когда наконец газета попадает в руки Джека, Билл говорит:

— Не забудь вернуть, как прочтешь. Смотри, как бы эти обормоты не перехватили — тогда ищи-свищи.

Но и остальные обормоты добираются до газеты после того, как их отошлют к Биллу.

— Иди спроси у Билла,— говорит Джек очередному обормоту.— Я у него брал.

Наконец газета снова у Билла — зачастую только после долгих перебранок, взаимных обвинений и отпирательств,— и Билл с суровым видом ее расправляет, свертывает и запихивает за стропила, за столб, или за доску, или под подушку,— чтобы не пропала. Ему эта газета еще нужна — он хочет отослать ее Джиму.

Билл ничего не смыслит в упаковке, про оберточную бумагу он и не слыхивал. Он долго складывает газету и так и сяк, но самый первый вариант обычно приходится ему больше по вкусу. Пакет выходит неказистый, торчит горбом, и, прижав его грузом, чтобы он без него не развернулся, Билл принимается за поиски бечевки. Иногда он крепко-накрепко перевязывает газету посередине, иногда — с краев; бывает, пропустит бечевку внутрь и связывает газету таким способом, а то сразу двумя способами или сразу всеми известными ему способами,— чтобы она ненароком не развязалась, чего с ней, как правило, никогда не случается.

Если бечевка, которую он раздобыл, коротка,— он связывает два куска и подвергает узел солидному испытанию; если бечевка тонкая или в ход идет нитка, он для крепости складывает их вдвое. Потом озабоченно рыщет по лагерю в поисках чернил и пристает ко всем, куда девалась ручка; наконец все готово, и он старательно выводит адрес на полях газеты, иногда в двух-трех местах. Перед тем как начать, он минутку размышляет; кончив писать, созерцает адрес в немом и покорном изумлении и скребет затылок чернильным пальцем. Его старинный друг Джим всегда был обыкновенный Джим без всяких заковырок; а тут, чтобы газета добралась к нему, надо написать:

Мистеру Джеймсу Митчеллу
на ферме Дж.-У. Дауэлла, эсквайра,
станция Муннираб

и тому подобное. «Митчелл» — смех да и только! У Билла это както не вяжется с Джимом, а тут еще «Джеймс»!

А этак через недельку где-нибудь в Кулгарди, или в далеком северном Куинсленде, или на лесозаготовках в Маориленде Джим после ужина наведывается на почту. Писем он не ждет, но от Билла может прийти газета. Билл обычно присылает газеты. Письма старые друзья пишут друг другу редко.

Конечно, у Билла и Джима бывали расхождения во взглядах. В старину они часто долго и громко спорили, и вот теперь наткнется Билл на статью или заметку, которая отражает его мысли и доказывает его правоту в пику взглядам Джима, отметит ее ухмылкой и четырьмя крестами по углам — а то поставит по кресту на всякий случай и по сторонам — и отправляет Джиму, полагая, что теперь-то припер Джима к стене. Кресты эти не слишком изящны, но вполне отчетливы; Джим замечает их, еще не раскрыв газеты, и с интересом переворачивает страницу. Читая, он добродушно усмехается — бедняга Билл все такой же твердолобый и упрямый, никак не слезет со своего старого конька. Джим, конечно, в затруднительном положении — на таком расстоянии не поспоришь, но если Джим примет это дело близко к сердцу, он усядется да и настрочит ответное письмо, где с помощью всех своих старых доводов докажет, что только осел мог написать подобную дребедень в газету. Вот по такому случаю они могут перекинуться письмами, но это бывает редко. Чаще Джим подождет, пока в другой газете попадется ему статейка, которая поддерживает его сторону в споре и, на его взгляд, в пух и прах разбивает защитника Билла; Джим отмечает такое место усмешкой и еще бо́льшими крестами и шлет газету Биллу. Оба

они демократы (старинные друзья почти все демократы), и вот время от времени то одному, то другому понравится в газете статья или стихотворение, он пометит ее с одобрением и отправит дружку. А иной раз увидит хорошую шутку или извещение о смерти старого друга. И сколько чувств, сколько воспоминаний пронесет крошечный абзац через всю страну!

Джим — заядлый грешник и безбожник, а Билл — серьезный убежденный, почтенный атеист, и поэтому часто в газету оказывается вложена религиозная брошюра или трактат — кто-нибудь вложил для смеха.

Давным-давно — очень давно — Билл и Джим «страдали» по некой розе,— или лилии золотых приисков,— назовем ее Лили Кинг. Билл и Джим оба за ней ухаживали, ссорились из-за нее, может быть, дело даже доходило до драк и из-за нее на долгие годы разъехались в разные стороны. Все это былью поросло. Возможно, она любила Билла, может, Джима, а может — обоих; а может, и сама не знала, кого из них двоих. Может, она не любила ни того и ни другого, а только водила их за нос. Так или иначе, она отвергла обоих. И вышла замуж за другого —назовем его Джим Смит. И вот как-то Билл читает в местной газете что-нибудь наподобие следующего:

10 июля в собственном доме (коттедж Эврика, улица Балларат, Толли Таун) супруга Джеймса Смита разрешилась близнецами — девочкой и мальчиком; все трое здоровы.

Билл отмечает заметку восклицанием, улыбкой и большими крестами и отсылает ее Джиму. А потом еще долго-долго думает, и курит, и думает, пока не гаснет очаг, забыв о том, что нужно залатать штаны.

А на далеких Оклендских каучуковых плантациях заметку прочел Джим, ухмыльнулся, потом лицо его сделалось серьезным, он сидит, и механически скребет кору при мерцающем свете очага, и думает. Мысли его в прошлом — далеком и туманном, туманном и далеком. Потому что вновь появилась старая знакомая боль, которую он так долго отгонял, и опять ранит сердце — точно вернулась неверная жена и, упав перед ним на колени, протянув дрожащие руки, умоляюще подняла залитые слезами глаза, полные любви, которую она почувствовала слишком поздно.

Считается большой честью, если ваше произведение опубликовано в английском журнале или когда оно вышло в виде книги, когда вас хвалят критики и перепечатывают все газеты страны и даже когда вас разругают на все корки. Но, если вдуматься, не меньше чести и в том, чтобы строки, вышедшие из-под

вашего пера, были помечены чернильными крестами на засаленной измятой газете, которую Билл или Джим получил от старого друга — в перевязанной куском бечевки газете, которая проходит тысячи миль, с накорябанным в нескольких местах адресом.

НЕТ МИЛЕЕ РОДНОЙ СТРАНЫ

Дилижанс, шедший в Бленхейм, миновал седловину перевала Тэйлора и катил вниз; впереди расстилалась долина реки Аветер. По ту сторону реки, справа, гряда холмов, поросших высокой травой, постепенно опускалась однообразными серыми склонами и равнинами к далекому океану. Леса здесь не росли; лишь купы вывезенных из-за моря деревьев стояли там и сям, как часовые, величественные в своем одиночестве.

— Да-а, великолепная страна Новая Зеландия,— заговорил плотный седобородый и сероглазый мужчина с сильно обветренным лицом, занимавший место около кучера на козлах.

— Это — великолепная страна? Ну, что вы! — воскликнул пассажир, сидевший с другой стороны кучера. Он отрекомендовался коммивояжером, и его внешность соответствовала названной профессии; но он сильно смахивал также на профессионального мошенника — возможно, он был тем и другим одновременно.

— Это самые паршивые места во всей Новой Зеландии! Вот на острове Северном, в округах Вайрарапа и Нейпир около Пахиатуа, действительно есть что посмотреть! А здесь нет ничего хорошего.

— Ну, вы переменили бы свое мнение, если бы вам довелось побывать в Австралии, в Новом Южном Уэльсе, например. Вы, здешние, даже не понимаете, какая великолепная земля вам досталась. Говорите, это паршивые места? Да у любого австралийского фермера слюнки потекли бы при одном взгляде на такую землю, на самые худшие из ваших мест.

— А я всегда думал, что Австралия — хорошая страна и земля там хорошая,— задумчиво проговорил кучер, тощий человек с выгоревшими льняными волосами.— Я думал, что...

— Хорошая страна! — с негодованием воскликнул седобородый.— Да вся эта проклятая страна — пустыня, настоящая пустыня. Есть два-три места на побережье, где можно жить, а все остальное голо, выжжено, побито засухой — хуже не найдешь.

Воцарилось молчание; кучер продолжал размышлять, а седобородый пассажир поглядывал вокруг с вызывающим видом.

— Я всегда думал,— все так же задумчиво повторил кучер после небольшой паузы,— я всегда думал, что Австралия — хорошая страна,— и он нажал ногой на тормоз.

На этот раз ему никто не возразил. Дилижанс спустился по уступам речной поймы и остановился у трактира.

— А вы что, сами-то — из Австралии? — обратился коммивояжер к седобородому, когда дилижанс снова тронулся в путь.

— Вроде. Во всяком случае, я там родился. Поэтому-то я так и ненавижу эту распроклятую страну.

— Пока не уехал,— отрезал приезжий. Затем, помолчав немного, добавил: — Первый раз я уехал оттуда, когда мне было тридцать пять,— перебрался на острова. Тогда я поклялся, что никогда больше не вернусь в Австралию, а все же вернулся. Что-то загрустил по старине Сиднею. Пять или шесть лет я слонялся по этой богом забытой стране, а потом уехал во Фриско и опять дал зарок, что ноги моей больше не будет в Австралии. Теперь меня уж ничто не собьет.

— Но ведь отсюда до Австралии два шага. Неужели вы не заедете туда, чтобы взглянуть на Сидней, вспомнить родные места, а? Так и уедете обратно в Америку?

— На кой черт мне ехать любоваться этой проклятой страной? — огрызнулся приезжий,— во время остановки он значительно подкрепил свои силы.— Мне не за что благодарить Австралию — разве только за то, что мне удалось унести оттуда ноги. Это такая страна — как только туда попадешь, сейчас же хочется убраться куда-нибудь подальше.

— Конечно, это ваше дело, я только подумал, что, может быть, у вас там остались друзья,— обиженно возразил коммивояжер.

— Друзья! Конечно, друзья у меня там есть. Но я не поеду туда, даже если бы об этом меня умоляли все мои друзья и родственники, начиная от самого прародителя Адама. Я сыт по горло тамошней жизнью; это были самые худшие, самые тяжелые годы моей жизни. Я мог умереть там с голоду, да, по правде говоря, только и делал, что подыхал с голоду. За каких-нибудь пять лет я пролил больше пота и заработал меньше денег на своей родине, чем за пятнадцать лет в любой другой стране,— седобородый немного заврался,— а уж с тех пор я насмотрелся разных стран. Да, Австралия — дрянь страна, поделом ее всевышний забыл. И для меня родная та страна, которая приняла меня как родного, когда моя дорогая, любимая, незабвенная родина погнала меня за куском хлеба за тридевять земель; для меня теперь родина Соединенные Штаты. А что такое Австралия? Огромная пустыня, где все и вся подыхает от голода и жажды; всего-то там и есть один или два стбящих города, да и то для того, чтобы было где провер-

тывать свои делишки иностранным спекулянтам. И еще несколько скопищ лачуг, почему-то называемых городами и тоже существующих для удобства иностранных спекулянтов. И населена эта страна худосочными овцами, да еще дураками, которые в городах гнут горб на европейцев, а в зарослях живут не лучше диких собак. Эти болваны болтают о «демократии», а сами только на то и годятся, чтобы наполнять карманы этих франтов-кокни, которые бо́льшую часть времени кутят напропалую в Париже. Господи! Австралийцы не решаются даже потребовать, чтобы из их собственных денег им уделили малую толику на строительство речных плотин; тогда хоть часть пустыни можно было бы сделать пригодной для житья. Америка тоже не рай, но там хоть не мелочатся... Да! Проклятие Австралии — это овцы. Знаете, какой у австралийцев военный клич? «Бя-я-я!»

— Никогда не встречал человека, который так говорил бы о своей родине,— сказал коммивояжер; его начали раздражать яростные наскоки седобородого.— «Где тот мертвец из мертвецов, чей разум глух для нежных слов»; «Вот... край...». Черт побери, как это там дальше говорится?

Он попытался вспомнить. «Мертвец из мертвецов» откашлялся и приготовился снова ринуться в бой, но кучер, которому коммивояжер поднес два стаканчика, а седобородый один, воспользовался паузой и заметил, что, по его мнению, человек должен любить свою родину.

Приезжий не обратил внимания на слова кучера и с новой силой открыл огонь по коммивояжеру. Он принялся доказывать, что все это вздор, что патриотизм — причина всех бед на земле; что именно патриотизм ведет к войнам; что это ложное чувство, порожденное невежеством, заставляет людей гнуть спину, умирать с голоду и проливать кровь ради покоя и удобства их никчемных господ; что патриотизм — преграда на пути ко всеобщему братству на земле и мать ненависти, убийств, порабощения и что мир не станет лучше, пока не удастся вытравить из сознания людей смертельный яд, именуемый чувством патриотизма.

— Патриотизм! — восклицал он гневно.— Родина! Слепое дурачье, они не видят, что страна принадлежит не им, а биржевикам, хапугам, прожигающим жизнь за границей, мошенникам, спекулирующим землей, шайке воров — вот это и есть господа, ради которых патриотические дураки голодают и льют кровь. Бя-я!

Тут оппозиция сложила оружие.

Дилижанс взобрался по уступам на южном берегу реки и покатил дальше по плоскогорью.

— Что это за деревья? — спросил приезжий, прервав тишину, воцарившуюся после его антипатриотического выступления, и

показал пальцем на рощицу, видневшуюся впереди, сбоку от дороги.— Похоже, что их здесь специально насадили; вряд ли здесь раньше был лес, а?

— А-а, это? Эти деревья правительство ввезло из-за границы,— ответил не совсем уверенно коммивояжер; было очевидно, что его познания в этой области не очень велики.— Наши собственные деревья не растут на такой почве.

— Неужели? А кажется, что на такой почве и сухая палка расцветет...

Тут приезжий вдруг насторожился и стал принюхиваться; недавно прошел дождь, и утро было теплое, влажное, напоенное ароматами. Приезжий пристально вглядывался в стоявшие у обочины деревья.

Они были непохожи на австралийские эвкалипты: у этих была заостренная крона и прямые, симметрично расположенные ветви; там, в Австралии, жара скрючивает эвкалипты и засушивает листья.

— Черт возьми,— воскликнул приезжий, не сводя глаз с деревьев.— Провались я на этом месте, если это не австралийские эвкалипты!

— Так оно и есть,— ответил кучер и стегнул лошадей,— они самые.

— Ах вы, недокормыши паршивые, старые австралийские уродцы! — приговаривал бывший австралиец с каким-то странным восторгом.

— Они вовсе не старые,— заметил кучер,— это совсем молодые деревья. Но говорят, что в Австралии они не такие — видимо, влияет климат. Я всегда думал...

Но приезжий, по-видимому, не слышал его слов; он не спускал глаз с деревьев. Они были посажены правильными, перекрещивающимися рядами и славно разрослись.

Меж деревьями вился дымок: это охотник на кроликов расположился на отдых и повесил над костром свой котелок. Запах горящих сучьев и листвы с эвкалиптов донесся до приезжего и вызвал волну воспоминаний.

— Здорово, приятель! — крикнул приезжий охотнику на кроликов; пассажиры дилижанса удивленно переглянулись.

— Здорово, приятель! — Ответ донесся как эхо; приезжему оно показалось отзвуком минувших дней.

Вдруг он заметил несколько деревьев, которые, видимо, были посажены раньше других,— возможно, это был первый опытный участок, и одно из них выросло таким же уродцем, как его братья в родной земле Австралии,— кривое, шишковатое, со скрюченными

сучьями, самый настоящий австралийский эвкалипт; ошибиться было невозможно.

Приезжий так и впился глазами в это дерево.

— Самое оно и есть, видали красавца? — завопил он.

Он чуть не свернул себе шею, стараясь не выпустить дерево из поля зрения, а затем раскурил трубку и, молча попыхивая ею, уставился взглядом куда-то вдаль, как будто перед ним расстилалось его прошлое — так оно на самом деле и было.

— Да,— задумчиво сказал он наконец, как бы извиняясь за свое молчание,— да, эти деревца... этот их запах... так и нагоняет всякие мысли.

Он снова умолк.

— Лично я не понимаю, что хорошего в этой Австралии,— немного погодя сказал один из его спутников пренебрежительным тоном.— Эти треклятые колонии только...

— Вздор! — огрызнулся австралиец — к тому времени он со своим соседом прикончил уже вторую бутылку виски.— Что вы, англичане, знаете об Австралии? Уж что-что, а вашей Англии она не хуже.

— Так, значит, вы закончите свои дела в Кристчёрче и прямиком махнете в Штаты? — спросил коммивояжер у австралийца, когда путешествие близилось к концу: к этому времени они уже успели стать друзьями.

— Да нет. Пожалуй, я все-таки загляну сначала в Австралию. В Сиднее у меня старый друг, у него есть свое дельце, надо бы перекинуться с ним словечком-другим...

ПОПУЛЯРИЗАТОР ГЕОЛОГИИ

«Даже самый простой, некультурный люд можно приохотить к геологии, особенно если у тебя под рукой окажется склон или там разрез породы, с начинкой из всяких окаменелых рыб и устриц, которые протухли, когда еще сам Адам был свежий, как огурчик».

(Из бесед Стилмена, профессионального бродяги, с его соратником и учеником Смитом.)

* * *

Первый, на кого наткнулись Стилмен со Смитом, выйдя к последней станции новой железной дороги, был здоровенный мрачный рабочий в ремнях и обмотках, таскавший камни. Стилмен приветствовал его и немного поговорил с ним о погоде. Малый на

куче камней заявил, не без мрачного удовлетворения, что хорошая погода долго не простоит; он сказал, что вон там — то есть на юго-востоке — дождь льет как из ведра и месяц совсем молодой. Месяц только народился, а во многих местах Новой Зеландии считают, что в такую пору поднимается сильный юго-восточный ветер и портится погода.

Стилмен осмотрел небеса в той стороне, как бы мягко журя и отцовски прощая их, любезно согласился с рабочим, на миг словно погрузился в мечты, но одернул себя и осмотрительно осведомился о боссе. Никакого босса нет, работа на паях. Малый вон там у подводы в конце выемки вроде представитель, председатель; его называют боссом, но это так просто, кличка такая. Стилмен принес благодарность и двинулся к выемке в почтительном сопровождении Смита.

Стилмена украшала куртка табачного цвета, широкополая мягкая шляпа, интеллигентного вида очки и ученое выражение лица; он выступал подобно духовной особе, величаво и достойно несущей к тому же груз ума и познаний. В руке он держал черную сумку, вещь при его профессии необходимую во всех отношениях. Смит, в пристойной и скромной твидовой паре, выглядел мелкой сошкой, субъектом, принимающим как должное планы, развлечения и капризы хозяина.

Босс был приличный, спокойный молодой человек, с приятной, немного постной физиономией.

— Добрый день, сэр,— сказал Стилмен.

— Добрый день, сэр,— сказал босс.

— Славная погодка.

— Да, ничего, только вряд ли продержится.

— Да, вряд ли, судя по тому, как выглядит небо вон там,— рискнул Стилмен.

— Ну, я больше сужу по тому, как выглядит наш предсказатель погоды.— Босс с ясной улыбкой показал на мрачного рабочего.

— Наверное, плохая погода работе помешает?

— Еще бы. Нам она сейчас совсем ни к чему.

Вопрос о погоде был благополучно разрешен; далее Стилмен осведомился:

— Железная дорога, я смотрю, подвигается?

— Да, самое трудное позади.

— Позади? — эхом отозвался Стилмен, вежливо удивившись.— А я-то думал самое трудное еще начинается,— и он кивнул на горный кряж неподалеку.

— А, нет, наш участок только вон до того столба, видите? Трудней всего нам пришлось, когда работали на болоте, почти все

время по пояс в воде, и зимой тоже — и по восемнадцать центов за ярд.

— Несладко.

— Уж чего хорошего. Вы с конечной станции пришли?

— Да, багаж отправил с кондуктором.

— Видимо, вы по торговой части? — спросил босс и посмотрел на Смита, который выглядывал из-за спины Стилмена, как бы живо интересуясь работой.

— Что вы,— улыбнулся Стилмен.— Я... я, в общем, геолог; это мой слуга,— он показал на Смита,— можете поставить сумку, Джеймс, покурите... Моя фамилия Стонлей — может, слышали.

Босс сказал:

— А! — и тут же прибавил: — Действительно,— но довольно неуверенным тоном.

Немного помолчали. Босс смущался, не зная, что сказать. Стилмен тем временем осмотрел своего напарника и остался доволен.

— Знакомитесь с местностью? — спросил босс.

— Да,— сказал Стилмен; затем, чуть поразмыслив: — Я путешествую ради собственного удовольствия и здоровья, а также в интересах науки, что в конечном счете сводится к одному. Я член Королевского геологического общества, собственно, вице-президент главного австралийского отделения,— затем, как бы боясь показаться самовлюбленным, он несколько изменил тему: — Да. Весьма интересный район. Весьма. С удовольствием бы тут на денек-другой задержался. Ваша работа — для меня просто клад. Не припомню, когда еще мне случалось видеть такую любопытную геологическую формацию. Обратите внимание на это обнажение. О! Тут можно проследить всю историю геологических эпох, так сказать, от нынешнего утра, от самой поверхности вглубь, сквозь различные слои и пласты, сквозь исчезнувшие периоды, до седой древности, до самых первобытных, исходных геологических формаций! — И Стилмен принялся обозревать разрез, как бы читая книгу с главами слоев и пластов и примечаниями вкраплений. Босс, по-видимому, заинтересовался, и Стилмен, завоевав доверие, далее стал опознавать и классифицировать различные «слои и пласты», устанавливал их возраст, объяснял боссу, каковы были политические отношения и условия жизни человечества в каждую эпоху соответственно.

— Сейчас,— продолжал Стилмен, медленно отворотясь от разреза, сняв очки и рассеянно блуждая задумчивым взором по окрестности,— сейчас на обычный просвещенный ум этот район производит впечатление современного — то есть в геологическом смысле современного с отдельными участками более старых гео-

логических и растительных формаций; например, эти мертвые деревья на явно наносном склоне, это обнажение известняка или вон тот лес,— и он показал на мертвые заросли, с виду живые из-за ползучих растений.— Но район старый — древний; возможно, мы наблюдаем здесь древнейшую геологическую формацию в мире, древнейшую растительную формацию в Австралазии. Я употребляю слова «древний» и «современный» как геологические термины, понимаете?

Босс сказал: «Понимаю»,— и еще, что геология, наверное, очень интересная наука.

Стилмен вновь устремил задумчивый взор на разрез, затем, повернувшись к Смиту, он сказал:

— Полезайте туда, Смит, и принесите мне образец вон той сланцевой породы прямо под пластом того же возраста.

Смиту прошлось взобраться по крутому, скользкому склону, но ничего другого ему не оставалось.

— Этот сланец,— сказал Стилмен, кроша прогнивший обломок,— относится, по-видимому, к более древнему геологическому периоду, чем можно было бы заключить, судя по его расположению,— возможно, он внедрен в древнейший горизонт песчаника. Расположение его в данном пласте является, безусловно, следствием вулканического смещения. Такого рода пертурбации, точнее, их последствия всегда смущали и поныне смущают геологов, ведут к бесконечным ошибкам и спорам. Понимаете, район надо изучать не в теперешнем его виде, а таким, каким он был бы, если бы геологическое развитие происходило без помех; наша задача, следовательно, восстановить и упорядочить разрозненные части царства минералов, если вы меня поняли.

Босс сказал, что понял.

Стилмену удалось строго мигнуть Смиту, который зазевался и распустил губы в бессмысленной ухмылке.

— И непосвященным известно, что горная порода растет, обрастает, но та порода, образец которой сейчас у меня в руке, находится в процессе распада — попросту говоря, гниет,— настолько глубокого распада, что ее трудно отнести к какому бы то ни было геологическому периоду, точно так же, как неизвестно, к чему отнести совершенно разложившийся труп.

Босс заморгал и наморщил лоб, но взял себя в руки и сказал:

— Совершенно верно.

— Будь эта порода здоровой — так сказать, живой,— вам пришлось бы свернуть работу; но она мертва, и, видимо, уже давно. Работать вам не трудней, чем с глиной или песком или даже гравием — каковые формации, собственно, представляют собой горную породу в зародыше, так сказать, до рожденья.

Морщины на лбу у босса разгладились.

— Район просто гниет — просто гниет.

Он снял очки, протер их, утер лицо; затем внимание его привлекли камни под ногами. Он поднял один и осмотрел.

— Не удивлюсь,— рассеянно пробормотал он,— не удивлюсь, если в здешних бухтах и оврагах окажется наносное золото или олово, возможно, даже серебро, вполне возможно, сурьма.

Босс, по-видимому, заинтересовался.

— Не скажете, где бы мне поблизости остановиться на несколько дней со своим слугой? — спросил тут Стилмен.— Я б с удовольствием здесь передохнул.

— Не знаю,— ответил босс.— Прямо не знаю. Ближе всего Пахиатуа, но это отсюда миль семь.

— Знаю,— задумчиво проговорил Стилмен.— Но я твердо рассчитывал найти здесь жилье, иначе уехал бы дальше в фургоне.

— Если хотите,— сказал босс,— если вас не смущают плохие условия, можете переночевать у нас, милости просим.

— Если только я не причиню вам хлопот, никак не нарушу ваш бюджет...

— Какие хлопоты? — перебил босс.— Ребята обрадуются. А спать можно в пустой хибаре. Оставайтесь. И погода к ночи портится.

После чая Стилмен услаждал босса и других любознательных тружеников краткими, непринужденными лекциями по геологии и еще на кой-какие темы.

Тем временем Смит в отдаленной части лагеря свистал на свистульке, пел, не хуже прочих рассказывал байки и обеспечил себе популярность, по крайней мере, на несколько ночей вперед. После нескольких доз питья, которое разливали из большой бутылки по кружкам, язык у него развязался и он объявил, что вся эта геология — чушь собачья и что будь у него хоть половина хозяйских денег, он бы в жизни не стал ковыряться в грязи, как паршивый муравьед; хозяина он при том почтительно именовал «Древней породой». А вообще-то, сказал он, работенка у него — грех жаловаться, особенно если погода хорошая; пара монет в неделю, на всем готовом, и денежки верные; а всего делов-то — присмотреть за багажом, устроиться на ночлег; когда надо, выкопать какой-нибудь там комок или камень, да еще (правда, это самое нудное) прикидываться, будто интересуешься старой глиной и камнями.

Ближе к полночи Стилмен отбыл в свободную хибару, в сопровождении Смита, навьюченного мешками и одеялами, которые предоставили в их распоряжение гостеприимные хозяева. Смит зажег свечу и стал стелить постели. Стилмен сел, снял очки и уче-

Г. Лоусон «Прелести фермерской жизни»

ное выражение лица, бережно положил очки на полочку, вынул из сумки книгу и стал читать. Фолиант являл собой дешевое издание «Путешествия к центру земли» Жюля Верна. Скоро в дверь постучали. Стилмена вновь украсили очки и ученое выражение лица. Он достал из кармана блокнот, раскрыл его и сказал:

— Войдите.

Один из рабочих принес котелок горячего кофе, две кружки и печенье. Он сказал, что подумал — небось вы, ребята, перед сном не прочь побаловаться кофейком, а мы забыли вам сказать, чтоб вы подождали. Еще он сказал, что пришел узнать, хорошо ли мистер Стонлей и его слуга устроились на ночь и хватит ли им одеял. За хибарой есть дрова, в случае чего можно затопить.

Мистер Стонлей отвечал, что весьма признателен и тронут вниманием, оказанным ему и его слуге. Он просил извинить его за доставленное беспокойство.

Землекоп, человек серьезный, уважавший талант и интеллект во всех проявлениях, сказал, что никакого беспокойства, в лагере скука и ребята всегда рады, когда появляется кто-нибудь со стороны. Затем, после краткого обмена суждениями относительно вероятной устойчивости наступившей погоды, они пожелали друг другу спокойной ночи, и тьма поглотила серьезного человека.

Стилмен влез на верхние нары у одной стены, а Смит занял нижние напротив. Рядом с ложем Стилмена, как всегда, горела свеча; он зажег трубку, чтоб еще разок пыхнуть перед сном, и не сразу погасил свечу, чтоб Смит успел насладиться торжественной гримасой, которую он состроил. Смит глубоко оценил ее и достойно скривился в ответ. Тогда Стилмен задул свечу, лег и немного попыхтел трубкой. Потом он хмыкнул, и Смит отозвался эхом. Стилмен крякал еще и еще, и ему вторил Смит. Потом все затихло в темноте, и вдруг Смит крякнул дважды. Тут Стилмен сказал:

— Господи, да хватит тебе, Смит, дай человеку поспать.

И тишина в темноте больше не нарушалась.

Назавтра им предложили еще остаться, и Стилмен отослал Смита проверить, цел ли багаж. Смит отсутствовал часа три, потом вернулся и доложил, что все в порядке.

Они задержались на несколько дней. После завтрака, когда все шли работать, Стилмен и Смит на глазах у всех копались в слоях и пластах, демонстрируя честные намерения. Потом они незаметно перемещались за кусты, располагались в укромном местечке, разжигали костер, если было холодно; Стилмен читал и курил, лежа на травке, строил планы на будущее и совершенствовал Смита, пока оба не замечали, что дело идет к обеду. А вечерами они приносили в лагерь черную сумку, набитую осколками, и Стилмен после чая читал лекции об этих минералах.

Дня через три Стилмен разговорился с одним рабочим. Тот шел на работу. Это был длинный парень с темным лицом и с виду безобидной усмешкой. По здешним понятиям, он был скорей трудяга, чем лоботряс, и уж вовсе не смахивал на долдона.

Трудяга сказал:

— Что скажете насчет босса, мистер Стонлей? Вы ему здорово понравились, и он так увлекается геологией.

— По-моему, он очень приличный и умный молодой человек. Видимо, начитанный и знающий.

— А ведь не подумаешь, что он в университете учился! — сказал трудяга.

— Ну да? Неужели?

— Да. Я думал, вы знаете.

Стилмен наморщил лоб. На мгновенье он слегка растерялся. Несколько шагов он прошел молча, в сосредоточенном раздумье.

— И какая ж это у него специальность? — спросил он у работяги.

— Да вроде та же, что у вас. Я думал, вы знаете. Его признали лучшим — ну как это? — лучшим минералогом округа. У него и работа была отличная в горном министерстве, да только он уволился, понимаете, по пьянке.

— По-моему, нам тут больше делать нечего,— сказал Стилмен Смиту, когда они уединились.— Они тут слишком умные. Это не для меня. Правда, мы неплохо устроились. Три дня — стол, квартира и культурные развлечения.— Потом он прибавил про себя: «Ну, на денек еще можно задержаться. Если даже парни развлекаются на наш счет — что мы теряем? Я не из нежных. В дураках все равно они, а не мы, и я еще покажу им, что почем, прежде чем отсюда двигаться».

Но по дороге домой он имел разговор с другим рабочим, который будет обозначен ниже как лоботряс.

— Вот не подумал бы, что босс ходил в университет,— сказал Стилмен лоботрясу.

— Как это?

— Учился, говорю! В университете.

— Чего? Да кто вам сказал?

— Один ваш товарищ.

— Ну, это он для смеха. Босс — спасибо если расписываться умеет. А вот длинный такой трудяга, который все усмехается,— так он действительно кончил колледж.

— По-моему, завтра надо отправляться,— сказал Стилмен Смиту, уединившись с ним в хибаре.— Слишком тут веселья много — лично мне, серьезному ученому, это не подходит.

Нас обоих звали Джо, и, чтобы не путаться, его хозяин (мой дядя), моя тетка и мать называли его «Черный Джо», а меня — «Белый Джо», поэтому, когда мы слышали, как вдалеке кто-нибудь из женщин кричит: «Чё-ё-ё-рный Джо» (звук «ё» растягивался и к концу переходил в пронзительный вопль, а «Джо» произносилось резко и отрывисто), Джо уже знал, что хозяйка ищет его, чтобы послать за водой, или за дровами, или приставить смотреть за ребенком, и прятался подальше; на зов дяди он шел сразу. Когда же мы слышали «Бе-е-е-е-лый Джо!» — этот крик наши уши почему-то улавливали с трудом и не сразу (хотя у Джо был необыкновенно острый слух),— мы вспоминали, что мне давно уже пора быть дома или что я ушел без спросу и мне, по всей вероятности, собираются «всыпать горячих», как выражаются взрослые. Иногда я откладывал «согревание» до тех пор, пока меня не загоняли домой требования желудка, а это с наступлением сезона дикой вишни или ямса случалось не так-то скоро, однако от отсрочки «горячие» прохладнее не делались.

Иной раз Джо случалось ослышаться или он притворялся, что ослышался,— и я целый день пребывал в заблуждении, что домой требовали моего чернокожего приятеля, тогда как на самом деле звали меня; и чем дольше я не шел, тем больше распалялось материнское сердце.

Но Джо знал, что моя совесть была не так эластична, как его, и... что ж тут поделаешь? Чего не бывает между друзьями!

Я познакомился с Джо, когда приехал погостить на ферму к дяде. Ему было тогда лет девять — двенадцать, и мне тоже около этого. Кожа у него была очень черная еще и потому, что в свободное время (которого у него, в общем, хватало) он предавался увлекательному, хотя и не вполне определенному занятию — «выжиганию валежника». Кроме «выжигания», он пас овец, охотился на опоссумов и кенгуру, ловил раков, спал и ухитрялся делать массу всяких прочих дел. У меня кожа была очень белая — я был болезненным городским мальчиком,— но так как я проявил живейший интерес к выжиганию, а кроме того, не слишком-то жаловал холодную воду — дело было зимой,— разница в цвете нашей кожи по временам не очень бросалась в глаза.

Отец Джо — Черный Джимми — жил в лачуге за овчарнями, на склоне холма, и пас дядиных овец. Это был мягкий, добрый, покладистый старик с приятной улыбкой,— впрочем, то же самое, на мой взгляд, можно сказать о большинстве старых туземцев, живущих среди белых. Мне Черный Джимми страшно нравился, и

мы с ним были большие приятели. При первой возможности я ускользал из дома, являлся к нему и часами сидел на корточках у костра вместе с его черномазыми ребятишками, задумавшись или рассуждая с ним на разные темы. Я многое отдал бы, чтобы вспомнить сейчас, о чем мы разговаривали. Иногда, если я пропадал там слишком долго, за мной присылали кого-нибудь из дома, и Черный Джимми говорил:

— С ребятишка на опоссума одеяло.

Где меня и находили,— я сладко спал в одной куче с другими юными австралийцами.

Я очень любил Черного Джимми и с радостью пошел бы к нему в сыновья. Я охотно стал бы жить жизнью дикаря с ее нехитрыми радостями, проводя дни в зарослях, а ночи — «на опоссума одеяло»; но мои родители представляли себе мое будущее несколько иначе.

Когда Черный Джимми задумал жениться — лет за двенадцать до того, как я с ним познакомился,— ему пришлось биться за невесту с чернокожим соперником в поединке, происходившем по всем туземным правилам. В округе это был последний поединок такого рода. Брат моего дяди, уверявший, что он при сем присутствовал, описал мне эту церемонию. Они бросили жребий, и Черный Джимми встал, упираясь руками в колени, и пагнул голову. Его соперник изо всех сил огрел его по голове дубиной. Затем противники и зрители выпили (Черный Джимми, наверно, нуждался в подкреплении сил, так как дубина была тяжелая и суковатая — какой ей и полагалось быть по традиции). Затем его соперник нагнул голову, а Джимми взял дубину и вернул ему долг с процентами. Затем соперник треснул Джимми во второй раз и получил соответствующую сдачу. Затем они опять выпили и продолжали в том же духе до тех пор, пока соперник Джимми не потерял всякий интерес к этому делу. А впрочем, не всему тому, что рассказывает дядин брат, можно верить.

Черная Мэри по праву рождения была принцессой; она считалась самой чистоплотной туземкой в округе и пользовалась большой популярностью среди жен фермеров. Быть может, она надеялась исправить Джимми; в его жилах тоже текла королевская кровь, но он придерживался весьма свободных взглядов на религию и условности цивилизованной жизни. Мэри настояла на том, чтобы их венчал священник, заставила Джимми построить приличную хижину, окрестила всех своих детей и до самой смерти содержала их и мужа в чистоте и порядке.

Бедная принцесса Мэри была честолюбива. Она стала учить своих детей грамоте, а когда выучила их всему, что сама знала, то есть когда они постигли премудрость азбуки,— она прибегла к

помощи белых соседей — тех, кто был подобрей. Она решила устроить своего старшего сына в конную полицию, и насчет устройства остальных детей у нее тоже были планы, для осуществления которых она трудилась не покладая рук. Джимми ей не мешал, но ничем не помогал, только отдавал ей паек и жалованье, которые он получал у дяди,— и чего еще, собственно, можно было от него требовать?

Он поступал, как все мужья, дорожащие «миром и спокойствием» в доме,— разрешал жене верховодить собой и старался, насколько это позволяли ее преобразовательные и воспитательные идеи, поменьше себя утруждать.

Мэри умерла, не прожив положенного ей срока, уважаемая всеми, кто ее знал или слышал о ней. Ближайшая соседка-фермерша прислала две простыни на саван, с указаниями, как обрядить покойницу, и сообщила — «по туземному телеграфу»,— что приедет на следующее утро со своей золовкой и еще двумя белыми соседками, чтобы похоронить Мэри как следует.

Но соплеменники Джимми опередили их. Они разорвали простыни на узкие полосы и связали Мэри в узел, притянув ей колени к подбородку. Приготовив ее таким образом к погребению по туземному обычаю, они разрисовали себя известью, обсыпали пеплом и оплакивали ее всю ночь,— по крайней мере, женщины оплакивали. Белые соседки увидели, что нет никакой надежды распутать эти бесчисленные узлы и петли, даже если бы и было возможно положить ее после в гроб. Им пришлось смириться, и Мэри так и похоронили, как она была, с соблюдением и туземных и христианских обрядов. И у нас нет никаких оснований утверждать, что она давно уже не «живет в белой женщине».

Дядя и его брат взяли к себе двух старших мальчиков. Черный Джимми с остальным семейством немедленно покинул свою хижину — в ней теперь обитал «злой дух»,— а упоминание имени Мэри, согласно туземному этикету, стало «табу».

Джимми перебрался поближе к могилам своих предков, забрав с собой стадо овец, уменьшавшееся день за днем (дядины дела пошатнулись под натиском засухи, эпидемий среди овец, кризиса, спекулянтов шерстью и из-за несговорчивости правления банка), и все свое хозяйство: несколько кусков коры, тлеющую головню, закопченную трубку, несколько одеял и засаленных ковриков из шкур опоссумов, связку хвостов кенгуру и т. д., четырех безнадзорных ребятишек и полдюжины паршивых собачонок, изредка согреваясь глотком «чуть-чуть рому».

Четыре маленьких австралийца зарастали грязью и дичали, питались недожаренным мясом кенгуру, опоссума и сумчатых медведей, изредка лакомясь личинками и варанами,— и умирали один

за другим, как это случается с туземцами, когда их захватывает волна цивилизации. После смерти каждого ребенка Джимми незамедлительно переезжал на новое место, оставляя прежнюю лачугу во владении «злого духа», и строил себе новую, каждый раз все с меньшими претензиями.

Наконец он остался один — последний из своего рода, и ему осталось лишь оплакивать свою участь в одиночестве. Но вот однажды ночью злой дух пришел и сел рядом с королем Джимми,— и он тоже переселился в страну своих отцов, а его лачуга сгнила и сровнялась с землей, и место ее поросло травой.

Я восхищался Джо. Я считал, что ни один белый мальчишка не знает и не умеет столько, сколько он. Джо безошибочно отыскивал опоссумов по запаху, и я твердо верил, что он видел на много метров сквозь самую мутную воду; когда у меня однажды затонул кораблик и я не знал точно где, он достал его со дна с первого же раза. Из катушек, палочек и кусочков коры он мастерил игрушечные фермы с жилым домом, бойней, овчарнями и всем прочим, со своими собственными добавлениями и усовершенствованиями, которые не без успеха можно было бы использовать на практике. Он чрезвычайно оригинально и вдохновенно врал, когда разговор касался предметов, о которых он не имел ни малейшего представления. Чрезвычайно интересно описал он мне визит своего отца к королеве Виктории, между прочим, упомянув, что его отец перешел Темзу, не замочив ног.

Он также рассказывал мне, как однажды он, Джо, привязал к столбу веранды полицейского из конного отряда и отхлестал его пучком сосновых веток, прекратив экзекуцию лишь тогда, когда ветки истрепались и сам он устал. Я пробовал расспрашивать Джимми об этих событиях, но, по-видимому, старый король позабыл о них.

Джо умел складывать большие кучи из малого количества валежника лучше любого из местных черных и белых бродяг и бездельников. У него были задатки прирожденного архитектора. Он вкладывал в свои поленницы массу труда — они у него были в форме полумесяца, полые изнутри и стояли выпуклой стороной к дому — для успокоения хозяйственного ока. Джо не любил неприятностей, ибо он унаследовал от отца любовь к миру и спокойствию. Дядя обычно возвращался домой после наступления темноты, и к этому времени Джо разводил в разных местах, на безопасном расстоянии от дома, множество маленьких костров, чтобы создать впечатление, что «выжигание» протекает удовлетворительно.

Как-то, уже весной, мы с Джо повздорили с одной старой ведьмой, которой не понравилось, что мы купаемся перед ее лачугой. В наказание она реквизировала часть нашего гардероба. Мы не много потеряли бы, даже если бы она забрала его целиком, но нас глубоко возмутили ее действия, тем более что они сопровождались нелитературными выражениями по нашему адресу.

Заняв безопасную позицию на другой стороне пруда, Джо обратился к ней со следующей речью.

— Эй ты! Печеная рожа, сахарные глаза, мученый мешок — вот ты кто!

«Мученый мешок» должно было означать «мешок с мукой», а сахар, который выдавался туземцам в пайке, был грязноват. Вооружившись подпоркой для белья, она ринулась на нашу сторону и показала неплохое время; но мы переплыли заводь, и только она нас и видела вместе с нашей одеждой.

Это мелкое происшествие чуть было не изменило всей моей жизни. Примерно через час после нашего столкновения дядя проезжал мимо дома «мученого мешка», и она нажаловалась ему на нас; в тот же вечер одна из поленниц Джо — его последнее и наиболее тщательно выполненное сооружение — рухнула, когда тетка в темноте попыталась вытащить из нее ветку; тетка страшно напугалась, что могло иметь очень серьезные последствия.

За все это, вместе взятое, дядя выдрал нас обоих без всякой расовой дискриминации и отправил спать без ужина.

В поисках утешения мы явились к Джимми, но у отца Джо не нашел ни сочувствия, ни ужина, а меня Джимми отправил домой с отеческим наставлением «не ходить с этим мальчишка», то есть с Джо.

На другой день мы с Джо ушли вниз по речке и у заводи, расправляясь с котелком вареных раков и куском овсяной лепешки, обсудили создавшееся положение. Мы пришли к выводу, что жизнь стала невыносимой, и решили удалиться за пределы цивилизованных районов. Джо сказал, что он знает одно место, миль за пятьсот, где есть лагуны и заводи по десять миль шириной, кишащие утками и рыбой, и где черные какаду, кенгуру и вомбаты только того и дожидаются, чтобы их сшибли палкой.

Я решил немедленно превратиться в туземца; мы достали заржавленную сковородку без ручки и зажарили на ней пригоршню жирных желтых личинок, но только было я собрался отведать этого блюда, как мы были обнаружены, и для пресечения наших замыслов была приведена в действие вся семейная машина принуждения. Выковыривая личинок из-под коры дубов, мы сломали новые ножницы для стрижки овец и решили взять по лезвию, считая, что больше нам ничего не оставалось делать. Дяде эти пож-

ницы были очень нужны, и он встретил нас дома с кнутом в руках и задал обоим порку, опять не принимая во внимание разницу в цвете кожи. Всю ночь и весь следующий день я сожалел об его беспристрастии. Меня отправили домой, а Джо дядя вскоре взял с собой перегонять скот. Если бы обстоятельства сложились иначе, я, быть может, прожил бы вольную и беспечную жизнь и мирно умер бы вместе с последним из моих названых соплеменников.

Джо умер от чахотки на одном из перегонов. Когда он умирал, дядя спросил его:

— Может, тебе чего-нибудь хочется?

— Чуть-чуть рому, хозяин,— ответил Джо.

Это были его последние слова. Он выпил ром и тихо скончался.

Дома я первый узнал о его смерти. Я тогда был еще мальчишкой и кинулся в дом с криком:

— Мама! Мама! Тетин Джо умер!

В доме в это время были гости, и так как старшего сына моей тетки по матери тоже звали Джо, в честь деда — главы рода (нашего, а не рода Черного Джо),— все были как громом поражены, услышав эту весть. Однако после того как меня с пристрастием допросили, ошибка выяснилась и мне как следует влетело; вконец расстроенный, я удалился в укромный уголок за свиным хлевом, куда я всегда уходил в тяжелые минуты жизни.

ДВЕ СОБАКИ И ЗАБОР

— Ничто, я вам скажу,— начал Митчелл,— так не бесит собаку за забором, как если другая появляется с наружной стороны забора и принимается нюхать землю и лаять на первую сквозь щели, в то время как та не может выбраться наружу. Второй пес может быть или совершенным незнакомцем, или закадычным другом первого; он может вообще не лаять, а лишь сопеть — для собаки за забором это не имеет ровно никакого значения.

Обычно начинает перебранку собака за забором, а вторая лишь возмущается и злится оттого, что та разозлилась первая и устроила скандал неизвестно из-за чего. Вторая тоже принимается лаять и только подливает масла в огонь. Первая собака беснуется так, что у нее изо рта летит во все стороны пена, она в ярости хватает ее, и при этом ее челюсти очень напоминают срабатывающие капканы.

Трудно сказать, почему собака за забором впадает в такую ярость; но скорее всего, она думает, что пришедшая собака поль-

зуется ее невыгодным положением и кичится своим превосходством. Так или иначе, но ярость первой собаки нарастает по мере того, как разгорается ссора, и наконец она принимается кусать собственный хвост от злости, что не может выйти из-за забора и сожрать чужую собаку. И уж если бы ей удалось выбраться наружу, она бы разорвала ее в клочья или, во всяком случае, постаралась бы ее разорвать, будь это даже ее родная сестра.

Иногда пришедший пес только ухмыляется и удаляется прочь. Впрочем, бывает, что он тявкнет раза два таким безразличным тоном, будто происходящее его совершенно не касается. Но не пролаять при данных обстоятельствах было бы неприлично. Делается это для поддержания чувства собственного достоинства и во избежание нарушения собачьего этикета.

Если пришедшая собака всего-навсего маленькая безобидная собачонка, она сразу же бросается наутек — от греха подальше. Если же это маленький, но задиристый песик, то он доставляет себе удовольствие насладиться беспомощной злостью врага, предварительно убедившись, что тот находится за прочной изгородью.

Забавно видеть, как огромный ньюфаундленд принюхивается с добродушной ухмылкой, в то время как пес за забором бешено лает, задыхается от ярости, брызжет пеной и дергается всем телом вплоть до последнего позвонка в хвосте.

Случается и так, что за забором находится маленькая собачка. И чем меньше эта собачонка, тем больше от нее шуму; еще бы: она отлично понимает, что ей ничто не угрожает. А иногда, как я уже сказал, пришедший пес по натуре вспыльчив, хотя и заявляет, что терпеть не может скандалов и никогда первый в драку не лезет. Такой пес очень напоминает определенный сорт людей, которые тоже заявляют, что терпеть не могут скандалов, и всегда нестерпимо вежливы и обходительны — этакой нарочитой, препебрежительной, нагловатой, раздражающей вежливостью, вызывающей желание дать им в зубы; они никогда не затевают ссор, но уж если их заденут, лезут на рожон — дескать, их обидели — и без конца твердят, что это не они все начали.

Вспыльчивый пес разъяряется при виде беснующегося за забором сородича и заявляет ему:

— Что это ты взбеленился? Что с тобой, черт подери?

А тот отвечает:

— Да знаешь ли ты, с кем говоришь? Ты...!! Да я тебя...! — и тому подобное.

Тут второй пес выходит из себя:

— Да ты, я вижу, хуже старой паршивой бабы!

После этого они напускаются друг на друга, да так, что их слышно за несколько километров от места схватки: будто сотни

пушек стреляют холостыми со скоростью восьмидесяти выстрелов в минуту. В конце концов второй пес так же горит желанием проникнуть за ограду и сожрать первого пса, как первый — вырваться наружу и выпустить кишки из пришельца.

А случись этим же двум псам встретиться на улице, они моментально найдут общий язык, могут даже сразу подружиться и клясться друг другу в вечной преданности и приглашать друг друга в гости.

НЕОКОНЧЕННАЯ ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ

Брук вытащил из пазов тяжелые неуклюжие перекладины, и отощавшее стадо нехотя, словно раздумывая, двинулось к воротам, а затем медленно разбрелось среди диких яблонь у дороги. Первой из загона вышла старая добродушная рыжая корова, за ней грязно-белая, за ними два почти взрослых тощих теленка — несмотря на свой юный возраст, они, казалось, уже потеряли всякий интерес к жизни, за ними пара упитанных жизнерадостных сосунков с гладкой лоснящейся шерстью, за ними еще три усталых коровы с отвисшим вымепем и впалыми боками, за ними долгоногая яловая корова, полуслепая, с одним кривым рогом и, конечно, рыжая (хозяин прозвал ее Королевой Елизаветой),— она славилась своим умением легко перемахивать через высокие изгороди; за ней следовала светло-желтая дойная корова, весьма гордая и довольная собой молодая мамаша, ее теленок и на ходу продолжал упрямо сосать, а она терпеливо тащила его за собой, не проявляя ни малейших признаков беспокойства. Шествие замыкал неизбежный красный бычок; он рыл копытами землю и глупо мычал, обнюхивая жерди изгороди.

Пятнадцать лет назад Брук не раз открывал эти ворота, может быть, вынимал из пазов эти же самые перекладины, потому что эвкалиптового дерева надолго хватает, и сейчас это напомнило ему о прошлом живее, чем ему бы хотелось. Он не любил вспоминать о безрадостной полуголодной жизни на ферме и испытывал скорее презрение, чем жалость, к несчастному неопытному подростку, одной из обязанностей которого было открывать ворота и выгонять скот.

Эти пятнадцать лет он прожил в городах и приехал сюда, движимый прежде всего чувством любопытства и еще желанием немного отдохнуть в тиши. Отец его умер, родственники разъехались, и теперь на старой ферме хозяйничал арендатор.

Брук облокотился на изгородь и смотрел на коров, о чем-то раздумывая, пока Лиззи, племянница арендатора, не выгнала из

загона красного бычка и не остановилась, глядя на него сосредоточенным, серьезным взглядом (на Брука — а не на бычка); тогда Брук повернулся к ней, оперся спиной об изгородь и посмотрел на Лиззи. По правде говоря, смотреть-то было не на что: невысокая худышка лет девятнадцати, веснушчатая, бледная, с темными кудряшками, безучастным взглядом серых глаз, она казалась совсем невзрачной; цветастое платье висело на ней мешком, а на ногах болтались грубые мужские ботинки, которые были ей чересчур велики. Она «училась на учительницу», что было пределом мечтаний местной молодежи. Брук молча разглядывал ее.

Затем он отвернулся и принялся вставлять перекладины в пазы. Нижняя легко легла на место, а верхняя застряла с одного конца, будто заклинилась. Он дергал ее вверх и вниз, туда и сюда, он даже взял конец перекладины под мышку и изо всех сил потянул ее на себя; с равным успехом он мог бы пытаться выдернуть из земли столб. Тогда он поднял свободный конец как можно выше и затем отпустил его, а сам отскочил в сторону. Это подействовало, но когда он опять поднял перекладину и вставил ее в паз, она так далеко в него вошла, что другой конец упал на землю, ободрав Бруку колено. Брук тихонько ругнулся и попытался поставить перекладину на место; но теперь заклинился другой конец. Наконец перекладина благополучно легла в пазы. Тогда Брук снова повернулся к Лиззи, потирая колено.

Лиззи ни разу не улыбнулась; все это время она следила за ним с величайшей серьезностью.

— Ободрал себе колено? — спросила она равнодушно.

— Не я ободрал, а жердь мне ободрала.

Некоторое время она размышляла, потом спросила, больно ли ему.

Он коротко ответил, что нет.

— С этими противными тяжелыми перекладинами всегда трудно справиться,— заметила она после некоторого раздумья.

Брук согласился, и они двинулись к дому. На полпути была рощица, и там лежало толстое бревно. Брук остановился.

— Давай присядем отдохнем,— сказал он.— Садись, Лиззи.

Она повиновалась с самым серьезным видом. Некоторое время они молчали. Лиззи сидела, сложив руки на коленях, и задумчиво глядела на гряду дальних холмов, уже окутанную первыми сумерками. Сумерки несколько скрашивали голые холмы, как, впрочем, и весь остальной пейзаж. А когда темнота окончательно скрывала все вокруг, то жалеть об этом не приходилось. Брук гадал, о чем думает девушка. Молчание их почему-то не было неловким, но сейчас Бруку не хотелось молчать, и он заговорил.

— Завтра я уезжаю.

— Завтра?

— Да.

Она немного подумала, а потом спросила, хочется ли ему уехать.

— Не знаю. А тебе жаль, что я уезжаю, Лиззи?

Она долго думала, а потом сказала, что жаль.

Мужчина придвинулся поближе к девушке и вдруг обнял ее за талию. Внешне это ее нисколько не взволновало: она по-прежнему мечтательно глядела на далекие холмы, но голову она несколько склонила к его плечу.

— Лиззи, ты любила когда-нибудь? — и тут же добавил, предвосхищая обычный в таких случаях ответ,— конечно, не считая отца с матерью и всех родственников.— И затем прямо: — У тебя когда-нибудь был милый?

Она задумалась, словно в неуверенности; потом сказала, что не было.

Последовала продолжительная пауза; он, опытный горожанин, тяжело дышал; девушка сохраняла невозмутимость. Вдруг мужчина беспокойно задвигался и спросил:

— Лиззи! Лиззи, а ты знаешь, что такое любовь?

Она немного подумала и сказала, что, пожалуй, знает.

— Лиззи! А ты можешь полюбить меня?

На это она, видимо, не могла найти ответа. Тогда он крепко обнял ее и поцеловал в губы долгим, страстным поцелуем. Теперь волнение охватило и девушку — щеки у нее порозовели, она, дрожа, поднялась с бревна.

— Пора идти,— сказала она торопливо.— Нас ждут к чаю.

Он тоже встал, схватил ее за руки и не отпускал.

— У нас еще много времени, Лиззи.

— Ми-истер Бру-уу-к! Ли-и-иззи! Чай га-атов! — надрывался мальчишечий голос.

— Нет, правда, нам пора идти.

— Ничего, подождут немного. Не бойся, Лиззи.— Он склонился к ее лицу.— Лиззи, обними меня и поцелуй, поцелуй меня сейчас же. Ну, Лиззи, они нас не видят,— и он потянул ее за куст.— Ну, Лиззи!

Она подчинилась ему с видом испуганного ребенка.

— А теперь пойдем,— сказала она, задыхаясь после поцелуя.

— Лиззи, после чая пойдешь со мной погулять?

— Не знаю... Нет, не пойду. Это, наверное, нехорошо. Тете не понравится.

— Бог с ней, с тетей. Я с ней как-нибудь договорюсь. Прогуляемся до школы. Луна уже взойдет.

— Нет, нет. Папе с мамой тоже не понравится.

— Ну чего ты боишься? Что тут такого? — и затем ласково: — Приходи, Лиззи.

Она колебалась.

— Приходи, Лиззи. Завтра я уеду — может, мы с тобой никогда больше не увидимся. Придешь, Лиззи? В последний раз с тобой поговорим. Обещай, что придешь, Лиззи... Ну, если, конечно, тебе не хочется, я настаивать не буду... Так придешь или нет?

— Приду,— неуверенно.

— Ну еще раз, и домой.

Почти совсем стемнело.

На следующее утро Брук поднялся рано, чтобы помочь девушке подоить коров. Он не разучился доить, но занятие это не доставляло ему удовольствия — слишком уж оно напоминало ему о прошлом.

Иногда Брук оборачивался и, прислонясь щекой к коровьему боку, наблюдал за Лиззи, и всякий раз, словно движимая непреоборимой силой, она тоже оглядывалась, как только струя молока прекращала ударять в подойник. На ее лице было написано удивление; казалось, что-то новое вошло в ее жизнь, а что — она не понимала; его лицо выражало любопытство.

Когда ведра наполнялись, он относил их в маленькую маслобойню — она шла впереди, он сзади; она держала над бидоном кусок материи, а он лил сверху молоко, и когда в бидон падали последние капли, их губы встречались.

Он носил ведра с помоями в свинарник и помогал ей кормить телят. Он брал теленка за загривок, засовывал ему в рот указательный палец и тыкал его носом в бадейку со снятым молоком. Теленок принимался сосать палец, и так учился есть самостоятельно. Но телята всегда инстинктивно подталкивают вымя носом, словно напоминая матери, чтобы она дала им молока; и теленок вот так же толкал бадейку, расплескивая молоко и обливая Брука, а рука Брука больно ударялась об острый край бадейки. Тогда Брук негромко ругался, а Лиззи печально и серьезно улыбалась.

В этот день Брук не уехал, не уехал он и назавтра, а сел в дилижанс лишь на третий день. Они с Лиззи нашли тихое местечко, чтобы попрощаться. Впервые, а может быть, во второй или третий раз за эту неделю Лиззи проявила какое-то волнение. Каждый вечер они встречались с Бруком при лунном свете. (Брук прожил в городе пятнадцать лет.) В утро отъезда они не смотрели друг на друга и не обменялись почти ни словом.

Когда дилижанс тронулся, Брук оглянулся: Лиззи сидела на кухне у большого окна. Она помахала ему рукой — с какой-то безнадежностью. Рукава у нее были засучены, и ее руки выше локтей показались Бруку удивительно белыми и прекрасными по сравнению с загорелыми кистями. Раньше он этого не замечал. Лицо ее тоже было красивее, чем обычно, но, может быть, оно показалось ему таким из-за игры света и теней в окне.

Он еще раз оглянулся, когда дилижанс поворачивал за угол, и на мгновение увидел, как Лиззи в отчаянии закрыла лицо руками, что совсем было на нее не похоже.

На следующий день вечером Брук приехал в город и, хотя было уже поздно, завернул в какой-то бар.

Говорят, что с тех пор сердце у Лиззи разбито, но ведь люди теперь не очень-то верят таким вещам, как разбитое сердце.

ЖЕНА СОДЕРЖАТЕЛЯ ПОЧТОВОЙ СТАНЦИИ

В почтовую карету нас набилось не менее дюжины, кто примостился на козлах, кто на задке, а кто прямо на крыше. Среди нас были стригальщики, коммивояжеры, агенты, овцевод, мелкий фермер, неизбежный шутник, и два профессиональных жулика-пилигрима. Мы устали, продрогли и совсем окоченели. Мы так замерзли, что говорить не хотелось, все были раздражены, и любой разговор сразу бы перешел в перепалку. Казалось, прошла целая вечность, а станция, где предстояло сменить лошадей, все не показывалась. За последние два часа нам общими усилиями удалось выжать из нашего возницы лишь невнятное «мили две еще». Потом он дважды повторил, вернее — пробурчал: «Теперь уже недалеко»,— и больше из него ничего не удалось выудить; он, казалось, считал, что и так уж наговорил лишнего.

Кучер наш был из тех людей, которые все принимают всерьез и считают любое высказывание, не затрагивающее их непосредственно, не заслуживающим внимания, а если оно обращено к ним, воспринимают его как оскорбление; из тех, кто, забившись в свою раковину, с большой подозрительностью относится к попытке постороннего человека пошутить или посмеяться. Он, казалось, все время был погружен в раздумье. Если одна рука у него бывала свободна, он, сдвинув на нос шляпу, скреб мизинцем в затылке, и челюсть у него отвисала. Но все силы его интеллекта сосредоточивались обычно на ненадежном вальке, плохо пригнанном хомуте либо на том, что гнедой или пегий (справа или слева) натер холку.

Письма и бумаги, которые он должен был доставить по дороге, беспокоили его довольно смутно, но постоянно,— так же, как абстрактные идеи, занимавшие его пассажиров.

Наш шутник, обладавший грубоватым юмором, последние два-три перегона то и дело прохаживался по адресу кучера. Но тот угрюмо отмалчивался. Он был не из тех, кто, получив оскорбление или вообразив, что его оскорбили, говорит об этом прямо и тем самым завоевывает уважение противника и предупреждает недоразумение, которое может привести к вечной вражде. Повстречав вас через много лет, когда вы уже совсем забыли о своем прегрешении — если вы вообще его заметили,— он может неожиданно «двинуть» вас по уху.

А иногда случается, что вы считаете его своим другом, однако он будет стоять рядом и слушать, как незнакомый вам обоим человек нагло лжет вам, стараясь вас одурачить. И хоть он знает, что незнакомец лжет, он нипочем не предостережет вас. Ему это никогда и в голову не придет. Ведь это его не касается — так, какая-то абстрактная проблема.

Сумерки сгущались, становилось все холоднее. Пошел дождь — словно ледяной юг начал плевать на наши лица, шеи и руки, а ноги уже стали громадными, как у верблюда, совсем онемели, и мы с тем же успехом могли бы пытаться согреть деревяшки, стуча ими по полу. Но зато пальцы не скрючивались и не ныли, и мы не чувствовали, как болят мозоли.

Мы жадно искали глазами признаки станции, где предстояло сменить лошадей,— расчищенный участок, изгородь или огонек,— но вокруг была сплошная темь. Длинную прямую, проложенную в зарослях дорогу больше не скрашивало неверное пятно света там, далеко впереди, где окаймлявшая дорогу лента леса смыкалась с небом,— мы ехали теперь по низине.

Нашему воображению рисовалось пристанище, где мы отдохнем,— снаружи в морозной дымке мерцает фонарь, а в уютном баре ярко пылает очаг, и длинный стол накрыт к ужину. Но Австралия — страна противоречий, и здесь все бывает наоборот. Придорожные трактиры всегда объявляются неожиданно и в самых неподходящих местах; в баре, как правило, все готово для настоящего банкета, если вы не голодны или спешите, а когда вы голодны и не спешите, в нем темно и холодно, как в могиле.

Неожиданно кучер сказал: «Приехали». Сказал он это таким тоном, словно довез нас до виселицы и страшно рад, что доставил нас к месту казни в целости и сохранности. Мы стали всматриваться, но ничего не увидели; потом где-то впереди замелькал огонек, приближаясь к нам, и вскоре мы разглядели, что это

фонарь, который несет человек в войлочной шляпе, с густой темной бородой и с наброшенным на плечи мешком. Он поднял руку и что-то сказал кучеру тоном руководителя поисковой партии, наконец обнаружившего труп. Кучер остановил лошадей, но потом медленно двинулся дальше.

— В чем дело? — спросили мы.— Что случилось?

— Да ничего особенного,— ответил кучер.

— Жена хозяина больна,— пояснил кто-то,— и он просит, чтобы мы не шумели.

Во мраке замаячила станция — обычная хижина из горбыля и коры, а за ней чернела большая конюшня. Мы спустились на землю, ковыляя, словно калеки.

Как только мы почувствовали, что ноги у нас отходят и сократились до нормальных размеров, мы помогли распрячь лошадей и отвести их в конюшню, стараясь как можно меньше шуметь.

— Ей очень плохо? — спросили мы хозяина, проявляя возможно больше участия.

— Да,— отвечал он голосом грубоватого человека, проведшего не одну тяжелую бессонную ночь около постели больного.— Но с божьей помощью, надеюсь, мы ее выходим.

Осмелев, мы сказали сочувственным шепотом:

— Нам очень неприятно беспокоить вас, но, может, у вас найдется что-нибудь выпить и перекусить.

— Еды в доме никакой нет,— ответил хозяин.— У меня есть только ром и молоко. Хотите?

Тут один из пилигримов не выдержал.

— Хорошенькое дело,— начал он,— таких трактиров я еще не...

— Ш-ш-ш,— зашипел хозяин.

Пилигрим нахмурился и стушевался. Нельзя свободно выражать свои чувства, если за стеной умирает женщина.

— Так кто тут упомянул ром и молоко? — шепотом спросил шутник.

— Подождите здесь,— сказал хозяин и исчез в сенях.

Вскоре осветилось окно. На его стеклах мы заметили поцарапанные, засиженные мухами буквы «Б», «А» и изувеченное «Р»,— одно стекло было разбито.

Приоткрылась дверь, и мы тихонько проскользнули в бар, словно собирались выпить в неположенный час в городе, где полиция строга и неподкупна.

Когда мы вышли из бара, кучер, почесывая в затылке, разглядывал валявшуюся на полу сбрую.

— Вам, ребята, придется часок-другой подождать. Лошади пасутся где-то там,— и он кивком головы показал куда-то в глубь Австралии.— Парень, что пошел за ними, еще не вернулся.

— Но, черт побери,— начал тот же пилигрим.— Мы с товарищем...

— Ш-ш-ш,— зашипел хозяин.

— А долго придется ждать лошадей? — спросили мы кучера.

— А я почем знаю,— пробурчал он.— Может, три, а может, и четыре часа. Уж это смотря как.

— Послушайте...— продолжал пилигрим,— нам с товарищем надо поспеть на поезд...

— Ч-ш-ш-ш,— донесся свирепый шепот хозяина.

— Ладно, приятель,— сказал шутник,— а постелей у тебя не найдется? Я не намерен мерзнуть здесь всю ночь.

— Что-нибудь придумаю,— отвечал хозяин,— но на кроватях вам придется спать по двое; можно еще устроиться на диванах, а двое-трое лягут на полу. В конюшне много мешков, а у вас с собой есть пальто и пледы. Сами уж между собой договоритесь.

— Но послушайте же! — в отчаянии перебил его пилигрим.— Мы не можем ждать. Мы же всего-навсего странники и живем крохами, которые подбираем на дорогах. Нам необходимо успеть...

— Ш-ш! — злобно шикнул хозяин.— Вы что, дураки, не слышали, что моей жене плохо? Я не позволю здесь шуметь.

— Но послушайте,— не унимался странник,— мы должны успеть на поезд в Мертвом Верблюде.

— Вот я тебе успею сапогом в зад,— выругался хозяин,— так что ты перелетишь через Мертвого Верблюда! Ни тебе и никому другому не позволю беспокоить мою хозяйку. Заткнись, а не то проваливай вместе со своим болваном товарищем.

Поведение пилигрима нас взбесило, мы отвели его в сторонку и накинулись на него:

— Ради бога, попридержи язык. Ну можно ли так ни с чем не считаться? Разве ты не видишь, что у него жена больная,— может, даже при смерти,— и от забот голова идет кругом.

Пилигрим и его товарищ были щуплыми двуногими из разновидности городских подонков. Их протесты были легко подавлены.

— Ладно,— зевнул шутник.— Я не собираюсь торчать всю ночь на ногах. Пойду ложиться.

— Восемнадцать пенсов с каждого,— намекнул хозяин.— Для скорости можно рассчитаться сейчас же.

Мы поняли намек и выпили еще по одной. Не знаю, как мы «между собой договорились», но в конце концов все как-то устроились.

При свете двух сальных огарков долго продолжались приглушенные препирательства. К счастью, мы боялись говорить громко, и скандала не вышло, хотя к этому времени мы уже были готовы сцепиться даже с любимым, только что вновь обретенным братом.

Шутник заполучил самую лучшую постель, как это обычно бывает с добродушными и покладистыми парнями, хотя они к этому вроде бы совсем и не стремятся. Ворчун оказался на полу на мешках с мякиной,— что по большей части случается с эгоистами, хотя они к этому тоже, по-видимому, не стремятся. Мне же попался один из «диванов» — вернее, я попался в лапы дивана. Это был короткий, узкий, продавленный в головах диван с наклоном к наружной стороне, в котором гвоздей и досок было больше, чем остатков первоначального дивана.

Мне казалось, что я проспал всего три секунды, когда кто-то принялся трясти меня за плечо и проговорил: «Поехали!»

Когда я вышел, кучер уже сидел на козлах, а остальные, перед тем как ехать, наполняли желудки (и бутылки) ромом и молоком.

Было еще темнее и холоднее, чем раньше, и Южный полюс казался еще ближе; и если бы не ром, мы бы очень скоро оказались в еще худшем состоянии, чем прежде. Некоторое время все ворчали хором. Потом кто-то сказал:

— А я вообще не верю, что лошади куда-то пропадали. Перед тем как лечь, я зашел за конюшню и вижу — они там стоят. И если это не те же самые лошади, я готов проглотить их живьем.

— Да ну? — безразличным тоном бросил кучер.

— Да, готов,— отвечал пассажир. И затем, вдруг неожиданно разозлившись, добавил: — И с тобой в придачу.

Кучер ничего не ответил. Эта абстрактная проблема его не интересовала.

Мы увидели, что разговор коснулся щекотливой темы, и некоторое время говорили о другом. Потом кто-то спросил:

— А где все-таки была его жена? Я нигде не заметил следов хозяйки или какой-нибудь другой женщины, а ведь мы там почти все облазили.

— Должно быть, он держал ее в конюшне,— предположил шутник.

— Нет, ее там не было, ведь Скотти и тот парень, что едет на крыше, ходили туда за мешками.

— Ну так на сеновале,— предположил шутник.

— Не было там сеновала,— вставил голос с крыши.

— Э, послушайте, мистер, мистер Как — вас — там,— неожиданно обратился шутник к кучеру,— да больна ли вообще его жена?

— А я почем знаю,— сказал кучер.— Может, и больна. Он так сказал. А с чего мне считать его врале́м?

— Послушайте-ка,— обратился к кучеру кровожадный пассажир тоном человека, готового пойти на скандал,— да есть ли у него вообще жена?

— Кажется, есть.

— А она живет с ним?

— Нет, если вас это так интересует.

— Ну и где же она?

— Почем мне знать? Она бросила его три или четыре года тому назад. Когда я в последний раз о ней слышал, она жила в Сиднее. Во всяком случае, меня это не касается.

— А скажи-ка, кучер, есть там вообще какая-нибудь женщина? — задумчиво спросил профессиональный странник.

— Кажется, нет. Ходила к нему черномазая старуха, но последнее время я ее не видел.

— Прошу прощения, кучер, да живет ли там вообще кто-нибудь? — спросил профессиональный странник с видом добросовестного писателя, который собирает материал для романа из австралийской жизни и интересуется деталями.

— Нет,— бросил кучер. Однако, спохватившись, что ему положено быть вежливым и предупредительным с клиентами своего хозяина, добавил угрюмо, но словно извиняясь: — Только сам он да конюх, вот и все.

Затем, раскаявшись в минутной слабости, он снова проникся чувством собственного достоинства и спросил вызывающе:

— Будут еще вопросы, джентльмены? Спешите, пока контора не закрылась.

Последовала длительная пауза.

— А скажи, кучер, лошади-то пропадали? — с мольбой спросил пилигрим.

— Почем мне знать,— ответил кучер.— Он сказал, что пропали. О лошадях он заботится. Меня это не касается.

— Двенадцать порций рома по шести пенсов,— начал шутник, словно высчитывая,— итого шесть шиллингов, и, скажем, в среднем повторим четыре раза — итого один фунт и четыре шиллинга; двенадцать постелей по восемнадцать пенсов за постель — восемнадцать шиллингов; да, скажем, десять шиллингов за ром и молоко, которые мы взяли с собой,— итого два фунта двенадцать шиллингов. Этот ловкач не так уж плохо общипал нас за два часа.

Нам было любопытно, сколько пришлось на долю кучера, но мы сочли за лучшее не спрашивать его об этом.

Оставшуюся часть пути мы больше молчали. Среди нас нашелся неизбежный провидец, который, конечно, «так и думал» и

«с самого начала обо всем догадался», но его проницательность энтузиазма не вызвала. Мы его подавили. Двое захотели вернуться, чтобы «измордовать» хозяина, и кучер по их просьбе бодро остановил карету; но они позволили убедить себя отказаться от этого намерения и сказали, что займутся обманщиком как-нибудь в другой раз. Мы чувствовали себя очень скверно, вспоминая, как позволили задержать себя и обчистить, как мы ходили на цыпочках и насели на безобидного пилигрима и его товарища,— и все это ради больной жены содержателя почтовой станции, которой и в помине не было.

Когда карета подъехала к Мертвому Верблюду, в ней царила атмосфера взаимной подозрительности и недоверия; мы рассыпались по разным вагонам, и поезд тронулся.

ЭВКАЛИПТОВАЯ ЩЕПКА

Дэйв Риган и его товарищи — артель, работавшая по постройке изгородей, водоемов и заготовке строительного леса,— заканчивали третий и последний кульверт из тех, что они подрядились соорудить на последнем отрезке новой железной дороги. Все счета и оправдательные документы они уже отправили в контору, чтобы не давать повода для лишних проволочек с оплатой по их договору.

А надо сказать, что и в чертежах и в спецификациях, приложенных к договору, специально оговаривалось, что для некоторых балок и перекладин можно использовать только твердоствольный эвкалипт, причем правительственным контролерам предоставлялось право требовать замены в тех случаях, когда они обнаруживали низкое качество брусов и других строительных материалов или несоответствие их условиям договора. Главный подрядчик поручил контроль над договорниками старшему десятнику. Тот был парень деловой и насчет леса соображал здорово, но он сам когда-то работал лесорубом, и все его симпатии были на стороне рабочих, так что он многое спускал Дэйву Ригану. Кроме того, срок уже раз продленного договора скоро истекал, и подрядчик торопился закончить свою ветку. Но был еще правительственный контролер — человек необщительный, никому не подчиненный, который разъезжал себе потихоньку по линии работ и имел обыкновение появляться в неурочное время в самых неожиданных местах. Вид у него был на редкость рассеянный и отсутствующий — ни дать ни взять серый кенгуру, с беспокойством разглядывающий новую проволочную изгородь, но не замечающий за ней людей.

Одевался контролер во все серое и ездил верхом на светло-серой лошади,— а чаще водил ее под уздцы,— и трава была высокая с седым налетом, так что обычно его замечали, только когда он был уже совсем близко и неторопливо надвигался на рабочих с лошадью на поводу.

И была тут одна загвоздка — дело в том, что твердоствольный эвкалипт на этих горных кряжах попадался очень редко, да и ходить за ним было далеко, зато другой лес, с очень похожей древесиной, но сильно уступающий в плотности, ну и, конечно, далеко не такой долговечный, рос в любом количестве тут же под рукой. Работа эта да и место Дэйву и его товарищам порядком осточертели. Больше всего им хотелось получить расчет и приступить к новому «дельцу», которое у них наклевывалось. Поэтому они решили взять для последней балки любое подходящее дерево, обтесать его, установить и тщательно, на совесть, просмолить — так что контролер ничего и не заметит, если он вообще, конечно, появится. Номер, однако, не прошел. Бревно было уже обтесано и готово к установке; темная пелена дегтя уже готова была спасительным покровом окутать подлог, сдвинуть который с места могли только четверо дюжих мужчин, вооруженных ломами и рычагами, как вдруг (и всегда ведь судьба сыграет злую шутку!), когда злополучное бревно долеживало на поверхности земли последние минуты, тревожа их нечистую совесть своим, как им казалось, явно несоответствующим видом и запахом, они увидели, что откуда-то сбоку к ним приближается государственный контролер с таким видом, точно он случайно проезжал мимо и свернул с проторенной дороги только затем, чтобы справиться об их здоровье и попросить прикурить. Вообще-то они рассчитывали, что, поскольку контролер частенько навещал их по ходу работ и знал, что дело близится к концу, он не станет утруждать себя еще раз. Но таковы уж власти предержащие! Вы можете хоть в лепешку расшибиться, силясь привлечь внимание властей к делу, исключительно важному для вас лично, для ваших товарищей, для всего района — да что там, даже для всей страны,— а «они» и глазом не поведут, но стоит только у вас появиться веским причинам не беспокоить властей и не мешать им, лишь бы и они на ваш счет не беспокоились, как тут-то им и приходит в голову фантазия явиться и надоедать вам.

— Всегда так! — прошептал Дэйв товарищам.— Я как чувствовал, что этот тип притащится. И ведь надо же! Один-единственный раз словчили,— добавил он тоном невинно пострадавшего.— А вот будь это из всех бревен одно-единственное эвкалиптовое, все бы сошло с рук... Здравствуйте, сэр! (Обращаясь к контролеру.) Жарища-то какая!

Контролер кивнул. Порывистость была не в его характере. Он слез с лошади и скользнул рассеянным взглядом по балке; но постепенно в его глазах появилось задумчиво-грустное выражение, как будто в далеком прошлом у него в семье произошло какое-то весьма печальное и тягостное событие и вид бревна почему-то напомнил ему об этом событии и вновь всколыхнул улегшееся было горе. Он троекратно моргнул и спросил без всякого интереса:

— А это что — твердоствольный эвкалипт?

Джек Бентли — самый залихватский враль во всей артели — поперхнулся и стал кашлять, чтобы выиграть время.

— Т-твердоствольный? А то как же! Я думал, вы сразу распознаете твердоствольный эвкалипт, мистер. (Мистер по-прежнему хранил молчание.) А что же это еще, как не эвкалипт?

Задумчиво-грустное выражение снова появилось в глазах контролера. Кстати сказать, контролер этот не так-то уж хорошо разбирался в древесине, но интуиция у него была великолепная и в критические моменты заменяла ему недостаток знаний.

— П-послушайте, мистер,— сказал Дэйв тоном простодушного недоумения, глядя на него глуповато-честными глазами.— А разве в чертежах и спецификациях не говорится: твердоствольный эвкалипт. В наших, по крайней мере, черным по белому сказано. С-сейчас я принесу договор из палатки и покажу вам, если желаете.

Этого не требовалось. Контролер не спеша подтвердил, что действительно так оно и есть. Затем он наклонился и с рассеянным видом подобрал какую-то щепку. Некоторое время он в раздумье смотрел на нее, опять троекратно моргнул и, словно вспомнив о каком-то неотложном деле, внезапно встрепенулся и отрывисто спросил:

— Эта щепка что — от той балки?

Смущенное молчание было ему ответом. Контролер еще поморгал, сел на лошадь, сказал: «Пока!» — и уехал.

Риган с приятелями, вытаращив глаза, смотрели друг на друга.

— З-зачем это он? — спросил Энди Пэйдж, третий у них в артели.

— Что зачем, дурак? — осведомился Дэйв.

— З-зачем он щепку-то взял?

— В контору ее увезет,— буркнул Джек Бентли.

— А з-зачем? З-зачем это ему понадобилось?

— Анализ сделает, чтоб ему пусто было... Вот зачем. Осел! Понял, зачем?

И Джек плюхнулся на бревно, выхватил из кармана трубку и сказал Дэйву раздраженным, исполненным муки голосом:

— Дай спичку!

— Т-так! Что ж теперь делать-то будем? — спросил Энди.

Там, где дело касалось работы, за Энди угнаться было трудно, но в критические моменты, вроде как сейчас, он обнаруживал свою полную безнадежность, бездарность и бесполезность.

— Закрасим проклятый кульверт и залакируем,— отрезал Бентли.

Но тут глаза Дэйва, провожавшего контролера горестным взглядом, вдруг широко открылись. Проехав небольшое расстояние вдоль линии железной дороги, контролер спешился, перекинул поводья через столб, положил на столб щепку (в кармане у него она не уместилась), пролез через дырку в изгороди и зашагал назад, наискосок от путей к рабочим, ставившим изгородь по другую сторону насыпи, почти напротив кульверта.

Дэйв окинул взглядом «рельеф местности», мигом оценил обстановку и принял решение.

— А ну дайте-ка мне щепку от эвкалипта! — распорядился он.

Бентли нужно было только натолкнуть на верный путь, и тогда уж он действовал быстро (Джек, как некоторые охотничьи собаки, должен был видеть дичь, бежать по следу он не умел). Он проследил взгляд Дэйва, вскочил и в одно мгновение нашел эвкалиптовую щепку, такого же размера, как та, что подобрал контролер.

А надо сказать, что «рельеф местности» был таков: по обеим сторонам от железнодорожной насыпи подымались пологие откосы, и треугольник, образованный тремя точками — лошадью контролера, артелью рабочих, строивших изгородь, и кульвертом,— целиком находился в лощине, расчищенной от леса; однако ярдах в двухстах от насыпи и параллельно к ней (с той стороны, где плотничали Дэйв с товарищами) шла полоска молодой поросли. Сделав несколько шагов от ее опушки, можно было попасть на прямую линию, соединявшую одно-единственное дерево на голом склоне, лошадь контролера и строителей изгороди.

Дэйв схватил щепку и побежал по берегу ручья в кустарник, промчался по тропинке в кустах, одним махом благополучно пересек открытое место, хоть сердце у него ушло в пятки, и остановился с таким расчетом, чтобы между ним и контролером, разговаривавшим о чем-то с рабочими, оказалось дерево. Затем начал быстро спускаться вниз по склону к дереву (ствол которого отнюдь не отличался толщиной), стараясь, чтобы оно все время заслоняло его от контролера, и даже прижал руки к бокам, чтобы быть у́же. Вообще он укрывался за стволом, словно перед ним

были не рабочие, ставившие изгородь, а кенгуру и он собирался стрельнуть по ним. К слову сказать, у контролера была привычка поглядывать в сторону своей лошади, будто он ей не доверял и опасался, что она чуть что вскинется с перепугу и понесется куда глаза глядят. Для всех заинтересованных лиц момент был чрезвычайно напряженный — то есть для всех, кроме контролера. Единственное, чего они хотели, так это чтобы он был спокоен. И как на грех, только Дэйв добрался до дерева, контролер закончил свой разговор с рабочими, повернулся и быстро зашагал обратно к лошади. Надвигалась гроза. Положение стало критическим — у обеих артелей был заранее разработан целый ряд условных сигналов, которые могли бы заинтересовать контролера, но на такой случай сигнала не предусмотрели.

Джек Бентли ахнул и рванулся было бежать, чтобы перехватить контролера и попытаться задержать его на несколько минут. Но в критические минуты человека осеняют блестящие идеи, и у Джека мелькнула мысль, что лучше будет послать Энди. Энди был безобиден и прост душою, и эти качества ясно отражались у него на лице, только он совсем не умел «ловчить» и, уж если посылать его, надо было придумывать настоящий предлог.

— Не то чтобы это было так уж важно,— говорил впоследствии Джек,— контролеру все равно понадобилось бы минут десять, не меньше, чтобы понять, что Энди там несет.

— Энди, беги — скажи ему, что страшная гроза подходит. Пусть лучше переждет у нас в палатке. Да беги же! Что ты стоишь, как дурак, и пялишь на меня глаза! Он же уедет сейчас.

Энди побежал, но тут, на счастье, за контролером с криком: «Эй, мистер!» — бросился один из рабочих другой артели. Он хотел выяснить что-то насчет землемерных съемок, а может, просто делал вид, что хочет выяснить, по причинам, говорить о которых сейчас у меня нет времени.

Как рассказывал потом этот рабочий Дэйву и его товарищам, он догадался, «что вы там, ребята, затеяли», и потому-то и побежал за контролером. Но такую версию он придумал уж после того, как они сами успели рассказать, что произошло, а это с их стороны было, конечно, ошибкой.

— Энди, назад! — заорал Джек Бентли.

Дэйв Риган опустился на четвереньки и быстро пополз вперед. К счастью, на тех тридцати — сорока ярдах, которые отделяли лошадь от дерева, росла высокая трава. Но когда Дэйв был уже совсем близко от лошади, ему вдруг пришла в голову мысль, заставившая его приостановиться; у него по спине побежали мурашки и отчаянно засосало под ложечкой. А что, если лошадь сорвется и ускачет? Однако деваться было некуда. Для пробы он

тихонько позвал: «Тпрусень, тпрусень...» Лошадь устало повернула голову и кротко посмотрела на него, как будто давно ждала его появления, причем именно так, на четвереньках, и даже удивлялась, почему его так долго нет. Потом она снова о чем-то задумалась. Когда Дэйв подполз к столбу, лошадь очень любезно переступила с ноги на ногу и посторонилась. Прячась за столбом, Дэйв осторожно, как змея, вытянул шею и приподнял голову. Его рука дважды метнулась кверху — раз, когда он схватил кусок дерева, оставленный контролером, и затем, когда он положил на его место принесенную эвкалиптовую щепку. Затем он снова опустился на четвереньки и пустился в обратный путь, похожий на гигантскую бесхвостую игуану.

Несколько минут спустя он уже шагал по берегу ручья, направляясь к кульверту, и курил глубокими затяжками, стараясь успокоить дрожь в коленях.

Внезапно небо совсем потемнело, упали первые тяжелые капли дождя. Контролер бросился к лошади и галопом поскакал к своему лагерю.

Про щепку он совершенно забыл, и она так и осталась лежать на столбе.

Дэйв Риган, не обращая внимания на дождь, уселся на то самое бревно и от души выругался.

ЗАРЯЖЕННАЯ СОБАКА

Дэйв Риган, Джим Бентли и Энди Пейдж закладывали шурф в Стоуни Крик в поисках богатой золотоносной кварцевой жилы, которая, как предполагалось, должна была находиться поблизости. Почему-то всегда кажется, что богатая жила находится поблизости. Вопрос только в том, на какой глубине — десяти или ста футов — и в каком направлении она залегает. Старателям попалась довольно крепкая порода, и к тому же приходилось откачивать из шурфа воду. Они пользовались старомодным минным порохом и запальным шнуром. Из минного пороха они делали патрон-колбаску в оболочке из плотного коленкора или холста; отверстие гильзы зашивали и привязывали ее к концу шнура, потом опускали патрон в растопленное сало, чтобы сделать его водонепроницаемым, осушали насколько возможно скважину, закладывали в нее патрон вместе с сухим песком и плотно набивали ее глиной и битым кирпичом. Затем зажигали шнур, вылезали из шурфа и ждали взрыва. Обычно в результате получалась уродливая выбоина в дне шурфа и с полтачки взорванной породы.

В ручье было полно рыбы: пресноводные лещи, сомы и угри. Все трое любили рыбу, а Энди и Дэйв любили поудить. Энди мог сидеть с удочкой хоть три часа подряд, лишь бы рыба клевала время от времени,— ну хотя бы раз в двадцать минут. Мясник всегда был готов обменять их рыбу на мясо, когда улов был больше, чем они могли съесть; но теперь стояла зима, и рыба не клевала. Однако ручей почти пересох — он превратился в цепь грязных луж; в одних было всего несколько ведер воды, а в других глубина достигала шести-семи футов, и приятели могли добраться до рыбы, вычерпывая воду из маленьких луж или взбаламучивая ее в больших, пока рыба не поднималась на поверхность. В больших лужах водились сомы с острыми шипами на голове, в чем можно было убедиться, уколовшись, как сказал Дэйв. Однажды Энди, сняв башмаки и закатав брюки, вошел в лужу, чтобы замутить воду,— и убедился. А Дэйву как-то пришлось тащить сома голыми руками, и он убедился в этом даже слишком хорошо: от укола рука распухла, боль отдавала в плечо и даже в живот, совсем как зубная боль, которая когда-то не давала ему спать две ночи подряд,— только зубная боль была «с зазубринами», говорил Дэйв.

Дэйва осенило.

— А что, если глушить рыбу в больших лужах взрывным патроном? — сказал он.— Надо попробовать.

Он разработал план, а Энди Пейдж взялся за его выполнение. Обычно Энди осуществлял выдумки Дэйва, если их вообще можно было осуществить, и в случае неудачи все насмешки товарищей выпадали только на его долю.

Энди смастерил патрон раза в три больше тех, которыми они пользовались в шурфе. Джим Бентли сказал, что таким патроном можно легко выбить дно реки. Внутренняя оболочка патрона была из плотного коленкора. Энди глубоко воткнул конец шестифутового шнура в порох, а гильзу крепко привязал к шнуру бечевкой. Идея состояла в том, чтобы опустить патрон в воду и поджечь свободный конец шнура, прикрепленный к поплавку. Энди обмакнул патрон в расплавленный воск, чтобы сделать его водонепроницаемым.

— Пусть немного полежит под водой, прежде чем мы запалим шнур,— сказал Дэйв,— чтобы рыбы оправились от испуга и подошли познакомиться с ним. Поэтому патрон не должен пропускать воду.

Чтобы увеличить силу взрыва, Энди, по совету Дэйва, обернул патрон куском брезента, из которого они обычно шили мешки для воды, и оклеил его несколькими слоями оберточной бумаги,— получилось что-то похожее на шутиху для фейерверков.

Энди подождал, пока бумага высохнет, потом обшил патрон сложенной вдвое парусиной и обмотал его толстой леской. Проекты Дэйва бывали сложными, и часто его изобретения ни к чему не приводили. Патрон теперь был достаточно массивным и прочным — настоящая бомба; но Энди и Дэйв хотели действовать наверняка. Энди обшил патрон еще одним слоем парусины и обмакнул его в растопленное сало; потом ему пришла в голову мысль стянуть патрон куском колючей проволоки; он еще раз погрузил патрон в сало, свободно обмотал вокруг него запальный шнур и осторожно положил его у колышка палатки, чтобы знать, где его найти. Потом он пошел к костру, чтобы попробовать кипящую в котелке картошку в мундире и поджарить котлеты к обеду. Дэйв и Джим в это утро работали в шурфе.

У них была большая черная, обученная носить поноску дворняжка; собственно говоря, это был еще крупный щенок, глупый четвероногий друг; он все время крутился вокруг них и стегал их по ногам своим тяжелым хвостом, размахивая им, как кнутом. При первом взгляде на него в глаза бросалась только широко открытая красная пасть,— он всегда ухмылялся собственной глупости. Казалось, к жизни, к миру, к своим двуногим друзьям и к своей привычке таскать поноску он относился юмористически. Весь мусор, который выбрасывал Энди, он считал поноской и притаскивал обратно в лагерь. Раньше у них была еще кошка; во время жары она сдохла, и Энди закинул ее подальше в заросли. Как-то рано утром, примерно через неделю после этого, пес нашел ее, притащил в лагерь и положил у входа в палатку. Ребята, встав в это раннее летнее утро и подозрительно принюхиваясь к приторно-сладкой атмосфере, сразу обнаружили покойницу. Когда ребята купались, он обходился с ними, как с поноской; прыгал за ними в воду, хватал за руки, тащил к берегу и царапал лапами их голые тела. Они любили собаку за ее добродушие и глупость, но когда хотели поплавать в свое удовольствие, то предпочитали привязывать ее в лагере.

Собака все утро с большим интересом наблюдала за тем, как Энди делал патрон, и очень мешала ему, стараясь помочь; но около полудня она ушла к шурфу — посмотреть, как идут дела у Дэйва и Джима, чтобы затем вернуться вместе с ними к обеду. Увидев их, Энди поставил на огонь сковородку с бараньими котлетами. В этот день Энди был поваром. Дэйв и Джим грели спины у костра, как делают жители зарослей в любую погоду, и ждали, когда будет готов обед. Собака рыскала вокруг, как будто что-то потеряла.

Мысли Энди все еще были заняты патроном. Его внимание привлекла пустая жестянка из-под керосина, валявшаяся в

кустах, и ему пришло в голову, что неплохо было бы поместить патрон в жестянку, начинив ее глиной, песком или камнями, чтобы увеличить силу взрыва. Возможно, что с научной точки зрения эта мысль была совершенно нелепой, но Энди она показалась очень удачной. Между прочим, Джима Бентли совсем не интересовали эти «идиотские глупости». Энди заметил пустую жестянку из-под патоки с припаянным носиком, чтобы удобнее было выливать патоку,— и ему пришло в голову, что жестянка будет прекрасной гильзой: надо только насыпать в нее порох, вставить в носик шнур, заткнуть пробкой и залить носик воском. Он как раз посмотрел на Дэйва, собираясь поделиться с ним своими планами, когда тот обернулся, чтобы взглянуть на котлеты, и вдруг бросился бежать. Дэйв объяснял потом, что ему послышалось какое-то шипение, и он оглянулся, чтобы проверить, не подгорают ли котлеты. Джим Бентли тоже обернулся и стремглав бросился за Дэйвом. Энди стоял как вкопанный, глядя им вслед.

— Беги, Энди! Беги! — кричали ему Дэйв и Джим.— Беги! Да оглянись же назад, дурак!

Энди медленно повернулся и увидел, что сзади, совсем рядом с ним, стоит пес с патроном во рту, растянутом широчайшей и глупейшей усмешкой. Но это было еще не все. Когда пес обходил костер, свободный конец шнура попал в огонь и загорелся. Энди тщательно срезал запальный конец шнура, и теперь он шипел и трещал вовсю.

Ноги Энди рванулись вперед прежде, чем заработала его мысль, и он помчался за Дэйвом и Джимом. А пес пустился вдогонку за Энди. Дэйв и Джим были хорошими спринтерами, особенно Джим. Энди же был медлителен и неуклюж, но зато силен и вынослив, и у него хорошо работали легкие. Пес прыгал вокруг него, радуясь, как всякая собака, когда хозяева с ней играют. Дэйв и Джим на бегу вопили Энди:

— Не беги за нами! Не беги за нами, черномазый дурак!

Но Энди все-таки бежал за ними, как они ни старались увернуться. Ни Дэйв, ни Джим, ни Энди — так же как и собака — никогда потом не могли объяснить, почему они неслись друг за другом, но Дэйв мчался точно по следу Джима, Энди бежал за Дэйвом, собака крутилась вокруг Энди, а горящий шнур болтался туда и сюда, шипел, трещал и вонял. Джим орал, чтобы Дэйв не бежал за ним, Дэйв вопил, чтобы Энди свернул в сторону — «развернулся», а Энди, крича во всю глотку, гнал собаку домой. Мозг Энди, возбужденный опаспостью, лихорадочно заработал: он попытался на бегу лягнуть собаку, но та увернулась. Он схватил несколько камней и палок, бросил их в пса и побежал дальше. Собака поняла, что ошиблась в Энди, оставила его и пустилась

догонять Дэйва. Дэйв, сохранивший присутствие духа настолько, чтобы вспомнить, что время взрыва еще не пришло, бросился к собаке, поймал ее за хвост и, пока она вертелась вокруг, выхватил у нее из пасти патрон и изо всей силы отшвырнул его, но собака немедленно кинулась за поноской и опять схватила патрон. Дэйв орал и проклинал собаку, а та, увидев, что он обиделся, покинула его и бросилась за Джимом, который был далеко впереди. Джим метнулся к дереву и взобрался на него с ловкостью сумчатого медведя. Это было молодое деревце, и Джим не мог влезть выше чем на десять — двенадцать футов. Собака положила патрон у подножия дерева — осторожно, как будто это был котенок, и стала прыгать, скакать и радостно лаять. Большой щенок решил, что это входит в игру, что на этот раз он не ошибся и играть хочет Джим. Шнур трещал так, как будто горел со скоростью мили в минуту. Джим попытался залезть повыше, но деревце согнулось и переломилось. Джим упал прямо на ноги и бросился бежать. Схватив патрон, собака кинулась за ним. Все это заняло лишь несколько мгновений. Джим добежал до какой-то ямы глубиной футов в десять, соскользнул на дно, прямо в мягкую грязь, и оказался в безопасности. Собака с минуту постояла у края ямы, сардонически усмехаясь и как бы размышляя, не сбросить ли патрон на Джима.

— Уходи, Томми,— сказал Джим слабым голосом,— уходи.

Собака побежала за Дэйвом: только он один еще не успел скрыться. Энди спрятался за бревном и лежал там лицом вниз; он внезапно вспомнил картину, изображавшую эпизод русско-турецкой войны: на картине несколько турок лежали лицом вниз (как будто им было стыдно) вокруг только что упавшего снаряда.

На проезжей дороге, недалеко от их заявки, стояла небольшая гостиница. Дэйв был в отчаянии; время в его возбужденном воображении летело гораздо скорее, чем на самом деле, и он бросился к гостинице. На веранде и в баре было несколько случайных посетителей. Дэйв влетел в бар и захлопнул за собой дверь.

— Моя собака,— задыхаясь, сказал он в ответ на удивленный взгляд трактирщика,— чертова дворняга... у нее в зубах подожженный патрон...

Обнаружив, что парадная дверь закрыта, пес обежал дом, вошел через черный ход и теперь, ухмыляясь, появился из коридора, по-прежнему держа в зубах патрон с шипящим шнуром. Все ринулись из бара. Томми кидался то к одному, то к другому: он был молод и старался заводить побольше друзей.

Посетители попрятались по углам, некоторые заперлись в конюшне. Позади дома стояла крытая гофрированным железом новая кухня на сваях, служившая также и прачечной, в которой несколько женщин как раз в это время стирали белье. Дэйв и

трактирщик торопливо вбежали туда и закрыли дверь; трактирщик ругал Дэйва, обзывая его идиотом и спрашивая, какого черта он сюда явился.

Томми залез под кухню между сваями, но, к счастью для находившихся в ней, там сидел злобный рыжий пес-ублюдок, который ушел туда копить свою злость. Это был подлый, драчливый, вороватый пес, которого соседи давно хотели пристрелить или отравить. Томми почуял опасность (он уже встречался с этим псом), выскочил оттуда и побежал по двору, все еще не выпуская патрона. На полпути рыжая собака догнала его и тяпнула. Томми уронил патрон, завизжал и забился в кусты. Рыжая собака преследовала его до изгороди, а потом вернулась посмотреть, что он бросил. Изо всех углов и из-под строений вылезло около дюжины других собак — тонконогие вороватые бродячие псы, овчарки-ублюдки, злобные черные и рыжие собаки, которые крадутся за вами в темноте, кусают за пятку и исчезают без всяких объяснений, и тявкающая, визжащая мелюзга. Они держались на почтительном расстоянии от отвратительной рыжей собаки, потому что подходить к ней, когда она находила, как ей казалось, что-нибудь съедобное, с точки зрения кошки или собаки, было опасно. Она дважды обнюхала патрон и только начала осторожно обнюхивать его в третий раз, как...

Это был очень хороший минный порох — новый сорт, который Дэйв недавно привез из Сиднея; да и патрон был сделан на славу. Энди был терпелив и старателен во всем, за что бы ни брался, и умел орудовать иголкой, ниткой, парусиной и веревкой не хуже любого матроса.

Очевидцы рассказывают, что кухня подскочила и снова опустилась на сваи. Когда дым и пыль рассеялись, останки отвратительной рыжей собаки лежали у самой ограды. Глядя на то, что от нее осталось, можно было подумать, что сначала лошадь швырнула собаку копытом в огонь, потом ее основательно переехали тачкой и, наконец, с размаху шлепнули об забор. Несколько оседланных лошадей, которые были привязаны к веранде, в клубах пыли мчались галопом по дороге, оборвав поводья; и со всех сторон из зарослей доносился собачий вой. Две собаки ушли в лагерь, где они родились, пробежав тридцать миль за одну ночь, и остались там. Остальные только к вечеру осторожно вернулись домой, чтобы выяснить, что произошло. Одна с трудом ковыляла на двух ногах, да и почти все так или иначе пострадали от взрыва; маленькая короткохвостая собака с опаленной шерстью, у которой была привычка поджимать заднюю ногу, имела основание радоваться, что сберегла ее, так как теперь она ей понадобилась. Много лет в гостинице жила старая одноглазая овчарка, которая со

времени взрыва боялась запаха пороха. Она интересовалась патроном больше всех остальных. Старожилы говорили, что было очень забавно подходить к овчарке со стороны ее слепого глаза и подносить грязный шомпол к ее носу: даже не проверяя своим единственным глазом, что случилось, она мчалась в заросли и оставалась там на всю ночь.

В течение получаса после взрыва за конюшней корчились и катались в пыли зрители, задыхаясь от хохота и еле удерживая вопли восторга. В доме две белые женщины бились в истерике, а метиска без толку носилась кругом с ковшом холодной воды. Трактирщик крепко обнимал жену и в промежутках между ее пронзительными криками умолял:

— Перестань, Мэри, ради меня, а то я из тебя всю душу вытрясу.

Дэйв решил извиниться попозже, когда все немного успокоится, и пошел к себе в лагерь. А пес, который все это натворил,— Томми, большая глупая дворняжка,— вертелся вокруг Дэйва, хлестал его по ногам хвостом и бежал за ним домой, улыбаясь своей широкой, милой, дружелюбной улыбкой, на этот раз явно удовлетворенный своей проделкой.

Энди посадил собаку на цепь и нажарил еще котлет, а Дэйв пошел помочь Джиму выбраться из ямы.

Вот почему спустя много лет долговязые веселые золотоискатели, медленно проезжая мимо стоянки Дэйва, кричали, лениво растягивая слова и слегка гнусавя:

— Эй, Дэйв! Как ловится рыба?

СТРИГАЛЬНЯ

Жаркий, душный, слепящий восход солнца — оно сразу поднимается над зубчатой линией унылых зарослей, словно огромный диск из расплавленной стали. Ни намека на обычный предрассветный ветерок; кроме поднявшегося солнца, ни на земле, ни на небе никаких признаков утра.

Посреди зарослей — поляна, голая, как только что вспаханная земля, и пыльная, как дорога. Два длинных барака — один для стригальщиков, другой для подсобных рабочих — стоят торцом к торцу в самом ее центре (как будто заросли и те отшатнулись от них). Стены бараков обшиты досками, кровля — из оцинкованного железа. Почти никакой вентиляции. Никаких веранд, никакой попытки устроить искусственное движение воздуха внутри построек, некрашеных, грязных, уродливых. Вокруг груды все еще

горячей и дымящейся золы. Совсем рядом «мясная лавка», то есть поставленная прямо в пыли бойня. Стены ее сделаны из хвороста и мешковины, а крышей служат два листа железа. Земля вокруг нее почернела от отбросов, овечьего сала и спекшейся крови. Повсюду развешаны сальные, вонючие овечьи шкуры, окровавленной мездрой наружу. Глубокие сальные лужи огромными черными пятнами расплываются у торцовых концов бараков, там, где встроены печи и откуда выплескивают помои и «кипяток».

Внутри, отступя примерно на шесть футов от печи, во всю длину барака тянется дощатый стол на ножках, вбитых прямо в черный, пропитанный салом земляной пол. По обе стороны его — скамейки, шестидюймовые доски или горбыли, опертые на торчащие концы коротких брусьев, прибитых поперек ножек стола. Вдоль обеих длинных стен барака идут клети из нетесаных жердей, как в конюшнях. В каждой клети, размером не больше стойла, четверо нар, устроенных парами — одна над другой,— ногами, конечно, к столу. Теснота такая, что буквально повернуться негде. Почти во всю ширину одной торцовой стены — печь с открытым очагом. Тут пекут хлеб и готовят пищу на сорок или пятьдесят человек; тут же в открытых мешках стоит мука, сахар и т. п. Огонь полыхает, как в горне. На горячих углях и золе кипятятся в ведрах чай и кофе. В конце стола на голых досках навалена груда булок. В нос ударяет неописуемый запах, исходящий от сорока или пятидесяти мужчин, у которых мало желания и еще меньше возможности мыться и которые только раз в неделю, по субботам или воскресеньям, вымачивают овечье сало из своих одежд в ведрах с горячей водой. Но сильнее и неотвязнее всего — это запах прелой, слежавшейся шерсти — баранья вонь.

Я самый черный из всех чернорабочих. Я пал так низко, что мне уж и мечтать нечего стать ведущим стригальщиком. А когда-то, когда я был еще совсем зеленым новичком, я лелеял такую мечту. Тогда я думал, что смогу заработать достаточно, чтобы вырваться отсюда и уехать домой. С тех пор я сжился с этим адом. Я получаю здесь всего лишь двадцать пять шиллингов в неделю (минус вычеты магазина) и харчи. За семь лет, что я провел к западу от Дарлинга, я ни разу не остриг ни одной овцы. Почему я не научился стричь овец и зарабатывать деньги? А что бы я делал с деньгами? Вырвался бы отсюда и уехал домой. Но я не вернулся бы домой без того, чтобы денег хватило до конца моих дней, а здесь столько никогда не заработаешь. А иначе что мне делать дома? Допустим, я вернусь. Как я отчитаюсь за эти семь лет? Разве можно описать жизнь стригальщиков и объяснить, как я жил? Дома считают, что сезон стрижки продолжается всего лишь несколько дней в году — в начале лета. Как, мол, ты жил все

Г. Лоусон «Отель Пропащих Душ»

остальное время? Сказать им, что я «отмеривал мили» или «промышлял по кладовкам» на фермах? Да они решат, что я просто был бродягой и попрошайкой. Как мне говорить с ними, чтобы они поняли меня? Мне придется то и дело врать, и я неизбежно попадусь на этом. Что-что, а врать я не научился. Нет, я никогда не вернусь домой.

Дневной свет сразу же будит меня. Думаю, что к этому меня приучили мухи на дорогах: они появляются с рассветом, как только исчезают москиты.

Повар звонит в колокольчик.

Повар огнеупорен. Он как дьявол из преисподней, и в этом его спасение. Никто не видит, когда он спит, потому что ночью он печет хлеб или еще хуже — булки с сухой смородиной, а в полшестого утра он уже звонит в колокольчик, выводя нас из нашего тупого оцепенения. Если он спит, то его будят другие — либо загонщики овец, либо механики из стригального сарая или шерстемоечной. Они, должно быть, договариваются по сменам и где-то, когда-то умудряются поспать. Нам некогда выяснять. Повар звонит в колокольчик и выкрикивает время. То же самое время, которое он выкрикивал пять минут назад... а может быть, год назад. Мне некогда выяснять. Я лью воду на голову, ополаскиваю лицо, промываю слипшиеся над ноющими глазами веки, гноящиеся от овечьего сала. Вода серого цвета, жирная на ощупь; я лью ее из срезанной керосиновой банки, которую я спер у повара и спрятал под своей нарой, наполнив ее накануне вечером водой из бочки под прикрытием жаркой, душной, безмолвной темноты. А может, я сделал это позавчера... Все равно, сегодня ее сопрут у меня, а завтра у того, кто «уведет» ее от меня; ее будут красть, «уводить», «лямзить», потом ее снова отберет повар, потом ее опять украдут у него, и так — с руганью и даже драками — до конца нашей работы здесь.

Нет, любезный поэт, нам не снятся сладкие сны про дом и маму, про журчащие ручейки и любимых девушек. Нет, мы не витаем в сладостных грезах любви. Слишком грязные и измученные валимся мы на свои нары, и слишком мало остается у нас времени на сон. Мы не хотим видеть здесь такие сны. Они будут кошмарами для нас: проснувшись, мы станем вспоминать прошлое. А здесь нельзя предаваться воспоминаниям.

На опушке редколесья стоит огромный сарай из оцинкованного железа. Он состоит почти из одной крыши, спускающейся до высоты человеческого роста у краев помоста, там, где устроены скаты. В полдень в мертвом, сухом редколесье за сараем поднимается туча красной пыли. Забор обвешан овечьими шкурами; рядом сжигаются кости; голубой дым поднимается прямо вверх,

как обычно, в полдень. Огромные, блестящие (сально-блестящие) черные вороны взлетают и садятся, хлопая крыльями.

Первый звонок отзвенел. Мы спешим к сараю гуськом с дальних концов бараков — стригальщики и подсобники. На ходу глотаем горячий кофе или чай из зажатой в одной руке кружки, откусывая зажатую в другой руке булку.

Стригальня на сорок рабочих. Стригальщики, как черти, бросаются к загонам, вытаскивают оттуда овец, швыряют их на дощатый помост и набрасываются на них, зажав их коленями, хватают машинки, дергают за шнур, и под жужжание моторов огромный механизированный сарай начинает свою дневную работу.

— Осторожней вы, тигры! — кричит мальчишка-смазчик.

— Заберите шерсть! Смазку сюда! Овцу сюда! — раздаются крики. Сумасшедшая гонка под жужжание моторов продолжается до перерыва на завтрак.

Как только раздается звонок, каждый хватает оловянную тарелку из стопки, нож и вилку из свечного ящика и, толкая других, лезет к открытому котлу за своей порцией постных бараньих котлет, жаренных в кипящем сале и жестких, как щепки. Либо котлеты, либо рис с тушеной бараниной.

Слышится ругань. Мы садимся за стол, не снимая шляп. Когда кончится перерыв, некогда будет искать свою шляпу. Над столом склоняется ряд шляп, надетых прямо, опущенных на глаза или сдвинутых на затылок — смотря по характеру и темпераменту владельца шляпы. Шляпа, сдвинутая на затылок, означает, по-моему, блаженное отсутствие мозгов под ней. Лес вилок — поднятых, втыкаемых в пищу, застывших в воздухе, с надетым куском, в ожидании, пока не проглотится предыдущий.

Мы подбираем шерсть, подметаем, смазываем овцам царапины дегтем, зашиваем им ранки, ловим овец, которые вырываются из загонов, спрыгиваем на землю и поднимаем тех, которые не могут встать на ноги у основания скатов, бежим на крик: «Эй, принеси-ка мою гребенку с точилки!» — смеемся над сальными шутками и ругаемся. Короче, мы — рабы и телом и душой семи, шести, пяти или четырех стригальщиков, в зависимости от того, сколько их всего в сарае.

Стригальщик за работой — это дьявол. Его заработок идет с каждой сотни остриженных овец; мы же получаем двадцать пять шиллингов в неделю. По законам профсоюза, артели и человечности стригальщику не полагается брать из загона овцу после того, как прозвенел звонок (на перекур, на еду или окончание работы), но он вешает свои часы на столб перед собой и рассчитывает время так, чтобы забрать из загона как можно больше овец до того, как прозвонит звонок, да плюс еще одну, «подзвонковую

овцу»,— когда звонок только начнет звонить. Нам положено отнести на стол последнее руно и убрать свой участок помоста. Восьмичасовой рабочий день тянется для нас с шести до шести, с перерывами на перекур примерно через каждый час с четвертью. Если стригальщик острижет за день две сотни овец вместо одной, то он вместо одного фунта получит два, а нам придется провернуть в два раза больше работы за те же двадцать пять шиллингов в неделю. Но стригальщики гонятся за рекордами, и тут ничего не поделаешь. Здесь нет ни бога, ни профсоюзов (хотя у всех у нас есть членские книжки). А впрочем, чего я жалуюсь? Мне приходилось работать с шести до шести без перерывов на перекур, за половинное жалованье и такую пищу, которую здесь мы постеснялись бы дать собакам. В зарослях всегда жалуются — это от жары, мух и пыли. Я бы, наверное, жаловался и ворчал, даже получая тысячу в год. Нам просто необходимо ворчать и ругаться, а некоторым из нас — пить до белой горячки, а не то мы все сойдем с ума в трезвом виде.

Штаны и рубахи у нас твердеют от сала, как будто в них ножом вмазали фунта два липкой черной замазки.

Нет, любезный поэт, мы не поем за работой. Перекрывая рев и жужжание моторов, с наивным, раздражающим новичков упорством плывут в воздухе немыслимые прилагательные и наречия, обращенные и к подсобникам, и к новичкам, и к мастерам. Самые отборные словечки обращены к десятнику — за его спиной.

Сам я родом из хорошей христианской семьи, поэтому-то, возможно, я и пал так низко! Когда я впервые попал сюда, я шарахался от людей, позволявших себе площадную ругань. А немного спустя сам стал ругаться еще хуже их и ничего не мог с этим поделать.

Так вот оно и бывает. Попади я опять в края, где жизнью правят женщины, я перестал бы ругаться. Забыл бы все, как дурной сон. Так вот оно и бывает. В каждом из нас есть нечто от уличного хулигана. В массе мы не существуем как личности. А сойдем с помоста, расстанемся со стригальней (и друг с другом), так становимся тихими, даже нежными.

Большерогий баран, едва живой, но избавленный от тяжелого руна, поднимается на ноги у подножия ската и стоит в нерешительности, как бы стыдясь идти к столпившимся в другом конце двора овцам. Трудно представить более смехотворное зрелище.

Пятнадцатилетний мальчишка-смазчик, продукт зарослей, сквернословит так чудовищно, что городской уличный мальчишка (попавший сюда с дядей-стригальщиком) дает ему пинка в зад, успев еще до начала работы в стригальне утвердить с помощью кулаков свое превосходство. Один из стригальщиков — самый

страшный ругатель в этом страшном сарае — как-то, глядя на дьяволенка-смазчика, высказался в том духе, что если бы ему угрожала возможность стать родителем такого ребенка, то он принял бы решительные меры, чтобы вообще исключить для себя всякую возможность отцовства.

Дважды в день повара и их приближенные приносят в сарай ведра с овсяным отваром и чаем; каждый несет по два ведра на коромысле. Мы кричим, посмеиваясь: «Ах, девушки-красотки, куда попали вы?»

Через десять минут поверхность жидкости в ведрах делается черной от мух. Мы уже больше не пытаемся бороться с ними. Отгоняем в стороны дном кружки эти живые пенки и с жадностью глотаем зачерпнутую жидкость, и она тут же выходит из нас по́том. Во время работы то один, то другой стригальщик останавливается на мгновение и стряхивает целый дождь пота со лба. В своей жадности стригальщики доходят до состояния такого предельного напряжения, что зачастую здоровенный дядя от укола ножниц замертво падает на стригальный помост в глубоком обмороке.

Мы ненавидим десятника так же, как помощник повара ненавидит своего шефа. Не знаю почему. Он вполне порядочный десятник.

Вчера он не захотел взять на работу сезонника, и тот развернулся и сбил его с ног. Нынче утром он вошел в сарай со сдвинутой на затылок шляпой, заложив большие пальцы в проймы жилетки, и пригрозил уволить приятеля этого бродяги, мужчину побольше его ростом, за грубую стрижку. Стригальщик ничего не сказал в ответ. Мы ненавидим десятника за то, что он хозяин, но мы уважаем его за то, что он сильный человек. Я слышал, что ему живется не легче, чем любому из нас; у него больная жена и большая семья в Мельбурне. Да рассудит нас бог!

Есть здесь и игорный притон, возглавляемый поваром стригальщиков. После чая они принимаются играть в орлянку — из рук в руки переходят чеки, которые швыряют об землю, пока они не станут черными. Затем, когда стемнеет настолько, что на земле уже ничего не увидишь, хоть уткнись в нее носом, игроки переходят в помещение и там начинают играть в карты. Иногда они в субботу до темноты дуются в орлянку на улице, потом всю ночь играют в карты, после обеда в воскресенье опять играют в орлянку, всю ночь с воскресенья на понедельник играют в карты, а в понедельник либо спят весь день, пока не придут в себя, либо идут на работу бледные как привидения, похожие на мертвецов.

На крик «драка!» мы все выбегаем наружу. Но драки бывают не часто. Мы боимся убить друг друга. Я начинаю думать, что

большинство преступлений в зарослях случается из-за раздражительности, вызванной пылью, жарой и мухами.

Когда солнце садится, раскаленный воздух дрожит. Мы называем это вечерним ветерком.

Вечером в субботу или воскресенье нас приглашают в барак стригальщиков. Там поют песни, непохожие на псалмы и священные гимны, и произносят речи, непохожие на молитвы.

Вечер в прошлое воскресенье. На столе, далеко друг от друга, несколько коптилок. Рабочие играют в карты, латают свое барахло, почти все курят, некоторые пишут, остальные читают книги из серии «Дедвуд Дик».

На одном конце стола проповедник из Общества христианского спасения делает усилия обратить грешников, на другом — лондонский еврей с торгового корабля старается продать какое-то тряпье. В ответ на жалобы, высказанные без обиняков в выражениях, не совсем подобающих воскресному дню, староста стригальщиков велит обоим апостолам либо заткнуться, либо убираться вон.

Не мог же он выставить христианина и не тронуть еврея, как не мог он и выставить еврея и не тронуть христианина. Мы все равны в нашем аду.

В одном конце барака подсобников раздаются звуки скрипки. С верхней нары раздраженно-виноватым голосом кричит какой-то новичок: «Эй, хватит там пиликать, от этого черт знает какие мысли лезут в голову!»

Чья-то пропащая душа (моя) смеется, и нас поглощает жуткая ночь.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

В Овраге Мертвеца стояла глубокая мгла — мягкая, теплая, душистая темень, в которой удаляющиеся звуки, вместо того чтобы становиться все слабей и замереть вдали, вдруг обрывались на расстоянии какой-нибудь сотни ярдов, а затем через минуту, прежде чем окончательно умолкнуть, с изумительной отчетливостью еще раз поражали слух,— как это бывает в ясные морозные ночи. Цокот конских копыт, спотыкающихся на неровной горной тропе, проложенной через седловину, шум летящих из-под них камней, поскрипывание гравия на невидимой боковой тропке сливались с приглушенными человеческими голосами; односложные слова произносились время от времени так подавленно и трепетно, словно люди везли труп. Опытный глаз — и то лишь на самом близком расстоянии — различил бы неясные очертания двух всадников

верхом на местных лошадях и шедшую за ними на поводу третью лошадь с пустым седлом — дамским, что можно было бы легко установить, если разглядеть высокие седельные луки. Возможно, всадники попали на мягкую тропу или скрылись за уступом,— во всяком случае, прежде чем они могли достигнуть подножия холма, их расплывчатые очертания, цокот подков, звон колечек на поводьях и лязг стремян — все исчезло полностью и так внезапно, словно за ними захлопнулась звуконепроницаемая дверь.

Внизу, в уединенной ложбине — «мешке» — между двумя холмами, на краю глубокого глухого оврага позади горы Буккару, где даже в самые солнечные дни было совсем темно, находился пыльный участок земли, который и в полдень можно было заметить только по почти призрачным переплетениям изгороди, окружавшей его с трех сторон, и по возведенной спереди тонкой «двойной перекладине» (гордо именуемой «тесаной перекладиной», хотя и перекладины и подпорки были попросту молодыми деревцами, расколотыми надвое).

Посредине, под большим навесом из эвкалиптовой коры, стояла дощатая хибарка, которую называли фермой Джонни Мирса.

— Черно, как... как древесный уголь,— сказал Джонни Мирс.

Он никогда не видел каменного угля и был осторожным человеком, немного тугодумом. Он стоял у самой изгороди, наклонившись и упираясь руками в колени, и смотрел вверх, чтобы увидеть силуэт своего большого навеса на фоне неба и определить, где он находится. Он выходил посмотреть телят в загоне и проверить, заложены ли и закреплены ли перекладины, ибо на слова Джопа Мирса-младшего, тем более произнесенные визгливой обиженной скороговоркой, в таких случаях нельзя было особенно полагаться.

— Так жарко, что, того и гляди, рассохнется дека моей скрипки,— сказал Джонни Мирс своей жене, которая сидела на колченогой табуретке у грубо сколоченного стола в побеленной комнатушке, накладывая заплату на заплатанные молескиновые штаны. Он зажег трубку и придвинул табуретку к большому пустому очагу,— это место выглядело более прохладным, оно действительно могло быть более прохладным, если бы в трубе была тяга, и поэтому Джонни стало немножко прохладнее. Он снял с полки скрипку и не спеша, старательно ее настроил, держа трубку (во рту) подальше от нее, словно скрипка была любопытным и беспокойным младенцем. Торжественно щурясь, он сыграл «Глоточек бренди» три раза подряд, без вариаций, затем осторожно положил скрипку обратно в футляр и снова стал набивать трубку.

— Все-таки тебе следовало бы поехать, Джонни,— сказала изможденная женщина.

— Мучить лошадь в такую ночь! — резко ответил Джонни.— А завтра надо начинать пахать. Не стоит того. Если я им нужен, пусть приезжают за мной сами. Танцевать в такую ночь! Да они будут танцевать и у чертей на сковородке!

— Но ты обещал. Ну что хорошего, Джонни, что ты не поехал?

— А что плохого?

Его жена продолжала шить.

— Чертовски жарко, задохнуться можно,— сказал Джонни и раздраженно выругался.— Не знаю, лечь в комнате или под навесом. Черт, слишком жарко, чтобы спать в доме.

Жена еще ниже склонила голову над заплатой. Он курил, а она шила в глубоком молчании; так прошло минут двадцать, в течение которых Джонни, по-видимому, вяло раздумывал, устроиться ли ему из-за жары на дворе или лечь в доме. Вдруг он нарушил тишину, прихлопнув москита у себя на шее и выругавшись.

— Перестал бы ты ругаться, Джонни,— сказала его жена устало,— хоть на сегодня.

Он озадаченно посмотрел на нее.

— А почему... почему на сегодня? Что с тобой сегодня случилось, Мэри? Почему сегодняшний вечер для тебя важнее, чем любой другой? Что я такого сделал? Неужели нельзя выругаться, если тебя укусил москит?

— Я... я из-за мальчиков, Джонни.

— Из-за мальчиков? А что? Они оба на сене, под навесом.— Он снова взглянул на нее, беспокойно заерзал, плотно положив ногу на ногу, насупился, замигал и потянулся за спичками.

— Ты что-то плохо выглядишь сегодня, Мэри. Это жара, это из-за нее мы все злимся. Лучше убери-ка шитье, выпей овсяной болтушки и ложись.

— Так жарко, что ложиться не хочется. Я все равно не смогу уснуть. Я здорова. Я... я только кончу это. Дай мне глоток воды из меха; кружка там, в очаге, у твоих ног.

Джонни беспомощно почесал голову и подал ей воды. Когда он снова сел, то почувствовал какое-то странное беспокойство. «Как курица, которая не знает, где снести яйцо»,— определил он свое состояние. Он никак не мог устроиться удобно, все время ерзал, и даже трубка почему-то не доставляла ему никакого удовольствия. Он снова почесал голову.

— Гроза будет, вот что,— сказал он.— И чем скорее она будет, тем лучше.

Он подошел к задней двери и стал всматриваться в черную мглу на востоке,— и действительно, там уже вспыхивали зарницы.

— Обязательно будет; потерпи еще часок, и ты почувствуешь себя совсем по-другому.

Он снова сел на табурет, скрестил руки, опираясь локтями на колени, глубоко вздохнул и некоторое время не отрываясь глядел на глиняный пол; затем он повернул табурет на одной ножке и оказался перед старомодными часами в деревянном футляре, которые одиноко стояли на полке из горбыля, висевшей над очагом. Медный диск маятника, как призрак, двигался за полуистертым, исцарапанным пейзажем (Маргейт в Англии), нарисованным на стеклянной нижней части футляра. Стрелки показывали половину третьего, но Джонни, который хорошо изучил эти часы и умел достаточно точно определять по ним время, нахмурив брови и щурясь на циферблат целую минуту (по тем же часам), после тщательных вычислений решил наконец, что «теперь, должно быть, уже скоро девять».

По-видимому, виной всему была жара. Джонни встал, взъерошил волосы, подошел к двери, снова повернул назад и потом, нетерпеливо махнув рукой, снял с полки скрипку и поднял ее к плечу. Затем произошло что-то странное. Впоследствии, при обстоятельствах, располагающих к подобным чувствительным излияниям, он рассказывал, будто чья-то холодная рука начала водить его собственной рукой, в которой был смычок. Во всяком случае, еще не осознав, что он делает, он уже сыграл первые такты песенки «Впервые увидел я милую Пегги», которую часто играл двадцать лет назад, в дни, когда ухаживал за своей будущей женой, и с тех пор никогда больше не вспоминал. Он стоя прописликал ее до конца, хотя холодная рука исчезла после первых же тактов, и, продолжая стоять со скрипкой и смычком в дрожащих руках, он испытывал то же странное чувство, а в его голове проносился целый вихрь воспоминаний,— все это он впоследствии объяснял действием жары. Затем он поспешно убрал скрипку, громко ругая плохо натянутые струны, чтобы отвлечь внимание жены от странности своего поведения. «Должно быть, солнце голову напекло»,— пробормотал он про себя, сел, стал вертеть в руках нож, трубку и табак и затем украдкой посмотрел через плечо на жену.

Бледная маленькая женщина все еще шила, но она делала стежки вслепую, потому что по ее исхудалым щекам катились крупные слезы.

Джонни, с лицом, побелевшим от жары, подошел к ней сзади и положил ей руку на плечо, а другой схватился за край стола; но сжимавшая стол рука дрожала так же сильно, как и другая.

— Боже мой! Что с тобой, Мэри? Ты больна? (Они никогда — или почти никогда не болели.) Что случилось, Мэри, скажи мне! Или мальчики что-нибудь натворили?

— Нет, Джонни, не то.

— Ну а что же? Ты заболела? До чего ты себя довела! А вдруг у тебя лихорадка! Погоди минутку. Ты посиди тут спокойненько, пока я подниму мальчиков и пошлю их за доктором и еще за кем-нибудь...

— Нет! Нет! Я не больна, Джон. Это только так, нашло. Сейчас все пройдет.

Он положил руку ей на голову, которую она со вздохом смертельной усталости склонила к нему на грудь.

— Ну, будет! — растерянно закричал Джонни.— Только не хлопнись в обморок, Мэри, и не впадай в истерику! Это напугает мальчиков; подумай о мальчиках! Ведь это только жара,— тебе от жары стало дурно.

— Это не то; ты же меня знаешь. Это... я... Джонни, я только подумала... Сегодня двадцать лет со дня нашей свадьбы, и... сегодня Новый год!

«А я и не подумал об этом,— рассказывал Джонни впоследствии.— Вот что может сделать с человеком такое забытое богом место. А я-то согласился играть на танцах в школе в Пайпелэй всю ночь! Эту самую ночь! И оставил бы ее дома, потому что она не попросилась со мной, а мне и в голову не пришло позвать ее — одну-одинешеньку в этой дыре, и все из-за двадцати пяти шиллингов. А я ведь только потому не поехал, что на меня стих нашел, и я знал, что у них в школе ничего без меня не выйдет».

Они сидели на скамье у стола, тесно прижавшись друг к другу, сначала испытывая смущение и неловкость; она прильнула к нему, когда раздался первый раскат грома, и они виновато отпрянули друг от друга, когда первые крупные капли дождя застучали снаружи, словно шаги по гравию дорожки,— совсем так, как однажды ночью, прежде — двадцать лет назад. Если и раньше было темно, то теперь наступил полный мрак.

Край страшной грозовой тучи стремительно ложился на прежнюю тьму; так лучшая «капельная» чернь, наложенная кистью рядом с дешевой «ламповой» сажей, делает ее по контрасту серой. Потоп продолжался всего четверть часа, но он очистил ночной воздух — и сделал свое дело. Перед ливнем выпал град — величиной с яйцо эму, сказали мальчики,— который лежал толстым слоем в старых шурфах у Пайпелэй еще много дней,— даже недель, как говорили.

Оба — такие же влюбленные этой ночью, как двадцать лет назад,— смотрели, как утихала гроза; и когда гора Баккару очистилась от туч, они подошли к задней двери, которая была у самого края навеса, и увидели на востоке великолепный свод

синего, как сталь, усеянного звездами неба и далекие вершины, казавшиеся голубыми и прозрачными под мерцающими звездами.

Они некоторое время стояли обнявшись, прежде чем она позвала мальчиков,— как это было в такую же ночь двадцать лет назад, когда ее позвала бабушка этих мальчиков.

— Ладно, мама! — крикнули в ответ мальчики независимым и очень почтительным тоном австралийских юнцов.— Все в порядке. Мы сейчас придем! Ну и барабанило же, мама!

Джонни и Мэри вернулись в комнату и снова сели. Неловкость начала проходить.

— Мы выберемся отсюда, Мэри,— сказал Джонни.— Мэзон хотел купить скот и все остальное, а я пойду работать к Доусону. Пусть у хозяина — все равно! — Невезенье Джонни объяснялось в основном тем, что раньше он был совершенно неспособен «ладить» ни с одним хозяином хоть сколько-нибудь длительное время.— Я смогу и мальчиков устроить. Они здесь только болтаются без толку, а ведь они подрастают. Это несправедливо по отношению к ним, а главное, Мэри,— такая жизнь убивает тебя. Это решает дело! Я был слеп. Пропади она пропадом, эта ферма! Она превращает меня в вола с бельмом на глазу, в негодного старого вола с бельмом на глазу, вроде старого Строуберри Джимми Хаулетта. А в городе ты будешь жить, как дама, Мэри.

— Кто-то едет! — закричали мальчики. Поспешно сброшенные перекладины загремели под конскими копытами.

— Эй, в дому! Это ты, Джонни?

— Да!

— Я знала, что они приедут за тобой,— сказала миссис Мирс, обращаясь к Джонни.

— Придется тебе поехать, Джонни. Ты не отвертишься! Со мной Джим Мэзон, и у нас приказ оглушить и скрутить тебя, если будешь сопротивляться. Проклятый скрипач из Мадджи не явился. Дэйв Риган поломал свою гармонь, так что положение просто безвыходное.

— Но я не могу оставить хозяйку одну.

— Не беспокойся. Мы привели кобылу учительницы с дамским седлом. Учительница говорит, что тебе будет стыдно, Джонни Мирс, если ты не привезешь свою жену на новогодний праздник. И правильно.

Джонни не выглядел пристыженным, хотя они не знали почему.

— Мальчики не смогли найти лошадей,— вмешалась миссис Мирс.— Джонни только что снова хотел спуститься за ними в овраг.

Джонни бросил на нее благодарный взгляд, и его охватило новое странное чувство восхищения своей женой.

— И там для тебя приготовлена бутылочка самого прекрасного, Джонни,— прибавил Пат Макдэрмер, неправильно истолковав молчание Джонни,— и мы согласны на тридцать шиллингов. (Мысли Джонни снова потекли медленнее после недавнего стремительного порыва.) Или, скажем, два фунта! Вот что!

— Не надо мне ни двух фунтов, ни одного за то, чтобы повезти мою жену на танцы под Новый год! — сказал Джонни Мирс.— Беги, Мэри, припарядись!

И она побежала одеваться так же стремительно и взволнованно и с такой же девичьей улыбкой на лице, как, бывало, в праздничные вечера до той счастливой и светлой новогодней ночи — двадцать лет назад.

КРАСАВИЦА ИЗ АРМИИ СПАСЕНИЯ

Я люблю сидеть у Уотти, когда ночь распустит гриву,
Слушать перезвон бутылок и дышать парами пива.
И мне чудится ночами, что склоняю я колени,
Когда молится за Уотти войско Армии спасенья,—
То молитвы забормочут, то ударят в барабаны,
Чтобы грешникам открылся светлый мир обетованный.
Что ж, ведь грешники у Уотти впрямь не худшие из худших,
И надеюсь я, что небо дверь откроет для заблудших.

В некоторых городках, затерявшихся среди бескрайних австралийских зарослей, Армия спасения пользуется большим успехом. Здешние обитатели отличаются легкомысленной, беззаботной щедростью и не жалеют кармана, стоит лишь подвернуться случаю опустошить его, причем делают это нисколько не задумываясь,— вроде долговязого Боба Браверса из Берка: тот, будучи «потомственным протестантом», умудрился однажды пожертвовать на постройку католической церкви, а когда его подняли на смех, заявил:

— Подумаешь, какое дело, в конце концов это не играет роли. И вообще я ничего не имею против католической братии.

Здесь вы познакомитесь со стригальщиком, у которого похрустывают в карманах бумажки, только что полученные за стрижку овец; со стригальщиком во всем великолепии опьянения, счастливым, влюбленным в целый мир, готовым пожертвовать на алтарь любой веры и поставить выпивку кому угодно — включая даже самого сатану. Здесь вы увидите стригальщика — подвыпившего, находящегося в воинственном настроении; он злобствует на весь

сеет и, швыряя шиллинг в кружку Армии спасения, тем самым (как ему кажется) бросает вызов старомодной условности. Потом он озирается по сторонам,— не подмигивает ли кто насмешливо за его спиной. Увидите вы и циничного шутника, человека со странными противоречиями в характере — он щедро жертвует на божье дело и тут же пытается вновь совратить обращенного грешника. Здесь вы увидите и старого работника с фермы,— с деловитым выражением лица, в чистой рубашке, белых молескиновых штанах и с косынкой на шее, приехавшего в город пропить свой годовой или полугодовой заработок; он вносит пожертвования из принципиальных побуждений, а затем самозабвенно предается пьянству, пока не кончатся деньги и не начнутся кошмары. Увидите и гуляку, который не может прийти в себя после попойки и боится лечь спать,— того и гляди, опять станет что-нибудь мерещиться. Спустив десять — двенадцать фунтов в барах и за картежной игрой, он бросает в кружку покаянный шиллинг, лелея глубоко затаенную и довольно расплывчатую надежду, что это принесет ему какую-нибудь пользу. Тут вы увидите и расплывшегося, всем довольного, добродушного трактирщика, который одаривает братьев и сестер из Армии спасения подаяниями, словно бродячих шарманщиков. Увидите вы здесь и других людей, поймете другие причины успеха Армии спасения — ведь в этих краях собираются паршивые овцы и неудачники со всего света — и уловите в хоре молящихся смутные отголоски иных времен.

Когда в девяносто втором году я попал в Берк — столицу Великих Зарослей, расположенную на берегу реки Дарлинг примерно в пятистах милях от Сиднея,— город изнывал от длительной засухи. И жара тоже, по-видимому, послужила на пользу деятельности Армии спасения среди жителей Берка. Жители поглощали огромное количество пива и к тому же смутно догадывались (в знойном мареве, окутавшем городок, почти обо всем можно было догадываться только смутно), что Армия прибыла спасать их души от такого места, где еще пожарче. А у них не было особого желания попадать в подобное местечко. И все же невиданные сборы Армии спасения в Берке объяснялись в тот год совершенно особой причиной.

Она была невысокого роста, лет девятнадцати — двадцати, самая хорошенькая девушка из всех, каких я когда-либо видел в рядах Армии спасения, и одна из самых хорошеньких, каких я вообще когда-либо встречал. Личико у нее было ангельское, но выражение его удивительно человечное, симпатичное и привлекательное. В ее больших серых глазах светилось сострадание к несчастным и грешникам, а из-под капора выбивались пышные

золотистые волосы. Ее первое появление среди нас выглядело несколько драматически — наверное, Армия позаботилась об этом заранее.

Каждый вечер Армия спасения закатывала концерт, совершала молебны, распевала гимны и собирала пожертвования у трактира Уотти Толстяка «Герб возчика».

Тут они устраивали свои представления чаще и дольше, чем у любого другого питейного заведения Берка,— вероятно, потому, что Уотти прослыл в городе самым безнадежным грешником из всех трактирщиков, а его клиенты — бандой закоренелых пьяниц. Оркестр обычно принимался играть с наступлением сумерек. Уотти располагался на просторной веранде; он сидел, удобно развалясь в легком плетеном кресле и сложив руки на животе, в позе невозмутимого спокойствия и блаженства. Армия начинала колотить в барабан и набирать пары, а в это время в баре, возможно, разгорался скандал, либо на заднем дворе шла кровопролитная драка. В такие минуты жирная и обычно бесстрастная физиономия Уотти озарялась подобием снисходительно-отеческой улыбки. Постепенно голова его клонилась все ниже, и он погружался в дремоту. Грохот барабана и пение словно убаюкивали Уотти, на молитвы же, хотя в них нередко поминалось его имя, он не обращал ни малейшего внимания.

Итак, это произошло однажды под вечер. Жара в тот день стояла ужасная, сто с чем-то градусов в тени, но после захода солнца подул ветерок. На пол веранды и на землю вокруг трактира вылили не один десяток ведер воды. Уотти восседал на своем излюбленном месте, когда появилась Армия спасения. В баре в этот момент было тихо, так как на заднем дворе шла драка, и она привлекла внимание всех посетителей.

Армия помолилась за Уотти и его клиентов, затем некий бывший пьяница, вступивший на стезю добродетели, принялся извергать хулу в адрес трактирщиков и всех их делишек. Уотти устроился поудобнее, скрестил руки, откинулся на спинку кресла и задремал.

Тем временем драка закончилась, и у бара стал собираться народ. Человек, спасенный от мук ада, завывал, размахивал руками, кружился и приплясывал.

— Да-да! — хрипло выкрикивал он.— Пусть кабатчики и пьяницы, картежники и грешники не воображают, что в Берке жара,— в аду в тысячу раз жарче! Я вам говорю...

— О господи! — пробормотал стригальщик Митчелл и швырнул в кружку пенни.

— Да-да! Я вам говорю, что в аду в миллион раз жарче, чем в Берке! Я вам говорю...

— Эй, послушай-ка! — раздался вдруг чей-то голос.— Ладно врать-то! Разве ты не знаешь, что когда в Берке кто-нибудь отправляется на тот свет, он прихватывает с собой одеяло?

Спасенный обернулся.

— Я слышу голос вольнодумца, друзья мои,— сообщил он. И, злобно озираясь вокруг, подобно затравленному, голодному существу, заорал с внезапным воодушевлением и удвоенной энергией: — Я слышу голос вольнодумца. Покажите мне этого человека! Дайте мне взглянуть на его лицо, и я скажу вам, кто он такой.

Уотти принял более удобную позу, вытянул руки на коленях и снова закрыл глаза.

— Да-да! — вопил бывший грешник.— Имейте в виду, друзья мои, я мигом узнаю вольнодумца, стоит мне взглянуть на него. Пусть он только покажется, этот...

Но тут случилось нечто неожиданное. Одноглазый, он же Кривой Боген — детина с перебитой переносицей и такой физиономией, что даже лучшая ее половина выглядела необыкновенно безобразной и зловещей,— Одноглазый Боген высунул голову из темноты в пространство, озаренное пламенем факелов Армии спасения. Его вид красноречиво свидетельствовал о самых печальных последствиях только что состоявшегося сражения: нос и губы кровоточили, и единственный здоровый глаз был подбит.

— Ну-ка, полюбуйся на меня! — угрожающе прорычал он.— Взгляни на мое лицо. Это и есть лицо вольнодумца, и пусть кто угодно знает об этом — мне плевать! Или оно тебе не нравится, ты, Голопузый?

Обращенный пьяница отпрянул. В дни своего греховного прошлого он был известен на северо-западе страны под кличкой «Голопузый», он же «Пачкун», и теперь буквально ошалел от ужаса, когда его узнали по голосу. Мало того, в свое время они вместе с Богеном занимались стрижкой овец и участвовали в попойках — словом, были хорошо знакомы.

Надо сказать, что большинство толпившихся здесь парней относились к Армии спасения, да и вообще ко всему, что пахло религией, с должным уважением; однако при виде физиономии Богена, столь выразительно олицетворяющей плоды свободомыслия, они не выдержали. С противоположной стороны освещенного факелами круга донеслись нечленораздельные возгласы, подобные тем, какие издает человек, если его вдруг несколько раз подряд стукнут в живот; а длинноногий Том Холл и еще человека два отошли в темноту, где Том упал на траву и, всхлипывая, стал кататься по ней.

Мне пришло в голову, что физиономия Богена — это скорее наглядный результат свободы слова, а не мысли.

Армия уже приготовилась было начать молебен, когда из ее рядов выступила прехорошенькая девушка; глаза ее горели огнем негодования и энтузиазма. Она прибыла в город вечерним поездом и все это время стояла где-то позади, укрывшись за широкоспинной, плоскогрудой девицей лет пятидесяти, почти шестифутового роста, с квадратным лицом и ртом, похожим на скобу, соединяющую листы котельного железа.

Красавица топнула своей прелестной ножкой, и глаза ее при свете факела засверкали еще ярче.

— Как вам только не стыдно,— заявила она.— Взрослые люди, и так себя ведете! Если б вы прозябали в нужде или невежестве, как те несчастные, которых мне приходилось видеть, вас еще можно было бы простить. Разве у вас нет матерей, сестер, жен,— тех, о ком вы обязаны заботиться? Что у вас за жизнь! Только и знаете, что пьянствовать, картежничать, драться и ругаться! Неужели вы никогда не вспоминаете о боге, о своем детстве? Почему вы не обзаведетесь семьями, не заживете по-человечески? Посмотрите на лицо этого человека! — Она вдруг ткнула пальцем в направлении Богена, который мгновенно струхнул и попятился назад, в спасительную темноту.— Посмотрите на его лицо! Разве это лицо христианина? А вы потворствуете ему, поощряете его на драки. Вы еще хуже, чем он. О, какая жестокость! Это... это же просто позор. Взрослые люди, постыдились бы!

Долговязый Боб Бразерс — ростом шесть футов четыре дюйма, самый высоченный и самый безгрешный из всех нас — прижался к стенке, съежился и убрал свою любопытствующую физиономию подальше от света. А девушка, разволновавшись, еще немножко постояла в кругу, после чего, как видно, ужасно расстроенная, вернулась на свое место, где была взята под крылышко плоскогрудой девицей.

Это был сюрприз, и весьма неожиданный. Боген тихонько шмыгнул на задний двор к водоколонке и принялся обмывать свое разбитое лицо. У остальных был такой вид, будто они поняли только одно: произошло нечто необыкновенное, но что именно — еще неизвестно, и все растерянно выжидают дальнейшего развития событий,— все, кроме Тома Холла, который уже успел прийти в себя и вновь присоединиться к нам. Он рассматривал девушку через головы стоявших впереди людей с выражением того же критического любопытства, какое он проявлял к дракам — подобное выражение бывает у журналиста, напавшего на сенсационную новость.

Дальше в этот вечер все шло своим чередом, и Армия спасения сделала отличный сбор. Шиллинги и шестипенсовики сыпа-

лись в кружку, и девушка обводила всех сияющими глазами; а затем плоскогрудая девица подтолкнула ее вперед, и она ласково поблагодарила нас, сказала, что мы хорошие ребята и что она сожалеет о своих словах, разволновалась, покраснела и спряталась за несгибаемую девицу, у которой, между прочим, на верхней губе красовался нарост, очень похожий на заклепку.

Потом красавица опять вынырнула из-за своего укрытия и стала наблюдать за происходящим растроганно блестевшими глазами. Кое-кто из парней, стоявших напротив красавицы, беспокойно задвигался, и все они старательно избегали ее взгляда, чтобы она не смутилась. Что касается Уотти, тот, заслышав незнакомый девичий голос (к тому же такой чистый и приятный!), чуть приподнялся и раскрыл глаза; вслед за тем он опять умиротворенно откинулся на спинку кресла, однако было отмечено, что в тот вечер он не храпел.

А когда началась молитва, девушка вместе с остальными преклонила колени. Один-два рослых парня склонили головы, как будто это входило в их обязанности, а Одноглазый Боген, с отмытым от крови лицом, стоял, сняв шляпу, и подозрительно косился по сторонам,— нет ли у кого на лице ухмылки.

Митчелл впоследствии говорил, что вся эта история заставила его на какой-то момент испытать чувство, которое он порой испытывал в те времена, когда еще не потерял способности вообще что-нибудь чувствовать.

В тот вечер и в течение многих последующих дней в городке было полно разговоров о девушке из Армии спасения, однако никому не удалось узнать, кто она и откуда,— за исключением того, что сюда она приехала из Сиднея. Она строго хранила свою тайну, если только тут действительно была какая-то тайна, и у ее товарок по Армии ничего нельзя было выведать. Жила наша красавица в пристройке, примыкавшей сзади к большому бараку. Вместе с ней жили две другие девицы из Армии спасения, которые занимались стиркой, шитьем, уходом за больными, а сами ходили оборванные, полуголодные, изнывая от жары, подобно десяткам жительниц здешних краев или подобно сотням страдающим религиозной манией жалких рабынь городских трущоб, забросивших семьи, мужей и детей во славу своего церковного балагана.

Служители Армии спасения называли нашу красавицу «сестрой Ханной», а в среде грешников ее каким-то образом окрестили «Мисс Капитан». Я до сих пор не знаю, действительно ли ее звали Ханной и какой у нее был чин,— если вообще Армия удостоила ее каким-либо чином.

Она стала продавать газетку Армии спасения «Боевой клич», и уже на другой день количество проданных номеров возросло

вдвое. Одноглазый Боген, внезапно столкнувшись с красавицей на улице, отдал ей пять шиллингов и тут же сбежал, забыв о газете и о сдаче. Джек Митчелл впервые за свою жизнь купил эту газету и прочитал ее. Он сказал, что некоторые статейки поразили его своей реалистичностью и многие утверждения показались весьма интересными. Он добавил, что узнал из газеты нечто такое, о чем раньше и не слыхивал. Том Холл, застигнутый красавицей врасплох, приобрел сразу три одинаковых номера, чем надолго прославил свое имя.

Малыш Билли Вудс, секретарь профсоюза сезонных рабочих, обладавший поэтической натурой и большей склонностью к высоким материям, чем рядовые австралийцы,— Малыш Билли Вудс поведал мне в припадке откровенности, что при встречах с красавицей он обычно испытывал два разных чувства, одно за другим. Первым было то неизъяснимое чувство одиночества и тоски, которое появляется время от времени у самых порядочных женатых мужчин, имеющих прекрасных жен и детей,— именно так обстояло дело и с Билли. Позже, в порядке реакции на это первое чувство, приходило ощущение, которое бывает у мужчины, когда ему кажется, что женщина околпачивает его с кем-то другим. Билли сказал, что застенчивая, нежная улыбка и застенчивое, нежное «благодарю вас» девушки из Армии спасения невольно напоминали ему о застенчивой, нежной улыбке и застенчивом, нежном «благодарю вас» одной сиднейской официантки, которая как-то обобрала его, когда он еще не был женат. Затем он выразил предположение, что Армия спасения умышленно подослала эту девушку в Берк ради поправки своих денежных дел.

Том Холл стал высказываться в том же духе,— но лишь когда его вконец извели, целый месяц издеваясь над ним по поводу трех номеров одной и той же газеты.

Красавица подвергалась обсуждению с психологической точки зрения; не забывали и проблему пола. Дональд Макдональд — стригальщик, профсоюзный лидер, которого посылали в случае необходимости делегатом от сезонных рабочих в другие провинции,— Дональд Макдональд сказал, что стоит ему завидеть уродливых, тощих девиц или женщин, толпящихся вокруг своего духовного пастыря, странствующего проповедника или барабана Армии спасения, как он невольно восклицает: «Богом обиженные!» Ибо всех их терзает любовный голод. Религиозная мания — не что иное, как половая неудовлетворенность, вывернутая наизнанку. И потому он убежден, что болезненно религиозных девиц легче всего совратить.

Но все это не имело никакого отношения к нашей девушке. Митчелл полагал, что ее постигло какое-нибудь большое горе или

(это «или» принадлежит Митчеллу) разочарование в любви; однако было непонятно, как подобной девушке может не повезти в любви,— разве только ее жених умер либо осужден на пожизненное заключение. Дональд заметил, что, так или иначе, ее душа по чему-то изголодалась.

Митчелл высказал мнение, что ее, может быть, просто-напросто снедает жажда славы, то самое, что вынуждает девиц и женщин общаться с прокаженными, идти на поля сражений и возвращать к жизни уродливые обрубки человеческих тел, а также иной раз лжесвидетельствовать в суде, затягивая петли вокруг мужских шей. Митчелл заявил, что красавица может оказаться дочерью богатых родителей, даже аристократов,— для этого она достаточно хороша собой и интеллигентна.

— Как говорится в «Буллетине»,— изрек под конец Митчелл,— «Каждая женщина в душе — хищница».

Однако ни у одной из замученных работой женщин Берка не возникало по отношению к этой девушке ни малейших подозрений или неприязни. Женщины утверждали, что она слишком чиста и красива для этих мест. Тут на вещи смотрели по-иному, чем в давно обжитых городах, где сплетницы чернят божий мир своими злыми языками. Берк был всего лишь маленьким транзитным городком в обширном краю; городком, который пропускал через себя свободных, добродушных, демократичных австралийцев и все лучшее из «паршивых овец» добропорядочного Старого Света; городком, где мужчины частенько должны были покидать семьи и на год и больше, владельцы лавок — полностью доверять покупателям, приятели — друг другу и где люди отличались широтой взглядов. Их умственный взор охватывал обширные просторы.

После своей первой памятной речи красавица редко баловала нас разговорами; все, что мы слышали от нее, были слова благодарности, когда она принимала пожертвования. Она никогда не выступала с проповедями; у нее был приятный голосок, и она обычно пела в хоре.

Так вот, если б то, о чем я тут пишу, было сплошным вымыслом и надо мной не довлело упрямое стремление говорить чистую правду, я бы мог сказать, что после знакомства обитателей Берка с красавицей их мораль внезапно чудесным образом изменилась к лучшему. Что Одноглазый Боген бросил играть в карты, пьянствовать, драться и сыпать ругательствами, присягнул на верность господу богу и сражается только с дьяволом-искусителем; что Митчелл скинул свою маску цинизма; что Дональд Макдональд перестал вкушать от древа познания, и ломать голову над

психологическими загадками, и обрел счастье; и что Том Холл уже не слывет насмешником. Что с наступлением темноты никто больше не крадется через кустарник к известным необходимым заведениям, расположенным на окраине городка; и что свободомыслящие и обязательные леди из этих заведений вступили в Армию спасения.

Но ничего подобного не произошло. Верно, когда красавица появлялась, пьяницы малость утихали или убирались восвояси, драки и орлянка прерывались да временно употреблялась обыкновенная, невыразительная разговорная речь,— и это все.

Тем не менее большинство парней были откровенно влюблены в девушку из Армии спасения,— все те, кто не боготворил ее про себя. Долговязый Боб Бразерс, как утверждали, околачивался на улицах в надежде, что с ней произойдет несчастный случай — собьет лошадь либо еще что-нибудь в этом роде — и ему посчастливится вынести ее на руках; а пока что он наводил ужас на обитательниц бараков, бросая в темноте через изгородь поленья. Кто-то видел, как Барку-Рот, самый жадный человечишка в этих краях, опускал трехпенсовик в кружку, и в городе усиленно циркулировал слух (дело рук Тома Холла), будто Одноглазый Боген решил побриться и вступить в Армию спасения, перерядившись в девицу.

Симпатичный Джек Борхэм (по прозвищу Нагони Тоску), мечтательный стригальщик из Новой Зеландии, большой любитель Брет-Гарта, предпринял искусную попытку добиться успеха у красавицы. Он решил притвориться, будто с отчаяния стал пить и быстро опускаться, привлечь к себе таким образом ее сострадательное внимание, а затем сделал вид, что в жестокой борьбе с самим собой он исправился — ради нее. Джек поведал о результатах своего эксперимента с той легкой, безыскусной непринужденностью, которая была характерна для него и вообще для большинства тамошних жителей.

— Пропустил я несколько глотков,— рассказывал он,— и прилег малость отдохнуть под эвкалиптом у реки. Вижу, вдоль берега идет она и с ней еще какая-то девица из Армии спасения. Жара стояла ужасная. Я вспомнил историю насчет Сэнди и школьной учительницы из Брет-Гарта, и мне в голову пришла отличная идея — растянуться на солнышке и лежать без движения, словно я совсем обессилел. Ну, отшвырнул я шляпу в сторонку, улегся прямо на солнцепеке в самой изящной позе, какую только мог придумать, и постарался изобразить на лице скорбь, будто я вспомнил свою маму и пропащую юность. Я надеялся, что ей станет жаль меня и она, конечно, наклонится, подымет мою шляпу и нежно водрузит ее на мою грешную голову. Тогда я на минутку

прихожу в чувство, беспомощно озираюсь вокруг, смотрю ей в глаза, вздрагиваю, гляжу стыдливо и горестно, встаю, шатаясь, на ноги, снимаю шляпу — наподобие Серебряного Короля перед публикой, когда он впервые выходит пьяный на сцену,— и ковыляю прочь, стараясь идти попрямее. А на другой день чищу зубы и ногти, надеваю белую рубашку и становлюсь отныне и навеки новым человеком.

Ну, ладно, лежу я с закрытыми глазами, слышу — идут, остановились, шепчутся. Она вроде говорит: «Бедняга» или что-то такое похожее. И в этот самый момент я получаю зонтиком в ребра — во всяком случае, я полагаю, так было задумано. Но у женщин неверный глаз, и острие зонтика угодило мне прямо в бок, между нижним ребром и бедренной костью. Что-то у меня щелкнуло, и я моментально уселся.

Смотрю, передо мной стоит огромная тетка с квадратными челюстями. А у красавицы в глазах, пожалуй, больше ужаса и отвращения, чем жалости. Но она девушка мужественная, скоро пришла в себя и заявила, что мне должно быть стыдно,— взрослый мужчина валяется в пыли, словно пьяный бродяга,— просто позорище, смотреть противно. Она велела мне отправляться к себе домой и как следует проспаться. А та, которая с квадратными челюстями, добавила, что вид у меня идиотский. Мне таки действительно было стыдно, и, наверно, я в самом деле в тот момент походил на идиота — так оно и бывает, когда попадаешь в дурацкое положение. Вся эта история сильно меня задела, я пошел в Вест-Берк, пил целых две недели подряд и продул в шашки двадцать фунтов какому-то ловкачу, который играл с завязанными глазами. Да, еще насчет зонтиков — они у них обеих были, но я до сих пор не знаю, которая меня угостила. Впрочем, это роли не играет. А Брет-Гарта я теперь и в руки не беру.

Джек помолчал минутку.

— И самое скверное,— уныло заключил он,— я боюсь, не догадались ли они, что я это нарочно затеял. Никогда не угадаешь, что женщина знает, а чего — нет. Вот этого я в них терпеть не могу. Я это стал замечать после того, как женился...

Между тем девушка из Армии спасения почему-то начала бледнеть и худеть, лицо ее осунулось, огромные глаза ввалились. Женщины Берка заявили, что это недопустимо и что красавицу следовало бы отправить домой, к ее друзьям,— наверно же они у нее есть. Когда она прихворнула и дня три не вставала с постели, женщины принялись готовить разные вкусные вещи, вручали их для больной через барачную изгородь и предлагали свои услуги. Но квадратная опекунша брала на дом стирку и сама ухаживала за девушкой.

Красавица по-прежнему торговала газетами и собирала пожертвования, но вид у нее был усталый, безразличный и какой-то пристыженный. Нам стало ясно, что она все больше разочаровывается в своей Армии и вообще ей все это надоело. Возможно, что она уже раскусила всю эту лавочку.

Дело в том, что в этих краях толку от Армии спасения — никакого, разве что с точки зрения сборов. Ее и посылают сюда, просто чтобы набрать побольше денег для голодающих штабов. Что же касается иных ее целей, местные жители — народ чересчур смышленый. Берк не знал бедности — в том смысле, как ее понимают в больших городах; еды тут вполне хватало, а жить во времянках и обходиться без удобств было делом привычным. Если с кем-либо происходил несчастный случай, если кто-то заболевал или умирал, оставляя вдову и сирот, то без всякой барабанной трескотни и воплей пускали шапку по кругу, и все устраивалось как надо. Тот, кто поиздержался, занимал пару фунтов у приятеля. Когда в городе появлялась новая семья без единого пенни за душой, находились люди, которые давали ей приют, и лавочники предоставляли кредит до тех пор, пока глава семьи не получал работу. А что до всего прочего, мы сами заботились о спасении своей души или ее погибели— смотря по обстоятельствам — без посторонней помощи, кроме, может быть, помощи друга.

Армия спасения при нужде ничем не могла нам помочь, а собрат по греху — мог, он ведь сам через все это прошел. Армия спасения — не что иное, как помеха на пути развития демократии, ибо она переманивает к себе тех, кто мог бы стать воинствующим демократом,— а также по другим причинам.

К тому же, если б мы все исправились, ей нечего было бы с нас взять для исполнения своей миссии в больших городах.

Некоторое время наша красавица была в услужении у жены налогового инспектора, однако и той не удалось ничего вытянуть из девушки относительно ее самой или ее друзей. Она по-прежнему ночевала в бараке, держалась своей Армии и участвовала в ее представлениях.

Наступило рождественское утро, и в Берке воцарились покой и всеобщая благожелательность. С предыдущего вечера в городе не произошло ни единой драки, если не считать дружеской потасовки, затеянной с целью разрешить спор относительно прошлой, а заодно и будущей принадлежности одной собаки.

Ночь была жаркой и душной, а с восходом солнца вообще дышать стало нечем. В такую погоду независимая часть мужского населения имела обыкновение брать из дому одеяла, отправляться

в так называемый парк, он же городской сквер, и ночевать там под открытым небом. В семейных домах жены и дочери спали или пытались спать с раскрытыми дверями и окнами спален, в то время как мужья укладывались на верандах. Сам я в ту ночь расположился в укромном уголке парка, и меня разбудило утреннее солнце.

Поднявшись на ноги, я увидел путника, бредущего от моста по белой, пыльной дороге; дорога эта пролегала на запад к Хангерфорду, что на границе с Шеолем — сто тридцать миль через иссушенные зноем бесплодные заросли мульги. Походка человека была мне знакома. Это был Джон Меррик (он же Джек Лунатик), некогда секретарь профсоюза стригальщиков в Кунамбле и бессменный их представитель, где бы ему ни приходилось работать. Сам первоклассный стригальщик, он был одним из тех выдержанных, вдумчивых людей, которых обычно даже в беспокойнейших артелях стригальщиков насчитывается двое или трое; эти люди оказывают большое влияние на остальных и придают всей артели добрую славу в глазах профсоюза. Их выдержка и спокойствие не имеют ничего общего с презрительным снобизмом образованных англичан; в мягком и чуть печальном спокойствии этих людей чувствуется сила — как будто они прекрасно сознают, что интеллект у них выше среднего уровня, что они пережили больше горя и разочарований, чем многие из их друзей, и что друзья, наверное, не поймут их, если они станут говорить то, что чувствуют, и не смогут смотреть на вещи их глазами,— но сами они, при всем своем одиночестве и чуткой сдержанности, умеют понимать людей и сочувствовать им.

Я как-то работал на стрижке овец вместе с Джеком и, кроме того, встречался с ним в Сиднее, а подружиться с человеком в австралийских зарослях хотя бы на несколько недель — значит узнать его вдоль и поперек. Во всяком случае, так бывало со мной. В позапрошлое рождество Джек побывал в Сиднее, и, когда вернулся, что-то в нем переменилось. Он стал молчалив, больше пил, причем иной раз в одиночку, и курил без передышки. Он забросил своих друзей, почти не интересовался профсоюзными делами и пускался в путь по ночам один, без товарища.

Обитатель австралийских зарослей со дня рождения обзаводится другом, который так и прилипает к нему на всю жизнь, подобно родинке на теле. Даже разделенные сотнями миль в течение долгих лет, они навек остаются друзьями. За годы скитаний можно сменить многих приятелей, но всегда есть один настоящий друг, «мой друг», и самое обычное дело услышать от человека, пусть он будет во всех отношениях хорошим товарищем своему случайному спутнику по странствиям, как он запросто говорит о

друге своего друга — «это друг Джека»,— даже если тот находится где-нибудь в Клондайке или Южной Африке. Обитатель здешних мест нуждается в друге — чтобы было кому утешить его и поспорить с ним, чтобы было с кем вместе работать, и странствовать, и выпивать, чтобы было у кого занять денег, когда оказался на мели, чтобы было кому обзывать его непроходимым идиотом, а порой и схватиться с ним в драке; чтобы было кому всячески поносить его с глазу на глаз и защищать за спиной и лжесвидетельствовать ради него; лгать его девушке, если он холост, или жене, если он женат; выговорить ему работу в стригальне, если его нет на месте; а если он уехал куда-то в Новую Зеландию или Южную Африку, писать ему письма и советовать, стоит ли возвращаться обратно. Каждый из них поверит другому на слово даже вопреки мнению всего света, и каждый убежден, что его друг — порядочнейший из всех людей, когда-либо живших на этом свете. А самым лучшим человеком после старого друга считается тот, с кем ты вместе бродишь по дорогам, ездишь верхом, работаешь и выпиваешь.

В бараке стригальщиков повар первым делом спросит тебя: «А где твой приятель?» Как-то раз мне пришлось странствовать одному, и порой, судя по тону расспросов насчет местонахождения моего приятеля, невольно казалось, будто меня подозревают в том, что я прикончил его, и полагают, что это дело надо бы тщательно расследовать.

Если человек здесь вдруг отказывается от своих друзей и предпочитает одиночество, он делает верный шаг навстречу удобному для висельника дереву и петле, сделанной из пары седельных ремней.

В те времена мне казалось, что я в какой-то степени заменял Джеку друга.

— Привет, Джек! — приветствовал я его, как только он поравнялся с углом парка.

— Доброе утро, Гарри! — ответил Джек таким тоном, словно мы виделись вчера вечером, а не три месяца назад.— Как поживаешь?

Мы пошли по направлению к профсоюзной конторе: я располагался там в задней пристройке. Джек молчал. Но нет другого места на земле, где к молчаливости человеческой (в пределах разумного) относятся с таким уважением, как в австралийских зарослях,— ибо тут у каждого более или менее печальное прошлое и в каждом живет невидимый дух этого прошлого, порожденный чужой неведомой страной и объясняющийся на чужом языке. Здесь обычно говорят: «Джек задумался!» — и оставляют Джека в покое. Обычно у тебя тоже есть о чем подумать; и когда идешь

по дороге вместе с другом, ничего особенного нет в том, что за целый день вы не обменяетесь и словечком. Утром Джим скажет приятелю: «Что ж, Билл, кажется, я выгодно купил эту лошадку»; а попозже, что-нибудь за полдень, когда они прошагают миль двадцать, Билл догадается ответить: «А по-моему, тебя здорово надули».

Я люблю, когда мне попадается задумчивый друг, и я считаю, что думать вдвоем, за компанию, куда полезнее, удобнее и к тому же менее рискованно, чем заниматься этим одному.

По пути к профсоюзной конторе мы с Джеком проходили мимо Королевского отеля и, случайно заглянув в открытую дверь спальни, выходящей на веранду, увидели свеженькую и хорошенькую молодую жену хозяина, которую он привез из Сиднея; она лежала в грациозной позе под москитной сеткой, подобная Спящей Красавице, а сам босс растянулся на веранде поперек входа в спальню. (Можно было бы и не упоминать о нем, но он являл собой воплощение супружеского доверия.)

Я глянул на Джека, предполагая увидеть на его лице усмешку, но он и не думал усмехаться. Казалось, у него вдруг защемило на сердце при мысли о чем-то, что могло бы быть.

Когда мы пришли в мою пристройку, я вскипятил в котелке чай и поджарил кусок мяса.

— Ты шел всю ночь, Джек? — спросил я.

— Да,— ответил он.— Вчера я был в Эмусе.

Есть он отказался. Я решил про себя, что Джек, пожалуй, чересчур уж задумчив и это не пойдет ему на пользу.

По сравнению с тем, как он выглядел во время нашей последней встречи, Джек здорово похудел и осунулся, и в глазах у него сквозила та же усталость и безнадежность, которую я замечал у Тома Холла после недавней крупной забастовки стригальщиков; в те дни Том не знал сна и отдыха, подбадривая своих товарищей по борьбе, помогая им выдержать тяжелые, горькие испытания,— но борьба все-таки была проиграна...

— Послушай-ка, Джек,— спросил я наконец,— что с тобой стряслось?

— Да ничего, Гарри,— ответил он.— С чего ты это взял?

— Попал в какую-нибудь неприятную историю? — продолжал я.— Что сделала с тобой эта Хангерфордская дорога?

— Говорю тебе, все в полном порядке. А как твои дела?

Он вытянул из кармана какую-то бечевку, обрывки бумаги, затем пыльную пачку фунтовых банкнотов и швырнул ее на постель. Как раз в то время я сидел без денег, поэтому взял один фунт и свой котелок и собрался в Королевский отель за пивом. Я надеялся, что пиво развеет горькие мысли Джека.

— Возьми несколько фунтов,— предложил он.— Судя по твоему виду, тебе не мешало бы приобрести пару новых рубашек и еще кой-какую одежонку.

Но с меня было достаточно и одного фунта. А впоследствии Джек имел, по-моему, все основания быть довольным этим обстоятельством, учитывая тот оборот, который приняло дело.

— Ну, какие новости в Берке? — поинтересовался Джек за кружкой пива.

— Никаких,— ответил я,— кроме того, что у нас тут появилась прехорошенькая девушка из Армии спасения.

— Пора бы уж! — проворчал Джек.

— Послушай, что на тебя нашло в последнее время? — спросил я.— Может, я сумею тебе помочь. Нечего меня уверять, будто ничего не случилось. Если уж человек начинает задумываться и держится особняком, это плохой признак, наверняка дело кончится суком и веревкой. Давай-ка выкладывай, что с тобой происходит. Тебя что-то мучает, так, что ли?

— Да вроде того,— сказал Джек.— Нас всех что-нибудь мучает. Но это не твоя забота, Гарри; у меня все в порядке. Я ведь не вмешиваюсь в твои дела, чего же ты вдруг решил взяться за мои. Это, знаешь, не лучше, чем бить чужую собаку.— И он изобразил подобие усмешки.

— Одно скажи, Джек,— наседал я,— тут замешана женщина?

— Да,— сказал он,— женщина. Теперь ты доволен?

— Девушка? — спросил я.

— Да.

Больше не о чем было и говорить. Я-то думал, что дело обстоит даже хуже, что, может быть, он когда-то где-то женился и потом все пошло кувырком.

Нас позвал к себе обедать Билли Вудс, и, должен вам сказать, это был настоящий рождественский обед — все холодное, кроме овощей; веранду все время поливали из шланга, вопреки запрету властей; жена и свояченица Билли сидели за столом оживленные, свеженькие и веселые,— не чета большинству местных женщин, потных, закопченных и злых оттого, что они все утро жарятся у кухонного огня, готовят плюм-пудинг и раскаленное жаркое — лишь по той причине, что их бабушки в Англии всегда подавали на рождество горячий обед.

После обеда мы отправились на прогулку по реке, без особого труда поднялись вверх по притоку, а затем поплыли вниз по течению в тени прибрежных деревьев. Это было намного лучше, чем идти спать, проснуться расслабленным, в испарине, и потом иметь дело с женщинами, страдающими от головной боли, что с ними частенько случается в рождество.

Миссис Вудс всячески пыталась расшевелить Джека, но безуспешно, а вечером он забрел в трактир и принялся опрокидывать стакан за стаканом, чем серьезно обеспокоил Билли Вудса.

— Боюсь, что с Джеком неладно,— сказал он.

После вечернего чая большинство из нас собралось у веранды Уотти. Почти все, что происходило в Берке, происходило в трактире Уотти или рядом с ним.

Если, к примеру, понесет лошадь с повозкой, ее обычно останавливали как раз напротив Уотти, и это наводило на мысль, как говаривал Митчелл, что основная масса местных героев выпивала именно здесь, а также, что самых отчаянных смельчаков надо искать среди отъявленных пьяниц. (Правда, иногда сорвавшаяся лошадь налетала на эвкалиптовый столб трактирной вывески, на которой висел и фонарь, и разносила повозку в щепки.) К тому же трактир Уотти был своего рода профсоюзным заведением для возчиков, а это народ довольно крутой; да и в пиве, которое он отпускал, было нечто такое, что заставляло посетителей весьма оживленно спорить; а на заднем дворе можно было увидеть великолепные драки. Собаки Уотти славились в городе своей сварливостью, и здесь не проходило вечера без собачьих боев, которые часто заканчивались людскими драками. Если какая-то лошадь вдруг выходила из повиновения седоку, этот седок имел все шансы оказаться сброшенным на веранду к Уотти, если не влетал прямиком в бар. Все жертвы несчастных случаев или заболевшие стригальщики обычно доставлялись сюда же, так как трактир Уотти считался наиболее подходящим и удобным для них местом. Митчелл категорически отказывался видеть причину всего этого в добром нраве и великодушии хозяина,— он утверждал, что тот гонится за рекламой и думает лишь о выгоде. Уотти знает, как обделывать делишки, он себе на уме, это уж точно. Митчелл намекал еще, что, случись с ним самим какая беда, он ни почем не согласится, чтобы его сюда притащили,— для Уотти каждые похороны выгодны, одного пива сколько выпьют. Том Холл высказывал предположение, что Уотти втихомолку подкупил и Армию спасения.

Я сидел на табуретке у стены веранды вместе с Дональдом Макдональдом, Бобом Бразерсом (Жирафом), Митчеллом и еще с кем-то, а Джек Лунатик сидел на корточках, прислонившись спиной к стене и надвинув шляпу на глаза. Армия спасения прибыла в урочное время, но мы не сразу увидели нашу девушку,— она немножко запоздала. Митчелл сообщил нам, что ему нравится бывать тут, когда Армия возносит молебны и красавица на месте; он нисколько не возражает, чтобы за него молилась такая хорошенькая девушка, хотя и уверен, что его уже никто не спасет —

разве что за дело возьмется настоящий ангел. Он сказал, что его бабушка всю жизнь, каждый вечер, а по воскресеньям даже трижды молилась за него, да сверх того в рождество, если оно не приходилось на воскресный день; однако к просьбам старушки, по-видимому, мало прислушивались на небесах, так как он с каждым годом все глубже погрязал в грехе, шел все дальше темными путями, пока наконец не докатился до преступления.

Когда молитва закончилась, в круг выскочила тощая «тронутая» женщина; она помешалась на почве религии, подобно тому как у многих женщин бывает помешательство на почве женского равноправия и по сотне других причин. Лицо у нее было такое худющее, скулы так резко выдавались, а рот был такой широкий, что когда она раскрывала его, то становилась похожей на манекен чревовещателя и даже казалось, что под ушами у нее появлялись трещины.

— Говорят, что я сумасшедшая! — визжала она пронзительным, надтреснутым голосом.— Но я не сумасшедшая, нет! Я только тронулась на господе Иисусе Христе. Вот и все!..

Но тут в круг вдруг вылез «аминник», которого мы прозвали «Умора» — вечно он что-нибудь сморозит; он закатил глаза кверху, замахал руками, будто жонглировал двумя шарами, и прочувствованным тоном провозгласил:

— Благодарение господу, что эта женщина тронулась праведным местом!

Том Холл расхохотался, да и большинство остальных грешников явно еле сдерживали ухмылки. Вероятно, и Армия спасения почуяла, что тут что-то не так, и хор поспешно запел гимн.

Вперед вышел здоровенный американский негр, раньше работавший ночным сторожем в Сиднее. Он замахал руками в такт пению, а потом, придя в сильное возбуждение, стал выделывать такие движения, будто в страшной спешке тащит вниз канат, переброшенный через блок.

— Спустись к нам, господь! — восклицал он басом, словно аккомпанируя поющему хору.— Спустись к нам, господь; спустись к нам, господь; спустись к нам господь; спустись к нам, господь! — И чем быстрее он это повторял, тем быстрее тянул вниз свой канат. Смотреть на него было чистое удовольствие.

А когда хор умолк, он принялся проповедовать:

— Друзья мои! Когда-то я был черен, как уголь в шахте! Когда-то я был черен, как чернила в океане греха! Но теперь — благодарение и благословение господу — я белее самого снега!

Том Холл, сидевший в углу веранды, прислонил голову к столбу и плакал от смеха. Он пожертвовал сегодня целый шиллинг, и его деньги вполне окупились.

Затем появилась наша девушка, и ее мигом втолкнули в круг. Она была худой и бледной, как никогда раньше, глаза ее сверкали лихорадочным блеском, который мне совсем не понравился.

— Друзья! — произнесла она.— Сегодня у нас рождество...

И больше она ничего не успела сказать, потому что, едва заслышав ее голос, Джек Лунатик вскочил на ноги так стремительно, будто он по ошибке уселся на грудного ребенка. Он бросился вперед, на мгновение остановился, как бы не веря собственным глазам, и коротко вскрикнул:

— Ханна!

Она вздрогнула, словно ее вдруг подстрелили, окинула Джека безумным взглядом и, спотыкаясь, кинулась к нему навстречу; в следующий миг он уже держал ее в объятьях и уводил с собой в хозяйскую комнату.

Я слышал, как миссис Брейтвейт крикнула, чтобы принесли воды и нюхательной соли; такая же толстая, как Уотти, и очень похожая на него с лица, она была, однако, более чувствительной и жалостливой.

Вслед за тем через открытое окно хозяйской комнаты до меня донеслись слова Ханны:

— О Джек, Джек! Почему же ты уехал и бросил меня, не простившись? Это было жестоко с твоей стороны!

— Но ты же сама прогнала меня, Ханна,— сказал Джек.

— Это... это ничего не значит. Почему ты не писал мне? — всхлипнула она.

— Потому что ты ни разу сама не написала.

— Это не оправдание,— заявила она.— Ты п-поступил со мной жестоко, Джек.

Миссис Брейтвейт опустила окно. Только что пришедший посетитель спросил Уотти, что тут произошло. Одна девица из Армии спасения, объяснил тот, разыскала своего дружка, или мужа, или давно исчезнувшего брата, или еще кого-то,— там с ними хозяйка занимается; после этого Уотти снова задремал.

А мы решили перебраться в Королевский отель и захватили с собой Армию спасения.

— Вот так оно и бывает,— изрек Дональд Макдональд.— Для женщины всегда главное любовь или бог, а для мужчины — любовь или дьявол.

— Что касается мужчин,— вставил Митчелл,— иной раз любовь и дьявол уживаются в них вместе.

Я внимательно посмотрел на Митчелла, но у него было такое выражение лица, словно он всего-навсего сказал:

— По-моему, собирается дождик.

ТЕНИ МИНУВШИХ СВЯТОК

Случалось ли вам когда-нибудь оглядываться на рождественские праздники минувших лет, вплоть до тех далеких дней, когда вы были чисты душой и верили в Деда Мороза? Порой вы казались себе скверным, но ведь понять, насколько ты был тогда чист душой, можно, лишь став взрослым и поскитавшись вдоволь по свету.

Дайте припомнить.

Рождество в английской деревушке. Оголенные ветви деревьев и живой изгороди и тяжелым грузом давящее на сердце свинцовое небо, и под ним, в пальто и раскрыв зонтики, бродим мы — изгнанные в Англию потомки английских изгнанников. Нам грезится ясное безоблачное небо, и солнце над головой, и подернутые дымкой неоглядные дали, и голубые горные цепи, растворяющиеся в лазурной синеве, и извивы золотистых пляжей, и песчаные дюны, пологими уступами сбегающие вниз, и Тихий океан во всем его великолепии! Нам грезятся гавань Сиднея на восходе солнца и девушки, с которыми мы ездили на пляж в Мэнли.

Рождество в лондонской квартирке. Мрак, слякоть и сажа. Австралийцы не так страдают от холода, как от этого беспросветного мрака. Мы тоскуем по солнцу.

Рождество на море, точнее, три рождества. Первый раз мы едем, полные надежды и при деньгах, в каюте первого класса на пароходе, идущем из Сиднея к западному побережью Австралии в начале «золотых» девяностых годов, и затем, через рождество, возвращаемся в трюме; на этот раз одежда на плечах — наше единственное достояние. Все это результат нашей неорганизованности: должно было бы быть наоборот.

Рождество в палатке «на Западе» — вокруг столько старых друзей «с Востока», что казалось, будто вернулись добрые старые времена. У нас было пять фунтов солонины и банка из-под керосина вместо кастрюли, но пока мы вспоминали былое, худой, как скелет, одичавший пес выхватил мясо прямо из кипящей воды и скрылся в кустах. Тут уж совсем стало похоже на старые времена.

Рождество на «Тасмании» по пути в Новую Зеландию, уже с жизненным опытом за плечами. Нам подали на обед плюм-пудинг, но он оказался совсем раскисшим. Мы не стали его есть и выбросили за борт, «чтобы он не затопил пароход», и пудинг пошел прямо к илистому дну. На этот раз «Тасмания» была спасена, но на следующий год она все-таки затонула около Гисборна. Возможно, кок снова приготовил плюм-пудинг. Вместе с «Тасманией» пошло ко дну и письмо от девушки, которую я любил, но это обсто-

ятельство к делу не относится, хотя лично для меня оно имело огромное значение.

Рождество в Новой Зеландии — я тогда был в артели, прокладывавшей новую телеграфную линию. Ни пудинга, ни жареного мяса, потому что на двадцать миль вокруг не было ни полена дров. Под походные котелки повар подкладывал охапки кудели и зажигал в самый последний момент, когда весь лагерь был уже в сборе.

Рождество в Сиднее и по меньшей мере десяток приглашений к обеду. Мы приняли одно — к разумным людям, угостившим нас таким рождественским обедом, каким он должен быть в Австралии и будет в недалеком будущем. Все, кроме овощей, холодное. Струя воды из шланга играет на веранде и на обвивающем ее плюще; мужчины одеты по сезону — в легкие и свободные, как пижамы, костюмы; женщины и девушки — свежие, бодрые и оживленные, не то что некоторые австралийки — распаренные и злые, похожие на вываренную морковку и чувствующие себя, как вываренная тряпка, мучимые после обеда головной болью, оттого что в такую жару они весь день протомились над плитой в душной кухне, чтобы приготовить обжигающий губы, неудобоваримый обед только потому, что так принято в Англии.

Рождественский обед в сиднейском дешевом ресторанчике, открывшемся за несколько дней перед этим под призывный гром духового оркестра. «Ростбиф — одна порция, капуста с картофелем — одна, плюм-пудинг — две!» (Я впервые обедал под музыку.) Обед был хороший, но аппетит мне портило выражение лица хозяина — верзилы с тяжелой челюстью, который сидел у входной двери и мрачно поглядывал, чтобы все платили шестипенсовики,— как видно, он не питал особого доверия к человечеству.

Рождество — нет, то был Новый год — на реке Варего, в самой что ни на есть глуши (так называемая река на самом деле была жалким ручейком, и вода в ней напоминала снятое молоко). Почти всю ночь мы собирали в темноте верблюжий и лошадиный навоз, чтобы развести костры вокруг лагеря и оттонять дымом москитов. Эти москиты взялись за нас на закате и отстали на рассвете. На смену им явились мухи.

Рождественский обед в стригальне. Баранина и плюм-пудинг. Ближайшая пивнушка — за пятьдесят миль!

Джимми Хаулетт рассказывал мне, как его однажды угораздило справлять рождество. Он со своей упряжкой волов оказался отрезанным внезапно разлившейся рекой и четыре дня не видел никакой другой еды, кроме картофеля и меда. Он утверждал, что, если макать картошку в мед, получается совсем неплохо. Вот только, чтобы не лежать в воде, ему приходилось укладываться спать

на воловье ярмо, и у него до того разболелись зубы, что даже половина лица отнялась.

Кстати о плюм-пудинге. На мой взгляд, это один из самых варварских английских обычаев. Какой-то дурацкий, дикий, детский предрассудок. Судя по всему, это был плод вдохновения дикаря. Но с другой стороны, так ли уж много времени прошло с тех пор, как британцы были дикарями?

В прошлом году я получил письмо от товарища, искавшего золото в Западной Австралии за «Белым Пером», с описанием злоключений, которые ему пришлось пережить из-за плюм-пудинга. Он с несколькими товарищами расположился лагерем возле родника Боулдер Соук. До ближайшего продовольственного магазина от них было ехать миль триста — четыреста, главным образом по песку и пыли. Они заказали в Перте ящик всяких консервов с таким расчетом, чтобы получить его к рождеству. Плюм-пудинг они презирали, как презирает этот народ очень много других английских традиций,— но их повар был парень новый и заявил, что уедет домой к маме, если его оставят на рождество без плюм-пудинга, так что пришлось заказать для него банку. Тем временем они жили на пресных лепешках и мясе кенгуру, утешаясь тем, что не всегда же так будет. Стояла страшная засуха, и кенгуру, приходившие к роднику на водопой, так ослабели, что их можно было брать голыми руками. Потом, когда были выкопаны колодцы, кенгуру стали кончать в них жизнь самоубийством — почти каждое утро в колодце находили кенгуру.

В магазине по их заказу упаковали ящик консервов — сосиски и т. п., но продавец каким-то образом перепутал наклейки и отправил им не тот ящик. Ящик путешествовал сначала по железной дороге, затем в почтовой карете, затем на верблюде и последний отрезок пути — на спине человека и добрался до лагеря как раз в сочельник, к несказанной радости моих друзей. При свете костра мой приятель вскрыл ящик.

— Держи, Джек! — сказал он, кидая банку.— Вот твой плюм-пудинг.

Следующую банку он задержал в руке и дважды прочел этикетку.

— Что это? Тут две банки,— сказал он,— голову даю на отсечение, что заказывал одну. Ну, ничего, зато Джек поест вволю.

Следующую банку он поднес поближе к огню и часто заморгал:

— Ну и дьявол! Он, кажется, прислал три банки плюм-пудинга. Ладно уж, придется, видно, и нам угоститься. И повезло же тебе, Джек!

На четвертую банку он смотрел еще дольше. Затем снова проверил этикетки на первых трех,— дескать, не ошибся ли?

В письме умалчивается, как он сам при этом выразился, более же выдержанный товарищ высказал предположение, что хозяин магазина ошибся и послал им полдюжины банок. Однако, когда на свет появилась седьмая, в ход пошли слова, которые даже нельзя было бы написать на бумажке для судьи при даче свидетельских показаний. Лавочник послал им целый ящик консервированного плюм-пудинга! Сам он к тому времени тоже, по всей вероятности, ломал голову, куда делся этот проклятый ящик.

А тут еще кенгуру куда-то исчезли, и, по словам моего друга, ему с товарищами в течение целых двух недель пришлось питаться исключительно консервированным плюм-пудингом. Они пробовали есть его холодным, пробовали вареным, пробовали печеным. Они ели его жареным и в виде сухариков. Они ели его на завтрак, на обед и с чаем. Им больше не о чем было говорить, не о чем думать, не о чем спорить, не из-за чего ссориться. По словам моего друга, они каждую ночь видели его во сне. Дело принимало серьезный оборот — пудинг кошмарами душил их ночью и наполнял ужасом дни.

Они пробовали есть его с солью. Они выковыривали из него, сколько могли, изюминок и потом кипятили с соленым мясом кенгуру. Они пробовали делать из него пирог с мясной начинкой, но пирог не получался, тесто было слишком жирным и сладким.

Мой друг предпринял ряд экспериментов с целью найти простейший способ, как разложить плюм-пудинг на составные части, но тут как раз подоспели свежие припасы. Он говорит, что никогда ни к чему в жизни не чувствовал такого отвращения, а в его жизни было немало такого, что могло бы вызвать отвращение.

Их повар жив и поныне. Но сам говорит, что больше никогда не возьмет в рот плюм-пудинга. Он излечился. Пусть даже пудинг будет приготовлен его невестой, он все равно к нему не притронется.

Рождество на приисках — в последнюю вспышку золотой лихорадки, в дни расцвета Гульгонга, в счастливые дни... Постойте, когда же это было? Почти тридцать лет тому назад! Как летит время!

Дед Мороз свежий, моложавый, веселый; Дед Мороз светлый блондин; Дед Мороз брюнет; Дед Мороз с ирландским акцентом; Дед Мороз, говорящий на ломаном английском языке; Дед Мороз китаец (Сун Тон-ли и К^0 — винобакалейная торговля) с мешком, полным каких-то необыкновенно вкусных, тающих во рту

Г. Лоусон «Шапка по кругу»

конфет, замысловатых игрушек и китайских кукол на радость детям.

Золотоискатели, которым привалило счастье! Если бы их не удерживать, они клали бы фунты стерлингов, самородки, дорогие медальоны и вообще бог весть что в чулочки, которые дети развешивают в сочельник для подарков от Деда Мороза. Дед Мороз в грубошерстной рубашке и заляпанных глиной молескиновых штанах. Старатели, накупавшие для раздачи ребятишкам горы леденцов,— бери, сколько унесешь.

Золотоискатели, платившие гинею, а то и больше за игрушку ребенку, только потому, что он чем-то напомнил того, другого ребенка, оставленного дома. Золотоискатели, которые сзывали детей с целой улицы в магазин, швыряли на прилавок ассигнацию в пять фунтов стерлингов и говорили ребятишкам — требуйте, что только душе угодно... Которые усаживали на прилавок в ряд целый выводок ребят из бедной семьи, приказывали подать ящик детской обуви — самой лучшей — и начинали заботливо и любовно примерять, то и дело осведомляясь — не жмет ли?.. Которые ставили на прилавок девочек и мальчиков и требовали самые дорогие платьица, самые лучшие и модные матросские костюмчики, самые яркие ленты... а товары привозились издалека на волах и стоили недешево. Чувствительные старатели — большинству из них ничего не стоило расчувствоваться,— бросавшие самородки певичкам или вдруг совавшие какому-нибудь мальчику или девочке пакет с наставлением передать его старшей сестре (или, быть может, молоденькой матери), с которой сам он никогда и не разговаривал и которую только боготворил издали. А старшая сестра — или молоденькая мать,— открыв пакет, находила в нем драгоценную безделушку или дорогую нарядную вещь и недоумевала, кто же мог это послать?

Ах, эта неуемная щедрость опьяненных удачей золотоискателей тех дней! И безрассудная щедрость гуляк: «Мы думали, что этому не будет конца!»

— Ну, не истрачу я деньги на ребятишек, так все равно ведь уйдут на виски,— говорил Сэнди Бернс,— своих-то у меня нет. А девушка, которая, может, и подарила бы мне ребятенка, она не захотела ждать...

Сэнди не пил и не развратничал. Он поехал на другой конец света и хлебнул там немало горя и пять лет работал не покладая рук, и в тот самый день, когда он напал наконец на золотую жилу на заявке «Коричневая Змея» в Счастливой долине, пришло письмо из Шотландии от его любимой с известием о том, что она устала ждать и вышла замуж.

Гульгонг в ночь под Новый год. Бесконечные ряды освещенных палаток, костры и теплый отблеск на всем вокруг. Праздничные костры пылают на холмах, и вокруг них резвятся старатели, похожие на больших детей. Невообразимый шум: колотят ложками по оловянным чайникам и грохотам для промывки золота, молотами по наковальням, палками по пустым керосиновым банкам (вот это действительно гром!); надрываются скрипки, концертины, корнеты и всевозможные инструменты, палят из охотничьих ружей и пистолетов, взрываются хлопушки, и единым мощным хором гремит «За дружбу старую».

А теперь это мирный городок скотоводов, скопление блестящих двускатных крыш рифленого железа и одна-две подпертые кольями дощатые лачуги — остатки отгремевшей золотой лихорадки; ямы от заброшенных шурфов, а около них груды промытой дождем породы и сверкающие на солнце кварц и гравий; чертополох да репейник на месте прежних кабачков; сушь, запустенье и козы.

Одинокие могилы в лесу и старые седые золотоискатели, рассеянные по всей стране и всему свету, готовые взяться за любую работу, только бы не пропасть с голоду, до сих пор одинокие, потому что их девушки «устали ждать...», но продолжающие искать золото, рыться в заброшенных шахтах и строить воздушные замки.

А они-то думали, что этому не будет конца!

Рождество в бухте Юрендери, среди ферм первых поселенцев в западных отрогах Голубых гор. Там все еще начинают готовить плюм-пудинг за несколько недель до рождества, часами кипятят его, а затем подвешивают под потолок в тряпке, чтобы он затвердел. Тогда его снимают и снова начинают кипятить. В сочельник мальчишки ходят в горы, нарезают ветвей молодых сосен, приволакивают их домой и привязывают к столбикам веранды.

Со своей фермы, расположенной где-то совсем в глуши, приехал Тэд с женой и детьми. Пшеница собрана, и стрижка овец на больших овцеводческих фермах закончена. Том, честный работящий Том, подрядившийся расчистить участок под пашню, поставить изгородь или построить плотину где-нибудь в районах новых поселений, прячет инструменты в кустарнике, садится на лошадь и едет домой. Тетя Эмма (ко всеобщей радости) приехала из Сиднея с подарками (просто удивительно, до чего дешево удалось ей купить эти платья и все остальное), с чудесными рассказами о городской жизни.

Джо — муж «бедной» Мэри, который еще на позапрошлое рождество погнал скот в Куинсленд и все не возвращается, так

что «бедной» Мэри, которая боится жить одна, пришлось ютиться у своих и принимать участие во всех домашних перепалках,— этот самый Джо скачет день и ночь напролет и появляется дома на рассвете рождественского утра, весь в пыли, усталый, худой и изможденный, но последняя получка при нем в целости и сохранности. Он целует жену и ребенка, валится на кровать и спит до обеда, а Мэри тем временем бесшумно двигается по комнате, моет и принаряжает ребенка, принаряжается сама, достает для Джо все чистое, порой наклоняется над ним, а может быть, и целует его спящего.

Утром мальчишки и кое-кто из взрослых мужчин идут к ручью. Там они купаются в большой, затененной развесистыми казуаринами запруде, а затем переодеваются в захваченную с собой праздничную одежду.

Некоторые едут верхом в церковь в город, туда же в рессорных повозках едут в воскресную школу и дети в сопровождении нескольких женщин, а дома остаются мать и старшая сестра — обычно разочарованная, вспыльчивая девушка, которую и так уже заездили работой по хозяйству,— на их долю выпадает приготовление обеда.

Некоторое беспокойство (главным образом у матери) вызывает Джим — «непутевый» сын, который болтается сейчас где-то далеко. Из полиции ему принесли повестку — что-то насчет незаконного заимствования чужой лошади,— но полицейский сержант уже добродушно намекнул отцу или матери, что если Джим образумится, он может спокойно возвращаться и жить дома. (Когда Джим уезжает, всегда недосчитываются какой-нибудь лошади.)

Джим таки приезжает! У него все в порядке — только вот в кармане ни гроша. Его встречает потоком радостных слез любимая сестра Мэри, он обменивается молчаливым рукопожатием с отцом и ведет долгий разговор шепотом с матерью, после чего настроение у него заметно падает. Братья воздерживаются от насмешек, отчасти потому, что сейчас рождество, отчасти ради матери, ну и, в-третьих, потому, что Джим умеет в случае надобности пустить в ход кулаки. Тете Эмме, которая очень его любит, удается в конце концов утешить его и развеселить.

Семья садится к столу. Приехал «папашин дружок» — старый бородатый золотоискатель. Его сажают на почетное место. («Мы, сынок, с твоим отцом на приисках вместе копали, когда вас никого еще и в помине-то не было».)

Только несколько часов прошло с тех пор, как вся семья оказалась в сборе, но уже начинает смутно чувствоваться взаимное недовольство — то самое непостижимое, едва скрытое чувство раздражения и обиды, которое неизбежно существует во всех семьях

и загубило уже не одну молодую жизнь, так много обещавшую когда-то. Но присутствие тети Эммы и старого дружка разряжает атмосферу, и обед проходит вполне сносно.

На второй день рождества устраиваются скачки, или «спортивные развлечения». Но до Нового года никто из детей дома уже не остается. Тэд с женой возвращаются домой на свою одинокую ферму. Тома ждет его подряд по постройке то ли изгороди, то ли водоема; Джим, заняв пару фунтов у Тома, опять уезжает, твердо решив начать в новом году новую жизнь. Там он нанимается стричь овец, которых не успели остричь вовремя, объезжает лошадей, работает поваром и конторщиком при изыскателях, играет в карты, пьет и снова попадает в какую-нибудь историю. Джо некоторое время околачивается дома, а затем отправляется на северо-запад с новым гуртом скота.

Последний раз, когда я провожал старый год в Юрендери, окрестные горы были охвачены лесными пожарами, и казалось, что это светятся окна в домах большого города. Не надо было и праздничных костров...

Рождество в Берке — центре необъятных скотоводческих районов запада,— кругом степь да кустарник. Термометр показывает сто с лишком (страшно даже сказать с каким) в тени. Бесшабашные стригальщики, пройдя немало миль по пыльным дорогам, собираются там, чтобы кутнуть как следует на рождество, чтобы пить, «веселиться» и драться — а кое-кому допиться и до белой горячки — и в конце концов угодить в кутузку под звон рождественских колоколов.

Рождество в Берке бывает пьяное и развеселое. Трактиры, подчиняясь требованиям закона (а может, чтобы не огорчать сержанта — начальника полицейского участка), закрывают на первый день рождества парадные двери и, подчиняясь требованиям широкой публики, которая сама себе закон, открывают задние.

Рождество в Сиднее, хотя рождество в «жемчужине» австралийского юга справляется не так широко, как, скажем, пасха или Национальный праздник. Автобусы и трамваи заполнены по-праздничному оживленными людьми с корзинками в руках. Катера, в которые набиваются уезжающие на пикник компании, угрожающе оседают. «Поездка вокруг всего порта и к Мысу Центральной Гавани! Один шиллинг туда и обратно!» Вереницы поездов, уносящих туристов за Голубые горы и Великий Зигзаг, к Госфорду, к Брисбейнскому заливу и вдоль южного берега в прекрасную Иллавару... Сотни молодых людей, захватив палатки, отправляются удить рыбу в пустынных заливах или охотиться в горах,

желая испытать все тяготы бродячей жизни. И по-настоящему, как это делали исконные пионеры, а не захватив с собой складные кресла, посуду, пианино и прислугу. Ведь до прекрасных суровых мест, где можно разбить лагерь в полном уединении от города, прямо-таки рукой подать.

Веселые пикники и праздничные компании располагаются в чудесных заливах гавани и вдоль побережья, и все это буквально не отходя от дома. Пикники при лунном свете на пляжах у подножия темных величественных утесов и на скалистых мысах, крутые, уступчатые берега которых изрезаны окаймленными песчаной лентой бухточками, где покрытый сверкающей пеной прибой с ревом бросается на берег.

А Мэнли-бич в праздничный день! Тысячи людей разгуливают по пляжу в ярких летних платьях, толпы голоногих ликующих ребятишек несутся туда, «где волна набегает на сребристый песок...», удирают от катящихся валов, затевают веселые игры с могучим океаном. Мэнли — наш родной Мэнли-бич, куда мы ездили со своими подругами! Мэнли-бич, граничащий с самой красивой гаванью на свете и омываемый самым величественным океаном. Заросшие папоротником овраги и «долины сказочной красы...» к северу и к югу; и в каждом тенистом уголке своя веселая компания или счастливая парочка.

Мэнли-бич — я помню один вечер, пять лет тому назад (и летит же время!), помню два имени, начертанные рядом на песке, и набегающую на них волну прилива.

Помню и возвращение домой, катер, огибающий Мыс, где чувствовались тяжелые вздохи океана, и залитую лунным светом гавань, и огни Сиднея, затмевающие красотой все остальное.

ШАПКА ПО КРУГУ

В Книгу Зарослей прочно записан закон,
Он и дурню окажет услугу:
«Если парень в беде,— хоть босяк, хоть барон,—
Нужно шапку пустить по кругу».

— Ничего, если я тебя разбужу?

Было часов девять утра, и хотя дело происходило в воскресенье, ничего плохого в том, что я проснулся, не было; но стригальщик принял меня за глухого подсобного рабочего, ночевавшего в трактире и походившего на меня лицом, и добродушно заорал во всю глотку, так что разбудил весь трактир. Во всяком случае,

он разбудил трех-четырех ребят, которые спали на кроватях и раскладных койках в той же комнате, и еще одного, спавшего на тюфяке на полу. Ночь была дождливая, и трактир битком набит стригальщиками, работавшими в Биг Биллабонге, где накануне закончилась стрижка овец. Мои товарищи по комнате до поздней ночи пили и играли в карты, а теперь нещадно ругали стригальщика, нарушившего их сон.

Это был долговязый детина примерно шести футов трех дюймов ростом. Сложен он был нескладно, костлявый, лицо какое-то бурое, а глаза серые. Как я убедился впоследствии, он почти всегда добродушно ухмылялся; мне очень нравился этот тип обитателя австралийских зарослей — казалось, чем выше они ростом, тем добродушнее, однако кулаки у них крепкие и они могут услужить человеку, который хочет подраться, или самым добродушным образом задать трепку грубияну. Такие люди любят нянчить чужих младенцев и колоть дрова, носить воду и оказывать мелкие услуги задавленным работой женщинам. На нем был костюм из грубой шерстяной материи на два номера меньше, чем нужно, и его лицо, шея и большущие костлявые руки были покрыты крупными и мелкими веснушками.

— Надеюсь, я тебя не потревожил,— закричал он, наклоняясь над моей койкой,— но есть тут один парень...

— Да не ори,— перебил я.— Я не глухой.

— Ох, прости, пожалуйста! — гаркнул он.— Я и не знал, что ору. Я тебя принял за того глухого.

— Ладно,— сказал я.— Что случилось?

— Переждем, пусть ребята перестанут ругаться, и тогда я тебе расскажу.

Он говорил, добродушно растягивая слова, слегка гнусавя, но и тон, и протяжное произношение были явно австралийские, ничего общего не имевшие с говором американцев.

— Ох, да уж выкладывай, Христа ради, Верзила! — крикнул Одноглазый Боген, самый отчаянный ругатель в бараках, и повалился на койку, словно обессиленный своими предыдущими высказываниями.

— Есть тут один больной подсобник, который работал в Биг Биллабонге,— сказал Жираф.— В первую же неделю он выбыл из строя и с той поры лежит здесь. Его отправляют сегодня специальным поездом в Сидней, в больницу. Сейчас его уложат на повозку и повезут на станцию; вот я и подумал, что не худо было бы обойти всех с шапкой и собрать для него деньжат. В Сиднее у него жена и ребятишки.

— Вечно ты всех обходишь с твоей проклятой шапкой,— проворчал Боген.— Черт тебя дери, ты и в аду пустишь ее по кругу.

— Это он сейчас и делает, Боген,— пробормотал Бывший Джентльмен, лежавший на тюфяке лицом к стене.

Шляпа была из тех, что «служат всю жизнь». Она порядком потемнела, собственно говоря, стала почти черной от времени и непогоды, а вокруг тульи был новый ремешок. Я заглянул в нее и увидел грязную фунтовую бумажку и немного серебра. Я бросил полкроны — больше, чем мог уделить, потому что был еще новичком в Биг Биллабонге.

— Спасибо! — сказал он.— Теперь вы, ребята!

— Лучше бы ты носил шапку на голове, деньги в кармане, а доброту куда-нибудь припрятал,— проворчал Джек Лунатик, с трудом приподымаясь на локте и нащупывая под подушкой две полукроны.

— Вот тебе пять шиллингов,— сказал он.— Получай и, ради бога, не мешай спать!

Игрок, известный как Бывший Джентльмен, перевалился на другой бок, отвернув от стены свое красивое беспутное лицо. Он лег спать не раздеваясь и теперь с большим трудом засунул руку в карман слишком узких брюк. Серебра он найти не мог и извлек пачку фунтовых бумажек.

— На! — сказал он Жирафу.— Почему бы и не дать фунт? Уж так и быть, рискну. Получай.

— Ты сегодня не в себе, Бывший Джентльмен,— пробурчал Боген.— Это тебе не скачки.

— Может быть, и не в себе,— сказал Бывший Джентльмен и снова повернулся к стене, подложив под голову руку.

— Ну а ты, Боген? — спросил Жираф.

— А что с ним такое, с этим чертовым подсобником? — спросил Боген, вытягивая из-под матраца штаны.

Лунатик сказал что-то вполголоса.

— Ах, так его разэдак,— сказал Боген.— Жаль беднягу! Ладно, даю полфунта!

И он бросил в шапку полсоверена.

Четвертый, которого называли в глаза Барку-Рот, а за спиной «Жадюга», пьянствовал всю ночь, и даже сногсшибательные эпитеты Богена не могли его разбудить. Тогда Боген поднялся с кровати и, призвав всех нас («проклятое бабье стадо») в свидетели того, что он собирается сделать, перевернул пьяницу на спину и принялся обыскивать его карманы, пока не нашел пять шиллингов, которые и бросил в шляпу.

А Барку-Рот, вероятно, и по сей день не ведает о том, что принял когда-то участие в добром деле.

Жираф подошел к глухому рабочему, спавшему в смежной комнате. Я слышал, как ребята проклинали Верзилу за то, что он

их разбудил, и Глухаря, которого сочли поначалу виновником шума. Я слышал, как Жирафа и его шляпу ругали в других комнатах и осыпали бранью на веранде, где спало несколько стригальщиков, а потом я решил вставать.

Жираф заботливо укладывал в тележку тюфяк и подушки, а потом из дома вынесли человека, похожего на труп, и положили на тюфяк.

Когда повозка тронулась, трактирщик — толстый и бездушный на вид человек — сунул руку в карман и положил фунт в шапку, продолжавшую путешествовать по кругу в руках приятеля Жирафа, маленького Тедди Томпсона, который был ниже среднего роста ровно на столько, на сколько Жираф был выше.

Жираф взял лошадь под уздцы и повел ее по дороге к железнодорожной станции, выбирая самые ровные места, и еще два-три парня пошли с ним, чтобы помочь ему усадить больного в поезд.

В этой округе сезон стрижки овец пришел к концу, но я раздобыл малярную работу — это была моя профессия — в Большом Западном отеле (двухэтажном кирпичном доме) и задержался месяца на два в Берке.

Жираф был уроженец Виктории, из Бендиго. Он был хорошо известен в Берке, и его хорошо знали многие стригальщики, которые стекались сюда, проходя сотни миль по бескрайним выжженным солнцем пустошам. Ему поручали хранить ставки, когда бились об заклад; он был банкиром пьяниц, миротворцем, если представлялась такая возможность, третейским судьей у парней, завязавших драку; он был старшим братом или дядей для большинства ребятишек в городе, последней судебной инстанцией, когда дети во время школьного пикника затевали спор после бега на приз, судьей во время их драк и другом всех новичков.

— Здешний парень может сам постоять за себя,— говорил он.— Но я всегда рад помочь чужому человеку, попавшему в беду. Я сам был когда-то желторотым новичком, и уж я-то знаю, каково им приходится.

— Вечно ты хлопочешь о других, Жираф,— сказал Том Холл, секретарь профсоюза стригальщиков, который был только дюйма на два ниже ростом, чем Жираф.— Никакого толку от этого нет, можешь мне поверить — уж я-то знаю.

— А что прикажешь делать? — отозвался Жираф.— Я тут болтаюсь без дела, пока опять не начнется стрижка, а должен же человек чем-нибудь заняться. Да к тому же у меня нет ни стариков, ни жены с ребятами, заботиться мне не о ком. Никаких обязанностей у меня нет. Человек не может жить без дела. И к тому же я люблю помочь, когда могу.

— Вот что я тебе скажу,— заявил Том, который почти все свое жалованье раздавал в долг по фунту, по два.— Вот что я тебе скажу: никакой благодарности ты не дождешься и в конце концов умрешь с голоду.

— Этого я не боюсь, с голоду я не помру, пока мои руки при мне, а благодарность мне не нужна,— возразил Жираф.

Он всегда помогал кому-нибудь. То мы устраивали «танцульку» для девушек, то появлялась некая миссис Смит, муж которой утонул на рождество в реке Боген во время наводнения, или он откапывал какую-нибудь бедную женщину, жившую близ Биллабонга,— муж сбежал и оставил ее с кучей ребят. Или какой-нибудь Билл, погонщик волов, попал в пьяном виде под свою же повозку и сломал себе ногу.

Одноглазый Боген закутил и к концу кутежа принялся буйствовать и побил почти все стекла в окнах трактира «Герб возчика», а на следующее утро в полицейском суде на него наложили большой штраф. В обеденную пору я встретил Жирафа, пустившегося в обход со своей шляпой, в которой болтались для почина две полукроны.

— Прости, что беспокою тебя,— сказал он,— но Одноглазый Боген не может уплатить штраф, вот я и подумал, не уладить ли нам это дело. Он совсем не плохой парень, когда не пьет. Худо бывает только, когда он хватит лишнего.

В первые дни после окончания стрижки шляпа обычно начинала путешествие по кругу с брошенной в тулью самим Жирафом грязной скомканной фунтовой бумажкой; позднее он бросал полсоверена, и так сумма уменьшалась по мере того, как иссякали у него деньги, пока не доходила до полукроны и шиллинга. А под конец он занимал несколько шиллингов «для почина», которые всегда возвращал после следующей стрижки.

О нем и его шляпе рассказывали много. Говорили, что шляпа принадлежала его отцу, на которого он походил во всех отношениях, и столько лет путешествовала по кругу, что тулья стала тонкой, как бумага, потертая побывавшими в ней за это время соверенами, кронами, полукронами, шиллингами и шестипенсовиками, не говоря уже о пенсах.

Рассказывают, что, когда новый губернатор посетил Берк, Жираф случайно находился на платформе и, добродушно улыбаясь, стоял у выхода; местный подхалим энергично толкнул его локтем и сказал грозным шепотом:

— Сними шапку! Чего ж ты не снимаешь шапку?

— А почему? — спросил Жираф.— Разве у него туго с деньгами?

Большим успехом пользуется такой рассказ. Когда прошел билль о жалованье членам парламента или когда впервые пришла к власти лейбористская партия,— не помню, к какому событию приурочили этот анекдот,— Жираф заразился общим энтузиазмом, влил в себя несколько кружек пива, бросил в шапку фунт стерлингов и начал сбор. Ребята давали в силу привычки, и давали не скупясь, воодушевленные победой и пивом. А когда шапка вернулась к Жирафу, он тупо уставился в нее, держа ее перед собой обеими руками. Потом до него дошло.

— Ах, будь я проклят! Да ведь я устроил сбор сам себе! — воскликнул он.

Он обычно воздерживался от алкоголя, но ставил выпивку, соблюдая меру. Большей частью он пил имбирное пиво.

— Я не из пьющих, но и не осуждаю ребят, когда им хочется повеселиться, только бы не очень безобразничали.

Нередко бывало, что какой-нибудь закутивший парень говорил ему:

— Вот возьми-ка пять фунтов. Прибереги их для меня, Жираф, пока я гуляю.

Настоящее его имя было Боб Бразерс, а называли его «Верзила», «Жираф», «Шапка по кругу», «Бросай монету» и «Имбирное пиво».

Несколько лет назад в Берковский округ привезли верблюдов и погонщиков-афганцев; верблюды хорошо себя чувствовали в этих засушливых краях, и на них перевозили все, начиная от сардин и кончая половицами. А местные погонщики любили афганцев так же, как сиднейские столяры любят столяров-китайцев, которые сбивают им цены. Они любили их не меньше, чем бастующие стригальщики, члены профессионального союза, любят штрейкбрехеров, привезенных на их место.

Жираф был честным, добросовестным членом союза, но в случае какой-нибудь болезни или несчастья он склонен был забывать о требованиях профсоюза, как забывают все жители зарослей о требованиях религии. И вот однажды вечером Жираф ввалился в «Герб возчика»,— нечего сказать, выбрал место! — когда он был битком набит погонщиками. В руке у него была шляпа, а в шляпе мелкие серебряные и медные монеты.

— Послушайте, ребята, есть там в лагере бедный больной афганец...

Дюжий, мускулистый погонщик волов крепко взял его за плечи или, вернее, за локти и выставил за дверь, тем самым предотвратив кровопролитие. Жираф не обиделся, как не обижался почти ни на что, но в сумерках видели, как он пробирался с котелком супа к лагерю афганцев.

— По-моему,— заметил Том Холл,— когда Жираф попадет на небо,— а поскольку я могу судить, он единственный из всех нас, у кого есть на это хоть какие-то шансы,— так вот, когда он попадет на небо, первым делом он обойдет со своей чертовой шапкой всех ангелов — устроит сбор в пользу этого проклятого мира, который он покинул.

— А я считаю, что ему нечем особенно кичиться,— заявил стригальщик Джек Митчелл.— Жираф, знаете ли, тщеславен; ему нравится быть на людях, и потому-то он выставляется со своими сборами. А что он возится с людьми, попавшими в беду, то это он просто из любопытства; он один из тех, что вечно суют нос в чужие дела. Ну а с больными... да ведь Жирафу больше всего на свете нравится суетиться вокруг больного, наблюдать за ним, изучать его. Он ужасно интересуется больными, а здесь их не очень-то много. Говорю вам, это ему нравится больше всего на свете — разве что если представится возможность посуетиться вокруг покойника. Я думаю, он готов проехать сорок миль, чтобы помочь, и выразить сочувствие, и покрутиться на похоронах. Дело в том, что Жираф попросту получает удовольствие от чужой беды — вот и все. За всем этим скрывается любопытство и эгоизм. По-моему, виной всему невежество,— таким уж его воспитали.

Через несколько дней после инцидента с афганцами Жирафу и его шапке сильно повезло. Во время разгрузки балок на железнодорожной станции здоровенное бревно соскочило с наклонного помоста и сильно повредило ногу одному немцу — члену артели, взявшей подряд на постройку нового деревянного моста через Биг Биллабонг. Немца принесли в «Герб возчика» — до него было ближе всего,— положили в постель в задней комнате и послали за доктором. Жираф, как всегда, оказался тут же.

— Не ф этом дело,— сказал немец (звали его Чарли), когда его спросили, очень ли ему больно.— Дело фофсе не ф этом. На поль мне наплевать, но вот третий гот идет — я собирался домой ф этот гот, когда закончим гонтрагт, а гонтрагт только нашался.

Он твердил о «гонтрагте» не переставая, в промежутках между стонами.

Наконец прибыл доктор. На террасе и в баре было довольно много народу, хотя мало кто разговаривал. Жираф сидел у конца стойки, положив на нее свою шляпу, и время от времени вытирал лицо и шею большим платком в горошек. День был жаркий.

Из бара было слышно, как доктор, добродушный молодой австралиец, что-то говорил больному. Затем раздался голос Чарли, с тоской вскричавшего:

— Вылечи мне ногу, доктор, вылечи мне быстрей ногу! Уже третий гот, черт подери, мне нушно домой.

Доктор спросил, очень ли ему больно.

— Черт с ней, с полью, доктор! Черт с ней! Ерунта. Вылечи мне скорей ногу, доктор. Это был последний гонтракт, и я собирался домой ф этот гот.— И физическое страдание вырвало у него признание: — Она ждет уже три гота, мейн готт, мне нужно домой.

Трактирщик Уотти Брейтвейт, известный как Уотти Толстяк или даже Уотти Брюхач, с усталым, скучающим видом повернулся к шляпе Жирафа, бросил в нее фунт и кивнул ему, как бы говоря: «Что ж, деваться некуда».

Жираф не заставил себя ждать и с готовностью вскочил на ноги, подхватив шляпу. Шляпа обошла буквально весь город, и как только нога Чарли немного поджила, он уехал домой.

Всем было известно, что я пописываю в сиднейском «Бюллетене» и некоторых других газетах. У Жирафа шишка благоговейного уважения была очень велика, и особенно сильно она распухала, когда дело касалось больных и поэтов. Он относился ко мне с таким почтением, какого в Австралии обычно не оказывают друг другу, и, как чудилось мне иногда, с какою-то особой мягкостью. Но в один прекрасный день он меня удивил.

— Прости, что побеспокоил тебя,— начал он с пристыженным видом.— Я не знаю, интересуешься ли ты спортом, но Одноглазый Боген и Барку-Рот устраивают сегодня вечером потасовку на берегу Биллабонга...

— Устраивают что? — переспросил я.

— Маленькую драку до решительной победы,— сконфуженно пояснил он.— А чтобы расшевелить ребят, наши парни решили собрать пять фунтов на приз. Одноглазый Боген и Барку-Рот обозлились друг на друга, так что пусть их отведут душу.

Помню, славный был бой. Не меньше сорока пропитанных кровью носовых платков (или «утиралок») зарыли в яму на поле боя, и весь вечер Жираф помогал накладывать заплаты на главных участников. Позднее он устроил маленький сбор в пользу побежденного — им оказался Барку-Рот, несмотря на имевшееся у него преимущество в виде второго глаза.

У девицы из Армии спасения, распространявшей «Боевой клич», Жираф почти всегда покупал три экземпляра.

Новый священник, который решил провести подписку на постройку церкви, или ее перестройку, или еще что-то в этом роде, обратился за поддержкой к Жирафу, имевшему влияние на своих товарищей.

— Ну что ж,— сказал Жираф,— сам-то я в церковь не хожу. Меня не назовешь верующим парнем, но я охотно сделаю для вас что могу. Только вряд ли от меня будет толк. Я сызмальства не бывал в церкви.

Священник был шокирован этим извещением, но впоследствии он научился ценить Жирафа и его товарищей и полюбил Австралию ради австралийцев. От него-то я и узнал об этом эпизоде.

Жираф помогал ставить палатки для католического церковного базара, и ребята начали высмеивать его в конторе профсоюза.

— В следующий раз ты устроишь сбор на постройку китайского храма в ихнем лагере,— сказал в заключение Том Холл.

— А я ничего не имею против католиков,— отозвался Жираф.— И отец О'Донован — парень порядочный. Как бы там ни было, а во время забастовки он горой стоял за профсоюзы. («На то он и ирландец»,— вставил кто-то.) У меня был один дружок-католик — мы с ним тогда таскались по дорогам — парень был первый сорт. И одна моя знакомая девушка перешла в католичество, чтобы выйти замуж за молодчика, который наградил ее ребеночком, но для меня она осталась такою же, как была. А кроме того, я люблю помочь, когда затевается какое дело.

Он был очень наивен и очень забавен, в особенности когда пускался в серьезные рассуждения.

— Среди здешних девушек попадаются настоящие сорванцы,— глубокомысленно заявил он мне однажды.— Бывают слишком уж дерзкие. Помню, остановился я в доме каких-то моих родственников, и меня положили спать в комнате, выходившей на веранду, а дверь была стеклянная и ничем не завешена. И вот в первое же утро девушки — они мне приходились какими-то кузинами — начали хихикать и дурачиться на веранде перед моей дверью и продержали меня в постели чуть ли не до десяти часов. В конце концов пришлось мне натягивать штаны под одеялом. Но потом я на них отыгрался,— задумчиво добавил он.

— Как же ты это сделал, Боб? — спросил я.

— Да я лег спать в штанах!

Однажды я стоял на помосте и красил потолок в баре Большого Западного отеля. Мне хотелось поскорей окончить работу. Почти весь день мне мешали работать — ребята в баре то подавали мне на помост кружки пива, то обращали мое внимание, что я будто бы кладу краску наизнанку. Я докрашивал последние доски, как вдруг...

— Прости, пожалуйста, что я тебя беспокою. Так уж выходит, что я всегда тебя беспокою, но есть тут одна женщина и девушки...

Я посмотрел вниз — едва ли не в первый раз я смотрел на него сверху вниз,— и там стоял Жираф, а на помосте лежала его перевернутая шляпа с двумя полукронами.

— Ладно, Боб,— сказал я и бросил полкроны.

В баре толпились стригальщики, и вскоре завязалась перепалка. Выяснилось, что эта «женщина и девушки», приехавшие из Сиднея к концу сезона стрижки и снявшие коттедж на окраине города, были пришлыми жрицами свободной любви. На этой неделе в их заведении произошла драка: на них наложили штраф, полиция сделала им предупреждение, а хозяин выгнал из дома.

— Это уж ты хватил через край, Жираф,— сказал один из стригальщиков.— Эти девки выудили у нас немало. Можешь не беспокоиться, денег у них уйма. Пусть убираются к... Провалиться мне на этом месте, если я дам хоть пенс!

— Им не на что купить билеты в Сидней,— сказал Жираф.— Вдобавок та, которая росточком поменьше, больна, а у двух других ребятишки в Сиднее.

— Да ты-то, такой-сякой, откуда знаешь?

— Одна из них пришла и все мне рассказала.

Все заржали.

— Слушай, Боб,— мягко сказал Билли Вудс, секретарь союза подсобных рабочих,— брось ты валять дурака! Над тобой весь город смеяться будет. Просто-напросто эти девицы взяли тебя в обработку. Должно быть, одна из них пришла к тебе, скулила и хныкала. Можешь о них не беспокоиться. Ты их не знаешь: им ничего не стоит пустить слезу. Мало еще ты имел дела с женщинами, Боб.

— Она не скулила и не хныкала,— возразил Жираф, перестав растягивать слова и гнусавить.— Она рассказала мне все это, глядя прямо в глаза.

— Что-то тут дело нечисто, Жираф? — сказал Фокусник.— Не иначе как ты туда наведывался. Ты меня удивляешь, Жираф.

— И прикидывается, дьявол, таким глупым и невинным! — проворчал Боген.— Нам все о тебе известно, Жираф.

— Послушай, Жираф,— сказал стригальщик Митчелл,— вот уж никогда бы я этого о тебе не подумал. Мы все считали тебя единственным девственником к западу от Дарлинга. Я был уверен, что ты высоконравственный молодой человек. Но не воображай, пожалуйста, что если тебя мучает совесть, то и все такие совестливые.

— У меня с ними никаких дел не было,— заявил Жираф, снова растягивая слова.— Я такими вещами не занимаюсь. А вот другие ребята занимаются, и, по-моему, им бы следовало помочь этим девушкам выпутаться из беды.

— Дрянные девки! — сказал Билли Вудс.— Ты их не знаешь, Боб. Брось ты о них беспокоиться — они этого не стоят. Спрячь деньги в карман! Они тебе еще пригодятся до следующей стрижки.

— Поставь лучше выпивку, Жираф,— посоветовал Фокусник.

Но, несмотря на его мягкосердечие, отговорить Жирафа от раз принятого решения было труднее, чем кого бы то ни было в Берке, если он считал свое решение «справедливым делом». У него была еще одна особенность — в иных случаях, например, если нужно было «сказать словечко» на митинге забастовщиков, он подтягивался, переставал гнусавить и, если можно так выразиться, подстегивал свою речь.

— Слушайте, ребята,— заговорил он,— об этих женщинах я ничего не знаю. Вероятно, они дурные женщины, но такими их сделали мужчины. Я знаю только одно: этих четырех женщин выгнали с квартиры, денег у них нет, и все женщины в Берке, и полиция, и закон — все против них. А хуже всего для них то, что они женщины. Не могут же они тащиться со своими узлами пешком в Сидней! Да будь у меня деньги, я бы не стал вас беспокоить. Я бы сам заплатил за проезд. Смотрите! — добавил он, понизив голос.— Вон они стоят, а одна из девушек плачет. Смотрите только, чтобы они вас не заметили.

Я потихоньку спрыгнул с помоста и тоже выглянул в окно. Они стояли у изгороди на другой стороне улицы, ведущей к железнодорожной станции. Одна девушка облокотилась на верхнюю перекладину изгороди и закрыла лицо руками, другая пыталась ее утешить. Третья девушка и женщина стояли, повернувшись в нашу сторону. Женщина была красива, но у нее было ожесточенное лицо, таким его, видимо, сделала жизнь. У третьей девушки вид был вызывающий, и в то же время казалось, что она вот-вот расплачется. Она подошла к девушке, плакавшей у изгороди, и обняла ее за плечи. Женщина повернулась к нам спиной и стала смотреть вдаль, на выгон.

Шапка пошла по кругу. Первым был Билли Вудс, потом Фокусник, а затем Митчелл.

Билли выложил деньги, храня красноречивое молчание.

— Я ведь только пошутил, Жираф,— сказал Фокусник, извлекая из кармана чуть ли не последние два шиллинга. После стрижки прошло немало времени, и ребята поиздержались.

— Ну что ж,— вздохнул Митчелл,— ничего не поделаешь. Вот если бы Жираф устроил сбор, чтобы привозили в эту забытую богом дыру каких-нибудь порядочных девушек, в этом был бы какой-то смысл... Будто мало того, что Жираф подкапывается под наши религиозные предрассудки и разжигает нездоровый интерес к больным китайцам, афганцам, штрейкбрехерам и вдовам. Но когда он впутывает нас в историю с подобными девицами, пора нам восстать.

И он исследовал свои карманы и вытащил два шиллинга, несколько пенсов и щепотку табачной пыли.

— Я не прочь помочь девушкам, но будь я проклят, если дам хоть пенни этой старой...— сказал Том Холл.

— Да ведь она тоже была когда-то девушкой,— протянул Жираф.

Жираф обошел и другие трактиры и профсоюзные конторы и по возвращении был как будто доволен сбором, но озабочен чем-то другим.

— Не знаю, где устроить их на ночь,— сказал он.— Ни в одном трактире, ни в одном пансионе о них и слышать не хотят, и нет ни одного пустого дома, а все женщины вооружены против них.

— Не все! — сказала Элис, рослая красивая буфетчица.— Иди сюда, Боб.

Она дала Жирафу полсоверена и подарила ему взгляд, за который кое-кто из нас заплатил бы ему десять фунтов, если бы мы были при деньгах, а взгляды можно было передавать.

— Подожди минутку, Боб,— сказала она и пошла переговорить с хозяином гостиницы.

— Там, при складе, есть свободная комната,— объявила она, вернувшись к нам.— Скажи им, что они могут занять ее на ночь, если будут вести себя прилично.

— Спасибо тебе, Элис,— сказал Жираф.

На следующий день после работы, под вечер, когда спала жара, мы сошлись с Жирафом у реки и уселись на крутом, иссушенном солнцем берегу.

— Я слыхал, что ты проводил своих подружек сегодня утром, Боб,— сказал я и пожалел о своих словах прежде, чем он успел ответить.

— Вовсе они мне не подружки,— сказал он.— Четыре несчастных женщины, и все тут. Я подумал, что не очень-то им будет приятно стоять и ждать в толпе на платформе. Вот я и предложил купить им билеты и сказал, чтобы они ждали за вокзалом. И как ты думаешь, что им взбрело в голову, Гарри? — продолжал он с самой дурацкой усмешкой.— Они хотели поцеловать меня.

— Да неужели?

— Да. Они бы и поцеловали, не будь я таким долговязым. Будь я проклят, если они не принялись целовать мне руки.

— Да что ты говоришь?

— Ей-богу! А после этого мне почему-то вдруг не захотелось выйти с ними на платформу. К тому же они плакали, а я видеть не могу, когда женщины плачут. Но ребята усадили их в пустой вагон.

Он приумолк, потом задумчиво произнес:

— Чертовски добрые есть люди на свете.

Я тоже так думал.

— Боб,— сказал я,— вот ты холостяк. Почему бы тебе не жениться, не обзавестись семьей?

— Что правда, то правда, жены у меня нет и ребятишек нет,— отозвался он,— но это не моя вина.

Может быть, он и прав был, говоря, что жены у него нет не по его вине. Но я вспомнил о том, какой взгляд подарила ему Элис, и...

— Я как будто и нравлюсь девушкам,— сказал он,— но дальше этого дело не идет. Беда в том, что я такой долговязый, а меня все почему-то тянет к маленьким девушкам. Вот, например, в Бендиго была одна девчоночка, которая мне не на шутку приглянулась.

— Она что, отказалась за тебя выйти?

— Да, похоже на то.

— А ты ее спросил?

— Ну да, спросил напрямик.

— Что же она сказала?

— Смешно, говорит, будет смотреть, как она трусит рядом с такой каланчой, как я.

— Может быть, это она не всерьез. Много есть маленьких женщин, которым нравятся рослые мужчины.

— Я и сам так подумал, но это мне пришло в голову позже. Может быть, она это не всерьез сказала. Мне кажется, дело было в том, что у нее сердце ко мне не лежало, вот она и хотела отвадить меня полегоньку. Понимаешь ли, ей не хотелось меня обижать, она очень добрая девочка. Там, откуда я родом, встречаются ужас до чего высокие парни, и я знаю двоих, которые женились на маленьких девушках.

Ну что ты будешь делать с таким?!

— Иной раз,— сказал он,— иной раз я страх как жалею, что вытянулся таким длинным.

— Взять, к примеру, этого глухого парня,— задумчиво продолжал он.— У него, как у меня, не ладится с девушками. Он слишком глухой, а я слишком долговязый.

— Откуда ты это взял? — спросил я.— Насколько мне известно, у него три девушки, а что касается глухоты, то он первый болтун в городе, и о том, что тут делается, ему известно больше, чем мамаше Бриндл, старой прачке.

— Вот так штука! — медленно произнес Жираф.— Ну кто бы мог подумать? Мне он не заикнулся ни разу, что у него три девушки, ну а насчет новостей, так это я ему всегда рассказывал, думал, что иначе он многого недослышит. По его словам, вся беда его в том, что куда бы он ни пошел погулять с девушкой, люди слышат, о чем они между собой разговаривают,— во всяком слу-

чае, слышат, что она ему говорит, и делают свои заключения. Он мне рассказывал, что гулял как-то вечерком с одной девушкой, а ребята их выследили, слышали, как она ему сказала «не надо», и раззвонили по всему городу.

— А почему она сказала ему «не надо»? — спросил я.

— Этого он мне не объяснил, но, наверно, он ее поцеловал, или обнял, или что-нибудь в этом роде.

— Боб,— помолчав, сказал я,— а ты не попробовал еще разок попытать счастья с этой маленькой девушкой в Бендиго?

— Нет,— ответил он.— Что толку? Она славная девочка, и мне не хотелось надоедать ей. Я не таковский, чтобы лезть, когда в тебе не нуждаются. Но после того, как она мне тогда намекнула, я почему-то не мог оставаться в Бендиго. Вот я и решил перебраться в эти края и поболтаться здесь год-другой.

— И ты ни разу ей не написал?

— Нет. Какой смысл надоедать ей письмами? Я по себе знаю, сколько бывает хлопот, когда надо отвечать на письмо. Ей пришлось бы написать в письме чистую правду, а мне от этого не стало бы легче. А теперь я почти что справился с собой.

Спустя несколько дней я поехал в Сидней. Последний, кому я пожал руку из окна вагона, был Жираф, который сунул мне что-то завернутое в газету.

— Надеюсь, ты не обидишься,— сказал он, растягивая слова.— Ребята подумали, что у тебя, наверно, деньжат не густо,— очень уж ты часто ставил выпивку, так вот они и собрали парочку фунтов. Чтобы у тебя было на что погулять в Сиднее.

Я вернулся в Берк перед началом следующей стрижки. В первый же вечер я случайно столкнулся с Жирафом. Он показался мне каким-то взволнованным, но шапка была у него на голове.

— Не пройдешься ли со мной до Биллабонга? — спросил он.— Мне бы хотелось рассказать тебе кое о чем.

Он вынул из кармана письмо и развернул его. Его большие коричневые загорелые руки дрожали.

— Вот только что получил письмо,— сказал он.— От той маленькой девушки из Бендиго. Все это оказалось ошибкой. На — прочти. Я чувствую, что мне нужно с кем-нибудь потолковать, а с тобой мне легче всего говорить.

Это было хорошее письмо — письмо маленькой девушки с большим сердцем. Все эти месяцы она тосковала по этому длинному ослу. Оказывается, он уехал из Бендиго, не попрощавшись с ней.

— Почему-то у меня сил на это не хватило,— сказал он, когда я напустился на него.

Только неделю назад она раздобыла его адрес; она узнала его от одного человека из Берка, поехавшего на юг. Она называла его «ужасным долговязым болваном», каковым он, вне всяких сомнений, и был, и умоляла его написать и приехать к ней.

— Ты поедешь, Боб? — спросил я.

— Ей-богу, я бы завтра же сел в поезд, вот только денег у меня нет. Но я получил работу в стригальне Биг Биллабонга и скоро сколочу несколько фунтов. Как только кончится стрижка, так и поеду. И сегодня же ей напишу.

В тот сезон Жираф был рекордсменом Биг Биллабонга. В среднем он стриг по сто двадцать овец в день. Один только раз за время стрижки он устроил шапочный сбор, и было замечено, что сначала он колебался, а потом внес только полкроны. Правда, деньги собирали для человека, которого полиция задержала за то, что он бросил свою жену.

— Это всегда так бывает,— заметил Митчелл.— Эти мягкосердечные, отзывчивые парни всегда кончают тем, что становятся ужасными эгоистами и скрягами. Такими их делает жизнь. Рано или поздно их осеняет мысль, что они были мягкосердечными дураками, и они раскаиваются. Похоже на то, что к концу жизни Жираф сделается первым скаредой.

Когда в Биг Биллабонге закончилась стрижка и мы с нашими запыленными свэгами и грязными чеками вернулись в Берк, я поговорил с Томом Холлом.

— Послушай, Том,— сказал я,— все это время, с той поры, как этот долговязый дурень Жираф приехал сюда, он тосковал по одной маленькой девушке из Бендиго, и она тосковала по нем, а этот осел и не знал, пока не получил от нее письмо как раз перед самым началом работы в Биг Биллабонге. Завтра утром он от нас уезжает.

В тот вечер Том украл шляпу Жирафа.

— К утру небось найдется,— сказал Жираф.— На шутку я не обижаюсь,— добавил он,— но все-таки ни к чему это — загребастали шляпу, когда парень, может быть, уедет завтра навсегда.

Для почина Митчелл бросил соверен.

— Стоит того,— сказал он,— зато мы от него отделаемся. Наконец-то вздохнем свободно. Когда уедет Жираф, а с ним и его проклятая шапка, меньше будет всяких несчастных случаев и попавших в беду женщин. Во всяком случае, здесь, в городе, он словно бельмо на глазу, да и мне он действует на нервы. Эй вы, грешники! Выкладывайте денежки! Принимаем только соверены и полусоверены.

На рассвете следующего дня Том Холл прокрался в комнату Жирафа в «Гербе возчика». Жираф мирно спал. Том положил шапку подле него на стул. Сбор оказался рекордным: кроме пачки денег, в тулье шляпы была трубка в серебряной оправе с футляром — самая лучшая, какую можно было купить в Берке,— золотая брошка и несколько безделушек, не считая безобразной открытки, изображавшей долговязого мужчину, прогуливающегося по комнате с двумя близнецами на руках.

Том хотел было потрясти Жирафа за плечо, как вдруг заметил огромную ступню и с пол-ярда ширококостной голени, торчавшие с кровати. Соблазн был слишком велик. Том взял волосяную щетку, ловко ударил ее тыльной стороной по тому месту, где ноготь на большом пальце врос в тело, и улизнул.

Сначала мы услышали добродушную ругань Жирафа, а затем наступило красноречивое молчание. По нашим предположениям, он уставился на свою шляпу.

Все мы пришли на станцию провожать его. Ждать пришлось довольно долго. Жираф утащил меня на другой конец платформы. Он совсем расчувствовался.

— На... на свете... попадаются ужас до чего хорошие люди,— сказал он.— Не забудь о них, Гарри, когда станешь знаменитым писателем. Я... да, черт меня подери, похоже, что я вот-вот разревусь!

Я был рад, что этого не случилось. Ревущий Жираф являл бы собою потрясающее зрелище. Я повел его назад, к друзьям.

— Ты меня разве не поцелуешь, Боб? — спросила рослая красивая буфетчица из Большого Западного отеля, когда раздался звонок.

— Ну что ж, я не прочь тебя поцеловать, Элис,— сказал он, вытирая губы.— Но я, знаешь ли, собираюсь жениться.

И он поцеловал ее прямо в губы.

— Надо же заранее поупражняться,— сказал он, ухмыляясь всем вокруг.

Мы нашли, что он делает изумительные успехи. Но в последний момент у него что-то засвербило.

— Послушайте, ребята...— нерешительно начал он, засунув руку в карман.— Право, не знаю, куда мне девать все эти деньги. Есть тут одна бедная прачка, она обварила себе ноги, когда снимала с огня котел с бельем...

Мы впихнули его в вагон. Он высунулся из окна — примерно до пояса — и неистово размахивал шляпой, пока поезд не скрылся в лесу.

И вот сижу я и пишу при свете лампы в полдень, в центре огромного города, где царит мелкое социальное лицемерие, безна-

дежная жуткая нищета, невежественный эгоизм — откровенный или прикрытый налетом культуры — и где на благородные и героические усилия смотрят с неодобрением или с равнодушным пренебрежением. И вдруг в комнату как будто врывается солнечный луч, а над моим стулом склоняется долговязая фигура и...

— Прости, что побеспокоил тебя. Всегда я тебя беспокою... Но есть тут одна бедная женщина...

Как бы мне хотелось обессмертить его имя!

ГИМН СВЭГУ

У австралийских сезонных рабочих выработан лучший в мире метод переноски тяжестей. Уж кому-кому судить о переноске тяжестей, как не мне. Я носил младенцев. Для мужчин, независимо от возраста, это самая тяжелая, самая неловкая, самая несносная ноша. Господи, не оставь своей милостью матерей, которым приходится выполнять всю тяжелую домашнюю работу с увесистым орущим ребенком на руках. Я таскал на плечах бревна, расчищая участки под пашни. Я выволакивал из глубоких и крутых оврагов столбы, колья и перекладины для постройки изгородей (и не могу сказать, что был тогда несчастнее, чем сейчас). Я носил лопату, лом, трамбовку, да еще вешал на шею связку изоляторов, нанизанных на веревку из кудели, и все это — не говоря уж о паяльнике, мешке с продовольствием, походном котелке и монтерских когтях — носил с утра до вечера, без отдыха, когда работал на прокладке телеграфной линии в Новой Зеландии; да еще частенько приходилось придерживать ношу только одной рукой, а другой цепляться за что-нибудь, карабкаясь наверх. Мне случалось помогать затаскивать телеграфные столбы на вершины скал или тащить их по тропинкам, где не пройти лошади.

Нашивал я и чемоданы по пыльным дорогам в те далекие дни, когда был молод и глуп. Спросите любого актера, которому случалось остаться на мели и отсчитывать потом шпалы от одного города до другого,— он расскажет вам, сколько весит чемодан, когда его несет на плечах человек, и без того уже придавленный невзгодами. Я пытался носить свою поклажу, как носят ранцы, и пришел к убеждению, что это самый верный способ до крови натереть себе перетянутые ремнями места. Я носил свое имущество в заплечном мешке: одеяла, еду, запасные сапоги и стихи, все вперемешку. Я пробовал носить свою поклажу на голове, и у меня потом долго болели шея и спина. Я носил тяжесть на сердце, тяжесть, которую должны были бы разделять со мной редакторы и

издатели. Я помогал таскать мебель и вещи вверх и вниз по лестнице, переезжая с одной лондонской мансарды на другую. И я месяцами бродяжил в австралийской глуши со свэгом за плечами, и в сравнении со всем остальным, несмотря на все лишения, это была жизнь — свободная жизнь среди настоящих людей, собравшихся сюда со всех концов земного шара!

Австралийский свэг создала Австралия, и только она — Великая Страна безлюдья, грандиозных просторов и ослепительного зноя, страна, где царят три заповеди: «Верь в свои силы!», «Никогда не сдавайся!» и «Не оставляй товарища!». Страна, где похоронено столько человеческих трагедий и трагикомедий, величественных и самых банальных. Страна, где человек, оставшись без работы, взвалит на плечи свой свэг в Аделаиде и уйдет в неизвестном направлении, а через несколько лет появится на пороге хижины на берегу Залива Карпентария, или исчезнет навеки, или его обнаружит в лесной чаще и похоронит там конная полиция, или его никогда не обнаружат и никогда не похоронят...— да это и не столь уж важно!

Страна, которую я люблю больше всего на свете, не потому, что она была ко мне ласкова, а потому, что я родился на австралийской земле, и потому, что мой отец, хотя и родился под другим небом, был австралийским пионером и умер в Австралии, и еще по многим причинам. Австралия! Страна моя! Само слово звучит для меня музыкой. Господи, храни Австралию! Дай ей счастья во имя всех великих сердец, которые слились в ее одно большое сердце. Огради ее от тлетворного влияния Старого Света с его лицемерием, черствостью и торгашеством. И если при жизни моей настанет час сынам Австралии встать на ее защиту, дай мне, господи, умереть за нее, сражаясь в первых рядах, и найти свое последнее пристанище на австралийской земле.

Первое время золотоискатели пробовали носить свой скарб за спиной в мешке с перекрещивающимися на груди лямками, однако ноша сдавливала грудь и затрудняла дыхание, а, делая длинные переходы по жаре, человек должен дышать полной грудью. Затем была испробована скатка военного образца, надевавшаяся наискось через правое плечо, но носить ее при австралийской жаре было невыносимо, и от нее пришлось отказаться так же, как и от высоких сапог и краг. Еще совсем недавно австралийские художники и редакторы знали о жизни страны за пределами города не больше, чем на Даунинг-стрит знают о британских колониях вообще, и, очевидно, полагали, что военная скатка все еще в ходу, а некоторые художники так даже изображали свэгмена с палкой в руках, как будто это бродяга Старого Света, который только и посматривает, как бы ему пробраться к черному крыль-

цу, минуя собаку. Английские художники, кстати сказать, по-видимому, до сих пор убеждены, что австралийские лесорубы и гуртовщики появляются на свет в высоких сапогах, да еще начищенных до такого блеска, что прямо хоть брейся перед ними.

Свэг обычно состоит из «штуки» или длинной полосы коленкора (это покрышка свэга, ею же можно укрываться самому в ненастную погоду; в Новой Зеландии для этой цели берут клеенку или непромокаемую саржу) и пары одеял, преимущественно синих — такова уж традиция (откуда и второе название свэга «синявка»), внутрь же кладутся разные мелочи и запасная одежда. Сворачивают свэг следующим образом: раскладывают на земле кусок коленкора, поверх него одеяла; затем, отступив дюймов на восемнадцать от одного края, кладут аккуратно сложенные смену брюк, рубашку и т. д., связанные шнурками ботинки — носок к пятке, книги, пачку старых писем, фотографии и все безделицы, которые хотят захватить с собой, мешочек, где лежат иголки, нитки, перо и чернила, лоскуты для починки брюк, шнурки для ботинок и т. п. Вещи раскладывают равномерно и аккуратно, так, чтобы эту груду можно было легко закатать в свэг (некоторые сначала заталкивают вещи в старую наволочку или холщовый мешок), затем коленкор и одеяла загибают с боков во всю длину, так чтобы ширина свэга не превышала, скажем, футов трех. Свободный конец подворачивают, накрывают им всю начинку свэга и начинают скатывать его к противоположному концу, стараясь сделать свэг тугим, компактным и изящным. Тут уж приходится полагаться на собственные колени и эстетический вкус. Не доходя дюймов восемнадцати до противоположного края, свободный конец зак ладывают внутрь. Все это дело сильно напоминает рулет, только края свэга не стянуты, а идут кольцами. Свэг перевязывают тремя-четырьмя ремнями (то вопрос вкуса и наличия ремней). К верхнему ремню — дело в том, что свэг носят (а также ставят на пол в придорожных кабачках или прислоняют к стене или перилам веранды на привалах) в более или менее вертикальном положении,— итак, к верхнему ремню прикрепляют конец лямки (чаще всего для этой цели берут полотенце, чтобы не натирать плечо), а другой конец прикрепляют к нижнему ремню или ко второму снизу. Пиджак в свэг не закатывается, его подсовывают под ремни. К верхнему ремню веревкой привязывается небольшая торба — коленкоровый мешочек, величиной с наволочку,— в которой лежат кульки с чаем, сахаром и мукой, хлеб, мясо, сухие дрожжи, соль и т. д. Если свэг несут на левом плече, торбу перекидывают на грудь через правое плечо, и она служит противовесом свэгу, висящему сзади.

Путник может вскинуть на спину тяжелый свэг, так что он висит почти в вертикальном положении вдоль позвоночника, и нести его безо всякого противовеса, перекинув лямку через плечо, и это для него не более обременительно, чем вам, скажем, нести пальто. Некоторые умеют так ловко и удобно расположить свои пожитки и приладить ремни, что скатать свэг для них — минутное дело, а расстегнуть пряжки и раскатать его на земле они могут так же легко и просто, словно это рулон обоев,— остается только лечь и спать, подложив под голову одежду вместо подушки. На привале всегда садятся на свэг — сиденье это очень мягкое, поэтому брюки долго не снашиваются. А так как на бесконечных австралийских дорогах пыль обычно бывает мягкая и шелковистая, то и обувь носится замечательно. Человек со свэгом может пройти в среднем миль пятнадцать в день, но все дело в воде: если вы находитесь в пяти милях от колодца или водоема, а следующий будет через двадцать, то сегодня вы делаете привал, пройдя пять миль, и откладываете двадцать миль на завтра. Но если вода находится в тридцати милях, ничего не поделаешь, приходится идти все тридцать. Странствия по Австралии со свэгом за спиной имеют много различных и образных названий. Говорят: «Тащиться с синявкой на горбу», «Отплясывать с Матильдой», «С Матильдой на горбу», «Волочить свой барабан», «Скакать кенгурой», «Плестись на рысях», «Промышлять по кладовкам», но сейчас большинство бродячих стригальщиков именуют себя «сезонниками» и говорят про себя: «меряю дороги» или «таскаю свэг».

Теперь вы знаете, что такое австралийский свэг. Кто только не носил его — английские лорды и китайские кули, святые и уголовники, мученики и убийцы, высокообразованные джентльмены и неграмотные мужланы, борцы за свободу Польши и каторжане, ополчившиеся против всего мира, носила его и не одна женщина, переодетая в мужское платье. Австралийский свэг скрывал в своих недрах письма и газеты на всех языках мира; секреты, которые могли бы опорочить честь знатных семейств, а нередко и государственные тайны; бумаги, на основании которых могли бы оказаться в тюрьме весьма почтенные люди, и свидетельства невиновности несчастных, теряющих рассудок за решеткой; документы, которые могли бы принести кое-кому титул и богатство, и последние гроши потерянного состояния; гримасы, улыбки, загадки человеческой жизни, портреты матерей и умерших возлюбленных, фотографии красавиц, надрывающие душу письма, написанные рукой, которой давно уже нет на свете, и карандашные рукописи не одной книги, которая еще прогремит когда-нибудь на весь мир.

Вес свэга бывает разный — от легонькой походной «синявки», содержащей одеяло да чистую рубашку, до «Королевского Альфреда» с палаткой и полным оборудованием, тянущего чуть ли не тонну. У некоторых старых бродяг развивается мания собирать жалкое барахло, которое никогда не понадобится ни им самим, ни кому другому. Вот список предметов, обнаруженных в свэге одного старого бродяги, труп которого подобрала полиция. Когда его нашли, он лежал, уткнувшись лицом в песок, придавленный своим свэгом, раскинув руки, словно хотел обнять всю землю или в свой смертный миг пасть ниц крестом перед небом, вспыхнувшим ослепительным пламенем.

Полуистлевшая, изодранная в клочья палатка, синее одеяло с квадратными заплатами из красного коленкора. Половина белого одеяла — теперь уж совсем почерневшего — заплатанного чем попало, к которому была пришита половина красного одеяла. Распоротый мешок. Обрезки мешковины. Часть женской юбки. Две пары ветхих молескиновых штанов. Одна штанина. Спина от рубашки. Половина жилета. Два расползающихся, позеленевших от старости пиджака из твида, заплатанных кусками одеяла, коленкора и т. д. Большой узел всевозможных лоскутов для латанья. Дырявый котелок, а в нем леска, газеты, банка с топленым салом, нитки, иголки и т. п. Банка из-под варенья, аптечные пузырьки, пробки, нанизанные на веревочки,— такие гирлянды подвешивают к полям шляп, чтобы отгонять мух (одна из форм помешательства в тех краях, так как нормального человека болтающиеся пробки могут свести с ума куда скорее, чем мухи). Три ботинка разного размера — все на правую ногу — и один шлепанец на левую. Кофейник без ручки и без носика и кастрюлька, набитая всяким барахлом: ломаными ножами и вилками с обгоревшими черенками, ложками и множество ржавых гвоздей, которые, надо полагать, использовались как пуговицы. Сломанная пила, молоток, битая посуда, старые жестяные кружки, проржавевшая сковородка без ручки, детские туфельки, обрезки хрома и невыделанной кожи, какой-то дешевый романчик без начала и конца, растерзанный английской словарь, грамматика и задачник, арифметические таблицы, кулинарная книга и пухлый англо-иностранный словарь, что-то Шекспира, французская книжонка, немецкая книжонка и правила хорошего тона. Пара тяжелых башмаков на шнурках — верха их высохли и растрескались, а подошвы, чиненные-перечиненные кожей, резиновыми набойками, железными подковками и гвоздями с большими шляпками, разбухли так, что толщина их достигала двух дюймов, а весили они больше пяти фунтов. (Если не верите, пойдите в Мельбурнский музей, там на почетном месте под стеклом вы найдете точно такую же

пару башмаков с подписью «образец колониальной промышленности».) В самом же сердце свэга лежал мешочек из-под сахара, туго-натуго перевязанный бечевкой, а в нем еще одна старая юбка, закатанная в тугой сверток и много раз обмотанная бельевой веревкой, которую, как я полагаю, он таскал с собой, чтобы было на чем при желании повеситься. Внутри же свертка лежала небольшая пачка старых фотографий и писем, разобрать которые было почти невозможно. Одно было от женщины — женщины, по всей видимости, благоразумной и вдовой, заявлявшей, что она вовсе не собирается снова выходить замуж, что она и так света белого не видит, работая, чтобы прокормить семью, не хватает ей еще одной обузы на шею. И это «окончательно и бесповоротно», так что являться снова и «морочить ей голову» совершенно нечего. Если он посмеет это сделать, она спустит на него Сатану (под «Сатаной» она, по-видимому, подразумевала свою собаку).

Письмо вдовы начиналось: «Дорогой Билл!» Так же начинались и все остальные письма, но обратного адреса на них не было, не было и конвертов, так что установить личность покойника оказалось невозможным. Полиция похоронила его под эвкалиптом, и молоденький полисмен вырезал на стволе:

Здесь покоится
Билл,
который жил и умер.

«ПОЛЕЙТЕ ГЕРАНИ!»

I

ПУСТЫННАЯ ДОРОГА

Мы с Мэри решили заняться фермерством и переселились из Гульгонга в глушь, на Лехи Крик, чтобы «обосноваться на земле».

Я продал две подводы-самосвала,— они мне были нужны, когда я подряжался рыть водоемы и насыпать плотины,— положил в фургон немного провизии и корма для лошадей, который я должен был завезти на овцеводческую ферму, а сверху нагрузил все наши пожитки. Мэри ехала в рессорной двуколке. Я уже говорил, что маленького Джима мы оставили у тетки в Гульгонге, пока не устроимся. Джеймса (брата Мэри) я накануне отправил верхом перегнать трех наших коров да нескольких бычков и телят и велел ему прибрать в доме, чтобы он стал хоть немного посветлее и повеселее к приезду Мэри.

Мебели у нас было немного. Больше всего места занимала кровать кедрового дерева, которую я купил еще до того, как мы поженились; Мэри очень ею гордилась, кровать была на шарнирах, с витыми столбиками. Поверх всего лежал опрокинутый стол, самый простой, из эвкалипта,— Мэри называла его «гладильным столом», а в него мы наложили одеяла и подушки; там же торчали четыре обычных кухонных стула, на широкой спинке которых, как положено, были намалеваны яблоки,— у нас эти стулья стояли в гостиной; был здесь и дешевый деревянный диванчик с подлокотниками и гнутой спинкой (этой гнутой спинкой гордились мы оба); была еще походная печка и котелок на высоких ножках, а кастрюли и ведра торчали во все стороны и болтались под фургоном.

Везли мы еще маленькую швейную машину «Уилокс и Джиб» — мой свадебный подарок Мэри (и какой подарок, если вспомнить!), дешевое небольшое кресло-качалку, зеркало и несколько картин, которые Мэри подарили сестра и друзья. Посуду и безделушки мы завернули в белье и в старую одежду и сложили в большую лохань, или, вернее, в срезанную наполовину бочку, и в ящик, который прежде служил кроваткой Джиму. Была и живность — кот в одном ящике, а в другом — старый петух и три курицы, которые уже разделились на враждебные клики — две против одной,— как это случается с представительницами этого пола во всем мире. Сзади бежал мой старый сторожевой пес, а на вещах, конечно, сидел щенок — у меня всегда был щенок, которого я кому-нибудь отдавал или продавал, да так и не получал за него денег, или кто-нибудь «прибирал его к рукам», стоило только щенку немного подрасти. Трех своих тощих, подлых, вороватых, свирепых собак для охоты на кенгуру Джеймс забрал накануне. Провизией — сахаром, чаем, мукой и картошкой — я запасся на три месяца.

Сам я выехал пораньше, а Мэри нагнала меня у Райановского развилка возле Сэнди Крик; там мы вскипятили котелок и поели.

Мэри возилась у костра, восторгалась пейзажем, говорила без умолку, была очень оживленной и только почему-то старалась не глядеть в мою сторону. Скоро я понял, в чем дело. Она поплакала втихомолку, пока ехала одна. Я решил, что все это из-за маленького Джима — она в первый раз с ним рассталась. Она мне рассказала, что до последней минуты не могла поверить, что оставляет его, а потом, отъехав мили на две, чуть не вернулась назад, да только испугалась, что сестра высмеет ее. Мэри всегда страшно беспокоилась о детях.

Мы приободрили друг друга, и остальную часть пустынной

дороги, протянувшейся по равнинам, поросшим дикими яблонями, Мэри ехала со мной. Тоскливая, безнадежная дорога! Горизонта не видно, со всех сторон одни только серые корявые низкорослые деревья, почти без подлеска: голая, как дорога, земля, если не считать жестких пучков сухой бурой травы. Сушь. Дождя не было несколько месяцев, и я ума не мог приложить, что делать со скотиной, если на Лехи Крик травы не больше, чем здесь.

По такой местности путник может проехать много миль, а ему будет казаться, что он не сдвинулся с места, настолько монотонный здесь пейзаж. Новые дороги всегда «метят» — то есть через равные промежутки на деревьях ставят зарубки с той и с другой стороны, чтобы указывать дорогу, пока копыта лошадей и колеса не проложат четкую колею. Кто едет первый, тот и метит, хотя человек опытный и так не заблудится.

Мы с Мэри почти не разговаривали, да мы все равно не смогли бы расслышать друг друга — фургон громыхал по закаменевшим колдобинам, двуколка дребезжала. Тени становились длиннее, и, наверное, на душе у Мэри было так же тоскливо, как и у меня. В последнее время я заметил, что мы с Мэри отвыкли разговаривать друг с другом,— заметил, но не стал доискиваться причин, а только почувствовал смутное раздражение,— мы всегда раздражаемся, когда чего-нибудь не понимаем. Но тогда, на дороге, я подумал: «Все это пройдет — скоро у нас все наладится».

Пока мы ехали,— а дороге, казалось, не будет конца,— я вспоминал прошлое. Дорога наводит на размышления. Теперь, когда уже ничего не вернешь, мне кажется, что Мэри тоже вспоминала прошлые годы. Я думал о своем детстве, о трудной жизни, о том, как я расчищал участки, доил коров, ставил изгороди, пахал, кольцевал деревья, и все впустую. Несколько месяцев в маленькой школе, где учитель даже не умел как следует писать. Проклятые честолюбивые мечты, терзавшие мою мальчишескую душу,— мечты о чем? Да я и не знал, о чем мечтал. Во всяком случае, о чем-то светлом, хорошем. По ночам я читал, и от этого жить становилось еще труднее.

Все это прошло передо мной, пока я ехал следом за двуколкой Мэри. Я больше думал о себе, чем о ней. А ведь она старалась помочь мне выбиться. И я сам тоже старался — работал за десятерых, пока все шло гладко, но сдавал при первом же затруднении. Потом я стал мечтать о том, как когда-нибудь у нас с Мэри будет свой домашний очаг, достойный этого названия.

А о чем размышляла Мэри на этой пустынной унылой дороге? Об этом я не задумывался. Может быть, о своем добром, беззаботном отце — состоятельном, интеллигентном человеке? О девичьих годах? О своем доме, так непохожем на хижины и на па-

латки, в которых она жила со мной? О нашем будущем? Раньше она без конца строила планы и говорила о нашем будущем, но за последнее время перестала. Все это тогда не приходило мне в голову — я был слишком поглощен раздумьями о самом себе. А может быть, она думала, может быть, она уже начала понимать, что совершила величайшую ошибку и погубила свою жизнь и теперь уже ничего не поправишь — надо как-то жить. Приди все это мне в голову, я бы очень забеспокоился. Но всякий раз, когда я замечал, что Мэри становится безразлична ко мне, я говорил себе: «Скоро я верну ее, и мы снова станем нежными влюбленными — только бы стало полегче жить».

Теперь, когда я оглядываюсь назад, мне становится страшно: в ту пору мы уже так отдалились друг от друга, мы стали совсем чужими. Казалось, что когда-то давным-давно была любовь, а потом мы расстались и да так уж больше и не встретились.

Солнце клонилось к закату, когда Мэри окликнула меня:

— Вон наша ферма, Джо!

Мэри видела ее впервые, и мне это место тоже вдруг показалось странно незнакомым, хотя я был тут уже несколько раз. За деревцами, что тянулись справа, на берегу ручья темнела группа казуарин — на фоне блеклой сухой травы и голубовато-серого кустарника, росшего на каменистом склоне горной гряды, эти деревья казались густо-зелеными. За ручьем (скорее, это была глубокая, узкая канава — русло, по которому после дождя цепочкой тянулись лужицы), на неширокой равнине, упирающейся в отрог хребта, стоял дом. Земля здесь была много лучше, чем в тех местах, где мы жили прежде, особенно по берегам ручья. Я ожидал, что в скором времени сюда ринутся мелкие фермеры. Несколько акров вокруг дома было расчищено и огорожено легкой изгородью в две слеги из расщепленных бревен или тонких молодых деревцев. Прежний хозяин оставил ферму из-за того, что тут умерла его жена.

Маленький продолговатый дом был сколочен из горбыля, а покрыл его прежний хозяин дранкой, которую нащепал в свободное время. Веранды не было, но после я ее пристроил. К задней стене дома примыкал большой сарай из горбыля и коры — больше, чем сам дом. Там помещались кухня, чуланчик для инструментов, упряжи и овса и запасная спальня, отгороженная корой и мешковиной. Пол был корявый, между досками зияли щели; впрочем, щели были повсюду, и на стенах тоже, хотя некоторые он залатал кусками жести, использовав старые бидоны из-под керосина; спальня в сарае была обита изнутри старыми мешками и оклеена газетами вместо обоев. Потолка не было вообще — ни матерчатого, ни какого другого,— и наверху виднелись круглые

сосновые балки, доски и концы дранок. Но от потолка только еще жарче, а на чердаке гнездятся насекомые и пресмыкающиеся, а бывает, заползают и змеи. В «столовой» было одно маленькое настоящее окошко — из трех обрезков стекла и листа вощеной бумаги,— а остальные окна закрывались грубыми деревянными ставнями. Коровник и загон для телят выглядели вполне прилично. Вот, пожалуй, и все. Не было ни запруды, ни водоема (я потом вырыл водоем); возле одного угла дома стояла бочка для воды с рассохшимися обручами и щелями, зияющими между досок; по карнизу тянулся желоб, сбитый из жести. Года два вода с новой драночной крыши течет красная, словно вино, а с крыши из корья много лет текут бурые потоки. В засушливую пору фермер берет воду из бочки, которую зарывает в русло ручья, в самое глубокое место, и чем злее засуха, тем дальше ему приходится ездить за водой с бочкой на тележке, а если у него есть коровы, то гнать с собой и коров. В иных местах до воды приходится ехать шесть-семь, а то и десять миль.

Джеймс, видимо, решил, что, кроме как подоить старую Пятнашку (бабушку нашего стада), загнать телят на ночь, затопить в кухне печь и подмести пол, его больше ни о чем не просили. Он помог мне распрячь и напоить лошадей, а затем начал перетаскивать в дом мебель. Джеймс не был лентяем, если только его не заставляли делать одно и то же в течение долгого времени, но мне не нравился его излишний практицизм и невозмутимость. Мы с Мэри сели на кухне пить чай. Здесь стояли гладко обструганный сверху дощатый стол, державшийся на четырех столбах, врытых в землю; трехногий табурет и чурбак да две скамьи, сделанные из половинок распиленного вдоль бревна, с закругленной стороны которого в пробуравленные дыры были вставлены толстые палки, служившие ножками. Пол земляной; очаг, футов восемь в ширину, обмазан глиной, а над ним укреплен почерневший шест, с которого свисали закопченные цепи с крюками из проволоки для котелков.

Мэри, видимо, не хотелось есть. Отвернувшись от меня, она пристроилась на трехногом табурете у очага, хотя было тепло. Мэри все еще была хорошенькая, только уж не та прежняя толстушка: она сильно похудела. У нее были большие темно-карие глаза, и когда Мэри волновалась или радовалась, они ярко блестели. Временами мне казалось, что в ее облике есть что-то немецкое, а нос у нее был явно аристократический, и когда она говорила, ноздри слегка вздрагивали. Во мне же не было ничего аристократического. Фигурой и походкой Мэри тоже походила на немку. Я иногда называл ее «Маленькой герцогиней». Упрямая морщинка на переносице говорила о волевом характере.

Мэри неподвижно сидела у очага, и вдруг я заметил, что подбородок у нее дрожит.

— В чем дело, Мэри?

Она совсем отвернулась от меня. Я устал, на душе у меня кошки скребли, и я разозлился.

— Ну, в чем дело, Мэри? — допытывался я.— Это мне надоело. Что еще не так? Ты добилась своего, так в чем же теперь дело?

— Ты прекрасно знаешь, Джо.

— Нет, не знаю.

Я очень хорошо знал. Она молчала.

— Послушай, Мэри,— сказал я, кладя руку ей на плечо,— перестань. Скажи мне, в чем дело?

— Только в том,— вдруг сказала она,— что я не выдержу этой жизни. Она меня убьет!

Я стукнул об стол кружкой, которую держал в руке.

— Нет, это просто невыносимо! — крикнул я.— Ведь ты же сама затащила меня сюда, и ты отлично это знаешь. Ты мне все уши прожужжала: поедем, поедем! Почему ты не хотела остаться в Гульгонге?

— А что такое Гульгонг? — тихо спросила Мэри.

(Мне вдруг ясно представился Гульгонг. Жалкие остатки городка на заброшенных золотых приисках. Единственная улица: на ней несколько одноэтажных кирпичных коттеджей вдоль пыльного тракта: это полицейский участок и дома управляющего банком и учителя. В палящих лучах солнца ослепительно сверкают покатые оцинкованные крыши; в каждом коттедже четыре комнаты и передняя. За ними полдюжины покосившихся лачуг — три трактира, две лавки и почта. А дальше тянутся коробки с жестяными крышами и ветхие хижины из корья— реликвии золотоискательских времен, подпертые многочисленными прогнившими столбами. Мужчины, если они дома, спят, покуривают трубку или торчат на верандах трактиров, лениво перекидываясь приветствиями: «Здорово, Билл!», «Здорово, Джим!». А то и пьют. Женщины, все больше злые, изможденные, на чем свет честят друг друга, осуждают всех местных девушек и наводят критику на белье «аристократии», вывешенное вдоль главной улицы: «Нет, вы только посмотрите, какого оно цвета! Может, она его и не стирала? Просто намочила и повесила?» Это Гульгонг.)

— Ну, а почему ты не поехала в Сидней, когда я звал тебя?

— Ты очень хорошо знаешь почему, Джо,— спокойно ответила Мэри.

(Я знал отлично, но от этого бесился еще больше. Я все надеялся получить работу на большом складе шерсти — потому что я был хорошим экспертом по шерсти,— но Мэри боялась, что я

опять запью. Пока я надрывался где-нибудь в глуши, меня не тянуло пить. А в Сидней, с тех пор как мы с Мэри встретились, я ездил дважды: в первый раз еще до женитьбы, и она простила меня, когда я вернулся; второй раз после женитьбы. Тогда я получил работу и должен был через месяц вызвать к себе Мэри. Спустя восемь недель она кое-как собрала деньги, приехала в Сидней и увезла меня домой. Я тогда совсем опустился.)

— Но теперь все было бы иначе, Мэри,— сказал я.— Ведь ты была бы со мной. Я бы мог пить или не пить. Сейчас мне все равно — могу выпить, а могу и нет.

— Если ты хоть раз выпьешь, это уже опасно,— сказала она.

— Зачем же ты уговаривала меня переехать сюда, если ты здесь не выдержишь? Почему ты не хотела остаться там, где была?

— А почему же ты не настоял на этом?

Я уже было сел, но тут снова вскочил.

— Господи! — закричал я.— Нет, это просто невыносимо! Брошу все к черту! Все мне опротивело.

— Мне тоже, Джо,— устало сказала Мэри.

Мы жестоко поссорились в первый час нашего пребывания в новом доме. Сейчас я знаю, кто был виноват.

Я взял шляпу, вышел из дома и побрел по берегу ручья. Зла против Мэри у меня не было — слишком много я ей всего наговорил. Теперь, когда я вспоминаю прошлое, то ясно понимаю: следуй я ее советам всегда, а не от случая к случаю, все было бы в порядке. Но тогда я ушел и оставил ее плакать, и, верно, Джеймс по-братски бурчал, что это, мол, ее вина. Я не любил «сдаваться» и даже не шел на уступки — вот в чем была беда. Уж так устроены иные люди: либо все, либо ничего.

«Если я сейчас не поставлю себя как следует,— твердил я,— хозяином мне никогда не быть. Слишком я распустил вожжи, когда женился, теперь их надо натянуть».

До чего по-женски рассуждают иной раз мужчины! Пришло время,— и как скоро оно пришло! — когда, стоя возле кровати, на которой лежала Мэри, белая и недвижимая, я без конца повторял: «Я буду тебе уступать, Мэри! Буду уступать!» — а потом захохотал. Люди подумали, что я сошел с ума, и вывели меня из комнаты.

Но тогда все это было еще впереди. Я шел по залитой лунным светом тропинке вдоль ручья, и из головы у меня не выходил вопрос, который я задал себе, когда увидел ферму:

«Зачем я привез ее сюда?»

В фермеры я не годился. Здесь бы поселиться какому-нибудь флегматичному немцу, или шотландцу, или на худой конец англи-

К. Причард «Девяностые годы»

чанину с супругой, у которых нет никаких других желаний, кроме как работать не покладая рук и сделать ферму доходным хозяйством. Меня же сюда привело лишь легкомыслие и неустроенность.

Я все шел и вскоре оказался ближе чем на полпути к нашим единственным соседям — бедной фермерской семье, что жила по берегу того же ручья, милях в четырех от нас. Я решил заглянуть к ним, узнать, не найдется ли у них немного свежего мяса.

Еще милей дальше я заметил маячившую на вырубке хибарку из корья и услышал голос хозяйки — я уже раза два видел эту худую, изможденную женщину и полагал, что она не сошла с ума от нужды и одиночества лишь потому, что ей недоставало либо воображения, либо памяти, чтобы за стволами диких яблонь угадать другую жизнь.

— Эй, Энней! (Энни.)

— Что-о? (Откуда-то из сумерек.)

— Я тебе сказала, полей герани!

— А что, я не полила?

— Не ври, а то я палку об тебя обломаю!

— Говорю, полила. Вода не впитывается в золу.

В засуху в здешних местах выживает одна только герань. Я припомнил несколько грязных серо-зеленых кустиков возле двери. Они были огорожены колышками, но колышки не помогали — куры пробирались под герани и скребли себе ямки, забрасывая цветы пылью. К тому же туда сыпали золу,— по-видимому, полагая, что это удобрит почву; и когда не хватало свежей воды, лили жирную воду с посуды, поэтому и земля под геранями становилась такой жирной, что поливать ее было совершенно бесполезно.

Снова женский голос:

— Эй, Томмей! (Томми.)

Тишина, если не считать эха.

— Т-ом-мей!

— Что-о? — пронзительный крик с другого берега ручья.

— Сказала я тебе, съезди к новеньким и спроси, может, им нужно мяса или чего-нибудь еще! — Все это она прокричала не переводя дыхания.

— А я лошадь никак не найду.

— Так-утром-первым-делом-найди-лошадь-и-не- забудь - сказать-миссис-Уилсон-мама-приедет-как-только-сможет!

Мне что-то расхотелось идти к ним в тот вечер. Я почувствовал — и эта мысль словно кнутом стегнула меня по сердцу,— что такой же вот станет и Мэри, если я оставлю ее здесь.

Я повернулся и быстро зашагал домой. Решение было принято: утром отвезу Мэри обратно в Гульгонг. (Я и позабыл о том, что должен еще отвезти корм на овцеводческую ферму!) Я скажу ей: «Послушай, детка! Бросим эту жалкую жизнь, уедем из этой глуши навсегда. Поедем в Сидней, и я стану человеком. Я выбьюсь в люди». Да, продам фургон, лошадей, все-все, и мы уедем.

Когда я подошел к нашему дому, в нем горел свет. Мэри зажгла единственную керосиновую лампу и две сальные свечи. Она уже вымыла обе комнаты — к неудовольствию Джеймса, потому что ему пришлось передвигать мебель и ящики. На столе лежали распакованные вещи; Мэри постелила чистые газеты на каминную полку — доску на двух палках,— поставила посередине маленькие деревянные часы, а по сторонам безделушки, и теперь прикалывала по неоструганному краю доски полоску американской бумажной клеенки.

— Ну как? Тебе нравится, Джо? Скоро будет полный порядок.

Я поцеловал Мэри, хоть рот у нее был полон кнопок, потом пошел на кухню, выпил пинту холодного чаю и сел там.

Что-то мне все это не нравилось.

II

«ВСЕ РАВНО...»

На следующее утро жизнь показалась мне не такой уж мрачной. Утром жизнь всегда кажется лучше, особенно в австралийских зарослях. Но когда солнце опускается на темное ложе пустынного леса, а закат вспыхивает морем огня, гаснет и снова вспыхивает, словно груда тлеющих углей, и, наконец, совсем догорает — тогда к человеку приходит прошлое, его терзают какие-то смутные воспоминания. Я часто задаю себе вопрос: а каково же беднягам-неудачникам, которых судьба занесла в австралийскую глушь, какие мысли преследуют их? Верно, они стараются не задумываться, а не то одиночество свело бы их с ума.

Я решил послать Джеймса подработать на перевозке грузов. Правил он хорошо, парень был толковый и, без сомнения, мог справиться с делом лучше меня — особенно пока оно ему было в новинку; а я побуду недельку-другую дома, пока Мэри не привыкнет к новому месту и пока я не подыщу где-нибудь девушку, чтобы оставалась с ней на время моих отлучек. Хуже всего, как правило, эти первые недели, первые месяцы одиночества; говорят, и в тюрьме так же, хотя там я не бывал. В пути или на тяжелых работах то же самое — в первые дни куда тяжелее, чем потом.

Но что до меня, то я никогда не мог привыкнуть к одиночеству и скуке; для меня страшнее всего было под конец — тут я либо начинал торопиться, либо запивал. Когда ты слишком долго живешь один в глуши, ты начинаешь делать странные вещи и тебе приходят в голову странные мысли — если только у тебя есть хоть какое-то воображение. Иногда по вечерам часами сидишь и смотришь на пустынную дорогу: не появится ли на ней всадник, или повозка, или кто-нибудь еще, кто никогда и не бывает в таких местах — кто-нибудь, пусть совсем незнакомый человек. А сам прекрасно знаешь, что никто не появится. Мне кажется, что большинство людей, которые долго прожили в одиночестве в зарослях — и семейные тоже,— все не в своем уме, в большей или меньшей степени. Когда к такому семейству забредают наконец путники, то обычно мужчина испытывает мучительную стеснительность и неловкость. Женщина лучше переносит одиночество и обычно лучше владеет собой, когда в доме появляются незнакомые люди. Только некоторое время спустя, оглядываясь на прежнюю жизнь, вы понимаете, каким вы стали чудаком. Пастухи и объездчики стад, которые месяцами не видят живой души, сойдут с ума, если не будут раз или два в год пускаться в разгул. Это — единственная разрядка в чудовищном однообразии их жизни, единственная радость, что ждет их впереди; о ней они мечтают, о ней они и думают.

Однако Мэри первые месяцы держалась молодцом. Вернее, первые недели — потом стало не так уж плохо, могло быть и хуже, если бы мы жили в более глухом месте. В воскресенье почти всегда кто-нибудь приезжал; две соседки в рессорной двуколке, а то и целое семейство, или долговязый застенчивый парень с приятелем на костлявых пугливых лошадках. А в те воскресенья, когда не было гостей, Мэри одевала Джима (это уже после того, как я привез его домой) и сама принаряжалась — точно так же, как в те времена, когда мы жили в городе,— а меня заставляла надеть воротничок и вести их обоих на прогулку по берегу ручья. Это для того, чтобы я не одичал, говорила она. Много лет Мэри пыталась сделать из меня джентльмена, потом махнула рукой.

Так вот. Было первое утро на новом месте. Я смазывал колеса фургона, Джеймс пошел за лошадью, а Мэри развешивала одежду. На ней было старое ситцевое платье и уродливый белый чепец.

— Э-э, миссус!

За изгородью остановился всадник — мальчуган лет пятнадцати, светловолосый, весь в веснушках. Голова у него была маленькая, зато руки и особенно голые загорелые ноги вполне могли принадлежать взрослому мужчине. Лицо очень славное, с ясны-

ми серыми глазами. Старая, почерневшая шляпа сидела у него на самых ушах, оттопырив их почти перпендикулярно к голове — надо сказать, что чистотой они не блистали. Одет он был в грязную, драную рубашку и молескиновые штаны не по размеру, закатанные выше колен и стянутые зеленым кожаным ремнем. Позднее я заметил, что, даже если штаны были ему впору, он по каким-то особым соображениям все-таки закатывал их до колен, когда ехал верхом; может, он представлял, что на нем краги, потому что закатывал штаны в любую погоду,— вряд ли он это делал из боязни, что они пропитаются лошадиным потом, даже если бы эта лошадь и потела.

Парнишка восседал на мешке, накинутом на круп большой серой лошади, голова которой походила на гроб, а сзади эта конягa была похожа на грубо сколоченную из корья лачугу с покатой крышей. По цвету она тоже напоминала такую лачугу: какая-то голубовато-грязная. Однажды, увидев ее зад в кустарнике, я и вправду чуть было не принял ее за старую пастушью хижину, которую прежде не заметил. А когда она трусила легкой рысцой, казалось, что хижина встала на четыре угловых столба и пошла.

— Вы миссис Уилсон? — спросил мальчуган.

— Да, это я,— ответила Мэри.

— Знаете, мать мне сказала: поезжай туда и погляди — может, им чего надо. Мы вчера корову зарезали, вот я и привез кусок.

— Кусок чего? — спросила Мэри.

Паренек усмехнулся и протянул через верхнюю перекладину изгороди мешок. На дне его лежало что-то тяжелое — Мэри еле удержала его. В мешке лежал кусок мяса, который выглядел так, словно его отрубили тупым топором, однако мясо было свежее и чистое.

— Ах, я так рада! — воскликнула Мэри. Она никогда не умела сдерживать свои чувства и только со мной, случалось, теряла свою непосредственность.— А я-то гадаю, где мне достать свежего мяса. Передай своей маме, что я очень, очень ей благодарна.— Мэри поискала свой жалкий, маленький кошелек.— Ну, а теперь скажи: сколько? Как мама сказала?

Парнишка заморгал глазами и поскреб в затылке.

— Сколько?..— озадаченно повторил он.— А, вы, верно, спрашиваете, сколько в нем весу? Так мы его не взвешивали — у нас весов нет. Это мясник вешает. А мы просто режем, варим и сдим — сколько отрубим, на глаз. А что останется, солим в бочке. А этот, верно, весит тонну, не меньше, если уж вам так хочется знать. Мать думала, если послать больше, оно протухнет, пока вы его съедите.

— Да, понимаю,— сказала Мэри, начиная смущаться.— Но я хотела узнать, почем вы его продаете?

Он изумленно посмотрел на нее и снова поскреб затылок.

— Продаем? Иногда мы делим с кем-нибудь бычка пополам или продаем целиком мяснику, а иногда продаем немного мяса артели плотников или там землемерам — в общем, разным таким людям...

— Да, да. Но я-то хочу узнать, сколько мне послать твоей матери.

— Сколько чего?

— Денег, конечно. Вот глупый,— сказала Мэри.— Ты, видно, ужасно глупый мальчик.

Только тут он понял, чего она добивается, и принялся судорожно колотить пятками по лошадиным бокам, раскачиваясь всем телом взад и вперед, словно старался завести какой-то механизм в лошади, чтобы она пошла, но, видно, механизм нуждался в починке или смазке.

— Нет, мы не из таких, миссус,— сказал он.— Мы с новых поселенцев денег за мясо не берем.— Презрительно ткнув большим пальцем в сторону горы, он добавил: — А если хотите купить мясо, ступайте к Уоллам, они со всех деньги берут. (Уолл был богатый скваттер.)

— Ах, прости меня, пожалуйста! — воскликнула Мэри.— Скажи своей маме, что я ей очень благодарна.

— А, ерунда. Она велела сказать, что приедет к вам, как только сможет. Она еще вчера вечером собиралась — думала, вам одиноко с непривычки в таком месте,— да только не выбралась.

Механизм внутри коняги начал понемногу заводиться. Мне даже послышался какой-то скрип, когда она качнулась вперед, как старая лачуга на прогнивших подпорках; однако, едва Мэри заговорила, она снова прочно стала на фундамент. Бедное же, должно быть, хозяйство у наших соседей, если у них не нашлось верховой лошади получше!

— Дайте-ка мне вон тот горбыль, миссус. Я потом его обратно закину, только сдвину с места эту старую корову.

— Одну минутку,— спохватилась Мэри,— я забыла, как зовут твою маму?

Парень поспешно схватил протянутый горбыль.

— Мою маму? А-а! Ее зовут миссис Спайсер. Ну, шевелись, кляча!

Он извернулся и изо всех сил стукнул лошадь по выпирающим под кожей костям скелета (а у нее все кости выпирали до одной).

— А в школу ты ходишь? — спросила Мэри.

На ферме Уолла была школа; учились в ней три дня в неделю.

— Нет! — бросил он и снова заколотил пятками по лошадиным бокам.— Я... Да мне уже скоро пятнадцать. Последний ихний учитель сказал, что со мной покончено. В будущем месяце я скот в Куинсленд погоню.

(От нас до границы Куинсленда было триста миль.)

— Покончено? Как так покончено? — спросила Мэри.

— Да с этим самым образованием покончено, вот как! Так лошадь никогда не тронется, если вы все время будете разговаривать.

Он обломал горбыль о свою рысистую, забросил обломки за изгородь и, бешено работая локтями и коленками, тронулся в путь. Бедная кляча тяжело трусила по дороге, словно старый рабочий вол, который решил попробовать пуститься галопом. Эта лошадь не была чемпионом.

А на следующий месяц паренек и в самом деле отправился в Куинсленд. Он был младший сын — лишний рот на бедной ферме, и поскольку в округе делать было нечего, отец (верно, в порыве отцовского великодушия) подарил ему старую клячу и пару тяжелых башмаков, а я дал ему старое седло и пиджак, и он отправился в далекий неведомый край.

И, ручаюсь, он туда добрался, только вот не знаю, добралась ли лошадь.

Мэри дала парню на дорогу пять шиллингов. Не думаю, чтобы, кроме чистой рубашки и запасной пары белых бумажных носков, у него было еще что-нибудь за душой...

Большая лачуга из корья, стоявшая на вырубке посреди зарослей диких яблонь,— это и была ферма Спайсеров. Участок был обнесен легкой изгородью «на собачьих лапах» (изгородь из жердей, уложенных на развилки), а пыльная площадка вокруг дома была почти сплошь покрыта коровьим пометом. Землю они теперь, видимо, не обрабатывали; но я заметил старые борозды между пней на другом, кое-как расчищенном участке неподалеку от хижины. Убогий коровник из тонких жердей, телятник и загон с навесом из корья. Молоко, видимо, ставилось в одну из комнатушек пристройки за домом, вторая была «спальней мальчиков». Спайсеры держали несколько коров и бычков и тридцать или сорок овец. Раз в неделю миссис Спайсер ездила в старой шаткой двуколке вниз по ручью в городок Коббора с маслом и яйцами. Внутри их хижина была такой же неприглядной, как и снаружи: голые стены из «круглого леса» (стволов молодых деревьев), обшитые корой. Мебель, как и в нашей кухне, поставлена навечно (если только ее не вырвут с корнем): грубый дощатый стол на столбах,

вбитых в землю, и такие же скамейки. Мэри мне после рассказала, что кровати в отгороженной мешковиной и полосами коры комнатке («материной спальне») были сделаны из жердей, положенных на поперечины, прибитые к врытым в землю столбам, а на них лежали соломенные матрацы, прикрытые драными одеялами. У миссис Спайсер было рваное лоскутное одеяло и совсем уж жалкие останки другого, белого. До чего же грустно смотреть, говорила мне Мэри, как они расстилают все это по постелям, чтобы прикрыть их насколько возможно, когда к ним приходишь. Ящик, задрапированный чем-то вроде старой ситцевой юбки, на нем треснутое зеркало — это был «туалетный столик». Гардеробами служили два больших ящика. Мешки, натянутые на две жерди, положенные на подпорки,— это кровати мальчиков. Пол был «натуральный», то есть плотно утрамбованная земля, но весь он был в ямках и бороздах, видимо, от усердного подметания; в дождливую погоду под дырами в крыше собирались лужицы. Сколько было в доме старых банок, мисок и ведер, все их миссис Спайсер подставляла под дыры. Кастрюлями и чайниками служили керосиновые жестянки и котелки. В такие же срезанные наполовину банки они сливали молоко. Тарелки и чашки тоже были жестяные; правда, имелись и две-три настоящие чашки, но без блюдечек, и одна или две фаянсовые тарелки, да еще две треснутые кружки без ручек — на одной было написано «Хорошему мальчику», а на другой «Хорошей девочке», но вся эта посуда украшала каминную полку и предназначалась для гостей. Больше в доме не было никаких украшений, если не считать еще маленьких деревянных часов, которые уже много лет стояли. Миссис Спайсер иногда намекала, что она кое-что «припрятала от детей».

На стенах были наклеены картинки, вырезанные из старых номеров «Иллюстрированных сиднейских новостей». Помню это хорошо, потому что давным-давно, когда я был мальчишкой, у нас были соседи Спенсеры, и их спальня была обклеена иллюстрациями из лондонских газет, на которых были изображены эпизоды гражданской войны в Америке. Мы с Фредом Спенсером, улучив удобный момент, забирались в «мамину спальню» и не могли насмотреться на эти картинки. Однажды я отдал карманный ножик, чтобы он провел меня в спальню.

Самого Спайсера я видел редко. Это был высокий смуглый мужчина с темной шевелюрой и бакенбардами. Я подозревал, что он вовсе и не фермер, а подставное лицо у местного скваттера. Дело в том, что фермерам разрешалось брать участки под пастбища или посевы. Скваттеры хитрили и изворачивались, как могли, и всячески старались помешать фермерам занимать землю. Они

покупали как можно больше земли, забирали в аренду максимум того, что полагалось на одного человека по закону, и, кроме того, использовали «подставщиков» — то есть лиц, которые брали для скваттеров лучшие участки.

Мне Спайсер показался угрюмым и необщительным. Дома он почти не бывал. Предполагалось, что он где-то стрижет овец, ставит изгороди или работает на какой-то овцеводческой ферме. Потом выяснилось, что последние шесть месяцев он отсутствовал из-за бочонка мяса и шкуры с выдранным клеймом, найденных в лагере их артели, взявшей подряд на огораживание. Ни он, ни его товарищи не смогли дать достаточно удовлетворительного объяснения по поводу этого мяса и шкуры, в то время как местный скваттер смог. Все эти полгода семья сидела на хлебе с медом, или хлебе с патокой, или на хлебе со смальцем и чае. Каждая унция масла, каждое яйцо шли на продажу, чтобы купить муку, чай и сахар. Мэри знала об этом, но мало чем могла помочь, разве только совала детям по бутерброду с мясом или джемом, когда они приходили к нам,— миссис Спайсер была из тех людей, которые лучше лягут лицом к стене и умрут, чем поступятся своей гордостью.

Однажды, когда Мэри спросила старшую девочку Энни, голодна ли она, та ответила отрицательно. Но вид у нее был голодный. Оборванный малыш, который пришел вместе с ней, все нам объяснил. Он сказал:

— Мама не велела Энни говорить, что мы голодные, если вы спросите. А если вы дадите нам чего-нибудь, она сказала, чтобы мы взяли и сказали: «Спасибо, миссис Уилсон».

— Я не хотела врать вам, миссис Уилсон,— сказала Энни,— но я думала, Джимми наябедничает на меня. Спасибо, миссис Уилсон.

Соседка наша была небольшого роста, худая, плоскогрудая, загорелая до черноты. Глаза у нее были карие, почти рыжие, временами диковатые, лицо заостренное — это нужда его заострила,— со впалыми щеками. А выражение лица... ну, словно у женщины, которая когда-то была очень любопытной и подозрительной и хотела обо всех все знать и все слышать, а потом любопытство у нее совсем пропало, а выражение лица и манера быстро и подозрительно оглядываться — остались. Вы, наверно, не поймете, но другого сравнения мне не приходит в голову. Лет ей было не больше сорока.

Помню утро, когда я увидел ее в первый раз. Я ехал вверх по течению ручья, чтобы посмотреть на свою будущую ферму, и загляпул в их хижину узнать, не найдется ли у хозяйки куска свежей баранины, потому что мне осточертела солонина.

— Есть, конечно,— сказала она резким, неприятным голосом. Я так и ждал, что она сейчас добавит: «Говорите, что вам еще, пока лавка открыта». Я встречал таких женщин и прежде, в ту пору, когда таскал свэг от одной стригальни к другой в гиблых местах к западу от реки Дарлинг,— и только поэтому не повернулся и не ушел прочь, а подождал, когда она снова заговорит.

— Заходите. Ну, заходите в дом и садитесь,— сказала она.— Я вижу, вы на фургоне. Вы, наверно, Уилсон, не так ли? Я слышала, вы собираетесь взять ферму Гарри Маршфилда? Посидите, я поджарю вам отбивную и вскипячу чаю.

Мне казалось, что это говорит не она сама, а граммофон,— я как-то слушал граммофон в Сиднее. А когда она отвлекалась от повседневных дел, то говорила каким-то... каким-то далеким, неуверенным голосом, словно блуждала в потемках.

В тот раз она говорила немного — только посетовала на засуху, на тяжелые времена и на то, что «масло и яички дешевеют, а ее муж и старший сын в отлучке и ей одной просто невмоготу».

Сколько у нее было детей, не знаю. Никогда не мог их сосчитать, потому что почти все они были маленькие и пугливые, как туземные дети, и всегда убегали и прятались, когда кто-нибудь приезжал. Да и черные они были, почти как туземцы. Верно, в среднем у нее прибавлялось в год по ребенку, и одному богу известно, кто ей помогал при родах! Мне говорили, что однажды при ней оказалась одна только туземка. О старшем сыне и старшей дочери она говорила редко. Дочь, звали ее Лиза, была «в услужении» в Сиднее. К сожалению, за этим, кажется, скрывалось совсем другое занятие. Старший сын был «в отлучке». В округе его, по-видимому, любили.

— Ну как ваш Джек, миссис Спайсер? — спрашивал кто-нибудь из соседей.

— Что слышно о Джеке? Где он теперь?

— О, где-то в дороге,— говорила она «далеким» голосом. Или: — Он в Куинсленде — перегоняет гурты.— Или: — Последний раз он прислал весточку с Дарлинга — он там стриг овец. С тех пор мы не получили ни строчки... это уже будет... с позапрошлого рождества.

И она с беспомощным и безнадежным видом устремляла свои исстрадавшиеся глаза на запад, туда, где раскинулись бескрайние пустынные просторы.

Из детей, что жили с матерью, старшей девочке было лет девять-десять. Лицо у нее казалось более старообразным, чем у матери,— маленькое, старушечье, на лбу морщинки. Томми, как я уже говорил, уехал в Куинсленд. Билл, старший сын из оставшихся в доме (старше Томми), был «довольно беспутный парень».

Мне случалось проезжать мимо их фермы рано утром в душную, знойную декабрьскую пору, когда коровий помет превращается в пыль и теплый, несвежий рассветный ветерок носит его в воздухе. Хозяйка уже работала на скотном дворе; привязывала и стреноживала коров, доила, а то тянула годовалого теленка за веревку и никак не могла сдвинуть его с места (даром что сама была крепче железа); или таскала в свинарник и в загон для молочных телят огромные ведра скисшего молока. Иной раз я спешивался и помогал ей справиться с молодым бычком или старой строптивой коровой, которая не давала привязать себя и нацеливала рога на хозяйку.

— Спасибо, мистер Уилсон,— говорила миссис Спайсер в таких случаях.— Дождемся мы когда-нибудь дождичка, как вы считаете?

Проезжал я мимо фермы и в хмурые, пронизывающие июльские дни, когда дождь льет без просвета. По щиколотку в черной липкой грязи она ходила по двору в старых мужских ботинках и драном пальто мужа, а то просто набросив на плечи большой мешок. Я видел, как она взбиралась на бочку, а потом на крышу и, подсунув кусок жести под кору, старалась заделать течь. Я помогал ей, и она говорила:

— Спасибо, мистер Уилсон! Вот так дождичек господь бог послал! Заходите, просушитесь у огня, я вас чаем угощу.— А если я отказывался, говоря, что спешу, прикрикивала: — Да заходите же! Посушитесь немного, пока дождик не перестал. Так вы и до дому не доберетесь — насмерть простынете.

Видел я ее и в страшную засуху, когда она по самодельной лесенке взбиралась на казуарины и дикие яблони и неловко обрубала ветки, чтобы подкормить листвой изголодавшийся скот.

— Как бы молочные коровы не подохли, пока дождя дождешься!..

Рассказывали, что, когда в округе свирепствовала плевропневмония и у нее тоже начал падать скот, она сама лечила животных и пускала им кровь, а тех, что уже не вставали, кормила ломтиками недозревших тыкв (они в тот год тоже погибли).

— И вот однажды,— говорила она как-то Мэри,— схватила эту «плеровку» наша Королева Елизавета — та, что вечно яловая. Четыре дня лежала, не двигаясь, а на пятый день утром я насыпала ей под самый нос немного пшеничной мякины — Спайсер принес домой несколько мешков. Насыпала я,— и вы не поверите, миссис Уилсон! — она как вскочит да как побежит за мной. До самого дома бежала. Пришлось мне подобрать юбки и спасаться со всех ног. Смешно, правда?

У них было чувство юмора, у всех этих несчастных, иссушен-

ных зноем женщин в зарослях. Сдается мне, что это и спасало их от помешательства.

— Подохли почти все наши молочные коровы,— продолжала она.— Помню, однажды Томми бежит к дому и кричит: «Мам, еще одна повалилась!» Кричит, как будто это бог весть какая радость. Я и так извелась, а тут уж у меня просто руки опустились, миссис Уилсон. Села я на табуретку, чтобы как следует выплакаться, и стала шарить по карманам, искать носовой платок. Это была тряпка, а не платок, вся в дырах (платки были в стирке). Ничего не соображая, я просунула один палец в одну дырку, а большой палец пролез в другую, и я стала тыкать пальцами в глаза, вместо того чтобы вытереть их платком. Ну и рассмеялась, конечно...

Была и еще одна история. Однажды по всему берегу ручья с той стороны, где жили Спайсеры, загорелся лес, вернее, трава. Все работники с фермы Уолла были возле нашей теперешней фермы — старались задержать огонь, чтобы он не перекинулся дальше. И вот к вечеру один из них случайно вспомнил про Спайсеров: в той стороне клубился дым. Сам Спайсер был в отъезде, а они на ферме засеяли немного пшеницы, и она уже почти созрела.

— Господи! У нее там все сгорит, если еще не сгорело! — крикнул Билл Уолл.— Скачите скорее туда кто-нибудь!

Случилось это в пору стрижки овец, и людей на ферме было хоть отбавляй. Те поскакали к Спайсерам, и как раз вовремя, а то пшеницу бы уже не спасти. Когда они приехали, миссис Спайсер, засучив рукава, колотила веткой по горящей траве. Она уже с час так колотила и почернела, как туземка. Когда стригальщики потушили пламя, она только и сказала: «Спасибо вам! Подождите, я вскипячу чаю».

В ее первое посещение Мэри спросила:

— Вам, наверно, одиноко, миссис Спайсер, когда ваш муж уезжает?

— Да нет, миссис Уилсон,— ответила она «далеким» голосом.— Я привыкла. Помню, жили мы на реке Кэджгонг — мы тогда в кирпичном доме жили,— так, когда Спайсер в первый раз уехал, я все глаза выплакала. А он всего-навсего на месяц уехал, стричь овец. Ну и дуреха же я была! Но мы тогда только поженились. А потом он и на восемнадцать месяцев уезжал — перегонял гурты в Куинсленде... А теперь... (голос ее уже совсем «отдалился») теперь я уже не расстраиваюсь... Мне как-то все равно... К тому же... к тому же... Спайсер теперь совсем не тот. Дома он такой мрачный, угрюмый, почти не разговаривает.

Мэри задумалась и с минуту молчала.

— Ах, и чего я только болтаю! — встрепенулась миссис Спайсер.— Не обращайте на меня внимания, миссис Уилсон,— это со

мной редко случается. Право, у меня иногда ум за разум заходит. Это, верно, от жары и скуки.

Но и после она раза два вспоминала то время, когда «Спайсер был совсем другим».

В тот вечер я проводил ее немного. Она долго молчала, будто в каком-то недоумении. Потом вдруг отчеканила:

— И чего вы только привезли ее сюда? Она еще совсем девочка!

— Простите...

— Ах, я сама не знаю, что говорю! Совсем теряю разум. Не обращайте на меня внимания, мистер Уилсон.

Мэри ее общество доставляло мало удовольствия. Иногда она являлась с малышом на руках и, когда Мэри говорила, начинала вдруг с ним заниматься. Это раздражало Мэри. Но бедная миссис Спайсер ничего не могла с собой поделать, к тому же ребенок, по-видимому, нисколько не мешал ей слушать Мэри.

Больше всего ее огорчало то, что дети «растут неучами».

— Дома я учу их, сколько могу. Но у меня свободной минутки нет, а к вечеру я до смерти устаю и уже ни на что не гожусь.

Потом Мэри стала время от времени забирать к себе кого-нибудь из детей и немного занималась с ними. Когда она впервые предложила это сделать, миссис Спайсер схватила малыша, что стоял поближе, и сказала:

— Ну, ты слышишь? Миссис Уилсон будет вас учить, хотя вы этого и не заслуживаете (малый в это время хныкал по какому-то поводу). Подойди и скажи: «Спасибо, миссис Уилсон». А если ты будешь плохо себя вести и не будешь делать так, как она тебе скажет, я тебе, чертенку, все кости переломаю!

Бедный «чертенок» что-то пробормотал и сбежал.

В воскресную школу Уоллов дети ходили по очереди. У Томми, когда тот был еще дома, были хорошие башмаки, и из-за них не было конца скандалам, потому что мать заставляла Томми одалживать их сестре Эн, когда была ее очередь идти в воскресную школу. В доме было всего три пары более или менее приличных башмаков, да и те берегли для торжественных случаев. Но дети всегда были чистенькие и опрятные, насколько возможно, когда приходили к нам.

По-моему, самое печальное и трогательное зрелище на земле — это дети бедняков, когда они «приодеты»: сношенные, разбитые башмаки начищены или смазаны жиром, вместо шнурков — подчерненная (чернилами) бечевка; чистенькие, штопаные передники прикрывают убогие юбчонки, которые светятся от ветхости. Позади детей, что стоят, взявшись за руки,— где бы они ни стояли! — я всегда вижу измученное лицо матери.

К концу первого года жизни на ферме у нас родилась дочурка. Я отправил Мэри на четыре месяца в Гульгонг, а когда она вернулась с малюткой, миссис Спайсер к нам зачастила. Она приходила несколько раз помочь по хозяйству, когда Мэри прихворнула, и не сидела, не утешала Мэри, не тратила времени на расспросы и не рассказывала, как она сама болела. Она снимала шляпу,— какую-то лепешку из черной соломки, которую она надевала, когда отправлялась в гости,— быстрым движением приглаживала ладонями волосы, закатывала рукава и принималась наводить порядок. Кажется, больше всего ей нравилось разбирать детские вещички и одевать Джима и девочку. Может быть, в те времена, когда Спайсер был «совсем другим», она и своих детей так одевала. Интересовалась она и модами в женских журналах, которые мы получали, да с таким увлечением их изучала, что просто озадачивала меня — а я-то считал, что она не из тех женщин, что думают о нарядах. О своем детстве миссис Спайсер никогда не рассказывала, но Мэри из каких-то своих наблюдений была склонна заключить, что она получила довольно хорошее воспитание. Как-то доктор Бэленфэнти из Каджгонга приехал посмотреть жену Уолла и на обратном пути решил проведать Мэри и девочку. Мэри достала нашу лучшую посуду и салфетки — она их берегла для таких вот случаев — и после рассказала мне, что по тому, как миссис Спайсер накрывала на стол (а делала она это совершенно машинально), было видно, что ей приходилось иметь дело с салфетками.

Случалось, после долгой паузы в разговоре миссис Спайсер вдруг говорила:

— Пожалуй, я не приду к вам на следующей неделе, миссис Уилсон.

— Почему же, миссис Спайсер?

— Да не на пользу мне эти визиты. Я потом хожу сама не своя.

— Почему же, миссис Спайсер?

— Ах, ну что я болтаю! Не обращайте на меня внимания, миссис Уилсон.

Она надевала шляпку, целовала детей, а иногда и Мэри тоже, словно невзначай перепутав ее с ребенком, и уходила.

Мэри считала, что временами на миссис Спайсер находило умопомрачение. А я, кажется, понимал, в чем дело.

Однажды, когда миссис Спайсер заболела, Мэри поехала к ней. На следующий день она снова навестила ее, и когда Мэри уходила, миссис Спайсер сказала:

— Мне не хотелось бы, чтобы вы приходили еще, пока я не поднимусь, миссис Уилсон. Дети все мне сделают.

— Но почему же, миссис Спайсер?

— Видите ли, в доме так грязно. Мне неудобно.

На Лехи Крик мы слыли за аристократов. Каждый раз, когда мы подъезжали к дому Спайсеров, направляясь к ним с воскресным визитом, дети, заслышав стук нашей двуколки, бросались со всех ног к дому и визжали:

— Мама! Мама! Уилсоны едут!

И мы видели, как миссис Спайсер начинала метаться по дому и из двери хижины вылетали две-три курицы, а затем она хватала метлу (пучок жесткой рыжей травы или веток, насаженный на палку) и наскоро подметала пол, а потом еще, если успевала, слегка разметала перед дверью. По полу никогда не мешало пройтись хотя бы разочек метлой — куры бродили, где хотели. А то вдруг хватала малыша и мокрым концом застиранного полотенца терла ему физиономию, или, обернув полотенцем палец, прочищала ему уши — словно беспокоилась, как бы он чего не пропустил из нашего разговора.

Однако было в доме прибрано или нет, она всегда говорила:

— А я как раз поджидала вас, миссис Уилсон.

В этом она, по крайней мере, проявляла оригинальность.

Когда мы приезжали, она неизменно постилала на стол старую штопаную скатерть («Все в стирке, уж извините, миссис Уилсон»). Но по глазам ребят я видел, что и эта скатерть им в диковинку.

— Надо мне обязательно купить ножей и вилок, когда поеду в Коббору,— говорила миссис Спайсер.— Дети все ломают и теряют, стыдно добрых людей к столу пригласить.

Она знала уйму всяких историй, и смешных и страшных, но все они были интересные, и рассказывала она с мрачноватым юморком. Однако каждый раз в самом интересном месте она вдруг накидывалась на детей и портила все впечатление.

— Выгоните вы кур или нет?! — кричала она.

Или:

— Ну-ка вынь из сахарницы свои лапы!

Или:

— Не трогай ребенка миссис Уилсон грязными ручищами.

Или:

— Ну что ты развесил уши и уставился на миссис Уилсон? Не умеешь прилично себя вести!

Бедняжка! Она ни на минуту не оставляла детей в покое, все время одергивала и ругала их. Это уже превратилось в привычку, и они тоже привыкли, что на них все время кричат. Большинство женщин, что живут в зарослях, становятся сварливыми. Помню, у одной женщины была маленькая девочка, хорошенькая, милая,

ласковая, послушная и нежная,— я не видел существа прелестнее,— но мать пилила ее с утра до вечера, да и ночью тоже. Вообще мне кажется, что этот вечный крик и на самого спокойного ребенка действует гораздо хуже, чем отец-алкоголик, а уж для нервных детей он просто убийствен.

Одна история, из тех, что рассказывала нам миссис Спайсер, была про местного скваттера, который то и дело повреждался в рассудке и норовил покончить с собой. Однажды, когда работник, следивший за ним, на минуту выпустил его из поля зрения, он повесился на балке в конюшне. Работники вбежали в конюшню и увидели, что он дергается в петле.

— Они дали ему повисеть немного,— рассказывала миссис Спайсер,— пока он не почернел с лица и не перестал дергаться, а тогда уж перерезали веревку и вылили на него ведро воды.

— Боже! Зачем же они оставили его висеть?

— А чтоб он насладился вволю. Они думали раз и навсегда излечить его от этой дури.

— Да, но это ужасно. Такая жестокость!

— Вот это самое сказал и наш судья, миссис Уилсон... Както утром,—продолжала миссис Спайсер,— Спайсер уехал куда-то верхом, и я была одна с детьми. Вдруг на пороге появляется мужчина и говорит:

«Ради бога, дайте мне глоток воды!»

Бог знает, откуда его только принесло! На нем был хороший костюм — видно, он недавно прибыл из Англии,— но похоже было, что он месяц спал в этом костюме в зарослях. Он еле стоял на ногах. Я в то утро сварила кофе, вот я и дала ему целую кружку, он его выпил, а потом встал вверх ногами, на голову, и стоял так, пока не свалился. Потом снова встал, как надо, и говорит: «Спасибо, мэм».

Я от удивления не знала, что сказать, только спросила:

«Может быть, хотите еще кофе?»

«Да,—сказал он,—спасибо. Еще пинты четыре».

Я налила ему еще целую кружку, он ее выпил, потом постоял на голове, пóка не свалился, а когда встал на ноги, то сказал: «Спасибо, мэм. Какая чудесная погода!» — и ушел. В руках он держал ремни от подпруги.

— Но для чего он вставал на голову? —спросила Мэри.

— Чтобы кофе как следует растеклось у него внутри, так я полагаю, чтобы распробовать его как следует... Ну, так вот. На нем и шляпы не было. Я послала Томми к Уоллам сказать, что какой-то чудак в белой горячке слоняется по зарослям, пусть сообщат полиции. Но они опоздали — той ночью он повесился.

— О боже! — вскричала Мэри.

— Да, совсем близко отсюда, вниз по речке, там, где дорога поворачивает к Уоллам. Томми погнал коров и увидел его. Прицепил к ветке подпругу и повесился.

Мэри, онемев, уставилась на нее.

— Томми прибежал домой, вопя от ужаса. Я его тут же послала к Уоллу. После завтрака, не успела я отвернуться, дети выскочили из дома и побежали к тому месту. Обратно они примчались со страшным воем. А я им так всыпала, что они еще громче завыли. Теперь уж они не побегут смотреть на мертвеца. Как я только им об этом напомню, они жмутся друг к другу или ревут, уцепившись за мою юбку.

«Будете бегать, если я вам не велю?» — спрашиваю я их. А они в рев:

«Нет, нет, мама!»

«Хотите поглядеть, как люди вешаются, да?»

«Нет, мама! Не говори об этом!»

«Не могли успокоиться, пока сами не увидите? — спрашиваю я.— Прямо лопались от любопытства. Ну, теперь довольны, а?»

«Не надо, мама».

«Мчались туда сломя голову, так, что ли?»

«Не надо, мама!»

«А обратно так, что пятки сверкали, да?»

«Не надо!»

— Однако и я туда сходила до того, как прибыла полиция,— сказала миссис Спайсер в заключение.

— И вы не боитесь жить здесь одна после всех этих ужасов? — спросила Мэри.

— Да нет, нисколько. Мне уже все равно. Когда уехал Томми, я было затосковала немного — в первый раз за многие годы. Теперь это уже прошло.

— А друзья у вас есть в округе, миссис Спайсер?

— Есть, как же. У меня тут замужняя сестра живет возле Кобборы и брат с женой возле Даббо. У него там ферма. Они хотели взять меня и детей к себе, поделить нас или забрать к себе малышей. Но разбить семью! Я даже не могу об этом подумать. Я хочу, чтоб все дети были вместе, пока возможно. Их и так уже многих нет... Но все же спокойнее, когда знаешь, что есть кому присмотреть за малышами, если что-нибудь со мной случится.

Однажды — я в тот день был в отъезде — к нам в страшном волнении прибежала Энни Спайсер.

— О миссис Уилсон! У нас такое несчастье! Приехал стражник (так здесь называли конных полицейских) и забрал Билли!

Билли был старшим из оставшихся дома мальчиков.

— Что?!

— Правда, миссис Уилсон.

— Но почему? Что сказал полицейский?

— Он... он сказал: «Мне очень жаль, миссис Спайсер, но... но мне нужен Уильям».

Выяснилось, что Уильяма забрали из-за лошади, которую украли с фермы Уолла и продали в городе.

— На маму это так подействовало! — всхлипывала Энни.— Она как будто окаменела, сидит и смотрит в одну точку, а нас даже не замечает. Ох, это ужасно, миссис Уилсон! Полицейский сказал, что он зайдет к тете Эмме (сестре миссис Спайсер, что жила в Кобборе) и пришлет ее сюда. Но я решила сказать вам. Бежала всю дорогу.

Джеймс запряг лошадь в двуколку, и они с Мэри поехали к Спайсерам.

Мэри рассказала мне все, когда я вернулся.

— Она так и сидела, как Энни описала, когда я приехала, а потом бросилась мне на грудь и разрыдалась. Ах, Джо! Это было ужасно. Она плакала не так, как плачут женщины. В Хэвиленде я слышала, как плакал мужчина на похоронах брата,— вот так же плакала и она. Потом она немного пришла в себя. Сейчас с ней сестра... Ах, Джо, уедем отсюда!

А немного погодя Мэри сказала:

— Как вздыхают сегодня казуарины, Джо!

На следующее утро я поехал к Уоллу и попытался умиротворить старика, однако он был человек безжалостный и даже слушать ничего не хотел. Просто велел мне убираться с фермы: я был мелкий фермер, а он скваттер, и этого было достаточно. Но его сын Билли Уолл нагнал меня на дороге.

— Послушай, Джо! —сказал он.— Это же просто черт знает что! Из-за какой-то лошади! Этой несчастной женщине и так горя хватает. Пропало бы у меня двадцать лошадей, я бы и то на такое не пошел. Я постараюсь уломать старика, а если он и меня не послушает, скатаю свой свэг, и больше он меня на ферме не увидит.

Билл Уолл уладил это дело. Обвинение было снято, а Билла Спайсера мы отправили с гуртом.

Но бедная миссис Спайсер с тех пор очень изменилась. К нам она почти не приходила, если только Мэри сама не вытягивала ее; да к тому же теперь она говорила только о своей беде, и в конце концов ее визиты стали для нас мучением.

— Если бы только можно было скрыть все это — ради других детей,— говорила она.— Только о них я и думаю. Я старалась

сделать из них порядочных людей, и все-таки это, видно, моя вина. Позор — вот что меня убивает, я не вынесу позора.

Однажды в воскресенье я сидел дома вместе с Мэри и Мэгги Чарльзуорт — веселой девушкой, которая время от времени приезжала к нам с фермы Уолла (о Мэгги я расскажу вам в другой раз; Джеймс «вздыхал» по ней), и разговор зашел о миссис Спайсер. Мэгги прямо кипела, когда говорила о старом Уолле.

— Наверно, миссис Спайсер придет к нам сегодня,— сказала Мэри.— В последнее время ей, кажется, стало лучше.

— Смотрите-ка! — воскликнула Мэгги Чарльзуорт.— Да ведь это Энни бежит по берегу. Что-то случилось!

Мы все вскочили и бросились к двери.

— Энни! Что случилось?

— Ах, миссис Уилсон! Мама заснула, и мы никак не можем ее разбудить.

— Что?!

— Правда, миссис Уилсон.

— Сколько времени она спит?

— Со вчерашнего вечера.

— Господи! — вскричала Мэри.— «Со вчерашнего вечера»?

— Нет, миссис Уилсон, не все время; один раз она проснулась — сегодня на рассвете. Она позвала меня и сказала, что плохо себя чувствует и чтоб я подоила коров.

— И больше ничего не сказала?

— Нет, еще сказала, чтобы я не ходила к вам; чтобы мы покормили свиней и телят; и еще сказала — чтобы мы не забыли полить герани.

Мэри хотела пойти туда, но я не пустил ее. Мы с Джеймсом оседлали лошадей и поехали.

Миссис Спайсер нисколько не изменилась с тех пор, как я ее видел в последний раз, и мы не сразу поверили, что она умерла. Вот уж теперь ей действительно стало «все равно»...

НОВАЯ КОЛЯСКА НА ЛЕХИ КРИК

I

КАРТОШКА И ЖЕНСКОЕ УПРЯМСТВО

Мечта о большой коляске завладела Мэри чуть ли не с первых дней, как мы поженились. Дом, мебель — все это было не столь уж важно в нашей глухомани, а вот хорошая коляска и правда большое удобство в местах, где не увидишь ни железной

дороги, ни почтовых карет, и приходится трястись в жару по пыльным проселкам, которым нет конца. Поначалу у меня в запасе было несколько фунтов, и я собирался купить коляску, да только новые были ужасно дороги, а подержанную, которую я было присмотрел, у меня перехватили, так что Мэри подумала-подумала, а потом сказала: «Выкинь из головы эту коляску, Джо; купи мне швейную машину, и я буду очень рада. Пока что мне даже больше хочется машину, чем коляску. Подождем до лучших времен».

Однако и после этого разговора, стоило мне подрядиться на какую-нибудь работу: ставить изгородь или сарай для стрижки овец, насыпать дамбу или еще чего-нибудь делать — Мэри, бывало, непременно скажет: «Вот на эти деньги и купим коляску, Джо»; только все никак не получалось: то плохая погода, то болезнь. Один раз я поранил тёслом ногу и слег надолго, а в другой — не успел я закончить дамбу, как ее смыло наводнением. Мэри тогда сказала: «Ладно, Джо, не расстраивайся. Подождем до лучших времен». А вот когда я построил сарай и мне ничего не заплатили, то она сильно пригорюнилась: мы как раз присмотрели еще одну подержанную коляску и уже сговорились о цене.

Столярничать я любил, и дело, надо сказать, ладилось у меня неплохо. В свободное время я сделал из местного дерева твердой породы рессорную тележку, кузов и колеса, а железные части мне изготовил Малыш, наш кузнец. Покрасил я ее тоже сам. Может, она была и ненамного легче нашей телеги, но все же на рессорах, и Мэри делала вид, что вполне ею довольна; во всяком случае, какое-то время про коляску разговора у нас не было.

Тележку эту я продал за четырнадцать фунтов огороднику-китайцу — ему нужна была покрепче, чтобы развозить овощи по окрестному бездорожью. Произошло это как раз перед тем, как появиться нашему первенцу; Мэри я сказал, что лишние деньги не помешают — мало ли какие будут расходы, а она не больно-то и печалилась по этой тележке. На самом же деле я намеревался сделать еще одну попытку и подарить Мэри коляску в честь рождения нашего первенца. Я думал все устроить, пока она будет лежать в постели, и ничего ей не говорить, пусть сначала поднимется на ноги, а тогда уже привести ее в сарай и показать коляску. Но ей, бедняжке, было очень худо, и мне пришлось все время приглашать доктора и нанять настоящую сиделку, и много еще было всяких расходов, так что все мои планы насчет коляски полетели кувырком. Надо сказать, я тогда очень настроился и ясно представлял себе, как однажды утром, когда Мэри совсем оправится и встанет с постели, я скажу ей: «Пойди-ка загляни в сарай, Мэри. Я там купил тебе несколько несушек»,— или что-нибудь в этом роде, а сам пойду за ней следом, чтобы посмотреть,

какое у нее лицо будет, когда она увидит коляску. Мэри я так никогда про это и не рассказал — зачем ее зря расстраивать.

Позднее я обзавелся хорошим материалом — дали мне всяких обрезков — и сколотил хороший, легкий кузов для двуколки. Как раз в ту пору Гэллетли, каретных дел мастер из Кэджгонга, получил партию американских колес из пекана для легких экипажей и предложил мне пару по твердой цене плюс стоимость перевозки. Он же мне сделал и все металлические части, а покрасил так и вовсе бесплатно. Отправил он ее нам так: прицепил к большому фургону Тома Тэрранта, чтоб получилось торжественней. Некоторое время мы куда как важничали в этой двуколке, и до той поры, пока, года два спустя, мы не поселились на Лехи Крик, о коляске я ничего не слышал.

Я уже вам рассказывал, как занялся извозным делом и приобрел участок на Лехи Крик — для выпаса лошадей, ну и чтоб посеять кое-что — и перевез туда из Гульгонга Мэри с Джимом, да еще прихватил ее брата Джеймса, порядочного лоботряса, чтобы им было не так скучно, пока я в отъезде. В первый год работы у меня было хоть отбавляй, только мне она не очень-то нравилась — уж больно дальние были дороги, да и тревожился я очень, стоило мне уехать из дома. Для холостого мужчины, может, игра и стоила свеч, правда, и для женатого тоже, если дома его пилит жена и его тянет к покою и тишине (здесь, в глуши, у многих женщин портится характер, бог им прости). Да еще по моему примеру вскоре и другие пошли в возчики, а каретных дел мастер из Кэджгонга построил еще один большой рессорный фургон — такой вместительный, что почти все легкие грузы он один и забирал.

Но в следующем году я напал на золотую жилу и неплохо заработал — и на чем, на картошке! Это все Мэри придумала. В дальнем конце нашей фермы — Мэри называла это место «лужком» — протекал так называемый Змеиный ручей, очень мелкий. В жаркие месяцы он пересыхал, и оставались от него два-три грязных бочажка, а у его устья, там, где он впадал в Лехи Крик, на нашей стороне шла полоса хорошего чернозема, акра на три. Когда я приобрел ферму, низинка эта была почти совсем чистая, только валялось два-три дерева, которые, видно, занесло сюда «большим потопом» еще в туземные времена, и как-то, между двумя поездками, взял я лошадей и цепи, сволок эти деревья — те, что не годились на доски для изгороди — в одну кучу, да и сжег их. У меня была мыслишка вспахать низинку и засеять ее люцерной. Возле самой низинки, в излучине ручья, где росла купа молодых дубков, был бочаг побольше, и в жаркую погоду Мэри, бывало, грузила на двуколку табуреты, лохани и котел и отправлялась туда со стиркой — под деревьями было прохладнее

и до воды рукой подать, не надо таскать ее в дом. Однажды вечером, кончив стирку, она сказала:

— Знаешь, Джо, по-моему, здешние фермеры просто не способны придумать ничего нового. Они даже и не пытаются угадать, а на что в этом году будет спрос, знай себе сажают одно и то же из года в год. Все, кого тут ни возьми, сеют пшеницу, и если она выйдет в колос, жнут ее и молотят, а если нет, косят на корм скоту, да и то еще надо, чтоб хватило ума вовремя сообразить. А я вот смотрю на лужок, что ты расчистил, и думаю: неплохо бы достать мешок семенной картошки, вспахать весь участок — Корни Джордж за это дорого не возьмет — и посадить ее, да поскорее. Картошка у нас в округе последние два года была в цене.

Я сказал ей, что она несет чепуху, что земля тут под картошку не годится — вся местность очень сухая.

— Все, кого ни возьми, в свое время пробовали, и ничего из этого не вышло,— сказал я.

— Надо и тебе попробовать тоже, Джо,— сказала Мэри.— Посади хоть один раз. Может, на целый месяц зарядит дождь, и ты тогда пожалеешь, что не послушал моего совета.

— Но говорят же тебе: земля тут под картошку неподходящая.

— Откуда ты знаешь? Ты ведь еще не сажал.

— Я копал и смотрел. Земля тут тощая и очень сухая, под картошку нужна куда более влажная. Или, по-твоему, я в земле ничего не понимаю?

— Но картошку ты никогда еще не сажал, Джо. Как же ты можешь знать...

Больше я слушать не стал. Если уж Мэри заберет что в голову, ее не переспоришь. Стоит на своем, и все тут. Сколько ее ни убеждай, она только хмурит брови и говорит себе, говорит, словно меня тут и нет вовсе. Очень это меня злило. А она все наседает и наседает, пока я либо совсем не потеряю терпение, либо соглашусь с ней,— а чаще всего бывало одно и другое вместе.

Я достал трубку и вышел покурить, чтобы поостыть немного.

Спустя пару дней после картофельной перепалки я должен был ехать в Кэджгонг за проволокой для изгородей. Поцеловал я Мэри на прощание, а она говорит:

— Слушай, Джо, если ты привезешь мешок семенной картошки, мы с Джеймсом ее порежем, а Корни Джордж доставит нам на подводе свой плуг и вспашет тот кусок, можно сказать, задаром. Посадим мы ее сами, лишь бы земля была вспахана.

А я-то думал, что она уже забыла про эту картошку! Спорить с ней снова не было времени — я бы наверняка не сдержался, а потом либо целый час успокаивал Мэри, либо уехал бы, как

женщины говорят, «совсем осатанев», а потом мучился бы всю дорогу. Поэтому я сказал, что все сделаю. А Мэри еще раз крепко меня обняла и поцеловала.

— Только смотри не забудь, Джо,— говорит она, когда лошади уже тронулись.— Обдумай все как следует в пути.

Тут, пожалуй, последнее слово осталось за ней.

Проехал я миль пять, и как раз поворачивал на большую дорогу, как вдруг слышу кто-то скачет следом за мной, а потом вижу: Джеймс на своей каурой. Сердце у меня так и екнуло: не иначе дома что-то случилось. Помню, когда я отправился в дорогу в первый раз и оставил Мэри в этой глуши, миль пять-шесть я только и думал, как бы повернуть назад, да боялся, что Мэри меня засмеет.

— В чем дело, Джеймс? — закричал я, хотя он еще не подъехал, а потом заметил, что он ухмыляется.

— Мэри сказала, чтоб ты не забыл привезти мотыгу.

— А ну, поворачивай назад! — гаркнул я.— Не то так огрею кнутом, что не обрадуешься. И никогда больше не мчись за мной сломя голову, будто в доме пожар.

— Чего ты на меня орешь? — сказал он.— Мне бы эту мотыгу в глаза не видать.

И повернул обратно.

Я тогда и вправду все обдумал про картошку, хотя поначалу и не собирался. Знавал я в наших местах одного человека, который все делал по собственному разумению и здорово разбогател на одном хорошем урожае картофеля, только было это давно, в «ревущих пятидесятых», а точнее, в пятьдесят четвертом, когда по причине золотой лихорадки цена на картофель в Сиднее подскочила до пятидесяти шести шиллингов за центнер. Как знать, вдруг с дождем действительно повезет, а посадить картошку дорого не встанет. Будет урожай, положу в карман десяток-другой фунтов, не будет — пусть-ка тогда Мэри попробует ко мне подступиться, если ее опять осенит какая-нибудь идея, не относящаяся к ее кастрюлькам и стирке; да и мне будет повод поворчать, коли вдруг придет такое желание.

Я купил пару мешков картошки (останется что-нибудь, так съедим) и еще небольшой плуг и борону — они валялись во дворе у нашего кузнеца, и он отдал их мне совсем дешево, всего на фунт больше, чем я сказал Мэри. Так со мной всегда получается: если уж послушаюсь чьего-нибудь совета, так даже чересчур, либо все переиначу на свой лад. От тщеславия, наверно: если картошка уродится, значит, тут, мол, и моя заслуга есть — эти вот плуг и борона. (Почему-то мне не пришло в голову, что в случае неурожая Мэри повернет плуг и борону против меня,— ведь старик

Корни вспахал бы всю полосу за десять — пятнадцать шиллингов.) А вообще-то, решил я, плуг и борона со временем мне все равно понадобятся, отчего же не приобрести их сейчас, хоть будет чем занять Джеймса.

Обратно я отправился по западной дороге, мимо Гантуонга, и к дому подъехал со стороны речки. Первым, кого я увидел, был старик Корни Джордж — он распахивал нашу низину. А Мэри стоит на бережку и отдает распоряжения. Тут же и Джеймс с нашими запасными лошадьми и цепями: ему Мэри определила расчищать от всех кустиков и коряг каждую следующую полосу под борозду. Вид у старика Корни довольно сердитый — как выяснилось, он обломал о коряги чуть не все лемеха; да и Джеймс тоже мрачноватый. На голове у Мэри старая фетровая шляпа, на ногах — мои новые сапоги с резинками, все в глине, потому что она как раз спускалась к Джеймсу, чтобы поторопить его убрать гнилой пень до того, как Корни повернет на новую борозду.

— Хочу разносить их немного для тебя, Джо,— сказала Мэри.

— Ладно,— сказал я,— ругать я тебя не собираюсь.

Сапоги эти давно у нас были предметом раздора, только обычно она успевала их снять до моего приезда.

Тут она увидела в фургоне плуг и борону и помрачнела, но я сказал, что все правильно, все равно в хозяйстве нужен плуг.

— Мне казалось, ты хочешь, чтобы землю вспахал Корни,— сказала Мэри.

— Я этого не говорил.

— Но когда я послала Джеймса догнать тебя и сказать про мотыгу, чтобы нам потом посадить картошку, ты ведь не отказался ее привезти,— настаивала Мэри.

У меня выдалось несколько свободных дней, и я вдруг вошел в азарт. После Корни мы с Джеймсом еще раз перепахали землю, а потом выкорчевали парочку пней у верхнего конца полосы, убрали большое бревно и весь кустарник да распахали еще чуть не целый акр. Джеймс все это делать умел, он вообще работал как вол, пока что-то было ему в новинку, любил пахать, ставить изгороди, в общем, всякую работу, на которой можно себя показать. А вот корчевать пни или ошкуривать бревна и слеги ему было неинтересно. Весь вечер мы резали картошку, и Мэри то и дело покрикивала на Джеймса, что он режет по «глазкам». Мотыжить нам было уже некогда, да и Джеймса бы не уговорить, потому как не в новинку; я просто еще раз прошелся плугом, а они шли за мной и бросали в борозду картошку; я провел вторую борозду, чтобы засыпать картошку, потом прошелся бороной. По-моему, после этого и окучивать не надо; так же я и с кукурузой сделал, которую посеял позднее.

Дождь лил как из ведра целую неделю да и потом поливал словно по заказу, и мы сняли небывалый для этих мест урожай картофеля. В первое время Мэри частенько поднималась на рассвете и бегала взглянуть, взошла ли картошка, а каждый раз, когда я уезжал с грузом, писала про нее все новости. Я уже забыл, сколько тогда мешков накопал, но все, кто в наших местах в тот год посадил картошку, отправляли ее на продажу в Сидней, а там она поднялась до двадцати пяти — тридцати шиллингов за центнер. За свою я тоже порядком выручил и к тому же сэкономил на перевозке, потому как фургон-то у меня свой. Вот тогда-то до Мэри (через Джеймса) стали доходить слухи то про коляску, которую кто-то собирался продать по сходной цене, то про бричку, от которой еще кто-то хотел избавиться. А она, как бы между прочим, сообщала об этом мне.

II

К ДЖО УИЛСОНУ ПРИШЛА УДАЧА

Трава на моих выгонах весь год была лучше некуда. Почти даром я купил голов двадцать бычков, которые еле держались на ногах от голода, и пустил их на пастбища. Ну, они скоро нагуляли мяса, и мой свояк (муж сестры Мэри), владелец бойни в Гульгонге, дал мне за них хорошую цену. Он гонял свои фургоны за двадцать — тридцать миль — в Хоум-Рул, Хэппи-Вэлли, Гантуонг, Таллауонг и Куйял, где еще оставались маленькие приски — жалкие осколки золотой лихорадки,— и получал неплохой доход.

После продажи бычков Мэри прослышала о легкой американской линейке с открытым длинным таким кузовом и решила, что ей ничего другого и не надо.

— Это лучше, чем коляска, Джо,— сказала она.— Больше места для детей, а когда у нас прибавится коров, я смогу возить масло и яйца в Гульгонг или Коббора.

Вскоре Джеймс узнал о том, что какой-то незадачливый мелкий фермер неподалеку от Талбрагара, который чуть было не уморил голодом всю свою живность, желал бы избавиться от небольшой отары овец. Джеймс считал, что он отдаст их дешево — по полкроне за голову, не дороже. А у нас как раз прошли сильные дожди — только у нас и больше нигде,— тучи из-за гор так над нашей долиной и остановились.

— Жаль смотреть, как попусту пропадает такая прекрасная трава, Джо,— сказала Мэри.— Может, нам попытать счастья и взять этих овец? Оставь-ка мне денег, и я пошлю за ними Джейм-

са. И бог с ней, с этой коляской,— купим, когда твердо станем на ноги.

Кончилось дело тем, что Джеймс оседлал коня, поехал в Талбрагар, выторговал у этого бедняги все, что мог, и пригнал овец домой. Отара была голов на двести, барашки и ярочки, все молоденькие и вроде бы хорошей породы, но такие исхудавшие, что еле-еле доплелись; ну да скоро они поправились. Повсюду вокруг жгла засуха, и мне казалось, что мой уголок у самых гор — единственное место, где еще держится мало-мальски сносная трава. Прошли еще два или три хороших дождя, и трава еще больше зазеленела и пошла в рост. Мои приятели стали говорить, что к Джо Уилсону пришла удача.

Я бы с радостью сам остриг тех овец, но у меня времени не было строить сарай и готовиться к стрижке — под рождество с перевозками только поспевай. В Сиднее цена на нестриженых баранов держалась от тринадцати до шестнадцати шиллингов, поэтому я условился отправить их от Гэнтуонга по железной дороге вместе еще с чьими-то овцами и отрядил Джеймса сопровождать их. Он погнал овец по западной дороге, а под Гэнтуонгом их приметил какой-то богатый фермер — то ли он хотел увеличить свою отару, то ли руно ему понравилось. Ну, он и предложил за овец Джеймсу столько, сколько, как он полагал, я бы выручил в Сиднее после того, как расплатился бы за перевозку, с агентами и с аукционистом. Джеймс загнал овец к нему в овчарню и поскакал домой. Ему бы лишь куда-то скакать, тут его упрашивать не надо. Я сказал ему, чтобы продавал. Джеймс заработал на этом гринеровское охотничье ружье и починил себе седло.

Я приобрел еще два участка по сорок акров — один на имя Джеймса, чтобы он веселее их огораживал. А ниже по ручью в сторону гор тянулся клин отличной земли — все думали, что он принадлежит скваттеру Уоллу, но Мэри пришла в голову новая идея, и она отправилась в земельное управление и выяснила, что это собственность государства и земля никем не занята. Ну, я и арендовал этот клин под пастбище и прикупил еще овец — из того последнего стада я все-таки оставил себе самых ладных ярочек.

Как-то вечером — наутро я должен был ехать за проволокой для собственных изгородей — Мэри сказала:

— А знаешь, Джо, Меттьюсы купили четырехместную бричку.

Меттьюсы жили рядом с большаком, и ферма у них была вовсе никудышная, хотя семейство большое. Мне они не очень-то нравились: хотя про мать и девушек ничего плохого сказать было нельзя, но сыновья все непутевые.

— Ну и что с того? — спросил я.— Они по уши в долгах и ютятся в какой-то хибаре из корья, словно аборигены. Пусть себе на здоровье шикуют в этой бричке.

— Да я не о том,— перебила Мэри,— Джеймс говорит, они хотят продать старую бричку. Больше шести-семи фунтов они не возьмут, а ты ее подправишь.

— Чтоб Джеймсу пусто было,— говорю я.— Неужто у него другого занятия нет, как мотаться по округе и собирать всякие дурацкие сплетни про брички?

— Так-то оно так,— говорит Мэри,— только без Джеймса ни бычков, ни овец нам бы не видать.

Слово за слово, и мы наговорили друг другу такого, чего на самом деле не думали, только забывается это потом не скоро. Я сказал, что стараюсь устроить настоящий дом для нее и для детей, а она тянет меня назад, едва я высуну голову над водой; это ее очень обидело, и она прошлась насчет тех «домов», в которых ей приходится жить, с тех пор как она вышла за меня замуж. А это уже было мне как ножом по сердцу.

Ужасная это была ссора, пожалуй, так еще не бывало. Когда она начала плакать, я надел шляпу и ушел из дома и стал ходить по берегу. Я несправедливости терпеть не мог, и так она меня задевала, что иной раз я и сам бывал несправедлив. Но в тот час я старался убедить себя в собственной правоте и не мог, а даже если бы и смог, лучше бы мне от этого не стало. Я все вспоминал о том, как Мэри жила тут первый год и вообще, как она жила с тех пор, как мы поженились.

Когда я вернулся в дом, она уже так наплакалась, что заснула. Я наклонился над ней.

— Мэри! — шепнул я.

Она как будто проснулась.

— Джо, Джо! — сказала она.

— Что, Мэри? — спросил я.

— Теленок старой Пятнашки остался во дворе, я точно знаю. Пусть Джеймс поскорей его загонит.

Теленку старой Пятнашки было теперь уже два года,— значит, ей снился тот первый год.

Потом, когда я рассказал ей об этом, мы посмеялись вместе, однако в ту минуту мне было не до смеха.

В ту ночь она еще раз позвала меня во сне:

— Джо, а Джо! Поставь коляску под навес, а то лак от солнца потрескается.

Если бы я только мог сказать, что в последний раз тогда обидел Мэри!

На следующее утро я встал пораньше, поджарил грудинку,

вскипятил чай и отнес завтрак Мэри в постель — как я делал, когда мы только поженились. Она ничего не сказала — только обняла меня за шею и поцеловала.

Я уже совсем собрался уехать, а Мэри говорит:

— Ты бы прицепил к телеге нашу двуколку — надо бы затянуть ободья на колесах, они вот-вот совсем соскочат, Джеймс просто устал клинья под них забивать. Последний раз, когда я выезжала с детьми, мне пришлось камнем подбивать обод на место. Так недалеко до беды.

Ну, привязал я оглобли двуколки под задник фургона и, боже мой, до чего же нелепо и жалко она выглядела — точно человек в наручниках бредет, согнувшись, вытягивая вперед руки.

День был унылый, вдоль дороги темнели хмуро нескончаемые заросли, и меня одолели всякие мысли. Все вроде бы шло у меня неплохо, и все же порой я не мог удержаться от грустных раздумий — словно камни пасиживал, как наша старая курица. Подумаешь, подумаешь, и выходит, что я был счастливее, когда мне приходилось совсем туго — да и добрее тоже. Когда весь мой капитал состоял из десяти фунтов, я куда скорее раскошеливался, если какой-нибудь парень говорил: «Одолжи мне фунт, Джо»,— чем в ту пору, когда стало у меня их пятьдесят — я тогда начал сторониться беспечных ребят, порастерял друзей, которых мне потом так недоставало, и прослыл скаредом. Получу хороший чек да трясусь над ним, как последний скупец, и никак первые десять фунтов не потрачу, а уже потом, когда деньги к концу, что-нибудь для дома покупаю. Вот теперь, кажется, дела идут вполне хорошо, а я по-прежнему над каждым фунтом трясусь. Ну, да и то сказать, чем дальше я уходил от бедности, тем она мне страшнее казалась. К тому же перед всеми тут маячил страшный призрак засухи — выгоревшие луга, голые и пыльные, как дорога, повсюду у пересохших речушек гниют павшие овцы и коровы.

В тот вечер в Гульгонге у меня был долгий разговор с сестрой Мэри и ее мужем, и я немного повеселел. Такой вот родственник по жене бывает порой ближе, чем брат родной. Том Тэррант объяснял, что это, мол, душевная близость.

Но пока мы беседовали, я все вспоминал Мэри, как она сидит там в нашем домишке у речки и не с кем ей поговорить, кроме детей или Джеймса, а уж из него дома слова не вытянешь, и еще, может, с Черной Мэри или с Черным Джимми (родителями черного мальчугана, дружка нашего Джима), с ними по душам тоже вряд ли потолкуешь. Или, может, с соседками-фермершами (а до ближней фермы от нас пять миль), у них же только и разговору что про ягнят, стрижку и готовку, да еще что она сказала своему старику и что он ей, ну и про все свои хворобы, каждый раз заново.

Просто чудо, как это Мэри еще с ума не сошла, лично я бы от такого разговора через час совсем спятил.

— Если бы у Мэри была удобная коляска, она могла бы приезжать к нам с детьми почаще,— сказала сестра Мэри.— Тогда бы ей не было так одиноко.

Тут я сказал «спокойной ночи» и отправился на боковую. Никуда мне было не деться от этой коляски. Уж если свояченица намекает — значит, они сговорились, не иначе.

III

МНЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗРАК И О МНОГОМ НАПОМИНАЕТ

В Кэджгонге я первым делом заехал в мастерскую к братьям Гэллетли, чтобы оставить у них двуколку. Гэллетли были славные ребята, один каретник, а другой шорник, и оба дюжие, рыжебородые — говорили, что в нашей округе с ними никто сравниться не мог ни силой, ни ростом.

Отец у них недавно умер и оставил им порядочные деньги — они держали подручных, а сами работали, только когда им хотелось или когда получали специальный заказ, потому что таких мастеров поискать. Я пошел в покрасочную мастерскую взглянуть на пароконную коляску. Ее заказал кто-то, только наличными сразу заплатить не смог, а на слово Гэллетли ему не поверили.

Коляска стояла за ситцевой ширмой — такую ширму ставят от пыли. Что говорить, отличная коляска — дышло, оглобли, на сиденьях подушки, кнут, фонари — все как положено. Если хотите запрячь одну лошадь, снимите дышло и поставьте оглобли — и, пожалуйста, впрягайте одну. Над передним сиденьем можно поставить парусиновый верх; если вас всего двое, заднее сиденье складывается — и получается очень славная просторная коляска на двоих. Такая красавица наверняка стоит не меньше пятидесяти фунтов.

Пока я ее разглядывал, подошел Билл Гэллетли и хлопнул меня по спине.

— Редкий случай, Джо, смотри не упусти! — сказал он.— Я ведь приметил, как ты разглядывал эту коляску, когда был у нас прошлый раз. Лучше ты нигде не сыщешь, а другая такая у нас не скоро появится — невыгодно с ними возиться, они себя не окупают. А ты теперь настоящий скваттер, и пора уже тебе катать маленькую Мэри в собственной коляске, хватит ей скучать одной дома или трястись по пыли в какой-нибудь старозаветной колымаге.

Семейство Гэллетли знало Мэри еще девочкой, потому он и называл ее «маленькой Мэри».

Я почесал в затылке и опять посмотрел на коляску. Соблазн был велик.

— Вот что, Джо,— сказал Билл Гэллетли уже серьезнее,— тебе я с этой коляской поверю. Забирай ее сейчас же, а чеки можешь посылать, когда у тебя будет что послать — постепенно, хоть целый год, а то и два. Ты ведь себя не жалеешь, баклуши не бьешь, а мне с деньгами не к спеху, пока обхожусь.

Хорошие они были ребята, эти Гэллетли, но в людях разбирались. Я-то знал, что Билл Гэллетли не позволил забрать из мастерской коляску тому молодчику, который ее заказывал, раз он не выложил всю сумму наличными, а тот, между прочим, в здешних местах был воротилой. Однако мне от этого было не легче.

Тут как раз в мастерскую заглянул Роберт Гэллетли. Братья были очень похожи, только Роберт держался посолиднее.

— Послушай, Боб,— говорил Билл,— вот тебе случай избавиться от той сбруи, что ты сделал на заказ. Похоже, Джо Уилсон собирается забрать коляску.

Боб Гэллетли поставил ногу на верстак, вынул руку из кармана, упер локоть в колено, а подбородок в ладонь и зажал в кулаке свою косматую бороду, как он это всегда делал, когда ему хотелось подумать. Потом он опустил ногу, сунул руку обратно в карман и сказал мне:

— Ну что ж, Джо, я ведь для того молодчика сделал два комплекта сбруи, будь она неладна, эта коляска, и если ты пожелаешь, я их тебе отдам. Вот Билл вытянет из тебя все, что сможет, тогда уж и я за тебя примусь. Он-то у нас известный кровопийца, право слово.

Я сдвинул шляпу на лоб, почесал затылок и уставился на коляску.

— Пошли в «Королевский отель», Джо,— сказал Боб.

Но я знал, что за пивом дело сразу сладится, а потому сказал, что сначала мне надо отвезти шерсть на станцию и все обдумать, а выпьем, когда я вернусь.

Я и думал, пока ехал до станции, но только ничего у меня не получалось. Я ведь хотел прикупить овец и огородить новый выгон, да еще пришел срок очередным взносам за аренду. К тому же мне нужна была уйма вещей, без которых я никак обойтись не мог. И еще одно: чем дальше я уходил от долгов и нужды, тем больше я их боялся. Пара лошадей у меня была, но пришлось бы купить еще одну, и выйдет, что коляска на круг обойдется не в пятьдесят, а чуть не в сто фунтов. Вдруг засуха, а у меня эта коляска на шее. К тому же мне хотелось передохнуть. Если я возь-

му коляску, значит, опять придется приналечь. Нет, уж лучше свожу Мэри в Сидней — и хватит с нее.

В общем, я все решил и уже поворачивал к большим белым воротам во двор пакгауза, как вдруг меня обогнал скваттер Блэк в новом большом фаэтоне с женой и кучером и грудой чемоданов, пледов и прочей клади. Дело было перед рождеством, и, как видно, они покатили на праздники в Сидней. Это был тот самый молодой Блэк, который так обхаживал Мэри,— она у них служила до того, как умер старик,— и если бы не подвернулся я и если бы девицы не питали слабость к бродягам — быть бы теперь Мэри хозяйкой Хэвилендской усадьбы и работали бы за нее слуги. Что и говорить, барыня из нее вышла бы получше, чем нынешняя. На все праздники ездила бы в Сидней, жила бы в старом «Королевском отеле» в такой роскоши, какую только женщина может пожелать, и каждый вечер ходила бы в театр. А я бы слонялся с фермы на ферму где-нибудь в глуши или, может, давно бы спился.

Блэки не заметили, что я проехал мимо, обтрепанный и запыленный, в старой почернелой шляпе, надвинутой на глаза. Обычно-то я на них плевал, да и на всех прочих тоже, но иногда на меня что-то находит и я очень все переживаю.

Из пакгауза как раз выезжал большой блэковский фургон, и всзница, огромный, чернявый детина, как видно, с примесью иностранной крови, ехал по самой середине дороги и, судя по всему, даже и не думал посторониться. Я остановил лошадей и стал ждать. Он смотрел на меня, я на него — не отводя глаз. Потом он, насупившись и обругав лошадей, взял в сторону. Лет шесть-семь назад я его порядком изукрасил, и он этого не забыл. А я в ту минуту не прочь был изукрасить кого угодно.

Приемщик в тот день, наверно, понять не мог, какая муха укусила Джо Уилсона. А я думал о Мэри, там, в одиноком домишке на берегу ручья в дремучей глухомани,— а как еще назвать наши места? — о Мэри, которой не с кем словом перемолвиться, если не считать двух-трех соседок, худых как жерди, замученных работой, которые наведывались к ней по воскресеньям. Я вспомнил все беды, что свалились на нее в первый год,— о них я еще не рассказал: о том, как она заболела, когда я был в отъезде, и не с кем было даже посоветоваться, о том, как заболели сразу и Джеймс и Джим, когда меня опять не было; о том, как мужественно она переносит одиночество. Я думал о Мэри, под палящим солнцем, в старом ситцевом платье, фетровой шляпе и моих сапогах,— ведь она не только дом вела и за Джимом приглядывала, а и всю работу на ферме делала. И щеки у нее западали все больше, и румянец бледнел. И тут мне вспомнились все тамошние женщи-

ны — костлявые, ко всему равнодушные, потерявшие всякую надежду женщины, с кирпичного цвета лицами и скрипучими голосами — а ведь некоторые из них были не многим старше Мэри.

Когда я вернулся в город, мы с Биллом Гэллетли выпили в «Королевском отеле» — и с коляской все было решено; потом пиво заказал Боб, и я взял сбруи. Потом заказал я, и мы вспрыснули сделку. Когда я уезжал, Боб сказал:

— Присылай сюда этого бездельника, своего шурина, с лошадьми. Если хомуты не подойдут, я их подгоню, как надо, и прилажу.

Мне показалось, что оба они жали мою руку крепче, чем всегда, но, может, пиво было тому причиной.

IV

КОЛЯСКА ПРИБЫВАЕТ ДОМОЙ

Первые миль двадцать я было совсем повесил нос, а потом подумал: а что, собственно, случилось? Что толку во всем себя урезывать до самой старости, когда от денег и радости-то никакой нет? Если уж дела у нас пойдут под гору, так в коляске туда, пожалуй, не хуже скатиться, чем в телеге,— люди хоть посудачат немного, а то и посочувствуют. Теперь Мэри сможет почаще выбираться из нашей несчастной дыры, да и поездки в Сидней отменять не придется. Можно будет доехать до Уоллеруонга — там у Мэри есть какие-то родственники, и оставить у них коляску и лошадей, а дальше отправиться поездом. А то по старой почтовой дороге — через Голубые горы — отлично можно прокатиться! Свояченице в Гульгонге я решил сообщить о своей покупке, но я сказал, что буду держать все в секрете от Мэри, пока коляска не приедет домой. Ей это очень понравилось, и она сказала, что отдала бы все на свете, лишь бы самой приехать с этой коляской и увидеть, как Мэри вытаращит глаза, да вот только куда же она от своего меньшенького поедет. Я-то был доволен, что она не может поехать,— все-таки сюрприз получился бы не тот. Мне ни с кем этой радостью делиться не хотелось.

Домой я вернулся на следующий день под вечер и после чая, рассказав Мэри все новости и наврав что-то, почему я вернулся без двуколки, я пошел с Джеймсом посидеть на бревнах — мы всегда там курили и болтали — и все ему выложил. Он присвистнул, потом сказал:

— Но зачем же тебе такой огород городить? Сказал бы лучше сразу, это ее развеселит, а то она уж очень грустная ходила, пока тебя не было.

— Хочу, чтобы это был для нее сюрприз,— сказал я.

— Ну что ж, в такой дыре это, конечно, приятно, хотя меня, например, ничем не удивишь. А вот скажи, как же мне объяснить Мэри, зачем мне понадобились две лошади? Ведь чтобы привезти двуколку, нужна только одна, а она, конечно, спросит.

— Скажи, что вторую нужно подковать.

— Да ее подковали всего два дня назад. Про лошадей Мэри все знает не хуже нас с тобой. Я, конечно, могу соврать — дело не хитрое,— но так, чтобы соврать разок, и хватит. А Мэри задает столько вопросов...

— Ну, так отведи другую лошадь пораньше к ручью, заберешь ее, когда поедешь.

— Я-то отведу, а ведь она спросит, почему я беру две уздечки. Ну да ладно, я все устрою, не беспокойся.

— И вот еще что, Джеймс,— сказал я,— купи кусочек замши и губку — все равно они нам понадобятся — и вымой коляску у ручья, когда будешь подъезжать к дому. Она наверняка запылится.

— Хо! Ну ладно.

— И если сможешь, подгадай так, чтобы приехать под вечер, когда прохладнее, или на закате.

— Это еще зачем?

Я решил, что будет лучше, если коляска появится под вечер, когда спадет зной и у Мэри будет время порадоваться вволю, а не в утреннюю жару, когда солнце палит, будто уже полдень, а впереди долгий хлопотный день.

— Нет, зачем тебе надо, чтобы я приезжал под вечер? — допытывался Джеймс.— Хочешь, чтобы я поспал в лесочке, а потом заявился, как какой-нибудь бродяжка?

— А, да приезжай хоть ночью, если тебе так хочется!

Мы немного помолчали — просто сидели и попыхивали трубками. Потом я спросил:

— Ты про что думаешь?

— Про то, что пора тебе купить новую шляпу, а то больно солнце тебе макушку припекает через старую-то...

Джеймс отскочил в сторону, чтобы я до него не дотянулся, а потом побежал загонять телят. Перед тем как лечь спать, он сказал:

— Ну а мне что за это перепадет?

Он давно уже приглядывался к двустволке в Кэджгонге у оружейника Франка — один ствол нарезной, другой — под дробь.

— Сколько Франка хочет за это ружье?

— Пятнадцать фунтов десять шиллингов, но, может, он засчитает мою одностволку. В крайнем случае уступлю мою одно-

стволку Филу Ламберту, за пару фунтов, не меньше. (Фил был его закадычный дружок.)

— Договорились,— сказал я.— Только поторгуйся хорошенько.

Утром он сам приготовил себе завтрак и выехал пораньше, чтобы Мэри не надавала ему еще поручений и наставлений — вдруг она вечером что-то забыла. Ружье он взял с собой.

Я всегда считал, что только круглый дурак не способен сохранить секрет от своей жены — значит, и сам он вроде бабы. Зато теперь понял, каково это. Те три дня, что я ждал коляску, были самыми долгими в моей жизни. Я злился на всех и на все на свете, а страдала от этого Мэри. Чтобы как-то убить время, я починил крышу, подправил загородку, привел в порядок всю упряжь и на третий день утром оседлал лошадь и отправился на гору присмотреть деревья для изгороди. Помню, как я спешил обратно, потому что вдруг испугался, что коляска приедет без меня.

За чаем я завел разговор о колясках.

— Ну зачем тебе двухместная коляска, Мэри? — спрашиваю.— А если ты захочешь взять с собой детей?

— Усядутся на полу, у нас между колен. Так все люди делают. Постелю им одеяло или шкурку опоссума, чтобы было удобно.

Но говорила она как-то равнодушно, не то, что прежде, когда я про коляску и слышать не хотел. У них, у женщин, всегда так. Ну да, правда, бедняжка, устала и не очень хорошо себя чувствовала, и дети что-то куксились. Вид у нее был совсем унылый.

— И не надо говорить о коляске, Джо,— сказала она. (В эту минуту мне как раз почудилось, что я слышу стук колес.) Все равно мы ее не купим. Не знаю, зачем ты завел этот разговор сегодня. И не сердись, Джо, я не хотела тебя обидеть. Подождем немного, а потом купим большую коляску, раз уж ты так решил. У нас еще столько времени, чтобы все обсудить.

После чая, когда малыши улеглись спать и Мэри перемыла посуду, мы сели посидеть на веранде. Мэри шила, а я курил и смотрел на дорогу.

— Почему ты молчишь, Джо? — спросила Мэри.— Ты со мной теперь почти не разговариваешь, из тебя словечка не выжмешь. На что ты сердишься, Джо?

— Просто мне нечего сказать.

— Найди что-нибудь. Подумай, мне-то каково? Ты чем-то расстроен? Опять что-нибудь случилось? Лучше расскажи мне все и перестань терзаться и раздумывать, ведь нам обоим от этого только хуже. Раз ты мне никогда ничего не рассказываешь, как же я сумею тебе помочь?

Я сказал, что ничего особенного не произошло.

— Но должно же что-то быть? Отчего ты сегодня такой? Напился, что ли, в городе? Или опять играл?

Я спросил, какое она еще придумает обвинение.

— И потом, я вот о чем хотела с тобой поговорить...— продолжала она.— Пожалуйста, не хмурь лоб, Джо, и выслушай меня спокойно...

— В чем дело?

— Прошу тебя, не ругайся при детях. Знаешь, маленький Джим сегодня — он чинил свою тележку и что-то у него не ладилось,— он... он...

— Ну, что он сказал?

— Он... (Она опять запнулась — как видно, удерживалась, чтобы не рассмеяться.) Он сказал: «Чтоб тебя...»

Я не мог не рассмеяться. Мэри старалась сохранить серьезность, но у нее ничего не получилось.

— Не беда, старушка! — сказал я, обнимая ее за плечи, потому что губы у нее дрожали и, может быть, она плакала, а не смеялась.— Не всегда же так будет. Потерпи, дай набраться сил.

И как раз в эту минуту появился черный мальчишка, который жил у нас (я вам как-нибудь расскажу о нем),— он подвигался бочком вдоль стены, бедняга, как будто боялся, что кто-нибудь его ударит. А ведь я-то его ни разу пальцем не тронул.

— Что такое, Гарри? — спрашивает Мэри.

— Едет... Коляска едет.

— Где коляска?

Он показал в сторону ручья.

— Ты уверен, что это коляска?

— Да, хозяйка.

— А лошадей сколько?

— Одна... две.

Мы знали, что он слышит и видит задолго до того, как услышим и увидим мы. Мэри сбежала с крыльца во двор, влезла на груду бревен и, приставив ладонь ко лбу, хотя солнце уже зашло, стала вглядываться в ту сторону, где между бесконечных серых стволов вилась дорога.

— Кто-то едет к нам в коляске, Джо! — крикнула она взволнованно.— А обе мои белые скатерти неглаженые. Гарри! Поставь утюги на плиту и подбрось дров, да поживее. Хорошо еще, что я припрятала новые простыни. Вставай, Джо! Что ты там сидишь и ухмыляешься? Пойди надень чистую рубашку. Скорее... Ой, да это Джеймс... и больше никого.

Она повернулась ко мне, а я сидел и ухмылялся как дурак.

— Джо! — сказала она.— Чья это коляска?

— По-моему, твоя,— сказал я.

У нее прямо дыхание перехватило: стоит и смотрит то на коляску, то на меня. Джеймс скрылся из глаз за поворотом, потом появился уже перед самым домом.

— Ах, Джо! Зачем ты? — вскричала Мэри.— Это же совсем новая четырехместная коляска! — Она кинулась ко мне и крепко обхватила мою голову.— Почему ты ничего не сказал мне, Джо? Бедненький, а я-то пилила тебя весь день! — И она снова обняла меня.

Джеймс спрыгнул на землю и начал распрягать лошадей — так, словно это было обычное дело. Я заметил, что из-под сиденья торчит двойной ствол. Джеймс таки вымыл коляску — наверно, оттого и был такой хмурый. Мэри стояла на веранде; глаза у нее стали огромными, она почти не дышала — она созерцала коляску.

Джеймс снял сбрую, лошади встряхнулись и пошли к дамбе напиться.

— Загляните-ка лучше под сиденье,— проворчал Джеймс, бережно доставая свое ружье.

Мэри нырнула в коляску. Был там ящик с лимонадом и пивом — от братьев Гэллетли. Джеймс сказал, что они выпили целый галлон пива — так торжественно они его провожали (то есть провожали-то они коляску); был там «небольшой окорочек» от Пэта Мёрфи, лавочника из Хоум-Рула, который он «коптил самолично»,— я такого окорочища сроду не видел; три каравая от булочника, сладкий пирог и несколько ярдов какой-то материи — «сшить что-нибудь ребятишкам» — от тетушки Гертруды из Гульгонга; была там рыба — ее верзила Дейв Риган поймал накануне вечером в реке Макуори, присолил и прислал нам в ящике; был там расшитый красным галуном парусиновый костюм для нашего мальчишки аборигена, банка засахаренных фруктов и леденцы («для мальчонки») и смешная китайская кукла и погремушка («для девчушки») от Сан Тонь Ли, нашего гульгонского лавочника и приятеля Джеймса — он снабжал Джеймса порохом и пистонами в кредит, когда тот сидел без денег. Они бы нагрузили коляску доверху всяким хламом, если б только он подождал, сказал Джеймс. Что ж, похоже, все были рады, что у Джо Уилсона «дела идут на лад», и от этого на душе у меня стало хорошо.

Мы внесли все подарки в дом, и следующие полчаса мы с Мэри только суетились и все что-то обсуждали. Затем Джеймс сунул голову в дверь и обиженным голосом сказал:

— А чаю-то мне дадут? Я, можно сказать, от самого Кэджгонга ничего в рот не брал. С голоду помираю.

Тут Мэри немножко опомнилась.

— Через пять минут будет тебе чай,— сказала она.— Возьми-ка пока что сбрую и повесь на крючки в пристройке; а ты, Джо, подкати коляску к навесу веранды, не то на нее сядет роса. Утром мы повесим перед ней мокрые мешки, закроем ее от солнца. И пусть Джеймс съездит в Кэджгонг за двуколкой, не будем же мы чуть что брать коляску.

— Ладно,— сказал Джеймс,— съезжу куда угодно. Только дай скорей что-нибудь пожевать.

Мэри пожарила рыбу, чтобы она не испортилась до утра, и погладила скатерть — благо утюги давно нагрелись (Джеймс ворчал, не умолкая), и достала хорошую посуду (материнское наследство) — обычно она ее держала под замком,— и так накрыла стол, что Джеймсу стало не по себе.

— Я есть хочу, а банкеты мне эти ни к чему,— сказал он.

И он совсем разворчался, потому что Мэри потребовала, чтобы он не резал рыбу ножом, и «развела все эти китайские церемонии». Наевшись, он взял двустволку и собак, прихватил Гарри и отправился пострелять опоссумов.

Мы остались одни, и Мэри забралась в коляску, чтобы попробовать сиденья, и заставила меня сесть рядом. На таких удобных сиденьях мы сроду не сидели, но мы все-таки вылезли из коляски — уж очень глупый был у нас вид, вдруг кто-нибудь поехал бы мимо.

А потом мы сидели рядышком на приступке веранды и не могли наговориться — мы давно уже так не говорили — и то и дело повторяли: «А помнишь...», «А помнишь...», и, по-моему, с того вечера мы лучше начали понимать друг друга.

А под конец Мэри сказала:

— Знаешь, Джо, почему-то сейчас я чувствую себя как в день нашей свадьбы.

Да, пожалуй, и меня тоже охватило странное такое и чудесное чувство.

КАТАРИНА СУСАННА ПРИЧАРД

ДЕВЯНОСТЫЕ ГОДЫ

ПЕРЕВОД Т. ОЗЕРСКОЙ И В. СТАНЕВИЧ

ОТ АВТОРА

В этой повести о золотых приисках Западной Австралии я пыталась не только изобразить жизнь отдельных людей, но и дать историю развития определенной отрасли промышленности.

В течение ряда лет я собирала материалы — жила и работала на приисках, беседовала со стариками старателями, слушала их рассказы о походах за золотом и о трудностях тех дней. Я перечла все старые газеты и почти все, что было написано на эту тему; однако в основу этой повести легли воспоминания двух лиц, названных мною Динни Квин и Салли Гауг. Описанные события их жизни — действительные события; и у остальных героев есть двойники среди первых золотоискателей, хотя, по вполне понятным причинам, я избегала полнейшего сходства.

Выбирая имена для своих героев, я старалась не давать им тех имен, которые были распространены на приисках в тот или иной период, хотя это было очень трудно при таком широком полотне. Под своими настоящими фамилиями выступают только лица, вошедшие в историю или ставшие легендарными.

В частности, сохранены фамилии людей, принимавших участие в борьбе за права старателей на добычу россыпного золота, а также воспроизведены некоторые их речи, ибо таким образом читатель может скорее представить себе те чувства и настроения, которые тогда естественно возникали.

Предполагается, что «Девяностые годы» будут первой частью трилогии, повествующей о Динни Квине, Салли Гауг и о приисках.

Выражаю признательность владельцам «Калгурлийского горняка», предоставившим мне возможность ознакомиться с архивами газеты. Использованы мною также данные, имеющиеся в книгах «Борьба за золото» Джона Маршалла, «Золотые денечки» Дж. Ресайда и «Былое» Артура Рейда, где содержится много ценного фактического материала.

К.-С. П.

ГЛАВА I

Дым от костра высоким столбом стоял в чистом сухом воздухе. Точно дыхание живого существа, поднимался он с пологого склона холма и курился над широкой равниной, до самого горизонта заросшей серым кустарником. На востоке небо разгоралось ослепительным блеском — вставало солнце.

Темнокожие кочевники, спавшие у костра, зашевелились. Один из них, стройный обнаженный юноша, поправил тлеющие головешки, поднял с земли свои копья и, выпрямившись, стал всматриваться в лежавшие перед ним необозримые безлюдные земли, на которых он охотился. Раздувая ноздри, он нюхал утренний воздух, отыскивая дичь, и вдруг уловил посторонний запах. Его сильное, ловкое тело напряглось, темные глаза пристально вглядывались в даль.

— Юкки! — резко и хрипло прозвучал его предостерегающий возглас, похожий на крик птицы.

Не успев стряхнуть дремоту, лежавшие у костра люди вскочили на ноги и столпились вокруг юноши.

Там, на юге, над морем непроходимой кустарниковой чащи, в воздухе медленно ползло облако пыли. Темнокожие, мужчины и женщины, заговорили наперебой, и их голоса прерывались от волненья и страха перед этим далеким серым пятном, которое медленно надвигалось на них.

Это была небольшая семья австралийцев — старик, четверо взрослых мужчин, их жены и дети; все они отлично понимали, откуда взялась туча пыли на фоне бледного неба: сюда шли чужие люди со своим скотом, чтобы завладеть землями, на которых племя охотилось,— люди, у которых есть смертоносные палки, выбрасывающие огонь, и которые хватают каждого туземца, где только

им удается подстеречь его, и требуют, чтобы он показал им воду. Воду или золото — это волшебное сокровище, которое ищет белый человек и которое таится под пылью в руслах пересохших рек или блестит прожилками на выветренных склонах гор. Много белых людей умерло на равнинах и среди голых скал; ни их хитроумие, ни их колдовство не помогали им находить воду и пищу во время засухи.

Но появлялись все новые чудные люди и их четвероногие, они выпивали всю воду из бочагов, распугивали диких зверей и терзали землю, одержимые желанием найти желтый камень, которого темнокожие так страшились, ибо это он навлек на них все бедствия.

В несколько минут женщины собрали своих ребят и деревянные ковши для воды, мужчины — свои копья, палицы и бумеранги, и семья снялась с места. Темные тела туземцев мелькнули между стволами, раздался треск и шорох, затем кусты акации, усеянные желтыми росистыми цветами, мягко сомкнулись. Темнокожие скользили легко и бесшумно, точно тени деревьев, и в их движениях была та же гибкость и упругость, что и у стройных молодых стволов, когда их клонит и колеблет ветер.

Мужчины-охотники обогнали остальных, разошлись в разные стороны и скрылись из глаз. Старик, женщины и дети неуклонно двигались на северо-восток, туда, где на горизонте тянулась длинная цепь низких голубых холмов. К полудню путники, идя все той же неторопливой и плавной поступью, оставили за собой немало миль.

Но вот одна из молодых женщин замедлила шаг. Вместе с ней отстала и старуха. Она отделилась от своих, свернула в сторону и пошла вдоль оврага, вырытого ливнями в твердой красноватой земле. Молодая женщина последовала за ней. Она была беременна, и идти ей становилось все труднее, она задыхалась. Наконец она прислонилась к дереву и, обессиленная, вероятно, легла бы на землю, но старуха, оглянувшись, выбранила ее и велела ей идти дальше. Когда они добрались до окруженной огромными валунами небольшой ложбинки, молодая женщина села, а старуха поставила наземь деревянные ковши и положила возле мешочек из кожи и остроконечную палку. Потом она добыла огонь и осторожно прикрыла тлеющее пламя кучкой собранных ею сухих листьев и сучьев.

Затем она вскарабкалась на камни и с тревогой заглянула через обточенный край валуна. В небольшом углублении виднелся маленький бочажок с чистой водой. С довольным ворчанием она опять сползла вниз, взяла ковш, снова взобралась на камни, напилась сама, наполнила ковш и отнесла воды молодой женщине.

Потом руками разгребла гальку под ярко-зеленым низкорослым эвкалиптом и очистила место вокруг костра.

Сухие листья и сучья, вспыхнувшие вначале ярким пламенем, уже сгорели, от них осталось лишь немного тлеющей золы. Старуха присела на корточки, сгребла ее в кучу и, подкладывая сухой хворост, снова разожгла костер. Она вывалила в огонь охапку зеленых веток, и в воздух поднялся густой душистый дым. Молодая женщина с трудом поднялась на ноги и присела на корточки возле самого костра, среди дыма. Она сидела так, опираясь на пятки, тяжело дыша и напрягая все тело в мучительных усилиях. Старуха, отойдя в сторону, пронзительно взвизгивала, бранилась, пела, топала ногами и хлопала в ладоши. Вдруг она умолкла, и в безлюдной тишине раздался крик ребенка.

Старуха открыла мешочек, вынула оттуда сплетенный из человеческого волоса шнур, обвязала им пуповину. Затем рассекла пуповину острым и крепким ногтем большого пальца. Пока она возилась с матерью, малыш, лежа на земле, отчаянно кричал. Старуха смазала его жиром, который достала из того же мешка, присыпала сверху мягкой золой из костра и положила рядом с матерью.

Сунув в огонь длинный трухлявый сук, который мог тлеть долгое время, она улеглась подле матери и новорожденного младенца. Вскоре все трое уже крепко спали под кустом, отбрасывавшим на красную сухую землю зыбкую кружевную тень.

Они все еще спали в тишине, нарушаемой лишь шелестом листьев и робким щебетанием птиц, когда, уже под вечер, между деревьями показались двое белых. Они осторожно подкрадывались, держа револьверы наготове, привлеченные дымом костра, возле которого лежали женщины; но вот мелкие камешки зашуршали и посыпались из-под тяжелых саног. Старуха вскочила. Увидев белых, она испустила крик ярости и стиснула в руках свою палку.

Ни один мужчина из ее племени не осмелился бы ступить в это святилище. Даже отец ребенка имел право увидеть его, только когда старуха и молодая мать вернутся к тому водоему в далеких горах, где собиралось племя.

Белых людей томила жажда. Они знаками объяснили старухе, что им нужна вода, и сунули револьверы обратно за пояс. Впрочем, она и без того слишком хорошо понимала, что означают эти обезумевшие глаза, обвислая, высохшая кожа на лице, припухший язык,— пришельцы едва были в силах бросить ей несколько торопливых слов. Но в бочаге оставалось так мало воды, что ей не хотелось показывать его. Однако от них необходимо было отде-

латься, поэтому она стала карабкаться на камни, за которыми была вода, и они последовали за ней.

Белые пили очень умеренно, но наполнили водой свои мехи. Потом сходили за лошадьми и вычерпали всю воду до последней капли; лошадей они поили из своих фетровых шляп. Старуха наблюдала за ними, угрюмо бормоча что-то себе под нос, а они громко смеялись над ее гневом.

Затем белые подстрелили несколько диких голубей, прилетевших к водоему напиться, и поджарили их на костре, но женщинам дали только по кусочку жесткой солонины, которая хранилась в их чересседельных сумках. Женщины поели; однако страх их усилился, когда они увидели, что белые располагаются на ночь у костра. Старуха предупредила молодую, что они должны бежать, как только забрезжит утро. Воды нет на десятки миль вокруг, и им придется идти целый день, чтобы добраться до ближайшего водоема.

Белые стали расспрашивать, где еще есть вода. Старуха притворилась, что не знает, и не отвечала им. Они пытались заговорить с молодой, но и та только хмурилась, молча прижимая к себе ребенка и бросая на них испуганные, гневные взгляды. Тогда белые схватили старуху и связали ей руки и ноги. Молодая женщина пыталась бежать, но она была еще слишком слаба и к тому же ей мешал ребенок. Они поймали ее и тоже связали. Затем легли и заснули, не обращая внимания на бормотание старухи и пронзительные крики молодой женщины.

На другое утро белые только и говорили что о воде. Где вода? Отведут их эти ведьмы к воде? Старуха продолжала упорствовать и молчала, но молодую мучила жажда; она знаками попросила дать ей глоток воды. Белые опять накормили ее солониной, отказавшись дать хоть каплю из своих мехов, хотя сами налили воды в кружку и пили у нее на глазах.

Они знали, что делают. Не в первый раз уже они пользовались этим приемом: накормив туземца шпигом или солониной, белые не давали ему воды до тех пор, пока тот, обезумев от жажды, не приводил их к ближайшей бочажине или водоему. Молодая женщина понимает, что им нужно, и наверняка приведет их прямо к воде, решили они.

Один из белых схватил ее, посадил на лошадь. Она отчаянно вырывалась и тянулась к своему ребенку. Тогда другой белый подобрал ребенка, швырнул матери, и они поскакали.

— Габби! Габби! Воды! Воды! — кричали белые. Молодая женщина, плача, указала на излом голубоватой горы, видневшейся вдали. Старуха же скрылась за деревьями.

Золотоискатели разбили лагерь у подножия этой горы, где был скрыт вырытый туземцами колодец, а на рассвете их настигло племя, к которому принадлежали обе женщины. Черным дождем обрушилась туча копий. Позднее, когда в Кулгарди нашли золото, у этого колодца были обнаружены кости белых.

Калгурла — молодая женщина, которая в тот день родила ребенка,— была уже старухой, когда она рассказала Динни Квину об этих белых. Это были не первые, которых она встречала. Тот ребенок умер, но у Калгурлы потом родилась девочка Мири; это случилось после того, как Калгурла и еще две женщины были похищены белыми старателями.

Всю жизнь Калгурла была верна обычаям своего народа. И хотя она в течение многих лет кочевала со своим племенем между разбросанными по стране лагерями золотоискателей, ненависть к белым и страх перед ними никогда не покидали ее.

ГЛАВА II

Больше всего на свете Динни Квин любил вспоминать былое. Этот старый золотоискатель, опытный и выносливый, чуть прихрамывающий на одну ногу, с насмешливыми искорками в голубых глазах, был еще молодым, когда он отправился с первой партией старателей в сентябре 1892 года из поселка Южный Крест в Кулгарди по следам Артура Бейли.

В тот день, когда Арт Бейли с набитыми золотом чересседельными сумками въехал в поселок со стороны соленых озер, там не было ни души, рассказывал Динни.

Стояло свежее весеннее утро. Мелкие озерца у подножия холма, на котором раскинулся поселок, вспыхивали серебром в лучах солнца. Белые домишки и лачуги напоминали издали горсть кем-то брошенных ракушек... По большей части они казались безлюдными, вымершими. Строения и вышки рудника стояли пустые и безжизненные, их высокие паукообразные копры отчетливо выступали на фоне неба.

И все-таки этот поселок на унылом холме, окруженный бесконечными зарослями кустарников, был аванпостом цивилизации, как бы островом среди неизведанного простора.

Под бледно-голубым небом темно-серая чаща кустов тянулась до самого горизонта: беспредельная первобытная глушь — низкорослые деревья, каменистые кряжи, пустынные песчаные равнины на сотни миль кругом.

Южный Крест! Всего несколько лет назад родился он, этот поселок, точно созвездие того же имени, вспыхнувшее в ночи. Это

созвездие привело партию старателей к воде и золоту, поэтому так и было названо это место. Южный Крест опроверг мнение тех, кто утверждал, что никогда в Западной Австралии не будет найдено столько золота, чтобы игра стоила свеч.

В то время поселения на Лебединой реке переживали тяжелый экономический кризис — следствие неудавшегося земельного бума и финансового краха в других, более старых колониях — Новом Южном Уэльсе и Виктории. Весть о том, что вокруг Южного Креста открыты месторождения золота, вывела Западную Австралию из состояния застоя.

Вскоре лесистые кряжи и широкие равнины от самого побережья до поселка уже кишели старателями, рудокопами, лавочниками и перекупщиками. Они шагали рядом со своими упряжками и вьючными лошадьми все двести сорок миль или ехали по железной дороге, которая доходила лишь до Нортема, центра процветающего района пастбищ, а затем тащились остаток пути в фургонах или пешком. Маленькие суетливые поезда — их было мало, и ходили они редко — совершенно не отвечали потребностям того огромного движения, которое началось после открытия новых золотых приисков.

О золоте, найденном в Йилгарн-Хиллсе, ходили легенды, и люди, охваченные золотой лихорадкой, пускались в путь, готовые плестись целый месяц пешком и ночевать под открытым небом, лишь бы не упустить возможность нажить сразу целое состояние. Они грезили о том, что там, на краю далекого неведомого Запада, их ждет новый Балларат или Бендиго.

Поселок Южный Крест рос на глазах в пылу безудержного оптимизма и безумных надежд. Все новые и новые старатели возвращались из окрестностей с самыми обнадеживающими вестями. Одна за другой открывались разработки. После первого самородка, переплавленного в местной кузнице, надежды выросли до небес, хотя самый слиток каким-то таинственным образом исчез. Вскоре компании «Фрезерс», «Фрезерс-Саут», «Сентрал» и «Сентрал-Экстендид» уже набрали по две-три сотни рабочих, и поселок из кучки палаток превратился в настоящую улицу с рядами крытых жестью и старой парусиной лачуг, с землянками и хибарками, лавками, кабачками и канцелярией инспектора.

Но лето было здесь долгое и сухое, не хватало ни пищи, ни воды. Пресная вода доставлялась крайне скудными порциями из немногих водоемов, расположенных поблизости среди обнажившихся гранитных пород. Бурение давало только соленую воду. Надо было устанавливать опреснители, чтобы ее могли пить люди и животные. Кроме того, соленая вода коварно разрушала недавно импортированное машинное оборудование: она разъедала степ-

ки котлов и загрязняла дробильники. В фрезерских рудниках добывалась только черная амальгама, хотя руда сулила богатство.

Акции упали до нуля, и наступил застой. Затем появился новый директор, были введены новые способы опреснения воды, и рудники на время ожили. Черная амальгама стала давать хороший выход золота. Добыча увеличилась, но выросли также издержки производства. Хозяева снизили заработную плату, и рудокопы забастовали.

— Человек не мог прожить на то, что хозяева платили нам. Вода и пища стоили слишком дорого,— говорил Динни.— А Фрезеры, заметьте, выплачивали дивиденды.

Предприятие закрылось, и все, кто мог, разошлись. Несколько рудокопов выжидали, надеясь, что рудники опять откроются или что удастся наскрести немного золота в окрестностях. На Маунт-Хоуп и на двух-трех других приисках старатели все еще добывали кое-что и торговали «песочком» в обмен на воду и провизию. Но это были единицы, и в то утро, когда Арт Бейли въехал в поселок со стороны солепых озер, только те рудокопы и старатели, которые не имели возможности уехать и надеялись получить какую-нибудь работу у фургонщиков, толклись перед трактиром, унылые и подавленные.

Гоняя от нечего делать футбольный мяч, они едва обратили внимание на ехавшего по улице одинокого всадника. В таком возвращении старателя, едва живого, на замученных вконец лошадях, не было ничего необычного. И Арта Бейли, еле державшегося в седле, заросшего бородой, измотанного, и его лошадей, таких же грязных, как и навьюченные на них мешки, люди узнали, только когда Арт уже протащился по улице и подъехал к канцелярии инспектора.

И тогда что-то в приподнятых плечах всадника, в том, как была надвинута на глаза его поношенная фетровая шляпа, и в том, как он старательно отворачивался от людей, стоявших перед трактиром, показалось подозрительным Джонсу Крупинке.

— Это кто? — спросил он.

— Знаешь,— сказал Динни,— я готов поклясться, что это лошаденка Арта Бейли, хотя она прямо на себя не похожа.

— Как же Арт проехал мимо трактира и на нас, своих старых товарищей, даже не взглянул?

Тут они увидели, что всадник, подъехав к сараю, в котором помещалась канцелярия, снял чересседельные сумки и, спотыкаясь, вошел в дверь.

— Клянусь Иегосафатом, он нашел кое-что! — взволнованно воскликнул Билл. Все столпились вокруг него.

— Вот уже четыре месяца, как Бейли с Гарри Фордом ушли по тракту Хэнта,— заметил кто-то.

— Еще месяца два назад, когда Бейли приезжал за продуктами, Томми Толбот решил, что он нашел золото,— сказал Джонс.— И Томми тут же купил лошадей и предложил Гарри Баркеру и Дику Фоссеру отправиться вместе с ним и посмотреть, что делает Бейли.

Глаза у слушателей вспыхнули, кровь быстрее побежала по жилам. Через несколько минут все, кто слонялся возле трактира, уже мчались по улице к канцелярии инспектора. И тут, столпившись в дверях, они увидели то, о чем так исступленно мечтали: золото в крупных самородках, куски кварца с золотыми прожилками — сотни унций золота. Арт Бейли делал заявку на участок в ста двадцати восьми милях к северу-востоку от Южного Креста.

Едва распространился слух о находке Бейли, как городок словно сошел с ума. И такое, черт побери, тут пошло веселье, когда Арт Бейли, покончив с делами, решил отпраздновать свою удачу и угощал всех подряд, пока в трактирах не осталось ни капли вина! Каждый, кто мог, закупал продовольствие, выпрашивал, занимал, пытался украсть лошадей, повозку или тачку, торопливо укладывал инструмент и все необходимое для лагеря. Лавочники взвинтили цены на пятьдесят процентов. Еще накануне лошадь стоила пять фунтов, а в тот вечер вы не купили бы ее и за пятьдесят.

Джонс Крупинка и Билл Джеррити, более известный под именем Билл Иегосафат, с ловкостью бывалых золотоискателей, в свое время потрудившихся в Кимберли и Мерчисоне, обработали владельца фургона Пэта Мэрфи, прибывшего с юга. Пэт намеревался ехать на участок Арта Бейли в воскресенье утром. Он брал пять фунтов за право положить сто фунтов багажа на фургон и шагать рядом с ним по дороге.

Но Динни Квин был на мели. Он растратил кучу денег на поиски золота в районах севернее Южного Креста, и теперь и в лавке, и в кабаке, и в пансионе миссис Гауг на него имелись огромные счета.

Правда, никого эти счета не тревожили. Все знали, что Динни — хороший старатель и честный человек. Однако в тот день деньги были всем нужны до зарезу: люди буквально рвали из рук продовольствие и инструмент и за все платили бешеные цены. Динни наконец уговорил лавочника дать ему в долг муки, сахару, чаю и мясных консервов. Но у него все еще не было пяти фунтов для Мэрфи, и поэтому Динни отправился к Олфу Брайрли, надеясь перехватить у него деньжонок.

Динни нисколько не сомневался, что выступит завтра утром вместе с остальными, даже если бы пришлось тащить свой багаж на собственном горбу все сто двадцать с лишним миль до участка Бейли. Но он понимал лучше, чем большинство старателей, что́ им предстоит и что́ значит каждая потерянная минута, когда люди спешат застолбить новые участки.

Знание местных условий и опыт старателя подсказывали ему, что в таком деле нельзя отставать от других. Однако в неистовой суматохе сборов каждый думал только о себе. А если кто-нибудь не может оплатить свое путешествие, пусть устраивается как знает. Правда, Джонс Крупинка и Билл Иегосафат охотно взяли бы Динни в компанию, но у них самих было не густо. Они наскребли ровно столько, сколько надо было, чтобы уплатить Мэрфи.

Последняя надежда Динни была на Олфа Брайрли, у которого он надеялся выпросить несколько фунтов. Олф был хороший парень; он служил бухгалтером в компании Фрезера, пока копи не закрылись, и жил в пансионе миссис Гауг, когда сам Динни еще работал рудокопом и столовался у нее.

Во время кризиса они с Олфом не раз уходили на разведку и отлично ладили. Иногда им удавалось кое-что найти, и тогда у них водились денежки. Хорошо бы и сейчас отправиться вместе с ним, решил Динни. Если, впрочем, у него найдется, на что купить продовольствие и чем оплатить дорогу.

Когда Динни явился к Олфу в пансион миссис Гауг, тот уже уложился. Он засунул кое-какую провизию в брезентовый мешок, закатал его в палатку и одеяло и намеревался привязать все это к кайлу и лопате, которые брал с собой. У него тоже не было денег на фургон, и он решил добираться до участка Бейли просто пешком.

— Идти пешком не беда,— мрачно заметил Динни,— а вот нести на себе больше чем за сто миль провизию, палатку, постель и кайло с лопатой — это не больно сладко. Да и потом, если мы все потащим на своем горбу, эти черти, конечно, доберутся раньше нас до участка Бейли и все вокруг успеют застолбить.

— А мы все-таки пойдем! Верно, Динни? — весело спросил Олф.

— Конечно, пойдем,— согласился Динни.— Но если бы я мог выудить у кого-нибудь немного монет, у меня на душе полегчало бы.

— И у меня,— кивнул Олф.

Вот тут-то миссис Гауг и пришла к Динни. В ее карих глазах стояли слезы.

— Ах, мистер Квин! — воскликнула она.— Моррис тоже хочет ехать со всеми на участок Бейли. А какой он старатель! И нет

у него доброго товарища, как вы, чтобы показать, где искать это самое золото. Он пропадет в этих страшных, диких местах — он умрет от жажды, или его убьют темнокожие.

— Не волнуйтесь, миссис,— стал ее успокаивать Динни.— Ничего с ним не случится, миссис Гауг.

Динни очень почитал миссис Гауг. Замечательная маленькая женщина, говорил он. Когда Моррис потерял место у Фрезера, она открыла пансион и работала как каторжная.

Его высокородие Моррис Фитц-Моррис Гауг получил должность помощника управляющего на одном из рудников в награду за то, что вложил свои деньги в это предприятие. Но так как он ничего не смыслил в горном деле, а учиться не хотел, то его выставили при первом удобном случае. Мистер Гауг был возмущен — он лишился и своих денег, и заработка. Он пригрозил компании судом, но потом смирился, получив обещание, что его восстановят в должности, как только будет найден способ предохранять машины от вредного действия соленой воды и выход золота увеличится. Однако до возвращения мистера Гауга на работу дело так и не дошло.

Таким образом супруги Гауг оказались на грани нищеты. Тогда-то миссис Гауг и начала готовить обеды у себя на дому горнякам, работавшим в копях. Она была хорошей поварихой, и ее столовая процветала. Спустя некоторое время она перенесла к себе во двор два-три пустовавших сарая и приспособила под сдачу внаем. Его высокородие Моррис Фитц-Моррис пришел в ярость, он знать ничего не хотел, хотя пансион давал ему возможность жить безбедно, спокойно ожидая возвращения на старую должность.

— Ужасный лодырь он был в те дни, этот Моррис Гауг,— пояснил Динни.— Я его просто видеть не мог. Он предоставлял миссис Гауг делать всю черную работу и кормить его. Никогда, бывало, ни в чем не подсобит. Но для нее только и света в окошке было что ее муженек.

Почему это так,— миссис Гауг рассказала Динни в тот самый день, когда она просила присмотреть за Моррисом в пути. Она тогда была еще совсем молоденькой женщиной, лет двадцати с небольшим, не красавица, но живая и веселая, как птичка, чудесные карие глаза, на щеках ямочки, а улыбка такая, что ни один мужчина не мог ей отказать, о чем бы она ни попросила. А уж он сам и подавно, сознался Динни, он ведь очень много задолжал ей.

— Мой отец, мистер Квин, был пионером Юго-Запада,— сказала ему миссис Гауг.— Так что я коренная австралийка и трудности меня не пугают. Другое дело Моррис. Он приехал в Австралию, чтобы заняться сельским хозяйством и нажить состояние.

Конечно, он понятия не имел, как трудно обрабатывать землю, и не мог справиться со всем этим — расчищать участок и перепахивать целину, отбирать и клеймить скот. Вначале у нас были работники и пастухи, но они как-то не уживались. А скот уходил в лес, и туземцы убивали его. Я пыталась помочь Моррису, но ничего не выходило. Ферма наша пошла прахом, а он возненавидел эту суровую жизнь в глуши.

Миссис Гауг была очень взволнована — Динни это отлично видел — и изо всех сил старалась объяснить, почему она просит его присмотреть за Моррисом.

— Когда Моррис продал ферму и вложил деньги в здешние рудники, его отец страшно рассердился и перестал посылать ему на жизнь. Как хочешь, так и выкручивайся!

Уголки ее рта дрогнули улыбкой, и она продолжала:

— Мои родители не соглашались на наш брак, и мы бежали. Это было очень романтично, но мне было ужасно тяжело. Папа и мама никогда не простят меня. И нет никого, кому я могла бы рассказать о наших бедах. Моррис думает, что, если он примет участие в этом походе, он тоже найдет золото, как Арт Бейли, сразу разбогатеет и сможет вернуться в Англию. Но он уверяет, что мне нельзя идти с ним, а я так боюсь за него, мистер Квин, у него совсем нет друзей, и он сразу же заблудится в этой глуши.

Итак — она открыла Динни свое сердце, завоевала его симпатию, и, конечно, ему оставалось только сказать:

— Ладно, миссис Гауг. Пусть ваш муж идет вместе со мной и с Олфом, если у него есть, чем заплатить Мэрфи, чтобы подкинуть вещи на его фургон. Правда, мы сами пока еще не раздобыли денег.

— Но я же могу одолжить вам! — радостно воскликнула миссис Гауг.— Когда на фрезерский рудник приезжали новый управляющий и инженер, они остановились у меня, и я кое-что отложила. Но только, пожалуйста, не говорите Моррису. Он вчера вечером просил денег на карты, а я ему не дала, сказала, что у меня нет ни гроша.

— Можете быть совершенно спокойны,— заверил ее Динни,— а с Олфом я договорюсь.

В тот день Динни так нуждался в деньгах, что ему было все равно, где их раздобыть. «Я, кажется, у слепого нищего отобрал бы его медяки»,— рассказывал он. При других обстоятельствах он решил бы, что просто низость брать у миссис Гауг эти деньги, которые она заработала с таким трудом. Он и без того задолжал ей немало. Она не раз снабжала его провизией, когда он отправлялся на поиски золота; кроме того, и он и Олф были должны ей за стол и квартиру.

Но миссис Гауг была очень добра и не мелочна — есть-то ведь нужно, а сосчитаемся потом, когда стачка кончится или им повезет и они найдут много-много золота. Одного этого уже было достаточно, чтобы не отказывать ей и взять под свою опеку мистера Гауга, тем более что Салли считала это, видимо, скорее одолжением с их стороны, чем обязанностью.

— Я надеюсь, что придет день, когда я возвращу вам свой долг с процентами, миссис Гауг,— заявил Динни, стараясь успокоить свою совесть.— А сейчас для меня эти пять фунтов не знаю чего стоят, и я вам за вашу доброту никакими деньгами не смогу отплатить. Уверен, что и Олф скажет то же самое.

— Ну вот и отлично! — обрадовалась миссис Гауг и вся просияла.— Значит, Моррис отправится с вами и мистером Брайрли? А теперь скажите мне точно, что вам нужно. Я дам вам провизии из моей кладовой и приготовлю Моррису одежду.

Динни с радостью принял это предложение. Он сказал, что самое лучшее — объединить их запасы. Таким образом удастся погрузить гораздо больше. Он и Олф берут инструменты, палатку и оборудование для лагеря — всего этого сейчас в поселке ни за какие деньги не купишь. А Моррис пусть возьмет продовольствие, оно тоже стоит втридорога да и почти все раскуплено.

Сообщив Олфу приятную весть, Динни что есть духу помчался к Пэту Мэрфи, чтобы договориться относительно вещей.

Когда Динни через несколько часов вышел из отеля «Клоб», где в обществе Мэрфи, Арта Бейли и других старателей пропустил немало кружек, он был пьян — и от пива, и от всего, что насказал ему Бейли; однако не настолько, чтобы забыть о делах, и тут же принялся укладывать вещи. Моррис слушался его приказаний, точно это само собой разумелось; он был не менее взволнован и сговорчив, чем Олф, и оба они радовались, как дети, что их взял под крылышко такой опытный золотоискатель и знаток страны, как Динни.

Динни передал им все ходившие по городу слухи относительно золота, найденного Бейли.

— Арт говорит,— весело рассказывал он,— что он привез, если считать все, пятьсот пятьдесят восемь унций. А сколько там еще осталось! Все кругом набито золотом. Томми Толбот и его парни хотели было захватить его участок, но Форд пригрозил им револьвером. Он и сейчас там — сторожит. Арт говорит, что такого месторождения он еще не видел, а он перевидал немало. Когда эта новость дойдет до Мельбурна и Сиднея, все туда бросятся. Наше счастье, что у нас сборы недолги и мы можем тут же застолбить участок. Вы запаслись разрешением, мистер Гауг? Да? Значит, все в порядке. Инспектора прямо осаждают. Ему, верно,

во всю жизнь не пришлось так попотеть, как сегодня с этими разрешениями. Он подмахивал их даже за обедом, и, судя по всему, ему и ночью покоя не дадут. Я считаю, что нам хватит одной палатки, есть ведь еще ваш брезент, мистер Гауг. Я раздобыл просмоленный мешок — мы его используем для воды; и если вы можете обойтись без этих двух пустых бидонов, миссис Гауг,— вон там, на заднем крыльце,— они нам очень пригодятся. Мы можем уложить в них провизию, а потом носить воду.

Динни проверил их снаряжение. Он позволил Олфу и мистеру Гаугу прихватить с собой по фланелевой рубашке, паре штанов и паре сапог, хотя у него самого была только запасная рубашка. Каждый из них взял свое теплое одеяло, мех для воды, походный котелок, кружку, жестяную миску, нож и ложку. Ступка Динни, пестик и два ковша для промывки золота были аккуратно завернуты в одежду. Моток бечевки и связку проволоки вместе с инструментами — кирками, лопатами, кремнем и огнивом,— закатали в палатку и брезент, а затем в мешковину и крепко перевязали веревками. Провизия состояла из муки, сахара, чая и нескольких банок мясных консервов. Динни прибавил к ним бутылку «целительного бальзама». Решили также взять ружье Олфа и коробку патронов, а Моррису позволили прихватить револьвер.

Около полуночи все тюки были аккуратно увязаны и готовы для отправки с фургоном, который выезжал на рассвете.

Вечером прибежала Мари Робийяр и, рыдая, бросилась в объятия миссис Гауг. Мари была вне себя.

— О Салли! — воскликнула она, заливаясь слезами.— Мой Жан тоже уходит и говорит, что мне нельзя с ним!

— И Моррис идет,— бодро сказала миссис Гауг,— а мне придется остаться; ничего не поделаешь, Мари. Мистер Квин говорит, что нет никакой опасности. Правда, правда. Ведь другие жили в этой глуши месяцами: и мистер Бейли, и мистер Форд, и Томми Толбот со своими товарищами. И мистер Бейли уверяет, что туземцы там совсем смирные, как у нас тут.

— Ну да, я знаю,— прервала ее Мари.— Жан мне то же самое говорил. И, может быть, он найдет много золота. Но все-таки это ужасно! Он уезжает так далеко, а я остаюсь здесь совсем одна и должна стряпать в гостинице. До сих пор я никогда с мужем не разлучалась, и я в отчаянии, что он уходит.

— Я тоже,— созналась Салли. Но бодрость и здравый смысл никогда не покидали ее, и она добавила: — Да тут уж ничего не поделаешь, Мари. Все мужчины в поселке прямо спятили и непременно желают участвовать в этом походе. Уж придется нам потерпеть, а там посмотрим, как пойдут дела у Жана и Морриса. Может, они и очень скоро вернутся или мы к ним поедем.

Эта перспектива несколько утешила Мари. Она рассказала Салли, что ее Жан отправляется вместе с дворником гостиницы — тот опытный старатель. Жан ведь был гордостью отеля «Клоб» — как же, повар-француз! На самом деле Жан не повар,— еще в самом начале их знакомства пояснила Мари. В Англии он был учителем, но мечтал стать фермером, купить клочок земли и устроить на нем своих стариков родителей, политических эмигрантов. Мари тоже была дочерью эмигрантов, но она лишилась родителей еще в детстве.

Вскоре после того как они поженились, они с Жаном приехали в Западную Австралию, надеясь получить здесь работу. Столько слухов ходило о здешних заработках! Жан сначала нанялся на ферму: он хотел скопить денег, чтобы купить себе участок земли и скот. Но жалованье батрака оказалось ничтожным, и он успел бы состариться раньше, чем его мечта осуществилась бы. Поэтому он присоединился к первому же походу старателей в Южный Крест, и Мари вместе с ним прикатила из Эвонской долины на двуколке.

Золота Жан не нашел и некоторое время работал на руднике. В те времена, когда миссис Гауг и Мари Робийяр встретились в лавке и познакомились, женщин в поселке было очень мало. Даже Моррис дружелюбно отнесся к молодой французской парочке: они так нежно любили друг друга и в этой чужой им стране несколько напоминали рыб, вынутых из воды. Однако его отношение резко изменилось после того, как Робийяр поступил поваром в гостиницу. Вот и ей он тоже не мог простить ее пансион. Моррис уверял, что Салли обнаружила полное отсутствие собственного достоинства и нежелание считаться с ним.

— Но ведь есть-пить надо, Моррис,— возражала она.— Только пансион даст мне уверенность, что у нас будет и кусок хлеба, и крыша над головой.

Мари Робийяр и миссис Гауг очень сблизились в те месяцы, когда Моррис был так капризен и раздражителен: он не желал разговаривать с платными посетителями, отказывался есть вместе с ними и вообще не хотел пальцем шевельнуть, чтобы помочь успеху затеянного Салли предприятия. Большую часть дня он сидел, развалясь, на крыльце с книгой или газетой, а вечерами уходил в трактир, садился там за покер и на те деньги, которые ему удавалось выпросить у Салли или занять у кого-нибудь, выигрывал или проигрывал несколько фунтов.

А Салли, его всегда веселая преданная жена, и виду не подавала, что у них с Моррисом разлад, но Мари чувствовала и без слов, когда другая женщина несчастна или встревожена своими

семейными делами. Сама она была скромна и сдержанна, ее черные, гладко причесанные волосы строго обрамляли бледное, довольно простенькое лицо; она производила впечатление тихой, даже незначительной женщины, но лишь до тех пор, пока что-нибудь не задевало ее. Тогда она вскидывала черные шелковистые ресницы над серо-зелеными глазами и в ней вспыхивало оживление, совершенно преображавшее ее.

Моррис считал Мари женщиной незаурядного ума. Она беседовала с ним о людях и книгах, и Салли с удивлением замечала, что она знает больше, чем он. Но Мари умела сделать вид, что смиренно преклоняется перед его мнением, и тут же высмеять его легко и остроумно. Моррису это очень нравилось. Если бы Мари была кокеткой, то Салли, пожалуй, приревновала бы к ней Морриса, но Мари не была кокеткой и, кроме того, выказывала свою привязанность к Салли так пылко и с такой удивительной непосредственностью, что это даже смущало миссис Гауг, хотя она и дорожила столь приятной и нежданно обретенной дружбой. Как часто по вечерам, когда Мари казалось, что Салли чувствует себя несчастной и одинокой, она приходила поболтать за шитьем; и в конце концов за эти месяцы, когда Моррис был с ней так нелаcков, в Салли проснулось не менее теплое чувство к мадам Робийяр, чем та питала к ней, хотя Салли и не умела выражать его с той же горячностью.

Но в тот вечер, перед уходом с партией старателей, Моррис сбросил с себя угрюмость и недовольство. За то время, что он не работал, он нагулял жирок, а рядом с Динни и Олфом казался особенно пухлым и рыхлым; костюм старателя, в который он облекся,— молескиновые штаны и фланелевая рубашка — при золотом пенсне на аристократическом носу придавал ему довольно нелепый вид. Но он был весел, как школьник, болтал и шутил с Динни и Олфом, словно желая заверить их в том, что он вполне понимает перемену, происшедшую в их отношениях, готов подчиняться их приказаниям и намерен быть приятнейшим товарищем в этом путешествии.

Когда вещи были упакованы, Динни решил, что все теперь в порядке и что при данных условиях он и его спутники не могли лучше снарядиться.

Олф и Моррис уверяли, что они ни за что не заснут. Они просидят всю ночь, чтобы вовремя быть у фургона. Но Динни отправил их в постель.

— Вам необходимо выспаться как можно лучше, ребята, чтобы запастись силами на первый день похода,— сказал он.

Миссис Гауг поддержала Динни.

— Я не лягу,— заявила она.— Я дождусь рассвета и приготовлю вам сытный завтрак, чтобы вы хорошенько подкрепились на дорогу.

Динни припоминал, что она сдержала слово. И он был так благодарен ей за возможность выступить с первым фургоном, уходившим в Кулгарди, что даже забыл выругаться про себя по адресу навязанного ему в путевые товарищи высокородного Морриса Фитц-Морриса Гауга.

ГЛАВА III

На рассвете поток старателей потянулся из поселка. Люди и лошади двигались по широкой белой дороге к соленым озерам и исчезали в далеких темных зарослях: всадники рядом с тяжело нагруженными вьючными лошадьми, люди в пролетках, запряженных парой полудиких австралийских коней, которые взвивались на дыбы, брыкались, ржали и храпели, грозя разбить утлые повозки; люди в двуколках на едва тащившихся старых клячах; пешие — молодежь и старики,— которые несли свой багаж на себе или катили перед собой тележки, где было свалено все их добро — кайла и лопаты, одеяла и провизия. А некоторые просто поставили ящик или бочку на колеса, прибили с обеих сторон жерди и впряглись в самодельные оглобли. Толкотня, шум, брань, сердитые возгласы, смех, крики: «Желаем удачи!», «Увидимся на участке, Бейли!».

Везти свои вещи в фургоне считалось в тот день роскошью. Когда Мэрфи наконец гикнул на свою упряжку, щелкнул длинным бичом и выехал на дорогу, в его фургоне высилась гора провизии и снаряжения. Те, чьи вещи лежали там, шли налегке, благодаря судьбу за то, что им предстоит нести только самих себя во время предстоящего долгого перехода в сто двадцать восемь или сто тридцать миль по нехоженым тропам среди пустынных зарослей. Но разве что-нибудь могло удержать их? Никто из них не сомневался, что уцелеет и найдет богатство на этих новых золотоносных полях, однако миссис Гауг и мадам Робийяр, которые спустились к броду, чтобы проститься со своими мужьями, поднимаясь вновь на холм, со слезами думали, увидят ли они их еще когда-нибудь.

За фургоном Мэрфи следовало два других, и рядом тоже шагали владельцы наваленного на них имущества. Весь день продолжался этот отъезд. Из окрестных лагерей в людской поток вливались все новые толпы старателей. Запоздавшие спешили нагнать первую партию. К вечеру в Южном Кресте едва ли оставалось пять-шесть здоровых мужчин.

Старатели шли по старому тракту, некогда проложенному Хэнтом, топографом, который лет тридцать назад отправился на поиски новых пастбищ.

Дорога тянулась, извиваясь, то по каменистой земле, то по склонам отлогих волнообразных холмов, через леса, где росли дикая вишня, каучуковое дерево и низкорослые эвкалипты, стволы которых, покрытые нежно-розовыми пятнами, выделялись, точно колонны, на темной зелени кустов; через дебри дубков с темными листьями, с естественной нарезкой на тонких бронзовых стволах; по гребням железняка, казавшимся издали голубыми; по долине, где дробно стучали колеса и ровнее звучали шаги; через заросли акации, сандаловые рощи, чащи терновника — в страну солончаковых земель. Приблизительно через каждые шестьдесят миль между громадными валунами, похожими на спящих мамонтов, попадались водоемы с пресной водой. А у подножия обнажившихся гранитных пород лежали мочажины, где тоже можно было найти воду.

Недавно прошли сильные дожди. Время года было благоприятное: воды по пути сколько хочешь, трава ярко зеленела. Золотоискатели шли, поднимая облака красной пыли; над ними простиралось голубое небо. Днем солнце нестерпимо жгло, а ночи были холодные.

— Нам некогда было посиживать у костров и переливать из пустого в порожнее,— рассказывал Динни.— Каждый слишком спешил добраться до цели. Прошагав целый день, человек спал точно колода. Бывало, еще слышишь, как позванивают колокольчики лошадей в кустах, задремлешь у тлеющего костра, и глядь — уже светает и Мэрфи бранится, будя Олфа или еще кого-нибудь из молодых парней, чтобы они пошли за лошадьми. Сорванец Пэдди уже кипятит воду, и каждый готовит себе что-нибудь перекусить перед тем, как отправиться дальше.

И когда все пускались в путь, Олф Брайрли обычно затягивал «Джона Брауна» или еще что-нибудь, и каждый, кто как мог, подпевал, хотя голоса наших парней скорее напоминали карканье ворон, чем пение. И другие впереди и позади тоже подхватывали. А если они не знали, что поет Олф, они просто горланили какую-нибудь старинную песню. Олф каждый день пел любовную песенку в честь своей девушки. Он приехал из Виктории, когда в Южном Кресте был самый разгар бума, надеясь как можно скорее разбогатеть и жениться.

— Красивый был дьявол, этот Олф Брайрли, такой широкоплечий да статный, и лицо открытое, честное,— рассказывал Динни.— Впрочем,— и при этом в его голубых глазах вспыхивала лукавая усмешка,— все мы были в то время парни хоть куда: сил, надежд, задору — хоть отбавляй. Никогда еще на разведку не

отправлялась партия таких крепких, ладных молодцов, как те, что шагали с первой партией по дороге в Кулгарди.

Семь дней шли они с утра до ночи. Динни неустанно ковылял впереди, хотя нога ныла, как больной зуб, мистер Гауг по ночам стонал во сне — его так обожгло солнцем и так были натерты ноги, что он едва мог идти. Но все равно они поднимались каждый день на рассвете, пускались в путь вместе с фургоном Мэрфи, упорно, автоматически шагали впереди всех и считали мили, пока первые пятьдесят не остались позади. Затем, увидев, что они все-таки одолели часть пути и что каждый день приближает их к желанному Эльдорадо, они приободрились, начали шутить и болтать на ходу, а вечерами, после ужина, покуривали, лежа у костров.

— Все-таки надо отдать справедливость мистеру Гаугу — во время этого похода он был неплохим товарищем,— продолжал Динни.— Я видел и похуже. Он мужественно терпел все, а это было нелегко для такого изнеженного малого, как он.

Он, видно, понял, что хоть он и «его высокородие мистер Моррис Фитц-Моррис Гауг», но в таком деле, как поход старателей, это ему ничем не поможет. Правда, мы сначала звали его «мистер» и были чрезвычайно вежливы. Однако заставляли в очередь со всеми разводить костер и кипятить котелок с чаем. Мы это делали в отместку за миссис Гауг, потому что видели, как она за ним ухаживала, даже дрова пыталась сама колоть, и когда мы с Олфом отбирали у нее топор, уверяла, что это для нее сущие пустяки. И у себя в доме мистер Гауг очень нос задирал; иной раз прямо зло возьмет, точно мы пустое место. Но в походе называться «мистер» обидно, когда все друг дружку зовут просто по имени.

И вот однажды вечером мистер Гауг и говорит:

«Послушайте-ка, ребята, если я вам не гожусь в товарищи, так и скажите, но только бросьте вы звать меня «мистер», не то я пойду с другими».

«Ну ладно, Морри»,— говорю я.

Олф понял меня:

«Никто ведь не хотел тебя обидеть, Морри»,— говорит он.

«Нет, хотели, но мне и поделом».

Мы посмеялись вволю и потом отлично ладили между собой. И никто больше не звал его «мистер».

— Говоря по правде,— продолжал Динни,— Морри изо всех сил старался забыть, что он сын графа. Я думаю, ему не хотелось даже и вспоминать об этом. Теперь он был просто старателем, как и мы все. Через несколько дней пути он выглядел таким же бродягой, как и любой из нас: небритый, грязный, с опухшими но-

гами, но веселый. Когда мы тронулись в путь, он был чистенький и аккуратный, с брюшком, на носу золотое пенсне, в светлых волосах плешинка. А теперь брюшко он согнал, плешинку засыпало красной пылью, а пенсне разбилось задолго до того, как мы пришли на место.

Но один грешок за ним водился: даже в пути он не мог не сразиться в карты с Фриско Джо и его шайкой, хотя я и предупреждал его, что ничего хорошего из этого не выйдет.

«Насчет Фриско в Кимберли ходит дурная молва, Морри,— сказал я.— Смотри в оба».

«Буду смотреть»,— ответил Морри.

Иной раз они играли в покер у костра, и вот однажды вечером слышим, Морри говорит:

«Не умеешь ты передергивать, Фриско! Я бы и то лучше сделал!»

Фриско как вскочит да как даст ему в зубы. А Морри вдвое меньше его, мелкий да дряблый — куда ему против Фриско,— а все-таки не отступает. Тут и Олф вскочил: «Ну-ка, говорит, если ты желаешь подраться, Фриско, я готов!» Ребята стали в кружок. Олф и Фриско сцепились. Фриско здорово работал кулаками, он был сильнее Олфа; но Олф умел драться. Он мог бы тут же свалить Фриско с ног, но он заставил его сначала повертеться да попыхтеть, а уж потом так ударил, что тот растянулся на земле.

— Фриско не простил Олфу этой победы.— На старом благообразном лице Динни, обветренном и морщинистом, погасло то выражение удовольствия, которое ему доставляли эти воспоминания.— Когда Фриско представился случай выручить Олфа, он и пальцем не шевельнул. Единственный, по-моему, человек на свете, который имел зуб против Олфа Брайрли, хотя по виду никто этого не сказал бы. Сколько раз, бывало, Фриско шутил и смеялся, вспоминая, как они тогда сцепились. Но ни один из них не забыл того случая. И много лет спустя, когда они уже стали видными и почтенными людьми, им, должно быть, не раз хотелось скинуть пиджак и наброситься друг на друга, как в тот вечер.

В общем, он был не такой уж плохой, этот Фриско, из этаких американизированных молодчиков. Родом он был из Ирландии. Любил разгуливать в пестрой рубашке и высоких сапогах, на голове — лихо заломленная широкополая шляпа, за поясом револьвер. Он уверял, что привык таскать его с собой на калифорнийских золотых приисках и в Мексике. Но у него, как и у каждого из нас, были свои хорошие стороны. Взять хотя бы случай с Пэдди Кеваном, которого он взял, так сказать, под свою опеку после того, как Пэт Мэрфи поколотил мальчишку,— Пэдди стащил у него табак и продал его по пути старателям за перочинный нож

и еще какое-то барахло, которое, по мнению Пэдди, могло еще пригодиться.

Шустрый был паренек этот Пэдди Кеван. Все посмеивались над ним, когда он увязался за фургоном Мэрфи. У Пэдди только и было что на нем да коробка из-под леденцов, завязанная в тряпку. Брюки со взрослого мужчины, подрезанные внизу и державшиеся на веревке, синяя фуфайка и бескозырка задом наперед — словом, смех да и только! Пэт Мэрфи хотел отправить его обратно в поселок. Пэт не желал иметь безбилетных пассажиров.

«Как тебя зовут?» — спросил Пэт.

«Патрик Алоизиус Кеван»,— отвечает парнишка.

«Сколько же тебе лет?»

«На рождество восемнадцать минуло»,— нс сморгнув, заявляет Пэдди. Но Пэт Мэрфи сильно усомнился в этом, и сам Пэдди потом признался, что ему всего тринадцать или около того; судя по тому, что он рассказывал о себе, восемнадцать никак не выходило.

«Откуда же ты взялся?»

Пэт Мэрфи чуть не лопнул со смеху, когда услышал рассказ Пэдди, и взял его ходить за лошадьми.

Раз вечером, у костра, он заставил Пэдди рассказать, каким образом тот очутился без работы, когда старатели двинулись из поселка.

«Мы тут, знаешь ли, все товарищи,— сказал Пэт.— Никто тебя теперь не выдаст полиции».

Пэдди и так это отлично понимал. Он был рыжеволосый, веснушчатый, не чист на руку и хитер, как бес, а уж дерзок и смел — кого хочешь за пояс заткнет.

«Я служил юнгой на торговом судне «Энни Руни»,— начал он.— Мы шли из Нью-Йорка в Банбери за лесом. Когда до Банбери оставалось день или два пути, все матросы на судне стали запасаться сухарями и собирать свои пожитки, чтобы, как только сойдем на берег, удрать на золотые прииски. И каждый старался узнать дорогу на Йилгарн.

А капитан догадался и бросил якорь за несколько миль от мола. Он не намерен был терять свою команду и заявил, что будет грузиться с лихтера, а водой и продовольствием запасется в пути. Уж и злились же матросы! Но капитану все-таки надо было сойти на берег и явиться в контору компании, и кто-нибудь должен был отвезти его в шлюпке.

«Эй ты,— говорит он мне — должно быть, потому, что из всей команды я был самый младший и вид у меня такой невинный.— Держи-ка!»

Забрал я книги и судовой журнал и иду за ним. В кармане у меня были сухари и немножко американских денег.

Матросы знали, что видят меня в последний раз. Один парень сунул мне еще несколько сухарей. Я положил их в карман. Сели мы в шлюпку и отъехали. И вот мы едем — капитан Хаукинс весь в белом с золотом, такой важный, а я на корме, держу судовые книги, посматриваю на матросов у борта и стараюсь не смеяться. Я прямо слышал, как они чертыхаются и желают мне счастливого пути. Но я понятия не имел, где эти самые золотые прииски и как я доберусь до них. Только знал, что доберусь...

Капитан пошел по молу в город, а я следом за ним, точно рассыльный, с его вещами. Выступал он так гордо, словно именно он должен был поддержать честь американского флота. «Здравствуйте!» — говорил он каждому встречному, этак свысока и надувшись, как индюк.

Когда мы добрались до конторы компании, директор вышел из своего кабинета — улыбается во весь рот, из кожи лезет, чтобы показать, как он рад нам. Хаукинс взял книги и пошел с ним в кабинет.

«А ты здесь подожди»,— говорит он мне.

«Есть, сэр»,— говорю я.

Как только дверь за ними затворилась, я — зирк глазами на улицу. Вижу — там крестьяне с лошадьми и повозками, коровы пасутся вдоль тротуара, две-три лавчонки, много деревьев. Выхожу, иду, будто прогуливаюсь, заворачиваю за угол — и ух ты! Вы бы видели, как я помчался. Только ветер в ушах свистел!

Конечно, слоняться вокруг поселка мне было ни к чему,— продолжал парнишка.— Я знал, что Хаукинс вышлет людей разыскивать меня. Так он и сделал, да я ускользнул. А несколько дней спустя я увидел с пригорка, как «Энни Руни» уходит в море. Речонок было сколько хочешь, поэтому воды хватало. Но когда я доел сухари, лопать мне стало нечего; а к домам я подходил, только когда стемнеет: боялся. Бродил вокруг да слушал, что люди говорят. И узнал, что в порту баржа грузится сваями для нового мола в Фримантле. Я на нее и забрался. Через несколько дней я очутился на набережной Фримантла и отправился дальше по большой дороге.

Голодал я — уж будьте покойны! Целую неделю перебивался чем бог послал. И вот вижу: на дороге остановился какой-то парень с упряжкой волов; я раздумываю, что лучше — попросить у него работы или просто жратвы, а он уже приметил меня: «Эй, ты, орет, куда идешь?»

«Иду на золотые прииски»,— говорю.

«Ах, вот как, на прииски? — говорит, а сам хохочет, прямо помирает со смеху.— Ну, говорит, тогда я тебе советую скинуть свою покрышку, в ней ты далеко не уйдешь».

И ведь верно: на мне-то была бескозырка, и надпись «Энни Рупи» так в глаза и лезла! Ох и посмеялись же мы!

Я рассказал Барни, как мы распрощались с капитаном Хаукинсом, и Барни взял меня с собой — помогать ему ходить за волами. Он сказал, что тоже был моряком и тоже ушел с судна, чтобы искать золото. Сейчас он едет в Йилгарн — хотя там, кажется, дела плохи,— и я могу поехать с ним, а там посмотрим, чем я окажусь ему полезен. Вот как я попал в Южный Крест. Добрался туда, как раз когда Арт Бейли прискакал со своим золотом».

Пэдди уже отмахал двести сорок миль. В те дни на дорогу от Фримантла до Южного Креста нужен был месяц, и вот он теперь как ни в чем не бывало решил отшагать еще добрых сто миль. В Фримантле его, как дезертира, ждала только тюрьма да плети, поэтому у Пэдди, конечно, не было никакого желания возвращаться туда.

— О, теперь он большой человек, этот Пэдди Кеван,— продолжал Динни.— Я так и думал, что он добьется своего и не очень-то будет разборчив в средствах. Но если бы вы видели, как он шагал тогда по дороге! Башмаки подвязаны бечевками, подметка то и дело отстает и хлопает. Вы бы ни за что не поверили, что он когда-нибудь станет сэром Патриком Кеваном, акционером многих рудников на Золотой Миле.

Несколько раз заходил спор о том, кто же открыл золото в Западной Австралии. Началось с того, что Джонс Крупинка сказал:

— Мой отец уверял, будто какой-то каторжник первый нашел золото на Северо-Западе. Было это в шестьдесят четвертом году. Каторжник пустил слух, что он набрал целую горсть золота на берегу возле Кэмден-Харбор, еще когда служил матросом на голландском торговом судне. Судно называлось «Мари-Августа» и совершало рейсы между Роттердамом и Явой. Сильный шторм отнес его в сторону, и оно зашло в бухту на ремонт. Там оно простояло несколько дней, и этот парень уверял, будто за два-три часа набрал столько золота, что продал его за четыреста восемнадцать фунтов коммерсанту в Лондоне, скупавшему самородки. Уайлдмен — так его звали — решил отпраздновать свою удачу. В кабаке началась драка. Был убит какой-то драгун, и Уайлдмена приговорили пожизненно к каторжным работам.

Вот этот каторжник и предложил проводить экспедицию на то место, где нашел самородки, но при условии, чтобы власти согласились отменить приговор, если золото будет найдено. Его предложение вызвало в колонии большой шум — ведь в те времена про Северо-Запад ничего или почти ничего не было известно, а парень рассказывал об этом побережье с такими подробностями, точно знал его как свои пять пальцев. Его условия были приняты.

Правительство выдало на разведку субсидию в сто пятьдесят фунтов. Снарядили судно — «Нью-Персевиренс» — и на нем в этот край, будто бы полный золота, отплыла партия поселенцев, золотоискателей и туземцев с лошадьми. Вместе с партией ехал и инспектор полиции Пантер. Судно чуть не потонуло во время бури, но все же ему удалось добраться целым и невредимым до бухты и бросить там якорь. Однако Уайлдмен молчал как рыба. Ни угрозами, ни обещаниями его нельзя было заставить указать место, где он нашел самородки.

Обследовав местность на двадцать квадратных миль в окружности, путешественники вернулись на корабль с пустыми руками и решили, что Уайлдмен просто разыграл их. «Персевиренс» пошла на юг. Два дня спустя Уайлдмен сделал попытку бежать в одной из шлюпок. Но его изловили, заковали в кандалы, и он окончил свои дни в фримантлской тюрьме.

После этого никто уже не верил рассказам о золоте, будто бы найденном этим каторжником. Заглохли и слухи о каких-то преступниках, которые в шестьдесят пятом году шли с Хэптом по этому тракту и будто бы нашли золото.

Однако несколько старых горняков и старателей помнили эти разговоры. Они считали, что доля правды тут есть.

— Ведь тогда бежали четверо преступников,— заметил Сэм Маллет,— а поймали только троих. При них нашли несколько маленьких самородков. Один мой приятель был знаком с надзирателем тюрьмы в Фримантле, и тот рассказал ему всю историю. Преступники обещали показать, где они нашли золото, если их освободят. Но власти вторично на это не пошли, а потом и разговоры затихли.

— Арт Бейли говорил,— заметил Динни,— что один старик из Мерчисона уверял его, будто в той местности, через которую проходил Хэпт, к востоку от Нарлбип-Рокса, есть золото. Фамилия старика была Макферсон, но так никто и не знает, откуда он это взял. Форд думает, что это и есть тот самый четвертый каторжник, которому удалось бежать.

— Все равно,— возразил Джопс,— еще до того, как Бейли встретился со стариком Макферсоном, золото было найдено и на хребте Дарлинг в северном Дандалупе, и на Блэквуде на Юго-Западе, и на горе Тэллеринг возле Джералдтона, и в Серпентине, и в Ройбурне. Золото, видимо, было разбросано по всей этой проклятой стране, но везде понемногу. И только когда начался поход в Кимберли, рудокопы и старатели со всей Австралии потянулись на Запад.

— Мой отец был рудокоп,— пояснил Динни,— один из тех, кто в пятьдесят четвертом году боролся в Балларате за права

рудокопов. Я приехал туда, когда прошел слух насчет Холлс Крик. Фил Саундерс нашел там золото в самом начале восьмидесятых годов, но только в восемьдесят шестом старатели ринулись туда. Боже милостивый, что за путешествие! Четыреста миль от побережья, а когда мы наконец добрались — золота оказалось как кот наплакал. Начиная с Дерби, люди мерли как мухи; жара, москиты, отвратительная пища. К тому же — кочевники: так и ждешь, что на тебя посыплются копья. Собралось на прииске сразу две тысячи человек, но ходили слухи, что есть золото и дальше на юг, на реке Мерчисон и внутри страны. Остин, землемер, рассказывал о самородках, найденных в Маунт-Магнет и возле озера Эннин. Мы с товарищем отправились туда и неплохо разжились золотом в Наннине. Но главный бум был в районе Йилгарна, поэтому мы приплыли морем из Ройбурна в Фримантл, а оттуда отправились в Южный Крест.

Джонс Крупинка добрался туда раньше многих. «Йилгарн» — на языке кочевников значит «кварц», и, вероятно, во всех этих холмах были обнаженные породы. Поселенец, которого звали Чарли Глэс, первый нашел золото на дальнем конце хребта Дарлинг. У него был участок милях в ста от Тудайа. Рыл землю для плотины, а напал на самородок.

Колриви с партией старателей отправился на разведку и нашел золотую жилу — это место они назвали Золотой Долиной. Гарри Эпсти с другой партией добыли хорошие образцы у озера Дебора. Вскоре после этого Том Рисли открыл богатое месторождение за тридцать миль к востоку от Золотой Долины и назвал это место Южный Крест. Он и его товарищи мучились два дня без воды и уж, наверно, оставили бы там свои косточки, как говорил Том, если бы Чарли Кроссленд не взял направление на созвездие Южного Креста, а оно привело их к мочажине, где была вода. Там же Том Рисли нашел первый «камешек» и открыл местоположение жилы.

Хьюг Фрезер вел разведку к северу, вокруг Маунт-Джексона, но потом вернулся и застолбил участок рядом с Рисли. Правда, кто-то из его товарищей — Эпсти или Пэйн — первый нашел золото в районе Йилгарна, но не может быть сомнения в том, что именно Том Рисли открыл Южный Крест — хотя участок достался Фрезеру, и тогда компании «Фрезер Саут», а также «Сентрал» и «Сентрал Экстендид» начали там промышленную добычу золота. Еще год назад в Йилгарне добыча золота была выше, чем в любых западных приисках. Компании и сейчас выплачивали бы дивиденды, если бы владельцы не довели дело до забастовки.

Билл Иегосафат любил посмеяться над экспертами, утверждавшими, что никогда на Западе золото не будет найдено в коли-

честве, достаточном, чтобы начать промышленную разработку руды, что пустыня в глубине материка окажется западней для старателей.

Суть дела в том, говорил он, что в те времена правительство боялось, как бы золотая лихорадка не помешала заселению страны. Первые поселенцы жаждали земли. Им нужны были пастбища для скота и овец, пашни для посева пшеницы. Они боялись, что, если откроются месторождения золота, все работники разбегутся. Пойдут рыскать по стране в погоне за богатством, каждый будет сам себе хозяин.

— Билл был недалек от истины,— усмехнулся Динни.— Когда в шестьдесят четвертом Хэпт отправился на разведку, он, должно быть, прямо ходил по золоту. Но он не искал его. Он искал хороших пастбищ и решил, что нашел. На следующий год правительство опять отправило его туда, а с ним — несколько туземцев и отряд солдат и каторжников, чтобы проложить тракт для поселенцев. Тогда-то четверо каторжников и бежали, и при них нашли золото, однако никто на это не обратил внимания.

Но в конце концов именно золотые прииски открыли доступ в глубь материка, и скотоводам в этих краях пришлось туго, хотя там было достаточно корма — густые заросли акаций и низкорослых эвкалиптов, а после дождей эти дебри буйно цвели и зеленели.

— Вот как обстояли дела в девяносто втором; и страна, когда я посмотрел на нее с хребта Нарлбин-Рокс, мне показалась невыразимо прекрасной. Мы просто рты разинули. Ведь мы воображали, что нас ждет пустыня, а вокруг повсюду зеленела трава, цвели цветы: бессмертники точно снег белели под деревьями, акации стояли обсыпанные желтыми цветами.

Кое-кто из ехавших верхом или в повозках, запряженных парой лошадей, на второй же день ушли далеко вперед и скрылись из виду, и ежедневно все новые старатели обгоняли фургон Мэрфи. На последнем этапе пути многих охватило нетерпение. Джонни Майкледжон и Джордж Уорд решили идти всю ночь. Они взяли с собой только походный котелок и мехи для воды, немного муки для болтушки, чуточку сахару и чаю и ушли, сказав Пэту Мэрфи, что заберут свои вещи, когда фургон доедет до места.

Ночь была лунная, и они надеялись не сбиться с дороги, хотя в кустарниковых зарослях вилось множество звериных троп, а низкорослые деревья отбрасывали зыбкие обманчивые тени. Олфу очень хотелось присоединиться к Джонни Майкледжону и застолбить участок до того, как нахлынет вся толпа старателей; но он знал, что Динни лучше сумеет выбрать место, а больная нога не позволяет товарищу идти быстрее. Морри тоже считал, что просто

свалится, если будет идти еще полночи после целого дня ходьбы. Олф решил остаться с товарищами. Это он одним из первых заметил вдали лагерь Бейли и Форда и начал во все горло кричать ура.

Томми Толбот и бывшие с ним рудокопы из Южного Креста приветствовали со своего участка приближающийся поток старателей. Когда фургон Пэта Мэрфи остановился в долине, они сбежали вниз по склону и тут же начали выменивать свое золото на продовольствие. А старатели похватали свои вещи и кинулись отмерять землю в низине или рядом с участком Бейли. «Россыпного золота тут много,— сказал тогда Бейли инспектору,— точно мушиные пятна на окне».

— Вот почему мы и назвали это место «Мушиная Низинка»,— заключил Динни.

ГЛАВА IV

Окруженное скалами озерко в конце длинного и невысокого горного кряжа кочевники называли Куккарди. Но первые старатели не гнались за точностью и считали, что сойдет и Кулгарди. А некоторые уверяли, что местное название — Кулгабби.

Бейли и Форд расположились на северном конце кряжа, Томми Толбот, Гарри Баркер и Дик Фоссер — дальше к югу.

И вот на красной земле повсюду выросли палатки. Одни — из старой, видавшей виды парусины, сшитых вместе циновок и мешков, другие — новешенькие, из белого холста. Были и просто навесы из брезента, привязанные к деревьям, и даже шалаши. В ясное утреннее небо поднимался дым бесчисленных костров. Воды не хватало, поэтому золото не промывали, а просеивали, и над низиной целый день бурой мглой стояла пыль. С горного кряжа доносился грохот и треск разбиваемой породы, скрипели заступы, разгребая отвал, звенели кайла, ударяясь о камень, и рявкал топор, врезаясь в густой кустарник. Возгласы «есть!» — и топот ног с соседних участков, когда кто-нибудь находил самородок,— все это поддерживало в людях лихорадочное возбуждение.

На закате старатели подсчитывали дневную добычу, показывали друг другу свои самородки и бутылочки с песком, спешили до наступления темноты растолочь руду в ступках. Воздух был полон запаха солонины и пресных лепешек, которые пеклись на тлеющих углях костров. А когда ночной мрак смыкался кольцом вокруг лагеря и на потемневшем небе загорались звезды, у всех на языке только и было что легенды и слухи о золоте, об удачах других партий старателей.

Томми Толбот, Гарри Баркер и Дик Фоссер застолбили участок к югу от участка Бейли.

Чаще всего обсуждалась история о том, как Бейли и Форд выставили Томми Толбота и его товарищей с участка.

Динни и кое-кто из других рудокопов, в то время бастовавших, знали, что после того как Бейли и Форд в первый раз приезжали в Южный Крест за припасами, Толбот, Баркер и Фоссер отправились по их следам. По словам Томми Толбота, они сразу заподозрили, что Бейли с Фордом напали на хорошее место: ведь они выехали на северо-восток, в сторону соленых озер, имея при себе пять вьючных лошадей и запасы продовольствия на несколько месяцев. Тогда Томми и его товарищи купили четырех коней, вьючные седла, мешки и упряжь, погрузили запасы и пустились вслед за Бейли. У них была только одна верховая лошадь, поэтому они ехали по очереди; двигались они по тракту, проложенному Хэнтом к Нарлбин-Роксу.

Томми Толбот, теперь уже седой старик, почтенный и богатый, но до сих пор с удовольствием рассказывает историю о том, как он нашел в Кулгарди жильное золото, и почти с таким же увлечением, с каким рассказывал ее когда-то, сидя у костра в лагере старателей.

У Нарлбин-Рокса, говорил Томми, он и его товарищи встретились с Джеком Рейди и еще тремя старателями. Рейди сообщил, что они возвращаются в Южный Крест, золото они добыли, но, правда, такой пустяк, что и говорить не стоит. Он также объяснил Томми, где именно расположился Бейли со своими товарищами, и показал ему дорогу, идущую на северо-восток от тракта Хэнта.

Несколько дней спустя Толбот и его товарищи набрели на бочажок. Вокруг него виднелись свежие следы лошадиных копыт, и Том решил, что, значит, Бейли недалеко.

— На другое утро, пройдя с полмили вдоль хребта,— рассказывал Томми,— я чуть не умер от испуга, когда кто-то рядом со мной произнес «доброе утро» и я увидел Арта Бейли. Я сказал ему, что мы идем на разведку, и он ответил: «На этой низине стоит потрудиться». Мы стояли на гребне, за несколько сот шагов отсюда...

Тогда Томми Толбот и его товарищи расположились лагерем около бочага и некоторое время вели поиски в низине. В первый же день они добыли небольшой самородок и свыше унции золотого песку.

— Возле лагеря Форда и Бейли был белый кварцевый пласт,— продолжал Томми,— Форд нашел в нем маленькую жилу, но она была почти выработана. Он остался в лагере и продолжал разрабатывать ее, а Бейли опять ушел на разведку, за двадцать

миль, и у самого Ред-Хилла нашел россыпное золото. Мы же продолжали искать вдоль хребта и время от времени находили кое-что. Затем однажды утром я вдруг наскочил на хорошее место. Продолжая разведку, мы поднялись по склону холма и не успели еще добраться до верха, как увидели, что все скалы вокруг так и сверкают золотом.

Мы чуть с ума не сошли от радости. Верхний слой пласта состоял сплошь из кварца и золота. Мы принялись откалывать куски; сбросили куртки, завязали узлом рукава и унесли с собой столько, сколько были в силах. Но взять всего не смогли. Тогда мы вырыли яму и запихали в нее целый мешок руды. Когда мы оттуда ушли, только что перевалило за полдень. И вот на обратном пути в лагерь мы каким-то образом ухитрились заблудиться, уж очень густы были заросли, а мы — слишком взволнованы, чтобы обращать внимание на дорогу.

Стемнело, и мы вконец замучились, плутая в темноте с грузом породы. Однако около полуночи мы услышали звяканье колокольчика. Вскоре мы наткнулись на наших лошадей, они стояли вокруг бочажка и ждали, чтобы мы напоили их; так мы и сделали и легли спать.

На другое утро мы опять отправились к нашему пласту. Ночь проспали как убитые и выступили поздно. Почему мы не застолбили то место, где нашли золото? Одному богу известно почему! Должно быть, ума лишились от радости. Но когда мы пришли на вчерашнее место, его уже застолбили Бейли и Форд. Они заявили, что мы просто глупые птенцы и что, когда ищешь золото, все дозволено. Слово за слово — и вот уже Форд вытаскивает револьвер и грозит нам, что будет стрелять, если мы не уберемся отсюда. Но Бейли сказал: «Спрячь-ка эту штуку. Я не допущу стрельбы».

Бейли не возражал, чтобы мы остались с ними, но Форд не соглашался, и тогда Бейли сказал: «Тут скоро начнется бум. Если вы, ребята, застолбите участок к югу от нашего, вы из него выкачаете тысяч пять-шесть. Мы ведь застолбили очень небольшой участок». Так мы и сделали. Но Бейли и Форд забрали все те образцы, которые мы зарыли. Часть из них размельчили, а остальное отвезли в Южный Крест.

Томми Толботу шел тогда двадцать второй год; девонширец, маловат ростом, черноволосый, глазки блестят, как у крысы. Почему он был таким ротозеем и не застолбил участок, как только увидел, что там есть золото? Этого старые золотоискатели никак не могли понять. Но ведь Толбот и его товарищи были бастующие горняки, и ремесло старателя было для них делом новым. А Форд и Бейли стреляные птицы, и уж если правду сказать, они первые произвели разведку того прииска.

Большинство старателей стало на сторону Бейли и Форда. Впрочем, некоторые считали, что Толбот и его товарищи только потому не застолбили участка, что просто не знали, как это делается: ведь они даже не запаслись разрешением на разведку.

Арт Бейли был славный малый, общительный и добродушный, отличный знаток местности и опытный старатель; первое, что он сделал, получив участок,— об этом все знали,— он известил своих товарищей в Мерчисоне, чтобы они перебрались в Кулгарди и привезли с собой Макферсона; но старый Мак исчез. Никто больше о нем не слышал.

Бейли иначе рассказывал историю о жильном золоте в Кулгарди, чем Томми Толбот, а Форд — иначе, чем Бейли.

Вот что говорил Бейли:

— Однажды ночью Толбот и его товарищи явились на наш участок, набрали россыпного золота и зарыли кучу образцов. У меня были кое-какие подозрения, и я отправился туда на другое утро, чтобы проверить, все ли в порядке, и вижу: отвалена порода и взято очень много золота. Я пошел в лагерь Толбота, но застал только одного из его товарищей. Он заявил, что остальные на разведке. «Если они будут вести разведку там же, где и прошлой ночью,— говорю я,— им не миновать моей пули».

Мне нужно было поехать в поселок, чтобы сделать заявку, и я обещал ничего не предпринимать против Толбота и его молодцов, если они не тронут наш участок и оставят Форда в покое. Даже место им показал, где они тоже могли найти немало. Мы там за три дня добыли пятьдесят унций; но это их не устраивало. Мы раз двадцать были на участке и показывали им заявочные столбы; и все-таки Форду приходилось то и дело прогонять этих парней. Пока я был в отлучке, он помог им застолбить рядом с нами участок на четыре человека. Вот как было дело, ребята, и больше мне прибавить нечего.

Форд был, видимо, настоящий скупердяй, всегда угрюмый и необщительный. Он терпеть не мог, когда люди совали нос на его участок, и не имел ни малейшей охоты показывать им то золото, которое они с Арти собирали в мешки, чтобы отвезти в поселок. А золота у них было вдоволь. Динни клялся, что никогда не видел в чьем-нибудь лагере столько золота. И Форд рассказывал эту историю совсем иначе.

Он говорил, что вел лошадей на водопой к бочагу и это ему попался первый самородок в Мушиной Низинке. В тот день они с Бейли взяли там же восемьдесят унций и, кроме того, самородок в пять унций. Когда у них набралось около трехсот унций, они решили вернуться в Южный Крест. Там в то время бастовали гор-

няки, жить было трудно, и множество людей готово было броситься на поиски золота при первом намеке на возможную удачу.

Бейли и Форд не сделали никакой заявки в тот первый приезд, они только забрали припасы, сказав, что намерены отыскать Джека Рейди с его партией и посмотреть, как они действуют.

Рейди и его товарищи стояли лагерем возле бочажка. Бейли и Форд спустились к ним, сообщили, что нашли кое-что, и предложили Рейди задержаться здесь на время и поискать; ведь можно же заняться разведкой всем вместе. Это было, конечно, придумано для того, чтобы сбить Рейди со следа. Но оказалось, что у Джека и его товарищей кончаются припасы и они намерены возвратиться в поселок.

— Когда мы увидели, что последний из них исчез за поворотом, мы от радости подбросили в воздух наши шляпы,— обычно добавлял Форд с хитрой усмешкой на угрюмой физиономии.— Только когда мы возвратились в Мушиную Низинку, Бейли нашел в выветренном кварце богатую жилу. Я исследовал весь кряж и обнаружил золото на южном и северном концах. Золота было больше, чем мы могли унести. Я принялся шить мешки, чтобы уложить его, а Бейли пошел ловить наших лошадей. Воды в той местности было мало, они ушли далеко, и не так-то просто было пригнать их.

Вдруг появились трое парней и расположились возле нас. Они все время поглядывали на наш участок. Однажды утром они попросили меня показать им заявочные столбы. Я показал. Мы прошли мимо золотоносного пласта. Там золото было еще не тронуто. Затем я вернулся в палатку и продолжал укладывать нашу добычу в мешки.

Бейли вернулся уже к вечеру. Он спросил, ходил ли я к пласту. Я ответил, что только показывал этим молодцам столбы.

— А они там были и забрали очень много золота,— сказал Бейли.

На следующее утро Бейли отправился в лагерь Толбота, и они вернули ему часть золота, но далеко не все, что взяли.

Вокруг лагерных костров шли жаркие споры. Одни утверждали, что Томми Толбота и его товарищей надули: все права на находку за ними. Другие считали, что все права за Фордом и Бейли, даже если они и переставили свои столбы, чтобы включить в свой участок богатую жилу — ведь Толбот и его товарищи, по их собственному признанию, участка не застолбили.

Динни, Олф Брайрли и Морри Гауг застолбили в Мушиной Низинке участок на троих. Они начали с того, что принялись разгре-

бать отвал. Олф чуть с ума не сошел, когда в первый же день нашел самородок в две унции. На следующий день Морри нашел самородок в три унции. Когда Динни делал промывку, каждый раз в ковше оставалась широкая полоса золотого песка.

Почти все старатели в первые же дни находили золото. Но воды становилось все меньше. А число людей и лошадей все увеличивалось. Старатели, экономя воду, пересыпали гальку и песок из одного жестяного ковша в другой, чтобы ветер сдувал пыль, и на дне оставались тяжелые крупинки золота. Этот прием требовал большой ловкости. Олф скоро усвоил его; Морри — не сразу, но работал он тщательнее и стал со временем мастером сухого продувания.

Однажды несколько парней, искавших золото на участке Бейли, наткнулись на богатые россыпи. Дело в том, что опытные старатели сказали, будто все имеют право добывать россыпное золото вокруг пласта, потому что Бейли и Форд застолбили участок под разработку руды. Как бы там ни было, но участок Бейли взяла приступом целая толпа, и началась свалка и драка за золото. Люди шарили в земле голыми руками, отталкивали друг друга и валились друг на друга, охваченные бешеным желанием схватить хотя бы один из этих кусочков красноватого пыльного золота.

Бейли отправился за инспектором, который приехал вместе с ним из Южного Креста. Когда инспектор Финнерти явился на место происшествия, старатели изложили ему суть дела. Инспектор Финнерти заявил, что, согласно действующим правилам, владельцы участков имеют исключительное право на любое золото, найденное в пределах двадцати футов от золотоносного пласта, но что за пределами этих двадцати футов каждый может делать заявки на россыпное золото. Как только Динни понял, куда гнет инспектор, он выскользнул из толпы и застолбил участок возле того места, где только что рылись в земле старатели, и тут же принялся за работу. Вечером он показал своим товарищам двадцать унций золота.

— В этих горах мы нашли очень много золота,— рассказывал Динни,— и в низине тоже; ее назвали «Картофельное Поле», так как там попадались самородки величиной с картофелину и весом в четыре, пять и даже семь фунтов.

С каждым днем в лагерь прибывало все больше народу — верхами, в повозках, пешком. Фургоны подвозили продовольствие и людей. Партии старателей отправлялись в кустарниковые заросли, исследовали местность во всех направлениях. Динни охватило беспокойство. Россыпное золото его не слишком привлекало. Он хотел большего: отправиться в разведку, найти жильное золото и взять разрешение на разработку руды, с тем чтобы действительно

нажить состояние. Олф и Морри согласились работать на старом участке, пока Динни будет в отлучке.

Вскоре из Южного Креста в Кулгарди начал ходить дилижанс. Появились караваны верблюдов. Когда огромные животные в сопровождении погонщиков-афганцев зашагали по низине, покачиваясь и четко вырисовываясь на ясном голубом небе, пейзаж принял какой-то новый, чужеземный характер. Среди старателей и рудокопов, акционеров, агентов промышленных компаний, содержателей кабачков, торговцев мясом и бакалеей, привлеченных сюда золотой горячкой, можно было увидеть представителей всех национальностей земного шара.

Продажа спиртных напитков была запрещена. Но виноторговцам удавалось обмануть бдительность полиции. Вначале констебль Мак-Карти, прибывший вместе с инспектором, зорко следил за продавцами грога. Поймав одного из них с поличным, он вылил целую партию рома в песок, а одну бутылку сохранил в качестве вещественного доказательства. Дело разбиралось в Южном Кресте, там констебль Мак-Карти и предъявил эту бутылку в подтверждение того, что такой-то продавал спиртное старателям на приисках. Бутылку откупорили. В ней оказалась вода, и дело было прекращено.

— Кто-то здорово разыграл констебля с этим ромом,— смеялся Динни.

К октябрю четыреста человек стояло лагерем в низине, вдоль золотоносного пласта и на плоскогорье, поднимавшемся к востоку, туда, где по обеим сторонам широкой пыльной дороги уже начинал вырастать город. Жизнь стала дорожать. Вода стоила несколько шиллингов за галлон, и ее не хватало. Мука и сахар — один шиллинг семь пенсов фунт, мясные консервы — три шиллинга, масло — шесть шиллингов за банку.

Ходили слухи, что Бейли и Форд продали свой участок Сильвестру Брауну за четырнадцать тысяч фунтов. Продолжали поступать сведения о новых находках и о богатой золотом руде на участках Леди Форест и Маунт-Берджесс.

Когда мягкая весенняя пора сменилась знойным летом и безоблачное синее небо словно жгучим обручем стиснуло мертвую сухую землю, пылевые бури и недостаток воды заставили многих старателей вернуться в поселок. Правила разработки были смягчены, и владельцам участков разрешили покинуть их до сезона дождей. Но те, кто нашел золото, предпочитали оставаться на месте, хотя инспектор и советовал им вернуться. На столбах были расклеены объявления, призывавшие людей уходить небольшими отрядами, чтобы не исчерпать по пути все естественные водоемы. От водовозов стали требовать разрешения. Говорили даже, что тем

из них, кто доставлял воду из Нарлбин-Рокса, приходится ждать по два дня, чтобы наполнить свои бочки. Эти слухи вызвали панику.

Вспыхнула эпидемия тифа. Рэсайд, представитель отдела водоснабжения, горько жаловался, что афганцы и их верблюды загрязняют воду, располагаясь на отдых возле бочагов и колодцев.

— Вокруг некоторых колодцев,— сказал он,— не земля, а сплошной навоз, и вонь стоит страшная. Афганцы стирают грязное белье на краю колодцев, и грязная мыльная пена стекает в воду. У большинства верблюдов парша, их и подпускать бы не следовало к питьевой воде.

Правительство приставило сторожей к каждому водоему, колодцу и бочажку на всем пути от Южного Креста до Кулгарди, чтобы охранять воду и выдавать ее только людям, а фургонщиков и водовозов обязало платить за воду, которую пили их лошади и верблюды.

Пылевые бури обрушивались на лагерь, засыпая его горячей красной пылью, которая долго еще висела в воздухе и, постепенно оседая, покрывала все предметы толстым слоем; буря обычно сопровождалась несколькими вспышками молнии, раскатами грома, замирающими вдали, и этим все кончалось.

Напрасно люди выбегали из палаток и кричали, обращаясь к сумрачному грязному небу, затянутому тучами красной пыли:

— Давай! Давай!

Чаще всего гроза проходила, уронив несколько капель влаги, лишь слегка прибивавших пыль. Люди потуже затягивали пояс, ругались, шутили и берегли запасы продовольствия. С первыми лучами зари они вскидывали на плечо кайла и заступы и шли работать на свои участки; там они отваливали пустую породу, врубались в пласты кварца и железняка и трудились в поте лица своего, пока не угасал жгучий дневной свет. Тогда они спешили толпами в кабаки и пивные, утоляли жажду пивом, которое стоило не дороже воды; или, разведя костер и вскипятив воду, заваривали черный чай, которого жаждали пересохшие глотки и пустые желудки, а затем ложились возле своих палаток под ажурную тень тонких деревьев.

На закате земля пылала огнем. Густо-синие и багряные тени падали на железняк. Расплавленным алым диском исчезало солнце на горизонте. Небо вспыхивало пунцовым и золотым пламенем над темной волной кустарниковых зарослей.

В сумерках, до наступления темноты, вокруг играющих на пыльной дороге в ту-ап начинали собираться толпы людей; составлялись партии в покер. Только крики зрителей, следивших за взлетающими монетами, и хлопанье карт, которые игроки с

веселым азартом кидали наземь, нарушали душную тишину. Безрассудной и отчаянной была эта игра, за которой люди старались скоротать гнетущий вечер, когда ни одно дуновенье не колебало воздух и звезды тускло мерцали в небе, нависавшем бесконечной свинцовой кровлей.

Иногда перед рассветом поднимался ненадолго свежий ветерок, и люди в лагере приветствовали его вздохом облегчения, ворочаясь во сне и потягиваясь, словно стараясь глотнуть побольше спасительной прохлады. Но на восходе ветерок замирал, снова воцарялся сухой, неподвижный зной, и градусник показывал сто еще до начала работ, затем поднимался до ста восьми, а в полдень до ста двенадцати — и так до самого вечера.

Эти люди, прожившие первое лето в Кулгарди, эта толпа страшных пугал, иссохших и опаленных, грязных и оборванных, до могилы запомнили его. Не все проводили ночи за пивом или за азартными играми, где можно было в один миг выиграть сто фунтов. Многие лежали пластом на жаркой сухой земле подле своих палаток, глядя на звезды и задыхаясь, мучительно глотали воздух в надежде уловить хотя бы намек на ночной ветер, или садились в кружок посудачить о трудных походах, о будущем этого прииска, о том, единичная ли это залежь золотоносного кварца на участке Бейли или есть еще другие жилы в этом богатом, необъятном и неисследованном крае, раскинувшемся на сотни миль кругом.

У всех на устах было золото: рассказы о капризах золотой сирены, пленившей их, о давних временах и походах золотоискателей в Кимберли, Мерчисоне, в Наннине и Кью. К буйным крикам, возгласам и гоготу тех, кто толпился вокруг играющих и перед кабачками, порой примешивались хриплый смех или звуки песни. Из лагеря тоже доносился смех — в шутках и россказнях быстро пролетали короткие летние ночи — иногда под горестные причитания кочевников над старым разрушенным водоемом, который какие-то одержимые в поисках золота развороти́ли динамитом.

ГЛАВА V

В те дни одним из самых важных событий был приход почтового дилижанса или фургона с продовольствием. Все спешили ему навстречу — расспросить о том, что делается на свете, и закупить хоть немного припасов.

Из всех возчиков Джек Первый Сорт, старый приятель Динни, пользовался наибольшей любовью старателей. Высокий статный малый, красавец и весельчак, он был отчаянно смел и готов

на все, если ему не удавалось получить разрешения на воду,— лошадей-то поить надо. В то лето на пути из Южного Креста в Кулгарди он не раз стоял лицом к лицу со смертью.

— Ехал я как-то, ребята,— рассказывал он,— по старому разрешению. Когда я добрался до тридцать четвертой мили, мои кони так запарились, что где хочешь,— а воды доставай. Но сторож при водохранилище, старый хрыч, ни за что не желал поить их — только дал глоток мне самому. Он-де бережет воду для почтаря и его лошадей: такой ему дан строжайший приказ.

Но я решил, что там хватит и для меня, и для моих скакунов. Ну, спорили мы крепко и горячо, и вдруг он падает замертво. Я сначала не знал, какого же черта мне с ним делать, и вдруг меня осенило: да это же перст божий! Я хватаю ключ от бака, который висит у него на поясе, и зову своего помощника. Мы наливаем наши мехи до краев, поим лошадей. Потом я возвращаюсь к сторожу, посмотреть, как и что. А он уже начал понемножку в себя приходить. Ну, мы и подрали прочь, чтобы не объясняться.

Старатели всегда были рады посмеяться рассказам Джека о том, как он ухитрялся добывать воду.

В другой раз он выехал из поселка с грузом продовольствия. Его лошади уже два дня были не поены, когда он наконец добрался до казенного водохранилища, но разрешения у Джека не было, и сторож не позволил ему поить лошадей, хотя воды было достаточно. Среди своих товаров Джек вез контрабандой несколько бутылок рома, и он решил раскупорить одну и угостить сторожа. Но Чарли Моргун, как все называли сторожа, имел зуб против Джека, и месть казалась ему сладостнее рома.

— Нет, этим ты меня не возьмешь, Джек,— заявил сторож.— И воды для лошадей ты без разрешения все равно не получишь.

Джек расположился на ночь неподалеку от водохранилища и твердо решил, что лошадей он все-таки напоит; однако он не был твердо уверен в том, что Чарли Моргун попадется в расставленную ему ловушку. Юноша-туземец, его помощник, развел костер. Джек Первый Сорт выдал ему его долю продовольствия и уже собирался закусить сам, когда появился возчик по имени Джим Райен. Он ехал из Кулгарди, и его лошади чуть не бесились от жажды.

— Разрешение есть? — спросил Первый Сорт.

Оказалось, что Джиму тоже не удалось добыть разрешение на воду для лошадей. А Чарли Моргун заявил, что без разрешения он не даст ни капли.

— Ах, старый урод! — завопил Джим.— Я покажу ему, как не давать воды! У меня лошади подыхают!

— Подожди минутку,— сказал Первый Сорт, который не хотел брать на душу смертоубийство.— Моргун заявил мне, когда я хотел соблазнить его бутылкой рома, что он не желает выпивать с таким вором, как я. Ладно, говорю, так я выпью и свою долю и твою! Размахиваю бутылкой, делаю вид, что пью и разговариваю сам с собой. Словом, раздразнил я его и вижу: до смерти ему выпить захотелось. Я и «забыл» у него бутылку, а он решил, что я это спьяну.

Джим был в восторге от этой проделки и подсел к Джеку, чтобы вместе с ним закусить. Они подождали, пока стемнело. Затем, увидев, что в лачуге Моргуна свет погас, направились к воде. Искать ключ незачем, решили они. Они постучали по стенке бака, чтобы определить уровень воды, Джим пробил маленькую дырку, чтобы вода текла понемногу, и Первый Сорт подставил ведро. Они наполнили свои ведра, напоили лошадей и разъехались в разные стороны. Вот какую шутку сыграл со сторожем ром: свалил его с ног, и возчики добились своего.

Но самый знаменитый подвиг Джека Первый Сорт был совершен им, когда он возвращался из Кулгарди в Южный Крест и ему приходилось опасаться мести всех сторожей, которых он надул по пути туда. Джек как раз ломал голову над тем, как бы ему напоить лошадей у первого водохранилища, когда увидел английского солдата; тот ходил искать золото и теперь возвращался в поселок; он едва передвигал ноги. Джек предложил подвезти его.

На солдате был пробковый шлем, этот, знаете, «Стенли в дебрях Африки», пояснил Джек. А у Джека лежала в кармане повестка о привлечении его к суду за то, что он ездит без разрешения из поселка в Кулгарди. Бумага имела вид вполне официального документа — даже с огромной печатью. Эта печать и солдатский шлем навели Джека на блестящую мысль.

Он объяснил положение своему пассажиру:

— Я должен в первом же водохранилище достать воды и напоить лошадей, иначе мы пропали,— сказал он.— Но для этого нужно сделать вот что: мы, мол, из отдела водоснабжения и производим разведку в поисках воды. Вы — уполномоченный. Я спрячусь, когда подъедем к сторожке. Мой мальчишка-туземец покараулит лошадей. Его-то никто не признает. Вам нужно сделать только одно: подойдите к сторожке, поднимите шум и помахайте этой печатью под носом у старика, будто вы невесть какая важная птица. Только ни в коем случае не давайте ему прочесть бумагу. А как получите воду, поскорее удирайте.

Англичанин согласился взять на себя эту роль и исполнил ее с таким успехом, что все прошло без сучка без задоринки. Он разыгрывал ее в течение всей поездки.

Все долгое лето Первый Сорт ездил со своим фургоном туда и обратно и всеми правдами и неправдами привозил новости и продовольствие людям, прикованным к иссохшей, пустынной земле. И почти каждый раз он привозил Моррису письмо и посылку от миссис Гауг, а также письма и свертки Жану Робийяру от его жены.

Старатели бодро и упрямо выносили все лишения, которые им приходилось терпеть. Охать или ворчать считалось недостойным. Пессимисты и трусы давно покинули лагерь. А те, кто остались, хвалились своей выносливостью. Безрассудная отвага побуждала их не прекращать борьбы за богатство, которое, как им чудилось, ждет их, притаившись где-то в серых беспредельных зарослях под красной, раскаленной солнцем поверхностью земли.

Жизнерадостность и неукротимая воля к тому, чтобы выжить вопреки смертоносному зною, спаяли воедино людей всех уровней и положений, помогая им пройти через все передряги, как выражался Динни. Время от времени из кустарниковых зарослей возвращался старатель, высохший, как скелет, с диким взором и косматой бородой, почти потерявший рассудок от голода и жажды. Ходили рассказы о людях, пивших собственную мочу, чтобы не умереть, об одном старателе, будто бы убившем свою лошадь и выпившем ее кровь, чтобы поддержать в себе жизнь.

Считалось, что если человек умирает от голода, он имеет право взять пищу у другого старателя. Но если на каком-нибудь участке были выложены инструменты, это означало, что его владелец болен, и горе тому, кто попытался бы захватить этот участок.

Когда запасы воды стали истощаться, дело чуть не дошло до бунта. Пришел караван верблюдов с двумястами галлонов воды для Билла Фаахана, выстроившего трактир и условившегося с одним афганцем, что тот будет привозить ему воду из водоема, находившегося за пятьдесят миль. Люди накинулись на караван, как одержимые, и стали с боя брать воду; это продолжалось до тех пор, пока Билл с ними не сторговался, предложив оставить для трактира пятьдесят галлонов, а остальное раздать старателям. Один старик, ошалевший от жажды, так сильно перегнулся через край бочки, что, потеряв равновесие, свалился в воду и его пришлось оттуда выуживать.

Старатели шутили, что в тот день он получил воды больше, чем ему полагалось, а Билл ужасно бранился, что вот какой-то вонючий старик испакостил ему воду. Но и ругань и смех были делом привычным. Наплевать на все, лишь бы хватило воды и пищи, пока не начнутся дожди.

— Вот когда пойдет дождь...

— Вот когда дождемся ливня...

Эти слова были у всех на устах. Даже золото не так манило теперь людей, как вода.

Кочевники обходили стороной лагерь белых, пока стояла хорошая пора и можно было охотиться на кенгуру, бунгарра и эму на равнинах и в далеких горах. Когда же началось сухое время года, они пришли к Нарлбин-Роксу, к своему колодцу в Кулгарди, и увидели, что там хозяйничают белые и что воды осталось чуть-чуть — люди и животные почти всю выпили. Им пришлось довольствоваться мочажинами и небольшими водоемами, тайну которых они строго хранили.

Вокруг пересохших бочагов и впадин валялись трупы кенгуру и даже ворон, а у белых было продовольствие, и темнокожие, словно мухи, окружили лагерь, кормясь требухой и остатками пищи в жестянках и бутылках, которые выбрасывали лавочники.

Вино и табак! Любого туземца можно было рано или поздно купить этими благами. Они выходили из зарослей худые и голодные, с одной лишь волосяной повязкой вокруг бедер, а женщины — молодые были очень миловидны — просто нагие. Через минуту они уже шныряли по лагерю, вырядившись в старое тряпье, клянчили пищу и табак и выменивали своих жен, а потом в зарослях, под звездным небом, творили заклинания, призывая дожди и оплакивая свою горькую судьбу.

Вскоре кочевники выучили несколько слов по-английски, а белые несколько слов на туземном языке. Так возникла смешанная речь, которую понимали и те и другие.

Тачка была предметом, широко распространенным среди старателей, и темнокожие прозвали дилижанс «большая тачка», а лошадь с повозкой — «тачка с лошадкой». Увидев в первый раз верблюда, они воскликнули: «Большой эму!»

Находясь среди белых, туземцы, держались с угрюмой замкнутостью, но между собой смеялись над белыми и пели песни, где вышучивали ненасытную жадность пришельцев к желтому камню, который те называют золотом и который нельзя ни выпить, ни съесть, и то упорство, с каким белые, разыскивая его, зарываются в землю, точно крысы.

Многие старатели, хорошо знавшие страну, поддерживали дружбу с туземными жителями, и туземцы частенько помогали им, когда они шли на разведку. Но были и такие, которые видели в туземцах только «черномазых», обращались с ними хуже, чем с собаками, злоупотребляли их доверчивостью, похищали их женщин, оскорбляли их и били по малейшему поводу.

— У меня лично,— говорил Динни,— никаких столкновений с туземцами не было. Я всегда обращался с ними дружески и не трогал их женщин. Поэтому я был в безопасности. Впрочем, у них

другие понятия о мести, чем у нас. По их законам, если человек, принадлежащий к одному племени, убьет человека из другого племени, то мстят любому члену того племени, к которому принадлежит виновный. Вот почему многие старатели, производившие разведку к востоку и северу, были заколоты, а их лагери разграблены. Они поплатились за грабежи и убийства, совершенные другими белыми. Кстати сказать, чернокожие на Лейвертоновых холмах всегда славились своей свирепостью. Но те, которые кочевали между Южным Крестом и Кулгарди, были люди мирные и незлобивые — сущие младенцы.

Динни считал, что нужно оставаться в Кулгарди, раз еще удается добывать хоть немного воды. Он подбадривал товарищей, уверял их, что теперь со дня на день можно ждать грозы с ливнем. Динни исследовал местность в двадцати пяти милях к северо-востоку и надеялся найти там золото. Он решил отправиться туда, как только начнутся дожди.

Олф и Морри не возражали. Они понимали, что, расставшись с Динни, они рискуют упустить свое счастье, а возвращение в поселок ничего им не сулит. Без работы и без денег что там делать? Они готовы были поставить на карту свою жизнь, лишь бы добиться богатства. Каждую ночь они по очереди тащились за тридцать миль в Нарлбин-Рокс и там вместе с другими ждали до рассвета своей скудной порции воды.

Самой удивительной особенностью этих естественных водоемов было то, что, если даже они пустовали весь день, на рассвете в них неизменно появлялась свежая, чистая вода, которая накапливалась за ночь.

— Когда работаешь, не думаешь о жаре и голоде, и лучше заниматься делом, чем торчать в трактире или валяться без толку и потеть, пока совсем не обессилеешь,— говорил Динни.

Он сам работал и заставлял работать Олфа и Морри, несмотря на свирепый зной этих бесконечных дней. Когда их заявка в Мушиной Низинке истощилась, они застолбили участок к югу от участка Бейли и трудились не покладая рук, разбивая породу кайлом и разгребая отвалы, а под вечер дробили руду. Это поддерживало в них мужество.

Однако, невзирая на все труды, вложенные ими в этот участок, где они пробили шурфы и вырыли шахту, их усердие вознаграждалось весьма скудно. Золото было, но настолько мало, что игра не стоила свеч. Его едва хватало на жизнь — вот и все. Пока оставалась надежда на более выгодные находки, бедную руду никто не покупал, а во время засухи купля и продажа вообще шла вяло. Динни строил все свои расчеты на том, что в период дождей опять будет приток перекупщиков и можно будет продать свой

участок, тем более что он почти примыкал к участку Бейли и была надежда на более глубокое залегание золота.

Олф упрямо работал кайлом; на тощем пайке он исхудал и высох. Его лицо приняло цвет дубленой кожи и заросло бородой. В глазах застыли страх и отчаяние, но он еще находил в себе силы смеяться, отпускать шуточки по адресу Динни и Морри и распевать любовные песенки и «Джона Брауна», как распевал их в пути.

Товарищи дразнили его из-за этих любовных песен и писем, которые он каждый вечер, на закате, писал своей милой, растянувшись на земле. Все знали, что ее зовут Лора и что ее отец, богатый политический деятель в штате Виктория, не разрешает дочери выходить за Олфа Брайрли, пока тот не найдет какой-нибудь способ зарабатывать свой хлеб.

Отец Олфа тоже имел состояние, но, видимо, все потерял во время земельного краха. Олф приехал на Запад в поисках работы, поступил в «Фрезерс голд майнинг компани» и был выброшен на улицу, когда рудники закрылись. Вот он и лез из кожи, чтобы разбогатеть, вернуться в Викторию и жениться на своей девушке. Ради этого он выносил нестерпимую жару, а когда старатели заходили вечерком поболтать с Динни, об этом он мечтал, лежа на спине и глядя на звезды или на лунный свет, струившийся, точно расплавленное серебро, с остроконечных листьев деревьев.

Большинство товарищей Динни, рудокопов из поселка, дружелюбно относилось к Олфу. Добродушный малый, открытый и честный, с этим они были согласны; правда, не без ханжества — вечно удерживает Динни, чтобы тот не пил слишком много. Но Олф — хороший товарищ, а в лагере старателей в те времена только это и требовалось.

Надо отдать справедливость Морри — он тоже держался стойко. У него, как и у всех новичков, кожа была обожжена солнцем, ноги стерты до крови, руки в волдырях. Но, претерпев первые испытания, Морри перестал охать и, видимо, решил не унывать. Жизнь золотоискателя давалась ему не легко. У этого изнеженного, рыхлого, близорукого барина вечно ломило спину, или болел живот, или еще что-нибудь; Динни говорил, что никогда не видел человека, у которого было бы столько всевозможных хворей, как у Морриса. Но Морри научился не жаловаться, твердо решив доказать, что и у него есть характер. И он доказал это, хотя его кровь чуть не закипала в жилах от зноя, а гладкое полное лицо стало цвета сырой ветчины и заросло грубой щетиной.

Раньше Морри никогда бы не позволил себе ходить небритым и немытым. Он жестоко страдал от грязи; но вода была слишком большой роскошью, чтобы тратить ее на умыванье, бритье или

стирку. Все, что человек мог себе позволить,— это обтереть лицо и руки влажной, а то и сухой тряпкой. Постепенно Морри привык к грязи и к мухам, которые носились роями даже в шахтах, оставляя в складках его фланелевой рубашки ползающих личинок. Но это было ничто в сравнении с теми муками, которые он испытал, когда заболел местной болезнью «барку». Его спина, руки и ноги покрылись огромными болячками, губы потрескались и кровоточили.

Динни и Олф заставили его бросить на время работу. Они перевязывали его, лечили различными солями и лимонным соком, когда удавалось его достать. Морри уже привык работать под землей, и теперь он страдал от безделья сильнее, чем когда отгребал отвал или, обливаясь потом, продувал золотой песок в лучах палящего солнца.

Казалось, он боится, что товарищи обманут его; найдут богатую жилу и заберут все себе. Динни подшучивал над его страхом упустить добычу, хотя не позволял себе и мысли, чтобы Морри заподозрил их в таком предательстве.

Старатели на приисках сурово карали малейшее нарушение неписаного закона, который запрещал обманывать товарищей. Кодекс морали строжайше соблюдался; самыми тяжкими преступлениями считалось утаить или украсть золото у товарища и предать общие интересы золотоискателей.

Время от времени происходили собрания всех рудокопов и старателей, если случались споры об участке или драки между товарищами. Чтобы созвать всех старателей, обычно били в жестяной таз, и каждый, услышав этот сигнал, считал своим долгом бросить любое дело и поспешить на сборище.

Начиналось с того, что обиженный объяснял собравшимся, какие причины побудили его созвать всех. Избирался судья, а все старатели выполняли функции присяжных. Пострадавший излагал дело и приводил доказательства в свою пользу. Подсудимого спрашивали, признает ли он себя виновным или не признает и что он может сказать в свое оправдание. Судья все это резюмировал, обычно очень умно и беспристрастно, а приговор выносило общее собрание. Вопрос о том, виновен или невиновен обвиняемый и следует ли наказать его за нарушение законов лагеря, решался просто голосованием. Наказание состояло в том, что провинившегося снабжали пищей и водой на двадцать четыре часа и изгоняли из лагеря. Куда бы он ни пришел, он всюду был отверженным.

Динни мог часами рассказывать о таких собраниях. По его мнению, это был единственный реальный способ поддерживать закон и порядок на приске, куда стекались люди самых разных

национальностей, потому что, вынося приговор, старатели исходили из понятий о справедливости, признанной всеми в лагере. Это была стихийно возникшая организация трудящихся, которую приходилось уважать, и благодаря ей Кулгарди прослыл единственным в мире золотым прииском, где люди не убивали и не калечили друг друга.

Здесь жили бок о бок французы и немцы, сражавшиеся друг против друга в франко-прусскую войну, шведы, датчане, поляки, русские политические эмигранты, англичане и ирландские повстанцы, кокни и шотландцы, старатели с золотых приисков Калифорнии и Мексики, евреи и афганцы. Но большую часть составляли все же коренные жители Австралии. Это были батраки, фермеры, скотоводы, рудокопы, стригальщики, клерки, торговцы и лавочники.

Национальные различия стирались в этом столпотворении племен и религий. Человек нередко был больше известен по своему прозвищу, чем по имени. Каждый, например, отлично знал Джека Первый Сорт, но большинство покачало бы головой, если бы вы назвали мистера Джоана Кракауера,— нет, они не знают такого. Фред Француз, Джордж Немец-Швед, Томсон Верблюд, Грин Хулиган, Гарри Свекла, Доу Динамит, Янки Ботерол, Билл Иегосафат, Тупая Кирка — все они были люди известные. Но едва ли кто-нибудь из старателей мог назвать их настоящие имена и фамилии.

Поиски золота и ожесточенная борьба за существование в этом глухом краю, окруженном на сотни миль иссушенной, почти безводной пустыней, ставили людей в зависимость от первоосновы человеческого общества — охраны взаимных интересов. И общее собрание старателей служило этой цели.

Был назначен инспектор, который следил за соблюдением правил, установленных для золотоискателей. Обыщите хоть весь свет, уверял Динни, не найти вам на эту должность более подходящего человека, чем Финнерти. Инспектор Финнерти вполне соответствовал духу лагеря в Кулгарди. Он с твердостью выполнял свои обязанности и вместе с тем сочувствовал старателям и признавал их неписаный закон. Немало историй рассказывал Динни об инспекторе Финнерти.

Авторитет собрания старателей никогда не оспаривался. К нему не прибегали без достаточных оснований. Его решения неизменно утверждали принципы равноправия и честности.

Скоро в лагере появились конные полицейские. Но и они вынуждены были считаться с неписаным законом приисков. Ходило множество легенд о беспорядочной и буйной жизни старателей в Кулгарди, но Динни уверял, что в те ранние времена у полиции

было очень мало дела. Разве что иной раз приковать на ночь к дереву разбушевавшегося пьяницу, а затем утром отвести его на суд к инспектору под холщовый навес или отправиться на розыски пропавших старателей; но в течение почти трех лет серьезных преступлений не было.

Тысячи фунтов золота лежали в мешках в палатках, и семь дней везли эти мешки через кустарниковые заросли в открытой повозке, без охраны. Но тогда не было ни краж, ни нападений на тех счастливцев, которые возвращались в Южный Крест с целым состоянием в переседельных сумках.

И только когда участки были проданы старателями и крупные компании потребовали охраны, почтовый дилижанс с золотом стали сопровождать верховые, вооруженные карабинами и револьверами.

ГЛАВА VI

После того как Фриско Джо Мэрфи отличился на собрании старателей, изгнавшем Чарли Мопса, его популярность возросла еще больше.

Вскоре по приезде в Мушиную Низинку Фриско напал на богатую жилу, затем продал свой участок и купил верблюдов. Он объединился с одним стариком-старателем, у которого была пара лошадей, и они отправились на поиски золота в юго-восточном направлении, взяв с собой туземца с женой и запасы продовольствия на два-три месяца.

Когда началась засуха, Фриско вернулся. Он рассказал, что ему не повезло: добыл всего несколько унций золота, туземцы удрали, а самец-верблюд искусал ему руку. Когда ему стало от боли невмоготу, он сел на другого верблюда и вот — приехал. А Джордж едет следом с двумя конями.

Однако Джордж появился только две-три недели спустя. Фриско уже поговаривал о том, чтобы собрать ребят и отправиться на поиски товарища, когда Джордж приполз в лагерь без штанов, взбешенный, и рассказал, как подло с ним поступил Мэрфи: бросил его без воды и забрал с собой все золото, которое они добыли. Лошади ушли, а он заблудился на обратном пути в лагерь.

Фриско клялся, что Джордж Немец-Швед, как его звали, просто спятил. Уходя, он, мол, оставил Джорджу ровно столько воды, сколько сам взял с собой, и, кроме того, опреснитель. Посоветовал ему не задерживаться, так как вода в колодце, вырытом ими на краю пересохшего соленого озера, стояла очень низко. Он готов отвести любого на то место, где они с Джорджем нашли чуточку россыпного золота. Он привез его с собой, как они условились, и

говорил, по крайней мере, десятку старателей, что доля Джорджа у него.

Никто не мог опровергнуть утверждений Фриско. Но Джордж больше не желал иметь с ним дело. Он так и остался каким-то чудным, будто не в себе, и всякий раз, увидев Фриско, приходил в ярость: начинал бормотать что-то про золото, которое Фриско у него украл там, у соленого озера.

Фриско не обращал на это решительно никакого внимания. Он пользовался всеобщей любовью, легко и беспечно переносил все лишения. Парень лихой, что и говорить: широкополая шляпа, яркая рубашка, попошенные брюки, за поясом револьвер. Если кто-нибудь дразнил его и спрашивал, зачем ему оружие, Мэрфи смеялся: «Это мой талисман, моя «Мария»,— говорил он.— Без нее мне счастья нет». Потом стрелял в подброшенную монету или принимался рассказывать о своих любовных похождениях в Мексике и на побережье Южной Америки, когда «Мария» не раз выручала его в критическую минуту.

Щедрый и приветливый со всеми, Фриско считался славным малым, невзирая на его ухарство и хвастовство. И если он разыгрывал из себя коновода и принимал как хозяин приехавшего на разработки знатного иностранца или богатого акционера, никто не возражал. Уж Фриско последит за тем, чтобы приезжий поставил выпивку для всех, и при этом всегда даст совет товарищам потребовать ли более высокой цены или, наоборот, сбавить, если иначе никак нельзя договориться. Ну и, конечно, уж сам брал комиссионные с каждой сделки. Против этого возражений не было. Смех и шутки Фриско во время всеобщего уныния в ожидании дождей действовали на людей благотворно, поддерживали в лагере бодрость. И днем, в нестерпимый пылающий зной, и душными, накаленными ночами слышно было, как он перебирает стальные струны гитары и страстно мурлычет:

И добра была, и честна была,
А кудри вились колечками.

И в пору засухи Фриско не унывал, вечерами играл в карты, а бóльшую часть дня слонялся по лагерю. Но ни одно важное событие не обходилось без его участия. Он организовал санитарный комитет и убедил его отвести несколько палаток для заболевших дизентерией и тифом; помогал добровольцам, которые ходили за больными, хотя при недостатке воды, обилии мух и пыли, проникавших через брезент, больные едва ли могли надеяться на выздоровление. Они лежали на койках, сделанных из толстых веток и мешковины, как были, в рабочей одежде, а иногда и в сапогах, немытые, не приходя в сознание по многу дней. Старик, при-

ставленный к ним, не считал нужным накрывать керосиновые бидоны, которыми пользовались больные дизентерией, и кормил своих пациентов сгущенным молоком. Большинство из них умирало.

Жан Робийяр этим летом тоже был на волосок от смерти. Никогда бы ему не выжить, если бы не товарищи. Чудачок был этот старик, по прозванию «Коровье Брюхо», говорил Динни. Разорившийся англичанин, который целый год безуспешно искал золото в окрестностях Южного Креста, а потом получил место дворника при трактире, где Робби служил поваром. На приисках они хорошо ладили, хотя Коровье Брюхо, пьяница и лодырь, заставлял молодого француза делать на их участке почти всю черную работу. Однако Робби был обязан жизнью Коровьему Брюху, тот преданно ухаживал за ним, когда Робби свалился в тифу: старик обтирал его мокрыми тряпками и поил кипяченой водой.

Все лечение Коровьего Брюха сводилось к тому, что он оставил больного в своей палатке и старался держать его в чистоте и прохладе. Но опыт оказался удачным: в больничных палатках люди мерли как мухи, а Жан выжил. Олф и Динни усердно помогали старику. Приносили ему воду и варили пищу, по очереди дежурили возле Робби, когда тот был в бреду. Они с болью вспоминали Мари Робийяр и ее горестный взгляд при прощании с мужем.

Фриско заставил санитарный комитет обратиться за помощью к правительству. Последовал отказ. Старатели проклинали правительство, собирали деньги на лекарства и упорно не сдавались, стойко выдерживали борьбу с нещадным солнцем, мухами и тифом. А борьба, какова бы она ни была, все же давала исход тревоге, угнетавшей людей. Фриско не один спор разрешил при помощи кулаков, чтобы восстановить порядок, когда игроки теряли самообладание и в драку вступали все зрители.

Это он созвал общее собрание старателей, после того как обнаружилось, что Чарли Мопс играет на фальшивые деньги. Собрание дало Мопсу два часа на сборы. Мопс отказался покинуть лагерь и вооружился топором.

Тогда Фриско во главе нескольких сот разъяренных людей стал перед ним, держа револьвер в руке.

— Уходи, Мопс,— сказал он.

— Уж больно ты заносишься, хвастун несчастный! — заорал Мопс.— Ничего ты со мной не сделаешь! Ни ты, ни такие, как ты. Первого, кто меня тронет, я зарублю вот этим топором.

Пуля Фриско пробила навылет руку Мопса. Мопс выронил топор. Доктор Тодд, который в свое время бросил медицину ради золота, вышел из толпы, послал за чемоданом с инструментами,

перевязал Мопсу руку, и старатели, снабдив Мопса запасом воды и пищи на двадцать четыре часа, вывели его на дорогу.

Если бы не Фриско, положение могло стать критическим: не было случая, чтобы приговор собрания остался невыполненным. Фриско еще выше поднялся в общем мнении — он отстоял неписаный закон золотоискателей, и в тот вечер весь лагерь чествовал его.

Мальчишка Пэдди Кеван, который всегда оказывался там, где затевалась драка, с восхищением описывал смелость и хладнокровие Фриско — как метко он прострелил Мопсу руку, и как тот сразу скис, и как топор выпал у него из рук и весь он был забрызган кровью.

Однако Фриско самому Пэдди пригрозил общим собранием, когда заметил, что негодник стянул что-то из его палатки. Но Пэдди, как собачонка, ходил по пятам за Фриско. Вначале Пэдди жил вместе с Фриско, стараясь изо всех сил угодить ему: таскал воду, покупал провизию, стряпал и даже стирал белье Фриско, когда хватало воды. После того как Фриско вышвырнул его, Пэдди начал подрабатывать чем придется — в кабачках, где контрабандой подавали грог; в трактирах и лавках; продавал газеты, когда их привозили; пристраивался к какому-нибудь удачливому старателю и ухаживал за ним, когда тот напивался; выпрашивал воду и пищу, если не мог купить их, и спал где попало — в пыли, подле какого-нибудь сарая или лавки мясника.

Он соорудил себе шалаш неподалеку от палатки Динни Квина и усердно собирал старые мешки и куски жести, чтобы покрыть свое жилье до того, как начнутся дожди.

Дерзкий и самоуверенный парнишка разгуливал по лагерю и пользовался каждым случаем, чтобы заработать несколько шиллингов. Уж очень он был на руку не чист, говаривал Динни, а то многие согласились бы взять его на свое попечение. Но Пэдди отнюдь не стремился быть на чьем-либо попечении. Он считал себя ничем не хуже взрослых и поджидал случая, когда наконец найдет себе товарища и отправится с ним на разведку.

А пока он рылся в отвале — иной раз и вытащит порядочный самородок — или слонялся вокруг палаток, собирая всякий хлам, который мог ему пригодиться в собственном хозяйстве. Нередко эти похождения кончались затрещиной или пинком под зад. Но это мало тревожило Пэдди. Через минуту он уже снова скалил зубы и продолжал таскать, что ему нужно было, с видом оскорбленной невинности и при этом так забавно сыпал шутками и прибаутками, что старатели частенько прощали ему его проделки. Занятный, ловкий малый, но доверять ему нельзя — таково было общее мнение.

Пэдди ходил за Джорджем Немцем, когда тот болел, и вскоре заявил, что после дождей они вместе отправятся искать золото.

— После дождей... После дождей...

— Начнутся они когда-нибудь, эти проклятые дожди?

Вот что повторяли все.

А месяцы шли, и зной невыносимой тяжестью угнетал людей. Пылевые бури одна за другой налетали на палатки и шаткие навесы, валили их наземь, вырывали куски мешковины и в раскатах грома и вспышках молний уносились дальше. Дни тянулись за днями под тем же железным, добела раскаленным небом.

Люди чертыхались, потуже затягивали пояс, шутили и не сдавались, стиснув зубы и твердо решив переупрямить погоду.

И вот, после мучительного дня особенно удушливого зноя и пылевого вихря, он наконец обрушился на землю, этот благословенный потоп. Шум проливного дождя, хлеставшего по стенкам палаток и железным крышам хижин, казался людям сладчайшей музыкой, вызывал неистовое ликование. Они выбегали под дождь, приветствовали его громкими криками; закинув голову, открыв рот, глотали светлые капли; плясали, вопили, дурачились и промокали до нитки.

Олф сумасшествовал больше других. Он скакал и прыгал, обнимал Динни и Морри, сбросил с себя одежду и стал под ливень. Когда все палатки насквозь промокли и пришлось спать в мокрых постелях, все приняли это как веселую шутку. Утром сухой нитки ни на ком не было. А дождь все лил, лил, лил.

Водой наполнялись все водоемы, бочаги, колодцы. По каждой канавке несся ревущий поток; вода искрилась и поблескивала во всех впадинах почвы, и в низине, и в зарослях кустарника.

ГЛАВА VII

Когда разнеслась весть о дожде, люди хлынули обратно в Кулгарди. Старатели, рудокопы, агенты компаний и перекупщики — толпами прибывали с почтовым дилижансом, верхом, в фургонах и повозках. Россыпного золота становилось все меньше: всего несколько старателей в Мушиной Низинке еще добывали его понемногу; но в окрестностях уже столбили новые участки. Золотоискатели уходили по всем направлениям, держа путь на смутно голубеющие вдали кряжи и горные цепи.

Динни продал участок, на котором работал вместе с Олфом Брайрли и Морри Гаугом, синдикату в Восточных штатах за две тысячи фунтов стерлингов и пакет акций. Он предложил товарищам купить лошадей и отправиться за двадцать пять миль к

северу, ибо там он еще до засухи нашел несколько маленьких самородков.

Олф решил ехать с Динни; но Морри пожелал получить наличными свою долю от продажи участка. Ходили слухи о богатых залежах в стороне Маунт-Юла. Фриско сговорился с одним старателем, который знал дорогу туда, и Морри решил купить верблюдов и присоединиться к партии, отправляющейся к Маунт-Юлу. Таким образом, его содружество с Динни и Олфом Брайрли кончилось; он двинулся на восток, а его прежние товарищи повернули на север.

Только через два месяца начали они находить россыпь чуть не после каждой промывки и натыкаться на куски породы в отвале песчаника у подножия горного кряжа, где, как уверял Динни, он носом чуял золото. Однако он тщетно лазил в течение нескольких дней вдоль хребта, пока не набрел на место, где оказалось золото в крупинках. А затем среди выветрившихся валунов он увидел и залежь, прорезанную золотыми прожилками.

У Олфа дух захватило, когда Динни показал ему глыбу золотоносного кварца. Он едва мог поверить своему другу, утверждавшему, что пласт имеет десять футов в длину и даст, по-видимому, по десять унций с тонны. Это означало для Олфа осуществление всех его грез, сулило богатство и женитьбу на Лоре.

Они отправились к кряжу, застолбили участок и набрали целый мешок образцов. На другое же утро Олф поехал делать заявку и брать разрешение на разработку. Когда кругом бродит столько народу, медлить рискованно, решил Динни. Хотя, конечно, услышав новость, привезенную Олфом, все так и кинутся по их следам и подберут вчистую все россыпное золото.

Кулгарди сильно изменился за последние месяцы. Строительство города уже велось по плану, а вокруг расположились лагери золотоискателей. На главной улице открылось четыре трактира; по обе стороны широкой пыльной дороги появились лавки и дома из гофрированного железа. Когда приезжали фургоны, улица кишела старателями и перекупщиками. Аукционисты орали с помостов, возведенных под открытым небом. Товары распродавались раньше, чем их успевали снять с верблюдов. Вести о каждой новой находке с быстротой молнии распространялись по лагерям, и тогда люди толпились вокруг палатки Билла Бенстида, которая служила одновременно и мясной и почтовым отделением, или спешили к холщовому навесу инспектора.

Город кипел, словно котел; то и дело приезжали старатели с образцами в переседельных сумках, делали заявки, продавали свое золото или свои права на разработку и отправлялись кутить,

угощая встречного и поперечного. Приходили сведения о богатых залежах на Девяностой Миле и на Ревущем Бураве. При каждом сообщении о богатой находке люди поспешно пускались в путь на лошадях, верблюдах или пешком, сложив свои инструменты и снаряжение на тачки или привязав их к велосипедам. Олфа прямо рвали на части: все желали знать о золоте, которое они с Динни нашли.

В Кулгарди жило тогда около тысячи мужчин и несколько женщин. Трактирщики послали за своими женами, выписали официанток. Жены старателей жили вместе с мужьями в палатках. Высокие копры вырисовывались на голубом небе. Японские и китайские проститутки сидели, как раскрашенные куклы, у открытых окон своих шатких хижин из мешковины и циновок, тянувшихся вдоль улицы, называемой Рю-де-Линдсей.

Капиталисты и их агенты, несколько английских аристократов — среди них лорд Перси Дуглас и лорд Чарлз Сауэрби — обосновались в трактирах и начали скупку участков. На открытых торгах так и кишело скупщиками и маклерами. Рудокопы, старатели и авантюристы, очутившиеся на мели, по ночам наводняли улицы и толпами встречали фургоны. Все жулики, лодыри и шулеры, которые обычно живут за счет лагеря золотоискателей, собрались здесь. Появился и священник. Афганцы в длинных белых одеждах, надменные и неприступные, медленно проходили через толпу.

Изредка мелькали темнокожие, едва прикрытые лохмотьями, порой появлялась молодая женщина, совсем нагая, в старой облезлой шляпе золотоискателя или в крахмальном воротничке. Среди рудокопов и старателей в пропыленных куртках, ветхих штанах, фланелевых рубашках и рваных жилетках промышленники сначала выделялись своим «колониальным» шиком: новешенькие молескиновые брюки, голубые рубашки и широкополые фетровые шляпы. Однако они весьма скоро теряли свой шик и сливались с общей массой — пыль и грязь так же покрывала их с ног до головы, как и всех. Только конные полицейские в синих мундирах, белых бриджах и начищенных до блеска сапогах все с тем же щегольством гарцевали по улицам или вразвалку входили в трактир, позванивая шпорами.

Агент одного синдиката в штате Виктория предлагал за участок Динни и Олфа пять тысяч фунтов стерлингов и на такую же сумму акций. Динни хотел получить больше, хотя при более тщательном обследовании пласт не оправдал надежд. Золото капризничало: оно по необъяснимым причинам то появлялось на глубине нескольких футов, то исчезало, а старатели возвращались каждый день из других мест с образцами и рассказами о богатых

находках. Олф же был вне себя от счастья и нетерпения, он жаждал продать участок, уехать и жениться. Он телеграфировал своей Лоре, что нашел золото и отплывает с первым пароходом из Фримантла, чтобы все подготовить к свадьбе.

Динни очень расстроился: он думал, что Олф совсем хочет бросить прииск.

— Ни за что на свете,— сказал Олф.— Мы должны следить за рудником синдиката. Мы же теперь акционеры.

Он предполагал привезти свою молодую жену в Перт — пусть живет в городе, а он будет проводить несколько месяцев в году на приисках, работая с Динни.

Агент попросил Олфа снестись с его хозяевами в Мельбурне. И вот, подписав купчую, Олф взгромоздился на козлы рядом с возницей и уехал первым же дилижансом на Юг. Весь лагерь вышел проводить его, пожелать ему счастливого пути, и он, стоя, тоже кричал и махал рукой, пока клубы пыли, поднятые копытами лошадей и колесами экипажа, не скрыли его от товарищей.

Джонс Крупинка, Янки Ботерол и еще кое-кто из старых приятелей Динни считали, что Динни, пока с ним жил Олф, вел себя чересчур скромно и добродетельно. Теперь, когда Олф уехал, Динни совсем был выбит из колеи. Он боялся, что богатство и женитьба погубят Олфа, и горевал об утрате хорошего товарища. Приятели повели его в ближайший трактир, чтобы он утопил свое горе в шампанском. Ведь ничего иного, кроме угощения шампанским, и ожидать нельзя от старателя, у которого завелись в кармане две тысячи. И Динни подзывал к своему столу каждого проходившего мимо рудокопа и старателя и потчевал его — кутить так кутить!

Этот пир обошелся ему недешево. Товарищи потом рассказывали, что он предложил какой-то девице с Рю-де-Линдсей выйти за него замуж. Та согласилась при условии, что он положит на ее имя тысячу фунтов. Динни дал ей чек на тысячу фунтов, и она, забрав чек, скрылась. Когда он, опомнившись после двухнедельного приступа белой горячки, услышал рассказы о своих подвигах, он ушам своим не поверил; но означенной суммы действительно не хватало на его текущем счету в банке,— это все еще была убогая хибарка из натянутого на деревянный остов брезента,— не хватало денег и кроме этой тысячи. Собственно говоря, чтобы дотянуть до конца года, ему оставалось не бог весть что.

Тогда он взялся за ум и стал готовить свои инструменты для нового похода. Как раз в это время вернулся Пэдди Хэннан с сообщением о богатых залежах, найденных им по пути в Маунт-

Юл. Интересно, там ли Морри и Фриско, думал Динни. Все, кто только мог, спешно укладывались и отправлялись по следам Хэннана, за тридцать миль к северо-востоку от Кулгарди.

Динни очень хотелось двинуться вместе с другими, но тут вернулся Билли Фрост со своим товарищем Боннером; они сделали заявку на участок в местности, которую назвали «Сибирь». Это был бесплодный край, говорили они, открытый всем ветрам,— черный железняк и красная земля, но золота пропасть. Тут же собралась партия, и Динни отправился с ней.

— Это был самый ужасный поход, в котором мне когда-либо приходилось участвовать,— вспоминал Динни,— если не считать похода на Маунт-Блэк. У меня было две лошади, на одной я ехал, на другую погрузил вещи, но большинство старателей шли пешком, таща на себе инструмент и снаряжение, или везли все на тачках. А впереди — семьдесят миль без воды. Когда мы наконец добрались туда, золота оказалось там кот наплакал; много его было только на участке Фроста; вода — за восемь миль. В нашей партии насчитывалось человек пятьдесят — нечего было и надеяться на то, что воды хватит. Никто не знал, вернется ли живым.

Я вернулся; но в дороге мне круто пришлось. Лошади мои пали, и я сам был едва жив. Одному богу известно, сколько людей погибло. И мне бы несдобровать, не встреть я Рену — чиновника отдела водоснабжения, с караваном верблюдов, на которых везли воду. Сколько жизней он спас во время этого похода! Двух моих друзей схоронили по дороге. Сколько погибло, точно никто не знал; но много лет спустя старатели все еще находили груды костей в кустарниковых зарослях и хоронили их честь по чести.

В Кулгарди Динни ждало письмо от Олфа. Олф сообщал, что он женился и что правление синдиката назначило его главным управляющим «Леди Лоры», так они решили назвать рудник. Сейчас же после Нового года он приедет вместе с миссис Брайрли. Оборудование уже выслано; с ним едет инженер. Пусть Динни окажет этому инженеру всяческое содействие и держит Олфа в курсе того, как идут дела на прииске.

Динни не скоро оправился от своего путешествия в «Сибирь». Когда палило солнце, ему казалось, что он весь высох, а в голове странная пустота, и перед ним все еще вставали миражи и хотелось бежать к воде, которая ровной полосой тянулась на горизонте. Снова наступили знойные дни, и Динни оставалось только сидеть смирно и ждать, пока к нему вернутся силы.

Он был рад, что в такую жару у него не было другого дела, как слоняться вокруг лагеря. Старатели, возвращавшиеся с разведки, рассказывали о жестоких лишениях, об умерших от жаж-

ды среди серого бесконечного кустарника. Там, где Хэннан нашел золото, вода стоила пять шиллингов галлон, да и по такой цене ее почти невозможно было достать.

В декабре разразилась гроза — и все приободрились. В Кулгарди собралось около двух тысяч человек из окрестных лагерей: все решили роскошно отпраздновать рождество. Буйное веселье продолжалось несколько дней. Состоялись спортивные игры, по улицам с молитвами шествовала Армия спасения, в трактире Фаахана был устроен бал. Лавки, гостиницы, публичные и игорные дома работали вовсю. Все ночи напролет раздавались песни и смех. Звон бубна в руках сестры Агнес и ее голос, выкликавший: «Все ли вы сделали, братья, для своего спасения, омылись ли вы в крови агнца?» — сливались с пьяной бранью игроков в ту-ап. Время от времени кто-нибудь падал на колени, чтобы поддержать коммерцию сестры Агнес, или какой-нибудь пьяный, к всеобщему восторгу, каялся всенародно в своих грехах.

Развеселившиеся старатели считали, что по случаю рождества просто необходимо оказать внимание сестре Агнес; она хорошая женщина, целыми днями работает в больнице. Затеял это, конечно, Фриско: отправившись на свиданье с мисс Цветок Вишни, он по дороге спел псалом вместе с сестрой Агнес, а в сочельник явился на молитвенное собрание. Правда, большая часть кающихся намеревалась упиться до бесчувствия раньше, чем взойдет солнце, но они бросали несколько монет или крупиц золота в ее бубен и, весело хохоча, шли дальше.

Под утро начинались драки, а вечером в кабачках примирение шло полным ходом. Пили без удержу и веселились без удержу, пока не пустели кошельки.

После Нового года пьянство кончилось, и старатели разошлись по дальним лагерям. Работа на россыпях и на рудниках пошла своим чередом. Город словно вымер. Приехавшая из Эсперанса повозка, запряженная двумя ослами, больше привлекла внимания, чем установка нового подъемника на руднике Бейли. Все столпились вокруг повозки и, смеясь, приветствовали терпеливых и выносливых осликов, которые притащили три тонны груза от самого побережья — за двести миль от Кулгарди.

В ревущем Бураве и Белом Пере добыча золота шла удачно, но воды опять не хватило. Тогда старатели хлынули обратно в старый лагерь. Однако и Кулгарди все еще не мог удовлетворить полностью потребность в воде. Правительственные колодцы не обеспечивали бесперебойной работы опреснителей, а естественные водоемы в Нарлбин-Роксе были почти осушены. Многие получили отсрочку на разработку своих участков, и начался поход обратно в Южный Крест. Дорогу между Южным Крестом и Кул-

гарди закрыли для фургонов, и только дилижанс продолжал ходить раз в неделю.

Динни обрадовался, как ребенок, когда почтальон принес ему весть о том, что Олф Брайрли с женой уже в Южном Кресте. Они остановились у миссис Гауг и приедут с первым же дилижансом, после того как пройдут дожди.

ГЛАВА VIII

В один из апрельских дней 1894 года дилижанс, как обычно, с грохотом въехал в Кулгарди. Он был набит до самой крыши пассажирами и багажом. Среди пассажиров были также три женщины. Одна из них сидела рядом с возницей, другие — внутри переполненного дилижанса и, прижимая к себе свои узлы, с изумлением и страхом смотрели на теснившиеся друг к другу палатки лагерей и на клубящуюся пыль Мушиной Низинки, которую пересекал караван верблюдов с шагавшими рядом афганцами.

Забрызганный и облепленный грязью красно-желтый экипаж на высоких колесах свернул на главную улицу. Мак Бочка длинным кнутом хлестнул свою шестерку, чтобы с форсом въехать в городок, и запаренные клячи, звеня и гремя упряжью, затрусили между двумя рядами домишек из гофрированного железа, дощатых лачуг, а то и просто палаток из мешковины. Он лихо осадил их против «Отеля Фогарти».

Лошади стали, понурив головы, взмыленные, тяжело дыша. Люди столпились вокруг дилижанса, шумно здороваясь с Маком и знакомыми пассажирами. А когда они увидели Олфа Брайрли и сообразили, что молодая женщина, сидевшая рядом с возницей,— его жена, раздались возгласы удивления и приветственные крики.

Олф что-то кричал в ответ, гордый и счастливый этим теплым, дружеским приемом. Он помог миссис Брайрли сойти. Слов нет, на нее приятно было смотреть: пухленькая, светловолосая, вся в белом, с легким голубым вуалем, накинутым поверх белой соломенной шляпки. Старые товарищи Олфа протискивались сквозь толпу, чтобы пожать ему руку. И всех надо было знакомить с миссис Олф Брайрли.

— Лора, это Джонс Крупинка — мой друг. Джонс, это миссис Брайрли.

— Хэлло, Джон! Моя жена — мистер Джон Майкледжон.

— И Билл собственной персоной...

— Святой Иегосафат! Так ты все-таки привез жену! — воскликнул Билл.

— Она ни за что не хотела оставаться,— весело пояснил Олф.— Это Билл Иегосафат, Лора!

— Здравствуйте, мистер Иегосафат,— сказала Лора под дружный хохот толпы.

— Да где же Динни, старый чертяка?

Динни с трудом проталкивался сквозь толпу.

— Пропустите! — кричал он. Когда они крепко стиснули друг другу руки, Динни шумно вздохнул: — Господи, как я рад тебя видеть!

Старатели посторонились, и Олф представил Динни своей жене:

— Это Динни Квин, Лора, самый лучший товарищ, какой может быть на свете.

Динни по-старомодному склонился над рукой Лоры.

— Рад познакомиться с вами, миссис Брайрли,— сказал он.

Взволнованные встречей с Олфом Брайрли и его женой, старатели почти не обратили внимание на двух других женщин, вышедших из дилижанса. Но те немногие, кто не знал Олфа, с удовольствием наблюдали любовную сцену, разыгравшуюся между Робби и мадам Робийяр, которые сжимали друг друга в объятиях и целовались, сияя от счастья и радостно перебивая друг друга. Робби быстро вывел жену из толпы и увлек ее за собой, подхватив свободной рукой ее дорожный мешок. Миссис Гауг стояла одна и нетерпеливо озиралась, видимо, ожидая, чтобы и ее обняли и расцеловали.

Динни и ближайшие друзья Олфа не заметили ее, так как, забрав вещи Олфа, двинулись все вместе в гостиницу Фогарти, где мистер и миссис Фогарти уже ожидали молодую чету. И опять раздался хор приветствий и вопросов.

— Хелло, Олф!

— Какой же ты стал гладкий!

— Добро пожаловать, миссис Брайрли!

— Ну, как тут у вас дела?

— Хороши!

— А дожди были?

— В Южном Кресте на два дюйма вода стояла.

— Да что ты!

— Фургоны ходили в объезд на Булла-Буллинг.

Миссис Брайрли грациозно ступала по пыльной дороге, и десятки мужчин провожали ее взглядом. Она была хороша, как картинка, вырезанная из иллюстрированного журнала. Мужчины недоумевали, как же она, черт побери, приспособится к жизни в лагере золотоискателей? Но, по-видимому, жена Олфа радуется, что приехала сюда; держится просто и весело, должно быть, убедила мужа, что очень легко ко всему привыкнет, решили все.

Именно это Олф Брайрли и объяснял Биллу Фогарти и миссис Фогарти, Динни Квину, Джонсу Крупинке и Биллу Иегосафату, когда все они уселись в столовой, чтобы выпить по стаканчику вина.

— Лора непременно хотела приехать сюда,—сказал он.— Ей хочется знать, как люди живут на золотых приисках. Пусть жизнь окажется очень трудной, говорит, но зато мы будем вместе — все лучше, чем остаться так скоро после свадьбы соломенной вдовой. Хотя, конечно, на лето ей все-таки придется уехать отсюда. Я собираюсь поставить дом. Его уже везут сюда. Мы будем жить здесь, пока рудник не начнет давать хороший доход, тогда мы отложим несколько тысяч на черный день и поедем кататься вокруг света.

Все сочувственно засмеялись.

— Сейчас жизнь на приисках уже не такая тяжелая,— заметил Билл Фогарти.— И дилижансы ходят, и фургоны регулярно привозят продовольствие. Вода сто́ит теперь только восемь пенсов галлон, хотя опять начинается нехватка: ведь каждый день приезжает столько народу! И пастбище есть поблизости. Дик Лайонс пригнал на этой неделе целое стадо волов, так что у нас будет свежее мясо, во всяком случае, месяц-два.

— Зимой здесь самый лучший климат на земном шаре, миссис Брайрли,—ободряюще заметил Джонс.

— Прямо рай земной этот Кулгарди,— поддакнул Динни.— Если бы только не пыль, мухи и засуха.

— А как дела в Хэннане? — спросил Олф.— На востоке говорят, что именно Хэннан забьет все другие прииски.

— Враки! — вскипел Билл Фогарти.— Куда Хэннану против Кулгарди!

— Брось, Билл,— вмешался Джонс,— Дик Иганс открыл в Крезе такую жилу, что Бейли может спрятаться.

— А в Маритане на глубине девяти футов найдены такие россыпи, каких я еще в жизни не видел,— добавил Билл Иегосафат.

— Я думаю, Курналпи имеет не меньше шансов занять первое место, чем прииск Хэннан,— вмешался Динни.— Знакомые ребята взяли там на прошлой неделе две тысячи унций, а Мидди вернулся с двумя самородками, каждый по восемьдесят четыре унции. Он говорит, что старик Молинэ подцепил «камешек» в девяносто восемь унций.

— Про россыпное что толковать,— упрямо продолжал Билл Фогарти.— Чтобы целый город жил, нужно рудное золото, как здесь. Вот увидишь, Олф, Кулгарди станет столицей приисков. Подумай, на днях нашли самородок у меня на заднем дворе.

— Черт! — В глазах Олфа вспыхнул лихорадочный огонек.— Теперь ты понимаешь, Лора, почему я не мог не приехать? Жизнь здесь так интересна!

— Да? В самом деле? — проговорила вполголоса Лора. Взгляд ее голубовато-серых глаз скользнул по стенам из гофрированного пропыленного железа и по длинной, точно сарай, пустой комнате со скамьями и несколькими стульями вокруг накрытого стола.

— А как Морри, повезло ему? — спросил Олф, оглядывая знакомые лица и удивляясь, что среди них нет чуть надменного лица Морриса Гауга.

— Да не сказать, чтоб очень,— ответил Динни.— Теперь он в Хэннане с Фриско и еще двумя ребятами. Не был здесь уже месяца два-три.

— Что? — Олф даже привскочил.— Ведь мы же привезли с собой миссис Гауг! Она думала, он встретит ее здесь. Написала ему заранее, что едет.

— И теперь, должно быть, не знает, бедная, что ей делать! — воскликнула миссис Брайрли.— Сходи за ней, Олф, приведи ее.

Олф тотчас поднялся, а с ним и Динни. Но в дверях Олфа задержал инженер с «Леди Лоры». Динни вышел один и увидел, что миссис Гауг сидит возле дилижанса среди свертков и сумок на жестяном сундучке.

Лошади были выпряжены, и люди, толпившиеся перед почтой в ожидании газет и писем, с любопытством разглядывали одинокую молодую женщину. Несколько человек даже подходили к ней и спрашивали, не могут ли они ей помочь; но Салли, испуганная их дерзкими взглядами и грубоватой любезностью, с достоинством отвергала эти предложения:

— Нет, благодарю вас, я жду мужа.

Когда она увидела Динни, лицо ее просияло.

— Мистер Квин,— воскликнула она,— а где же Моррис?

— Видите ли, мэм,— мягко ответил Динни.— Он сейчас в Хэннане. Это тридцать миль отсюда.

— Ах, боже мой! — вскричала миссис Гауг, и глаза ее налились слезами.— Что же мне делать?

Олф, расставшись с инженером, подошел к ним.

— Идемте в гостиницу, побудете с нами,— сказал он весело.— Лора зовет вас.

Миссис Гауг собрала свои пожитки: два саквояжа, набитых книгами, одеждой и всякими женскими пустяками. Бумажный пакет с виноградом, который она так оберегала всю дорогу, разорвался — виноград упал на песок.

К. Причард «Девяностые годы»

— Виноград раскис, и я тоже,— воскликнула она жалобно и попыталась улыбнуться.

— Ничего, ничего,— Олф подобрал гроздь и смахнул с нее песок. Он знал, что это редкое угощение предназначалось Моррису.— Да вы не расстраивайтесь. Мы дадим знать Морри, и он через день-два будет здесь, а то и раньше.

— Будьте так добры! — проговорила миссис Гауг, сдерживая слезы. Динни, прихрамывая, пошел к гостинице, взвалив на спину ее жестяной сундучок.

Миссис Гауг не такая хорошенькая, как миссис Олф Брайрли, решили толпившиеся на улице мужчины, глядя вслед Салли, направлявшейся к гостинице Фогарти: просто маленькая женщина в черном, чем-то расстроенная, с карими глазами и темными, растрепанными волосами, торчащими во все стороны из-под соломенной шляпки, обвязанной красно-желтым шарфом; но в ее походке, в том, как она ставила ножку на зыбкий песок и гравий, было нечто, привлекшее их внимание.

Жена Олфа напоминала белую бабочку, которая случайно залетела в лагерь и скоро опять упорхнет. А по Салли сразу было видно, что она тут своя — словно те коричневые мотыльки, которые принимают окраску древесной коры и в летние сумерки кружат над зажженной свечой или керосиновым фонарем.

Олф упрекал себя за то, что, взволнованный встречей, которую приятели устроили ему и его жене, забыл о миссис Гауг. Он чувствовал себя ответственным за ее приезд, хотя и пытался отговорить ее, когда она в первый раз заявила ему, что намерена поехать к Моррису. Но потом и Лора захотела ехать, и он обрадовался, что в лагере будет еще одна женщина, с которой его жена сможет дружить. Лоре будет веселее! Но когда оказалось, что и Мари Робийяр решила отправиться с ними, его начало беспокоить, как она и миссис Гауг будут жить здесь, если Робби и Моррис не смогут дать им хотя бы часть того комфорта, которым он намеревался окружить Лору.

Разумеется, Олф привез Лору в Южный Крест только с тем расчетом, что она вернется в Перт и поселится у друзей, а он уедет в Кулгарди. Когда они с Лорой, ожидая дождей, жили у миссис Гауг, они увидели, что Салли очень тоскует и тревожится о Моррисе. Она уже много месяцев ничего о нем не знала. Правда, Джек Первый Сорт и почтарь уверяли ее, что Моррис жив и здоров; но миссис Гауг все же решила после дождей проведать мужа. Олф посоветовал ей написать Моррису и предупредить о своем приезде, опасаясь, что, если мистер Гауг, которого она не видела два года, не успеет подготовиться к встрече, она может просто испугаться его вида.

В Южном Кресте обе женщины подружились и начали звать друг друга Салли и Лора. Олф узнал от Лоры многое из жизни Салли и Морриса, о чем до сих пор и не подозревал. Он слишком привык к тому, что миссис Гауг — это всего-навсего веселая маленькая женщина, которая с утра до ночи хлопочет в своем пансионе,— ему и в голову не приходило видеть в ней существо, подобное его Лоре.

Он очень жалел миссис Гауг и осуждал Морри за то, что тот плохо заботится о своей жене. Она же была ему стойкой и верной подругой. Никто не слышал от нее ни одной жалобы.

Лора никак не могла понять мистера Фитц-Моррис Гауга. Что это за человек? — возмущалась она.— Разве можно оставлять жену в такой дыре, как Южный Крест? Она день-деньской работает точно вол, а по ночам плачет в три ручья, оттого что он не пишет!

— Если ты опять уйдешь искать золото, как я могу быть уверена, что и со мной не случится то же? — говорила она, выдавая свой тайный страх.— Ты тоже заразился золотой горячкой, Олф. Я по твоим глазам вижу. Но я не позволю тебе бросить меня. Я не останусь без тебя, чтобы терзаться и ждать твоих писем!

— Не бойся, дорогая,— отвечал Олф беспечно.— Ты для меня дороже всего золота в мире.

Сейчас, провожая Салли к Фогарти, он вспоминал этот разговор и про себя ругал Морриса за то, что тот поставил свою жену в неловкое положение. Миссис Гауг была моложе Лоры и, когда хотела, могла быть очаровательной. По дороге сюда она была весела, как птичка, ночью сидела у костра, повязав голову пестрым шарфом, точно цыганка, и пела песни вместе со всеми. Хорошая была поездка: женщинам нравилось ночевать под звездным небом, слушать при свете костра рассказы мужчин о золоте, о том, как старатели наживают состояния в раскинувшейся вокруг них дикой таинственной стране.

Каждый вносил свою ленту в этот концерт у вечернего костра: пела Лора — звонким, хорошо поставленным сопрано, пела Салли — весело и задорно, пела Мари — низким и глуховатым голосом, очень трогательно, хотя никто не понимал, о чем она поет.

Мари была бесконечно счастлива — ведь она ехала к своему Жану!

— Два года — это так долго! — вздыхала она.— И мне совсем не хочется стряпать для чужих мужчин и на ночь запираться на ключ!

Салли не была вполне уверена, что Моррис одобрит ее приезд.

— Он скажет — здесь слишком тяжелые условия и приезжать не следовало,— размышляла она вслух.— Но все равно, он будет рад, что мы опять вместе, я знаю. А я скажу: «И условия не по-

кажутся мне такими тяжелыми, раз ты, милый, со мной. Только когда тебя нет, мне трудно переносить их!»

Даже с Олфом миссис Гауг была сдержанна и застенчива, как и с большинством мужчин, с которыми ей приходилось иметь дело. В пути это была совсем другая женщина: веселая, полная своеобразного обаяния; но сейчас, подавленная и несчастная, она даже не казалась миловидной.

Когда Олф познакомил ее с Биллом Фогарти, миссис Фогарти и с приятелями, сидевшими за столом, миссис Гауг извинилась за свое грустное настроение. Конечно, призналась она, просто глупо так огорчаться из-за того, что Моррис не встретил ее.

Каждый постарался утешить и ободрить Салли, высказывая всевозможные предположения относительно того, что могло задержать ее мужа.

— Может быть, Морри просто не получил ее письма,— сказал Билл Фогарти.— Или лошади не достал, и никто не подвез его. Или отправился на разведку.

— Да вы не волнуйтесь, миссис,— убеждал ее Билл Иегосафат.— Выпейте — вам легче станет. Когда у нас тут незадача — нет ничего лучше пива, отлично успокаивает.

— Все пьют за наше здоровье, миссис Гауг,— сказал Олф.— Вы тоже должны пожелать нам счастья!

Он поставил перед ней стакан из толстого стекла и наполнил его.

Салли подняла стакан, улыбаясь ему и Лоре.

— Желаю много счастья... и много золота,— сказала она запинаясь.

Все рассмеялись и выпили.

— И вам того же, миссис Гауг,— отозвался Олф и потребовал, чтобы все налили себе еще и выпили за ее здоровье, счастье и богатство.

Из бара вышел один из посетителей с письмом для миссис Гауг. Он сказал, что письмо только что доставил какой-то туземец, который был в Хэннане.

— Это от Морриса! — радостно воскликнула Салли, развертывая листок грязной бумаги.

Дочитав, она подняла голову; в ее карих глазах была обида.

— Он пишет,— медленно проговорила она,— что нашел кое-что стоящее. В Кулгарди он не может быть раньше, чем через несколько дней. И чтобы я ждала здесь, пока он не приедет за мной.

— Мужчины все такие, милая,— сказала миссис Фогарти.— Если вы умирать будете, а они найдут золото, так они про вас и не вспомнят.

Салли с трудом сдерживала слезы, которые против ее воли готовы были хлынуть. Лора погладила ее по руке.

— Нельзя ли нам пойти в наши комнаты, миссис Фогарти? — спросила она.

Миссис Фогарти повела их по коридору.

— Ваше счастье,— сказала она,— что вчера все бросились на Девяностую Милю и у меня оказались свободные кровати, иначе я даже не знаю, где бы я положила вас. Олф должен был предупредить меня, что вы приедете.

ГЛАВА IX

Комната, в которую миссис Фогарти ввела Лору, была маленькая, и воздух в ней был спертый. Две узкие кровати, туалетный столик из ящиков, накрытых дешевым кретоном, и комод, тоже из ящиков, на котором стояли эмалированный таз и кувшин, занимали почти всю комнату. Но кровати были аккуратно застелены белыми одеялами, на полу лежали дорожки. Комната Салли была еще меньше и обставлена той же самодельной мебелью.

— Вот! — с гордостью воскликнула миссис Фогарти.— Не слишком богато, но если бы вы знали, как трудно создать здесь хоть какие-то удобства и поддерживать чистоту и порядок, то вы бы поняли, что это просто роскошно, по сравнению с другими гостиницами Кулгарди.

— Во всяком случае, отдохнуть здесь блаженство после такого путешествия в дилижансе,— любезно ответила Лора.

Салли слишком привыкла к запаху прокисшего пива, табака и мужского пота, которым была пропитана отведенная ей комнатка, чтобы это могло обеспокоить ее. Когда миссис Фогарти вышла, Салли заперла дверь, бросилась на постель и дала волю слезам.

Немного погодя она услышала разговор Олфа и Лоры в соседней комнате. Лора, видимо, открыла окно.

— Ради бога, дорогая моя,— запротестовал Олф.— Хозяйку просто удар хватит. Через минуту вся комната будет полна пыли и мух.

В ответ раздался журчащий смех Лоры.

— Ничего, милый,— сказала она.— Я уже привыкла к мухам и пыли в дилижансе, и уж лучше пусть будут мухи да свежий воздух, чем духота.

— Ну, делай как знаешь,— согласился Олф.

— Вот и хорошо.

Лора понизила голос до нежного шепота.

— Я так рада, Олф, что приехала! Подумай, как ужасно, если бы ты жил здесь, а я еще где-нибудь, в каком-нибудь городе за

много миль отсюда. Пока мы вместе, мне все нипочем — жара, и мухи, и пыль.

— Милая ты моя!

Сквозь тонкую перегородку миссис Гауг было слышно каждое слово, каждое движение. Вот Олф обнял жену, вот они стоят, прижавшись друг к другу. Она слышала их поцелуи, прерывистое дыхание, говор и смех. Их счастье только усиливало ее горе. Как давно Моррис не сжимал ее вот так в объятиях и не целовал! Она чувствовала, что задыхается в этой тесной, наглухо закупоренной коробке, но не могла заставить себя встать и открыть окно.

Вдруг она услышала восклицание Лоры, заглянувшей в кувшин.

— Смотри, Олф, он полон воды! Как ты думаешь, а вдруг в самом деле мне можно помыться?

Олф подошел к ней и тоже заглянул в кувшин.

— Скажи, пожалуйста, как Билл Фогарти расщедрился,— весело заметил он.— А говорят, что хотя дожди прошли две-три недели назад, воды все-таки не хватает. Ведь съехалось три тысячи человек. Ну что ж, мы можем заплатить ему за все, что нам нужно. Ты помойся, как кошечка. Оботрись мокрой лапкой, но, ради бога, не требуй ванны. Билл способен спросить тебя, какую ты желаешь ванну, из пива или воды? Так он обычно ставит на место только что приехавших новичков.

— О, конечно, из пива, мистер Фогарти! Я всегда предпочитаю купаться в пиве! — засмеялась Лора.— Вот что я отвечу ему, Олф, если уж станет невтерпеж без ванны.

— Шш...— предостерег ее Олф.— Тут все стены просто из мешковины, оклеенной обоями. Каждое наше слово слышно во всем доме.

Вдруг до них донеслись заглушенные рыдания миссис Гауг.

— Бедняжка,— прошептал Олф.— Просто возмутительно, что Морри ее не встретил. Конечно, он мог приехать, если бы захотел.

По другую сторону комнаты Салли находилась кухня. Салли слышала приготовления к обеду: гремели тарелки, миссис Фогарти передвигала горшки на плите. Когда вошел ее муж — узнать, готово ли,— она встретила его весьма воинственно.

— Нет, обед не готов! — сердито заявила она.— И неизвестно, когда будет. Ты, кажется, воображаешь, что я могу и готовить, и всю работу по дому делать, и еще приемы устраивать всяким дамочкам? На какого дьявола Олф Брайрли и Морри Гауг подкинули мне своих благоверных? Они думают, прииски — это курорт, что ли?

— Да брось ты, Лиззи,— бормотал Билл, стараясь ее утихомирить.— Они обе очень славные.

— Ах так? Понравились тебе? — Попытка Билла успокоить жену только подлила масла в огонь.

— Первое дело — они потребуют ванну. Вот увидишь. А потом, чего доброго, ты заставишь меня воду таскать, и я себе все руки отмотаю ради этих вертихвосток. Так не будет по-вашему, Билл Фогарти. Сам устраивай им ванны, хотя с гор возвращается больше тысячи человек. Джонс говорит, они чуть не погибли без воды, и мы через неделю тоже сядем, если не будет дождя. Можешь передать от меня Олфу Брайрли — чем скорее он раздобудет какое-нибудь жилье для своей супружницы, тем лучше. Что касается Морри Гауга, пес его возьми,— я просто не знаю, о чем он думает,— вытащил женщину сюда, а сам бросил ее.

— Но он же ничего подобного не сделал, дорогая, он...

— Молчи уж, пожалуйста. Захотел бы, так приехал бы. Динни говорит, он и дома у нее на шее сидел. Она работала как каторжная в своем пансионе, а он, бывало, и пальцем не шевельнет, чтобы ей помочь. Невесть какого барина из себя корчил. Не по душе мне этот Морри Гауг, и ты, Билл, это отлично знаешь. Сколько он нам теперь должен? Небось немалые денежки, и никогда у него, видите ли, нет ни гроша, чтобы долги заплатить, а вот на покер всегда найдутся деньги или несколько унций золота.

— Замолчи! — прикрикнул на нее Билл.— Ты хочешь, чтобы она все это слышала? Да?

— Если она до сих пор не знает своего муженька, так пора узнать,— пробурчала миссис Фогарти.

Миссис Гауг приподнялась на кровати, щеки ее пылали. Она с трудом удерживалась, чтобы не броситься в кухню и не крикнуть: «Это неправда!» Вовсе Моррис не такой. Он не обижал ее. Он ни за что не хотел, чтобы она содержала пансион. Из-за нее не хотел. Но, конечно, другого выхода не было. Не виноват же Моррис в том, что в рудниках Фрезера оказалось мало золота и все их деньги пошли прахом.

Люди здесь не понимают Морриса: он ведь приехал в этот край с лучшими намерениями, чтобы работать и начать новую жизнь. Ему так трудно привыкать к здешним условиям! Правда, он не знает счета деньгам, но это потому, что они всегда давались ему слишком легко; он и представить себе не может, как дорог каждый пенни для того, кому приходится в поте лица зарабатывать свой хлеб. Все, кто родился в шелку и бархате, таковы.

Горестные и гневные мысли вихрем кружились в ее голове. Просто ужасно, как люди отзываются о ней и о Моррисе. Она не в силах выносить их жалость. И не будет выносить, решила Салли. Однако денег в ее кошельке маловато. Хоть бы Моррис скорее приезжал... Посылки с припасами, которые она отправляла ему

из Южного Креста, и плата за проезд сюда в дилижансе почти исчерпали ее сбережения, а жизнь в этой гостинице, наверно, обойдется недешево.

Мистер Брайрли сказал ей, что, когда они с Динни продали участок, Моррис получил свою долю наличными. Неужели правда, что он много задолжал в гостинице и опять начал играть в карты? Проклятые карты и виноваты во всех его неудачах! И зачем ему непременно карты? Что это за несчастная страсть к азартным играм!

А может быть, он просто разлюбил ее? Почему он так долго не присылал о себе весточки, не писал, как живет? Вот что мучило ее больше всего. Вот почему она и решила ехать в Кулгарди.

Как миссис Фогарти сказала? «Если она до сих пор не знает своего муженька, пора узнать...»

Да, пора, мысленно согласилась Салли. До сих пор она видела Морриса только сквозь романтическую дымку, которой сама окутала его, когда он увез ее из дому и женился на ней, но теперь какой-то внутренний голос заговорил в ней здраво, трезво, беспощадно. Какой смысл закрывать глаза на правду? В Южном Кресте она начала понимать, что такое борьба за существование, она видела, что человеку приходится вкладывать в эту борьбу всю свою энергию и волю. Нельзя больше быть дурочкой и следовать только влечению своего сердца.

Если Моррис в самом деле такой — если он лентяй, эгоист, не щепетилен в денежных делах и если его любовь к ней остыла, она должна устроить свою жизнь независимо от него, прибрать его к рукам, если нужно. Впредь она не позволит мужу пренебрегать своими обязанностями, как он делал до сих пор. Нет, нет! И не даст ему больше обращаться с ней так, как он обращался до сих пор. Ее жизнь с Моррисом будет жизнью двух равноправных партнеров, в которой она сможет проявить свой ум и энергию. Долг жены по отношению к нему она выполнит, но и он должен признать за ней право распоряжаться их совместной жизнью.

Словно подкрепляя этим свое решение, она стиснула узкие смуглые руки. Затем встала с кровати, подошла к окну и распахнула его.

Это верно, думала она; стыдно Моррису так относиться к ней, оставлять ее так долго одну. И даже не дать себе труда написать ей; принимать от нее посылки и предоставлять ей платить за провизию, хотя у него самого — во всяком случае, иногда — деньги бывали. Мог бы, кажется, снять с нее хоть часть забот и трудов. Но он вместо этого играл в карты и тратил деньги, как ему хотелось.

Дальше так продолжаться не может. Она не даст ему проиграть в карты и его жизнь и свою. Она сама может прокормить себя: откроет пансион для старателей здесь, в Кулгарди, или в Хэннане, как сделала в Южном Кресте. Но он должен понять, что она борется не только за его будущее, но и за свое.

Салли подошла к умывальнику. Кувшин был пуст. Она посмотрелась в зеркало на самодельном туалетном столике, и на нее глянуло печальное, грязное личико. Слезы проложили светлые полосы в красной пыли, покрывавшей ее нежную кожу. Веки припухли. Она попыталась стереть пыль, и в этот момент Лора постучала.

— Войдите,— крикнула Салли.

Лора вошла свежая, как цветочек, в своем белом кисейном платье.

— О, дорогая, у вас нет воды? — воскликнула она.— Идемте ко мне. Олф пошел выпить пива.

Салли почувствовала, насколько ей сейчас необходимо вымыться, чтобы вернуть себе самообладание. Она последовала за Лорой в ее комнату. Лора налила в таз немного желтой тепловатой воды, а Салли сбросила платье.

— Слово «ванна» здесь, видимо, даже произносить нельзя,— вздохнула Лора.— Но мне все-таки до смерти хочется принять ванну! А вам?

Салли усмехнулась.

— Я уже научилась обходиться без ванны. Могу вымыться с головы до пят в блюдечке воды. В Южном Кресте нам частенько приходилось беречь каждую каплю, поэтому, если позволите, я использую эту воду как можно лучше.

— Пожалуйста,— сказала Лора.— А я покараулю у двери, чтобы Олф не вошел.

Миссис Гауг разделась донага и, намочив полотенце, принялась энергично тереть свое стройное смуглое тело.

— Вот теперь все в порядке! — воскликнула она, надеясь, что уничтожила следы слез и душевного волнения.— Ну, я пойду к себе и надену все чистое.

Коричневое фуляровое платье с вышитым воротничком из тончайшего небеленого полотна, в котором Салли появилась к обеду, не было таким модным и новым, как пышное кисейное платье Лоры, но оно было хорошо сшито и шло ей.

— Она в стареньком интереснее, чем я в самом нарядном платье из моего приданого,— сказала Лора Олфу, когда они остались одни.

— Глупости, дорогая,— отозвался Олф.— Ты прелестна в любом наряде.

Миссис Гауг надела это платье в наивной надежде, что в нем скорее внушит людям доверие. Меньше всего она думала о том, чтобы затмить Лору. Это платье купил ей Моррис, когда они только что поженились. Ей хотелось произвести хорошее впечатление на миссис Фогарти своим степенным и солидным видом.

А миссис Фогарти с ног сбилась, подавая обед. Обычно, пояснил Олф, Билл Фогарти брал на подмогу нескольких парней, очутившихся на мели. Они прислуживали за столом и мыли посуду, но если где-нибудь обнаруживалось золото, все бросались туда, и тогда уж никого не заманишь прислуживать в гостинице. Приходилось Биллу самому подсоблять жене — тащить в столовую полные блюда и тяжелые подносы, уставленные кружками с чаем. В этот день он был занят в баре, и у миссис Фогарти имелся только один помощник — старый золотоискатель по прозванию Железный Ус.

Миссис Фогарти была полная, энергичная женщина средних лет; на ней было синее ситцевое платье все в жирных пятнах и войлочные туфли на босу ногу; она беспрерывно сновала между кухней и столовой, перебрасываясь шутками с постояльцами и покрикивая на своего помощника. Миссис Фогарти, по словам Олфа, была женщина работящая и добрая, но с таким характером!.. Чуть что — и она вспыхивала и бушевала, точно лесной пожар. Салли восхищалась ее ловкостью и расторопностью. Время от времени кто-нибудь из мужчин вставал, уносил стопку грязной посуды и возвращался, таща поднос, заставленный тарелками, на которых горой лежала солонина, картофель с луком, пудинг из слив или плавали в желтом сиропе сушеные абрикосы. Затем следовал чай, причем несколько чашек из толстого фарфора приберегались для особо почетных гостей, а обычные посетители довольствовались эмалированными кружками и жестянками из-под сгущенного молока.

Стук тарелок и гул голосов — мужчины с хохотом и бранью рассказывали новости дня — прекратился, только когда все наелись и, удовлетворенные, вышли на улицу. Встав из-за стола, Салли отправилась в кухню.

Миссис Фогарти сидела на ящике, сбросив домашние туфли.

— Ох, мои ноги! Мои бедные ноги! — стонала она.— Просто мука-мученическая, как болят у меня ноги, миссис Гауг.

Салли сочувственно поахала, когда миссис Фогарти показала ей свои больные опухшие ноги с резко выступающими темными узлами вен.

— Позвольте, я принесу горячей воды,— сказала она,— сделайте себе ножную ванну, а потом мы разотрем их метиловым спиртом. Это очень помогает, когда ноги устали: я по себе знаю.

— Куда там! Надо мыть посуду и подавать чай,— возразила миссис Фогарти раздраженно.— А старик ужасно копается, половина воды у него пропадает зря.

— Я все перемою, а вы отдохните,— сказала Салли.

У миссис Фогарти даже дух захватило от изумления.

— Вот тебе на! А я-то думала, что вы тоже из тех дамочек-белоручек, которых нужно ублажать.

— Я? — рассмеялась Салли.— Да у меня у самой был пансион, и я отлично знаю, сколько тут работы.

Миссис Фогарти решила испробовать лечение, предложенное ей Салли. Она громко крикнула своему глухому помощнику, который обедал за кухонным столом, что он может приниматься за мытье посуды — пусть хоть раз поработает как следует за свои харчи...

Салли отыскала керосиновый бидон, у которого была срезана верхушка, и налила в него горячей воды. Миссис Фогарти опустила в бидон ноги, сообщив не без тщеславия, что они слишком малы для ее веса и что в молодости она очень гордилась ими. Сколько ей делали комплиментов по поводу ее хорошеньких ножек!

— Но я никогда не думала в те времена, что буду так толста и что у меня так распухнут вены,— вздохнула она.— И уж, во всяком случае, мне и в голову не приходило, что я буду старшим поваром и судомойкой в трактире на золотых приисках!

Когда Салли попросила у мистера Фогарти метилового спирта, он принес ей бутылку виски особой крепости, заявив, что не держит такой дряни, как метиловый спирт, но, может быть, его заменит виски. Так как миссис Фогарти была слишком грузна, чтобы дотянуться до своих ног, Салли сама принялась растирать их, а Железный Ус, перемывая тарелки, скорбел о том, что такое добро, как виски, тратится зря.

— Вы бы, хозяйка, лучше вовнутрь его принимали, а не снаружи мазались,— с грустью заметил он,— это вам гораздо больше пользы принесло бы.

По окончании лечебной процедуры миссис Фогарти заявила, что она чувствует себя просто другим человеком, и решила часок отдохнуть. Салли уселась рядом с ней, и хозяйка Фогарти принялась рассказывать о том, как трудно доставать провизию на приисках; овощей и фруктов почти нет, в ее распоряжении зачастую имеются только консервы да солонина. А свежее мясо и часу не пролежит в такую жару. Для охлаждения не хватает воды, и потом эти мухи — просто ужас! Кладут яйца даже в масло, если забудешь накрыть.

От пищи миссис Фогарти перешла к разговорам о женщинах, живших на приисках: она рассказывала о состояниях, нажитых

девушками-официантками в барах, где старатели, которым повезло, задаривали их золотом за прошлые или будущие услуги по любовной части. К порядочным женщинам мужчины здесь относятся с уважением, но они так стосковались по женской близости, что просто голову теряют, если какая-нибудь особа обнадежит их на этот счет. Всего несколько дней назад во дворе гостиницы двое парней подрались из-за официантки, а одна женщина — подумать только! — позволила разыграть дочь в карты во время попойки. На Рю-де-Линдсей то и дело происходят скандалы.

— Рю-де-Линдсей? — Салли очень удивилась, почему у этой улицы в Кулгарди французское название.

— А это потому, что там веселый дом, его содержит женщина, которую все называют «мадам Марсель»,— пояснила миссис Фогарти.— У нее есть две-три француженки. А в других домах все больше китаянки да японки.

Салли понимала, что за всем этим крылось дружеское предостережение. Последним жестом доверия и благоволения явилось то, что миссис Фогарти показала синие узлы распухших вен на своих ляжках.

— Но это ужасно, так мучиться,— воскликнула Салли,— и притом быть весь день на ногах!

— Пока терпится — терплю, детка,— весело отозвалась миссис Фогарти,— а какой смысл тревожиться о том, что будет после?

Она с трудом поднялась на ноги и босиком зашлепала по кухне, собирая ужин.

— Пока я здесь, я буду помогать вам,— сказала Салли.— Это и мне поможет, по крайней мере, я буду меньше волноваться о Моррисе.

— Назначьте сами, какое хотите жалованье,— предложила обрадованная хозяйка.

— Жалованье? — тонкие брови Салли дрогнули, и она улыбнулась, словно подобная мысль ей и в голову не приходила.— Об этом мы успеем поговорить,— бросила она словно мимоходом.— Покажите мне, где у вас что стоит, и я буду накрывать столы к чаю.

Она знала, что на приисках ужин зовется «чаем».

ГЛАВА X

Когда Салли вечером появилась в столовой и начала обслуживать посетителей, мужчины просто решили, что наконец-то миссис Фогарти обзавелась официанткой. Салли так ловко разносила тарелки с солониной и печеными яблоками в сладкой подливке и

ставила рядом с приборами кружки и жестянки с горячим чаем, словно всю жизнь только этим и занималась.

— Напрасно вы это делаете, миссис Гауг,— запротестовал Олф.

— Почему? — весело возразила Салли.— Мне не в новинку, а бедная миссис Фогарти ужасно мучится с ногами.

Олф давно привык к тому, что миссис Гауг работает и прислуживает за столом в своем пансионе. И он был теперь не так расстроен этим, как Лора, которая догадывалась, что дело тут вовсе не в больных ногах миссис Фогарти: наверно, у Салли есть другие причины.

— Не нужно этого делать, дорогая,— сказала Лора, перед тем как уйти спать.— Олф просит вас быть нашей гостьей до тех пор, пока не приедет ваш муж.

Салли улыбнулась, но в ее лице появилось упрямое выражение.

— Это очень любезно с его стороны,— сказала она.— Но я не могу допустить, чтобы мистер Брайрли платил за меня.

— Олф говорит — вашему мужу было бы неприятно, что вы работаете в здешней гостинице.

— Ничего! — Салли уперлась на своем, и Лора потом жаловалась Олфу, что миссис Гауг упряма, как мул.— Может быть, и есть разница: работать у себя в доме или в чужом месте,— продолжала Салли,— но Моррис должен понять: я не могу сидеть сложа руки, когда нужно что-то делать.

В ближайшие же дни стало ясно, что она под этим разумеет: Салли вставала чуть свет, чистила и мела, накрывала столы и приготавливала все для раннего завтрака. Она оправляла постели, бегала целый день, подавая к столу и убирая, и даже мыла посуду, когда Железный Ус отлеживался после кутежа со старыми приятелями, которым удалось продать участок за несколько тысяч фунтов.

Лора была возмущена.

— Это ужасно,— восклицала она.— Я просто видеть не могу, как вы трудитесь, Салли! Олф уверяет, что миссис Фогарти вполне могла бы нанять жену или дочь какого-нибудь рудокопа. Теперь здесь уже многие живут с семьями.

А Салли в ответ только смеялась журчащим смехом.

— Но мне нравится быть доброй волшебницей для миссис Фогарти,— говорила она.

Все гостиницы в Кулгарди были переполнены. Каждый день приезжали все новые финансисты, золотопромышленники, старатели, и миссис Фогарти пускала в ход всю свою изобретательность, чтобы как-нибудь разместить всех этих мужчин, а также

нескольких женщин, которые требовали, чтобы им предоставили все те удобства, которые имелись в на скорую руку сколоченном «Отеле Фогарти». Хозяйка уступила свою собственную комнату ее высокородию миссис Кэнди, а Салли отдала свою двум сиделкам, приехавшим дилижансом на этой же неделе. Причем одной из них все-таки пришлось удовольствоваться соломенным тюфяком и расположиться на полу, а в ту же ночь Билл положил к ним еще жену одного старателя с детьми. Мужчины спали вповалку повсюду — в столовой, на веранде и прямо на земле. Салли и миссис Фогарти устроились во дворе в палатке, а Билл ночевал в баре.

Миссис Фогарти приходила в ярость оттого, что ей надо кормить такую «ораву», как она называла своих весьма разношерстных клиентов. Но она все-таки ухитрялась это делать три раза в день, неутомимо шаркая по дому в войлочных туфлях без задников, ругаясь и потея над плитой и непрерывно устраивая скандалы Биллу за то, что он не может достать хоть какую-нибудь старуху, которая бы помогала ей на кухне. Как она справляется — это просто чудо, говорила Салли; чудо, которое осуществляется с помощью самой Салли,— шутливо возражала миссис Фогарти и громогласно превозносила свою молодую помощницу за то, что та не боится испортить свои нежные ручки и, когда нужно, берется за любую черную работу.

— Если бог когда-нибудь оказывал мне милость,— заявила она Динни Квину,— так именно тем, что послал сюда эту маленькую женщину, и тем, что держит ее мужа в Хэннане.

Однако Динни был не вполне уверен, что эта милость божия особенно приятна самой миссис Гауг.

— Морри высечь мало за то, что он не приехал встретить ее,— сказал Динни.

— Ничего, ничего! — уверенно заявила миссис Фогарти.— Ей здесь лучше, чем было бы с Морри Гаугом, будьте покойны. Миссис Гауг строго ведет себя, нельзя этого не признать; пусть она иной раз и шутит с мужчинами, но всегда удерживает их в должных границах.

— Это верно,— согласился Динни.

— Ни один посетитель ей слова вольного не скажет,— продолжала, усмехаясь, миссис Фогарти.— Они отлично понимают, что она не из тех, кого можно купить за бутылку вина или щепотку золота,— хотя мне на днях и пришлось отругать Мака.

— Мака Дарра?

Круглое веселое лицо миссис Фогарти расплылось в улыбке.

— Он вернулся из Курналпи и привез целую кучу россыпного. Продал золото и начал пить. Вообразил, что он невесть какая птица и может купить все, что ему угодно. И вот слышу, он

топает по всему дому и орет: «Миссис Гауг, где миссис Гауг? Подайте сюда миссис Гауг». А она-то была со мной на кухне. «Не беспокойтесь, дорогая,— говорю я,— уж я с ним объяснюсь». Ну и объяснилась.

«Что это с вами, Мак Дарра? — говорю. Какого черта вы орете? Разве можно так обращаться с порядочными женщинами?» Ну и отделала его как следует. Вы бы видели! Он прямо выкатился из кухни, поджав хвост, а на другое утро, когда протрезвел, приходит ко мне и заявляет, что он, дескать, вовсе не хотел обидеть миссис Гауг. «Вот ведь, говорю, это самое скверное у вас, у лодырей: достаточно вам хлебнуть немножко — и вы уже не умеете вести себя».— «Ради бога, говорит, неужели я сказал что-нибудь обидное для миссис Гауг? Я ведь только хотел просить ее быть моей женой».— «Вашей женой? — говорю. Один муж у нее уже есть, сомневаюсь, чтобы она захотела иметь второго».

Динни усмехнулся.

— Все равно,— сказал он озабоченно,— если Морри скоро не приедет, я сам отправлюсь за ним. Очень многие мужчины считают, что миссис Гауг вдова и за ней можно приударить.

Все эти дни были для Салли полны всевозможных дел и бежали незаметно. Она радовалась, что занята и у нее нет времени тосковать по мужу и тревожиться о нем. У Фогарти она начинала чувствовать себя, как дома. Ее уверенность в себе и чувство независимости окрепли. Она умела смеяться и шутить с мужчинами в столовой, держаться с ними запросто и в то же время сохранять вид недотроги, за что они весьма уважали ее. Но работа была нелегкая, особенно когда приходилось обслуживать сотни посетителей, бегать взад и вперед со стопками тарелок и при этом всегда быть веселой и расторопной. Спину ломило, и голова кружилась. А вечером она падала на свою парусиновую койку в полном изнеможении и каждую ночь проливала несколько слезинок, вспоминая о Моррисе. Почему же он не едет, почему оставляет ее так долго одну среди чужих людей?

— Знаете, детка, работать становится вам слишком тяжело да и мне тоже,— заметила однажды миссис Фогарти.— Билл посылает в Перт за поваром и официанткой, мы хотим прибавить еще несколько комнат и построить новую столовую и кухню. «Фогарти» еще успеет стать шикарной гостиницей, прежде чем мы прогорим.

— Значит, я потеряю работу? — спросила Салли.

— Вовсе нет, если не захотите,— успокоила ее миссис Фогарти.

Лора уехала с Олфом на рудник и провела там несколько дней. Они звали с собой и Салли, но та отказалась — она не бро-

сит миссис Фогарти, пока не приедет новая официантка. Да и Моррис может наконец явиться и будет огорчен, не застав жену. Однако ей каждый день становилось все обиднее, что Моррис так долго не едет.

Олф и Лора вернулись с рудника «Леди Лора», когда новый поход за золотом точно вымел из города толпу приезжих: все ринулись на юг. Уехал и Олф, и в течение нескольких дней гостиница пустовала. Усевшись в кресло и положив ноги повыше, миссис Фогарти позволяла себе вздремнуть после обеда, а Салли нечего было делать.

Стояли яркие солнечные дни, хотя ночью и утром было довольно свежо. Салли мучительно хотелось выбраться из душной, тесной гостиницы, где пахло прокисшим пивом, пóтом и табачным дымом. Интересно, как живет Мари? Она не слышала о ней с самого приезда, хотя Коровье Брюхо бывал у Фогарти, и мистер Фогарти рассказывал, что Брюхо сердит на Робби, зачем тот приволок жену к ним в лагерь.

— А где это? — спросила Салли.

— На дальнем конце Мушиной Низинки,— пояснил Билл Фогарти.— Робби и Коровье Брюхо взяли там много россыпного.

Салли решила навестить Мари. Лора охотно приняла предложение Салли втроем прогуляться в заросли или побродить вокруг участка Робби.

Они не были уверены, что Олф и Морри одобрили бы их прогулку в зарослях или по лагерю старателей без сопровождения мужчин. Но Салли заверила Лору, что она не заблудится в кустарнике, окружающем город, да и в лагере их никто не обидит.

Все же мужчины, мимо которых проходили миссис Гауг и миссис Брайрли, останавливались и удивленно смотрели им вслед, как будто это были привидения, а не самые обыкновенные хорошенькие и со вкусом одетые женщины; но Салли и Лора, ни на кого не обращая внимания, смеясь и болтая, шли в лагерь Робийяр, и их фигурки в светлых длинных платьях словно парили над корявой каменистой землей, а головы в маленьких соломенных шляпках ныряли, как поплавки, среди груд породы и отвала.

— Скажите, пожалуйста, как нам пройти в лагерь мистера Робийяра? — обратилась Салли к старику, который тряс грохот на Мушиной Низинке.

— Провалиться мне на этом месте, если это не миссис Гауг! — воскликнул он, протягивая ей широкую, запачканную землей руку.— Ребята говорили, что вы приедете. Верно, собираетесь в Хэннан? Я слышал, что Морри и Фриско Джо там здорово повезло. Люди говорят, Хэннан скоро будет самым богатым прииском, но и здесь вокруг старого лагеря все еще попадается кое-что.

Напрасно думают, будто здесь россыпное все уже выкачали: когда сюда пришли ребята с Мерчисона, они раскопали высохшее старое русло ручья на глубине трех-четырех футов под заброшенными разработками и нашли хорошее золото, а тысячи людей ходили поверху и не догадывались.

Над низиной, изрытой ямами и усеянной белыми и красными грудами отвала, стояли клубы красноватой пыли, поднимавшейся из грохотов.

— Они привезли с собой вот эти штуки,— захлебывался от восторга старик, указывая на грохот, состоявший из трех-четырех рядов проволочной сетки и листа оцинкованного железа, поставленного на шаткие ножки.— Это же замечательное изобретение. Сегодня утром оно принесло нам удачу, верно, Уолли?

Старатель, лениво ковырявший землю на краю выемки, бросил свою лопату с длинной ручкой и подошел.

— Это мой товарищ Уолли Сторз.— Старик, имя которого Салли никак не могла вспомнить, торжественно представил его дамам: — Миссис Гауг и...

— Миссис Брайрли,— подсказала Салли.

— Покажи-ка им ту штучку, которую мы сегодня нашли, Уолли,— сказал старик.

Уолли извлек из-за пояса грязный замшевый мешочек, развязал стягивавшую его бечевку, вытащил оттуда покрытый красной пылью кусок золота и, положив на ладонь, показал Салли и Лоре. Старик взял самородок, поплевал на него и потер о свои штаны. Золото заблестело.

— Вот! — воскликнул он восхищенно.— Весит около двадцати унций. Славный камешек! Правда, не такой большой, как на днях принесли из Хэннана,— тот потянул девяносто две унции, но мы уже три недели ковыряем землю, а такого еще не видали, и думается, что там, где мы его взяли, и еще кое-что найдется.

— Ну еще бы! — поддакнула Салли, зная, какого ответа от нее ждут. Это не сиротка. Вы скоро найдете и других членов семейства и оба сделаетесь богачами. Но мы хотели бы повидать мадам Робийяр...

— Ах ты господи, я и забыл.— Старик ухмыльнулся.— Участок Робби вон там, в кустах. Да я вас провожу. А то, бывает, земля осыпается около ям.

Он повел Салли и Лору среди гор отвала и дымящихся грохотов. Мари увидела их издали и побежала навстречу. День уже кончался, и они успели только посидеть и поговорить под навесом из сучьев, который Робби поставил рядом с палаткой. Когда Салли предложила на другой день отправиться в заросли, Мари сразу согласилась. Она была очень весела и вполне довольна и своей

жизнью в палатке, и тем, что ей приходится стряпать для Жана на костре.

— Прямо как второй медовый месяц переживаем,— радостно говорила она.— И я учусь быть старателем: помогаю мужу, когда Коровье Брюхо пьян. Я тоже трясу грохот и даже нашла маленький самородочек — сейчас покажу вам.

Она принесла небольшую бутылочку, наполненную до половины крупинками и осколками золота, и вытащила из нее крошечный самородок. Мари, видимо, гордилась им не меньше, чем старик и Уолли — своим.

— Я умыла его,— пояснила Мари.— Он был такой чумазый, даже не догадаешься, что это золото. Когда я трясу грохот, у меня тоже все лицо в красной пыли. Первый раз у меня ужасно ломило плечи и спину, о-ла-ла! Жан сказал, что никогда больше не позволит мне подойти к грохоту. А теперь я уже привыкла и каждый день работаю с ним.

Возвращаясь вместе с Лорой в гостиницу Фогарти, Салли почувствовала, что завидует Мари. Я тоже была бы счастлива и весела, думала Салли, если бы Моррис приехал за мной, взял в свою палатку и мы бы жили и трудились вместе.

— Все это очень хорошо сейчас,— скептически заметила Лора,— но когда начнется жара и пылевые бури, Мари тут не выдержит.

ГЛАВА XI

Всю неделю, пока Олф был в отлучке и гостиница Фогарти пустовала, Лора и Салли каждый день ходили гулять в заросли. Иногда к ним присоединялась и Мари.

Весеннее солнце чудесно сияло, красная земля повсюду покрывалась яркой зеленью, на кустах распускались цветы, и было так приятно хоть ненадолго уйти из уродливого, душного города, вдыхать полной грудью свежий воздух, любоваться безоблачным голубым небом, собирать цветы или сидеть в густом кустарнике и болтать о своих мужьях — вспоминать, как выходили замуж, и загадывать о будущем.

Миссис Фогарти предостерегала их, чтобы они не забирались слишком далеко и не теряли из виду палатки старателей и горы отвала, нагроможденные возле шахт и ям. Ведь так легко заплутаться в этих бесконечных зарослях, говорила она; даже с опытными людьми это случается.

Но Салли успокоила ее, сказав, что она родилась и выросла в таких местах и знает, что надо смотреть в оба и не отходить далеко от тропинок.

Бессмертники белели под деревьями, словно снег; крошечные розовые цветочки выглядывали из земли между камнями и окаймляли тонкие низинки вокруг них. Высокие кусты были осыпаны желтыми цветами, издававшими нежное благоухание, и дидий горошек, пунцовый и черный среди мохнатых листьев, покрывал всю ложбинку возле колодца кочевников. Беззаботные, как школьницы, три молодые женщины собирали цветы и обменивались признаниями, положившими начало их долголетней дружбе.

Их не пугали встречи с туземцами, которые шли в город или из города. Это были нищие и жалкие создания, одетые в лохмотья, которые белые выбросили за негодностью; женщины и дети обычно ходили вообще без одежды. Иногда они просили хлеба или табаку. Салли старалась избегать верблюжьих троп — она боялась дерзких и любопытных взглядов афганских погонщиков и их грубых шуток. А верблюды просто внушали ей ужас — когда-то за ней погнался хромой верблюд; если молодые женщины натыкались в зарослях на этих странных животных, то убегали от них со всех ног.

Однажды, проходя мимо большого рудника, копры которого резко выделялись на синем небе, они остановились поглядеть на разработки. Сам мистер Сильвестр Браун показал им кусок богатой руды, извлеченной из новой штольни. Он показал им также то место, где впервые в Кулгарди были открыты золотые залежи, и в память о руднике Бейли подарил каждой по маленькому кусочку кварца с золотыми прожилками.

Мари часто рассказывала об отце и матери Жана, которые жили в Лондоне. Они заменили ей родителей, когда ее отец и мать умерли. Она жила с ними возле Тотенхем-Корт-Род и училась шить у одной портнихи. Свою мать Мари едва помнила. Мадам Робийяр рассказывала ей о тех преследованиях, которым после падения Парижской коммуны подвергались во Франции ее участники, и как отец Мари погиб, сражаясь на баррикадах. Дед Жана, золотых дел мастер, тоже был убит, он отдал свою жизнь за дело народа.

Английские друзья помогли им бежать из Франции, и мадам Робийяр удалось увезти с собой Мари и ее мать. Вскоре после этого мать Мари умерла от горя и от перенесенных лишений. Мари с детства любила Жана, но они жили, как брат с сестрой, под одной крышей, и она ужасно боялась, что, когда он вырастет, он встретит более привлекательную девушку и влюбится в нее. Жан учился в университете, а затем уехал преподавать в какую-то большую школу. Но когда он вернулся домой, они обручились, и мама и папа Робийяр говорили, что они всегда этого желали. Они

были очень счастливы все вчетвером, но очень бедны, а жить в лондонских трущобах было тяжело.

Жану хотелось дать родителям угол, чтобы они на старости лет могли жить спокойно и с удобствами. Поэтому он решил поехать в Австралию, и Мари отправилась вместе с ним. Вначале их постигло немало бед и разочарований. После первых родов она была тяжело больна, и доктор сказал, что, может быть, у нее больше не будет детей. Но она не хотела этому верить. Теперь ей казалось, что все их мечты должны осуществиться. Если б только они нашли золото! Если б Жан нашел золота достаточно, чтобы купить ферму и выписать отца и мать!

Лора сказала, что она ни за что бы не хотела жить вместе со своими родителями. Они с Олфом были влюблены друг в друга еще в школе, и само собой разумелось, что настанет день, когда они поженятся. Отец Олфа считался богатым человеком, но вдруг разыгрался страшный скандал. По-видимому, он потерял очень много денег в земельном крахе, а потом растратил деньги треста. Олф еще учился в университете на инженера, когда к нему явился отец, дал ему пять фунтов и сказал, чтобы впредь он сам о себе заботился.

Вскоре во всех газетах появились сообщения об аресте мистера Брайрли и о суде над ним. Отец Лоры, известный политический деятель, запретил дочери встречаться с Олфом; но перед его отъездом на Запад они увиделись тайком, и она обещала выйти за него, как только он найдет себе заработок, а она станет совершеннолетней.

— И конечно,— закончила Лора с счастливой улыбкой,— когда Олф нашел золото, моим родителям пришлось с ним примириться. Они устроили нам пышную свадьбу, и вот мы здесь.

Затем Салли принялась рассказывать историю своей любви, и среди низкорослых деревьев, покрытых серой листвой, зазвенел веселый женский смех. Не то чтобы в этой истории было что-нибудь очень смешное, но Салли рассказывала так забавно!

— Мой отец страшно гордился, что он был одним из первых пионеров на Юго-Западе,— начала она.— А мама, конечно, ни на минуту не позволяла нам забывать о том, что она урожденная Рассел из Расселтона, хотя и уехала с папой в эти дикие места, работала как вол и вырастила большую семью. Ведь нас было шестеро — пять девочек и один мальчик. Брат — самый младший, моложе меня. Мы все ужасно взволновались, когда от губернатора сэра Уильяма Робинсона пришло письмо, в котором он просил разрешения прислать к нам из Англии сына своего старого друга, чтобы юноша познакомился с жизнью в колониях. Его высокородие Моррис Фитц-Моррис Гауг намерен, мол, приобрести здесь землю

и хочет посмотреть, как мы хозяйничаем на скотоводческой ферме. Ну, папа пригласил его к нам в Ворринап, и Моррис приехал.

Мама заявила, что он типичный молодой англичанин, любезный и очаровательный. Но как же мы хохотали, особенно Боб и я, когда Моррис появился перед нами в замшевых бриджах, высоких начищенных сапогах со шпорами, шелковой рубашке и широкополой шляпе, чтобы отправиться на отбор скота. Солоно ему пришлось в первый же день, что он поехал с нами и мы помчались через заросли. Шляпу свою он потерял, а шелковая рубашка оказалась разорванной в клочья; к тому же он упал с лошади, неожиданно споткнувшейся на берегу речонки. Моррис перелетел через ее голову и угодил в воду. Но он отнесся к своей неудаче очень добродушно, а наездник он был в самом деле отличный. Поэтому мы с удовольствием ему все показывали и учили его загонять скот и обращаться с туземными работниками.

Папа обычно звал меня своим старшим пастухом. Я с шестнадцати лет повсюду ездила с ним. На Юго-Западе трудно было достать пастухов, и я очень гордилась, что умею ездить верхом и загонять скот не хуже любого мужчины. Мама не возражала, так как необходимо было помогать папе, а Боб был еще мальчишкой, и у нас работали только два туземных пастуха. Ей даже в голову не могло прийти, что Моррис обратит на меня внимание. Я ведь была такая нескладная, черная от загара, настоящий гадкий утенок, как мама меня называла.

— Что вы говорите, Салли! — воскликнула Мари.— Не может быть!

— Так вот, мама надеялась, что Моррис влюбится в Сесили или Грейс,— продолжала Салли.— Они были светловолосые, хорошенькие. И мои две другие сестры, Фанни и Филлис, тоже были недурны. Но Грейс и Сесили провели целое лето в Перте и побывали на балу и на приеме в губернаторском доме. У них были платья понарядней наших — мама считала, что они должны выйти замуж первыми. Конечно, они помогали Фанни и Филлис на ферме и тоже работали по дому, но мама больше заботилась о Сесили и Грейс, чем об остальных. Она заставляла их мазать руки кремом и надевать на ночь перчатки, мыть лицо молочной сывороткой и часами расчесывать волосы. Бедная мама, перед приездом Морриса она целыми днями возилась с их платьями, подновляя их. С моей стороны было очень дурно, что я разрушила все ее планы.

— Ой, Салли, как же вы это сделали? — засмеялась Лора.

— Сама не знаю,— засмеялась и Салли.— Я вовсе этого не хотела. Когда Моррис поцеловал меня и сказал: «Я обожаю вас,

Салли!» — у меня от удивления язык отнялся. Но это было чудесно: ведь он был настоящий прекрасный принц из сказки, и я никак не могла понять, почему он влюбился именно в меня. Я решила, что, вероятно, его восхитило, как ловко я управляюсь с лошадьми и что я умею загонять и клеймить скот. Но Моррис и слышать об этом не хотел.

— Моя дорогая маленькая Салли,— говорил он,— я люблю вашу молодость и смелость, я люблю ваш вздернутый носик и ваши дикарские повадки, но больше всего я люблю вас потому, что я вас люблю. Вот и все, что я могу сказать.

— Ну, само собой, я тоже в него влюбилась,— продолжала Салли,— и очень боялась, чтб скажут папа и мама, когда узнают. Папа очень рассердился, услышав от Морриса, что он хочет жениться на мне.

— Вы можете взять любую из моих дочерей,— напрямик сказал он Моррису,— но я не могу обойтись без Салли.

— Я тоже,— ответил Моррис.

Мама объяснила мне, что для моих старших сестер будет ужасным ударом, если я выйду замуж раньше их. Просто оскорбление. И потом, папа нуждается во мне как помощнице. А я плакала и плакала; я заявила, что папа вполне может достать пастуха, если он положит ему приличное жалованье. Все было напрасно. Родители отказались дать согласие на мой брак с Моррисом. Мне, мол, только восемнадцать лет, я слишком молода и сама не знаю, чего хочу, и они боятся, что Моррис не тот человек, которому они могли бы доверить мое счастье,— хотя им это и в голову не приходило, когда они мечтали выдать за Морриса Сесили или Грейс.

— И почему это родители всегда такие неблагоразумные! — воскликнула Лора.

— Тогда мы с Моррисом бежали. Доехали верхом до Банбери, а там сели на пароход и добрались до Фримантла, где и поженились. Папа и мама так мне и не простили этого.

— Ваши родители живы? — спросила Мари.

— Папа утонул, пытаясь переправиться через реку во время разлива,— сказала Салли, и лицо ее омрачилось.— Мама умерла в прошлом году.

— Но вы не жалеете, что вышли за Морриса? — спросила Лора, думая про себя: не сошла ли уже романтическая позолота с этого брака?

— О нет! — горячо воскликнула Салли.— Мы были очень счастливы, хотя иной раз и выпадали трудные минуты. Сначала мы жили в гостинице в Перте, и Моррис накупил мне кучу нарядов. Я ведь была просто деревенской девчонкой, и он решил, что

меня нужно учить, как вести себя. Мама пришла бы в ужас от одной мысли, что кто-нибудь из ее дочерей не умеет держаться в обществе мило и достойно. Но Моррис заставлял меня ходить взад и вперед по комнате, чтобы проверить, сумею ли я справиться со шлейфом вечернего платья, и сотни раз я должна была репетировать реверансы, прежде чем он повел меня обедать к леди Робинсон. Сэр Уильям Робинсон сердился на Морриса за то, что Моррис, по его выражению, злоупотребил колониальным гостеприимством и бежал не с той дочкой, с какой надо было; но все же он принял нас очень хорошо. В конце концов Моррис поссорился с ним из-за чего-то другого. Я так и не узнала, из-за чего. А потом мы уехали.

Отец Морриса купил ему овцеводческую ферму за Йорком. Моррис был очень доволен, но я с самого начала поняла, что у нас ничего не выйдет. В этой местности нет воды и рабочих ничем не заманишь, а Моррис хотел жить так, как будто он в английском поместье. Когда Моррис продал Буингарра и вложил все деньги в фрезерские рудники в Южном Кресте, его отец рассердился. Он перестал помогать нам, а тут рудники закрылись, и мы, конечно, остались ни с чем. Как-то надо было жить, и я открыла пансион. Моррис злился на меня за это, но не могла же я все время брать в долг у лавочников и занимать деньги.

Салли заговорила тише, в ее голосе слышался горький вызов:

— Моррис считает, что с меня достаточно быть миссис Моррис Фитц-Моррис Гауг, но я говорю ему, что я дочь пионера, не стыжусь работы и буду делать то, что нужно, чтобы заработать кусок хлеба.

Она вскочила и пошла прочь.

Мари и Лора, переглянувшись, поднялись с камня, на котором сидели, и побежали за ней. Салли обернулась и посмотрела на них в упор, глаза ее сверкали.

— Я не виню Морриса — сказала она.— Просто мы слишком по-разному воспитаны, от этого и все размолвки между нами. Я люблю его. И уверена, что он любит меня, хотя этого, быть может, и не скажешь, судя по тому, как он заставляет меня ждать его здесь. Даже не потрудился приехать и встретить.

Она вдруг заплакала. Но когда Мари и Лора начали утешать ее и подыскивать оправдания для Морриса, уверяя, что он, конечно, хотел приехать, да не смог, Салли быстро овладела собой.

— Какая я дура! — воскликнула она, улыбаясь сквозь слезы.

И они направились к городу, весело болтая и смеясь, как будто ничто не нарушило их приятной прогулки.

ГЛАВА XII

Однажды, когда подруги, набрав большие букеты цветов, возвращались под вечер в гостиницу Фогарти и проходили по одной из улиц мимо жалких хибарок из гофрированного железа и циновок, они увидели, что у окон сидят китайские и японские девушки. Девушки эти казались неживыми, точно куклы с раскрашенными лицами и тщательно причесанными волосами. Мари остановилась и, улыбаясь, принялась разглядывать их. Салли изумленно ахнула, но Лора была шокирована и, отвернувшись, ускорила шаг. Девушки в окнах смотрели на них неподвижными черными глазами, без улыбки, словно это были просто картинки, вставленные в деревянные оконные рамы этих убогих домишек.

Широкая улица была почти пуста. Только двое-трое мужчин медленно шагали по пыльной мостовой. На дальнем конце стоял дом побольше, тоже из гофрированного железа, но с узкой деревянной верандой. На веранде в большом кресле сидела полная женщина средних лет, туго затянутая, в черном платье, а возле нее расположилось несколько девушек. Одна из них пела по-французски:

В тихом лунном свете,
Милый друг Пьеро,
Написать записку
Одолжи перо.

Услышав с детства знакомый напев и звуки родного языка, Мари радостно вскрикнула. Какая неожиданность — встретить соотечественниц в этом захолустье! Через минуту она уже весело болтала с девушкой, которая пела, с полной женщиной и с остальными девицами. И они ей отвечали так же приветливо, смеясь и чуть не плача, словно были давними друзьями, которые каким-то чудом встретились после долгой разлуки. Ничего не поделаешь, пришлось Мари и ее приятельницам согласиться выпить чашку чая с мадам и девушками. В такую рань посетителей не предвидится, объяснила мадам, да и, кроме того, все мужчины ушли искать золото. Дела совсем плохи.

Лора пришла в ужас. Она попыталась отговорить Салли от этого чаепития, но Мари была уже на веранде, а Салли считала, что не может бросить ее одну. И даже на Лору подействовало добродушное гостеприимство мадам и попытки смеющихся девушек успокоить ее.

Бедная Лора, она была в большом смущении: она не хотела ни бросить Мари и Салли в такой компании, ни обидеть хозяек чопорным и нелюбезным поведением. Поэтому она старалась принять непринужденный вид, сидя за чашкой чая с женщинами лег-

кого поведения в веселом доме. Но как она обрушилась на Мари, когда они наконец вышли и направились по дороге к гостинице!

Разумеется, с ее стороны такой порыв был большой неосторожностью, призналась Мари, и она очень сожалеет об этом. Ей не следовало тащить Лору и Салли в общество этих «невозможных» женщин, как Лора называла их. Но, оправдывалась Мари, она совершенно забыла, кто они и что́ они, когда услышала, как поет Лили. Лора и представить себе не может, какая это радость — услышать опять родной язык и говорить на нем, если не слышала его так давно. Кроме того, некоторые французы смотрят на проституцию несколько иначе, чем англичане: они считают ее институтом, охраняющим семью, хотя сама Мари не разделяет этой точки зрения. Ее научили видеть в этих женщинах несчастных жертв нищеты, которые вынуждены вести такой образ жизни, какой ни одна женщина не изберет добровольно.

Салли призналась, что не согласна с Лорой и не считает, что молодым замужним женщинам не подобает разговаривать с такими особами. Верно, она не спорит, это ужасно, что такая вот темноволосая, задумчивая Нина или эта Лили, такая изящная и живая, вынуждены подчиняться грубым ласкам любого постороннего мужчины, чтобы заработать денег для мадам Марсель; и все же девушки не кажутся несчастными.

Бэлл выглядит крепче и выносливее, чем Лили, и более пригодной для своей профессии. Кроме того, она красивая женщина, белокурая и румяная, с небесно-голубыми глазами и высокой грудью — англичанка, и гордится этим. Живет у мадам лишь до тех пор, пока не получит возможность купить себе собственный домик. Один из ее клиентов обещал ей помочь устроиться самостоятельно, как только мадам ее отпустит. Берта — немка, молчаливая и тихая, один глаз у нее косит.

Лили уверяла, что мадам относится очень хорошо к своим девушкам, одна из них уже вышла замуж за богатого золотоискателя. Мадам загребает кучу денег, через несколько лет она намерена закрыть свое заведение и стать почтенной женщиной; обещает подыскать всем девушкам хороших мужей — при условии, чтобы каждая поработала на нее три года. На приисках так мало женщин, что найти мужа нетрудно.

Лили заявила, что она лично не собирается второй раз замуж. Муж, оперный певец, ее бросил, когда ей не было еще и двадцати лет. Она ничего не умеет, и зарабатывать себе кусок хлеба ей приходится только таким вот способом. Она ждет того времени, когда сама сможет выбирать себе любовников, и надеется уговорить какого-нибудь мужчину доставить ее обратно в Париж.

«Дурочка, это она надеется на Фриско Джо,— невольно вспомнила Салли слова Бэлл.— А Фриско и не вспомнит о ней, если разбогатеет».

Лили тогда только усмехнулась и рукой махнула.

— Не он, так другой! — воскликнула она.

— Послушайте, девушки,— резко прервала мадам,— незачем говорить о клиентах при наших молодых гостьях.

И вот это чаепитие оказалось весьма мирным и добродетельным, с разговорами о погоде и об этой чудной стране, с возмущенными возгласами по адресу этих неприличных темнокожих дикарей, которые ходят иной раз, ничем не прикрыв свою наготу, и многословными жалобами на ограниченную выдачу воды и невозможность даже помыться. Лили показала на примере, что такое старательская ванна: она набрала в рот воды, побрызгала себе на руки, и потом мокрыми руками потерла лицо и шею.

— Вот так лучше всего! — заявила она, когда все засмеялись над ее шаловливой выходкой.

Поговорили и о походе золотоискателей, и о том, что иногда богатство валяется на земле, только подбирай его. Вот мадам, например, однажды утром после дождя самолично нашла возле поленницы маленький самородок.

Мари была благодарна Салли за то, что она не видела никакой особой беды в этом чаепитии, хотя Салли и согласилась с Лорой, что лучше не рассказывать об их приключении ни миссис Фогарти, ни их мужьям.

ГЛАВА XIII

Прошел почти месяц, прежде чем Моррис наконец подъехал к гостинице Фогарти в пыльной повозке, запряженной парой тощих мохнатых лошадок. Билл Фогарти бросился искать Салли, чтобы сообщить ей новость.

Салли выбежала на крыльцо и едва узнала мужа в бородатом человеке, подходившем к дому. Моррис! Этот заросший темной щетиной бродяга в молескиновых штанах, неглаженой рубашке и рваной фетровой шляпе! Прежде всего она признала его поношенный коричневый пиджак, затем его глаза,— он был без пенсне,— и сердце у нее дрогнуло.

— Моррис! — вскричала она и кинулась на шею бородатому незнакомцу.

Моррис сдержанно поцеловал ее. Салли знала, что не в его правилах проявлять свои чувства при посторонних.

Люди, стоявшие перед гостиницей, весело, по-товарищески, приветствовали его. Моррис отвечал им дружески и непринужден-

но. Он ничем не отличался от любого старателя или рудокопа, разве что в осанке чувствовалась некоторая самоуверенность.

— Ну, как дела в Хэннане? — спросил кто-то.

— Недурно,— отвечал Моррис.

— Кое в чем вам, уж во всяком случае, повезло, черт побери!

— Пора уже счастью повернуться ко мне лицом,— засмеялся Моррис, входя в гостиницу. Олф, который вышел встретить его, повел Морриса в столовую, где Лора кончала завтракать. Моррис сел поговорить с ними, а Салли побежала на кухню принести ему поесть. Когда она поставила перед ним яичницу с ветчиной и начала убирать со стола грязные тарелки, она почувствовала, что его глаза следят за ней. Он, видимо, удивился тому, что Салли хозяйничает здесь, как у себя дома.

Ее высокородие миссис Кэнди, англичанка, которая приехала сюда проведать сына-золотоискателя и купила рудник Тэтерс, остановила Салли, пробегавшую мимо со стопкой тарелок.

— Миссис Кэнди очень взволнована слухами о какой-то новой находке,— сказала Салли Моррису.

Старатель, сидевший за столом в дальнем конце комнаты и явно еще не проспавшийся после вчерашней попойки, крикнул:

— Эй, миссис, как бы насчет второй чашки чая?

— Сейчас, Чарли,— живо ответила Салли и побежала было на кухню.

Моррис быстро протянул руку и удержал ее. Затем он обернулся к старателю.

— А что бы вам сходить самому, приятель? — спросил он.

— Подожди, Моррис,— запротестовала Салли. Она видела, что Моррис понял, какую работу она выполняет в гостинице, и сердится на нее. Она села рядом с ним и принялась объяснять ему, что миссис Фогарти была так ужасно занята и так мучилась со своими ногами, а тут понаехала такая пропасть народу, и она не могла одна справиться — стряпать и подавать на стол. Просто невозможно было сидеть сложа руки и глядеть на нее.

Моррис слушал ее краем уха; его, видимо, больше занимали разговоры о новой находке. Поглощая свой завтрак, он расспрашивал Олфа:

— А можно верить этим слухам? Говорят, там больше золота, чем в Бейли, и всего в нескольких милях от Кулгарди. Мне сообщил один возчик на дороге.

— Трудно сказать. Уже дня два тут невесть что рассказывают. Но пока еще не известно, кто нашел золото и где именно.

Салли решила, что ее объяснение с мужем можно спокойно отложить до того времени, когда они останутся одни.

Олф и Лора попытались убедить Морриса не брать Салли с собой в Хэннан. Ведь их дом почти готов, говорили они, и Салли может пожить у них, пока Моррис построит что-нибудь для нее.

— Очень вам благодарен,— ответил Моррис.— Но я уже условился: миссис Гауг остановится в гостинице.

Тут-то и вмешался Билл Фогарти:

— У тебя чудесная женушка, Моррис,—сказал он с восхищением.— Моя хозяйка говорит, пусть она живет у нас, сколько захочет, и мы будем платить миссис Гауг такое жалованье, какое она только пожелает.

— Миссис Гауг — не служанка,— надменно процедил Моррис.

— Бесстыжие твои глаза! — вспыхнул Билл.— А кто говорит, что она служанка? Ты, пожалуйста, передо мной нос не задирай, мистер Гауг. Это тебе вовсе не пристало. Твоя жена — желанная гостья в моем доме в любое время, чего не могу сказать про тебя.

— Извини, Билл,— тон у Морриса был виноватый.— Я сегодня не в своей тарелке. Если бы вы не виделись с миссис Фогарти два года, я уверен, что и ты вел бы себя не лучше.

Олф громко засмеялся, чтобы рассеять неловкость, и Билл Фогарти смягчился.

— Пойдем выпьем,— сказал он.— Кто старое помянет...

Мужчины ушли в бар, а Салли принялась убирать со стола. Лора помогала ей. Если нужно показать Моррису, что и она при случае готова подсобить миссис Фогарти, то она сделает все, что в ее силах, заверила она Салли.

Когда Моррис неторопливо вышел из бара, Салли увела его в свою палатку на дворе.

— Как ты могла так унизить меня? Прислуживать за столом в этом мерзком кабаке! — кричал Моррис.

— Но, дорогой мой,— сказала Салли,— что же я могла поделать? У меня не было денег, чтобы платить за комнату, и я не хотела, чтобы мистер Брайрли платил за меня.

— А почему бы и нет? Олф теперь богатый человек.

— Я предпочитаю никому не быть обязанной,— твердо ответила Салли.

— Может быть, и следовало задобрить Билла Фогарти,— согласился Моррис.— Я ему должен несколько фунтов. Но надо было сохранять собственное достоинство и помнить, что ведь тут очень много англичан, а мы занимаем определенное положение в обществе.

Глаза Салли сверкнули.

— По крайней мере, мистер и миссис Фогарти поймут, что я старалась не злоупотреблять их добротой,— крикнула она.

Нелепо говорить о достоинстве и положении, когда человек совершенно беспомощен!

— Дик Иган, Каммальери и многие другие парни заработали кучу денег в Хэннане,— сказал Моррис.— Хэннан будет главным прииском, а не Кулгарди. Мы ищем не россыпное золото, а рудное. Если участок, который мы сейчас разрабатываем с Фриско, оправдает наши ожидания, мы можем рассчитаться со всеми и жить, не стесняя себя, до конца наших дней.

— Если!..— возразила Салли.— А пока я не желаю, чтобы люди говорили, что мы должаем и не платим долги.

— Все дело в том,— сердито сказал Моррис,— что тебе вообще не следовало уезжать из Южного Креста. Мужчина живет на приисках как придется и забывает обо всем остальном. А женщине здесь не место, особенно моей жене. Но раз уж ты приехала, я не намерен оставлять тебя тут на милость любого негодяя. Да, да, я знаю, мне следовало раньше приехать за тобой. Но я просто не мог ни выпросить, ни занять, ни украсть повозку.

Пристальный взгляд Салли смутил его. Он привык к тому, что она исполняет все его желания; привык к безусловной преданности. Он просто рот разинул, когда она проговорила:

— А я бы предпочла остаться здесь, Моррис, и работать у миссис Фогарти.

— Об этом и речи быть не может,— отрезал Моррис.— Мы уедем в Хэннан завтра утром.

Но они не уехали на следующее утро. К полудню весь город, точно котел, кипел новостями о богатой находке. В последние дни об этом ходило столько слухов! Из зарослей вернулся старик-золотоискатель, и мешочки у его пояса были битком набиты. Он заявил, что вернулся только потому, что заболел, но тут же отправился выпить. Он щедро тратил свое золото и хвалился, что нашел с товарищами богатую жилу.

— А кто они, твои товарищи?

— Где у них лагерь?

Было совершенно ясно, что старик рано или поздно выболтает свою тайну. Пошли самые невероятные слухи. Старатели осаждали контору инспектора, требуя подробностей относительно новой находки.

Когда выяснилось, что Джек Миллз и его товарищи добыли восемь тысяч унций, оцененные в тридцать две тысячи фунтов стерлингов, на участке под названием Лондондерри, город просто обезумел. Люди с бою брали лавки, закупая провизию. Каждый, кто имел возможность, уходил по дороге на юг, за десять миль.

Моррис Гауг немедля запряг лошадей и бросил в задок повозки кое-какие припасы. Его окружили старатели, требуя, что-

бы он их подвез. Но Моррис посадил только Джонса Крупинку и Билла Иегосафата, погрузил их старательский инструмент и снаряжение, взял с них несколько фунтов за доставку и уехал.

Бар и столовая у Фогарти в тот вечер пустовали; но уже около полуночи агенты иностранных финансистов и крупных синдикатов вернулись с Лондондерри; вид у них был скептический и губы поджаты. Они не могли поверить, что богатейшая руда, которую им показывали, взята из этой вырытой старателями ямы в три фута в глубину и четыре в ширину.

Однако никто не отрицал, что эта выработка так и сверкает золотом. Большинство агентов и спекулянтов сидело чуть не до утра, составляя донесения, прикидывая возможную ценность открытой жилы. Почтальон Армстронг укатил на своем велосипеде, увозя телеграммы, которые надо было отправить из Южного Креста. Агент одного из финансовых магнатов верхом на верблюде старался опередить его. Два-три горных инженера оседлали своих лошадей и также поехали в Южный Крест, чтобы связаться по телеграфу со своими принципалами. Говорили, будто за новый участок уже было предложено двадцать пять тысяч фунтов стерлингов, но старатели не согласились продать его.

Билл Фогарти воспрянул духом — поход в Лондондерри сулил старому лагерю прилив новых жизненных сил и подтверждал веру Билла в то, что именно Кулгарди, а не Хэннан был и останется центром золотодобывающей промышленности, а его гостиница — центром этого центра.

Лора и Салли пошли посмотреть на выставленные в банке образцы из Лондондерри. По пути они встретили Мари, которая тоже шла туда, и они втроем смешались с толпой, кишевшей вокруг образцов. Одна большая глыба грязного кварца весила около полутора центнеров и на треть состояла из золота. В остальных образцах так и посверкивали желтые прожилки. Пестрая толпа старателей, рудокопов, лавочников, акционеров, возчиков, афганских погонщиков обезумевшим взором созерцала эти сокровища, только что вырванные из таинственных недр земли, и возбужденно гудела:

— Боже всемогущий!

— Аллах!

— Иезус Мария!

— Да такого не бывало со времени Бейли!

— Ничего похожего и Бейли не находил!

— И еще только копнули! Тонны золота, должно быть, скрыты там!

— Он побьет мировой рекорд, этот Лондондерри!

Когда три подруги возвращались в гостиницу, они чувствовали смутную тревогу, точно впервые ощутили грозную и зловещую власть золота — то безумие, которое при одном взгляде на него, словно злые чары, овладевало мужчинами.

— И почему это так важно — золото? — спросила Салли.

— Вот чудачка,— небрежно отозвалась Лора.— Золото дает богатство, могущество. Поэтому мужчины и сходят с ума по нем. Ведь они могут получить все, что захотят, если у них достаточно золота.

— Я знаю...— Салли задумчиво наморщила лоб.— Но почему они должны зависеть от этого маленького куска металла, который приходится выцарапывать из грязных старых камней? Медь или железо гораздо полезнее.

— Ценность золота — предрассудок,— заявила Мари таким тоном, словно в этом не могло быть сомнений.

— Ради бога,— воскликнула Лора,— только не говорите этого вслух! Здесь золото — божество, все поклоняются ему, даже Олф! Я иногда жалею, что он поехал в Кулгарди,— хотя, конечно, не найди он золото, бог весть когда бы мы поженились. Но все-таки он стал другой. И я не хотела бы, чтобы он возвращался сюда...

— «Он последовал зову сирены, поющей в тиши,— пробормотала Салли.— Ни женская ласка, ни город, ни труд селянина уже не насытят смятенной души».

— Не говорите так! — вскрикнула Лора.— А то мне кажется, что я лежу в земле и кто-то ходит по моей могиле. Иногда, чтобы позлить Олфа, я говорю ему, что золото — моя самая ненавистная соперница.

— Это сказал один старатель,— ответила Салли, смеясь.— На днях он пьянствовал у Фогарти, сочинял стихи и читал их вслух. Разве вы не помните?

— Ах да! — Лора улыбнулась, и страх исчез из ее голубых глаз.— Конечно, если везет на золото, жаловаться не приходится. Но на будущий год я заставлю Олфа уехать отсюда и хоть немного пожить для себя. Представить себе, что останешься до конца своих дней в этой пыли и духоте — просто ужасно, верно?

Салли согласилась с ней.

— Mon Dieu, c'est effrayant, un tel sort! [1] — воскликнула Мари.

В течение многих дней через город с утра до ночи шли и ехали старатели с дальних приисков — с Хэннана, Белого Пера, Ревущего Бурава, с Кэшнена и Курналпи. В городе они делали

---

[1] Боже мой, такая судьба ужасна! *(франц.)*

передышку, бросались в банк и жадно смотрели на выставленные образцы, потом накупали продовольствия, опрокидывали стаканчик-другой в кабаках, выслушивали последние новости о походе и двигались дальше. Это была бесконечная процессия: люди верхами, экипажи, фургоны, запряженные лошадьми или верблюдами; люди пешком, пропыленные, измученные, с грузом старательского инструмента; они неустанно шли вперед в подвязанных бечевкой башмаках или ехали на велосипедах, прикрутив к ним свои узлы и лагерное снаряжение.

Только и было разговору что о баснословных ценах, которые предлагались за месторождение в Лондондерри. Был слух, что Биглхол, директор рудника Бейли, уже предложил пятьдесят тысяч фунтов,— Билл Фогарти ринулся в кухню, чтобы тут же сообщить об этом жене. «Но Миллз и его товарищи хотят взять еще дороже».

Из уст в уста передавался рассказ о том, как Джек Миллз напал на первое золото. Он выступил в поход с пятью товарищами тотчас после окончания дождей; все шли тяжело нагруженные, имея при себе всего одну лошадь и повозку, чтобы везти их запасы. Они искали золото несколько месяцев, дошли до Лефрой-Лейк, и было у них всего несколько грошовых находок. И вот, когда они с натертыми ногами и унынием в сердце уже возвращались в Кулгарди, продолжая вести попутно кое-какую разведку, Джек Миллз однажды вечером ввалился в лагерь с целым мешком образцов, и уныние его товарищей сменилось ликованием.

— Рушу это я породу на одном кряже,— рассказывал Джек Миллз Биллу Фогарти.— Весь день пылинки золотой мне не попалось, и уже на закате я присел на минутку отдохнуть; чувствовал я себя прямо идиотом и уже решил было бросить совсем это дело, наняться к какому-нибудь возчику или поступить на рудник. Сижу я себе и пинаю ногой выветрившийся, покрытый мохом валун. И вдруг там, где я отбил кусочек камня, что-то блеснуло. Наклоняюсь, чтобы рассмотреть, что это такое, и, клянусь богом, оно тут как тут! Я вскочил и давай рушить породу вокруг, и в каждой глыбе полно золота.

На другой день они рано утром произвели разведку вдоль всего кряжа, обнаружили богатейшие залежи и принялись за дело. Опасаясь, как бы сюда не набежали люди до того, как они выберут все россыпное золото, Миллз, делая заявку, не открыл размеров найденного ими сокровища. Он надеялся, что эта залежь будет давать пол-унции на тонну, поэтому они установили маленький горн для обжига руды, затем толкли ее пестиком в ступе и таким образом добывали золото. В течение почти двух месяцев им удавалось сохранить свою тайну.

Вначале золотоискатели были очень недовольны таким надувательством, но среди общего возбуждения, когда все бросились столбить участки, оно было забыто. Моррис вернулся в конце недели, крайне раздосадованный тем, что вся земля на много миль вокруг была уже застолблена. Россыпного золота оказалось очень мало, а за пределами участка Миллза не нашлось ничего путного. Весь мед был в его улье. Моррис никогда не видел таких месторождений: вся скала в неглубоких выработках сверкала золотом.

Динни и кое-кто из старателей с Мерчисона сомневались, можно ли наладить добычу золота в такой местности, где нет больших золотоносных пластов, но они держали язык за зубами и говорили об этом только между собою. Они считали Джека Миллза и его товарищей просто безумцами — ходили слухи, что те не отдают Лондондерри за сто тысяч фунтов стерлингов. Тогда лорд Фингал предложил сто восемьдесят тысяч и шестую часть доходов. Его предложение было принято. Если к этому прибавить стоимость уже добытого золота, то Миллз и его товарищи с полным правом могли считать себя самыми богатыми старателями Запада.

Бум в Лондондерри разжег аппетит заокеанских финансистов к приискам Западной Австралии. Агенты компаний предлагали бешеные цены за многообещающие участки.

Едва вернувшись, Моррис стал спешно собираться в Хэннан. Он хотел как можно скорее убедить Фриско, что цену на их участок следует повысить. Кроме того, он занял лошадь и повозку у директора рудника Кассиди-Хилл, а Чарли Хэнт может пожелать самолично приехать из Хэннана, чтобы взглянуть на Лондондерри. Ведь это месторождение прозвали «золотым чудом мира».

ГЛАВА XIV

Наутро после возвращения из Лондондерри Моррис отправился закупать припасы. Салли не знала, где он провел ночь. Вечером она видела, как он играл в карты в баре, затем слышала, как Билл Фогарти запирает дверь на ночь, и ждала, что Моррис придет к ней в палатку. Но он не появился, а утром вызвал ее во двор, и вид у него был растрепанный, глаза припухшие. Он сказал, что вздремнул на веранде, а сейчас будет запрягать, чтобы выехать как можно раньше.

Не было еще шести часов, когда Салли вышла во двор совсем готовая, в шляпе и дорожном плаще, с коричневым жестяным сундучком, саквояжем и свертками. Но оказалось, что Моррис уехал

К. Причард «Девяностые годы»

еще за какими-то покупками. Возвратился он только через несколько часов. Остановив лошадей перед гостиницей, он окликнул Динни Квина, стоявшего с другими мужчинами на улице, и попросил сказать миссис Гауг, что он ждет ее.

Динни отыскал Салли и взвалил ее сундучок себе на плечо. Она подхватила туго набитый саквояж и свертки и вышла вслед за Динни. Моррис взял у нее вещи. Салли влезла в повозку и села рядом с ним. Все вышли на веранду провожать ее.

— Не забывайте нас, Салли,— сказала Лора,— и приезжайте почаще, а я заставлю Олфа свезти меня в Хэннан при первой возможности.

Миссис Фогарти и Билл стояли в дверях.

— Приезжайте к нам, как к себе домой, дорогая, в любое время,— крикнула миссис Фогарти.— Билл вам даже ванну устроит, лишь бы выпала хоть капля дождя.

— И без дождя выкупаю вас,— крикнул Билл,— только приезжайте!

— Вот нахал,— проворчал Моррис и хлестнул тощих лошадей,— еще минута, я брошу вожжи и проучу этого Билла Фогарти.

— До свиданья, до свиданья! — кричала Салли. Ей было немножко грустно и хотелось поплакать, расставаясь с этими милыми людьми, хотя узнала она их совсем недавно.— Они такие славные, Моррис,— сказала она примирительно.— Они просто шутят, чтобы подбодрить меня.

— Я нахожу подобные шутки по адресу моей жены весьма неуместными,— холодно заметил Моррис.— Ты должна держать себя с бо́льшим достоинством, Салли. Женщина может здесь быстро погубить свою репутацию, если будет потакать подобного рода фамильярностям.

Вероятно, подумала Салли, он хотел бы прибавить, что ему очень не понравилось, когда вчера, вернувшись с разведки в Лондондерри, он застал ее в столовой, где она болтала и шутила с двумя-тремя мужчинами.

Моррис, конечно, знал, что на приисках женщин мало и у Салли, если б она захотела утешиться в его отсутствие, всегда будет на выбор пять-шесть мужчин, которые изголодались по женской ласке. Продав за наличные богатую находку, они готовы были бы предоставить ей все, чего бы она ни пожелала, за одно только обещание провести с ними ночь. По всей вероятности, подобные предложения ей делались, и от одной этой мысли он приходил в бешенство. Однако заговорить с ней об этом мешало сознание некоторой вины, ведь он сам поставил ее в такое положение, и этой вины Салли ему так легко не простит, он чувствовал это.

Моррис убедился, что его «дорогая маленькая Салли» может быть весьма упрямой и самостоятельной.

Бедный Моррис! Давно не приходилось ему ревновать ее, размышляла Салли,— в сущности, с тех самых пор, как они приехали в Перт. Несомненно, во время их медового месяца она из куколки превратилась в бабочку. Она хотела показать Моррису, что ему не придется краснеть за нее в любом обществе. А как приятно было сознавать, что ее находят привлекательной. «Ваша жена, мистер Гауг, такая остроумная, такая обаятельная»,— говорила Моррису леди Робинсон, и сэр Вильям был весьма внимателен. Каждое утро присылал за ней лошадь, и они вместе катались верхом.

Даже слишком внимателен, говорил себе Моррис во время одного бала, видя, как сэр Вильям в третий раз танцует с его женой. Моррис дулся: ему не нравилось, что Салли с радостью окунулась в эту новую для нее, веселую жизнь и с удовольствием выслушивает комплименты, расточаемые ей мужчинами.

— Ваш муж ревнует, дорогая,— предостерегла ее леди Робинсон.— Не давайте ему повода.

Ревнует? Салли никогда и в голову не приходило, что в этом причина мрачного настроения, в которое временами впадал Моррис. А она-то делала все, чтобы он гордился ею и был доволен ее успехами в обществе!

Но потом, когда они уехали в деревню и Моррис сознался, что он рад этому — теперь она опять будет принадлежать только ему,— она решила, что, может быть, леди Робинсон была права.

Какое горе, какое разочарование принесла ему земля! Сначала он был так счастлив, что владеет тысячами акров. Подобных поместий, говорил он, нет ни у кого в Англии. Разумеется, он знал, что здесь все нужно создавать заново и придется вложить немало труда, но нехватка воды и рабочих рук, необходимых для расчистки участка и возведения построек, приводили его в отчаянье. А того, что жить приходилось в простой хибарке из грубого теса, он уже совсем не мог перенести.

И вот Моррис истратил уйму денег на приобретение материалов для постройки приличного дома, не послушав Салли, которая советовала ему сначала починить скотный двор и построить запруды для воды. Салли-то знала, что надо делать. Ведь всю свою жизнь она прожила среди людей, боровшихся за освоение новой земли. Моррис был очень доволен, что Салли помогает ему, но желал непременно вести хозяйство по-своему.

В этом-то и было все несчастье. Он никак не мог понять, почему нельзя на животноводческой ферме в почти первобытной стране вести дело так, как оно ведется, скажем, в южной Англии.

Его ошибка состояла в том, что он стал командовать пастухами и батраками, вместо того чтобы обращаться с ними по-дружески. А это никогда до добра не доводит, особенно если человек лучше вас знает, что нужно делать. Даже плотник и печник сбежали, не закончив постройку дома.

В первый же год Моррис лишился почти всего скота. Засуха и налеты туземцев этому немало способствовали. Он делал, что мог, стараясь спасти скот, но было уже поздно. Поздно было спасать и Буингарра. И ферма, и все связанные с ней хлопоты давно уже опротивели ему, а борьбе с засухой и растущими долгами не предвиделось конца.

Ему ничего не оставалось, как продать остаток скота и ферму. Правда, выручил он за это всего несколько сот фунтов. Ему еще повезло, говорили люди, хотя овцы и ферма в Буингарра обошлись отцу Морриса в несколько тысяч фунтов, когда он покупал их.

Как раз в это время все ринулись на прииски Южного Креста. Вполне естественно, что и Моррис ухватился за этот случай нажить богатство. Отец его пришел в бешенство, узнав, что Моррис продал землю и собирается спекулировать на акциях золотодобывающих рудников. Мне стоило целого состояния, говорил он, дать Моррису возможность попытать счастья в колониях. Отныне он должен полагаться только на себя. Ни одного пенни от меня он больше не получит.

Салли понимала, что в прошлом Морриса имелось что-то предосудительное, почему он и был отправлен в Австралию. Сэр Вильям Робинсон в письме к ее отцу намекал на это. «Молодой человек несколько сбился с пути, играл в азартные игры и вообще вел себя безрассудно»,— писал его превосходительство. Во всяком случае, что-то в этом роде.

Но Салли считала неразумным винить Морриса за неудачу с фермой или за то, что он вложил деньги в рудники компании Фрезер. Сделанное ему предложение представлялось вполне приемлемым: оно сулило должность и дивиденды. Однако служба оказалась, к несчастью, только временной. Теперь Салли подозревала, что это была просто приманка, чтобы побудить ее мужа вложить деньги в прииски. Когда рудники закрылись, дивиденды перестали поступать, и Моррис остался без работы и без гроша денег. Салли понимала, что надо что-то предпринять, и предпринять немедленно. Иначе им предстоит голодать или попрошайничать. Моррис воспротивился ее планам пустить в дом жильцов; он и слышать об этом не хотел. Однако ей никак не удавалось вывести его из состояния той мрачной апатии, в которую он погрузился, и поэтому она была вынуждена пренебречь его мнением и сдала ком-

нату Олфу Брайрли и банковскому служащему, которому жить в гостинице было не по карману.

Позднее она перенесла два пустых сарая к себе во двор, позади дома, чтобы устроить там еще несколько человек. В одном поместился Динни Квин и один горняк. И ее пансион процветал, невзирая на тяжелые времена.

Салли улыбалась, вспоминая о своих успехах и о том, как у нее ломило спину и все косточки, хотя она неизменно уверяла Морриса, что стряпать обеды и быть преуспевающей хозяйкой пансиона для нее развлечение. Она старалась быть бодрой и веселой, чтобы поддержать и его. Может быть, он до сих пор сердится на то, что она все взяла в свои руки и доказала, что сможет прокормить и себя и его. Правда, из-за этой тяжелой работы она очень огрубела и потеряла прежнюю привлекательность. Теперь она просто самая обыкновенная маленькая хозяйка гостиницы, скупая и расчетливая. Только за последние недели у Фогарти, среди людей, которые хвалили ее и льстили ей, она почувствовала, что к ней возвращается часть ее врожденной веселости. «Воздух на приисках идет вам на пользу, дорогая,— говорила миссис Фогарти.— Вы кажетесь на несколько лет моложе, чем когда приехали. На мой взгляд, вы даже пополнели. И у вас такие ямочки и такие лукавые глазки — в свое время вы, конечно, были большой плутовкой».

Но, может быть, Морриса как раз это и беспокоит, может, ему не нравится, что она похорошела? Почему он был так недоволен, когда увидел, что она болтает с рудокопами в столовой Фогарти, и рассердился на грубоватую шутку Билла Фогарти? Ее утешала мысль, что как-никак Моррис продолжает любить ее, хотя встретился с ней довольно холодно и так медлил с приездом.

Салли не простила ему этой обидной медлительности. Она считала, что Моррис до сих пор ей ничего как следует не объяснил, и пусть не притворяется, будто и понятия не имеет, в какое затруднительное положение она попала из-за его небрежности. Оскорблял ее и барский, холодный тон мужа.

— Ты уплатил по моему счету, Моррис? — спокойно спросила она.

Моррис не ответил.

Салли продолжала:

— В таком случае мы еще у них в долгу. За стол и квартиру мы задолжали мистеру и миссис Фогарти, по моим подсчетам, около двадцати фунтов. Если бы даже я взяла с них деньги за свою работу, мы бы все-таки остались должны еще несколько фунтов.

Ты играл вчера вечером в карты, Моррис. У тебя нашлись деньги на карты, значит, ты мог бы заплатить мистеру и миссис Фогарти. Почему ты этого не сделал?

— Послушай, Салли, если ты воображаешь, что я позволю тебе пилить меня,— воскликнул Моррис раздраженно,— ты сильно ошибаешься.— Он стегнул лошадей, и они рванулись вперед, подняв красную пыль, которая точно туман окутала тяжело нагруженную четырехколесную повозку.— Если я услышу еще что-нибудь подобное, я тебя отправлю обратно в Южный Крест.

— Нет, Моррис,— сказала Салли, и в ее глазах мелькнула затаенная улыбка,— ты не отправишь меня обратно в Южный Крест. Ты меня никуда не отправишь. Я поеду туда, куда захочу.

Мистер Гауг растерянно посмотрел на жену. Никогда еще Салли не говорила с ним таким тоном; никогда так решительно не отвергала его право решать за нее. Она и раньше бывала упряма и делала иногда по-своему, например в Перте, когда они только что поженились, а потом в Южном Кресте, когда она пустила жильцов в их домишко из четырех комнат. Но при этом она была с ним особенно мила и ласкова, словно чувствовала себя виноватой перед ним.

В самые трудные времена их совместной жизни Салли всегда была стойка и предана ему, вспоминал Моррис. Никогда она не позволяла ему корить самого себя за те неудачи, которые на них обрушивались. Никогда не давала повода пожалеть о том стремительном романтическом порыве, который толкнул их друг к другу. И он не сомневался в ее любви к нему даже в тот короткий период, когда ей так нравилось изображать из себя мотылька, порхающего по гостиным английской колонии в Перте. Как он был поражен тогда, открыв, что она привлекательна и для других мужчин. Да, Салли бывала чуть-чуть неосторожна, но всегда относилась к нему с тем наивным преклонением, которое помогало ему забыть о том, что его собственная семья смотрит на него как на паршивую овцу и бездельника. Что же это теперь нашло на его жену? Почему она так говорит с ним? Уж не разлюбила ли она его? Неужели его долгое отсутствие и кажущееся равнодушие к ней ранили ее так глубоко, что она уже не питает к нему прежних чувств?

Погруженный в эти мрачные размышления, Моррис не делал попыток возобновить разговор. И вот они сидели рядом, как чужие, и смотрели поверх неторопливо трусивших лошадей на кочковатую дорогу, извивавшуюся среди зарослей.

На окраине города было разбросано несколько палаток, виднелась взрытая земля, груды красно-желтого гравия и торчавшие над шахтами копры. Несколько старателей, возвращавшихся с се-

вера, куда они ходили на разведку, окликнули Морриса: им хотелось узнать новости относительно похода в Лондондерри. А Моррис расспросил, как они вели разведку, найдено ли что-нибудь подходящее. Нет, ничего, отвечали те, и продолжать поиски не стоило; а одного их товарища темнокожие закололи. Они напали на лагерь и забрали все продовольствие. Потом старатели пошли дальше в сторону Кулгарди, а Моррис и Салли продолжали свой путь в Хэннан.

Немного дальше они нагнали караван верблюдов с погонщиками-афганцами, шествующими по обочине дороги.

Тянулись часы и мили — мили красной земли, усеянной кусками черного железняка, среди которого росли тощие корявые деревья с темными листьями, стоявшими ребром к солнцу и сливавшимися вдали в сплошное серое море. Часы и мили под бледным, неизменно голубым небом. И казалось, что повозка и впряженная в нее пара лошадей — это какое-то насекомое, медленно ползущее по дороге.

Вдруг Салли издала легкое восклицание, и Моррис взглянул на нее, ожидая, что она заговорит; но она ничего не сказала; она сидела рядом с ним, выпрямившись, лицо ее казалось очень юным и суровым. Салли должно быть теперь двадцать два, соображал Моррис. Когда они поженились, ей было восемнадцать, а с тех пор прошло четыре года. О чем она думает, глядя перед собой строгим взглядом и крепко сжав неулыбающиеся губы? Какую она состроила серьезную мордочку!

Что с ней? Казалось, она думает на каком-то языке, которого он почти не знает. Моррис никогда не забывал о том, что он англичанин, а Салли родилась в колонии, да еще так гордится тем, что она дочь и внучка пионеров, как будто она чистокровная принцесса. Здесь их взгляды коренным образом расходились, и это сильно раздражало его.

Разумеется, нужно считаться с обычаями страны, с условиями жизни в новой, непривычной обстановке, но Моррис все еще был привержен некоторым традициям, которых Салли отнюдь не уважала. Она, например, никак не хотела признать, что неудобно для миссис Моррис Фитц-Моррис Гауг работать простой служанкой в каком-то трактире на золотых приисках. Моррис еще понял бы, если бы эта работа вызывала в ней негодование и отвращение; но то, что она предпочла ее возможности получать помощь от Олфа, это было выше его понимания.

Но Салли относилась так ко всему, в чем он видел привилегии аристократов. Она считала нелепым притязать на эти привилегии в стране, в которую еще так много надо было вложить труда. И может быть, она права, думал Моррис. Он узнал это на собственном

опыте, когда попробовал хозяйничать на ферме. И здесь, на золотых приисках, человек должен показать свое уменье работать, и притом на тех же условиях, что и все. Моррис уже отказался от многих предрассудков, касающихся отношений между хозяином и работником, но кое-что от прошлого еще осталось.

Он не желал признавать стремление колонистов к демократическому образу жизни и считал это болезнью, которую приходится терпеть, раз ее нельзя излечить. Но у Салли были какие-то странные плебейские наклонности, которые его раздражали. Она, видимо, чувствовала себя в своей стихии, и такая жизнь казалась ей естественной.

Может быть, виной тут то, что она выросла в колонии? Ведь говорят же, что пионерство развивает в людях независимость и уверенность, и, конечно, помогая отцу в работе на ферме, она привыкла надеяться на себя и своевольничать. Однако Джон Уорд оставался твердолобым старым консерватором. У семьи были хорошие связи, и Моррис не мог себе представить, чтобы миссис Уорд одобрила поведение какой-либо из своих дочерей, если бы та вздумала проявлять независимость и оспаривать авторитет мужа, как это делала Салли.

Конечно, в том, что случилось, есть доля и его вины. Моррис не мог ни оправдать себя до конца, ни объяснить, почему он так медлил с приездом. Теперь ему было стыдно за то отчаяние и апатию, которые овладели им, за то, что он так долго не писал и не заботился о ней. Но он надеялся вернуться победителем, с целым состоянием в кармане, вознагражденный за годы тяжкого труда; ведь выпадает же такое счастье на долю стольких людей. А они, дуралеи, только и знают, что швырять сотни фунтов на пьянство и проституток.

Моррис уверял себя, что еще неделю назад он надеялся выгодно продать участок, который разрабатывал вместе с Фриско, и встретить Салли добрыми вестями: доказать ей, что даже в трудном деле золотоискательства он показал себя молодцом. Но, по правде сказать, только когда до него дошли слухи о том, что у Фогарти появилась новая официантка и он понял, какую роль там играет Салли, в нем проснулся инстинкт собственника и побудил его поехать в Кулгарди и увезти жену в Хэннан.

Он был сильно разочарован, увидев, что ей не очень-то хочется ехать с ним. И еще больше разочаровало его открытие, что Салли уже не та любящая и покорная жена, какой она была, когда они расстались. Встречаясь с ней взглядом, он больше не находил в ее глазах тающей нежности, его уже не манили к себе ее губы, всегда готовые к поцелую. Черты лица ее стали строже. И это отнюдь не украшало ее.

Салли становилась хорошенькой, только когда смеялась и была оживленна. Ей, с ее смешным вздернутым носиком, не шел суровый или трагический вид. Но она явно хотела подчеркнуть, что слова ее были сказаны серьезно. Неужели Салли его больше не любит? Неужели она может бросить его? Моррис просто не допускал столь дикой мысли. Его удивляло и оскорбляло, что Салли говорит с ним так, будто готова в любую минуту отречься от своих обязанностей жены.

Он был бы еще более удивлен и обижен, если бы знал, о чем думает Салли, сидя рядом с ним. А в ее памяти проносились те обрывки разговоров о Моррисе, которые ей приходилось слышать в Кулгарди.

«И как ему не стыдно тащить эту маленькую женщину в Хэннан? Там ведь очень тяжелые условия. То, что Моррис называет гостиницей, просто ночлежка с навесами из веток!» — говорил Билл Фогарти.

Миссис Фогарти удивлялась:

«И какого черта она ему там понадобилась? Почему он не может оставить ее у нас?»

На что Билл ответил:

«А на что человеку вообще жена?»

«Чтоб у него глаза лопнули! — возмущенно воскликнула миссис Фогарти.— Эх, попал бы он ко мне в руки, этот мистер Гауг, я бы ему показала!» — Ответ Билла потонул в ее громком хохоте.

Миссис Фогарти заговорила опять:

«И вот увидишь, он еще нарвется на скандал с этим лодырем Фриско: ведь она единственная хорошенькая женщина в лагере. Ближе, чем на Рю-де-Линдсей, ни одной не найдешь. Хотя, говорят, Фриско завел себе какую-то туземку».

Вспомнился Салли и приглушенный голос Олфа, когда он говорил с Лорой в соседней комнате:

«Никак не могу понять этого Гауга: и из семьи хорошей, и воспитание, и все такое. А вот в отношении денег — никакой щепетильности. Ему и в голову не приходит, что долги надо платить и что не все равно, у кого занимать. Правда, здесь мы очень легко и занимаем и даем в долг. Уж такое правило на приисках: если у человека есть наличные или кредит, а другому приходится туго, то полагается помочь ему, в надежде, что он этого не забудет, когда ему, в свою очередь, повезет. Никогда не знаешь, не очутишься ли и ты в таком положении, не понадобится ли помощь и тебе. Но Моррис не знает никаких границ: как только у него заведется золото, он его спускает в карты, а долгов не платит. Вот Динни Квин, например, тот по природе джентльмен. Он никогда так не

сделает. Правда, выпить любит, это есть. Но Динни я доверил бы свою жизнь, а вот Моррису — еще подумал бы».

Затем ее мысли перешли к Фриско де Морфэ. Она слышала о Фриско немало и хорошего и плохого и пришла к выводу, что он дурной человек, игрок и распутник. Вовсе не подходящая компания для Морриса, хотя Фриско и пользуется у всех старателей большой популярностью. А потом еще эта Лили...

Улыбка появилась на губах Салли, когда она вспомнила свое знакомство с Лили. В какое бешенство пришел бы Моррис, если бы он узнал... Но ведь на самом деле все произошло так просто и неожиданно.

Глядя на деревья, уходившие по обе стороны дороги в бесконечную даль, Салли представила себе, как поет Лили, она почти слышала ее веселый тонкий голосок и печальный напев песенки:

Но свеча погасла,
Больше нет огня,
Отопри же двери,
Пожалей меня.

Она покосилась на Морриса, чувствуя, что обманула его доверие. Сознание, что и она перед ним виновата, смягчило ее. В конце концов, каждый делает ошибки. Невозможно всегда быть благоразумной и осторожной. Нужно считаться с различием характеров; ведь именно из-за этого различия иной раз нелегко понять друг друга. Она догадывалась о том, как трудно было Моррису примениться к жизни на приисках. Но он все-таки сделал это, и притом так решительно, что она была удивлена. А в глубине души он остался прежним. Несмотря на поношенную и грязную одежду, свалявшуюся бороду и волосы, это был все тот же Моррис Фитц-Моррис Гауг, и он требовал от нее, чтобы она об этом не забывала. Ей хотелось, чтобы Моррис был с ней в таких же простых и дружеских отношениях, как и со всеми остальными. Но это, видимо, невозможно. Она должна питать к нему подобающее уважение, разрешать диктаторский тон, на который, по мнению Морриса, ему давали право его рождение и воспитание, а также то обстоятельство, что он на несколько лет старше своей жены.

Она решила, что, должно быть, отчаяние побудило Морриса занимать деньги направо и налево и играть в карты. Наверно, он предпочел бы платить долги, но карты, видимо, неудержимо притягивают его. И можно ли винить его за то, что он искал забвения и хоть каких-нибудь развлечений после долгих часов тяжелого труда в пыли, под знойным солнцем, после длинных одиноких дней, когда он уходил на разведку в эти серые заросли, тянувшиеся до самого горизонта и за пределы горизонта, далеко-далеко.

И что делать мужчинам, когда они возвращаются с утомительных разведок или работают весь день в пыли и зное, как не пьянствовать или играть в карты? К счастью, Моррис не пьяница, и она надеялась, что уговорит его не играть так много и больше не занимать денег.

У него все еще мрачное и обиженное лицо. Может быть, она была с ним слишком резка? Ну конечно, она никогда не бросит его! Их связывают гораздо более тесные узы, чем обычное супружество. Они были так влюблены друг в друга, их брак был таким романтическим. Он вызвал неудовольствие в обеих семьях — все родственные связи были прерваны на долгое время.

У нее есть обязательства по отношению к Моррису, размышляла Салли, которыми она не может пренебречь. И у Морриса есть обязательства по отношению к ней, которыми нельзя пренебрегать, хотя они могут на время отступить для него на второй план.

И вот они все-таки сидят друг подле друга, как чужие, в этом диком краю, где только кустарник да небо. И такими ничтожными казались ей они оба, точно маленькие темные букашки, точно муравьи, ползущие своим путем в слепящих лучах солнца. Салли почудилось, будто она тонет в бездонных глубинах этой тишины и одиночества. Охваченная страхом и смутной тревогой, она теснее прижалась к Моррису.

Да и к кому же ей прижаться, как не к нему? Кому, кроме нее, было заботиться о нем и быть подле него в любой беде? Они одни в этом мире, чужом и непонятном. Разве они могут забыть все то, что связывает их друг с другом?

Понял ли Моррис тот тайный страх, который охватил Салли, когда она вглядывалась в неведомый серый край, расстилавшийся перед ней? Как бы то ни было, Моррис вдруг сказал охрипшим от волнения голосом:

— Поклянись мне, Салли, что ты никогда больше этого не скажешь. Что ты никогда не покинешь меня!

— Клянусь тебе, Моррис,— прошептала она, задыхаясь.— Но ведь ты сам забросил меня в эти последние месяцы.

— Ты единственное существо на свете, которое мне дорого, Салли,— с горечью отозвался Моррис.— Как мог я тебя покинуть! Но здесь человек иной раз сам себя не помнит. Точно ржавчина разъедает его. И тогда он не в силах сбросить с себя апатию, которая действует, как наркотик. Тебе это станет понятно, когда ты поживешь здесь подольше.

— Я и думала, что с тобой случилось что-то такое,— сказала Салли.— Вот почему, Моррис, я и приехала.

ГЛАВА XV

На закате они подъехали к кучке палаток и шалашей, расположенных у подножия горного кряжа, над которым высились отвесные скалы. Это и был Хэннан.

Красноватый свет лежал на изрытом склоне кряжа и на грудах рыжей и бурой земли. Здесь и там, на фоне ясного неба, голубовато-зеленом и прозрачном, как вода, вырисовывались деревянные копры. Вокруг гостиницы — убогого строения из гофрированного железа — и двух-трех лавок, сколоченных из обрезков жести и мешковины, по широкой дороге, на которой еще торчало несколько низкорослых корявых деревьев, сновали старатели. К опреснителю, расположенному подальше, непрерывным потоком шли люди. В неподвижном воздухе висел дым костров, смешиваясь с пылью, целый день поднимавшейся над грохотами.

Моррис подъехал к одной из лавок. Несколько человек, стоявших перед ней, вяло приветствовали его, с удивлением разглядывая сидевшую рядом с ним женщину. Затем они не спеша подошли к повозке. Моррис слез, роздал письма и газеты, свертки с мясом и овощами, инструменты и отдал пару сапог, которые ему было поручено купить в Кулгарди.

Его засыпали вопросами о «старом лагере», как они называли Кулгарди, и о походе в Лондондерри. Пока он рассказывал, мужчины с любопытством рассматривали Салли, которая молча сидела на переднем сиденье повозки и чувствовала себя здесь чужой и всеми забытой.

Салли была возмущена тем, что Моррис не познакомил ее с товарищами, стоявшими вокруг, как Олф познакомил Лору по приезде в Кулгарди. Видимо, думала она, Моррис решил, что не даст ей дружить с мужчинами в Хэннане, как она дружила с посетителями гостиницы Фогарти.

Из лавки вышел рослый бородатый мужчина; легкие уверенные движения, широкополая шляпа и сравнительно опрятная внешность выгодно отличали его среди окружавших Морриса нечесаных и немытых старателей, чьи рубашки и штаны были покрыты красной пылью.

— Хэлло, Морри,— весело крикнул он.— Привез-таки свою хозяюшку?

И он дерзко сверкнул смеющимися глазами в сторону миссис Гауг, все еще сидевшей в повозке среди своих вещей.

— Добро пожаловать в Хэннан, миссис Гауг.— Он неторопливо подошел к ней.— Придется мне самому представиться: Морри, видимо, слишком занят для этого. Франсиско Хосе де Морфэ, более известный как Фриско Джо Мэрфи, к вашим услугам.

Он снял шляпу и, к великому удовольствию присутствующих, низко склонился перед Салли.

— Как поживаете, мистер де Морфэ? — отозвалась Салли.

— Благодарю вас, очень хорошо, сударыня,— в тон ей церемонно ответил Фриско, хотя глаза его продолжали смеяться. Про себя он решил, что эта дамочка не всегда будет с ним такой чопорной и недоступной. Утомленная долгим путешествием и недовольная поведением мужа, Салли показалась ему мало интересной. Отнюдь не красавица, подумал он; правда, глаза чудесные и фигурка стройная и крепкая.

— Вы, наверно, до смерти хотите чаю,— заявил Фриско с грубоватым добродушием.— Я пойду поставлю котелок.

— Пожалуйста, не беспокойтесь.— Салли старалась держаться с достоинством, как того требовал ее муж.

В это время Моррис, задержавшийся в лавке, вышел оттуда и направился к повозке.

— Значит, ты все-таки привез жену, Моррис,— обратился Фриско к Моррису с насмешливой улыбкой.— Ты, кажется, собирался оставить ее в Кулгарди?

— Я передумал,— ответил Моррис.

— Пойду немножко приберу у нас,— предложил Фриско, не обращая внимания на дурное настроение Морриса.— Как мы устроимся? Если хочешь, я могу очистить место, и миссис Гауг займет мою палатку.

— Благодарю,— ответил Моррис, по-видимому, не испытывая никакой признательности к Фриско за его великодушное предложение.— Я уже сговорился с миссис Баггинс, мы поживем у нее некоторое время. Так будет удобнее для миссис Гауг. За лавкой есть пристройка, там мы и поместимся, пока я не сооружу для нее домик.

Фриско засмеялся. Он понял, что Моррису вовсе не нравится галантное обращение компаньона с его хорошенькой супругой. Поселив жену в пристройке Баггинсов, он рассчитывал держать ее подальше от посторонних глаз. Хозяева всегда дома и могут присмотреть за ней. Они содержали дешевую плохонькую столовую, помещавшуюся в хибарке, сооруженной из ржавой жести от старых керосиновых бидонов, а рядом была ночлежка.

— Можно мне сойти, Моррис? — спросила миссис Гауг.

— Подожди, я помогу тебе,— пробурчал Моррис.

— Нет, я сама.

Салли передала ему через колесо туго набитый саквояж и два-три свертка. Моррис с тревогой следил, как она поднимается, повертывается спиной и осторожно расправляет юбки. Затем она нащупала носком подножку и легко спрыгнула наземь, показав за-

интересованным зрителям только стройную лодыжку и запыленный черный башмачок.

Моррис был, видимо, очень доволен, что она так ловко и аккуратно это сделала. Он настоял на том, чтобы самому перенести ее саквояж и свертки в лавку.

— Нет, право же,— возражала Салли,— они совсем не тяжелые.

Фриско и остальные свидетели этой сцены весело усмехались. Их до смерти забавляла необыкновенная важность, с какой держался Морри Гауг.

Салли тоже не могла удержаться от улыбки и, следуя за Моррисом, бросила быстрый взгляд на мистера де Морфэ.

— До свидания,— сказала она чинно.

Моррис познакомил жену с хозяевами. Пристройка оказалась всего-навсего навесом из жердей, переплетенных ветками. Сверху были насыпаны сухие листья. Здесь стояли колченогая деревянная койка с натянутой на ней мешковиной и деревянный ящик, на котором можно было сидеть, но этим вся обстановка и ограничивалась. Моррис обещал принести из лагеря плед и повесить его на веревке перед входом, чтобы Салли могла иметь хоть какой-то отдельный уголок. Она поняла, что ей предстоит жить здесь, пока Моррис не устроит ее иначе.

— А что я буду делать, если пойдет дождь? — спросила она, растерянно оглядываясь.

— Ради бога, без капризов,— раздраженно ответил Моррис.— Дожди здесь никого не пугают, у нас и так их слишком мало. Я, во всяком случае, постараюсь построить тебе какую-нибудь хибарку до начала дождей.

Он вышел и принес из повозки ее жестяной сундучок, потом заявил, что ему надо напоить лошадей и отправить их в ночное. А после этого они с Салли пойдут в столовую и чего-нибудь поедят. Лучше подождать немного, сейчас там полным-полно. Он предупредил миссис Баггинс, чтобы она оставила им тушеного мяса и горячего пудинга.

Салли села на свой жестяной сундучок. У нее разболелась голова, она чувствовала себя усталой и подавленной.

— Мне хочется только чашку чая,— сказала она уныло.— Ах, Моррис, почему мы сразу не поехали к тебе в лагерь? Я бы там очень скоро все прибрала, и нам было бы гораздо удобнее, чем здесь, где столько народу. Я бы стала готовить для тебя и...

— Разреши мне знать, что для тебя лучше в Хэннане,— холодно ответил Моррис.— Ты не представляешь себе, какой сброд стекается сюда со всех концов света. Не забывай, что ты женщина.

— Но, Моррис,— возразила Салли,— ко мне в Кулгарди относились с величайшим уважением. Все говорят, что старатели — очень порядочные люди.

— Все это мне известно,— нетерпеливо нахмурился Моррис.— Я лучше тебя знаю, что такое золотые прииски. В первое время так действительно было в Кулгарди; но в Хэннане совсем не то. Здесь люди гораздо грубее и жаднее на золото. Иначе и быть не может. Ведь сюда съезжаются подонки общества всего мира. И почему ты не могла жить тихо и мирно в Южном Кресте, вместо того чтобы тащиться за мной!

— Но ты оставил меня одну почти на два года,— напомнила ему Салли.— И все это время ты думал, что я живу там тихо и мирно?

— Разумеется.

— Ты просто никогда об этом не думал.

— Ах, перестань, пожалуйста, Салли,— вспыхнул Моррис.— Не будем начинать все сначала. Если бы ты знала, что мне пришлось здесь вытерпеть, ты поняла бы. Я уходил с Фриско на разведку на целые месяцы. Однажды, на обратном пути, мы чуть не умерли от жажды...

— Ох, Моррис!

— Слушай, моя дорогая.— Моррис сел на ящик рядом с ней.— Я дурно поступил с тобой, знаю. Мне следовало писать тебе, следовало наведаться домой, чтобы посмотреть, как ты живешь. Но эта золотая лихорадка овладевает человеком, как болезнь, и он совершает поступки, о которых никогда в нормальном состоянии и не помышлял бы. Мы все здесь немножко сумасшедшие. Мы не можем ни говорить, ни думать о чем-нибудь ином, кроме золота. Пойми, я видел сотни людей, которые находили богатство, а мне ни разу по-настоящему не повезло. Ну да, один раз я получил свою долю за участок, где мы работали с Динни Квином и Олфом Брайрли. Но я купил верблюдов и продовольствие и отправился на разведку с Фриско, надеясь удвоить то, что я имел, а потерял все. Говорят, если человек неутомимо ищет золото, он непременно найдет свое счастье. Значит, настанет день, когда и я найду свое. Тогда мы отряхнем от ног своих прах золотоносных полей и поедем путешествовать вокруг света...

— Как это было бы чудесно,— вздохнула Салли, увлеченная его мечтами.

— Вот ради чего я работаю. Вот чего я добиваюсь.

Моррис встал. Он весь дрожал от сдерживаемого волнения:

— Я хочу вернуться на родину и жить в достатке до конца моих дней. Стоит того, чтобы потрудиться и потерпеть здесь некоторое время, если потом у нас будет денег сколько угодно. Я хочу

доказать моему старику, что блудные сыновья иногда возвращаются миллионерами и могут восстановить богатство семьи.

— Ах, Моррис! — Салли была ослеплена картиной будущего.

— Другим это удавалось, почему же не удастся мне?

Окрыленный надеждами, Моррис казался помолодевшим, полным энергии и веры в свои силы.

— Вот,— сказал он,— посмотри-ка! — Он вытащил из кармана бумажник и развернул перед ней плотный лист бумаги.— Это акции нового рудника, который открывается на участке Брукмена. Один опытный горняк, мой знакомый, уверяет, что этот рудник будет одним из самых богатых на здешних приисках.

Салли посмотрела на документ; потом Моррис сложил его и сунул обратно в бумажник, а бумажник бросил на ее жестяной сундучок.

— Лучше спрятать это подальше,— сказал он, оглянувшись.— Тут надо быть очень осторожным.

Люди то и дело мелькали перед их навесом — старатели и погонщики-афганцы, входившие и выходившие из лавки. Пришли и туземки, чтобы посмотреть на белую миссис; они встали перед ней, разглядывая ее и ухмыляясь. Моррис так сердито закричал на них, что они рассыпались, словно стайка вспугнутых детей. Из сумерек вынырнул щуплый рыжеватый паренек в брюках, закатанных выше колен и с остатками белой рубашки на загорелых плечах.

— Эй, Морри,— крикнул он,— вы что же, не будете сегодня поить лошадей? Просто жалко смотреть на них.

— Отведи их, Пэдди,— отозвался Моррис.— Я сейчас приду и заплачу за воду. Это миссис Гауг,— добавил он.— А это Пэдди Кеван, Салли.

— Очень рад познакомиться с вами, мэм.— Мальчишка поклонился не без изящества.

— Постарайся угодить моей жене — и ты не будешь внакладе, Пэдди,— сказал Моррис.

— С удовольствием,— усмехнулся Пэдди.— Рад буду услужить вашей супруге, мистер Гауг.

— Ну, ну, не забывайся! — крикнул Моррис вслед уже исчезнувшему Пэдди.— Смышленый парнишка,— продолжал Моррис,— он пришел с нами; служил юнгой на американском судне и сбежал оттуда. Добрался до Южного Креста, а потом и сюда явился. Существует на случайные заработки. Какие — одному богу известно. Но Пэдди ничем не брезгует, лишь бы наскрести несколько монет. Однако мне нужно пойти посмотреть, чтобы напоили лошадей. Этот самый Пэдди способен сказать мне, что они уже напились, и продать воду кому-нибудь другому.

Когда Моррис вышел опять к повозке, все еще стоявшей перед лавкой, в пристройку вошла миссис Баггинс, неся кружку чая и намазанный маслом толстый ломоть хлеба на эмалированной тарелке.

— Ах, благодарю вас,— сказала Салли,— мне до смерти хочется чаю.

— Не меня благодарите, а Фриско,— ответила миссис Баггинс кислым тоном.— Это он распорядился, а у меня нет времени возиться с приезжими.

— Это очень любезно с его стороны,— благодарно пролепетала Салли, отхлебнув горячего крепкого чая.

Миссис Баггинс, женщина средних лет, рослая, сухопарая, с хитрецой в слегка раскосых, бесцветных глазах, с длинными зубами и властным выражением лица, неодобрительно разглядывала свою новую жилицу. Моррис сказал Салли, что миссис Баггинс — женщина работящая, что она много моложе своего мужа и держит в руках и его, и все дело. Вполне вероятно, решила Салли.

— Если бы Моррис предупредил нас, что вы приедете, мы бы вам палатку поставили или ребята освободили бы один из сараев,— пробурчала она.

— Ничего,— успокоила ее Салли,— я привыкла ночевать без удобств, а сегодня я так устала, что усну где угодно. Высплюсь хорошенько и буду свежа, как роза.

— У нас тут розы не водятся,— насмешливо отрезала хозяйка и пошла прочь.

Бедная женщина, подумала Салли, она очень недовольна, что Моррис навязал ей свою жену. Верно, боится, что придется нянчиться с беспомощной неженкой, вот почему она так неприветлива. Салли решила на другой же день подружиться с миссис Баггинс и показать ей, что отнюдь не намерена разыгрывать в Хэннане важную даму.

Допив чай и доев толстый ломоть хлеба с маслом, принесенный хозяйкой, Салли осталась сидеть на своем сундучке, глядя на широко раскинувшуюся равнину, покрытую густым кустарником, и на ясное зеленоватое небо, где поблескивали первые звездочки. Она дивилась судьбе, которая привела ее и Морриса в эту унылую, почти дикую страну.

Неужели то, о чем говорил Моррис, когда-нибудь сбудется? И они найдут золото — частицу тех огромных золотых залежей, которые прячет в своих недрах темная земля,— станут богатыми, обеспеченными людьми, будут путешествовать по свету и приедут к его родным победителями, как мечтал Моррис? Нет, не верится, это — как волшебная сказка. С другими людьми, может, и бывает,

но не с ней и Моррисом. Салли предчувствовала, что удача не придет к ним так легко.

Моррис и раньше обольщал ее картинами счастливого будущего — и на ферме, и потом в Южном Кресте. Правда, тут может выйти по-другому, размышляла она. Здесь человеку не надо так тяжело работать, чтобы обеспечить себя. Он может вдруг наткнуться на свое счастье: отвалить камень, найти куски золота и продать участок за несколько тысяч фунтов. Но, с другой стороны, сотни людей уходили с приисков после долгих месяцев разведки и продувания, убедившись, что игра не стоит свеч.

И Салли слышала от них не раз, что шансы разбогатеть не настолько велики и едва ли имеет смысл переносить все лишения и тяготы, которые выпадают на долю золотоискателя. Многие возвращали земле, как они говорили, то, что получили от нее, тратя свои деньги на верблюдов и припасы, чтобы отправиться на долгую разведку, или вкладывая все, что у них есть, в разработку рудника. Однажды Моррис уже на этом попался.

Нет, говорила себе Салли, не верится, чтобы они с Моррисом так скоро отряхнули от ног своих прах золотоносных полей. И она готова примириться с этим, приспособиться к жизни в таком месте, как Хэннан; но пусть Моррис поскорей уведет ее в свою палатку или построит домик, ведь он обещал. А пока — неужели он думает, что она так и будет сидеть сложа руки под этим навесом из ветвей? Нет, она станет помогать миссис Баггинс, как помогала миссис Фогарти. Чтобы ладить с людьми, нужно делить с ними их труды и заботы. У нее слишком много здравого смысла, говорила себе Салли, чтобы разыгрывать барыню перед миссис Баггинс.

Когда пришел Моррис с фонарем и пледами, которые он принес из лагеря, Салли уже спала, свернувшись клубочком на койке. Он повесил плед на веревке перед входом и разбудил жену, чтобы она разделась. Она сняла с себя платье и надела ночную рубашку, удивленная тем, что Моррис намерен спать вместе с ней на такой узкой кровати. Моррис тоже сбросил с себя одежду и лег возле нее под грязным серым одеялом.

ГЛАВА XVI

Моррис давно уже спал, а Салли все еще лежала без сна, глядя сквозь просветы между ветками на далекие поблескивающие звезды.

Она была возмущена тем, что Моррис вел себя так недостойно. Он сразу схватил ее в объятия, хотя люди проходили в

нескольких шагах от них. Она слышала их смешки и шутливые замечания по адресу Морриса, который улегся с курами, настолько явственно, как будто эти люди находились в той же комнате. Разве не унизительно для самого Морриса, что он поступил так грубо и сделал ее предметом вольных шуток?

Конечно, она тосковала по его ласкам, она надеялась забыть в его объятиях о всех взаимных обидах, о всех разногласиях. Их примирение в пути дало ей сладостное ощущение покоя и прочности их любви. Все это было теперь разрушено. А она-то надеялась, что, встретившись, они переживут вторично свой медовый месяц.

Когда-то, в первую пору влюбленности, Моррис был для нее божеством, она восхищалась им, все существо ее трепетало от каждого его прикосновения. В течение тех долгих месяцев, которые она провела одна в Южном Кресте, она тосковала по нем неутолимо и мучительно. Но это грубое сближение оскорбило ее. Он надругался над ее чувствами. Никогда больше, говорила себе Салли, не позволит она Моррису так злоупотреблять их отношениями.

Утром она решительно сказала:

— Я не стану жить в этой дыре, Моррис. Покажи мне свою палатку, и я там устроюсь.

— Ладно,— согласился Моррис, виновато опуская глаза,— но побудь здесь хоть день или два, пока я все приготовлю и перенесу палатку подальше в чащу.

За завтраком в общей столовой Салли дала Моррису понять, что вовсе не намерена исполнять его требования и держаться замкнуто и высокомерно. Она вступила в разговор со своими соседями, проявила живой интерес к местным новостям и сама сообщила то, что знала о походе в Лондондерри.

Потом она подошла к дверям кухни, чтобы поздороваться с миссис Баггинс и заверить ее, что спала хорошо и чувствует себя превосходно.

— Если я могу вам чем-нибудь помочь,— весело сказала Салли,— я с удовольствием это сделаю. Не привыкла я сидеть сложа руки. Да и хорошо бы чем-нибудь заняться, пока Морриса не будет дома.

Но у миссис Баггинс, как обычно, день начался с головной боли и дурного настроения. К предложению миссис Гауг она отнеслась с подозрением.

— Занимайтесь своим делом,— сказала она кисло,— а я буду делать свое.

Салли невольно отступила перед ее недружелюбным взглядом.

— Вот видишь,— заметил Моррис, уводя Салли обратно в пристройку.— Я ведь предупреждал тебя, что не надо здесь навязываться людям. Миссис Баггинс не способна понять, что ты стараешься сделать людям приятное и просто хочешь помочь ей.

— Она, наверно, очень дурная женщина,— сказала Салли, садясь на койку.— Что тут такого, если я хочу помочь ей?

Моррис улыбнулся:

— Она долго была единственной женщиной в Хэннане и теперь, вероятно, ревнует, потому что появилась другая. Говорят, она не гнушается обществом здешних кавалеров...

— Да что ты! — негодующе воскликнула Салли.

— Фриско говорит, что чем старше вино, тем крепче, а уж он в этих делах знает толк.— Моррис нахлобучил свою шляпу.— Однако мне некогда с тобой болтать, пора идти на участок, покопаться немного в земле.

— Я пойду с тобой. Не могу я сидеть тут целый день,— нетерпеливо сказала Салли.

— А где же мой бумажник? — Моррис посмотрел кругом, поискал в кармане.

— Твой бумажник? — повторила Салли, стараясь припомнить, что он сказал ей накануне о бумажнике.

Моррис наклонился над сундучком, выбросил оттуда платья. Салли тоже принялась искать. Они перевернули все, обшарили весь пол, но бумажника не было.

— Я ведь просил тебя спрятать его. Я тебе сказал, что в этих акциях целое состояние! — вскипел Моррис.

— Ах, Моррис,— жалобно заговорила Салли.— Я же не трогала твой бумажник. Ты бросил его на сундучок, ты сам.

— Но я просил тебя спрятать его! — закричал Моррис.— Разве я не говорил, что здесь тебе не Крест и не Кулгарди? Тут подметки на ходу срезают. Боже мой, если предсказания Зэба Лейна насчет этого рудника оправдаются, я тебе никогда не прощу.

Чуть не плача, Салли проговорила:

— Если это моя вина, Моррис, я очень сожалею, только...

Но Моррис уже бросился вон.

Салли слышала, как он кричал в лавке. А старик Монти и миссис Баггинс сердито кричали ему что-то в ответ.

В дверях кухни появилась миссис Баггинс.

— А ну, собирайте ваше барахло и выкатывайтесь отсюда,— завизжала она.— Если вы воображаете, что можете, глядя мне в глаза, обзывать меня воровкой, вы очень ошибаетесь, мистер Гауг. Катитесь и прихватывайте свою барыню. Являются сюда

со всякими фанабериями, а потом обвиняют честных людей. Обокрали вас, говорите? И правильно сделали! Так вам и надо! — вот что я вам скажу. Вы сами нас не первый день обворовываете; никогда гроша не платите, а сами золото прячете. Вас давно следовало бы выгнать из лагеря, вот это было бы дело!

— Я только сказал, что у меня украли бумажник. Я же вас ни в чем не подозреваю,— пытался ее успокоить Моррис. Его раздражение сразу стихло перед бурей, обрушившейся ему на голову.— А золота там никакого не было, только немного денег и несколько акций.

— Акций?— завизжала хозяйка.— Так на акции у тебя деньги нашлись? Но мне ты не мог заплатить — весь месяц в долг жрал. Нет, тебе понадобилось тащиться в Кулгарди и приволочь сюда эту девку. Сразу видно, что за птица. Никогда не поверю, что порядочная женщина свяжется с таким жуликом, как ты, Моррис Гауг.

— Оставьте мою жену в покое,— сказал Моррис.

— Да молчи ты! — зарычал на жену старик Монти.— Что она тебе сделала?

— Так их! Задай им хорошенько! — раздался насмешливый мужской голос. Салли сразу узнала его.

Фриско и несколько старателей входили во двор.

— Вон отсюда! — неистовствовала хозяйка, окончательно разъярившись.— И забирай эту потаскушку! А вы, ребята, можете все у меня обыскать, если вы думаете, что я или Монти хоть пальцем притронулись к его паршивому бумажнику. Я не собираюсь защищать того, кто его украл. Можете вздернуть его, коли мне из-за него такая неприятность вышла. А в нашей лавке никогда еще никого не обкрадывали! И вы, ребята, это знаете. Я никого не обижаю, но и себя в обиду не дам. А он, лодырь несчастный, является сюда и скандал устраивает, будто мы виноваты, что у него украли его чертов бумажник. Пусть убирается отсюда подобру-поздорову!

Салли вся дрожала, когда Моррис вошел в пристройку. Он и сам был ошеломлен и пристыжен вспышкой миссис Баггинс.

— Собирайся,— сказал он угрюмо,— мы пойдем в лагерь.

Салли побросала обратно в сундучок те несколько вещей, которые вынула накануне, а Моррис свернул свои одеяла. Она надела плащ и шляпку, взяла в руки саквояж, свертки и вышла во двор, где ярко светило солнце.

Несколько человек стояло во дворе, обсуждая происшествие. Среди них она заметила Фриско и Пэдди Кевана.

— Насчет акций ты не волнуйся, Морри,— заметил один из мужчин.— Тебе только нужно известить компанию, что ты их по-

терял. А мы поспрошаем, кто был здесь сегодня, и, когда поймаем вора, созовем общее собрание.

— А ты где околачивался, Пэдди? — спросил Фриско.

— Ну вот, Фриско! — возмутился тот.— Уж не на меня ли вы думаете? Мы же во время похода были товарищами с Морри, и я бы никогда такой подлости не сделал! И потом, я отводил его лошадей к Кассиди на водопой вчера вечером, и утром меня здесь совсем не было.

— Ну ладно, держи ухо востро и дай нам знать, если что-нибудь услышишь,— сказал Моррис.

Он взялся было за сундучок Салли, чтобы взвалить его на спину, но к нему подбежал Пэдди.

— Нет, уж давайте я, Моррис,— крикнул он.

Моррис передал ему сундучок и облегченно вздохнул. Он пошел вперед, неся свои одеяла и свертки Салли, но тут снова появилась миссис Баггинс.

— А как же насчет того, чтобы со мной расплатиться, перед тем как уйти, мистер Гаут? — крикнула она.— Вы мне должны за обеды и провизию около пятидесяти фунтов.

Моррис остановился и растерянно оглянулся на нее.

— Все мои деньги были в бумажнике,— сказал он.

Салли почувствовала, что ей надо вступиться за мужа.

— Не беспокойтесь, миссис Баггинс, мы вернем вам все, что задолжали,—сказала она.— В жизни моей не было случая, чтобы я осталась должна хотя бы пенни.

Миссис Баггинс насмешливо закудахтала.

— Вот как? — сказала она.— Ну, значит, у вас легкие денежки. Но я хочу получить с вас сейчас.

— Мы не можем дать вам то, чего у нас нет,— сказал Моррис.

Подошел Фриско и вытащил из-за пояса замшевый кошелек.

— Нате, отвесьте себе и заткнитесь! — крикнул он нетерпеливо.

— Наш пострел везде поспел! — захохотала миссис Баггинс.— Желаю вам получить сполна за свои денежки!

Салли вспыхнула, и глаза ее засверкали от гнева. Она рада была, что может наконец повернуться спиной к лавке и к этой злой женщине. Моррис пробирался между палатками и шахтами, направляясь к горам, видневшимся по ту сторону дороги. Но он шел слишком быстро для Салли, и она не поспевала за ним. Тогда она отстала и пошла рядом с Пэдди, который брел, спотыкаясь, с тяжелым сундучком за плечами.

Фриско догнал их, но она не решилась взглянуть на него и только торопливо пробормотала:

— Благодарю вас, мистер де Морфэ. Муж отдаст вам долг при первой возможности.

— Не беспокойтесь об этом, миссис Гауг,— небрежно бросил Фриско.— Будь Морри на моем месте, он сделал бы то же самое. Здесь у нас уж такое правило — если у человека есть золото, а у товарища нет, то нужно поделиться.— Он ушел вперед и присоединился к Моррису.

Салли была ему благодарна за это не меньше, чем за его помощь в сцене с хозяйкой.

Пэдди остановился, чтобы перевести дух, и восторженно посмотрел вслед Фриско.

— Черт, и всегда-то у него золото есть, у этого Фриско,— сказал он с восхищением.— Вот увидите, миссис, когда-нибудь мы с ним будем первыми людьми на приисках!

ГЛАВА XVII

Лагери старателей были разбросаны по всей низине, тянулись они и вдоль горного хребта — на запад, до Большого Боулдера, и на север, за прииск Хэннан, до широких склонов Маунт-Шарлотт. Моррис и Фриско поставили свои палатки у подножия Маританы — крутого утеса, покрытого мелкой колючей порослью и серыми мохнатыми кустами, на которых густо сидели лиловатые цветы. Он высоко вздымал в голубое небо свою голую вершину.

Палатки из пропыленного холста, палатки из сшитых вместе мешков, крытые дерюгой навесы из ржавой жести от керосиновых бидонов, которую прибивали к деревянной раме, шалаши из сухих веток стояли повсюду среди чахлых, низкорослых деревьев с пучком веток у самой верхушки, осененной шапкой темной листвы. Кое-где на невысоких колючих кустах, словно золото, желтели цветы.

Весь день скрипели грохоты, и клубы красной пыли поднимались над участками старателей. Люди ползали по кряжу, словно диковинные неповоротливые насекомые, рылись в земле, все глубже вгрызаясь в ее недра. Скрип лебедок, громыхание камней и глухой стук земли, выбрасываемой из канав, нарушали таинственную тишину пустынных равнин. Время от времени кто-нибудь из старателей окликал товарища, и его голос звенел в чистом воздухе, как обрывок песни. В безоблачной синеве неба зловеще и мрачно каркала ворона, напоминая каждому о долгом знойном лете, когда она будет клевать кости людей, погибших от жажды там, за горизонтом, среди зарослей акации.

По ночам бывало еще очень холодно. И от этого резкого сухого холода звезды сверкали, как алмазы, а Салли пораньше забиралась в постель. Утром, когда она вставала чуть свет, чтобы развести костер и приготовить Моррису завтрак, иней плотным слоем лежал на земле. Часа через два яркое солнце уже согревало ее; однако случалось, что ледяной ветер дул над равниной весь день и ночью проникал в палатку, и тогда Салли, стуча зубами от холода, плотнее куталась в одеяло.

Но Моррису она говорила, что ей нравится жить в палатке. Это гораздо приятнее, чем содержать пансион и целый день прибирать, скрести, стряпать и мыть посуду. Каким унылым казалось ей теперь это занятие! Ведь когда живешь в палатке, дела, в сущности, очень немного: чуть-чуть навести чистоту и порядок — и все. Стряпать на очаге нетрудно, и ничего не стоит подмести землю вокруг своего жилища веником из веток, когда хорошая погода.

Конечно, в такой жизни были и свои недостатки: ни умывальника, ни комода, ни уборной. Приходилось забираться в заросли и там по-кошачьи сгребать песок. Целый день мимо палатки проходили мужчины. Моррис предостерегал ее, чтобы она осторожнее мылась и переодевалась, особенно по вечерам, когда керосиновый фонарь отбрасывал на холщовую стену отчетливые тени. Еще хорошо, что зима затянулась. Пыль, муравьи и мухи пока не слишком осложняли жизнь. Днем ослепительное солнце сверкало в синем небе, а вот ночью было холодно.

Пламя весело трещало, охватывая хворост, который Салли набирала с вечера и складывала в жестяной ящик, чтобы утром разжечь костер, хотя она зачастую находила еще тлеющую головешку. А тогда только и нужно было, что сгрести золу и угли и наложить сверху сухих сучьев. Приятно было греться у яркого пламени, вдыхать благовонный дым, поднимавшийся в чистом утреннем воздухе, и слушать, как перекликаются птицы. Подогревая вчерашние лепешки, помешивая кашу, поворачивая на сковородке шипящие ломтики сала, она с гордостью думала о том, что вот она может накормить Морриса сытным завтраком перед его уходом на работу. В полдень она готовила обед, а вечером — ужин.

Моррис шутил, что она способна творить чудеса при помощи банки мясных консервов, пары луковиц и кусочка сала. Свежее мясо было здесь роскошью, овощи, даже в консервах,— редким продуктом, но Салли, как уверял Моррис, ухитрялась приготовлять вкусный суп или ароматное рагу из чего угодно. Она так и не набралась мужества, чтобы отправиться в лавку к Баггипсам, но нередко ходила в другую лавку за покупками: бутылочка

томатного соуса или маленькая жестянка с сушеными кореньями была бесценным сокровищем.

Моррис хвастал, что он лучше печет лепешки. И Салли не отрицала этого. Лепешки у Морриса выходили такие легкие и румяные, точно из булочной. Ей пришлось поучиться у него, как замешивать муку на воде, как месить тесто руками, быстро раскатать лепешку и сажать в большой черный горшок, служивший ей печью, насыпав на крышку немного тлеющих угольков. Фриско по привычке завтракал и обедал с Моррисом, но ужинать уходил в столовую Баггинсов.

Дни протекали легко, беззаботно, спешить было некуда, всякое дело делалось неторопливо, как будто все это не имело особого значения, да так оно и было — лишь бы попадалось золото и достаточно было воды и припасов.

Салли предоставила Моррису заботиться об этом. Она точно погрузилась в сладостный, безмятежный сон, часами сидела неподвижно, глядя в небо или наблюдая за людьми, работавшими на склонах хребта.

Она была поражена тем, как Моррис научился работать. Взяв кайло и заступ, он уходил чуть свет и возвращался с участка под вечер, весь покрытый красной пылью. Ему было все равно, что одежда его грязна и уже износилась, что он меняет белье только раз в неделю.

Салли начала по-новому относиться к мужу: она прониклась к нему уважением, и это чувство было глубже, чем та страстная любовь, которая когда-то толкнула их друг к другу. Она почти простила ему, что он так надолго бросил ее, когда увидела, как он живет. Даже его легкомысленное отношение к деньгам уже меньше возмущало ее. Казалось, так и должно быть в жизни старателя, в которой нет ничего, кроме голой борьбы за существование и охоты за золотом. Теперь она лучше понимала и эту жажду золота, которой здесь были одержимы все.

Золото, золото, золото!

Никто ни о чем другом не говорил. Ни о чем другом не думал. Золото было средоточием всех их усилий. От него зависела жизнь этой человеческой общины. Каждый грезил о сказочном богатстве, которое однажды дастся ему в руки. Все золотоискатели трудились в поте лица своего, недосыпали и недоедали, но не могли отказаться от надежды на золото и счастливое будущее. И только вороны предостерегающе каркали в эти ясные весенние дни.

Те, кто понимал вороний крик, ненавидели их. Унк Трегурта — старый корнваллиец, который однажды чуть не погиб в зарослях и потерял в пути своего товарища,— видеть не мог этих

зловещих птиц; он хватался за ружье и стрелял по ним, как только они слетали с деревьев, чтобы поклевать отбросы возле его палатки.

По мере того как солнечные дни с ясными морозными ночами тянулись непрерывной чередой, люди все чаще с тревогой поглядывали на безоблачное небо. Необходим был дождь. Прошлым летом, говорил Моррис, в Хэннане было очень туго с водой; а сейчас каждую неделю сотни старателей, перекупщиков и дельцов с лошадьми и верблюдами приезжают на прииски, и если не будет хорошего дождя, вопрос о воде станет очень остро.

Целых два дня ледяной ветер гнал над равниной клочковатые грязно-серые тучи. На третий — разразился ливень. Старатели ликовали, плясали от радости, хохотали и кричали как одержимые. Но как стряпать на открытом очаге под дождем — Салли не знала.

Фриско устроил над огнем навес, на который пошла жесть от нескольких керосиновых бидонов, а позади очага поставил лист гофрированного железа, чтобы защитить пламя от ветра. Где он раздобыл это железо, никто не знал. В то время гофрированное железо было в Хэннане чуть ли не такой же драгоценностью, как и золото. Просто удивительно, как Фриско всегда умел достать, что ему нужно.

— Выпросить, занять или украсть — для меня все одно, мэм, лишь бы я получил, что мне нужно,— весело пояснил он.

Салли отнесла кастрюльки с едой в палатку, и они с Моррисом пообедали, не снимая пальто. Время от времени к ним заглядывали проходившие мимо старатели, чтобы поделиться радостью по поводу ливня. Промокшие до нитки, но веселые и возбужденные, они предсказывали, что сезон будет удачный и что жителей в Хэннане будет со временем не меньше, чем в Кулгарди.

Дождь шел всю ночь, и, свернувшись калачиком под одеялом из шкурок опоссума, Салли прислушивалась, как вода хлещет по крыше палатки и струйками просачивается внутрь. Но ей было тепло и уютно, а Моррис мирно похрапывал рядом с ней. Салли дивилась, почему она чувствует себя такой счастливой и довольной. Будет ли ей еще когда-нибудь так хорошо, даже если участок Морриса и Фриско будет продан и они разбогатеют и навсегда избавятся от нужды?

В этой первобытной жизни не все, конечно, было сладко. Салли не обманывала себя на этот счет. Но пока что она охотно принимала эту жизнь, как она есть, и не заглядывала в будущее. Беспокоило ее только то обстоятельство, что Моррис до сих пор ничего не узнал о своем бумажнике, и она понятия не имела, на какие деньги они живут. Разумеется, Фриско делился с ним всем

тем золотом, которое давал их участок, но Моррис сам говорил, что это очень немного. Они решили либо продать участок, либо раздобыть денег, чтобы купить машинное оборудование. Другие приски — Кассиди и Маритана, Мидас, Крез, Лейк-Вью и Стар — процветали, и ходили сенсационные слухи о залежах в Большом Боулдере.

Но какой смысл волноваться и загадывать? Надо жить так, как живут в лагере все золотоискатели: словно птицы, которые находят корм где придется и не заботятся о завтрашнем дне. И единственное, что требуется от человека,— это не падать духом и мириться с тем, что приносит сегодняшний день. Салли подумала, что она, быть может, с излишней легкостью принимает все это.

К утру дождь кончился. На красной земле сверкали лужи. Сапоги мужчин были облеплены грязью и одежда забрызгана. Повсюду — на кустах, на подпорках палаток,— сохли одеяла, штаны и рубашки. В жарких солнечных лучах от них шел пар. Но старателям мало было этого дождя, и они с досадой следили за тем, как ветер уносит облака в глубь страны.

— Хорошее утро для поисков! — заметил Моррис, указывая на людей, которые ползали по склонам хребта и в низине.

— Я тоже пойду поищу,— сказала Салли.

Она не раз видела в Южном Кресте, как после дождя женщины и дети ищут на земле мелкие самородки. В обычное время ненаметанному глазу трудно отличить кусочки золота от осколков железняка и песчаника, разбросанных по земле. Но дождь смывает пыль, и в такое утро, как сегодня, каждый может увидеть блеск золота.

Салли не повезло, и она винила в этом кукушку. Протяжное печальное кукованье доносилось из дальних зарослей, словно кукушка опять призывала дождь. «Дождевая птица» звали ее старатели, и Салли выслеживала ее в кустах, надеясь хоть издали увидеть подружку своих детских лет. Всего в нескольких шагах от утоптанной земли вокруг лагеря чаща становилась почти непроходимой. То там, то здесь стройный эвкалипт с корой, покрытой коралловыми пятнами, высился среди карликовых сандаловых деревьев и серолистной акации.

Лужайки яркой травы зеленели на красной земле, и колючий кустарник был весь усыпан желтыми махровыми цветами. Стайки маленьких зеленых попугаев перелетали с ветки на ветку с нежным и звонким щебетанием. Мухоловки с красивым черным и белым оперением бешено носились среди кустов, распуская хвост и клювом хватая мошкару. Трудно было шарить глазами по земле в это утро, когда чаща переливала всеми красками, звенела веселыми птичьими голосами.

Однако Салли все-таки пыталась найти самородок, хотя бы самый крошечный, чтобы принести его Моррису. Но вместо этого она набрала большой букет цветов и вернулась в лагерь.

— Посмотри,— воскликнула она радостно, когда Моррис в полдень пришел домой,— вот сколько золота я принесла!

Пэдди Кеван нашел десять унций золота в двух шагах от лагеря, сообщил ей Моррис.

— Вот чертенок,— проворчал он.— Уже не первый раз он находит жирный кусочек. Но что он делает с этим золотом — вот что я хотел бы знать. Никогда даже рубашки целой нет на нем, и вечно клянчит, чтобы ему дали поесть.

— Этот мальчишка — большой пройдоха,— смеясь, заметил Фриско.— Помяни мое слово: не сегодня-завтра он всех нас купит и продаст.

Каждый вечер старатели заходили поболтать с Фриско и Моррисом у лагерного костра. И Салли больше всего на свете любила сидеть на ящике перед огнем и слушать эти вечерние разговоры. Блики огня скользили по худым мускулистым фигурам старателей. Они стояли кучками в запачканной землей и обтрепанной одежде, в рваной обуви, непринужденно куря и болтая, либо усаживались на ящики или прямо на землю. Багровый свет озарял их лица — медно-красные от загара, толстощекие, бородатые или бронзовые, худые, с обострившимися чертами. Там из сумрака выступал чей-то нос, здесь — прядь поседевших волос, смеющиеся губы в трещинах от местной болезни «барку», смуглые крепкие руки, узловатые пальцы, горящие глаза.

Поверх ситцевых рубашек или серых фуфаек были накинуты пиджаки или жилеты; иногда рубашек было две или три, заправленных в поношенные и вылинявшие бумажные штаны или рваные суконные брюки. На поясе висел замшевый кошелек для денег или золотого песка, жестяная коробка со спичками или огнивом, и если старатель в эту минуту не курил, то за пояс бывала засунута и трубка. Потертую фетровую шляпу старатель редко снимал с головы: ничто так не греет мозги зимой и не защищает летом от солнца, как старая фетровая шляпа, уверял Фриско.

— Я слышал, будто вся дорога за Южным Крестом забита повозками,— замечал кто-нибудь.

Другие голоса подхватывали:

— Там не было дождя. Может быть, только на той неделе их краешком задела гроза. В «Сибирь» привозят воду на верблюдах за пятьдесят миль.

— Ходят слухи, что есть заявка на участок в сторону Лейк-Кери за двести миль от старого лагеря. Кругом очень густые заросли. Воды ни капли. Один из товарищей Билла Короля там

умер. И туземцы там свирепые — закололи лошадей Сэнди Мака. А сам он с товарищем чуть не погиб. Три дня без воды были. Их случайно спас караван верблюдов, который и доставил их на Девяностую Милю.

— А что это говорят, будто на старой Кулгардийской дороге сгорела гостиница Гобсона — сейчас же после того, как охрана с золотом уехала?

— Это верно.

— Вот кое-кто себе локти кусает!

— А вы слышали — Кассиди-Хилл продан в Лондоне за семь тысяч фунтов.

— Чему же тут удивляться: лорд Фингал дает за Лондондерри сто восемьдесят тысяч.

— Чарли де Роз говорит, что на рудниках Лейк-Вью и Айвенго скоро начнут работать.

— Ну, им пришлось повозиться. Нелегко было доставить оборудование из Южного Креста. Они пригнали из Аделаиды целую упряжку волов. Дорога была закрыта из-за нехватки воды. Чарли пришлось обеспечивать им корма и воду на всем пути.

— А теперь он злится, что горняки тоже есть хотят!

— Еще бы! Мы потребовали повышения заработной платы на десять шиллингов в неделю и забастовали. Как вы думаете, справедливо это — платить три фунта десять шиллингов за работу под землей? Да еще при здешних ценах на воду и продовольствие, правда, Сэм?

— Меня, Тед, не спрашивай. Тупая Кирка и я — мы не нанимаемся. Чтобы мы за какие-нибудь четыре фунта да пошли работать в чужом руднике...

— Сразу видно, что тебе не нужно жену и детей кормить.

— Пока еще нет, но разве угадаешь, когда Тупая Кирка попросит Джиглди Джен назначить день свадьбы?

Взрыв хохота заглушает брань Кирки.

Так льются неторопливо дружеские речи, иногда переходя в горячий спор. Но вот костер гаснет, голоса умолкают, и старатели отправляются в трактир или, решив, что пора ложиться спать, расходятся по своим палаткам.

ГЛАВА XVIII

Среди людей, работавших по добыче россыпного золота, а также горняков на руднике Кассиди и в открытых карьерах на Маритане, Салли знала многих. Проходя мимо или усаживаясь в кругу возле костра, они застенчиво и почтительно говорили ей: «Добрый вечер, миссис».

Тут были Эли Нанкэрроу и его напарник Поп Ярн, Сэм Маллет, Браун — Тупая Кирка, Доу Динамит, Янки Ботерол, Томсон Верблюд, Дэн О'Салливан — Плясун и Тэсси Риган, а также Большой Джим, возчик из Квинсленда, его товарищ Клери Мак-Клерен и Унк Трегурта, старый корнваллиец с квадратной бахромой бороды.

Эли и Поп Ярн были тоже корнваллийцы; умные, сдержанные люди, владевшие хорошим участком на Браун-Хилл. У себя на родине Поп Ярн был проповедником.— Пока не спился,— пояснял Унк. Эли помог ему в беде и вывез сюда, в Австралию. Их редко видели порознь. Но на приисках все корнваллийцы всегда держались вместе.

У Сэма Маллета было знаменитое имя. Когда он напивался, он считал своим долгом напомнить всем и каждому, что его зовут Сэмюэл Вордсворт; Сэм был крепкий и серьезный коротышка, не склонный к безрассудству и отнюдь не болтливый. Обычно он казался погруженным в глубокое раздумье, а если говорил, то всегда что-нибудь дельное. Тупая Кирка — его товарищ,— наоборот, болтал за двоих. Это был тощий, энергичный костлявый человек с резким, визгливым голосом, одним глазом и сломанным носом. Тупая кирка спасла ему жизнь — обычно пояснял он. Однажды во время драки его чуть не убили, ударив киркой, но так как была она тупая, то лишь размозжила его красивый нос. И он глубоко благодарен этой кирке. Никто, видимо, не интересовался его настоящим именем.

Дэн О'Салливан, рослый ирландец с румяным загорелым лицом, хвастливый и жизнерадостный, постоянно сновал между своей палаткой и участком и всегда приносил сенсационные новости. Томсон Верблюд двигался медленно, он был неуклюж и необщителен, а особый блеск его стальных глаз говорил о том, что он справится с любым верблюдом и выдержал не одну разведку в безводной местности, где другие люди погибли бы. Янки Ботерол напоминал американского индейца — высокий, красивый, темноглазый, с гладкими черными волосами. Однако, по его словам, он воевал под началом полковника Коди против индейцев. Он был раньше цирковым наездником, а сестра его жила в монастыре. Они с Фриско знали друг друга давным-давно и работали вместе на других приисках; теперь напарником Ботерола был Тедди Доу, и они успешно добывали золото на своем участке к югу от Кассиди.

Состав людей постоянно менялся: одни возвращались из разведки, другие уходили в поход за сотни миль. Некоторые, подобно Эли Нанкэрроу и Попу Ярну, Сэму Маллету и Тупой Кирке,

занялись промышленной разработкой участков и были довольны своей добычей на Хэннане.

Сэм и Тупая Кирка никак не хотели примириться с тем обстоятельством, что они могли бы иметь доходный участок на кряже, если бы вели разведку именно там, вместо того чтобы уйти на Маунт-Юл. И Тупая Кирка без конца рассказывал об этом.

— Две-три сотни ребят, в том числе и я, с повозками и продовольствием отправились искать золотые горы и ушли от самого лучшего участка в стране,— охал он.— В первую ночь мы расположились лагерем у подножия холма на Девяностой Миле. Том Фленниган, Пэдди Хэннан и Дэн Ши догнали нас и принялись расспрашивать о подробностях похода. Они были на разведке и вернулись в Кулгарди на другой день после того, как мы ушли. Они забрали четырех лошадей, пасшихся в зарослях, и прискакали следом за нами. Они-то себе не натерли ног. А потом поехали впереди. День-два спустя мы расположились в низине и вечером сели перекинуться в картишки, когда Пэдди вернулся. Сказал, что у него лопнул мех для воды и что товарищам нечего пить. А он едет на Девяностую Милю, чтобы набрать воды. Мы двинулись вперед, даже не подозревая о том, что произошло. Дэн Ши рассказывал потом, что Фленниган нашел первый самородок возле Маунт-Шарлотт — очень небольшой — и несколько хороших образцов.

Дэн заявил, что ему нравится эта местность. «Помяни мое слово, в таких горах, похожих на сахарную голову, всегда есть золото»,— сказал он Пэдди Хэннану. Они решили остановиться здесь и произвести разведку. Фленниган и Пэдди Хэннан пошли искать воду и в нескольких милях набрели на мочажину, но в ней было не больше кварты воды. Тогда Пэдди поехал обратно в сторону Кулгарди, но в эту ночь пошел дождь, и когда на другое утро Пэдди вернулся в лагерь, Фленниган показал ему целую горсть золота, найденную им в лощинке возле Маританы.

— «И там еще очень много осталось»,— сказал он. Он забросал это место ветками и не стал копать дальше, чтобы не вызвать подозрений. В низине оставался еще кое-кто из наших, я и Сэм в том числе. Но нам и на ум не пришло, почему это Пэдди и его товарищи не спешат уходить отсюда.

Они приступили к работе, только когда мы скрылись из виду. Передвинули свой лагерь и застолбили участок на три человека. Они сразу же взяли девяносто четыре унции. Потом пошло продувание и просеивание песка. Пэдди Хэннан уехал, чтобы сделать заявку. Пока он отсутствовал, его товарищи взяли еще сотню унций. А в то время мы-то с Сэмом из сил выбивались, чтобы скорее добраться до Маунт-Юла. Мы ничего не нашли во время этой

разведки, а на обратном пути до нас дошел слушок о находке Пэдди Хэннана. Господи боже мой, как же мы злились! Ведь мы упустили счастье всей нашей жизни, оттого что не догадались повести разведку вдоль хребта раньше, чем Пэдди Хэннан и его товарищи застолбили этот участок.

— Есть такие парни, которым всегда везет,— печально заметил Сэм.

— При чем тут везение? — заметил Большой Джим.— Просто они хорошие старатели, а вы — плохие. Не умеете глядеть себе под ноги.

Тупая Кирка кивнул.

— Да, что и говорить, прозевали. Все-таки некоторым парням везет — идут да и споткнутся о самородок, а хороший старатель через него перешагнет и не заметит.

— А вот был такой случай,— раздался ленивый голос Клери Мак-Клерена, задумчиво попыхивающего трубкой.— Джек Мор и его товарищ вырыли шахту и вложили черт знает сколько труда в разработку пласта. Но ничего путного не нашли. Они выдернули колышки и бросили участок. Месяца через два является какой-то старый хрыч, кладет на землю свою поклажу, начинает кипятить воду в котелке и вдруг замечает — что-то поблескивает в большом камне, которым Джек загораживал очаг. Он трахнул по камню и видит: есть! Горит, как огонь. Предъявил образцы, организовал синдикат. Синдикат получил право на разработку, а потом продал участок за восемьдесят тысяч фунтов.

— Вот это да!

— Надо же такое дело!

— Золото — оно капризное!

Каждый легко мог представить себе и обиду Джека Мора и ликование старого хрыча.

— Я не говорю, что счастье тут не играет роли,— согласился Большой Джим.— Но я утверждаю, что хороший старатель рано или поздно найдет золото, надо только как следует искать и не бросать участок, если сразу не находишь.

— Где оно есть, там оно есть,— уныло заявил Унк.— А где оно есть, там меня нет.

Смех мужчин далеко разнесся по озаренным звездным светом равнинам. Их голоса звучали хрипло, насмешливо, с хвастливым добродушием:

— Не вешай нос, Унк!

— Ты еще найдешь!

— Еще успеешь богачом сделаться до смерти!

— Так же, как и мы!

Билл Иегосафат вернулся из Курналпи с сенсационными новостями об общем собрании старателей.

— Был там один жулик, Уинтерботом, у него был участок возле Лощины Мертона,— рассказывал Билл.— А товарищем у него был молодой паренек Джонни Буйвол. Дела шли у них не больно хорошо, а уговор был — все делить пополам. И вот этот жулик тайком продал золото лавочнику, получил от него восемьдесят фунтов за один самородок и отправил деньги жене в Аделаиду. А потом заявляет Буйволу, что решил бросить этот участок, так как толку с него никакого, и берет себе нового напарника.

Билл сделал паузу, чтоб перевести дыхание, а также ради драматического эффекта; затем отвернулся, высморкался с помощью пальцев и отер нос волосатой рукой.

— Лавочник почуял неладное. И рассказал Буйволу про самородок. Буйвол, конечно, спрашивает Уинтерботома, и эта старая лисица заявила ему, что он-де лодырничает на работе и потому ему ничего не причитается из денег, полученных за самородок.

Слушатели дружно выразили свое негодование. Это было тяжкое преступление. Оно нарушало основной принцип золотых приисков — принцип товарищества.

На Курналпи сейчас около двух тысяч человек, и если бы вы видели, сколько народу повалило на собрание, услышав, что бьют в тазы! Ребята прямо взбесились, когда узнали историю с Буйволом.

Ну ладно, выбрали судью, а сами были присяжными, как всегда. Уинтерботома поставили в повозку, а на шею надели петлю и конец перекинули через перила на веранде лавки. Некоторые были так разъярены, что чуть не удавили Бэма этой веревкой, когда он заявил, что не признает себя виновным. Лавочник и тот парень, которого Бэм уговаривал работать с ним, дали свидетельские показания. Судья все это подытожил и спросил ребят, какой они вынесут приговор.

«Виновен!»

«Виновен, дьявол его возьми!» — заорали мы. И все подняли руки, голосуя. А особенно горячие парни кричали:

«Повесить его!»

«Повесить негодяя!»

Святой Иегосафат! Я никогда не видел, чтобы люди на общем собрании так горячились! Они бросились к повозке, в которой стоял Уинтерботом, и если бы им удалось схватить его, они наверняка бы его задушили. А он трясся с головы до ног. На себя стал непохож, бледен, как привидение. Несдобровать бы ему, если бы мы не окружили повозку и не заставили ребят одуматься.

Ну, сначала немного поработали кулаками, а потом Эд Джошуа и Джонни Маршалл встали и начали уговаривать старателей. «Ведь никогда еще,— сказали они,— на этом прииске не было самосуда. Мы, старатели, всегда гордились тем, что блюдем справедливость. Мы не хотим, чтобы о Курналпи пошла дурная слава». Немного погодя народ успокоился. Было постановлено, чтобы Уинтерботом отдал Буйволу то, что ему полагалось. Затем парни выпроводили его из лагеря, снабдив водой и пищей на сутки, и так орали и свистели ему вслед, что за несколько миль было слышно.

— Пусть теперь кто-нибудь в Курналпи посмеет надуть своего товарища,— сказал Билл, усмехаясь.

Он намеревался поехать в Кулгарди, чтобы купить верблюдов и вместе в Крупинкой отправиться на юго-восток от Курналпи; но не успели они пуститься в путь, как лагерь забурлил — всюду шли разговоры о том, что Джек Дан нашел новые месторождения в пятнадцати милях к северо-западу от Сорок Пятой Мили.

— Говорят — богатое, как на Лондондерри,— закончил Билл.— Золотые самородки так везде и лезут из земли.

Они с Крупинкой решили идти по следам Дана. Уложили свои пожитки и отправились закупать припасы. Большой Джим и Клери Мак-Клерен побежали в заросли ловить своих верблюдов. Джеймс, Динамит и с десяток других бастующих шахтеров не теряя времени сложили вещи и приготовились следовать за Крупинкой и Биллом. Моррис горел желанием присоединиться к походу, но Фриско был против. Ведь не успеем мы дойти, говорил Фриско, как все уже будет занято на много миль вокруг, а нам нужно сохранить свой участок. Теперь вошло в моду с налета захватывать чужие участки. Инспектор Финнерти уже разбирал сотни подобных дел, а участок на Хэннане будет стоить больше, чем какая-то яма, вырытая во время этой горячки.

Через два-три дня дошли слухи о волнениях на участке Дана. Будто бы, когда старатели, искавшие россыпное золото, явились на участок Джека Дана, тот даже стрелял в них, а потом призвал солдат, чтобы они охраняли его собственность.

— И что этот Джек Дан о себе воображает! — возмущались старатели.— Разве он не знает законов? Каждый старатель, добывающий россыпное золото, имеет право застолбить участок в двадцати футах от жилы.

Эли сплюнул и задумчиво затянулся табачным дымом.

— Но если кто-нибудь начал ковырять жилу, как утверждает солдат Райен, то Джек Дан был в своем праве, выгоняя их. Ей-

богу, если бы они тронули жилу в моей шахте, я бы тоже угостил их свинцом, хотя Ярн, черт бы его побрал, и испортил мне ружье.

— Все это так,— возразил Тупая Кирка.— Но почему Джеку Дану понадобилось впутывать полицию в наши старательские дела? Надо было созвать собрание, оно бы все рассудило, и Джек получил бы то, что ему следует.

Иногда Фриско приносил свою большую гитару со стальными струнами и громко затягивал какую-нибудь популярную песню. Остальные подхватывали, присоединяясь один за другим, и их голоса звучали хрипло, грубо и заунывно или с залихватской удалью. Кто-нибудь просил Мэллоки О'Дуайра спеть «Балладу о зеленом цвете». Поп Ярн исполнял «Соберемся у реки», и каждый, как мог, подтягивал. Иной раз Эли прерывал наступавшее затем молчание комическими куплетами, которые он пел своим разбитым фальцетом, или Фриско мурлыкал бесконечную мексиканскую песенку с веселым припевом. Он пел и непристойные песенки, и арии из опер, извлекая совершенно невозможные звуки из своей гитары.

Бренчанье Фриско на гитаре доводило Морриса до бешенства. Больше всего на свете его раздражало, когда Фриско, усевшись и разыгрывая из себя доброго малого, перебирал струны своего инструмента и хвастливо уверял, что объехал с ним вокруг света.

— Но, Моррис,— возражала Салли,— ведь очень приятно иногда послушать музыку у лагерного костра.

— Музыку? — рычал Моррис.— Ты называешь это безобразие музыкой? Мне убить его хочется, когда я слышу его пение.

— Да ведь людям нравится,— смеялась Салли,— и мне тоже.

А Моррис едва сдерживался, слушая душераздирающие диссонансы Фриско, который дергал струны как попало и, фальшивя, распевал во все горло. Негодование Морриса еще усиливалось оттого, что Салли нравилось пенье Фриско, она хлопала в ладоши, подпевая, и смеялась любой его шутке. Не одобрял также Моррис и ее привычки, разговаривая с людьми, называть их по прозвищам, снисходить до шутливой болтовни. А они уже не стеснялись ее и тоже болтали всякий вздор, называя ее «маленькая миссис» или «миссис Салли».

— Ты не должна допускать фамильярности с людьми здесь на приисках,— выговаривал он ей раздраженно после одного из вечеров, когда они пели хором у костра.

— Фамильярности? — Салли удивленно подняла брови.— Скажи, пожалуйста, что ты разумеешь под этим, Моррис?

— Ну,— замялся Моррис, которому было довольно трудно объяснить, что именно он имеет в виду.— Не нужно так свободно держаться.

Глаза Салли вспыхнули, и она пристально посмотрела на него.

— Значит, я держусь слишком свободно?

— Ты называешь людей по их прозвищам,— отозвался Моррис смущенно.

— Но я же не знаю их настоящих имен. Я знаю только те, которыми ты их обычно называешь, Моррис. Например, Поп Ярп. Как его настоящее имя?

— Да и я не знаю,— ворчливо признался Моррис.— Но это неприлично, что ты поешь и улыбаешься и...

— Неприлично петь и улыбаться? — спросила Салли.

— Ну, быть такой веселой с мужчинами,— добавил Моррис.— Ведь здесь золотой прииск. Да, да, и очень скоро твоя репутация будет испорчена!

— Моя репутация? — Глаза Салли засверкали от гнева.— Ты бы лучше о своей репутации заботился побольше, Моррис.

— Салли! — воскликнул Моррис, обиженный и растерянный.

— Дорогой мой,— и Салли тут же улыбнулась своей самой пленительной улыбкой,— прости меня, но не говори мне больше насчет фамильярности. Мы должны жить здесь в ладу с людьми, относиться к ним так же ласково и дружелюбно, как они к нам. А что касается поведения, то, право же, Моррис, тебе незачем учить меня, как нужно себя вести.

ГЛАВА XIX

Вокруг лагеря постоянно бродили туземцы, едва прикрытые рваной одеждой с чужого плеча, в старых штанах и рубашках, в поношенных фетровых шляпах, худые, изможденные, с воспаленными, больными глазами. Они сидели на корточках в пыли перед бакалейной лавкой или мясной, выпрашивали пищу и табак, ждали, не перепадет ли случайная работа, нанимались в проводники к старателям. Моррис предупреждал Салли, чтобы она не приучала кочевников приходить к ней за пищей или одеждой.

— Стоит дать им что-нибудь хоть раз, и ты уже не отделаешься от них,— говорил он и сердито прогонял туземцев, если заставал их возле своей палатки.

В конце месяца из зарослей пришло целое племя. Мужчины и женщины в одних набедренных повязках из волос или меха. Они стояли маленькими группами, с любопытством оглядываясь по сторонам, или расхаживали по лагерю, как хозяева этой земли. Удивленно и насмешливо наблюдали они, как белые люди пол-

зают по горному хребту, копаются и роются в земле, точно большие крысы. Они хихикали, перекликались резкими птичьими голосами. А на закате они ушли обратно в чащу и расположились лагерем возле одного из соленых озер.

В тот вечер Салли услышала веселый и певучий смех туземной девушки возле костра Фриско и увидела тонкую темную фигурку, двигавшуюся в свете пламени.

На другое утро та же девушка мылась позади его палатки. С бессознательной грацией и простодушием дикарки она у всех на виду стояла в одном из тазов для промывания золота.

— Фриско дал пахучее мыло. Велел мыться,— радостно пояснила она, покрывая мыльной пеной тело и волосы.

Никогда Салли не видела такой привлекательной туземной девушки. Стройное темное тело с крепкой точеной грудью напоминало бронзовую статуэтку. У девушки были чудесные карие глаза, но черты лица грубоватые и губы слишком толстые и бледные. Намылившись с ног до головы, она вылезла из таза, подняла его и вылила воду на себя.

В это время, весело насвистывая, появился Сэм Маллет — он направлялся на свой участок позднее обычного. Салли отошла за палатку. Но Сэм едва взглянул на девушку, хотя и крикнул ей:

— Мойся, мойся хорошенько, Маритана.

— Мойся, мойся хорошенько, Маритана,— так же весело повторила она.

Девушка стряхнула воду с волос и принялась расхаживать на солнышке, чтобы обсушиться. Затем ушла в палатку и через несколько минут появилась снова в старой белой рубашке Фриско; вокруг бедер она обернула кусок материи с красным и желтым узором, а на шее блестели две нитки стеклянных бус.

Когда Салли стала убирать постели, она увидела девушку у входа в свою палатку. Босая, с веселыми искрящимися глазами, она скорее напоминала мексиканку или испанку, чем обитательницу кустарниковой чащи. Салли приветливо улыбнулась ей, и весь день девушка не отходила от нее, то и дело издавая удивленные восклицания при виде странных обычаев белой женщины и засыпая Салли вопросами на ломаном английском языке.

— Кто эта девушка из палатки Фриско? — спросила Салли Морриса, когда он вечером вернулся с работы.

— Маритана,— пробурчал Моррис.— Он клянется, что она метиска.

— Маритана? — Салли усмехнулась. Вероятно, вот почему мистер Фриско Джо Мэрфи пел с таким ироническим пафосом: «О Маритана, дикий цветок».

— Конечно, это вранье. Она туземка,— сказал Моррис.

— Но она не похожа на здешних женщин,— заметила Салли.— Цвет кожи у нее светлее и взгляд осмысленнее.

— Вздор! — сердито крикнул Моррис.— Маритана — обыкновенная кочевница, и никого Фриско не убедит, будто это не так. А досталась она ему обычным путем.

— А именно?

— В первую ночь, когда мы здесь поставили палатки, неподалеку было кочевье туземцев. Они прислали к нам двух девушек. Фриско решил оставить одну из них, а другую отправил обратно, подарив ей пачку табаку и жестянку с вареньем. Девушка, которую выбрал Фриско, была еще очень молода и пуглива, она начала кусаться и царапаться, как дикая кошка, и в конце концов убежала. Вот почему он и назвал ее Маританой. Кочевники посылали других девушек, но они Фриско не понравились. Старатели стали дразнить его этой маленькой мегерой и назвали месторождение ее именем, чтобы позлить его.

Через месяц Маритана пришла снова. Вероятно — подчиняясь воле своего племени. Ее отец и будущий муж имели свидание с Фриско. За право оставить ее у себя он подарил им несколько бутылок вина и две пачки табаку. Однако нужно отдать ему справедливость, Фриско обращался с ней хорошо, кормил ее и одевал в яркие платья, как цыганку. Некоторое время ей, по-видимому, нравилась такая жизнь, а потом она убежала в чащу, перепачкала свои платья и раздарила все бусы. Теперь она приходит и уходит, когда ей вздумается. Но он требует, чтобы она оставляла свою одежду и все эти стекляшки, когда она убегает к своим, а когда возвращается, она должна вымыться и надеть на себя платье.

Все же Моррис негодовал на Фриско за то, что тот держит Маритану в лагере, когда бок о бок живет миссис Гауг. Эта беззастенчивая, открытая связь с туземкой казалась Моррису оскорбительной для белой женщины, и он запрещал Салли всякие сношения с Маританой.

— Ты должна игнорировать ее... и Фриско тоже,— сказал Моррис.

— Как же это сделать? — возразила Салли.— Девушка ни в чем не виновата, и я не могу быть с ней груба, когда она приходит ко мне из чащи, как дикий зверек. А что касается мистера Мэрфи, то мы, вероятно, все еще у него в долгу?

— Пожалуйста, перестань пилить меня,— проворчал Моррис.

— Если мы у него в долгу, то мы не можем игнорировать его,— настаивала Салли.— Только, Моррис, не пойми меня превратно. Я не меньше тебя осуждаю такое отношение наших мужчин к туземным девушкам.

— Уж в этом ты никогда не сможешь упрекнуть меня,— заверил ее Моррис.— Туземки грязны, от них скверно пахнет, хотя в молодости некоторые из них довольно недурны. Не понимаю, как можно иметь дело с этими дикарками. Но хуже всего то, что есть негодяи, которые похищают этих женщин и насилуют их, а другим белым приходится платиться за чужую вину.

Салли это знала. Ее радовала уверенность, что Моррис никогда не имел дело с туземками: они претили ему. Моррис и раньше рассказывал ей о том, что столкновения между старателями и кочевниками чаще всего происходят оттого, что белые совращают их женщин.

Не потому, чтобы туземцы с неохотой одалживали своих жен белым людям. Но им не нравилось, когда женщин задерживали в лагере, а их сородичам, считавшим, что они в таком случае имеют право на разные блага, не удавалось этими благами попользоваться. Если туземцы в отместку перед утром нападали на лагери старателей и осыпали их дождем копий, белые отвечали им стрельбой из ружей и проливали кровь туземцев. Тогда начиналась кровавая вражда. Кочевники считали, что все белые принадлежат к одному и тому же племени и отвечают за преступление, совершенное любым членом племени. Таков был их закон — единственный закон, известный им: око за око, зуб за зуб!

В тех местностях, где кочевники были настроены враждебно, они иногда засылали своих девушек в лагерь белых как приманку. Некоторые старатели не могли устоять перед соблазном при виде этих смуглых созданий, приходивших вечерком в лагерь. Другие были осторожнее и, опасаясь тучи копий, отправляли женщин обратно, снабдив их в виде добровольного даяния несколькими жестянками с вареньем или мукой и сахаром. Пусть уходят с миром. Но в дальних районах за Лейк-Кери или в сторону Стрелы золотоискатели, оставлявшие у себя туземок, рисковали жизнью.

В больших лагерях, подобных Хэннану, где темнокожие уже опустились до попрошайничества и напоминали голодных ворон, связи с туземками были делом довольно обычным, хотя большинство золотоискателей стыдились этого и старались по возможности скрыть свои отношения с темнокожими женщинами. Но Фриско выставлял Маритану напоказ и именно потому, что она принадлежала к дикому племени, наряжал ее и носился с ней, всячески давая понять, что гордится такой возлюбленной. И это приводило Морриса в ярость.

Сородичи Маританы облепляли палатку Фриско, точно мухи. Они сидели в пыли, поджидая, когда он вернется с работы, и едва он показывался, начинали оживленно что-то лопотать. Фриско расхаживал среди них, посмеиваясь и весело приветствуя их. Он

раздавал им жестянки с варевьем, муку и сахар, а иногда старое платье, пачки табаку и куски пестрого ситца. Он держал для этой цели особый ящик, в котором лежали предметы «товарообмена», и доказывал Моррису, что необходимо быть в хороших отношениях с этими «негритосами». Он-де узнал это на опыте, когда плавал матросом в Южных морях.

Австралийские туземцы — это, конечно, не совсем то, соглашался он. С ними не очень-то завяжешь товарообмен. Да, в сущности, им нечего и менять, кроме воды и женщин, да еще знания тех местечек, где можно найти золото. Разумеется, они относились недоверчиво к чужестранцам, захватывающим их земли, но съестные припасы белых людей, спиртные напитки и табак были слишком соблазнительны, и в конце концов желание иметь их пересиливало инстинктивную недоверчивость. Однако Фриско продолжал настаивать на том, что кочевники могут быть полезны человеку, занимающемуся разведкой в безводной стране: когда они к нему дружески расположены, они могут указать ему воду и золото. И с ними вовсе не трудно ладить, если даешь им пищу, вино и табак и знаешь, как подойти к ним.

Дорогое удовольствие, говорил Моррис. Правда, случалось, что туземец приводил старателей к богатой залежи или к тем местам, где была вода, без которой белым грозила гибель. Но, в общем, кочевники хранили тайну своих водоемов с яростным упорством. Ничем нельзя было заставить их открыть местонахождение золота или воды. Они слишком хорошо знали, что золото приводило в их сторону тысячи людей и животных, которые поглощали запасы воды и топтали их охотничьи земли. Моррис уверял, что щедрость Фриско объясняется только желанием удержать Маритану.

ГЛАВА XX

Маритана ступала так беззвучно, что камешки едва звякали под ее босыми ногами. Только звон стеклянных бус, которые Фриско подарил ей, да тихий журчащий смех возвещали о ее приближении. Невозможно не улыбнуться ей, не обрадоваться ее приходу, когда она вот так стоит перед тобой, красивая и стройная, и застенчиво глядит на тебя из-под длинных ресниц, словно дикий зверек,— так говорила себе Салли, когда Маритана пришла навестить ее однажды утром, вскоре после того, как Фриско и Моррис отправились на работу.

Маритана часами наблюдала за Салли, изучала ее лицо, старалась прочесть мысли белой женщины, как люди ее племени читали следы на песке. Она была так чутка, что сразу же угадывала,

если миссис Салли бывала недовольна или утомлена ее присутствием, и тогда тихонько и скромно удалялась.

Но она возвращалась на другой день с простодушным веселым смехом и вопрошающим взглядом. И Салли чувствовала, что ее так же сильно влечет к этой туземной девушке, как Маритану к ней. «Мири» — называла ее Салли; так ее звали туземцы. Они пытались разговаривать друг с другом, пользуясь обычной для приисков смесью английского и туземного языков, и Маритана в простоте души пересыпала свою речь самой непристойной бранью, которой она научилась у старателей.

— Не нужно так говорить, Мири,— удерживала ее Салли. И Мири поняла, что есть слова, которые женщинам запрещено произносить.

Она была очень сметлива и быстро научилась подражать тому, что говорила и делала Салли. Связала себе веник из веток и принялась мести и убирать вокруг палатки Фриско так же, как Салли подметала вокруг своей палатки. Потом Маритана перемыла посуду, выстирала белье Фриско и развесила его на кустах для просушки. Салли научила ее стряпать и шить. Они вдвоем смастерили целое платье из куска ситца с желто-красным узором: обычно Маритана повязывала этот кусок вокруг бедер, и он вечно соскальзывал; тогда она подхватывала его и небрежно перекидывала через руку. Маритана очень гордилась своим новым платьем, в точности таким же, как платье, которое носила Салли, и уже запомнила, что его нельзя снимать при всех.

По вечерам к ним иногда заглядывал Фриско и, как всегда, держался с насмешливой самоуверенностью. Но уже не было пения у костра Салли. Фриско пел и играл на гитаре у собственного костра, и мужчины собирались теперь у него — большинство из них. Кое-кто еще продолжал заходить к Моррису, чтобы поболтать, но вскоре Фриско устроил у себя игру в ту-ап, и тогда сам Моррис стал проводить у него вечера при свете костра и керосинового фонаря.

А Салли сидела одна перед своим костром; нередко, правда, из окружающей темноты появлялась Маритана и садилась на корточки рядом с ней и глядела в огонь, пока ее глаза не смыкались или Салли не уходила спать. Однако спать Салли не могла. Шум и крик у соседнего костра продолжались до рассвета, и, охваченная ненавистью к Фриско Мэрфи, она старалась представить себе, сколько Моррис мог проиграть или выиграть, одинаково страшась и того и другого: ведь в нем могла опять проснуться страсть к азартным играм.

В последнее время Моррис стал очень капризен и несговорчив. Они чуть не поссорились из-за того, что он почти каждый вечер

играл в ту-ап. Но были и другие причины, в частности — Маритана. Салли не могла понять, что нашло на Морриса: он просто не переносил ее вида. Бранил и прогонял прочь, когда заставал ее у Салли.

Теперь Маритана уже не ждала, чтобы ее прогнали. Едва завидев Морриса, она убегала. Салли пыталась уговорить его, но Моррис заявил, что дружба Салли с Маританой является как бы молчаливым одобрением сожительства Фриско с туземкой. Это роняет престиж Салли в лагере и ставит его, Морриса, в очень неловкое положение.

— Я просто не могу понять тебя, Моррис,— возражала Салли.— Мне кажется, любая женщина постаралась бы помочь такому юному созданию, и потом — я люблю гулять с ней в зарослях.

Фриско хохотал до упаду, когда увидел, как Маритана накладывает синюю заплатку на его рабочие штаны, хотя в этом не было никакой необходимости, только потому, что видела, как Салли латает штаны Морриса. Миссис Гауг делает из его дикой кошечки какую-то добродетельную старую деву, говорил Фриско; но сама Маритана, видимо, была очень довольна своими достижениями.

Однако она не забыла ничего из того, что знала раньше. Маритана тоже научила ее очень многому, часто говаривала Салли. Гулять с Маританой всегда было интересно. Она иногда находила небольшой самородок и учила Салли, что искать нужно в тех местах, где рассыпана галька, среди остатков раскрошившегося кварца и среди валунов. Было также очень занятно смотреть, как Маритана выслеживает змею, ловко убивает ее и несет в лагерь на конце палки.

Маритана пекла этих гадов в золе костра и угощала Фриско их белым мясом. Он уверял, что это очень вкусно, особенно с растопленным маслом,— совсем как рыба. Но Салли не могла принудить себя испробовать это кушанье или, что еще хуже, крупные белые личинки, которые Маритана вытаскивала из-под коры старых деревьев.

Однажды, когда они гуляли к югу от Маунт-Шарлотт, они набрели на странное и отвратительное маленькое животное, которое местные жители называли «горный черт». Это был хамелеон; на солнце он становился желтым в коричневую крапинку, а когда ползал среди камней, то принимал другие защитные цвета — бурый и серый. Создание совершенно безобидное, но уродливое до нелепости. Все его тело покрывали пупырышки, и у него были выпуклые блестящие глаза. Совсем как маленький дракон, решила Салли, или какой-нибудь оборотень из сказки.

— Мингари! — тихо воскликнула Маритана, увидев животное. Она уселась на земле на некотором расстоянии от гревшегося на солнце хамелеона, чтобы не спугнуть его. Но мингари ускользнул так быстро и неслышно, что Салли даже не заметила, куда он делся.

— Может быть, она сделала кубу — младенца? — пояснила Маритана и, понизив голос, стала рассказывать о том, как давным-давно, когда здесь появились первые черные люди, мингари были женщинами, которые не хотели иметь дело с мужчинами. Их закон запрещал им говорить или свистеть, чтобы мужчины их не услышали, и когда мингари проходили по местам охоты, их охраняли свирепые духи. Женщины-мингари должны были рожать детей для всех туземных племен. Где бы они ни присели отдохнуть — у водоема или под большим камнем,— они оставляли кучу младенцев. Но однажды, когда женщину-мингари схватил молодой воин, она закричала, и свирепые духи в наказание превратили ее и всех ее сестер в этих маленьких животных, лишив их голоса и усеяв роговыми шипечками для защиты от врагов.

Но мингари до сих пор оставляют младенцев всюду, где они отдыхают, и если Маритана и даже сама Салли посидят на том месте, где был хамелеон, у них непременно родится ребенок,— с надеждой в голосе сказала Маритана.

— Тогда уйдем скорей отсюда! — воскликнула Салли, притворяясь, что она страшно испугана.— Я сейчас вовсе не хочу иметь ребенка, Мири.

Маритана засмеялась журчащим смехом, но посмотрела на белую женщину с любопытством и недоверием.

— Как? Не хочешь ребенка? — пробормотала она.

В другой раз они увидели, что сверкающая поверхность соленого озера так и кишит дикими утками. Маритана побежала обратно, чтобы предупредить Фриско. На другое утро, до рассвета, Моррис и Фриско отправились к соленому озеру. Они пробрались болотом, вошли в озеро и, прячась под кустами, как это делали кочевники, стали стрелять по уткам. Маритана последовала за ними и, сняв с себя платье, скользнула в ледяную воду: она подбирала убитую дичь.

В восторге от удачной охоты, она вернулась с целой связкой блестящих черных птиц, прикрепленной к палке, которую она несла на плече. Весь день она возилась с ними, закатала их непотрошеными и неощипанными в грязь и вырыла яму, чтобы их испечь.

— Дикая утка «а-ля Маритана» — лучше этого ничего быть не может! — хвастался Фриско.

Однако Моррис предпочитал, чтобы утка была выпотрошена и ощипана, и Салли зажарила его долю добычи в своей походной

«печке». У них с Моррисом гостей к обеду не было. Но с десяток родственников Маританы вдруг появился неведомо откуда с явным намерением участвовать в пиршестве.

Увидев их, Фриско рассмеялся. Он сказал, что ему нравится разыгрывать знаменитого охотника, и он раздавал куски печеной утятины с добродушной щедростью. Наконец трапеза кончилась, и туземцы ушли; но когда Фриско на следующий день вернулся с работы, он снова застал их возле своей палатки: они просили муки, сахару, чаю и табаку. Фриско обозлился и прогнал их, отчаянно бранясь и ругаясь им вслед до тех пор, пока последний темнокожий не скрылся из виду.

Маритана отнеслась к этому изгнанию совершенно спокойно. Она по-прежнему расхаживала по лагерю, смеясь журчащим смехом, и с увлечением делала все то, чему научилась у Салли. Но через два-три дня она исчезла. Ушла к своим, пояснил Фриско, и будет теперь кочевать с племенем до тех пор, пока старому Бардоку, ее мужу, не захочется вина и табаку. Тогда он опять пошлет Маритану в лагерь белых.

ГЛАВА XXI

Быстро проходили дни, полные золотого солнечного блеска и такой изумительной небесной синевы, что Салли она казалась прекраснее всего на свете,— приближалось лето.

После дождей или во время холодов окраска земли и неба радовала глаз разнообразием и сочностью. Дороги и взрытые склоны хребта были рыжевато-красные, трава по обочинам и между кустов отливала изумрудом. На горизонте высилась сапфировая вершина Маунт-Берджесса, кругом расстилалось море зарослей, сизо-серое, как голубиное крыло, почти фиолетовое в туманные вечера и в лучах багряного заката.

Все эти краски, казалось, исходили от несметного множества диких цветов. Желтые, алые, пурпуровые и голубые, они то висели кистями в колючих зарослях, то гордо поднимали свои головки над низкорослым кустарником; белоснежные бессмертники и алые ноготки шелковистым ковром расстилались на много миль по ту сторону озера. Но под жарким дыханием лета все поблекло, цветы и травы исчезли, озеро пересохло. Тона неба и земли стали тусклыми, все затянулось унылой пеленой пыли и зноя. Только закаты по-прежнему полыхали над темно-лиловой землей, озаряя небо золотисто-розовым сиянием, да ночами луна заливала серебряным блеском оголенную почву вокруг лагеря старателей.

Салли подолгу сидела, любуясь закатом и лунным сияньем, и их таинственная красота успокаивала ее и утешала в те долгие

вечера, когда Моррис уходил играть в ту-ап. Ей видны были игроки, толпившиеся вокруг костра Фриско, и она слышала шум и громкие крики.

— Я поставил!
— Держу на фунт стерлингов!
— Ну валяй!
— Сюда, сюда, мои красавицы!
— Так и есть — орел!
— Опять орел!
— Ставлю доллар!
— Десять шиллингов!
— Фунт стерлингов!
— Пошли!
— Давай, Янки!
— Porca Madonna!
— Решка будет!
— Ах, черт!

Восклицания, крики, невнятное бормотание доносились к ней в ночной тишине, сливаясь в однообразный гул.

Салли так часто видела и слышала, как играют в ту-ап в Южном Кресте и в Кулгарди, что понимала значение каждого возгласа. Эта игра до такой степени вошла в жизнь приисков, что многие споры разрешались таким способом: «А ну, подбросим»,— говорили старатели, выясняя, чья очередь платить за вино или идти к опреснителю за водой.

По воскресеньям они целый день стояли или сидели на корточках в пыли, под палящими лучами солнца, жадно следя за тем, как два пенни кувыркаются в воздухе. Пожилые бородатые старатели, могучие рудокопы, приезжие шулеры, зеленые юнцы — все с диким азартом ждали — какой стороной упадут наземь эти монетки. Вечером играть не полагалось — из-за неверного света слишком часто возникали споры. Но когда добыча золота шла вяло и время тянулось медленно, люди, доверявшие друг другу, затевали игру и в потемках, нередко засиживались за полночь на песчаной площадке, освещенной тусклым керосиновым фонарем.

И нельзя винить людей, чья жизнь так сурова и безрадостна, за то, что они ищут хоть какого-нибудь развлечения, говорила себе Салли; а игра давала им краткие минуты забвения в той тяжелой борьбе за существование, которую они вели. Салли удивлялась, как могут взрослые люди так увлекаться детской забавой, но Моррис объяснил ей, в чем тут дело.

Ту-ап была азартная игра, и притом игра честная, честнее всех других азартных игр. Она давала и бедному человеку шансы на выигрыш. В этом и состоял соблазн. Моррис признавался, что

нередко терял до пятидесяти фунтов, а выигрывал иногда и больше. Янки Ботерол, когда ему везло, делал большие ставки. Салли слышала, что во время этой игры из рук в руки переходило до ста фунтов и многие разорялись дотла. Но это была не беда. Старатель всегда мог занять денег на ставку, а лавочник давал провизию в долг.

Если игра велась по всем правилам и за банк отвечал человек денежный и надежный, то ставки достигали очень больших сумм; но с чужими большинство старателей играло крайне осторожно. Некоторые из них уже пострадали от шулеров, которые обманывали их, пуская в дело монеты, одинаковые с обеих сторон. Когда открывались проделки какого-нибудь жулика, с ним обходились довольно свирепо. В Курналии одного из них чуть не избили до смерти, однако это не мешало другим при случае проявлять ловкость рук.

Любой человек мог выйти на середину круга и заявить о своем желании подбросить монеты. Их клали обычно на «лопатку» — узкую деревянную дощечку, чтобы каждый мог проверить, не одинаковые ли они с обеих сторон. Пари начинали заключать с той минуты, когда игрок вручал свою ставку крупье или клал ее наземь у его ног — это могло быть пять шиллингов, десять или фунт стерлингов, и ставил он на «орла». Крупье объявлял условия пари.

Игроки, державшие пари на «решку», клали свои ставки наземь перед собой. Те, кто играл на «орла», кидали деньги на середину круга. Остальные «примазывались» на меньшие суммы — шесть пенсов или шиллинг. Если монеты падали на разные стороны — «один и один», игрок имел право еще раз подбросить. При двух «решках» он терял ставку и выходил из круга; при двух «орлах» он мог остаться и удвоить ставку, снова подбросить те же монеты или же менять их. После того как игрок ставил три раза на «орла», он должен был уплатить пять шиллингов крупье. Если он выигрывал много денег, он тут же раздавал фунт или два взаймы и бросал десять шиллингов тому, кто подбирал монеты.

Иногда удачливый игрок, поставив сначала на «орла» и выиграв, ставил потом «против себя» и тоже выигрывал. Это называлось «обмануть счастье». Но такие трюки разрешались только один или два раза в течение вечера. Крупье мог также отвести игрока на том основании, что тот пустил монеты волчком или коснулся пальцами дощечки. Иногда монеты пускали «бабочкой» — этот прием был разрешен, но лишь когда игра происходила на песчаной площадке, и не допускался, когда кругом были камни и монетка могла подпрыгнуть и вызвать споры.

Моррис уверял, что не любит этой игры. Для него она слишком груба и примитивна. Он предпочитал более спокойный покер

или марамбиджи. Но ту-ап была национальной игрой, а человек не должен сторониться людей. И он играл потому, что хотел быть со старателями на дружеской ноге и не желал, чтобы его считали гордецом или скупердяем. Только старые ханжи, вроде Эли Напкэрроу и Унка Трегурты, избегали игры в ту-ап. И, конечно, Поп Ярн. Но все понимали, что сан обязывает его осуждать эту игру, как ловушку для заблудших душ.

Салли была готова согласиться с ним. Она сокрушалась о том, что Моррис так много играет. Ее угнетала мысль, что он проигрывает деньги, когда нужно расплатиться с долгами и обзавестись домом. Она терпеть не могла занимать деньги или брать провизию в долг. Неужели Моррис не понимает, что нельзя до бесконечности жить так беспорядочно, как они живут сейчас?

Уж лучше заняться обыкновенной честной работой, чем давать людям вроде Ма Баггинс право оскорблять их. Салли не понимала, почему бы ей не зарабатывать свой хлеб в Хэннане так же, как она зарабатывала его в Южном Кресте и Кулгарди; а Моррис пусть трудится с Фриско в шахте, которую они роют, или ходит в разведку. Люк Джогеган построил гостиницу рядом с кабачком «Черный лебедь», который сначала помещался в палатке. Ему нужна повариха. Почему бы ей не поступить на это место? Но Моррис и слышать не хотел. И он сердился на Салли, когда она пыталась удержать его от игры в покер или в ту-ап — ведь они не могут позволить себе риск проигрыша.

— Я всегда остаюсь в выигрыше,— нетерпеливо заявлял Моррис.

— Тогда, я надеюсь, ты отдал долг мистеру Мэрфи? — спрашивала Салли.

Однако Моррис не давал ей ясного ответа и просил не вмешиваться в то, что ее не касается.

— Очень даже касается,— настаивала Салли.

— Я веду наши денежные дела,— заявил Моррис.— Согласен, я на время забыл об этом, но мне кажется, по дороге сюда из Кулгарди мы уладили этот вопрос.

— Ты прав, Моррис.— Воспоминание об их уговоре заставляло ее умолкнуть.

Все же слова ее, по-видимому, возымели некоторое действие, ибо Моррис стал реже уходить по вечерам. Да и Фриско теперь устраивал игру только по субботам.

— Говорят, Зэб Лейн продал Большой Боулдер в Лондоне,— сказал как-то вечером Фриско, подойдя к костру Салли, где Тупая Кирка и Сэм Маллет болтали с Моррисом.

— Вот везет этим чертям,— заметил Тупая Кирка.— У них не было ни гроша, когда Брукмен сделал заявку на участок в два-

дцать акров вокруг Боулдера. А потом Сэм Пирс наткнулся на жилу, и Брукмен отправился в Кулгарди, чтобы взять разрешение еще на двадцать акров возле Лейк-Вью. Сорок акров — недурной кусочек, есть о чем написать домой.

— Брукмен говорит, что последняя проба с Лейк-Вью была еще лучше прежних,— с завистью сказал Фриско.

— А геологи и эксперты, которые побывали здесь недавно, считают, что разработка Большого Боулдера не оправдывает себя,— заметил Моррис.

— Геологи, эксперты — подумаешь! — Тупая Кирка возмущенно сплюнул.— Они пускают дурную славу про участок Брукмена, считают, что это — дутое дело. А что они говорили несколько лет назад? «Никогда в Западной Австралии не будет найдено золота в достаточном количестве для промышленной разработки». А Бейли, и Богатство Наций, и Карбин, не говоря уж о Белом Пере и Курналпи? А теперь они хотят доказать, что Хэннан никогда не даст жильного золота и что россыпь вся выбрана. Я думаю, они опять ошибаются.

— Ну и к чертям их! — весело воскликнул Фриско.

— Прииск Брукмена, может быть, даст меньше, чем дал Бейли,— осторожно заметил Сэм,— но жильного золота там много, и на большем пространстве, чем в Бейли. Во всяком случае, Тупая Кирка и я, мы будем держаться за свой участок возле Боулдера.

— Еще бы! — подтвердил Тупая Кирка.

— Пока не явится какой-нибудь тип и не купит его у вас для английского синдиката? — спросил Моррис.— Или вы надеетесь продать его в Аделаиде?

— Я не капиталист, я не могу вкладывать деньги в разработку,— сказал Сэм.— А участок неплохой, удачно расположен. Я думаю, мы получим за него хорошую цену, когда здесь начнется бум.

— Начнется! — решительно заявил Тупая Кирка.

— Вот и я говорю это Моррису,— сказал Фриско.— А он хочет бросить участок и перекочевать в Белое Перо. Но я утверждаю, что очень скоро на Хэннан налетят толстосумы.

— Те, что побросали здесь свои участки и перекочевали в Мензис, Белое Перо, Курналпи или Дан, здорово погорят,— проговорил Сэм не допускающим сомнений тоном.

— Сделка Зэба Лейна — дурное предзнаменование,— сухо заметил Моррис.— Это удар по австралийским промышленникам. А что он получил? Ни гроша наличными и только треть паев в английской компании. С тех пор как стали известны выводы экспертов, лондонские пайщики боятся и начинать разработку.

Фриско вспыхнул:

— Если руда, которую Чарли де Роз показывал мне, не взвинтит акции Лейк-Вью и Восточного Боулдера, как только начнется разработка, тогда я выхожу из игры. А пока что — я скупаю их акции на все свои деньги.

— Врешь?

— Ничего не вру. Купил и придерживаю их. У одного только старика Уитфорда я взял две тысячи по шиллингу.

— Совершенно очевидно,— сказал Моррис, возвращаясь к своей мысли,— что синдикату Брукмена приходится туго. Он реорганизовался в компанию с ограниченной ответственностью. Теперь он называется «Кулгардийская золотопромышленная компания», и они выпустили сто тысяч акций по номиналу.

— Черт! — Фриско поднялся на ноги, зевая и потягиваясь.— Он еще покажет себя, наш Большой Боулдер, а если он лопнет, я подберу осколки.

Его веселый смех разрядил атмосферу, хотя Моррис по-прежнему сидел насупившись.

— Правильно! — подхватил Сэм.— Будем держаться за Хэннан — и все мы станем миллионерами.

— Может быть, это и правильно для таких, как вы, у которых есть деньги, чтобы спекулировать на акциях,— заговорил Большой Джим.— Но старателям не к чему глотать пыль на негодных участках. По-моему, Морри прав. Я сам уже не верю в Хэннан. Ну и что же? Свет не клином сошелся, еще хватит места, в любой день можно напороться на свое счастье.

Он и Клери Мак-Клерен вернулись с разработки Дана, ничего не найдя. И Клери остался в Кулгарди, чтобы занять денег, прикупить еще несколько верблюдов и уйти в продолжительную разведку на северо-восток, а Джим забрел на огонек вместе с Янки и Тедом Доу по пути в трактир.

— Пошли выпьем,— крикнул Тед.

Так кончалось на приисках большинство споров. Все поднялись с земли, где лежали вытянувшись или сидели на корточках.

Когда они поздно ночью возвращались к своим палаткам, все были вдрызг пьяны, хохотали и распевали песни во все горло, а громче всех Тед и Фриско.

ГЛАВА XXII

Салли с удивлением чувствовала, что скучает по Маритане.

Дома, на Юго-Западе, она привыкла постоянно иметь дело с темнокожими. Ее отец, не в пример многим пионерам, хорошо обращался с ними. Молодые туземцы работали у него пастухами и дровосеками, а ее мать приучала женщин и девушек помогать ей

по хозяйству, когда в доме было двое-трое маленьких детей. За новорожденной Салли ходила старуха туземка, ибо достать другую няньку не было возможности. Тем не менее для нее и для всей семьи кочевники оставались чуждыми и непонятными существами.

Хотя Салли всегда была в дружеских отношениях и со старухой Полли и со служанками, шутила и смеялась с ними, она не помнила, чтобы когда-нибудь испытывала настоящую привязанность к туземной женщине. Но Маритана была совсем другая, чем те туземки, которых она знавала. Она была умнее и более охотно перенимала обычаи белых людей.

Салли должна была сознаться, что знакомство с Маританой послужило для нее приятным развлечением. В своей палатке ей почти нечего было делать, и бесконечно тянулись дневные часы, пока Моррис работал на участке, и томительные вечера, когда он уходил играть в ту-ап. Ей часто казалось, что Фриско, может быть, и прав, утверждая, что Маритана — метиска. Ее бронзовая кожа была светлее, чем у остальных женщин ее племени, волосы были мягкие, темно-каштановые со светлым отливом, когда она их вымоет.

Сэм Маллет соглашался с Салли.

— Во всяком случае, мулаток старше Маританы я видел немало в этих местах,— говорил он.— Вероятно, не все пионеры в экспедиции Хэнта были святые. Среди них находились и солдаты и каторжники. Один из них бежал, и его так и не поймали. Туземцы уверяют, что если их женщина походит в тени белого человека, она родит не таких черных детей, как остальные. Многие так объясняют наружность Маританы. Калгурла, ее мать, до смерти боится белых, всегда избегает тени белых. Она ненавидит Фриско и бродит вокруг его лагеря, когда Маритана там. А если она остается у него слишком долго, то мать зовет ее из кустов, и Маритана мгновенно исчезает, словно вспугнутая птица.

Вскоре после очередного исчезновения Маританы Фриско поехал на несколько дней в Кулгарди. Он вернулся в коляске, запряженной парой лошадей, он приобрел ее у одного разбогатевшего старателя, который покидал прииски. Выпрыгнув из коляски, Фриско передал миссис Гауг два письма, а из-под сиденья извлек бутылку вина, которую миссис Фогарти посылала ей.

Салли ахнула от радости и, забыв о том, что она не одобряет поведения мистера Мэрфи, тепло поблагодарила его и уселась читать письма. Одно было от Лоры, другое от Мари.

Письмо Лоры было полно описаний дома, который Олф построил для нее неподалеку от рудника. Не очень большой, но вполне комфортабельный, с решетчатой верандой и сеткой на окнах от мух. Там имелась кладовая, кухонная плита, линолеум,

белые кружевные занавески и настоящая спальня со всеми необходимыми принадлежностями. Кроме того, была ванная комната и два больших бака для воды, которые в данную минуту полны. Салли непременно должна приехать к ним погостить на несколько дней, писала Лора, хотя бы для того, чтобы насладиться ванной.

Пока Салли, сидя на ящике, читала письма, Фриско разговаривал с Моррисом. Она посмотрела уголком глаза на его высокую, статную фигуру и прислушалась к его оживленному рассказу:

— Я ходил смотреть на их Леди Лору. А потом Олф увел меня к себе и угостил вином. Черт, вот прелесть этот его дом, Морри! Какой сад — повсюду цветы, овощи! Олф говорит, что на этой земле достаточно капли воды, чтобы все росло. А миссис Олф — ну просто картинка! Когда сидишь у них в гостиной, забываешь, что ты на приисках. Но Динни обеспокоен рудником Леди Лора. Он считает, что рудник исчерпан и что Олф напрасно вкладывает в него деньги. Динни ходил на прииск Дана, принес оттуда триста семьдесят унций и продал свой участок лорду Седли. Отпраздновали сделку у Фогарти.

Морриса больше интересовало новое месторождение в двенадцати милях севернее прииска Дана, о котором сообщили Джимми Томпсон и Смит Карбин.

Фриско рассмеялся, как будто это веселая шутка.

— На прииске Дана было всего несколько хороших участков — рядом с Богатством,— сказал он.— И уж поверьте, что Пэдди Баркер завладел одним из них. Он ездил в Мельбурн и Сидней расшвыривать золото, которое добыл в Курналпи. Сказал, что вернулся разоренный, начал опять копать землю, а у самого на пальце — бриллиантовый перстень. За три-четыре дня нашел горсть самородков и продал участок за три тысячи. Но вообще земля там бедная, говорят парни. Настоящих золотых залежей нет, и многие старатели побросали свои участки и ушли оттуда — среди них Джимми Томпсон и Смит Карбин.

Фриско закурил толстую сигару — он очень любил их, хотя не часто мог доставить себе такое удовольствие,— и продолжал:

— Джимми и Карбин ушли на север, но туземцы разграбили их лагерь. Им пришлось возвращаться в Кулгарди за продовольствием. Джимми по пути продолжал вести разведку, разбивая скалу то там, то здесь. Нашел немного породы, начал шарить вокруг и вдруг увидел нору вомбата под кустами. Он наклонился, чтобы посмотреть, там ли зверек, и чуть в обморок не упал: стены этой норы были сплошь из золота. Видимо, зверьку нравилось, чтобы кругом него все сверкало. Он соскреб всю землю со стенок и отлично себя чувствовал в золотой норе.

Моррис жадно слушал товарища. Его глаза влажно блестели.

— Джимми вскрикнул, и его товарищи бросились к нему.— Фриско усмехнулся, наслаждаясь своим рассказом.— Они нагрузили верблюдов образцами — все кварц с прожилками — и поехали в контору инспектора. Продали эти образцы за тысячу фунтов. Честное слово, не вру, Морри. В образцах было больше золота, чем породы, по крайней мере, в некоторых из них. Их потом выставили в банке. Джимми уверяет, что с такими образцами и таким напарником он побил мировой рекорд. Поэтому он назвал свою шахту «Карбин», но лежит она в бедной местности. Это просто одна из случайных залежей, вроде Лондондерри или Богатства.

— Господи, Фриско,— воскликнул Моррис взволнованно,— ну какой же смысл торчать здесь? С Хэннаном дело кончено! А кругом люди то и дело находят сокровища.

— Кто находит, а кто и нет,— серьезно ответил Фриско.— Незачем гнаться за призраками, Морри. У нас тут неплохой участок, и за него надо держаться. Мы очень скоро продадим его. Эти английские перекупщики хватают все, что попадется.

— Не в Хэннане,— настаивал Моррис.— Они покупают землю там, где открываются новые месторождения, чтобы за свои деньги видеть золото, а мы его теперь видим очень мало.

Он налил воды из керосинового бидона в старый таз для промывания и пошел за палатку умываться.

Фриско неторопливо подошел к Салли, которая сидела задумавшись над полученными письмами и вместе с тем прислушивалась к разговору между Моррисом и Фриско.

Письмо Мари было не такое радостное, как письмо Лоры. Она не может сообщить ничего особенно утешительного, писала Мари. От своего участка они отказались. Мистер Бэлл теперь работает дворником у Фогарти, а Жан поступил на рудник Бейли. Мари охватывает ужас каждый раз, когда он спускается под землю, но он обещал ей, что недолго будет работать рудокопом. Только до тех пор, пока скопит достаточно денег, чтобы опять вести разведку. А тогда, говорит Жан, он отправится на Белое Перо или куда-нибудь за Хэннан. Если это случится, она, может быть, опять увидится со своей милой Салли; но все это еще не наверняка, а жить сейчас в Кулгарди не очень-то весело, хотя у нее теперь подле рудника собственный домик из гофрированного железа. Когда идет дождь, там, конечно, жить приятнее, чем в палатке, но дождя уже давно нет, а в жаркий день в этом железном ящике чувствуешь себя, как в раскаленной печи.

Салли вздохнула. Когда же наконец Моррис построит домик, который он обещает ей с самого приезда? А если ему не нравится в Хэннане, что он думает предпринять? Куда они направятся?

— Если вам хочется съездить в Кулгарди и повидаться с миссис Брайрли, мэм,— с насмешливой галантностью сказал Фриско, остановившись перед нею,— моя карета и рысаки к вашим услугам.

— Благодарю вас, мистер Мэрфи! — Салли смело встретила вызывающий взгляд его дерзких глаз и сейчас же отстранила всякую мысль о посещении Лоры.— Я не собираюсь ехать.

— Я вовсе не предполагал, что столь недостойная особа, как я, осмелится сопровождать вас,— заметил Фриско, продолжая насмешливо улыбаться.— Может быть, удастся уговорить Морри поехать с вами. А не то вы можете прокатиться и одна.

Он повернулся и пошел прочь, однако еще раз оглянулся. Поймав взгляд Салли, он проговорил:

— Да, кстати, вам просила передать привет еще одна ваша приятельница, которую я встретил в Кулгарди, а именно мадам Марсель.

Салли вспыхнула, и глаза ее потемнели от гнева. Как смеет он говорить ей подобные дерзости? Как смеет он намекать, что...

Фриско, видимо, наслаждался ее досадой. Он отправился распрягать и поить лошадей, посмеиваясь про себя, словно услышал удачную шутку, которая привела его в превосходное настроение.

ГЛАВА XXIII

Фриско пришел еще раз в тот же вечер — отдать Моррису его долю денег за золото, проданное в Кулгарди. Заглянул и Янки Ботерол, а потом подошли еще Сэм Маллет и Тупая Кирка, чтобы узнать новости о старом лагере. Но не успели они расположиться, как примчался Пэдди Кеван. Волосы его стояли дыбом, в глазах застыл ужас.

— Эй, Фриско,— торопливо заговорил он, брызгая слюной,— а вы знаете, что в Бардоке человека убили? У Баггинсов какие-то парни рассказывали. Они вели разведку вдоль дороги на Сор-Фут, но решили, что это пропащее дело: ничего там не добудешь. И вот Айк Могфорд и его товарищ возвращаются обратно и продолжают вести разведку в зарослях за восемь миль от Бардока и вдруг видят: какой-то тип роет землю, как полоумный. Они подумали, что тот напал на что-нибудь стóящее, и наутро пошли взглянуть; а там, оказывается, лежит труп, и голова засунута в яму, которую выкопал этот старик!

Вокруг костра поднялся глухой ропот, кто-то тихо выругался. Созрал Пэдди или не соврал? Сколько он присочинил?

Никто никогда не слышал об убийствах на приисках. Новость, сообщенная Пэдди, всех привела в смятение: это подрывало неписаный закон, от соблюдения которого зависела их жизнь,— верность товарищу.

— Если вы мне не верите, пойдите спросите у них,— обиженно заявил Пэдди.— Они сделали привал у опреснителя.

— А кто был убитый?

— Убийцу поймали?

Пэдди буквально засыпали вопросами. Но он ничего не знал, кроме того, что тело было страшно изуродовано, и его оказалось невозможно опознать и что старатели из Бардока разыскивают человека, которого они подозревают в убийстве.

Сэм и Тупая Кирка поднялись со своих мест у костра, подтянули штаны и отправились разузнавать, в чем дело. Фриско и Янки последовали за ними, а сбоку бежал Пэдди.

Все правда, сказал Фриско на другое утро Моррису. Первый раз в своей жизни Пэдди не соврал. На поимку убийцы выслали солдат. Они прочесывают окрестность. Но Айк Могфорд утверждает, что нет никакой возможности установить ни личность убитого, ни убийцы.

Каждый вечер Моррис отправлялся к опреснителю, становился в очередь вместе с сотнями людей, чтобы получить галлон воды, а иногда и полгаллона. Этого должно было хватить на все. После того благословенного ливня весной не вышало больше ни капли дождя, и с наступлением жары всех охватывал страх перед возможной засухой.

Из Кулгарди ездили за водой чуть ли не за тридцать миль к опреснителям у соленого озера, возле Хэннана, и привозили ее в повозках и на верблюдах. В лагерях приходилось беречь каждую каплю; вымыв лицо и руки, люди в той же воде ополаскивали посуду и стирали белье. Вода была роскошью, и для большинства старателей, которых едва кормили их участки вокруг Хэннана, она являлась почти недоступной. Когда распространился слух, что владельцы опреснителей намерены повысить цену на воду, это вызвало всеобщее возмущение.

В тот вечер Моррис замешкался и собрался идти за водой позже обыкновенного, когда Фриско вдруг подошел к костру и заговорил без своих обычных шуточек:

— Начались волнения из-за воды, Морри,— сказал он очень серьезно.— Макдональд повысил цену с шести пенсов до шиллинга за галлон. Ребята не согласны. Будет общее собрание.

— Давно пора,— сказал Моррис, вставая. Он только что кончил ужинать, и Салли убирала со стола.— Джерри Молиф расска-

зывал мне на днях, что они с товарищем и их лошади были уже два дня без воды, когда они добрались до опреснителя на Пикс-Файнд. В общей сложности им пришлось выложить за воду пятнадцать фунтов.

— Довольно уж владельцам воды держать нас за горло,— гневно сказал Фриско.— Помнишь наше первое лето здесь в Хэннане — мы тогда платили пять шиллингов за галлон. Теперь Макдональд прорыл буровые скважины и качает воду. Он в день одиннадцать тысяч галлонов добывает. И Кулгарди снабжает водой — там засуха. Но ребята считают, что он достаточно наживается и при шести пенсах за галлон, а он еще подговаривает других не продавать воду дешевле, чем по шиллингу.

Издали донесся звон жестяных тазов.

Моррис и Фриско встали и отправились на общее собрание.

Когда Моррис поздно ночью вернулся, он рассказал, что собралось больше тысячи человек. Все были грязные, небритые, осунувшиеся. Россыпное золото в Хэннане уже иссякло, и старатели перебивались кое-как, в надежде, что настанет время, когда промышленники наконец обратят внимание на этот район.

Рудокопы и старатели пришли на собрание, возмущенные тем, что владельцы опреснителей пользуются засухой, чтобы прижать их еще сильнее. Вода принадлежит народу, говорили они, а владельцы и так получают достаточно за свое оборудование и труд, даже продавая ее по обычной цене.

Некоторые из мелких владельцев опреснителей уступили под давлением общего собрания и согласились не участвовать в сговоре и не поддерживать Макдональда. Но Макдональд, человек упрямый и жадный, притом самый богатый и влиятельный среди владельцев воды, настаивал на шиллинге за галлон и не желал подчиняться решению общего собрания.

На другой день старатели соорудили чучело, написали на нем «Макдональд», пронесли по главной улице Хэннана и по близлежащим лагерям и наконец сожгли под хохот и проклятия собравшейся толпы. Затем было созвано второе собрание, на которое пришло свыше полутора тысяч человек. Решили отправиться на озеро и самолично переговорить с человеком, который желает спекулировать водой и нажить состояние на бедствиях старателей.

У Макдональда была лавка, помещавшаяся в брезентовой палатке над озером, от которого осталось только высохшее дно, покрытое сверкавшей под жарким солнцем коркой соли. Рядом с лавкой стояли опреснитель и баки с водой.

Большинство старателей, рассказывал Моррис, надеялось на то, что разговор по душам и энергично выраженная решимость не платить по шиллингу за галлон образумят старого кровопийцу. Но

по пути к озеру кое-кто из отчаянных ирландцев и подвыпивших буянов стали подстрекать толпу. Уже шли разговоры о том, чтобы пересчитать Макдональду ребра и сжечь его лавку.

Сэм Маллет, Тупая Кирка, Эли Нанкэрроу, Фриско и несколько других старателей, которые созвали общее собрание, начали опасаться, что им не удастся удержать толпу, если Макдональд не уступит.

Когда старатели дошли до озера, оказалось, что Макдональд бежал в Кулгарди, оставив вместо себя приказчика. Увидев толпу, приказчик растерялся и решительно не знал, как ему быть. Фриско, Сэм и другие поняли, что нужно принимать срочные меры, чтобы удержать толпу от безрассудной мести. Кое-кто из самых предприимчивых уже готовился поджечь лавку и разбить перегонный куб.

Фриско протиснулся вперед, вошел в лавку и запер дверь на засов. В задней комнате он нашел жену Макдональда и двоих детей; все трое спали. Он выпроводил их через заднюю дверь в заросли и следом за ними отправил приказчика. Когда он вышел из лавки, между старателями уже шел настоящий бой: одни хотели поджечь лавку и разбить опреснитель, другие твердо решили не допускать бессмысленного уничтожения воды и пищи.

Сэм и Фриско надрывались, силясь образумить толпу,— рассказывал Салли возвратившийся с озера Моррис,— и им это почти удалось. Но какой-то молокосос сдуру ударил кайлом по баку, вмещавшему одиннадцать тысяч галлонов, и вот эта драгоценная вода потекла наземь. Тупая Кирка сорвал с себя рубашку и заткнул ею дыру, а я набросил свою куртку на огонь — так как лавка уже загорелась. Только после того, когда все кончилось благополучно, мы обнаружили, что нам грозило, если бы мы не потушили пламя: в лавке хранилось десять ящиков динамита и три тысячи детонаторов.

Бурный протест старателей все же возымел свое действие. Макдональд лично явился на следующее собрание и объяснил, почему он хотел повысить цену. Он ссылался главным образом на то, что корм для лошадей очень дорог и доставка дров для аппарата тоже недешево обходится. Собрание отрядило четырех делегатов обследовать расходы Макдональда. Те сообщили, что, даже продавая воду по шесть пенсов, Макдональд получает немалую прибыль. Тогда старатели решили ни в коем случае не покупать у него воду по более высокой цене.

Нашлись люди, которые установили новые опреснители. Сговор, задуманный Макдональдом, провалился. Цена на воду упала до одного фунта за сто галлонов.

Тупая Кирка ликовал.

— Все вышло в точности как говорит Динни,— смеялся он.— Когда рабочие держатся друг за друга и действуют заодно, они всего могут добиться. А если бы эти дурни послушались пьяницы и буяна Билли Короля и спалили лавку, мы бы все взлетели на воздух.

ГЛАВА XXIV

День был очень жаркий. Под вечер, когда люди уже возвращались в лагерь после работы у подножия Маританы, а Салли накладывала заплату на серую фланелевую рубашку Морриса, она, подняв голову, вдруг увидела, что к ней приближается Динни Квин.

Но таким она его еще не видела. На нем был новешенький костюм, белая сорочка, воротничок с галстуком и широкополая фетровая шляпа. В одной руке он сжимал пучок цветов, а другой придерживал перекинутый через плечо мешок. Салли, пожалуй, его бы не узнала, если бы не хромая нога да застенчивая улыбка, которой он улыбался ей из-под полей шляпы.

— Динни! — вскрикнула она, изумленная и обрадованная. И тут впервые почувствовала, что питает к нему теплую привязанность.

И Динни понял, что она искренно рада его видеть. Он вручил ей букетик герани, ноготков и настурции, а мешок сбросил наземь.

— Это вам миссис Лора посылает,— объяснил он смущенно, снимая шляпу и вытирая потный лоб.— Я только что приехал дилижансом. Всю дорогу вез их в газете, но они все равно завяли. Тут в мешке немного фруктов и овощей. Мы теперь живем прямо как в столице: все что угодно можно достать. Десять трактиров открыты чуть не круглые сутки, а лавки полны припасов и всяких нарядов.

— Апельсины, и лимоны, и кочан капусты! — воскликнула Салли, открыв мешок и заглядывая в него.— Как вы любезны, что все это привезли, мистер Квин.

Помня наставления Морриса, она старалась не впадать в фамильярный тон и не называла Динни по имени.

Динни покраснел, точно школьник. Его чистое, гладко выбритое лицо казалось совсем юным, голубые ясные глаза сияли радостью.

— Как вы тут живете? — спросил он смущенно.— Мы очень беспокоились за вас — и я, и миссис Фогарти, и Олф, и миссис Лора. Фриско нам сказал, что вы живете в палатке вместе с Мор-

рк. А я никогда не бывал в Хэннане, вот и вздумал приехать посмотреть, как вы тут...

— Я? Очень хорошо,— сказала Салли.— Мне здесь нравится. Во всяком случае, гораздо лучше жить в палатке, чем так, как я жила одна в Южном Кресте. Но я вижу, вам повезло, мистер Квин. Очень, очень рада.

— Клянусь Иегосафатом, это же Динни!

Билл подходил вместе с Моррисом и Фриско. Одним прыжком он очутился возле Квина и схватил его за руку. Моррис и Фриско тоже поспешили приветствовать гостя. Пока они разглядывали своего старого товарища и дразнили его по случаю шикарного костюма, Салли поставила цветы в воду, подбросила в огонь хворосту и повесила над ним котелок. Через несколько минут она подала на стол кружки с черным чаем и кусочки лепешки, испеченной ею утром.

Мужчины уселись — кто на ящик, кто прямо на землю — и, прихлебывая чай, приготовились слушать новости, привезенные Динни.

Проходившие мимо старатели также останавливались и здоровались с Динни Квином. Салли ополоснула кружки, налила еще чаю и нарезала остатки лепешки, хотя на всех все равно не могло хватить. Динни расспрашивал, как идут дела в Хэннане, в Широкой Стреле, в Курналпи и в Кэноуне, так теперь называлось Белое Перо. Сам он рассказал о Кулгарди и окрестных лагерях.

— Между Франком Воспером и лордом Перси Дугласом произошел ужасный скандал,— говорил он, посмеиваясь.— Лорд Перси только что вернулся из Лондона, и Воспер продернул его в газете «Горняк», обозвал шарлатаном и жуликом. Франк пишет, что теперь придумали слово для благородных лордов, которые числятся членами правления и ни за что ни про что получают большое жалованье. Их называют «морскими свинками». Не для того, мол, выходит «Горняк», чтобы поддерживать всяких жуликов и угодничать перед аристократами и капиталистами.

— Черт, вот правда-то! — сказал Тупая Кирка своим скрипучим голосом.— Сколько раз он выпускал дутые акции, этот лорд Перси, и ронял доброе имя приисков.

— Молодец этот Воспи! — воскликнул Билл.

— Воспер всей душой за рудокопов, хоть он и похож на поэта или на чудака-сектанта,— продолжал Динни.— Во время больших стачек стригальщиков овец в Квинсленде он был на стороне забастовщиков, и его даже в тюрьму посадили за это. Лорд Перси хотел подраться с ним, но Воспер — не вояка. Все-таки лорд Перси напал на него и здорово поколотил, пока наши парни не вмешались. Он чуть не убил Франка!

Фриско насмешливо фыркнул:

— Так ему и надо. Нечего отпускать себе длинные волосы и отказываться от драки, если проповедуешь такие взгляды.

— Кулаками никого не убедишь,— заметил Сэм, как всегда задумчиво и серьезно.

— Вот и Воспер так говорит,— продолжал Динни.— Он считает, что человек должен бороться, прежде всего работая мозгами. Только если у него мозгов не хватает или доказательств убедительных нет — он пускает в ход кулаки. Скажу тебе, Фриско, ребята в старом лагере очень уважают Франка Воспера. Он не трус. Всегда защищает старателей и горняков от владельцев рудников и перекупщиков. Он член комитета борьбы с загрязнением воды и протестует против разбойничьего захвата чужих участков. А хозяева прямо готовы съесть его. Они-то хотят одного: платить рабочим гроши и всякими правдами и неправдами захватить в свои руки полстраны.

Все дружно высказывали свое возмущение по поводу незаконного захвата участков, когда подошли Смайлер Хейлс и Янки Ботерол. Смайлер приехал из Курналпи накануне вечером, и Янки водил его смотреть разработки в Маритане и свой участок возле Браун-Хилла. Смайлер хотел, чтобы его считали старателем, а журналистом он был, только когда ему приходилось туго. Его остроты передавались из уст в уста, он пользовался на приисках большой популярностью и являлся желанным гостем в любом лагере. Они встретились с Динни, как родные братья после долгой разлуки, и Смайлер, с трубкой в зубах, тоже уселся на землю, чтобы послушать рассказы Динни о захвате участков в Северном Лондондерри и в Южных Массивах.

— Это какой-то гнусный трюк! — сказал Смайлер.— В чем тут дело, Динни? Мы в Курналпи хорошо знаем, как поступить с крысой, когда она забирается на участок честного старателя и, пользуясь темнотой, ставит свои столбы. Но, видимо, крупные синдикаты теперь нанимают профессиональных захватчиков.

— То-то и оно,— ответил Динни.— Они кружат около участков, словно вороны, кидаются на старателя, если только он нарушит хоть малейшее предписание, и забирают его участок для какого-нибудь капиталиста.

— Человек, который живет тем, что захватывает чужие участки,— самая последняя сволочь,— крикнул Фриско.

— Не знаю, почему бы нам не превратить в ангела первого же грабителя, который попадет нам в руки,— заметил Смайлер.— Даже если придется для этого сначала попортить ему шкуру.

Раздался взрыв смеха.

— Что касается меня,— продолжал Смайлер,— то я бы не постеснялся огреть такого захватчика хорошей дубинкой фута в три, попадись он мне возле моего участка.

— Я тоже,— поддакнул Фриско.

— Для таких паразитов есть только один закон... — Смайлер выдержал паузу,— закон старателей: кайло в крепкой руке владельца участка — более убедительное доказательство, чем любой официальный документ.

— Выходит так,— сказал Динни.— Ведь как было дело с участками в Южных Массивах? Сплошное жульничество! Началось с того, что инспектор Финнерти предлагает произвести конфискацию и отказывается передать дело в суд. Тогда Хэнсли и Миллз подают правительству жалобу, пишут, что они имеют разрешение на свои участки, а у захватчиков разрешения нет. На жалобу правительство не отвечает. Городской совет рекомендует правительству утвердить конфискацию участков, и правительство вносит законопроект, поддерживающий притязания захватчиков. А потом оказывается, все это — дело семейное, захватчики работали на синдикат, а в синдикате все дружки или родственники членов совета.

Выслушав рассказ Динни, старатели дали волю своему негодованию.

— Действительно, какая гадость! — сказал Моррис.

— Джордж Лейк обвинил сэра Джона Форреста в грубом нарушении права и справедливости,— закончил Динни.— Но тем не менее захватчики забрали ценный участок.

— Провалиться мне на этом месте, если я понимаю, почему мы сидим смирненько и ничего не делаем! — сердито крикнул Тупая Кирка.— Ведь это же касается всех старателей на приисках. Если Джек Миллз и его товарищи будут бороться — мы обязаны поддержать их.

— Они не будут бороться,— сказал Динни,— они достаточно набрали золота в Лондондерри и не пошевельнутся.

Он встал. Сидевшие вокруг него также поднялись, потягиваясь и отряхивая пыль с одежды. Они выжидательно поглядывали на него. Ведь Динни повезло — теперь слово за ним! Но его взгляд был устремлен туда, где на трехногом самодельном стуле сидела миссис Гауг, все еще латая рубашку Морриса.

— Пойдем выпьем! — высказал Фриско мысль Динни.

— Я угощаю,— торопливо подхватил Динни.— Пообедаем в трактире.

Взгляд Фриско последовал за взглядом Динни, устремленным на миссис Гауг.

— Как жаль, что вы не можете пойти с нами, мэм,— воскликнул он, коварно раскрыв тайную надежду Динни, что, может быть, Салли пообедает с ними.

— А почему бы и нет? — Смайлер был человек вполне светский и большой дамский угодник.— Если миссис Гауг окажет нам честь отобедать с нами в отеле «Клоб», мы ее потом проводим домой, а затем уже приступим к тем развлечениям, которыми Динни хочет угостить нас.

Салли перехватила взгляд Морриса и прочла в нем строжайший запрет.

— Очень вам благодарна,— сказала она.— Но я бы только испортила вам все удовольствие. Ведь Динни еще зайдет ко мне перед отъездом. Правда, мистер Квин?

Салли подарила Динни одной из своих самых пленительных улыбок. Она не позволит мистеру Франсиско Джо Мэрфи смеяться над ней и смущать Динни, нарядившегося для нее в новый костюм и широкополую шляпу. Он ее гость, и пусть все знают, что он ей друг и что она очень рада его видеть.

— Непременно, миссис Гауг.— Динни вспыхнул и весь просиял от улыбки Салли.— Миссис Фогарти и жена Олфа поручили передать вам кучу всяких новостей. Может быть, мне зайти завтра днем?

— Пожалуйста, буду ждать вас,— сказала Салли.

Старатели гурьбой окружили Динни и увели его.

Однако прошло несколько дней, прежде чем Салли снова его увидела, да и тогда он покраснел от стыда и торопливо заковылял прочь, боясь, как бы она его не остановила и не заговорила с ним. С того первого кутежа в день своего приезда Динни пьянствовал почти неделю и выглядел соответственно. Без воротничка, небритый, с покрасневшими, опухшими глазами, в измятом и перемаранном новом костюме, он спешно ретировался в трактир, увидев, что миссис Гауг приближается к нему.

ГЛАВА XXV

«Полный бидон золота!»

«Новый прииск к югу от Кулгарди!»

Салли слышала взволнованный гул мужских голосов, восклицания, вопросы. Когда она в то жаркое утро вышла из своей палатки, она увидела Клери Мак-Клерена на рослой гнедой лошади: он только что прискакал из Кулгарди. Лошадь, вся в мыле, тяжело дышала, а лицо Клери было багрово-красное. Он привез с собой газету.

Человек шесть уже обступили его. Люди стекались со всех сторон. Одни бежали вприпрыжку, другие трусили рысцой, третьи шли не спеша, словно никакие новости на свете не могли заставить их ускорить шаг.

Моррис и Фриско присоединились к группе читающих. Салли слышала, как Клери рассказывал им, что в одной из утренних газет появилось сообщение о сенсационной находке.

«В Кулгарди на днях был доставлен бидон из-под керосина, полный золота,— говорилось в заметке.— Есть все основания предполагать, что обнаружено новое необычайно богатое месторождение». Город обезумел от этих вестей и начал лихорадочно готовиться к грандиозному походу. Подробностей пока никто не знал, но Клери приехал известить Большого Джима, собрать свои инструменты и продовольствие и тотчас же ехать обратно, чтобы в числе первых отправиться на юг, в безводный край каменистых кряжей.

Клери отобрал свою газету и ускакал, оставив позади себя невероятную суматоху. Старатели, которые добывали россыпное золото на почти истощенных участках у подножия Маританы и Кассиди, уже укладывали свои пожитки. Держатели участков и старатели, разрабатывавшие жилу вдоль кряжа, искали, кого бы оставить за себя, и все бежали в город закупать припасы, доставать лошадь с повозкой или верблюда. Фриско ушел в заросли ловить своих лошадей, а Моррис принялся собирать кайла, лопаты, скатывать одеяла и снаряжение для лагеря. И все это молча, не сговариваясь. Моррис был весь красный от волнения, глаза лихорадочно блестели.

— Салли, давай сюда все банки с консервами, какие у тебя есть,— сказал он отрывисто.— Потом литровую кружку, жестяную миску, нож и ложку. Да, еще чаю и сахару. Я возьму один из котелков, вот этот мех для воды и маленький бачок.

Салли усердно помогала мужу собираться. В каждой палатке вдоль дороги шли те же приготовления. Фриско привел лошадей, запряг их в свою коляску и уехал за припасами. Как только он вернулся, Моррис погрузил вещи, а Фриско отправился на участок.

Ему нужно было найти людей, которые бы продолжали там работать, пока он и Моррис будут в отлучке. Он надеялся уговорить двух-трех стариков, рывшихся на заброшенных участках, и одного многосемейного горняка. Фриско сказал Моррису, что едет ненадолго — только взглянет на эту новую жилу — и останется лишь в том случае, если там действительно много золота. Моррис может и один справиться с участком, который они застолбят, и последит за тем, чтобы они ничего не прозевали. Лично он счи-

тает, что нужно держаться за то, что есть, и не склонен гоняться за призраками.

Через несколько минут вещи Фриско тоже были собраны и уложены в повозку. И уже перед самым отъездом, словно эта мысль только сейчас пришла ему в голову, Моррис сказал:

— А ты оставайся здесь, Салли, пока я не дам тебе знать о себе. Если через два-три дня ничего не услышишь, то поезжай к Олфу и Лоре.

— Обо мне не беспокойся, Моррис,— весело ответила Салли, отлично зная, что он и не подумал о том, как она останется здесь одна.— Ничего со мной не случится.

— А ведь вы молодчина, мэм,— рассмеялся Фриско.

Моррис постоял в нерешительности, потом все-таки поцеловал Салли.

— Ну еще бы, конечно, молодчина,— сказал он.— Если бы я не знал этого...

— Желаю удачи! — крикнула ему вслед Салли.— И привези целый бидон золота.

Повозка умчалась среди клубов красной пыли и вскоре присоединилась к потоку повозок и всадников, которые двигались в сторону Кулгарди.

Слух о новой находке распространился по всему Хэннану с быстротою молнии, и со всех сторон золотоискатели устремились на дорогу, ведущую в Кулгарди. Верблюды, тяжело нагруженные повозки, двуколки и подводы, запряженные старыми клячами, битюгами, австралийскими лошадками, ослами,— все это двинулось к старому лагерю. Люди верхом на лошадях и верблюдах, на велосипедах и пешком, люди с ручными тачками или согнувшись под грузом инструментов и вещей, которые они тащили на себе... Да самого вечера прибывали из дальних лагерей старатели, и человеческий поток, который несся к неведомым золотоносным полям, все увеличивался.

Когда наступили сумерки, в Хэннане воцарилась необычайная тишина. Словно по волшебству вся его шумная, беспокойная жизнь замерла. С площадки, где играли в ту-ап, уже не доносились возгласы и крики игроков, а из трактира — пьяное пение. Только кое-где в темноте рдели костры. Салли очутилась почти в полном одиночестве среди покинутых участков, разбросанных у подножия темнеющего кряжа.

Она слишком хорошо знала ту одержимость, с какой люди бросались в поход за золотом, и уже не удивлялась ей. Когда их охватывала золотая лихорадка, они ни о чем другом не могли думать, и Моррис был подвержен ей даже больше других. Одиночество не пугало Салли, хотя она и жалела, что не попросила Мор-

риса подвезти ее до Кулгарди, где она могла бы повидаться с Мари и Лорой.

Каждый день Салли слышала разговоры о новом походе — в лавке, от Эли и Попа Ярна, которые были довольны своим участком и решили никуда не ходить. Толпы рудокопов и старателей хлынули в Кулгарди даже из таких дальних мест, как Курналпи, Бурав и Финиш. Но до сих пор еще никто не знал, где именно находится эта «необычайно богатая жила».

По закону требовалось, чтобы каждый старатель не позднее чем через десять дней заявил о найденном им золоте и указал место, где он его нашел. Однако до сих пор ни от одного старателя не поступило ни одной заявки. Сотни разъяренных людей требовали объяснения от редакции газеты «Золотой век», где было напечатано сообщение относительно «бидона, полного золота».

Через неделю Фриско вернулся, чтобы посмотреть, как работают на его земле оставленные им люди. Он сказал, что участники похода намерены разгромить редакцию газеты и произойдет черт знает что, если газета ничем не подтвердит своего сообщения. Когда наконец выяснилось, что о золоте сообщил старатель по имени Мак-Кэн, Фриско отправился обратно в Кулгарди. Но лишь когда из похода вернулся Моррис, Салли узнала эту историю во всех подробностях.

Моррис не меньше других возмущался газетами, которые принимают на веру пьяную болтовню любого кретина. А Мак-Кэн, по общему мнению, вел себя просто подло: он настаивал на своей басне, зная, что люди уходят за сотни миль по безводной пустыне и могут умереть от голода и жажды в поисках месторождения, которого не существует.

Только Джону Маршаллу, почетному секретарю Ассоциации старателей, удалось предотвратить трагические последствия этого похода, рассказывал Моррис. Маршалл докопался, откуда газеты получили сведения, он понимал, что будут серьезные беспорядки, если сотни старателей, собравшиеся в Кулгарди для нового похода, узнают, что их обманули.

Когда Маршалл увидел, что взбешенная толпа намерена избить Мак-Кэна, он пробился к нему, встал рядом с ним и закричал:

— Слушайте, ребята, вы меня знаете! Пора принять меры и внести ясность в это дело. Сообщения, напечатанные в газетах, видимо, лишены оснований. Я решил приостановить этот поход и проверить, верно́ сообщение Мак-Кэна или нет.

Шум несколько утих. Под свист и брань по адресу Мак-Кэна и крики одобрения, относящиеся к Джону Маршаллу, он продолжал:

— От имени ассоциации я созываю сегодня в три часа дня собрание. Мак-Кэну придется выступить и сообщить нам все, что он знает, а затем можно организовать экспедицию, которая отправится вместе с ним и установит, существует ли месторождение или нас обманули. А я возьму на себя заботу о том, чтобы Мак-Кэн явился на собрание.

Глашатай обошел весь город, и спустя несколько часов огромная толпа собралась вокруг повозки перед зданием Ассоциации старателей. На повозку взобрался Мак-Кэн. Это был рослый, широкоплечий человек с черными свисающими усами. После очередного запоя глаза у него ввалились, щеки втянуло. Он стоял лицом к лицу с сотнями старателей, угрожавших крепко отомстить ему, если он не докажет своей правоты. Они встретили его свистом, криками и насмешливыми аплодисментами. Но Мак-Кэн держался стойко, и многие поверили его словам.

Мак-Кэн признался, что он был сильно на взводе. Что́ именно журналисты выжали из него, пьяного, этого он не знает. Нельзя человека винить за то, что он плетет в пьяном виде. Газеты, а не он ответственны за этот поход. Однако — и тут надежды старателей опять воскресли — он предлагает отвести экспедицию в такое место, где действительно только что обнаружены богатые россыпи.

Была открыта подписка, чтобы снарядить экспедицию; четверо старателей, выбранные собранием, выехали в двух повозках. Все это были суровые, испытанные люди, притом хорошо вооруженные, ибо по адресу Мак-Кэна раздавались угрозы расправиться с ним, если его публичное заявление не подтвердится. Полиция и инспектор предупредили старателей, сопровождавших Мак-Кэна, что они отвечают за его жизнь. Кроме того, они обязались привезти его обратно, чтобы он мог предстать перед общим собранием.

Вести о людях, которые выступили в первые же дни похода и теперь застряли без воды и пищи среди пустынных кряжей между Кулгарди и Виджимултой, подогревали всеобщее негодование. Уже снаряжались спасательные отряды, но тут хлынул ливень. Это многим спасло жизнь. Когда участники похода возвратились и рассказали о перенесенных ими лишениях и о том, что они не нашли никаких тропинок и никаких следов недавних разработок, все пали духом.

В конторе Ассоциации старателей вывешивались сообщения о продвижении экспедиции. Старатели толпились перед ними, читая и обсуждая их. Однако не было никаких указаний на то, что слова Мак-Кэна оправдываются. Уже поговаривали о том, чтобы подстеречь экспедицию, когда она будет возвращаться в Кулгарди, и застрелить или повесить Мак-Кэна тут же, возле дороги. Тогда Диннн и несколько пожилых и более благоразумных старателей орга-

низовали круглосуточную охрану на той дороге, по которой экспедиция должна была возвратиться.

Она вернулась в одно из воскресений, когда уже вечерело. Старатели, сопровождавшие Мак-Кэна, отвели его в дом Маршалла и сообщили, что он все время водил их за нос: он так и не смог указать им какой-либо золотоносный участок, не говоря уж о свежей разработке россыпей. Маршалл тотчас же кратчайшим путем, задворками, побежал в полицейское отделение, и Мак-Кэн, ради его же безопасности, был посажен под замок.

В мужестве ему нельзя было отказать, говорил Маршалл. Он непременно хотел предстать перед старателями, и его только с трудом уговорили не делать этого. Моррис был уверен, что если бы Мак-Кэна не заперли, ему бы не остаться в живых. Перед дверью Джонни Маршалла шумела взбешенная толпа. Его встретили криками:

— Где Мак-Кэн?
— Повесить его!
— Всыпать мерзавцу!
— Застрелить!
— Для такой собаки пули жалко!
— Повесить и то мало!
— Размозжить ему голову!
— Растерзать на куски!

Это было страшное зрелище, рассказывал Моррис. Он никогда бы не поверил, что люди могут дойти до такого исступления. Они хотели даже сорвать свой гнев на Джонни Маршалле. Обвиняли его, что он укрывает Мак-Кэна, и грозили разнести в щепы его дом. Но каждый мало-мальски разумный человек понимал, как мудро и мужественно действовал Маршалл, отказавшись выдать толпе Мак-Кэна.

Несколько степенных и рассудительных старателей окружали Маршалла, готовые защищать его ценой своей жизни. Вскочив на ящик, стоявший возле его дома, он обратился к толпе.

И вот он стал перед нею, спокойный, благообразный и — все это знали — честный и чистый, как стеклышко. Благородство его осанки и бесстрашие, с которым он воспротивился безумию, овладевшему сотнями людей, несомненно, оказало свое действие. Ему удалось то, что не удалось бы никому другому. Он укротил бурю. Самые озверелые, жаждавшие крови Мак-Кэна умолкли, чтобы послушать Джонни Маршалла. И Маршалл заговорил так веско и с такой подкупающей простотой, что все мало-мальски порядочные люди образумились.

Спокойно и отчетливо изложил он обстоятельства, вызвавшие поход, и просил старателей, чтобы они, невзирая на свой вполне

естественный гнев и негодование, не поддавались наущениям дурных людей, подстрекающих толпу на опрометчивые действия. Джон Маршалл объяснил, что полиция и инспектор возложили ответственность за безопасность Мак-Кэна на него и на людей, сопровождавших этого человека, и что в интересах самих старателей он просил полицию посадить Мак-Кэна под замок. По пути Мак-Кэн неоднократно умолял своих спутников, чтобы они дали ему револьвер — он пустит себе пулю в лоб. Несколько раз экспедицию задерживали старатели, жаждавшие отомстить Мак-Кэну.

Маршалл закончил свою речь просьбой пощадить несчастного пьяного дуралея, который стал жертвой погони газетчиков за сенсацией. Мак-Кэн полностью признал свою вину и сам хотел покарать себя.

— Этот человек уже и так жестоко наказан тем страхом и горем, которое он пережил,— сказал Джон Маршалл.— Он был готов отдать себя в руки старателей, чтобы положить конец этому делу. Если они лишат Мак-Кэна жизни, очень многие из них пострадают за это. И конечно, ни один разумный человек не захочет, чтобы этот злосчастный поход имел еще более тяжелые последствия.

Маршалл предложил толпе разойтись, а более благоразумных старателей просил помочь ему предотвратить беспорядки, иначе эта трагикомедия, за которую главную ответственность несут газеты, напечатавшие непроверенные сведения, грозила затянуться.

И вот обезумевшая, буйная толпа неожиданно быстро откликнулась на его речь. Люди поверили Джону Маршаллу и начали расходиться. Это спасло многих от участия в самовольной расправе с Мак-Кэном и, может быть, от нападения на самого Маршалла.

Правда, кое у кого еще вырывались негодующие возгласы, но они уже были обращены к редакции газеты, куда и направилась толпа. Однако полиция очутилась там раньше, и, кроме разбитых окон, особого ущерба нанесено не было.

На рассвете следующего дня Мак-Кэн скрылся.

Моррис дождался в Кулгарди заключительного акта этой трагикомедии. Последняя партия старателей, возвращаясь из безуспешной разведки на Южных Массивах, вошла в Кулгарди с чучелом Мак-Кэна, болтающимся на виселице.

Старатели, все еще слонявшиеся по городу, быстро построились и, примкнув к шествию, снова направились к редакции. Чучело облили керосином и подожгли под брань и проклятия по адресу газеты и всех газетчиков вообще. Потом горящее чучело швырнули в легкое деревянное строение.

Так закончился этот «поход Мак-Кэна». Многие старатели побросали свои участки и ушли за сотни миль, даром потеряв

деньги и время, и чуть не умерли от жажды и голода, обшаривая местность. И все это потому, что газеты раздули болтовню пьяного человека, хваставшего, что он знает тайну богатого месторождения, которого не существовало.

— Не удивительно, что старатели жаждут крови тех, кто виновен в дутом походе,— угрюмо сказал Моррис.— Бывают случаи, когда лавочники и трактирщики нарочно распускают такие слухи: ведь поход выгоден для их торговли. Но я надеюсь, Салли, что мне никогда больше не придется быть в толпе обманутых старателей. Я так же способен был убить обманщика, как и все остальные.

ГЛАВА XXVI

Проходили месяцы. Стояла сухая, нестерпимая жара, стальное небо излучало ослепительно белый свет, проносились пылевые бури. Ночью нечем было дышать.

Весь день лагерь поблескивал в струящемся зное; горячий воздух трепетал над железными крышами и белыми оштукатуренными стенами. Красная пыль дымилась на дорогах, окутывая медлительные караваны верблюдов. Повозки то и дело останавливались: викторийские ломовые лошади, крупные, выносливые, едва дотягивали до места после долгого пути из Южного Креста. Местные лошадки легче справлялись со своим грузом, а ослиные упряжки, вытянувшись вереницей в пятьдесят голов, медленно, но упорно двигались вперед, преодолевая пространства в сотни миль на своем пути к дальним лагерям.

Тучи красной пыли висели над участками, где немногие старатели все еще продували золотой песок. От зари до зари с унылым однообразием раздавалось грохотание и звон в разработках вдоль кряжа; впрочем, из-за нехватки воды были сделаны некоторые послабления в правилах, и многие держатели участков — рудокопы и разведчики — уехали на побережье. Только те, кто уже привык к зною или не имел возможности перебраться на юг, оставались на своих участках и работали, стиснув зубы, обливаясь потом и проклиная беспощадное солнце.

Мужчины говорили, что ничего иного не остается, как терпеть этот зной, по возможности сохраняя веселое настроение, и Салли понимала, что и для нее нет другого выхода. Она не сомневалась в своей выносливости. Если Моррис, работая, может выдержать такую жару, то она тем более. В конце концов, говорила себе Салли, ведь она же здешняя, здесь она родилась и выросла, так же как и местные лошадки, выросшие в зарослях; недаром возчик

Джек Первый Сорт клялся, что лучше их никто не бежит по дорогам в летнюю жару.

Итак, она делала свое дело, притворяясь, что по-прежнему весела и довольна, твердо решив поддерживать бодрость духа не только в себе, но и в мужчинах, когда они заходили к ней, хотя подчас в эти месяцы вся жизнь сводилась к томлению по глотку свежего воздуха и мучительному страху перед тающим запасом воды и пищи; все жили сегодняшним днем, стараясь не думать о будущем, в иссушающем зное и нестерпимом сиянии солнца, щеголяя друг перед другом мужеством и стойкостью.

Но от недостатка воды и свежей пищи люди заболевали. На руках и ногах появлялись гноящиеся язвы, глаза, засоренные песком, краснели и опухали. Свирепствовал тиф. Каждый день приходили вести о том, что такой-то валяется в тифу в своей палатке, а такой-то умер в хибарке из дерюги и жести, носившей громкое название больницы.

Не лучше обстояло дело и в Кулгарди, в казенной больнице, где хотя и имелись две обученные сиделки, но самое помещение все еще состояло из нескольких холщовых палаток, сквозь стены которых проникала пыль и где над больными носились тучами мухи. Каждый день кого-нибудь хоронили, и кладбище было в ужасном состоянии; запах стоял нестерпимый, наспех засыпанные могилы то и дело проваливались.

Из зарослей несло вонью человеческих и конских нечистот. Всюду кишели мухи, заражая воду и пищу. В эпидемии тифа винили афганцев и верблюдов, грязь и мух. Каждый боялся заразиться. Была сделана попытка очистить местность вокруг лагерей, улучшить условия в больнице и привести в порядок кладбище.

В Хэннане дорога на кладбище вела через заросли, и люди мрачно шутили, что покойник может заблудиться. Лошади едва переставляли ноги и зачастую простаивали по нескольку часов на солнцепеке, пока старатели рыли могилу для своего товарища.

— А вы слышали историю о трупе, который исчез? — спросил однажды вечером Динни.

— Брось, Динни, это, наверно, одна из выдумок Смайлера,— заметил Тупая Кирка.

— Может быть и так,— согласился Динни.— Я-то слышал об этом от одного парня, он говорит, что товарищ его брата рассказал Смайлеру о том, как ребята хоронили старика Бобби Мофлина. Но Смайлер все перепутал. Дело, видимо, обстояло так: товарищи Бобби решили, что он умер, выправили свидетельство о смерти и достали гроб. Но так как они были новичками в этом деле, то плохо заколотили гроб. По дороге на кладбище им попался трактир, и они решили, что стаканчик вина не повредит. Друзья пропустили

не один, а несколько стаканчиков, и когда вернулись к тачке, на которой оставили гроб под жгучими лучами солнца, оказалось, что тело исчезло. У них волосы встали дыбом!

Они никак не могли решить, черт ли утащил Бобби или гробовщик, которому не заплатили за гроб. Но они вовсе не заявляли в полицию, как уверяет Смайлер, и не печатали в «Горняке» объявление: «Потерян, похищен или сбежал труп человека тощей комплекции, более или менее умершего». Просто они нашли Бобби в палатке возле трактира, и в нем оказалось достаточно жизни, чтобы выпить с ними. «За упокой души Роберта Мофлина,— сказал он,— мир праху его».

После этого он спокойно лег и вторично умер. Его товарищи отложили похороны до следующего дня. Но на этот раз они заплатили гробовщику и заставили его хорошенько заколотить гроб, прежде чем отправиться на кладбище.

Лагерь охотнее принял версию Динни, чем рассказ Смайлера: нехорошо смеяться над людьми, которые отдают последний долг старому товарищу.

Но невзирая на удушливый зной, пылевые бури, недостаток воды и пищи и тиф, мечта о золоте не оставляла людей. Жажду они утоляли в трактирах, когда под вечер возвращались с работы,— ведь если воды не хватало, то пива всегда было вдоволь. Мечта помогала людям забывать о сожженной солнцем земле вокруг них, об отчаянной борьбе за жизнь, она укрепляла их верность друг другу и решимость сохранять бодрость духа при любых обстоятельствах.

Слухи о новых находках и сенсационных открытиях на далеких приисках передавались из уст в уста. Дик Идс привез две тысячи унций с участка, который он застолбил к западу от Блестящего Приза и который назвал «Рассвет». Тут же кругом застолбили участки во всех направлениях. Булли Хэйс и его товарищи показывали превосходные образцы с Успеха и Мисс Майн, лежащие за двадцать миль к востоку от Белого Пера. Участки Фингала в Эджудине были проданы английскому синдикату за сто семьдесят пять тысяч фунтов. Шарп застолбил сорок акров к юго-востоку от Мензиса.

В душные тихие ночи старатели, вытянувшись на земле, болтали и курили, а Салли лежала и смотрела на звезды, которые казались мглистыми от зноя. Темнота и бледный серебристый блеск были целительны после нестерпимого солнечного света и зноя, подобного жару раскаленной печи, от которого, казалось, высыхала вся влага в теле. Но даже этот короткий отдых нарушался ревом верблюдов, рычанием и хрюканьем, доносившимся из вонючих верблюжьих загонов Файзы и Таг Магомета.

После работы Моррис обычно уходил с Фриско в ближайший трактир. Пиво лилось рекой, и Моррис частенько возвращался домой пьяный, а Салли даже не могла ни жаловаться, ни упрекать его: пусть, если это хоть как-то поможет ему выдержать адский зной этих мучительных дней.

Во всех лагерях только и было разговору что о грудах золота, обнаруженных в Маунт-Кэтрин и об избиении туземцев под Пиндинни.

После похода Мак-Кэна Динни вернулся в Хэннан и жил теперь в палатке возле Браун-Хилла с одним старым товарищем. По его словам, это Майк Джералд привез те самые образцы, которые дали повод для всяких легенд о грудах золота. Майк отправился вместе с братьями Перри и небольшой партией старателей на Маунт-Маргарет. Там партия раскололась: он, Билл и Сид Перри набрели на кварцевую породу, разбили ее, добыли хорошее золото в крупинках и назвали это место «Маунт-Кэтрин». Россыпного там не оказалось, но несколько дальше они обнаружили еще один пласт, который решили зарегистрировать под названием «Дэзи-Белл».

Пока они занимались разведкой, туземцы напали на лагерь и убили их вьючных лошадей. Старатели пустились в погоню за кочевниками. По пути им встретился Нед Робинс, который, оказывается, наткнулся на дальний конец пласта Дэзи-Белл и застолбил там участок. Нед отправился вместе с ними, чтобы проучить туземцев.

После этого Майк Джералд и Сид Перри, не теряя времени, поехали в Хэннан, чтобы сделать заявку на Маунт-Кэтрин. Робинс поскакал следом. Тогда Джералд и Сид отправились в Кулгарди. Робинс нагнал их, произошло бурное объяснение. Джералд поклялся, что не делал заявки на Дэзи-Белл, и Робинс вернулся дилижансом в Хэннан. Но Билл Перри, остававшийся в Хэннане, вскочил в седло и раньше его примчался в контору инспектора. Когда явился Робинс, все уже было кончено, он опоздал. Все думали, что Джеральду и братьям Перри это сойдет с рук, но Робинс поклялся отомстить им.

Он отправился в полицию и сообщил об избиении кочевников. Джералд и Билл Перри были арестованы, а Сид, услышав об этом, сам отдался в руки властей.

В кулгардийской газете «Горняк» появилась статья, где обращалось внимание на зверское обращение некоторых безответственных старателей с туземцами.

«Произошла жестокая резня,— писала газета.— Не щадили ни стариков, ни женщин. Младенцев отрывали от матерей и раз-

бивали им головы о камень. Женщины подвергались насилиям, и несчастные дикари были почти все истреблены».

Что тут можно было сказать? Каждый житель золотых приисков знал, что темнокожим солоно приходится от некоторых старателей. Все знали, почему племена Пиндинни считаются особенно жестокими и непокорными. Ведь они вели отчаянную борьбу за существование. Чужие люди, верблюды и лошади опустошали их колодцы и водоемы, лишали их дичи, корма и воды. И кочевники пускали в ход копья, чтобы защитить свои права. А белые люди стреляли в них. Раз белые похищали у туземцев воду и пищу, те считали себя вправе красть у белого его пищу. Борьба велась беспощадная, и каждый, кто в те времена в поисках золота уходил в глубину страны, знал, что рискует жизнью.

Джонс Крупинка и Билл Иегосафат говорили, что у них никогда не было столкновений с туземцами, потому что они делились с ними припасами и не трогали их женщин. Тем не менее в местностях, где жили особенно непокорные темнокожие, старатели все же держали ухо востро: спали подальше от лагерных костров и пускали пастись лошадей так, чтобы они всегда были под рукой.

Большой Джим и Клери Мак-Клерен соглашались, что с кочевниками лучше жить в мире. Но ведь если кто-нибудь из них подвергнется насилию, племя считает своим долгом отомстить за него. И тогда для них существует только один закон — око за око, зуб за зуб, и им все равно, чей это глаз или зуб,— месть распространяется на всех белых людей. И белому волей-неволей приходится стрелять, чтобы защитить себя.

Но окружить целое кочевье и перебить всех мужчин, женщин и детей — такую зверскую расправу не одобрял почти никто. Большинство старателей было возмущено резней и, кроме того, опасалось, что от мести туземцев пострадают невинные.

Только Фриско и еще несколько человек взяли сторону Майка Джералда и Перри.

— Проклятых черномазых нужно учить,— заявил Фриско.— Ведь в этих краях житья не будет, если они возьмут верх. Они воображают, что имеют право напасть на лагерь белого и оставить его без всякого продовольствия за сотни миль от жилого места.

Никто не сомневался в том, что Нед Робинс сказал правду, но ему не могли простить разглашение этой правды. Да еще заявил в полицию! Ведь он сделал это из личной мести. Конечно, обидно, что его провели с участком Дэзи-Бэлл; но, в конце концов, чего же он зевал? Мог догадаться, что Майк Джералд выкинет что-нибудь в этом роде.

Одно дело разозлиться и мстить за обиду, а другое — посадить на скамью подсудимых троих людей за убийство нескольких туземцев. Все отлично знали, что ни один суд на приисках не вынесет им обвинительного приговора, и предсказывали, что Нед Робинс еще пожалеет о своем доносе. Так оно и вышло. Ему же пришлось хуже.

Инспектор Финнерти разбирал дело, по которому Майк Джеральд и братья Перри обвинялись в «убийстве нескольких туземцев».

Они заявили, что считают себя невиновными.

Нед Робинс, в качестве главного свидетеля обвинения, рассказал, как началась стрельба и как были убиты несколько кочевников. Но его показания прозвучали неубедительно, и давал он их неохотно. Туземный слуга Робинса, Бен, сказал, что слышал выстрелы и видел, как были убиты темнокожие. Сержант Стокс подтвердил, что он и один его солдат наткнулись среди скал на труп туземца и еще на несколько трупов, лежавших поблизости. Майк Джеральд и братья Перри сознались, что стреляли, но заявили, что это было сделано в целях самозащиты.

«За недостатком улик» инспектор прекратил дело и освободил заключенных. Но Нед Робинс остался под замком за «соучастие в преступлении». И его выпустили только через два-три дня.

Инспектор Финнерти творил суд быстро и решительно, как и требовалось, причем не без мрачного юмора. Ведь здорово получилось! Нед Робинс, доносчик, сам оказался под замком, а обвиненные им люди разгуливали на свободе! Старатели одобрили решение инспектора и всюду в лагерях и пивных смеялись над Робинсом.

Так и надо поступать с доносчиком, говорили они. Робинс хотел, чтобы троих людей повесили только потому, что он был зол на них. Ему так же наплевать на черномазых, как и Майку Джеральду. Разумеется, Робинсу не повезло — его выставили с ценного участка, который он застолбил; но человеку нужно иметь соображение и делать заявку, как только застолбил участок, иначе у него обязательно выхватят его из-под носа.

— Старатель должен знать законы приисков и соблюдать их, если он хочет, чтобы его не обижали,— говорил Динни.— Вспомните, как Карр-Бойд и Билл Адамс выставили Спикмена и Райен с Двадцать Пятой Мили.

Старатели усмехнулись, некоторые угрюмо выругались.

— Это был самый гнусный захват, о котором я когда-либо слышал,— решительно заявил Сэм Маллет.

— Но Карр-Бойд все-таки остался,— заметил Тупая Кирка.

— Это ты верно говоришь, Сэм,— отозвался Динни, задумчиво покуривая.

— Спикмен и Райен и еще один парень по фамилии Эриксон отправились на разведку из Южного Креста. Это было в девяносто втором году, еще до открытия прииска Бейли. Они нашли золото в Улларинге и потом дальше, на Двадцать Пятой Миле. Перед тем как делать заявку, они решили еще хорошенько обследовать окрестности. И вот в одно прекрасное утро они увидели верблюда с грузом на спине. Ребята навели бинокль и убедились, что это не груз, а человек. Они нагнали верблюда. Оказалось, что это доктор Шнейдер, привязанный к спине верблюда. Доктор был при последнем издыхании, несколько дней у него не было во рту ни капли воды, ни крошки пищи. Но Спикмен и его товарищи выходили его, и тогда Шнейдер рассказал им про поход на участок Бейли. Он сам, Адамс и Карр-Бойд были на Мерчисоне, когда пришла весть о походе. Они тут же решили поехать в Кулгарди. Но перед самым отъездом они поссорились, и Адамс и Карр-Бойд уехали одни, без Шнейдера. Шнейдер же пустился за ними на верблюде, но потерял их из виду.

Когда Спикмен и Райен отправились в Южный Крест, чтобы сделать заявку, Эриксон и доктор Шнейдер решили примкнуть к партии старателей, направляющейся из Кулгарди на участок Бейли. И на кого же Шнейдер напоролся? На Карр-Бойда и Адамса. Он тут же принялся хвастать, что нашел золото, а Спикмен и Райен едут в Южный Крест через Улларинг, чтобы сделать заявку, а кроме того, предъявить образцы с Двадцать Пятой Мили.

Карр-Бойд мигнул Адамсу и не отставал от Шнейдера, пока Адамс не ускакал на быстроходном верблюде. Добравшись до Южного Креста раньше Спикмена и Райена, он сделал заявку на их участок. Когда инспектор Финнерти разбирал это дело, ему пришлось, согласно закону, решить его в пользу Адамса. Но когда Карр-Бойд захотел получить свою долю, Адамс послал его к черту.

— Бывают же такие подлецы,— проворчал Сэм.

— Просто не верится,— поддакнул Тупая Кирка.

— Я бы закатал такого парня на всю жизнь,— заметил Пэдди Доу.

— Что это с вами? — рассмеялся Фриско.— Все средства хороши, когда человек ищет золото, лишь бы он не нарушал закон.

ГЛАВА XXVII

В это мучительное лето, когда всюду свирепствовал тиф и люди гибли без воды, возмущение против афганцев все росло.

В безводной местности, где жизнь людей и животных зависела от немногочисленных бочагов и мочажин, загрязнять воду

было преступлением. Однако, следуя по глухим дорогам, афганские погонщики верблюдов располагались возле водоемов, и каждая пылевая буря сметала в воду всякий мусор и отбросы из их лагеря. И не только это: было известно, что афганцы моются и моют ноги в той воде, которую вынуждены пить старатели.

Динни с негодованием говорил об этом, когда возвратился с похода на Девяностую Милю.

— До того как на дорогах появились афганцы и их верблюды, куда бы вы ни пошли, вы могли быть спокойны, что вода, которую вы пьете, чистая и здоровая, хотя ее и немного. Теперь это частенько просто жидкий навоз. А пить ее приходится — другой нет. Афганцы говорят: воду дает Аллах,— и они употребляют ее для омовений, потому что этого требует их вера. И им совершенно наплевать, если вода будет загажена и ее будет пить после них какая-нибудь христианская собака, хотя они сами нигде не станут ни пить, ни есть то, к чему мы прикасались.

— Надо прекратить это,— согласился Моррис.— Джим Шерри рассказывал мне на днях, что когда он добрался до валунов, примерно в шестнадцати милях от Мэнзиса, где, он знал, была вода, он застал там афганцев, которые стирали грязную одежду в одном из лучших водоемов. Он начал уговаривать их, пытаясь объяснить, что ведь они же могут взять воды в какой-нибудь сосуд и мыться где-нибудь в стороне. Но они подступили к нему целой толпой и увели к другому бочагу, где было так мало воды, что не хватило бы даже напоить лошадь. При нем не было оружия, иначе он не подчинился бы им. Потом они опять его окружили, грозили револьвером и швыряли в него камнями. Ему пришлось бежать. Он поскакал в Мэнзис, позвал нескольких ребят и вернулся с ними на то место. Но афганцев и след простыл.

Фриско сердито выругался.

— Хотел бы я видеть, как проклятый афганец отогнал бы меня от бочага или вздумал мыть ноги в той воде, которую я буду пить! — заявил он.

— С месяц тому назад один возчик приехал из Джералдтона,— заметил Сэм, набивая трубку.— И вот он рассказывал, что запруженная вода между Джералдтоном и Маллева́ вся загажена. Афганцы купали там своих верблюдов, а у них спины все в язвах от чесотки. Такая вонь, просто сил нет!

— Мы с Сэмом однажды попытались надуть их,— вмешался Тупая Кирка.— Мы стояли лагерем милях в пятидесяти от Финиша, но там поблизости был хороший бочаг. И когда мы увидели, что один из афганцев купает в нем своего верблюда, мы пожалели, что не можем выстрелить в него. Но у нас не было ружья. Тогда мы повесили на палке кусок соленой свинины над самым бочагом,

и афганцы не могли пользоваться водой: им ведь религия не позволяет брать в рот то, чего коснулась свинья. Но вот появилось человек пять афганцев, а нас было только двое. Они грозились, что свяжут и застрелят любого старателя, которого поймают на таком деле.

— Черт! — воскликнул Фриско.— Неужели мы будем все это терпеть?

— Афганцы ужасно обнаглели,— сказал Янки Боттерол.— А кроме того, они придумали такой фокус: похищать верблюдов. Вот пропадет у кого-нибудь верблюд — является афганец и говорит: «Дай денег, я тебе отыщу верблюда».— «Ладно,— отвечает старатель,— если ты отыщешь моего верблюда, я дам тебе два фунта».— «Ну отдай пока деньги лавочнику,— говорит афганец,— а я пойду искать». Он уходит и через два часа уже приводит верблюда, так как он сам привязал его в зарослях.

— Верно,— сказал Динни.— Не так давно это было просто какое-то повальное бедствие — все верблюды вокруг Кулгарди начали пропадать. А афганцы за поимку требовали награды. Старатели, возвратившись из зарослей, рассказывали, что видели там множество привязанных верблюдов и очень этому дивились.

— Гарри Вернон остановился со своими верблюдами на Третьей Миле. На следующий день два из них исчезли. Он обшарил всю окрестность на тридцать миль вокруг. В солончаковых зарослях, возле Маунт-Берджесса, он встретил старателя, который сказал ему, что видел, как афганец вел двух верблюдов на водопой. Гарри пошел по их следу и нашел своих верблюдов. Они были живы и здоровы и стояли на привязи во дворе у афганцев. Те отказались вернуть верблюдов: один, мол, из них искусал теленка.

Они потребовали возмещения и с воинственными криками окружили Гарри, но теленка ему не показали. Гарри был безоружен. Афганцы пригрозили, что расправятся с ним, если он не заплатит, и они в самом деле могли это сделать, никто бы ничего не узнал. Тогда Гарри отдал им те несколько соверенов, которые были при нем, и они отпустили его. Вернули также и верблюдов, но Гарри говорит, что это в последний раз, когда он оказался в афганском лагере без оружия.

— Так что же будет? — спросил Фриско.— Предоставим афганцам хозяйничать на приисках?

— В Кулгарди организован Антиафганский комитет,— сказал Динни.— И он займется этим делом. Лавочники, конечно, против, потому что афганские погонщики верблюдов дешевле, чем белые. А возчики за нас. Они говорят, что афганцы вытесняют их с дорог. Мы, рабочие, должны покончить с засильем афганцев. Такие богачи, как Файза и Таг Магомет владеют земельной собст-

венностью, они приобретают права на воду и их рабы получают работу, а наши товарищи умирают с голоду. Просто возмутительно. Афганцы роют колодцы, чинят дороги, служат в полиции. Их хозяевам достаются все подряды, потому что они назначают самую низкую цену. Ведь они платят гроши за труд своих несчастных рабов.

— Капитан Саундерс, управляющий рудником султана Раджи Магомета, уверяет, будто благодаря афганцам продовольствие и вода на приисках подешевели,— сказал Моррис.

— Это ложь,— горячо запротестовал Динни.— Когда белые возчики показали, что они умеют обращаться с верблюдами не хуже афганцев, афганцам пришлось снизить цены. В Курналпи именно белые погонщики вызвали понижение цен на продукты. Афганцы, наоборот, всегда взвинчивали цены.

— Везде, где есть рабовладельцы, появляется и «белая шваль»,— вмешался Янки.— Так же было и в Америке. Афганцы располагают дешевой рабочей силой. Скоро и рудокопы на приисках сделаются «белой швалью», если мы не отделаемся от афганцев.

— Отделаемся,— сказал Динни.

— Выкурим их, верно, Динни? — засмеялся Фриско.

— Один из шахтовладельцев сказал на днях в Кулгарди,— продолжал Динни,— что, конечно, рудокопы получают на наших приисках не слишком много. Но афганские и китайские рабочие, безусловно, обходятся дешевле...

— Ну, им не удастся лишить наших рудокопов их законных прав, сколько бы они ни гнались за дешевой рабочей силой,— заявил Тупая Кирка,— этого мы не допустим.

— Вот это верно,— согласился Динни.— Вообще-то я против афганцев ничего не имею, но нельзя допускать, чтобы они завладели всеми водоемами и задушили нас дешевой рабочей силой.

Когда Тедди Ноуллс был арестован и обвинен в убийстве афганца на одной из южных дорог, каждый старатель готов был защищать Тедди. Это был спокойный, честный человек, которого хорошо знали и любили на приисках. Динни поехал в Кулгарди и узнал подробности в Антиафганском комитете, который занялся этим делом.

— Тедди Ноуллс и его товарищ Хэтфилд в фургоне, запряженном волами, ехали по дороге в Эсперанс,— рассказал он Моррису, Фриско и другим старателям, собравшимся вокруг него, когда он возвратился.— Они ехали из Ооднадатты и остановились у водоема, примерно в пятнадцати милях к северо-западу от Понтон-Стейшн. В зарослях оказался большой афганский лагерь с множеством верблюдов, и около четырех часов пополудни, когда аф-

ганцы уже взяли столько воды, сколько им было нужно, подъехал Тедди и тоже хотел набрать воды. Но тут он увидел, что какой-то афганец моет ноги в водоеме. Тедди крикнул ему, чтобы он прекратил это дело.

«И не подумаю»,— ответил афганец.

Тогда Тедди сказал стоявшим рядом афганцам, чтобы они уговорили его взять какой-нибудь таз и в нем мыть ноги. Ведь эту воду придется пить белым. Но они только ухмылялись, переглядываясь между собой.

— А ты откуда это знаешь, Динни? — спросил Моррис.

— Все это Тедди сам написал в письме комитету,— ответил Динни и продолжал: — Тедди подошел к афганцу и попытался отогнать его от воды, но тут подбежали другие афганцы с палками, камнями и ружьями. Камень попал Тедди в лицо, он выхватил револьвер и выстрелил в афганца, который опять нацелился в него камнем. Пуля попала афганцу в плечо, и толпа набросилась на Тедди. Во время свалки его револьвер выстрелил еще раз, и одного афганца ранило в живот. Афганцы вырвали у Тедди револьвер и принялись бить его и пинать. Тут подбежали Хэтфилд и другой товарищ с ружьем, лежавшим у них в фургоне. Но афганцы схватили их, отвезли всех троих в свой лагерь и там привязали их к деревьям. Примерно через час хозяин-афганец подошел к Хэтфилду и несколько раз ударил его хлыстом. Он грозился, что сожжет их всех живьем, если Нур Магомет умрет.

Тедди был привязан так крепко, что задохнулся бы, если бы один парень, Томас Бутчер, ехавший вместе с афганцами, не уговорил отпустить веревку. В таком положении Тедди и его товарищи оставались до трех часов следующего дня, когда со станции приехали Понтон и Колмен и убедили афганцев отпустить их. Тедди явился в Израэлит-Бэй и обо всем сообщил полиции.

Слушатели шумно выразили свое негодование.

— Хэтфилд показал,— добавил Динни,— что сначала на Тедди напало восемь афганцев, а старатель, который пытался спасти его, утверждает, что в лагере афганцев было, по крайней мере, сто восемь верблюдов и при каждом погонщик.

Старатели на всех приисках с глубоким вниманием следили за делом Тедди, которое разбиралось в Олбани. Каждый легко мог представить себя на его месте. Ведь и они страдали от того, что афганцы загрязняют воду и нападают на безоружных золотоискателей, путешествующих в одиночку или по двое в глухих районах страны.

Оправдание Тедди было встречено с волнением и радостью. Этот случай еще больше усилил вражду между афганцами и белыми. Но когда владельцам больших верблюжьих караванов Фай-

зе и Таг Магомету пригрозили запрещением производить перевозки, они велели своим погонщикам на всех дорогах внутри страны соблюдать местные законы и не наносить ущерба другим путникам при пользовании скудными запасами воды.

ГЛАВА XXVIII

Стояло жаркое утро. Салли только что окончила свои хлопоты по хозяйству, и вдруг она увидела Маритану, вышедшую из зарослей. Маритана была совершенно нагая, и ее стройное бронзовое тело отчетливо выделялось в ярком свете.

— О, это ты, Маритана,— воскликнула Салли, обрадовавшись девушке.

— Э-ехм,— пробормотала Маритана улыбаясь.

— Почему ты тогда убежала? — спросила Салли.

Маритана засмеялась тихим, журчащим смехом и покачала головой, как будто причины ее уходов и приходов для нее самой были тайной.

Салли вдруг вспомнила детеныша-кенгуру, которого она воспитывала в Южном Кресте. Его принес ей Динни. Собака Динни набросилась на мать-кенгуру и загрызла ее. А он вынул детеныша из сумки матери. Это был горный кенгуру, прелестное маленькое создание, кареглазое, с длинными ресницами и мягкой коричневато-серой шерсткой. Салли выкормила его из рожка, и скоро он начал прыгать вокруг нее, грыз травинки и ботву из ее рук и следовал за ней по пятам, как щенок.

Динни отгородил для кенгуру уголок во дворе, и она там держала его. Но однажды во двор ворвались бродячие собаки. Они растерзали кенгуренка у нее на глазах. Салли навсегда запомнила это зрелище и тот ужас и гнев, которые овладели ею. Она принялась отгонять собак и так кричала, что Моррис выбежал из дома, но кенгуренок был уже мертв.

Как жестоко поступила судьба с этим кротким беспомощным зверенышем! Салли отчаянно рыдала на груди Морриса. Моррис уверяет, что она никогда так горько не плакала. Прошло много времени, прежде чем этот случай изгладился из ее памяти. Карие глаза и тоненькие лапки кенгуренка еще долго преследовали ее.

И теперь глаза и руки Маританы напоминали ей этого детеныша. Она двигалась с той же дикой и робкой грацией, как кенгуренок, и перед Салли опять встала картина его трагической гибели, свидетельницей которой она была. Салли постаралась изгнать это воспоминание. Но ведь Маритана не такая, как другие тузем-

ки. Вот она стоит, озаренная ярким солнцем, простодушная и беззащитная, и Салли опять представляются злобные псы, растерзавшие кенгуренка. Ее охватил ужас, хотя она и понимала, что подобные мысли просто нелепы.

Маритана почувствовала, что миссис Салли чем-то встревожена. Однако ее приветливый жест и улыбка показывали, что все уже миновало. Салли надеялась, что никто из мужчин не пройдет мимо, пока Маритана оденется. И Маритана сразу отгадала, о чем думает Салли, когда она бросила взгляд на дорогу.

Ей не пришлось говорить — пойди надень платье. Маритана уже ускользнула и принялась за омовение. Вероятно, Фриско очень рассердится, подумала Салли, когда увидит, сколько воды она извела. Но у нее не хватало духу остановить Маритану, которая с радостным смехом намыливалась и обливалась.

Ее волосы были еще мокры и свисали длинными прядями, когда она вернулась к Салли, сидевшей на своем самодельном кресле — это был пенек с тремя обрубками веток, на который набросили кусок мешковины. Маритана облеклась в то платье, которое Салли помогла ей сшить. С сияющими глазами она ждала, позвякивая бусами, чтобы миссис Салли ее похвалила.

— Вот так-то лучше,— сказала Салли, улыбаясь. Маритана ответила ей журчащим смехом — ей казалось, что она отгадала причину волнения белой женщины.

Девушка опустилась на корточки и заговорила:

— Все шла, все шла. Солнце вверх, солнце вниз, я шла... Очень есть хочу.

— Ну, конечно,— сказала Салли торопливо.— Ты сейчас выпьешь чаю и поешь, Маритана.

Пока Маритана уничтожала толстые ломти хлеба с вареньем, Салли сгребла угли в очаге и повесила над огнем котелок с водой. Больше всего на свете Маритана любила попить чаю с Салли, как с ровней и подругой, к тому же сейчас она была очень голодна. Она не проронила больше ни слова, пока не насытилась и не выпила три чашки чаю.

После этого лицо Маританы просияло, и она опять была готова беседовать.

— Есть ребенок? — весело спросила она.

— Господи помилуй! — с изумлением воскликнула Салли.— Нет! Что это тебе пришло в голову?

Маритана радостно засмеялась.

— А у меня есть,— объяснила она.— Мингари оставила ребеночка на камнях, а мы там сидели, помнишь? Бардок сказал, иди в лагерь, там много еды. У черных ничего. Еда? Нету. Вода? Нету.

— Вот как! — Салли с ужасом смотрела на свою гостью. Значит, ее родичи потому и прислали Маритану к Фриско, что у них не хватает воды и пищи! Но как Фриско отнесется к известию о младенце от мингари? И кто отец ребенка? Фриско или Бардок?

Салли знала, что Маритана наблюдает за ней. Она постаралась скрыть свою тревогу и отвращение. Но Маритана мгновенно почувствовала в ней перемену. Она нахмурилась, надула губы и, быстро поднявшись, ушла.

В лагере Фриско в тот вечер было очень шумно. В конце дня он вернулся с работы в сопровождении нескольких приятелей. Увидев Маритану, он бурно приветствовал ее, но тут же ушел в пивную и возвратился только после заката. С ним пришли и его приятели, и когда совсем стемнело, они зажгли керосиновый фонарь.

Салли видела, как в его красноватом свете мелькала стройная фигурка Маританы; слышала смех и шутки мужчин, и ее слова, пересыпанные непристойной бранью. Фриско, напевая, перебирал струны гитары.

Затем мужчины уселись в кружок и началась игра; послышались обычные возгласы и крики. Появились двое недавно приехавших старателей, у обоих из карманов торчали бутылки: они нашли самородок в тридцать унций и решили отпраздновать свою первую удачу в Хэннане.

Но один из них был так пьян, что всем мешал, и его вытолкнули из круга. Тогда он перебрался к костру, где сидела Маритана, что-то напевая про себя и играя с собаками, которые пришли со своими хозяевами. Он уселся рядом с ней. Маритана вскочила и бросилась бежать, но он схватил ее и стал тащить в заросли.

Маритана вскрикнула, собаки кинулись на пьяного. Поднялся дикий шум: брань игроков, крики Маританы, лай собак и вопли пьяного: «Она сама ко мне пристала! Чего вы взбеленились! Подумаешь, дрянь черномазая».

Фриско одним ударом свалил его с ног, а затем обратил свой гнев на Маритану. Он начал трясти и бить ее, награждая затрещинами и пинками до тех пор, пока Маритана наконец не вырвалась и не скрылась в темноте. Салли слышала, как она всхлипывает в ближних кустах. Фриско, поддержав свою честь, возвратился в круг играющих, где его встретили громким хохотом. Игра продолжалась почти до рассвета.

Утром, выйдя из своей палатки, Салли нашла Маритану спящей возле ее костра.

— Юкки! — воскликнула девушка, вскакивая и щурясь на солнечный свет.— Долго были закрыты мои глаза!

Она внимательно следила за тем, как Салли разгребает золу и кладет на тлеющие угли сухие сучья, наливает котелок водой и вешает его на крюк над огнем.

— Инки — злой дух — схватил меня,— объяснила она, пугливо покосившись на палатку Фриско.— Фриско злой, бил меня.

— Я знаю,— ответила Салли.— И я очень за это сердита на Фриско.

— Правда? — удивилась Маритана.

Она побежала к палатке Фриско и так же, как Салли, разгребла золу, разожгла костер, налила в закопченный котелок воды и повесила над пламенем. Потом вымыла лицо и руки, как делала миссис Салли, и поставила чашки и блюдечки на стол в шалаше из веток рядом с палаткой Фриско. Она уже научилась варить кашу и жарить яичницу с салом и теперь хлопотала, готовя завтрак для Фриско.

Накануне Моррис тоже ходил играть к Фриско, но вернулся рано и лег спать. Салли тоже хотела было лечь, но осталась посидеть еще немного, наслаждаясь свежестью звездной ночи. Поэтому она оказалась свидетельницей того, что произошло с Маританой. А Моррис только слышал шум и злился, что ему мешают спать.

За завтраком он сказал Салли:

— Надо выбираться отсюда. Я больше не могу выносить соседство Фриско.

— Если бы мы жили подальше,— горячо подхватила Салли,— мы бы не были вечно на людях. А этой ночью было просто ужасно, я хотела вступиться за Маритану, но...

— Еще что! — сердито крикнул Моррис.— Да разве можно это делать? Такие скандалы неизбежны, когда в лагере заведется туземка.

— Послушай, Морри! — возмутилась Салли.— Да ведь Маритана не виновата, а Фриско зверски избил ее!

— А тебе-то что? — Моррис не терпел возражений.— Фриско, конечно, не должен держать у себя Маритану. Он прекрасно знает, к чему это приведет. Но я не позволю тебе вмешиваться в такие дела. Очень тебе нужно опекать какую-то черномазую туземку.

— Ах, Моррис!

С одной стороны, Салли не хотелось спорить с мужем, с другой — она не могла не упрекнуть его в душе за то, что он не находит нужным защитить Маритану от побоев. Салли мучилась, чувствуя, что ей самой будет не так легко примириться с этим, но она уже видела, в какое неловкое положение может поставить ее вмешательство в судьбу девушки. Как, например, уладится это дело с ребенком Маританы?

На другое утро Маритана снять сидела у костра Салли. Вид у нее был растерянный и несчастный — точно собака, которую ударил тот, кто обычно кормил ее и ласкал.

— Фриско говорит — иди к черту,— сказала она, глядя на Салли, словно ждала от нее объяснения.— Не хочет меня. Не хочет, чтобы черномазая приносила ему тут детей.

Салли охватил гнев. Она была вне себя от боли и обиды за Маритану. Грубое бесстыдство Фриско возмутило ее до глубины души. Она не знала, что сказать девушке. Но вдруг ее осенило.

— А Бардок хочет ребенка? — спросила она.

— Да-а! — Лицо Маританы просияло.— Смеялся и прыгал. Старая жена давно не приносила ребенка.

— Знаешь что, Мири! — сказала Салли.— Возвращайся-ка ты к Бардоку. Ребенку будет лучше с твоими родными.

— Дождя нет,— печально отозвалась Маритана,— у черных воды нет, еды нет. Фриско дает есть.

Салли вздохнула, убедившись, что Маритану к Фриско прислало племя, чтобы получить от него часть его запасов. Она накормила Маритану сытным завтраком, и та скрылась в кустарнике еще до того, как проснулся Моррис.

На следующий вечер к Фриско явился Бардок, его брат и один из старейших отцов племени; Фриско грубо ругался и отказал Бардоку в обычных подарках. Моррис потом рассказал Салли, что Фриско старался дать понять туземцам свое нежелание в какой-либо мере нести ответственность за ребенка Маританы.

Но Бардоку показалось, что Фриско намерен забрать ребенка себе, и дело чуть не дошло до драки. Однако брат Бардока, не раз служивший старателям проводником и кое-как понимавший язык белых, разъяснил это недоразумение. Он заявил, что Маритана жена Бардока, тот может дать ее взаймы белому человеку, но не ребенка, полученного ею от мингари, ибо в ребенке воплощен дух одного из предков племени. Поэтому ребенок принадлежит племени и Бардоку, его отцу.

Когда Фриско понял, что Бардок не связывает беременность Маританы ни с ним самим, ни с Фриско и чистосердечно верит сказке о мингари, он разразился оглушительным смехом и щедро одарил туземцев продовольствием, прибавив к этому обычную бутылку вина и пачку табаку.

— Видимо, считается, что у каждой туземки происходит непорочное зачатие,— заметил он весело, довольный, что избежал тягостных обязательств.— Она может заполучить ребенка от любого камня или бочага, где живут духи предков. Живут они, как видно, и в мингари.

Однако Салли не склонна была с такой легкостью снять с Фриско всю ответственность. И всякий раз, когда он к ней приближался, она немедленно поворачивалась к нему спиной. Она не удостаивала его ни взглядом, ни словом. Моррис говорил ей, что она ведет себя преглупо. Ведь Фриско не оставалось ничего иного.

— Он бы хоть позаботился о том, чтобы Маритана не голодала, пока она носит его ребенка,— гневно возражала Салли.

Племя Маританы еще некоторое время оставалось в лагере подле пересохшего озера; кочевников часто видели в городе. Диннн говорил, что воды и дичи теперь так мало в глубине страны, что туземцы вынуждены выпрашивать пищу у белых.

Однажды Маритана привела своих сородичей к миссис Салли в полном убеждении, что та обойдется с ними так же ласково и дружелюбно, как с ней самой. И Салли почувствовала, что под смеющимся взглядом Маританы гораздо труднее отказать старухе туземке в нескольких горстях муки или сахара, чем бывало раньше, когда она говорила кочевникам, подходившим к палатке: «Нет ничего, идите, идите...»

Маритана несколько побаивалась своих родичей: смиренно стушевывалась в присутствии мужчин и проявляла должное почтение к старухам. Но она весело разгуливала с девушками и детьми в своем когда-то нарядном платье, теперь измятом и грязном. Она до упаду смешила своих подруг, важно выступая по неровной каменистой земле, подобрав юбку, как это делала миссис Салли, или показывала, как миссис Баггинс спешит к опреснителю, вихляя жирными бедрами, и ругает Пэдди Кевана за то, что он помогает возчику распрячь лошадей, вместо того чтобы донести ей тяжелые бидоны с водой.

Вскоре Салли убедилась, что разрыв с Фриско не слишком огорчил Маритану. Она была так же весела и беззаботна, как прежде, бродила с места на место со своим племенем, полуголодная и полуголая, хотя на ней еще остались бусы и клочья сшитого вместе с Салли платья.

Моррис отказался от своего намерения передвинуть палатку подальше от Фриско.

— Стоит ли? — сказал он.— Может быть, мы очень скоро переберемся в Мэнзис или в Кэноуну.

За последнее время многие старатели, разочаровавшись в Хэннане, свертывали свои палатки и уходили. А Моррис считал, что их участок дает слишком мало. Тяга в Мэнзис и Кэноуну все усиливалась, спекулянты уже поговаривали о том, что тот или другой из этих приисков может стать центром золотопромышленности.

Крах рудников лорда Фингала в Лондондерри вызвал общее смятение. Шахты, которые были опечатаны впредь до начала раз-

работок в большом масштабе, наконец открылись, и тут-то обнаружилось, что золото уже исчерпано. Новая шахта и поперечный шурф показали, насколько бедна руда под верхним золотоносным слоем. Акции катастрофически упали, и хотя правление компании делало попытки возместить акционерам понесенный ущерб, многие из них разорились. Золотые прииски Западной Австралии стали неходким товаром на европейском рынке.

В Хэннане закрылись лавки и трактиры. Только несколько стариков старателей еще продували золото в лощине между Маританой и Кассиди. Но Фриско все-таки был убежден, что недаром Брукмен, Чарли де Роз и Зэб Лейн так держатся за свои участки на Большом Боулдере. Они уверяли, что «в ближайшем будущем эти рудники оправдают самые радужные надежды и слава Хэннана вознесется до небес».

ГЛАВА XXIX

Моррисом все сильнее овладевало беспокойство и досада. Он окончательно потерял веру в Хэннан, и его бесили рассказы о людях, преуспевающих на других приисках, тогда как он тратил время, ожидая каких-то благ, которых, может быть, и не дождется.

В той шахте, которую он и Фриско вырыли на участке к юго-западу от Кассиди, золото иссякло. Вот уже несколько недель, как они ничего не добывали. Но участок был удачно расположен, и Фриско упорствовал в надежде все же продать его английским перекупщикам. А те, напуганные наступившим застоем, избегали приобретать участки, которые не сулили немедленной богатой добычи. Похоже было на то, что не скоро появятся покупатели к юго-западу от Кассиди.

У Морриса не было наличных денег. Каким образом Фриско ухитрялся всегда быть при деньгах, этого Моррис никак понять не мог. Правда, Фриско повезло: он нажил несколько тысяч во время бума в Кулгарди, но большую часть этих денег он растратил во время разведки и спекулируя на акциях. Однако он все же как-то держался, покупая и перепродавая золото, получая комиссионные со всевозможных сделок, содержа игру в ту-ап. Салли знала, что Моррис кругом в долгу у лавочников и трактирщиков. Не удивительно, что он так жаждет раздобыть денег.

Когда Кон Магаффи вернулся из Кэноуны с новостями о походе на юго-восток, Моррис решил отправиться вместе с ним. Кон был уже старик, но хороший разведчик. Его товарищ только что умер в больнице после отчаянного кутежа, и Моррис легко уговорил Кона взять его с собой в этот поход.

Фриско не чинил Моррису препятствий, когда тот объявил о своем решении, и выплатил ему двести фунтов отступного за его долю; Моррис нашел, что это очень благородно со стороны Фриско, принимая во внимание, что он, Моррис, хотел просто бросить участок, а цена на участки в Хэннане сильно упала.

До Кэноуны было всего двенадцать миль. Но когда Салли шагала рядом с повозкой под палящим солнцем, эта дорога казалась ей самой бесконечной и утомительной из всех дорог. Моррис приобрел повозку на рессорах и старую белую кобылу, чтобы перевезти все их имущество: палатку, одеяла, небольшой опреснитель, грохот, кайло, лопаты, бачок для воды, провизию, жестяной сундучок Салли и чемодан Морриса.

— Если ты устанешь, ты можешь примоститься на крыле повозки,— сказал Моррис, когда они на рассвете пустились в путь.

Он уже не был ни мрачен, ни угнетен, а, напротив, весел и полон энергии, хотя было свыше ста градусов в тени и солнце нещадно жгло дорогу, извивавшуюся среди зарослей. Старик Кон ехал впереди на своей лохматой лошаденке, а следом за ним шла вьючная лошадь. Облако пыли окутывало и его и повозку Морриса.

Кон был крепкий старик, косматый, как дикий козел, и пахло от него тоже козлом. Ему не понравилось, что его товарищ тащит с собой женщину, и он решил не замечать ее. Тем не менее он свернул с дороги, которая была вся изрыта колесами фургонов, и поехал по верблюжьей тропе, чтобы пыль не летела Салли в лицо; и он же первый в полдень предложил сделать привал.

Моррис еще не успел остановить лошадь, потную и задыхающуюся после тяжелой дороги, а Кон уже развел на обочине костер и повесил котелок с водой.

— Можно и перекусить,— пробурчал он.— Какой смысл надрываться?

— Вот это верно,— поддакнул Моррис, отирая потный лоб темно-синим носовым платком.

Лицо его было багрово-красно от солнца и пыли, но, по-видимому, ничто не могло испортить ему настроение. Салли сняла с повозки мешки с провизией, открыла консервы и принялась нарезать хлеб и солонину.

— Сразу видно, что вы привыкли к походной жизни,— пробормотал Кон.— Только для меня режьте потолще.

— И для меня,— усмехнулся Моррис.— Здесь твои деликатные ломтики ни к чему, Салли. Мы любим, чтобы они были большие и толстые.

Кон вооружился ножом.

— Ломоть хлеба и кусок мяса. Придерживайте мясо большим пальцем, вот так, миссис, а потом запейте все кружкой горячего чая. Лучшей заправки нет на свете.

Он пододвинул к себе мяса и хлеба и принялся за еду. Моррис последовал его примеру. Салли тоже положила кусок мяса на толстый ломоть хлеба.

— А ведь вкусно,— согласилась она, с трудом запихивая все это в рот.

Кон заварил чай, наполнил большие кружки горячим черным питьем и отрезал себе еще хлеба и мяса.

— Хорошо! — сказал он наконец, поднимаясь и потягиваясь.— Вот это, что называется, закусили. Главное — хлеб настоящий. А там, куда мы едем, миссис, будут только лепешки да консервы. Ближайшая лавка за десять миль — хотя вы, конечно, можете прокатиться за покупками в Кэноуну.

Это, видимо, была шутка. Салли из вежливости засмеялась.

— Шикарный лагерь — эта Кэноуна,— продолжал Кон.— Несколько улиц и с пяток трактиров. Деньгами все так и швыряются, и там много веселее, чем в Хэннане.

Моррис охотно бы вздремнул немного. Хотя солнце неудержимо палило красную землю, низкорослые деревья кое-где отбрасывали на нее клочья черной тени. Но Кон хотел засветло добраться до Кэноуны.

Пока путники закусывали, лошади немного отдохнули в тени. Кон уже оседлал свою и готов был тронуться в путь, а Моррис все зевал и потягивался. Салли убрала провизию обратно в мешки и начала запрягать кобылу. Кон подошел к ней, чтобы помочь.

— Вот уж не ожидал,— засмеялся он.— А я-то думал, вы просто дамочка-белоручка. Видно, вы привычная к здешним дорогам.

— Я родилась и выросла в зарослях,— сказала Салли.— И лучше знаю лошадей, чем Моррис. Никогда бы я ему не позволила купить эту клячу, если бы он со мной посоветовался.

— Да, лошадка неважная,— согласился Кон.

— Вислозадая, ноги не пружинят. И, кажется, уже хромает,— сердито сказала Салли.

— Счастье, что нам недалеко,— с беспокойством заметил Кон.— Уж вы постарайтесь как-нибудь, чтобы она не свалилась на полдороге.

Они пустились в путь, но вскоре кобыла начала сильно прихрамывать. Она едва плелась по глубокому и рыхлому песку. Моррис понял, какую он сделал ошибку, купив ее вместе с повозкой у одного старателя, вернувшегося из Курналли. Он решил,

что ничего не остается, как дать старой кляче отдохнуть — покормить ее, бросить на время повозку у дороги, а самим идти пешком в Кэноуну. Но Салли догадывалась, что такое нарушение планов рассердит старика, и, взяв вожжи в свои руки, заставила лошадь идти, ласково уговаривая ее, подбадривая на подъемах, выбирая для нее места полегче, распевая песни, а иногда и вытягивая кобылу по спине.

Это было утомительное занятие в такую жару, под слепящими лучами солнца. Время от времени Кон оглядывался на миссис Гауг, которая неутомимо шагала по пыльной дороге, чуть не таща на себе лошадь, когда та застревала в песке, между тем как Моррис подталкивал повозку сзади.

— Так, так, миссис,— кричал он,— подгоняйте ее, осталось не больше двух миль.

Но эти две последние мили были просто ужасны. Кобыла шла только благодаря объединенным усилиям Салли, тянувшей ее, и Морриса, нахлестывавшего ее веткой. Салли знала, что если кобыла остановится — все пропало. Ничто на свете уже не заставит ее сдвинуться с места. Во что бы то ни стало нужно было заставить ее идти хотя бы тем медленным, почти автоматическим шагом, каким она наконец и добрела до Кэноуны.

ГЛАВА XXX

Кэноуна раскинулась на равнине, изрытой ямами и усеянной грудами желтоватого отвала, красной и бурой глины. Здесь серый, как море, кустарник далеко отступал к горизонту, отливая фиолетовым и густо-синим, когда закат вспыхивал над ним пунцовым и золотым блеском, прежде чем угаснуть в необъятном небе.

Тогда в хибарках и лачугах, выстроившихся вдоль широкой дороги, зажигались огоньки. Эти строения были такие же обветшалые, так же сколочены на скорую руку, как в Хэннане и на холме в Кулгарди, хотя кое-где виднелись то здание гостиницы из песчаника, то лавка из гофрированного железа, сине-серая или побеленная. Под вечер, когда на главной улице появлялись старатели, поселок казался оживленным и преуспевающим. Люди, гурьбой возвращавшиеся со своих участков, толпились перед открытыми барами и лавками, расплачиваясь за вино и продовольствие золотом.

То была грубая и буйная толпа, грубее и богаче, чем когда-либо были золотоискатели в Хэннане, уверял Моррис. Золотые россыпи следовали широкому изгибу подземной реки, и почти все, кто производил разведку по ее течению, находили золото. Участки

были застолблены на много миль в окружности. И хотя отдельные предложения и могли соблазнить богатые синдикаты, Кэноуна в основном считалась прииском всякой мелкой сошки. Высокопробное золото, которое надо было извлекать из жирной серой глины, залегавшей на большой глубине, сулило богатство тому, кто нашел бы выгодный способ его добычи.

Трактир Тома Дойля был самым большим и роскошным — с верандой на деревянных подпорках. Но Кон почему-то не захотел там выпить. Он остановился подальше, у трактира Джиотти, и Салли пришлось ждать в столовой, пока они с Моррисом поили и кормили лошадей, а потом отправились в распивочную, чтобы самим утолить жажду.

Однако Моррис вскоре вернулся к ней и спросил, не хочет ли она стакан портвейну. За ним следом, уже пошатываясь, подошел Кон и стал настаивать, чтобы супруга Морриса, его компаньона, выпила с ними.

— Эй, Вайолет,— обернувшись, крикнул он буфетчице распивочной,— принеси-ка бутылку шампанского для миссис Гауг.

— Но, мистер Магаффи...— начала было Салли.

У нее нестерпимо болела голова. После того как она весь этот долгий жаркий день тащилась пешком, неустанно понукая кобылу, она чувствовала себя совершенно измученной. Больше всего ей хотелось вымыться и выпить большой стакан холодной воды. Но ни того, ни другого ей здесь, видимо, получить не удастся. Зато шампанское — пожалуйста! Она подавила готовый вырваться нервный смешок. Моррис предостерегающе нахмурился. Она поняла, что ей нельзя отказываться выпить с Коном. Он ведь товарищ Морриса, и многое зависит от того, будут ли они ладить между собой, когда уйдут в заросли на разведку, а Кон может обидеться, если она не примет его предложения.

— ...с величайшим удовольствием,— покорно закончила Салли.

Над столом висела самодельная люстра: треугольник из палок, к концам которых были прикреплены сальные свечи. Сало капало на стол, и язычки пламени, мигая, скупо освещали неуютную комнату. Салли разглядела в полумраке земляной пол и покрытые пылью стены из гофрированного железа, засиженный мухами календарь на стене, вазу с розовыми бумажными цветами на дальнем конце стола. Сиденья состояли из древесных стволов, положенных на врытые в землю козлы.

— Фургоны опаздывают, а у них вышел весь керосин,— сказал Кон и весело закудахтал.— Но это не важно, пока есть выпивка и золото. Ну, ты скоро там с шампанским, Вайолет?

— Несу,— ответил спокойный голос.

К столу неторопливо подошла девушка с бутылкой и стаканами. Это было совсем юное создание: черные как смоль волосы, темно-синие глаза и бледное серьезное личико. В этой душной неприветливой комнате она казалась так же не к месту, как и шампанское.

— Скажи хозяину, пусть запишет на мой счет,— небрежно бросил Кон.

— Хорошо, мистер Магаффи,— отозвалась девушка и вышла.

— Кто это? — спросила Салли.

— Это Вайолет О'Брайен. У нее замечательный голос. Она служит здесь официанткой.— Кон принялся откупоривать шампанское.— Славная девчонка. С полгода как приехала из Кулгарди. Я знал ее отца. Больше года назад ушел на разведку, и с тех пор о нем ни слуху ни духу. Оставил жену с целой кучей ребят. Вайолет самая старшая.

Его слова почти тонули в шуме хриплых, пьяных голосов, доносившихся из распивочной. В открытую дверь Салли видела стойку, за которой рядом с толстым смуглым итальянцем стояла Вайолет и наливала вино в стаканы.

Кон наполнил стаканы шампанским. Один он предложил Салли, другой подвинул Моррису.

— Ну вот, миссис, выпьем за нашу удачу.

— Да, да! — Салли принудила себя казаться веселой.— Чтобы вам найти горы золота, и как можно скорей!

Кон хмыкнул и залпом выпил искрящееся вино.

— Чем скорей, тем лучше! Правда, Кон? — Моррис тоже осушил свой стакан.

Шампанское было хорошее. Очень вкусное, только слишком теплое. Салли тянула его маленькими глотками. Однако скоро оно перестало шипеть. Сначала Салли почувствовала себя нехорошо. Но мало-помалу утомление проходило, кости перестали ныть, ею овладело приятное возбуждение. Она то и дело без причины смеялась.

— Наливай еще! — закричал Кон.— Сегодня мы с Морри кутим! Эй, Вайолет, еще бутылку!

— Нет, нет,— взмолилась Салли.— Я не привыкла так много пить, мистер Магаффи.

— Теперь моя очередь! — Моррис вскочил и пошел было заказывать шампанское, но Кон не позволил.— Сиди, сиди.— Он уже совсем захмелел и ударился в амбицию.

— В тот раз, когда мы с моим товарищем здесь пили,— меланхолически заговорил он,— мы явились победителями. Только что вернулись с разведки, привезли с собой четыреста пятьдесят унций... А жажда у нас была такая — кажется, целое море бы

выпили... Боже ты мой, мы чуть не оставили Джиотти без товара. А Барни прямо с ума сошел, вздумал отстреливать головки у бутылок. По всему полу лилось вино, пиво и виски. Ребята хватали бутылки и пили прямо из горлышка — губы изрезали, все в крови. Тогда официанткой тут была такая толстуха, очень неглупая. «Пускай их, Джиотти, говорит, ведь за все заплатят». И верно, заплатили. Обошлась нам эта кутерьма в двести пятьдесят фунтов. Но стоило того! Бедный старик Барни, он не мог пить много спиртного. Свалился в горячке и скапутился еще до того, как мы оплатили хозяину счет. Замечательный товарищ был этот Барни. Другого такого я не видел и не увижу.

Крупные слезы стояли в покрасневших глазах Кона и медленно скатывались по его морщинистому, пропыленному лицу. Салли вздохнула с облегчением, когда подле него появилась Вайолет со второй бутылкой шампанского.

— Надо уважить старика, Салли,— шепнул Моррис,— а потом я уведу его в распивочную.

Стаканы снова наполнили. Салли только делала вид, что пьет, комната и так уже кружилась в золотистом тумане. Голоса в распивочной сливались в далекий смутный гул. Она хорошо слышала только свой собственный голос, который говорил что-то быстро и оживленно. Ей хотелось смеяться и петь. Все выглядело совсем иначе, чем четверть часа назад. Она уже не чувствовала ни усталости, ни уныния и была довольна всем и всеми. Ей нравился и этот грязный смешной кабачок, и старик Кон, такой щедрый и добродушный, хотя и совсем пьяный; впрочем, кажется, и она была хороша.

Но что за беда? В лагере старателей, видимо, нужно уметь и пить и веселиться вместе со всеми. Она надеялась, что Моррис заметит ее состояние и позаботится о ней. Правда, он был почти так же пьян, как и Кон. Все-таки он увел Кона обратно в распивочную. Она хохотала до слез, глядя, как они идут, спотыкаясь, споря и обнимая друг друга — Моррис и этот косматый вонючий старик.

Потом ей захотелось спать. Хорошо бы лечь в постель. Она встала, чтобы найти кого-нибудь, кто показал бы ей, где можно лечь, но комната завертелась вокруг нее. С возмущением заметила она, что не держится на ногах. Она без сил опустилась на стул и заплакала. Веселое настроение сразу улетучилось, она почувствовала, что так же выдохлась и ни на что не годна, как остатки шампанского в стаканах из толстого стекла, забытых на столе. Последняя свеча, расплываясь, еще мигала.

В распивочной по-прежнему было шумно. Но вдруг буйные возгласы, оглушительные взрывы смеха и гомон хриплых голосов

утихли, и в наступившей тишине зазвенел женский голос, словно птица запела, и Салли смутно припомнила слова Кона: «Это Вайолет, у нее замечательный голос».

Сквозь хмель, сквозь душную мглу Салли слышала чистый звук молодого голоса и дивилась ему. Потом Салли задремала и очнулась, только когда девушка стала будить ее, тряся за плечо и нетерпеливо приговаривая:

— Ну пойдемте же, пойдемте. Миссис Джиотти сказала, что вам придется ночевать в моей комнате.

— О'господи,— пробормотала Салли, с трудом поднимаясь на ноги, так как голова у нее все еще кружилась.— Я... я выпила слишком много.

— Да, вы здорово на взводе,— согласилась Вайолет.— Держитесь за меня, я вам помогу добраться до постели.

— Я... я сама...— Салли вскочила, ей стало стыдно, что с ней нянчится эта девочка. Но она тут же покачнулась, и Вайолет, подхватив ее под руку, повела через темный двор в какой-то сарай.

Там стояла одна-единственная койка, а из ящиков из-под сахара был сооружен туалетный столик. Вайолет зажгла огарок и наложила на дверь засов. Салли повалилась на койку.

Вайолет принялась раздеваться.

Салли бессмысленно уставилась на нее.

— А вы снимите платье и корсет,— посоветовала Вайолет,— вы можете спать в нижней юбке.

В ситцевой ночной рубашке, с двумя длинными косами она казалась почти ребенком.

— Давайте я расшнурую вам башмаки.

— Нет, нет, не надо,— запротестовала Салли, но Вайолет уже развязывала узлы на шнурках.

— Хорошо, что вы не толстая,— заметила Вайолет.— Когда мы спали вместе с миссис Джиотти, до того, как мне построили этот сарай, было ужасно тесно. А у официантки, что работала здесь до меня, была собственная палатка во дворе. Она вышла за Боба Пирса, когда он продал свой участок. Ну, да вы это знаете.

Салли не знала, но болтовня Вайолет дала ей время самой расстегнуть лиф, снять корсет и даже нижнюю юбку. Она хотела показать Вайолет, что еще не утратила способность действовать и рассуждать самостоятельно, и решила спать в одной рубашке и панталонах.

Простыни на койке не было. Вайолет пояснила, что спит на старой циновке, а когда бывает холодно, накрывается другой.

Какое блаженство лечь и погрузиться в дремоту, подумала Салли. Она была очень благодарна Вайолет. Ей хотелось объяснить этой девушке, что она не привыкла пить так много вина и

что вообще напилась первый раз в жизни, хотя в вечер их свадьбы Моррис и заказал бутылку шампанского. Это был волшебный напиток, ледяной и сверкающий, как жидкое солнце. Они были так влюблены друг в друга и так бесконечно счастливы, что Салли не знала, отчего она пьяна — от вина или от любви.

Но сегодня она пила жадно, с отчаянием, чтобы превозмочь уныние и усталость и не обидеть галантного старичка. А теплое вино, да еще на пустой желудок, пожалуй, любого свалит с ног. К тому же она смертельно устала. В общем, она была на взводе, как выразилась Вайолет, и теперь ей очень стыдно. Вот поиздевался бы над ней мистер Фриско Мэрфи, если бы знал! Салли надеялась, что он никогда не узнает об ее конфузе.

А что скажет Моррис? Какого мнения о ней эта девушка? Как она сможет опять смотреть людям в глаза? Однако очень скоро сон поглотил и растерянность Салли, и мучительное сознание, что она вела себя неприлично.

Утром Салли проснулась с головной болью и нестерпимой тошнотой. Она встала, вышла во двор, и там ее стошнило. После этого Салли опять легла в постель, чувствуя себя совсем больной.

— Теперь все пройдет,— успокоила ее Вайолет. Она встала, оделась аккуратно под ночной рубашкой, потом вышла во двор и принесла таз, в котором было немного воды.

— Миссис Джиотти сказала, что это нам на двоих,— заметила Вайолет с сожалением. Отлив половину воды в кружку, она оставшейся половиной ополоснула лицо и руки.

Вайолет расплела косы, расчесала волосы, уложила их узлом на макушке. Потом надела простенькое голубое платье. Окончив туалет, она внимательно посмотрела на Салли, которая невольно залюбовалась ее юной красотой.

— Вам нужно опохмелиться,— деловито сказала Вайолет.— Я попрошу чего-нибудь у мистера Джиотти. И на вашем месте я бы встала. Когда вы умоетесь, вам сразу станет легче. Сегодня немного прохладнее, и мужчины уже запрягают. Лучше пусть не знают, что вы вчера наклюкались, верно?

— Верно.— Салли приподнялась на койке. Она чувствовала себя отвратительно, но не могла допустить и мысли, чтобы Моррис или кто-нибудь еще догадался о том, как подействовало на нее шампанское.

Вайолет вышла и сейчас же вернулась со стаканчиком бренди. Салли выпила, и ей сразу стало легче. Умывшись и обтерев все тело мокрым полотенцем, она посмотрелась в треснутое зеркальце Вайолет: на нее глянуло больное, осунувшееся лицо, но все-таки не такое, какое бывает у женщины, которая накануне напилась и теперь не может очухаться. Она смочила волосы, и они

рассыпались по плечам шелковистой волной. Ее глаза лукаво сверкнули на нее в зеркале. Ей уже казалось нелепым, что она так корила себя за вчерашнее.

— Это просто несчастный случай, Вайолет,— проговорила она весело,— но впредь я буду осторожней.

— Все так говорят,— ответила Вайолет.— Здесь так мало женщин, и если у мужчины есть золото, он ничего для нее не пожалеет. И приходится пить, иначе он обидится.

— Ну да,— улыбнулась Салли,— потому-то я...

— Мама говорит, что если уж без этого нельзя, так надо пить только виски,— наставительно заметила Вайолет.— А мистер Джиотти пока совсем не позволяет мне пить. Он очень строг со мной, но это от доброты. Чарли говорит, что я здесь точно в монастыре. Но это все-таки не одно и то же.

И она улыбнулась своей медлительной задумчивой улыбкой.

— Это ужасно, что такая девушка, как вы...— нерешительно начала Салли. Она хотела сказать — вынуждена работать в кабаке.

Но Вайолет угадала ее мысль:

— Это счастье, что я получила здесь место,— сказала она чуть-чуть виноватым тоном, словно оправдываясь.— Маме до зарезу нужны деньги. Когда папа вернется домой, мне больше не нужно будет работать здесь. Может быть, он разбогатеет, и мы уедем отсюда. Тогда я смогу учиться и стану певицей.

— Сколько же вам лет? — спросила Салли.

В больших синих глазах Вайолет мелькнула улыбка:

— Считается, что мне восемнадцать, но это неправда. Мне только четырнадцать минуло. Но вы никому не говорите, пожалуйста. Даже Чарли не знает.

— А кто это Чарли?

— Чарли? Да Чарли Лей.— Вайолет явно удивило, что кто-нибудь может не знать Чарли.— Это мой возлюбленный, то есть был бы, но мистер Джиотти даже не позволяет мне с ним разговаривать. Он говорит, что Чарли — лодырь, вечно торчит у стойки и очень много пьет. Но мне Чарли нравится, и он хочет жениться на мне.

ГЛАВА XXXI

Кон и Моррис собрались в путь рано, они решили не ждать завтрака, чтобы добраться до места как можно скорей. Если проголодаются, можно вскипятить котелок и перекусить по дороге.

Видимо, оба они тоже успели опохмелиться. У Морриса лицо отекло и глаза были красные, а голубые глазки Кона все еще бле-

стели от виски, которым он уже успел накачаться. Оба были не в духе и избегали обращаться друг к другу.

Миссис Джиотти и Вайолет вышли на крыльцо, чтобы проститься с миссис Гауг. Миссис Джиотти бранила мужчин за то, что они так торопятся, но с Салли обошлась очень приветливо и ласково, приглашала погостить у них, когда Салли почувствует себя одинокой или несчастной с этими несносными мужчинами.

Джиотти не показывался. Счет, предъявленный им, оказался больше, чем Моррис предполагал. Кон, видимо, был здесь свой человек и мог пить в кредит, но чужому приходилось платить наличными, и Моррис заплатил без возражений, чтобы поддержать свой престиж.

Однако он дал волю своей досаде, рассказывая об этом Салли, когда они снова шагали рядом с повозкой, следуя за Коном вдоль пыльной дороги, которая поворачивала то на юг, то на восток, извиваясь по обожженной солнцем глинистой равнине; а далеко впереди, у самого горизонта, вставал мираж, маня путников ровной гладью вод и купами тенистых деревьев...

— Не удивительно, что золотоискатели ненавидят эти миражи,— угрюмо сказал Моррис.— Сколько измученных жаждой людей они довели до гибели.

В самом деле, трудно было представить себе, что эта сладостная картина воды и тени — только обман зрения. И Салли хорошо понимала, как она должна действовать на человека, которого мучит жажда в бесплодной, сожженной солнцем пустыне. На восток от этих манящих видений тянулась голубая гряда гор, к которым и направился Кон. Кобыла, сильно прихрамывая, все же упорно тащилась вперед. Теперь можно не торопить ее, сказал Моррис. Ехать по твердой спекшейся глине уже не было тяжело, да и путь их подходил к концу. Кон считал, что от Кэноуны до лощины в горах, где он с Барни Мэлоном несколько месяцев назад открыли месторождение, всего десять миль.

Кон решил, что не стоит пытать счастье вблизи участка Тома Дойля и Биссенджера. Слишком много там уже набралось народу. И находят они пустяки, так сказал ему сам Бизи Баггер.

Время шло, и жара на глинистой равнине все усиливалась. Она давила сверху на путников, пересекавших голсе, открытое пространство, над которым, словно добела раскаленный металл, нависло небо; она поднималась с земли, обжигая ноги сквозь подошвы башмаков, высасывая из человека все силы; Моррис и Салли еле плелись следом за Коном и его лошадьми. Накануне в тени было 110 градусов, но здесь не было и намека на тень. Ничто не защищало Салли и Морриса от огненных лучей, изливаемых солнцем, кроме одежды, которая, казалось, вся сморщилась от зноя.

Какое это было огромное облегчение, когда они добрались до кряжа, где два-три дерева отбрасывали на землю черное кружево тени, и наконец увидели на краю лощины сложенный из веток шалаш Кона! Старик расседлал лошадей, привязал одной из них колокольчик и пустил пастись.

Кобыла Морриса стояла, понурив голову и едва дыша. Салли принялась распрягать, пока Моррис отмеривал лошади ее долю воды. Кон собирался установить опреснитель на соленом озере, расположенном в миле от кряжа. Правда, озеро теперь высохло, но на глубине нескольких футов еще можно было найти воду. Прежде чем они начали взбираться на кряж, Кон осмотрел яму, вырытую им и Барни на краю озера, и убедился, что вода в нее набирается.

Однако пользоваться ею надо было пока как можно экономнее. Опреснитель будет давать воду, годную для питья, но надо еще приготовить для него дров и вырыть еще один колодец, на случай, если в отсутствие Кона в старый упало какое-нибудь животное и загрязнило воду. Кипятильники приходится то и дело очищать от соли и других минеральных осадков, чтобы они не заржавели, так что вода требует труда и времени. Но вместе с тем она является основой всякой жизни в этой полупустыне.

Даже не распаковав вещи и не поставив палатки, Кон и Моррис пошли обследовать местность. Салли видела издали, как они присаживались на корточки, сгребали землю руками и растирали ее на ладони.

— Годится, верно? Говорю тебе, я нюхом чую золото,— услышала она голос Кона.— Завтра я пойду копать вдоль кряжа, а ты можешь заняться продуванием на краю лощины.

Салли начала собирать камни и складывать очаг. Когда мужчины вернулись, вода уже кипела в котелке и обед был готов. Они с удовольствием поели и покурили, а затем неторопливо, как истые старатели, принялись ставить палатки. Почти стемнело, когда они кончили, и в сумерках забелели, точно две раковины, пыльные, залатанные и грязные палатки, поставленные в нескольких ярдах друг от друга на кряже над мертвым соленым озером и широко раскинувшейся глинистой пустыней.

Никогда Салли не спала так сладко, как в ту ночь, говорила она. Вначале, когда она легла, у нее ныла каждая косточка, каждый нерв вздрагивал и трепетал, но скоро она погрузилась в благодатный сон, и утром она была бодра, как обычно. Моррис положил их тюфяки прямо на землю, но он обещал сегодня же сделать деревянные рамы для коек, чтобы у них были удобные постели.

Он вскочил до рассвета и пошел исследовать почву вдоль кряжа. Кон кипятил воду для чая и посмеивался над его нетерпением.

— Успеем, золото никуда не убежит,— сказал он.

Но Моррис с лихорадочной поспешностью проглотил свой завтрак и опять ушел. Он установил грохот и весь день копал землю и просеивал ее.

Кон отказался от помощи Морриса и один ушел на разведку вдоль кряжа. Вернулся он уже под вечер и притащил целый мешок образцов, которые надо было раздробить в ступке и промыть, чтобы узнать, есть ли золото.

Они намеревались назавтра отправиться к озеру, вырыть колодец и установить опреснитель. Поэтому они решили, что сейчас можно взять немного воды для промывки. На всякий случай они сливали использованную воду в бидон из-под керосина, с тем чтобы снова пустить ее в дело, когда она отстоится. А может быть, и следы золота окажутся в воде.

Моррису больше повезло, чем Кону. После того как он осторожно промыл песок с нижнего листа грохота и слил воду, он увидел на дне таза широкую золотую полосу. Таз отливал всеми цветами радуги, и золото весело поблескивало. Моррис смотрел на него, дрожа от волнения. Лицо его сияло радостью.

— Кажется, мы найдем его здесь, Кон! — восторженно крикнул Моррис.— Нужно сейчас же застолбить участок!

— Мы можем застолбить на четверых,— сказал Кон, подмигнув.— Нас здесь уже трое. А если понадобится, мы возьмем четвертого.

— Я на всякий случай запаслась правами,— сказала Салли.— Мистер Квин говорил, что каждая женщина на приисках должна иметь свидетельство. Может, и пригодится.

— Очень хорошо сделали, миссис,— усмехнулся Кон и пошел за Моррисом к грохоту. Моррис уже приготовил столбы со своим именем и номером свидетельства. Они точно соответствовали установленному размеру. Но Кон удовольствовался старыми колышками, которые не раз уже служили ему.

— Было время,— заговорил он с возмущением, после того как они застолбили участок и уселись ужинать,— когда человеку не надо было так беспокоиться об этих кольях: наложишь несколько веток или кучу камней — и все, а если старатель оставлял на участке кайло и лопату, он мог быть спокоен, что никто не захватит этот участок: значит, хозяин болен или ушел по важному делу. А теперь тут бродит так много мерзавцев и жуликов, что надо быть все время начеку, не то они выхватят участок у тебя

из-под носа, и если ты хоть чуточку нарушил правила, суд будет на их стороне.

Моррис проработал под палящим солнцем весь следующий день и еще два, и каждый вечер в грохоте оставалось лишь немного золотой пыли. Оторвался он от работы только для того, чтобы помочь Кону установить опреснитель и привезти воду. Кон же облазил весь кряж, но жилы не обнаружил, поэтому он в очередь с Моррисом рыл землю и тряс грохот.

Моррис первый крикнул: «Есть!» И в его голосе прозвучало такое торжество, что Салли сбежала к нему в лощину, а Кон, бросив лопату, в один миг очутился рядом. Покрытый красной пылью самородок, который Моррис держал в руке, был невелик. Кон считал, что в нем не больше двадцати унций. Но Моррис, сияя от счастья, предложил ему пари на десять шиллингов, что в его находке не меньше тридцати унций. Он поплевал на золото, вытер его о штаны и с восторгом принялся рассматривать.

— Ручаюсь, что это не сиротка, где-нибудь близехонько лежат его сородичи,— заметил Кон.

Потом они поднялись в палатку, и Моррис достал весы; он извлек хрупкий, чувствительный инструмент из подбитого бархатом футляра и установил на ящике. Кон выиграл свои десять шиллингов: в самородке было двадцать унций сто сорок четыре грана. Но это не испортило радости Морриса; доволен был и Кон.

В течение ближайших дней они почти ежедневно снимали с верхней сетки грохота два-три довольно крупных самородка и несколько маленьких красавчиков с нижних листов.

— Мы, наверно, на гнездо напали,— смеялся Кон.

Он был еще более счастлив и горд, чем Моррис после своей первой находки, когда в нескольких шагах от своей палатки, просто на земле, нашел крупный самородок. Это был странной формы корявый кусок золота, который словно выплавили в каком-то доисторическом горне и выбросили на поверхность земли для охлаждения. Но он весил шестьдесят унций, а только это и интересовало обоих старателей.

Они продолжали разыскивать «родственничков», как они выражались, но в течение двух-трех дней им не везло. Между тем запасы их кончались. Кому-то надо было ехать в Кэноуну за мукой и консервами.

— Пора нам сделать заявку на наше золото,— сказал Моррис.

— Подожди немножко,— Кон хитро сощурился.— Мы можем сделать заявку на разработку руды на участке в двадцать четыре акра. Правда, мы еще не нашли месторождение этих красавцев. Но я думаю, что там, где мы с Барни нашли золото, стоит пошарить. А если мы сделаем такую заявку, у нас будет больше

земли, чтобы собрать россыпное, пока никто не разнюхал, в чем дело.

— Если мы предъявим нашим самородки, толпа хлынет сюда немедленно,— сказал Моррис.

— Верно,— усмехнулся Кон,— а мы их пока и не предъявим.

— Чтобы у нас конфисковали участок? — проворчал Моррис.

— А ты об этом не беспокойся,— заклохтал Кон.— Ребята в Лондондерри тоже воздержались. Надо быть дураком, чтобы не припрятать немножко россыпного, когда случай выходит.

Слова Кона не вполне удовлетворили Морриса; все же он согласился с его планом. Он помог ему разведать направление жилы и взять образцы породы. К своей радости, раздробив целый мешок породы, они добыли немного золота — достаточно для того, чтобы оправдать их надежды. Кон решил поехать в Кэноуну за продовольствием, сделать заявку на участок, который они застолбили, а относительно самых крупных самородков пока держать язык за зубами.

— Никакой беды не будет, если мы предъявим кое-какую мелочь,— сказал он.— Уж поверь мне, я знаю, как нужно разговаривать с ребятами. Никто и не подумает, что мы напали на хорошее место.

Салли тоже научилась просеивать золото; теперь и она спускалась каждый день к тому месту, где работали Моррис и Кон. Трясти грохот, держась за его рукоятку, было нетрудно: но вначале она не умела отличить золото от камешков и обломков породы, которые плясали и подпрыгивали на сетке. Кон то и дело выхватывал покрытые красной пылью кусочки золота, которых она не заметила. Но она очень скоро поняла нехитрое устройство грохота и научилась собирать крупицы и маленькие самородки, застревавшие в верхней сетке или падавшие на нижний лист.

Стоять в течение долгих часов, дыша пылью, под палящим солнцем, делать чисто автоматические движения и следить за пляшущими бурыми и красноватыми камешками было скучно и утомительно. Салли просто диву давалась, глядя, как работает Моррис,— упорно, неустанно, точно жизнь его зависела от того, сколько он нароет этих увертливых золотых крупиц.

Они с Коном разбивали кайлом твердый грунт или сгребали в кучи гальку и время от времени прерывали свою работу, чтобы насыпать породы в грохот и посмотреть, как Салли управляется с ним. Мужчины с головы до ног были покрыты горячей пылью. Лицо и руки казались от нее совершенно красными, а обильно струившийся пот прокладывал в этом гриме резкие борозды.

Салли очень жалела, что за работой нельзя накрыться тонким вуалем, который она в жаркие пыльные дни обычно набрасы-

вала на свою шляпку; но вуаль помешал бы ей видеть отчетливо, да и не мог бы защитить ее от пыли — она проникала даже сквозь платье. Эта мелкая красноватая пыль набивалась в глаза, уши, ноздри и рот, она взлетала под ударами кайла и лопат, окутывала грохот, висела в воздухе.

Но если мужчины работают с таким упорством, то и она не может сидеть сложа руки, думала Салли. Моррис и Кон уверяли, что она тоже заразилась золотой лихорадкой, поэтому и трудится так усердно. Она не возражала им, не говорила, что, по ее мнению, золото не стоит тех мучений, которым они себя подвергали ради него. Впрочем, эта нудная работа до известной степени вознаграждалась, когда Салли могла крикнуть: «Есть!» — и Моррис и Кон бросали лопату или кайло и со всех ног кидались к ней.

Пока Кон ездил в Кэноуну, она нашла самый большой самородок из всех найденных ими здесь. Моррис так возликовал, что бросился целовать ее, и целовал до тех пор, пока пот и пыль на их лицах не смешались. Затем они, радуясь как дети, побежали в лагерь, чтобы взвесить самородок. Когда оказалось, что он весит восемьдесят пять унций, Моррис заявил, что по этому случаю можно сегодня бросить работу и отпраздновать находку: помыться, а потом отлеживаться в тени весь остаток дня.

Перед закатом вернулся Кон. Но за ним следовала вереница верблюдов, всадников, повозок и пешеходов из Кэноуны. Увидев это, Моррис начал яростно браниться. Кон тут же покаялся, что он напился и все выболтал. А теперь сюда ринулась целая орава.

Незачем было объяснять, чем это грозит. Скоро земля будет застолблена во всех направлениях, и Кону с Моррисом уже нельзя будет добывать россыпное золото в лощине, как они намеревались. Правда, перед отъездом из Кэноуны Кон отправился в контору инспектора и сделал заявку на участок, который они уже застолбили, но было мало надежды на то, что им разрешат пользоваться этим участком, пока старатели не выкачают всю россыпь.

ГЛАВА XXXII

Между вновь прибывшими старателями и Коном сразу начались недоразумения. Не прошло и нескольких дней, как они прислали делегата, который обвинил Кона и Морриса в том, что они застолбили больше земли, чем имели право, и утаили россыпное золото, не сделав на него заявки. После этого старатели наводнили участок и застолбили его до самой скважины, где, по словам Кона, начиналась открытая им жила.

Кон, взбешенный этим, схватился за ружье и угрожал застрелить каждого, кто сделает попытку искать россыпь на его земле. Моррис кое-как успокоил старика. Послали за инспектором. В ближайшее воскресенье состоялось бурное общее собрание, на котором инспектор вынес заключение в пользу старателей.

Это означало, что заявки на россыпи можно делать вдоль всей лощины и на прилегающей к ней низине. У Морриса и Кона остался только неразработанный кусок кряжа, и они потеряли богатые россыпи у его подножия.

Кон не желал мириться с тем, что ему урезали участок. Он злобился на старателей и мстил им, как только мог; никому не позволял пользоваться опреснителем под тем предлогом, что он слишком мал, воды-де хватает только для него самого, его товарищей и их лошадей. Это была сущая правда, но отказ Кона еще больше возбудил всех против него. Один из старателей установил свой опреснитель на берегу озера и начал продавать воду в Лощине Кона, как они назвали это место.

Моррис продолжал работать на участках с россыпным золотом, которые были оставлены ему и Кону, и на участке, который они застолбили для Салли; но Кон бродил без дела и задирал всех, кто попадался ему под руку. Он никак не мог успокоиться и перестать злиться на старателей, захвативших его участок. Кое-кому из них вначале везло: они находили самородки весом от десяти до семидесяти унций. Но большинство вскоре вытащило свои столбы и ушло, решив, что в Лощине Кона золота почти нет и что только два-три человека смогут добыть что-нибудь у старого русла реки.

Когда у них опять кончились запасы, в Кэноуну поехала Салли. Моррис боялся оставить Кона одного, чтобы тот снова не поднял какой-нибудь истории. Он считал, что если Салли выедет спозаранку, то успеет вернуться до темноты.

Как весело и приятно было выбраться из лагеря, где постоянно происходили скандалы между Коном и старателями. Салли восхищалась Моррисом: все время он следил за Коном и не давал ему сцепиться со старателями, находившими золото.

Моррис сумел сохранить хладнокровие. Он оставался спокойным и бодрым, невзирая на всеобщую враждебность к нему и к Кону. Он не обращал внимания ни на косые взгляды, ни на обидные замечания. Зато Кон кричал: «Разбойники, воры, мерзавцы!» — когда Сэм, Мак-Гин или кто-нибудь еще из удачливых старателей проходили мимо. Однажды вечером Мак-Гин и его товарищи явились к Кону, и ему пришлось бы плохо, если бы Моррису не удалось выпроводить их.

— Это у него от солнца, ребята,— заявил Моррис.— Он не в себе. Сам не знает, что говорит. Не станете же вы бить хворого старика!

— Все это очень хорошо,— пробурчал Мак-Гин.— Но мы не позволим ему обзывать нас. Вы оба хотели обмануть старателей, утаить россыпи. Мы в своем праве, и вы это знаете. Если он не заткнется, мы его выставим из лагеря.

После этого Кон замолчал и стал вести себя более благоразумно. Он знал, что старатели правы, протестуя против его грубостей. Они могли простить ему попытку обойти закон, но не его злобу на товарищей, когда эта попытка не удалась. Кон сам был виноват, что все разболтал и привел их за собой в лощину, и это больше всего его и бесило. Моррис говорил, что теперь все равно не вернешь и нечего тужить об этом. Когда россыпное золото истощится и они с Коном получат право на разработку руды, то можно будет продать участок и выручить за него несколько сот фунтов.

Салли ехала не спеша по едва уловимому следу, оставленному колесами на глинистой дороге. Стояло свежее утро. Она не боялась заплутаться, хотя придорожных столбов не попадалось на протяжении многих миль в этой выжженной солнцем пустыне. Моррис предупредил ее, что если она встретит по пути афганцев или туземцев, пусть не обращает на них внимания, что бы они ни говорили, и спокойно едет дальше. Туземцев Салли не боялась, но встретить караваны верблюдов с их смуглыми погонщиками ей было бы неприятно.

Однако за все утро она не видела ни одного живого существа, кроме ворон, летающих под ясным небом. Только когда она уже подъезжала к городу, ее обогнало несколько старателей, кативших в Кэноуну на велосипедах. Они с удивлением смотрели на женщину, одиноко сидевшую в повозке и правившую белой клячей, и, почтительно проговорив «с добрым утром, миссис», ехали дальше.

Потом она поравнялась со стариком, который плелся по дороге с тяжелым узлом за плечами, таща на себе все снаряжение старателя; Салли остановила лошадь и предложила подвезти его.

— Не ангела ли мне бог послал? — улыбнулся старик. Он взвалил свои вещи в повозку и взобрался сам.

Он идет на север; начался поход в район Лейк-Дарлота, рассказывал старик, усевшись рядом с Салли на доске, которую Моррис приладил для нее вместо сиденья. Там у него есть старый товарищ, он прислал сказать, что надо спешить. Его имя? Да не все ли равно? Может быть, миссис когда-нибудь слышала про Гарри Марь? Так его прозвали с тех пор как он чуть не погиб и ухитрился сохранить душу в теле только благодаря тому, что сосал марь.

Он прибрел в лагерь весь облепленный ее зубчатыми листочками. Поэтому-то парни и стали его так звать, а он был весьма признателен этой травке за то, что она спасла ему жизнь. Если удастся разбогатеть в Дарлоте, добавил старик, он всегда будет помнить тот день, когда тащился пешком в Кэноуну, а миссис Гауг так любезно подвезла его.

Они расстались у лавки, где Салли остановилась, чтобы закупить припасы. Лавка оказалась битком набита покупателями. А на главной улице было больше старателей, лошадей и верблюдов, чем обычно в этот утренний час.

— Видно, слухи насчет Дарлота уже дошли сюда,— усмехнулся старик.— Дальше я пойду не один, миссис.

Салли пришлось ждать. Лавочник прямо с ног сбился, обслуживая столько народу зараз. Все только и говорили что о походе в Лейк-Дарлот. Дэвид Карнеджи явился в Кулгарди и принес с собой оттуда немало россыпного. А Джимми Росс, один из первых золотоискателей на Лейк-Кери и Маунт-Маргарет, уверяет, что на Лейк-Дарлот и в Боуден-Рендже самые богатые золотоносные пласты, а уж он ли не знает всю местность от Холлс-Крик до Виджимулты. Кэтмор в несколько дней набрал унций сто. Некоторые пробы, вероятно, дадут тысячу унций на тонну. Джимми считает, что там можно без труда взять свыше тонны богатой руды.

Недавно прошли грозовые дожди; но, вообще говоря, условия разведки там трудные, и надо иметь в виду, что придется бо́льшую часть года возить воду за десять или двадцать миль. Лейк-Дарлот лежит за триста миль к северу от Хэннана, и кочевники вокруг Пиндинни и Маунт-Кэтрин настроены воинственно и ненавидят белых.

Наконец лавочник занялся Салли. Сделав покупки и наполнив бачок свежей водой, она подъехала к трактиру Джиотти, чтобы повидать Вайолет. Как давно она не была в гостях! Салли решила, что успеет покормить лошадь и выпить чашку чаю до того, как пора будет пуститься в обратный путь.

Мистер Джиотти сам отвел кобылу в конюшню — это был просто-напросто плетеный навес на четырех столбах — и задал ей корму, а Вайолет и миссис Джиотти приняли Салли так, как будто она их лучшая подруга.

— Входите, входите, сейчас будем чай пить,— радушно говорила миссис Джиотти, пересыпая свою речь итальянскими словами.— А мы с Вайолет вспоминали вас: как-то теперь живется бедненькой миссис Гауг? Ведь там в лагере нет женщин, кроме вас! Да, да, я знаю, что это за жизнь и как хорошо иногда повидаться с друзьями.

Весело болтая и смеясь, миссис Джиотти проводила Салли в крошечную кухню, где стоял запах чеснока и солонины, жужжали мухи и жгли солнечные лучи. Передвигая горшки на плите, она продолжала говорить без умолку, рассказывая о трудной жизни в этой проклятой пустыне и выражая сочувствие миссис Гауг, которой приходится терпеть неудобства и лишения в старательском лагере.

Миссис Джиотти, рыхлая добродушная женщина, сохранила свою привлекательность, несмотря на полноту. Черные, как вороново крыло, волосы были высоко уложены над полным лицом, красным от жары и вина — она любила выпить. У нее были прекрасные глаза и ослепительные зубы. Когда-то она пела в опере, но не была так знаменита, как ее Альберто,— он даже целый сезон пел «Риголетто» в Ла-Скала. Однако в небольших ролях и Бианка имела бесспорный успех. Да, да. Но все это — пока не пошли дети. А как можно, кочуя с места на место, растить ребят?

Она научилась стряпать, и Альберто говорит, что она стряпает лучше, чем поет. Ей это очень пригодилось, когда он потерял голос из-за болезни горла, и ей пришлось открыть маленький «ристоранте». Но, видно, за их грехи пресвятая матерь божия послала их в Австралию, где брат Альберто заработал кучу денег на приисках. Жить в этой Кэноуне — сущее испытание. Но денег здесь можно заработать больше, чем выступая в Ла-Скала или содержа «ристоранте». Когда-нибудь они всей семьей — она, Альберто и дети — вернутся на родину и будут жить там припеваючи.

Пока миссис Джиотти болтала, Вайолет приготовила чай. Она не проронила ни слова, но Салли не раз перехватывала ее серьезный, задумчивый взгляд и улыбалась ей в ответ, давая понять, что заехала к Джиотти ради нее.

Когда Вайолет позвали в расшивочную, миссис Джиотти сказала, что очень беспокоится за нее.

— Я очень люблю Вайолет, она хорошая девушка, а какой у нее голос! — Миссис Джиотти заговорила таинственным шепотом.— И до смерти будет жалко, если она испортит себе жизнь ради такого лодыря, как Чарли Лей.

Миссис Джиотти тут же созналась, что, собственно говоря, Чарли ей лично нравится. Да и всем он нравится. Мужчины уверяют, что он отличный товарищ, хотя и был просто английским фертиком, когда явился на прииски несколько лет назад. Сначала ему везло, но он спускал все деньги на вино и карты. А сейчас он на мели и влюблен в Вайолет — просто с ума сходит по ней! Клянется, что застрелится, если она за него не выйдет.

Вначале Вайолет не обращала внимания на Чарли. Она привыкла к тому, что мужчины любезничают и шутят с ней. Но когда кто-нибудь позволял себе вольность или непристойное слово, она держалась, как маленькая принцесса, да и Джиотти не допускал ничего такого: если посетители не умеют себя вести с девушкой, пусть убираются вон. Но Чарли Лей открыто ухаживал за Вайолет, а напившись, так скандалил, что Джиотти не стал пускать его. Джиотти очень сердится на Вайолет за то, что она встречается с Чарли по воскресеньям. Джиотти отказался давать ей уроки пения и заявил, что отправит ее домой, если она не порвет с Чарли.

— Но Вайолет слишком хорошо работает,— заключила миссис Джиотти,— и Альберто с ней не расстанется. Он боится, что Чарли все-таки уговорит ее выйти за него.

Вайолет вернулась в кухню, и Салли начала собираться. Но миссис Джиотти подняла крик: как это можно отпустить миссис Гауг без обеда! Салли объяснила, что она обещала мужу возвратиться засветло, и поэтому ей пора ехать. Не то он решит, что она заблудилась, да и нетрудно заблудиться, если ночь застанет ее в пути.

Тут миссис Джиотти всполошилась и сама стала торопить свою гостью.

— Но вы непременно приезжайте еще,— гостеприимно приглашала она,— у нас и переночуете. Нельзя делать два конца в такой жаркий день.

Миссис Джиотти предложила, чтобы Вайолет немного проводила миссис Гауг и потом вернулась пешком. Девушка хоть развлечется, а к обеду она поспеет.

Вайолет вскарабкалась на повозку и села рядом с Салли. Лицо ее было сумрачно, синие глаза потемнели. Как только они отъехали от трактира, она сказала смущенно и слегка вызывающе:

— Вам, наверно, миссис Джиотти говорила про Чарли?

— Ну конечно.— Салли улыбнулась дружеской и сочувственной улыбкой.

— Я люблю Чарли,— сказала Вайолет, насупившись и устремив взор на безлюдную равнину.— Но я не хочу выходить за него замуж.

Салли не знала, что ответить на это, и сказала первое, что ей пришло на ум:

— Вы еще так молоды, Вайолет.

— Да не в этом дело,— досадливо отозвалась Вайолет.— Если я достаточно взрослая, чтобы влюбиться, значит, я и замуж могу выйти.

— Конечно...—Салли вдруг почувствовала, что эта девочка, пожалуй, знает о любви и браке больше, чем она сама. Во всяком случае о том, как с этим дело обстоит на золотых приисках.

— Я не хочу выходить замуж,— горячо продолжала Вайолет, я не хочу, чтобы мужчина командовал мной и награждал меня ребятами. Мама говорит, что все мужчины одинаковы. Они на все готовы, лишь бы добиться своего, а потом прости-прощай! И им все равно, что будет с тобой и с ребенком. Мама говорит, что когда-нибудь девушка должна выйти замуж и приспособиться к мужу. Но я не хочу! Не стану я приспосабливаться к человеку, который сегодня любит меня, а завтра готов бросить. И папа такой. Но мама сама виновата. Когда он является домой пьяный и говорит ей всякие сладкие слова, она перед ним тает, а он поставит ей фонарь под глазом, наградит ребенком и опять уходит на разведку. Но я же люблю его, говорит мама, и разве можно осуждать мужчину за то, что он делает, когда выпьет...

Старая кобыла медленно плелась по дороге, вздымая мягкую пыль, а Вайолет продолжала говорить, явно обрадовавшись возможности высказать кому-нибудь свои сомнения и горести:

— Она права, я тоже очень люблю папу, а он так мною гордится да и всеми нами. Когда ему везет, он ничего для нас не жалеет. Тогда мама — самая красивая женщина на приисках, и ни у кого нет таких чудных детей. И папа бросает деньги направо и налево, и он всегда веселый и добрый. Но когда дела идут плохо, он сразу раскисает, начинает пить и безобразничать. И уже мама — несносная дура, а мы грязные сорванцы и наказанье божие. А все оттого, что он большой барин, говорит мама. Папа уверен, что он имеет право на все самое лучшее в жизни, и сразу теряет голову, когда так не получается. Мама, должно быть, была красива в молодости, хотя теперь этого не скажешь. Она служила в ресторане, когда папа на ней женился. Его семья считала, что мама не пара ему. Вот почему у нас нет никакой родни, и маме приходится очень трудно, когда надо кормить нас, пока папа ходит на разведку. Я слишком хорошо знаю, что такое замужество, чтобы самой теперь пойти на это. А потом — ведь я работаю. Маме никогда бы не справиться, если бы я не отдавала ей свое жалованье. Но Чарли...

В суровом и гневном молодом голосе появились нежные печальные нотки:

— Я люблю Чарли. Никогда не думала, что могу так полюбить кого-нибудь. Но он такой красивый и совсем другой, чем все остальные. Когда он протрезвится, вымоется, наденет чистую рубашку, на него так приятно смотреть! Просто сердце замирает, как только увидишь его. А взглянет на меня — и мне чудится, буд-

то я в церкви, все во мне поет и точно звенят колокольчики... Другие парни тоже ухаживают за мной и хотят на мне жениться,— задумчиво продолжала Вайолет.— Но никто так не влюблен в меня, как Чарли. Он говорит, что у меня глаза точно фиалки и все такое, и ухаживает за мной при всех. Он говорит, что если я пообещаю выйти за него, то он начнет новую жизнь, бросит пить, будет откладывать деньги и возьмет меня из этого мерзкого трактира.

Мы будем жить в Лондоне, Париже или Нью-Йорке, и я смогу учиться пению. Его мать — богатая женщина, говорит Чарли, и зовет его домой, но он не хочет ехать без меня. А как я оставлю маму и ребят, пока отец не вернулся? И как я могу верить Чарли, миссис Гауг, когда он на другой день забывает об этой новой жизни, напивается до бесчувствия, скандалит и товарищи должны тащить его домой? На него тогда смотреть противно, и я просто ненавижу его.

«Что тут можно сказать?» — думала Салли.

— Ах, бедненькая! — воскликнула она.— Я понимаю, каково вам, но было бы хуже, если бы...

— Знаю,— согласилась Вайолет.— Я так и сказала Чарли, когда он опять обещал не пить месяц назад. Было бы еще хуже, если бы мы были женаты. Он старался. Он старался не пить, миссис Гауг. Почти три недели капли в рот не брал. А потом началось все сначала...

Теперь Чарли появлялся в трактире каждую субботу, напивался и приставал к Вайолет, ревновал ее ко всем, скандалил. Он готов был избить любого посетителя, который подходил к стойке, чтобы поболтать с девушкой. Джиотти запрещал Чарли показываться в трактире, потому что от него просто житья не стало.

— Это правда,— призналась Вайолет.— Но мистер Джиотти смотрел на это сквозь пальцы, пока Чарли платил за вино. Хозяин очень много заработал на нем. А теперь, когда у Чарли нет денег, мистер Джиотти переменился к нему и грозится отправить меня домой, если я не порву с Чарли. В прошлую субботу разыгрался ужасный скандал, и Чарли ушел, заявив, что он убьет себя.

— Какой ужас! — воскликнула Салли, терзаясь тем, что ей нечем утешить Вайолет.

— Мама говорит: если человек грозится покончить с собой, он этого никогда не сделает,— хмуро сказала Вайолет.— Но я боюсь за Чарли, миссис Гауг. У него был такой отчаянный и безумный взгляд, и он сказал: «Жизнь без тебя, Вайолет, для меня ничего не стоит. Если я не могу видеть тебя и говорить с тобой, то чем скорее она оборвется, тем лучше!»

— Нехорошо, что он так мучит вас,— сказала Салли.

Она подумала, что Вайолет, видимо, не принадлежит к тем девушкам, которые легко плачут. Ее угрюмый взгляд выражал напряженную работу мысли, но глаза были сухи.

— Об этом он и не думает,— сказала Вайолет.— И зачем я так сильно люблю его, миссис Гауг? Если бы он не пил, я, вероятно, все-таки вышла бы за него. Но я хочу уехать отсюда, когда папа вернется, и стать певицей.

— Певицей? — переспросила Салли, радуясь, что любовь не отвлекла девушку от заветной мечты.— У вас прелестный голос, Вайолет.

— Мистер Джиотти говорит, что я могу стать мировой знаменитостью, как Мельба,— просто сказала Вайолет.— Он давал мне уроки пения, до того как рассердился на меня из-за Чарли. А теперь он говорит, что если я способна погубить свою жизнь ради первого смазливого лодыря, то со мной не стоит и возиться.

— Я уверена, Вайолет, что вы не погубите свою жизнь,— твердо сказала Салли.— У вас слишком сильный характер и достаточно здравого смысла.

— Вы думаете? Вы серьезно так думаете? — Вайолет обратила на нее сосредоточенный взгляд.

— Уверена,— повторила Салли.

Вайолет сказала, что ей пора возвращаться. Она слезла с повозки и постояла на пыльной дороге, глядя на Салли.

— Надеюсь, вы правы. Я хочу надеяться, что вы правы, миссис Гауг,— проговорила она с сомнением в голосе.

Салли хотелось сказать ей на прощанье что-нибудь утешительное и ободряющее.

— И помните, Вайолет,— крикнула она, обернувшись,— первая любовь — не последняя любовь!

Чего ради она это сказала? — спрашивала себя Салли, погоняя кобылу. Разве она не полюбила Морриса, когда была немногим старше Вайолет? И разве она и до сих пор не любит его? И неужели она могла бы полюбить кого-нибудь другого? Нет, конечно, нет. И все же Салли старалась отогнать мысль о том, что ее пылкая любовь к Моррису уже перешла в спокойную привязанность. В браке люди привыкают друг к другу, говорила она себе. Вполне естественно, что между ними уже нет прежней влюбленности; но это вовсе не значит, что связывающие их узы стали менее прочными или менее дороги им. Напротив, это значит... Что это значит?

Салли хлестнула свою клячу. Она торопилась пересечь пустынную равнину до наступления сумерек. Пока Салли разговаривала с Вайолет, кобыла ползла, как черепаха. Если она теперь захромает, будет очень плохо. Салли радовало, что Вайолет дове-

рилась ей. И она надеялась, что девушка послушает ее совета. Она так молода и вместе с тем рассуждает как взрослая; так трезво смотрит на жизнь и все же сбита с толку своей любовью к Чарли.

Хоть бы ей повезло, она могла бы стать знаменитой певицей, думала Салли. У нее, бесспорно, прекрасный голос, и если обстоятельства сложатся благоприятно, она создаст себе славу. Но вырвется ли она когда-нибудь из этого дрянного трактира, из атмосферы необузданных страстей, которые разжигает этот пустынный, спаленный солнцем край?

Мысли Салли были так заняты судьбой Вайолет, что она не замечала дороги. Закат уже пылал, а горный кряж все еще неясно маячил вдали, когда вдруг она поняла, что темнота наступит раньше, чем она доберется до Лощины Кона. Но она видела на горизонте знакомое нагромождение валунов и знала, куда надо держать путь.

Небо окрасилось в лиловые, затем в зеленые тона; вспыхнули первые звезды; Салли начала тихонько напевать под размеренный шаг кобылы, которая, несмотря на усталость, шла теперь бодрее, так как чуяла конец путешествия.

Салли не чувствовала себя чужой в этих необозримых таинственных просторах. Ведь это все та же Австралия, говорила она себе. Правда, здесь все совсем иначе, чем в южных лесах, где она выросла. Но это тоже ее родина, и здесь она дома. Она доказала Моррису, что может быть самостоятельной и не боится этого. Ей не терпелось рассказать ему все, что она слышала о походе на Лейк-Дарлот и как она пила чай у миссис Джиотти.

«Первая любовь — не последняя, Вайолет!» Все-таки странно, почему она это сказала? И почему эти слова то и дело приходят ей на ум?

Когда лошадь, спотыкаясь, перевалила гору и начала спускаться, Салли соскочила наземь и повела ее под уздцы. Не мудрено было и заблудиться в такой темноте. Она громко позвала Морриса, и он издали ответил ей. Увидев пламя костров в Лощине, она очень обрадовалась. А вот и Моррис идет встречать ее с фонарем.

— Ах, милый, как хорошо опять быть дома!

ГЛАВА XXXIII

Пока Салли ездила в Кэноуну, слухи о походе на Лейк-Дарлот уже дошли до Лощины Кона. Всего пять-шесть человек еще искали россыпи на своих участках, да и те за последние недели добывали всего лишь по нескольку унций. Поэтому они немедля

вытащили столбы, скатали палатки и одеяла и приготовились пуститься в путь.

Весть о походе привез агент одного английского синдиката. Он ездил осматривать участок Тома Дойля и Биссенджера на северо-востоке и решил также взглянуть и на Лощину Кона. Месторождение заинтересовало его, и он уплатил Мак-Гину и его товарищам сто фунтов за их участок; Моррису с Коном он предложил сто фунтов за россыпь и триста фунтов за участок под разработку руды.

Кон ухватился за это предложение. Он хотел отправиться в Дарлот, и хотя Моррис полагал, что следовало бы дождаться более высокой цены, он в конце концов согласился с тем, что и это хорошо: ведь залежь оказалась очень бедной. Россыпное золото в Лощине было, по всей видимости, почти исчерпано. А главное — Моррис не меньше Кона жаждал попасть на Лейк-Дарлот.

На другое утро Кон поднялся чуть свет и привел своих лошадей. Салли помогла Моррису снять палатки, уложить грохот в повозку и погрузить на нее инструменты и лагерное снаряжение. Она тоже рада была расстаться с этим голым, унылым местом, с угрюмым кряжем, мертвым озером и необозримой, выжженной солнцем равниной. Ей, так же как и мужчинам, хотелось поскорее собраться и выступить. Через час они с Моррисом уже шагали вслед за Коном по спекшейся глине.

Кон ехал впереди на верховой лошади, а за ним плелась вьючная. Салли и Моррис шли рядом со своей повозкой. На повозку им пришлось погрузить опреснитель, который они разобрали, остановившись у озера. Они очень беспокоились, вытянет ли кобыла такой груз: ведь она только накануне прошла весь путь туда и обратно.

— Ничего, вытянет,— заявил Моррис, который был настроен оптимистически.— Она умница, наша старушка, так же как и ты, моя дорогая.

Салли рассмеялась:

— Разве я похожа на старую клячу?

— Не совсем. У тебя нет одышки и не дрожат коленки,— согласился Моррис.— Но ты так же честно готова тащить тяжелый груз.

— Моррис! — воскликнула Салли, обрадованная похвалой мужа.

— Лощина Кона — самый трудный лагерь, какой мне приходилось видеть,— сказал Моррис.— И никогда я не встречал такого враждебного отношения к себе со стороны старателей, как здесь. Конечно, мы с Коном сами виноваты: обошли правило. Но, в общем, мы не в убытке. Вот увидишь, скоро акции Лощины Кона

будут выпущены на рынок по фантастической цене и какой-нибудь английский биржевик наживет на этом тысячи.

— А другие разорятся?

— Это неизвестно. Может быть, здесь окажется больше золота, чем мы думаем, если заложить шахту и разработать руду. И тогда мы будем ругать себя за то, что продали участок.

— Я рада, что мы выбрались оттуда.

Солнечные лучи обжигали их. Пот струился по лицу Салли. Пыль, вздымавшаяся из-под колес повозки и из-под ног Салли, оседала на ее коже и одежде.

— Там, куда мы идем, будет хуже, чем в Лощине Кона,— хмуро заметил Моррис.— В сущности, тебе нельзя туда ехать.

— Но, Моррис...— Салли не могла скрыть своего огорчения.

— Ты могла бы поехать на время к Олфу и Лоре, или к Мари Робийяр, или пожить у Фогарти, но только не в качестве служанки. Я больше не допущу этих глупостей.

— Нет,— решительно заявила Салли.— Я могу прожить у Лоры или Мари самое большее неделю, а ты будешь в отлучке несколько месяцев. Почему мне нельзя ехать с тобой на север, Моррис? Кон говорит, что я управляюсь в лагере не хуже мужчины.

— Знаю,— нехотя согласился Моррис.— Ты отлично все выдержишь.

— Сэнди Галлахер повсюду возит с собой жену,— настаивала Салли.— Она была и в Курналии и в Финише.

— Я не Галлахер, и ты не такая дюжая дылда, как «Сара-Господи Помилуй».

Несколько минут они шагали молча. Потом Моррис, покосившись на опечаленное лицо и поникшие плечи Салли, сказал негромко:

— Хватит и того, что я притащил тебя сюда, Салли. Я просто не могу больше видеть, как ты плетешься вот так, измученная, грязная, и все стараешься быть веселой и бодрой.

Он посмотрел на нее взглядом, полным глубокой любви и нежности, так редко пробуждавшихся в нем. И глаза Салли расширились, когда она ответила на этот взгляд.

— Я не хочу разлучаться с тобой, Моррис,— воскликнула она,— мне всюду хорошо, лишь бы быть вместе. Даже здесь, в жаре и пыли.

Моррис крепко обнял ее и поцеловал. Это была счастливая минута. Если бы Кон оглянулся и увидел, как они стоят обнявшись под палящими лучами полуденного солнца, он решил бы, что они просто сошли с ума. Ни разу, подумала Салли, старик не видел, чтобы они нежничали друг с другом. Она была счастлива сознанием, что Моррис все еще способен забыть, где они находятся,

сжать ее в объятиях и целовать со всем пылом влюбленного. Такого порыва у него не бывало вот уже несколько месяцев.

И когда они снова зашагали по пыльной дороге, им даже казалось, что мили летят быстрее. Они шли, держась за руки, точно дети, очень довольные друг другом, и на сердце у них было легко и радостно. Длинное платье Салли мело пыль, а по лицу Морриса струился пот, бороздя спекшуюся грязь. Но они, забыв про палящий зной и пыль, шутили и дурачились, словно вернулась счастливая пора их юной любви.

В полдень Кон сделал остановку. Он вскипятил воду. Салли и Моррис напились чаю и закусили. Затем они тронулись дальше. Кон уже забыл об обиде, которая чуть не довела его до безумия в Лощине. Он был очень оживлен и предвкушал выпивку у Джиотти. Предложил Салли уступить ей свою лошадь, но Салли сказала, что если она устанет, то сядет в повозку.

— Мы с Моррисом должны потренироваться перед походом в Дарлот,— весело похвасталась она.

— Для такого путешествия нам понадобятся верблюды,— отозвался Кон,— и хорошие.

Салли все же не села в повозку, хотя еще задолго до Кэноуны она так устала, что едва волочила ноги. Но она утешала себя тем, что и Моррису и кобыле не лучше, чем ей.

— Пройти десять миль при ста градусах в тени и подгонять при этом старую клячу с тяжелым грузом — это не то, что выйти прогуляться в ясный день, верно, милый? — сказала она Моррису.

— Да, не совсем,— согласился тот.— И не забудь, что нам завтра еще предстоит прошагать двенадцать миль от Кэноуны до Хэннана.

Главная улица Кэноуны так и кишела рудокопами и старателями, верблюдами и лошадьми. Лавки и трактиры были полны. Одни золотоискатели пришли с окрестных разработок, чтобы, как обычно, выпить стаканчик после тяжких трудов, другие, побросав свои участки в дальних лагерях, держали путь на Хэннан, а оттуда на Лейк-Дарлот.

Кон, не останавливаясь, проехал прямо к Джиотти. Это было самое хлопотливое время дня, и тесный трактир гудел, как улей.

— Давай переночуем у дороги на окраине города, Моррис,— попросила Салли.— Мы можем спать под повозкой. Это лучше, чем провести ночь в битком набитом трактире.

— Ты права. Но сначала нужно поужинать. Я пойду поговорю с миссис Джиотти.— Моррис вошел в трактир, но уже через несколько минут он снова вышел.

— Что там делается! — сказал он с досадой.— Миссис Джиотти пьяна. Какой-то старик возится на кухне, но и он успел хлебнуть. По-моему, у них сегодня и ужина не дождешься, а твоя приятельница, Вайолет, в большом горе: ее милого дружка, Чарли Лея, сегодня утром нашли мертвым на дне заброшенной шахты, возле Белого Пера. Вайолет уехала к матери, а миссис Джиотти разливается, плачет—жалеет ее и тут же ругает на чем свет стоит — как это она бросила свою хозяйку, когда такой наплыв посетителей и все требуют ужина, и Альберто в распивочной без Вайолет как без рук. Я не сказал миссис Джиотти, что ты здесь, так что мы можем ехать дальше.

— Бедная девочка! — Салли было жаль ее и молодого англичанина, чья смерть пройдет незамеченной в шуме и суете переполненного городка.

Как внезапно и легко судьба может сразить человека и оборвать все человеческие отношения в этой огромной равнодушной стране, где страх смерти слабее, чем всесильная жажда золота.

Моррис снова пошел в город, чтобы купить свежего мяса и хлеба. Прежде чем вернуться к Салли, он выпил у Джиотти с Коном и другими старателями.

Салли развела костер на обочине дороги. Они поджарили мясо над огнем, пользуясь вместо вертела раздвоенными ветками, намазали хлеб прогорклым маслом и малиновым вареньем и напились крепкого чаю. Словом, «отлично пообедали», как сказал Моррис.

Он снял с повозки тюфяк, и они улеглись, накрывшись только легким одеялом. Салли была рада, что Моррис не остался пьянствовать с Коном у Джиотти. Рада, что им хорошо вместе под алмазным куполом темно-синего неба. Нужно взять все, что можно от жизни. И если они хотят победить смерть и любую подстерегающую их опасность, они должны крепко держаться за свою любовь и друг за друга. И Салли видела точно во сне, как она не хуже старой кобылки тащится рядом с Моррисом то в гору, то под гору, через все подъемы и пропасти, пылевые бури и миражи их жизни на приисках.

ГЛАВА XXXIV

На следующий вечер они сделали привал в миле от Хэннана. Кон нагнал их еще днем, заявил, что ему нужно накормить и напоить лошадей, и уехал вперед. Моррис достаточно намучился за день, подгоняя кобылу, и решил дать ей отдохнуть до утра. Правда, она добросовестно плелась весь день, но для похода в Дарлот уже не годилась. Он намеревался продать ее и опасался только

одного: как бы она не протянула ноги на последнем переходе до Хэннана.

Когда они около полудня добрались туда, Моррис снял комнату в гостинице Мак-Суини. В тот же день Моррис с Коном уехали в Кулгарди на лошадях Кона, чтобы купить верблюдов; вернулись они через два дня и привели шесть голов, а также особую повозку и очень радовались, что им удалось все это купить у старателя, который только что поправился после тифа и нуждался в деньгах, чтобы поехать отдохнуть на юг.

Верблюды оказались неважные — тощие, с язвами на спине, и среди них был один норовистый, который сулил путникам немало беспокойства, на нем было черное афганское клеймо. Но Кон уверял, что справится с буяном,— счастье, что они вообще достали верблюдов, когда поход в Лейк-Дарлот в самом разгаре.

Вечером Кон напился. Но на другой день он протрезвел и занялся верблюдами, вымыл им спины и намазал серой, смешанной с жиром, Моррис закупил продовольствия на три месяца — и сборы были закончены.

Салли знала, что Моррис истратил все свои деньги на верблюдов и припасы. Вопрос о ее участии в походе больше не подвергался сомнению. Решили, что она будет править повозкой с верблюжьей упряжкой. Она никогда не имела с ними дела, но очень хорошо правила лошадьми, и Моррис заявил, что она, уж конечно, сладит с двумя старыми верблюдицами.

— Конечно, справлюсь,— подтвердила Салли, довольная тем, что настояла на своем и тоже едет на север. После нескольких дней досуга и отдыха у Мак-Суини она была полна энергии и бодрости и готова к любым испытаниям.

Приятно было принять ванну, вымыть голову, переодеться во все чистое! Но она просто не могла представить себе, как бы она просидела несколько месяцев без всякого дела в этой грязной, шумной гостинице. Однако она жалела о том, что Кон продал своих лошадей. Это были крепкие, выносливые местные лошадки. Ей было бы гораздо приятнее править ими, даже старой клячей Куинни, чем этими верблюдами. Но Куинни уже работала на вороте в руднике, где Фриско был пайщиком.

Фриско один из первых приветствовал их по возвращении из Лощины Кона. И притом так бурно и радостно, словно Моррис был пропавшим без вести братом, а Салли — светом его очей, этих темных очей, которые всегда вызывали в ней тревогу. Узнав, что она тоже намерена ехать в Лейк-Дарлот, Фриско ушам своим не поверил.

Оставшись наедине с Моррисом, он стал настойчиво отговаривать его.

— Ты с ума сошел, Морри,— сказал он,— зачем ты тащишь с собой жену? Местность там ужасная, туземцы злые, и вообще там слишком большая глушь для женщины.

На это Моррис недвусмысленно дал ему понять, чтобы он не совался не в свое дело.

— Оставь ее здесь, в Хэннане. Пусть живет у Мак-Суини. Если у тебя нет денег, я тебе дам,— настаивал Фриско.

— Нет, спасибо.— Уговоры Фриско еще более укрепили Морриса в его решении.— Миссис Гауг сама этого хочет,— сказал он.

— Но она не знает, что ей предстоит,— опять начал Фриско.— А ты знаешь! И ты не имеешь права брать ее с собой. Это просто преступно, если хочешь знать мое мнение.

— Нет, не хочу,— сухо ответил Моррис.— Я считаю,— добавил он,— что и в Хэннане сейчас отвратительно: свирепствует тиф, и съехался такой сброд со всех концов света, что, по-моему, ей будет безопаснее со мной. Джимми Росс уверяет, что по пути можно будет достать и пищу и воду. Погода простоит хорошая еще два-три месяца. И Кон говорит, что туземцы не нападают на лагерь, в котором есть женщины.

— Поэтому ты и берешь с собой миссис Гауг? — усмехнулся Фриско.

Моррис вспыхнул до ушей.

— Иди к черту,— пробормотал он.— Салли едет потому, что сама так хочет. Она не желает оставаться одна, и Кон поддерживает ее. Говорит, что в походе она не хуже мужчин.

Он повернулся и пошел прочь, а Фриско молча смотрел ему вслед. Потом он принялся за Кона.

— Ты просто болван, что позволяешь Морри тащить с собой жену в Дарлот,— начал он.

Кон расхохотался.

— Я? А я тут при чем? — весело спросил он.— Ты думаешь, мне очень нужно волочить за собой бабу? Или Моррису? Сама миссис Салли решила непременно ехать с нами. Вот и все. Да ты уговори ее остаться в Хэннане, Фриско, и мы по этому случаю раздавим бутылочку!

Старик лукаво подмигнул, но Фриско только сердито пожал плечами. Одно дело — слыть любителем прекрасного пола, но совсем иное, если кто-нибудь усмотрит в его искренней тревоге за миссис Гауг попытку завязать любовную интрижку.

Сама Салли отдала ему должное: она не заподозрила его ни в чем, когда он сказал ей, что, по его сведениям, дорога на Дарлот крайне трудная, а надежд на золото немного.

— Я боюсь, что вам будет очень тяжело, мэм, и что вы просто не выдержите,— сказал он.— Многим мужчинам это не под

силу. Правда, Кон — опытный старатель, и, может быть, он и выручит вас, если что-нибудь случится. Но когда мужчины чуют золото, когда они заболевают золотой лихорадкой, на их благоразумие нельзя полагаться.

— Все это я знаю,— Салли улыбнулась чуть-чуть вызывающе.— Может быть, именно поэтому я и хочу ехать с ними.

Первые дни пути прошли благополучно. Они двигались по пыльной дороге, которая вела сквозь заросли, останавливались в полдень закусить и напиться чаю, а вечером разгружали верблюдов и разбивали лагерь.

Кон ехал на первом верблюде, Моррис на последнем, а Салли ехала за ними в повозке, нагруженной баком с водой, инструментами и палатками. Стояла удушающая жара, переезды от одного бочага до другого были долгие; но верблюды неустанно двигались вперед своим ровным, медленным шагом, покрывая милю за милей, держа путь на север, по необозримым серым просторам под белесым от зноя небом.

После Девяностой Мили началась полоса песков и обмелевших озер, и двигаться стало труднее. Но недавно вышли дожди, и через некоторое время дорога пошла по зарослям акации и свежей траве. Огромные валуны окружали ряд бочагов, а также мочажину, лежавшую у их подножий. Здесь Моррис подстрелил петуха-большенога, и ночью соблазнительный запах жареного мяса привлек собак динго, которые подняли громкий вой вокруг лагеря.

Кон мучился со своим норовистым верблюдом. Наевшись, животное начинало брыкаться, шарахаться в сторону, поворачивать назад и вертеться на месте. Кон держал наготове дубинку и бил верблюда по голове всякий раз, когда тот начинал бунтовать. Характер у старика был скверный — не лучше, чем у верблюда. Моррис предлагал пристрелить несносное животное, но Кон и слышать не хотел об этом. Он уверял, что еще не родился тот верблюд, которого бы он не обработал. Или он укротит этого мерзавца, или погибнет.

Салли боялась верблюда. Однажды он накинулся на верблюдицу в упряжке и зверски искусал ее. У Салли кровь стыла в жилах, когда он ревел по ночам или скалил длинные желтые зубы, стараясь укусить Кона, как только тот к нему приближался. Иногда он, стреноженный, удирал, а Кон мчался за ним, повисал на уздечке и колотил его рукояткой кайла. Между человеком и вонючим голенастым животным разгорелась непримиримая вражда, и Кон оставался хозяином положения только потому, что нещадно избивал верблюда и всегда был начеку.

Моррис тоже боялся последствий этой вражды. Он отлично знал, что если верблюд изувечит Кона или старик спятит

из-за злобного животного, для их похода это будет просто катастрофой.

По дороге они встретили Паркиса, первого разведчика, открывшего прииск Лейк-Дарлот. Он возвращался в Кулгарди. Паркис похвастался, что за три месяца добыл семьсот унций и что там осталось еще сколько угодно.

Он рассказал о двух новых участках, которые он застолбил под разработки по ту сторону Маунт-Кэтрин: разведчики говорят, что это просто золотое дно — огромный кварцевый пласт тянется самое меньшее на две мили. Высотой он в пятьдесят футов, а толщиной — в пятнадцать. Разведка обнаружила на глубине тридцати футов мелкозернистое и крупнозернистое золото в таком количестве, что двадцать машин в несколько лет не исчерпают его. А кругом сотни акров золотых россыпей, почти нетронутых. От этих рассказов Кон и Моррис совсем потеряли голову. Они только и говорили о том, чтобы скорей добраться в Дарлот и застолбить участки до того, как вся золотоносная земля на новом прииске будет занята.

Вот уже несколько дней, как у Салли началась дизентерия. Она притворялась, что чувствует себя отлично, стряпала, целый день правила повозкой и старалась казаться веселой. Но с каждым днем она слабела; из-за мучительной головной боли и рези в глазах ей трудно было следить за дорогой. По ночам, когда она лежала, завернувшись в одеяло возле повозки, она вся горела в жару, а под утро ее трясло от озноба. Однажды, проснувшись на рассвете, она увидела в складках одеяла желтобрюхую черную змею и закричала от ужаса. Но змея исчезла, и она не знала, померещилось ей или это в самом деле была змея.

Она знала, что больна, тяжело больна, но твердо решила не говорить об этом Моррису. Она ни за что не хотела сознаться, что трудности путешествия оказались ей не по силам. Лучше умереть, говорила она себе, чем лишить Морриса возможности найти золото. Но сможет ли она ехать дальше?

Если бы только Моррис согласился оставить ее здесь на дороге, чтобы она могла вернуться в Хэннан с кем-нибудь из едущих обратно старателей. Но он на это не согласится. Он захочет остаться и ухаживать за ней, захочет сам отвезти ее в Хэннан; Кон будет в ярости, что их планы рухнули. А одному продолжать путь слишком опасно с этим злющим верблюдом, да и туземцы могут напасть. Теперь они находились в той самой местности, где недавно было истреблено целое кочевье. Все встречавшиеся им старатели предупреждали их, чтобы они не спали слишком близко от своего костра, держали оружие наготове и стреноживали верблюдов подальше от огня.

Мысли вихрем кружились у Салли в голове, отрывочные, смутные. Сколько она еще продержится? Долго ли Моррис не будет замечать, что она больна?

Когда они добрались до глубокого бочага с чистой, прозрачной водой, они застали там партию старателей. Вдали вырисовывались зубчатые вершины Маунт-Маргарет.

Старатели рассказали о новой находке на юго-востоке. К Флэт-Роксу, говорили они, ведет хорошо утоптанная дорога, на Маунт-Маргарет — ослиная тропа. А другая дорога ведет на восток. Но там местность пустынная, воды мало, есть только высохшее озеро и пески, тянущиеся на десять миль. На этой дороге и находится Менанкили, что означает «много черепов»; так его назвали туземцы. Но именно там Смит и его товарищи застолбили участки. И именно там они нашли богатейшие образцы, которые они теперь везут в город, чтобы получить разрешение на добычу жильного золота.

Салли лежала на разостланном на земле одеяле, поодаль от костра; она знала, что ее путешествию пришел конец. Она была слишком слаба, чтобы двигаться дальше.

Сквозь гул возбужденных голосов она неясно слышала, как Кон и Моррис расспрашивают о дороге, ведущей в этот безводный край колючек и песков.

Она решила попросить старателей, ехавших на юг, взять ее с собой. Но когда она сделала попытку подняться и подойти к ним, она покачнулась от слабости, ноги у нее подкосились, и она упала. Вероятно, она пролежала в забытьи всю ночь, так как, очнувшись, увидела, что уже светает и лагерь пробудился. Словно сквозь сон слышала она, как старатели, уходящие на юг, весело и шумно прощаются. Она хотела окликнуть их, побежать за ними, но не могла пошевельнуться, и голос отказывался служить ей. А они кричали:

— До скорой встречи!

— Желаем счастья, Морри!

— Увидимся в Кулгарди!

— Валяй все прямо, Кон, и ты непременно найдешь то, что тебе нужно, если не Менанкили, то в Дарлоте.

Кон и Моррис кричали что-то в ответ. Они, видимо, тоже были веселы. Оба решили отправиться по следам Смита и отважиться на переход по безводной местности, рассчитывая взять с собой воду из бочага, возле которого ночевали.

Они привели верблюдов, наполнили водой баки и мехи; затем начали грузиться. А Салли лежала измученная, больная. От слабости она не могла пошевельнуться, то и дело теряла сознание, но

усилием воли заставляла себя на несколько минут возвращаться к действительности.

В одно из таких пробуждений она увидела стоящих над ней Кона и Морриса. Ей показалось, что это какие-то огромные страшные существа, а через миг их заволокло черное облако. Потом она услышала брань Кона и протестующий голос Морриса. Кон говорил, что Моррис должен отвезти жену на Девяностую Милю и поручить уход за ней жене трактирщика. Моррис же не хотел покидать Кона в таком трудном положении и отказаться от их плана — поразведать вокруг Менанкили раньше, чем ехать в Дарлот, до которого оставалось еще не меньше двухсот миль.

— Может быть, у Салли просто дизентерия,— сказал он угрюмо.— Она отлежится здесь день-два и сможет ехать дальше. Но если это тиф, мне придется везти ее в Хэннан.

Кон сердито выругался.

— Вот что значит — таскать с собой бабу в такой поход!

— Это так,— ответил Моррис.— Но ты сам сказал, что, если в лагере есть женщина, туземцев бояться нечего.

В конце концов они решили, что Кон поедет дальше с верблюдами и поищет себе либо проводника-туземца, либо другого старателя. Моррису он оставит одного верблюда и повозку, чтобы тот догнал его, как только будет возможно.

Пока Кон собирался в дорогу, Моррис отправился за водой. Возле бочага он увидел нескольких туземок. Моррис начал уговаривать их, чтобы они пошли с ним в лагерь: у него захворала жена.

Калгурла узнала его. Она ненавидела белых, но ей было известно, что этого человека туземцам бояться нечего. Это была женщина средних лет, молчаливая, с угрюмым взглядом. Отчаяние Морриса, его просьбы о помощи, по-видимому, тронули ее, и она согласилась пойти к больной.

Когда Калгурла и молодая туземка вошли следом за Моррисом в лагерь, Салли лежала без сознания в тени кустов и жалобным голоском бредила про жару и мух, про черную змею с желтым брюхом, которую она нашла однажды утром на своем одеяле. Эта змея и злобный верблюд Кона приводили ее в ужас.

Моррис смочил ей лицо холодной водой, которую принес из бочага, положил на голову мокрую тряпку. Калгурла и молодая туземка, сидя на корточках, наблюдали за ним. Когда Моррис ушел к очагу, чтобы вскипятить воду, Калгурла отломила ветку акации и стала отгонять мух от лица Салли.

— Миссис очень больна? — спросил Моррис с тревогой.

— Э-хем,— отозвалась Калгурла.

Моррис принес муки, сахару, банку варенья и положил все это возле Калгурлы. Молодая туземка радостно вскрикнула, но Калгурла не отводила взгляда от больной. Она по-прежнему тихо помахивала веткой акации, отгоняя мух, и вдруг запела; она пела вполголоса, повторяя все ту же мелодию, убаюкивающую и нежную. Лихорадочное бормотание Салли прекратилось. Она заснула. Но Калгурла все пела, помахивая веткой с серыми душистыми листьями.

Когда Салли проснулась, первое, что она увидела, была молодая туземка. Взгляд Салли прояснился, и она улыбнулась.

— Мири, ты? — прошептала она.— Ты пришла ухаживать за мной?

Это не была Маритана; но Калгурла что-то яростно пробормотала, и девушка торопливо ответила:

— Э-хем, Мири.

Через мгновенье по одному слову Калгурлы она ускользнула в заросли. Вскоре к лагерю приблизилось несколько туземцев. В руках у них были бумеранги и длинные охотничьи копья. Но Калгурла издала пронзительный крик, и они, сложив оружие на землю, осторожно подошли ближе.

Кочевники столпились вокруг больной, с любопытством разглядывая ее, но Салли уже опять спала. Калгурла пробормотала несколько слов, и мужчины отошли. Потом она рассказала, как Моррис увидел ее у бочага и попросил прийти к больной жене.

Кона вдруг осенило.

— Самое лучшее, что мы можем сделать, Морри,— это убраться отсюда и оставить миссис Салли с туземцами,— сказал он.— Калгурла будет ухаживать за ней. Мы оставим им продовольствие. А если и мы останемся — бог весть, что может случиться. Сговорись вон с тем стариком и обещай ему хоть луну с неба, если они доставят Салли целой и невредимой в Хэннан. Вот все, что ты можешь сделать. И лучшего ты не придумаешь.

— О господи! — простонал Моррис.— Я же не могу оставить ее, Кон!

Однако он знал, что если уедет в Хэннан вместе с Салли, то Кону придется пристрелить злого верблюда и продолжать путь в одиночестве. А каково человеку управляться с верблюдами и путешествовать без товарища в этом краю?

Ни у Кона, ни у Морриса не было ни гроша: все свои надежды они возлагали на этот поход. С другой стороны, если им повезет — все мечты Морриса сбудутся. А он был уверен, что они найдут золото. Ни один старатель не возвращался с севера, из Менанкиля или Маунт-Кэтрин с пустыми руками. Нельзя же упускать такой случай.

Моррис не устоял перед соблазном. Золотая лихорадка мучила его не меньше, чем тиф мучил Салли, хотя, нужно отдать ему справедливость, он не знал, что это тиф. Кон заявил, что у миссис Гауг просто дизентерия.— Будь это тиф,— сказал он,— она бы больше бредила и была бы слабей. Все, что ей нужно,— это покой и кипяченая вода.— Моррис решил, что если удастся уговорить Калгурлу поухаживать за Салли и затем перенести ее в Хэннан, то он на другой день отправится вместе с Коном.

Он поговорил со стариком, который был главою племени, обещал, что оставит ему продовольствие и что миссис Салли даст ему муки, сахару, табаку и вина, если Калгурла поухаживает за ней, пока она больна, а дня через два племя доставит белую миссис в Хэннан.

Старик согласился, поглядывая на Калгурлу, которая смотрела на него свирепым взглядом из-под нахмуренных густых бровей.

Салли слышала почти все, что говорил Моррис. Она знала, что Кон в бешенстве оттого, что ее болезнь задержала их. Но она была слишком слаба, и ее ничто не волновало. Главное — не нужно будет двигаться, и это казалось ей счастьем. Счастье и то, что Кон и Моррис все-таки поедут дальше и не будут досадовать, что их поход срывается.

— Конечно, Моррис,— сказала она устало, когда он подошел к ней, чтобы объяснить свой план,— так будет лучше всего. Ты должен ехать. Ничего со мной не случится. Не беспокойся обо мне. Ты же знаешь, я всегда отлично ладила с туземцами.

Моррис спилил несколько тонких деревьев, сделал носилки и покрыл их мешками и одеялом. Он положил на них Салли и показал кочевникам, как их нужно нести. Затем велел им сделать шалаш из ветвей акации над носилками и постарался объяснить Калгурле, что воду нужно кипятить перед тем, как поить ею миссис Салли и что на голову ей нужно класть мокрое полотенце. А давать только слабый чай и сгущенное молоко, если она попросит. Он подмел землю вокруг шалаша и сказал Калгурле, что нужно поддерживать чистоту и отгонять мух. Калгурла все это выслушала в суровом молчании.

Потом Моррис с виноватым видом, не глядя Салли в глаза, подошел к ней попрощаться.

— Просто сердце переворачивается, дорогая, что мне приходится оставлять тебя одну,— сказал он таким тоном, словно еще не решил окончательно, что ему делать.— Но ведь ты, Салли, понимаешь, мы не можем отказаться от этого похода. Я ни за что бы не оставил тебя, будь ты серьезно больна, но Кон считает, что это просто дизентерия. Через день-два ты будешь совершенно здорова, а нам нужно спешить: скоро все водоемы на дорогах к северу

пересохнут. Кроме того, мы упустим свое счастье, если не доберемся до прииска, открытого Смитом, раньше, чем он о нем расскажет всем встречным старателям.

— Конечно, конечно,— Салли старалась говорить бодро и весело, хотя ей и языком-то было трудно ворочать.— Ужасно обидно, что я такая обуза для тебя, я никогда не простила бы себе, если бы провалила вам поход.

ГЛАВА XXXV

Салли не знала, сколько времени она пролежала в лагере кочевников. Как только Кон и Моррис уехали, те расположились неподалеку от ее шалаша. Она могла только предполагать, что много дней спала почти беспробудно и, вероятно, иногда теряла сознание.

Она смутно помнила, что ей было приятно лежать неподвижно, вместо того чтобы плестись под палящими лучами солнца, испытывая мучительную головную боль и резь в животе. Она радовалась, что ей не надо править огромными голенастыми верблюдицами и видеть, как Кон колотит своего свиреного верблюда, что рядом с ней сидит Калгурла или другая туземка, отгоняет мух, прикладывает ей к голове мокрое полотенце, подает напиться.

Иногда она сквозь сон видела, как мимо ее шалаша — то в солнечном свете, то в сумерках — скользят темнокожие. Однажды ее разбудил громкий говор. До нее донеслись сердитые, возбужденные мужские голоса. Затем она услышала голос Калгурлы, которая, по-видимому, уговаривала и бранила мужчин. Салли догадалась, что они хотят покинуть ее, но Калгурла гневно спорила с ними, напоминала, что они дали слово Моррису и Кону, что белая миссис подарит им муки, вина и варенья, если они доставят ее в Хэннан. Потом Салли почувствовала, что ее несут; кочевники снялись с места и по нескольку часов в день несли ее на носилках.

Когда Салли перестало лихорадить и мысли у нее прояснились, она увидела сквозь листья своего шалаша, как в ярком солнечном свете движутся обнаженные темные фигуры. По утрам мужчины уходили на охоту и под вечер приносили кенгуру или какую-нибудь мелкую дичь. Женщины сидели на корточках перед плоским камнем и дробили зерно, дети шалили и играли подле них. А по вечерам, прислушиваясь к звону их музыкальных инструментов и к печальным напевам туземных песен, она грезила, что возродилась для какой-то новой первобытной жизни.

Ее словно удивляло, что она уцелела в этой отчаянной схватке со смертью. Но она радовалась тому, что жива. Никогда еще

жизнь не казалась ей такой чудесной, и сердце ее было переполнено благодарности к этим темнокожим людям, которые спасли ее от смерти, и к этой удивительной стране, похожей на опал молочного цвета, в котором притаилось пламя и все цвета радуги.

В то утро, когда она села на постели и улыбнулась, Калгурла крикнула: «Юкки!» — с такой радостью, что мужчины, женщины и дети немедленно обступили койку Салли, смеясь и болтая на своем языке.

Салли казалось, что все должны радоваться ее выздоровлению. Она поняла, что племя уже не раз меняло стоянку с тех пор, как они взяли на себя заботу о ней. И сейчас двое мужчин подняли носилки и понесли. Потом их сменили другие. Кочевники шли ровной легкой походкой, останавливались в полдень на отдых, а на закате располагались лагерем. Они разводили костры, и запах бунгары или диких голубей, которые жарились на огне, возбуждал у Салли волчий аппетит. Калгурла приносила ей печеные личинки, те самые жирные белые личинки, которые Маритана поедала с таким удовольствием. Салли теперь тоже ела их с благодарностью и находила восхитительными.

Она подозревала, что припасы, которые Моррис оставил племени, давным-давно кончились и теперь ей придется питаться тем, что туземцы смогут ей уделить. Впоследствии ее дрожь брала при мысли о том, что́ она поглощала в те дни, но тогда она была готова есть змей, даже крыс — все что угодно. Пищи у них вообще было немного, пока они не добрались до тех мест, где начинались лагери золотоискателей. Иногда Салли удавалось достать немного муки, сахару и чаю у старателей, и она делилась с кочевниками, но этих припасов хватало не больше чем на день.

В одном из лагерей старатели предложили отвезти ее в Хэннан в повозке, но туземцы воспротивились этому. Калгурла пыталась объяснить, что Моррис поручил свою жену племени и что оно и должно доставить ее в Хэннан. И Салли считала, что после того, как они прошли с ней самую трудную часть пути, было бы несправедливо лишать их законного чувства удовлетворения: ведь они сдержали слово, данное Моррису, и честно заработали плату за свои труды. Теперь она чувствовала себя настолько окрепшей, что отлично могла добраться до места тем же способом.

— Они были необыкновенно добры ко мне,— говорила Салли, вспоминая то время.— Вы бы поняли, почему я всегда по-дружески отношусь к туземцам, если бы знали, сколько они для меня сделали, когда я была больна.

— А если бы они убежали и бросили вас?

— Ну, конечно, вороны клевали бы мои кости. Но туземцы донесли меня до Хэннана. А это свыше ста пятидесяти миль.

Правда, весила я, вероятно, немного, но они привыкли передвигаться налегке, и им трудно было тащить носилки так далеко. Они шли спокойно, не спеша, разве только если расстояние между бочагами было большое. Ни одного дня они не отдыхали, и все мужчины и даже женщины по очереди несли меня. Когда они наконец спустили носилки в Хэннане, на том месте, где раньше стояла наша палатка, я от радости чуть не заплакала. Палатки там, конечно, не было, но мой плетеный навес сохранился.

Из всех соседних палаток пришли старатели, и Салли рассказала им, что с ней произошло. Они настаивали, чтобы она легла в больницу или поселилась в одной из гостиниц. Но Салли возразила, что никуда не пойдет. Ей нужно только отдохнуть и почувствовать, что она «дома».

Салли тут же поставили палатку и раздобыли койку. Кто-то принес ее вещи, которые были отданы на хранение трактирщику Мак-Суини. Вскипятили воду в котелке. Как вкусно было есть хлеб с маслом и запивать его горячим чаем! Фриско и Сэм Маллет отправились с туземцами в лавку и купили для них обещанное продовольствие.

К тому времени многие рудокопы уже жили на приисках с женами и детьми. Ближайшей соседкой Салли оказалась миссис Моллой — жена горняка, работавшего на руднике Крез. Они с мужем приехали из Южного Креста и привезли с собой несколько ребят и стадо коз. Все уверяли, что у миссис Моллой детей столько же, сколько коз. Но она не беспокоилась о том, сколько у нее детей, пока имелись козы, чтобы кормить их. Как она ухитрялась держать коз во время засухи — оставалось загадкой. Но так или иначе козы выживали, пощипывая колючие кусты вокруг лагеря и утоляя жажду весьма ограниченным количеством грязной воды.

— Женщина она грубоватая, но сердце у нее доброе, и она поделится с вами последним куском хлеба,— сказал Сэм Маллет, когда Фриско ушел за миссис Моллой.

Миссис Моллой явилась тут же; она притащила с собой простыни, подушку, полотенце, одеяло и кружку козьего парного молока. Затем принялась хлопотать вокруг больной; без умолку болтая, она извлекла из сундучка Салли чистое белье, помогла ей умыться, надеть ночную рубашку.

— Я понимаю, почему вы не захотели лечь в больницу, дорогая,— сказала Тереза Моллой.— Оттуда живой не выйти. Народу там мрет от тифа пропасть! Но и в трактирах не лучше. Ведь там некому присмотреть за вами: хозяйка и так с ног сбилась. А моя палатка под боком — меньше мили, я могу забегать к вам каждый день. Для меня это одно удовольствие, я так давно не

разговаривала с женщиной! Только и знаю, что шагать по дорогам с Тедом да возиться с детьми и козами.

— Какая вы хорошая,— сказала Салли, чувствуя, что в этой толстой неряшливой женщине обрела нового друга.

— Ну да, хорошая! — рассмеялась миссис Моллой.— Спросите-ка здешних баб, они расскажут вам про меня бог знает что. Мы ведь с Тедом не венчаны. У него где-то есть другая жена. Где — он и сам не знает, а мне теперь тоже уж все равно. Мы прожили вместе четырнадцать лет, и никому от этого худо не было. Так что за беда?

На другой день жены других горняков, нарядившись в свои лучшие платья и шляпки, явились к Салли с визитом. Не могут ли они что-нибудь сделать для миссис Гауг? Они принесли с собой лепешек, супу, вскипятили чаю, а затем уселись и начали жаловаться на тяжелую жизнь, которую приходится вести женщине на приисках. Но они стали гораздо сдержаннее предлагать свою помощь, когда узнали, что за Салли ухаживает миссис Моллой и что Калгурла понемногу приучается стирать, стелить постели и стряпать. Ночью Калгурла спала у костра, возле палатки Салли, но когда появлялись белые женщины, она пряталась. Ей не нравилось даже, когда миссис Моллой вмешивалась в ее дела.

Салли подозревала, что Калгурла решила остаться с ней до возвращения Морриса. Время от времени к Салли приходили родичи Калгурлы, чьим заботам она была поручена, и они дружелюбно смеялись и болтали, радуясь тому, что она уже может встать с постели и подойти к ним. Салли, помня, как они делились с ней в пути всем, что у них было, угощала их, если только что-нибудь оказывалось в ее палатке.

Потом они уходили, а Калгурла оставалась, хотя и она иногда исчезала и проводила целый день в лагере кочевников возле озера.

Калгурла была очень молчалива и даже со своими говорила мало. Но она понимала почти все, что говорила Салли. Она, по-видимому, тосковала в разлуке со своими. По ночам она угрюмо сидела у костра, погруженная в думы, а днем, выполнив свои немногочисленные обязанности, уходила побродить в зарослях. В глазах Калгурлы всегда горел беспокойный, гневный огонь, и она скрывалась под плетеный навес, как только Фриско или Эли Нанкэрроу, Сэм Маллет или Тупая Кирка приходили проведать миссис Гауг и узнать, не нужно ли ей помочь чем-нибудь.

— В те дни старатели и рудокопы были просто рыцарями,— говаривала Салли.— Не было того, чего бы они не сделали для больной женщины. Когда в Маунт-Кэтрин свирепствовала особенно жестокая эпидемия тифа, а вода кончилась, приехал целый дилижанс с женщинами и детьми, заболевшими дизентерией. Муж-

чины всячески о них заботились, поили их кипяченой водой, прибирали за ними. Мне рассказывала об этом одна из женщин. Пусть говорят что угодно про первых старателей на Западе: они-де были скандалисты, пьяницы и думали только о вине и золоте. Когда дело касалось женщины, они вели себя безупречно. Если б не это, бог знает, что бы со мной было.

Старые товарищи не могли простить Моррису, что он оставил жену на милость чернокожих, в то время как она была так больна. Они-то знали, что такое золотая лихорадка, когда люди, словно обезумев, бросаются очертя голову в погоню за новыми участками. И все же, утверждали они, ведь дело шло о жизни миссис Гауг, и Моррис проявил непростительную беззаботность, положившись на туземцев. Они могли бы преспокойно бросить больную женщину и смыться, если бы заподозрили у нее ту самую болезнь, которая косит людей по всей стране. Со своей женщиной они никогда не стали бы возиться, особенно в такое время, когда колодцы пересыхают и им то и дело приходится менять место стоянки, а жалкие запасы пищи тают на глазах.

Из рассказов Салли все заключили, что спасением своим она, по-видимому, обязана Калгурле. Но что побудило Калгурлу так о ней заботиться — этого никто не понимал. Она ненавидела белых, а кроме того, туземка, даже если она пользуется уважением племени, никогда не противится воле мужчин.

Эта загадка разрешилась, когда Маритана пришла проведать миссис Салли вместе со своим мужем. Он принадлежал к клану, который охотился на землях, лежащих дальше к западу, чем те, где охотились родные Маританы, но и те и другие были одного племени. Маритана объяснила, что Калгурла — ее мать и всегда будет добра к миссис Салли, потому что миссис Салли была добра к Маритане.

Маритана держала на руках круглолицего малыша с золотистой кожей. Она была горда и счастлива своим ребенком. Ее муж, худой пожилой воин, ходил за ней по пятам, и когда решил, что визит к миссис Салли слишком затягивается, увел ее обратно в лагерь. Он держался по отношению к своей жене и ребенку таким же собственником, как любой белый мужчина. Маритана повиновалась мужу с подобающим смирением. Но Фриско совсем задразнили, и он пригрозил, что изобьет каждого, кто будет его спрашивать, нравится ли ему малыш Маританы.

Во всяком случае, говорили мужчины, не Моррису Салли обязана тем, что не умерла в зарослях, за сто миль от человеческого жилья. А людей обмазывали дегтем и вываливали в перьях за меньшие грехи, чем такое отношение к жене. Но Салли не позволяла бранить Морриса. И она так огорчалась, когда слышала их

возмущенные и резкие суждения о нем, что мужчины в конце концов умолкали.

Миссис Моллой рассказала Салли, что Фриско, Сэм Маллет, Эли Нанкэрроу и Тупая Кирка решили поговорить по-своему с Моррисом, когда он вернется. Салли стала упрашивать их не осуждать мужа.

— А что же ему было делать? — говорила она.— Не мог же он отпустить Кона одного с этим злющим верблюдом. А если бы на старика напали кочевники? Очевидно, у меня был тиф, но ведь Моррис этого не знал. Я сама во всем виновата. Глупо было упрямиться. Зачем я увязалась за Моррисом? Если бы он остался со мной или сам отвез меня в Хэннан, я бы так горевала, что помешала его походу,— ни за что бы мне не выжить! Поэтому я прошу вас забыть об этом и не расстраивать Морриса, когда он вернется.

— Ваше слово — закон, мэм,— ответил Фриско.— Но если бы кто-нибудь другой так обошелся с женщиной, как Моррис обошелся с вами, наши ребята основательно проучили бы его.

ГЛАВА XXXVI

Как только Салли немного оправилась и поднялась с постели, она стала раздумывать — на какие же средства ей жить? Денег у нее не было, а пользоваться дальше добротой Фриско, Сэма Маллета и других старателей, которые приносили ей пищу и воду, она не считала возможным.

А тут еще туземцы. Если она хочет делить с ними свой кусок хлеба, это ее дело, но не могут же рудокопы и старатели, которые ставят ей в погреб еду, кормить и ее, и Калгурлу со всеми родичами!

Моррис прислал весточку с возчиком, прибывшим из Лейк-Дарлота: после того как он оставил Салли, им с Коном не повезло. Верблюд укусил Кона, когда тот хотел на него сесть, и страшно изувечил ему ногу. Моррису пришлось пристрелить злющее животное, а Кона посадить в повозку. Кон еще кое-как ухитрялся править, но о том, чтобы ехать в Менанкили, не могло быть и речи; они вернулись на дорогу в Дарлот и к концу месяца добрались до прииска.

Кон здорово намучился со своей ногой, но теперь она уже поджила. В Дарлоте они нашли россыпь, застолбили участок, и дела пока идут неплохо. Но здесь все толкуют о золотоносных жилах дальше к востоку, и они с Коном решили отправиться туда на днях — поглядеть, что там такое.

Один туземец, прибывший с партией старателей из Флэт-Рока, рассказал Моррису, что хворая белая миссис, из которой Калгурла выгнала болезнь, уже ходит понемножку. А Калгурла вместе с другими туземцами, которые несли больную белую миссис, вернулись на большое кочевье — по-ихнему Калгурлари.

Моррис надеется, что Салли теперь вполне оправилась. Он пришлет ей чек, как только они с Коном продадут синдикату «Карнеги» свои права на участок. А пока он советует Салли брать в долг все, что ей понадобится, в лавочке у Киллингтона. У Неда Киллингтона любой из старателей всегда мог перехватить что-нибудь в долг, и он, конечно, будет только польщен, если миссис Гауг окажет ему эту честь.

Мистер Киллингтон отнесся к предложению Морриса далеко не так восторженно, как тот предполагал, хотя, впрочем, довольно милостиво. Зато он явно повеселел, когда Салли сообщила ему, что собирается открыть столовую под плетеным навесом возле своей палатки и надеется, что через несколько недель будет покупать у него провизию уже за наличные.

Фриско считал, что миссис Гауг не к чему открывать столовую. Она еще недостаточно окрепла, ей не справиться с такой работой, да и Моррису это будет не по душе. Пусть она не беспокоится о том, что делают для нее старатели. Моррис сам все уладит, когда вернется, и, кроме того, любой из ребят почтет за честь сделать все, что в его силах, для миссис Гауг.

— Благодарю вас, мистер Мэрфи, но я вполне здорова,— сказала Салли.— Мне и так уж никогда не отблагодарить друзей Морриса за их доброту. Да и нужно же что-то делать. Если я открою столовую, у меня будет как-то легче на душе.

А Сэм Маллет и Эли считали, что столовая — не такая уж плохая затея. Они пообещали миссис Гауг, что от охотников столоваться у нее отбою не будет, и предложили помочь ей оборудовать помещение. Соорудили стол и скамейки, укрепив их на козлах, поставили вокруг открытого очага загородку из гофрированного железа, а из старых ящиков сколотили еще один столик, чтобы Салли могла на нем стряпать и раскладывать кушанья на тарелки.

Хэннан уже вступал в пору расцвета, оправдывая предсказания некоторых прозорливцев. На Большом Боулдере работало свыше пятисот рудокопов, и участки вдоль всего горного кряжа — от первого отвода вплоть до Хэннанского озера — продавались по бешеным ценам. Участки, на которых никто еще не видел ни песчинки золота, мгновенно скупались и перепродавались на лондонской фондовой бирже за сотни тысяч фунтов. Акции наводнили рынок. Представители немецких и французских фирм также

заключали сделки. На местной фондовой бирже и аукционе кишели предприимчивые спекулянты. Все гостиницы были переполнены — найти кров и пропитание становилось все труднее. Приезжим нередко приходилось спать на какой-нибудь веранде, завернувшись в плед, а то и просто на земле под открытым небом.

Старатели с участков, разбросанных вокруг горы Маритана, охотно посещали столовую миссис Гауг, так как раздобыть какую-нибудь пищу в поселке было нелегко; Калгурла помогала Салли подавать на стол и мыть посуду. Все же стряпать на двадцать — тридцать человек завтрак и обед в бидонах из-под керосина оказалось делом куда более хлопотным, чем думала Салли. В летнюю жару это было особенно трудно, тут требовалось неусыпное внимание, но все же Салли справлялась с этим нелегким делом, хотя пыль и мухи доводили ее до исступления. Мухи тучами вились в воздухе, они ухитрялись класть яйца даже в масло, если оно хоть на минуту оставалось открытым, а иной раз внезапно налетал вихрь и погребал обед и обедающих в облаках красной пыли.

Мужчины посмеивались над неудобствами, связанными с принятием пищи в кафе «Вольный воздух», как они его называли. Их добродушные остроты ободряли смущенную Салли, и она весело отшучивалась в ответ. Как-никак Салли в душе гордилась тем, что посетители ее столовой получают самую здоровую и вкусную пищу, какую только можно раздобыть в Хэннане. Все они были ее добрыми друзьями, она старалась для них вовсю. Приятно было видеть, как они, выходя из-под навеса, распускают пояс и удовлетворенно отдуваются.

Ей нравилось, когда кто-нибудь говорил при этом:

— Черт возьми, хорошая была сегодня кормежка, мэм. Я, прямо скажу, наелся до отвала.

Или:

— Миссис Гауг, ребята говорят, что вы самый лучший повар на прииске. Они, кажется, не очень будут возражать, если Моррис застрянет там еще на месяц-другой.

Когда мужчины вставали из-за стола, для Калгурлы нередко оставались одни объедки. Сама Салли так уставала за день, что почти не могла есть. Чашка чаю и кусок хлеба с маслом — вот и все. В последнее время у нее, по-видимому, было что-то неладно с желудком. По утрам ее часто тошнило. А провозившись целый день со стряпней, она и смотреть не могла на еду.

Салли приходилось готовить завтрак чуть свет, чтобы мужчины могли поесть перед уходом на работу; а потом нужно было бежать в лавку — узнать, не привезли ли свежих продуктов. В полдень Салли удавалось, правда, прилечь на минутку, а потом она вновь принималась за стряпню. Ее энергия и выносливость пора-

жали всех. Худая, как хорек, но всегда веселая, она сумела сделать свою столовую очень популярной среди золотоискателей; неизменно хорошее расположение духа хозяйки привлекало к ней все сердца.

Порой по вечерам, когда Салли кончала убирать со стола и мыть посуду, Фриско снова появлялся у столовой. Растянувшись на траве, он курил, болтал, рассказывал миссис Гауг приисковые новости. Обычно вслед за ним появлялись Сэм Маллет, Тупая Кирка и Эли со своими товарищами.

— Вон идут ваши телохранители,— с усмешкой говорил Фриско, наслаждаясь замешательством Салли.

Салли всякий раз становилось не по себе, когда она вспоминала намеки миссис Баггинс. Да и внимание, которым окружал ее Фриско, по правде говоря, вызывало в ней чувство неловкости. Фриско всегда умел оказать ей какую-нибудь услугу, так что она не могла не испытывать к нему благодарности. Он притащил ей, например, ее трехногое кресло с сиденьем, обтянутым мешковиной. Очень удобное кресло, ничего не скажешь,— так приятно развалиться в нем и отдохнуть после целого дня беготни. Фриско взял у них это кресло, когда они с Моррисом уезжали в Лощину Кона. Теперь, возвращая его, он, к немалому смущению Салли, заявил, что это кресло было самым дорогим его достоянием.

Нередко случалось, что в погребе у Салли появлялись апельсины или виноград — бог весть, как они туда попадали. Салли пробовала благодарить Фриско, но он только смеялся в ответ и говорил, что просто в толк не возьмет — о чем это она? Все мужчины были так удивительно добры к Салли и так рыцарски почтительны, что она понемногу привыкла принимать это как должное.

Не следовало бы, пожалуй, разрешать им все это делать, думала Салли; таскать огромные вязанки хвороста из зарослей и наполнять водой бак. Но носить самой дрова и воду было так трудно! Приходилось волей-неволей принимать эти услуги. Тем более что старатели помогали ей с такой охотой — Салли даже не нужно было напоминать им, что пора наполнить бак или нарубить дров. Дрова они кололи все по очереди, но воду привозил Фриско в своей повозке, и Салли подозревала, что и все прочие заботы об ее хозяйстве исходили от него.

Это беспокоило Салли, она теперь уже и счет потеряла всем одолжениям, которые он ей делал. «Свита телохранителей» свидетельствовала о том, что Сэма и всех прочих тоже обуревают сомнения по поводу этой день ото дня крепнущей дружбы между нею и Фриско. К чему все это может привести? И Салли изо всех сил старалась показать Сэму и Эли, что ей не менее приятно сидеть и болтать и с ними, и с любым другим старателем.

Нельзя, однако, не признаться, что вечера протекали куда интересней, если приходил Фриско и принимался рассказывать о своих приключениях: о том, как он ходил по морям на паруснике, или пел в опере в Мексико, или искал золото на приисках Калифорнии и Кимберли. И Салли нравилось, когда он приносил гитару и тихонько напевал что-то, перебирая струны, пока остальные мужчины беседовали, обсуждая все, что произошло за день.

Ведь было бы так грустно и одиноко вечер за вечером сидеть одной! Впрочем, Салли, конечно, рано ложилась спать: ведь она вставала с зарей — нужно было успеть приготовить завтрак старателям, чтобы они, как только рассветет, могли отправиться на свои участки. Старатели, зная, что она скучает, забегали к ней по вечерам поболтать, рассказать, что делается в поселке и в тех далеких лагерях, где она побывала. От Морриса больше не было вестей, но Тупая Кирка встретил партию старателей с Лейк-Дарлота, и они рассказали ему, что Моррис и Кон продали свой участок и двинулись вместе с другими к Блэк-Рэйнджу.

Порой забегал и Пэдди Кеван. Теперь это был угловатый подросток лет пятнадцати, но в кругу мужчин он все еще казался ребенком; присев на корточки, он с увлечением передавал очередную сплетню. Его голубые, слегка прищуренные глаза блестели, а с веснушчатого загорелого лица не сходила усмешка.

— Слышали? — спрашивал он и тут же бойко принимался рассказывать про какую-нибудь новую крупную сделку, про последние находки на Большом Боулдере или же преподносил историю о том, как партия старателей перехитрила агента иностранной фирмы, который вообразил, что может купить за бесценок их участок, если поставит им пива.

— Ну, конечно, ребята распили с ним несколько бутылочек,— восторженно восклицал Пэдди,— и все бумаги подписали. А вот Порки Парсонс не стал подписывать. Он же хмельного в рот не берет! Ну, все дело и развалилось. Ребятам что? Они получили выпивку задарма. А иностранцу это влетело в пятьдесят фунтов стерлингов!

Пэдди навещал Салли во время ее болезни и однажды принес ей даже букетик дикой кассии. Он и раньше, весной, приносил ей цветы и знал, что она особенно любит эти маленькие золотистые цветочки с нежным и пряным запахом. Кассия цветет почти круглый год, и над руслом высохших ручьев воздух на целые мили напоен ее ароматом. Пэдди знал такое местечко за Хэннанским озером, где росло очень много кассии.

Он сказал, что ему иногда удается заработать несколько шиллингов, продавая кассию кокетливым официанткам из новых трактиров или девицам мадам Марсель. Она переехала сюда из Кул-

гарди, когда в Хэннане началась полоса процветания. Переехали и японки и поселились в хибарках за главной улицей. Они просто помешаны на цветах, но, к сожалению, у них нет денег, сетовал Пэдди. Они набрасываются на него, стрекоча как сороки, всякий раз, когда ему случается проходить мимо с охапкой цветов. Приходится иной раз дать им пучок алого горошка или веточку кассии, чтобы как-нибудь от них отвязаться. В Хэннане невозможно достать никаких цветов, кроме полевых, и он заработал кучу денег прошлой весной, продавая цветы в трактирах и игорных притонах.

Когда Пэдди появлялся с букетом кассии в руках и принимался весело болтать, присев на корточки, Салли трудно было поверить тому, что она слышала про этого парнишку. И хорошей собачонке можно дать дурную кличку, думала Салли. Пэдди приходилось самому о себе заботиться, а это нелегко.

Сэм Маллет говорил, что Пэдди хитер, как обезьяна. Можно было поручиться, что никто не знает так всю подноготную о каждом из жителей прииска, как Пэдди, а ради денег мальчишка был готов на все. Без малейшего зазрения совести он перехватил бы золото у кого угодно — лишь бы удалось. Ему уже раза два посчастливилось самому найти порядочный самородок, а когда старик Джордж продал участок около Маунт-Шарлотт, на котором он работал вместе с Пэдди, тот, разумеется, тоже получил свою долю.

Золотоискатели не любили Пэдди. Ему не доверяли, хотя рудокопы и пользовались его услугами, когда им нужно было сбыть кусок «джима» — так называли они золото, добываемое в руднике с помощью молота Джимпи. Не так уж трудно было пронести золото, запрятав его в котомку с провизией или в котелок.

Когда Пэдди работал на папашу Баггинса, он выступал посредником между ним и рудокопами, которые сбывали Баггинсу «джим». Страшно вспомнить, какой поднялся скандал, когда выяснилось, что Пэдди, передавая золото Баггинсу, самовольно удерживал себе комиссионные. Но мальчишка умел постоять за себя. В первом же раунде Пэдди вышел победителем, пригрозив рассказать всем, какие делишки обделывает Баггинс.

Пэдди хвастал, что может «прижать» кое-кого из самых главных воротил, и, надо сказать, действительно «прижимал», когда ему это было выгодно. Ни рудокопы, ни владельцы рудников не любили мальчишку. Но это нисколько не тревожило Пэдди, он держался самоуверенно и нахально, словно был в наилучших отношениях со всеми.

Салли думала, что сумеет оказать хорошее влияние на Пэдди, если будет немного заботиться о нем. Поэтому она сказала Пэдди,

что починит ему штаны, если он выстирает их и принесет ей чистыми. Пэдди взял на время брюки у Фриско, и Салли насажала заплаток на старые Пэддины штаны; при этом она решила воспользоваться случаем и дать мальчишке добрый совет.

— Ты ведь неглупый парень, Пэдди,— сказала она.— Из тебя может выйти толк, если ты постараешься быть всегда чистоплотным и порядочным.

— Вы так полагаете, мэм? — спросил Пэдди с кривой усмешкой.— А почем вода на прииске? Боюсь, что здесь не всем по карману быть чистоплотными... и порядочными!

«Нет, читать Пэдди мораль невозможно,— подумала Салли.— Этот сорванец так смотрит на тебя, словно ты сказала невесть какую глупость, и он не хуже других знает, как должен вести себя человек на приисках, если хочет уцелеть. Парню, который один-одинешенек бродит по свету и сам добывает себе кусок хлеба, поневоле приходится шевелить мозгами».

Пэдди был тощий, заморенный мальчишка — ну просто смотреть не на что! Что же, конечно, ему приходилось как-то ловчить, чтобы пробить себе дорогу. Ясно, что он не раз сворачивал с прямого пути и немало получал за это пинков и затрещин. А Пэдди все как с гуся вода. Такого ничем не проймешь, говорили про него на прииске.

В другой раз, когда Салли увидела Пэдди, на нем были новые башмаки, и он сказал, что стянул их в гостинице у одного хлыща, который выставил их в коридор для чистки.

— Каждый должен сам чистить свои башмаки,— негодующе заявил Пэдди,— а не то пусть пеняет на себя.

— Нельзя так делать, Пэдди,— возмутилась Салли.— Все на прииске говорят, что ты на руку не чист, и тебя когда-нибудь выставят вон из города. Уж ты дождешься.

Пэдди ухмыльнулся.

— Ну, пока до меня дойдет черед, многих придется попросить отсюда,— весело сказал он.— И пусть лучше меня выгонят за кражу башмаков, а натирать себе мозоли или ходить клянчить опорки я не стану. Да только никто не захочет поднимать из-за этого шум. Ведь я украл у толстосума. Мало у него обуви, что ли! Вот будь это мой товарищ, тогда дело другое. Ну, да ведь вы знаете, какие у нас тут порядки. Если у кого-нибудь есть то, что тебе нужно,— возьмешь, а потом сквитаешься. Таков закон приисков, мэм. Помните, как сказал Фриско в тот день, когда вы сюда приехали?

«Вот он, Пэдди,— верен себе. Спуску никому не даст, и язык острый, как бритва. Это он хочет напомнить мне,— думала Салли, что я слишком многим обязана Фриско, и о том, что сказала тогда

миссис Баггинс. Попросту дал мне понять, что кочерга, мол, не более ухвата. Я устраиваю свои дела на один лад, он — на другой. Какая разница — принимать от человека больше, чем ты в состоянии ему вернуть, или просто стащить пару башмаков?»

Но выбранить Пэдди она не могла — мальчишка сказал это так почтительно, с простодушным лукавством глядя ей прямо в глаза. Салли даже не была уверена, действительно ли у него было что-то на уме или ей это просто показалось. Вероятно, люди недаром говорят про Пэдди, что этот мальчишка когда-нибудь всех их купит и продаст. Все же многие снисходительно относились к бойкому и острому на язык бездельнику: там, где появлялся Пэдди, всегда слышались шутки и смех. Кроме того, Пэдди каким-то образом ухитрялся быть в курсе всех событий, происходящих на рудниках, и всех скандальных сплетен.

«Да, Пэдди не из тех, кого стоит жалеть,— думала Салли.— Даже когда ему задают хорошую трепку, как было в тот раз, когда его вздул один рудокоп за то, что он прикарманил золото, которое должен был передать Баггинсу». Пэдди сам не раз хвастливо рассказывал, как всыпал ему Длинный Билл.

— Да разве это дорогая плата,— с упоением восклицал он,— за то, чтобы послушать, как папаша Баггинс и Длинный Билл честят друг друга и не могут решить, кто же из них самый отъявленный лгун и мошенник на приисках!

Миссис Гауг говорила впоследствии, что ее нисколько не удивляет, когда она слышит разговоры об «обаятельности сэра Патрика Кевана». Он отличался этим и прежде, когда был еще мальчишкой. В нем совмещалось какое-то удивительное нахальство и уменье расположить к себе человека, когда ему что-нибудь от него нужно; он был нещепетилен и готов в иных случаях играть роль шута.

Уже тогда, в пятнадцать лет, Пэдди твердо шел к намеченной цели. Он здорово насмешил всех, когда вдруг начал посещать аукцион и покупать акции. Где он достает деньги? Что он делает с акциями?

Пэдди ухмылялся и говорил, что хочет разобраться, что к чему. Он твердо решил разбогатеть, и чем раньше он возьмется за дело, тем лучше. Он промышлял продажей полевых цветов и разными мелкими работами от случая к случаю в трактирах, а также нередко служил посредником — за приличные комиссионные, разумеется,— когда у кого-нибудь возникала необходимость сбыть кусок золотоносной руды.

— Вот чертенок! — восклицал Фриско.— Слоняется по приску — там выклянчит старую тряпку, тут стащит башмаки — и все это с таким видом, словно он на все готов ради корки хлеба.

А между прочим, один из банковских служащих сказал мне, что у Пэдди Кевана на текущем счету числится трехзначная сумма.

Шли дни, шли недели. Дни и недели слепящего солнца и одуряющей жары. Когда налетал ураган, красная пыль поднималась в воздух, скрывая солнце и превращая в сумерки полдень. Тогда лавки в поселке закрывались и жизнь замирала. Потом, когда ветер стихал, несколько капель теплого дождя падало порой на землю, прибивая пыль. Но грозы не было; не было освежающего ливня, который принес бы облегчение раскаленной земле и изнемогающим от зноя лагерям вокруг Хэннана.

К концу дня Салли всегда чувствовала себя разбитой. Работать приходилось не покладая рук; стряпать обед и обслуживать посетителей под палящим солнцем было нелегко. Вечерами, сидя в своем кресле, обессиленная, измученная, она спрашивала себя, надолго ли ее хватит. Она понимала, что ей никогда бы не справиться со своей столовой, если бы не доброта мужчин, если бы не помощь, которую они ей оказывали. Все, и особенно Фриско. Он находил сотни способов облегчать ей жизнь: присылал продукты из поселка, чтобы ей не нужно было за ними ходить, обещал поставить навес из гофрированного железа, чтобы она не стряпала под открытым небом. Понемногу Салли привыкла советоваться с ним и прибегать к его услугам.

Однажды вечером Фриско, заметив, что Салли обожгла руку, настоял на том, чтобы сделать ей перевязку. Он как-то слишком уж пристально смотрел на ее обожженную руку — а рука была такая загрубевшая, шершавая, с въевшейся во все поры грязью,— что Салли смутилась и хотела отдернуть ее.

— Мои руки ни на что не похожи,— пробормотала она,— никак не могу их отмыть.

Фриско взял и другую ее руку и, низко склонившись, поднес к губам.

— Это самые отважные и самые красивые руки на свете,— сказал он.

Салли была тронута этим почтительным и рыцарским жестом. «Нет,— подумала она,— не может быть, чтобы Фриско был такой уж бессовестный и пропащий человек, каким я его когда-то считала». Ей не хотелось верить ходившим о нем сплетням, точно так же, как не хотелось верить всему, что говорили о Пэдди Кеване.

Прошло еще несколько дней, и однажды вечером Фриско сказал:

— Когда я впервые увидел вас, миссис Салли, я сразу почувствовал, что мы с вами не чужие друг другу.

Он сидел на земле рядом с ее креслом; розовая полоска заката догорала на небе, и летние сумерки сгущались вокруг них.

— Вот как? — спросила Салли немного натянуто: тон, каким он это сказал, удивил ее.

— И вы тоже это почувствовали,— продолжал Фриско.— Разве не так? Скажите?

Вопрос застал Салли врасплох, и она со свойственным ей чистосердечием ответила:

— Да, верно. Как чудно́, не правда ли?

— Не так уж чудно́, как вам кажется.— Фриско помолчал.— Это объясняет очень многое. Почему, например, я старался стать другим. И почему я всегда чувствовал, что вы все обо мне знаете — и хорошее и дурное.

Салли поняла, что разговор принимает опасный оборот, и сделала попытку уклониться.

— Ну вот еще, это неправда.

— Нет, правда,— настойчиво повторил Фриско и рассмеялся. Он не сводил с нее глаз, и в его взгляде, как всегда, была насмешливая фамильярность.— Всякий раз, когда я смотрю на вас, я улыбаюсь, и вы знаете, почему и что я при этом думаю.

Салли обрадовалась, увидев приближающихся Сэма и Тупую Кирку. Ведь Фриско говорил правду, только она не смела в этом признаться. Она чувствовала, что между ней и этим человеком существует какое-то молчаливое понимание. Оно возникло в ту минуту, когда ее глаза впервые встретились с его глазами, хотя Салли решила упорно отрицать это. Она боялась понять истинное значение этой почти неуловимой близости.

Никогда, ни единым словом не давал ей Фриско до этого вечера почувствовать, что в его отношении к ней есть что-либо иное, кроме сдержанного, почтительного восхищения и участия, желания помочь ей в трудную минуту. Во всем виноваты его веселые, лукавые глаза; это они растревожили ее и вырвали у нее отклик откуда-то из глубины ее существа. Это же ни на что не похоже, нужно немедленно подавить в себе постыдное чувство, думала Салли.

В конце концов, она достаточно наслышалась о мистере Фриско Джо Мэрфи, чтобы быть с ним начеку. Достаточно вспомнить Маритану и Лили. Конечно, он привлекательный мужчина, красивый и сильный, с тем налетом галантности в обращении, который так нравится женщинам. И он всегда так добр и внимателен к ней. Но она не поддастся этой слабости, она выкинет из головы мистера Джо Мэрфи, твердила себе Салли. Он никогда не должен узнать о том, что ему удалось внушить ей мысли, в которых она не может признаться Моррису.

ГЛАВА XXXVII

В тот день, когда Фриско продал свой участок английскому синдикату, в столовой миссис Гауг под плетеным навесом пили шампанское. Салли тоже должна была выпить шампанского со старателями, которые праздновали удачу Фриско. Потом мужчины отправились в трактир Мак-Суини, где гуляли ночь напролет, и Фриско угощал всех и каждого, как и требовалось в подобных случаях.

На другой день Фриско очень много разглагольствовал по поводу своих планов на будущее: он отправится в кругосветное путешествие, будет жить, как лорд, в Лондоне, в Париже, в Нью-Йорке. Но с отъездом он, как видно, не особенно спешил. Прошла неделя, другая, а Фриско все еще слонялся вокруг своей палатки и каждый вечер угощал друзей в трактирах.

— Жду, когда придет торговый парусник,— сказал он Салли.— Два года проработал я на борту «Лох Кэтрин» и все клялся себе, что рано или поздно дождусь такого дня, когда займу лучшую пассажирскую каюту на корабле. Черт возьми, какое это было красивое суденышко, когда оно неслось по волнам под всеми парусами! Невозможно представить себе ничего прекраснее, поверьте мне, мэм. Шум моря, запах моря — вот о чем я тоскую в этой проклятой пустыне, где прозябаю уже столько лет!

— Вам не приходится жаловаться. В конце концов эта пустыня была к вам довольно милостива,— напомнила ему Салли.

— Что верно, то верно,— весело согласился Фриско.— Чувствую себя так, словно могу купить весь мир и нисколько не обеднею от этого. Следовало бы, конечно, отплыть в Англию на почтовом пароходе в каюте первого класса. Но у меня засела в голове эта затея с торговым парусником. Хочу почувствовать себя на нем хозяином, хочу смотреть на альбатросов, когда они играют с волнами, сильные, уверенные в себе... таким, по-моему, должен быть настоящий мужчина.

— Да,— прошептала Салли. Она завидовала ему: такое долгое, интересное путешествие на паруснике! — Вам предстоит чудесная поездка, мистер Мэрфи.

Фриско заговорил о том, где он собирается побывать: Лондон, Париж, Швейцария, Монте-Карло, Рим. Возможно, что в Лондоне или в Париже он поживет подольше. Он просил, чтобы миссис Гауг рассказала ему все, что она знает об этих местах. Но для Салли это были только названия, смутные географические понятия, почти мифические края, о которых беседовали при ней Моррис и Мари Робийяр.

— Я — здешняя жительница,— досадливо ответила она, выведенная из себя тем, что Фриско бахвалится перед ней своим богатством,— не знаю я ничего о лондонах и парижах.

Фриско только и ждал, чтобы в голосе Салли прозвучало раздражение,— именно этого он и добивался, расписывая ей свою будущую судьбу.

— Поедемте со мной,— сказал он,— и вы не раскаетесь. Вы будете иметь все, чего бы ни пожелали, и, черт возьми, вы сами знаете, что я никогда не обижу вас.

Салли остолбенела. Ей и в голову никогда не приходило, что Фриско может сделать ей такое предложение. Но глаза Фриско говорили яснее слов: они звали ее. Ей хотелось спрятаться от них, стряхнуть с себя это наваждение. В своем смятении и замешательстве Салли вдруг почувствовала, как таившаяся в ней «постыдная страсть» предательски рвется наружу.

Запинаясь, она пролепетала:

— Как вы смеете, мистер Мэрфи! Как вы смеете так говорить со мной!

— Я все смею, все, чтобы добиться вас, Салли,— сказал Фриско упрямо.— Черт побери, я же влюблен в вас по уши. На что мне все эти деньги, если я не могу иметь вас, если мы не можем быть вместе навсегда. Я полюбил вас с первого взгляда. Вы знаете это. И вы знаете, что я нравлюсь вам — вы только не хотите признаться. Вы все время боретесь со мной, хотите держаться за Морриса вопреки всему. Вы боитесь меня, боитесь того, что уже есть между нами.

— Да...— Салли казалось, что он вырвал у нее это признание против ее воли.— Но это не значит...

Фриско сжал ее в объятиях, прежде чем она успела договорить. Уста их слились, и Салли почудилось, что пламя заката, полыхающее за черными стволами деревьев, жарким огнем опалило их обоих. Но через минуту она уже высвободилась из объятий Фриско. Как могла она поддаться ему! — с ужасом думала Салли.

— Нет, нет! — воскликнула она, когда Фриско снова привлек ее к себе.— Вы не понимаете. Я люблю Морриса. Я никогда не покину его.

Она вырвалась, чувствуя, что ненавидит и Фриско, и себя, и его власть над ней, которая доводит ее до такого безрассудства.

— Не будьте дурочкой, Салли,— уговаривал ее Фриско.— Морри никогда не любил вас так, как я. Знаю, что я дрянь, никогда и не старался казаться чем-то другим. Но Морри хуже. Я бы не ушел на разведку, не бросил вас, больную, умирающую, одну с туземцами. К чему вам торчать здесь, работать, как каторжной, в жару, в пыли? Поедемте со мной, и вы будете жить, как прин-

цесса! Черт возьми, мы будем счастливы, Салли. Всегда будет так, как было минуту назад. Мы с вами одной породы. Умеем драться за жизнь, не падать духом. Вот почему меня всегда тянуло к вам, а вы всегда боролись против меня. Конечно, вы не мне чета: вы хорошая, порядочная женщина, а я всего лишь забубенный золотоискатель, которому повезло. Но так будет не всегда. Клянусь, вы станете гордиться мной, Салли. Я не брошу этих денег на ветер. Увидите, как мы с вами чудесно заживем.

Салли слушала Фриско, и ее охватывало желание бросить все и уйти с ним куда глаза глядят. Но Фриско, должно быть, слегка переоценивал ее и поэтому не понял этого, думала впоследствии Салли. Вероятно, он не предполагал, что его «хорошая, порядочная женщина» может так легко уступить ему.

Он упустил минуту, он дал ей возможность ответить, и Салли, даже в это мгновение слабости, почувствовала, что где-то в глубине ее сознания, словно некое табу, было начертано слово «нет». Что это было? Гордость и упрямство или в ней заговорил инстинкт самосохранения? Она сама не знала. Но это «нет» было сильнее ее желания броситься в объятия Фриско и тем покончить со своей безрадостной жизнью и со своим долгом по отношению к Моррису.

Она подумала, что, быть может, была бы счастлива с Фриско. Его веселость и энергия — все это притягивало к нему Салли. Моррис был старше, много старше, и ему недоставало тех душевных сил и жизнерадостности, которыми были полны Фриско и она сама. С Фриско жизнь была бы похожа на увлекательное приключение. Но разве это все?

Верно ли, что они из одного теста, как говорит Фриско? Многое в его поступках будет отталкивать ее. Долго ли продлится их любовь? Фриско любил многих женщин. И может ли она нарушить слово, данное Моррису, ради чего-то, похожего на несбыточный сон? Салли вспомнила, что́ она обещала Моррису, когда они ехали из Кулгарди в Хэннан. Она чувствовала, что это обещание связывает ее крепче всех брачных обетов. Салли была глупым, простодушным ребенком, когда выходила за Морриса замуж. Но потом, годы спустя, когда она снова дала Моррису слово не покидать его, она уже знала, что делает. Конечно, он плохо обращался с ней в последнее время. Она не упрекает его за то, что он оставил ее одну среди туземцев и уехал искать золото,— нет. Но почему он так долго не подает о себе вестей и не присылает ей денег? Вот этого она не может ему простить. Как ей жить? Подумал он об этом или нет?

Моррис уже проделал с ней однажды такую штуку, когда они впервые приехали на прииски. В Южном Кресте она вынуждена

была перебиваться, как могла, полагаясь только на свои силы. Но все равно — это нисколько не оправдывает ее теперь. Исполняет Моррис свой долг или нет — она должна исполнить свой. И она знала, что Моррис все еще любит ее по-своему и уверен в ее верности и преданности ему.

Может ли она предоставить Морриса его судьбе, после того как они так радостно, с такой верой в будущее начинали свою жизнь вдвоем? И какова она — эта судьба? Салли всегда предчувствовала, что Моррису не суждена удача, которая так легко выпадает на долю других. Тяжкий, изнурительный путь предстоит им пройти вдвоем, быть может. Но имеет ли она право оставить Морриса, сказать ему: теперь неси эти тяготы один? Они уже так много прожили вместе, и нечто более прочное и глубокое, чем первые порывы любви, выросло из их близости. Салли мечтала, что когда-нибудь у нее будет ребенок и она перестанет чувствовать себя одинокой. Может ли она забыть все это, нарушить верность Моррису и изменить самой себе? Нет! Нет! Нет! Этот запрет все время звенел у нее в мозгу.

— Напрасно вы все это говорите,— сказала она Фриско уже спокойно.— Я связала свою судьбу с Моррисом, и этого ничто не может изменить. А вы всегда найдете себе других женщин, мистер Мэрфи.

— Других женщин? — Фриско сердито выругался.— Разумеется, я найду других женщин. Но никогда ни одна из них не будет мне так желанна, как вы, Салли. И не только это. Я чувствую всем нутром, что вы принадлежите мне, а не Морри Гаугу, черт бы его побрал!

Эли Нанкэрроу и Поп Ярн показались на дороге, и Фриско бросился в заросли. Салли окликнула его, но он не слышал. Да и зачем ему было возвращаться? Салли одержала победу, но на душе у нее было невесело.

Ей пришлось посидеть и поболтать с Эли и Ярном. Но она почти не слышала, о чем они говорят. Сердце ее мучительно колотилось, и мысли вихрем проносились в голове.

— Вы бы легли пораньше, мэм,— участливо сказал наконец Эли.— Вы, видать, вконец замучились со всеми этими хлопотами в такую жарищу.

— Да, вы уж извините меня, я, пожалуй, лягу.— Салли встала, собираясь идти в свою палатку. Они, должно быть, видели Фриско и догадались, почему она так взволнована, подумала Салли.

Когда Эли и Поп Ярн, попрощавшись, зашагали по дороге, Салли села на постель и задумалась, стараясь понять, что с ней произошло. Она сердилась на себя и была озадачена; никак не

могла разобраться в своих чувствах. Почему она так нелепо вела себя с Фриско? Что на нее нашло?

Салли всегда чувствовала себя так уверенно и спокойно в своем браке с Моррисом; она никак не думала, что с ней может случиться что-либо подобное. Она была не из тех женщин, которые себя компрометируют. И знала, что мужчины это понимают; потому и жила так спокойно в лагере среди старателей.

И вдруг это неистовое пламя вспыхнуло в ней, охватило все ее существо. Оно и сейчас жгло, терзало ее, и ей хотелось бросить все, уйти с Фриско. Но она знала, что останется с Моррисом, и ей было безмерно тяжело от этой мысли. Как могла она дойти до такого состояния? Это было смешно и гадко, унизительно! Как это случилось? Быть может, эта жизнь здесь в лагере, это одиночество, это палящее солнце виной тому, что она вдруг почувствовала себя просто женщиной, а не миссис Моррис Гауг? Быть может, это естественно, что в таких условиях мужчину и женщину начинает тянуть друг к другу и они забывают обо всем на свете? Этот дьявол Фриско просто околдовал ее!

А может быть, ее чувство к Фриско не просто мимолетное волнение крови, зажженное горячей лаской солнца, а что-то более глубокое? Не это ли предчувствовала она, когда сказала Вайолет: «Первая любовь — не последняя любовь». Быть может, она уже знала тогда, что полюбит Фриско?

Салли тут же разозлилась на себя за то, что такая мысль могла прийти ей в голову. Подумать только! Чтобы она влюбилась в Фриско Джо Мэрфи! Слава тебе господи, она не так глупа, чтобы дать ему себя одурачить. А уж он бы, конечно, одурачил ее, если бы она поверила ему и ушла с ним, пожертвовав всем, что связывает ее с Моррисом.

Даже подумать смешно, чтобы она могла так поступить. В ее браке с Моррисом было что-то окончательное, что-то решенное навсегда, от чего нельзя отречься. Пусть это не то, о чем она мечтала когда-то, и Моррис не тот, каким он был в первую пору их любви, но эта жизнь — не пустые мечты; она сама избрала ее и тем связала себя навеки. И это — единственное, что есть у них с Моррисом верного, как сказал он ей однажды.

Картина легкой безмятежной жизни, всегда овеянной любовью и счастьем, которую нарисовал ей Фриско, встала перед ней.

«Мираж! — презрительно сказала себе Салли.— Поделом мне. Уже навоображала невесть чего. Вы почтенная, замужняя женщина, миссис Гауг. Постыдились бы так вести себя!»

Она была довольна, что поставила наконец все на свое место. Однако утром, взглянув на себя в зеркальце в серебряной опра-

ве — свадебный подарок Морриса,— Салли была раздосадована своим видом: измученное, страдальческое лицо, круги под глазами. Ей захотелось принарядиться немного, и она надела розовое платье в цветочках и тщательно пригладила волосы мокрой щеткой: бог даст, мужчины не заметят в ней ничего необычного, когда соберутся к завтраку.

Фриско не пришел, и она целый день не видела его. Только вечером, когда вставали из-за стола, Салли услышала, как Сэм и Тупая Кирка говорили о том, какую грандиозную попойку закатил Фриско у Мак-Суини прошедшей ночью. Напился в лоск и все лез в драку, затевал ссоры со всеми по очереди. А сегодня днем уехал: отправился наконец в свое пресловутое путешествие; сел в свою коляску и укатил в Кулгарди, прихватив с собой одну из девиц от мадам Марсель.

ГЛАВА XXXVIII

Весь день стояла удушливая жара, доходившая до ста двенадцати градусов в тени; весь день внезапно налетали смерчи, крутившие в воздухе красную пыль. Салли подавала обед в своей столовой, как вдруг, подняв глаза, увидела, что к ней направляются Олф Брайрли и Динни Квин.

Вся в поту, изнемогая от жары, измученная гонкой и суетой, обычными в обеденное время, Салли растерялась, увидев гостей, и даже как будто не очень обрадовалась им. Она сразу подумала о том, какое на ней грязное платье. Вода была слишком дорога в те дни, чтобы тратить ее на стирку. Волосы влажными прядями падали Салли на глаза и выбивались из пучка, который обычно таким аккуратным клубочком лежал у нее на затылке. Салли так разволновалась, что выронила тарелку, которую передавала Калгурле, и залила себе супом платье. Тут уж она чуть не заплакала от огорчения.

— Ну и ну! — сказал Олф.— Зачем вам все это нужно, миссис Гауг?

— А что же мне еще делать? — возразила Салли.

— А где Морри?

— Он ищет золото около Лейк-Дарлота,— сказала Салли и поспешила прибавить: — Подождите немного, пообедаете со мной, и мы тогда поговорим обо всем, а сейчас мне нужно накормить всех этих голодных людей.

Олф и Динни уселись на землю и стали ждать, пока Салли управится с делами.

Чтобы угостить мистера Брайрли и Динни, Салли отложила немного тушеного мяса, которое она приготовила для посетителей,

и отрезала кусок пирога с сушеными яблоками. Эли, Сэм Маллет, Тупая Кирка и еще кое-кто из старателей, покончив с едой, вышли из-под навеса и увидали Олфа и Динни; они радостно приветствовали их, окружили и принялись расспрашивать о новостях в Кулгарди и о том, что занесло их в Хэннан.

Но когда Салли освободилась, она живо выпроводила Сэма и всех остальных, а Динни и Олфа увела обедать под навес. Это были ее старые друзья, ей хотелось поговорить с ними, и все это поняли...

Ну, конечно, она очень устала и замучилась; день был такой тяжелый — жара и пыль. Вот все, что могла сказать Салли, пытаясь объяснить, почему, когда она подняла тяжелый котелок с водой, ей сделалось дурно.

Она очнулась на постели у себя в палатке; Олф и Динни хлопотали возле нее. Они уже успели раздобыть где-то виски и заставили ее выпить. Олф вытер ей лицо и руки мокрой тряпкой.

Салли страшно разозлилась на себя за этот обморок. Никогда еще не случалось с ней подобных глупостей, сказала она. Она тут же заявила, что ей уже лучше, и захотела во что бы то ни стало выйти из палатки и посидеть в своем трехногом кресле. На воздухе было немного прохладнее, но пылавший в небе багровый закат предвещал еще один изнурительно знойный день.

Калгурла уже перемыла посуду и теперь подметала вокруг навеса.

— Калгурла! — позвала Салли.

Туземка подошла к ней.

— Поставь масло в погреб, а хлеб убери в большую жестяную коробку,— сказала Салли.— Ты закрыла сладкое от мух и муравьев?

— Э-хем,— пробормотала Калгурла и пошла обратно.

— А вы сумели приручить ее, мэм,— сказал Динни.

— Да нет, вряд ли,— Салли улыбнулась.— Но пока не вернется Моррис, она, вероятно, от меня не уйдет. А потом я не стану ее удерживать. Ей, конечно, хочется к своим. Она была очень добра ко мне, я ей многим обязана.

Салли поняла, что Динни и Олф слышали о том, как она заболела по дороге в Лейк-Дарлот. Они ее не расспрашивали, и она, боясь, как бы они не стали осуждать Морриса, торопливо заговорила о другом. Она рассказала, как прииск разрастается у нее на глазах; Хэннан процветает: чуть ли не каждый день открываются новые рудники, и спекулятивная горячка достигла апогея.

Олф сказал, что они с Динни хотят забраться поглубже в заросли, поставить палатку и поискать вокруг. Леди Лора не оправдала ожиданий. Они вложили в нее все свои деньги, а теперь руд-

ник закрылся. Дела идут невесело в Кулгарди. Олф решил поискать работы на боулдерских рудниках или отправиться на разведку вместе с Динни.

— Когда лорд Фингал провалился со своим Лондондерри, это было тяжелым ударом для Кулгарди,— сказал Олф.

— Английские вкладчики боятся теперь кулгардийских предприятий, как огня,— пояснил Динни.— И ничего нет удивительного. Лондондерри расславили как самое богатое месторождение на земле, и лорд Фингал заплатил за него сто восемьдесят тысяч фунтов стерлингов. Акций было выпущено на семьсот тысяч фунтов. Но оказалось, что все жильное золото уже выбрано старателями еще до продажи, и Фингалу удавалось добывать всего лишь по нескольку унций, когда он заложил шахту и начал проходку.

— Теперь предприниматели воспрянули духом, когда почуяли, что вокруг Хэннана открываются новые месторождения жильного золота,— заметил Олф.— Но, по-моему, Кулгарди еще оправится. Не хочется терять веру в старый лагерь.

— В горнорудном деле на одной вере, без капитала, далеко не уедешь,— возразил Динни.— Нутром чую, что именно Хэннан пойдет теперь в гору. Черта с два его что-нибудь остановит, когда десятки рудников уже на полном ходу и разведчики расходятся во все стороны от него, а там, глядишь, через месяц-другой и железная дорога откроется.

Если старатели заведут разговор о золоте и о том, какой прииск обставит все остальные,— одному богу известно, когда это может прийти к концу. Потеряв терпение, Салли перевела разговор на другое. Ей уже до смерти надоело слушать про золото и про закладку шахт.

— Как поживает Лора? — спросила она.— Она тоже собирается в Хэннан?

Олф бросил на Салли радостный и смущенный взгляд.

— Лора здорова,— ответил он,— она сейчас поехала на побережье, пробудет там несколько месяцев до родов.

Его благоговейная радость мгновенно передалась Салли. Пораженная, взволнованная, обрадованная, она воскликнула:

— Да что вы говорите! Как я рада за вас обоих, мистер Брайрли!

— Лора не хотела ехать,— сказал Олф.— Нелегко было ее уговорить. Но я считал, что ей нельзя оставаться летом на прииске. Ребенка нужно родить в гигиенической обстановке. В Кулгарди свирепствует тиф, больница в ужасном состоянии. А сестра О'Брайен и сестра Миллер уехали. Достать свежие продукты почти невозможно. Воды нет.

— Люди мрут как мухи — по десятку в день,— добавил Динни.— Ребята боятся ложиться в больницу и помирают у себя в палатках; на кладбище столько новых могил, что ступить негде. Гробовщики наживают целые состояния; сколачивают гробы из старых ящиков и красят их в черный цвет. А теперь и краска кончилась. Боб Харден отправился на вечный покой в гробу, сбитом из ящиков с надписью: «Взрывчатое, огнеопасно!»

Динни криво усмехнулся.

— Может, этакие шутки и неуместны, мэм, но в такое тяжелое время не грех иногда и посмеяться.

— Да, я вот тоже смеюсь, мистер Квин,— сказала Салли.

— А ведь и вам следовало бы поехать на побережье, мэм,— сказал вдруг Динни.

Салли почувствовала, как кровь горячей волной хлынула ей в лицо.

— Мне? — удивленно переспросила она. Уж не думает ли Динни, что и она беременна? — Я только недавно оправилась от болезни,— проговорила она медленно. А теперь я очень занята. Вот когда Моррис вернется, он, конечно, устроит, чтобы я могла куда-нибудь поехать отдохнуть.

— Лучше бы не откладывать,— сказал Динни участливо.— Почтальон говорил мне, что на перегоне от Бураббина до Ринс-Соук лошади падают на дорогах. С водой плохо, и похоже, что будет еще хуже. О расходах вы не думайте, мэм. Мы с Олфом возьмем это на себя, а Морри потом сочтется с нами.

«Так они и в самом деле решили, что я беременна!» — ахнула про себя Салли.

— Нет, нет,— воскликнула она, испытывая одновременно и смущение, и какое-то затаенное ликование.— Я не могу никуда ехать, пока не вернется Моррис. Но спасибо, спасибо вам обоим за вашу заботу!

— А как поживает Мари, мадам Робийяр? — помолчав спросила Салли.— Вы давно ее не видели?

— Я видел Робби на днях,— сказал Динни.— Его мать умерла в Англии, старик приехал сюда — будет теперь жить с сыном. Робби говорил, что они тоже думают перебраться в Хэннан.

— Вот бы хорошо! — воскликнула Салли.— Хэннан для меня станет совсем другим, если здесь будут Мари и Лора.

Олф и Динни посидели еще немного, рассказали обо всех происшествиях в Кулгарди. Был большой пожар — целый квартал выгорел, боялись, что от поселка ничего не останется. Лачуги из парусины и старых корабельных досок пылали, как спичечные коробки. Пламя столбом поднималось к небу, и говорят, что зарево было видно за много миль. Почтовую контору еле удалось от-

стоять. Люди сбежались со всех окрестных лагерей — даже туземцы и афганцы,— чтобы тушить пожар.

Гостиница Фогарти тоже была в опасности. Сараи во дворе сгорели. Билл и миссис Фогарти боролись с огнем как черти. Но ведь у них дом из гофрированного железа, его было легче отстоять. А редакция газеты и один из банков сгорели дотла.

Олф благодарил бога за то, что Лора уехала с дилижансом за несколько дней до пожара. Она живет теперь на ферме около Гилдфорда и в каждом письме пишет Олфу о том, как добры к ней его друзья, у которых она остановилась, и какая у них прекрасная ферма.

Олф вытащил из кармана пачку писем; Лора описывала фруктовые деревья в цвету и лужайки, покрытые такой свежей зеленой травкой, что ее хочется съесть. Лора пьет очень много молока и ест апельсины, когда только ей вздумается. Занята она тем, что целыми днями шьет распашонки и вяжет из шерсти крошечные чепчики и башмачки. Иногда ходит к реке погулять и нарвать цветов. Какое это упоительное зрелище — так много воды! И река светлая, серебристая и так мирно течет меж зеленых пастбищ. А какой здесь воздух — свежий-свежий! Он вливает в тебя силы, и кажется, что молодеешь с каждым днем...— словом, Лора чувствует себя как нельзя лучше. «Если бы только ты был со мной, милый, как бы мы были счастливы...»

Олф Брайрли вздохнул и спрятал письма в карман.

— Такая обида, что я не могу поехать к Лоре сейчас, когда я ей особенно нужен! Но ничего не поделаешь, приходится торчать здесь. Нужно сколотить деньжат для нее и для малыша.

— Ну, ну, не вешай нос, Олф,— сказал Динни.— Мы с тобой все это наладим. Ты будешь работать на руднике, а я пойду на разведку, чтобы, кроме твоего жалованья, было немножко денег на всякий случай.

Когда они ушли, Салли откинулась на спинку кресла и долго смотрела в огромную, бездонную чашу неба. Розовое пламя заката гасло за темнеющими деревьями. Последние лучи догорали на пыльных, обветшалых палатках, на грудах отвала и стрелах копров, торчащих на склоне горного кряжа.

Но для Салли багряный отблеск заката и золотое мерцание звезд в лиловато-зеленом вечернем небе говорили только об одном: завтра опять будет знойный день, палящее солнце и свыше ста градусов в тени. А тени так мало! Только редкое черное кружево, которое отбрасывают на землю худосочные деревья, да еще пятна тени под навесом. Издали до Салли доносились пьяные голоса, крики игроков в ту-ап; с дороги долетела чья-то песня.

Салли охватило какое-то странное волнение: она испытывала и страх и щемящую радость. Неужели это правда — то, на что намекал Динни? Какой срам, что ей ничего в голову не приходило, пока Динни не навел ее на эту мысль.

Салли поднялась и сверху вниз оглядела себя. Она увидела, как туго облегает ее засаленное, насквозь пропыленное голубое платье. До сих пор она думала, что фигура у нее расплылась оттого, что она перестала носить корсет. Такое облегчение — ходить без корсета в эту жару! И кроме того, корсет — это драгоценность, его нужно беречь для особо торжественных случаев. О других признаках приближающегося материнства Салли знала до смешного мало и была очень обескуражена, обнаружив свое невежество.

— Калгурла!

Туземка сидела на корточках у очага и, не шевелясь, смотрела в темноту. Она подняла голову, когда Салли подошла к ней.

— У меня будет ребенок? Да? Скажи! — спросила Салли.

— Э-хем,— спокойно ответила Калгурла и опять погрузилась в угрюмую задумчивость.

Салли вернулась к своему креслу. Радость душила ее. Случилось то, о чем она мечтала с первого дня замужества, чего так долго и тщетно ждала. Моррис не хотел иметь детей. Он считал, что Салли не должна рожать, пока они не разбогатеют. А теперь у нее все-таки будет ребенок, скоро она станет матерью. Как примет Моррис это известие? Едва ли он так обрадуется, как она. Но потом привыкнет и будет рад. Как может быть иначе?

В конце концов он не может винить ее в том, что произошло. Он сам виноват не меньше. Как забыть первую ночь в Хэннане и много других ночей, когда Моррис грубо подчинял ее своей страсти и его объятия были так непохожи на нежную любовную ласку, которой он дарил ее в первые годы их совместной жизни. Улыбаясь и замирая от восторга, Салли прислушивалась к происходящему внутри нее чуду, и ей казалось невероятным, чтобы Моррис мог не разделить ее радости. Забавно представить себе Морриса в роли отца. Он, наверно, будет страшно важничать и сразу преисполнится чувством собственности — как Бардок, когда Маритана родила ребенка.

Когда Моррис узнает, что она беременна, он, конечно, постарается отправить ее на юг, чтобы ребенок родился в «гигиенической обстановке», как выражается Олф Брайли. На прииске свирепствует тиф, а врачи пьянствуют с утра до ночи, и толку от них мало. У нее, наверно, тоже был тиф — все говорят, что она выжила просто чудом.

Не удивительно, что эпидемия усиливается в Хэннане. Только при гостиницах есть отхожие места — во дворах. Кустарники вокруг участков загажены, и мухи плодятся там в неимоверном количестве. Они разносят заразу повсюду. А ветер подымает тучи пыли, она попадает в пищу и воду. В жаркие, душные ночи, вроде сегодняшней, над кустами всегда поднимается такое зловоние, что просто дышать нечем. Даже сухой пряный аромат акации, которую жгут на кострах, не может заглушить его.

Салли вдруг охватил ужас. Как! Произвести на свет это крохотное создание в такой грязи, под палящим солнцем, которое сжигает и губит все живое, принести его в этот страшный мир, где бедный крошка будет бороться за свое существование, изнемогая от жажды, задыхаясь в облаках пыли!

Нужно сейчас же написать Моррису, решила она. Спрошу в лавке, когда будет оказия. Может быть, пойдет фургон на север или соберется партия разведчиков. Моррис, безусловно, вернется, как только узнает, почему ей необходимо сейчас же уехать куда-нибудь, где есть свежая пища и много воды. Если он нашел золото, тем лучше; если нет — все равно он должен приехать и позаботиться о ней и ребенке.

Конечно, Салли была бы рада обойтись без его помощи. Если бы только она пораньше открыла свою столовую! У нее сейчас хватило бы денег и на поездку, и на врача, и на то, чтобы жить в пансионе на побережье, пока не родится ребенок. Но она только что набрала в лавке провизии на целый месяц, купила глиняные горшки, ножи, кастрюли и несколько листов гофрированного железа, чтобы покрыть крышу над столовой и сделать навес над очагом.

Каждый день может разразиться гроза с ливнем. Салли решила встретить дождь во всеоружии, и у нее совсем не осталось денег, нечего было и думать о поездке на побережье. Моррис поймет, конечно, что теперь самое главное — это ребенок. Салли была уверена, что он поймет и поспешит к ней, горя желанием сделать все, чтобы его сын мог благополучно появиться на свет. Вероятно, Моррису захочется, чтобы это был мальчик, и, конечно, Салли постарается ему в этом угодить. Да, да, у нее будет мальчик, сын! Ее сын!

Салли припомнилась колыбельная песенка, которую пели туземки, идя по дороге с младенцами на руках. Ложась в постель, она стала тихонько напевать ее про себя, как бы уже убаюкивая своего ребенка. Никогда еще Салли не была так счастлива, так полна сознанием, что теперь она не одинока. Отныне это живое существо всегда будет с ней. Ребенок, думала Салли,— это чудо. Это чудесное воплощение ее мечты, ее тоски о ком-нибудь, кого

она могла бы любить беззаветно, как уже не любила Морриса, как отказывалась любить Фриско. Какое счастье, что она не поддалась искушению, не ушла с Фриско. Он увез вместо нее Лили, не без горькой иронии подумала Салли. Но и эта мысль не могла уже причинить ей боль.

Жизнь станет совсем иной теперь, когда она должна заботиться о своем сыне. Она будет бороться, чтобы он рос здоровым и счастливым; он должен взять от жизни все то, чего они с Моррисом не сумели добиться. Сладостное волнение, переполнявшее ее, растворилось мало-помалу в дремотных грезах, и она уснула, думая о письме Лоры; ей приснилась серебристая река, мирно текущая меж зеленых пастбищ, и фруктовые деревья в цвету.

ГЛАВА XXXIX

Чист и прозрачен, как звон бубенчика, крик утренней птицы в свежем предрассветном воздухе! Калгурла, скорчившаяся на земле у потухшего очага, зашевелилась. Каждое утро слышала она этот крик, а для Салли он заменял звон будильника.

Если прокричала утренняя птица — значит, времени терять нельзя. Еще темно, но на востоке уж брезжит рассвет. Солнце поднимается быстро, и люди встают вместе с ним, чтобы приняться за работу на своих участках, пока еще не начало припекать. Салли налила немного воды себе и Калгурле для умывания и быстро оделась.

Калгурла, раздувавшая огонь в очаге, с удивлением уставилась на миссис Салли — она совсем не казалась больной в это утро, вид у нее был бодрый и веселый. Салли надела чистое ситцевое платье, подвязала черный передник и уже хлопотала у очага — помешивая кашу в большом котле и обваливала в сухарях говяжьи биточки с приправой из сушеных трав. Вскоре биточки уже шипели на сковородках, сделанных из жестянок из-под керосина и поставленных на металлические прутья над тлеющими углями. Калгурла наполнила водой черные от сажи котлы, подвешенные на крюках над очагом, и над ними уже поднимался пар.

Небо розовело, и золотое сиянье пробивалось на востоке. Прииск оживал: старатели перекликались друг с другом, с рудников доносились пронзительные гудки, дым от очагов медленно поднимался вверх в неподвижном, все еще тяжелом от вчерашнего зноя воздухе.

Когда мужчины один за другим стали стекаться в столовую, у Салли уже были готовы для них и биточки, и каша, и горячий

чай в больших жестяных кружках. Биточки подавались с приправой из томатного соуса. На столе под навесом пестрели яркими наклейками консервные банки с вареньем; жестяные коробки из-под печенья с нарезанными ломтями хлеба блестели, точно серебряные.

Сэм Маллет и Тупая Кирка изумились, увидев миссис Салли здоровой, бодрой, как ни в чем не бывало. Они слышали, что ей стало дурно накануне вечером, и уже поговорили об этом по душам с Олфом Брайрли и Динни Квином.

— Как вы себя чувствуете, мэм? — спросил Сэм с необычной серьезностью, уставив на нее свои круглые, как у совы, глаза.

— Благодарю вас, превосходно, у меня же здоровье высшей пробы,— весело отозвалась Салли. Ей нравилось говорить со старателями их языком.— А вы как?

После завтрака Сэм не уходил и в нерешительности топтался под навесом: видно, что-то было у него на уме.

— Ребята беспокоятся... Вы себя совсем не жалеете, миссис Салли,— запинаясь, начал он наконец.— Как вы вчера хлопнулись-то! Ребята думают, что вам надо бы поехать к морю на недельку-другую. Хотят сложиться. Моррис, если захочет, сочтется с ними потом.

Салли покраснела, рассердилась на себя за свою застенчивость и в конце концов рассмеялась радостно и беззаботно.

— Какие вы все добрые! Спасибо вам! — сказала она.— Но Моррис сам позаботится обо мне, когда будет нужно.

Салли была рада, когда наконец все ушли и она могла убрать со стола. Прежде всего надо написать Моррису письмо, потом сходить в лавку за продуктами и разузнать, не идет ли на север фургон или партия разведчиков. Салли решила не ложиться днем отдыхать, а навестить миссис Моллой. Обед можно будет приготовить потом. Кто же лучше миссис Моллой может рассказать ей все, что необходимо знать, когда ждешь ребенка, решила Салли.

Калгурла пошла вместе с Салли, чтобы помочь ей принести провизию. Это был удачный день. Мясник накануне освежевал тушу и был в наилучшем расположении духа. Салли поторговалась с ним и купила говядины для жаркого за сходную цену. В лавке у Неда Киллингтона она достала большую тыкву, картофеля и луку, и Нед сказал ей, что завтра утром пойдет почта на Дарлот. Тогда Салли направилась к невысокому сооружению из гофрированного железа и дерюги, служившему почтовой конторой в поселке Хэннан, и с чувством глубокого удовлетворения отдала там свое письмо в надежные руки.

Изнемогая от жары, Салли потащила тяжелые мешки с хлебом и мясом к себе на участок. Калгурла всю дорогу задыхалась

и ворчала, сгибаясь под тяжестью мешка с картофелем и луком, но Салли некогда было ублажать ее сегодня. Она усадила Калгурлу чистить картошку, а сама приготовила мясо для жаркого, поставила на уголья большой котел, наложила полный совок горячих углей на крышку и велела Калгурле сменить их, когда они погаснут.

Был полдень; все эти хлопоты и беготня очень утомили Салли, пот лился с нее градом, но она сказала Калгурле:

— Я — к миссис Моллой. Обед еще успеем. Ты разведи огонь, вскипяти воду, все приготовь. Хорошо, Калгурла?

— Э-хем,— ответила Калгурла, глядя на нее с удивлением: прорывавшееся наружу радостное волнение Салли не укрылось от ее зорких глаз.

— Юкки! — воскликнула Калгурла, когда Салли вышла из палатки в белом муслиновом платье с узким лифом и широкой юбкой. Оно было сильно помято от долгого лежания в сундуке, а соломенная шляпа с большими полями, которую Салли нередко надевала от солнца, отнюдь не могла назваться новой; но сегодня вокруг тульи была повязана красная лента. И в довершение всего миссис Салли раскрыла перед удивленной Калгурлой маленький красный зонтик.

— Я иду по важному делу, Калгурла. Нужно принарядиться,— весело сказала Салли и зашагала по дороге.

Тед Моллой выстроил для своей жены и ребятишек хибарку на склоне холма, неподалеку от рудника Большой Боулдер, на котором он теперь работал, и Салли предстоял неблизкий путь. Небо, словно добела раскаленный металлический щит, висело над головой, потеряв от зноя все краски. От пышущих жаром железных гофрированных крыш поднималось в воздух струистое марево. Спекшаяся, твердая, как кирпич, земля жгла Салли ноги сквозь подошвы белых парусиновых туфель.

С каким облегчением после слепящего солнца и порывов жгучего ветра Салли упала на стул в хибарке у миссис Моллой и, сорвав с головы шляпу, стала обмахивать разгоряченное лицо.

Салли сидела красная и потная, сердце у нее колотилось, она с трудом переводила дух, но ей радостно было слышать, как дружелюбно приветствует ее хозяйка, и видеть, как целый выводок маленьких Моллой восхищенно смотрит на нее во все глаза.

Все они высыпали Салли навстречу, как только кто-то из них увидел, что она взбирается в гору по каменистой тропинке, ведущей от Боулдерской дороги к их дому. Несколько коз, пасшихся между скал, бросились врассыпную при ее приближении. Целая ватага ребятишек — и все босоногие, с непокрытыми головенка-

ми; на худых смуглых тельцах висят какие-то лоскутья, изображающие штанишки или юбчонку!.. Салли невольно воскликнула:

— Неужто это все ваши, миссис Моллой?

— Господи помилуй и спаси, а то чьи же, миссис Салли, милочка? Все чертенята мои, все до единого! — горделиво ответила Тереза Моллой. Она радушно хлопотала вокруг нежданной гостьи, громко шлепая по полу своими широкими босыми ногами. Одной рукой она придерживала грудного ребенка; годовалый малыш ковылял за матерью, уцепившись за ее юбку.— И все названы в честь какого-нибудь города в Австралии: Сидней, Мельбурн — и так далее. Поздоровайся с миссис Гауг, Сиди, и ты тоже, Мел, и ты, Брисси. А ты, Перти, подкинь-ка еще хворосту в очаг. Ади, ступай взгляни, есть ли в погребе молоко...

Салли пожала руки Сиди, Мел и Брисси, которые сразу потеряли дар речи и застенчиво пятились от нее, тараща круглые от любопытства глазенки.

— Они еще никогда не видали такой нарядной дамы с красным зонтиком,— добродушно болтала миссис Моллой.— А вы, милочка, прямо как с картинки, вас точно и жара не берет,— любо-дорого посмотреть.

— Мне нужно поговорить с вами, миссис Моллой,— волнуясь сказала Салли.— Я потому и пришла...

Миссис Моллой выпроводила ребятишек, надавав им различных поручений: загнать коз, набрать хворосту для очага...— И чтоб не сметь баловаться! — крикнула она им вдогонку, отдала грудного малыша нянчить старшей девочке и села пить чай с миссис Салли.

Ну и смеялась же миссис Моллой, когда Салли призналась ей, что у нее, кажется, будет ребенок!

— Да я давным-давно это знала, милочка!— благодушно сказала она и принялась объяснять Салли на основе своего богатого опыта, что родить ребенка — это не такое дело, из-за которого нужно волноваться. По правде говоря, чем меньше волноваться, тем лучше.

— Все мои ребятишки родились где кому бог привел,— с гордостью говорила она.— Когда маленький Перти появился на свет, недельки на две раньше срока, Теду самому пришлось мне помогать. А раза два я рожала с туземками, и все сошло отлично. Они куда лучше, чем все эти пьяницы врачи с прииска.

По мнению миссис Моллой, Салли была уже на шестом месяце, а значит, если ехать на юг, так ехать не откладывая. Миссис Моллой советовала непременно ехать: слишком еще Салли слаба после болезни. Но через месяц ей уже нельзя будет тряс-

тись целую неделю в дилижансе да потом дня два ехать поездом из Южного Креста.

— Этак можно и на дороге родить, голубушка, как было у меня с моим Перти,— сказала она.— А это очень нелегко. Кругом одни мужчины. И ребеночка можно потерять.

— Я могла бы лечь в больницу,— сказала Салли задумчиво.— Но там так много больных тифом.

— Ну уж если на то пошло, милочка, так почему вам не прийти ко мне? — предложила миссис Моллой.— Я поухаживаю за вами.

Салли поблагодарила ее, стараясь скрыть свое смятение. Эта толстая неряшливая женщина, несмотря на свой опыт и искреннее желание помочь, едва ли годится в повивальные бабки, думала Салли. В хижине была только одна комната — столовая и кухня одновременно; в углу, за парусиновой занавеской, спали мистер и миссис Моллой. Ребятишки помещались на двух узких верандах — впереди и позади дома,— сплошь заставленных деревянными топчанами, обитыми дерюгой. Мыслимое ли это дело — рожать в такой обстановке?

— Я уверена, что Моррис вернется, как только получит мое письмо,— твердо сказала Салли.— И тогда я сейчас же поеду на побережье.

Однако, бредя обратно в Хэннан под жгучим послеполуденным солнцем, Салли уже сама не знала — верит ли она в то, что Моррис вернется к ней, как только получит ее письмо. Приподнятое настроение, в котором она отправилась к миссис Моллой, сменилось смутной тоской. Может ли она быть уверена в том, что Моррис отнесется к ее письму так, как бы ей хотелось? Если он нашел золото, ему будет трудно от него оторваться. Если золота нет — он не захочет возвращаться домой ни с чем. Неужели сознание опасностей, грозящих здесь и ребенку и ей, не победит в Моррисе этой жажды золота, которой он одержим?

Нет! Салли тут же отогнала эту мысль. Как могла она быть так несправедлива к Моррису! Допустить, что он может настолько забыть свой долг! Нет, нет, он, конечно, захочет быть возле нее, когда она будет рожать ему сына. Он позаботится, чтобы за ней был хороший уход, пригласит к ней акушерку и опытного врача. Можно себе представить, как он будет из кожи лезть, чтобы Фитц-Моррис Гауг младший был окружен надлежащим вниманием! Старые понятия о сохранении рода и тому подобное все еще сильны в нем, хотя, быть может, этому трудно теперь поверить, глядя на него. Ведь и золото в конце концов нужно ему только для того, чтобы вернуться на родину и жить так, как он жил когда-то.

Сын, думала Салли, только сын может стать для Морриса важнее золота. Моррис приедет. Это несомненно. Она никогда не простит ему, если он не приедет.

Старатели кончали работу на своих участках в четыре часа, забегали пропустить стаканчик в ближайший трактир, возвращались к своим палаткам ополоснуть запыленное лицо и руки и спешили в поселок, чтобы пополнить запас воды и продуктов, или шли обедать. Салли торопилась домой: как бы не опоздать с обедом. Не упустила ли Калгурла жар в очаге и не забрался ли кто-нибудь из ее сородичей в погреб?

Но все было в порядке. Угли еще тлели, а Калгурла, как обычно, не спеша накрывала на стол. Салли, конечно, пришлось немало повозиться; она приготовила картофель, тыкву и заварной крем из яичного порошка и сгущенного молока к пудингу с сушеными абрикосами. Ровно к пяти часам обед у нее был, как всегда, готов.

Весь следующий месяц Салли мужественно продолжала работать не покладая рук. Никогда еще не чувствовала она себя так хорошо, уверяла она миссис Моллой. Изредка, правда, испытывала утомление, но всю тяжелую работу делала теперь Калгурла — таскала воду, носила дрова. От Морриса по-прежнему не было вестей.

Потом Салли узнала от старателей, возвратившихся из Дарлота, что Моррис ушел в поход на Блэк-Рэйндж — в восьмидесяти милях к востоку.

Медленно текли недели изнуряющего зноя, невыносимой духоты. Салли слабела с каждым днем, но продолжала работать с прежней энергией. Лицо ее осунулось, глаза ввалились. Она понимала теперь, что ей уже не вырваться отсюда. Ее сын родится здесь, на прииске. Ей и ребенку придется положиться на судьбу в этом ужасном больничном бараке из парусины и гофрированного железа, битком набитом тифозными больными, или отдать себя под опеку миссис Моллой.

— Да вы не тревожьтесь, голубка,— подбадривала ее миссис Моллой.— Увидите, все пойдет как по маслу. Я вас выхожу; вы не первая, кому мне придется помогать при родах. Вымою все, такую чистоту наведу — любо-дорого. А Тед и ребятишки могут поспать во дворе денек-другой, когда маленький Гауг появится на свет божий.

И так оно в конце концов и случилось.

В ту ночь, когда Салли, растерявшаяся и перепуганная, почувствовала приближение родов — несколько раньше, чем она ждала,— Калгурла побежала к миссис Моллой. Она вернулась с Тедом и Сэмом Маллетом. Они положили Салли на носилки,

которые давно были у них наготове, и отнесли ее в хижину семейства Моллой.

Хозяйка, преисполненная сознанием своей ответственности, встретила Салли с распростертыми объятиями. На миссис Моллой было чистое ситцевое платье, голову прикрывал белый носовой платок; она выглядела как самая заправская акушерка, опрятная и уверенная в себе.

— Знаете, милочка,— призналась она потом Салли,— я думала, что вам будет приятно, если я немножко приоденусь для такого случая.

— Конечно, мне было приятно,— заверила ее Салли.

Салли слышала, как миссис Моллой велела Теду сходить за доктором. В продолжение долгих мучительных часов, пока длились роды, она все время чувствовала присутствие этой толстой добродушной женщины, которая хлопотала около нее и все старалась успокоить ее и подбодрить. Калгурла тоже не отходила от Салли, и это она держала ее руки во время последней жестокой борьбы, исторгавшей из груди роженицы пронзительные, истошные крики.

А потом, на рассвете, миссис Моллой наклонилась над койкой, и Салли услышала:

— Сынок родился, миссис Гауг. Чудесный мальчишка! Поглядите-ка на него!

Сын! Салли преодолела тягостное изнеможение, сковавшее все ее тело, и взглянула на крошечное существо, лежавшее рядом с ней на постели. Темная головенка покоилась на ее груди. Слезы навернулись у нее на глаза и медленно потекли по лицу.

— Сын! Мой сын! — прошептала Салли. Какое счастье, какое невыразимое блаженство знать, что он здесь, подле нее.

ГЛАВА XL

Все семейство Моллой в полном составе сопровождало Салли, когда она возвращалась домой. Тед Моллой шагал впереди, с ее саквояжем. Миссис Моллой шла рядом с Салли и несла ее сына. Младшее поколение Моллой уже звало его Диком. Он был записан как Ричард Фитц-Моррис Гауг. Шикарное имя, говорила миссис Моллой. Она тоже всем своим ребятишкам дает шикарные имена. Жалко их — ведь они у нее незаконнорожденные, хочется хоть чем-нибудь их потешить.

Сиди, Мел и Брисси, похожие на маленькие огородные пугала, бежали позади, и каждый что-нибудь нес в руках, а годовалого братишку сажали на плечи все по очереди. Грудного мла-

денца Ади катила в колясочке, сделанной из поставленного на колеса ящика.

Но центром внимания в этой процессии была козочка — подарок миссис Моллой. Козу героически тянули за собой Перти и Барт, а она не менее настойчиво тащила их в кусты. Все хохотали до упаду каждый раз, как коза бросалась в сторону, цепляясь веревкой за колючки и увлекая за собой обоих мальчиков. Это была прелестная козочка — беленькая, с точеными копытцами и рожками, изогнутыми, как молодой месяц, озорная и ласковая. Салли чувствовала себя необыкновенно счастливой; она смеялась каждому прыжку козы так же звонко и весело, как дети. Она уже научилась доить козу, и маленький Дик удовлетворенно сосал из рожка козье молоко и даже как будто начинал толстеть. Салли пришла в отчаяние, когда оказалось, что у нее нет молока; невыносимо было видеть, как Дик понапрасну теребит своим крошечным ротиком ее пустую грудь. Салли заливалась слезами и горестно глядела на маленькое сморщенное личико.

— Ничего, ничего, голубка, не надо так убиваться,— утешала ее миссис Моллой.— При такой жизни, как у вас, да еще после болезни — откуда ему взяться, молоку-то? Ничего, вырастет ваш малыш и на козьем молоке... Есть у меня очень хорошая козочка — как раз то, что ему надо...

Салли понимала, что и она и маленький Дик обязаны жизнью миссис Моллой и ее козе. Впрочем, каждый член семейства Моллой внес свою ленту — все они помогали выжить ей и маленькому Дику в первые, тяжелые дни после родов.

Как они были добры к ней! Тед Моллой вскочил с постели, побежал за Сэмом Маллетом, перенес ее на носилках к себе в хижину, сбегал за доктором и всю ночь грел для нее воду в жестянках из-под керосина. Доктор пришел, когда ребенок уже появился на свет. Почтенный эскулап похвалил миссис Моллой, заявив, что он и сам не мог бы управиться лучше.

— Да где ему! — ворчал Тед.— Пьяница несчастный! Чуть не силком вытащил его из трактира. Посмотрели бы вы, на что он был похож! Я не позволил ему подойти к вам, мэм, пока не вылил на его ручищи чуть ли не целую лоханку горячей воды.

Тед и ребятишки несколько дней спали за домом под кустами, и в хижине царила необыкновенная тишина и покой. Какое это было невыразимое блаженство, вспоминала Салли: лежать вот так в постели, чувствовать рядом с собой своего ребенка, знать, что тебя окружают заботой и любовью, засыпать, мечтая о том, сколько радости сулит впереди постоянная близость этого нового, дорогого ей существа.

Когда юные Моллой гурьбой ввалились в комнату, чтобы поглядеть на новорожденного, каждый из них принес ему какой-нибудь подарок. Один из мальчиков сделал для Дика маленькую тележку из старого ящика, другой подарил ему пучок ярких перьев из хвоста попугая, привязанный к длинной бечевке, а Ади совершенно самостоятельно сшила Дику нагрудничек. Слезы выступали на глазах у Салли, когда она вспоминала это трогательное внимание детей и заботу, которую проявляла о ней миссис Моллой.

Через несколько дней Салли настояла на том, чтобы мистер и миссис Моллой спали на своей кровати, а сама перешла на топчан. Детей вернули в дом. Шумливые и любопытные, они сразу заполнили собой все. Среди этой голосистой оравы хлопотала миссис Моллой: стряпала, подметала пол, стирала, гладила. Сколько живых существ в таком крошечном домике! Казалось, что они болтают, ссорятся, визжат, хохочут и плачут все зараз. Не успевал замолкнуть рев одного из мальчишек, получившего подзатыльник, как принимался плакать младенец, и гомон стоял целый день.

Вскоре Салли решила, что она уже вполне поправилась и может вернуться домой. Она вспоминала свою палатку и плетеный навес, и ей казалось странным, что это ее дом. И все же ее тянуло туда, хотелось остаться с малышом вдвоем, пеленать его и купать, не чувствуя на себе любопытных взоров целой ватаги ребятишек.

И вот в одно воскресное утро Салли в сопровождении описанной выше процессии прибыла в свою палатку у подножия горы Маританы. Шествие не раз останавливалось по пути, так как необходимо было показать младенца Сэму Маллету, Тупой Кирке, Эли Нанкэрроу, Попу Ярну и еще кое-кому из старых друзей.

Пока миссис Моллой разбирала Саллины вещи и принадлежности малыша, Тед отправился в лавку за продуктами. Один из мальчиков разжег огонь в очаге, другой отвел пастись козу, Ади подмела вокруг палатки и под навесом, куда ветер нагнал кучи сухих листьев и пыли.

Вернувшись, Тед рассказал, что встретил возчика с Лейк-Дарлота, который видел Морриса и Кона. Они направлялись к Блэк-Рэйнджу с партией золотоискателей, снявшихся с места, когда россыпи в Дарлоте начали истощаться. Моррис, вероятно, не получил письма миссис Гауг. Все, кто приезжал с севера, повторяли слухи о золоте, найденном в Блэк-Рэйндже. Но местность там, конечно, трудная для старателей.

— Не надо вешать нос, мэм,— утешал Салли Тед на свой грубовато-добродушный лад.— Морри еще явится к вам в один прекрасный день с набитыми золотом карманами.

— А я не вешаю нос,— спокойно ответила Салли, не отрывая глаз от Дика, спавшего у нее на коленях.

Салли замечала, что она все реже и реже думает о Моррисе, с тех пор как у нее родился сын. Мысли ее были заполнены ребенком — всеми его повседневными, повсечасными нуждами, да еще думами о том, как ей прокормить его, когда он подрастет. Ей придется немедля снова открыть столовую. В последние месяцы перед рождением Дика Салли удалось отложить немного денег, и у нее сохранились еще кое-какие сбережения, но их хватит ненадолго. И Салли говорила себе, что отныне она всегда должна зарабатывать столько, чтобы хватило и на нее и на ребенка.

У нее было такое чувство, будто Моррис потерял свои права на сына. Он не приехал, чтобы разделить с ней ее радость, когда она носила ребенка. Его не было с ней, чтобы разделить ее тревогу и страдания, когда она рожала ему сына. Тем самым Моррис как бы отрекся от него, Дик принадлежит только ей, и на ней одной лежит ответственность за то, что она произвела его на свет.

Калгурла исчезла в то утро, когда родился Дик. Всю ночь Салли ощущала ее возле себя: видела высокую темную фигуру, неслышно двигавшуюся по комнате, слышала тихие односложные возгласы, которыми Калгурла старалась ее подбодрить. Миссис Моллой говорила, что, должно быть, сам бог послал им Калгурлу,— так хорошо помогала она при родах, так быстро и вместе с тем осторожно и неторопливо делала все, что ей говорили. Она вымыла и спеленала Дика, пока миссис Моллой ухаживала за Салли. Но утром Калгурла исчезла, и с тех пор никто ее не видел.

— Когда вернется Калгурла, мы с ней снова откроем столовую,— сказала Салли Теду Моллой. Салли не сомневалась, что Калгурла вернется.

— Ну, ну, милочка, подождите взваливать на себя такую обузу. Не к чему вам надрываться из-за денег,— ворчала миссис Моллой.— Ребята всегда позаботятся о вас. И на кой шут это нужно, когда Тед сейчас прилично зарабатывает. Господи помилуй, да мы так радовались и гордились, что вы погостили у нас недельку и мы помогли вам произвести на свет его высокородие. Вон смотрите, смотрите, как он улыбается своей тетке Терезе!

Вечером пришли старатели приветствовать молодого Гауга, как они торжественно объявили. Эли объяснил Салли, что ребята никак не могли решить, какой купить Дику подарок. Но так как он — настоящее дитя прииска, то они собрали немного золота, чтобы Салли сама купила ему, что нужно. И Эли протянул ей новенький замшевый мешочек.

Все они клялись и божились, что Дик просто красавец и как две капли воды похож на Морриса. Салли отлично понимала, что

ее первенец — жалкий, тщедушный заморыш, но она твердо решила, что сделает все, чтобы он вырос красивым и сильным.

Все наперебой рассказывали ей новости, словно она была в отлучке по меньшей мере полгода. В Хэннане жизнь бьет ключом. Рудники продаются и перепродаются по бешеным ценам; дороги забиты караванами с новым оборудованием; оно прибывает в Хэннан каждый день, и для разгрузки не хватает рабочих рук, а в Южном Кресте, по словам Джека Первый Сорт, оборудования навалили целые горы — вывозить не на чем. Впрочем, скоро железная дорога дойдет до Кулгарди, и уже все говорят о том, какие торжества будут там устроены по случаю открытия.

По словам подрядчиков, через несколько месяцев дорогу доведут и до Хэннана, и ходят слухи, что поселок будет переименован в город Калгурли или Калгулари — так туземцы называют это место. Пока что новые магазины и трактиры открываются один за другим. Старые лачуги, в которых помещалась почта и контора инспектора, сносятся, и на их месте воздвигаются настоящие дома из песчаника. Через год в городе проведут электричество. К востоку от Хэннана правительство установило опреснители на буровой скважине. И уже готовится постановление о проведении водопровода.

А Фриско стал важной персоной в Лондоне. Он теперь мистер Франсиско Хосе де Морфэ, с вашего позволения; якшается с лордом Перси Дугласом, создает акционерные предприятия, дает интервью репортерам и утверждает, что Хэннан — центр крупнейших в мире месторождений золота.

Олф Брайрли получил место на руднике Мидас и строит себе дом. Ну да, его назначили управляющим, и он сейчас со дня на день ждет к себе свою женку. Но неужто миссис Гауг ничего не слышала? Подумать только! У миссис Брайрли родился ребеночек. Дочка. И Олф напился на радостях, как сукин сын.

Не часто случалось Олфу Брайрли хватить через край, но он, говорят, чуть не спятил, когда получил телеграмму: «Поздравляем прелестной дочуркой. И мама и дочка здоровы». Носился с этой телеграммой по всему прииску и показывал ее каждому встречному и поперечному. Ну и, конечно, напоил всех в дым. Он ведь теперь управляющий, и надо сказать, что и тут не ударил в грязь лицом — выкатил рудокопам целую бочку пива.

Динни был на разведке, но Олф послал туземца разыскать его и сообщить великую новость.

— А не слышал ли кто-нибудь, где Моррис? — спросила Салли.— Я написала ему про Дика в Лейк-Дарлот, но Тед Моллой говорит, что они с Коном ушли дальше, к Блэк-Рэйнджу.

Наступило неловкое молчание. Дурные вести приходили о походе в Блэк-Рэйндж, но никому не хотелось передавать их миссис Гауг. Потом все вдруг заговорили разом:

— Да, верно, Моррис не получил вашего письма, мэм.

— От Дарлота до Блэк-Рэйнджа добрых сто миль, а то и больше.

— Ничего, ничего, зато уже когда он явится сюда, ему будет чем похвастать.

— Да уж будьте покойны — примчится, как только узнает про наследника.

А на следующий день пришел Олф и принес Салли апельсинов и лимонов. Олф сиял: он был счастлив и горд и своей дочкой, и своей Лорой, и своим новым домом. Дом был уже почти готов, с двумя верандами, спереди и сзади, и ванной комнатой; а на дверях — сетки от мух. Все это стоит бешеных денег — и рабочие руки и транспорт,— жаловался Олф, а что касается строительных материалов, тут уж скажи спасибо, что достал, о цене даже спрашивать не приходится. Но Лора должна жить со всем комфортом, какой только можно создать на прииске; служба на руднике Мидас дала ему возможность сколотить немного денег и довольно быстро построить дом.

Прошло еще несколько дней, и как-то раз Салли с удивлением увидела, что к ее палатке направляется молодая особа в белом муслиновом платье и широкополой шляпке, отделанной по краям белым муслиновым рюшем. Можно было подумать, что она сошла с картины Дана Гибсона, чтобы прогуляться по пыльной дороге меж побуревших от пыли палаток.

Салли не сразу узнала Вайолет О'Брайен — так непохожа была эта нарядная девушка на скромную официантку из трактира Джиотти. Только глаза были те же — синие-синие,— и в них по-прежнему таилась какая-то невеселая дума. На губах Вайолет играла улыбка, словно ей самой было немножко смешно, что она так разоделась.

— Вайолет! Неужели это вы? — воскликнула Салли, идя ей навстречу.

— Я и сама себе не верю,— сказала Вайолет.— Вот узнала, что вы здесь, миссис Гауг, и захотелось проведать вас перед отъездом.— Глаза ее загорелись.— Да, да, я узжаю в Мельбурн учиться пению. Отец вернулся недели две назад. Напал на хорошее местечко там на севере и продал его за десять тысяч фунтов. Вернее — это его доля.

— Как я рада! — Салли так взволновалась и обрадовалась, словно это ей привалило наконец счастье.— Значит, такие чудеса случаются не только в сказках!

Вайолет задумчиво кивнула головой; она, казалось, все еще не могла поверить, что ее мечты сбылись.

— Правда, на сказку похоже? Конечно, мне жаль оставлять маму и малышей. Но ведь такой случай — я мечтала о нем всю жизнь. И отец говорит, что я это заслужила. Он очень гордится мной, не хочет, чтобы я застряла здесь на всю жизнь, вышла замуж за какого-нибудь рудокопа или старателя и народила ему с полдюжины детей.

— У меня пока только один, но я ничего против него не имею,— рассмеялась Салли.

Она подвела Вайолет к ящику, в котором спал Дик, и, подняв кисею, защищавшую его от мух, показала свое сокровище.— Он маленький и тщедушный, верно? Но я так счастлива, что он тут, со мной!

Но Вайолет успела перевидать на своем веку слишком много младенцев, чтобы приходить от них в восторг.

— Может быть, это хорошо для вас,— сказала она решительно,— но я хочу быть певицей. И надеюсь, что больше никогда ни в кого не влюблюсь и не стану так убиваться, как из-за Чарли...

— Да, это было большое горе для вас,— участливо сказала Салли.— Но теперь счастье вам улыбнулось, и я надеюсь, что все будет хорошо. Вы молоды и красивы, Вайолет, у вас есть характер, и вы добьетесь своего.

— Вы правда так думаете? Вы в самом деле думаете, что мне удастся вырваться отсюда? — Вайолет обвела глазами мертвую, выжженную солнцем землю и разбросанные кругом убогие палатки, словно боясь чего-то, что могло удержать ее здесь, помешать ей осуществить свою мечту.— Я все говорю себе, что ни за что не вернусь сюда. А потом, как подумаю,— вдруг папа просадит все деньги?.. У него уже бывало так: разбогатеет и тут же спустит все до последнего шиллинга.

— Не думайте об этом,— сказала Салли. Дик заплакал, и она взяла его на руки.

В голосе Вайолет зазвучали жесткие нотки:

— Мама хочет, чтобы отец купил землю или открыл гостиницу, пока он не всадил все деньги в акции. Но все равно — я не вернусь на прииски, миссис Гауг. Я не вернусь, даже если все опять полетит к черту и я буду думать и тревожиться о маме и ребятишках.

От мрачных предчувствий Вайолет и у Салли стало тяжело на душе.

— Не возвращайтесь, Вайолет,— сказала она,— будь что будет. А я часто буду вспоминать вас и аплодировать вам отсюда, когда вы сделаетесь знаменитой певицей.

Потом Вайолет ушла. Она удалялась по дороге, стройная, грациозная, уверенная в себе, и Салли смотрела ей вслед до тех пор, пока легкая белая фигурка не растаяла в сияющих лучах солнца, в облаках красной пыли, слившись с окружавшим ее суровым пейзажем.

Удастся ли ей вырваться отсюда? — думала Салли. Вайолет молода, красива, у нее великолепный голос, чистый и мелодичный, как у птицы. Нет, нет, конечно, она достигнет своей цели. Талант даст ей не только возможность проявить себя, свою личность в искусстве, но и независимость. Салли готова была молиться о том, чтобы это сбылось. Из Вайолет в самом деле могла выйти большая артистка, обидно было думать, что ее талант может погибнуть здесь, за грязной стойкой трактира на приисках.

У самой Салли жизнь сейчас была заполнена заботами о сыне: она купала его, кормила, носила гулять в заросли, баюкала, и это давало ей радость и удовлетворение. Лето шло к концу, дни становились прохладней, но дождя не было, и, как обычно, всех охватывал страх, что опять не хватит воды. Из Дарлота приходили тревожные вести о походе к Блэк Рэйнджу. Салли вся была поглощена заботами о ребенке, но тревога за Морриса все чаще мучила ее. Она просила Сэма Маллета и Эли Нанкэрроу попытаться разузнать о нем, сама расспрашивала в лавках и у возчиков, прибывавших с севера. Но никто ничего не слышал о Моррисе и Коне с тех пор, как они ушли с Лейк-Дарлота.

Возчики говорили, что такого гибельного похода еще не бывало на Западе. В Лейк-Дарлоте собралось свыше двух тысяч старателей, и россыпи были уже исчерпаны, когда слух о новом месторождении в Маунт-Блэк долетел туда. В одну ночь тысяча людей вытащили столбы вокруг своих участков и снялись с места. Когда первые старатели добрались до цели, покрыв — верхом или на верблюдах — расстояние в сто десять миль, они не нашли там ни одной выработки, ни малейшего признака поисков золота. Мало того, почва в той местности и не сулила золота; к тому же там не было воды.

Старатели повернули обратно, некоторые устремились к Мерчисону. Но для тех, кто тащился пешком со скудными запасами продуктов и воды, было мало надежды добраться живыми до Дарлота. Паника охватила людей. Пойманные, как в ловушке, в этой безлюдной глуши, старатели бросали все свои пожитки и оборудование, все до последней лопаты, и пускались в бесконечный обратный путь. Много их там погибло, а сколько — никто никогда не узнает.

Старатель верхом на издыхающем верблюде привез эту страшную весть в Дарлот, и там снарядили спасательную экспе-

дицию. С экспедицией ушел и Динни Квин. Многих старателей подобрали на дороге уже полумертвыми от истощения и привезли в лагерь. Следом за спасательной экспедицией был послан караван верблюдов с водой и продуктами. Поиски отставших или заблудившихся продолжаются по сей день.

Сэм и Эли старались успокоить Салли.

— Кон и Морри не пропадут, мэм,— твердили они.— Повернули, верно, к Мерчисону — они же на верблюдах. А старик Кон — да он исходил страну вдоль и поперек! И он хороший товарищ. Кон не бросит Морри. Вот увидите, не сегодня-завтра они явятся целые и невредимые, проклиная сплетников и напрасные походы.

ГЛАВА XLI

Однажды утром Салли вышла из палатки позже обычного и увидела Калгурлу, сидевшую у очага. Старуха исхудала, вид у нее был удрученный; сгорбившись, сидела она у тлеющих углей. Видно было, что она не уверена, будет ли ей оказан хороший прием. Но Салли весело и дружелюбно приветствовала ее, и Калгурла заулыбалась ей в ответ, обрадованная, что ее не бранят за отлучку.

Увидев Дика, Калгурла удовлетворенно хмыкнула. Она была горда не меньше, чем Салли, но на руки ребенка взять не решалась. Она знала, что раньше надо умыться. Салли показала ей на таз с водой и мыло.

— Ты помойся, а я пока найду тебе платье,— весело сказала Салли и вдруг по лицу Калгурлы догадалась, что та очень голодна.

Салли вскипятила чай и дала Калгурле хлеба и мяса. Калгурла жадно набросилась на еду. Когда она утолила голод, Салли достала для нее свое старое платье, и старуха ушла в заросли с лоханкой воды и большим куском мыла.

Калгурла вернулась оттуда с мокрыми волосами, в старом голубом платье Салли. Она тут же подхватила на руки Дика и с изумлением смотрела, как Салли, сходив за козой, которая паслась в зарослях, подоила ее и стала кормить младенца с рожка.

Салли объяснила ей, что не может кормить Дика, потому что у нее нет молока. Лицо Калгурлы омрачилось. Она сделала выразительный жест — провела рукой по животу и указала на грудь. Салли догадалась, что и у туземок нет молока: они голодают, груди у них пустые, и они тоже не могут кормить своих детей. Калгурлу привел к ней обратно голод.

Днем появились родичи Калгурлы — несколько туземцев и туземок. Салли видела, что их мучит голод, хотя они, должно

быть, уже ходили побираться в поселок. Она отдала им почти все запасы, какие были у нее в погребе. Но туземцы-мужчины уже постигли значение денег. Они постарались объяснить ей, что она может дать им денег и они сами купят себе пищи. Тогда Салли показала им свой кошелек, в котором было немного мелочи, а Калгурла объяснила им, что миссис Салли самой нечего есть. Она достала бутылочку Дика и показала, как миссис Салли доит козу и поит ребенка молоком из бутылочки.

— Юкки! — туземцы столпились вокруг, смеясь и обмениваясь удивленными восклицаниями. Они не сомневались теперь, что миссис Салли тоже мается, как и они, если ей приходится кормить своего ребенка молоком этого странного животного, похожего на большую белую собаку с рогами.

Салли знала, что стоит ей только послать за кем-нибудь из старателей, работавших на своих участках, и они тотчас прогонят туземцев; пригрозят свернуть шею каждому, кто еще раз обеспокоит миссис Салли. Но она не могла забыть, что туземцы делились с ней своими последними крохами, когда она, больная и беспомощная, была оставлена на их попечение. Теперь ее очередь поделиться с ними всем, что у нее есть,— это будет только справедливо. Она была в долгу перед ними и понимала, почему они пришли к ней. Но как объяснить им, что один человек не в состоянии накормить столько голодных ртов.

Пока что Калгурле удалось, по-видимому, внушить им это, но что будет дальше?

Она должна быть готова к тому, что голод снова пригонит туземцев к ее палатке, думала Салли. Значит, нужно иметь для них что-нибудь про запас, нужно заработать побольше денег и купить продуктов.

Салли решила немедленно с помощью Калгурлы открыть свою столовую. Они вместе отправились в лавку и вернулись оттуда, нагруженные мясом, картофелем, крупой и консервами. Салли тут же послала к Сэму Маллету сообщить, что кафе «Вольный воздух» с завтрашнего дня будет снова открыто для посетителей. Она просит известить об этом всех прежних завсегдатаев.

В первый же день привалила куча народу. Мужчины радостно приветствовали миссис Гауг, которая, стоя у своего столика, разливала суп, бодрая и жизнерадостная, как всегда.

— Ни разу не довелось поесть по-человечески, с тех пор как вы перестали нас кормить, мэм!

— Приятно, черт возьми, видеть вас опять на старом месте!

Салли была тронута вниманием старателей. Все знали, что она тревожится о Моррисе, понимали, как трудно ей прокормить себя и ребенка, и готовы были, чем могли, прийти ей на помощь.

Теперь Салли была весь день в хлопотах и не могла, как прежде, нянчиться с Диком и носить его гулять в заросли. Конечно, она не забросила его. Уход за ним, безусловно, был на первом месте. Но она не могла уже бежать к нему и брать его на руки всякий раз, как он поднимал крик, и порой ему случалось орать во всю мочь в продолжение всего обеда. Впрочем, в таких случаях Калгурла обычно вынимала его из постельки и, прихватив одной рукой, продолжала подавать на стол; или какой-нибудь заросший бородой старатель начинал весьма энергично подбрасывать ребенка, уверяя замиравшую от страха мать, что он сам отец и прекрасно умеет обращаться с ребятишками. Дику, по-видимому, нравились его суровые друзья: когда чье-нибудь бородатое лицо наклонялось над ним, он улыбался и радостно сопел, пуская слюни.

— Ох, они все были так заботливы, так добры,— если бы вы только знали, как добры были они ко мне! — не раз говорила потом миссис Гауг, вспоминая эти дни.

Раза два в неделю миссис Моллой приходила навестить Салли, посудачить о том о сем за чашкой чая и дать какой-нибудь дельный совет насчет младенца. А по субботам забегали младшие Моллой: рубили для Салли дрова и вообще помогали, чем могли. Сиди уже служил в лавке, а остальные, кроме самых маленьких, ходили теперь в школу.

Школу открыли недавно, и миссис Моллой очень этому радовалась.

— Вообще Хэннан растет не по дням, а по часам,— говорила она.— Его скоро узнать будет нельзя. Школу открыли, железную дорогу подводят; лавки и трактиры вырастают как из-под земли, и вы бы поглядели, голубка, какой дом соорудил для своей жены Олф Брайрли! Любо-дорого! Правда, всего-навсего из побеленного гофрированного железа, да еще веранда с зеленой решеткой, но зато очень уж все удобно устроено: и прачечная, и всякие там лохани, и бак, и корыто, а на окнах в доме занавески в цветочках, и на всех стульях белые чехлы с завязочками. Миссис Брайрли будет первой женщиной на прииске, которой не придется кипятить белье в бидоне из-под керосина на очаге за домом.

А еще дня через два миссис Моллой прибежала к Салли с великой новостью: мистер Брайрли занял у кого-то лошадей и коляску и отправился в Кулгарди за миссис Брайрли.

За обедом Салли слышала, как старатели говорили, что сегодня Олф привез в Хэннан свою женку; впрочем, для всех, кроме старых товарищей, он был теперь не Олф, а мистер Брайрли, управляющий рудником Мидас.

— Посмотрели бы вы на Олфа, когда он ехал сегодня через Хэннан,— говорили за столом.— Сидит такой счастливый и гор-

дый, а рядом жена с ребенком на руках, и он улыбается и раскланивается со всеми, и все, кто был на улице, громко его приветствуют!

Салли радовалась, ожидая, что скоро увидит Лору и ее дочку, но когда Мари Робийяр вбежала в палатку и бросилась подруге на шею, это было поистине приятным сюрпризом.

— Салли, дорогая! — восклицала Мари.— Как я рада тебя видеть! Ох, как мне было одиноко в Кулгарди! Я так беспокоилась о тебе, когда миссис Фогарти сказала, что ты ждешь ребенка. Ну скорей, скорей покажи мне его, а потом уж мы с тобой наговоримся вдосталь.

Отдав дань восхищения маленькому Дику, спавшему в своем ящике-колыбельке, Мари принялась с упоением болтать, выкладывая Салли все новости.

— Да, конечно, мы совсем переехали в Хэннан. Мистер Брайрли обещал устроить моего Жана на рудник. Но я не хочу, чтобы Жан работал под землей, Салли! Он болен, все кашляет, кашляет... Я так боюсь, что у него шахтерская болезнь. Отец Жана живет теперь с нами, и он тоже против этого. Говорит, что сам пойдет работать, бедный старик! Я ведь тоже могу кое-что делать — шить платья и мужские сорочки. Я училась шить. Увидишь, я буду самой модной портнихой в Хэннане.

Робийяры решили устроиться неподалеку от рудника, и пока мужчины ставили палатку, Мари прибежала повидаться с Салли. Сейчас ей нужно спешить обратно, помочь им распаковать вещи и привести все в порядок. Но какое это счастье, что теперь всегда можно прибежать к Салли и поболтать с ней!

Мари слышала, что Моррис ушел в этот злополучный поход на Блэк-Рэйндж и что Салли не имеет о нем вестей.

— Мистер Брайрли говорил нам,— сказала Мари участливо.— Mon dieu, это ужасно! Я понимаю, как ты тревожишься, дорогая! Но старайся не думать ни о чем плохом, пока есть надежда.

— Я стараюсь,— сказала Салли. Теплое, ласковое участие Мари было для нее большой отрадой. Чем-то нежным и сладким повеяло на нее,— словно ей принесли охапку душистых цветов. Хэннан станет совсем другим теперь, думала Салли, когда здесь Мари и Лора. Салли любила их обеих, но с Мари она сошлась как-то ближе. Им часто приходилось туго, они много пережили невзгод и одинаково судили о многом, вместе плакали, вместе смеялись. Жизнь Лоры была легче и беззаботней. Лора была настоящая молодая леди, очень милая и приветливая, но, в сущности, недалекая и любила иной раз поважничать, принять покровительственный тон.

Тем не менее Салли очень обрадовалась, когда Олф как-то под вечер привез к ней Лору. Сам он, посидев немного, отправился в Хэннан за припасами, оставив Лору у Салли, чтобы они могли «всласть наговориться о своим младенцах».

Лора расцвела. Она пополнела, похорошела и мало походила на ту довольно робкую девочку, которую когда-то привез на прииски Олф. Ее малютка была тоже пухленькая и розовая — прелестное создание в нарядном платьице, вязаных башмачках и вышитом розочками чепчике.

Они окрестили свою дочку французским именем — Эмэ́, но, конечно, на приисках ее все будут звать попросту Эми, сказала Лора. У девочки еще целая куча других имен, как у настоящей принцессы, говорит Олф. Ее назвали Элизабет по матери Олфа, Марианной по любимой тетке Лоры и Мод — потому что это второе имя Лоры и Олф на этом настаивал.

— Ну, конечно, все это ужасно нелепо! — говорила Лора, заливаясь счастливым смехом.

Что касается Эми, то она, казалось, была вполне всем довольна. Это была хорошая, спокойная девочка. Акушерка сказала, что она давно не видела такого чудесного ребенка. Это потому, сказала она, что у Лоры такое правильное сложение и она с первых же дней сама кормит малышку. Это великое счастье.

— Я представляю, как тебе страшно было, Салли, что жизнь твоего ребенка зависит от какой-то козы,— сказала Лора.

— Я была рада и козьему молоку,— отвечала Салли.

— Да, конечно,— спохватилась Лора.— Ты не знаешь, дорогая, как я беспокоилась о тебе! Это было так несправедливо, что я живу прекрасно и все заботятся обо мне, а ты здесь мучаешься совсем одна, в этой жаре и пыли. Я просила Олфа привезти тебя ко мне, сколько бы это ни стоило, но он сказал, что ты не хочешь ехать.

— Спасибо, дорогая, это было очень мило с твоей стороны,— сказала Салли.— Но я не могла допустить, чтобы ты и мистер Брайрли взвалили на себя столько хлопот. Здесь у меня много друзей. Они помогли мне. Миссис Моллой была сама доброта, и она такая опытная и ловкая.

Салли рассказала, что сначала Дик был жалким маленьким заморышем. Но теперь окреп, стал настоящим молодцом, и она вполне им довольна. И все же зависть кольнула Салли в сердце, когда Лора расстегнула лиф и дала заплакавшей девочке грудь. На Лору приятно было смотреть, когда она кормила ребенка. У нее было много молока, и Эми, насосавшись всласть, мирно уснула.

Они заговорили о Моррисе. Салли призналась, что очень беспокоится о муже.

— Он должен бы уже вернуться теперь или, по крайней мере, написать, если бы все было благополучно,— сказала она.

— Олф говорит, что там сейчас Динни и что он, безусловно, наведет справки о мистере Гауге,— сказала Лора, стараясь ее успокоить.

— Все считают, что Моррис и Кон могли свернуть на Мерчисон, когда обнаружили, что по дороге на Дарлот так плохо с водой. Ведь Кон пришел в Кулгарди из Мерчисона, и, по мнению Олфа, его, верно, потянуло назад. Салли, дорогая, почему бы тебе не пожить с нами, пока не вернется твой муж? Свободной комнаты у нас, правда, нет, но мы можем устроить тебя на веранде. Я была бы так рада, если бы ты погостила у нас.

Да, Лора всегда была отзывчивой и радушной. Но миссис Гауг — «невозможная гордячка», как называл ее Динни Квин,— не умела принимать от людей одолжений; она предпочитала нести свои тяготы одна и знать, что ни от кого не зависит. Она была очень благодарна Лоре и Олфу за приглашение, но и думать не хотела о том, чтобы вселиться вместе с ребенком в их маленький домик, который Олф построил для своей семьи. Нет, нет, это их стеснит.

По воскресеньям Салли приходила иногда выпить чашку чаю с Лорой, но всегда при этом чувствовала себя неуютно. Все в этом доме было такое новенькое и чистенькое, что Салли вечно боялась посадить пятно на скатерть или запачкать ситцевую обивку кресла, в которое ее усаживали. Лора держала свой дом в образцовом порядке.

Олф уговорил миссис Моллой присылать к ним свою старшую дочку, чтобы та помогала Лоре убирать комнаты, стирать белье. Чего-чего только не делал Олф Брайрли, чтобы жизнь его жены и ребенка была легкой и приятной. Он смастерил Лоре буфет, шкаф и туалетный столик, насадил вокруг веранды вьющиеся растения, вскопал твердую, как камень, землю позади дома и принялся разводить сад. Каждое утро, прежде чем пойти на работу, возился в своем саду часа два.

Салли никогда еще не видала, чтобы муж с женой были так счастливы, так поглощены друг другом, как Олф и Лора в те дни. Лора смеялась и пела, хлопоча по хозяйству, а Олф был так доволен всем — и своей женой, и дочкой, и домом,— что не мог говорить ни о чем другом, даже о золоте, хотя и проводил большую часть дня, а иногда и ночи, на руднике и очень гордился тем, что начал там новую проходку и увеличил добычу золота.

ГЛАВА XLII

Когда Салли увидела двух мужчин, которые, спотыкаясь, брели по дороге, ведущей от поселка к ее палатке, ей показалось сначала, что они пьяны. Один из них шел более твердо и поддерживал другого. Они были смутно видны ей в сгущавшихся сумерках, и, мельком взглянув в их сторону, она подумала, как бы не пришлось кормить их обедом. Все старатели уже давно пообедали и ушли, и Салли убирала со стола под навесом, а Калгурла мыла посуду.

Если они захотят получить обед, промелькнуло у Салли в голове, придется открыть банку мясных консервов, вскипятить чай. Один из мужчин повалился на землю, не дойдя до навеса, а другой направился к Салли. И тут она увидела, что это Динни Квин.

— Динни! — воскликнула Салли и мгновенно подумала о Моррисе. Динни, должно быть, только что из Дарлота, он, верно, знает...

— У меня для вас плохие вести, мэм,— сказал Динни.

— Моррис! — едва выговорила Салли.— Он...

— Нет, нет, Моррис жив,— сказал Динни поспешно.— Хотя еле уцелел. А Кон куда-то исчез; говорят, он совсем свихнулся. Как Морри выжил,— просто не знаю. Еще бы немного, и ему крышка. Мы нашли его около пересохшего бочага, где он пытался докопаться до воды. Но он здоров... будет здоров... Он немного не в себе. Совсем ничего не помнит. Да это пройдет... Вы только не тормошите его. Дайте ему очнуться помаленьку.

— Где он? — прошептала Салли чуть слышно.

Динни кивнул в сторону человека, сидевшего на земле. Салли бросилась к нему.

— Моррис! — крикнула она, упав подле него на колени. Моррис поднял голову и посмотрел на Салли мутными, налитыми кровью глазами. Но он узнал ее. При звуке ее голоса по лицу у него пробежала дрожь.

Салли обняла мужа, положила его голову к себе на грудь.

— Дорогой мой, дорогой! — шептала она, целуя его.— Наконец-то ты вернулся... Теперь все будет хорошо.

Динни следил за ними и с удовлетворением отметил, что Моррис узнал Салли и понял, где он находится. Конечно, Моррис не мог сразу сбросить с себя это страшное оцепенение. Но оно пройдет. Динни вспомнил, что было однажды с ним самим после того, как он чуть не погиб от жажды по дороге на прииск «Сибирь».

— Мы бы не отказались закусить, мэм, если это не доставит вам слишком много хлопот,— сказал Динни.— По дороге-то у нас

еды было хоть отбавляй. Ну, а здесь я уж решил лучше привести Морри прямо домой — не хотелось тащить его в трактир. Да вы не беспокойтесь, он живо поправится. Ему только нужен покой и чтобы он привык к тому, что он уже дома, а не где-то там на дороге, у Блэк-Рэйнджа. Это самые страшные места на свете, будь они прокляты! И ни пылинки золота не досталось людям за все их мучения! Морри там такого натерпелся — просто диву даешься, как только он еще выжил... Ну, да теперь поправится помаленьку, нужно только потерпеть.

Пока Динни умывался сам и помогал Моррису умыться, Салли торопливо собирала ужин.

Первое время Моррис не произносил ни слова. Салли должна была говорить ему: «вставай», «одевайся», «умывайся», «ешь» — и помогать во всем. Он двигался с трудом, словно дряхлый старик; нередко стоял, бессмысленно уставившись в одну точку, или сидел в кресле, безучастный ко всему окружающему. У Салли сердце обливалось кровью, когда она смотрела на него, но она старалась делать вид, что ничего не произошло, и разговаривала с ним так, словно он все понимает. Старатели тоже пытались расшевелить его. Направляясь в столовую, они всегда останавливались возле него, чтобы сказать ему два-три слова:

— Хэлло, Морри, ну как дела?

— Черт возьми, приятно видеть тебя дома, дружище!

А иной раз даже рассказывали ему какие-нибудь новости:

— Хэннан-то как процветает, а? Что ты скажешь, Морри? Четыре тысячи рудокопов работают на прииске!

Моррис не отвечал. Но порой он издавал какие-то странные сдавленные звуки, словно пытался заговорить, и Салли благодарила мужчин улыбкой и взглядом, полным горячей признательности.

— Моррису лучше с каждым днем,— говорила она.— Скоро он совсем поправится.

Она показала ему Дика. Рассказала, как заботилась о ней миссис Моллой. Но Моррис даже не взглянул на сына, и Салли, как ни крепилась, не могла не почувствовать разочарования.

Потом понемногу стали появляться первые признаки пробуждающегося сознания; Салли заметила, что Моррис провожает злобным взглядом старателей, которые приходят обедать, и следит за каждым ее движением, когда она раскладывает по тарелкам кушанья или рассчитывается с посетителями.

Однажды Салли и Калгурла, как всегда в великой спешке, обслуживали посетителей, а Дик лежал в колыбельке и орал благим матом. Потом он вдруг затих. Салли оглянулась и увидела, что Моррис ходит взад и вперед с ребенком на руках.

— Погляди, погляди, Калгурла! — воскликнула Салли.— Хозяин взял маленького! — Калгурла закивала, бормоча что-то себе под нос, радуясь, что Моррис признал наконец своего сына.

Стояла засуха. Но однажды вечером, когда солнце село за узкой полосой темных облаков и странный зловещий отблеск упал на горы и на низину, Калгурла вдруг сказала:

— Идти большой дождь!

Калгурла редко ошибалась в своих предсказаниях погоды. Когда прозвучали первые глухие раскаты грома и далекая молния сверкнула на горизонте, Салли принялась убирать провизию в банки из-под консервов. Потом сложила платье и белье в сундук и в ящики и с тревогой поглядела на палатку.

Палатка была ветхая, полуистлевшая от солнца. Салли не раз уже латала ее брезентом и подшивала то тут, то там мешковину, но тем не менее верх палатки протекал так сильно, что во время последних дождей Салли промокла у себя в постели до нитки. Теперь ее первая мысль была о ребенке. Она давно припасла кусок парусины и всегда держала его под рукой, чтобы завернуть Дика, если разразится ливень.

Салли уже легла, и Моррис тоже спал, когда гроза обрушилась на прииск с яростью циклона. Палатка затрещала, и ее сорвало с кольев. Ураган гнал сломанные ветви деревьев и листы гофрированного железа, и они с грохотом падали в заросли, ломая кусты. Затем хлынул ливень.

Салли стояла в темноте под открытым небом, там, где только что была ее палатка, а дождь стегал ее по лицу и слепил глаза.

При первом порыве бури она успела натянуть на себя пальто, сунуть ноги в туфли. Она боролась с ураганом, рвавшим у нее из рук парусину, в которую она тщетно пыталась завернуть Дика. Моррис молча взял у нее парусину, завернул ребенка и поднял его на руки. На Моррисе были только молескиновые штаны и тонкая рубашка, которая вздулась на спине, как парус, но он казался спокойным и уверенным в себе.

Сквозь шум дождя и рев ветра Салли услышала его голос:

— Нельзя оставаться здесь на ночь. Нужно укрыться в забое.

Моррис двинулся вперед в темноте, и Салли пошла за ним следом, объятая страхом, едва отдавая себе отчет в том, что Моррис заговорил — впервые после своего возвращения. Вода бурливым потоком уже заливала землю, и Салли, шлепая за Моррисом по лужам, старалась понять, куда они идут,— она не расслышала, что он ей сказал. Когда Моррис повернул к горе Маритана, Салли крикнула:

— Нет, нет, Моррис, не туда!

Земля между лагерем и горой была изрыта вдоль и поперек; там было столько шахт и котлованов и такие едва приметные тропинки между ними, что Салли перепугалась насмерть: Моррис мог сбиться с пути в темноте, оступиться и упасть в одну из этих страшных ловушек вместе со своей драгоценной ношей. Салли брела за ним, задыхаясь от ветра и дождя, бивших ей в лицо, и беспомощно всхлипывала. Вдруг она услышала за собой шаги Калгурлы.

— Пусть лучше Калгурла пойдет вперед,— молила Салли, из последних сил пытаясь догнать Морриса. Она больше надеялась на инстинкт Калгурлы, чем на память Морриса, давно не ходившего по этим тропкам.

— Я лучше знаю дорогу, чем Калгурла,— прокричал Моррис сквозь рев бури.

Это правда, ему ли не знать, успокаивала себя Салли, вспоминая, как Моррис и Фриско изо дня в день ходили этой дорогой на свой участок у подножия Маританы.

И в самом деле, Моррис помнил здесь, как видно, каждый изгиб тропинки. Время от времени, когда тропинка сужалась, он останавливался и окликал Салли, и в конце концов они благополучно добрались до горы и увидели огни, мерцавшие навстречу им из мрака.

В открытой выработке на склоне горы горели костры: там собралась уже целая толпа. Мужчины в промокшей насквозь одежде сидели вокруг костров или старались уснуть, лежа на земле. Эти первые выработки, где золото брали прямо на поверхности киркой и лопатой, были, казалось, единственным сухим местом на затопленном водой прииске. Но никто не роптал на ливень, на яростный ураган, разрушивший их хрупкие жилища. Старик старатель, еще раньше обосновавшийся здесь, усадил миссис Гаут на ящик, служивший ему столом, и вскипятил в котелке чай.

— Вам нужно хорошенько прогреть нутро, мэм,— добродушно сказал он, протягивая Салли большую железную кружку с черным, обжигающим варевом.

С наслаждением напившись чаю, Салли сидела, укачивая на руках Дика, смотрела на сплошную серую пелену дождя, висевшую по ту сторону костра за красным земляным сводом выработки, и вместе со всеми благословляла грозу, ибо она вернула Морриса к жизни.

Моррис присел на земле возле Салли и слушал шутки и беззлобную брань, раздававшиеся по адресу капризной стихии: «Ведь вот поди ж ты! Просишь, просишь дождичка — нет! Ну ни капли. Все дохнут без воды в этой проклятой пустыне — и люди и животные. И вдруг — на тебе! Столько воды, что не знаешь, куда от нее

укрыться!» К урагану, разметавшему палатки и лачуги, словно карточные домики, развеявшему их последнее достояние, все относились, как к забавной выходке природы. Дождь сулил воду и пищу на ближайшие месяцы — хороший сезон для разведок в глубь страны. Заговорили о разливающихся ручьях, о караванах, увязавших на размытых дорогах, и о том, что после такого ливня — в самый раз искать россыпь.

Моррис мало-помалу тоже втянулся в разговор. Все сразу поняли, что произошло, и Салли поймала не один дружелюбный кивок в его сторону и одобрительное подмигивание. К рассвету все прикорнули на земле и задремали. Калгурла свернулась клубочком у самого огня, и Моррис тоже уснул, положив голову к Салли на колени. Многие уже мирно похрапывали; под конец и Салли ненадолго забылась сном.

Как только рассвело, все зашевелились. Дождь все еще шел, но кое-кто из мужчин решил все же сходить в поселок, посмотреть, как и что, раздобыть еды. С ними пошел и Моррис. Салли сказала ему, что нужно разыскать козу или, на худой конец, взять для Дика молока у миссис Моллой. Моррис вернулся, ведя за собой козу.

В низине у подножия горы не осталось ни одной палатки, рассказывал Моррис. Между Хэннаном и боулдерскими рудниками тоже почти все палатки и хижины снесло ураганом. Устояло лишь несколько домишек — из тех, что покрепче,— да и то почти все без крыш. Листы гофрированного железа унесло ветром за полмили. Все уцелевшие дома и гостиницы забиты мужчинами, женщинами, детьми, оставшимися в эту ночь без крова.

Салли думала было переждать дождь у миссис Моллой, но Моррис сказал, что она уже приютила у себя две семьи: их домик — один из немногих, с которого не снесло крыши. Дом Олфа Брайрли тоже уцелел. Моррис хотел отвести Салли туда, но она воспротивилась. В разгар спора пришел Динни Квин и сказал, что миссис Брайрли просила его привести к ней мистера и миссис Гауг.

Как мыши, выгнанные наводнением из своих нор, поплелись они по дороге к новенькому белому домику, который Олф Брайрли построил на холме, неподалеку от рудника Мидас. Моррис и Динни шагали впереди с жестяным сундучком, в который Салли успела уложить кое-какие вещи, до того как разразился ураган. Калгурла замыкала шествие.

Лора встретила их радушно, хотя появление Калгурлы было ей, видимо, не слишком приятно. Олф уже позавтракал и ушел на работу, сказала она. Он просил передать мистеру и миссис Гауг, что нет худа без добра и он надеется, что они окажут ему

честь погостить у него недельку-другую. Потом она стала готовить завтрак, разыскала во что переодеться гостям, все время сокрушаясь по поводу ущерба, который понесла Салли, и радуясь, что сама избежала такой участи.

— Как хорошо, что Олф выстроил этот дом,— радостно щебетала она.— Конечно, это стоило ему кучу денег, не знаю даже, как мы расплатимся с долгами. Но, по крайней мере, мы живем с некоторым комфортом. Олф затянет заднюю веранду парусиной и мы очень мило устроим вас там, Салли, душечка! А Калгурла будет спать в прачечной. Не так, конечно, хотелось бы мне принимать гостей, но что поделаешь, когда такая теснота.

— Нам будет чудесно, Лора,— сказала Салли устало,— и ты очень, очень добра, что приютила нас.

В последовавшие за этим дни Лора приложила все старания, чтобы как можно удобнее разместить две семьи в своем маленьком, хорошо налаженном доме. Но при наличии одной спальни, одной столовой и одной кухни это оказалось не таким уж легким делом. В особенности когда оба младенца принимались орать в один голос или же один будил своим криком другого и расстраивал обеих мамаш. Хорошо еще, что Олфа не было дома по целым дням, а Моррис тоже уходил с утра, решив, что ему пора подыскивать себе работу.

Живя у Брайрли, Моррис постарался быть таким гостем, какой должен был, по его мнению, прийтись хозяевам по вкусу. Подстриг волосы, сбрил бороду, прилагал героические усилия к тому, чтобы его костюм выглядел более сносно, и был со всеми очень любезен. Казалось, Моррис вспомнил вдруг, что он как-никак его высокородие Моррис Фитц-Моррис Гауг, а не просто старатель, которому не повезло.

— Боже мой, Салли,— воскликнула как-то Лора,— сказать по правде, я никак не думала, что мистер Гауг может быть так очарователен!

— Он очень давно не имел практики,— улыбнулась Салли.— А сейчас, по-видимому, считает своим долгом показать хозяевам, что умеет вести себя в приличном обществе.

Салли тревожило, что Моррис никак не может подыскать себе работу — какую ни на есть, лишь бы им перебиться как-нибудь. Ведь положение было поистине отчаянное. Палатку разорвало ураганом в клочья, а погода стояла ветреная и холодная. Ночью и по утрам над равниной дул пронизывающий ветер, и рудокопы, возвращаясь с ночной смены, ежились в своих старых куртках. В это время года, говорили они, самое разлюбезное дело — работать под землей: восемьдесят градусов, стоишь голый по пояс, а пот льет с тебя ручьем.

Если бы даже Салли удалось раздобыть новую палатку, она не рискнула бы жить в ней с малышом в такую погоду. Между тем, прогостив у Брайрли около двух недель, Салли поняла, что больше злоупотреблять их гостеприимством невозможно. И она ломала голову, не зная, что предпринять, где найти пристанище.

Лора, вероятно, искренне хотела проявить гостеприимство, но в ее уютном домике была теперь такая теснота и вечно толпилось столько людей, а в столовой перед камином всегда сушилась такая куча пеленок, что это начинало ее раздражать. Салли стирала распашонки Эми и старалась, чем могла, помочь Лоре, но Лора предпочитала все делать сама. Она неустанно что-нибудь стряпала, мыла, убирала, стала очень суетливой и далеко не столь приветливой, как вначале.

Калгурла ушла в заросли к своему племени на другое утро после грозы. Наступала хорошая пора для охоты, и кто его знает, когда теперь вернется Калгурла.

— С этими туземками всегда так,— заявила Лора.— Нельзя полагаться ни на одну из них.— Но Салли думала, что она лучше понимает причину исчезновения Калгурлы.

Калгурла видела, что в доме Брайрли ей не рады. Лора не могла преодолеть своей неприязни к туземцам. Она неохотно пускала Калгурлу в дом и не разрешала ей прикасаться к Эми, хотя Салли и заверяла ее, что Калгурла на редкость хорошая нянька.

После обеда, когда Лора отдыхала, Салли обычно вывозила малышей на прогулку, уложив обоих в маленькую деревянную тележку Дика; иногда она отправлялась с ними навестить миссис Моллой. Младшее поколение семейства Моллой, когда им случалось быть дома, тесным кольцом окружало тележку, чтобы полюбоваться на маленькую Эми. Им никогда еще не доводилось видеть такой хорошенькой девочки. Круглощекая и румяная, как куколка, всегда чистенькая и веселая, лежала она в облаке белых кружев. Но Тереза Моллой жалостно вздыхала, глядя на прелестную малютку.

— Слишком уж она нежна для здешних мест,— озабоченно говорила Тереза.— Намучаются они с ней летом. Вот этот сорванец,— улыбаясь, кивала она на загорелого Дика,— это наш, приисковый. Этому ничего не сделается.

Когда Салли сказала Олфу, что в конце недели она собирается покинуть его дом, он и слышать об этом не хотел.

— Подождите хоть немного, пока Морри устроится на работу,— уговаривал он Салли.— Такая досада, что я ничего не могу для него сделать. Но у нас нет вакансии, а наше правление, чтобы его черт побрал, снова и снова требует сокращения издержек.

— Вы очень добры, Олф,— сказала Салли,— но, право же, мы не можем больше вас стеснять.

— Чепуха! Напротив, мы очень рады, что вы у нас живете, правда ведь, детка?

— Да, разумеется,— ответила Лора без особого энтузиазма.

— К тому же,— продолжал Олф, словно оправдываясь перед женой,— это такие пустяки по сравнению с тем, как вы меня выручали когда-то, миссис Гауг.

Динни, который зашел проведать их в тот вечер, услышал слова Олфа.

— И меня,— засмеялся он.— Помнишь, Олф, как я гонял, высунув язык, по всему Южному Кресту и старался выклянчить у кого-нибудь пять фунтов в тот день, когда Арт Бейли прискакал с первым золотом из Кулгарди? И вдруг миссис Гауг говорит мне: «Я могу одолжить вам пять фунтов, мистер Квин. И вам тоже, мистер Брайрли».

— Правильно! — рассмеялся Олф.— И какие же это были золотые слова!

— Кстати, ты вернул миссис Гауг эти пять фунтов, Олф?

— Ух, черт возьми! Как будто нет...

— И я нет,— усмехнулся Динни.— Какие же мы оба подлецы, миссис Гауг. Я даже ни разу не вспомнил об этом долге!

— Да и я забыла,— весело сказала Салли.

А на следующий день Динни явился к ней, чтобы обсудить «одно деловое предложение», как он выразился.

Он привез немного денег из Дарлота, сказал Динни, и желает вложить их в какое-нибудь солидное предприятие. Короче, он думает выстроить дом. Не такой роскошный, как у Олфа, но зато побольше, чтобы в нем можно было открыть пансион. На прииске большой спрос на комнаты со столом, и если толковая женщина возьмет это дело в свои руки, оно может принести немалый доход. Кроме того, Динни хочет иметь свой угол, чтобы было куда возвращаться из разведок; участок под дом у него есть: он купил на днях клочок земли у одного старателя, которому срочно понадобились деньги.

Салли догадывалась, что целью этого «делового предложения» было дать ей пристанище, но решила принять его, с тем чтобы помочь Динни извлечь из пансиона доход. Она пошла с ним посмотреть его клочок земли, расположенный на полпути между Хэннаном и Боулдером. Они обсудили план дома, выбрали для него удобное местечко — немного отступя от дороги, так, чтобы перед домом можно было разбить цветник, а позади — огород и фруктовый садик.

Присев на корточки, Динни начертил на песке нечто вроде длинной узкой коробки; потом пририсовал к ней веранду и изобразил шпалеры, вокруг которых должны были виться ползучие растения или даже виноград. В одном конце коробки предполагалось расположить столовую, кухню и спальню мистера и миссис Гауг. Четыре небольшие комнаты для постояльцев должны были выходить на веранду. Еще одну комнату в другом конце коробки Динни решил оставить за собой.

Сияя от радости, он с самым невинным видом уверял Салли:

— Это же мечта моей жизни, мэм,— иметь наконец свой угол! Буду знать, что мне есть где приклонить голову, если только вы согласитесь взять заботу о доме на себя. А когда Моррис устроится на работу и вы захотите иметь свой собственный домик, как у Брайрли, или вздумаете уехать в Англию — ну что ж, тогда вы продадите мне вашу фирму вместе со всеми клиентами.

— Динни, вы просто бессовестный плут! — не удержалась Салли.— Это такое счастье — иметь наконец крышу над головой. Если бы вы только знали, как я боялась, что нам с Диком снова придется жить в палатке в такую ужасную погоду. Я так все устрою, что от жильцов отбоя не будет. И аренду вам выплачу — вот увидите!

Динни решил, что они с Моррисом могут, не откладывая, приступить к постройке дома. Ни строительных материалов, ни плотников у них не было. Но Динни сейчас же принялся скупать гофрированное железо — старое и новое, какое только мог раздобыть; собирал всюду доски и бревна для стоек и стропил и даже отправился на верблюдах в Кулгарди, рассчитывая купить там по случаю какое-нибудь старье: в Кулгарди было много опустелых хижин и брошенных лавок.

— Это мой дом,— заявил Динни.— Морри вовсе не обязан его строить.— И он положил Моррису жалованье, как самому заправскому плотнику.

Чего-чего только не приходилось делать Динни на своем веку. Не одна хибарка на приисках была построена его руками, говорил он. Через неделю стены из гофрированного железа были уже с одного конца подведены под крышу, и Салли переселилась в новый дом. Шаг за шагом наблюдала она за его постройкой — с той самой минуты, когда Динни и Моррис вырыли котлован для фундамента и покрыли сваи оцинкованным железом, чтобы предохранить их от вредоносных термитов. Лоре она сказала, что должна скорей перебраться в дом, чтобы помогать Динни и Моррису.

Лора никак не хотела отпускать Салли, пока дом не закончен, но Салли не терпелось свить свое гнездо и освободить Лору от хлопот.

Салли решила расчистить каменистую площадку перед домом и вскопать ее под цветник, пока земля была еще рыхлой от дождей. Ей уже грезилось узкое длинное строение из побеленного железа с верандой, увитой виноградом, пестрые, пышные весной цветочные клумбы перед фасадом и плодовые деревья позади дома.

Олф Брайрли уже сумел доказать, что плодородная красная земля, скрытая под верхним каменистым слоем, способна взрастить любые плоды, во всяком случае, зимой и весной, а если беречь каждую каплю воды, остающуюся от стирки и от мытья посуды, то некоторые растения переживут и лето. Хуже всего термиты, говорил Олф. Они подтачивают корни апельсиновых и персиковых деревьев; счастье еще, что они не так опасны для фиговых пальм, винограда и лимонных деревьев.

— Ты сущий ангел, Лора, я просто поражаюсь, как ты могла терпеть нас так долго,— благодарно сказала Салли.— Но пора уже семейству Гауг переселиться в свой новый дом.

ГЛАВА XLIII

После дождей наступили ясные, солнечные дни; хлопот по дому было хоть отбавляй. Динни и Моррис трудились не покладая рук: навесили двери и окна, поставили перегородки, сложили печь и приладили к ней трубу из оцинкованного железа. Пока печь не была готова, Салли стряпала на очаге за домом.

Динни привез из Кулгарди большой бак для воды и соорудил для него подставку; построил во дворе прачечную и установил в ней корыта и котел; сколотил сарайчик и поставил там ванну; смастерил шкафы для всех комнат и для кухни.

— Динни, это же замечательный дом, со всеми современными удобствами! — воскликнула Салли, когда все было готово. Теперь надлежало обставить дом.

— Не стоит портить всю музыку из-за пустяков, мэм! — сказал Динни.— Пойдите в лавку и выберите, что нужно. А расплатимся потом, когда соберем деньги с постояльцев.

Салли знала, что спорить бесполезно. Моррис притащил стол, скамейки и топчаны из старого лагеря; все остальное Салли купила в лавке. Она покупала бережливо, стараясь не тратить много денег, но твердо решив, что раз судьба послала ей наконец случай свить себе гнездо, нужно сделать его удобным и уютным.

В радостном волнении она отправилась за покупками и перерыла все полки в магазинах, разыскивая подходящую материю

для занавесок и кретон для обивки дивана и кресел, которые Динни посчастливилось купить на аукционе в Кулгарди. Мари ходила с ней по магазинам, помогала ей шить, и они вместе обсуждали все, что еще требовалось обсудить. Жак вместе со своим отцом соорудил для Мари хижину возле рудника Браун-Хилл, где он теперь работал. Он не терял надежды построить в недалеком будущем дом получше, а пока что Мари была очень довольна, что им есть где укрыться от пронизывающего ветра и что в хижине сложена печка и не нужно больше стряпать под открытым небом и даже можно подтопить ее на ночь для тепла.

Как только дом был приведен в порядок, Салли сдала три комнаты молодым рудокопам, работавшим на рудниках Мидас и Большой Боулдер. Это хорошие, тихие парни, заверил ее Динни. Они будут исправно платить и не доставят миссис Гауг излишних хлопот. Конечно, ей придется стирать на них и давать им с собой завтрак, как делают все прочие хозяйки пансионов. Салли это ничуть не пугало — то же самое приходилось ей делать в Южном Кресте, она только радовалась, что может опять приняться за работу.

Динни уже разбирало нетерпение снова отправиться на разведку. Он, по его словам, никогда не мог долго торчать в городе. А что творится сейчас в Хэннане — всюду толкотня и суматоха, в трактирах не продерешься к стойке, на улицах толпы каких-то пришлых людей... Нет, это не для него.

Динни Квин любил другое: далекие пустынные просторы, уходящие за горизонт; упорную, азартную погоню за золотом там, где его еще никто не находил; долгие дни одиночества и тишины; ночи у костра; неторопливые беседы с товарищем; звездное небо над головой и — никаких забот.

Барни Джипсу хотелось попытать счастья на юго-востоке, в местах, о которых он слышал от одного туземца, и Динни навьючил своих верблюдов и пустился в путь вместе с Барни.

Он пробовал уговорить Морриса присоединиться к ним, но Моррис сказал:

— Я наймусь на работу, Динни, на любую работу. Но искать золото больше не пойду никогда.

«Что же, это бывает, когда хлебнешь лиха так, как Моррис»,— думал Динни.

Но после отъезда Динни, когда уже не нужно было больше плотничать по дому, Моррис затосковал. Он снова стал ходить на рудники и в город искать заработка. Для молодых мужчин — рудокопов, чернорабочих, механиков — работы было хоть отбавляй; но человеку средних лет без определенной специальности устроиться на место было не так-то легко.

По воскресным дням Олф и Лора заезжали иногда за Моррисом и Салли и брали их с собой на прогулку к Соленому озеру. Пока Олф с Моррисом стреляли над тихой заводью диких уток, Лора и Салли, разостлав под деревом плед, усаживались в тени и заводили беседу о детях.

Все дышало миром и покоем. Пестрые ковры полевых цветов лежали вокруг; Салли и Лора собирали розовые бессмертники, кудрявый белый перечник и маленькие голубые и желтые цветочки, похожие на крошечные звездочки на длинных стебельках. Высокие кусты стояли осыпанные белыми и лиловыми цветами, распространяя нежный, терпкий запах; шелковистые ковры мари алели вдоль дороги; золотистые чашечки буйно разросшейся кассии были до краев полны пряного аромата.

Но скоро цветы исчезли с лугов и трава пожелтела. Снова смерчем закрутилась над низиной пыль. Приближалось лето; Салли и Лора знали, что оно им сулит. Лора уже отняла Эми от груди; девочку кормили козьим молоком, и она теперь не развивалась так хорошо, как прежде, худела, становилась капризной и беспокойной. Лора снова собиралась на юг на все лето и звала с собой Салли.

Но Салли понимала, что это невозможно. Пансион должен был приносить доход, а Динни — получать свою аренду. Кое-что из обстановки Салли приобрела в долг. Пол был покрыт линолеумом, в шкафах блестела новая посуда и кухонная утварь. Салли и Моррис спали на хороших кроватях, а в комнатах постояльцев стояли новые койки, покрытые простынями и одеялами. Некоторые из этих вещей Салли купила в поселке, другие ей привезли из Южного Креста, и все это стоило кучу денег. Салли понемножку выплачивала долги, но своей главной задачей считала расквитаться с Динни.

Моррис был очень доволен новым жильем и наслаждался комфортом, но постояльцы раздражали его, и он всячески старался избегать встреч с ними.

— Когда я устроюсь на приличную работу,— ворчал он,— мы будем жить вдвоем, без посторонних. Это просто выше моих сил — видеть, как ты надрываешься для каких-то мужланов.

— Но у меня с ними не так уж много хлопот,— возражала Салли,— и, по крайней мере, у нас теперь есть кусок хлеба и крыша над головой.

Моррис был очень нежен и внимателен к ней последнее время. Быть может, ему хотелось вознаградить ее за те месяцы молчания и равнодушия к ее судьбе, когда, одержимый золотой лихорадкой, он рыскал где-то на севере в тщетных поисках золота. Он стал совсем другим теперь. Словно что-то в нем умерло. Может

быть, он просто потерял надежду составить когда-нибудь состояние на золоте, как мечталось ему прежде. Он теперь никогда не говорил о золоте и о том, что он сделает, если ему повезет.

После своего возвращения с севера он спал отдельно от Салли — даже после той памятной ночи с ливнем, когда он снова стал самим собой. Салли была благодарна ему, что он не сделал попытки восстановить их прежние отношения как нечто само собой разумеющееся. Моррис понимает, думалось ей, что ее чувства к нему переменились. Она не могла так легко простить ему, что он не принял на себя часть ее забот, когда она была беременна, когда рожала ребенка. Да и воспоминание о том, что произошло между нею и Фриско, все еще было живо и бередило ей душу.

Но видеть Морриса таким надломленным и пришибленным было для нее невыносимо; она чувствовала, что должна помочь ему вернуть прежнюю уверенность в себе и самоуважение. Она понимала, что ее любовь — последнее, что у него осталось. Имеет ли она право отнять у него это? — спрашивала она себя. В конце концов, ведь она же любит его. Она знает, что делает с людьми золотая лихорадка. Она сама ведь тоже едва не пала в этом краю жертвой другой, не менее губительной лихорадки, едва не забыла свой долг. И для нее и для Морриса, думала Салли, осталось только одно: крепче держаться друг за друга и постараться наладить совместную жизнь.

Салли чувствовала, что ей еще, помимо всего, необходимо чем-то защититься от Фриско, от этого дурмана, который он на нее напустил. Одно воспоминание о нем вызывало в ней трепет, жгло ее, как огнем, и «это постыдное чувство» вновь закипало в ее груди. Нужно покончить с этим раз и навсегда, сказала себе Салли. Вырвать из памяти и из сердца.

И она раскрыла Моррису свои объятия, заставила его стряхнуть с себя мрачную отчужденность, которая им владела, сумела убедить его в том, что она хочет быть ему не только доброй женой, но и возлюбленной, как было когда-то, в первые дни брака. Их сближение наполнило их обоих новым, радостным ощущением полноты жизни и счастья.

Моррис снова ходил с высоко поднятой головой; казалось, он даже испытывает некоторую тайную гордость и самодовольство. В конце концов, он имел то, чего столь многие мужчины на приисках были лишены. И Салли весело распевала, моя посуду или подметая пол. В ее душе не оставалось теперь обиды на Морриса, и скрытая тяга к Фриско не смущала больше ее покой. Моррис стал чаще уделять внимание Дику: возился с ним, брал его на прогулку и немножко ревновал к нему Салли; ему казалось, что она слишком уж поглощена ребенком.

— В жизни не слышал подобной чепухи! — восклицал он, когда Салли весело болтала с малышом, так, словно он мог понять все, что она ему говорит.

— Ах, боже мой, ты же видишь — ему это нравится,— возражала Салли.— А я люблю с ним разговаривать, потому что он такой чудный маленький ворчун! Я просто обожаю его, Моррис!

Когда Моррис, вернувшись однажды под вечер домой, заявил, что устроился на работу, Салли радостно воскликнула: «Ах, как хорошо, Моррис!»

Салли считала, что работа даст ему веру в себя. Но Моррис не пожелал ничего рассказать о своей работе и вел себя очень загадочно. Утром он попросил Салли приготовить ему с собой еды, и, только увидав, что он надел рабочий костюм и отправился куда-то с одним из постояльцев, работавшим на Большом Боулдере, Салли догадалась, что Моррис нанялся на рудник.

Она пришла в ужас, когда он вернулся вечером домой,— такой он был грязный и замученный, едва волочил ноги от усталости.

Ну да, он работает отвальщиком на Боулдере, и, конечно, ворочать целый день руду — это не так-то легко с непривычки.

— Но я привыкну,— заявил Моррис,— там есть кое-кто и постарше меня в моей смене.

— Ах нет, Моррис, ты не должен этого делать! — воскликнула Салли.— Ты еще недостаточно окреп. И к тому же в этом нет никакой нужды: мы прекрасно сводим концы с концами теперь, благодаря постояльцам.

— Нет, хватит тебе мучиться одной, Салли,— сказал Моррис упрямо.— Я должен сам зарабатывать свой кусок хлеба. Если иначе нельзя — значит, буду ворочать руду, пока не сдохну.

На приисках говорили, что в отвальщики идут шахтеры, «у которых мозги отшибло». Салли понимала, как было унизительно для Морриса взяться за такую работу. Но он хотел доказать ей, что готов делать все что угодно, лишь бы не взваливать на нее одну заботу об их пропитании. Она умоляла его не рисковать своим здоровьем, говорила, что он надорвется на такой тяжелой работе под землей. Но Моррис упорно цеплялся за эту работу, которую ему с таким трудом удалось получить.

Изо дня в день уходил он утром из дому и присоединялся к веренице рабочих, бредущих по направлению к рудникам. Вечером, когда на широкой пыльной дороге показывалась унылая процессия сгорбленных от усталости, мертвенно-бледных людей в молескиновых штанах и грязных фланелевых рубахах, с закопченными котелками и котомками в руках, вместе с ними возвращался и Моррис — такой же бледный и измученный, как все.

И всякий раз, как пронзительный гудок доносил с рудников весть о новом несчастье, Салли бежала к калитке и с тревогой глядела на дорогу.

Но в тот день, когда Морриса принесли домой на носилках, гудка не было. Рудокопы сказали, что просто Моррис внезапно потерял сознание во время работы; хорошо еще, что он стоял не у ската, где его могло засыпать породой. Врач с рудника считает, что у него сердце сдало и ему нужно малость отдохнуть. И что вообще не следовало бы ему работать под землей. Но ничего серьезного нет.

— Пустяки, не тревожьтесь, мэм,— сочувственно сказали рудокопы и, взяв носилки, торопливо зашагали обратно на работу.

— Салли, прости меня, я такая никуда не годная кляча!..— стонал Моррис.

— Родной мой, родной! — плача, твердила Салли.— Как хорошо, что ты со мной, больше мне ничего не нужно!

Салли послала за врачом. Врач сказал, что Моррис, как видно, задал непосильную работу своему сердцу и теперь уже не сможет больше заниматься тяжелым физическим трудом. Впрочем, при надлежащем уходе и покое можно довольно быстро привести его сердце в более или менее сносное состояние.

Моррис злился и ворчал на то, что ему целыми неделями приходится лежать в постели без дела. Однако мало-помалу он начал вставать и ходить по комнате, не ощущая при этом той слабости и дурноты, которая свалила его с ног в забое.

В Кулгарди происходили торжественные празднества по случаю открытия железной дороги. Все старатели-пионеры, которые первыми пришли сюда из Южного Креста на поиски золота, снова стекались в город из самых отдаленных мест, чтобы принять участие в праздничной процессии. Страсти разгорелись вовсю, когда появились афганцы, их верблюды были убраны цветастыми попонами. Афганцы пожелали занять место во главе процессии, они отказывались следовать позади неверных, но комитет по организации празднеств не так-то легко было сбить с толку.

Впереди, играя на волынке, шел распорядитель празднеств в национальном костюме шотландского стрелка. За ним — на дрогах, запряженных пестро разубранными лошадьми,— ехали первые старатели прииска: Динни, Олф, Сэм Маллет, Тупая Кирка, Билл Иегосафат, Джонс Крупинка и некоторые другие. Далее следовали оркестр духовой музыки и пожарная команда, а за ними — мэр города и члены городской управы. Его превосходительство сэр Джеральд Смит, губернатор штата, и депутаты парламента шествовали в сопровождении впушительного кавалерийского эскорта. Угрюмые, раздосадованные афганцы в белых развевающихся

одеждах шагали рядом со своими верблюдами, и несколько жалких, одетых в лохмотья туземцев замыкали шествие.

Кулгарди ликовал и веселился целую неделю, весь разубранный флагами и флажками всех цветов и оттенков. Спортивные состязания, торжественный обед, всевозможные развлечения и бал составляли программу празднеств.

— Вы бы видели, что это было! — восклицал Динни, описывая праздник Моррису и Салли.— Нас село за обед человек пятьсот под длинным навесом, выстроенным специально для этого обеда. Мэр сам говорил мне, что праздник обошелся Кулгарди в пять тысяч фунтов стерлингов. Братья Уилки, которые строили железную дорогу, истратили тысячу фунтов на одно только шампанское. Ну, да им бы еще скупиться! Они загребли целое состояние, когда заключили контракт.

Теперь Хэннан тоже готовился к торжественному дню, когда железная дорога соединит его с Кулгарди. Чтобы не ударить в грязь лицом, было положено истратить на празднества не менее пяти тысяч фунтов стерлингов. С прокладкой железной дороги Хэннан должен был сменить свое старое имя на новое — Калгурли. Уже велись приготовления к торжественной процессии, банкету, балу, спортивным состязаниям, верблюжьим бегам, козьим бегам и всевозможным видам развлечений для старых и малых.

Железная дорога служила залогом дальнейшего процветания этих двух приисковых городов. Она должна была обеспечить строительными материалами и машинным оборудованием рудники, пищей и водой — растущее не по дням, а по часам население, должна была, как верилось каждому, положить конец изоляции приисков и принести с собой все блага современной цивилизации. Открытие железной дороги было встречено всеобщим ликованием.

Вскоре после окончания празднеств Лора уехала на побережье. Олф отвез ее в Кулгарди и усадил в поезд. Красная пыль не пощадила их крошечный домик-бонбоньерку. Плотным слоем она покрывала все — пищу, воду, одежду. Не помогали ни шкафы, ни погреба. От жары Эми худела, становилась вялой и капризной, и Олф не желал рисковать здоровьем своего драгоценного семейства.

Еще до отъезда Лоры Салли узнала, что ей предстоит снова стать матерью. Моррис страшно разволновался: требовал, чтобы она тоже во что бы то ни стало поехала на побережье, клялся, что раздобудет денег. Но Салли понимала, что такие расходы им не по карману. Она вполне может положиться на миссис Моллой, уговаривала Салли Морриса. Зачем ей уезжать куда-то, когда

здесь у нее есть такой опытный друг? И уж если на то пошло, в больнице теперь медицинская сестра, сиделка и новый врач.

Моррис снова принялся искать работу. Любую работу — лишь бы она была ему под силу и дала Салли возможность уехать перед родами на юг. Дик только начинал ходить, и как Салли управится с домом, когда у нее будет еще грудной ребенок на руках, Моррис просто не мог себе представить.

ГЛАВА XLIV

Динни с самого начала не одобрял решения Морриса идти работать в забой.

— Ты просто лезешь на рожон, Морри,— говорил он.— Чтобы в твоем возрасте становиться к вагонетке, нужно иметь привычку к этому делу и быть малость покрепче.

И теперь, когда Но Коутс, гробовщик, предложил Моррису работу — вести счета и принимать клиентов,— Динни сказал, что Моррис опять берется не за свое дело.

— Пойдем-ка лучше со мной на разведку, Морри,— уговаривал его Динни.

— Нет, с этим я покончил,— отвечал Моррис.— Постоянная работа и регулярный заработок — вот что мне нужно.

Он ознакомился с делом и стал довольно успешно помогать старому Но Коутсу, который давно прихварывал. Моррис немного научился плотничать, когда они с Динни строили дом, и теперь это пришлось очень кстати. Скоро он уже, как заправский гробовщик, снимал мерку с покойников и сколачивал гробы. Когда старый Но умер, Моррис остался работать у его вдовы.

— Если б только я мог откупить у нее дело,— говорил Моррис,— я бы ухватился за это руками и ногами. Похоронное бюро — доходная штука, Динни. Вот куда стоит вложить денежки... когда они есть.

Моррис показал ему все свои выкладки и расчеты, и они произвели на Динни впечатление. Динни заложил дом и купил у миссис Коутс ее похоронное бюро для Морриса, с тем чтобы тот впоследствии мог его откупить.

Конечно, для Морриса видеть себя в роли гробовщика было и невесело и стыдно; но он был рад, что нашел наконец хоть какое-то дело. И он добросовестно занялся им: скреб, мыл, красил старые замызганные дроги, ухаживал за тощими клячами и пытался их откормить.

Похоронные процессии часто проходили мимо пансиона миссис Гауг, стоявшего у самой дороги, по которой покойников от-

возили на кладбище. Впереди, по солнцепеку, пыля, ехали дроги, за ними — карета, за каретой — тележки и двуколки, а позади брела еще кучка провожающих.

Салли чуть не заплакала, когда увидела Морриса в долгополом потрепанном сюртуке и цилиндре с траурным крепом вокруг тульи, шагавшего рядом с дрогами. Если хоронили ребенка, Моррис и возница повязывали на цилиндры белый креп и над дрогами развевались грязные, траченные молью белые плюмажи. Если хоронили юношу или девушку, плюмажи были из белых вперемежку с черными перьев, а гроб обивался изнутри дешевым белым атласом.

Родственники покойного или рудокопы, хоронившие своего товарища, считали долгом чести не поскупиться на затраты и устроить то, что называлось «шикарными похоронами», а от Морриса требовалось соответственно этому обставить обряд. Иногда Моррис получал недурной доход от всевозможных дополнительных аксессуаров, отвечавших понятию пышных похорон: дубовый гроб украшался никелированными скобами, над дрогами развевались плюмажи и за гробом шли факельщики с крепом на шляпах.

Только одинокие бедняки отправлялись на тот свет в некрашеных тесовых гробах; да еще евреи, чья религия предписывала простоту и строгость в исполнении последнего обряда. Женщины-еврейки, приходившие одевать своих покойников, старательно избегали касаться мертвых руками, когда обмывали их перед тем, как опустить на вечный покой в простой, сколоченный из досок гроб. Салли видела, как они это делают. Когда Моррис был слишком занят и не приходил домой обедать, она приносила ему еду в сарайчик позади лавки, служивший одновременно и мастерской и покойницкой.

Нередко Моррису приходилось работать ночи напролет, так как в жаркую погоду нельзя было медлить с похоронами. Салли дивилась тому, как он может выносить эту гнетущую обстановку покойницкой, это постоянное пребывание среди мертвецов. Но Моррис, казалось, оградил себя от окружающего непроницаемой стеной; он приобрел профессиональное равнодушие гробовщика.

Только однажды видела Салли Морриса испуганным и потрясенным. Это произошло ночью. Салли сидела в мастерской, дожидаясь, пока он кончит работу; Моррис делал гроб для ребенка. Мертвый ребенок лежал на лавке, покрытый простыней.

— Подожди еще немного, Салли,— сказал Моррис.— Сейчас я уложу этого беднягу, и мы пойдем домой.

Он опустил ребенка в гроб и внезапно вскрикнул от ужаса. Холодный пот выступил у него на лбу.

— Он открыл глаза! — хрипло прошептал Моррис.

— Что ты глупости городишь! — Салли подошла, нагнулась над ребенком и увидела, что по лицу у него пробегают судороги.

Она вынула ребенка из гроба и держала его на руках, пока Моррис доставал из шкафа бутылку с коньяком. Они растирали ребенка коньяком, шлепали его, отогревали своим дыханием, потом Моррис побежал за врачом. Ребенок жил несколько минут, но врач застал его уже мертвым.

Это был жуткий случай. Моррис говорил, что он стал с тех пор самым осторожным гробовщиком на свете. Уж он-то никогда никого не похоронит заживо — ни мужчину, ни женщину, ни ребенка. Моррис мог шутить впоследствии по поводу своего испуга, но Салли еще долго становилось не по себе, когда она вспоминала, как пытались они спасти этого крошку, раздуть искорку жизни, еще тлевшую в жалком маленьком тельце.

Великий день настал наконец для Калгурли, как теперь назывался Хэннан, когда к его нарядному новенькому вокзалу подкатил первый поезд. Немало жгучей зависти и пересудов породил, конечно, вопрос — кто должен и кто не должен был получить приглашение на торжественный банкет, продолжавшийся далеко за полночь. Это был куда более официальный и чопорный обед, чем та веселая пирушка, которой ознаменовались торжества в Кулгарди. Олф Брайрли в качестве управляющего рудником еще удостоился получить приглашение, но никак не Сэм Маллет и не Тупая Кирка — первые старатели, открывшие прииск.

Было время, когда в Хэннане не существовало социальных перегородок. Каждый человек ценился тогда по его личным качествам, и жены рудокопов, лавочников и трактирщиков, встречаясь друг с другом на редких вечеринках или спортивных состязаниях, не задумывались, кто из них более важная персона. Поддерживать добрососедские отношения — вот что было важнее всего в этом отрезанном от мира поселении.

Тот, кто был сегодня самым захудалым старателем, без гроша в кармане, мог завтра стать миллионером, и любой пришелец стремился быть принятым в нестеснительное, свободное содружество прииска. Мало кто претендовал на то, чтобы его величали «мистер», когда все с утра до ночи одинаково рыскали по стране и ходили грязные, обросшие и нередко голодные. Все знали друг друга по имени или довольствовались прозвищами с прибавлением двух-трех крепких словечек для выражения особой симпатии.

Но по мере того как золотоносные участки скупались английскими, иностранными и восточноавстралийскими компаниями и финансовые воротилы и их агенты, спекулянты и аферисты всех мастей все больше наводняли прииск, прежние непринужденные, товарищеские отношения изменились. В гостиницах богатые ино-

странцы располагались, как у себя дома, и им надлежало угождать, дабы создать у них благоприятное впечатление о городе. Капиталы, которые они представляли, заставляли считаться с ними. И владельцы рудников вкупе со своими управляющими всячески ублажали их. Рудокопы же и старатели держались в стороне от этих важных персон, не ожидая от них для себя добра.

Конечно, это различие интересов существовало и раньше. Но в горячке и сумятице первых лихорадочных поисков золота, в далеких старательских походах по неисследованному краю сухих безводных зарослей и диких скал, когда все зависели друг от друга и каждый — от своего напарника, английские лорды и прочие титулованные иностранцы рады были отказаться от всяких притязаний на свое превосходство. Они охотно якшались с рудокопами и старателями, когда им наравне со всеми приходилось терпеть лишения и перебиваться с хлеба на воду.

Динни помнил, что лорд Солсбери в молескиновых штанах и грязной рубашке рыл золото, как всякий прочий старатель, или на собрании драл глотку не хуже других, вскочив на бочку. И лорд Генри Локк тоже — сам варил себе кашу в котелке и ковырял землю лопатой, говорил Динни.

Но когда Калгурли сделался центром крупных капиталовложений и спекуляций, столкновение интересов владельцев рудников и управляющих, с одной стороны, и старателей и рудокопов — с другой, стало более явным.

На боулдерских рудниках уже с первых дней вспыхивали стачки, и борьба за повышение заработной платы и улучшение условий труда не прекращалась ни на один день.

Пышный праздничный банкет в Калгурли наглядно показал, как углубилась эта давно уже намечавшаяся трещина.

Пока владельцы рудников и государственные чиновники, директоры банков и почетные гости весело пировали и, поднимая бокалы с шампанским, провозглашали тосты за процветание города, рудокопы и старатели — пионеры прииска,— не получившие приглашения на торжество, смеясь, пожимали плечами: «Интересно, что бы они делали без нас».

Когда празднества закончились, все, кому это было по карману, уехали на лето к морю. Вскоре после отъезда Лоры Олф заболел тифом. Боясь занести заразу в дом, Олф потребовал, чтобы его положили в больницу, где теперь работали новый врач и медицинская сестра. Олфа заботило только одно: как бы Лора не узнала о его болезни,— он не хотел ее волновать.

Динни чуть с ума не сошел от тревоги; он до тех пор изводил всех в больнице, пока Олфа не поместили в отдельную палатку. Здесь он тотчас принялся сам ухаживать за больным, не жалея

ня денег, ни сил. Он дежурил у постели Олфа, отгонял от него мух и поливал палатку водой из шланга, чтобы было прохладней. Больница, как всегда, была забита тифозными больными; врач и сиделки от души радовались, что кто-то снимает с них часть забот. Динни под их руководством выходил Олфа и, как только тот начал поправляться, отвез его домой и там продолжал заботиться о нем.

Этим летом Салли родила второго сына — здорового, крепкого мальчишку, который больше походил на отца, чем Дик. На этот раз Салли рожала дома, при родах присутствовал врач, и появление на свет Тома не было для нее таким тяжким испытанием, как рождение ее первенца. Салли, счастливая и гордая, целых три месяца сама кормила Тома, а когда пришлось перейти на козье молоко, лето уже было позади.

Незадолго до рождения Тома снова появилась Калгурла и, как уже повелось, принялась нянчить Дика и хлопотать по хозяйству. Мари Робийяр тоже была большой помощницей для Салли; она стряпала на постояльцев и сменяла миссис Моллой, когда та отправлялась поглядеть, что же все-таки творится у нее дома.

Тереза Моллой сама готовилась еще раз стать матерью и воспринимала это событие как нечто весьма забавное, с недоумением вопрошая себя, когда же она наконец перестанет заботиться о приросте населения прииска.

— Думается мне, я уже достаточно потрудилась,— говорила она Салли.— Пора бы и забастовать. Как вы полагаете, душечка? Да вот Тед уверяет, что стоит ему только повесить свои штаны на спинку кровати, как я уже и забрюхатела. Вот беда-то! Что тут будешь делать!

Когда Лора вернулась домой, она очень встревожилась, узнав, что Олф далеко не так хорошо провел лето, как она. Он стал худой, как скелет, после этой болезни, жаловалась Лора, и совсем ослаб; ему никак нельзя приниматься снова за работу. Почему никто не известил ее о том, что Олф болен?

Лора выглядела очень мило и элегантно в своих новых платьях и шляпках, которые она привезла из Перта. Одно плохо — она начала полнеть; приходилось затягиваться в тугой корсет, что, с точки зрения Олфа, было просто нелепо.

— Ему нравится, когда я полнею,— объяснила Лора с довольным видом.

Все же она завидовала Салли: так сохранить фигуру, как эта женщина! Даже родив двоих детей, миссис Гауг все еще была стройна, как девочка, хотя, конечно, руки у нее ужасно загрубели и потрескались от работы.

Лора рассказала, как восхитительно она провела время на юге. Леди Маргарет Саммерс была очень любезна и возила ее с собой на балы к губернатору и на скачки. Дочку Лора оставляла на попечение друзей, у которых гостила, и могла выезжать и развлекаться сколько ей вздумается. Просто удивительно, как много народу съехалось этим летом в Перт. И Брукмены, и Зэб Лейн, и лорд Перси, и даже, как вы думаете, кто? — Фриско! Только он теперь мистер Франсиско де Морфэ, с вашего позволенья, и весьма важная персона.

Вскоре леди Маргарет Саммерс сама явилась в Калгурли вместе со своим мужем, представителем одного из английских синдикатов. Она, как видно, в самом деле благоволила к Лоре. Это просто ужасно, говорила леди Маргарет, что такая очаровательная молодая женщина принуждена жить в этой богом забытой дыре. Олфа злило покровительство, которое высокочтимая леди оказывала его жене, расточая ей льстивые похвалы и совершенно ею завладев, но ему приходилось быть любезным с этой знатной дамой. Муж леди Маргарет был членом правления компании «Мидас», в которой служил Олф, и приехал обследовать рудники. Главным партнером в этом браке была леди Маргарет, имевшая крупное личное состояние и весьма удачно спекулировавшая на бирже.

Калгурли процветал. Вдоль всего горного кряжа — от Маун-Шарлотт до Хэннанского озера, у которого обрывалась горная цепь, работали рудники. Разработки растянулись почти на пять миль, а вокруг поселка Боулдер земля была изрыта шахтами не меньше чем на квадратную милю. «Квадратная миля богатейших в мире золотоносных пород!» — кричали спекулянты, окрестив этот район «Золотая Миля».

Железная дорога не в состоянии была удовлетворить потребности прииска в промышленном оборудовании. Из Эсперанса и Южного Креста грузы по-прежнему везли в город на лошадях, ослах и верблюдах. Караваны вьючных животных заполняли улицы; сбросив одни тюки и навьючив другие, караваны гнали дальше — к отдаленным, вновь освоенным приискам. Мензис, Широкая Стрела, Кэноуна — все прииски процветали, и туда коршунами слетались иностранные капиталисты. Калгурли был центром, откуда поиски золота велись по всем направлениям.

В то же время спекуляция участками достигла чудовищных размеров. Спрос на отводы под разработку недр чрезвычайно возрос. Любой клочок земли в окрестностях Калгурли, даже не имеющий ни малейших признаков золота, сбывался по такой же неслыханной цене, как подлинно золотоносные участки. Не было даже нужды «подсаливать» участки, ибо весьма важные особы поддерживали своим именем компании, выпускавшие акции при-

исков, на которых не только не производилось еще никаких работ, но даже не было обнаружено ни грамма золота. Газетные писаки, именовавшие себя «экспертами» по добыче золота, плодились как мухи; за гонорар в тридцать фунтов стерлингов они готовы были, захлебываясь от восторга, предрекать блистательную будущность любому золотопромышленному предприятию. Многие из этих проходимцев, подписывавшиеся: «горный эксперт такой-то», не умели даже отличить одной породы от другой.

— У нас шутили, что сравнительная степень от слова «лживый» будет «лжец», а превосходная — «горный эксперт»,— вспоминал Динни.

Однако подлинные старатели и добросовестные управляющие рудниками не принимали участия в этом грабеже. Они утверждали, что золота кругом достаточно — нужно только его по-настоящему разрабатывать. Такие люди, как Олф Брайрли, опасались, что все эти аферы и дикая спекуляция рано или поздно создадут Калгурли дурную славу и подорвут дальнейшее развитие и процветание города.

Олф стал теперь важной персоной — его постоянно видели в обществе владельцев рудников и золотопромышленных магнатов. Но заботы, как видно, точили его — он исхудал, взгляд его стал напряженным. Лора жаловалась, что Олф просто губит себя работой на этом руднике, и к тому же у него еще каждый вечер то заседание больничного совета, то собрание в спортивном клубе, то совещание в каком-то еще комитете, который требует от городского совета улучшить санитарное состояние города и очистить его от публичных домов и грязных кабаков.

Да, конечно, они с Олфом много выезжают. Их приглашают на все торжественные обеды и завтраки на рудниках: сегодня устанавливается новая рудодробилка, а завтра рудник переходит к новому владельцу. Они встречаются теперь с очень важными иностранцами и иногда даже принимают их у себя.

Салли и Моррис не получали приглашений на званые вечера, где бывали управляющие рудниками и их жены. Они не принадлежали к избранному обществу прииска. Моррис как-никак был одно время простым забойщиком, да и сейчас кто он такой? — гробовщик; а жена его содержит пансион для рудокопов. Моррис молча усмехался, когда Лора с жаром описывала то или иное торжество, на котором ей довелось присутствовать. Когда Лора и Олф выезжали, Салли нянчила Эми.

— Как досадно, что ты не будешь там, милочка! — восклицала Лора, собираясь на обед, который Зэб Лейн давал в честь Саммерсов. Мистер Лейн умеет принять с большим вкусом, а Саммерсы, право же, очень милы.

— Мы с Моррисом знаем свое место,— отвечала Салли.

— Ах, чепуха! — рассмеялась Лора.— Если уже на то пошло, так у вас с Моррисом больше прав на высокое положение в обществе, чем у многих из нас,— кто ж этого не знает! Но ведь ты сама всегда отказываешься, когда я приглашаю вас обедать, чтобы познакомить с интересными людьми.

Со старыми товарищами Олф держался так же приветливо и дружелюбно, как прежде. Столкнувшись с кем-нибудь из них на улице, он всегда останавливался поболтать или приглашал зайти в трактир выпить. А когда Олф встречал Динни Квина, усталое, осунувшееся лицо его освещала веселая мальчишеская улыбка и в глазах вспыхивала радость.

— Куда ты провалился, старый хрыч, чтоб тебя черти ели! — орал он на всю улицу.— Рад, рад видеть тебя, дружище! Загляни-ка сегодня вечерком, поужинаем вместе, а? Хозяюшка тоже соскучилась по тебе; может быть, мы выклянчим у нее бутылочку-другую.

С Моррисом Олф тоже был по-прежнему на короткой ноге. Шесть дней в неделю Олф Брайрли был всего лишь одним из винтиков в огромном механизме золотых рудников компании «Мидас», но вот наступало воскресенье,— и — если на неделе шли дожди — они с Моррисом отправлялись пострелять над озером диких уток или поохотиться на фазанов в зарослях у подножия Маунт-Хоуп, которая высилась, окутанная голубым туманом, на горизонте.

Но с развитием золотопромышленности весь облик жизни менялся. Рудники переходили в другие руки, появлялись новые управляющие — люди со всех концов света, обладающие и опытом и специальным образованием; управляющие старого типа, научившиеся своему делу на практике, все чаще и чаще оказывались за бортом. Олф боялся, что его ждет такая же участь: если рудник Мидас будет продан, ему снова придется искать работу. И он с удвоенной энергией старался показать, что такие люди, как он — опытные практики,— тоже чего-нибудь да стоят.

Увлечение Лоры светскими развлечениями в избранном приисковом кругу сначала не мешало ее дружбе с Салли. Она частенько забегала к ней среди дня поболтать о своих успехах. Эми уже начала ходить, и ей нравились эти прогулки, нравилось играть с маленьким Диком на длинной-предлинной веранде, хотя их шумные игры частенько заканчивались драками. Салли никуда не ходила, несмотря на то что Том рос спокойным крепышом и причинял ей куда меньше хлопот, чем ее первенец. Мари навещала Салли почти каждый день и водила Дика гулять. Иногда

заглядывала и миссис Моллой в сопровождении двух-трех ребятишек и усаживалась посудачить с Салли за чашкой чая.

Во время одного из таких посещений появилась Лора. Увидав миссис Моллой, она тотчас заважничала и стала разговаривать с ней таким снисходительно-покровительственным тоном, что та поспешила уйти.

— Как ты можешь выносить эту женщину, Салли! — с досадой воскликнула Лора, едва только дверь закрылась за миссис Моллой.— Она так нестерпимо вульгарна и невоспитанна!

— Какая ни на есть, она мне нравится,— сдержанно отвечала Салли.— По правде сказать, я даже очень люблю ее.— Салли была занята починкой белья и продолжала шить, не поднимая головы, стараясь не показать своего возмущения.

— Ах, знаю, знаю — она очень добра и простодушна,— отрезала Лора.— И конечно, я стараюсь ладить здесь со всеми. Но все-таки миссис Моллой — это просто наказание божие. Вот посуди сама: на днях сидит у меня миссис Саммерс, мы с ней пьем чай, и вдруг в гостиную вваливается миссис Моллой. Кричит: «Дома есть кто-нибудь?» — и плюхается на диван.

— Здесь так принято,— пробормотала Салли.

— Пришла, видите ли, извиниться за то, что ее козы залезли к нам в сад и обгрызли всю капусту, за которой Олф так ухаживал,— продолжала Лора.— Но ты бы посмотрела на нее! Развалилась на диване, хохочет, бранится, городит какую-то чушь! «Окаянные козы, они меня в гроб уложат! Так и норовят залезть куда не след. Вот ведь грех-то какой! И как только мои сорванцы не устерегли этих чертовых коз! Ну и задала же я Перти трепку! Да я прямо чуть не заревела, когда он сказал мне, что эти черти объели у вашего хозяина почитай что всю капусту, а он-то еще так над ней потел, голубчик!»

— Бедная женщина! — сочувственно проговорила Салли.

— Ну, знаешь ли,— возразила Лора,— всему свое время и свое место, как сказала миссис Саммерс. И когда такая туша врывается к тебе в дом — это просто неприлично, Салли. Ведь она «того гляди, разродится», по ее собственному выражению. Я вынуждена была дать ей понять, что совсем не желаю, чтобы ко мне лезли без приглашения.

— Постараюсь запомнить,— улыбнулась Салли.

— Не глупи, пожалуйста. Это к тебе не относится!

— Видишь ли, миссис Моллой — мой друг,— напомнила Салли.— Я просто не знаю, как бы я родила Дика, если бы не она, и мне очень неприятно, что ты так обращаешься с ней, Лора. Словом, прошу тебя, если ты еще раз встретишь здесь миссис Моллой, не обходись с ней так, как ты это сделала сегодня.

Лора обиделась:

— Ах, вот как! Я вижу, мне следует пореже приходить к тебе.

— Ну что ты, дорогая...— Салли отложила шитье, намереваясь успокоить рассерженную гостью, но та уже выпорхнула из комнаты.

— Эмэ, иди сюда! — резко крикнула она.— Мы уходим, слышишь?

Девочка подняла неистовый визг, возмущенная тем, что ей мешают играть с Диком.

Салли задумчиво смотрела вслед Лоре, которая быстро шла по тропинке через сад, таща за собой все еще упиравшуюся Эми. Салли и жалела Лору и сердилась на нее. Она не могла простить подруге, что та слишком возомнила о себе и так пренебрежительно, свысока обошлась с миссис Моллой.

ГЛАВА XLV

Когда мистер Франсиско Хосе де Морфэ вместе с лордом Перси возвратился в Хэннан, всем стало ясно, что Фриско Джо Мэрфи более не существует.

Старые товарищи Фриско, собравшись в трактире или у лагерного костра, посмеивались над происшедшей с ним метаморфозой. Они уже и раньше знали, что Джо Фриско сделался знаменитостью, читали в местных газетах перепечатанные из английской прессы высказывания мистера Франсиско де Морфэ, предрекавшего большое будущее западноавстралийским золотым приискам. Все же, когда владельцы рудников Калгурли начали смотреть на мистера де Морфэ как на некую опору западноавстралийской золотопромышленности в Лондоне и выражать ему почтение, Динни, Сэм Маллет и другие старатели отнеслись к этому как к забавной шутке.

Впрочем, когда мистер де Морфэ вернулся на прииски, его старые товарищи не могли его ни в чем упрекнуть: все, чем когда-то располагал к себе Фриско, было налицо. Мистер де Морфэ был по-прежнему щедр и по-прежнему на короткой ноге со всеми. Угощал каждого встречного и просиживал со старателями ночи у костра, болтая о том о сем, обсуждая приисковые дела совершенно так же, как когда-то. Он даже притащил свою гитару со стальными струнами и спел «И добра была, и честна была», чтобы все было совсем как в доброе старое время.

Разумеется, мистер де Морфэ становился несколько иным в обществе иностранцев или местных золотопромышленников: он превращался как бы в старшего брата Фриско Джо, занятого

такими важными делами, о каких тот и сроду не помышлял. Кроме того, мистер де Морфэ был всегда превосходно одет, усвоил самые изысканные манеры и держался столь уверенно и непринужденно, что мог утереть нос любому заезжему англичанину. Жители метрополии здесь, на прииске, частенько выглядели как рыбы, вынутые из воды, когда пытались подладиться к рудокопам и старателям, чтобы договориться с ними о покупке участка или осмотре шахты.

Но Фриско, с кем бы ему ни приходилось иметь дело, умел оставаться самим собой. Он знал мир старателей и рудокопов, но знал и мир богатых предпринимателей, и ему всегда удавалось найти общий язык и с теми и с другими. Он пользовался популярностью среди старателей, ибо они верили, что Фриско все еще «свой» и постарается, конечно, защитить старых товарищей от грязных махинаций иностранных спекулянтов, а Фриско всеми силами поддерживал в них эту уверенность. Предприниматели, со своей стороны, верили в него, ибо знали, что мистер де Морфэ — опытный игрок, который ведет ту же игру, что и они: он будет защищать их интересы хотя бы для того, чтобы защитить свои, а следовательно, им нечего опасаться, что их обведут вокруг пальца, как лорда Фингала с его Лондондерри, которое оказалось блефом.

Фриско сделал все, чтобы поддержать свою новую репутацию: бросил свои ухарские повадки, остановился в лучшей гостинице и постарался стать для заезжих богачей человеком незаменимым. Он возил их на самые отдаленные прииски, обставляя эти поездки с возможным комфортом. Завел пару чистокровных лошадей и элегантный экипаж для поездок по рудникам, а для более далеких путешествий — караван верблюдов с погонщиками-афганцами.

Каждый поезд, прибывавший с юга, привозил свежие фрукты и всевозможные заморские лакомства для мистера де Морфэ. Про обеды, которые Фриско закатывал в ресторане гостиницы «Звезда Запада», ходили легенды. Управляющие рудниками и их жены принимали приглашения мистера де Морфэ не только потому, что у него они могли познакомиться с заезжими знаменитостями, но главным образом потому, что Фриско умел словно из-под земли достать для своих гостей самое изысканное угощение. Его обеды были роскошными пиршествами, где одна смена французских блюд следовала за другой и сопровождалась соответствующими возлияниями.

Иностранцы говорили о мистере де Морфэ, что это великий знаток хорошей кухни и вин. Рассказывали даже, что он лично наблюдает за изготовлением некоторых блюд. Старые товарищи

Фриско посмеивались в кулак: Фриско всегда понимал толк в стряпне, а если теперь он откармливает всех этих франтов, как бойцовых петухов,— значит, что-нибудь у него на уме, вот и все. Мало кто из иностранцев и местных тузов, вынужденных временно пробавляться грубой и скудной пищей приисковых гостиниц, отказывался воздать должное изысканным обедам мистера де Морфэ.

И все же, невзирая на роскошный стол и обилие шампанского, некоторые золотопромышленники, знавшие Фриско еще до его поездки за границу, остерегались вести с ним дела. Зависть, несомненно, играла известную роль в их отношении к мистеру де Морфэ — они не могли простить ему, что он сумел добиться такого авторитета в финансовых кругах за границей. Волей-неволей им приходилось теперь считаться с ним. Мистер де Морфэ пользовался доверием весьма влиятельных кругов английских и французских вкладчиков, а для эксплуатации рудников нужен был капитал. Однако местные промышленники не забыли, что Фриско Джо в свое время был не особенно разборчив в средствах, когда дело шло о наживе.

Ходили тревожные слухи об истощении богатых окисленных руд в Лейк-Вью, Большом Боулдере и остальных боулдерских рудниках. Постоянное присутствие колчеданов на глубине от двухсот до трехсот футов не успокаивало директоров английских акционерных компаний. Они выписывали специалистов из Америки и Южной Африки для управления рудниками, но те, хотя и критиковали хищнические методы обработки руды, сами тоже не могли предложить ничего лучшего. Многие уже предсказывали неминуемый крах, когда на выручку пришли теллуриды.

Австралийский металлург Холройд опубликовал в 1896 году свое новое открытие — он нашел колчеданы, содержащие теллуристое золото,— а некто Октавиус Уоткинс заявил, что это открытие было сделано им, и притом еще год назад.

«Теллур полезен только для рекламы»,— говорили некоторые горе-знатоки. Но Модест Марианский, польский геолог, только улыбался, слыша такие утверждения, и сулил долгие годы процветания всякому прииску, богатому теллуридами.

Мистер де Морфэ держал сторону Марианского и с жаром рекламировал теллуристые руды. Наличие теллуридов, утверждал он, неизменно указывает на богатство породы, а вместе с тем были случаи, когда руды, которые могли бы дать 13—14 унций золота на тонну, выбрасывались в отвалы как не имеющие никакой ценности. Золотопромышленники понимали, что доклады мистера де Морфэ своим хозяевам могут оказать огромное влияние на судьбу прииска.

Короче говоря, мистер де Морфэ, несмотря на свои грешки в прошлом, сделался теперь персоной, с которой нельзя было не считаться.

Фриско чувствовал свою силу; в делах он был так же крут и беспощаден, как любой из иностранных спекулянтов, но при этом всегда лучше осведомлен и куда более дальновиден. Во время своей поездки за границу он побывал на приисках Аляски и Южной Африки и с удовлетворением убедился, говорил он, что в Западной Австралии больше золота, чем в любой другой части света. Он неуклонно продолжал скупать рудники, в которых залежи золотоносных пород начинали истощаться, и создавал акционерные компании для эксплуатации этих рудников новейшими методами: ставил ультрасовременное оборудование, приглашал новых управляющих и оставался глух к предсказаниям маловеров, кричавших, что приискам грозит крах.

Олф и Лора не раз получали приглашения от мистера де Морфэ, и он, в свою очередь, иногда наведывался к ним. Салли была несколько удивлена, что Фриско не пришел проведать ее. Однако Лора рассказала ей, что мистер де Морфэ постоянно с большой теплотой справляется о миссис Гауг и всякий раз просит передать ей привет.

Салли чуть-чуть приподняла бровь:

— В самом деле?

— Почему ты не любишь его, Салли? — с досадой воскликнула Лора.— Вы с Олфом точно сговорились. Можно подумать, что вы просто завидуете мистеру де Морфэ из-за того, что он так пошел в гору и научился держаться, как истый джентльмен.

Салли внимательно поглядела на подругу; едва приметная лукавая улыбка скользнула по ее губам.

— Что же, может быть и так,— сказала она.

Неужели Фриско опять явится сюда, думала Салли, и снова между ними начнется борьба? Впрочем, может быть, он и не придет. Уж верно, там, за границей, ему встретилось немало женщин, с которыми можно было завести интрижку. Среди друзей лорда Перси нашлись, конечно, молодые женщины, которые не остались равнодушны к такому блестящему и богатому поклоннику. Понятно, что мистер де Морфэ, совершенно так же как она, хочет забыть нелепый эпизод, о котором просто совестно вспоминать, твердила себе Салли, ибо проходил месяц за месяцем, а Фриско не делал никаких попыток увидеться с ней.

В то же время Салли постоянно слышала о нем то от миссис Моллой, то от Мари. Тереза рассказывала:

— Убей меня бог, не понимаю, что это вдруг нашло на Фриско: подкатывает к нашему домику в своей шикарной коляске,

кличет ребят и велит перво-наперво тащить целый ящик яблок из-под сиденья.— Фриско зашел в дом, посидел, выпил чашку чая, поболтал с миссис Моллой о прежних временах, расспросил, как поживает тот да как поживает этот.— Уж так любезничал, пуще прежнего,— заявила Тереза.

«А как здоровье миссис Гауг?» — спрашивает он, будто невзначай. Признаться вам, душечка, я ведь всегда примечала, как он поглядывал на вас, и, уж конечно, мне это было не по нутру. Ну, думаю, если ты опять хочешь приняться за старое, так я тебе сейчас докажу, что ты, голубчик, только зря время теряешь.

«Благодаря вам так и цветет,— говорю я ему.— Моррис-то ведь вернулся, и у них теперь свой дом».

«И даже, кажется, двое ребят?» — спрашивает он и смеется.

«Да и третий не заставит себя долго ждать»,— говорю.

— Ох, миссис Моллой! — Салли залилась румянцем, она была очень смущена и взволнована тем, что ее семейная жизнь подверглась такому обсуждению с Фриско.

— Нечего краснеть, голубка! — отрезала миссис Моллой.— Вот уже месяц, а то и больше, как всякому дураку видно, что вы брюхаты. И Тому, слава богу, уже год скоро...

— Все равно, это слишком уж часто,— возразила Салли.— Я совсем не хотела ребенка так скоро.

— Ну, моя дорогая, мы всегда хотим одного, а на деле получается совсем другое,— глубокомысленно изрекла миссис Моллой.

Мари тоже рассказывала Салли о Фриско, о том, что он по-прежнему слывет добрым малым в кругу своих старых друзей и неотразимым сердцеедом в кругу приисковых дам.

— Но что касается меня, дорогая,— рассмеялась Мари,— то я не принадлежу к числу его поклонниц. Тем не менее он очень мил. Приносит иногда Жану бутылочку хорошего вина и любит посидеть с нами, поболтать по-французски. Но что за язык, бог мой! Смесь французского с калгурлийским!

Мари уже стала заправской портнихой. Жены управляющих рудниками отдавали ей шить и переделывать свои платья, а заодно не прочь были и посплетничать, и, таким образом, она была в курсе всех скандальных слухов, которые ходили о Фриско и его многочисленных победах.

Большинство мужчин, как установила Мари, предостерегали своих жен против мистера де Морфэ, утверждая, что он авантюрист и прохвост. Но жены в ответ на это заявляли, что зато он самый красивый мужчина в городе, а если и прохвост, то на редкость обаятельный. Мало у кого из дам хватало духу отсылать обратно виноград или персики — особенно если эти фрукты появлялись у них в самую жару — и отклонять бесчисленные мелкие

услуги, которые Фриско умел оказывать с такой изысканной любезностью. В конце концов это весьма льстило женщинам, тем более что у их мужей не было ни времени, ни охоты окружать своих жен таким галантным вниманием. Золото, рудники и биржа — вот чем были заполнены все их дни и ночи. Предполагалось, что женщины должны жить интересами своих мужей и мириться с отсутствием удобств и однообразием приисковой жизни. Так оно, в сущности, и было, но все же некоторые из приисковых дам находили ухаживания мистера де Морфэ довольно приятным развлечением в их скучной супружеской жизни.

Одной из таких дам, к немалому удивлению Салли, была, как говорили, Лора; впрочем, Салли не хотела верить сплетням,— просто Лоре льстило, что знаменитый де Морфэ возит ее кататься и присылает ей фрукты и цветы.

Моррис говорил Салли, что Фриско не раз приглашал их к себе обедать, но он отказывался. Принимать покровительство мистера де Морфэ — нет уж, увольте! Моррис сказал ему, что Салли не может оставить детей, а он сам нигде без нее не бывает.

Фриско расхохотался, услышав это объяснение, и потащил Морриса в ресторан распить бутылочку; там он окончательно взбесил Морриса, представив его каким-то английским дельцам как «его высокородие Морриса Фитц-Моррис Гауга, более известного, впрочем, на приисках как Морри Гауг».

Моррис злился и говорил, что Фриско хотелось пустить иностранцам пыль в глаза — вот, дескать, какие у него аристократические знакомства,— а заодно и унизить Морриса, если бы тем вздумалось расспрашивать его, что он делает здесь в Калгурли.

Моррис уже давно старался не упоминать о своем происхождении, и выходка Фриско оскорбила его самолюбие. Салли почувствовала острую ненависть к Фриско.

Однако все это вылетело у нее из головы, когда однажды, открыв входную дверь, она увидела перед собой Фриско с корзиной фруктов в руках. Вид у него был веселый и наглый, как у нераскаявшегося блудного сына.

— Хэлло, Салли! — приветствовал ее Фриско.— Вот видите, я никак не мог устоять. По правде говоря, мне все время до смерти хотелось повидаться с вами. И ни разу не удалось поймать вас где-нибудь на улице, поглядеть на вас хоть краем глаза. Разрешите зайти на минутку поболтать с вами.

— Нет,— сказала Салли твердо.— Нам не о чем говорить, мистер де Морфэ.

— Не дурите, Салли.— Фриско слегка отстранил ее, вошел в комнату и поставил корзину с фруктами на стол.— Все будут удивлены, если я не нанесу вам визита, и пойдут судачить вкривь

и вкось. Я побывал у Брайрли и у Моллой, почему бы мне не зайти и к вам?

Салли с тревогой почувствовала, что Фриско, как прежде, подчиняет себе ее волю.

— Присядьте,— сказала она поспешно, делая попытку взять непринужденно-вежливый тон.— Какие чудесные фрукты! Это очень мило с вашей стороны. Моррис говорил мне, что вы, прямо как добрый волшебник, осыпаете людей дарами...

Фриско опустился в кресло; Салли присела к столу на простой деревянный стул с прямой спинкой.

— Не язвите, Салли,— сказал Фриско с кривой усмешкой.— Я говорил вам, что добьюсь, и — вот видите — добился, доказал вам, что могу, как говорится, залететь высоко. Но это не то, чего я хотел; и не так все вышло, как бы я хотел.

— Ну, нельзя сказать, чтобы вы не получали от этого удовлетворения.— Голос Салли звучал сухо и безразлично.

Фриско рассмеялся.

— Забавно, конечно, было дурачить всех этих важных болванов в их же собственной дурацкой игре. Я встретил Перси в Лондоне, и он начал вывозить меня в свет. Такой человек, как я, нужен был ему тогда до зарезу. Я нажил деньги на приисках, и у меня был опыт. Мы сообща начали выпускать акции двух-трех рудников, и Перси принялся распространять слух о том, что я якобы пропавший некогда без вести сын одного французского аристократа. Откопал какую-то историю, где фигурировала фамилия, похожая на мою, и вот теперь, насколько мне известно, я и ношу эту фамилию. Так, с приличной родословной и некоторым количеством денег в кармане, я был принят в высшем лондонском кругу. Что же мне еще оставалось делать, как не использовать свое положение? Ну, я, конечно, использовал, будьте покойны, и Перси тоже, и теперь мы приехали сюда как представители синдиката с капиталом в полмиллиона фунтов стерлингов.

— Что же вы намерены делать дальше? — спросила Салли.

— Скупить всю Золотую Милю! — весело воскликнул Фриско.— Хорошее название для рудников, выросших вокруг Боулдерского кряжа, на клочке этой богом забытой пустыни, не правда ли? Во всяком случае, это воспламенило воображение дельцов. Деньги так и сыплются в наш синдикат. Но, конечно, это между нами, моя дорогая! Пока мы только ведем переговоры, сделка еще не закончена, и нам невыгодно, чтобы о ней пошли толки.

Фриско продолжал болтать, доверчиво и непринужденно, словно ни минуты не сомневался в том, что его болтовня очень интересует Салли, и не делал никаких попыток перевести разговор на личные темы.

— Конечно, вы сами понимаете, Салли, что нам здесь, на приисках, тоже приходится плутовать иногда, но, черт возьми, все это детские забавы по сравнению с тем, как дурачат народ прожектёры английских компаний.

Когда я уезжал за границу, кое-кто из товарищей поручил мне продать там их участки. Ну, я, разумеется, обосновался в одном из шикарных лондонских отелей, напялил на себя все, что подобает,— цилиндр и лайковые перчатки,— и, прихватив с собой образцы самородков и чертежи, отправился в коляске на свидание к одному из тамошних воротил. Разложил перед ним свои экспонаты на куске бархата и без всякой проволочки продал Золотую Гроздь Уайтейкеру Райту за тридцать тысяч фунтов стерлингов.

Тут жулики и аферисты всех мастей набросились на меня, предлагая бешеные деньги за то, чтобы я разрекламировал в печати какое-то дутое месторождение. Одна фирма основала предприятие, купив клочок заросших кустарниками солончаков. Продавец просил за этот свой клочок четыре тысячи фунтов стерлингов и часть акций. Между нами говоря, вся эта ерунда не стоила и четырех шиллингов, но фирма пожелала, чтобы продавец поднял цену до десяти тысяч фунтов, дабы придать предприятию солидный вид и завлечь вкладчиков. И вы бы посмотрели, какие они выпустили проспекты! — с картой, на которой были изображены все рудники — и Большой Боулдер, и Белое Перо, и Хэннан, и Бейли — и все в одной куче, в то время как они отстоят друг от друга по меньшей мере на сорок пять миль. Я сказал этой банде жуликов, чтобы они проваливали ко всем чертям. На том дело и кончилось.

Перси познакомил меня со своими друзьями. У тех были деньги, и они хотели вложить их в предприятие, имеющее реальную ценность. Мы отправились в Париж. Неплохо провели там время — покутили вовсю, а заодно основали Парижский золотопромышленный синдикат и приехали сюда, чтобы скупить еще кое-какие месторождения.

В соседней комнате заплакал Том, Салли вышла, вынула его из колыбельки и вернулась на свое место с ребенком на руках. Потом проснулся Дик; растрепанный, заспанный, с разрумянившимися от сна щеками, он вбежал в комнату и бросился к матери.

Фриско вскочил, когда увидел Салли с Томом на руках и Дика, прижавшегося к ее коленям.

— Ну, теперь вы основательно забаррикадировались,— сказал он небрежно.— Вы больше не боитесь меня. Но только это ничего не меняет, Салли. Для меня вы по-прежнему единственная женщина, которая мне нужна.

С минуту он стоял, глядя на нее сверху вниз, глядя прямо в темную глубину ее зрачков, читая притаившуюся в них правду. И снова, как прежде, Салли почувствовала какой-то странный блуждающий огонек в крови, и Фриско это понял. В его взгляде был вызов и насмешка над ней — над ее верностью Моррису, над ее привязанностью к детям. Потом его взгляд потух; казалось, вспомнив, что она беременна, он отшатнулся от нее.

Он рассмеялся и направился к двери; он рассмеялся так, что вся кровь у Салли закипела. Как он смел! Нет, как он смел так смеяться!

Когда дверь за ним захлопнулась, Салли заплакала от обиды и горя. Как унизительно, что Фриско увидел ее такой наседкой, такой усталой и замученной!

Ну, конечно, он отвернулся от нее, она противна ему! И все же это непонятное томление снова возникло между ними, и на долю Фриско выпала минута торжества, а на долю Салли — воспоминание о том, как он смеялся, уходя,— воспоминание, от которого она вся съеживалась, словно под ударом хлыста.

ГЛАВА XLVI

Салли родила своего третьего сына в начале декабря. Моррис настаивал, чтобы она поехала на побережье, и Мари Робийяр бралась присмотреть за Диком и Томом. Но когда пришла пора уезжать, у Дика начался понос, особенно опасный в летнее время, и никакая сила на свете не могла заставить Салли покинуть его.

— Раз я не могу взять с собой детей — значит, не о чем и толковать,— заявила она упрямо.

Лето пало на приск, неся испепеляющую жару, горячие ветры, смерчи красной пыли. Салли, отяжелевшая, неуклюжая, маялась в хлопотах по дому. Никогда еще не была она такой раздражительной и беспокойной, как перед рождением Ларри.

— Последний раз в жизни! — в полном отчаянии объявила она Мари.

— Что с тобой, Салли? — увещевала ее Мари.— По-моему, ты такая счастливица. У меня вот совсем не может быть детей, а я хотела бы иметь их целую дюжину.

— Ну да, тебе хорошо говорить,— рассердилась Салли.— А вот попробуй-ка рожать из году в год! Я уже сказала Моррису, что с меня хватит — на первое время, во всяком случае.

— Если бы ты была китаянкой, ты бы, вероятно, нашла наложницу своему мужу,— рассмеялась Мари.— Но что касается

меня, я бы не слишком была счастлива при таком положении вещей.

— Почему это женщина всегда должна считаться с мужской природой? — спросила Салли сердито.— Одно дело, когда ты сама идешь навстречу и хочешь иметь ребенка. Ну а если нет? Если у тебя и так двое-трое ребят? Я считаю, что это нечестно со стороны мужчин — пользоваться своими супружескими правами и так... так подавлять женщину.

Мари видела, что в Салли происходит какой-то душевный разлад. Мари и Салли очень любили друг друга, но обе были сдержанны и не часто говорили по душам. Мари невольно подумала о том, что господин де Морфэ имеет, пожалуй, некоторое отношение к нервозному состоянию ее подруги.

Мари знала, что, когда Моррис был на севере, о миссис Гауг и Фриско шли какие-то толки. Они доходили и до Мари, но она не могла поверить, чтобы Салли изменила Моррису. Однако очень может быть, что ухаживания Фриско произвели некоторое впечатление на Салли. Сама Мари никогда не придавала значения любезностям, которые нашептывал ей Фриско, и его многозначительным взглядам. Но ведь и он волочился за ней больше в шутку, в то время как в его отношении к Салли всегда проскальзывало нечто совсем иное, непохожее на его обычные заигрывания с женщинами, и Мари это чувствовала. Она разгадала, думалось ей, почему так теплел у Фриско взгляд, когда он говорил о миссис Гауг или слышал ее имя.

И Салли, размышляла Мари, хотя и привязана к Моррису и помнит свой долг, не осталась все же равнодушной к господину де Морфэ. Она, как та женщина из старой легенды: день и ночь ей слышится голос демона-обольстителя, желание уйти к нему обуревает ее, но она печет хлеб, варит пиво и рожает детей своему мужу.

Мари хотелось, чтобы ее дорогая Салли не была столь простодушна. Ведь она так наивна и кротка, несмотря на свой удивительный здравый смысл, и стойкость, и мужество. Ее душевная чистота и неопытность делают ее беззащитной перед Фриско, как голубку, попавшую в силок хладнокровного охотника. Мари хотелось излечить Салли от всяких нежных чувств к господину де Морфэ, и она старалась, как могла: высмеивала его бесчисленные романы, его нелепое бахвальство и невесть откуда взявшееся величие.

Участие и заботы Мари облегчили Салли последние тягостные дни перед рождением ребенка. Появилась, как всегда, и Калгурла и взяла на себя хлопоты по дому. Миссис Моллой, само собой разумеется, присутствовала при родах. Мари стряпала для

постояльцев и шумно радовалась, глядя на малыша, лежавшего у материнской груди.

К этому, младшему из своих сыновей Моррис проявлял куда больше интереса, чем к своим старшим детям; сам выбрал ему имя — Лоуренс — и пожелал, чтобы сокращенно его звали Ларри, потому что так звали старшего брата Морриса. Салли же говорила, что она так привыкла рожать детей, что для нее это уже не событие. Она только радовалась тому, что все тяготы и мученья позади и скоро она встанет с постели и опять будет бегать по дому.

Дик все еще хворал, и Салли беспокоилась о нем больше, чем о новорожденном. Она сама кормила Ларри, и он, по словам миссис Моллой, был парень хоть куда, здоровяк, но Том был еще лучше, когда родился. Том вообще был любимцем миссис Моллой, и она никогда не упускала случая напомнить об этом Салли — быть может, потому, что Салли слишком уже была поглощена Диком, и Терезе Моллой казалось, что Тому не уделяют достаточно внимания.

Моррис по-прежнему ворчал и брюзжал по адресу постояльцев. Салли совсем извелась, стирая и стряпая на такую ораву, говорил он, и вообще эта игра не стоит свеч. На это Салли отвечала, что, конечно, было бы чудесно, если бы в доме не было посторонних, но придется все же потерпеть до тех пор, пока похоронное бюро начнет приносить твердый доход. Пока еще Моррис не в состоянии был оплачивать все домашние расходы, а кроме того, Салли помнила, что она в долгу перед Динни.

Сначала Моррис каждую неделю приносил Салли два-три фунта стерлингов. Но потом стал все чаще и чаще нарушать это обыкновение. Иной раз забывал, иной раз ссылался на то, что у него на этой неделе были очень большие расходы; опять заказчик не заплатил за похороны, а у него самого куча неоплаченных счетов!

Однако Салли узнала, что Моррис далеко не все вечера работает у себя в мастерской, как она думала, и частенько играет в покер в «Звезде Запада». Кроме того, его, по-видимому, крепко ударило по карману последнее падение акций на бирже.

Моррис сказал, что урок пошел ему на пользу: больше он уже не будет покупать акции очертя голову. Но ведь как было не попасться на удочку? Акции рудников так пошли в гору — казалось, можно зашибить кучу денег. Кто мог подумать, что слухи об истощении окисленных руд распространяются с такой дьявольской быстротой и произведут такой переполох на бирже?

Салли очень хорошо понимала, как велик соблазн попытать счастья на бирже или на аукционе, когда весь город спекулирует на акциях. Но она должна думать о детях, она не может в расчете

на удачу отказываться от единственного верного способа прокормить их — риск слишком велик. Нет, нет, нельзя полагаться на Морриса, говорила себе Салли, нужно держать постояльцев, пока его положение не станет более прочным.

Былая энергия и хорошее расположение духа снова вернулись к ней, и она живо прибрала детей к рукам и навела в доме порядок.

— Ты просто колдунья, дорогая! — восклицала Мари.— Понять не могу, как это ты ухитряешься справляться со всем на свете.

— А я и сама не понимаю,— отвечала Салли.

Порой ребята, точно сговорившись, принимались галдеть все зараз, и именно в ту минуту, когда у Салли и без того была уйма хлопот. Или же внезапно налетал ураган, срывал с веревок белье и швырял его в пыль, на землю. Иной раз не успевала Салли кончить уборку, как все в доме уже было засыпано густым слоем красной пыли. Впрочем, Салли говорила, что легко справляется с хозяйством, когда ей помогает Калгурла. Калгурла стирала и гладила, скребла полы и мыла посуду. Салли со страхом ждала первых дождей — она уже знала наперед, что, как только пойдут дожди, Калгурла исчезнет и ей придется справляться со всеми делами одной.

Открытие железной дороги привело к бурному росту населения Калгурли, и недостаток воды ощущался теперь еще острее, чем прежде.

Но вот в город по поручению правительства прибыл инженер О'Коннор, и Салли уже мечтала о том, что «реки чистой воды потекут через прииск», как обещал премьер сэр Джон Форрест.

С ростом населения в городе участились пожары, усилилась эпидемия тифа. Больница была переполнена тифозными больными, а пожары стали обычным явлением, и звук набата — постоянным кошмаром летних ночей. Целые кварталы жилых домов и магазинов выгорали дотла. Воды не хватало, чтобы заливать огонь, и случайно опрокинутая керосиновая лампа не раз оставляла без крова целые семьи, причиняла огромные убытки лавочникам. Жители требовали проведения в городе электричества, дабы положить конец «керосиновым бедствиям».

Только на главных улицах тускло мерцали редкие фонари, и освещение города и пригородных дорог становилось самой неотложной задачей. На Боулдерском шоссе грабили и душили людей, и все говорили, что это дело рук тех проходимцев и бродяг, которые с открытием железной дороги толпами начали стекаться в город. Однако мероприятия по благоустройству города откладывались со дня на день; причиной тому были тревожные слухи, рас-

пространявшиеся о рудниках Золотой Мили. Упорно говорили, что золото в этих рудниках обманчиво, что оно то появляется, то исчезает самым таинственным образом, уступая место бедным малоценным рудам. Акции падали, но оптимисты тем не менее не сдавались. Те, кто знал прииск, никак не могли поверить, что все радужные надежды на процветание Калгурли могли лопнуть, как мыльный пузырь.

Мистер де Морфэ считал такую мысль просто смехотворной. Он заявил, что золота на прииске и сейчас еще непочатый край. Теллуристые руды служили залогом будущего расцвета.

Сидя на веранде тихими душными вечерами, Салли и Мари болтали, перебирая все, что случилось за день. Динни был на разведке где-то за Кэноуной, и им обеим очень его не хватало. Вот уж у кого всегда имелась какая-нибудь интересная история про запас.

Когда Динни бывал дома, кто-нибудь из старателей непременно забегал повидаться с ним, и тогда Салли и Мари узнавали разные разности о том, что делается на приисках. Саллины постояльцы — рудокопы — были тихие, скромные парни; они с зарей уходили на работу, возвращались поздно и редко попадались на глаза. Но если Динни появлялся на веранде, они тоже присаживались там, чтобы поболтать с ним. В другое же время их почти не было видно — должно быть, они понимали, что этим лучше всего могут угодить Моррису.

Несколько дней назад они с возмущением рассказали о том, как на Большом Боулдере погибли двое их товарищей. В забое, где они работали, на глубине ста футов под землей, не было сделано необходимого крепления. Тонны земли обрушились на них, и оба были убиты.

— Люди стоят дешево,— мрачно заметил Пит Мак-Кей,— дешевле, чем крепежный лес.

А вскоре после этого еще пять человек были убиты взрывом на Северном. Мари всякий раз дрожала от страха, заслышав пронзительный гудок, возвещавший о катастрофе на рудниках. Жан все еще продолжал работать под землей, хотя кашель бил его с каждым днем все сильней, и Мари взяла с него слово, что, если только ему удастся устроиться с нового года на другую работу, он никогда больше не пойдет в забой.

Кому из жен рудокопов не было знакомо это щемящее чувство страха, заползавшее в сердце всякий раз, как гудок доносил с рудников весть о несчастном случае? Заслышав гудок, женщины бросались к воротам и с тревогой глядели на дорогу, на которой должна была показаться карета «скорой помощи». Замирая от страха, каждая из них ждала, что вот сейчас карета остановится

у ее дома или товарищи мужа придут сообщить ей страшную весть.

Несчастные случаи на рудниках были как бы неотъемлемой частью повседневной жизни приисков. Они отбрасывали мрачную тень на все беседы, хотя женщины избегали упоминать о них, когда собирались вместе, чтобы поболтать и обменяться новостями.

В начале года немало толков вызвало убийство Мэй Уэйн. По обвинению в убийстве был арестован Джим Коннелли. Салли помнила его — он ходил к ней обедать одно время,— и ей казалось невероятным, чтобы Джим мог намеренно убить женщину.

Джим Коннелли хороший парень, добряк, говорили о нем старатели. Ну, правда, любит похвастать — какой он, дескать, меткий стрелок. Не раз случалось ему палить из револьвера, чтобы показать, как он бьет муху на лету. Мэй Уэйн держала нечто вроде павильончика с разными прохладительными напитками на Девяностой Миле. Джим и Роб Рейд были уже навеселе, когда завернули к ней как-то днем в субботу. Там они затеяли перебранку с афганцами. Афганцы нипочем не хотели отвести в сторону своих верблюдов, и Джим выстрелил раза два в воздух, чтобы заставить их убраться с дороги, а в эту минуту Мэй как раз появилась на пороге, и одна из пуль угодила прямо в нее. Все радовались, когда Джима оправдали, но он сам не захотел остаться на приисках. Хоть он и не нарочно застрелил Мэй, а все-таки, видно, совесть его мучила.

Вот когда в мечети в Кулгарди убили Таг Магомета, богатого купца-афганца, это было дело совсем другого сорта — хладнокровное, преднамеренное убийство. Таг Магомета заколол другой афганец рано поутру, когда он преклонил колени для молитвы. За что он его прикончил, так и не могли дознаться. Гоулам Магомет нисколько и не скрывал, что это его рук дело, и встретил смерть с гордо поднятой головой, как человек, отомстивший за свою честь.

Потом умер Хаджи Мула Мирбон, старик без малого ста лет, который был у афганцев чем-то вроде их религиозного вождя, и они собрались на его похороны со всех концов страны.

Почти в то же время происходили похороны одной японки-проститутки. Салли с удивлением наблюдала похоронную процессию, которая двигалась по пыльной дороге по направлению к кладбищу; гроб был ярко разукрашен, и японки в пестрых кимоно следовали за ним, как стая разноцветных бабочек. Моррис сказал, что покойницу нарядили, словно на бал: нарумянили, надели на нее лучшее платье и все ее украшения. Подруги провожали ее в могилу с пронзительным пением, под звон серебряных колокольчиков и пиликанье скрипок.

Вот оно — последнее напутствие, думала Салли. Завершение всей жизни — жалкой, убогой жизни, которую они влачат в домах терпимости позади главной улицы. Девушка-японка была убита в драке. Все началось с того, что француз — хозяин трех японок-проституток, которых он держал в лачуге на одном из отдаленных приисков,— повысил плату за посещение этого притона.

Друзья девушки перенесли ее тело в Кулгарди и похоронили по национальному обряду.

Но все эти зловещие события, говорившие о какой-то закулисной, полускрытой от взоров, стороне жизни общества, проходили, не оставляя после себя глубокого следа. Будущее рудников и судьба города — вот что занимало все умы, и уныние росло. Немало состоятельных людей, привыкших проводить жаркие месяцы у моря, не поехало в этом году на побережье: одни боялись оставить свои дела, другие были стеснены в средствах.

Лора говорила, что Олф обещал поехать с ней к морю, но теперь раздумал, решил не уезжать из Калгурли; состояние дел на руднике беспокоило его. Ехать без Олфа Лора не пожелала и ограничилась тем, что отправила на два месяца на юг Эми.

Глядя на Боулдерский кряж, Салли нередко задумывалась над тем, какую власть имеют рудники над жизнью людей. Неясные контуры копров и надшахтных строений расплывались в знойном мареве. Салли смотрела на открытые выработки, сараи для машин, рудодробилки, приземистые конторские здания, крытые гофрированным железом, прилепившиеся к голой красной земле. Крез, Мидас, Железный Герцог, Гайнаулт, Калгурли, Австралия, Большой Боулдер, Объединенный, Упорный, Айвенго, Золотая Подкова, Лейк-Вью и Звезда. В них было что-то колдовское — в этих названиях. Это они создали Калгурли! Словно огромные допотопные чудовища, расползлись рудники по склону хребта; они зарываются под землю, выплевывают руду, дробят ее, крошат, добывают золото. Золото! Оно приносит богатство владельцам рудников и ничего не дает тем, кто глубоко под землей, в темных тесных забоях, добывает его кайлом.

Просто удивительно! — думала Салли. В угоду этим рудникам выросли и раскинулись по равнине у подножия хребта город Калгурли и новый поселок Боулдер. Тонны золота выбрасывают рудники, на миллионы фунтов стерлингов. А те, кто своими руками добывает все это богатство, дающее людям неограниченную власть,— в каких роскошных зданиях должны бы они жить, в каких прекрасных городах! Но только лес копров да унылые покосившиеся лачуги указывали на то, что здесь, под землей, скрыты сокровища. Казалось, какой-то затравленной нуждой неудачник

сколотил эти хибарки наспех, зная, что первый же ураган может смести их с лица земли, но надеясь на авось.

Рудники были центром, вокруг которого кипела жизнь города Калгурли. Существование тысяч людей зависело от той опасной, изнурительной работы, которая происходила под землей. Впрочем, добыча россыпного золота по-прежнему немало содействовала благосостоянию города. Право старателей на разработку россыпей давно уже стало поперек горла владельцам рудников, и по мере того как слухи об истощении богатых руд в некоторых крупных рудниках становились все упорней, старателям все чаще приходилось выступать на защиту своих прав.

Когда приисковый инспектор Хейр вынес решение, что управляющий рудником Айвенго имел право запретить старателям столбить на отводе участки под россыпное золото, старатели созвали митинг протеста. Страх перед надвигающимся кризисом заставлял рудокопов и старателей особенно настороженно относиться ко всяким посягательствам на их старательские права.

Но с приближением рождественских праздников мрачные предчувствия были на время забыты. Все предвкушали наступление двух-трех веселых праздничных дней. По традиции, установившейся с первого празднования рождества в Кулгарди, население прииска из года в год веселилось в эти дни напропалую: устраивались большие спортивные состязания, в ресторанах все угощали друг друга, вино лилось рекой, и праздник заканчивался общественным балом, на котором плясали всю ночь напролет, а под утро выходили плясать на улицу.

Салли так захлопоталась, стряпая пироги, пудинги и прочие праздничные угощенья на всех мужчин, столовавшихся у нее, что ей, казалось, и подумать некогда было ни о чем другом. И все же нет-нет да и мелькнет беспокойная мысль: а что, если в самом деле кризис обрушится на Калгурли? И что же это будет, если у старателей отнимут их права на россыпное золото?

ГЛАВА XLVII

Один-два раза в неделю Мари удавалось уговорить Салли отлучиться на часок из дому, оставив ребятишек на попечение Калгурлы.

Подруги отправлялись в город — посмотреть, не привезли ли поездом с побережья свежих овощей и фруктов. Эти прогулки были целым событием для Салли и Мари. Принарядившись, подруги пускались в путь в длинных белых накрахмаленных платьях, аккуратно стянутых в талии цветным кушаком, и крошечных

пестрых шляпках, посаженных на самую макушку. Эти шляпки были в моде еще в тот год, когда Салли и Мари впервые приехали в Калгурли. Нитяные перчатки и зонтик дополняли туалет, а плетеные кошелки должны были свидетельствовать о том, что их обладательницы — вполне солидные молодые матроны, несмотря на свой девический вид. Салли и Мари обычно уже заранее предвкушали, как приятно будет после пыльной, утомительной дороги выпить стакан холодного лимонада в одной из фруктовых лавчонок; это всегда было самым захватывающим моментом в их путешествии.

В тот день, когда Салли и Мари отправились в город за праздничными покупками, Фриско в элегантной коляске, запряженной рысаками, прокатил мимо них по дороге на рудник. Рядом с Фриско сидел тучный иностранец в легком чесучовом костюме и черном цилиндре.

— Это, кажется, месье Малон — французский миллионер,— сказала Мари.— Мистер де Морфэ говорил на днях Жану, что Малон должен приехать в Калгурли для осмотра рудников, которые Морфэ покупает для Парижского золотопромышленного синдиката. А ты знаешь, моя дорогая, на ком он женат, этот богач Малон?

Салли не имела об этом ни малейшего представления, и Мари продолжала болтать:

— Вообрази — на Лили! Ты помнишь Лили? Это одна из девушек мадам Марсель — та, которая пела, помнишь, когда мы у них были.

Салли улыбнулась.

— Хорошо, что Моррис и Жан ничего не знают об этом. Нам просто повезло.

— О да! — в глазах Мари заплясали лукавые искорки.— Это так неприлично! Бедняжка Лора была ужасно шокирована. А мне, знаешь ли, приятно было поговорить с мадам и с Лили. Ведь если ничего не знать, так нельзя даже догадаться, что они непорядочные, правда, Салли?

— Конечно!

— Интересно, что сталось с остальными девушками,— задумчиво продолжала Мари.— Мадам Марсель обещала найти им всем хороших мужей.

— Кто-то говорил мне, что Лили уехала с Фриско,— сказала Салли.

— Да, я слышала.— Мари бросила на Салли лукаво-сочувственный взгляд.— Только ты должна говорить теперь — «с мистером де Морфэ», дорогая. Если Лили стала мадам Малон, ей здорово повезло. Подумать только, чтобы во французской бур-

жуазной семье мог произойти подобный брак! А знаешь, мы, пожалуй, встретим Лили на вечере у мистера де Морфэ. Забавно! Хотела бы я поглядеть, как некоторые из наших важных дам будут раскланиваться с мадам Малон!

Фриско собирался дать новогодний бал. Для всех друзей — без различия их занятий и положения в обществе. Словом, в духе лучших старых традиций приисков, сказал он. Фриско особенно настаивал на том, чтобы все старожилы прииска посетили его бал, и Моррис пообещал прийти и привести Салли. Олф и Лора, Робийяры и чета Моллой — все собирались к Фриско на бал, и Мари взялась переделать свое и Саллино старые вечерние платья, так как о новых не могло быть и речи. Мари даже мысли не допускала, что она и Салли могут ударить в грязь лицом перед фешенебельными друзьями Фриско, которых, вероятно, будет на балу немало.

Когда Салли и Мари, обогнув новое внушительное здание гостиницы «Палас», свернули на Хэннанскую улицу, у подъезда гостиницы остановилась щегольская коляска, и из нее вышла молодая женщина. Пораженные ослепительным зрелищем голубых газовых юбок и голубого страусового пера, ниспадающего с крошечной голубой шляпки, Мари и Салли приостановились, и у Мари невольно вырвалось удивленное восклицание. Хорошенькое личико, выглядывавшее из голубого облака, засияло улыбкой при виде Мари и Салли, и голубое видение бросилось к ним навстречу.

— Да ведь это вы, дорогая мадам Робийяр! И вы, миссис Гауг! Ах, как я рада! Это я, Лили! Ну да, да! Вы помните меня? Я ведь теперь мадам Малон, и у меня такой большой, толстый муж — толстый, как боров, но очень богатый и добрый. Ma foi, это просто чудо, как все это произошло. Вы знаете, мы только что приехали — покупать золотые рудники. Какая чудовищная жара! Я уже совсем забыла, что здесь, на приисках, так печет. Пойдемте ко мне, выпьем чего-нибудь. Пойдемте, пойдемте, я расскажу вам, как я сделалась мадам Поль Малон!

Невозможно было противиться такому бурному изъявлению радости, обрушившемуся на них, словно циклон. Мари и Салли не успели опомниться, как уже поднимались по лестнице вслед за развевающимися голубыми юбками и колышущимся голубым пером, и через несколько секунд очутились в будуаре Лили, в отведенных ей в гостинице апартаментах. Лили бросилась в кресло, продолжая весело щебетать, но тут же вскочила, вспомнив, что забыла заказать шампанское, и выбежала в коридор позвать официанта Чарли.

Разумеется, в этой новой ультрасовременной гостинице были звонки, и Лили то дергала за шнурок, то выбегала в коридор,

пока старик официант в грязной белой рубахе, выпущенной поверх весьма засаленных черных фрачных панталон, не появился в номере с подносом в руках, на котором стояла бутылка шампанского и несколько бокалов. По всему видно было, что он уже не раз и не два утолял жажду — что, впрочем, можно было простить в такой знойный день — и, откупоривая бутылку, пролил половину вина на ковер.

Лили приказала подать вторую бутылку, и официант ушел, ворча что-то по адресу капризных постояльцев и крутых лестниц. Лили сбросила шляпку, чокнулась с гостьями и тут же принялась рассказывать им свои приключения, начиная с того дня, когда она покинула прииски вместе с Фриско. Она обращалась к Салли и Мари как к старым друзьям, которые, без сомнения, жаждут услышать подробности.

Салли и Мари успевали только время от времени издавать неопределенные восклицания; но большего от них и не требовалось, ибо Лили трещала не умолкая.

— Ах, нет же, нет! — мелодраматически восклицала она.— Я ведь не поехала в Париж с Фриско, как все здесь воображают. Правда, он уладил дело с мадам, чтобы она меня отпустила, и я уехала с приисков вместе с ним. Но потом, в Перте, мы страшно повздорили, и Фриско отправился куда-то на своем излюбленном паруснике. Но мне вовсе не хотелось путешествовать на этой старой грязной посудине, и я взяла себе билет на почтовый пароход. Понятно, Фриско выписал мне чек, но совсем не такой, как я ожидала. Скуповат он, этот Фриско, скупой, как черт! Но на пароходе было очень весело, о да, и я даже влюбилась в помощника капитана. Он был такой молоденький, такой хорошенький — в белом кителе с золотыми пуговицами! Ах, как я плакала, когда мы прощались с ним в Марселе!

Салли осторожно, маленькими глотками пила шампанское. Оно было холодное и приятно утоляло жажду. В номере царили полумрак и прохлада; спущенные шторы почти не пропускали солнца. Салли казалось, что она перенеслась в какой-то другой мир, и все — и голая, красная, пышущая жаром земля, и когда-то белые, а теперь побуревшие от пыли дома этого приискового города, который в дыму и чаду плавился под солнцем там за шторами,— отодвинулось, уплыло куда-то далеко-далеко.

Салли сидела в большом мягком кресле. От разбросанных повсюду платьев мадам Малон исходил приторный аромат мускуса и роз. Веселый, звонкий голосок Лили продолжал свою повесть. Она рассказывала о том, как встретила в Париже одного своего старого друга и некоторое время жила с ним. Он помог ей устроиться певичкой в кафешантан.

За дверью послышались женские голоса, шелест накрахмаленных юбок, и Белл, Берта и Нина влетели в комнату. Лили бросилась к Берте, и та прижала ее к своей пышной груди. Лили целовала и душила в объятиях всех девушек по очереди, и все смеялись, щебетали и взвизгивали от восторга.

Салли и Мари пришли в некоторое замешательство при появлении этих новых гостей, но старались держаться дружелюбно и непринужденно.

— О, мадам Робийяр! Миссис Гауг! Как приятно опять встретиться с вами! — любезно приветствовала их Белл.— Да еще в такой день! Мы пришли поздравить Лили и отпраздновать с ней ее удачу.

Лили уже опять изо всех сил звонила в колокольчик и призывала Чарли. Она заказала еще шампанского и принялась рассказывать девушкам, как она встретила на улице мадам Робийяр и миссис Гауг, и какая это была радость, и как она притащила их сюда, чтобы угостить стаканом вина и рассказать им свои приключения, в результате которых она теперь мадам Поль Малон и такая страшно респектабельная особа, enfin.

— Расскажи, расскажи нам тоже, Лили,— закричали Белл и Нина.

И Лили начала все сначала.

— И вот как-то раз вечером, в кафе,— рассказывала Лили,— я встретила Фриско и отвела душу — выложила ему все про эту свинью Риваля и про то, как я несчастна. «На черта тебе этот Риваль! Брось его»,— сказал Фриско. Ну, я так и сделала, и Фриско открыл мне, какими он ворочает делами и как я могу ему помочь, если уговорю одного толстосума вложить деньги в Золотопромышленный синдикат.

— А ты не встречала в Париже мадам? — перебила ее Белл.

— Мадам Марсель? — Лили звонко расхохоталась.— Как же! Только она теперь мадам д'Онэй, сами понимаете! Страшно набожная и не тронь меня! Вдова врача, который умер, увы, бедняжка, в этой ужасной Австралии, но успел все же неплохо заработать на золоте перед смертью и оставил своей верной Матильде приличный капиталец.

Берта и Нина смеялись, но Белл вскипела.

— Старая сука! — вскричала она, забывшись.— Она знала, как я хочу иметь свой дом, и обещала уступить мне перед отъездом свою хибарку. А потом продала ее у нас за спиной да и нас самих хотела переуступить этому проклятому итальяшке, которого уже судили как-то раз, когда он купил какую-то девушку за шестьдесят пять фунтов. Но Нина и Берта ушли со мной, и мы теперь работаем вместе. Только времена уже не те, знаешь, Лили, у пар-

ней нет того размаха, как раньше. А сколько разных жуликов и бандитов развелось сейчас на приисках, если бы ты только знала!

— Но Арчи Мэллисон по-прежнему утверждает, что Белл самая красивая женщина в городе,— лукаво заметила Нина.

— Заткнись,— проворчала Белл.— У Арчи жена и дети, и я вовсе не хочу, чтобы обо мне и моем доме ходили какие-нибудь скандальные сплетни.— Она беспокойно переводила взгляд с Мари на Салли.

— Ну, здесь все друзья, Белл,— прощебетала Лили.— Мы тебя не выдадим.

— И как же твой толстосум, Лили? Выложил он Фриско денежки? — спросила Нина.

— О да! — воскликнула Лили беспечно.— Фриско привез господина Малона в «Птит фоли», где я танцевала и пела. Как он смеялся, этот господин Малон! Он стал приходить туда каждый вечер; сидел и смеялся и ухаживал за мной. Я иногда целовала его в лысину и говорила, что обожаю его, потому что он такой симпатичный толстяк и сердце у него из чистого золота. А он говорил мне, что он очень одинок, с тех пор как умерла его жена. Короче, для Лили снимается квартира — о да, вполне элегантный особнячок,— а Фриско получает то, что ему было нужно, так как месье Малон вкладывает деньги в Парижский золотопромышленный синдикат.

Лили передохнула и снова наполнила бокал.

— Voyons, мы забыли про вино! — вскричала она.— Давайте ваши бокалы, mes chères! — И затараторила дальше:

— Ну, теперь представьте, мой Поль начинает беситься от ревности. Требует, чтобы я перестала петь и танцевать в кафе-шантане. Я заявляю ему, что этому не бывать — сегодня я брошу работу, а завтра он бросит меня, и что тогда? Черт возьми, моя песенка имела бешеный успех! В ней говорилось о маленьком индюшонке, который попадает на ферму и амурничает с дамами, то бишь с курицами, на птичьем дворе. Немножко рискованная штучка, но очень забавная. Я изображала этого индюшонка. На мне был только пояс из перьев и очень большой пышный хвост. Постойте, я сейчас спою вам.

Лили мгновенно сбросила с себя платье, нижнюю юбку и кружевные панталоны и заявила торжествующе:

— Эта песенка доконала моего бедного Поля. Он был enragé, просто вне себя. «Я женюсь на тебе,— сказал он,— и отныне ты будешь петь и плясать только для меня, моя крошка».— «Ну что ж, охотно, песик»,— сказала я. И вот я мадам Малон! Семейство Малон совершенно взбесилось. Но это не имеет значения — мой Поль сам себе хозяин. Он никогда еще не был так счастлив,

как теперь, говорит он, и рассказывает об этом всем и каждому. И он пользуется своим счастьем вовсю, sacrebleu!

Лили стояла перед ними в розовом парчовом корсете, туфлях на высоких каблуках и шелковых чулках с круглыми подвязками. Не долго думая, она сорвала со своей шляпки перо и воткнула его сзади в шнуровку корсета. Она пела и плясала, а голубое перо соблазнительно раскачивалось над ее пышными ягодицами. Лили вертелась и прыгала, с задорной шаловливостью демонстрируя подругам все те ужимки и фокусы, которые покорили сердце завсегдатаев кафешантана «Птит фоли» и господина Поля Малона.

Все присутствовавшие при этом представлении хохотали чуть ли не до истерики. Белл и Нина, обессилев от смеха, беспомощно взвизгивали. Мари смеялась так, что слезы ручьем текли у нее по щекам, и Салли смеялась тоже, сама не зная чему; она не поняла ни слова из французской песенки, которую пела Лили, но ей казалось, что она никогда в жизни не слышала ничего смешнее. Она слегка опьянела, и ей было так весело и легко на душе, что она не могла не смеяться. Прыжки Лили тоже казались ей самой забавной вещью на свете.

Белл боялась, что ее хватит удар: ее большие голубые глаза вылезали из орбит, толстые щеки пылали; она, задыхаясь, ловила воздух широко открытым ртом и наконец простонала:

— Лили! Уймись! Ты меня уморишь!

А Нина кричала:

— А помнишь, как ты плясала канкан у мадам Марсель, Лили?

Лили, мокрая от пота, задыхаясь, упала на стул. Еще шампанского! Она снова принялась звонить и кликать Чарли. Но Мари нашла, что они с Салли засиделись в гостях. Пора идти. Она бросила Салли выразительный взгляд, и они поднялись, думая про себя, что, кажется, хватили лишнего и не совсем твердо стоят на ногах.

— Как? Неужели вы уходите? — запротестовала Лили.— Скоро придет Поль — вы должны пообедать с нами.

Мари благодарила Лили и просила извинить ее и миссис Гауг: они очаровательно провели время, но теперь, к сожалению, пора идти — нужно еще успеть приготовить обед. Они и так уже запоздали. Дома их ждут сердитые мужчины и голодные ребятишки, которые будут кричать, что их заморили голодом. Словом, скандал!

Лили звонко расцеловала их на прощанье. О нет, нет! Она никак не хочет быть причиной домашних свар. Но они должны пообещать ей, что как-нибудь на днях заберут с собой своих мужей и детишек и придут пообедать с ней и с Полем. Салли и Мари выскользнули наконец из ее объятий и направились к двери.

Они отыскали лестницу и спустились вниз, держась друг за друга; проходя через вестибюль, они старались шагать как можно тверже и не глядели по сторонам, из опасения встретить кого-нибудь из знакомых.

Выйдя на залитую солнцем улицу, Салли и Мари направились домой, шагая не вполне твердо, но с большим достоинством. И только отойдя на безопасное расстояние от последних лавчонок предместья и убедившись, что кругом уже не видно прохожих, они принялись смеяться над своим состоянием и вспоминать пережитое ими приключение.

— О, Іа, Іа! — воскликнула Мари.— Жизнь не так уж бесцветна у нас на приисках, как ты думаешь, Салли? Правду говорит мистер де Морфэ: «Здесь все может случиться». И вот мы с тобой попали на утреннее представление в кафешантане!

ГЛАВА XLVIII

Тот, кто побывал на новогоднем балу у Фриско, долго не мог забыть этот бал. Когда-то, в первую пору существования приисков, вход на такие новогодние сборища был открыт для каждого и веселье было шумным и беззаботным. Все предрассудки и условности забывались на этих непринужденных пирушках, и рудокопы и старатели, лавочники и трактирщики, их жены и дочери, официантки из баров и даже заезжие богачи веселились напропалую. Самый дух приисков в те времена был таков, что рушил все социальные перегородки, говорили старожилы, вспоминая те дни.

Не потому ли, что рудокопы и старатели сами тогда создавали и творили приисковый закон — неписаный закон, которому подчинялось все в этих затерянных в глуши, отрезанных от мира золотоискательских поселках? И богатые иностранцы, и промышленные магнаты, и родовитые аристократы, забредшие сюда в погоне за золотом, знали это; знали, что они целиком зависят от доброй воли рабочих и старателей. И они охотно сближались с этими людьми, которые умели прокладывать себе путь среди бескрайних сухих кустарников, уходивших во всех направлениях за горизонт, и открывать золото среди голых скал и красных безводных холмов, за сотни миль от человеческого жилья.

Золото было богом, которому поклонялся каждый. Тому, кто нашел золото, прощались и грубые манеры, и низкое происхождение. Простой старатель сегодня, он мог завтра стать богачом с тысячами фунтов стерлингов в кармане, сорить деньгами и лить шампанское, как воду... впрочем, нет, только не как воду: вода

была на вес золота в этой стране, где люди мерли как мухи в периоды засухи. Итак, на рождество и на Новый год рудокопы и золотопромышленники, старатели, открывавшие золото, и предприниматели, перекупавшие у них плоды их трудов, собирались вместе и сообща предавались веселью.

Но времена переменились. Владельцы рудников теперь распоряжались всем и всеми; они диктовали свои условия рудокопам и старателям. Все резче обозначалась грань, разделяющая обе группы. Так было и на балу у Фриско, пока шампанское, виски и пиво, на которые не поскупился хозяин, не сделали свое дело и все не перемешалось в общем пьяном веселье, которому из году в год предавались прииски каждую новогоднюю ночь.

Вначале все было в высшей степени пристойно и чинно. Большой зал ресторана в гостинице «Звезда Запада», где жил Фриско, освободили для танцев; пол до блеска натерли воском. Фриско пригласил духовой оркестр; на стойку в баре взгромоздили бочки с вином. Жены рудокопов и старателей сидели на скамьях, расставленных вдоль стен. Некоторые из женщин держали на руках грудных младенцев, ребятишки постарше жались к коленям матерей. Мужчины, принарядившиеся для праздника, толпились возле.

Наиболее почетные гости, а также управляющие рудниками и их жены сгруппировались на противоположном конце зала. Белоснежная, пышная, аккуратно расчесанная борода Энгоры Дэвиса сразу бросалась в глаза. Пэдди Кеван, припомадивший свои рыжие вихры и обрядившийся в новенький, хотя и дешевый, костюм, вертелся около них. Это был первый выход Пэдди Кевана в свет, и все потешались над тем, как быстро Пэдди втерся в общество самых важных особ.

Фриско хочет показать, думали его старые товарищи, что он хоть и залетел высоко и якшается теперь с промышленниками и коммерсантами, все-таки не повернулся к нам спиной. Мистер де Морфэ, думали новые друзья Фриско, желает продемонстрировать нам, что живет в ладу со всеми.

Эти его новые друзья явились на бал во фраках и крахмальном белье, а их жены — в вечерних туалетах. Многие из них жили в бунгало, которые они выстроили себе неподалеку от рудников. Миссис Доусет, пышная блондинка,— обладательница великолепных плеч, сверкавших белизной над корсажем из лилового шелка,— была чрезвычайно оживленна. Мужчины говорили, что они готовы пойти на край света, лишь бы поглядеть на плечи миссис Доусет. И миссис Доусет не прятала своих плеч. Платье, в котором она щеголяла у Фриско на балу, было вырезано так низко, что едва прикрывало ее полные белые груди.

Декольте поношенного коричневого шелкового платья миссис Арчи Мэллисон открывало взору только костлявые ключицы, обтянутые желтой, как пергамент, кожей. Миссис Мэллисон была высокая тощая женщина с длинными, торчащими вперед зубами; ее смех удивительно напоминал ржанье и был слышен во всех углах зала; она болтала, не умолкая, то с лордом Перси, то с Чарли де Розом, то с Дорри Дулетом, то с мосье и мадам Малон, то с Фробишером с Северного.

Фробишер привел на бал свою жену-англичанку — красивую золотоволосую блондинку, голубоглазую и пышногрудую. Фробишер был здоровенный грубоватый детина; до приезда на прииски его жены он жил один-одинешенек в своем домике рядом с рудником и ходил полуголый, обросший бородой, похожий на беглого каторжника. По случаю ее прибытия он сбрил бороду и принял более цивилизованный вид. Он был неистово ревнив и не позволял жене оставаться дома, когда уходил на работу,— она должна была идти вместе с ним и сидеть целый день в конторе, дожидаясь, пока он освободится. Миссис Фробишер, в белом атласном платье, сшитом, как утверждали, к венцу, была признана царицей бала, несмотря на то что она так быстро и так основательно напилась, что даже не заметила, когда ее длинные золотистые волосы рассыпались у нее по плечам; Лоре пришлось ее причесать.

Когда Лили в черном газовом платье, с ослепительными бриллиантами в ушах вступила в зал под руку со своим дородным мужем, у нее был вид скромной, застенчивой девочки. Ей, как видно, было предписано не возобновлять старых знакомств. Мистер Малон, сияя добродушнейшей улыбкой, стерег ее, как дракон, и не отходил от нее ни на шаг; Лили даже не танцевала.

Салли танцевала с Жаном Робийяром; поравнявшись с Лили, она улыбнулась ей.

Лили нежно улыбнулась в ответ, едва приметно кивнула и лукаво подмигнула Салли.

Когда начались танцы, управляющие подхватили своих жен или жен других управляющих и местных тузов. Фриско вертелся между дамами, танцуя то с одной, то с другой. Он принимал гостей с обычной для него галантной непринужденностью, не забывая потанцевать и с женами рудокопов: пригласил миссис Моллой на польку и миссис Несбит — маленькую, чопорную, сварливую женщину в накрахмаленном ситцевом платье с высоким воротом — на шотландский танец.

Салли видела, как Фриско танцует с Мари и Лорой, но хотя порой она ловила на себе его взгляд, он ни разу не подошел к ней. Сама Салли танцевала с Моррисом, с Олфом Брайрли и Жаном

Робийяром, с Сэмом Маллетом и Тупой Киркой, притворяясь, что ей очень весело.

Женщин было не так уж много на балу. Золотоискатели с далеких стоянок, затерянных где-то среди зарослей, пришли сегодня в город, чтобы как следует кутнуть в новогоднюю ночь; они толпились в дверях, глядя голодными глазами на декольтированных женщин, круживших по залу в объятиях франтоватых мужчин. Потом, осмелев от даровой выпивки, сами принялись за дело: в грязных молескиновых штанах и грубых пропыленных рубахах они отплясывали друг с другом, сдвинув на затылок старые фетровые шляпы и громко стуча подбитыми гвоздями башмаками. Распорядитель бала сделал попытку выставить их за дверь, но Фриско крикнул весело и добродушно:

— Валяй, валяй, ребята! — И приказал музыкантам: — Ну-ка, наддайте жару!

Музыканты «наддавали», не жалея сил, но после нескольких подношений поехали кто в лес кто по дрова.

Очень скоро все опьянели — и музыканты, и танцоры; один танец сменялся другим — каждый раз все более быстрым и буйным. Фриско послал за девушками из публичных домов, так как кавалерам не хватало дам. Девушки смешались с гостями и танцевали с каждым, кто успевал ими завладеть.

Арчи Мэллисон отплясывал с Белл, а маленький Боб Доусет вертелся с Бертой Кувалдой в бешеном лансье. Их жены, по-видимому, смотрели на это сквозь пальцы. Миссис Доусет танцевала и кокетничала напропалую со всеми мужчинами; ее пышные белые груди совсем вываливались из корсажа. Время от времени она приводила в порядок свой туалет, но чаще просто не замечала, прикрыта ее грудь платьем или нет. Все просто выли от хохота, когда распорядитель бала обвел мелом лужу на полу. А когда златокудрая миссис Фробишер взвизгнула: «Кто-то ущипнул меня за ногу!» — едва не началась потасовка. Мистер Фробишер вызывал на бой поочередно всех мужчин, находившихся поблизости от его жены,— а их было не меньше дюжины,— но в ответ раздавались только взрывы хохота, и в конце концов Фриско увлек разгневанного супруга в бар.

Моррис после первых двух танцев уселся за карты с лордом Перси и еще несколькими пожилыми дельцами. Мосье Малон увез Лили домой в начале бала. Олф и Лора уехали, когда веселье стало чересчур буйным, Робийяры тоже покинули бал еще до ужина, так как у Жана начался сильный приступ кашля и Мари сказала, что вся эта сутолока, жара и духота не для него.

Салли уже жалела, что приняла приглашение Фриско и пришла на этот бал. Она была задета тем, что он ни разу не пригла-

сил ее танцевать, и злилась на себя за то, что это ее задевало. Сидя у стены и глядя на несущуюся в вихре танца толпу, она желала только одного: чтобы поскорее пришел Моррис и отвел ее домой. Так унизительно сознавать, что она нацепила на себя желтое шелковое платье и воткнула в волосы испанский гребень, чтобы понравиться Фриско, а он не обращает на нее внимания.

Последний раз Салли надевала это платье и этот гребень на губернаторский бал, вскоре после свадьбы с Моррисом. Она была молода и хороша тогда. А теперь, хотя ей нет еще и тридцати, она уже никому не может понравиться. Когда Мари сказала ей: «Ты сегодня просто восхитительна, дорогая!» — у Салли прямо сердце забилось от радости. Однако мистер де Морфэ, по-видимому, вовсе этого не думает. Поделом тебе! — говорила себе Салли. Нашла из-за кого сокрушаться. Господи, а малыш-то, она совсем про него забыла!

Тим Мак-Суини, хозяин гостиницы, предоставил свою спальню во втором этаже в распоряжение матерей с маленькими детьми, и Салли, когда Ларри уснул, оставила его там среди дюжины других младенцев, а сама спустилась в бальный зал. Музыка, пение, топот танцующих разбудили малышей, и они подняли отчаянный рев. Одна из жен рудокопов пошла их утихомирить, и Салли застала ее спящей на стуле рядом с большой кроватью, на которой лежали малыши. Салли взяла Ларри на руки, вышла с ним на узкую веранду и покормила его. Ночь была теплая и тихая; звезды тускло мерцали в подернутом дымкой небе. Когда Ларри, насытившись, уснул у нее на руках, Салли осталась сидеть на ступеньках лестницы, ведущей с веранды во двор, прислушиваясь к шуму, который доносился до нее снизу, и радуясь, что покинула это буйное пьяное сборище.

Здесь и нашел ее Фриско.

— Ну, Салли, как вам нравится мой бал? — спросил он, присаживаясь рядом с ней на ступеньку.

— Совсем не нравится,— отрезала Салли.

Фриско засмеялся, как всегда, когда она выражала ему свое недовольство.

— А все потому, что вы ничего не пили. Мы с вами здесь единственные прискорбно трезвые люди, Салли. Это одна из тех полезных вещей, которым я научился за границей,— сохранять ясную голову, когда все кругом пьяны.

— Противно глядеть, как люди теряют всякое чувство приличия,— вспылила Салли.— Олф увел Лору домой.

— Бедняга Олф,— лениво процедил Фриско.— Он совсем потерял чувство юмора. Принимает свой супружеский долг слишком всерьез. А Лоре не хотелось уезжать. Она как будто неплохо

проводила время. Сказать по правде, моя дорогая, мы с Лорой отлично ладим друг с другом.

— Христа ради, оставьте Лору в покое,— взмолилась Салли.— Это убьет Олфа, если...

— ...если я увезу Лору, как пытался когда-то увезти вас? Беда в том, что она-то поедет, но я не особенно стремлюсь увозить ее.

— Вы просто негодяй! — вышла из себя Салли.— Бессовестный негодяй!

— Ну конечно,— сказал Фриско, с улыбкой глядя ей в глаза.— Поэтому я и ухаживаю за каждой хорошенькой женщиной, которая хочет, чтобы я за ней ухаживал, хотя и притворяется, что это не так.

— Если вы думаете...— начала Салли, но Фриско прервал ее.

— Вы образец добродетели, Салли,— сказал он с горечью.— Я даже не решался танцевать с вами сегодня. Отнесите этого сосунка и возвращайтесь сюда на минутку. У меня есть хорошие новости для вас.

Салли отнесла Ларри в спальню и положила его на кровать. Когда она вернулась на балкон, Фриско стоял, прислонившись спиной к перилам; лицо у него было серьезно и мрачно.

— Сегодня последний день старого года, Салли,— сказал он.— А для меня — последний день всех этих лет, проведенных здесь на приисках, если вы не измените вашего решения.

— Нет, не изменю,— сказала Салли.

— Я так и думал.— В насмешливо-вызывающем тоне Фриско прозвучала резкая нотка.— У вас духу не хватает. Вы будете прозябать с Моррисом до конца дней своих, а до меня, до моей любви вам дела нет. Ну что ж, я тоже ставлю на этом точку, моя дорогая. Я женюсь на какой-нибудь красивой бабе, вроде Лоры или Бетти Фробишер, напложу детей и стану крупным воротилой в финансовом мире. Это совсем нетрудно, когда знаешь, как взяться за дело.

— Ну еще бы! — Салли крепко держала себя в узде.— Просто нужно пустить в ход несколько дутых предприятий, вероятно.

— Дутые предприятия или теллуристые руды — не все ли вам равно? — насмешливо отозвался Фриско.—Мне безразлично, каким способом наживать деньги, если я не могу иметь вас, Салли.

— Я ненавижу вас и всех таких, как вы! — в отчаянии вскричала Салли.— Вам нет дела, что будет с другими людьми,— лишь бы вы сами получили то, что вам нужно. А я верила в вас, Фриско. Думала, что вы не такой, что это все напускное. Я хотела доказать вам, что у меня хватит духу... Но теперь не хочу. Я хочу любить Морриса и быть ему верной женой, всегда...

Внезапно она разрыдалась и почувствовала, что Фриско держит ее в объятиях. Его голос завораживал ее, смягчая ее гнев и боль. Чувство, толкавшее их друг к другу, было слишком сильным — бесполезно было отрицать это.

Когда Фриско поцеловал ее, Салли испытала страстное желание положить конец розни между ними, отдаться во власть этой минуты. Она уже не сопротивлялась охватившему ее томительному головокружению.

Пьяный хохот заставил ее очнуться. Во дворе под верандой она увидела белые пятна чьих-то лиц. Фриско увлек ее в глубь веранды.

В бальном зале продолжали неистовствовать. Приближалась полночь, и гости требовали хозяина.

— Фриско! Фриско! — надрывалось сразу несколько голосов.

Послышался шум на лестнице.

— Где этот сукин сын?

— С какой-то мамзелей на веранде!

— Нашел время строить куры, когда старые товарищи хотят с ним выпить.

— Тащи сюда этого прохвоста!

— Вам лучше спуститься в зал, мистер де Морфэ.— Тим Мак-Суини стоял в дверях.— Не то они придут сюда.

Фриско негромко выругался.

— Ладно, Тим! — крикнул он.— Не пускай их. Я сейчас приду.

— Подожди меня здесь,— шепнул он Салли.— Ты теперь уже не можешь покинуть меня, любимая.

Когда он ушел, Салли услышала хор пьяных голосов, певших ирландскую народную песню, топот ног, отплясывающих галоп. С рудников доносились пронзительные гудки, а на улицах били в бидоны из-под керосина, приветствуя рождение нового года. Салли сидела неподвижно, позабыв обо всем, целиком отдавшись охватившему ее порыву страсти. Внезапно сквозь шум, доносившийся из зала, прорвался чуть слышный жалобный плач ребенка. Ларри! Салли вскочила в смятении, страх овладел ею.

Она бросилась в комнату, где оставила мальчика, подхватила его на руки, спустилась по лестнице во двор и выбежала за ворота.

Шагая по дороге, залитой тусклым лунным светом, и крепко прижимая к груди своего ребенка, Салли едва могла поверить, что минуту назад она готова была уступить домогательствам Фриско. Она содрогалась при одной мысли об этом. Как! Еще не отняв от груди ребенка Морриса, стать любовницей Фриско? Стыд какой! Да она бы не посмела взглянуть людям в глаза после этого, потеряла бы всякое уважение к себе!

И все же Салли понимала, что ее спасла не сила воли, а случайность. Она никогда не могла постичь своего чувства к Фриско и стыдилась его. Никогда и в мыслях не допускала, что это чувство может завести ее так далеко, заглушить в ее душе привязанность к Моррису. Но, как видно, ей предстоит всегда быть начеку, всегда бороться с собой... с собой, а не с Фриско. Он, конечно, никогда не простит ей, что она бежала от него сегодня.

Но Салли была рада, что осталась верна себе, не свернула со своего жизненного пути; ее судьба — это Моррис, дети и заботы о них. Она сама приняла на себя этот долг. Разве она любит Фриско? Нет, нет! — твердила себе Салли. Она любит Морриса и детей и должна остаться с ними. Она уже чувствовала себя исцеленной от безрассудного желания забыть обо всем на свете в объятиях Фриско — исцеленной и успокоенной, как человек, избежавший смертельной опасности.

Ветхие, побуревшие от пыли хибарки — деревянные, парусиновые, сделанные из старой жести, выбеленные или проржавевшие насквозь, похожие на карточные домики, сгрудившиеся на равнине у подножия хребта, по склону которого темнели строения рудников,— странно преобразились. В призрачном серебристом свете они стали как-то таинственно красивы. Вокруг луны сиял радужный венчик.

Стук толчейных станов тревожил тишину и покой ночи; он напомнил Салли об упорной, мрачной, никогда не прекращающейся борьбе за существование — о днях тяжелого труда, которые слагаются в годы, а годы — в десятилетия и длятся всю жизнь для таких, как она. Золотопромышленность принесет богатство и власть немногим избранным; все остальные будут раздавлены ее гигантской пятой, как руда, которую дробят и крошат сейчас толчеи. Салли знала, что и ей не избежать той же участи, хотя она и забыла об этом на мгновение, когда была с Фриско.

ГЛАВА XLIX

Когда Динни вернулся домой, на руднике Айвенго уже назревали тревожные события.

Он искал золото к юго-востоку от Кэноуны, но в это время разнесся слух о золотых россыпях, найденных поблизости от кэноунского кладбища, и туда устремились толпы старателей. Старое русло ручья пролегало под кладбищем, и здесь-то, в золотоносных песках, и таилось золото. Старатели потребовали, чтобы кладбищенская земля была открыта для разработок. Им отвели десять

акров, но поставили условием, чтобы они заново разбили участки и приняли меры к охране могил.

Затем прошел слух, что такого-то числа, ровно в полночь, будет разрешено ставить заявочные столбы. И вот во мраке, при мерцающем свете факелов и свеч, сотни старателей ринулись на кладбище, обмерили и застолбили участки. А наутро принесли телеграмму от министра горной промышленности о том, что всякое размежевание участков, произведенное ранее двух часов тридцати минут пополудни — незаконно, и столбы пришлось вытаскивать обратно.

Три тысячи старателей выстроились в ожидании сержанта полиции, который должен был открыть участки. Когда он с часами в одной руке и белым платком в другой въехал верхом на кладбище, там сразу воцарилась тишина.

Вот он опустит руку с платком, и это послужит сигналом к действию.

Как только это произошло, старатели, сбивая друг друга с ног, бросились к ограде. Заявочные столбы вбивались и вытаскивались вон. В ход пошли кулаки и лопаты; то тут, то там вспыхивали драки из-за границ участков; пыль стояла тучей, ругательства и проклятия висели в воздухе.

Приисковый инспектор сидел в суде три недели кряду, разбирая тяжбы. Почти на каждый участок находилась дюжина претендентов.

Динни и его напарника обставил, по их словам, какой-то жулик, представитель синдиката,— придрался к заявочным столбам.

— Клянусь тебе, Морри, что столбы у нас стояли по всем правилам,— сетовал Динни.— Прежде бывало — нацарапаешь на земле углы участка, застолбишь какими-нибудь веточками — и все в порядке. Да, не те времена. И народ пошел не тот. Таких бандитов, как там, на кладбище, я еще отродясь не видел. Скажешь спасибо, что выбрался цел из этой свалки; а что до суда, так инспектор почти все дела решал в пользу молодчиков из синдиката.

— «Свобода и безопасность государства, говорит Сократ, заключается в беспристрастном толковании законов,— пробормотал Крис Кроу.— Когда законы толкуются иначе, судьи обречены на всеобщее презрение».

Новый товарищ Динни был высокий, сутулый, молчаливый человек с белыми, как у Энгоры Дэвиса, волосами и бородой, хотя и не очень старый. Динни наткнулся на него во время своих разведок у озера Индаргурла. Шестой десяток ему пошел, говорил Динни, а силен и здоров как бык! В работе с кем хочешь может потягаться, только не больно он до нее охоч. Сказал, что его зовут Кристофер Кроу, а ребята стали его звать «Диннин старик Кроу».

Он все больше молчит и думает о чем-то своем, а то вдруг припомнит, что сказал какой-нибудь философ или поэт.

Динни повстречался с ним, когда забрел как-то раз глубоко в заросли. Крис жил там один-одинешенек в каком-то подобии шалаша, который он смастерил себе из старых мешков и ржавого железа, и почти уже подыхал с голоду. Рылся в отвалах на заброшенных старательских участках, а когда попадалось немного золота, ходил в Кэноуну и менял его там на муку, сахар и чай.

— Так вот он и жил, когда мы с Барни на него напоролись,— рассказывал Динни.— За десятки миль от людей, один со своими зверюшками — прямо как отшельник какой! А мы нашли россыпь неподалеку от озера и работали на ней. Ну, нет-нет да и заглянешь проведать Криса. Он приручал животных: парочка голубей у него была, несколько ящериц и сорокопут; да потом еще это чудище, которое тут ползает по горам. Туземцы зовут его «мингари». Страшное такое, как сатана, и куда ни заползет — меняет цвет. Крис приучил всех своих зверей пить из одной миски, а чудище залезало прямо к нему на колени.

Однажды сорокопут налетел на чудище и чуть не заклевал его насмерть. Тогда Крис поставил силок для сорокопута, поймал и выщипал у него все перья на шее.

«Когда увидите вы сорокопута с таким вот клочком перьев на голове,— сказал он нам,— не имейте с ним дела. Это мошенник». И тут же в подкрепление своих слов изрек что-то по-латыни.

Барни уверяет, что у Криса не все дома, ну а мне кажется, что у него мозгов побольше нашего. Когда Барни заболел дизентерией, да так, что на ногах стоять не мог, Крис помог мне сделать носилки и отнести его в Кэноуну. Туда было миль пятьдесят, не меньше. Да, черт возьми, спасибо Крису, что не бросил меня, когда помер Барни. Я чуть не спятил тогда. Вот с тех пор Крис и пристал ко мне.

Комната Динни всегда ждет его, сказала Салли, а его товарища можно устроить в бараке во дворе. Этот барак Салли построила во время болезни Морриса, чтобы разместить там еще нескольких постояльцев. И вот в доме на время обосновался Крис Кроу. Он либо ходил за Динни по пятам, либо сидел один на веранде, бормоча что-то себе под нос.

Моррис заметил, что Крис иногда шепчет про себя греческие стихи, а Салли слышала, как он произносил даже целые речи, обращаясь к гражданам и призывая их охранять демократию. Но о себе Крис говорить не любил, и никто не знал, откуда он родом и как попал на прииски. Динни мог рассказать про него только, что в Англии он считался радикалом и был исключен из университета за то, что не умел держать свои взгляды при себе. Нередко,

сидя вечером у костра, говорил Динни, Крис принимался рассуждать вслух и спорить с кем-то, словно видел перед собой каких-то своих старых друзей. Как-то раз он даже представил их Динни:

— Мистер Уильям Моррис, мистер Гайндман, мистер Фридрих Энгельс,— сказал он.— А это мистер Деннис Квин.

— Очень приятно,— произнес Динни, кланяясь собравшимся у костра призракам.

События на руднике Айвенго очень тревожили Динни.

— В чем там дело, Морри? — спросил он в первый же вечер своего приезда.

— Старатели узнали о том, что на айвенговском отводе есть россыпное золото,— отвечал Моррис.— Решили застолбить участки под россыпь и попросили управляющего указать, где залегает жила, чтобы отмерить участки в соответствии с законом тысяча восемьсот девяносто пятого года о добыче золота. А Карлейл показал им на свои заявочные столбы и говорит: «Здесь все — жила, от одного угла отвода до другого». Ну, ребята только посмеялись над этим.

— Я думаю! — усмехнулся Динни.— Это же наше старинное право — искать россыпное золото в любом месте не ближе пятидесяти футов от жилы. А было когда-то не ближе двадцати. Помню, как бесился Арт Бейли, когда ребята начали рыть вокруг его жилы. Поскакал прямо к инспектору. Но старик Финнерти знал свое дело. «Ну а вы что скажете, ребята? — спрашивает он нас.— Двадцать футов — это будет правильно или нет, как по-вашему?» — «Правильно!» — говорим мы. Но потом этот закон отпихнул нас с двадцати на пятьдесят.

— Карлейл не мог указать, где залегает жила,— продолжал Моррис,— потому что у них там вообще никакой жилы нет. Они разрабатывают глубокие россыпи. Ребята застолбили участки прямо у самой шахты, и один старатель нашел самородок весом в пятнадцать унций. Кое-кто добывал от пятидесяти до шестидесяти унций в неделю.

— Ну и что ж, это их золото,— сказал Динни.— Эти английские компании норовят прикарманить себе всю страну; они хотят прижать старателей, отнять у них все права.

— Карлейл потребовал от инспектора предписание о прекращении работ,— продолжал Моррис.— Старатели отказались покинуть участки и продолжали работать. На Золотом Ключе и Хэннанском Центральном тоже застолбили участки под россыпное золото. Все это добром не кончится, Динни. Владельцы рудников ни перед чем не остановятся, чтобы лишить старателей права на россыпи, и, если верить мистеру де Морфэ, правительство на их стороне.

— Не могут они этого сделать,— сказал Динни.— Вот гляди.— Он порылся в кармане, вытащил пачку газетных вырезок, извлек из нее клочок, вырванный из «Горняка», и торжественно прочел вслух:

«С первого дня открытия золотых приисков по всей стране россыпное золото, иначе говоря, золото, легко добываемое, являлось достоянием пришлого населения, которое может быстро добыть его и пустить в оборот, в то время как месторождения жильного золота, золота в залежах, добыча которого требует больших затрат и машинного оборудования, отводились под разработки промышленным компаниям. Для того чтобы закрепить этот принцип, и была введена статья тридцать шестая закона о добыче золота».

— Я знаю закон,— отозвался Моррис.— Он предоставляет старателям право добывать россыпное золото на расстоянии пятидесяти футов и больше от золотоносной жилы.

— Но крупных вкладчиков пугает это так называемое двойственное владение,— посасывая трубку, задумчиво прибавил Моррис.— Они возражают против того, что любой человек со старательским свидетельством в кармане имеет право застолбить участок под россыпное золото на земле, которая отведена компании для разработки недр. Закон этот устарел, говорят они. Его издали до того, как были обнаружены глубокие россыпи.

— Ах, черт! — рассердился Динни.— Да мы еще в девяносто втором разрабатывали глубокие россыпи в Наннине, и в Гасконе, и в Лейк-Остин. И сейчас в Кэноуне роют глубже, чем на сто футов. А в Хэннане россыпное золото всегда находили и на поверхности, и на глубине от шестнадцати до тридцати футов.

— Депутат округа — один из акционеров айвенговского синдиката,— заметил Моррис.— Ясно, что он держит сторону Карлейла, так что, видишь, тут не только спекулянты с лондонской биржи орудуют.

— Кто? Чарли Моран? — Динни выругался.— Ну, так ему надают по шее в следующие выборы. Уж мы позаботимся об этом. А ты послушай, что говорит Гарри Грегори, депутат от Северного Кулгарди,— у него все получается ясно как на ладони. Тут у меня где-то есть вырезка из «Горняка»...

Динни порылся в своей пачке и извлек еще один измятый клочок газеты.

— Вот слушай:

«Неужели мы, при существующем у нас законоположении об эксплуатации рудных отводов, уступим россыпное золото крупным компаниям, прибравшим к рукам участки в семьдесят и даже сто акров? Такое положение противоречило бы всем нашим тради-

циям, и я искренне надеюсь, что оно никогда не будет узаконено в нашей стране. Россыпное золото всегда считалось у нас достоянием старателей. Правительство, приняв закон о добыче золота, тем самым как бы заключило с ними договор, и договор этот не может быть нарушен без санкции парламента. Говорят, что право двойственного владения противоречиво и может отпугнуть капиталистов; но если мы будем предоставлять капиталистам все, чего бы они ни потребовали, если им достаточно будет выложить деньги, чтобы получить ничем не ограниченное право на все естественные богатства страны и бесконтрольную разработку их вне всяких трудовых норм и соглашений, тогда уж лучше давайте продадим им всю страну оптом, и пусть они вводят в ней рабский труд».

— Да я ведь и не отрицаю, что старатели по закону имеют право на россыпное золото,— ответил Моррис.— И всякому ясно, что наши золотопромышленники вкупе с иностранными предпринимателями стремятся прибрать к рукам естественные богатства страны. Но как вы можете этому помешать — вот в чем вопрос. Инспектор держит сторону айвенговского синдиката.

— Год назад,— сказал Динни возмущенно,— инспектор Дэвис заявил в Калгурли, что он «должен применять закон согласно данным ему инструкциям».

— Ну вот, уже тогда было видно, к чему дело клонится,— стоял на своем Моррис.

Динни и Крис застолбили участок на айвенговском отводе. Не потому, что Динни так уж хотелось работать на этом клочке земли, а потому, что он не мог оставаться в стороне от борьбы, которую старатели вели в защиту своих прав.

Когда министр горной промышленности спешно провел в парламенте поправку к статье 103 закона о добыче золота, это еще подлило масла в огонь. Новое постановление лишало старателей права рыть россыпное золото глубже, чем на десять футов. Если решение инспектора, ставшего на сторону синдиката, вызвало глухое возмущение, то действия министра, посягнувшего на исконные права трудового населения, взорвали старателей.

Старатели собрались в Рабочем клубе, который служил штабквартирой объединенного рабочего союза в поселке Боулдер. Большинство старых золотоискателей знало, какие права предоставляет им законодательство. Они должны были знать его, чтобы не дать себя в обиду. Стоило только сделать заявочные столбы не по размеру или еще в чем-нибудь нарушить установленные правила — и любой захватчик мог согнать старателя с его участка. А в последнее время головорезы, нанятые крупными компаниями, так и рыскали вокруг, вынюхивая, чем бы поживиться. Теперь этот новый натиск на права старателей грозил лишить средств к

существованию тысячи людей. Это вызвало такую бурю негодования, какой не помнили старожилы прииска.

Какое же золото может считаться россыпным и какое нет? Вопрос этот обсуждался в каждом доме, у каждой палатки. Гилл Мэйтлэнд, геолог Горного управления, дал заключение, что на айвенговском отводе имеются золотые россыпи на глубине ста четырнадцати футов. Но министр сказал:

— Может быть, для геологов это и россыпи, а все-таки это не россыпи.

Старатели сердито ухмылялись, повторяя эту головоломку.

— Как это понять? — спрашивали они друг друга.

Сами они считали россыпным золотом всякое золото, найденное в песке или в твердых породах в любом виде, кроме залежей или кварцевых жил. Содержащееся в мергеле свободное золото, поскольку оно не встречалось ни в виде залежей, ни в виде жил, также считалось россыпным. Большинство старателей считало россыпным и золото в пластах. Образование золотых россыпей связывалось с действием воды на коренные месторождения золота в очень давние времена. Обточенная водой галька натолкнула старателей на мысль о поисках россыпного золота на айвенговском отводе.

Айвенговский синдикат получил отвод под разработку жильных месторождений, но концессия еще не была ему предоставлена. Это — россыпное месторождение, и на него вообще не имеют права выдавать концессию, утверждали старатели. До тех пор, во всяком случае, пока не будут выработаны россыпи и не обнаружатся какие-либо признаки залегания жилы.

— Похоже, что компания хочет захватить россыпи,— говорил Динни,— а потом выпустить акции, объявив, что это — жильное месторождение. Надо же им пообчистить карманы у несчастных дураков, которые покупают их дутые акции.

На любом прииске Австралии, заявляли старатели, за ними признавалось право разрабатывать россыпи. В Виктории концессии на рудные месторождения выдавались лишь по истечении одиннадцати лет, и даже после этого старатели продолжали искать золото. В Квинсленде концессия выдавалась через два года после заявки, если к этому времени были выработаны все россыпи; но если старатели считали, что россыпи не исчерпаны, срок мог быть продлен.

Таков был закон, действующий по всей Австралии: земли, содержащие золотые россыпи, могли сдаваться в концессию промышленникам лишь после того, как разработка их станет слишком затруднительной для старателей — вследствие большой глубины залегания, обилия подпочвенных вод или каких-либо других естественных причин — и будет требовать слишком больших за-

трат. Но здесь, на самых молодых и самых богатых приисках страны, правительство штата, в угоду владельцам рудников, всячески пыталось урезать эти коренные права старательского населения. Старатели Запада не желали подчиняться такому беззастенчивому попранию издавна признанных за ними прав.

Так говорили те, чьи интересы представлял Союз охраны прав старателей, готовившийся вступить в борьбу с правительством Форреста. Так говорили те, кто открывал эти прииски, кто ставил первые палатки на далеких золотоискательских стоянках, затерянных в глухом безводном краю колючих кустарников и скалистых кряжей. Это они заложили основы золотопромышленности страны и своим трудом воздвигли среди пустыни города. Так неужели они позволят теперь кучке спекулянтов и продажных политиков украсть у них то, что искони принадлежит им по праву и по закону?

Салли, слушая, как старатели обсуждают с Динни все перипетии этой борьбы, понимала их возмущение и сочувствовала им. Она не отделяла себя от них, их борьба была и ее борьбой.

Фриско высмеял ее сочувствие старателям, когда пришел однажды навестить ее вскоре после Нового года. Он был зол и раздосадован тем, что Салли так отдалилась от него за это время, после той ночи на балконе. Она держалась холодно и отчужденно, а о задуманной им поездке на побережье и слушать не хотела.

Но ведь она может взять с собой и детей, уговаривал ее Фриско. Он снимет для нее отдельный коттедж и будет вести себя скромно и почтительно. О расходах ей нечего беспокоиться. Но Салли ответила решительно и твердо:

— Нет, не могу. И не только из-за Морриса и детей. А потому, что я со здешним народом, а вы — нет.

Фриско был взбешен тем, что Салли вмешивает борьбу старателей в их отношения. Он ушел, поклявшись, что никогда больше ни одной женщине не позволит себя так одурачить.

ГЛАВА L

На общем собрании, созванном на одном из рудников, ораторской трибуной служила повозка, в которой Мик Мэньон привез Франка Воспера и еще одного члена парламента; старатели — их было человек семьсот — столпились вокруг.

Был душный пасмурный вечер, сменивший знойный день. Последние отблески заката еще горели на равнине у подножия хребта, на выбеленных стенах городских зданий, на вросших в землю хибарках рабочего поселка. То тут, то там горбатый ствол мерт-

вого, безлистного дерева подчеркивал унылое бесплодие голой, выжженной солнцем земли с торчащими на ней лебедками шахт, грудами отвалов и порыжевшими от пыли палатками.

Собравшиеся здесь люди были так же суровы и хмуры, как окружавшая их природа. Все они понимали, что положение серьезно. Гнев владел ими — гнев, вызванный сознанием совершенной над ними несправедливости.

Они вполне отдавали себе отчет в том, что вступают в борьбу с богатыми и могущественными людьми, которые стремятся отнять у них то, что принадлежало им по праву еще с тех дней, когда первые партии старателей отправились в Австралию на разведку.

Они понимали также, что предстоящая стачка не обойдется без жертв; быть может, даже будет стоить кому-нибудь из них жизни. Но это не останавливало трудовой народ, из века в век борющийся против несправедливости и угнетения; боевой дух жил в каждом из них и указывал им единственный возможный для них путь — путь борьбы с теми, кто хотел растоптать их права в угоду сильным мира сего.

Среди собравшихся здесь были люди, принимавшие несколько лет назад участие в больших стачках стригальщиков в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе. С гневом и с горечью вспоминали они о том, как рабочих принудили уступить, несмотря на всю справедливость их требований. Здесь были люди, которые еще помнили Эврику, где они, укрывшись за палисадом, отстреливались от войск, высланных правительством против старателей, не желавших подчиняться его деспотическим приказам.

Упоминания об Эврике слышались то тут, то там, и каждый отчетливо понимал, куда может завести их эта борьба. Но они были готовы на все, чтобы отстоять права, издавна принадлежавшие старателям Западной Австралии. Однако Союз охраны прав старателей предостерегал от насильственных действий, рекомендуя легальные методы борьбы.

Мик Мэньон, руководитель союза, очень решительно заявил об этом в своей речи. Он был избран председателем и разъяснил присутствующим, с какой целью их созвали.

— Маленький такой человечек, совсем замухрышка с виду, а вы бы посмотрели, как он ведет собрание! — рассказывал Динни.— Если председательствует Мик, можно поручиться, что беспорядка не будет. А как говорит, черт побери! Все притихли — слышно было, как муха пролетит. Хотя он, конечно, не так красноречив, как Франк Воспер, особенно когда тот разойдется, или этот бешеный — Чарли Мак-Карти,— и не умеет так смешить ребят, как Мэллоки О'Дуайр, который только скажет слово — и все

корчатся от хохота. Но Мик — парень с головой, и ребята ему верят; знают, что он не сдрейфит, не даст их в обиду.

Мик Мэньон понимал, что́ нужно делать, чтобы старатели получили поддержку всего населения приисков.

— Такое же вот постановление — вроде этой поправки насчет десяти футов — привело к беспорядкам в Балларате,— сказал он.— В тысяча восемьсот сорок пятом году старатели восстали против этой несправедливости, и, разумеется, они были правы. Мы не нарушители закона — напротив, мы его поддерживаем. Нарушитель закона — теперешнее правительство. Вот оно и издало этот закон, чтобы узаконить свое беззаконие.

Старатели зашумели, послышались возгласы одобрения, но все опять стихло, когда Мик Мэньон поднял руку:

— Союз обратился к самым сведущим в приисковом законодательстве юристам, и мистер Джонс сказал, что, по его мнению, старатели должны выиграть дело в силу его бесспорности. Но нам надо вести борьбу организованно и сохранять порядок, друзья. Айвенговский синдикат только и ждет, чтобы вы дали полиции повод обвинить вас в нарушении порядка, покушении на частную собственность и всякое такое. Не забывайте этого! Мы должны бороться законными путями, ибо это айвенговский синдикат вместе с инспектором Хейром и правительством совершают беззаконие.

Яростные выкрики, свист, насмешки и проклятия по адресу инспектора, министра горной промышленности и правительства заглушили на мгновение голос оратора. Потом Мик продолжал:

— Стойте крепко, ребята! Соблюдайте порядок, и мы докажем правительству и всем золотопромышленным воротилам и синдикатам на свете, что им никогда не удастся прибрать к рукам нашу страну. Не бывать этому до тех пор, пока старатели готовы бороться за свои права!

— Мы постоим за себя, Мик!

— Будь покоен!

— Пусть отдадут нам то, что по закону положено!

— Больше нам от них ничего не нужно!

Гул одобрения и аплодисменты послужили ответом на речь Мика. Когда шум стих, один старый рудокоп крикнул:

— Это, конечно, правильно — то, что говорит Мик, да только если мы не хотим уступать свои права, так будьте готовы ко всему. Может быть, придется драться за них, как во время Эврики.

— И будем драться, Скотти, если на то пойдет! — крикнул кто-то.

Затем выступил делегат от Кэноуны.

— Министр, может, большой знаток по части свиных отбивных и шампанского. Это его специальность. А вот в приисковом

деле он ни уха ни рыла не смыслит. Он еще допрыгается со своими «поправками»! Как бы мы не послали его куда-нибудь подальше вместе со всем его министерством!

— К дьяволу его! — закричали со всех сторон.

— Он, верно, забыл, как мы в Булонге сожгли его чучело!

— Жаль, что не его самого, черт бы его побрал!

— Правительство из кожи вон лезет,— продолжал оратор,— чтобы помочь лондонским спекулянтам получить монополию на разработку недр. Это худший вид монополии. Мы должны сплотиться, ребята, стать плечом к плечу и задать им жару. Я считаю, что Мик правильно сказал — сейчас нужно действовать по закону. Ну, а если закон не поможет,— что ж, у нас есть и другие средства про запас.

Смех и аплодисменты.

Поднялся Франк Воспер. Собрание бурно приветствовало его. Он был теперь депутатом парламента от Кэноуны, но все помнили, что он поддерживал квинслендских стригальщиков, когда они бастовали, и пострадал за это. На его мужество и преданность делу рабочих можно было положиться.

— Черт-те что — прямо поэт какой-то с виду,— рассказывал про него Динни.— Волосы длинные, лицо худое, бледное. В черных брюках и долгополом сюртуке. А все-таки ребята чувствовали, что он свой парень.

Воспер начал речь с того, что он гордится правом бороться плечом к плечу со старателями. По мнению юрисконсульта союза, министр горной промышленности превысил свои полномочия, опубликовав постановление о десяти футах.

— Старательскому делу конец,— продолжал Воспер,— если добыча россыпного золота будет зависеть от милости акционеров и финансистов. Правительственный геолог Гилл Мейтленд заявил, что золотоносный песок, найденный на глубине ста двадцати восьми футов, должен быть отнесен к россыпям. «Поправка» была вынесена после этого заключения.

— Свинство!

— К дьяволу их вместе с их поправкой!

— К черту министра!

Старатели громко и решительно выражали свое возмущение.

— Я пришел сюда не затем, чтобы разжигать ваш гнев,— сказал Воспер.— Правительство само позаботилось об этом!

— Правильно!

— Да, уж оно старается!

— Из кожи вон лезет!

— Долой правительство Форреста!

— Я призываю вас спокойно и организованно встать на защиту своих прав,— сказал Воспер.— Продолжайте рыть золото, а если получите приказ прекратить работу — подчинитесь. Это не помешает вам вернуться обратно. Когда полицейский будет гнать вас с ваших участков, удостоверьтесь, что он делает это не самовольно, а по приказу. Но будьте тверды в борьбе за свои права! Если вы будете организованно и со всей решимостью продолжать борьбу, вы добьетесь своего. Старатели этого прииска докажут правительству, что подобное вопиющее попрание закона не может быть терпимо и что мы и впредь будем организованно бороться за свои права, будем бороться до тех пор, пока население этого обширного района не восстановят в его правах!

Когда овация, вызванная речью Воспера, утихла, слово взял другой член парламента — Олдхэм, прибывший на митинг вместе с Воспером. Он никогда не работал на приисках, сказал Олдхэм, но, ознакомившись с вопросом, убедился, что право на стороне старателей. Однако они должны бороться за него, опираясь на закон. В противном случае, подчеркнул Олдхэм, их враги используют любое нарушение порядка, любое сопротивление со стороны старателей, для того чтобы замазать существо дела.

Пассивное сопротивление, борьба в узких рамках законности не всем старателям пришлись по душе. Но большинство согласилось с Миком Мэньоном и Воспером. Им удалось убедить старателей, что их козырь — это приисковое законодательство, которое инспектор и правительство пытались извратить в угоду золотопромышленным компаниям.

Собрание вынесло резолюцию, провозглашающую права старателей всех золотых приисков Западной Австралии.

Резолюция была принята таким единодушным оглушительным «ура» всего собрания, что гладкие, выхоленные лошади конной полиции, расставленной в некотором отдалении, испуганно прянули в сторону. Да и сами полицейские были немало смущены, воочию убедившись в том, какую грозную силу представляет собой старательская организация. Возвращаясь обратно в полицейское управление города Калгурли, они не без опаски думали об исполнении своих служебных обязанностей на приисках в ближайшие дни.

ГЛАВА LI

Дом управляющего рудником Айвенго — унылое здание из оцинкованного железа — стоял в некотором отдалении от шахты. При нем был отгорожен участок для хозяйских лошадей, а сзади дом защищала от ветра живая изгородь.

Над шахтой был установлен конный ворот, и старая облезлая кляча с утра до ночи ковыляла взад и вперед под палящим солнцем, выкачивая из глубины шахты воду. Семь тысяч галлонов в день, говорили старатели. Разве же не ясно, над чем они там работают; впрочем, отвалы тоже были достаточно красноречивы: внушительные груды золотоносного песка, возвышавшиеся у шахты, охранялись от посягательств старателей специально поставленным здесь по распоряжению Карлейла сторожем. Участки старателей были разбросаны вокруг главной шахты вперемежку с другими шахтами, отвалами и котлованами, придававшими всему пространству такой вид, словно тут хозяйничала целая армия земляных крыс.

В то утро, по словам Динни, на участках работало сотни полторы старателей; внезапно разнесся слух, что получено предписание пяти партиям старателей, работающим глубже десяти футов, прекратить работу. Несколько дней назад на общем собрании было единогласно решено продолжать работу, но не оказывать сопротивления, если кого-нибудь схватят как нарушителя.

Все знали, что с Юга в подкрепление местной полиции прибыл специальный полицейский наряд. Мик Мэньон убеждал старателей не поддаваться на провокацию. Он напомнил им, что союз будет бороться за их права легальными путями и всякое нарушение порядка на этой стадии борьбы может только повредить делу.

— Держитесь, ребята,— говорил Мик.— Докажем правительству, что рабочая организация умеет соблюдать дисциплину. Нелегко, конечно, смотреть, как эти ироды тащат в каталажку твоего товарища, и не съездить их по уху... Но придется. Остерегайтесь стычек с полицией. Тузам из айвенговского синдиката это было бы весьма на руку. Но я надеюсь, что вы не доставите им этого удовольствия, и тогда мы победим по всей линии.

В тот же день после полудня появился судебный исполнитель «в шелковой рубахе и штанах до колен», как описал его Динни, и предъявил предписание. Ему пришлось надсаживать глотку, наклоняясь над каждой шахтой, чтобы установить, на какой глубине работают старатели, и почти всякий раз он получал тот же ответ: «Двадцать футов!»

Предписание спускали вниз в бадье, но старатели продолжали работать. Тогда явилась полиция. Билли Брея и Пэта Хьюза арестовали. На участке было достаточно старателей, чтобы задать трепку полицейским, и искушение было велико. Но Билл и Пэт не потеряли головы.

— Спокойно, ребята, не горячитесь,— сказали они.— Мы ведь этого ждали. Держитесь крепче и стойте на своем. Но пусть будет порядок, как велел Мик.

Полицейская повозка покатила по дороге, а старатели, взволнованные, обозленные, беспокойно топтались на месте, горя желанием разнести ее в щепы и освободить товарищей. Но Динни и еще кое-кто из старателей удержали остальных; это — первое испытание, говорили они, не забывайте о решении, которое мы приняли.

— Просто чудеса,— рассказывал потом Динни,— как это ребята удержались, чтобы не сцепиться с полицейскими. Я так и ждал, что они набросятся на них и вытащат товарищей из тележки. Но Мик хорошо растолковал им, что это только сбило бы нас с пути и сыграло бы на руку синдикату.

Вечером пришло известие, что инспектор отказался отпустить арестованных на поруки; Билл Брей и Пэт Хьюз должны были провести ночь в душной, вонючей арестантской камере. Возмущенные старатели готовы были взять арестантскую приступом. Мику Мэньону пришлось пустить в ход все свое красноречие, а Динни, Бобу Гарри и еще некоторым другим — все доводы, какие только приходили им на ум, чтобы помешать сотням разъяренных людей показать свою силу.

На другой день Билл Брей и Пэт Хьюз судом приискового инспектора были приговорены к тюремному заключению.

— На какой срок? — спросил защитник мистер Джон.

Инспектор Хейр ответил:

— Я не вижу необходимости ограничивать срок: когда подсудимые сочтут, что искупили нанесенное ими суду оскорбление, они могут ходатайствовать об освобождении.

Это было неслыханно! Невероятно! Старатели были вне себя и призывали проклятия на голову инспектора. Они не потерпят такого произвола! Их товарищей бросили в тюрьму без указания срока заключения, обвинив в оскорблении суда. А в чем их вина? Только в том, что они отказались подчиниться несправедливому, явно противозаконному предписанию этого суда. Теперь же, чтобы получить свободу, они, видите ли, должны признать себя виновными и просить о помиловании! Известие о том, что Билл Брей и Пэт Хьюз будут переведены в фримантлскую тюрьму, переполнило чашу терпения.

Когда эта весть достигла айвенговского рудника, все старатели бросили работу.

Хмурые, со сжатыми кулаками, стояли они, сбившись в кучу, и обсуждали, что им предпринять.

— Ну, сейчас нам надо быть начеку, Динни,— сказал Мик Мэньон.

Было единодушно решено пойти на вокзал проводить товарищей. Старатели с Золотого Ключа присоединились к айвенговцам.

— Соблюдайте порядок! Соблюдайте порядок, ребята! — призывал Мик Мэньон, суетясь вокруг старателей, как хлопотливая наседка вокруг своих цыплят, каждый из которых вдвое перерос ее.

Построившись по трое в ряд, они зашагали по дороге; впереди ехал старатель верхом на лошади, приспособив вместо седла мешок из-под отрубей.

Так они прошли добрых пять миль — в своей рабочей одежде, с засученными рукавами, в истрепанных фетровых шляпах, сдвинутых на затылок; время от времени воздух оглашался приветственными возгласами в честь Брея и Хьюза или свистом и бранью по адресу инспектора Хейра и министра. И за каждым поворотом бесконечно длинной пыльной дороги к ним присоединялись старатели с других участков. Когда под приветственные крики жителей они прошли по Хэннанской улице, их было уже более шестисот человек.

Со двора арестантской выехала повозка и свернула в сторону вокзала. На переднем сиденье помещались двое полицейских, позади них — Билли Брей и Пэт Хьюз.

Казалось, еще минута — и демонстранты, смяв ряды, бросятся на повозку.

— Давай, ребята! Тащи их сюда! — уже кричали самые отчаянные. Но их голоса покрыли другие возгласы:

— Заткни глотку, дурень!

— Спокойно! Не нарушать порядка!

— Не заваривайте кашу, ребята, погубите все дело!

На вокзале, когда огромная толпа окружила повозку, каждую секунду можно было ожидать, что старатели не выдержат и начнется свалка.

— Черт возьми,— говорил Динни,— каково нам было стоять и смотреть, как полиция увозит Билла и Пэта! Дело чуть до драки не дошло. И уж кое-кому проломили бы башку, это как пить дать. Парни прямо бесились — так и рвались вытащить Пэта и Билла из вагона. Сказать по правде, только Пэт и Билл их и удержали. Они все время уговаривали ребят: «Тише, ребята, правда и закон на нашей стороне. Смотрите, как бы все не испортить. Кто полезет в драку, может все погубить. Мы ведь не бандиты какие-нибудь. Мы честные, порядочные люди и докажем правительству, что умеем организованно бороться против произвола. Мы не позволим никому на этих приисках отнять у старателей их права».

На следующий день «Горняк» писал: «Не меньше тысячи старателей собралось вчера на вокзале, чтобы попрощаться со своими товарищами, ставшими жертвой беззаконных действий со стороны именно того лица, которое давало присягу исполнять закоч. Это было незабываемое зрелище, и мы можем сказать,— невиданное еще со времени открытия приисков. Не было ни одной попытки применить силу. Старатели знали, что закон и справедливость на их стороне, и были полны решимости подать пример организованности и порядка тем, кто, не считаясь с последствиями, подает примеры совсем иного рода».

Когда поезд отошел, старатели собрались на митинг неподалеку от вокзала.

— Двоих наших товарищей отправили в тюрьму,— сказал Боб Гарри.— Это начало. Если они засадили двоих, им придется засадить еще немало. Место каждого арестованного займет на участке его товарищ. Мы будем продолжать разрабатывать россыпи на наших участках. И если отказ подчиниться предписаниям инспектора Хейра считается оскорблением суда — значит, им придется привлечь к суду тридцать тысяч старателей.

— Да здравствуют Билл Брей и Пэт Хьюз! — кричали в ответ. Сразу несколько человек вызвалось работать на участках Билла и Пэта до тех пор, пока их не выпустят из тюрьмы. Сотни старателей громкими криками выражали свою решимость проявить такую же стойкость и мужество, как Билл Брей и Пэт Хьюз.

Было решено идти к мистеру Морану, депутату парламента и одному из заправил синдиката Айвенго. Толпа остановилась перед его домом, распевая песенку, которую любил мурлыкать Чарли Моран на холостых пирушках за стаканом вина:

Ох, Молли Райли, ох,
Тебя люблю я,
Верна ль ты мне, дружок?
Ответь, молю я.

Старатели просили мистера Морана выйти к своим избирателям и поговорить с ними. Моран отказался.

Полицейское управление делало попытки очистить улицу, но местные констебли отнюдь не горели желанием связываться со старателями в тот день. Кто-то смастерил чучело, которое должно было изображать министра горной промышленности. Под громкие крики толпы чучело вздернули на фонарном столбе на улице Маританы и подожгли.

Часа через два волнение улеглось. Это было шумное, беспорядочное буйство, укрощать которое никто не осмелился, но оно не причинило разрушений.

Пострадавших не было, заявил Динни, если не считать чучела господина министра, а ребятам пошло на пользу, что они пошумели и отвели душу. Ну а правительству тоже полезно было увидеть, что такое Союз охраны прав старателей и его политика пассивного сопротивления, какие за ними скрыты силы.

Воспер посетил заключенных во фримантлской тюрьме.

Через некоторое время из министерских кругов дали понять, что Брей и Хьюз должны выразить раскаяние по поводу своих действий и обратиться с ходатайством к инспектору, после чего они будут немедленно освобождены. Воспер сообщил Мэньону, что оба заключенные готовы просидеть всю жизнь в тюрьме, но не станут просить об освобождении на подобных условиях.

Пэт Хьюз сказал:

— Сделать так — значит признать, что мы пытались украсть золото у айвенговского синдиката. На самом деле это они нас хотят обокрасть. Мы подчинились силе, но не отступим ни на шаг.

«Пусть правительство продолжает бросать людей в тюрьмы,— писал Воспер.— Скоро они будут забиты мужественными и стойкими людьми, готовыми на любые жертвы. Министерство вынуждено будет прекратить это издевательство над людьми».

Старатели продолжали работать на своих участках на айвенговском отводе. Еще двое из них были арестованы и брошены во фримантлскую тюрьму. На прииске Булонг тоже были арестованы двое старателей и отправлены во Фримантл.

ГЛАВА LII

События на руднике Айвенго послужили причиной жестокой стычки между Динни и Олфом.

— Как ты можешь так говорить, Олф! — возмущался Динни.— Шутишь ты, что ли? Если ты заделался управляющим, это же не значит, что ты можешь переметнуться на сторону этих мерзавцев, которые бросают людей в тюрьму за то, что они защищают свои права!

— Закон о добыче золота был издан до того, как на Западе нашли глубокие россыпи,— отвечал Олф.

— Это ложь! — горячился Динни.— Глубокие россыпи разрабатывались у Лейк-Остин и на прииске Наннин еще в девяносто втором. Да не в этом дело. Ты не хуже меня знаешь, что на всех наших приисках россыпное золото считалось золотом бедняков. Старатели в нашей стране всегда имели право добывать его. Богачи и так получают отводы по двадцать четыре акра и разрабатывают жилы при помощи машин и техники. Но что это будет,

если они приберут таким образом к рукам всю землю и совсем сгонят с нее старателей? Нам останется только сдохнуть с голоду, и ты сам это отлично понимаешь.

— Двойственного владения не должно быть,— сказал Олф раздраженно.— Не должно быть такого положения, при котором промышленник владеет отводом, а старатели имеют разрешение отмерять себе участки в двадцать пять на двадцать пять на расстоянии пятидесяти футов от жилы.

— А почему нет? До сих пор было именно так. И ты, как мне помнится, сам неплохо зарабатывал время от времени этим самым способом. Золотопромышленные компании имеют право на жильное золото, и все.

— Дело не только в этом,— сказал Олф упрямо.— Английские вкладчики не понимают наших приисковых законов. Они никогда не признают двойственного владения, потому что не могут понять, почему на отведенных им под разработку участках часть золота принадлежит не им. Теперь они грозят изъять все деньги из местных предприятий, если правительство уступит старателям в этом вопросе. А это значит, что акции упадут. И тогда все полетит к черту.

— Акции падают уже не первый месяц,— сердито возразил Динни.— И вовсе не потому, что старатели борются за свои права. Жульнические махинации на рудниках, истощение окисленных руд и оголтелая спекуляция на лондонской бирже — вот в чем тут дело. Только не беспокойся, никуда их капиталы отсюда не уйдут. Если акции будут падать, они скупят их за бесценок, а потом продадут, когда начнется повышение. Нет, никуда они отсюда не денутся. Будут выкачивать из страны все золото, а правительству предоставят расхлебывать кашу. Капиталисты сами о себе позаботятся, тебе незачем так печься о промышленниках и министрах, Олф.

— Я служу в мидасовской золотопромышленной компании и должен соблюдать ее интересы,— сказал Олф, стараясь не глядеть на Динни.

— Что ж, значит, ты потребуешь у инспектора ордер на арест, если старатели застолбят участки на твоем отводе? — спросил Динни.

— Да, я получил такое распоряжение.

— Нет, ты просто рехнулся! Не делай этого, Олф, не иди против ребят,— взмолился Динни.— Они тебе никогда не простят. Одно дело — разные проходимцы и выскочки, вроде Фриско, который продался богачам,— так от него ничего другого и не ждали. Но ты не можешь предать товарищей, Олф. Вспомни, как ты продирался с ними через всю эту проклятую пустыню до самого

Южного Креста! А теперь ты хочешь, чтобы их выжили с приисков эти негодяи, охотники до чужого добра, которые готовы распродать с молотка всю страну, лишь бы им можно было сорить деньгами за границей.

Динни чуть не плакал от досады и огорчения.

— Я сам не рад, что так вышло, Динни.— У Олфа тоже дрогнул голос, однако решение было им принято бесповоротно.— Но я дал слово, что буду отстаивать интересы хозяев, если на Мидасе произойдет то же, что на Айвенго. Они вышвырнули бы меня вон, если бы я не согласился. И что было бы тогда с Лорой и с Эми?

— А что ж, у старателей, по-твоему, нет ни жен, ни детей, что ли? — вскипел Динни.— Однако они не боятся постоять за правое дело, а ты что ж — не можешь?

— Не могу! В том-то и дело, что не могу! — простонал Олф.— Не могу я опять остаться без работы. В особенности сейчас, когда все только и толкуют о том, что нужны управляющие с дипломом, а таких, дескать, как я, которые только нахватались знаний, пора гнать в шею.

— У меня есть деньги, Олф,— сказал Динни. Участие к этому человеку, которого он любил, как брата, пересилило в нем в эту минуту все другие чувства.— Я выручу тебя, если придется туго. Какие могут быть счеты между старыми товарищами.

— Нет, нет! — в отчаянии выкрикнул Олф.— Не говори об этом, Динни. Ты и так уже немало помогал мне. Мы добывали деньги вместе. Я все истратил и потерял, а ты сумел приберечь на черный день. Не могу я начинать все сначала и ловить счастье за хвост. Я должен держаться за то, что у меня есть.

— Так! — Динни был вне себя.— Мы с тобой долго дружили, Олф, но теперь конец. Если ты против старателей — значит, и против меня. И я знать тебя не хочу, раз ты готов терпеть любое беззаконие, лишь бы набить себе брюхо, а остальные пусть дохнут с голоду. Подлец ты, значит, и больше ничего!

Динни повернулся и зашагал по направлению к Боулдерскому поселку. Разговор их происходил на дороге; солнце слепило глаза, голая, спекшаяся земля отражала его лучи, как зеркало. Олф смотрел вслед Динни, который, высоко подняв голову, воинственно ковылял по дороге, вздымая клубы пыли. Олф не мог сердиться на товарища. Как он сказал? Подлец? Ни от кого другого не снес бы Олф подобной обиды.

— Что поделаешь, Динни прав,— сказал он Моррису, зайдя по дороге к нему в мастерскую.— Я сам чувствую себя подлецом, оттого что не могу постоять за старателей в этом деле. Думаешь, мне легко действовать заодно с промышленниками? Да я бы сто

раз предпочел рыть золото вместе со старателями. Но я не могу пойти на то, чтобы лишиться работы.

Олф как-то сразу похудел и осунулся за этот день. Он шел в Собрание управляющих рудниками и был по этому случаю в белом костюме и соломенной шляпе. Лора всегда на этом настаивала; она сама стирала и гладила для него костюм, никогда не жалела труда, лишь бы Олф не ударил в грязь лицом перед другими управляющими и иностранными дельцами. Фриско и все заезжие американцы всегда облачались летом в белые чесучовые костюмы, и Лора очень гордилась тем, что Олф мог одеться не менее щегольски, чем они.

Обычно Олф ходил в рабочем костюме, таком же потрепанном и запыленном, как у любого старателя на приисках. Он мирился с парадным костюмом только в тех случаях, когда должен был являться с докладом в правление или если ему предстояла встреча с другими управляющими рудников; самолюбие не позволяло ему выглядеть хуже, чем они. Однако от его самолюбия не осталось и следа в тот день, когда Динни рассорился с ним. Он был несчастен и жалок, как затравленная крыса, рассказывал Моррис жене. Если людей в течение многих лет связывает такая дружба, как Олфа с Динни, разрыв — нелегкое дело. Особенно когда один обвиняет другого в трусости и предательстве.

Моррис знал, как Динни любит Олфа и как для Олфа дорог Динни. Дороже всего на свете, пожалуй, после жены и ребенка. Если бы не они, Олф никогда не пошел бы против Динни и старых товарищей.

— Я не осуждаю Олфа,— сказал в заключение Моррис.— И я поступил бы так же, окажись я на его месте.

— Слава богу, что не оказался,— отрезала Салли.— Для твоего дела будет больше пользы, если ты останешься в хороших отношениях со старателями. А я просто не выношу несправедливости. Я буду помогать старателям всем, чем сумею, имей это в виду, Моррис.

Спорить с Салли было бесполезно, когда она говорила таким тоном. Моррис и не пытался, но за Олфа он все же не мог не вступиться.

— Не так уж трудно понять Олфа,— говорил Моррис.— Посмотри, на что он стал похож после болезни, а ведь уже почти год прошел с тех пор. Прежние силы не вернутся к нему, как видно, никогда. Разве может он взять опять в руки кайло и лопату? Погоня за счастьем и поиски золота теперь уже не для него. Ему нужна постоянная работа и твердый заработок.

Олф сам говорил Моррису, что ему опостылели прииски, что он мечтает уехать на юг, купить ферму или фруктовый сад и

пожить на покое. Все годы, что он работал на приисках, он никогда не был уверен в завтрашнем дне, если не считать тех двух-трех месяцев после открытия Леди Лоры. Тогда он жил, как в блаженном сне, ни минуты не сомневаясь, что с каждым годом благополучие его будет расти.

Его вера в себя и в свою звезду не раз подвергалась тяжким испытаниям. Когда Леди Лору пришлось прикрыть, Олф оказался на мели и снова ушел в разведку с Динни. Порой ему приходилось туго, и тогда он не брезговал никакой работой на рудниках. Мало-помалу, работая сначала на одном руднике, потом на другом, он достиг должности управляющего и снова занял привилегированное положение на прииске. Но рудники постоянно переходили из рук в руки. Новые хозяева брали себе новых управляющих. Олф чувствовал, что почва уплывает у него из-под ног; он никогда не знал, кому будет служить завтра и не откажутся ли от его услуг.

Спекулируя на акциях, он наживал и терял деньги, беспрестанно стремясь достигнуть такого уровня материальной обеспеченности, который позволил бы ему расстаться с приисками, отряхнуть их прах от ног своих и в покое и довольстве доживать остаток дней. Ему так и не удалось этого достигнуть. Видение спокойной, обеспеченной жизни маячило перед ним подобно миражу, то приближаясь, то уплывая в неведомую даль. Олф клял превратности судьбы, капризы промышленности и рынка. Он вечно чувствовал себя словно на горячих угольях. В конце концов он бросил биржу; его последней ставкой была работа на рудниках Мидас. Она давала ему твердый заработок, с помощью которого он надеялся осуществить то, к чему стремился всю жизнь.

Старость и нищета пугали его. Глядя, как многие старожилы приска бродят по городу, выклянчивая работу, или ищут крупицы золота на чужих участках, он с ужасом думал, что в будущем и он превратится в такого же бездомного бродягу.

А что будет с Лорой и с Эми? О чем бы Олф ни думал, он всегда возвращался к этой мысли. Ради жены и дочери он цеплялся за работу на руднике и не позволил себе принять участия в борьбе на стороне старателей. Олф решил, как видно, говорил Моррис, показать своим хозяевам, какого надежного управляющего и преданного слугу имеют они в лице мистера Брайрли.

— Вот как! — отвечала Салли.— А почему это Олф считает, что он и его жена должны жить лучше, чем все другие старатели? И если ради этого он готов поступать бесчестно и сам это признает, как можно его оправдывать? Он знает, что старатели правы, однако решил действовать против них из страха потерять свое положение и лишиться каких-то удобств! Это отвратительно!

Салли относилась к Олфу совершенно так же, как Динни и другие старатели, но при случайных встречах с ним все же заставляла себя пробормотать «добрый день» или «добрый вечер». Лора навещала ее по-прежнему.

Лора цвела и хорошела как ни в чем не бывало. Ей очень нравилось быть женой управляющего, дружить с женами других управляющих, встречаться с различными заезжими знаменитостями, появляться на званых обедах и принимать у себя. Миссис Элфред Брайрли посещала все балы, принимала участие во всех светских развлечениях и всюду пользовалась успехом. Она выступала на концертах — пела или аккомпанировала другим исполнителям.

Когда Олф был занят или находился в отъезде по делам мидасовской компании, что случалось не так уж редко, Лора выезжала в сопровождении мистера де Морфэ. Вообще у Лоры не было недостатка в поклонниках, и она была вполне довольна своей жизнью на прииске. Вращаясь в новом привилегированном обществе, которое так быстро возникло в Калгурли, она очень скоро усвоила все манеры и повадки людей этого круга.

Однако при встречах с Салли Лора снова становилась самой собой. Впрочем, эти встречи случались все реже теперь. Время от времени Лора все же забегала к Салли и приводила с собой Эми. Дети играли во дворе позади дома, где Салли усердно разводила огород и сажала фруктовые деревья.

Из камней и палок Дик с Томом возводили сложнейшие сооружения, которые должны были изображать рудники и железную дорогу. Эми была посвящена в тайны их игр. Но иногда эта озорница и сорвиголова вдруг разрушала все их хитроумные постройки, после чего непременно начиналась драка. В такие минуты мальчики ненавидели эту зазнайку в широкополой шляпке и нарядном платьице, которая набивалась играть с ними, а потом разоряла их шахты и дороги. Но когда Эми подросла, они простили ей эти шалости, потому что бегать она умела так же быстро, как они, и наподдавать ногой жестянку из-под консервов ничуть не менее ловко. Они даже забывали о том, что она девочка, ибо ей случалось превращаться в такого же растрепанного и грязного сорванца, как они сами.

Пока Салли с Лорой занимались шитьем и болтали, Ларри обычно лежал в колыбельке, которую Салли пододвигала к себе поближе. Лора была мила и добра, как всегда, хотя, быть может, чуточку бестактна и умела иной раз вывести человека из себя. Она с удивительной легкостью перенимала все привычки и замашки людей, с которыми общалась; словно мингари, который меняет окраску в зависимости от обстановки.

Ее слегка покровительственный тон раздражал Салли: Лора любила распушить перышки и поважничать, похвалиться своими успехами в обществе, рассказать о том, какой комплимент сделал ей мистер Зэбина Лейн, или мистер Модест Марианский, или мистер де Морфэ. Или о том, как один американец, управляющий рудником, воскликнул, когда впервые переступил порог ее дома, будучи приглашен на обед: «О-о, дорогая миссис Брайрли, кто бы подумал, что здесь на приисках можно найти такой прелестный, комфортабельный маленький домик!» А инженер-француз, который пришел вместе с ним, добавил: «И такую очаровательную хозяйку!»

— Ты должна больше выезжать, Салли,— говорила Лора.— Сейчас в Калгурли так много званых обедов и столько съехалось интересных людей — поистине живешь в каком-то вихре удовольствий.

— Да неужели? — спросила Салли.

— О, дорогая, если у тебя муж — гробовщик,— воскликнула Лора с самым серьезным видом,— это еще ничего не значит. Все знают, что ты и Моррис не уроните себя в любом обществе. Но ты совсем закисла здесь, среди своих старателей и рудокопов. Не отходишь от них ни на шаг.

Может быть, все это и отдалило их друг от друга, думала Салли. Особенно с тех пор, как началась борьба между старателями и промышленниками.

Салли уже давно жила и трудилась среди старателей и рудокопов; она была с ними на равной ноге, как женщина, которая своим трудом зарабатывает кусок хлеба; их жизнь, со всеми ее тяготами и невзгодами, была понятна и близка ей, и она, естественно, разделяла все их взгляды.

Глупая болтовня Лоры о том, что «рудокопы никогда не бывают довольны», «всегда требуют увеличения заработной платы и уменьшения рабочего дня», и о том, «как неблагоразумно поднимать такую шумиху вокруг старательских прав», просто поражала Салли.

Однажды Лора, сидя у Салли, с благодушно-самодовольным видом опять стала сыпать изречениями, которые были в ходу среди управляющих рудниками и спекулянтов, вроде мистера Лейна или Фриско: «нелепость двойственного владения», «компании должны считаться с интересами держателей акций», «надо помнить, чем мы обязаны английским капиталистам, пустившим в ход рудники Золотой Мили...».

— Олф говорит, что во всем виновата кучка подстрекателей да разные мерзавцы и лентяи, которые не хотят работать на рудниках. Подумать только, они даже вывесили красный флаг над од-

ной из своих шахт, когда были на глубине двадцати футов! — проворковала Лора.

Этого Салли уже не могла стерпеть.

— Если Олф так говорит,— значит, он просто жалкий трус, значит, он хуже даже, чем я думала! — возмущенно воскликнула она.— Олф знает, что старатели правы. Он просто потерял всякое чувство порядочности. Брея увезли в тюрьму, не дав ему даже попрощаться с женой и детьми. Но он готов пострадать за свои убеждения, а вот Олф, как видно, ничуть не лучше всех этих негодяев предпринимателей, которые так и норовят ограбить людей.

От обиды и удивления Лора не могла вымолвить ни слова.

— Салли! — вырвалось у нее наконец.— Как ты можешь так говорить?

— Я правду говорю,— ответила Салли.

Лора бросилась к двери и позвала Эми. Та, как всегда, не желала прекращать игру с мальчиками, брыкалась и визжала, как зарезанная, пока Лора тащила ее к калитке. Лора не проронила больше ни слова, а Салли не могла заставить себя ни взять свои слова обратно, ни извиниться.

Отчуждение между ними длилось довольно долго. Встречаясь на улице, они едва раскланивались. Иногда Салли видела Лору издали, когда та ехала в коляске в обществе жены какого-нибудь управляющего; впрочем, чаще ее сопровождал мистер де Морфэ. Однако Лора обычно не замечала Салли, да и мистер де Морфэ, казалось, был совершенно поглощен разговором со своей очаровательной спутницей.

ГЛАВА LIII

Старатели немало потешались над «едва не вспыхнувшим мятежом», как писали в газетах, хотя, в сущности, им было не до смеха, когда сэр Джон Форрест отверг требования старательского комитета и отказался выступить перед делегацией, представлявшей десять тысяч старателей.

Вот как это произошло. Сэр Джон должен был проездом побывать в Калгурли, и союз старателей решил добиться свидания с ним. Динни впоследствии любил вспоминать о событиях тех дней; перебирая пожелтевшие газетные вырезки, он ухмылялся и посмеивался себе под нос. Несколько министров ездили в Мэнзис на открытие железной дороги, и экстренный поезд должен был доставить их в Калгурли вскоре после полудня.

Накануне сотни людей, отмахав за день двадцать миль, явились сюда с приисков Булонга; горняки и старатели стекались в

Калгурли со всех окрестных лагерей. Свыше тысячи человек пришло из Кэнуны. Когда они выстроились у вокзала, чтобы показать членам правительства, какие силы поддерживают протест против «десятифутовой поправки» и арестов старателей, ни у кого из них и в мыслях не было нарушить порядок. Их руководители поручились начальнику полиции, что никаких беспорядков не произойдет.

К моменту прибытия поезда толпа заполнила всю площадь перед вокзалом, так что полиции пришлось очистить для сэра Джона проход и расставить вдоль прохода конных полицейских. На всем пути от вокзала до гостиницы Уилки, где должно было состояться свидание комитета старателей с сэром Джоном, колыхалась толпа старателей, горожан и самого разношерстного люда. Тут были и члены городского совета, и мировые судьи, и женщины, и дети, и погонщики-афганцы, и девицы из публичных домов, и шулера из игорных притонов. Все они стояли на солнцепеке в облаках красной пыли, вздымавшейся от каждого движения, и, изнемогая от зноя, терпеливо ожидали появления премьера. Взволнованные, полные любопытства, они громко делились своими предположениями о результатах предстоящей встречи.

Было время, когда сэр Джон, путешественник и исследователь, хорошо знающий страну, пользовался большой популярностью. Про него говорили, что, невзирая на полученный недавно титул, старик Джон остался все тем же грубоватым добряком, который мог остановиться на улице и запросто потолковать с каким-нибудь рудокопом или старателем. Однако в последнее время пошли толки, что сэр Джон очень уж заважничал, возомнил, будто он может распоряжаться приисками в интересах кучки аристократов-южан и промышленных магнатов.

Все с нетерпением ждали — что-то он скажет? Чем ответит на требования старателей? Пообещает ли — как думали многие, знавшие его раньше,— возвратить старателям их права и освободить из тюрьмы тех, кто пострадал, борясь за справедливость? Или же станет на сторону инспектора и министра Уиттенума и предоставит старателей их судьбе? Вероятно, сэр Джон пообещает все же, что правительство внимательно и благосклонно отнесется к законным требованиям старателей. Так думало большинство руководителей старательского движения. Разумеется, это будет сделано в весьма уклончивых, туманных выражениях, как оно и подобает всякому прожженному политикану.

Когда в проход, оставленный для сэра Джона, забрел неизвестно откуда взявшийся козел, раздался дружный взрыв хохота.

— А это кто такой?

— Это? Уиттенум!

Даже полицейские ухмылялись во весь рот, уводя злосчастного козла.

Мистеру Морану тщетно советовали отказаться от своего намерения встретить премьера на вокзале и проводить его до гостиницы.

Динни говорил, что он предупреждал Морана: «Ребята начнут свистеть, когда увидят вас, и сэр Джон может принять это на свой счет. Мы вовсе не хотим гладить его милость против шерсти и с первых же шагов испортить все дело».

Потом рассказывали, будто именно Моран первый начал выкрикивать приветствия в честь сэра Джона, когда тот вышел из вагона, и в ответ тотчас раздались насмешливые возгласы и свист. Сэр Джон отнюдь не привык к подобным встречам и был приведен в некоторое замешательство. Тем не менее он приподнял шляпу, улыбнулся и проследовал в сопровождении приискового инспектора, полицейских чинов и членов старательского комитета сквозь шумную толпу по расчищенному для него проходу.

Члены комитета рассказывали потом, что вначале беседа носила вполне дружелюбный характер, хотя сэр Джон далеко не в благодушном расположении духа поднялся в специально отведенный для этой встречи номер гостиницы. Под окнами волновалась и шумела нетерпеливая толпа. Один из членов комитета обратился с балкона к старателям, призывая их поддерживать порядок и не позволять отдельным крикунам сбивать себя с толку.

Два члена городского совета, Бири и Раттер, изложили сэру Джону положение вещей, создавшееся в связи с событиями на руднике Айвенго и внесением «десятифутовой поправки». Их слова, казалось, произвели на него впечатление. Сэр Джон признался, что дело представляется ему теперь в новом свете. Он, мол, был в отлучке два месяца и не успел еще по возвращении обсудить этот вопрос с министром. Это звучало почти как извинение, но вслед за тем сэр Джон добавил:

— Однако у меня нет ни малейшего сомнения в том, что министр считает это постановление правильным, и я, если мне позволено высказать мое мнение, тоже полагаю, что поправка, устанавливающая предельную глубину для старательских разработок в десять футов,— правильная поправка.

Комитет старателей весьма решительно выразил свое несогласие с сэром Джоном.

— Я имел в виду, что поправка эта законна,— поспешил оговориться сэр Джон.— И думаю, что Верховный суд не усмотрит в ней нарушения существующего законодательства. Министру предоставляются большие полномочия в смысле издания постановлений.

Когда Мик Мэньон дал понять премьеру, что союз старателей требует отмены поправки и освобождения из тюрьмы старателей, сэр Джон, будучи припертым к стене, уже не делал попыток казаться любезным. Он был явно сбит с толку, но не сдавался.

После двухчасовой беседы старатели не добились от него ничего, кроме следующего заявления:

— Я считаю, что ваши соображения по поводу поправки весьма разумны и заслуживают пристального изучения со стороны правительства.

— Поступить так со старателями — вопиющая несправедливость со стороны правительства,— заявил Хэггинс с прииска Булонг.

— Мне кажется, что это очень сильно сказано,— отрезал сэр Джон.

— Безусловно.

— Я явился сюда не затем, чтобы выслушивать оскорбления, а чтобы побеседовать с вами, как друг.

И сэр Джон пустился в пространные разглагольствования, смысл которых сводился к тому, что он, дескать, ничего так не желает, как увидеть страну исследованной вдоль и поперек, и прекрасно отдает себе отчет в том, насколько труд старателей может содействовать достижению этой цели.

— Но вместе с тем,— добавил премьер,— мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы поддержать тех, кто мужественно рискует своим капиталом и отдает свою энергию на дело процветания страны... Я хочу заверить вас,— заключил премьер,— что никто не стремится так, как я, к самому тесному сотрудничеству с вами. Я хочу его. Я жажду его. Но в то же время я не стану делать того, что противоречит закону, и каждый сознательный член общества не может, разумеется, не признать, что тут я прав.

С этим никто не собирался спорить, однако разглагольствования сэра Джона имели самое отдаленное отношение к обсуждаемому вопросу.

Гул толпы за окнами рос, становился все более грозным. Раздавались громкие возгласы:

— Джон, выходи!

— Послушаем, что ты скажешь!

— Тащи его сюда, ребята!

— Старательское золото — старателям!

— Вы сами понимаете, что это не особенно приятно — принимать какие-либо решения под угрозой штыка,— заявил сэр Джон, сердито надув губы и сразу став похожим на толстого избалованного мальчишку.— Если я приставлю вам штык к груди и скажу «сдавайтесь!» — это вряд ли вам понравится... Словом, разрешите

мне посоветовать вам не быть орудием в чужих руках. Я от души желаю, чтобы никто из вас не попал в тюрьму в угоду разным газетным писакам. Оставайтесь верны себе и полагайтесь на то, что в конце концов все образуется.

Делегаты были ошеломлены; с таким ни с чем не сравнимым лицемерием и тупым упрямством, прикрытым пошлой болтовней, им еще никогда не приходилось сталкиваться.

Один из старателей, которого товарищи отрядили узнать, как идет дело, и которому к концу совещания удалось пробраться в комнату, сказал осипшим от волнения голосом:

— Ваш ответ не удовлетворяет нас, сэр Джон!

— А вы член этой делегации? Вы уполномочены присутствовать на совещании? — вопросил премьер.

— Это безразлично! Я говорю, что ответ ваш никуда не годится,— заявил старатель.

Сэр Джон вскочил, стремительно вышел из комнаты и проследовал вниз по лестнице. Он отказался выступить перед собравшимися на улице старателями, не пожелал слушать членов комитета, которые советовали ему выйти на балкон и сказать хоть несколько слов, чтобы успокоить толпу. В сопровождении своего эскорта из полицейских чинов, приискового инспектора и двух-трех членов союза старателей, которые продолжали следовать за ним, сэр Джон, не слушая никаких уговоров, устремился к выходу.

Но старатель с прииска Булонг уже кричал с балкона:

— Он отказался говорить с вами! Отказался освободить заключенных!

Толпу охватило бешенство. Люди несколько часов терпеливо стояли под палящим солнцем, ожидая, что глава правительства подаст им хоть какую-нибудь надежду на удовлетворение их справедливых требований... Не помня себя от возмущения и гнева, они теперь кричали, улюлюкали, свистели.

— Где он?

— Заставьте эту старую лису говорить!

— Не уступайте своих прав, ребята!

— Зачем ты грабишь старателей, Джон?

— Тащите его обратно!

— Смотрите, чтобы он не улизнул!

— Выпусти ребят из тюрьмы, Джон!

— Долой «десятифутовую поправку»!

— Старательское золото — старателям!

Толпа напирала на окружавшую премьера кучку людей, которая медленно продвигалась вместе с ним по направлению к вокзалу. Верховые полицейские теснили толпу, наезжали прямо на

людей. Вопли и проклятия оглашали воздух. Но толпа не отступала, она надвигалась на полицейских.

Гневные возгласы заглушали окрики и брань полицейских: «Назад! Назад! Черт бы вас побрал!»

И все же никаких серьезных столкновений не было; негодующие крики перемежались взрывами хохота, насмешливыми восклицаниями. Только двое-трое пьяных очертя голову лезли в драку, но товарищи удерживали их. Члены старательского комитета, протискиваясь сквозь толпу, пытались восстановить порядок. В создавшейся вокруг сэра Джона толкучке кто-то из его собственной свиты толкнул премьера зонтом под ребра. Тут инспектор Хейр выхватил из кармана закон о нарушении общественного порядка. Но рев толпы заглушил его голос, и мало кто слышал, что он зачитывает закон. Инспектор отрядил троих конных полицейских за вооруженным подкреплением. Но когда констебль Уилэн с допотопным длинноствольным ружьем поперек седла прискакал на вокзал, сэра Джона уже благополучно запихнули в вагон.

Люди хохотали до упаду, глядя, как лошадь констебля Уилэна, которую аркебуз колотил по загривку, становится на дыбы, силясь сбросить своего седока.

— Убери к черту эту штуку! — заорал на констебля начальник полиции. Хохот и улюлюканье понеслись вслед сконфуженному полицейскому, когда он вместе со своим грозным оружием повернул обратно.

Через несколько минут все было кончено. Самые буйные и озорные из толпы и те разбрелись кто куда, стараясь не попадаться на глаза своим руководителям. Старательский комитет считал, что старатели имели право высказать сэру Джону свое мнение о нем и дать ему почувствовать, какое возмущение и гнев породили незаконные действия правительства. В то же время комитет отвергал обвинение в насильственных действиях, якобы заставивших инспектора зачитать закон о нарушении общественного порядка. Союз старателей принес свои извинения сэру Джону, но заявил, что не может считать себя ответственным за то, что произошло.

Ничего бы не случилось, заявил Мик Мэньон, если бы сэр Джон выступил перед старателями и хотя бы в самых общих словах с обычными для такого политика оговорками и недомолвками пообещал им ознакомиться с их претензиями. Чего вы хотите от людей, которые несколько часов подряд жарились на солнцепеке, тщетно ожидая, когда наконец глава правительства соблаговолит поговорить с ними? Вполне понятно, что они настаивали на своем праве услышать от премьера, почему правительство притесняет старателей и издает такие неслыханные законы.

Большинство старателей весело посмеивалось, вспоминая этот

случай. Они были рады, что сэр Джон получил по заслугам. Вот была потеха, когда они, сами того не желая, напугали важного, толстого премьера и заставили его со всех ног бежать к поезду, а констеблю тоже пришлось отправиться восвояси вместе со своим дурацким ружьем. Да, было что вспомнить и над чем посмеяться неделькy-другую.

Еще больший повод к шуткам и веселью дали южные газеты. Они вышли с сенсационными заголовками: «Буйство и мятежи в Калгурли», «Премьер подвергся нападению, нанесены серьезные увечья», «Ранение зонтом». Газеты восхваляли героическое поведение сэра Джона, отказавшегося пойти на какие-либо уступки перед лицом разъяренной черни, и печатали адресованные ему поздравительные телеграммы. Приветствие мистера Мейтленда Брауна: «Черт возьми, я горжусь вами!» — долго со смехом повторяли на приисках и нередко провозглашали как тост за стаканом вина.

Но совсем уже комический вид приняла вся эта история, когда сэр Джон опроверг сообщения о нанесенных ему увечьях, а начальник полиции заявил, что демонстрация не носила характера мятежа и что, по его мнению, приисковый инспектор не имел достаточных оснований зачитывать закон о нарушении общественного порядка. Не было ни одного пострадавшего, никто не получил ни единой царапины. Наиболее опасным преступником оказался Джонни Джонсон, старый одноногий звонарь, которому было предъявлено обвинение в буйном якобы поведении, а именно в том, что он позволил себе кричать: «Не сдавайтесь, ребята! К чертям собачьим Джона Форреста и всех таких скотов, как он! Долой навозную муху Хейра! К черту Морана!»

Сверх того Джонни обвинялся еще в том, что он ударил костылем лошадь констебля Уилэна. Джонни присудили к девяти месяцам каторжных работ во фримантлской тюрьме. Еще четверо были обвинены в буйном поведении или подстрекательстве к бунту. Один из них, желая доказать свое алиби, просил указать время, когда было совершено преступление, но судья, инспектор Хейр, ответил: «Я сам тебя видел, а когда — не важно».

Такого же заявления оказалось достаточно, чтобы засадить за решетку еще двоих старателей.

Однако когда Тому Дойлю и Билли Королю предъявили такое обвинение, им каким-то образом удалось оправдаться.

Но как бы там ни было, а к концу месяца «десятифутовая поправка» была отменена. А еще через неделю старателей, отбывавших заключение во фримантлской тюрьме, выпустили на свободу. И наконец, Верховный суд, рассмотрев жалобу старателей, отменил все предписания, запрещавшие старательские разработки на айвенговском отводе.

Это была большая победа, и ее праздновали на каждом руднике, в каждом старательском лагере. Старатели толпами разгуливали по городу, смеялись, пели, угощали друг друга. Все перипетии борьбы — аресты, суды и пресловутый «мятеж» — припоминались снова и снова, и каждый раз это сопровождалось взрывами хохота. На митингах произносились речи в честь товарищей, отбывших наказание в тюрьме. Днем старатели уходили работать на свои участки, но после захода солнца все улицы и все трактиры в городе звенели от песен, смеха, веселых шуток. И, поднимая кружки с пивом, старатели провозглашали: «Черт возьми, мы гордимся вами!»

Была только одна причина для беспокойства, одно облачко, омрачавшее радость победы, одержанной старателями над золотопромышленными компаниями и правительством: сэр Джон Форрест объявил о своем намерении издать закон, который предоставит владельцам отводов контроль над всеми полезными ископаемыми их отводов с правом сдавать отдельные участки земли в субаренду по системе издольщины.

— Ну, если только он это сделает,— говорил Динни (и тысячи старателей и горняков думали то же),— борьба начнется сызнова.

Но как-никак старатели вышли победителями в первом раунде и считали, что пока можно и повеселиться.

ГЛАВА LIV

Новый закон не заставил себя долго ждать; один из его параграфов гласил, что владелец отвода мог по истечении года получить свидетельство, запрещающее старателям доступ на его землю.

По старому законодательству владелец отвода получал право только на разработку жильных месторождений; россыпное золото продолжало оставаться достоянием любого человека, имеющего старательские права. Новый закон явно был издан в угоду спекулянтам акциями и лондонским дельцам. Он вырывал из рук старателей все плоды их победы, окончательно лишал их прав на россыпное золото и вынуждал снова подняться на борьбу.

Старатели были озлоблены и полны решимости. Они вовсе не собирались подчиниться такому самоуправству. Борьба началась снова.

На собрании союза старателей Мик Мэньон прочел постановление Верховного суда по делу Пэта Хьюза и Билла Брея: «Когда лицо, имеющее старательское свидетельство, предлагает владельцу отвода или его уполномоченным указать, согласно статье 36-й

Закона о добыче золота, место залегания жилы, указание каких-либо воображаемых границ не является достаточным,— должно быть точно определено место реального залегания. Если по истечении сорока восьми часов с момента вручения владельцу отвода письменного требования — указать местонахождение жилы — это не будет им сделано, лицо, имеющее старательское свидетельство, получает право доступа на отвод при условии выполнения им статьи 119 Закона, которая гласит, что в случае, если право приступить к разработкам не будет за старателем признано, приисковый инспектор может быть приглашен для разрешения спора».

— Это постановление,— сказал Мик,— так же как и старое законодательство, говорит совершенно ясно о том, что всякий, имеющий старательские права, может искать и разрабатывать россыпи; он не должен только покушаться на то, что принадлежит владельцу отвода. Первая попытка отнять у старателей их права выразилась в самом грубом, бесстыдном нарушении закона. Вторая попытка — это издание нового закона, который попирает старый.

— Авраам Линкольн говорил, что закон не может быть направлен против естественных прав человека,— произнес Крис Кроу, напарник Динни.

— За это мы и боремся — за права человека,— сказал Мик.— Но правительство хочет отдать все золото в нашей стране в руки крупных английских компаний. По милости правительства эти компании наживают миллионы. А старатель должен, сняв шапку, выклянчивать у промышленника позволения разрабатывать россыпи как издольщик. Если у промышленника будет нехватка в рабочих руках, он допустит к работе старателя. А не захочет, так пошлет к черту.

В ответ на новый закон повсюду созывались митинги протеста. Сотни старателей стекались на общие собрания на приисках. На митинг в Кэноуне пришло пять тысяч человек. Возмущение достигло предела, когда стало известно, что законодательное собрание по предложению премьера сэра Джона Форреста решило возместить синдикату «Айвенго» убытки, понесенные им в результате тяжбы со старателями, в размере двух с половиной тысяч фунтов стерлингов.

Неделей раньше Воспер, опираясь на постановление Верховного суда, признавшего, что старатели действовали на основе своих законных прав, внес предложение создать комиссию, которая рассмотрела бы вопрос о возмещении убытков старателям, подвергшимся тюремному заключению. Это предложение было отклонено, и почти сейчас же подавляющим большинством голосов было принято решение создать комиссию для возмещения убытков

айвенговскому синдикату. После этого сэр Джон и внес свое предложение.

— Наши уважаемые законодатели больше заботятся об охране своей собственности и своих классовых интересах, чем о защите прав населения приисков,— возмущенно заявил Мэллоки О'Дуайр.— Старатели не нарушали закона, однако, невзирая на это, их лишили средств пропитания, оторвали от семей, подвергли всевозможным унижениям и оскорблениям; им пришлось вынести все это для того, чтобы научить лиц, издающих законы, правильно эти законы толковать. Это просто позор, что трудовой народ должен расплачиваться за беззакония властей, а подлинных преступников еще вознаграждают за то, что сорвались их преступные замыслы.

Не одни только старатели горели негодованием. На всех приисках рабочие, рудокопы, торговцы и трактирщики единодушно осуждали возмутительные действия парламента штата, и приисковые газеты подняли свой голос.

Среди газетных вырезок, хранившихся у Динни, была заметка из «Западного Аргуса»:

«Постановление Верховного суда показало, что в деле с синдикатом «Айвенго» в отношении старателей была совершена жестокая несправедливость. Однако отнюдь не старатели, а грабительские промышленные компании получили от услужливого правительства возмещение убытков. Правительство не пожалело двух с половиной тысяч фунтов стерлингов для того, чтобы совершить этот беспримерный акт беззакония, и в то же время на запрос, почему служащим больниц, телефонных станций и других коммунальных учреждений снижается и без того ничтожная оплата их труда, оно отвечает ссылкой на отсутствие средств».

Притеснения старателей усилили недовольство властями. Население приисков понимало, что право старателей на добычу россыпного золота является основой благосостояния края, так как рудное золото, добываемое промышленными компаниями, утекало в Перт или за океан, обогащая заокеанских держателей акций.

Лавочники и трактирщики, погонщики и подрядчики, не говоря уже о рудокопах и старателях,— словом, все, чье существование зависело от развития выросших среди пустыни приисковых городов, были возмущены тем, как политические заправилы Юга, пренебрегая их интересами, стремились прибрать к рукам всю золотую промышленность страны. Старатели и рудокопы первыми открыли далекие неисследованные области и принесли богатство стоявшему на краю банкротства штату. Уже многие говорили о том, что прииски должны участвовать в управлении страной соответственно своему экономическому значению и численности населения.

На собраниях и митингах протеста против нового закона все чаще стал подниматься вопрос о том, что население приисков ущемлено в своих избирательных правах. Выдвигались требования о расширении избирательного закона, перераспределении мандатов, прямом представительстве от рабочих в парламенте и об оплате членов парламента. Динни выступал то на одном, то на другом из этих митингов.

— Тринадцать избирательных округов,— говорил он,— посылают в парламент тринадцать своих представителей; а избирателей в этих округах в три с лишним раза меньше, чем в одном Калгурли или Боулдере.

— В двух северо-западных округах всего-навсего сто пятьдесят человек избирателей,— говорил Мэллоки О'Дуайр.— Но зато скота там — тысячи голов. И эти округа имеют двух представителей в парламенте — точно так же, как Боулдер и Калгурли, где шесть тысяч избирателей, но всего только две коровы и один вол на всю округу.

— Кто считается с населением приисков? Вот скот в Кимберли — это другое дело! — заявил Динни на одном из собраний.— Похоже, что законы для нас пишут быки и коровы. Так не мудрено, если правительство всячески притесняет старателей. Но мы, я полагаю, не станем этого терпеть. Правильно говорит Мэллоки О'Дуайр: «Мы требуем самоуправления для наших приисков!»

Новый закон о добыче золота, изданный сэром Джоном Форрестом, привел к совершенно неожиданным для него самого и весьма серьезным политическим последствиям: требование расширенного представительства в парламенте переросло в мощное движение за отделение приисков от южных областей и за выход из-под юрисдикции правительства Форреста.

Уже много лет мечта об объединении всей Австралии в единое национальное государство жила в сердцах людей, любивших свою страну. Все больше голосов раздавалось за объединение независимых друг от друга штатов в федерацию. На съезде представителей всех штатов было принято решение — поддержать идею создания федерации. Когда в Новом Южном Уэльсе население высказалось в пользу федерации, сэр Джон Форрест пообещал провести референдум и среди населения Западной Австралии. Однако он всеми силами противился созданию федерации и под тем или иным предлогом оттягивал проведение референдума.

Все понимали, что за этим крылось стремление консервативного меньшинства — крупных землевладельцев Запада — удержать в своих руках контроль над вновь открытыми природными богатствами страны. Такая перспектива никак не улыбалась населению приисков. Оно высказалось за федерацию и объявило

сэра Джона изменником, предающим национальные интересы Австралии. Мысль о выделении приисков в самостоятельный штат и включении его в состав федерации сразу пустила глубокие корни и получила самую широкую поддержку населения.

По мере того как борьба старателей за свои права ширилась и ожесточалась, Салли все больше и больше втягивалась в эту борьбу. Она посещала митинги и собрания, во время демонстраций выходила на улицу вместе с детьми и громко приветствовала проходивших демонстрантов. Она кормила у себя многих старателей и без устали ходила по городу, собирая среди лавочников и трактирщиков деньги для семей заключенных. Моррис никак не мог понять, почему Салли с таким жаром отдается этому делу, и нередко выражал свое недовольство.

— Какого черта ты принимаешь так близко к сердцу всю эту историю? — ворчал он.

— Что ты хочешь сказать? — накидывалась на него Салли.— По-твоему, я должна сидеть сложа руки, когда кругом творится такое беззаконие и людей бросают в тюрьму ни за что ни про что?

— Не кричи на меня,— огрызался Моррис.— Я говорю только, что ты совсем извелась со всеми этими митингами и сборами денег, вот и все.

— Ах ты господи! — Салли очень устала, и ей трудно было говорить спокойно.— Разве эти люди не выручали меня, когда мне приходилось туго? Как же я могу теперь не помочь им, если это в моих силах? Да и притом они борются не только за себя, а и за всех нас, за всех, кто живет на приисках.

— Знаю, знаю,— буркнул Моррис.— Я помогаю старателям деньгами, и большего от нас не требуется.

— Нет, требуется! Все, что только в наших силах сделать,— все требуется,— горячо возразила Салли.— Динни говорит, что это низость и трусость — сидеть вот так, забившись в свою нору, и спокойно глядеть, как другие борются за тебя.

— То, что говорю я, не имеет для тебя, по-видимому, никакого значения. Важно только то, что говорит Динни.

— Не глупи, Моррис! — Салли ласково улыбнулась ему, стараясь загладить невольную обиду.— Ты же сам знаешь, что Динни прав.

Салли так горячо отдавалась борьбе старателей потому, что чувствовала то же, что и они, болела за них душой так же, как Динни. Их нужды были ее нуждами, как и всякого, кто добывал хлеб своим трудом.

Вместе с тем теперь Салли было легче отогнать от себя всякую мысль о Фриско. Все знали, что он выступает против старателей заодно с промышленниками и финансистами. Этого Салли не

К. Причард «Девяностые годы»

могла ему простить. Она ненавидела его теперь и ненавидела себя за то, что позволила ему целовать себя, за то, что отвечала на его поцелуи. Ее мучил стыд, словно она предалась врагу; что бы она ни делала для старателей, ей все казалось мало. Поэтому, когда заболел Пэдди Кеван, она самоотверженно ухаживала за ним, как ухаживала бы за любым из старателей в те дни.

Пэдди притащился к ней на веранду после одной из демонстраций и объявил, что у него болит живот. Не может ли миссис Гауг дать ему чего-нибудь? Салли дала ему лекарство. Пэдди прилег на топчан на задней веранде и уснул. Салли было жалко будить его. Она укрыла его одеялом и ушла к себе, но всю ночь ей слышалось сквозь сон, как Пэдди стонал и метался. Утром она нашла его на койке в бараке.

Салли сразу увидела, что ему очень плохо, хотя сам Пэдди уверял, что у него просто дизентерия; с ним уже так было не раз, и он знает, что это скоро пройдет.

— Все-таки тебе бы лучше лечь в больницу, Пэдди,— сказала Салли.

— Только не отправляйте меня в больницу, мэм,— взмолился Пэдди.— Я помру там, ей-богу, помру! Позвольте мне отлежаться здесь у вас; вот увидите, дня через два я уже буду на ногах.

Но через два дня Пэдди не стало легче, и Салли встревожилась. Она подозревала, что у Пэдди брюшной тиф. Но больница была переполнена, и Салли не решилась отправить туда Пэдди — боялась, что он там не выживет.

Как почти все старатели, Пэдди испытывал суеверный ужас перед больницей. Так много людей умирало там от тифа, что больные обычно предпочитали оставаться дома, где за ними ходили, как умели, их товарищи. Но у Пэдди, по-видимому, не было товарища, которому он мог бы доверить свою судьбу. Салли понимала, что он пришел к ней потому, что она была единственным человеком, от которого он мог ждать добра. Этот нескладный, костлявый парень, корчившийся на койке от боли, показался Салли таким несчастным и жалким, что у нее не хватило духу прогнать его. А что, если один из ее мальчиков так же вот попадет когда-нибудь в беду и никто не захочет помочь ему? — думала Салли.

— Не отправляйте меня в больницу, мэм, Христа ради, не отправляйте меня в больницу! — хныкал Пэдди.

— Хорошо, Пэдди. Не отправлю,— пообещала ему Салли.

Моррис пришел в бешенство, когда узнал, что Салли решила сама нянчиться с Пэдди Кеваном и Мари Робийяр уже взяла к себе Дика и Тома. Салли считала, что Ларри можно оставить дома: к грудным детям зараза не пристает, успокаивала она Морриса. Она сумеет выходить Пэдди, говорила Салли, и примет все меры

предосторожности, чтобы никто в доме не заразился. Ведь он же, в конце концов, будет лежать в бараке, а постояльцев из барака можно на это время перевести на веранду.

Во время болезни Пэдди у Салли было столько хлопот и волнений, что она совсем замучилась. Но как бы то ни было, Пэдди выжил и через месяц уже настолько оправился, что мог вернуться в свою хибарку на руднике Золотое Перо. Мальчишка был еще очень бледен и слаб, но чрезвычайно доволен тем, что уцелел. Он без конца благодарил Салли за то, что она его выходила, но, повидимому, нисколько не был удручен тем, что причинил ей так много неудобств.

По мнению Динни и других старателей, Пэдди поступил просто подло: зная, что у него тиф, он навязался к миссис Гауг, вместо того чтобы лечь в больницу. Но Салли не верила, что Пэдди сделал это нарочно.

— Бедный мальчик, он был совсем как больная собачонка,— говорила Салли.— Он сам не понимал, что с ним творится.

Однако, прощаясь с Салли, Пэдди сказал ей нечто такое, что и ошеломило и очень рассердило ее.

— Ну что ж, мэм, долг платежом красен, я так полагаю,— изрек он со своим обычным простодушно-нахальным видом.— Я ведь тоже оказал вам немалую услугу — тем, что держал язык за зубами. Вы думаете, я не знаю, кто был с Фриско на балконе в ночь под Новый год, когда ребята искали его по всему дому?

ГЛАВА LV

Каждое утро Олф покидал свой беленький домик, прячущийся в тени перечных деревьев, и направлялся на рудник. Надшахтные строения и зыбкие опоры копров темнели на крутом склоне хребта, вонзаясь в голубое небо. Там, среди ветхих, покосившихся зданий, сгрудившихся вокруг главной шахты, стоял небольшой сарайчик из гофрированного железа, который Олф именовал своей конторой.

Здесь Олф работал ббльшую часть дня. Серая замызганная куртка и старая фетровая шляпа висели на гвозде у двери. Он надевал их, когда спускался в шахту, и поэтому они всегда должны были находиться под рукой. Никогда нельзя знать наперед, когда потребуется спуститься под землю, чтобы проверить, как идет проходка нового штрека, или еще по какому-либо неотложному делу.

В железном сарайчике было душно и жарко, как в печке; за распахнутой настежь дверью ослепительно сверкала на солнце голая красновато-бурая земля. Но Олф с головой уходил в доклады,

отчеты, переписку, решительно вычеркивая из своего сознания все, что не имело прямого отношения к руднику и добыче золота. Когда рабочий день кончится, он вернется домой, где его ждут Лора и Эми, и в этом его счастье! Больше ему ничего не нужно, говорил себе Олф.

В вопросе о правах старателей на россыпное золото он уже принял решение и не отступит от него; он уже поставил об этом в известность секретаря союза старателей. Если кто-либо из старателей застолбит участок на мидасовском отводе, он вынужден будет выполнить распоряжение компании и потребовать от прискового инспектора удаления старателей с отвода. После разрыва с Динни Олф никому не собирался давать отчет в своих поступках.

Он теперь уж не встречался со своими старыми товарищами — старателями; видел их только случайно, когда бывал по делам в Калгурли или забегал в трактир выпить кружку пива.

Столкнувшись как-то раз на улице с Динни, Олф пригласил его зайти с ним в трактир, но Динни отказался. Теперь Олф проводил время с промышленниками и управляющими рудников. Из старых товарищей Олфа никто не желал иметь с ним дела.

Вот Фриско — тот как-то умудрялся поддерживать хорошие отношения со старателями, хотя всем было известно, что он держит руку промышленников. Впрочем, после первых арестов, когда страсти начали разгораться, Фриско укатил на побережье и провел лето, купаясь в море и плавая на яхте. Когда же Верховный суд стал на сторону старателей и заключенных выпустили из тюрьмы, Фриско вернулся. Он вместе со старателями праздновал их победу и сорил деньгами направо и налево, хотя все понимали, что борьба не кончена и наступило только что-то вроде вооруженного перемирия.

В эти дни Олф с горечью убедился, что все старые товарищи от него отвернулись.

— Они охотно зубоскалят с Фриско, который все время строит козни у них за спиной,— жаловался он Моррису,— а со мной и словом не хотят обмолвиться.

Моррис отлично понимал, в чем тут дело. Чего, собственно, могли ждать от Фриско его старые товарищи? Они знали наперед, что он станет на сторону айвенговского синдиката и золотопромышленных компаний. Фриско никогда и не скрывал, что его цель — нажива, а на все остальное ему наплевать. Другое дело — Олф. В него верили. Старатели помнили честного, прямодушного парня, помнили доброго товарища, на которого всегда можно было положиться в беде. И вот теперь этот человек стал на сторону тех, кто творит жестокое и несправедливое дело! Как могли они примириться с этим? Ведь Олф сам был старателем когда-то. Это не

то что Фриско де Морфэ — выскочка, шут гороховый. Понятно, что он держит руку капиталистов, которые хотят хозяйничать в стране и попирать права австралийских рабочих. Но Олф Брайрли! Нет, старатели не могли простить ему эту измену.

Подлость — то, что он делает, говорили они. Мало того, что он оправдывает подобную несправедливость, нет, он, видите ли, готов сам сажать людей в тюрьму за то, что они отстаивают свои права.

Олф сразу постарел и осунулся за эти дни. Он видел, куда завела его эта борьба. Люди, которых он привык считать своими друзьями, не узнавали его при встречах — они смотрели на него так, словно перед ними было пустое место. А иные даже отплевывались, когда он проходил мимо, и отпускали язвительные замечания на его счет. А у него ни разу не хватило духу возмутиться, крикнуть им что-нибудь в ответ. Он знал, что они правы. Смущенный и жалкий, проходил он по улице, стараясь не глядеть по сторонам, угрюмо бормоча «добрый день», если ему встречался Динни, и никогда не получая ответа. С промышленниками он держался холодно и замкнуто, словно хотел показать, что не они ему, а он им делает честь, соглашаясь общаться с ними.

Моррис был привязан к Олфу. Олф много сделал ему добра — приютил его у себя после урагана, помог стать на ноги — и, может быть, благодаря Олфу Моррис сумел взяться за дело, когда ему подвернулось похоронное бюро. Моррис чувствовал, что среди окружавших его людей Олф ему как-то ближе всех, и то же чувствовал Олф. В эти тяжелые для него дни он еще больше сблизился с Моррисом, ибо это был единственный человек, с которым он мог поговорить по душам.

Моррис понимал Олфа и открыто признавал, что он на месте Олфа поступил бы точно так же и никогда не стал бы из-за этого мучиться. Моррис защищал Олфа перед Динни, перед Миком Мэньоном, Майком Бэрком, Мэллоки О'Дуайром и другими членами союза старателей, которые собирались иногда у него в доме, чтобы потолковать с Динни.

Как вы не понимаете, говорил Моррис, что Олф не может рисковать своей работой. Ведь если он встанет в этой борьбе на сторону старателей, а победа останется за промышленниками, ему уже никогда больше не получить работы. А он считает, что промышленники победят, и очень может быть, что он прав. И правительство и полиция на стороне богачей, и те нажмут все пружины, чтобы изменить приисковое законодательство в свою пользу. Разве они уже не делают этого?

Старатели соглашались, что Олф поступил именно так, как поступили бы очень многие на его месте. Стал на сторону своего

класса и преследует личные интересы. Дело ясное. Он ведь прекрасно понимает, что промышленники измываются над старателями, что правда на стороне последних. Он сам был старателем и знает, что будет с ними и с их семьями, если их лишат прав на россыпное золото. Но он теперь думает только о своей шкуре, а до старателей ему дела нет.

Как должны все честные люди отнестись к такому человеку? Он трус, боится потерять работу и палец о палец не ударит, чтобы помочь старым товарищам, над которыми творят такие беззакония. Хуже того — снюхался с врагами, которые хотят уморить с голоду всех старателей на приисках, и помогает им беззаконничать!

Вот Воспер и Грегори да и многие другие видные граждане не боятся открыто, не считаясь ни с чем, выступать на стороне старателей. А мистер Олф Брайрли, прячась за спину Ассоциации управляющих рудниками, кричит, что будет выполнять распоряжения своих хозяев, если старатели вздумают занимать участки на мидасовском отводе, чего они, кстати сказать, и не собираются делать. Всем известно, что концессия на мидасовский отвод была выдана, когда там уже истощались все россыпи.

Старатели скорее простят промышленникам — те, по крайней мере, никогда не скрывали, зачем они пришли в эту страну: им нужно золото — все золото, какое они только могут из нее выкачать,— чтобы вывезти его за границу и жить там припеваючи. Но Олфу Брайрли старатели не простят. Не простят ему, что он связался с капиталистами и пошел против старых товарищей, бок о бок с которыми сам рыл когда-то золото на первых старательских участках и которые ведут сейчас борьбу в защиту прав всего трудового народа Австралии.

Среди тех, кто когда-то выступил в поход из Южного Креста на поиски золота в пустыне, был только один человек, помимо Морриса, который проявлял сочувствие к Олфу,— это был Пэдди Кеван.

Мальчишка Пэдди становился мало-помалу довольно значительной персоной. Он умел служить и нашим и вашим, хотя никто не верил ему ни на грош. Пэдди делал вид, что стоит на стороне старателей в разыгравшейся между ними и промышленниками схватке, но, по мнению многих, личные интересы связывали его с промышленниками. Казалось бы, этому трудно поверить. А может быть, и не так уж трудно, говорил Динни, если вспомнить, сколько лет он уже околачивается на бирже. Динни готов был поручиться, что у этого юнца припасена солидная пачка акций, которая сделает его в один прекрасный день богачом.

Но Пэдди только отшучивался.

— А как же! Давно уже решил оттяпать себе Большой Боулдер,— говорил он.— Ну, конечно, не сразу.

Пэдди работал на руднике Золотое Перо, расположенном среди зарослей в миле от горы Маритана. Он вечно ходил в грязных молескиновых штанах и рваной фетровой шляпе, замызганный и небритый, однако его нередко можно было видеть в обществе Фриско или Зэба Лейна, и он держал себя с ними как равный с равными.

Нельзя сказать, чтобы Олф был очень обрадован, когда, возвращаясь как-то домой, встретил Пэдди и тот, схватив его за руку, сказал:

— Мое почтение! Я к вам, как всегда, со всей душой, мистер Брайрли! Плевал я на разные там разговоры.

— Спасибо, Пэдди,— сказал Олф сухо; он недоумевал, что нужно от него этому юному прохвосту.

Самоуверенность Пэдди, острый насмешливый взгляд его светло-голубых глаз злили Олфа. Казалось, Пэдди разнюхивает, как повлияло на Олфа враждебное отношение к нему старателей, и делает для себя какие-то выводы.

Пэдди был теперь уже не такой тощий и жалкий, как прежде; стал рослым, довольно крепким парнем, хотя, быть может, и не слишком привлекательным на вид. Бледное курносое лицо его попрежнему пестрело крупными веснушками. Космы жестких волос рыжей щетиной торчали сквозь старую продранную шляпу. Но глаза смотрели пронзительно и испытующе из-под светлых ресниц, и во всем облике этого юнца невольно чувствовались недюжинные способности и какая-то скрытая сила. Пэдди Кеван держался теперь, как взрослый мужчина, и разговаривал со всеми, как ровня.

Раздражение Олфа сменилось насмешливым любопытством, когда Пэдди вдруг заявил:

— Видите ли, какое дело, мистер Брайрли. Я так полагаю, что каждый человек имеет право стоять за себя. И я скажу, что никто здесь у нас на приисках не сделал этого так вот прямо, как вы. Я очень высокого мнения о вас, мистер Брайрли, но только во всей этой истории с россыпным золотом вы, сказать по правде, кой-чего недоглядели. Это — дело правильное. Нужное для страны дело. Я — за наш здешний капитал, за то, чтобы деньги оставались на приисках. Что будет с нами, если у нас тут начнут хозяйничать разные иностранцы? Таким честным людям, как мы с вами, тут просто нечего будет делать, поверьте мне.

Олф рассмеялся. Вон как! Пэдди, кажется, считает, что они одного поля ягода.

— Меня интересует только моя работа и дела компании «Мидас»,— сказал он резко.

— Ну, ну...— Пэдди повернул в сторону поселка.— Ваша компания подведет вас, мистер Брайрли: Фриско охотится за «Мидасом» по поручению французского синдиката. Если вам вскорости придется искать себе работу, вспомните обо мне — может, у меня найдется для вас что-нибудь.

ГЛАВА LVI

— Весом в сто фунтов?!

— Ух ты дьявол, неужто правда? Ну, это всем самородкам самородок, лакомая штучка,— сказал Тэсси Риган.

Минуту назад Пэдди Кеван с шумом распахнул калитку, промчался через садик и бурей ворвался на веранду к Гаугам. Расстрепанный, грязный, запыхавшийся, он прибежал прямо с рудника, чтобы сообщить новость.

Как-то раз Динни сказал про Пэдди Кевана:

— Если этого парня немножко поскрести, с него начнет сыпаться золото. Верно, потому он и не охоч до мытья. Боится как бы после него в тазу не нашли золотых россыпей.

Динни и Тэсси Риган с трубками в зубах сидели на перилах веранды, где собралось еще несколько старателей. Они обсуждали причины временного затишья, наступившего в борьбе за россыпи. Крис поместился поодаль на одном из самодельных стульев и, как всегда, время от времени вставлял какое-нибудь замечание. Пэдди, взволнованный, взлохмаченный, с рыжими вихрами, торчавшими во все стороны, и горящим от возбуждения взором, нарушил мирное течение беседы. Когда кто-нибудь с таким видом врывается в дом, это может означать только одно: навострите уши, где-то открыли золото — будет новый поход!

Каждый из старателей сразу насторожился, у каждого что-то заиграло в груди. Старые матерые волки, вроде Динни и Тэсси, взволновались не меньше других, хотя и не подавали виду.

— Ну, а где они растут, эти самородки?

— Кто его нашел — неизвестно?

— Никто ни черта не знает,— заявил Пэдди.— Приехал отец Лонг из Кэноуны и рассказал, что двое старателей нашли здоровенный самородок. Но больше его преподобие не желает ничего говорить. Поклялся хранить тайну, видите ли.

Тэсси Риган встал, подтягивая штаны.

— Ну, так просто он от нас не отделается. Надо поглядеть, что там такое. Пожалуй, не мешает собрать пожитки. Если...

— Все уже поднялись,— прервал его Пэдди.— На дороге в Кэноуну целая толпа. Мы с моим напарником сейчас отчалим тоже.

— Прошу прощенья, мэм! — крикнул Динни Салли.— На сегодня обед отменяется!

Через секунду веранда опустела.

— Ну вот, черт побери! — Салли подошла к двери и увидела, что все они уже спешат по дороге в город: и Динни, и Тэсси Риган, и Пэдди, и все прочие, а позади всех — Крис Кроу. Салли совсем замучилась со стряпней, устала, вспотела, и ей было до смерти досадно, что все ее труды пропали даром. Она в сердцах проклинала золотую лихорадку и все золотоискательские походы на свете.

Моррис вернулся вечером и с поразительным равнодушием рассказал о сообщении отца Лонга и о дикой суматохе, которая поднялась в городе вокруг нового похода на Кэноуну, где, как предполагали, можно было кое-что разузнать. Вся эта история казалась Моррису весьма сомнительной. Ни в полиции, ни в горном департаменте ничего не известно насчет этого самородка, сказал он. Блеф все это, иначе самородок был бы уже предъявлен и заявка зарегистрирована.

Ни для кого не секрет, конечно, что часть золота утекает на сторону, но старатели зорко следят, чтобы не нарушался закон, и сокрытие золота влечет за собой потерю прав на участок. Ясно, что ни один дурак, напавший на хорошую жилу, не станет рисковать. Поэтому крупные находки, как правило, всегда предъявляются, и только какая-нибудь мелочь просачивается через перекупщиков краденого золота.

Салли просто надивиться не могла перемене, происшедшей с Моррисом. Раньше — до своего злосчастного похода на Маунт-Блэк, он первый ринулся бы, как безумный, в эту новую погоню за золотом. Но после этого похода Моррис стал совершенно безучастен ко всем толкам о новых золотоискательских походах или богатых россыпях, открытых на каком-нибудь далеком прииске. А после того как он заделался гробовщиком — и подавно.

Салли знала, что Моррис просто принудил себя заняться своим новым ремеслом. Подавил в себе отвращение к этому делу и теперь был даже доволен, что сумел достичь успеха на новом поприще. Не такая уж это приятная штука — снимать мерки с трупов, сколачивать гробы или шагать за катафалком по жаре на кладбище, говорил он. Раньше его прямо с души воротило и стыдно было людям в глаза смотреть, а теперь ничего, привык. Дело как дело, не хуже других. Просто судьба сыграла с ним злую шутку. Но шутка приносила доход, вот что главное.

— Это тоже как бы небольшая жила своего рода,— объяснял Моррис Олфу.— Должно быть, мое призвание не рыть золото, а зарывать трупы. Да ведь пойди угадай, где тебе написано на роду найти удачу.

Моррис теперь все время проводил либо в лавке, либо в мастерской, либо в конюшне; даже гордился тем, как он умеет угодить убитым горем родственникам — никогда не жалеет траурного крепа, сочиняет стишки для извещения о похоронах и даже как-то раз заставил Салли делать венки из белых бессмертников.

— Поверь, моя дорогая, я всячески стараюсь ублаготворить своих клиентов,— насмешливо пояснил он.

Салли просто в толк взять не могла, как ей быть с Моррисом, он совершенно погряз в своем похоронном бюро. Неужто он больше ни на что не надеется и решил всю жизнь трупы хоронить? Салли даже хотелось теперь, чтобы он загорелся от этих толков про золото и ринулся вместе со всеми ловить счастье за хвост. Но Моррис был как каменный.

Динни и Тэсси, подгоняемые золотой лихорадкой, спешили в Кэноуну. Не может того быть, чтобы священник все наплел. Раз он говорит, что видел большущий кусок золота,— значит, видел. А ведь он это сказал? — сказал. А если больше ничего не говорит, так только потому, что не может нарушить тайну исповеди. Верно, ему покаялись на духу в каких-нибудь грязных делишках, смекали старатели. От этого таинственного самородка пахнет грабежом или смертоубийством, а может, и тем и другим зараз.

Сотни людей, схватив кирки и лопаты,— на верблюдах, на лошадях, на тележках, на двуколках, на велосипедах, а то и просто пешком, с котомкой за спиной,— пустились в путь, чтобы изрыть, обшарить землю в окрестностях Кэноуны.

Через два-три дня они потянулись обратно. Никаких следов легендарного самородка, никаких слухов о богатых россыпях где-нибудь поблизости или о пришлых старателях, праздновавших свою удачу и болтавших о драгоценных находках за стаканом вина.

На поверку оказалось, что золото на старом Белом Пере и других когда-то богатых приисках этого края начало иссякать. Лавочники и трактирщики в один голос жаловались на застой в делах. Сообщение отца Лонга было им, конечно, на руку, и они встретили его с восторгом. Другое дело — старатели. От зари и до зари на солнцепеке они ковыряли землю кирками и лопатами и не находили ни крупинки золота, не зарабатывали даже на пропитание. Больше того, они толком даже не знали, где они роют: то ли поблизости от месторождения этого таинственного самородка, то ли нет.

Из восточных штатов тоже начали прибывать партии золотоискателей, и после трех недель отчаянных и бесплодных поисков положение создалось довольно серьезное.

Динни слишком хорошо помнил злосчастный поход Мак-Кэна и ярость старателей, обманутых хвастливой болтовней пьяного дурака. Он толковал инспектору и констеблю, что нужно как-то облегчить бедственное положение голодных и обнищавших старателей, не то отцу Лонгу не поздоровится. Если священник говорил правду,— пусть он укажет место, где был найден самородок. Иначе старатели будут думать, что священник либо наболтал спьяну лишнего, либо их умышленно обманули, чтобы кое-кто из трактирщиков и лавочников мог нагреть себе руки на этом деле.

Отец Лонг согласился сообщить, где нашли самородок. В два часа дня такого-то числа он объявит об этом с балкона отеля в Кэноуне.

Собравшаяся перед гостиницей толпа была, по словам Динни, настроена далеко не мирно. У любого храбреца при одном взгляде на нее душа ушла бы в пятки.

— Народу пришло тысяч шесть или семь. Все заросшие, небритые, ноги у всех стерты в кровь. Голодные как волки, глаза горят. Ясно было, что не сдержи отец Лонг слова — они его просто разорвут. Те, у кого были лошади, верблюды, повозки или велосипеды, держали их наготове, чтобы по первому слову отца Лонга броситься, куда он укажет.

Когда молодой священник появился на балконе, его встретили зловещим молчанием. Наступила такая тягостная тишина, какая бывает только перед грозой.

Отец Лонг стоял бледный как полотно и трясся весь от страха, хоть и старался не подавать виду, рассказывал Динни. Кое-кто из ребят принялся уже шуметь. Страшно подумать, что бы тут началось, если бы священник стал вилять. Сперва я до смерти этого боялся, очень уж он размазывал — в какое, дескать, незавидное положение попал — не подумал о том, что может сделать с людьми золотая лихорадка. Ну а потом заявил, что сейчас сообщит, где был найден самородок, если ребята дадут слово больше ни о чем его не спрашивать. Те, у кого уже совсем лопнуло терпение, начали клясться и божиться, поднимая руки к небу.

«Хорошо,— сказал отец Лонг,— сейчас я вам скажу, где, по моему мнению, был найден самородок и все, что я об этом знаю. Не могу только назвать тех, кто его нашел, не имею права. Самородок находится в целости и сохранности. Он не в этом городе, но должен быть где-нибудь поблизости и будет доставлен обратно в Кэноуну...»

«Самородок нашли...» — тут мы все затаили дыхание, слыш-

но было, как муха пролетит, а он с расстановкой произнес: «...по дороге на Курналли, в четверти мили от ближайшего озера».

Тут толпа взревела и сорвалась с места. Люди прямо остервенели, лезут друг на друга, повозки сталкиваются, лошади становятся на дыбы, верблюды врезаются в самую гущу, прокладывают себе дорогу. Шум, гам, ругань, проклятья. И вот с криками, с гиканьем все это понеслось по дороге на Курналли. Я такого сроду не видывал. Вот-то столпотворение было! Счастье еще, что никого насмерть не задавили.

Сам Динни и еще человек сто старателей остались послушать, не скажет ли отец Лонг еще чего. Когда шум стих, священник добавил: «Самородок нашли поблизости от дороги, на глубине пятишести футов, а весит он, вероятно, фунтов девяносто пять — сто».

Сказав это, он ушел с балкона.

Кое-кто захлопал в ладоши, а кое-кто предложил даже выразить отцу Лонгу благодарность за его сообщение, однако в ответ явственно раздался неодобрительный гул. Пожилым и более рассудительным старателям, вроде Динни и Тэсси Ригана, слова священника не понравились. Слишком уж он мямлил: «по моему мнению» да «как мне кажется». Он говорил не столько как духовник, хранящий тайну исповеди, сколько как человек, который боится, что стал жертвой скверной шутки.

Некоторые золотоискатели собрали свои пожитки и повернули в обратный путь на Калгурли. Они уже видели, что от этого похода толку не будет и что гигантский самородок отца Лонга — чистейшая выдумка. Однако сотни людей еще долго столбили участки на много миль в окружности от высохшего озера у дороги на Курналли и рылись в земле. Но сколько они ни трудились, а золота так и не нашли ни крупинки.

Поговаривали, что отец Лонг выпивал как-то с одним известным в Кэноуне трактирщиком и его приятелями, и те расхваливали ему на чем свет стоит богатства прииска. Когда он захмелел от виски, которым его угощали наравне со всякими баснями, ему, верно, подсунули что-то похожее на кусок золота, а может, ему и просто померещился спьяну самородок невиданных размеров. Как бы то ни было, он, должно быть, сболтнул что-нибудь насчет этого самородка, не подумав о том, каких бед может натворить слух о подобной находке, забыв, что поход старателей — дело не шуточное, что это вопрос жизни и смерти для сотен и тысяч людей, а в том числе и для тех, кто такие слухи распространяет. Ведь Мак-Кэн за свое вранье чуть не поплатился жизнью.

Участники похода жаждали отомстить мерзавцам, которые ввели в заблуждение отца Лонга. Подозревали, что Том Дойль, содержатель самой большой гостиницы в Кэноуне и весьма видный

там человек, имел некоторое касательство к этому делу. Все знали, что он был любитель подшутить. Но ирландец Том, здоровенный детина шести футов росту, буян и задира, клялся, что отобьет печенки всякому, кто посмеет возводить на него такую напраслину.

Старателям, которые попытались учинить ему допрос, Том напомнил, что он сам такой же старатель, как и они. Каждый пенни, вложенный им в гостиницу, добыт на прииске. Он не какой-нибудь молокосос, чтобы играть с огнем, болтая о несуществующем самородке. Том клялся господом богом, что сам дорого бы дал, чтобы найти обманщиков, кто бы они ни были. А в том, что священника кто-то надул, он, конечно, ни минуты не сомневается.

Никаких нареканий на отца Лонга, который, да будет это всем известно, находится под его защитой, он не допустит. Разве не он боролся вместе со всеми старателями за их правое дело? Пусть кто-нибудь скажет, что это не так! Разве не он поднял свой голос, когда Джон Форрест вообразил, что со старателями можно бращаться, как с самым последним дерьмом? Он, черт побери! И за это его арестовали и хотели пришить ему дело о подстрекательстве к мятежу, нарушении общественного порядка и еще черт знает что, а на поверку-то оказалось, что ничего такого он не совершал. В конце концов, это право любого гражданина — защищать старателей.

Ну, конечно, они все это знают и помнят, отвечали старатели. Они вовсе не думают, что Том был заодно с теми прохвостами, которые смеху ради или ради наживы подбили людей на этот поход. Просто они считали своим долгом сообщить ему о том, какие идут разговоры, и расследовать эту сплетню.

Том с ними вполне согласился и выставил всем угощенье. Волна старательских поисков, поднятая неосторожными словами отца Лонга, не сразу улеглась. Были и другие, меньшего масштаба походы: в Золотую Долину, Широкую Стрелу и Муллин. И отцу Лонгу еще не раз грозила расправа, и говорили, что он едва уцелел.

Хотя священник и продолжал жить на приисках, но это уже был не прежний отец Лонг: от него осталась одна тень. Думы о легендарном самородке и страшных последствиях похода не давали ему покоя, и многие считали, что это и свело его в могилу, а вовсе не тиф, от которого якобы он умер несколько месяцев спустя в Перте.

Вскоре Том Дойль был избран мэром Кэноуны. Это произошло после того, как борьба старателей вступила в новую фазу.

А началось это так: Майка Бэрка, Джимми Миллера, Эда Бернса и Тэсси Ригана арестовали по обвинению в краже руды, которую они увозили в мешках со своих участков на отводе синдиката «Айвенго».

ГЛАВА LVII

Старатели по-прежнему продолжали разрабатывать свои участки на айвенговском отводе. Все последнее время синдикат свозил породу с отвалов. Майкл Бэрк, участок которого находился возле главной шахты синдиката, тоже начал работу на отвале. Его товарищи помогали ему сгребать песок, набивать им мешки и отвозить на толчею. Они утверждали, что весь золотоносный песок с этого отвала принадлежит им.

А несколько дней спустя Майкла Бэрка, Тэсси Ригана, Джимми Миллера и Эди Бернса арестовали и предъявили им обвинение в краже руды, являющейся собственностью синдиката «Айвенго». Но рассмотрение дела было отложено до решения суда присяжных по аналогичному делу, которое должно было слушаться в Пик-Хилле.

Когда стало известно, что судебное разбирательство откладывается, старатели на собрании заявили, что сидеть сложа руки и ждать суда им не по карману. И они возобновили работу. На многих участках добыча золота шла весьма успешно, и это укрепило их решение. Руда Бэрка дала двести десять унций на толчее. Но до поры до времени, пока не выяснится вопрос о праве собственности, золото приходилось вносить в банк, в депозит. Старатели с возрастающим волнением ждали решения суда в Пик-Хилле, но не теряли уверенности.

Когда же решение было вынесено, все их надежды рассыпались прахом.

— Нет, что вы скажете? — возмущались они; их словно обухом по голове ударило.

В постановлении суда говорилось, что старатели могут искать золото на территории отвода, но выносить золото не имеют права.

Такое решение, по мнению старателей, было просто издевательством над правосудием и над здравым смыслом. Кто станет с этим мириться? Уж во всяком случае, не старатели австралийских приисков. Но владельцы отводов и золотопромышленные воротилы, разумеется, ликовали.

Правда, решение суда присяжных не было единогласным. Можно было подать апелляцию в Тайный совет, но старатели и так уже потратили несколько тысяч фунтов, добиваясь правильного истолкования закопа. Если дело будет передано в Тайный совет, то расходы должно нести государство, утверждали они.

Старатели заявили о своем намерении продолжать борьбу за право на россыпное золото. Ни аресты, ни судебные преследова-

ния не заставят их отступить. Закон и справедливость на их стороне. Продажные политики показали, как они умеют попирать законы и заставлять служителей правосудия плясать под их дудку. Теперь трудящимся приисков ничего другого не остается, как показать ту силу, на которую они опираются, отказываясь подчиниться такому произволу.

Старатели продолжали работать, как обычно. Бэрк и его товарищи по-прежнему увозили руду с отвалов своего участка. А когда однажды из дома управляющего вышел полицейский и велел им прекратить работу, они потребовали, чтобы он предъявил им предписание. Предъявить он ничего не мог, и старатели, посмеиваясь про себя, продолжали работать.

К полудню на участок прибыл помощник полицейского инспектора Холмс и с ним капрал Николс. Они забрали Майкла Бэрка, Тэсси Ригана, Джимми Миллера и Эди Бернса и отвезли их в полицейский участок. Старатели могли бы, конечно, их отбить, но они строго следовали указаниям союза.

Ну что ж, этого следовало ожидать, а Майклу Бэрку и его товарищам уже не впервой! И старатели не вешали нос, они напутствовали товарищей криками «ура» и отвели душу, послав несколько крепких словечек по адресу инспектора и правительства.

Заручившись помощью лучших юристов прииска, старатели точно следовали их советам, и союз и из этой схватки снова вышел победителем.

В Верховном суде, куда была подана апелляция, судья Хенсман вынес решение, которое гласило: «Поскольку первоначальный владелец отвода синдиката «Айвенго» умер, не назначив преемника, и поскольку никто не был введен во владение, означенный отвод остался без владельца, а следовательно, лица, именующие себя истцами по данному делу, неправомочны предъявлять какие-либо жалобы на нарушение границ отвода».

В решении указывалось также, что при обычных обстоятельствах действия Бэрка квалифицировались бы как обыкновенная кража, ибо участок находился на территории отвода; но так как право на владение отводом было утрачено, то, следовательно, Бэрку, как и всякому другому лицу, обладающему старательским свидетельством, не возбранялось искать россыпное золото, а также брать руду с отвалов или из любого другого места, отстоящего на пятьдесят футов от рудной жилы, тем более что на Айвенго наличие жилы даже не было еще доказано.

Это надо было понимать так: пусть по закону старателям воспрещается брать руду с отвода какой-либо компании, однако, рассуждая по справедливости и по здравому смыслу, Бэрк действо-

вал вполне правильно, когда брал золотоносный песок с незаконно удерживаемой, по мнению судьи, территории.

Приговор суда был встречен восторженно, хотя новый закон и судебное решение в Пик-Хилле оставались в силе и борьба с ними была еще впереди.

ГЛАВА LVIII

Каждый день происходили какие-нибудь события, разжигавшие гнев и возмущение старателей. Месторождения россыпей, в обход первоначального закона о добыче золота, отдавались золотопромышленным компаниям. На Широкой Стреле и Холме Самородков старатели созвали митинг в знак протеста против незаконных действий компании, захватившей их участки. Синдикат «Айвенго» по-прежнему добивался судебного преследования старателей, а старатели, несмотря ни на что, по-прежнему работали на своих участках.

Много стариков, уже неспособных к тяжелому труду, промышляло, роясь в отвалах и просеивая песок на заброшенных участках вокруг Маританы и Боулдера. Они кое-как перебивались на те крупинки золота, которые им изредка удавалось найти. Но вдруг полиция ни с того ни с сего стала требовать у них старательские свидетельства, а когда они предъявляли документы старого образца, безжалостно сгоняла их с участков.

— Стыд и срам! — возмущался Динни.— Всякому известно, что у этих бедняг нет ни гроша за душой.

У старателей на Аделине, одном из боулдерских рудников, дела шли довольно успешно. Но когда на отвод нахлынула сотня старателей и застолбила участки, промышленники опять перешли в наступление. Арендаторы-издольщики, за спиной которых действовали компании, начали брать руду со старательских отвалов.

Старатели не успели опомниться, как двадцать человек с Аделины очутились во фримантлской тюрьме; в их числе оказался и Динни Квин.

Снова на приисках начались митинги протеста; они вспыхивали стихийно — и на улицах и в городских общественных зданиях.

— На какие только грязные проделки не пускались компании,— рассказывал впоследствии Динни.— Взять хотя бы то, как нарочно состряпали иск против своих издольщиков на Боулдере и подсунули его в Верховный суд, чтобы потом было на что ссылаться. Когда до старателей дошел слух, что в суде будет рассматриваться иск Хэннанского общества золотопромышленников к издольщику Каули, руководители союза сразу насторожились.

Союз навел справки и тут же заявил, что не давал своим поверенным никаких указаний относительно этого проходимца. Каули бросил свой участок, когда начались преследования. Товарищи, с которыми он раньше работал, утверждали, что они его и в глаза не видели с тех пор, как он ушел, и что никаких прав на участок он не имеет. Каули поступил на службу в Хэннанское общество золотопромышленников — вот и все, что было о нем известно.

И тем не менее первым делом, назначенным к слушанию в Верховном суде, было дело Каули, а не Мак-Карти или Хорана, чьи дела уже давно были рассмотрены приисковым инспектором. Потом выяснилось, что приисковый инспектор сам передал дело Каули в Верховный суд. Конечно, союз решительно отмежевался от Каули и его процесса.

Старатели поняли, что это ловушка. Дела их были отложены по настоянию золотопромышленных компаний, стоявших за спиной издольщиков; компании рассчитывали, что суд примет по делу Каули решение, которое свяжет старателей по рукам и ногам. Но те только посмеивались. Нет, их на кривой не объедешь: дело было явно шито белыми нитками.

Лишь немногие из старателей подчинились новому закону и стали выплачивать компаниям долю за право добычи золота. Но их живо раскусили. Это подставные лица, говорили старатели. Кто же еще пошел бы на такое дело?

Когда один издольщик на Боулдере остановил свою подводу у отвалов Дэна Ши, Дэн спросил его, зачем он сюда явился. Издольщик ответил, что обрабатывает отвалы на отводе компании и хочет вывезти руду.

— И думать забудь! — сказал ему Ши.— Руда из моей шахты и отвалы мои.

На суде Ши признался, что взял лошадь под уздцы, отвел в сторону, отвязал веревку и опрокинул подводу.

Но издольщик клялся и божился, что Ши обругал его, отпихнул, начал грозиться, и двое полицейских, умышленно вертевшихся поблизости, чтобы попасть в свидетели, подтвердили его показания. Каждому было ясно, что все это подстроено от начала до конца. Тем не менее Ши упрятали за решетку.

Старатели решили, что будут по-прежнему вывозить песок с отводов Дэна. Утром стук в тазы созвал всех на собрание. Руководители союза объяснили положение: наступила пора действовать.

К отвалам Ши пригнали четыре подводы, нагрузили их песком и повезли на промывку за Браун-Хилл. Несколько сот человек шло следом, охраняя руду. В Браун Хилле их встретила кон-

ная полиция во главе с сержантом. Говорили, что какой-то издольщик с Боулдера потребовал, чтобы полиция арестовала старателей, вывозивших руду. Сержант Смит старался выиграть время. Он просил старателей подождать, пока не прибудут приисковый инспектор и начальник полиции Ньюлендс. Они уже в пути — хотят лично ознакомиться с делом.

Инспектор не приехал, а Ньюлендс и агент сыскной полиции Кэвенаф вскоре прибыли. Было совершенно очевидно, что они намерены отобрать подводы и арестовать возчиков. Но старателей в тот день лучше было не трогать. Когда конные полицейские пробились к подводам и стали тащить с сиденья возчиков и выхватывать у них вожжи, их оттеснили. Видя, что они окружены разъяренной толпой, полицейские отступили, а подводы под ликующие возгласы старателей продолжали свой путь.

Свалив груз, старатели вернулись к отвалам, снова погрузили подводы и доставили к месту промывки новую партию песка. Люди упорно работали весь день, не отступая от намеченного плана. Начальник полиции предупредил Майкла Бэрка, что это им даром не пройдет.

Между тем, отсидев свой срок в фримантлской тюрьме, на прииски вернулась первая партия арестованных в Аделине.

Им устроили торжественную встречу. Тысячи старателей с женами и детьми пришли на вокзал. Салли тоже пошла встречать Динни. Выпущенных из тюрьмы старателей посадили на линейку, запряженную четверкой лошадей, и под звуки оркестра, с реющими знаменами, шествие двинулось к центру города. Закрытый зонт, который несли впереди процессии, возбуждал всеобщее веселье и насмешливые возгласы зрителей, выстроившихся вдоль дороги. Население города восторженно приветствовало вернувшихся старателей и их товарищей, шагавших стройными рядами под ярким послеполуденным солнцем.

На скрещении улиц Маританы и Хэннана процессия остановилась, и начался митинг. Один за другим выступали старатели, заявляя, что гордятся делом, за которое борются, и своими товарищами, пострадавшими в этой борьбе. Духа старателей ничем не сломить. Союз будет продолжать борьбу за права старателей на россыпное золото. Хриплые взволнованные голоса ораторов тонули в громе аплодисментов.

— Мы знаем, что население Кулгарди, Калгурли, Кэнауны, Мэнзиса и любого города на приисках — с нами,— взобравшись на линейку, сказал Динни, когда и до него дошла очередь выступать.— Союз старателей привлек самых лучших адвокатов, и мы следуем их советам. Мы действовали с оглядкой, два года позволяли полиции забирать наших людей, веря в правоту нашего дела.

Когда одних сажали в тюрьму, другие становились на их место, чтобы сохранить право на участок. Юристы говорят, что издольщина — совершенно незаконный побор. Это подлый, предательский прием борьбы. На какие только гнусности и подлости не пускались законодатели в Перте, лишь бы одержать верх над старателями, но им это не удалось. И никогда им не удастся сломить дух людей, которые первыми открыли этот край, первыми разведали его и заселили. Союз старателей добивается равных прав для всех и борется против всяких привилегий.

Загремели аплодисменты. Аплодисменты в честь Динни Квина, в честь выпущенных из тюрьмы товарищей, в честь союза старателей, в честь дела, за которое они боролись. Затем процессия под звуки оркестра, с развевающимися знаменами, потянулась дальше, по длинной пыльной дороге к Боулдеру, где в гостинице «Биржа» вернувшихся из тюрьмы старателей ожидало угощение.

После этой демонстрации наступило временное перемирие между старателями с Аделины и издольщиками Боулдера. Роль посредников взяли на себя некоторые видные горожане, стремившиеся предотвратить столкновения. Старатели заявили, что прекратить работу они не могут. Что ж, им с голоду подыхать, что ли? Ведь им тоже перестанут отпускать в лавке в кредит. Однако они согласились не брать руду со спорных отвалов, пока суд не вынесет решения по делу, которое ведет союз. Но тогда пусть уж и издольщики не трогают этих отвалов.

— А кто поручится, что вы выполните свое обещание? — спросил городской комитет.

— Не было еще случая, чтобы старатель не сдержал своего слова,— гордо ответил Пат Мак-Грат.

А через неделю старатели обнаружили, что издольщики берут руду со спорных отвалов, и сообщили об этом приисковому инспектору. Тот предупредил издольщиков, что они должны это прекратить, иначе и старатели примутся за отвалы. Издольщики продолжали возить руду; старатели созвали общее собрание и постановили немедля приступить к работе.

На этот раз уже пятьсот старателей стояло на страже, пока их товарищи занимали отвалы. Пригнали четыре подводы и нагрузили их доверху.

Затем в сопровождении сотен старателей подводы тронулись к Браун-Хиллу. Навстречу им, во главе отряда конной полиции, выехал Ньюлендс. Он обратился к старателям, призывая их подчиниться закону. Ему ответили, что руда принадлежит тем, кто ее добыл, и старатели своего не отдадут. Если полиция вмешается, ей окажут сопротивление.

Ньюлендс приказал арестовать возчиков. Но старатели окружили подводы, произошла короткая стычка, и полиция отступила. Подводы двинулись дальше, а за ними, торжествуя, шли старатели, воодушевленные победой, исполненные решимости бороться до конца. Весь день они работали на своих отвалах и возили руду.

С юга пришло подкрепление: двадцать конных и пятьдесят пеших полицейских расположились лагерем на Боулдере.

Теперь на вывозку руды приходило свыше тысячи старателей. Полиция наблюдала, но не вмешивалась. По утрам проходили собрания, на которых обсуждался план действий, а по вечерам — массовые митинги. «Дисциплина и стойкость!» — твердили руководители. Все понимали, что назревает кризис. Но старатели больше, чем когда-либо, были полны решимости отстоять свое право на россыпное золото.

Однажды на рассвете, когда старатели еще не приступили к работе, на их участки нагрянула конная и пешая полиция и арестовала несколько человек.

«Калгурлийский горняк» следующим образом известил жителей города об этом событии:

«Кто посмеет отрицать, что наша полиция действовала с беспримерной отвагой и мужеством! Налет был произведен на рассвете, и тем не менее на участках оказалась уже чуть ли не целая дюжина старателей. И что же — для устрашения их потребовалось всего-навсего семьдесят полицейских, причем из них только двадцать конных! Это ли не доказательство изумительной стойкости наших блюстителей порядка! Надо также учесть, что полиция была вооружена только винтовками, револьверами, саблями и даже не прибегла к поддержке артиллерии. Такой подвиг не будет забыт... Нет никаких оснований сомневаться, что доблестные воины сумеют удержать свои позиции, пока не получат подкрепления».

ГЛАВА LIX

В воскресенье утром уже пять тысяч старателей собралось на боулдерском отводе для охраны пятнадцати подвод. Подводы выстроились одна за другой и повезли руду на Айвенго, где у старателей был чан для промывки. В толпе все чаще подымался ропот. Многие уже изверились в том, что от пассивного сопротивления будет какой-нибудь толк и что конфликт может быть разрушен судебным порядком. Но союз твердо проводил свою линию, призывая своих членов и сторонников не отчаиваться и не облегчать дело врагу актами самоуправства и насилия.

— Союз спаял нашу организацию, воспитал в этой армии бесстрашных и разгневанных людей железную дисциплину и верность долгу, приводившие в изумление и друзей и врагов,— говорил Динни.— Ведь это были горячие головы, крепкие, закаленные парни, они могли постоять за себя.

И каждый житель приисков понимал, что правительство с его политикой притеснений и несправедливости сидит на пороховой бочке и в любую минуту может взлететь на воздух. Наглость и тупость министров поражали всех.

Даже некоторые владельцы рудников и агенты иностранных компаний на приисках дивились выдержке старателей и их сплоченности. Уж они-то знали, какие силы действуют за кулисами, оказывая нажим на правительство, знали, что сэра Джона подстрекают принять крутые меры. И они опасались создавшегося положения, понимая, что долго так продолжаться не может. А что, как начнутся беспорядки? Ведь численный перевес — на стороне старателей. Иностранцы были за то, чтобы усилить полицейские части и даже создать местную охрану на боулдерских рудниках. Но те, кто знал старателей, понимали, что такие меры приведут к открытому столкновению, в котором не один старатель может сложить голову. И капиталисты чуяли, что тогда игра станет опасной. Нельзя победить людей, готовых на любые жертвы и объединившихся в беззаветной борьбе за свои демократические права.

Выступая на вечеринке, Уоллес Браунлоу спел популярную песенку, присочинив к ней новый куплет. Старатели подхватили песню, ее распевали повсюду — и на митингах и в трактирах:

В бой за свободу, горняки!
И будет побежден
Закон, лишивший нас земли,—
Бесправия закон.
Тесней ряды! Ни шагу вспять!
И, мощь сердец собрав,
Заставим даже горы встать
В защиту наших прав!

С этой песней старатели возили руду на промывку: они ругали на чем свет стоит навозную муху Хейра и пустоголовых законников в Перте. В трактире, сдвинув кружки с пивом, они клялись защищать свое дело и стоять друг за друга, пока каждый, у кого есть старательское свидетельство, не получит право добывать россыпное золото, как в прежние времена.

— Они запрятали наших товарищей в тюрьму,— гневно говорили старатели,— но нас тридцать тысяч! Пусть-ка сэр Джон попробует с нами управиться!

Всякий, кому повезло на золоте, жертвовал самородки в фонд союза. Не было человека, который не опустил бы в кружку хоть несколько шиллингов в пользу заключенных в тюрьму товарищей, их жен и детей. Люди побогаче вносили крупные суммы на гонорар адвокатам, другие давали по фунту стерлингов неделю, чтобы старатели не нуждались в пище и табаке.

С каждым днем становилось все ясней, что столкновение между полицией и старателями неминуемо. Видные горожане стали подумывать, как бы предотвратить беспорядки. Спешно было созвано совещание, на котором священник О'Горман, мэр города, приисковый инспектор Джон Кирван и представители союза наметили план мирного разрешения конфликта. А на то время, пока правительство будет рассматривать предложенное соглашение, было объявлено перемирие.

Но ответ правительства не принес ничего утешительного: делегация, посетившая премьера, не могла ничего от него добиться.

Иск о конфискации отвода Айвенго, поданный Миком Мэньоном, еще больше накалил атмосферу.

Мик утверждал, что отвод был внесен в список владений, подлежащих конфискации за неуплату аренды, и что компания не соблюдает надлежащих условий эксплуатации отвода. В доказательство этого Мик привел следующие факты: в течение трех дней никакой работы на отводе не производилось, лестница в шахте разрушена, а владелец опреснительной установки не является служащим компании.

Чарли Моран заявил в ответ, что министр горной промышленности вычеркнул этот отвод из списка подлежащих конфискации за неуплату аренды, а намерение правительства компенсировать компанию само по себе является ее юридическим признанием. Мик, конечно, дело проиграл. Приисковый инспектор вынес решение, что отвод нельзя было эксплуатировать, потому что на его территории находились старатели, а следовательно, лишить синдикат «Айвенго» права на отвод было бы несправедливо.

Старатели встретили это решение насмешками. Еще одно доказательство, говорили они, как закон используется у нас против старателей, в интересах компаний.

Политика союза, признающего только легальные формы борьбы и пассивное сопротивление, вызывала все большее недовольство старателей.

Но руководители союза по-прежнему настаивали на том, что нельзя давать правительству повода обращаться со старателями, как с буйной, неорганизованной массой.

— Мы боремся за правое дело,— заявил Пат Мак-Грат.— Мы не какие-нибудь плуты и мошенники, нам нечего стыдиться,

мы действуем открыто. Потому-то мы и не побоялись сообщить полиции свои фамилии. Мы готовы отстаивать свои права перед беспристрастным трибуналом и будем добиваться таких законов, которые шли бы на благо народа, а не кучки продажных политиков.

Пусть так, говорили старатели. Но ребята волнуются, недовольство растет. Полицейские разгуливают, вооруженные до зубов. Если они пустят в ход оружие, убьют или ранят кого-нибудь из старателей, ребята не стерпят. Мало ли что может случиться под горячую руку! Каждый имеет право защищать себя. Кто же может равнодушно смотреть, как убивают его товарищей, и не схватиться за оружие? Но, конечно, первым в драку никто не полезет. Каждый понимает, что может этим погубить дело, и все поклялись не подавать виду, что у них есть чем защитить себя, и не применять оружия, пока полиция не откроет огонь.

— Мы демонстрируем свой боевой дух, когда провозим подводы с рудой мимо полиции,— говорил Майкл Бэрк.— И мы будем это делать до тех пор, пока новый закон, изданный в угоду монополистам и богачам и не дающий честным труженикам зарабатывать себе на хлеб, не исчезнет из свода законов.

ГЛАВА LX

Столкновения ожидали в воскресенье утром. Все старатели были в сборе, готовые защищать товарищей, грузивших руду, и охранять подводы. Под громкое «ура» восемнадцать подвод не спеша тронулись в путь, растянувшись цепочкой по красной земле под ярко-синим небом. Одной из них правил Динни, следом за ним ехал Крис Кроу.

Пусть только полиция попробует остановить их! Сегодня здесь собралось восемь тысяч человек, готовых на все. Решено было ни на какие вопросы полицейских не отвечать и не называть имен. Говорили, что кое у кого из руководителей есть револьверы, а неподалеку от места, где ожидалась стычка, припрятаны ружья. Если только полиция сунется, на этот раз не обойдется без кровопролития.

Конные полицейские стояли в некотором отдалении от толпы и следили за работой старателей. Они были начеку но ничего не предпринимали.

До начала работы и в обеденный перерыв Мак-Грат и другие ораторы выступали перед старателями. Они призывали их брать только свою руду, соблюдать порядок и дисциплину и не задирать полицейских, но если те станут вмешиваться, продолжать рабо-

ту, как было решено. И пусть каждый будет готов к тому, что сегодняшний день может ему дорого обойтись. Нельзя поручиться, что кого-нибудь не засадят в тюрьму на несколько лет.

— Ничего, нас не запугаешь! — кричали в толпе.

— Помните, ребята, что наша борьба — это великая борьба за правое дело,— крикнул Пат Мак-Грат.— Мы хотели добиться справедливости мирным путем; теперь нам остается только одно — показать, что мы своего не уступим!

Старатели работали до самого вечера без всяких помех. А на следующий день были назначены муниципальные выборы и большинство старателей ушло в город голосовать.

Вот тут-то, после полудня, когда на каждом участке оставалось не больше двух-трех человек, двадцать восемь конных полицейских во главе с сержантом Смитом, инспектором Коннолли и в сопровождении нескольких агентов в штатском расположились на Айвенго, за конюшней, возле дома управляющего. Агенты в штатском, на которых никто не обратил внимания, подошли к старателям и арестовали их. Сопротивляться было бесполезно. Арестованных погрузили на подводу и под конвоем двенадцати конных полицейских отправили в калгурлийскую тюрьму.

Подвода, которой правил туземец-охотник под надзором полицейского, вернулась на Айвенго. При помощи той же уловки полиция арестовала еще нескольких старателей, в том числе Майкла Бэрка, Дэна Ши и Пата Мак-Грата.

Когда старатели узнали о том, что произошло, все кинулись к полицейскому управлению. Тысячная толпа кричала, свистела, улюлюкала, выражая свою ненависть и презрение к правительству и полиции, и шумно приветствовала арестованных. На крышу управления полетели камни. Билл Король и еще несколько человек из Кэноуны грозились разнести в щепы шаткое строение и освободить товарищей. Но Мэллоки О'Дуайр удержал их, напомнив, что они поклялись свято выполнять решения союза.

К полицейским казармам и тюрьме согнали всю городскую полицию. Полицейские, вооруженные винтовками с примкнутыми штыками, выстроились перед толпой. Трудно было найти более верный способ окончательно разъярить старателей и заставить их потерять голову. Толпа бурлила. Что одержит верх — взрыв возмущения, вызванный этой наглой провокацией, или сила убеждения вожаков?

Мэллоки удалось удержать толпу; он увлек за собой старателей в город, на митинг. На перекрестке двух улиц, вскочив на подводу, он произнес речь, полную огня и юмора. Мэллоки О'Дуайр был прекрасный оратор и красавец собой. Исполин шести футов росту, с гривой золотистых волос и пышной бородой, он

походил на героя ирландских саг. Никто лучше его не умел увлечь людей за собой.

В тот вечер он убеждал старателей не давать врагу в руки оружие против себя — не громить тюрьму, не вступать в драку с полицией. Правительство только и ждет случая обвинить старателей в бунте. Он напомнил им, что они стоят за правду и справедливость, и все честные люди, умеющие отличить правду от лжи, на их стороне. До сих пор старатели сумели, не поддавшись ни на какие провокации сохранять дисциплину и быть верными принятым решениям. Действуя опрометчиво, сгоряча, они погубят организацию и лишат себя возможности продолжать борьбу. А теперь, когда засадили за решетку чуть ли не всех руководителей, бороться нужно еще решительнее, еще упорней. Бороться до конца, пока самонадеянные олухи из Перта не получат по шее и старатели не вернут себе права на россыпное золото.

На Мэллоки О'Дуайра смотрели теперь как на вожака. Куда бы он ни пошел в тот вечер, охрана из двух-трех сотен старателей следовала за ним по пятам. Узнав, что у тюрьмы опять собралась толпа, он отправился туда, опасаясь, как бы кто-нибудь, подвыпив, не натворил беды. Кое-кто из ребят, пропустив стаканчик, стал не в меру шумлив и буен. Цепь полицейских по-прежнему стояла, направив штыки на толпу. Когда начальник полиции Коннолли вышел отдать распоряжение, старатели зашумели, стали напирать на него и не дали ему говорить. Тут Коннолли приказал полицейским очистить улицу, и они врезались в толпу.

— Никогда я этого не забуду,— рассказывал Динни.— Впереди — цепь полицейских со штыками наперевес; позади — конная полиция с саблями наголо. Они гнали народ с улиц его родного города, словно какой-то бездомный сброд. Сволочи проклятые! Ух, и чесались же у нас руки с ними сцепиться! Но мы были безоружны. А будь у нас те ружья, что мы припрятали, мы бы живо с ними разделались, перебили бы всех до единого. Ребята наседали на Мэллоки, чтобы он дал сигнал. Но Мик Мэньон и Джон Ризайд его удержали. Мэллоки повел бы нас в бой, если бы это было организовано заранее, а так вот, очертя голову, бросаться в драку он не хотел.

Выпустить арестованных под залог власти отказались, хотя за них от имени союза хлопотал отец О'Горман и некоторые другие видные горожане.

А наутро, рапым-рано, после наспех созванного заседания суда приискового инспектора, арестованных впихнули в поезд и отправили во Фримантл. Весь расчет был на то, чтобы дело слушалось не в местном суде. Адвоката обвиняемых даже не известили, и он ничем не мог им помочь.

Такой вопиющий произвол вызвал новую бурю негодования. На митинге старателей и горожан в Боулдере была принята резолюция, в которой говорилось, что «содержание на территории приисков полувоенных полицейских отрядов — мера чрезвычайно опасная и несовместимая с принципами самоуправления». Ни в одном другом австралийском штате полицию не держат под ружьем для устрашения граждан, говорили старатели.

Динни Квин взошел на трибуну. Он выразил в своем выступлении гневные чувства всех собравшихся.

— У старателей отняли их исконные права, а теперь правительство угрожает народу штыками, чтобы заставить его подчиниться грабителям. В основу горного законодательства Западной Австралии было положено законодательство Квинсленда, по которому разрешение на разработку руды дается через два года после заявки, и если россыпное золото и за это время не успеют выбрать, то срок еще увеличивается. Но спекулянты не желают ждать два года, им не терпится выпустить в Лондоне акции под свои участки — вот они и снюхались с правительством Форреста. Сначала они соглашались оставить старателям россыпи. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. Стоило предпринимателям получить золотоносную руду, как их потянуло на рассыпное золото. И в недобрый час правительство нарушило слово, данное народу. Даже согнав на прииски всех полицейских из Перта, оно не заставит нас подчиниться такому беззаконию.

Эта попытка «править, опираясь на силу штыков», взбудоражила все прииски; об этом только и разговору было. Горожане и старатели вспоминали слова Джона Форреста, обращенные всего несколько месяцев назад к представителям союза: «Если я приставлю вам штык к груди и скажу «сдавайтесь», вам это вряд ли понравится».

Город бурлил, все ругали приискового инспектора, полицию и правительство. Грандиозный митинг протеста состоялся в калгурлийском загородном парке.

Мужчины, женщины и дети высыпали на улицу приветствовать демонстрацию. Старатели с Аделины прошли через весь город со знаменами и плакатами под звуки трех оркестров, а впереди на сером жеребце ехал мировой судья Патрик Уилэн. Толпа читала надписи на плакатах и кричала хором:

— Старательское золото и старательские права — старателям!

— Справедливость и правосудие для всех!

Десять тысяч горожан присоединились к демонстрации и в парке, стоя на солнцепеке, слушали ораторов, выступавших на

двух трибунах. Мэр, Фимистер, Франк Воспер, Джон Кирван, отец О'Горман и Джон Ризайд выступали один за другим, обращаясь к народу. Их речи прерывались то рукоплесканиями, то гневными возгласами — народ выражал свое сочувствие старателям и осуждал правительство.

Мировой судья Уильям Бертон произнес взволновавшую всех речь:

— Я пришел сюда не для того, чтобы призывать народ к восстанию. Но у нас есть все основания возмущаться. Кто, видя зло, которое терпит народ на приисках, может остаться равнодушным? И мы заявляем: если этому не положат конец, мы будем действовать, и действовать решительно.

Все знали, что открытие золотых приисков спасло Западную Австралию, когда она стояла на краю банкротства. И тем не менее, хотя здесь было сосредоточено более половины всего населения штата, прииски, по существу, не были представлены в органах самоуправления. Платя огромные налоги, приисковые города по-прежнему страдали от недостатка воды и отсутствия электричества, нуждались в больницах и школах, не имели самых элементарных удобств и санитарных условий и то и дело становились жертвой пожаров и эпидемий. Прииски были основным источником дохода для государственной казны, и вместе с тем должны были довольствоваться самым незначительным представительством в законодательном собрании.

— «Калгурли — курочка, которая несет золотые яйца»,— говорят люди. И что же? С нами считаются меньше, чем с какими-нибудь лондонскими биржевыми акулами и земельными спекулянтами. Десяток семейств на юге воображают, что им позволят хозяйничать в стране. Забрали себе большинство мест в парламенте и хотят издавать законы, которые им по вкусу, и командовать приисками с помощью вооруженной силы!

Речь Уильяма Бертона свидетельствовала о серьезности положения. Если даже этот тихий, набожный старичок заговорил таким языком, не мудрено, что старатели еле сдерживались. Бертон только выразил то, что думал народ. Приходилось удивляться, как это старатели до сих пор не восстали. Только их вера в организацию и дисциплина, которой руководство союза неукоснительно требовало от своих членов,— вот что предотвратило кровавое столкновение с полицией.

Теперь что бы ни случилось, какие бы ни произошли беспорядки, вплоть до кровопролития,— в глазах общественного мнения ответственность за это легла бы на тупое и продажное правительство Форреста. Старатели долго терпели и показали свою выдержку. Ведь их были тысячи — тысячи здоровых, крепких пар-

ней, у которых кровь кипела в жилах и руки сами сжимались в кулаки.

После недавних арестов и отправки старателей без суда и следствия во Фримантл — их напихали в вагон, как сельди в бочку, и целых тридцать шесть часов проморили без сна и пищи — никто не стал бы винить старателей за то, что они сопротивляются дальнейшим арестам и защищают своих товарищей. А после того как жители города испытали на собственной шкуре, каково иметь дело с полицией, после того как их, словно скот, сгоняли с улиц, угрожая штыками, они поняли, что такая грубая расправа может ожесточить любого и заставить очертя голову броситься в драку.

Ведь штык в руках полицейского означал: «Сторонись, не то убью!»

Население приисков не могло простить этого правительству. Оно не могло простить ему, что конная полиция с саблями наголо бросалась на народ — на старателей, не повинных ни в каких преступлениях, на женщин и детей, находившихся в толпе. И это в их родном городе, в их Калгурли, который они своими руками построили в безводной пустыне, где стояла только кучка грязных палаток! В их городе, которым они по-хозяйски гордились!

Народ видел в этом поругание всех демократических принципов. Многие из тех, кто раньше только сочувствовал движению старателей, теперь присоединились к их борьбе, ибо им стало ясно, что эта борьба касается всех, она ведется за лучшие условия жизни для всего населения приисков.

Таково было настроение многотысячной толпы, собравшейся на митинг в загородном парке Калгурли.

Когда на трибуне появился Воспер, его встретили бурей оваций. Народ видел в этом высоком, одетом во все черное человеке, с длинными развевающимися волосами и тонким бледным лицом, защитника прав и свобод рабочего класса. Спокойным звучным голосом он обратился к разгневанной толпе, стараясь разумом и логикой победить безрассудство некоторых горячих голов. Он призывал организованно и сплоченно, как и прежде, давать отпор притеснителям, но не прибегать к насилию.

Есть еще пути добиться справедливости для населения приисков, сказал он. Общественное мнение во всех штатах Австралии на стороне старателей. Отовсюду поступают средства в фонд помощи. Есть надежда отвоевать больше мест в законодательном собрании. И хотя последнее решение судьи Хенсмана, вынесенное на основе нового закона о добыче золота, было против старателей и в пользу издольщиков и компаний, средства легальной борьбы далеко еще не исчерпаны.

Сами судьи признают, что и теперь еще подлежит большому сомнению, можно ли отрицать юридическое и моральное право старателей на россыпное золото. Верховный судья Онслоу указал на то, что в законе нигде прямо не сказано, что золото это является собственностью владельцев отводов. Судья Стоун высказался в том же духе и даже еще решительнее. Кто же в таком случае может винить старателей, если они отказываются признавать судебные решения и подчиниться закону, изданному для того, чтобы уничтожить плоды их победы?

Когда недавно правительство проиграло дело в суде присяжных, оно подало апелляцию в Тайный совет за счет народных средств. А старатели лишены этой возможности, потому что им такие расходы не по карману. Как же можно от них требовать, чтобы они мирились с такой несправедливостью?

В толпе послышались крики:

— Нет уж, хватит, довольно мы потерпели!

— Старательское золото — старателям!

— Долой правительство Форреста!

— Самоуправление приискам!

Воспер предложил резолюцию: «Перед лицом нынешнего кризиса, вызванного неопределенностью законов и плохим управлением, собрание требует, чтобы правительство приняло срочные меры для восстановления справедливости по отношению к старателям». Резолюцию поддержали, но многих, жаждавших более решительных действий, она не удовлетворила.

Отец О'Горман, молодой священник-ирландец, более точно выразил настроение собравшихся:

— Есть лишь один способ успокоить разгневанные сердца,— сказал он.— Это — вернуть старателям дарованное им богом право на россыпи, а компаниям пусть остается рудное золото.

Рассказывали, что в пылу гнева и возмущения, вызванного арестом Майкла Бэрка, Дэна Ши, Тэсси Ригана и других, отец О'Горман крикнул Мэллоки О'Дуайру:

— Что же ты теперь намерен делать?

— Не знаю,— ответил Мэллоки.

— Не знаешь?— накинулся на него священник.— Думаешь только о своей поганой шкуре? В Ирландии небось знал бы, а тут, в Австралии, где еще сильнее прижимают, не знаешь?

О'Дуайру, как говорят, пришлось долго доказывать отцу О'Горману, что все обязаны следовать решениям союза и что, громя тюрьмы и вырывая отдельных арестованных из лап полиции, немногого достигнешь. Вот когда у рабочих есть своя мощная организация, то, опираясь на нее, они могут добиться гораздо большего. Отец О'Горман, как видно, в конце концов с ним согла-

сился, так как стал очень энергично добиваться, чтобы арестованных выпустили на поруки, и всячески старался заручиться поддержкой населения.

Динни, посмеиваясь, рассказал, что от епископа пришло письмо, в котором тот требовал, чтобы отец О'Горман воздержался от политической деятельности. При этом епископ намекал, что участие отца О'Гормана в борьбе старателей за россыпное золото вызывает недовольство премьера, сэра Джона Форреста.

— А кто он такой, Джон Форрест? — спросил отец О'Горман.— Я с ним не знаком. И письмо это — не плод мысли его преосвященства, оно продиктовано этим человеком — как его... Джоном Форрестом. Я бросил эту бумажку в мусорную корзину.

Говорили, что отец О'Горман принадлежит к ордену, который может позволить себе не слишком считаться с местными церковниками. Так или иначе, но отец О'Горман продолжал бороться за дело старателей. Более популярного священника еще никогда не было на приисках.

Когда на митинге кто-то сообщил, что выдан ордер на арест Мэллоки О'Дуайра, толпа заволновалась, зашумела. Впрочем, все знали, что Мэллоки умеет ловко водить полицию за нос, и потешались, вспоминая его проделки.

— Слыхали, как он вчера от конной полиции улизнул? — рассказывал кто-то в толпе.— Сидит в баре у Мак-Суини, совещается с ребятами и вдруг через застекленную крышу видит чью-то рожу. Шпик! Мэллоки обождал, пока тот не уполз, а потом благополучно смылся. Конная полиция окружила дом, а его и след простыл.

— Они думали накрыть его в «Бирже». Он зашел туда пропустить стаканчик. Так целый эскадрон полиции нагрянул. Мы выпивали за стойкой, огляпулись, а Мэллоки нет, будто и не бывало. Полицейские рыщут повсюду, все вверх дном подняли, ругаются, что их обдурили... А ребята еще подзадоривают их, хохочут; тем впору хоть сквозь землю провалиться!

Все с удовлетворением прислушивались к этим рассказам, и каждый подвиг Мэллоки встречался раскатами веселого смеха и восторженными возгласами. Шутки и поговорки, стихи и песни, которые Мэллоки сочинял для старателей, передавались из уст в уста, вселяя бодрость и уверенность в своих силах и вдохновляя на достижение тех целей, во имя которых и был созван этот большой митинг на открытом воздухе.

В окончательной резолюции, принятой митингом, которую Динни так свято хранил и с такой гордостью всем показывал, говорилось следующее:

«Если правительство откажется поступать со старателями по справедливости и справить все причиненное им зло, собравшиеся на этом митинге клянутся немедленно перейти к действию и покончить раз и навсегда с невыносимой тиранией пертского парламента, которую терпят жители приисков».

Тысячи людей, одобрившие эту резолюцию единым могучим «ура» и восторженными кликами, разошлись по домам, окрыленные надеждой, что отныне для них начнется новая, лучшая жизнь.

Теперь политиканам Юга уже нельзя будет ссылаться на то, что «кучка бездомных прощелыг и лодырей» мутит и разжигает недовольство, или сэру Джону Форресту утверждать, что «зловредная и бесчестная» пресса якобы намеренно раздувает сообщения о растущей тяге к самоуправлению на приисках.

На этом многотысячном митинге в Калгурли высказались все слои населения. Народ, живущий на приисках, поднял свой голос. Громко и ясно он заявил, что дело старателей — это дело народа и что создание самостоятельного приискового штата — вовсе не бредовая идея горстки недовольных. Эту цель поставили себе все жители приисков, добиваясь справедливого демократического представительства и желая войти как самостоятельная единица в федерацию австралийских штатов.

Таковы были требования. Это была крепкая палица, занесенная над головой правительства Форреста.

ГЛАВА LXI

Решения, принятые на митинге в Калгурли, стали немедленно проводиться в жизнь. Тотчас же была созвана конференция в Кулгарди. На ней присутствовали представители от муниципалитетов всех приисков, и шестьюдесятью голосами против одного они высказались за отделение приисков.

Был составлен проект учреждения самостоятельного штата с портом Эсперанс. Разветвленная сеть железных дорог должна была связать этот порт с приисковыми городами внутри страны, что не только облегчило бы и ускорило доставку пассажиров и грузов, но и сделало бы Кулгарди, Калгурли и другие отдаленные поселения независимыми от Перта и Фримантла. Мысль эта распространилась с быстротой лесного пожара. Повсюду созывались массовые митинги, принимались резолюции, и, наконец, в парламент была подана петиция. Но на Юге к этому отнеслись, как к шутке,— там не понимали нужд населения приисков. Правительство, разумеется, отклонило петицию.

Правительство Форреста упорно противилось созданию федерации и этим только лило воду на мельницу сторонников отделения. В конце концов сэр Джон все же решил провести референдум, но в основу опроса был положен сбивчивый и крайне искаженный текст билля о федерации. Маневр этот никого не обманул.

Некто Морганс, магнат-золотопромышленник, представлявший Кулгарди в законодательном собрании, был и против федерации и против отделения. Избиратели решили его отозвать, но господин Морганс отказался выполнить их требование и обвинил движение в «подлости и вероломстве».

Старатели и рудокопы немало поиздевались над этим заявлением. Трудно подыскать более меткое определение поступкам самого почтенного депутата парламента, говорили они.

К тому времени отец О'Горман был уже отозван. Он собирался в Лондон и обещал довести до сведения знакомых ему депутатов палаты общин о всех невзгодах и притеснениях, которые терпит народ на приисках.

Припомнили, что Джон Морли, выступая в палате общин перед самой войной с бурами, сказал министру по делам колоний господину Джозефу Чемберлену:

«Ради утверждения своего главенства вы ставите такие условия Трансваальской республике, которые никогда не посмели бы поставить ни одной вашей самоуправляющейся колонии».

На что Чемберлен ответил:

«Если самоуправляющаяся британская колония поставила бы британских подданных в такие условия, в которые поставлены британские подданные в Трансваале, я утверждаю, что мы бы вмешались и положили этому конец».

— Что ж, это сказано достаточно ясно,— говорил Динни.— Руководители движения за отделение приисков снеслись с членами палаты общин, которые берутся напомнить господину Чемберлену его слова, когда будет обсуждаться петиция населения золотых приисков.

Была заказана роскошная шкатулка, собраны тысячи подписей. Наклеенная на белый коленкор петиция от жителей приисков к ее величеству королеве Виктории вместе с подписями к ней была в добрую милю длиной и призывала британское правительство удовлетворить их просьбу о создании на приисках самостоятельного штата, отделенного от Западной Австралии, но входящего в австралийскую федерацию.

Население приисков, оказывая сопротивление правительству Форреста, могло рассчитывать на поддержку других штатов. Требование приисков об отделении их и включении в федерацию

сыграло решающую роль в общей кампании за создание Австралийского союза.

Все другие штаты провели у себя референдумы и приняли предложение о федерации. Только население Западной Австралии было лишено возможности изъявить свою волю по этому вопросу.

Некоторое время никто не знал, что предпринял министр колоний. Потом стало известно, что он послал сэру Александеру Онслоу, губернатору штата и представителю английской королевы в Западной Австралии, телеграмму, в которой предлагал разъяснить правительству Форреста настоятельную необходимость для Западной Австралии включиться в федерацию австралийских колоний. При этом подчеркивалось, что приискам может быть предоставлено право отделиться, если Западная Австралия не войдет в федерацию.

Горе-политики в Перте запутались в собственных сетях. Перед сэром Джоном встала дилемма: либо распрощаться с приисками, либо вступить в федерацию. Спешным порядком через обе палаты прогнали закон, предоставляющий право голоса всем мужчинам и женщинам, прожившим в штате не менее года; это устранило ограничения в избирательном праве, существовавшее для населения приисков, и предрешило исход референдума.

Старатели гордились тем, что они дали почувствовать правительству Форреста силу и организованность демократического движения и что благодаря им на Западе был выигран бой за федерацию.

Воспер, Мик Мэньон и большинство первых организаторов союза старателей считали, что успехи эти — лучшее доказательство правильности их политики «спокойного и твердого пассивного сопротивления».

Но Динни, Пат Мак-Грат, Майкл Бэрк, Мэллоки О'Дуайр и многие старатели, участвовавшие в борьбе на протяжении всей кампании, говорили, что если этого, может быть, и было достаточно, то только для начала. Старатели получили возможность сплотиться, создать мощную дисциплинированную организацию. Однако правительство капитулировало лишь после того, как политика пассивного сопротивления потерпела крах и стало ясно, что старатели готовы перейти к боевым действиям. Общественное мнение было разбужено, и родился страх перед новой Эврикой. Конечно, то, что старатели защищали правое дело, укрепляло их позиции. Но на правительство Форреста это ведь не подействовало. Крепкая организация и активный боевой дух — вот что решило дело и заставило министерство колоний принять срочные меры для успокоения умов.

Как-то вечером у Мика Мэньона «Диннин старик Кроу», прислушиваясь к спорам, разгоревшимся вокруг этого вопроса, пробурчал, по своему обыкновению, что-то себе под нос.

— Что это ты бормочешь, Крис? — спросил Мик.

Крис вечно сыпал цитатами из поэтов, пророков и древних философов, и на него смотрели почти как на оракула.

— Клеобул говорит,— произнес Крис,— что «великим может быть лишь то государство, граждане которого более страшатся хулы, нежели кары».

В то время как политиканы в Перте суетились, точно растревоженные муравьи, арестованные старатели предстали перед судом.

Их привезли обратно в Калгурли, а дело передали на рассмотрение Апелляционного суда в Кулгарди. Было совершенно очевидно, что ни один суд на золотых приисках не признает старателей виновными и что дело лучше прекратить.

Правительство теперь хотело только одного: по возможности с меньшим позором для себя положить конец этому спору и избежать новых столкновений. При создавшемся положении Мэллоки О'Дуайру посоветовали самому явиться в полицию, чтобы его дело слушалось вместе с другими.

Наконец настал радостный день, когда прокурор объявил, что отказывается от обвинения, и старатели с триумфом возвратились домой.

ГЛАВА LXII

В то время как на приисках шли бурные собрания и митинги, происходили аресты, судебные процессы, демонстрации, Олф продолжал заниматься обыденными делами по эксплуатации своего рудника. Так, по крайней мере, он привык о нем думать — как о своем, хотя и посмеивался иногда над собой. Ни грана золота, ни винтика в машине не принадлежало ему на Мидасе. Он не имел ни акций, ни контракта, которые давали бы ему право на долю в прибылях.

И все же рудник, такой, каким он стал сейчас, был его детищем, его созданием, сложным механизмом, который он заставлял производить ценности. Штейгер и рудокопы, инженер и механики, техники и конторщики — все до единого кляли мистера Брайрли за то, что он не давал им ни отдыху ни сроку.

Примитивные методы разработки повредили руднику с первых дней его существования. Это был один из самых старых рудников на приисках. Из него хищнически выгребли все богатые руды, а потом он стоял заброшенный около двух лет. Когда его снова ввели

в эксплуатацию, он первое время приносил только убытки — не менее тысячи фунтов в месяц.

Никто не отрицал, что Олф Брайрли сотворил чудо с Мидасом. Став управляющим, он добился того, что уже через месяц рудник начал давать доход, а через полгода после того, как была открыта новая залежь, вышел на одно из первых мест по добыче.

Нелегкое это было дело — ползать по темным сырым штрекам, изучая состав отработанных пластов, и нащупывать алмазным буром места для новых выработок. Он не помнил себя от радости, когда на глубине ста двадцати футов напал на богатую залежь, вскрыл ее и стал добывать руду. Эти забои до сих пор питали его рудные лари.

Олф знал рудник, как мальчишка знает свою заводную игрушку,— старую, заржавленную заводную игрушку, которую он сам почистил, смазал и пустил в ход. Он знал на память каждый изгиб и поворот путаных ходов шахты, каждый гезенк и скат, каждое нехитрое приспособление для откатки и дробления руды. Он капитально отремонтировал оборудование и машины; подновляя, усовершенствуя, изобретая, изучил каждое слабое и сильное звено в цепи производственного процесса.

Сидя у себя в конторе, где на стенах висели планы рудника, а на столе лежали синьки с чертежами машин, которые он мечтал заказать, Олф всем своим существом ощущал биение пульса кипящей вокруг работы.

Из окна он мог видеть главную шахту, наблюдать, как рабочих лебедкой спускают под землю; он мысленно следил за клетью, представлял себе, как она, ударяясь и хлюпая об ослизлые стены шахты, спускается на дно, к нижнему горизонту. Он видел перед собой рудокопов, которые, ссутулясь, с мерцающим фонарем в руках, пробираются в сырой, промозглый мрак забоя. Видел, как они, чертыхаясь, чтобы заглушить страх, приступают к работе в опасных восходящих выработках; слышал, как жужжит и ревет бур, как с грохотом рушится порода, после того как запальщик бросится прочь от зажженного шнура.

День и ночь в его ушах стоял грохот сыплющейся по скатам руды. Глухо, размеренно стучали песты ненасытной толчеи. Олф бранился, обзывая бездельниками и лодырями отвальщиков породы, когда ему казалось, что они двигаются, как сонные мухи. Он беспокоился, что начатая к югу от залежи проходка штрека на соединение со слепой шахтой идет слишком медленно. Если хочешь повысить добычу — надо спешить.

Беда с этими старыми рудниками! Американские инженеры уверяли, что они ничуть не лучше корнуэльских, на которых добывали руду сотни лет назад. Олф стыдился своего рудника, который

расползся во все стороны без всякого плана и не имел даже необходимой вентиляции,— ничего, в сущности, что могло бы уменьшить опасность работы в забое. В старых выработках во многих местах свод обвалился, в некрепленых кровлях слышались подозрительные шорохи и потрескивания. Не мудрено, что рудокопы отказывались там работать. Олф установил кое-где крепления, стремясь улучшить условия работы, но они по-прежнему были ужасны, по-прежнему ежечасно грозила опасность обвалов, поломок, простоев.

Олф настаивал перед правлением на необходимости генеральной перепланировки рудника, устройства новой вентиляции и крепежной системы. Но ему отвечали, что не станут рассматривать никаких планов, которые могут потребовать больших затрат в ближайшем будущем.

Олф догадывался, в чем тут дело. Рудник собираются продать. Разговор с Пэдди Кеваном подтвердил его подозрения, хотя Олф и говорил себе, что смешно придавать значение словам мальчишки. Олф, в сущности, достиг только одного: доказал своим хозяевам, что рудник может давать доход. Вероятно, они попытаются теперь сбыть его с рук, пока добыча растет.

А тем временем на плечах Олфа лежала ответственность за управление рудником, необходимость поддерживать добычу на определенном уровне. И он взвалил на себя этот груз, который с каждым днем становился все тяжелее. Но его гордость и престиж требовали, чтобы Мидас сохранил то место, которое он ему завоевал.

Олф приобрел репутацию умного и способного управляющего «старой школы», который честно и добросовестно служит своим господам. Завоевать такую репутацию ему было нелегко. Его знания и методы основывались на собственном практическом опыте рудокопа и на отрывочных сведениях по технике, геологии и металлургии, нахватанных им у разных специалистов, с которыми он работал на всех стадиях развития горного дела. Никто лучше его не сознавал собственных недочетов, и никто так не завидовал блестящим молодым людям с университетскими дипломами, которые прибывали на рудники из Германии или из Америки по приглашению крупных компаний. С работниками такого типа, как Олф, пока еще как-то считались, потому что они знали страну, изучили свое дело непосредственно на приисках. Однако все чаще во главе рудников ставили технически образованных пришельцев.

Эти инженеры все в один голос говорили о примитивной и хищнической добыче золота на боулдерских рудниках и всюду в окрестностях Калгурли. Впрочем, заявляли они, большинство рудников погубила не столько плохая система горных работ, сколько совсем уже никуда не годные способы обработки руды. Они вводили

открытые забои, тогда как австралийские управляющие предпочитали заваливать отработанные забои пустой породой, чтобы избежать дезинтеграции рудника.

Олф был уверен, что янки ошибаются, что время докажет превосходство австралийского метода. Но рудокопы все еще работали с кайлом и буром при свете фонаря со свечой; бурение шло всухую, при помощи допотопных поршневых перфораторов, и в забоях все время стояла пыль. Люди задыхались в дыму от взрывных работ. Тысячи горнорабочих погибали от чахотки. Плохие крепления, изношенные механизмы приводили к несчастным случаям. Чуть ли не во всех рудниках, где забои пролегали в слабом грунте, то и дело происходили обвалы.

Не так давно на Мидасе произошел крупный обвал. Два рудокопа погибли. Золотопромышленная компания «Мидас» добилась, конечно, решения об «отсутствии вины». А вина, разумеется, была. Олф думал об этом с содроганием: он не мог забыть эти изуродованные трупы и лица рудокопов, которые, рискуя жизнью, под нависшим над их головами тысячетонным сводом, грозившим каждую минуту рухнуть, старались извлечь своих товарищей из-под груды земли и гальки. Сколько мужества и самоотверженности проявили тогда горняки, и это казалось им самым естественным делом!

Олф мучительно переживал этот случай; ведь еще год назад он представил смету на устройство креплений и вентиляции в этом забое. Но ему ответили, что сейчас нужно думать о другом — о сокращении расходов и увеличении прибыли.

— Если забойщик не будет бояться обвала, производительность труда увеличится,— доказывал Олф.— В безопасных условиях рабочий удвоит выработку.

Но все было напрасно. Люди ведь стоили дешевле крепежного леса. Их ничего не стоило заменить!

Однако кое-что в том забое дирекции придется теперь сделать, думал Олф. Американцы только плечами пожимали, когда видели условия, в которых велись подземные работы на некоторых рудниках Боулдера.

— Куда это вы меня привели? — накинулся на Олфа огромный техасец, которому он показывал рудник. Техасец даже не пытался скрыть свой страх, когда увидел, в каком состоянии находится кровля над жильным месторождением, которое они осматривали.

— Уф,— вздохнул он с облегчением, выйдя из опасной зоны.— Ведь эта махина может в любую минуту обрушиться!

— Ничего, еще несколько месяцев постоит,— небрежно ответил Олф, которого задел пренебрежительный тон посетителя.

— Как видно, вы считаете, что если господь бог послал вам золото, то достаточно выгрести его наружу да пропустить через допотопную толчею! — язвительно заметил американец.— Не толчея, а какое-то ископаемое! Оставляет почти столько же, сколько вырабатывает. Да у вас на одних хвостах можно нажить состояние. Модест Марианский говорил мне, что у вас даже теллуристые руды идут в отвалы.

— Ну еще бы, ведь мы даже улицы золотом мостим,— отпарировал Олф.— Марианский никогда не забывает упомянуть, что нашел несколько недурных образцов в щебне.

Американец усмехнулся:

— Некоторые весьма видные люди говорят, что будущее этого города зависит от разрешения проблемы сернистых руд. Я лично делаю ставку на наши новые машины — они, безусловно, сократят потери.

Эти сложные новые машины, дробившие руду и сухим и мокрым способом на мельчайшие частицы, годные для цианирования и хлорирования, произвели на Олфа большое впечатление. Он мечтал установить их на Мидасе. Но дирекция приисков считала, что на старых толчеях обработка идет хоть и медленнее, да проще. Они предпочитали держаться старинки, пока новые американские машины не докажут своего превосходства на деле.

Мистер Брайрли по этому поводу даже слегка повздорил с дирекцией. Дирекцию беспокоило сейчас появление на определенной глубине сернистых руд и вопросы их обработки.

То, что называли «колчеданное пугало», уже давно волновало золотопромышленников. И Большой Боулдер и Объединенный находились в трудном положении именно из-за того, что там во всех проходках натыкались на сернистые руды. Хотя вся группа рудников на Боулдерском кряже пользовалась славой богатейших в мире, ходили слухи, что запас окисленных руд здесь ограничен. Только в сланцах и в коренной золотоносной породе у поверхности имелись месторождения с высоким содержанием золота, а добываемые на глубине колчеданы, содержащие теллуриды золота, представляли, казалось, меньшую ценность.

Контракт Зэба Лейна с Боулдерской компанией обогатительных заводов на обработку хвостов и сернистых руд Большого Боулдера подтвердил этот слух. Контракт предоставлял обогатительной компании исключительно выгодные условия. Потом выяснилось, в чем тут дело. Компанию обогатительных заводов финансировал «Большой Боулдер». Председатель, некоторые из членов правления и служащие рудника Большой Боулдер были одновременно пайщиками Боулдерской компании обогатительных заводов. Вокруг этой скандальной аферы поднялся большой шум, но все кончилось

ничем, поскольку подобные трюки по выкачиванию денег из кармана держателей акций считались обычным, вполне законным делом. Проблема сернистых руд так и осталась неразрешенной и вызывала беспокойство у промышленников и падение акций на фондовой бирже.

Старатели опасались, что затруднения, которые испытывают золотопромышленники с сернистыми рудами, приведут к новой попытке лишить трудовой народ россыпного золота. Но Олф был уверен, что проблема обработки сернистых руд будет разрешена и даже возродит золотопромышленность края. Его очень интересовали опыты Калланана на Лейк-Вью: дробление, цианирование, обработка на фильтр-прессах и предварительный обжиг сернистых руд.

— На поверхности, может быть, руды и богаче,— говорил он,— но ведь золота не становится меньше оттого, что мы еще не научились извлекать его более совершенными способами. Сернистые руды не могут погубить Калгурли.

И Калгурли не погиб. Олф, правда, не дожил до этого дня, ему не пришлось увидеть, как высокие фабричные трубы выбрасывают желтые ядовитые клубы дыма, заволакивая звездное небо над Золотой Милей и принося миллионные доходы тем, кто по дешевке скупил акции во время колчеданного кризиса.

ГЛАВА LXIII

Олф уже давно ждал этого; и все же для него было ударом, когда правление известило его, что рудник продан французскому синдикату и что его представитель, господин Поль Малон, находящийся в настоящее время в Калгурли, намерен немедленно вступить во владение. Мистеру Брайрли выражали благодарность за ценные услуги, которые он оказал компании, и просили его содействовать передаче рудника и служебных помещений новым владельцам.

Олф, не теряя времени, отправился к господину Малону, который имел свой кабинет в конторе Фриско. Но не Малон, а Фриско встретил его по поручению Малона и его синдиката.

— Олф, здорово! — воскликнул Фриско, как всегда, сияя жизнерадостностью и благодушием.— Сигару?

Фриско протянул ему через стол коробку сигар, и, не дожидаясь, пока Олф закурит, продолжал:

— Малон просил меня повидаться с тобой. Уж до чего же он доволен, что ему удалась эта сделка с компанией «Мидас»! Непокладистый народ — уперлись на своем: давай им двадцать тысяч

фунтов! По нынешним временам цена немалая. Но я посоветовал Малону ударить по рукам. У нашего синдиката денег хватит. На днях мы купили Глорию и Юго-Западный. Скоро выпустим акции.

Фриско, вероятно, еще долго продолжал бы болтать о Малоне и о Парижском золотопромышленном синдикате, о его планах и о той роли, которую играет в нем мистер де Морфэ — ее агент и местный эксперт,— если бы Олф не заподозрил, что Фриско намеренно затягивает разговор, наслаждаясь сознанием своего могущества.

— Я вот что хочу знать,— напрямик спросил Олф,— как обстоит дело со мной?

— Да, конечно, конечно! — Фриско тотчас принял озабоченный вид.— Очень жаль, дружище, но ты знаешь этих иностранцев. Хотят всюду насажать своих людей, установить новые машины и показать нам, как надо эксплуатировать рудники.

— Ну, знаешь,— не выдержал Олф.— Никто не выжал бы из этой рухляди больше, чем я!

— Это самое я и говорил Малону,— покровительственно заявил Фриско.— Но синдикат должен пристроить кое-кого из своих людей, горных инженеров с дипломом, и — только это между нами, Олф,— я слышал, что один из них уже приглашен на твое место. Я уговаривал Малона оставить тебя на руднике, ну хотя бы штейгером, но...

— Премного благодарен,— сухо прервал его Олф.— Я не собираюсь расписываться в неумелом руководстве, чтобы доставить удовольствие вашему синдикату. Будь здоров!

Он нахлобучил шляпу и вышел из конторы.

Олф понимал, что не так-то просто устроиться теперь на другой рудник. Жесточайший кризис надвигался на прииски. Даже акции Калгурли, наиболее устойчивые из всех, упорно падали уже целый месяц. Крупные партии акций были выброшены на рынок, и это чуть было не создало паники.

Сначала закрылся Объединенный, потом несколько мелких рудников. Другие, как, например, Маритана, сдавались издольщикам, которые обходили рудник с обушком, выбирая все, что можно, из старых пластов. Поговаривали, что дни процветания Большого Боулдера пришли к концу, что он никогда уже больше не удивит мир неслыханной добычей чистого золота. А будущее бедных руд, по выражению одного специалиста, «терялось в сияющей неизвестности». Теллуристые руды и разрешение проблемы «колчеданного пугала» могли, конечно, совершить чудо. Но пока что ходили слухи о слиянии Айвенго и Подковы, а также некоторых других рудников. Рабочих увольняли, держатели акций разорялись, и все уча-

щавшиеся случаи банкротств и самоубийств отбрасывали зловещую тень на золотые прииски.

Не мудрено, что Фриско потирает руки, провернув для Малона и его французского синдиката эту продажу Мидаса, с горечью думал Олф. Не так-то много сейчас охотников покупать рудники, а Фриско небось получил неплохие комиссионные.

Олф криво усмехнулся, думая о том, сколько труда вложил он в Мидас — а для чего? Только для того, чтобы Фриско сорвал хороший куш, а его самого выставили вон. Ну что ж, счастье на войне переменчиво, утешал себя Олф, а золотая промышленность такая же жестокая штука, как война. Вроде этой бурской кампании! Да, это самая настоящая война, война крупных финансовых тузов против всех мелких держателей акций.

Владельцы рудников во всем винили старателей — их борьбу за россыпное золото. В этом они видели причину и падения курса на бирже, и отсутствия покупателей на акции западноавстралийских рудников. Но дело обстояло иначе.

С первых дней существования приисков мелкие вкладчики в Австралии и за океаном то и дело становились жертвой всевозможных афер, жульнических проектов, спекуляций. Крупные воротилы смотрели на биржевые манипуляции с акциями рудников как на свой законный бизнес, но широкая публика уже начинала требовать защиты своих интересов законодательным путем, считая, что грабить держателей акций, скрывая от них информацию, на которую они имеют не меньше прав, чем крупные вкладчики,— то же самое, что залезать человеку в карман.

Всем было известно, что большинство членов правления, получая секретную информацию от своих управляющих, использует ее для обмана мелких держателей акций и личного обогащения. Когда с рудника поступали хорошие вести, они намеренно распускали тревожные слухи, а потом скупали по дешевке все выброшенные на рынок акции, чтобы поживиться, когда придет время сообщить об открытии новой богатой жилы или о высоком содержании золота в руде.

Это делалось постоянно и стало самым обычным явлением. Настолько обычным, что не так давно члены правления одного акционерного общества в Лондоне были искренно возмущены, когда местные пайщики узнали о богатом содержании золота в партии руды одновременно с ними. Управляющего рудником предупредили, что это не должно больше повторяться. Служащих компании обвиняли в «недобросовестности» и увольняли с работы за то, что они передавали местным пайщикам внутреннюю информацию, пользоваться которой члены лондонского правления считали своей исключительной привилегией.

Олф не без злорадства вспоминал о том, как однажды в Лондоне мелкой рыбешке удалось одержать верх. Заподозрив обман и перехватив каким-то образом телеграмму управляющего рудником к своему брату, группа держателей акций созвала общее собрание акционеров и выгнала вон засевших в правлении акул.

Скандал с Объединенным и контракт «Большого Боулдера» с Боулдерской компанией обогатительных заводов открыли глаза широкой публике, показав, что в золотопромышленных кругах даже люди с именем не брезгуют обманывать рядовых акционеров, если им такой случай представляется.

Более ловкого фокуса, чтобы обмануть доверие акционеров, чем контракт между «Большим Боулдером» и обогатительной компанией, не придумаешь!

«Большой Боулдер» попал в затруднительное положение, его окисленные руды были почти исчерпаны. Тогда, как говорили, Зэб Лейн рекомендовал правлению компании заключить контракт с Боулдерской компанией обогатительных заводов на обработку хвостов и сернистых руд. Контракт обеспечивал обогатительной компании на первое время 0,15 унций золота с тонны руды и сорок процентов от всей добычи, а все остальное должно было идти компании «Большой Боулдер». В результате получалось, что руды с содержанием золота выше одной унции Большой Боулдер обрабатывал сам, а доходы от сульфидов и хвостов делил с Боулдерской компанией. На рудах с незначительным содержанием золота золотопромышленная компания получала огромный доход, тогда как Большой Боулдер не мог окупить расходов.

Тем временем акции Большого Боулдера и некоторых других рудников Боулдерского кряжа продолжали неуклонно падать. Они котировались вдвое ниже, чем полгода назад. Два акционера, почуяв что-то неладное, потребовали расследования, и обман выплыл наружу.

Компания «Большой Боулдер» нашла средства — ни больше ни меньше, как 20 000 фунтов стерлингов — на финансирование Боулдерской обогатительной компании. Зэб Лейн и еще несколько членов правления «Большого Боулдера» одновременно входили в правление Боулдерской обогатительной компании. Они держали в руках контрольный пакет акций и использовали обогатительную компанию, чтобы выколачивать деньги из акционеров «Большого Боулдера».

Наряду с этим члены правления «Большого Боулдера» в качестве доверенных лиц акционеров делили между собой кругленькую сумму в 4500 фунтов ежегодно и, как учредители, были хорошо обеспечены акциями, которые им достались почти что задаром.

— «Большой Боулдер» — старейшая золотопромышленная компания Западной Австралии,— сказал Билли Барнет, когда карты были раскрыты.— Она платила огромные дивиденды, и хотя многие считали это личной заслугой господ членов правления, я думаю, что золото все-таки создал господь бог, а правление только установило тридцатипестный толчейный стан.

Он готов признать, что «наши директора могли быть движимы самыми возвышенными и благородными чувствами, на какие только способны члены правления акционерного общества». Но тем не менее они заключили, мягко выражаясь, «непозволительную сделку» за счет своих акционеров.

— Могли с таким же успехом просто подарить рудник боулдерским обогатителям, чего там церемониться,— крикнул с места другой акционер. И вызвал язвительный смех аудитории, когда указал на статью контракта, в которой говорилось, что «Боулдерская обогатительная компания обязана принять все меры к тому, чтобы не допускать утечки золота, вследствие хищений или недобросовестности».

Крах Объединенного еще глубже вскрыл закулисные махинации золотопромышленников и цель, к которой они были направлены.

Заокеанские владельцы крупных золотопромышленных предприятий не столько были заинтересованы в добыче золота, сколько в биржевой игре. Члены правления компании, их родные и знакомые наживались на выпуске акций «липовых» золотоносных участков едва ли не больше, чем на акциях богатейших рудников. Добыча золота стала средством мошеннического ограбления людей легковерных, а сами рудники — чем-то вроде «темных лошадок», истинные достоинства которых владелец скаковой конюшни хранит в тайне.

Колебаниями на фондовой бирже заправляла могущественная кучка лондонских финансистов. Понять их игру было не так легко, но Олф достаточно на нее насмотрелся и примерно догадывался, что они играют на понижение и создают депрессию, чтобы прибрать к рукам все мало-мальски стоящие рудники на приисках. «Австралийские вкладчики сидят в печенках у английских дельцов»,— сказал однажды в его присутствии приезжий магнат. Политика этих дельцов, видимо, заключалась в том, чтобы задушить мелкого независимого австралийского вкладчика и скупить его акции, а потом возродить рудники, поднять цены на акции и создать вокруг калгурлийских приисков новый бум.

Что это Зэб Лейн сказал на завтраке в управлении Южного Калгурли? — вспоминал Олф. Ах да, что «прииски сейчас попали в трудную полосу, но он уверен, что скоро для всего района насту-

пит эра процветания». А Ричард Гамильтон, управляющий Большого Боулдера, не стал спорить насчет «трудной полосы», но добавил, что путь к оздоровлению надо искать в «дешевой обработке большого количества бедных руд».

Все это хорошо, думал Олф. Но тем временем население приисков может передохнуть с голоду. Великое счастье еще, что в борьбе за россыпное золото победили старатели — быть может, они спасли этим приисковые города от страшного бедствия. Россыпи в руках народа — это в какой-то степени материальная сила, которая сохраняет деньги в стране и создает оборот. Если бы старатели проиграли, снизилась бы и заработная плата на рудниках.

Динни говорил, что у рабочих есть особое чутье: они чувствуют, когда надвигаются бедствия. Потому-то они с таким ожесточением и боролись против всякого посягательства на свои права, против всех грабительских замыслов английских финансовых тузов. Но их борьба была в то же время направлена и против своих доморощенных капиталистов. Ставя личную наживу выше национальных интересов и демократических принципов, местные богачи готовы были продать страну заокеанским акулам, лишь бы сохранить свои вклады в иностранных акционерных компаниях. Только мужество и решимость старателей спасли Западную Австралию от этого предательства.

Злоупотреблениям с акциями необходимо положить конец законодательным путем, думал Олф. Нужно содействовать развитию отечественной промышленности и добиться, чтобы прииски и вся страна пользовались богатством, которое извлекают из рудников.

Неправда, что золото в рудниках исчерпано. Олф верил в богатства Золотой Мили и всего края. Растянувшийся за городом горный кряж с его выветрившимися в ходе веков скалами, хранил в себе богатейшие в мире месторождения.

В нижних горизонтах почти всех рудников на Боулдерском кряже крылись неисчерпаемые запасы бедных руд. Их ценность теперь подвергалась сомнению, но Олф верил металлургам, утверждавшим, что рентабельная обработка теллуристых и сернистых руд — только вопрос времени.

Олф не сомневался, что в этих залежах столько золота, что его с избытком хватит на то, чтобы обеспечить безбедную жизнь всему населению приисков. Вместо жалких хибарок, лепившихся к склону горы, вместо зловонных проулков, где из помоек, заражая землю и воздух, сочились нечистоты, люди получат хорошие, удобные жилища и нормальные санитарные условия. Городу нужны свет, вода, школы, больницы, парки.

Уже много тонн золота было добыто здесь и отправлено за океан. Там кто-то купался в роскоши, проматывая миллионы фунтов стерлингов. Эти люди и понятия не имели о лишениях, которые претерпели старатели, открывая эти приски, о тяжелой, никогда не прекращающейся борьбе за существование, которую они ведут и сейчас, особенно в периоды кризиса или жестоких засух.

Олф с горечью думал о своей вине перед старателями и не пытался себя оправдать. Он проклинал свою слабость, свой страх потерять работу. Он получил по заслугам. Кто станет доверять человеку, который изменил старым товарищам, пусть даже находясь в других условиях, чем они.

Ведь что он сделал? Из кожи вон лез, чтобы увеличить прибыли своих хозяев, и готов был помогать им грабить старателей, хотя и знал, на чьей стороне правда. Все время он себя за это презирал; не мог даже скрыть своего сочувствия к старателям перед управляющими и владельцами рудников. Ну вот, теперь от него отвернулись и те и другие. Не так-то легко будет ему найти место, и на разведку теперь уж не пойдешь. Динни с ним порвал, да и какой уважающий себя старатель свяжется с человеком, который предал товарищей?

ГЛАВА LXIV

Лоре грустно было покидать свой белый домик в тени зеленых перечных деревьев, который Олф построил для нее неподалеку от рудника. Но мидасовская компания потребовала, чтобы дом освободили для нового управляющего, и супруги Брайрли переселились в довольно неприглядную хибарку на Боулдерском шоссе. Хибарка была из старого, насквозь проржавевшего листового железа, ветхая-преветхая. Ничего другого не удалось сейчас найти, беззаботно говорила Лора. Придется потерпеть, пока Олф не устроится на работу.

Лора не сомневалась, что ее муж очень скоро получит место управляющего на каком-нибудь другом руднике. Олф каждый день уходил в город и кочевал там из трактира в трактир, из клуба в клуб, надеясь встретить какого-нибудь золотопромышленника, который возьмет его на работу. Но таких, как он, было немало. Люди, которые, подобно ему, не имели ни специального образования, ни диплома, с трудом находили работу, а те, у которых были дипломы, но не было опыта, соглашались на любые условия, лишь бы этот опыт приобрести.

Приисковую Ассоциацию управляющих рудниками возглавляли теперь ученые специалисты; они требовали, чтобы в горное законодательство была включена статья, запрещающая принимать на

должность управляющего людей без диплома. Олф понимал, что рано или поздно люди без специального образования будут вытеснены из золотопромышленности.

Но человеку с таким опытом, как у него, можно все-таки доверить управление рудником. Разве он не доказал этого своей работой на Мидасе?

Некоторые промышленные компании помельче пока еще предпочитали иметь дело с управляющими старого типа, коренными колонистами, будь они с дипломами геологов и горных инженеров или вовсе без дипломов, ибо эти люди знали страну и немало проработали под землей. Владельцы же крупных английских и американских предприятий привозили своих инженеров из-за океана и относились с пренебрежением к австралийским геологам и металлургам.

Рудники закрывались, безработица росла, и промышленники приписывали это истощению золотоносных руд, падению курса акций и борьбе старателей за россыпное золото. Но Олф догадывался, что дело не так просто. Его не покидала мысль о том, что между иностранными промышленниками существует тайный сговор, цель которого — окончательно прибрать к рукам промышленность страны. Финансисты и управляющие рудниками, с которыми Олф продолжал встречаться в надежде, что он сумеет произвести на них благоприятное впечатление и они возьмут его на работу, всячески поносили старателей и критиковали правительство, не сумевшее расправиться с «непокорной чернью».

Проходили недели и месяцы, и каждый вечер Олф возвращался из города домой усталый и подавленный. Сначала он старался не подавать виду, как плохи его дела, и выходил из дому в белом костюме и соломенной шляпе. Но мало-помалу он опустился — ходил в засаленных брюках с пузырями на коленках, стал выпивать, стремясь заглушить нараставшее в нем отчаяние. Нередко можно было видеть теперь, как он, пошатываясь, бредет по дороге.

Лора беспокоилась. Олф совсем потерял сон, говорила она. Ходит полночи взад и вперед по веранде. Такой стал нервный и раздражительный — слова сказать нельзя.

— Я, конечно, понимаю — его мучит то, что он сидит без работы. Просто ума не приложу, что делать! — восклицала она.

Теперь Лора снова стала наведываться к Салли, чтобы излить свое горе, и они дружили по-прежнему, словно и не было между ними размолвки. Эми опять играла с мальчиками, а Лора жаловалась на угнетенное состояние мужа.

— Как-то на днях я встретила мистера де Морфэ в городе и рассказала ему про Олфа,— призналась Лора.— Он обещал помочь. «Скажите Олфу, чтобы он не унывал. Я ему найду работу».

Лора очень расстроилась, когда Олф предложил ей поехать на время к родителям — «пока мы еще не все деньги прожили»,— сказал он. Это предложение обидело и раздосадовало Лору. Родители Лоры никогда не одобряли ее брака с Олфом, и только удача, которая сопутствовала ему первое время, кое-как примирила их с ним. Лора изредка писала матери, сообщала об успехах Олфа, о том, что у нее родилась дочка. Нет, родители не должны знать, как плохи у них дела, ни под каким видом! Они станут бранить Олфа, говорить, что она «погубила свою жизнь», что они ей это всегда предсказывали. Лора даже расплакалась при мысли о том, что Олфа будут называть неудачником, говорить, что он сбыл с рук жену и дочку, когда у него пошатнулись дела. Нет, нет, ни за что она не поедет домой!

Почему бы ей самой не зарабатывать деньги? Она тоже может пустить постояльцев, как это сделала Салли. Наконец, она может давать уроки пения и музыки, даже играть на рояле в ресторанах. Пэдди Уилен, хозяин «Трилистника», и Мак-Суини, хозяин «Звезды Запада», просто помешаны на музыке, и не раз после ужина в ресторане она по их просьбе аккомпанировала певцам.

Но тут уж Олф пришел в бешенство. Сказал, что все это говорится только для того, чтобы его унизить. Он скорее пустит себе пулю в лоб, чем позволит ей надрываться, обслуживая постояльцев, как миссис Гауг, или, еще того хуже,— играть для пьяных мужиков в ресторанах.

А когда Лора рассказала ему о своем разговоре с мистером де Морфэ, Олф закричал, что она вешается Фриско на шею, непристойно ведет себя с ним. Просто ужас! Бедная Лора. Она забыла все свои великосветские замашки, стараясь свести концы с концами,— ведь Олф давал ей теперь так мало денег на хозяйство! С утра до ночи она мыла, скребла, чистила свой домик-развалюшку, стирала, гладила, чинила белье, чтобы Олф и Эми всегда выглядели прилично; и ведь никто не знал, чего ей это стоит. И всегда при этом старалась быть веселой, подбодрить Олфа, показать ему, что она может, когда нужно, легко переносить любые лишения.

Фриско не спешил сдержать свое слово и устроить Олфа на работу.

Наконец Олф подавил свое самолюбие и сам отправился к Фриско, решив взять любую работу, какую тот ему предложит. Фриско был полон благожелательства и не скупился на посулы, а на следующий день обо всем забыл; впрочем, повстречав где-нибудь Олфа, он всякий раз обнадеживал его.

— Не вешай нос, старина! Что-нибудь подвернется. Я дам тебе знать, как только раскопаю какую-нибудь подходящую работенку.

— Чтоб ему пусто было! — бранился Олф.— Ему просто нравится заноситься и важничать передо мной.

Моррис слышал, что Фриско сам сейчас на мели. Он был втянут в драку двух конкурирующих групп иностранных капиталистов, и его изрядно пообщипали. Фриско смеялся над своими неудачами и продолжал жить на широкую ногу, но поговаривали, что он уже превысил свой кредит в банке и был поставлен об этом в известность.

Зато у Морриса этим летом дела было по горло. Смерть косила людей на приисках — стариков и юношей, грудных младенцев и матерей. В больничных бараках люди валялись прямо на полу; эпидемия тифа была особенно свирепа в тот год.

Впрочем, хоронить покойников стало теперь далеко не таким прибыльным делом, как раньше. Доход приносили главным образом дорогие, богато отделанные гробы, пышные похоронные обряды с обилием различных аксессуаров, а на это у людей не было денег.

Если лавочникам и трактирщикам часто приходилось теперь кормить людей в долг, то Моррису приходилось в долг хоронить. Столько было безработных рудокопов, столько старателей, согнанных с россыпей или работавших под постоянной угрозой преследований, ареста, тюремного заключения! Число должников росло.

Если бы собрать все долги, говорил Моррис, не о чем было бы и тужить. Но он слишком давно уже жил на приисках, чтобы в трудную минуту не помочь старым приятелям. Это всегда считалось здесь самым естественным делом, и когда человеку приходилось туго, он, не задумываясь, шел к своему товарищу.

Моррису очень хотелось помочь Олфу; он предложил ему привести в порядок бухгалтерские книги и счета и ломал себе голову, подыскивая ему еще какой-нибудь заработок, когда Олф вдруг объявил, что устроился на место.

Да, Олф получил работу. И сразу стал совсем другим, опять походил на прежнего Олфа — веселого, простодушного, уверенного в себе.

— А ну-ка угадай, кто теперь мой хозяин! Нипочем не угадаешь! — весело сказал он.— Ладно, так и быть, тебе, Моррис, я скажу, только это между нами, смотри не проболтайся!

— Да уж как-нибудь.

— Пэдди Кеван!

Моррис поморщился. Можно ли связываться с таким прохвостом!

— Да, меня это тоже смущало,— признался Олф.— Но я видел его бумаги — они в порядке.

Олф рассказал Моррису, как Пэдди Кеван перехватил его однажды по дороге домой, когда Олф работал еще на Мидасе, и

намекнул, что поможет ему устроиться на работу, если его уволят с рудника. Олф не обратил тогда внимания на его слова, думал, что Пэдди просто так, зря болтает. Ему даже в голову не пришло обратиться к Пэдди, когда французский синдикат купил рудник и взял другого управляющего, хотя Пэдди и предупреждал его, что так будет. Он каким-то образом знал все наперед.

И вот на днях Пэдди явился к Олфу и предложил ему место управляющего на Золотом Пере. Пэдди сам работал на этом руднике, но одновременно он был одним из главных пайщиков предприятия. Подставным лицом, на имя которого приобретались паи, был Пит Уоткинс, а дружок Пита, Айк Пеппер, работал на руднике управляющим. Но Айка недавно хватил удар, и он уехал на юг к дочери.

Золотое Перо было в плохом состоянии, добыча резко упала. А рудничок хотя и небольшой, но вполне надежный, сказал Пэдди. Фриско уже нацелился на него, но Пэдди не хочет выпускать его из рук. Ему нужен человек, который сумел бы наладить дело и соблюдать его интересы.

— Вы, Олф, и Динни Квин — самые порядочные люди на приисках,— заявил Пэдди.— Но Динни больше старатель, чем рудокоп, не слишком-то много смыслит в рудничном деле, не чета вам. Я бы хотел, конечно, заполучить вас обоих к себе на Золотое Перо. Ну, да у нас с вами дела пойдут на лад!

Олф сказал, что подумает, навел справки, узнал, что Патрик Алоизиус Кеван является фактическим владельцем Золотого Пера и, кроме того, обладателем довольно солидных пакетов акций других предприятий, и подписал с ним контракт.

Пэдди оказался не слишком щедрым хозяином, но, в общем, условия, предложенные им Олфу, были не так уж плохи,— на большее управляющий таким скромным рудником, как Золотое Перо, и не мог претендовать. Олфу так не терпелось снова приняться за работу, что он не стал торговаться с Пэдди. Попросил только, чтобы ему было предоставлено жилье поблизости от рудника. Пэдди отвел ему небольшой домишко из гофрированного железа с баком для воды и ванной комнатой, служивший прежде пристанищем Айку Пепперу, и Лора сказала, что на первое время тут можно недурно устроиться.

— Ах, черт возьми! — Моррис никак не мог освоиться с мыслью, что мальчишка Пэдди — фактический владелец рудника и человек с деньгами. Олф рассказал Моррису, что у Пэдди одних только ценных бумаг по меньшей мере на сто тысяч фунтов стерлингов, и, надо полагать, этим его состояние далеко не исчерпывается. Но Пэдди не желал, как видно, открыто занять подобающее

ему место в мире промышленников и финансистов; считал, что он большего добьется, оставаясь в тени.

— Говорит, что ему повезло на бирже и он вложил деньги в Золотое Перо,— рассказывал Олф.— И жалуется, что все время нужно остерегаться, чтобы какая-нибудь акула не выхватила у него его добычу.

— А мы-то думали, что у него гроша за душой нет, когда он свалился тут в тифу прошедшим летом,— проворчал Моррис.— Послушал бы ты, как он молил Салли не отправлять его в больницу. «Я там помру!» — кричит. Салли выходила его. У нее просто духу не хватило выставить его за дверь. «Как подумаю,— говорила она,— что кто-нибудь из моих мальчиков может свалиться так же вот, как Пэдди, и всем будет наплевать — выживет он или умрет!» Она была уверена, что Пэдди гол как сокол, но надеялась, что он расквитается с ней за расходы потом, когда начнет работать. Держи карман шире! Он и не подумал! А ведь и тогда был богаче нас всех, скотина этакая!

— Да, придется мне держать ухо востро с моим новым хозяином,— хмуро сказал Олф.— С самого начала было видно, что он продувная бестия и будет всякими правдами и неправдами пробивать себе дорогу. Помнишь, Морри, как мы говорили об этом както раз в походе?

Моррис кивнул.

— Пэдди годами околачивался на аукционе,— сказал он.— Думаю, что ему еще и шестнадцати не было, когда он уже спекулировал на акциях, словно какой-нибудь прожженный биржевик.

Олф невесело усмехнулся.

— Похоже, что он смыслил в этом деле больше, чем мы с тобой, Морри.

— А какую штуку он выкинул с папашей Баггинсом, когда тот поручил ему собрать с ребят деньги за стол! — заметил Моррис.— Рудокопы расплачивались с Баггинсом «джимом», и Пэдди без зазрения совести удерживал себе некоторую долю со всего золота, которое он с них собирал. Когда ребята подняли шум, что папаша Баггинс их обсчитывает, проделки Пэдди выплыли наружу. И все же ни ребята, ни папаша Баггинс не могли притянуть Пэдди, потому что он тогда бы вывел их на чистую воду.

Олф рассмеялся. Ему захотелось вдруг взять Пэдди под защиту.

— Нельзя винить Пэдди в том, что он сквитался с Баггинсами. Помнишь, как ребята задавали ему трепку? А ведь, в конце-то концов, почти все наши приисковые тузы начали свою карьеру с того, что обобрали какого-нибудь простофилю. А что делают акционерные компании? Как они объегоривают вкладчиков?

Да он и не винит Пэдди, сказал Моррис. Мальчишка просто плыл по течению. Удивительно только, как ему везло. Но все-таки Олфу не следует слишком-то доверять своему новому хозяину.

— А какому хозяину можно доверять?

— Тоже верно,— согласился Моррис.

— Знаешь, Морри, а все-таки я до черта рад, что могу опять приняться за дело! — взволнованно воскликнул Олф.— Восстановить рудник, наладить работу, добиться высокой добычи золота — это, как ни говори, захватывающая штука, ничуть не менее увлекательная, по-моему, чем построить, например, корабль. Приятно чувствовать, черт возьми, что ты создаешь все это своими руками. Природа тебе наперекор,— а ты гнешь ее в дугу, заставляешь себе подчиниться. Тут, понимаешь ли, спорт, азарт, торжество человеческой мысли. Если бы только не эти проклятые спекуляции, которые губят нашу промышленность! Если бы могли освободить ее от иностранного контроля! Я верю в наши боулдерские месторождения. Убежден, что там столько золота, что и за сто лет не выбрать. Но нам нужно законодательство, которое положило бы конец спекуляциям и аферам, так чтобы страна увидела наконец какую-то пользу от своих огромных природных богатств.

— Что такое? Покушение на священные права капитала? — насмешливо протянул Моррис.— Осторожнее, сэр. Это же преступные, изменнические речи, черт побери! Советую вам держать язык за зубами, Олф Брайрли, не то вы прослывете крикуном-социалистом, вроде Динни Квина и Криса Кроу, которые мутят народ на приисках.

Олф вздохнул:

— Я жалею, Морри, что это не так. Я жалею, что не боролся вместе с Динни и со всеми товарищами за россыпное золото. Может быть, я не чувствовал бы себя сейчас такой заезженной, никому не нужной приисковой клячей.

ГЛАВА LXV

Издавна самым большим событием на приисках были ежегодные скачки. Для старожилов Хэннана — старателей, трактирщиков, лавочников — посещение скачек являлось делом чести. Всем был памятен тот день, когда на равнине у озера был нанесен скаковой круг и все впервые собрались туда, чтобы сообща повеселиться.

Потом, словно куколка, превратившаяся в нарядную бабочку, из золотоискательского поселка вырос город Калгурли. Широкие

улицы, с которых были выкорчеваны все пни; вокзал, почтовая контора из песчаника; магазины с большими витринами; кирпичные здания гостиниц. Скаковой круг был теперь обнесен оградой, была воздвигнута высокая трибуна. В далекое прошлое отошли те дни, когда почтовая контора помещалась в хибарке из гофрированного железа и парусины, а приисковый инспектор творил суд в дырявой палатке. Исчез и прежний дух товарищества, который объединял всех в те далекие годы, когда не хватало пищи и воды и неписаный закон золотоискателей сурово карал тех, кто действовал в ущерб общему благу.

За последние годы город Калгурли приобрел дурную славу, и старожилы винили в этом бурно развивавшуюся промышленность; это не мешало им, однако, с гордостью взирать на лес копров, разросшихся по всему Боулдерскому кряжу, на расползавшиеся от него все дальше по равнине Калгурли и Боулдер. Улицы этих городов были вымощены чистым золотом, если верить Модесту Марианскому, который нашел золото в щебне. Когда на приисках начался застой, Модест Марианский укатил в Германию, чтобы посоветоваться со своими патронами, владевшими на приисках отводами и рудниками. Сам он, как никто, был полон непоколебимой веры в благополучное разрешение колчеданной проблемы, в блестящее будущее бедных руд.

Марианский поднял шум вокруг теллуристого золота. Это он привлек внимание к богатым теллуристым рудам Калгурли, имеющим, по его мнению, огромную ценность. Рассказывали, что он прямо-таки плясал от восторга, когда осматривал пласты рудника Калгурли, залегающие на глубине ста футов. Он заявил, что ничего равного этому нет и в рудниках Колорадо.

А на рудниках Австралия и Калгурли теллуристые руды выбрасывались в отвалы. Их принимали за пириты. Какой-то старатель, застолбивший себе там участок, кипятил котелок над очагом, сложенном из кусков этой руды, и обнаружил, что под действием огня на поверхности руды выступило золото. Он и его напарник не стали терять времени даром.

Теллуристые руды, предрекали многие, спасут Калгурли. Наступит новая эра процветания. Правда, предстояло еще решить ряд проблем переработки этих руд. От этого зависело будущее золотодобывающей промышленности. Марианский и большинство иностранных металлургов утверждали, что эти проблемы могут быть и будут разрешены в самом непродолжительном времени. Почти во всех больших рудниках прииска, заявляли они, под окисленными рудами верхних пластов, на глубине двухсот — трехсот футов залегают сернисто-теллуристые руды.

Динни сам беседовал об этом с Марианским.

— Никаких тугоплавких минералов нет в этих рудах,— объяснил Марианский Динни.— Порода состоит из золота, серебра, теллура, железа и серы. При обжиге теллур выгорает вместе с серой, после чего золото извлекают путем амальгамации или цианирования. Основную массу золота можно извлечь, не прибегая даже к цианированию. Наибольшее затруднение представляет извлечение золота из шламов. Применение фильтр-прессов дает возможность отделять золото от более крупных частиц измельченной руды и должно произвести переворот в золотодобывающей промышленности. Таким образом, остается только разрешить задачу извлечения остатков золота из шламов.

Несмотря на застой в делах и растущую неуверенность в завтрашнем дне, все те, кто открывали когда-то эти прииски и содействовали расцвету города, не падали духом; они верили в будущее приисков и не теряли надежды, что скрытые глубоко под землей богатства будут извлечены на поверхность, когда вкладчики преодолеют свое недоверие, а финансовые и промышленные воротилы примирятся с тем, что им не удалось прикарманить себе все россыпное золото страны.

Итак, застой застоем, а население Калгурли готовилось к скачкам. Из окрестных лагерей старатели и рудокопы стекались на розыгрыш кубка Калгурли. Глядя на веселую, праздничную толпу, трудно было поверить, что приискам грозит кризис, заработки падают и рудники закрываются один за другим.

Толпа мужчин, женщин и детей заполнила ипподром; многие прихватили с собой фляжки с холодным чаем и корзинки с едой. Коляски, пролетки, двуколки вереницей мчались по пыльной дороге. Появление мужчин в белых костюмах и женщин, похожих на модные картинки, свидетельствовало о том, что высшее общество приисков решило почтить скачки своим присутствием. Эти зрители занимали платные места на трибуне. А за оградой целыми семьями расположились те, кому не по карману было платить за вход. Здесь игроки в три листика уже собирали вокруг себя охотников попытать счастья, и толпа веселилась, наблюдая за их проделками и слушая, как они перебрасываются жаргонными словечками.

Моррис настоял на том, чтобы пойти на трибуну. Он любил поиграть на скачках и обычно все время вертелся около букмекеров, но на этот раз Салли согласилась его сопровождать, и он был чрезвычайно этим доволен. Они вышли из дома в приподнятом настроении, Моррис — потому, что предвкушал азарт игры, Салли — потому, что на ней было новое платье.

Это платье сшила для нее Мари — зеленое батистовое, с тугим лифом и пышной, отделанной бледно-розовым рюшем юб-

кой,— и оно очень шло Салли. Правда, новый корсет, который Мари заставила ее надеть, был немного тесен, но какое это имело значение! Шляпку ей тоже соорудила Мари: уложила веночек из роз поверх старой выгоревшей соломки, и получилось очень нарядно.

Все жены рудокопов постарались явиться на скачки в обновках, но Салли так давно ничего себе не шила, что ей было даже как-то не по себе оттого, что она так разрядилась. Впрочем, когда Мари воскликнула: «Ты выглядишь прелестно, дорогая!» — это ее немножко подбодрило. Сама Мари была в старом переделанном платье, так как Жан потерял работу, когда закрылся Объединенный, и им теперь приходилось туго. Тем не менее Мари, как всегда, выглядела очень свеженькой и элегантной в своем зеленом фуляровом платье и черной шляпке с длинной зеленой лентой, падавшей вдоль спины на фасон «Чарли, за мной!».

Дети остались дома с Калгурлой; Лора уже несколько дней назад забегала узнать, не присмотрит ли Каргурла и за ее Эми.

— У меня нет никакой охоты идти на эти скачки,— сказала Лора,— но Олф считает, что нам необходимо показываться в обществе. Иначе будут думать, что у нас по-прежнему плохи дела. Олф должен встречаться с другими управляющими; нужно, чтобы они знали, как хорошо он наладил дело на Золотом Пере.

На душе у Лоры было невесело. Она по-прежнему очень тревожилась за мужа.

— Он так устает,— говорила она Салли.— Работает за троих. И что-то его угнетает. А что — не знаю, он не говорит мне. Хоть бы только он не остался опять без работы!

Салли и Мари уселись на трибуне, а их мужья направились к стоявшей в стороне группе каучуковых деревьев, под сенью которых расположились букмекеры. Хорошо известные всем «жучки» с Пертского ипподрома, как всегда, приехали на скачки. Они так шумели и галдели, выкликая ставки, что почти заглушали оркестр, игравший популярные песенки. Занятно было разглядывать толпу, разгуливавшую по выжженной солнцем траве: старатели в молескиновых штанах, с побуревшими от пыли лицами под обвисшими полями старых фетровых шляп; местные щеголи, разрядившиеся по случаю праздника в дешевые новенькие костюмы и соломенные шляпы; промышленники и директора банков в белых полотняных костюмах или фланелевых брюках с красными поясами.

Порой над этой разношерстной толпой возникала чья-нибудь величественная голова, украшенная соломенной шляпой или панамой или даже пробковым шлемом типа «Стенли в дебрях Африки», и тут же можно было увидеть туземца с остатками роскош-

ного европейского головного убора на макушке. Жены и дочери управляющих рудниками, лавочников, трактирщиков, рудокопов оживляли толпу своими пестрыми шляпками и пышными юбками, а какая-нибудь хорошенькая официантка из ресторана неизменно вызывала одобрительные возгласы своим ультрашикарным нарядом.

На этот раз сенсацию произвела мадам Малон. Она появилась на ипподроме в парижском туалете из серого шифона, расшитом серебряными блестками и обтягивавшем ее фигуру, как перчатка. Блестки сверкали и переливались при каждом движении, но еще более ослепительно сверкали бриллиантовые серьги, браслеты и брошь... Однако Лили, не обращая ни на кого внимания, болтала все время с Бертой, Белл и Ниной.

Салли и Мари побаивались немножко чересчур восторженных приветствий со стороны мадам Малон в присутствии их мужей, что неминуемо должно было повлечь за собой довольно щекотливые объяснения, которых им так долго удавалось избегать. Но Лили только раз взглянула в их сторону, улыбнулась и кончиками пальцев, затянутых в голубовато-серую лайковую перчатку, послала им воздушный поцелуй. Лора, сидевшая с миссис Финнерти и с кем-то из жен управляющих, вскочила и направилась к Салли и Мари:

— Все, решительно все, шокированы поведением этой женщины! Ни для кого не секрет, что еще не так давно она была девицей из заведения мадам Марсель. А теперь некоторые из жен управляющих вынуждены встречаться с ней на обедах у Малона. Ведь он миллионер и скупает здесь все рудники, один за другим, а она, говорят, вертит им как хочет.

— Нелегкая работа, принимая во внимание его толщину,— заметила Салли.

— О да,— согласилась Лора.— И зачем только этот Малон купил Мидас! Мистер де Морфэ говорит, что Лили заставила бы мужа принять Олфа обратно, расскажи я ей только, какой это был удар для Олфа, когда его уволили с рудника. Но разве я могла это сделать? Не могла же я просить об одолжении эту особу!

— А почему бы нет? — спросила Мари.— Я бы так и сделала на твоем месте — ради Олфа...

— Ну, а я не могу, вот и все,— сердито отрезала Лора и вернулась на свое место рядом с миссис Финнерти.

Когда Жан Робийяр увел жену, чтобы познакомить ее с одним французом-металлургом, недавно приехавшим в Калгурли, Салли встала и не спеша направилась к стоявшему в стороне дереву, у которого она договорилась встретиться с Моррисом, чтобы позавтракать вместе.

Она стояла под деревом, поджидая Морриса, когда мимо прошел Фриско с высокой красивой девушкой. Сердце Салли забилось, хотя Фриско стал для нее теперь почти чужим. Мистер де Морфэ, в белом костюме и дорогой панаме, казался таким же веселым и беспечно-самодовольным, как в те дни, когда он только что вернулся из своего путешествия. Салли слышала, что он едва не попал за решетку за свои связи с какой-то жульнической английской компанией, но это, по-видимому, нисколько на нем не отразилось. Глядя на него, трудно было поверить и тому, что он много денег потерял на бирже. Он держался так же уверенно и непринужденно, как всегда. Спутница Фриско оглянулась и стремительно направилась к Салли.

— Здравствуйте, миссис Гауг,— сказала она.

— Вайолет! — удивилась Салли.— Как вы сюда попали? Я думала, что вы в Мельбурне, учитесь пению.

— Она пела там в опере,— не без гордости заметил Фриско.

— В хоре,— пояснила Вайолет.

— Ах, как я рада! — воскликнула Салли, расцветая улыбкой и дивясь, почему Вайолет тоже не сияет от радости.

— Начало было неплохое,— хмуро сказала Вайолет.— Может быть, пошла бы и дальше. Но тут мама написала, что отец потерял все деньги, спекулируя на акциях, и снова ушел на разведку, а она хворает и не может без меня обойтись. Пришлось вернуться. Я теперь работаю в баре, в гостинице «Биржа».

— Да что вы, Вайолет! — Салли говорила впоследствии, что едва не расплакалась тогда от обиды за девушку.

— Быть может, мне еще представится когда-нибудь случай начать все сначала,— сказала Вайолет, и глаза ее потемнели от боли.— Но боюсь, что будет слишком поздно.

Фриско нетерпеливо прервал ее:

— Чепуха! Вы еще можете объехать весь мир. Пойдемте, не то мы пропустим следующую скачку. Извините нас, миссис Салли, но мы поставили на Теллура. Нужно подбодрить его на прямой.

— Я бы предпочла остаться здесь и побеседовать с миссис Гауг, если вы ничего не имеете против, мистер де Морфэ,— сказала Вайолет холодно,— зайдите за мной после скачек.

Фриско метнул на Салли насмешливый, вызывающий взгляд.

— Я, как всегда, бессилен против вас, мэм. Но не лишайте меня совсем общества моей очаровательной спутницы.— Он повернулся и направился на скаковой круг.

— Это было очень любезно со стороны мистера де Морфэ — пригласить меня на скачки,— сказала Вайолет.— Я получила разрешение у хозяина отлучиться на четыре часа, и мистер де Морфэ обещал отвезти меня обратно.

— Мистер де Морфэ всегда очень любезен с хорошенькими девушками,— заметила Салли. Впрочем, она чувствовала, что Вайолет не нуждается в предостережениях. Эта девушка слишком привыкла к лести и поклонению мужчин, чтобы придавать им какое-нибудь значение. Вайолет, как видно, по-прежнему была очень невысокого мнения о мужчинах и оставалась и теперь так же равнодушна к их ухаживаниям, как в ту пору, когда еще служила официанткой в трактире Джиотти.

— Я училась в Мельбурнской консерватории,— со сдержанным волнением рассказывала Вайолет.— Как это было чудесно, миссис Гауг! Моя учительница пения была довольна мной, потому что я очень старалась и много работала. Она обещала дать мне рекомендацию, когда я поеду за границу. Потом меня приняли хористкой в оперу. Там пели самые знаменитые иностранные певцы. Это было замечательное время! Я уже готовилась дублировать Марту в «Фаусте». И тут пришла телеграмма от мамы. «Тяжело больна. Возвращайся немедленно». Я знала, что она ждет ребенка и что отец опять все потерял и ушел на разведку. Что мне было делать? Я боялась, что мама умрет и ребятишки останутся совсем одни, без присмотра. О том, чтобы дать мне отпуск, в театре и слышать не хотели. Пришлось нарушить контракт.

«Больше можете к нам не являться, моя дорогая»,— сказал мне режиссер. Но я знала, что если мама умрет, я себе этого никогда не прощу. Ей так тяжело жилось всегда, миссис Гауг, это ведь не шутка — рожать в ее годы.

Но когда я приехала домой, мама уже совсем оправилась. Ребенок умер, мне, в сущности, совсем незачем было приезжать — просто мама чувствовала себя очень одинокой и несчастной, и у нее не было денег. Она сказала мне, что мое место здесь, около нее, что я должна помогать ей, а я думаю только о себе, о своем пении и бросила на нее одну весь дом. Я очень сердилась на маму сначала, но теперь мне уже все равно. Она права, пожалуй. Так, видно, не бывает, чтобы делать то, к чему у тебя лежит душа. Делаешь то, что жизнь заставляет делать.

— Вайолет, дорогая, не говорите так! — утешала ее Салли.— Вы не должны терять надежды. Вы молоды...

— Нет, поздно начинать все сначала,— сказала Вайолет.— К тому же двери в мельбурнскую оперу закрыты для меня навсегда: я ведь нарушила контракт без всякого предупреждения. Да если бы даже они взяли меня обратно, я уже не могу уехать отсюда, маме и вправду не управиться одной с полдюжиной ребят, как бы она ни лезла из кожи вон. Нет, видно уж, придется мне торчать здесь и разливать пиво, и тогда все будут довольны. Так что ничего не поделаешь.

Фриско вернулся за Вайолет. Его лошадь пришла первой, и он ликовал.

— Пойдемте с нами, миссис Гауг, отпразднуем победу! — весело воскликнул он.— В баре есть шампанское, хотя, конечно, как всегда, теплое.

Салли отказалась: она обещала Моррису подождать его здесь; но она понимает, конечно, что не должна больше лишать мистера де Морфэ общества его очаровательной спутницы.

Эта молодая особа, удалявшаяся под руку с Фриско, держалась очень уверенно. Высокая, грациозная, в элегантном темно-голубом платье, под цвет ее глаз. Сцена научила ее этому самообладанию и непринужденности манер, подумала Салли. На Вайолет, по-видимому, не производило ни малейшего впечатления то, что ее сопровождает сам мистер де Морфэ, в то время как Фриско явно был в восторге от того, что с ним такая очаровательная дама.

Ничто не задевает ее души, думала Салли. Вайолет целиком ушла в свою мечту стать певицей. Это и спасало ее всегда — грязь, среди которой она жила, не липла к ней. А теперь она вынуждена снова вернуться к этой жизни; надежды ее разбиты. Удастся ли ей, схоронив свою мечту, остаться прежней?

Как могла мать Вайолет заставить ее вернуться за стойку приискового кабака, когда перед девушкой открывалось такое блестящее будущее? Нет, Вайолет уже не вырваться отсюда. Салли казалось, что над девушкой тяготеет рок. Жизнь прииска засосет ее, и она будет жить так, как живет вся эта собравшаяся на скачках, падкая до зрелищ толпа. Бедная Вайолет! Ведь душа ее не перестанет томиться по чему-то иному.

Посчастливится ли ей найти в жизни что-нибудь, что могло бы заменить ей радость творческого выражения своего «я»? В конце концов, она — дитя прииска. Она чувствует себя как дома в этой жаре и пыли, в обществе простых, грубых, нередко пьяных мужчин,— будь то рудокопы или управляющие рудниками. Сейчас она звезда прииска; но блеск этот так быстро может померкнуть. И Вайолет высохнет, одряхлеет, превратится в изнуренную нуждой и заботами женщину; или растолстеет, обрюзгнет, станет неряшливой, грязной... словом, будет такой же, как большинство женщин прииска, чье существование зависит от заработка их мужей, а тот, в свою очередь, зависит от золотых россыпей, рудников, колебания курса акций...

Ясное, прозрачно-голубое утро перешло в ослепительно яркий полдень, потом — когда день стал клониться к вечеру — начало парить. Лошади одна за другой проносились по пыльной скаковой дорожке, стремительный калейдоскоп красных, голубых, зеленых,

желтых, оранжевых, пурпурных жокейских курток мелькал перед взором опьяненных азартом зрителей. Как быстро подходил к концу этот единственный праздничный день в унылой череде приисковых будней!

Перед последним заездом поднялся вихрь. Женщины, опасаясь дождя, просили мужей отвезти их домой, не дожидаясь конца скачек. Поток экипажей устремился обратно к городу. Но ливень настиг их в пути, настиг и толпу пешеходов, которая брела по дороге — рудокопов, старателей, их жен и ребятишек. Никто, впрочем, не роптал на ливень. Огорчались только те женщины — в том числе и Салли,— чьи новые платья были испорчены. Мужчины, которым удалось выиграть на скачках хотя бы несколько шиллингов, были довольны; удачный день, говорили они. То, что кошельки у них при этом заметно опустели — не имело значения. Они взяли свое от игры, они были там, на скаковой дорожке, всем существом были вместе с наездниками и лошадьми, на которых ставили. Какое это имело значение, если букмекеры ушли со скачек, потирая руки? Приисковая толпа на скачках всегда давала им хорошую поживу. Но даже букмекеры ничего не смогли поделать с приисковым судьей, когда честь приисков оказалась поставленной на карту.

Все знали, что в скачке на главный приз прииска участвует лошадь старика Белчера — вернее, его сына, и все знали старика Белчера.

— Ребята дружно ставили на Самородка,— рассказывал Динни.— Он пришел третьим, и вы бы слышали, какой вой подняли букмекеры, когда судья объявил его победителем. Но старик Белчер стоял на своем. «Я сужу эти скачки? Я или вы? — спросил он.— Ну так я говорю, что Самородок выиграл приз».

Один парень из Боулдера, совсем еще мальчишка, тоже одурачил букмекеров. Его взяли из школы и натренировали к скачкам.

— Молодой Билли — ловкий парнишка и хороший наездник. Он должен был скакать на «темной лошадке» из приисковой конюшни,— посмеиваясь, рассказывал Динни.— Но букмекеры обработали тренера, и тот заявил Билли, что он не должен приходить первым. Ну, для парня это был настоящий удар — ведь первые скачки как-никак, и он уже нахвастал всем своим школьным товарищам, что выиграет непременно. На лошадку ставили сначала один против десяти, и букмекеры никак не могли взять в толк, почему перед самой скачкой на них налетела толпа мальчишек с двух- и пятишиллинговыми ставками. И конечно, лошадь молодого Билли пришла первой!

ГЛАВА LXVI

Динни и Олф уже давно старательно избегали друг друга. Встречаясь на улице или в трактире, они вели себя как чужие, едва обменивались кивком, и лица у них при этом каменели. Оба тяжело переживали разрыв, но Олф знал, что Динни никогда не простит ему, что он пошел против старых товарищей, когда они поднялись на борьбу за свои права. И Олф с головой ушел в работу на руднике Золотое Перо.

— Рудник был в ужасном состоянии, когда я принял у них дела,— говорил Олф Моррису.— Добычи почти никакой, и счета запутаны так, что сам черт ногу сломит.— Пэдди предоставил Олфу полную свободу действий, согласился с его проектом расширения и реорганизации работ, но заявил, однако, что не станет тратить деньги на приобретение новых машин и крепежного леса до тех пор, пока не поднимется курс акций.

— Мой хозяин! — говорил о нем Олф, и в глазах у него вспыхивали насмешливые искорки. Впрочем, он не без удивления рассказывал о том, как этот невежественный, но хитрый парень старается постигнуть дело управления рудником.

Олф сам научился всему, что он знал, общаясь с горными инженерами, геологами и металлургами, читая книги, которые они ему давали, и обсуждая с ними все процессы промышленной добычи золота. Пэдди занимался самообразованием по тому же методу. Когда Олф принял на себя управление рудником, Пэдди был почти безграмотным парнем — мог нацарапать на бумаге свое имя, и, пожалуй, этим его познания и ограничивались. Теперь Пэдди изучал бухгалтерию и хозяйственный учет и набрасывался на каждую книгу по финансовым вопросам, какая только попадалась ему под руку. Весь год Олф, работая на Золотом Пере, помогал Пэдди в его занятиях, руководил им.

Упорство, с которым Пэдди бился над труднейшими проблемами банковского дела и финансов, способности и здравый смысл, которые он при этом проявлял, поражали Олфа. Пэдди всегда знал, что́ следует отбросить и что́ можно применить на практике, но наотрез отказывался тратить время на изучение геологии и металлургии.

— Это не про нас писано, Олф,— говорил он.— Это для специалистов. Может, когда-нибудь нам пригодятся и специалисты, но пока еще они слишком мало знают наши прииски.

Пэдди всегда чрезвычайно презрительно отзывался об управляющих-иностранцах.

— Нам в промышленности нужны такие люди, как вы, Олф,— говорил он.— Практики. Люди с опытом, хорошо знающие

страну и все особенности нашего производства. Вы один из лучших практиков у нас на приисках, я так считаю. А все эти свидетельства и дипломы!.. Пускай цацкаются с ними на Боулдере, Объединенном и Лейк-Вью! У нас с вами, Олф, есть голова на плечах и опыт. Мы можем еще больше заработать на Золотом Пере, если не будем валять дурака и не позволим разным ученым шарлатанам выкачивать у нас денежки.

Вспомните-ка! Эти самые ученые заявляли года два назад, что у нас на приисках вообще нет золотоносных пород. Потом стали твердить, что есть, да только алювальное золото. Теперь они хотят вдолбить нам, что окисленные руды истощились, а от сернистых мало проку. Чтоб у них кишки повылазили! Можно, конечно, заработать кое-что и на окисленных и на алювальном, но только не в них сила. Я верю в наши месторождения и буду покупать акции, а не продавать. Сейчас самое время покупать, Олф, и покупать вовсю. Все золото, которое попадет мне в руки, я брошу в акции.

— Аллювиальное золото, а не алювальное, Пэдди,— заметил Олф.

— Весьма обязан,— осклабился Пэдди.— Вы меня учите умуразуму, Олф, когда я ляпну чего не след.

Пэдди работал на руднике и получал заработную плату, как любой горняк. Для всех он был просто штейгером. Мало кому на руднике было известно, что Пэдди является главным пайщиком компании. А тот, кто знал об этом, держал язык за зубами, и на то были свои причины. Пэдди издавна занимался перекупкой золота; продолжал перекупать и сейчас, как подозревал Олф.

Каждый забойщик, работавший на богатой залежи, знал, что лучше всего иметь дело с Пэдди. Правда, Пэдди давал не такую хорошую цену, как другие перекупщики, но, безопасности ради, все предпочитали вести дела с ним — стоило ли ссориться из-за нескольких шиллингов? Пэдди, как догадывались многие, работал для крупной шайки, скупавшей краденое золото. Она имела связи в полиции, и «Большая пятерка», как ее называли, могла защитить любого из своих клиентов, если бы он попал впросак. Это было хорошо известно всем.

Мало-помалу Олф начал интересоваться Пэдди Кеваном, и ему захотелось помочь парню выйти на дорогу.

— Послушайте, Пэдди,— сказал он ему как-то.— Надо полагать, что у вас будет куча денег со временем, если вы и дальше сумеете вести свои дела, как сейчас.

— Будьте покойны,— сказал Пэдди.

— Ну, а если вы хотите быть на равной ноге с крупными дельцами, для этого мало уметь спекулировать на акциях; нужно поучиться еще кой-чему.

— Успеется,— отвечал Пэдди.— Надо мной не каплет. Впрочем, конечно, вреда не будет, если вы малость понатаскаете меня, Олф.

— Почему бы вам для начала не постричься и не заказать себе приличный костюм? — продолжал Олф.

— К черту! Если я стану ходить чистенький и прилизанный, каждая скотина будет думать, что у меня карманы набиты золотом.

— А разве это не так, Пэдди? — спросил Олф в упор.

— Ну, ну, вы, кажется, забываетесь, мистер Брайрли! — хихикнул Пэдди.— В благородном обществе, как я слышал, не полагается спрашивать о двух вещах: откуда вы берете деньги и кто ваша любовница.

Олф рассмеялся.

— Ну что ж, Пэдди, конечно, это ваше личное дело. Но у вас вся жизнь впереди, и вы можете преуспеть, судя по всему. Так почему бы вам не бросить все эти проделки и не пойти прямым путем?

— Как вы, например? — не без язвительности спросил Пэдди.

Олф криво усмехнулся.

— Да, как я. Мне это не очень-то помогло, признаюсь, но, в конце концов, иметь репутацию честного человека — это тоже кое-чего стоит, даже в таком городе, как наш.

— Не так уж много,— усмехнулся Пэдди.— Едва ли это вам поможет, если придется шляться по трактирам в поисках работы. Нет, прежде чем начать жить по вашему рецепту, надо сначала иметь несколько тысчонок в кармане.

— Возможно, что вы правы. Но я иначе устроен. Для меня есть только два пути: или прямо, или уж... на тот свет.

— Не валяйте дурака, Олф.— Пэдди наклонился вперед; его бледное веснушчатое лицо приобрело напряженное, почти старческое выражение.— Все здесь подрабатывают на золоте...

— Вы хотите сказать — на краже золота и сбыте его незаконным путем?

— Вы знаете, что я хочу сказать. Если даже вы этого не делаете, все равно все будут думать, что делаете. Так в чем же разница?

— В том, что я этого не делаю. Вот и все.

— Пусть будет по-вашему.— Пэдди криво улыбнулся.— Ну а что бы вы стали делать, не прими я вас на работу?

— А что бы вы стали делать, не приведи я в порядок ваш рудник? — вскипел Олф.— Вы сами говорили, что берете меня, потому что я честный человек...

— И знающий свое дело.

— Ну и что же? Вы недовольны? А кто вам наладил дело, кто повысил добычу? А какое безобразие творилось у вас тут с отчетностью, когда я к вам пришел? Ваша отчетность в порядке теперь. Акционеры могут получить наконец хоть какое-то представление о состоянии дел на руднике. Вы можете выплатить дивиденды в этом году...

— Да-с,— ухмыльнулся Пэдди.— Мистер де Морфэ даже предлагает от имени своего клиента две тысячи фунтов наличными за наш рудник... и все благодаря вашим стараниям.

Худое, изможденное лицо Олфа помертвело. Пальцы судорожно вцепились в край стола.

— Это значит, что в моих услугах уже не будут нуждаться?— спросил он с горькой иронией.

— Да, уж это как пить дать,— подтвердил Пэдди.— Вы что — забыли, как вздули тогда Фриско в походе? Он вам этого не простил и не простит. Кроме того, у него всегда есть под рукой какой-нибудь горный инженер с дипломом. Впрочем, я бы мог еще некоторое время подержать Золотое Перо, поскольку мы делаем тут неплохие дела, если бы вы не так старались следить за каждой песчинкой золота, выходящей из шахты.

— Что вы хотите этим сказать?

— А вот что.— Пэдди решил взять быка за рога.— Не следует мешать ребятам подрабатывать. Это почти все управляющие рудниками понимают. Все знают о том, что происходит, и смотрят на это сквозь пальцы. Так больше толку. И ребята довольны и не шумят, и золото остается в стране. Поддерживает жизнь города. Куда лучше, чем позволять ему уплывать за море, чтобы английские хлыщи могли там у себя обжираться и опиваться. Ну, ребята, конечно, должны получать за свое золото, что полагается. Это правильно и справедливо, думается мне. Но с нашего рудника рабочие уносят не так уж много. И это из-за вас, и вот тут-то нам с вами и надо поладить. Не думаете же вы, что я сижу под землей и торчу около толчеи потому, что это очень полезно для моего здоровья? Я хочу видеть все, что там делается. Хочу знать точно, сколько золота уплывает и чьих это рук дело. Но не считаю нужным вмешиваться. Я свое получаю, а если вы валяете дурака — тем хуже для вас.

— Понимаю.— Голос Олфа звучал ровно и устало, и Пэдди решил, что он побил упрямца своими доводами, заставил его образумиться.— Что же вы предлагаете?

— Очень просто,— хихикнул Пэдди.— Вам не к чему стараться так уж все примечать. Вы за это свое получите, Олф, положитесь на меня. Вам только не нужно учитывать каждую крупин-

ку золота, выходящего из шахты или с амальгамационных листов. Если что-нибудь утечет разок-другой,— невелика беда.

— Обкрадываете, значит, своих же акционеров? Довольно грязное занятие, Пэдди. Рабочих я не осуждаю. Но вы мошенничаете вдвойне: обкрадываете и рабочих и акционеров.

Пока Пэдди говорил, Олф взялся за перо и начал писать. Он ответил Пэдди твердо, решительно и так спокойно, словно ему уже было безразлично, как отнесется Пэдди к его словам.

Лицо Пэдди внезапно исказилось от ярости.

— Вы не можете мне помешать,— огрызнулся он.— Вы решительно ничего не можете тут сделать, мистер Брайрли. Иначе я не стал бы с вами время терять. Я говорил для вашей же пользы. Перестаньте-ка заноситься, если не хотите угодить в тюрьму. А вы, спрашивается, чего смотрели? Год целый протирали штаны здесь в конторе и не видели, как обкрадывают акционеров, как треть всего золота уплывает на сторону? Вы проявили преступную небрежность по отношению к вашим служебным обязанностям — вот что скажет вам любой судья, мистер Брайрли. А я подтвержу под присягой, что это так.

— Валяйте! — Олф поднялся.— Вот вам мое заявление об уходе. Я написал его, пока вы раскрывали мне свои секреты — для моей же пользы, как вы сами изволили выразиться.

ГЛАВА LXVII

Динни и Крис Кроу работали на участках около Биндули, милях в четырех к западу от Боулдера, но в конце недели приезжали в город за продуктами и проводили дня два у миссис Гауг. Салли впоследствии говорила, что ей никогда не забыть то воскресное утро, когда Олф Брайрли пришел повидаться с Динни.

Появление Олфа было для Салли полной неожиданностью. Олф вошел в калитку и медленно, понуро направился по тропинке к дому; казалось, он с трудом передвигает ноги. Салли окликнула его. Он поднял голову, и она увидела его больное, измученное лицо.

— Где Динни? — спросил Олф.

— У себя,— сказала Салли.— Динни! — крикнула она.— К вам пришел мистер Брайрли.

— Он, верно, не захочет меня видеть,— сказал Олф.— Но мне необходимо с ним поговорить.

Олф прошел в дом. Он пробыл там часа два и вышел вместе с Динни. Они спустились в садик и остановились у калитки, продолжая разговор. Динни казался встревоженным — Салли прочла

испуг в его глазах. Он разговаривал с Олфом так, словно от былой розни между ними не осталось и следа, и старался, по-видимому, подбодрить Олфа.

Салли слышала, как Динни сказал:

— Не так страшен черт, как его малюют, Олф. Сегодня не повезло — значит, повезет завтра. Мы с тобой пойдем вместе на разведку, и, почем знать, может быть, нам опять посчастливится, как когда-то с Леди Лорой. Разве в стране мало золота? И кто, как не мы с тобой, Олф, можем доказать это всему свету!

Но Олф слушал Динни безучастно; он был, казалось, глух к его уговорам — весь ушел в какую-то свою горькую думу. Он повернулся и медленно побрел по дороге, а Динни стоял, глядя ему вслед.

— Плохо дело, мэм! — воскликнул Динни, когда Салли позвала его обедать и он вошел в жарко натопленную кухню, в которой стоял густой запах жареного мяса и монотонное жужжанье мух.— С Олфом что-то неладно. Нужно ему помочь.

— А что случилось? — спросила Салли, разрезая мясо и отгоняя мух.

Она знала, что Олф отказался от работы на Золотом Пере и что Лора очень этим расстроена.

— Олф, как видно, крепко поругался с Пэдди Кеваном из-за каких-то там темных делишек на руднике,— сказал Динни,— и Пэдди грозит запрятать его в тюрьму. Да черта с два он это сделает, когда у самого рыльце в пушку. Не в этом беда. Олф совсем какой-то потерянный. Боюсь, как бы не влепил себе пулю в лоб.

Салли была занята войной с мухами, которые налетали на мясо, уже разложенное по тарелкам, и злилась на Морриса, почему он не идет обедать, когда его зовут,— а тут еще эта история с Олфом...

— Бросьте, Динни! — воскликнула она.— Никогда мистер Брайрли этого не сделает. Не такой он человек.

— Ну, это как сказать,— задумчиво протянул Динни.

Пришел Моррис, и они сели за стол.

— Олф говорит, что ему нет места в Калгурли. Клянет себя на чем свет стоит за то, что не поддержал ребят в борьбе за россыпи. Говорит, что не понимал еще, на какие махинации пускаются золотопромышленники. А теперь больше мочи нет иметь с ними дело. Его хозяин — негодяй и жулик, каких свет не родил.

— Кто — Пэдди Кеван? — спросил Моррис, принимаясь за еду.— Да, это фрукт.

— Нет, каково! — Динни тоже придвинул себе тарелку, продолжая сокрушаться по поводу Олфа.— Мальчишка Пэдди отдает

К. Причард «Девяностые годы»

распоряжения Олфу Брайрли, и Олфу некуда податься. Он говорит: либо он должен покрывать Пэдди, либо бросить все к черту.

— Надо потолковать с Пэдди Кеваном,— сказал Моррис.— Напрасно он думает, что ему все будет сходить с рук. Пусть Олф переметнулся тогда на сторону промышленников, а все-таки, я уверен,— многие из ребят, которые давно его знают, поддержат Олфа, если Пэдди учинит какую-нибудь подлость.

— Может, и так,— сказал Динни с сомнением.— Но прежде всего, думается мне, нужно, чтобы Олф уехал из города. Я уже предложил ему пойти вместе на разведку, и чем скорей мы тронемся в путь, тем лучше.

Но они напрасно строили планы — Олфу уже ничем нельзя было помочь. Вечером того же дня его нашли мертвым в зарослях неподалеку от Золотого Пера. Рядом с ним на земле лежал револьвер; в кармане нашли письмо к Лоре.

Олф просил Лору простить его. У него не было другой возможности обеспечить ее и Эми, писал он. Денег, которые она получит по страховому полису, ей хватит на то, чтобы добраться до Виктории и продержаться еще некоторое время. Олф выражал желание, чтобы Лора вернулась в свою семью. Динни поможет ей во всем и приведет в порядок его дела.

Смерть Олфа потрясла Динни. В первые дни Моррису пришлось взять на себя все хлопоты. Салли была с Лорой, которая не помнила себя от горя. Как мог Олф решиться на такое дело? Как мог он забыть обо всем, что их связывало, и утратить желание жить?

— Зачем, зачем он это сделал, Салли?! — рыдала Лора.— Как он мог покинуть меня? Неужели он не знал, что с ним я бы перенесла любые лишения, а этого ужаса перенести не могу!

— Он думал, что так будет лучше для тебя,— говорила Салли, стараясь оправдать Олфа.— Он был болен, сам не свой — не мог трезво взвесить все последствия.

— Не говори так! — вскричала Лора в отчаянии.— Это все я виновата. Я так горевала, когда он отказался от работы на Золотом Пере, и злилась на него. Не могла понять, зачем он это сделал. Я и сейчас не понимаю; Олф сказал мне только, что не хочет больше работать у Пэдди Кевана, потому что это мерзавец и скотина. Олф, любимый мой, почему ты не рассказал мне всего? Почему я была такой слепой дурой? Как могла я не понять, что с тобой происходит? Ах, Салли, если бы я поговорила с ним, я бы могла объяснить ему, что этого нельзя делать! Что он не должен так поступать. Все, что угодно, лишь бы не этот ужас!

Так, захлебываясь слезами, говорила Лора — снова и снова повторяя одно и то же, обезумев от горя, тщетно стараясь понять,

как это могло случиться, почему пал на нее такой страшный удар. Рушились все ее иллюзии, все надежды на счастливое будущее — все, о чем они с Олфом вместе мечтали.

А те самые люди, которые загнали в тупик Олфа Брайрли,— промышленные магнаты и владельцы рудников,— те, кто мог бы дать, но не дал ему работу, теперь громче всех сетовали по поводу его смерти. Пышные некрологи, напечатанные в «Калгурлийском горняке» и «Западном Аргусе», отдавали посмертную дань мистеру Брайрли, «в лице которого прииски понесли тяжелую утрату», ибо он был «само воплощение честности — прямой, искренний и добрый человек, истый джентльмен, уважаемый и любимый всеми, кто его знал». Старые товарищи Олфа, проделавшие вместе с ним весь первый поход от Южного Креста до Хэннана через Кулгарди, пожелали похоронить его за свой счет. Они решили, кроме того, собрать немного денег, чтобы помочь миссис Брайрли.

Но Лора и слышать об этом не хотела, и Динни пришлось сказать товарищам, что миссис Брайрли очень тронута их участием и добротой, но не нуждается ни в чьей помощи, так как Олф позаботился о том, чтобы обеспечить ее на первое время. Олф действительно оставил Динни небольшую сумму, а тот упрашивал Лору взять еще денег и у него, чтобы ей хватило перебраться к своим родителям в Викторию.

Лора отказалась уехать. Она заявила, что останется на приисках и попробует сама зарабатывать свой хлеб: будет давать уроки музыки и выступать на концертах или играть на рояле в ресторанах. Как ни старались Салли и Динни отговорить ее от этой затеи, все было напрасно. Она хочет доказать Олфу и себе самой, говорила Лора, что не такое уж она слабое, беспомощное создание, каким он ее считал, и что он не должен был идти на это страшное дело.

Лора осталась жить в той хибарке при дороге на Боулдер, в которой жила с Олфом последний год, и долгие месяцы ходила бледная и печальная, всегда в черном платье. Она совсем перестала заботиться о своей внешности, гладко зачесывала назад свои красивые волосы цвета меда, и глаза ее мгновенно наполнялись слезами, если кто-нибудь произносил при ней имя Олфа. Однако траур очень шел к ней, и никто не сомневался, что она скоро снова выйдет замуж, если останется на приисках.

— Я не скажу, что сердце ее было разбито, но она уже не могла стать прежней Лорой,— говорила про нее Салли.— После смерти Олфа у нее всегда были такие печальные глаза.

Злые языки утверждали, что Фриско одним из первых начнет волочиться за вдовой Олфа Брайрли. Его очень часто видели в обществе Лоры, когда она была веселой, беспечной толстушкой. Сал-

ли, впрочем, знала, что, хотя Лора и позволяла себе некоторые вольности с Фриско, ему все же не удалось склонить ее на измену. В самом непродолжительном времени нашлось немало охотников приголубить миссис Брайрли, однако Фриско не оказался в их числе.

Понятно, что такой женщине, как Лора, все мужчины стремились оказывать покровительство и опекать ее, но она очень решительно давала понять, что не нуждается ни в том, ни в другом. Она была просто шокирована: еще и года не минуло со дня смерти Олфа, а уже то один бесстыдник, то другой предлагает ей без лишних разговоров и всякой там любовной чепухи стать его женой.

— Я никогда не выйду больше замуж,— говорила Лора Салли.— Как это можно! Мое сердце погребено в могиле вместе с Олфом.

— Очень может быть,— отвечала Салли.— Но только не твое тело.

Когда деньги у Лоры пришли почти к концу, она стала давать уроки музыки. Но этого заработка не хватало на жизнь. Те, кто мог бы хорошо оплачивать уроки, посылали своих детей в монастырскую школу в Кулгарди. Несколько шиллингов, которые Лора зарабатывала, давая уроки музыки Вику Моллой, Дику Гауг и еще двум-трем ребятишкам в поселке, не могли прокормить и ее и Эми; а ведь нужно было еще платить за наем хибарки. Лишь изредка удавалось Лоре заработать гинею, аккомпанируя на концертах. Поэтому, когда Тим Мак-Суини предложил ей играть по вечерам у него в гостинице и пообещал хорошее жалованье, Лора с радостью за это ухватилась.

Хозяева крупных гостиниц соперничали друг с другом по части музыкальных номеров, которыми они услаждали публику. Первым знатоком музыки среди всех содержателей гостиниц считался Мик Мэньон, недавно купивший ресторан «Биржа». Уоллес Браунлоу нередко пел у него в баре. Пэдди Уилен старался перешибить его тем, что держал у себя в гостинице целых три пианино, а наиболее важным из своих посетителей подавал виски в хрустальных бокалах.

Вайолет О'Брайен пела теперь у него в ресторане в те часы, когда не была занята в баре. У Мак-Суини до сих пор главным козырем была официантка Клара Фагот, получившая такую кличку за свое красивое контральто, но это положение изменилось, когда в небольшом зале рядом с баром за пианино села Лора Брайрли.

Динни был против этого; он уговаривал Лору отказаться от предложения Мак-Суини и позволить ему, как старому товарищу ее мужа, позаботиться о ней и об Эми. Он обещал это Олфу, гово-

рил Динни, и обязан сдержать слово. Но Лора была самолюбива и упряма, ей хотелось сделать все по-своему.

— Вы напрасно так беспокоитесь, мистер Квин, я умею постоять за себя,— заявила она.

Динни отнюдь не был в этом уверен. Впрочем, он почувствовал некоторое облегчение, когда узнал, что Мак-Суини с самого начала принял меры, чтобы заставить своих посетителей относиться к Лоре с должным почтением. Большинство старателей и рудокопов были всегда подчеркнуто учтивы с женщинами. Это считалось делом чести. Если, бывало, какой-нибудь забулдыга позволял себе оскорбить официантку, в дело тотчас шли кулаки — и грубиян мгновенно вылетал за дверь. Но за последнее время в городе развелось столько разного сброду, что теперь ни за что нельзя было поручиться, особенно если кому-нибудь из этих головорезов приглянется хорошенькая женщина: нагрузившись виски, они развернутся вовсю.

— Вот что, ребята,— сказал Тим Мак-Суини в первый же вечер, когда Лора села за пианино в гостинице «Звезда Запада».— Миссис Брайрли согласилась играть для нас часок-другой по вечерам. Вы можете слушать ее, милости просим; хотите — сидите здесь, в зале, хотите — в баре, как вам больше нравится. Но чур не сквернословить в присутствии дамы, предупреждаю! Кто не умеет держать себя прилично, может проваливать.

— Ладно, Тим! — небрежно процедил кто-то из угла.— На наших приисках старатели всегда умели уважать женщин. Но ты ведь, я полагаю, не станешь мешать парню попытать счастья у такой аппетитной бабенки?

Мак-Суини влепил нахалу такую затрещину, что тот кубарем полетел со стула. Мужчины, вышивавшие у стойки, насторожились и подмигнули друг другу. Так вот оно что! Мак-Суини сам делает заявку на эту симпатичную вдовушку! Вот почему он так печется об ее добром имени! Ну, он-то уж никому не позволит стать себе поперек дороги.

Тим Мак-Суини был здоровенный толстяк средних лет с красным лицом и редкими седеющими волосами, добрый и прямодушный. Он славный малый, говорил про него Динни Квин. Честность и прямота сделали Мак-Суини популярным среди всех жителей прииска. Будучи человеком состоятельным, он решил поставить свою гостиницу на широкую ногу, чтобы она не уступала лучшим отелям прииска, и не пожалел на это затрат. Богатые иностранцы и управляющие рудниками, не задумываясь, ехали с вокзала прямо к Тиму Мак-Суини. Каждый обладатель толстой чековой книжки знал наперед, что у него в гостинице он не бросит своих денег на ветер.

Тим гордился своей гостиницей: ее первоклассными винами, первоклассными ваннами и не менее первоклассными официантками. Контральто Клары и медные волосы Джесси Грей превозносились от Лейк-Вью до самого Маунт-Хоуп. Но Динни Квину было не по душе, что имя вдовы Олфа Брайрли попадет в список ресторанных аттракционов или будет слишком часто упоминаться вместе с именем Тима Мак-Суини. Он знал, какие пойдут сплетни, когда миссис Брайрли сядет в ресторане за пианино. Но что Лора может выйти замуж за Тима Мак-Суини, это ему и в голову не приходило.

ГЛАВА LXVIII

Хэннан когда-то тоже видел немало веселых ночей и шумных пирушек, хотя они, разумеется, никак не шли в сравнение с теми баснословными попойками, которые устраивал какой-нибудь удачливый старатель в бурные дни кулгардийского процветания. Динни помнил, как Большой Мак и его товарищ продали свой участок за двадцать тысяч фунтов стерлингов, промчались по городу на шестерке лошадей, взяли приступом трактир Эллиота, раздобыли откуда-то духовой оркестр и поили всех шампанским до утра.

Динни был и на той знаменитой пирушке, которую закатили лондондеррийские ребята, когда продали Золотую Скважину, и помнил, как Фло Робинс, самую популярную в то время официантку, выкупали в шампанском! Но чтобы нашлись такие олухи, которые — пусть даже очумев от виски — стали бы прикуривать сигару или разжигать трубку пятифунтовой бумажкой, это уж враки, говорил Динни. Может, какой-нибудь шут гороховый и выкинул такую штуку, чтобы похвалиться своими деньгами, но Динни этого видеть не приходилось.

Старик Мэт Лаверс, работавший теперь дворником в гостинице «Восходящее солнце», хвастал, что он мыл ноги шампанским, когда ему однажды посчастливилось напасть на хорошую жилу. Мэт женился на официантке и перевел на нее все деньги, а она сбежала с каким-то молоденьким англичанином. Да, да, женское коварство — вот что доконало его, а виски здесь ни при чем, божился Мэт. После исчезновения жены Мэт пил беспробудно, и Динни говорил, что это сведет его в могилу.

В Курналпи или в Кэноуне тоже бывали случаи, когда какой-нибудь золотоискатель, одурев от удачи и попоек, принимался стрелять из пистолета по бутылкам на полках за стойкой, отбивая горлышки. Но в Хэннане пирушки уже давно не сопровождались таким буйным разгулом в стиле «плевал я на то, сколько это стоит». Дни, когда старатель получал огромные деньги за богатое

месторождение, навеки, казалось, отошли в прошлое. Быстрое истощение залежей Лондондерри, Богатства Наций и Карбина заставило возможных покупателей проникнуться чрезвычайной осторожностью. А когда начался застой, к любому предложению о продаже участка стали относиться с недоверием.

Два-три рудника перешли из рук в руки, да несколько старателей, притащившихся с отдаленных участков, получили чистоганом за свое золото. Но общий застой в делах заставлял отказываться от прежних безумств; старатели предпочитали теперь вкладывать свои денежки в какое-нибудь солидное предприятие вроде трактира или плодородного участка земли, вместо того чтобы пропивать их с товарищами за одну ночь на веселый старый лад.

Но когда Билл Король и Кварц-Обманка явились в Калгурли из Мульгабби, где они продали свой участок английскому синдикату за шесть тысяч фунтов стерлингов, все заговорили о том, что Билл собирается закатить попойку у Мак-Суини. Едва слух об этом распространился по городу, все повалили в трактир.

Собрались почти все старожилы прииска: Динни и Сэм Маллет, Тупая Кирка и Большой Джим, Клери Мак-Клерен и Янки Ботерол, Тэсси Риган и... словом, целая толпа.

Билл Король был широко известен тем, что устраивал попойки всякий раз, как только ему представлялась такая возможность. Он приехал на прииски в 1893 году и был сначала погонщиком, потом напал на хорошую залежь в Кукини и полновластно распоряжался там, сунув за пояс револьвер и сворачивая на сторону скулы каждому, кто пытался усомниться в его правомочиях. Билл требовал, чтобы его называли «Королем Кукини», и держал лагерь в порядке, подобно тому как Миллз из Курналпи делал это на своей стоянке.

Джек Миллз завоевал уважение всех золотоискателей в Курналпи. Этот человек чист, как стеклышко, говорили про него, вот уж на кого можно положиться, что он по справедливости рассудит любой спор — будь то из-за карт или из-за участка. Но Билл Король был парень бешеный и задиристый. И слишком кичился своей меткостью: не раз, желая показать какому-нибудь надоедливому пришельцу, кто тут хозяин, он пускал в него пулю с таким расчетом, чтобы она пролетела у того возле самого уха.

В конце концов он попал в скверную историю, когда в Кукини, во время потасовки, разгоревшейся при игре в ту-ап, пуля рикошетом угодила в одного парня и убила его наповал. Ребята поймали шулера, который, пользуясь сумерками, играл монетой о двух решках, и начали его тузить, а Билл решил, по-видимому, вмешаться и навести порядок. Впрочем, когда Билла арестовали

по обвинению в убийстве, против него не нашлось ни одного свидетеля.

На выручку Биллу пришел Кварц-Обманка: он взялся вести дело и доказал, что в тот вечер, когда произошло убийство, Билл находился за несколько миль от лагеря. Билл в самом деле уходил в разведку с двумя старателями, которые клялись, что они забрели глубоко в заросли и вернулись на стоянку только к утру. Не нашлось ни одного человека, который захотел бы подтвердить, что пуля, уложившая на месте шулера, несколько дней подряд обиравшего лагерь, была пущена Биллом Королем. Билла оправдали, и он вернулся в Кукини с триумфом.

Тем не менее его авторитет несколько пошатнулся. Кварц-Обманка был в какой-то мере тому причиной. Никто не любил Кварца-Обманку, и после этого происшествия он присосался к Биллу, как пиявка. Оба старателя, работавшие вместе с Биллом, решили отделиться и ушли вдвоем в разведку.

Участки были выработаны, Кукини опустел, и Билл с Кварцем-Обманкой вытащили заявочные столбы и пришли в Кэноуну как раз в тот день, когда поход в Долину Смерти был уже в полном разгаре.

Не кто иной, как Билл Король со своей компанией, подстрекнул старателей против отца Лонга и вынудил у него какие-то признания относительно таинственного самородка. Когда же и после этого никаких признаков золота обнаружено не было, Билл и его ребята уже готовы были заставить священника поплатиться за свои слова, но тут вмешался Том Дойль: он выставил старателям хорошую выпивку и убедил их сохранять уважение к сану.

Том поздравил Билла с успешной очисткой городского предместья, когда тот взял приступом притон одного француза, державшего в какой-то грязной лачуге на окраине Кэноуны четырех японок. Ребята не желают терпеть такого безобразия, заявил Билл: этот жирный боров морит женщин голодом, тянет из них все жилы, а сам только с боку на бок переваливается. И вот старатели перебили все окна и посрывали двери в лачуге, а Билл, загнав этого прохвоста в угол, изрешетил вокруг него пулями стены. Француз дал тягу, оставив японок вести дела на свой страх и риск. Впрочем, этому тоже скоро был положен конец. Том весьма серьезно относился к своим обязанностям мэра города. Полиция удалила японок, когда их пребывание в городе стало, по словам Тома, «угрозой для доброго здоровья наших граждан».

Можно себе представить, какая поднялась суматоха, когда сам мэр был арестован по обвинению в убийстве! Он, Чарли Кустолаз и Дэн Альвес принимали участие в потасовке, в которой был убит Дуг Говард. Кварц-Обманка и на этот раз сумел,

по-видимому, дать обвиняемым дельный совет, и когда они были освобождены, поставил это себе в заслугу. Все знали, впрочем, что Кварц-Обманка не просто доморощенный приисковый стряпчий; он был некогда весьма известным лицом в юридическом мире, но лишился адвокатских прав за присвоение вверенных ему денег, после чего и прибыл на прииски в 1893 году.

Кварц-Обманка носил прежде имя Квартермана и сейчас еще при случае строил из себя джентльмена. Никто, однако, глядя на грязного смешного старика с блестящей круглой лысиной и крючковатым носом, не мог поверить, что он носил когда-то хороший костюм и служил украшением респектабельных гостиных. Он был сметлив и хитер, никогда не лез за словом в карман, и про него говорили, что ни в выносливости, ни в уродстве он не уступит верблюду.

Кварц-Обманка — это самое что ни на есть подходящее для него имя, говорил Динни. А получил он его за то, что бросил в пути своего товарища: удрал, забрав с собой все продукты и воду. Такого преступления ему никогда не забудут и не простят. Кварц-Обманка клялся, разумеется, что он поделил продукты и воду поровну, прежде чем отправиться за помощью. Его товарищ Джек Белл, говорил он, так ослаб от дизентерии, что не мог двинуться с места. Он оставил Джека около большого выхода на поверхность пустого кварца, в ста пятидесяти милях от Финиша. Но туземцы, которые наткнулись на умирающего старателя, утверждали, что его мех для воды был пуст, а следы белого человека, который ушел оттуда,— совсем свежие.

Чарли Квартерман клялся, что туземцы сами украли продукты и воду, которые он оставил Джеку. Туземцы были очень удивлены таким обвинением. Они знают бочажок в горах, совсем неподалеку от того места, говорили они; им не нужна вода белого человека.

Никто не верил Чарли Квартерману. Но отсутствие прямых улик спасло его. Общее собрание старателей не решилось его осудить на основании одних свидетельских показаний туземцев. Но на этом собрании Чарли Квартерман получил свое прозвище Кварц-Обманка, и так оно за ним и осталось. Первые золотоискатели от всей души ненавидели этот недобрый белый камень, который так часто вводил их в заблуждение своими обманчивыми выходами на поверхность.

Билл Король любил, конечно, поскандалить, но зато он слыл хорошим товарищем, всегда выручал в беде; все знали его широкую натуру и доброе сердце. И старатели терпели Кварца-Обманку только потому, что он был товарищем Билла Короля.

Когда Билл Король заявил, что сегодня он угощает, все уже знали наперед, что Билл себя покажет. На таких пирушках пить что-нибудь, кроме шампанского, считалось дурным тоном.

Попойка только началась, а официантки уже сбились с ног, не успевая разносить шампанское гостям. Билл принялся отстреливать горлышки у бутылок. Засвистели пули, пробки запрыгали в воздух. Официантки забились в угол. У стойки началась свалка из-за бутылок и стаканов. Каждый хватал что под руку попадет, а Билл продолжал стрелять, словно в него вселился бес! Он хотел все перевернуть вверх дном, всем пустить пыль в глаза — словом, знай наших!

— Уймись ты, бога ради, Билл, дурень ты чертов! — взмолился Кварц, когда шум и гвалт достигли предела.

— Что такое? Что ты там бормочешь? Вы слышите, ребята,— заорал Билл,— этот старый, впивый скряга называет меня дурнем за то, что я угощаю своих товарищей! Тащите сюда еще, мисс! Наливайте полней, ребята! — И, обращаясь к Мак-Суини, который показался на пороге бара: — Не извольте беспокоиться, мистер Мак-Суини, Кварц-Обманка заплатит, если мы тут что покалечим. Э-эх! Как бы не промазать!

Стекло в двери за спиной у Мак-Суини разлетелось вдребезги, и трактирщик поспешил ретироваться обратно в зал, где было не так опасно и где за пианино сидела Лора, чуть-чуть захмелевшая и напуганная всем этим шумом. В самом начале пирушки официантка принесла ей бутылку шампанского: мистер Билл Король пьет за ее здоровье и просит сыграть и спеть что-нибудь для его гостей. Лора забарабанила популярную на приисках песенку, но рев, доносившийся из бара, заглушил музыку и не дал ей спеть.

Когда Тим Мак-Суини, пятясь, возвратился в зал, держась за окровавленную щеку, порезанную осколком стекла, Билл Король вошел следом за ним.

— Все в порядке, Тим! — закричал он весело.— Мы с Обманкой заплатим за все. Заплатим за каждое сволочное стекло... прошу прощенья, мэм.

— Ладно, ладно. Ты заплатишь, будь спокоен,— угрюмо ответил Мак-Суини, утирая платком лицо.

— Как насчет какого-нибудь танца или песенки, мэм? — спросил Билл.

Лора снова принялась играть. В баре продолжали горланить. Билл появился с полной красивой официанткой — Кларой Фагот. Он хотел, чтобы она для него спела. Вслед за ними в зал повалили мужчины.

Женщин было мало, и мужчины танцевали друг с другом. Клара носилась по залу в медвежьих объятиях Билла. Споткнув-

шись, они полетели на пол, выкрикивая: «Дэзи, Дэзи, малютка! Я влюблен не на шутку» — и хохоча во все горло.

Началась потасовка из-за Джесси Грей: пока двое старателей спорили, с кем из них она будет танцевать вальс, третий увел ее у них из-под носа. Поднялась страшная кутерьма; девушки хохотали и взвизгивали; еще с полдюжины старателей приняли участие в потасовке, но Мак-Суини сразу положил этому конец и загнал всех обратно в бар, распорядившись подать новую партию шампанского. Он зорко следил за порядком, старина Мак-Суини. С ребятами легче управиться, говорил он, когда они основательно захмелеют и кое-кто свалится под стол.

— Теперь вам лучше поехать домой,— сказал он Лоре, когда веселье начало принимать чересчур разнузданный характер.— Вам здесь теперь не место, мэм. Сам я вас проводить не могу, а велю запрячь кобылку и отвезти вас домой.

Но Билл не спускал глаз с Лоры.

— Вот Лен Минога! Сейчас он сыграет нам польку,— закричал он, подтаскивая к пианино маленького человека с гармоникой в руках.— Разрешите пригласить вас, мэм.

Он сорвал Лору со стула и закружил ее по залу. И сразу она почувствовала себя в центре бешеного и веселого круговорота — неслась куда-то сквозь толпу пьяных мужчин, налетая на них, сталкиваясь с ними... И все время Билл бормотал ей на ухо, что он хочет спать с ней, не постоит ни перед чем. Может, она останется на ночь в гостинице? Где она живет? Он придет к ней домой. Если женщина вскружила ему голову, он своего добьется, ничто его не остановит. Лора чувствовала себя совсем беспомощной под устремленным на нее горящим взглядом, в кольце сильных мужских рук.

— Нет! Нет! — твердила она, стараясь высвободиться из его тесных объятий и чувствуя, как ею овладевает странное, безрассудное желание крикнуть: «Да! Да!»

Старатели, которых Мак-Суини заманил шампанским в бар, шумели, требуя к себе Билла.

— Эй, Билл! — орали они.— Ты что — на попятный? Что с ним такое, чего он там застрял? Мак-Суини угощает! Он тебя заткнет за пояс!

Заряд попал в цель. Билл выпустил Лору, словно она сразу потеряла для него интерес, и направился в бар. Нет уж, дудки, он никому не позволит переплюнуть себя. Никакому Мак-Суини!

Чтобы сразу показать всем, кто сегодня угощает, Билл одним махом смел все стаканы со стойки на пол и заказал новый ящик шампанского. Он снова принялся отстреливать пробки, когда официантки замешкались с подачей. Шампанское фонтанами било из

бутылок и, пенясь, растекалось по полу; золотоискатели хватали разбитые бутылки и пили прямо из горлышка, запрокинув голову, обливая шампанским бороды и без того уже промокшие насквозь и грязные рубахи.

Когда все, что можно было перебить, перебили, Билл наконец свалился без чувств. К утру Мак-Суини удалось выставить за дверь последних гуляк и запереть бар. На следующий день Билл расквитался с ним за дюжину ящиков шампанского и все произведенные разрушения. Обошлось в несколько сот фунтов, говорил Билл, но зато есть что вспомнить. Впрочем, у Мак-Суини был еще один счет к Биллу, и тут он сквитался с ним на особый лад.

Лора не поехала домой в эту ночь. Мак-Суини уступил ей свою комнату, а себе постелил внизу на диване.

— То, что тут вчера было, не должно больше повториться, моя дорогая,— сказал он наутро Лоре, когда они позавтракали вместе.— Так не годится. У меня руки чесались придушить этого мерзавца, когда он тащил вас со стула и заставлял отплясывать с ним. Около вас должен быть мужчина, Лора,— да, да,— чтобы заботиться о вас и охранять. Я простой, грубый трактирщик — сам знаю, что совсем не пара для такой дамы, как вы. Но я был бы вам хорошим мужем. И вы бы ни в чем не знали отказа — все было бы для вас, что только вашей душеньке угодно. Решайтесь-ка, Лора, выходите за меня замуж, ей-ей, не пожалеете. Клянусь божьей матерью, я буду ухаживать за вами, как за самой настоящей королевой. И уж до конца дней своих вы не будете знать заботы о деньгах.

— Вы очень добры, мистер Мак-Суини,— пробормотала Лора,— но я никогда не выйду больше замуж.

— А вот как раз это-то вам и нужно сделать. Вы же сами видите, что получается... а ведь у вас дочка растет.

Лора покраснела. Ей было стыдно, совесть ее мучила; она не понимала, что случилось с ней во время этого безумного танца с Биллом Королем. Мак-Суини, по-видимому, заметил ее состояние и понял, что ее нельзя отправлять домой; сказать по правде, она так захмелела, что ему пришлось помочь ей подняться по лестнице. Она проспала всю ночь, не раздеваясь, и наутро чувствовала себя совсем разбитой. Противно вспомнить, что она принимала участие в этой оргии! Ее бросало в дрожь при мысли о том, что могло бы произойти, если бы Мак-Суини не выставил ребятам новой выпивки и они не отозвали Билла в бар.

Мак-Суини и раньше предостерегал Лору — советовал ей не пить, хотя ему было выгодно, конечно, что посетители покупают для нее вино. Поэтому он придумал такую уловку: велел официанткам наливать Лоре из бутылки, в которой для него всегда

держали холодный чай, или подавать ей разбавленное водой имбирное пиво в бутылке из-под джина. Но Лоре теперь уже нравилось пить коньяк, нравилось веселое головокружение, которое вызывало у нее шампанское. Она сама, лучше чем Мак-Суини, знала, что уже пристрастилась к спиртному, и ей становилось страшно, когда она думала о том, к чему это может привести. Она видела себя жалкой нищенкой, вроде старухи Мэг Райен, которая таскается по кабакам, выпрашивая рюмочку, чтобы опохмелиться.

«О нет! — чуть не плача, говорила себе Лора.— Этого не может быть, до этого не дойдет!» И все же ей было страшно: она знала, что все может случиться, если и дальше так пойдет. Лора не могла освободиться от сознания своей беспомощности, своего одиночества, ей нужна была чья-то любовь и близость. В душной атмосфере гостиницы, окруженная изголодавшимися по женщине мужчинами, Лора внезапно ощутила в себе пробуждение никогда прежде не испытанного ею грубого плотского желания.

Она чувствовала, что могла бы позволить целовать себя, держать в объятиях. Но одна мысль об этом приводила ее в ужас. В душе она оставалась всей той же хорошо воспитанной девушкой, которая считала всякие случайные связи безнравственными и вульгарными; все той же тщеславной и самодовольной маленькой женщиной, которая была женой Олфа Брайрли и гордилась своей добродетелью. Любовная связь вне брака казалась ей чем-то унизительным.

Лора стыдилась своих чувств, стыдилась того, что закипало в ней под похотливыми взглядами пьяных мужчин, при их случайных грубых прикосновениях. Она напускала на себя притворное равнодушие: спокойно и с достоинством отвечала на многозначительные намеки, которые делали ей некоторые видные горожане и кое-кто из заезжих знаменитостей. Но все это было лишь жалким притворством. Она не могла обмануть себя: любовные заигрывания мужчин были ей приятны, они волновали ее и как бы возрождали к жизни.

Долгое время после смерти Олфа Лора жила, замкнувшись в своем холодном одиночестве, укрывшись в нем от всех веселых, лукавых глаз, которые порой могут сказать так много без слов. Ей казалось, что потрясение, пережитое ею, едва не лишило ее рассудка, сделало тупой и безучастной ко всему. Она никак не могла примириться с мыслью, что Олф поступил с ней так жестоко, оставил ее одну. На какое-то время она утратила способность нормально мыслить и чувствовать. Она удивлялась, что она видит и слышит, может еще делать какие-то движения, сжимать и разжимать

пальцы. Даже Эми, казалось, перестала для нее существовать. Понемногу она убедила себя в том, что не любит дочь; но она постарается быть ей хорошей матерью, выполнит свой долг, даст ребенку все, что Олф мог бы пожелать для своей дочери.

Она отправила Эми в монастырскую школу в Кулгарди, когда решила играть по вечерам в «Звезде Запада».

— Не могу же я каждый вечер оставлять ее у тебя,— говорила она Салли.— Там, по крайней мере, она не будет, как здесь, носиться после школы по улицам с соседскими мальчишками.

Первое время, играя по вечерам у Мак-Суини, Лора была очень молчалива и держалась замкнуто. Мак-Суини же был всегда чрезвычайно добр к миссис Брайрли, чрезвычайно внимателен. Посетители относились с уважением к ее горю, к трауру, который она не снимала в течение многих месяцев. Лора теперь уже сама не могла припомнить, как это началось — как она сдружилась с официантками, в особенности с Кларой, которая привлекла ее к себе своим чудным голосом, глубоким, сочным контральто, таким сильным и вместе с тем задушевным. Лора аккомпанировала Кларе, когда та, уступая настойчивым просьбам мужчин, соглашалась им спеть. Клара считала коньяк лучшим лекарством от всех скорбей, и Лора все чаще и чаще стала попивать его вместе с Кларой.

Мало-помалу Лора свыклась с обстановкой гостиницы Мак-Суини, с царившими там грубоватыми, но дружелюбными отношениями, и они в конце концов пришлись ей по душе. Она стала с бо́льшим интересом и более снисходительно относиться к рудокопам и старателям, которые собирались в зале, чтобы послушать ее игру и пение. Беседовала с ними, даже если они были под хмельком, и охотно слушала их рассказы о всяких удачах и неудачах. А иной раз позволяла им угощать себя вином, потому что ей хотелось забыться, перестать думать об Олфе.

Его смерть придавила ее; Лора думала о ней со все возраставшей горечью. Такая смерть была предательством, изменой их любви, и этого она не могла простить Олфу. Ему, значит, было все равно, что станется с ней, раз он сам, по доброй воле, оставил ее навсегда. Злоба против Олфа закипала в ее сердце. Тупая, мстительная и страстная злоба. Эти пирушки с грубыми, чужими ей людьми как бы загрязняли в ее глазах память Олфа. И она находила какое-то бессознательное удовлетворение в этом предательстве, словно этим сочлась с ним за свою обиду.

Как ей жить теперь? Ведь она уже никогда не будет прежней Лорой — счастливой, беззаботной, нежно привязанной к своему мужу, свято верящей в его ум и способности! Никто и ничто не

могло бы поколебать ее веры в Олфа, но он сам, своей рукой сделал это — он не только погубил и свою и ее жизнь, он разрушил все ее иллюзии. Словно он и не любил ее по-настоящему, словно они были чужими друг другу. Но она любила его и никогда не полюбит другого, твердила себе Лора.

Быть может, Лора безотчетно старалась доказать Олфу, что она может просуществовать и без него: устоит на ногах, будет работать и прокормит себя. У нее была смутная вера в то, что он об этом как-то узнает. Когда она смотрела на его портрет, ей хотелось крикнуть ему: «Ты видишь — я могу! Я могу сама зарабатывать себе на хлеб!» Но, в сущности, она оставалась все тем же слабым, беспомощным созданием, каким считал ее Олф.

Ее печаль была проникнута горечью, и чувство унижения не покидало ее. Но сердце Лоры никогда не переставало томиться по Олфу. Она бы отдала все, чтобы снова услышать его голос, ощутить отраду его присутствия. Но она была лишена теперь той теплой душевной близости, которой дарил ее Олф, и это делало ее одинокой и несчастной. Порой ей казалось, что она будет благодарна любому, кто обнимет ее, пригреет, даст ей почувствовать около себя чье-то живое тепло. Ей было так холодно и пусто, с тех пор как она утратила тот счастливый светлый мир, в котором жила с Олфом!

Когда по вечерам Лора приходила в гостиницу, Мак-Суини хлопотал и суетился вокруг нее, как старая наседка вокруг своего единственного цыпленка. Вначале Лора не придавала значения этим знакам внимания, хотя ей и льстило, конечно, что Мак-Суини вертится в коридоре около двери, когда она играет, или, присев в зале на стул, слушает со слезами на глазах, как она поет «Последнюю розу лета» или еще какую-нибудь сентиментальную песенку. Все признаки указывали на то, что Мак-Суини влюблен, но Лора этого не замечала, а Мак-Суини не делал попыток открыть ей свои чувства и держался с ней на дружеской ноге, хотя и не без оттенка покровительства,— приказывал заложить для нее тележку, если она задерживалась в гостинице допоздна, и сторожил, как верный пес, когда вокруг миссис Брайрли начинал увиваться какой-нибудь чересчур пылкий обожатель.

Но месяц проходил за месяцем, и ухаживания Мак-Суини начинали смущать Лору; они становились все более явными — особенно после той памятной ночи, когда Билл Король поставил рекорд, напоив всех старателей вдрызг, а Мак-Суини неожиданно сделал ей предложение. Официантки дразнили Лору, а она — хотя и смеялась в ответ и уверяла, что ни за какие блага в мире не согласится стать миссис Мак-Суини,— все же понемногу привыкала к этой мысли, даже находила какое-то успокоение в

том, что есть возле нее человек, который так сильно к ней привязан.

Когда Лора обедала с Фриско или еще с кем-нибудь из мужчин, Мак-Суини сидел в сторонке и страдальчески-ревнивым взором следил за тем, как любезничают с Лорой ее кавалеры.

Теперь Фриско находил общество Лоры куда более занятным, чем раньше, и между ними быстро установились непринужденно-фамильярные отношения. Лора бессознательно подражала официанткам в их задорно-насмешливой манере себя держать. Научилась, так же как они, не теряясь, давать отпор мужчинам, когда те чересчур смелели,— если только не была при этом под хмельком. После бутылки вина уже труднее было противиться жаркому поцелую или дерзкой руке, скользнувшей по груди. А теперь это случалось не раз, когда она ужинала с официантками и с их приятелями в отдельном кабинете после закрытия ресторана.

Мак-Суини постоянно предостерегал Лору насчет некоторых ее поклонников. Когда ему стало известно, что она была на шумной пирушке в доме одного управляющего рудником, он помрачнел, и по лицу его видно было, что он страдает.

— Это неподходящее для вас дело, мэм,—сказал он просто.— Такая красивая и порядочная дама не должна возжаться с этими развратниками. У меня сердце кровью обливается, когда они пялят на вас глаза; я-то ведь знаю, что ни один из них не стоит вашей подметки.

Лора была тронута, видя, как искренно он огорчен.

— Что и говорить, я и сам-то недостоин вас,— продолжал Мак-Суини, пользуясь тем, что Лора готова была его слушать.— Но я люблю вас, мэм. Я готов землю целовать, если вы прошли по ней своими ножками. Я буду вам хорошим мужем, Лора, буду заботиться о вас.

— Нет, нет, об этом не может быть и речи, мистер Мак-Суини,— ответила Лора поспешно.— Я уже говорила вам, что никогда не выйду замуж. Я любила Олфа. И никого уже больше любить не буду.

— Любить? — сумрачно повторил Мак-Суини.— Я не прошу вас любить меня. Я прошу вас выйти за меня замуж и дать мне право заботиться о вас. Если я не противен вам и вы согласны жить со мной — с меня и этого хватит. Я не стану больше приставать к вам,— добавил он.— Слова не скажу, раз вам это не по вкусу. Но только я такой человек — если что решил, меня уже в сторону не своротишь. Когда-нибудь вы все-таки станете моей женой и не пожалеете об этом. Вы только помните, дорогая, что Мак-Суини предан вам душой и телом.

Лора была смущена и взволнована. Она знала, что Мак-Суини прав. Он мог дать ей то, в чем она нуждалась. Мысль о том, что с ним ей не нужно притворяться, доставляла облегчение. Лора вдруг почувствовала, что она могла бы стать женой Мак-Суини и этим вернуть себе самоуважение, которое она теряет. Но она не могла заставить себя сказать это Мак-Суини.

ГЛАВА LXIX

Тучи, нависшие над прииском, с каждым месяцем сгущались все больше и больше.

— Калгурли конец! — мрачно вещали спекулянты. Они предрекали, что Калгурли, подобно Кулгарди, превратится скоро в безлюдный захолустный городок, с разбросанными кое-где по окраинам хибарками рудокопов. Уже некоторые из рудников Золотой Мили, о сокровищах которой биржевики протрубили когда-то на весь мир, стояли заброшенные, словно груды никому не нужного хлама; машины ржавели под навесами, и сотни безработных рудокопов бродили по улицам, собирались кучками у трактиров или вокруг игроков в ту-ап.

Кое-кто из безработных застолбил участки и рыл россыпное золото, другие ушли на разведку. Партия рудокопов работала в одном из заброшенных рудников, и говорили, что дела у них идут неплохо. Каждый рудокоп, каждый старатель, каждый человек, знавший страну, и каждый лавочник, понимающий скрытые причины кризиса, верил в прииски: знал, что Калгурли возродится снова, что золото есть — и здесь, в глубине рудников, и в не открытых еще месторождениях обширных неисследованных просторов страны.

Калгурли, говорили они, страдает от жульнических махинаций золотопромышленников, от беззастенчивого выпуска дутых акций и оголтелой спекуляции, которые создали дурную славу приискам Запада и препятствуют успешной разработке менее богатых руд.

Жизнь тех, кто уже свил себе прочное гнездо здесь, на приисках, шла своим заведенным порядком. Салли и Мари, как и сотни других женщин их круга, с утра до ночи стряпали и стирали, сражались с тучами мух и красной пыли, всегда висевшей в воздухе, дрожали над скудными запасами воды и жаловались на редкие посещения ассенизаторов.

Доставать свежие продукты или овощи было по-прежнему трудно. Правда, Салли и Мари завели коз; кроме того, у них теперь были погребки с водяным охлаждением. Эта вода шла затем

на мытье полов, после чего ее можно было еще использовать для поливки виноградных лоз или помидоров, худосочные кустики которых росли в тени дерюжных щитов.

Салли целыми днями стряпала, обшивала ребят и неустанно боролась за чистоту в доме. Покончив с делами, Салли и Мари нередко навещали друг друга; сидя на веранде в тихих душных сумерках, они занимались шитьем или вышиваньем и болтали.

Борьба старателей за россыпное золото длилась больше двух лет. Дик и Том уже ходили в школу, а Ларри только что исполнилось два года, когда Салли обнаружила, что она опять беременна. Она радовалась этому ребенку: ей казалось, что он знаменует ее воссоединение с Моррисом и как бы подводит итог всему, из чего складывалась теперь их жизнь. Они уже не мечтали покинуть прииски и были довольны, что у них есть кров и кусок хлеба для себя и для детей.

Когда Динни бывал в городе, в дом всегда стекались его приятели, чтобы повидаться с ним. Мужчины, покуривая трубки, засиживались за полночь. Если приходил Мэллоки О'Дуайр или кто-нибудь из старателей, принимавших участие в борьбе за россыпи, разговор вертелся вокруг злободневных политических вопросов и последних событий. Когда забегали старожилы, все начинали вспоминать былое.

Суд над А.-К. Бейли и де Стедингом в Лондоне и ликвидация Акционерного общества освоения богатств Западной Австралии разоблачили махинации, при помощи которых дутые компании очищают карманы сотен мелких пайщиков. Жульнические приемы разных проходимцев, которые уговаривали людей вкладывать деньги в несуществующие рудники, суля огромные дивиденды и зная наперед, что не выплатят ни пенса, вызвали бурю негодования.

Когда Бейли был обвинен в присвоении обманным путем шестидесяти тысяч фунтов стерлингов, репутация Фриско, тесно связанного с этим акционерным обществом, оказалась сильно подмоченной. Слушание дела откладывалось раз десять, но в конце концов Бейли был приговорен к пяти годам каторжных работ.

— Куда как много выиграют от этого те несчастные простофили, которых он обобрал! — заметил как-то раз Динни. Был вечер, и на веранде собрались Мэллоки О'Дуайр, Майк Бэрк, Билл Брей и Пэт Хьюз.— Любой жулик будет считать, что Бейли не внакладе.

— Есть такие, что нажились еще больше и вовсе вышли сухими из воды,— напомнил ему Майк.— Например, все воротилы компаний и управляющие рудниками.

— А молодчики из «Большого Боулдера», заключившие контракт с обогатительной компанией, чем они лучше?

— А чем пахнет на Объединенном?

— Дирекция обвиняет управляющего в составлении раздутых смет и непроизводительных затратах,— иронически заметил Мэллоки.— А тот обвиняет директоров в том, что они заставляли его хищнически выкачивать из рудника все высокосортные руды. Говорят, они пропивали по двадцать — двадцать пять тысяч фунтов стерлингов в месяц, а рудник довели до полного упадка.

— Француз Ландо, новый председатель правления, считает, что они выкачали из рудника двести тысяч унций золота,— отозвался Билл Брей. А пайщики получили шиш с маслом.

— Да, кто-то огреб немало.

— Это уж как пить дать.

— Говорят, на Большом Боулдере открыта новая залежь на глубине четырехсот футов,— сказал Пэт Хьюз.— Богатейшая жила, если верить одному парню, который там работает. А хозяева держат все в тайне, и акции продолжают падать. Ничего, они еще подскочат, и дела на приисках снова пойдут на лад.

— В свое время, когда братья Брукмены застолбили участки наугад, Большой Боулдер был такой же авантюрой, как десятки других,— напомнил Динни.— А потом оказался настоящим золотым дном. Акции подскочили вдруг от одного фунта до семнадцати. Этот рудник принес уже больше трех миллионов.

— А еще недавно можно было купить акцию Большого Боулдера за пять шиллингов.

— Я сам видел, как ставили в ту-ап сотни две акций против пяти фунтов.

— Жаль, что не я их выиграл! — рассмеялся Майкл.— Большой Боулдер не подведет, уж поверьте мне. Он всегда был красой наших приисков. Будьте покойны, биржевые воротилы опять раззвонят о нем, как только это станет им выгодно. Уже ходят слухи о залежах на глубине ста тридцати футов, и акции начинают подниматься; скоро они опять подскочат.

— Ну и что же! — Динни сплюнул.— Нам-то какая от этого польза? Нет, нашему городу нужно прежде всего покончить с аферами на рудниках. Золота там хватит. Рудники могут прокормить вдвое больше народу, чем сейчас в Калгурли, и создать сносные условия жизни для рабочих — нужно только, чтобы дела велись честно. Пусть господа капиталисты, черт с ними, получают прибыль на свои проклятые деньги, но пусть они помогают развитию страны, а не высасывают из нее все соки, пока мы тут маемся от жары и дохнем с голоду.

— «Управлять страной, говорит Вольтер,— это значит отбирать у одной части населения для того, чтобы отдавать другой»,— пробормотал Крис Кроу.

— Что бы с нами теперь было, если бы не россыпное,— задумчиво проговорил Пэт Хьюз.

— Это верно,— подтвердил Майк.— Россыпное золото, в сущности, только и поддерживает сейчас жизнь города. Промышленники чего добивались? Думали воспользоваться кризисом, стакнуться с правительством и положить нас на обе лопатки. Просчитались малость — не все здесь станут плясать под их дудку.

Задумчиво посасывая трубки, старатели удовлетворенно усмехались, вспоминая свою борьбу и победу.

— Сейчас они подняли страшный вой — кричат, что их обкрадывают,— заметил кто-то.— На миллионы фунтов золото сбывается, дескать, налево. Это они имеют в виду те крупинки, которые рабочим удается пронести в своих сумках. Теперь хотят обыскивать рабочих после смены — заставить их стоять перед ними в чем мать родила.

— Ну, ребята этого не потерпят.

— Да уж черта с два!

В те годы, когда производились первые поиски золота и осваивались первые месторождения, у нас, в Западной Австралии, никто и слышать не слышал ни о каких убийствах или ограблениях, говорили старожилы. А вот как стала развиваться промышленность и все старательские законы пошли насмарку, а по железной дороге понаехало на прииски видимо-невидимо всяких аферистов и бандитов, тут и пошли грабежи; прохожих душат на дорогах. Приисковый инспектор что ни день судит грабителей.

Грабежи особенно участились во время кризиса. Бандиты в масках напали на управляющего Хэннанским товариществом золотопромышленников в его собственном доме, заткнули ему кляпом рот и взломали сейф, где хранились золотые пробы. На Браун-Хилл подкупили ночного сторожа, вывезли весь золотоносный шламм. На Королевском был совершен налет на рудодробилку и похищена уйма золота. Однако арестов произведено не было.

Калгурли становится рассадником преступлений, порока, морального разложения! —кричала южная пресса. Население Калгурли отвергало эти обвинения. Все знали, что крупные компании выгребли на миллионы фунтов стерлингов золота из рудников и безнаказанно ограбили пайщиков, а теперь стараются задушить город, чтобы доказать свою силу. Богачи, нажившие состояния на рудниках, не видели связи между этими преступлениями: когда грабили их, они не помнили о том, как грабили сами. Рудокопам

и старателям эта связь казалась очевидной. Никто из них не был причастен к налетам, но им доставляла некоторое удовлетворение мысль о том, что промышленникам помогают таким образом освободиться хоть от небольшой доли награбленного ими у народа золота.

Невесело, должно быть, было в эти дни в Горной палате и на бирже. Но в домах старожилов прииска, на глазах у которых шумный, беспорядочный золотоискательский лагерь превратился в заправский город, не унывали: какие бы трудности ни стояли на пути, здесь всегда можно было услышать веселую шутку или забавную историю.

Том Дойль по-прежнему оставался мэром города Кэноуны и по-прежнему был исполнен гордости и самодовольства.

Динни любил вспоминать, как Том, когда его впервые избрали мэром, весь раздувшись от важности, как индюк, преподнес эту новость своей жене:

«Ну, Кэт, я теперь, с божьей помощью, мэр этого города, а ты — госпожа мэрша».

«Господи спаси и помилуй! — ахнула Кэт.— В каком же родстве я теперь буду состоять с королевой английской?»

Дойль закатил знатную попойку жителям города. Это называлось балом, и Том, которому растолковали, как и что в таких случаях положено, одолжил у кого-то на вечер фрак. Том, как всем известно, здоровенный плечистый ирландец: рост шесть футов, черная борода с проседью, глаза так и горят; в общем, красивый мужик, хотя и смахивает на пирата. Последнее время Том уже начал отращивать брюшко, и фрачные брюки оказались ему так узки, что он мог натянуть их только на голое тело.

— Вот вам крест, это все истинная правда! — божился Динни.— Том, значит, уже на взводе, взопрел в своем фраке, как свинья, и отплясывает с мадам инспекторшей, и вдруг — бац! Ребята здорово натерли пол свечным воском, он и поскользнулся, а мадам инспекторша на него, а у Тома штаны возьми да и тресни по шву. Кэт бросается к нему. «Я, говорит, это тебе мигом улажу!» Выпихивает его в соседнюю комнату, отведенную для дам, и стаскивает с него штаны. Но тут кончается танец. Дамочки так и норовят влезть в комнату. Кэт тащит Тома к двери — думает впопыхах, что это дверь в заднюю комнату, толкает его туда — и вот вам, пожалуйста,— Том снова в бальном зале! Стоит себе, голубчик, во фраке и без штанов — ну просто старый петух какой-то — и топочет волосатыми ногами по полу, к общему восторгу.

«Кэт, Кэт, Христа ради пусти меня обратно! — вопит он.— Это же бальный зал!» Но гости так ревут от восторга, что Кэт ни-

чего не слышит. Так он и стоял, стуча от страха голыми коленками, пока Кэт не выпроводила всех женщин из комнаты и не впустила его обратно, чтобы напялить на него штаны.

Но такой маленький конфуз не мог, конечно, отравить Тому Дойлю удовольствие, которое он получал от того, что стал мэром города. Он разгуливал по улицам с таким видом, словно город был его личной собственностью. В общем, наслаждался своим положением от души.

— В прошлом году мне довелось ехать вместе с ним на скачки,— вспоминал Тупая Кирка.— Видим, какой-то парень работает на дороге, а Боб Финей, секретарь городского управления, указывает ему, что и как.

«Эй, мистер секретарь городского управления,— говорит Том,— что такое делает здесь этот тип? Зачем он вскапывает дорогу?»

«Он роет сточную канаву, Том»,— говорит Боб.

«Канаву? Он, значит, воображает, что это канава? Гони его к чертям, и пусть сделают приличную канаву, как подобает».

«Не могу,— говорит Боб,— у меня с ним соглашение».

«Какое такое соглашение?»

«Устное соглашение».

«Устное соглашение,— говорит Том величественно,— стоит не больше той бумаги, на которой оно написано. Гони в шею этого болвана. Я хочу, чтобы на моих дорогах все эти чертовы канавы выглядели прилично, будь они прокляты!»

Да, вечера всегда проходили весело, когда Сэм Маллет и Тупая Кирка, Эли Нанкэрроу и Тэсси Риган, да еще Жан Робийяр заглядывали на огонек.

Сэм знал забавную историю про Тома Дойля и Пэдди Кевана. Том одно время как-то ухитрялся держать гостиницу и вместе с тем исполнять обязанности управляющего на руднике рядом со старым Белым Пером, а мальчишке Пэдди хотелось получить на руднике работу.

— Пэдди повадился заходить к Тому в контору примерно раз пять на неделе,— рассказывал Сэм.— Развалится на стуле, вытянет ноги под столом и спросит: «Есть работа?» — «Нет»,— говорит Том и без лишних слов выпроваживает Пэдди за дверь. Но он знал, что дня через два Пэдди появится снова и спросит, нахально ухмыляясь: «Есть работа?» И это бесило Тома.

«Вот что, молодой человек,— говорит Том.— Будь даже у меня работа, я бы вам ее все равно не дал. Не умеете просить».

«А как бы вы, к примеру, стали просить?» — говорит Пэдди.

«А вот так,— говорит Том, поднимаясь со стула.— Сейчас я покажу тебе, как бы я стал просить».

Том выходит из комнаты, а Пэдди усаживается на его место, берет со стола сигару, закуривает. Входит Том.

«Доброе утро, сэр,—говорит Том, приятно улыбаясь.— Разрешите узнать, не найдется ли у вас какой-нибудь работенки?»

«Нет,—говорит Пэдди, затягиваясь его сигарой.— Мы не принимаем на работу таких старых ослов. Слишком уж ты разжирел братец. Проваливай!»

Эта история напоминает Жану Робийяру о том, как он получил свою первую работу в Хэннане. Жан — тихий, немногословный парень, и все знают, что его дни сочтены. «Пропылился»,— говорят про него товарищи; по утрам его так бьет кашель, что кажется, он вот-вот задохнется.

Тут уж ничем нельзя помочь. Сотни людей, работавших на первых рудниках, платятся теперь жизнью за отсутствие вентиляции при сухом бурении. Вот и Тед Моллой тоже. Тед не встает с постели уже восьмой месяц и все харкает кровью, насмерть пугая ребятишек и свою хозяюшку. Каждый больной рудокоп знает, что ему предстоит долгая, изнурительная болезнь. Но Робби все еще на ногах, не хочет сдаваться и даже подыскивает себе какую-нибудь работу полегче. Еще недавно он работал по ремонту оборудования на Объединенном.

— Я пришел сюда из старого лагеря, когда дела здесь шли довольно туго, а мне позарез нужна была работа.— Робби говорит с легким иностранным акцентом, голос у него звучит глухо.— Помню, Тупая Кирка сказал мне, что следует попытать счастья на Браун-Хилле.

— Они все там, на Браун-Хилле, были братьями во Христе,— не утерпев, вставляет Тупая Кирка, который видит что Жану трудно говорить.— А штейгером был тогда преподобный Джо; он напал на хорошую залежь — прямо-таки настоящий клад. Но этот парень до того помешался на спасении душ, что держал на работе только тех, кто посещал его молитвенные собрания.

— Ну вот, Тупая Кирка и спрашивает меня,— откашлявшись, продолжал Робби.— «Умеешь ты петь гимны?» Нет, гимнов я петь не умел. «Ладно,— говорит он,— ступай на ихнее молитвенное собрание и говори «Восхвалим господа!» всякий раз, как только тебе вздумается. Я ходил на молитвенные собрания раза два-три и говорил «Восхвалим господа!» всякий раз, как мне вздумается. А потом попросил преподобного Джо принять меня на работу и был принят безо всякой проволочки.

Робби говорит с трудом, отчетливо слышно его свистящее дыхание, но, сделав над собой усилие, он все же продолжает:

— На следующее утро спускаюсь я в шахту. Рудник был невелик, и рабочих на нем не так много. Вижу —сидит на корточ-

ках какой-то старикан с квадратной бородкой, как у корнваллийца, и ковыряет киркой породу в самом что ни на есть богатом местечке. Ну, я присел рядом и тоже принялся за работу. Тут подходит к нам штейгер.

«Восхвалим господа, брат, как идут дела?» — спрашивает преподобный Джо.

«Дела первый сорт, брат, восхвалим господа»,— отвечает старикан, продолжая стучать киркой. И тут я замечаю, что он нет-нет да и припрячет хороший образчик. Смотрю, а у него в сумке со жратвой таких «образчиков» целый мешочек.

«А ведь я думал, что набожные люди, вроде тебя, не занимаются такими делами»,— говорю я ему.

«Какими это делами?» — спрашивает он.

«Да вот это самое — не воруют золото»,— говорю я.

«Когда господь бог запихивал это золото в землю,— говорит старикан,—он хотел, чтобы из земли его добывало великое множество людей. Я имею столько же прав на это золото, как и преподобный Джо».

Все смеются; задыхаясь от кашля, смеется и Робби. Потом кто-нибудь начинает новую историю. Так в дружеской беседе протекал не один тихий вечер на веранде у Гаугов.

ГЛАВА LXX

Со дня смерти Олфа минуло два года, когда Лора решила выйти замуж за Тима Мак-Суини.

Лора пришла проведать Салли. Неделю назад Тим Мак-Суини подарил Лоре обручальное кольцо и объявил всем, что свадьба состоится в конце месяца.

— Он хороший человек и очень меня любит,— как бы оправдываясь, говорила Лора.— Мне кажется, это лучшее, что я могу сделать, Салли. Должно быть, я не из тех женщин, которые умеют сами заботиться о себе. Слишком много мужчин хотят обо мне заботиться... А когда начинаешь пить вино — одному богу известно, к чему это может привести.

Лора еще больше пополнела за эти два года. Ее пышную фигуру облегал тугой корсет; голубое атласное платье было нарядно и богато. Красота ее становилась уже несколько перезрелой. Нежная белая кожа утратила свою свежесть, приобрела нездоровый оттенок, и хотя Лора разрумянилась от жары, в лице ее не было прежних живых красок. Под большими серо-голубыми глазами, которые все еще грустили об Олфе, появилась легкая припухлость, а дыхание чуть-чуть отдавало вином. Маленькие белые

ручки как-то жалостливо, беспомощно лежали на коленях; на пальце сверкало бриллиантовое кольцо, подаренное Тимом Мак-Суини.

Покончив с объяснениями, Лора всплакнула.

— Кто бы мог подумать, что у нас с Олфом так все кончится! — всхлипывала она.— Как мы были влюблены друг в друга, когда поженились! Да и потом было то же самое. Мне казалось, что нас ничто не может разлучить. Как мог он меня оставить? Как мог он это сделать?

— Ну, будет, будет,— старалась успокоить ее Салли.— Ведь почти у всех у нас так: в юности мы все мечтаем о каком-то необыкновенном счастье, а потом приходится мириться с тем, что есть.

— Да, да, вот именно,— горячо подхватила Лора.— Ты ведь понимаешь меня, Салли, верно? Я люблю Олфа. Никогда никого больше не полюблю. Но уж лучше мне выйти замуж за Тима Мак-Суини, чем просто пропадать так, зря. Боже мой, Салли, я никогда не думала, что могу стать дурной женщиной, понимаешь, совсем дурной, распутной. А так оно и будет, если я не выйду за кого-нибудь замуж и не возьму себя в руки. Иначе просто не знаю, что со мной станет. А ведь нужно подумать и об Эми.

— А почему, собственно, Мак-Суини, а не Фриско, не Ллойд Карсон или еще кто-нибудь? — спросила Салли.

Лора досадливо поморщилась:

— Фриско никогда не женится на мне. Если хочешь знать, ты единственная женщина, Салли, которая по-настоящему задела его сердце. Он вечно говорит про тебя. А Ллойд Карсон — старый ханжа и лицемер. Мак-Суини — самый порядочный и самый добрый из всех людей, с которыми мне приходилось иметь дело после смерти Олфа. И он действительно предан мне. Я чувствую, что могу ужиться с ним и обрести наконец покой.

— Если так, то тебе, конечно, лучше всего выйти замуж за мистера Мак-Суини,— сказала Салли.

— И он очень привязан к Эми,—перепительно добавила Лора.— Обещал оставить ей после себя немного денег.

— Вот это хорошо,— сказала Салли.— Не плачь, Лора. В конце концов все наладится, я уверена.

— Ах, Олф, Олф! — всхлипнула Лора.— Разве я могу когда-нибудь примириться с его смертью, Салли? Зачем он меня покинул! Это он виноват в том, что я должна теперь стать женой Мак-Суини. Но ты понимаешь меня, правда, Салли? Это никак не помешает нашей дружбе, верно? Ты всегда позаботишься в случае чего об Эми — в память Олфа, правда ведь, скажи?

— Это нисколько не изменит моего отношения к тебе, Лора,— заверила ее Салли.— И Эми всегда будет принята в нашем доме, как дочь.

Лора высморкалась, вытерла слезы маленьким скомканным платочком и, подняв глаза, поймала свое отражение в зеркале, висевшем на стене напротив.

— Господи Иисусе, на что я похожа! — горестно вырвалось у нее.— Ну кто бы мог подумать, что эта толстая красномордая баба с мешками под глазами — это я, Лора Брайрли? И чего ради Тим хочет жениться на мне — просто не понимаю. Но он в самом деле хочет этого, и я решила сделать ему такое одолжение. Даже не ради его денег и его роскошного дома, а просто потому, что он «готов целовать землю, по которой я ступаю своими крохотными ножками», как он изволит выражаться. Мне необходимо, чтобы меня кто-то любил, Салли, без этого я не могу жить. Но как бы я хотела, чтобы мне не нужно было превращаться в миссис Мак-Суини!

ГЛАВА LXXI

В тот вечер, когда Тим Мак-Суини давал свадебный обед в «Звезде Запада» с бесплатной выпивкой в баре для всех желающих, Динни, Моррис и Салли с маленьким сыном, которому только что исполнилось две недели, сидели на своей веранде. Старик Кроу, как всегда, устроился немного в сторонке. Ни у Динни, ни у Морриса не хватило духу пойти на свадьбу Лоры, а у Салли был хороший предлог — новорожденный сын.

Моррис и Динни сидели молча, в той спокойной задумчивости, которая никогда не бывает тягостной в кругу старых друзей, но в этот вечер вид у обоих был подавленный. Вспоминают прошлое, Олфа вспоминают, догадывалась Салли.

Вечер был тих; в неподвижном воздухе еще висела пыль. Тусклая ущербная луна стояла в мглистом, отливавшем серебром небе. В садике торчали сухие, прямые, как палки, стебли растений с коричневыми, шуршащими, словно бумага, листьями.

За домом, вплоть до склона горного кряжа, простиралось голое пространство выжженной солнцем земли. Высохшее русло ручья, протекавшего некогда у подножия гор, не было видно с веранды, но вдоль берегов его темнели кусты — остатки древнего оазиса, стоянки афганских караванов. Вдали смутно белели хибарки Боулдерского поселка; там золотыми искорками мерцали кое-где огоньки — так же, как и на черной стене кряжа, по склону которого были разбросаны рудничные строения. Стрелы копров торчали на горизонте, как сухостойный лес. Белые клубы

дыма из высокой трубы висели над рудником, отравляя воздух. За частоколом начиналось Боулдерское шоссе, которое шло через город Калгурли, расползавшийся по равнине у подножия горы, где Пэдди Хэнан когда-то застолбил первый участок. От света уличных фонарей и ярко освещенных окон домов, торговых зданий и гостиниц над городом стояло зарево.

Многие рудники прекратили работу, но кое-где на горном кряже продолжала стучать толчея. Глухие удары, скрежет и грохот неслись оттуда, где гигантские песты толкли, крошили руду, нарушая тишину ночи, тревожа разлитый вокруг покой и рождая смутный страх перед какой-то свирепой и беспощадной силой.

Но сюда, на веранду, долетал лишь смутный отдаленный гул, не тревоживший тех, кто его слышал изо дня в день. С равнины доносился звон козьих бубенчиков, а со двора — мрачное, заунывное пение, сопровождавшееся звуками, похожими на стук трещотки.

— Калгурла затосковала, хочет уйти к своим,— заметила Салли.— Она опять поет песню о том, как белые люди принесли гибель ее народу.

— Старая ведьма! — проворчал Моррис.— Понять не могу, как ты терпишь ее присутствие.

— Она всегда приходит, когда у меня должен родиться ребенок,—отвечала Салли устало.— И я рада ей — никто лучше ее не поможет мне со стиркой и уборкой.

— Эта порка туземцев на ферме у Марбл-Бара — одна из самых страшных историй, какие я только слышал, если не считать еще того, как их перестреляли в Менанкили,— задумчиво проговорил Динни.

— А что там произошло? — спросила Салли.

— Несколько туземцев убежали с овечьей фермы, которая принадлежит двум братьям Андерсонам,— ответил Динни.— Андерсоны разыскали туземцев и пригнали обратно. Держали их без воды и пороли веревками с узлами; пороли всех подряд — мужчин, женщин, детей... Две туземки и один туземец умерли под кнутом. Еще шесть туземцев тоже едва не отдали богу душу. Но одному удалось ускользнуть, и он все сообщил полиции.

— Я помню этот случай,— сказал Моррис.— Дело слушалось в суде несколько месяцев назад.

— Правильно,—подтвердил Динни.— Один из Андерсонов умер от лихорадки еще до суда, а другой был присужден к пожизненной каторге. Ты помнишь, как судья говорил о «бесчеловечном истязании девушек, почти детей» и как он крикнул этому негодяю: «Вы совершили страшное, отвратительное преступление — жестокое, преднамеренное убийство троих людей».

— Туземные расы знают нас главным образом по нашим преступлениям,— пробормотал Крис Кроу.

— А что сталось с Маританой? — спросил Динни, нарушая снова овладевшее всеми молчание.

— Маритана приходит иногда в город,—отвечала Салли, давая ребенку грудь.— Калгурла говорит, что она живет где-то около Маунт-Берджесса с каким-то белым — кажется, его зовут Фред Кэрнс. У них куча детей, лошадь и рессорная двуколка.

— Фред Кэрнс? Долговязый такой парень, похожий на сушеную рыбу?

— Да, да, он самый,— подтвердил Моррис угрюмо.— Неприятный тип.

— Бедная Маритана! — вздохнула Салли, вспоминая юное создание с прекрасными карими глазами, пугливое и грациозное, как серна.— Знаешь, Моррис, она называет себя метиской, и я уверена, что это так. Она сама рассказывала мне, как двое белых похитили ее мать,— вот почему в ней есть что-то отличающее ее от других туземных женщин.

— Да, надо полагать, что солдаты из хэнтовской поисковой партии и беглые каторжники не особенно церемонились с местными женщинами, когда те попадались им в руки,— промолвил Динни.

— Это было еще до первого похода в Кулгарди,— заметил Моррис.— Много воды утекло с тех пор.

Разговор оборвался; Моррис и Динни погрузились в молчание, попыхивая трубками. О чем они сейчас думают? — спрашивала себя Салли, стараясь проникнуть в их мысли. Вероятно, о том, как все изменилось с тех пор, как впервые старательские партии вышли из Южного Креста и разбрелись в разные стороны в поисках золота. Какая здесь была глушь! Огромные неисследованные пространства безводной, заросшей кустарниками пустыни простирались тогда из края в край. Даже трудно поверить, что целые города успели вырасти с тех пор среди этой пустыни; вырасти, расцвести и, как Кулгарди, снова обезлюдеть.

Та же участь грозила и Калгурли, несмотря на железную дорогу и проект орошения, все еще суливший «реки чистой воды, которые потекут через прииски». Калгурли по-прежнему страдал от кризиса, хотя Моррис уверял, что на бирже появились некоторые признаки оживления. Но рудники закрывались один за другим, и на приисках были сотни безработных рудокопов, которые вместе со своими семьями влачили самое нищенское существование в жалких полуразрушенных лачугах. А сотни старателей уехали искать счастья в Клондайк.

Немало было людей, которые сомневались в том, что кризис когда-нибудь кончится. Они предрекали, что очень скоро Калгурли превратится в такой же заброшенный рудничный поселок, как Кулгарди, и только ряды пустых домов, два-три трактира да несколько полуразрушенных рудников вокруг будут напоминать о том, как кипела когда-то жизнь в этом городе, который звался «жемчужиной приисков». Но старожилы не разделяли этого пессимизма. Они фыркали, слушая мрачные предсказания, и не теряли веры в добрый старый Боулдерский кряж, опоясавший город Калгурли.

Моррис, словно желая подбодрить Салли, указал ей на грязные клочья дыма, медленно ползущие в тихом ночном воздухе, залитом неярким светом луны.

— Зэб Лейн говорит, что сейчас разрешается проблема сернистых руд, которой нас все время стращают, и что на Боулдере дела скоро опять пойдут на лад.

— Ему и книги в руки,— заметил Динни сухо.— Надо полагать, что дела пойдут на лад, как только это станет выгодно промышленникам. Но только прежнего не будет, Морри. Времена не те.

— И мы уже не те,— промолвила Салли.

— Вы правы, мэм, и мы не те.— Во взгляде Динни, брошенном на Салли, промелькнуло участие.— Вот кой у кого из ребят достало ума на то, чтобы смотаться отсюда после продажи первого же хорошего участка. Билл Иегосафат, например, осел на землю. Уехал на Восток, как только они с Джонсом Крупинкой продали свое месторождение в Леоноре. У него теперь ферма где-то около Риверины.

— Старая эра золотоискательства на этих приисках кончилась,— сказал Моррис.— Начинается новая. Теперь будет укрепляться промышленность и подчинять все своим интересам. Нам в какой-то мере необходим экономический прогресс, который она с собой несет. Рост промышленности создал Калгурли — дал нам рудники и железную дорогу.

— Пусть так,— горячо возразил Динни,— но аферы и спекуляции, на которых она построена, довели нас, как видишь, черт знает до чего. Нет, нужно очистить прииски от всей этой грязи; мы должны бороться за свои права не покладая рук, если не хотим, чтобы на наших приисках обкрадывали народ. Я говорю не только о таких, как мы с тобой, не только о старых золотоискателях и рудокопах,— я говорю обо всех, кто тут живет и работает и для кого прииски — родной дом. На них держится вся жизнь приисков, а для промышленников они все равно что грязь на дороге.

Из глубины веранды донесся хриплый голос Криса:

— «Возмущение — это рост сознания нации,— говорит сэр Роберт Пиль.— Народ должен возмущаться до тех пор, пока он не создаст справедливых законов».

— Кто же против этого спорит? — хмуро ответил Моррис Динни.— Черт возьми, как подумаешь обо всем том золоте, которое было добыто в нашей стране, о миллионах фунтов стерлингов, в которые оно превратилось, просто не верится, что тем, кто живет здесь, на приисках, достались такие жалкие крохи. Несмотря на злоупотребления, воровство, биржевые аферы, боулдерские рудники выплатили свыше трех миллионов дивидендов. А мы живем в этом проклятом пекле и погибаем от грязи, от недостатка воды, от отсутствия самых элементарных коммунальных услуг. Больница — все те же дощатые бараки и парусиновые палатки, где тифозные больные каждое лето мрут как мухи. А эти хибарки из железа и дерюги, в которых живут рудокопы,— это же черт знает что такое, смотреть тошно!

— А ты растешь, Морри,— ухмыльнулся Динни.— Уже совсем не тот заплесневелый консерватор, каким был когда-то.

— Я добываю хлеб своим трудом, так же как и все вы,— сказал Моррис.— А кирка и лопата научили меня разбираться в политике.

— Сколько старателей заработало кучу денег на первых заявках и тут же спустили все до последнего пенса,— проговорила Салли.

— Ну еще бы! — воскликнул Динни.— Душа-то воли просит! Ну и сходили с ума кто как умел. Арт Бейли так жил, что его в три года скрутило. Ведь как бывало: повезет парню — он продаст участок и месяца два-три живет, как король. А теперь многие из этих королей роются в отбросах, в мусорных ямах.

— Куда как много пользы принесло им золото! — с досадой проговорила Салли.— Это был мираж, за которым вы все гонялись... Воображали, что оно создаст вам рай на земле.

Старик Крис проговорил вполголоса:

...И этот желтый раб
Религии создаст и сокрушит! И тех, кто проклят всеми, осчастливит,
И юности прикажет полюбить прогнивших стариков! И вознесет
Стяжателей, дав сан высокий им, и почести, и общие похвалы,
И на скамью одну с сенаторами поместит!

— И когда золота мало, и когда слишком много — все скверно, мэм,— задумчиво проговорил Динни.— Помнишь, Морри, как ребята с Лондондерри пригнали целую повозку золота, а сотни старателей вернулись из того же похода не солоно хлебавши.

Моррис молча кивнул.

— А все-таки,— продолжал Динни,— каждый знал, что он не подохнет с голоду, пока у его товарища есть хоть корка хлеба или несколько пенсов в кармане. Парни с Лондондерри, как только сдали свое золото, тоже не пожалели денег для товарищей. А хорошее это было время и хороший народ, как вспомнишь, верно, Морри?

— Уж скажите сразу: первые старатели — лучшие люди на земле,— насмешливо проговорила Салли; она уже не раз слышала такие высказывания.

— А что вы думаете? Именно так оно и есть, мэм,— сказал Динни.— Это были хорошие, честные парни,— все до единого, а уже если попадался какой-нибудь прохвост, так на общих собраниях с ним не церемонились.

— А ты помнишь, как груды золота с первого участка Бейли лежали в старой лачуге из мешковины, которая была у нас и мясной лавкой, и почтовой конторой? — спросил Моррис.— И никому даже в голову не приходило украсть это золото и смотаться с ним.

Динни фыркнул.

— Хотел бы я поглядеть, что бы у него из этого вышло! Нет, пока здесь не было ни рудников, ни железных дорог — не было и всех этих жуликов и бандитов, которые стреляют на дорогах и грабят прохожих. У нас дело доходило до стрельбы, только если очень уж перепьются.

— Черт побери, а ты помнишь, как новый констебль запер под замок приискового инспектора и старика Крукшэнкса за появление в нетрезвом виде и нарушение общественной тишины и порядка? Наутро инспектор уладил дело с констеблем и пошел к себе в суд, а старика Крукшэнкса оставил в гостинице в постели. Сидит он в своей старой палатке, на которой для всеобщего сведения написано: «Суд», и распекает каких-то двух пьянчуг, как вдруг появляется Крукшэнкс в одной нижней сорочке и с бутылкой в руке. «Эй ты, старый индюк, брось к черту этих несчастных недоносков, чего ты их мучаешь! Пойдем-ка лучше выпьем!» Инспектор объявляет, что слушание дела откладывается, и оба отправляются в трактир.

Моррис от души смеется рассказу Динни, хотя он уже слышал его в различных вариантах по меньшей мере раз десять.

— А вот еще занятная была история, когда два инспектора оказались проездом в одном городе — в Курналпи, что ли, или в Кэноуне,— припоминает Динни, которого хлебом не корми, а дай рассказать что-нибудь забавное.— Они бражничали в трактире всю ночь напролет и в конце концов подрались. Местный кон-

стебль не знал, кто они такие, и арестовал обоих. А наутро оказалось, что судить-то их некому. Тогда, чтобы дело не получило огласки, они решили судить друг друга, надеясь, так сказать, на взаимную поблажку. Инспектор этого округа взял слово первым и не захотел остаться внакладе. «Что вы можете сказать в свое оправдание? — спрашивает он бывшего собутыльника.— Вы — почтенный гражданин и должны были бы служить примером для всех прочих граждан, а вы что делаете? Напиваетесь, как лошадь, и позорите себя своим непристойным поведением! Я присуждаю вас к штрафу в два фунта стерлингов с заключением под стражу на четырнадцать суток в случае неуплаты». Тогда судейское кресло занимает заезжий инспектор.—«Ну,—говорит он,— должен признаться, что я изумлен обвинением, которое против вас выдвинуто, мой друг: вы напились, как свинья, и безобразничали в общественном месте самым непозволительным образом. А главное — это уже второе дело такого сорта за одно только сегодняшнее утро! Сие отягчает вашу вину. За городом может установиться дурная слава. Поэтому я намерен судить вас по всей строгости законов, чтобы ваш случай послужил назидательным примером для потомков. Я присуждаю вас к штрафу в пять фунтов стерлингов с заключением под стражу на двадцать восемь суток в случае неуплаты!»

Эта история тоже была известна Моррису, но он смеялся вместе с Динни так, словно слышал ее впервые.

— Да, прииски были магнитом, который притягивал к себе людей всех возрастов и всех состояний,— вспоминал Моррис.— Английские аристократы рыли золото бок о бок с ирландскими повстанцами и вместе пьянствовали в трактирах.

— А были и такие, которые сражались когда-то на баррикадах Парижской коммуны, как, например, старый Фабр,— присовокупил Динни.— Но все-таки лучшими исследователями австралийской пустыни и разведчиками золота были сами австралийцы. Что ни говори, а мы умели постоять за себя, Моррис.

— Еще бы! Особенно — когда позволили заокеанским акулам проглотить все золото наших рудников.

— Ну, видишь ли, как-то нужно было разрабатывать прииски,— оправдывался Динни.

— Могли бы сами сделать это, если бы умели отстаивать свои национальные интересы.

— Что верно, то верно,— согласился Динни.— Но этого мы еще не умели, Морри. Наше золото и наши рудники всегда были легкой добычей для иностранных предпринимателей. Впрочем, так оно есть и по сей день. Но думаю, что федерация положит этому конец и защитит интересы Австралии.

Морри промолчал, его мысли витали в прошлом.

— Вот уж когда мне до черта не повезло, так это когда я посеял акции Большого Боулдера. Хотел бы я знать, какая сволочь их подобрала.

— Да в Хэннане народ был уже не тот, что в старом лагере,— заметил Динни.

— Не тот,— согласился Моррис.— Один раз за всю жизнь подвернулся шанс разбогатеть, так и то какой-то прохвост отнял его у меня, присвоив себе мои учредительские акции. Ему теперь живется неплохо, надо полагать.

Динни знал, что история с акциями — больное место Морриса. По-видимому, Моррис свято верил, что составил бы себе состояние, не пропади у него тогда акции Большого Боулдера. Впрочем, он и сейчас еще продолжал поигрывать на бирже.

— Странно,— промолвил Моррис,— как нам всем не повезло. И ты, Динни, и я, и Салли, и Робийяры, и Брайрли — вот уж сколько лет мы все здесь, на приисках, и никому из нас нет удачи.

— Олф пропал зазря,— горько сказал Динни,— и его жена тоже.

— Вы не должны осуждать Лору,— вступилась Салли.

— Я не осуждаю ее,— сказал Динни.

— А я осуждаю.— Моррис говорил решительно и жестко. Зачем она отправила Эми в монастырь в Кулгарди? Не хотелось самой водиться с девочкой? А то, что она вышла замуж за этого Мак-Суини, я считаю просто оскорбительным для памяти Олфа.

— Это жестоко, Моррис,— пробормотала Салли.

— А ты могла бы так поступить? — спросил Моррис.

— Не знаю, может быть,— призналась Салли.

Динни решил, что пора переменить разговор.

— Говорят, Фриско опять пошел в гору в Лондоне,— сказал он, не подозревая, что новая тема выбрана им не совсем удачно.— Основал будто бы крупное акционерное общество и женился на какой-то богачке.

Салли была рада, что они сидели без света: Моррис мог бы заметить, как вздрогнула она, услышав эту новость.

— Да, кто-то говорил мне об этом,— равнодушно уронила она.

— Пэдди Кеван продал ему Золотое Перо,— сообщил Динни.

— Фриско и Пэдди Кеван — ну что вы скажете! — воскликнул Моррис.— Кто бы мог подумать, что они сделаются такими важными персонами на приисках.

Динни презрительно сплюнул.

— Важными персонами? Просто загребли кучу денег. Но только я уж лучше буду рыть золото, пока не сдохну, а наживаться таким способом, как они, не стану.

— Правильно,— согласился Моррис.

Наступило долгое молчание. Заунывное пение Калгурлы замерло где-то вдали, и только глухие удары толчеи нарушали тишину. Салли ушла в дом, чтобы уложить ребенка. Когда она вернулась на веранду, Моррис и Динни прервали разговор, словно он не был предназначен для ее ушей.

— Морри говорит, что никогда больше не пойдет искать золото,— сказал Динни, когда Салли подсела к ним.

— Не пойдешь, Моррис? — спросила Салли.

— Нет,— сказал Моррис, и в голосе его прозвучала горькая нотка.— Я не мечтаю больше о золоте и не жду никаких перемен в своей судьбе.

— Что говорить, тебе тогда крепко досталось, Морри,— согласился Динни.— Но знаешь, старатель всегда останется старателем, я так считаю. Золота в стране хоть пруд пруди. Пойдем со мной к Лейвертоновым холмам — глядишь, мы еще поймаем счастье за хвост.

— Нет,— повторил Моррис.— Я предпочитаю хоронить покойников.

— Ну что ж,— протянул Динни.—А мне нечего больше делать в этом городе. Самый воздух его мне противен и стук этих проклятых колотушек! Эх, вспомнишь, как шагали мы с Олфом по дорогам! Это была самая счастливая пора в моей жизни: каждый день ждешь, бывало, что принесет тебе судьба, ждешь своей великой удачи. Рудники погубили Олфа. Ну а меня туда калачом не заманишь. Думаю, кстати, что ты прав, Морри,— рудники скоро опять заработают вовсю, и Калгурли и Боулдер расцветут снова. Но только я сердцем чую, что не найти здесь правды рабочему человеку до тех пор, пока мы не возьмем бразды правления в свои руки, как говорит Крис.

Динни встал и потянулся, словно сбрасывая с себя уныние, владевшее им весь вечер.

— А что, собственно, ты тут можешь сделать? — иронически спросил Моррис.

— Я? — проговорил Динни с коротким сухим смешком.— Не особенно много. Но думаю, что рабочие добьются своего, так же как они добились своего в борьбе за россыпное. Это одно из самых замечательных сражений австралийского рабочего класса, Морри. Оно изменило судьбу страны, оно заткнуло глотку правительству Форреста, которое противилось федерации, оно ввело наш Запад в ее состав. Все признают теперь, что во времена Эврики мой отец и его товарищи сослужили неплохую службу Австралии, а я думаю, что старатели наших приисков сделали не меньше, борясь за свои старательские права.

— А ведь и вы принимали в этом некоторое участие, Динни,— с улыбкой сказала Салли.

— Принимал, а как же! — весело воскликнул Динни, воспрянув духом от этой полувысказанной похвалы.— Но теперь мне тут больше нечего делать, мэм,— чувствую, что засиделся. На заре ухожу в разведку.

С минуту он стоял молча — маленький, отважный человечек, глядя вдаль, поверх залитых луной просторов, туда, где серые кустарниковые заросли уходят в глубь страны и струистые миражи дрожат на необъятном горизонте. Потом обернулся, широкая улыбка на мгновенье озарила его обветренное лицо, кивнул и заковылял прочь:

— До скорого!

ГЕНРИ ЛОУСОН

РАССКАЗЫ

В декабре 1894 года в сиднейских книжных лавках была выставлена первая книжка Лоусона «Рассказы в прозе и стихах» — маленький невзрачный томик, отпечатанный в кустарной типографии журнала «Рассвет», издававшегося матерью писателя. Он состоял всего из четырех стихотворений и десяти рассказов. Все рассказы, за исключением одного, были напечатаны в переработанном виде в последующих сборниках. Всего при жизни Лоусона их было издано девять, причем три включали также стихи, а сборник «Страна, откуда я родом» (1901) представляет собой избранное, перепечатку опубликованного ранее, и адресован английскому читателю. В составе этих сборников — «Пока кипит котелок» (1896), «На дороге» (1900) и «За изгородями» (1900), «Джо Вильсон и его товарищи» (1901), «Дети буша» (1902), «Суд выносит приговор» (1910), «Треугольники жизни» (1913) — принцип хронологической последовательности не выдержан: отдельные произведения залеживались в портфелях периодических изданий и попадали в книгу с большим опозданием. Рассказы и стихи Лоусона печатались в австралийских, а также новозеландских журналах и газетах: «Буллетин», «Бумеранг», «Уоркер», «Таун энд кантри джорнэл», «Трус», «Осси», «Нью Зиленд Мейл», «Лоун хэнд». Во время пребывания писателя в Англии в 1900—1901 годах они появлялись в английских журналах «Блэквудс мэгэзин», «Касселз мэгэзин», «Чеймберс джорнэл», «Агези», «Блэк энд уайт». Многие произведения долго пребывали в забвении, затерянные в прессе, в малотиражных, вышедших из обращения книгах. «Генри Лоусон — писатель, которого знают, критикуют, хвалят, осуждают, о котором судят на основании менее чем половины его литературной продукции,— писал еще в 1958 году, четверть века спустя после смерти писателя, австралийский библиограф У. Стоун.— Странное положение дел в стране, считающей его творчество частью своего национального наследия».

Подъем национального самосознания в годы второй мировой войны и послевоенные десятилетия изменил отношение австралийцев к собственной

культуре и привел к существенным сдвигам в изучении творчества Лоусона. Была проведена огромная работа по собиранию написанного ими и текстологическому уточнению — в периодике рассказы, бывало, подвергались безжалостным сокращениям, произвольные изменения допускали и редакторы книг, не очень считавшиеся с вечно нуждавшимся автором. Лоусона множество раз издавали и на родине, и за ее пределами, но первое академическое собрание его сочинений появилось совсем недавно — плод многолетних разысканий известного лоусоноведа К. Родерика: трехтомное «Собрание стихов» (1967—1969) и трехтомное «Собрание прозы» (1972—1975), «Письма 1890—1922» (1970). Впервые читатели и исследователи получили возможность составить полное представление о литературном наследстве австралийского классика и его творческой эволюции, прочитать произведения в том порядке, в каком они выходили из-под его пера.

Еще до Октябрьской революции в нашей стране начали переводить австралийскую литературу. Правда, переводы эти единичны: несколько романов Джесси Куврер, писавшей под псевдонимом Тасма, напечатанные в 90-е годы журналом «Русский вестник», роман Маркуса Кларка «Пожизненно», изданный в 1903 году в исторической серии под названием «Английская каторга», повесть Э. Дайсона о золотых приисках, две тоненькие книжечки рассказов (1910 и 1912), где, как ни странно, Лоусон отсутствует. Знакомство состоялось уже в советское время. На русский язык переведено около ста рассказов Лоусона. Первые сборники вышли в переводах А. Кривцовой — «Шапка по кругу» (1945 год, расширенное издание — в 1954 году) и «Австралийские рассказы» (1956). Наибольший по объему сборник — «Рассказы» (1961).

«ТОВАРИЩ ОТЦА»
(«HIS FATHER'S MATE»)

Впервые напечатан 22 декабря 1888 года в сиднейском еженедельнике «Буллетин». Вошел в сборник «Пока кипит котелок».

Стр. 27. *Тимон* — герой трагедии Шекспира «Тимон Афинский» (1608).

Стр. 30. *Балларат, Бендиго* — города штата Виктория, главные очаги «золотой лихорадки», вспыхнувшей в 1851 году. Балларатское месторождение аллювиального золота было одним из богатейших в мире. Вместе Балларат и Бендиго давали почти столько же золота, сколько Калифорнийские прииски в США.

...знаменитый Бейкери Хилл.— На Бейкери Хилл участники Эврикского восстания золотоискателей (см. прим. к стр. 49) водрузили мятежное знамя Южного Креста и приняли революционную присягу.

БИЛЛ И АРВИ С ЗАВОДА БРАТЬЕВ ГРАЙНДЕР
(«TWO BOYS AT GRINDER'S BROS»)

Написан в 1892—1893 году. Вошел в сборник «За изгородями».

ЖЕНА ГУРТОВЩИКА
(«THE DROVER'S WIFE»)

Напечатан 23 июля 1892 года в «Буллетине». Вошел в сборник «Пока кипит котелок». «Если принять этот безыскусственный набросок за резюме жизни женщины, передающее содержание этой жизни на десяти кратких страницах, то и Мопассан не написал бы лучше,— так отозвался об этом произведении английский критик и драматург Эдуард Гарнет (1868—1937).— Лоусон вновь разработал эту тему в более богатой деталями картине, нарисованной в рассказе «Полейте герани!». Я предоставляю матерям, занимающим любое положение в обществе, сказать, какое впечатление она производит на них и не является ли она универсальной, применительно к трудящейся женщине, где бы она ни жила» (английский журнал «Экедеми энд литерече», 1902, 8 марта).

СТАРЫЙ ТОВАРИЩ ОТЦА
(«AN OLD MATE OF YOUR FATHER'S»)

Напечатан 24 июня 1893 года в газете «Острэйлиен Уоркер». Вошел в сборник «Пока кипит котелок».

Стр. 48. *...ветераны «59-го года»*...— Названы, вероятно, по аналогии с «ветеранами 49-го года» — года «золотой лихорадки» в США, поскольку в истории австралийских золотых приисков 1859 год ничем особенным не примечателен.

Стр. 49. *«Оборона Эврики»*.— Борьба старателей против закона о платных лицензиях на право искать золото привела в декабре 1854 года к вооруженному восстанию в Балларате (штат Виктория). Оно называется Эврикским, ибо старатели воздвигли баррикаду на месте сожженной ими гостиницы «Эврика». Требование отменить лицензии входило в целую программу демократических преобразований, которая включала провозглашение республики, всеобщее избирательное право для мужчин, отмену имущественного ценза для членов законодательного совета, жалованье членам парламента, то есть «контроль над налогами и законодательством» (М а р к с). Восстание подавили, но система лицензий была уничтожена и проведены избирательные реформы. «На мой взгляд происшедшее событие было самым замечательным в истории Австралазии,— писал Марк Твен, совершивший в 1895 году лекционное турне по Австралии.— То была революция, пусть небольшая по размерам, но огромная по своему политическому значению, то была битва за свободу, борьба за принцип, протест против насилия и произвола» (М. Т в е н. По экватору). Писатели-демократы 90-х годов обращались к теме Эврики: Виктор Дэли, Мэри Гилмор, Эдвард Дайсон, а Лоусон, помимо рассказа «Старый товарищ отца»,— в стихотворениях «Флаг Южного Креста», «Эврика», «Бой на Эврикской баррикаде».

Стр. 50. Мортон *Кинг*, *Мэгги Оливер*, *Дж.-В. Брук* — известные австралийские актеры.

ПРЕЛЕСТИ ФЕРМЕРСКОЙ ЖИЗНИ
(«SETTLING ON THE LAND»)

Опубликован 9 сентября 1893 года в «Буллетине» под названием «Ферма Тома». Вошел в сборник «Пока кипит котелок» под названием «Заняться сельским хозяйством».

Герой рассказа принадлежит к мелким фермерам, так называемым «селекторам» — социальному слою, который появился в 60-е годы XIX века, когда в Новом Южном Уэльсе и Виктории вольному старательству пришел конец. Слаборазвитая промышленность не нуждалась в дополнительных рабочих руках, а земли, пригодные для сельского хозяйства, были захвачены скваттерами. В 1861 году в Новом Южном Уэльсе, а позже и в других колониях были приняты законы, несколько ограничивавшие крупное землевладение и «открывавшие» землю. Желающий, внеся определенную сумму и обязуясь погасить долг в течение установленного срока, мог выбрать (*англ.* to select, отсюда — селекторы) участок для фермы. Между скваттерами и селекторами завязалась острая борьба за землю, причем скваттеры не стеснялись в средствах, а у начинающих фермеров не было ни достаточного капитала, ни опыта, чтобы выстоять в неравной схватке. В результате селекторы разорялись сотнями и тысячами, лишаясь своих участков и надежд на обеспеченное и независимое существование.

Стр. 52. ...*подставщика.*— Подставное лицо, фиктивный селектор, который действовал в интересах скваттера и получал от него вознаграждение.

Стр. 53. ...*плерапермония.*— Плевропневмония.

В ЗАСУХУ
(«IN A DRY SEASON»)

Опубликован 5 ноября 1892 года в «Буллетине». Вошел в сборник «Пока кипит котелок». Открывает серию путевых очерков, написанных непосредственно под впечатлением от поездки в буш,— «В дождливую пору», «Хангерфорд», «Река Дарлинг». Эти зарисовки австралийской глубинки имеют сатирическую окраску.

Стр. 58. ...*следопыт — туземец.*— В XIX веке колониальные власти использовали австралийских аборигенов в качестве полицейских следопытов.

ПОХОРОНЫ ЗА СЧЕТ ПРОФСОЮЗА
(«THE UNION BURIES ITS DEAD»)

Написан в 1893 году. Вошел в сборник «Пока кипит котелок».

Рассказ был экранизирован австралийским кинорежиссером С. Холмсом и вошел в сборник киноновелл «Три в одном», отмеченный на фестивале в Карловых Варах.

ЭТОТ МОЙ ПЕС
(«THAT THERE DOG O'MINE»)

Написан в 1893 году. Вошел в сборник «Пока кипит котелок».

НА СЦЕНЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ МИТЧЕЛЛ
(«ENTER MITCHELL»)

Написан в 1894 году. Вошел в сборник «Пока кипит котелок».

МИТЧЕЛЛ: ОЧЕРК ХАРАКТЕРА
(«MITCHELL: A CHARACTER SCKETCH»)

Напечатан 15 апреля 1893 года в «Буллетине». Вошел в сборник «Пока кипит котелок».

НА КРАЮ РАВНИНЫ
(«ON THE EDGE OF A PLAIN»)

Напечатан 6 мая 1893 года в «Буллетине». Вошел в сборник «Пока кипит котелок».

Стр. 69. *Мульга* — разновидность акации, распространенная в Австралии.

МИТЧЕЛЛ НЕ СТАНЕТ БРАТЬ РАСЧЕТ
(MITCHELL DOESN'T BELIEVE IN THE SACK)

Напечатан 13 мая 1893 года в «Буллетине». Вошел в сборник «Пока кипит котелок».

МИТЧЕЛЛ О «ПРОБЛЕМЕ ПОЛА» И ДРУГИХ «ВОПРОСАХ»
(«MITCHELL ON THE «SEX» AND OTHER «PROBLEMS»)

Написан в 1898—1899 годах. Вошел в сборник «За изгородями».

Стр. 74. *...от вомбата.*— Вомбат — мелкое сумчатое животное, с буроватым или серым мехом, которое живет в лесной местности и ведет ночной образ жизни.

Стр. 75. *...ни фритредерства, ни протекционизма.*— Объединению австралийских колоний в федерацию препятствовали экономические противоречия: буржуазия Нового Южного Уэльса и Западной Австралии отстаивала принцип свободной торговли, а правящие круги Виктории — протекционистскую тарифную политику.

Стр. 77. *...приз у Таттерсолла.*—Таттерсолл — популярная в Австралии лотерея и тотализатор.

«ОТЕЛЬ ПРОПАЩИХ ДУШ»
(«THE LOST SOUL'S HOTEL»)

Написан в 1894 году. Вошел в сборник «Дети буша», опубликованный в Лондоне в 1902 году.

БАНДЕРОЛЬ
(«REMAILED»)

Написан в 1894 году. Вошел в сборник «Пока кипит котелок». Название оригинала — «Вторично отправлено почтой».

Стр. 84. *...в Австралазии.*— Австралазия — все реже употребляемое географическое понятие. Некогда обозначало неведомую землю к югу от Азии, затем — Австралию вместе с тихоокеанскими островами. В данном случае подразумеваются Австралия и Новая Зеландия.

Стр. 86. *...на ферме Дж.-У. Дауэлла... станция Муннираб.*— Фамилия скваттера и название фермы даны со значением, юмористически обыграны: буквально — на ферме Дж.-У. Преуспевающего, станция Гребимонету. Это характерное для Лоусона средство комического.

Маориленд — Новая Зеландия.

НЕТ МИЛЕЕ РОДНОЙ СТРАНЫ
(«HIS COUNTRY — AFTER ALL»)

Написан в 1894 году. Вошел в сборник «Пока кипит котелок».

Стр. 90. *«Где тот мертвец из мертвецов...»* — Имеются в виду строки из поэмы Вальтера Скотта «Песнь последнего менестреля»:

Где тот мертвец из мертвецов,
Чей разум глух для нежных слов:
«Вот милый край, страна родная!»

(Перевод Т. Гнедич)

ПОПУЛЯРИЗАТОР ГЕОЛОГИИ
(«THE GEOLOGICAL SPIELER»)

Написан в 1895 году. Сборник «Пока кипит котелок». Один из рассказов цикла, названного по имени главного действующего лица стилменовским, куда входят также «Стилмен» (1895), «Ученик Стилмена» (1895), «Оплошность Стилмена» (1896), «Как Стилмен рассказал свою историю» (1895—1896), «Джентльмен-жулик и Стилмен-жулик» (1896—1899), «В поисках пропитания» (1897—1900).

ЧЕРНЫЙ ДЖО
(«BLACK JOE»)

Написан в 1895 году. Сборник «За изгородями».

ДВЕ СОБАКИ И ЗАБОР
(«TWO DOGS AND A FENCE»)

Написан в 1895 году. Сборник «Пока кипит котелок».

НЕОКОНЧЕННАЯ ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ
(AN UNFINISHED LOVE STORY)

Написан в 1894—1896 годах. Включен в сборник «Пока кипит котелок».

ЖЕНА СОДЕРЖАТЕЛЯ ПОЧТОВОЙ СТАНЦИИ
(«THE SHANTY-KEEPER'S WIFE»)

Написан в 1896 году. Включен в сборник «За изгородями».

ЭВКАЛИПТОВАЯ ЩЕПКА
(«THE IRON-BARK CHIP»)

Написан в 1898—1899 годах. Вошел в сборник «На дороге».

ЗАРЯЖЕННАЯ СОБАКА
(«THE LOADED DOG»)

Написан в 1899 году. Вошел в сборник «Джо Вильсон и его товарищи».

Первый из рассказов Лоусона, опубликованный на русском языке в 1933 году в журнале «30 дней» в переводе А. Абрамова.

СТРИГАЛЬНЯ
(«A ROUGH SHED»)

Написан в 1899 году. Напечатан в сборнике «На дороге».

Стр. 129. *Нет, любезный поэт, нам не снятся сладкие сны...*— Отголосок стихотворной дискуссии, которая велась в 1892 году на страницах «Бюллетина» между Лоусоном и балладистом Э.-Б. Патерсоном. Патерсон идеализировал уходящую в прошлое патриархальную скваттерскую Австралию и жизнь в буше. Лоусон показывал, как тяжела доля рабочего-бушмена.

Стр. 130. *...мальчишка-смазчик.*— Порезы, полученные овцами во время стрижки, смазывались дегтем.

«НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ»
(«NEW YEAR'S NIGHT»)

Написан в 1899—1900 годах. Вошел в сборник «За изгородями».

КРАСАВИЦА ИЗ АРМИИ СПАСЕНИЯ
(«THAT PRETTY GIRL IN THE ARMY»)

Написан в 1901 году. Вошел в сборник «Дети буша».

Стр. 141. *...сто с чем-то градусов в тени.*— По Фаренгейту. По Цельсию около +40 градусов.

Стр. 147. *...историю насчет Сэнди и школьной учительницы из Брет-Гарта.*— Имеется в виду рассказ Брет-Гарта «Идиллия Красного Ущелья».

ТЕНИ МИНУВШИХ СВЯТОК
(THE GHOSTS OF MANY CHRISTMASES)

Написан в 1901 году. Напечатан в сборнике «Дети буша».

ШАПКА ПО КРУГУ
(«SEND ROUND THE HAT»)

Написан в 1901 году. Вошел в сборник «Дети буша».

Стр. 180. *И вот сижу я и пишу при свете лампы в полдень, в центре огромного города...*— Речь идет о Лондоне, где был написан этот рассказ.

ГИМН СВЭГУ
(THE ROMANCE OF THE SWAG)

Написан в 1901 году. Напечатан в сборнике «Дети буша». Две части, на которые делится этот сборник, в 1907 году были перепечатаны в виде отдельных книг — «Шапка по кругу» и «Гимн свэгу».

ИЗ ЦИКЛА ПОВЕСТЕЙ О ДЖО ВИЛЬСОНЕ

Четыре основные рассказа, или небольшие повести, составляющие цикл о Джо Вильсоне, были написаны в 1898—1900 годах: «Сватовство Джо Вильсона», «Свояченица Брайтена», «Полейте герани!» и «Новая коляска на Лехи Крик». Они были напечатаны в 1900—1901 годах в английском журнале «Блэквудс мэгэзин», издавались вместе как самостоятельное произведение, иногда с подзаголовком «роман». К ним примыкают фрагменты «Разлад» (1901—1902) и «Джеймс и Мэгги» (1901?). Написанный позже рассказ «Джо Вильсон в Англии», в основном, преследует цель поведать об английских впечатлениях самого писателя. Кроме того, в сборник «Дети

буша» вошли три рассказа, в которых Джо Вильсон — не главное лицо, а рассказчик чужой истории или слушатель: «Соберемся ль у реки мы?», «Сторож брату моему», «История «бывшего джентльмена».

«Новая коляска на Лехи Крик» переводится на русский язык впервые.

КАТАРИНА СУСАННА ПРИЧАРД

ДЕВЯНОСТЫЕ ГОДЫ
(«THE ROARING NINETIES»)

Роман «Девяностые годы» — первая часть трилогии о западноавстралийских золотых приисках, над которой К.-С. Причард работала десять лет — с 1940 по 1950 год. Работа над «Девяностыми годами» была в основном закончена в 1944 году. Все три тома трилогии были изданы одновременно в Австралии и в Англии: «Девяностые годы» в 1946 году, «Золотые мили» — в 1948-м, «Крылатые семена» — в 1950 году. Создание столь монументального произведения потребовало от писательницы, не прекращавшей активной общественной деятельности — антифашиста, борца за мир, члена коммунистической партии,— самоотверженного труда. Ею был собран, тщательно проанализирован и переработан огромный фактический материал, превращенный в «строительный материал» человеческих судеб. Частично он вводится в документальном виде, но и в этом случае непременно перечувствован героями,— выдержки из газет, выступлений, резолюций старательских митингов, судебных постановлений.

К.-С. Причард — один из наиболее читаемых в нашей стране австралийских авторов. Примечательно, что ее роман «Рабочие волы» был первым произведением австралийской литературы, опубликованным в СССР после Октября, всего два года спустя после выхода в свет на родине. (Название в русских переводах изменено: в 1928 году — «Охотник за брэмби», в 1965-м— «Погонщик волов».) На русский язык переведены романы «Кунарду» и «Неугасимое пламя», автобиографические записки «Дитя урагана», множество рассказов. Трилогия, вершина творчества Причард и выдающееся завоевание социалистического реализма, издавалась на русском языке трижды: в 1949—1953 годах (сокращенный перевод первого тома), 1954 и в 1958 году, а также в переводе на другие языки народов СССР. Кроме того, в 1955 году роман «Девяностые годы» был издан в Москве на английском языке. В серии «Библиотека всемирной литературы» воспроизводится полный перевод, сделанный для издания 1958 года.

Стр. 237. *...по следам Артура Бейли.*— Артур Бейли, Томми Толбот и некоторые другие разведчики золота, упомянутые в романе,— исторические лица, с именами которых были связаны первые старательские походы и открытия.

Стр. 265. *Ту-ап* — игра, напоминающая орлянку.

Стр. 349. *...его зовут Сэмюэл Вордсворт.*— Сэм Маллет — однофамилец прославленного поэта-романтика Уильяма Вордсворта (1770—1850).

Стр. 371. *...он назвал свою шахту «Карбин».*— Карбин — знаменитый скакун, который в конных бегах на кубок Мельбурна в 1890 году одержал победу с рекордными показателями.

Стр. 427. *...стать мировой знаменитостью, как Мельба.*— Мельба — сценический псевдоним Нелли Митчелл (1861—1931), прославленной австралийской певицы, родом из Мельбурна. К.-С. Причард, будучи журналисткой, брала в Париже интервью у Матильды Маркези, обучавшей пению Мельбу.

Стр. 509. *...«подсаливать» участки.*— «Подсолить» или «поперчить заявку» — на языке старателей значит подсыпать золотого песку на выработанный или вообще лишенный золота участок, чтобы поднять его цену.

Стр. 545. *...мистер Уильям Моррис, мистер Гайндман.*— Крис Кроу называет в числе своих друзей руководителей английского рабочего движения 80-х годов.

Уильям Моррис (1834—1896) — английский писатель и художник. Возглавлял совместно с Элеонорой Маркс-Эвелинг и ее мужем Социалистическую лигу.

Генри Майерс Гайндман (1842—1921) в 1881 году основал в Лондоне Демократическую (позже — Социал-демократическую) федерацию. Популяризовал марксистское учение, но при этом извращал его, «никогда не отделываясь полностью от буржуазных традиций, буржуазных взглядов и предрассудков» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 392). Энгельс решительно осуждал шовинизм и политическое сектанство Гайндмана.

Стр. 566. *Уиттенум.*— Эдвард Уиттенум (1854—1936) — министр горной промышленности колонии Западная Австралия в 90-е годы XIX века.

Стр. 609. *Клеобул* — правитель города Линда на острове Родос (VI в. до н. э.), один из «семи греческих мудрецов», выдающихся ученых, мыслителей и законодателей древности.

Стр. 669. *...сэр Роберт Пиль.*— Роберт Пиль (1788—1850) — английский государственный деятель, в годы 1834—1835 и 1841—1846 — премьер-министр Великобритании.

И этот желтый раб...— Строки из трагедии Шекспира «Тимон Афинский», акт IV, сцена 3.

А. Петриковская

СОДЕРЖАНИЕ

А. Петриковская. Два мастера 5

ГЕНРИ ЛОУСОН
РАССКАЗЫ

«Товарищ отца». *Перевод А. Кривцовой* 27
Билл и Арви с завода братьев Грайндер. *Перевод Р. Бобровой* 36
Жена гуртовщика. *Перевод В. Любомудровой* 40
Старый товарищ отца. *Перевод М. Яновской* 47
Прелести фермерской жизни. *Перевод В. Ефановой* 50
В засуху. *Перевод В. Ефановой* 56
Похороны за счет профсоюза. *Перевод В. Маянц* 59
Этот мой пес. *Перевод А. Кривцовой* 63
На сцене появляется Митчелл. *Перевод В. Ефановой* 65
Митчелл: очерк характера. *Перевод Б. Кокорева* 67
На краю равнины. *Перевод А. Кривцовой* 69
Митчелл не станет брать расчет. *Перевод Е. Элькинд* 70
Митчелл о «проблеме пола» и других «вопросах». *Перевод М. Яновской* 71
«Отель Пропащих Душ». *Перевод В. Жак* 75
Бандероль. *Перевод В. Маянц* 84
Нет милее родной страны. *Перевод О. Тугановой* 88
Популяризатор геологии. *Перевод Е. Суриц* 92
Черный Джо. *Перевод Р. Бобровой* 99
Две собаки и забор. *Перевод Б. Кокорева* 104
Неоконченная любовная история. *Перевод Э. Питерской* . . . 106
Жена содержателя почтовой станции. *Перевод И. Высоцкой* . . 110
Эвкалиптовая щепка. *Перевод В. Ефановой* 116
Заряженная собака. *Перевод Л. Либерзон* 121

Стригальня. *Перевод В. Жак* 127
Новогодняя ночь. *Перевод М. Ермашевой* 133
Красавица из Армии спасения. *Перевод Л. Коласа* 139
Тени минувших святок. *Перевод В. Ефановой* 157
Шапка по кругу. *Перевод А. Кривцовой* 165
Гимн свэгу. *Перевод В. Ефановой* 181
«Полейте герани!» *Перевод И. Архангельской* 186
Новая коляска на Лехи Крик. *Перевод И. Архангельской* 210

КАТАРИНА СУСАННА ПРИЧАРД

ДЕВЯНОСТЫЕ ГОДЫ. Роман. *Перевод Т. Озерской и В. Станевич* 231
Примечания *А. Петриковской* 675

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ТРЕТЬЯ
ТОМ 161

Генри Лоусон
РАССКАЗЫ

Катарина Сусанна Причард
ДЕВЯНОСТЫЕ ГОДЫ

*

Редактор Е. Осенева
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
Л. Платонова
Корректоры
Т. Кузина и В. Широкова

*

Сдано в набор 25/XII 1975 г. Подписано к печати 7/V 1976 г. Бумага типогр. № 1 Формат 60×84¹/₁₆. 43 печ. л. 40,12 усл. печ. л. 44,66+ + 7 нак =45,39 уч.-изд. л. Тираж 303 000 экз. Заказ 3639 Цена 2 р. 24 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28